

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЛИТЕРАТУРЫ

Ш У Ш К И Н

ВРЕМЕНИК
ПУШКИНСКОЙ КОМИССИИ

4-5

ИЗДАТЕЛЬСТВО
АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА 1939 ЛЕНИНГРАД

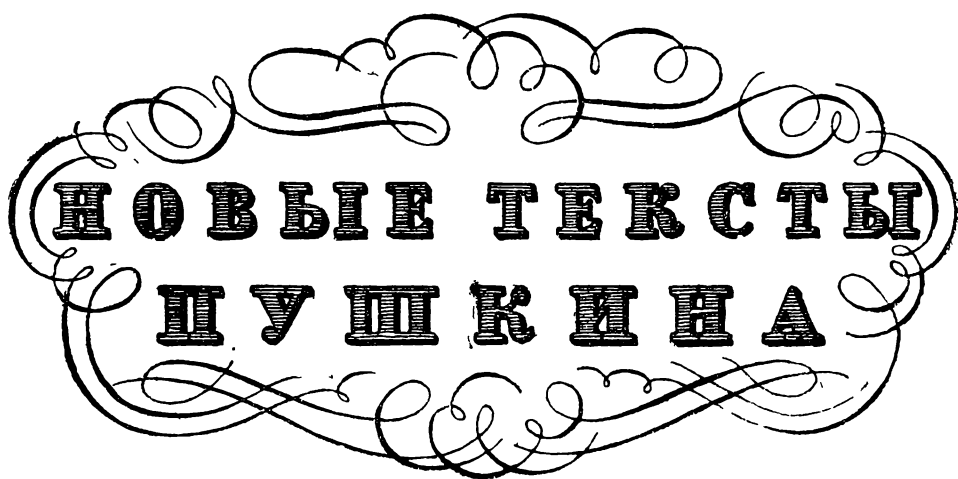
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

***В. Д. Бонч-Бруевич, Б. С. Мейлах, А. С. Орлов,
М. А. Цявловский, Д. П. Якубович***

Ответственный редактор *Д. П. Якубович*

Редактор Издательства *Л. А. Плоткин*

Художественное оформление *Е. Д. Белуха*



**НОВЫЕ ТЕКСТЫ
ПУШКИНА**



ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ XI ГЛАВЫ „КАПИТАНСКОЙ ДОЧКИ“¹

Я потупил голову; отчаяние мною овладело. Вдруг *странная* мысль мелькнула в голове моей:² в чем она состояла, читатель увидит из следующей главы, как говорят старинные романисты.

Глава XI.

МЯТЕЖНАЯ СЛОБОДА.

В ту пору лев был сыт, хоть с роду он свиреп.
„За чем пожаловать изволил в мой вертеп?“
Спросил он ласково.

А. Сумароков

Я оставил генерала и поспешил на свою квартиру. Савельич встретил меня с обыкновенным своим увещанием. „Охота тебе, сударь, переведываться с пьяными разбойниками! Боярское ли это дело? Не равён час: ни за что пропадешь. И добро бы уж ходил ты на турку или на шведа, а то грех и сказать на кого“.

Я прервал его речь вопросом: сколько у меня всего-на-все денег? „Будет с тебя“, — отвечал он с довольным видом. — „Мошенники как там ни шарили, а я всё-таки успел утаить“. И с этим словом он вынул из кармана длинный вязаный кошелек полный серебра. — Ну, Савельич, — сказал я ему, — отдай же мне теперь половину; а остальное возьми себе. Я еду из города на несколько дней.

— *Куда это?* — спросил он с изумлением.

— *Куда бы то ни было, не твое дело, — отвечал я с нетерпением, — делай что тебе говорят, и не умничай.*³

¹ Окончательная редакция дается в сносках.

² Вдруг мысль мелькнула в голове моей.

³ — Ну, Савельич, — сказал я ему, — отдай же мне теперь половину; а остальное возьми себе. Я еду в Белогорскую крепость.

„Батюшка, Петр Андреич! — сказал добрый дядька дрожащим голосом. — Побойся бога: как тебе пускаться в дорогу в нынешнее время, когда никуда проезду нет от разбойников! Пожалей ты хоть своих родителей, коли сам себя не жалеешь. Куда тебе ехать? Зачем? Погоди маленько: войска придут, переловят мошенников; тогда поезжай себе хоть на все четыре стороны“.

Но намерение мое было твердо принято. — Поздно рассуждать, — отвечал я старику. — Я должен ехать, я не могу не ехать. Не тужи, Савельич: бог милостив; авось увидимся! Смотри же, не совестись и не скупись. Покупай, что тебе будет нужно, хоть в три-дорога. Деньги эти я тебе дарю. Если через три дня я не ворочусь....

„Что ты это, сударь? — прервал меня Савельич. — Чтоб я тебя пустил одного! Да этого и во сне не проси. Коли ты уж решился ехать, то я хоть пешком да пойду за тобой, а тебя не покину. Чтоб я стал без тебя сидеть за каменной стеною! Да разве я с ума сошел? Воля твоя, сударь, а я от тебя не отстану“.

Я знал, что с Савельичем спорить было нечего, и позволил ему приготовляться в дорогу. Через пол часа я сел на своего доброго коня, а Савельич на тощую и хромую клячу, которую даром отдал ему один из городских жителей, не имея более средств кормить ее. Мы приехали к городским воротам; караульные нас пропустили: мы выехали из Оренбурга.

Начинало смеркаться. *Я направил путь к Бердской слободе, пристанищу Пугачева.* Прямая дорога занесена была снегом; но по всей степи видны были конские следы, ежедневно обновляемые. Я ехал крупной рысью. Савельич едва мог следовать за мною издали, и кричал мне поминутно: „Потише, сударь, ради бога потише! Проклятая клячонка моя не успевает за твоим долгоногим бесом. Куда спешишь? Добро бы на пир, а то под обух, того и гляди...“

Вскоре засверкали Бердские огни. *Я поехал прямо на них.* „Куда, куда ты? — кричал Савельич, догоняя меня, — это горят огни у разбойников. Обведем их, пока нас не увидали. Петр Андреич — батюшка Петр Андреич!.. не погуби! Господи владыко... пропадет мое дитя!“

Мы подъехали к оврагам, естественным укреплениям слободы. Савельич от меня не отставал, не прерывая жалобных своих молений. *Вдруг увидел я прямо перед собой передовой караул. Над оклика́ли, и человек пять мужиков, вооруженных дубинами, окружили нас. Я объявил им, что еду из Оренбурга к их начальнику. Один из них взялся меня проводить, сел верхом на башкирскую лошадь и поехал со мною в слободу. Савельич, онемев от изумления, кое как поехал в след за нами.*

Мы перебрались через овраг и въехали в слободу. Во всех избах горели огни. Шум и крики раздавались везде. На улице я встретил множество народа: но никто в темноте меня не заметил и не узнал во мне

оренбургского офицера. *Вожатый привез меня прямо к избе, стоявшей на углу перекрестка. „Вот и дворец“ — сказал он, слезая с лошади, — „сейчас о тебе доложу“. Он вошел в избу. Савельич меня догнал: я взглянул на него; старик крестился читая про себя молитву. Я дождался долго; наконец вожатый воротился и сказал мне: „Ступай: наш батюшка велел тебя впустить“.*

Я сошел с лошади, отдал ее держать Савельичу, а сам вошел в избу, или во дворец, как называл ее мужик.¹ Она освещена была двумя сальными свечами, а стены оклеяны были золотою бумагою; впрочем, лавки, стол, рукомойник на веревочке, полотенце на гвозде, ухват в углу и широкой шесток, уставленный горшками, — всё было как в обыкновенной избе. Пугачев сидел под образами, в красном кафтане, в высокой

¹ Начиная смеркаться. Путь мой шел мимо Бердской слободы, пристанища пугачевского. Прямая дорога занесена была снегом; но по всей степи видны были конские следы, ежедневно обновляемые. Я ехал крупной рысью. Савельич едва мог следовать за мною издали, и кричал мне поминутно: „Потише, сударь, ради бога, потише! Проклятая клячонка моя не успевает за твоим долгоногим бесом. Куда спешишь? Добро бы на пир, а то под обух, того и гляди.... Петр Андреич.... батюшка Петр Андреич!.... Не погуби!... Господи владыко, пропадет барское дитя!“

Вскоре засверкали бердские огни. Мы подъехали к оврагам, естественным укреплениям слободы. Савельич от меня не отставал, не прерывая жалобных своих молений. Я надеялся объехать слободу благополучно, как вдруг увидел в сумраке прямо перед собой человек пять мужиков, вооруженных дубинами: в^от был передовой караул пугачевского пристанища. Нас окликали. Не зная пароля, я хотел молча проехать мимо их; но они меня тотчас окружили, и один из них схватил лошадь мою за узду. Я выхватил саблю и ударил мужика по голове; шапка спасла его, однако он зашатался и выпустил из рук узду. Прочие смутились и отбежали; я воспользовался этой минутою, прищпорил лошадь и поскакал.

Темнота приближающейся ночи могла избавить меня от всякой опасности, как вдруг, оглянувшись, увидел я, что Савельича со мною не было. Бедный старик на своей хромои лошади не мог ускакать от разбойников. Что было делать? Подождав его несколько минут и удостоверясь в том, что он задержан, я повернул лошадь и отправился его выручать.

Подъезжая к оврагу, услышал я издали шум, крики и голос моего Савельича. Я поехал скорее, и вскоре очутился снова между караульными мужиками, остановившими меня несколько минут тому назад. Савельич находился между ими. Они стащили старика с его клячи, и готовились вязать. Прибытие мое их обрадовало. Они с криком бросились на меня и мигом стащили с лошади. Один из них, повидимому, главный, объявил нам, что он сейчас поведет нас к государю. „А наш батюшка,“ прибавил он, „волен приказать: сейчас ли вас повесить, али дожждаться свету божия“. Я не противился; Савельич последовал моему примеру, и караульные повели нас с торжеством.

Мы перебрались через овраг и вступили в слободу. Во всех избах горели огни. Шум и крики раздавались везде. На улице я встретил множество народу; но никто в темноте нас не заметил и не узнал во мне оренбургского офицера. Нас привели прямо к избе, стоявшей на углу перекрестка. У ворот стояло несколько винных бочек и две пушки. „Вот и дворец“, сказал один из мужиков: „сейчас об вас доложим“. Он вошел в избу. Я взглянул на Савельича; старик крестился, читая про себя молитву. Я дождался долго; наконец мужик воротился и сказал мне: „Ступай, наш батюшка велел впустить офицера“.

Я вошел в избу, или во дворец, как называли ее мужики.

шапке, и важно подбочась. Около него стояло несколько из главных его товарищей, с видом притворного подобострастия. Видно было, что весть о прибытии офицера из Оренбурга пробудила в бунтовщиках сильное любопытство, и что они приготовились встретить меня с торжеством. Пугачев узнал меня с первого взгляду. Поддельная важность его вдруг исчезла. „А, ваше благородие!“ — сказал он мне с живостию. „Как поживаешь? За чем тебя бог принес?“ *Я отвечал, что имею лично до него дело, и что прошу его принять меня наедине.* Пугачев обратился к своим товарищам и велел им выдти.¹ Все послушались, кроме двух, которые не тронулись с места. „Говори смело при них“, сказал мне Пугачев, „от них я ничего не таю“. Я взглянул наискось на наперсников самозванца. Один из них, щедушный и сгорбленный старичек с седою бородкою, не имел в себе ничего замечательного, кроме голубой ленты, надетой через плечо по серому армяку. Но ввек не забуду его товарища. Он был высокого роста, дороден и широкоплеч, и показался мне лет сорока пяти. Густая рыжая борода, серые сверкающие глаза, нос без ноздрей и красноватые пятна на лбу и на щеках придавали его рябому широкому лицу выражение неизъяснимое. Он был в красной рубахе, в киргизском халате и в казацких шароварах. Первый (как узнал я после) был беглый капрал Белобородов; второй Афанасий Соколов (прозванный Хлопушей), ссыльный преступник, три раза бежавший из сибирских рудников. Не смотря на чувства, исключительно меня волновавшие, общество, в котором я так нечаянно очутился, сильно развлекало мое воображение, и я на минуту позабыл о причине, приведшей меня в пристанище бунтовщиков. Пугачев мне сам напомнил о том своим вопросом: „От кого и зачем ты ко мне послан?“

„Я приехал сам от себя,“ — отвечал я; — „прибегаю к твоему суду. Жалуюсь на одного из твоих людей, и прошу тебя защитить сироту, которую он обижает“.²

Глаза у Пугачева засверкали. „Кто из моих людей смеет обижать сироту? — закричал он. — Будь он семи пядень во лбу, а от суда моего не уйдет. Говори: кто виноватый?“

— Швабрин виноватый, — отвечал я. — Он держит в неволе ту девушку, которую ты видел, больную, у попадьи, и насильно хочет на ней жениться.

„Я проучу Швабрина, — сказал грозно Пугачев. — Он узнает, каково у меня своевольничать и обижать народ. Я его повешу“.

¹ Я отвечал, что ехал по своему делу, и что люди его меня остановили. „А по какому делу?“ спросил он меня. Я не знал, что отвечать. Пугачев, полагая, что я не хочу объясняться при свидетелях, обратился к своим товарищам и велел им выдти.

² Не смотря на чувства, исключительно меня волновавшие, общество, в котором я так нечаянно очутился, сильно развлекало мое воображение. Но Пугачев привел меня в себя своим вопросом: „Говори: по какому же делу выехал ты из Оренбурга?“

„Прикажи слово молвить, — сказал Хлопуша хриплым голосом. — Ты поторопился назначить Швабрина в коменданты крепости, а теперь торопишься его вешать. Ты уж оскорбил казаков, посадив дворянина им в начальники, не пугай же дворян, казня их по первому наговору“.

„Ничего их ни жалеть, ни жаловать! — сказал старичек в голубой ленте. — Швабрина сказнить не беда; а не худо и господина офицера допросить порядком: зачем изволил пожаловать. Если он тебя государем не признает, так нечего у тебя и управы искать; а коли признает, что же он до сегодняшнего дня сидел в Оренбурге с твоими супостатами? Не прикажешь ли свести его в приказную, да запалить там огоньку: мне сдается что его милость подослан к нам от оренбургских командиров“.

Логика старого злодея показала мне довольно убедительно. Мороз пробежал по всему моему телу, при мысли, в чьих руках я находился. Пугачев заметил мое смущение. „Ась, ваше благородие? — сказал он мне подмигивая. — Фельдмаршал мой, кажется, говорит дело. Как ты думаешь?“

Насмешка Пугачева возвратила мне бодрость. Я спокойно отвечал, что я нахожусь в его власти и что он волен поступать со мною, как ему будет угодно.

„Добро,“ — сказал Пугачев. — „Дело твое разберем завтра, а теперь скажи, в каком состоянии ваш город“.¹

— Слава богу, — отвечал я, — всё благополучно.

„Благополучно? — повторил Пугачев. — А народ мрет с голоду!“

Самозванец говорил правду; но я по долгу присяги стал уверять, что всё это пустые слухи, и что в Оренбурге довольно всяких запасов.

„Ты видишь, — подхватил старичек, — что он тебя в глаза обманывает. Все беглецы согласно показывают, что в Оренбурге голод и мор, что там едят мертвечину, и то за честь; а его милость уверяет, что всего вдоволь. Коли ты Швабрина хочешь повесить, то уж на той же виселице повесь и этого молодца, чтобы никому не было завидно“.

Слова проклятого старика, казалось, поколебали Пугачева. К счастью Хлопуша стал противоречить своему товарищу. „Полно, Наумыч, — сказал он ему. — Тебе бы всё душить, да резать. Что ты за богатырь? Поглядеть, так в чем душа держится. Сам в могилу смотришь, а дру-

Странная мысль пришла мне в голову: мне показалось, что провидение, вторично приведшее меня к Пугачеву, подавало мне случай привести в действие мое намерение. Я решился им воспользоваться и, не успев обдумать то, на что решался, отвечал на вопрос Пугачева.

— Я ехал в Белогорскую крепость избавить сироту, которую там обижают.

¹ „Добро,“ — сказал Пугачев. — „Теперь скажи, в каком состоянии ваш город“.

гих губишь: офицер к нам волею приехал, а ты уж и вешать его. Разве мало крови на твоей совести?"¹

— Да ты что за угодник? — возразил Белобородов. — У тебя-то откуда жалость взялась?

„Конечно, — отвечал Хлопуша, — и я грешен, и эта рука (тут он сжал свой костливый кулак и, засуча рукава, открыл косматую руку), и эта рука повинна в пролитой христианской крови. Но я губил супротивника, а не гостя; на вольном перепутьи да в темном лесу, не дома, сидя за печью; кистенем и обухом, а не бабьим наговором“.

Старик отворотился и проворчал слова: „рваные ноздри!...“

— Что ты там шепчешь, старый хрыч? — закричал Хлопуша. — Я тебе дам рваные ноздри; погоди, придет и твое время: бог даст, и ты щипцов понюхаешь... А покамест смотри, чтоб я тебе бородашки не вырвал!

„Господа енаралы! — провозгласил важно Пугачев. — Полно вам ссориться. Не беда, если б и все оренбургские собаки дрыгали ногами под одной перекладной: беда, если наши кобели меж собою перегрызутся. Ну, помиритесь“.

Хлопуша и Белобородов не сказали ни слова, и мрачно смотрели друг на друга. Я увидел необходимость переменить разговор, который мог кончиться для меня очень невыгодным образом, и, обратясь к Пугачеву, сказал ему с веселым видом: — Ах! Я было и забыл благодарить тебя за лошадь и за тулуп. Без тебя я не добрался бы до города и замерз бы на дороге.

Уловка моя удалась. Пугачев развеселился. „Долг платежом красен, — сказал он, мигая и прищуриваясь. — Расскажи-ка мне теперь, какое тебе дело до той девушки, которую Швабрин обижает? Уж не зазноба ли сердцу молодецкому? а?“

— Она невеста моя, — отвечал я Пугачеву, видя благоприятную перемену погоды, и не находя нужды скрывать истину.

„Твоя невеста! — закричал Пугачев. — Что ж ты прежде не сказал? Да мы тебя женим и на свадьбе твоей попируем! — Потом, обращаясь к Белобородову: — Слушай, фельдмаршал! Мы с его благородием старые приятели; сядем-ка да поужинаем; утро вечера мудренее. Завтра посмотрим, что с ним сделаем“.

Я рад был отказаться от предлагаемой чести; но делать было нечего. Две молодые казачки, дочери хозяина избы, накрыли стол белой скатертью, принесли хлеба, ухи и несколько штофов с вином и пивом, и я вторично очутился за одною трапезою с Пугачевым и с его страшными товарищами.

Оргия, коей я был невольным свидетелем, продолжалась до глубокой ночи. Наконец хмель начал одолевать собеседников. Пугачев задре-

¹ Сам в могилу смотришь, а других губишь. Разве мало крови на твоей совести?

мал, сидя на своем месте; товарищи его встали и дали мне знак оставить его. Я вышел вместе с ними. *Савельич стоял у ворот, держа наших л шадей.* По распоряжению Хлопуши, караульный отвел меня в приказную избу, где меня оставили с *Савельичем* взаперти.¹ Дядька был в таком изумлении при виде всего, что происходило, что не сделал мне никакого вопроса. Он улегся в темноте и долго вздыхал и охал; наконец захрапел, а я предался размышлениям, которые во всю ночь ни на одну минуту не дали мне задремать.

Публикуемый вариант первой половины XI главы „Капитанской Дочки“ представляет собой беловой текст рукописи, поверх которого Пушкиным нанесены исправления, дающие окончательную редакцию, известную по тексту, напечатанную самим автором в „Современнике“. Беловой рукописи „Капитанской Дочки“ предшествовала полная черновая рукопись, от которой осталась только небольшая часть („Пропущенная глава“, не вошедшая в окончательный текст), так как, повидимому, Пушкин уничтожил ее по мере переписывания. Так точно поступил он с черновиком начала „Дубровского“, клочки которого употребил для набросков плана дальнейшего повествования. Можно предполагать, что весь черновой текст „Капитанской Дочки“ был закончен прежде чем переписывались отдельные главы, и следовательно, данный вариант органически связан с интегральным текстом романа, так как он был закончен в первой, черновой, стадии. Редакция, нам известная, явилась уже после переписки набело как своего рода „заплата“ на первоначальном тексте. Мотивы, по которым она сделана, ясны, и мы к ним вернемся.

По странной случайности, ни один из редакторов не коснулся текста рукописи в данном месте. П. О. Морозов, который привел варианты беловой рукописи, ограничился отдельными случайными выписками. В пределах печатаемого варианта он сообщает только несколько зачеркнутых слов: „остальное“ вместо „остальные“, „одного дитятю“ вм. „одного“, „в Белогорской крепости, у попадьи“ вм. „у попадьи“, „Добре“ вм. „Добро“, „чтоб тебе“ вм. „чтоб я тебе“, „генералы“ вм. „енаралы“, „ссориться из безделицы“ вм. „ссориться“.² Уже не говоря о том, что эти варианты не точны (напр. название „Белогорская“ крепость совершенно отсутствует в беловой рукописи, где везде она обозначена двумя звездочками), они совершенно недостаточны. Приводимая редакция показывает, что, указывая на отдельные зачеркнутые слова, П. О. Морозов пропускал без упоминания целые абзацы текста, не совпадающего с окончательным. Между тем мелочность приводимых Морозовым вариантов создавала впечатление их исчерпывающей полноты, и совершенно естественно, что П. А. Ефремов, сам не смотревший рукописи, пришел к заключению, что она отличается от окончательной редакции лишь пятью небольшими различиями цензурного порядка, „Все остальные различия с рукописью состоят только в отдельных словах, для исправления слога“.³

Между тем данная первоначальная редакция как раз существенна не со стороны стилистической работы, а со стороны изменения основных сюжетных положений.

В первоначальном замысле в центре романа стояло одно лицо, прототипом которого Пушкин избирал то Шванвича, то Башарина. Это был, по замыслу Пушкина, дворянин, перешедший на сторону Пугачева и служивший ему. Цензурные условия заставили Пушкина изменить замысел. Не мог оставаться героем сознательный, добровольный изменник.

¹ Я вышел вместе с ними. По распоряжению Хлопуши караульный отвел меня в приказную избу, где я нашел и Савельича и где меня оставили с ним взаперти.

² „Сочинения и письма А. С. Пушкина“, изд. „Просвещение“, т. V, стр. 633.

³ „Сочинения А. С. Пушкина“, редакция П. А. Ефремова, изд. А. С. Суворина, т. VIII, 1905, стр. 541.

Пушкин решил вывести двух героев, из которых лишь на второго, отрицательного, падает обвинение в измене. Между тем первый должен был подвергнуться суду за сношения с Пугачевым (в этом заключался замысел всего романа), следовательно эти сношения должны были возникнуть без акта измены. Отсюда возникла трудность: свести Гринева и Пугачева, не опорочив Гринева как изменника. Отрицать в этой постановке вопроса наличия цензурных соображений невозможно.

Сравнительно просто разрешался вопрос о первой встрече с Пугачевым (после начала восстания). Уже в планах намечен эпизод помилования Пугачевым пленного офицера за оказанную им ранее услугу. Труднее было со второй встречей. И Пушкин первоначально построил движение романа по четкой и логической схеме, которая и осуществлена в печатаемой здесь редакции.

Получив отказ от Рейсдорпа как-нибудь помочь Марье Ивановне, Гринев решил обратиться к другому лагерю — к самому Пугачеву. В этот лагерь гнали его беспомощное бессилие и трусость оренбургской администрации. Вся картина развала в правительственном лагере должна была подготовить решение Гринева уйти из него. „Страшная мысль“, мелькнувшая в его голове, состояла в том, что он обратится за помощью к самому Пугачеву. После того уже как следующая XI глава была переделана, Пушкин приспособил конец X главы самым простым образом — вычеркнув слово „странная“. Но какая же мысль мелькнула в голове Гринева согласно с окончательной редакцией? В начале следующей главы в окончательном тексте она дана словами самого Гринева: „Я еду в Белогорскую крепость“. Но что же думал делать Гринев в этой крепости один против гарнизона, во главе которого стоял его враг Швабрин? Пушкин этого не разъясняет и не может разъяснить, так как по ходу романа Гринев попадает не в крепость, а в Берду к Пугачеву.

Приступая к XI главе, Пушкин сочиняет эпиграф, приписанный им А. Сумарокову:

В ту пору лев был сыт, хоть сроду он свиреп.
„За чем пожаловать изволил в мой вертеп?“
Спросил он ласково.¹

Этот эпиграф гармонирует именно с первоначальным замыслом: Гринев — гость Пугачева, а не пленник, и как гостя ласково принял его Пугачев.

Так как Гринев ехал прямо к Пугачеву, не понадобилось мотивировать прибытие его в Берду. Окончательная редакция в данном месте несколько нарушает логику и правдоподобие, заставляя Гринева забывать об элементарной предосторожности и выбирать путь в Белогорскую крепость через бердские посты.

Самая встреча Гринева и Пугачева построена на теме добровольного приезда Гринева, которого Пугачев и его сообщники, видимо, принимают за оренбургского эмиссара, явившегося с важными предложениями: „От кого и зачем ты ко мне прислан?“ вот первый вопрос Пугачева. Эта торжественность мало гармонирует с обстоятельствами привода пленника. И в дальнейшем, вытравив везде указания на добровольный приезд Гринева, Пушкин не озаботился ни разу о том, чтобы тема пленения и привода как-нибудь отразилась в диалогах и в развитии действия. Даже напротив: в окончательной редакции не всё вытравлено до конца.

Белобородов говорит: „Если он тебя государем не признает, так нечего у тебя и управы искать“. Между тем, по окончательной редакции Гринев никакой управы у Пугачева не ищет, он просто рассказывает, зачем он ехал в Белогорскую крепость, а Пугачев как бы сам предлагает свои услуги.

¹ Принадлежность этого эпиграфа самому Пушкину разъяснена Т. Г. Зенгер в сборн. „Рукою Пушкина“, 1935 г., стр. 221. Следует отметить, что по тем же основаниям (наличие предварительного черновика) можно утверждать, что Пушкиным сочинен эпиграф к XIII главе, приписанный им Княжину. По поводу этого эпиграфа в „Путеводителе по Пушкину“, 1931 г., сказано: „источник эпиграфа к XIII главе не установлен“ (стр. 180).

„Но я губил супротивника, а не гостя“, — говорит Хлопуша. Эпитет „гость“ менее всего приложим к Гриневу, схваченному при попытке прорваться сквозь заставы. Это не-ястребленный след первой редакции.¹

Стройность и логичность первой редакции делают ее качественно по меньшей мере равной окончательной редакции, которая вызвана желанием смягчить обстоятельства, при которых происходили сношения Гринева с Пугачевым. Пушкину необходимо было привести Гринева к Пугачеву помимо его доброй воли и снять с Гринева обвинение в сознательно изменническом сношении с врагом-бунтовщиком.

Однако, как ни соблазнительно введение этой редакции в дефинитивный текст, от этого осторожнее было бы отказаться, так как нет окончательной уверенности, что последние главы белой редакции не выработывались уже с учетом переработки XI главы. Именно последние главы подверглись, повидимому, серьезному изменению при переписке, и в частности исключена глава о крестьянском восстании в имени Гринева, содержащая один из центральных эпизодов первоначального замысла, отразившегося в планах романа.² Повидимому, это было не единственное изменение, внесенное в архитектуру романа, каким он был в черновой рукописи.

Вероятно, мотив добровольного и сознательного обращения Гринева к Пугачеву должен был яснее прозвучать в сценах допроса в Следственной комиссии и в разговоре Марьи Ивановны с Екатериной. Повидимому, эти главы Пушкин переписывал и одновременно перерабатывал уже после того, как была переработана XI глава. Эти соображения заставляют сохранять в основном тексте традиционную редакцию. В частности, с первоначальной редакцией непримиримы слова Зурина в конце XIII гл., замечания о наездничестве в начале XIV гл., замечания в той же главе о том, что Гринева „мог оправдаться, когда бы только захотел“, и, наконец, самый характер развязки, в которой говорится не о помиловании Гринева, а об его оправдании.

В виду особого характера воспроизводимого здесь текста, который интересен общей архитектурой, а не деталями, и отличается от традиционного текста сравнительно небольшими фразеологическими разночтениями, он воспроизводится без соблюдения дипломатической пунктуальности передачи, а именно: 1) весь текст дается по новой орфографии, согласно правилам, принятым в академическом издании; 2) фразеологические разночтения выделяются курсивом, чтобы читателю не трудно было проследить работу Пушкина; окончательная редакция дана под строкой; 3) детали текста согласованы с окончательной редакцией; так, например, принято во внимание, что форма „Андреевич“, систематически употребляемая в рукописи, была для печати заменена живой разговорной формой „Андрейч“. Нашей задачей явилось воспроизведение этого текста так, как пришлось бы его печатать в составе романа, если бы Пушкин не переделал данной главы.

Б. Томашевский.

¹ Ср. выражение „подослан к нам“, мало применимое к схваченному пленнику.

² Самый текст этой главы показывает, что и в первых главах многое было изменено; например, совершенно устранен Ванька, второй слуга Гринева. Этот Ванька упоминается в зачеркнутых вариантах белой рукописи в эпизоде первой главы — в симбирском трактире. К сожалению это упоминание не дает ничего к обрисовке его роли в романе. Только по цитате из „Послания к слугам“ Фонвизина, примененной к характеристике Савельича, можно догадываться, что Ванька Пушкина был сродни протестующему Ваньке Фонвизина.



ОТРЫВОК ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ РЕДАКЦИИ ПЕРВОЙ ГЛАВЫ „ИСТОРИИ ПУГАЧЕВА“

ВВЕДЕНИЕ. БОЛДИНО 1833 года¹

25 марта

Начало Яицких казаков

№ I

17 апреля 1 глава о Пугачеве.²

велено³ им было ехать в Польшу и под Ригу заслуживать свои вины —
(Стенька Разин)

Предание,⁴ согласное с Татарск^(им) Летописцем, сохранило память об отважн.^(ом) подвиге двух яицких атаманов:⁵ казак, по прозванию Нечай, собрав⁶ 500 человек возна^(ме)рился идти⁷ в Хиву в надежде на богатую добычу. — Он отправился вверх по Яику и отъехав несколько верст вышел на берег и в горах по казачьему обычаю составя круг⁸ или совет объявил товарищам о своем предприятии⁹ и предложил рассуждать о средствах исполнить оное. — Дьяк или писарь тут находившийся осмелился говорить¹⁰ о предстоящих опасностях.¹¹ Нечай озлобленный противуречием велел его повесить¹² как малодушного.¹³ Место казни¹⁴ донныне называется Дьяковой горою. — Казаки отправились в трудный путь и достигли Хивы. Счастье благоприятствовало Нечаю.¹⁵ — Хивинский хан с войском своим

¹ Введение. Болдино 1833 года *позднейшая надпись чернилами. Всё дальнейшее карандашом.*

² Введение *до* о Пугачеве *надпись на обложке.*

³ *Начало утрачено.*

⁴ *Начато было:* Около того же времени Яицкий казак

⁵ память двух отважных атаманов

⁶ Нечай став

⁷ пошел

⁸ вышел на берег дабы составить *круг*

⁹ объявил о своем предприятии дабы

¹⁰ осмелился предст^(авить?)

¹¹ говорить о дерзости такого предприятия, а об опасностях

¹² Озлобленный Нечай его повесил

¹³ за малодушие и

¹⁴ *а.* Горы *б.* Место происшедствия

¹⁵ Нечаю. — Он овла^(дел)

находился тогда на войне, в Хиве¹ оставались одни женщ(ины), старики да дети.² — Нечай овладел городом безо всякого препятствия. Казаки разделили³ между собою ханских жен и сокровища,⁴ зажились⁵ в Хиве, и поздно выступили в обратный поход. Обремененные тяжелой добычей, они были настигнуты возвратившимся Ханом на берегу Сыр-Дарьи,⁶ в самое то время как Нечай⁷ готовился⁸ к переправе. — Казаки⁹ обоялись храбро, но наконец были разбиты и истреблены.¹⁰

Не более трех казаков возвратилось¹¹ в Яицкое войско и объявило о гибели храброго¹² Нечая. — Но долго молва¹³ о богатстве Хивы носилась¹⁴ между казаками подстрекая корыстолюб(ив)ое их¹⁵ молодечество — и несколько лет после, один из их¹⁶ атаманов по прозванию Шама, набрав до 300 чел. товарищей, пустился по¹⁷ следам Нечая. — Но сей поход¹⁸ был¹⁹ несчастливее еще первого. — Казаки зимовали на р. Илеке, и весной отправились по степи. — Не зная дороги,²⁰ они захватили²¹ двух молодых калмыков, рывших ямы для ловли зверей, и употребили²² их в провожатые. — Калмыки кочевавшие в степи озлобились и решились²³ их погубить.²⁴ Они скрылись²⁵ в низкой долине окруженной высотами, на которых нарочно высланные люди²⁶ рыли землю и бросали ее вверх. — Казаки увидя их издали, почли их за охотников и толпою поскакали за ними.

1 [Нечай] в Хиве кроме жен(щин)

2 одни старики да жены да дети

3 женились (?) разделили

4 жен и добычу — сокро(вища)

5 жили

6 на берегу реки Сыр-Дарьи

7 как вся

8 готовился через

9 Нечай

10 а. Но наконец легли с предводителем своим и из б. но наконец пали и вместе с прочими

11 Спаслись два или три казака, которые возвратились

12 дерзкого

13 Но долго слух

14 не умолкал

15 подстрекая их воинстве(вное)

16 один из них

17 пустился к

18 Но сей второй поход

19 еще был

20 Не зная дорог

21 они взяли в плен

22 употребляли

23 Калмыки озлобясь реш(или?)

24 озлобились и погубили их.

25 Они выслали несколько

26 высотами и выслали [в(перед)] на встречу казакам, людей

в погоню¹ — к тому самому месту где калмыцкое войско² их ожидало. — Шамай³ скакавший впереди был захвачен с несколькими казаками. Калмыки освободили всех⁴ кроме Атамана, требуя вместо выкупа⁵ выдачи двух молодых пленников.⁶ — Но наказной атаман, заступивший место Шамаю, отвечал, что атаманов у них много, а без вожатых быть им не лъзя — и с тем они отправились далее. — Но пришед к Сыр-Дарии, сбились с дороги на Хиву и попали⁷ к Уральскому морю, на котором и принуждены⁸ были зимовать.⁹ — Вскоре сказался у них недостаток в съестных припасах. Между тем настал голод. — Несчастные бродяги убивали и ели друг друга. — Многие перемерли. — Остальные стали наконец просить хивинского хана что(б) он их принял и спас от смерти.¹⁰ Хивинцы¹¹ приехали за ними и забрали всех. — Там они и пропали. — Шамай же, несколько лет спустя, привезен был калмыками в Яицкое войско,¹² вероятно для размена. С тех пор¹³ у казаков охота к разбоям,¹⁴ к дальним походам охладела.¹⁵ — Они послушнее стали нести службы¹⁶ по наряду Русск.(ого) начальства.¹⁷ —

Печатается впервые по рукописи, вложенной в беловой автограф „Истории Пугачева“, хранящейся в Публичной библиотеке имени В. И. Ленина в Москве (№ 2390, тетрадь первая, лл. нумерованные 3—6). Отрывок является вариантом 6-го, 7-го, 8-го абзацев и 5-го примечания первой главы „Истории Пугачева“. В первом из указанных абзацев почти дословно повторена начальная фраза отрывка: „Им велено было ехать в Польшу и под Ригу, заслуживать там свои вины“; следующий абзац (7-й) в отрывке намечен лишь конспективно („Стенька Разин“); напротив, 8-й абзац, начинаясь опять с тех же слов, что и соответствующая часть отрывка („Предание, согласное с Татарским Летописцем“), находит себе в нем ряд существенных дополнений. Содержащийся здесь эпизод о двух хивинских походах яицких казаков имеет первоисточником ту самую выписку из „Топографии Оренбургской“ Рычкова, которую Пушкин счел нужным присоединить к окончательной краткой редакции эпизода (в 8-м абзаце первой главы) как примечание (5-е). Наш отрывок — всего только более подробный, чем в окончательном тексте,

1 за ними — но

2 где калмыки

3 Атаман

4 Калмыки пле(нных)

5 а за вык(уп)

6 пленных

7 сбились с дороги и пришли

8 где принуждены

9 зимовать [и терпеть]. Съестные припасы

10 а. Остальные решились послать молить б. Остальные решились послать в Хиву, молить хана о [принятии их] спасении в. с просьбою чтоб он принял и спас от смерти

11 Услышав о том хивинцы

12 войско и

13 После уже

14 а. С тех пор охота к [не(й)] ходить на Хиву б. С тех пор уж казаки

15 охота к ней охладела

16 а. нести повеле(ния?) б. нести наряже(нные) службы

17 по наряду на(чальства?)

25 марта

Начало первой главы

А. И.

17 ^{1 м} август открыть

Начало первой главы — Кавказ — Кавказ — Кавказ —
Дардан — стены Рим — Иван и Шаман — взрыв
морские матри перво — до применения — ваши
1771 года — 6

Начало первой главы „Истории Пугачева“ (в первой редакции).

Всесоюзная Библиотека им. В. И. Ленина, № 2390, тетр. 2.

пересказ этой выписки. Укажем, что именно заимствовано из нее в отрывок (сверх использованного в краткой печатной редакции): подробность о численности отряда Нечая (в 500 человек); предание о Дьяковых горах; дележ между казаками в завоеванной Хиве хавских жен; приурочение нападения хана к моменту переправы казаков через Сыр-Дарью; численность отряда Шамаа (в 300 человек); зимовка его отряда на реке Илеке, и, наконец, весь эпизод о столкновении Шамаа с калмыками. Опустив все эти подробности при окончательной переработке первой главы „Истории“, Пушкин сохранил их лишь в виде цитаты из первоисточника (в примечании). Впрочем, такое перемещение материала явилось не сразу.

Отрывок написан, как явствует из предшествующей ему даты, 17 апреля 1833 г., вслед за отделом, для которого выписаны только заглавие („Начало Яицких казаков“) и дата (25 марта), указывающие, должно быть, на запись в какой-то другой тетради предшествующих данному отрывку разделов первой главы, тоже, вероятно, в более пространной редакции, чем печатная. Отрывок относится, таким образом, к самому раннему периоду работы Пушкина над „Историей“. И тем не менее, как явствует из позднейшей приписки чернилами, даже в болдинский период работы над Пугачевым, т. е. при подведении почти что итогов, этот отрывок всё еще отброшен не был, а лишь переместился из первой главы в предполагавшееся „Введение“. Окончательно из текста „Истории“ публикуемый отрывок исчез лишь в том беловом автографе, который выработан был к концу ноября 1833 г., а около 6 декабря был передан Бенкендорфу для Николая I.

Чем тут вызвано было сокращение отрывка о походах на Хиву? Едва ли только стремлением к краткости. В беловом автографе „История Пугачева“ не имеет еще, как известно, второй части печатной редакции, но зато первая там подразделена на „том первый“ (главы I—V) и „том второй“ (главы VI—VIII), каждый из которых так в сущности невелик, что нарочитые сокращения были бы в них излишни. Причиной сокращения скорее могла быть сомнительность „Топографии Оренбургской“ как исторического источника; ее строго критиковал Левшин, труд которого отличается, по отзыву Пушкина, „истинною ученостию и здравой критикою“. Под влиянием критики Левшина „баснословие Рычкова“ и могло показаться Пушкину сомнительным не только в рассказе о Гутнике, но и в рассказе об атаманах Нечая и Шамаа. Наконец, мог Пушкин руководиться и предписаниями царской цензуры: отыскивать корни пугачевщины в истории яицкого казачества с его духом независимости и „молодечества“ не входило, конечно, в задачи официальной исторической географии Николая I, видевшего в „пугачевщине“ только подлежащий усмирению бунт.

В. Л. Комарович.



ЗАПИСИ УСТНЫХ РАССКАЗОВ О ПУГАЧЕВЩИНЕ

I

«КАЗАНСКАЯ ЗАПИСЬ»

Казань 6 с(е)нт.⟨ября⟩ В. Петр. Бабин.

Пуг.⟨ачев⟩ с Арск.⟨ого⟩ поля послал сволочь свою на 3-ю гору или на немецкое кладбище. Там находилась суконная слобода. Фабриканты разного были звания, стрельцы, мещане etc. — Иные в башмаках с пряжками, в шляпе *на 3 угла* etc. — Башкирцы пустили в них стрелами словно хмелем. Тут была одна чугунная пушка, ее разорвало, канонера убило — едва успели раз выпалить. — Суконщики, ободряемые преосв. Вениамином хотели защищаться рычагами и чем ни попало — но башкирцы зажгли слободу и бросились в улицы. — Пуг.⟨ачев⟩ запретил колоть народ, но Башк.⟨ирцы⟩ его не слушались. — Мать Бабина, брося во ржи двух дочерей и неся в подоле годового сына, бросилась в ноги козаку. — Матушка, сказал он ей; ведь Башк.⟨ирец⟩ убьет же тебя. — Казанка запружена была телами жителей гонимых в лагерь. — Кудрявцев, столетний старик, на носилках вынесен был в церковь¹ близ его загородного дома находившуюся. — Он был забит нагайками. — Народ пригнанный в лагерь Пугач⟨ева⟩ поставлен был на карачки перед пушками, бабы и дети подняли вой. — Им объявили прощение государево. — Все закричали ура! и кинулись к его ставке. — Потом спрашивали: кто хочет в службу к гос.⟨ударю⟩ Петр.⟨у⟩ Фед.⟨оровичу⟩. — Охотников нашлось множество. —

Против Шарной горы у Горлова кабака поставлен⟨а⟩ была пушка. — Пуг.⟨ачев⟩ к горе подошел лесом и рассыпавшись по Арскому полю и по третьей горе ворвался в Казань. —

Казни после Пуг.⟨ачева⟩ были ужасные, вешали за ребро, сажали на кол(?) etc. Рели стояли лет 10 после Пуг.⟨ачева⟩ и петли болтались. — Фабриканты, кулачные бойцы, приняли было худо вооруженную сволочь в рычаги, в ружья и сабли, но Пуг.⟨ачев⟩, заняв Шарную гору, пустил по ним картечью. — Веньямин успел уехать в крепость из [своего] архиерейского дома. — Народ, возвратясь из плена, нашел всё верхь дном. — Кто был богат очутился нищим, кто был скуден — разбогател.

¹ После церковь оставлен пробел для названия церкви.

Казак, при Пуг. <ачеве>, стал сымать башмаки с отца Бабинова — и как они пришлись не в пору, бросил их ему в лицо.

Печатается по автографу (из 6. собрания Л. Н. Майкова), хранящемуся в Пушкинском Доме Академии Наук СССР (№ 370). Впервые текст этот отмечен В. И. Срезневским, с неверной, однако, аннотацией: „набросок главы 7-ой“ („Истории Пугачева).¹ „Наброском“ „Истории Пугачева“ отрывок ни в коем случае признать нельзя. Дата: „Казань 6 с(е)н-т.<ября>“ и указание на лицо, со слов которого текст записан, не оставляют сомнения в том, что это за текст. „Я в Казани с 5“, писал оттуда Пушкин жене 8 сентября 1833 г., т. е. два дня спустя после того как был записан публикуемый текст. — „Здесь я возился со стариками, современниками моего героя, объезжал окрестности города, осматривал места сражений, расспрашивал, записывал...“ Из опрошенных Пушкиным казанских „стариков“ до сих пор известен был только один — купец Л. Ф. Крупеников.² К Крупеникову надо теперь присоединить названного в начале отрывка В. П. Бабина. К сожалению, никаких биографических сведений о нем отыскать не удалось. Но из самой записи видно, что отец и мать В. П. Бабина были взрослыми очевидцами взятия Казани Пугачевым, а сам В. П. Бабин был в то время ребенком и, следовательно, к 1833 г. имел от роду, во всяком случае, не менее 60 лет, т. е. и был, очевидно, одним из тех „стариков“, с которыми „возился“ в Казани Пушкин. Дата записи дополняет, с другой стороны, скудные сведения о пребывании Пушкина в Казани вообще. Пушкин там пробыл в сентябре 1833 г. около двух суток, прибыв туда в ночь с 5-го на 6-е и уехав рано утром, 8-го.

Второй день его пребывания в Казани, 7 сентября, достаточно подробно освещен „Воспоминаниями“ А. А. Фукса. Напротив, „первая половина казанского пребывания Пушкина, т. е. 6 сентября, в воспоминаниях Фукса совершенно отсутствует“ и биографами Пушкина описывалась до сих пор почти сплошь по догадкам: „Пушкин первую половину дня шестого сентября употребил на то, чтобы разыскать Баратынского (если он не въехал к нему прямо) и на то, чтобы сделать некоторые официальные визиты, например, губернатору... Если губернатор его приглашал к обеду, то этот обед мог иметь место только шестого сентября, потому что седьмого Пушкин обедал у Э. П. Перцова... Что делал Пушкин шестого вечером мы не знаем. Вероятно, он провел его в обществе своего старого друга Е. А. Баратынского“.³ Дата публикуемой нами записи с несомненностью устанавливает другое, — что уже 6-го Пушкин приступил к главной цели своей поездки, к отысканию и опросу „современников своего героя“. Не исключена, однако, возможность, что с Бабиным свел Пушкина именно Баратынский. „Кстати о Пушкине“, писал Н. М. Языкову 3 октября 1833 г. Д. Давыдов: „знаете ли, что я слышал от людей, получивших письма из Казани? В Казани были Пушкин и Баратынский, отыскивающие сведения о Пугачеве“.⁴ Обращаясь к самой записи от 6 сентября, отметим, прежде всего, что рассказ Бабина приурочен к тому самому Арскому полю, куда на другой день, 7-го, Пушкин, после проводов Баратынского, нарочно ездил на дрожках; да и упоминаемый в записи (как позже в самой „Истории“) „Горлов кабак“ едва ли не подразумевается в словах Пушкина из письма к жене 12 сентября: „Я таскался по окрестностям, по полям, по кабакам...“ Выбор для осмотра окрестностей был, очевидно, предуказан до некоторой степени Бабиным.

Если с публикуемой записи началось, таким образом, наглядное ознакомление Пушкина с казанскими событиями 1774 г., то нет ничего удивительного, что и дальше Пушкин широко ею пользовался, — в самом уже тексте „Истории Пугачева“. В седьмой

¹ „Пушкин и его современники“, вып. IV, 1906, стр. 31.

² Пушкин, „Письма“, т. III, 1935, под ред. А. Б. Модзалевского, стр. 622.

³ См. Е. Бобров, „Пушкин в Казани“. „Пушкин и его современники“, вып. III, 1905, стр. 17, 18.

⁴ „Русская Старина“, 1884, № 7, стр. 143—144.

главе этой последней, на ряду с рапортами Михельсона и биографией Кудрявцева из бумаг Бантыша-Каменского, тщательно использована также запись рассказа Бабина. Многое отсюда Пушкин просто перенес туда дословно.

Рассказ Бабина

Суконщики, ободряемые преосв. Вениамином, хотели защищаться рычагами и чем ни попало.

Тут была одна чугунная пушка, ее разорвало, канонера убило — едва успели выпалить.

Народ пригнанный в лагерь Пугачева поставлен был на карачки перед пушками, бабы и дети подняли вой. — Им объявили прощение государево. — Все закричали ура! и кинулись к его ставке.

„На карачки“ заменено более литературным „на колена“, „баб“ заменили „женщины“, а прощение Пугачева лишилось эпитета „государево“. Скупость Пушкина на диалектизмы своего источника видна и дальше.

Рассказ Бабина

Башкирцы пустили в них стрелами словно хмелем.

Народ, возвратясь из плена, нашел всё верхь дном. — Кто был богат — очутился нищим, кто был скуден — разбогател.

Наконец, в одном случае, в рассказе о столетилетнем Кудрявцеве, устной версии Бабина явно предпочтена литературная версия Бантыша-Каменского (ср. примечание 3 к гл. 7), может быть из соображений цензурных:

Рассказ Бабина

Он был забит нагайками.

Тем не менее, рассказу Бабина, среди источников 7-й главы, бесспорно принадлежит первое место.

„История Пугачева“

Суконщики..., ободряемые преосвященным Вениамином, вооружились чем ни попало... Суконщики приняли было их в рычаги...

Но их пушку разорвало с первого выстрела и убило канонера.

Народ пригнанный в лагерь, поставлен был на колена перед пушками. Женщины подняли вой. Им объявили прощение. Все закричали ура! и кинулись к ставке Пугачева.

„История Пугачева“

Башкирцы, с Шорной горы, пустили в них свои стрелы.

Спешили разделиться кое-как. Люди зажиточные стали нищими; кто был скуден, очутился богат.

„История Пугачева“

Злодеи умертвили его на церковной паперти.

II

«ОРЕНБУРГСКИЕ ЗАПИСИ»

Бунтовщики 1771 года посажены были в лавки Мен.⟨ового⟩ двора. — Около Сергиева дня, когда наступил сенокос, их отпустили на Яик. — Садясь в телеги они говорили при всем торжище: То ли еще будет? так ли мы тряхнем Москвою? — Молчать, курвины дети, говорили им Ор.⟨енбургские⟩ казаки их сопровождавшие, но они не унимались. *Папков в (Переволоцкой) Сарочинской.*

Он привел кн. Галицына к Сарочинской кр.⟨епости⟩, но она уже была выжжена. Гал.⟨ицын⟩ насыпал ему рукавицу полную денег.

В Татищ.⟨евою⟩ Пугач.⟨ев⟩ пришед вторично спрашивал у атамана, есть ли в кр.⟨епости⟩ провиант. — Ат⟨аман⟩, по предварительной просьбе старых казаков, опасавшихся голода, отвечал что нет. — Пуг.⟨ачев⟩ пошел сам освидетельствовать магазины, и нашед их полными, повесил атамана на заставах. Елагину взрезали грудь, и кожу задрали на лицо. —

Ли. Фед. Елагина выдана была в Озерную за Харлова весною. — Она была красавица, круглолица и невысока ростом. *Матрена в Татищ.⟨евою⟩.*

Из Озерной Харлов выслал жену свою 4 дня перед Пуг.⟨ачевым⟩, а пожитки свои и всё добро спрятал¹ в подвале у Киселева. Пугачева пошли казаки встречать за 10 верст. Харл.⟨ов⟩ (хмельной) остался с малым числом гарниз.⟨онных⟩ солдат. Он с вечеру начал палить из пушек. — Билов услышал пальбу из Чесноковки (15 в.) и воротился, полагая, что Пуг.⟨ачев⟩ уже кр.⟨епость⟩ взял. — Поутру Пугачев пришел. Казак стал остерегать его. — Ваше ц.⟨арское⟩ в.⟨еличество⟩, не подъезжайте, неровно из пушки убьют. — Старый ты человек, отвечал ему Пугачев, разве на царей льются пушки? Харл.⟨ов⟩ приказывал стрелять — никто его не слушал. Он сам схватил фитиль и выстрелил по неприятелю. — Потом подбежал и к другой пушке — но в сие время бунтовщики ворвались. — Харлова поймали и изранили. Вышибленной ударом копья глаз у него висел на щеке. — Он думал откупиться, и повел казаков к избе Киселева. — Кум, дай мне 40 рублей, сказал он. — Хозяйка всё у меня увезла в Ор.⟨енбург⟩. Кис.⟨елев⟩ смутился. — Казаки разграбили имущество Хар⟨лова⟩.² — Дочь Кис.⟨елева⟩ упала к ним в ноги — говоря: Государи, я невеста, это сундук мой. Каз.⟨аки⟩ его не тронули. — Потом повели Харл.⟨ова⟩ и с ним 6 чел. вешать в степь. Пугачев сидел перед релями — принимал присягу. Гарнизон стал просить за Харлова, но Пугачев был неумолим. — Татарин Бикбай, осужденный за шпионство, взошед на лестницу спросил равнодушно: какую петлю надевать? — Надевай какую хочешь, отвечали казаки — (не видал я сам, а говорили другие, будто бы

¹ Было начато: за ⟨?⟩

² Хар⟨лова⟩ исправлено из написанного по ошибке Пугачева.

тут он перекрестился). Пугачев был так легок, что когда он шел по улице к магазинам, то народ не успевал за ним бегом. — Он, проезжая по Озерной к жене в Яицк, останавливался обыкновенно у каз.⟨ака⟩ Полежаева, коего любил за звучный голос, большой рост и проворство.

Под Ил.⟨ецким⟩ гор.⟨одком⟩ хотел он повесить Дмит. Карницкого, пойманного с письмами от Сим.⟨анова⟩ к Рейнс.⟨дорпу⟩. На лестнице Карн.⟨ицкий⟩, обратясь к нему, сказал: Гос.⟨ударь⟩, не вели казнить, вели слово молвить. — Говори, сказал Пугачев. — Гос.⟨ударь⟩, я человек подлый, что прикажут, то и делаю; я не знал, что написано в письме, которое нес. Прикажи себе служить, и буду тебе верный раб. — Пустить его, сказал Пуг.⟨ачев⟩, умеешь ли ты писать? — Умею, гос.⟨ударь⟩, но теперь рука дрожит. — Дать ему стакан вина, сказал Пуг.⟨ачев⟩. — Пиши указ в Рассыпную. — Карн.⟨ицкий⟩ остался при нем писарем и вскоре стал его любимцем. — Уральск.⟨ие⟩ каз.⟨аки⟩ из ревности, в Тат.⟨ищевой⟩ посадили его в куль да бросили в воду. — Где Карн.⟨ицкий⟩, спросил Пугачев. — Пошел к матери по Яику,¹ отвечали они. Пугачев махнул рукою и ничего не сказал. — Такова была воля яицк.⟨им⟩ казакам! —

В Озерной.

В Берде Пуг.⟨ачев⟩ был любим; его казаки никого не обижали. Когда прибежал он из Тат.⟨ищевой⟩, то велел разбить бочки вина, стоявшие у его избы, дабы драки не учинилось. Вино хлынуло по улице рекою. Оренбурцы после него ограбили жителей. —

Старуха в Берд.⟨е⟩.

Пугачев на Дону таскался в длинной рубашке (турецкой). Он нанялся однажды рыть гряды у казачки — и вырыл 4 могилы. В Озерной узнал он одну дончиху, и дал ей горсть золота. Она не узнала его. По наговору яицк.⟨их⟩ казаков, велел он расстрелять в Берд.⟨е⟩ Харлову и 7-летнего брата ее. — Перед смертью они *сползлись* и обнялись — так и умерли, и долго лежали в кустах. — Когда Пугачев ездил куда-нибудь, то всегда бросал народу деньги. — Когда под Тат.⟨ищевой⟩ разбились Пугачева, то *яицк.⟨ких⟩* прискакало в Оз.⟨ерную⟩ израненных, — кто без руки, кто с разрубл.⟨енной⟩ головою — человек 12, кинулись в избу Бунтихи. Давай, старуха, рубашек, полотенец, трепья — и стали драть, да перевязывать друг у друга раны. — Старики выгнали их дубьем. А гусары галицынские и *Хорва⟨та⟩⟨?⟩ так и ржут по улицам, да мясничат их.* Когда разлился Яик, тела поплыли вниз. Казачка Разина, каждый день прибревши к берегу, пригребала палкою к себе мимо плывущие трупы, пер.⟨е⟩ворачивая их и приговаривая: — Ты ли, Степушка, ты ли, мое детище? Не твои ли черны кудри свежа вода моет? — Но видя, что не он, тихо отталкивала тело и плакала. К Пуг.⟨ачеву⟩ привозили

¹ к матери в Яицк.

ребят. — Он сидел между двумя казаками, из коих один держал серебряный топорик, а другой булаву. — у Пугачева рука лежала на колене — подходящий [крестясь] кланялся в землю, а потом перекрестясь, цаловал его руку. — Пугачев в Яицк.⟨е⟩ сватался за ¹, но она за него не пошла. — Устинью Кузн.⟨щову⟩ взял он насильно, отец и мать не хотели ее выдать: она-де простая казачка, не королевна, как ей быть за государем (в Берде от старухи).

Федулев, недавно умерший, вез однажды Пугачева, пьяного — и ночью въехал было в Ор.⟨енбург⟩.

Когда казаки решились выдать Пугачева, то он подозвал Творогова, велел ему связать себе руки, но не назад, а вперед. — Разве я разбойник, говорил Пугачев.

В Татищ.⟨еюй⟩ Пугачев за пьянство повесил Я.⟨ицкого⟩ казака.

Печатается по автографу (из 6. собрания Л. Н. Майкова), хранящемуся в Пушкинском Доме Академии Наук СССР (№ 371).

Отрывок из этой рукописи (от слов: „Пугачев на Дону таскался“ до слов: „В Берде от старухи“) опубликован во „Временнике Пушкинской комиссии“, т. II, 1936, стр. 434—435. Полностью рукопись публикуется впервые.

По первому впечатлению можно бы думать, что это и есть запись, сделанная Пушкиным 19 сентября в Бердах при опросе стариков и старух, собранных, по специальному распоряжению оренбургского губернатора В. А. Перовского, бердинским атаманом И. В. Гребенщиковым, как рассказывает об этом в своих „Воспоминаниях“ присутствовавший при опросе Кайдалов, чему как-будто соответствует заключительная часть текста, записанная, согласно помете Пушкина, „в Берде от старухи“, т. е. от той самой Бунтовой, о посещении которой Пушкиным в Бердах известно из его письма к жене от 2 сентября 1833 г., из „Воспоминаний“ Даля, из оренбургских писем Ворониной и рассказа Блиновой.²

Против такого объяснения печатаемых записей есть, однако, ряд веских возражений.

Записи сделаны на отдельных листах, а не в записной книжке, которую твердо запомнил в руках у Пушкина в Бердах Кайдалов („По входе в комнату Пушкин сел к столу, вынул записную книжку и карандаш и начал расспрашивать стариков и старух и рассказы их записывал в книжку“). К тому же другая бердинская запись Пушкина, действительно, сохранилась в записной книжке.³

Противоречат бердинскому происхождению всего текста в целом и пометы Пушкина под отдельными записями: „Папков в (Переволоцкой) Сарочинской“, „Матрена в Татищ.⟨еюй⟩“ или заголовок: „В Озерной“. Через все эти названные Пушкиным в рукописи места — через Сарочинскую и Переволоцкую на пути в Оренбург, через Татищеву и Озерную (Нижне-Озерную) на пути в Уральск — Пушкин в 1833 г. проезжал несомненно. С каждым из названных им мест и надо, следовательно, связывать соответствующую в нашем тексте запись; а действительно бердинской надо признать из них лишь последнюю. Что Пушкин в Оренбургском крае успел сделать записи о Пугачеве не в одной Берде — подтверждается его словами в письме к жене от 2 октября 1833 г. об атамане и казаках Уральского: „наперерыв давали мне все известия, в которых имел нужду“. Беловой, наконец, характер рукописи позволяет окончательно признать в ней не записи собственно со слов рассказывавших, а свод таких записей по черновикам. Такой свод мог быть сделан Пушкиным

¹ После за оставлен пробел для имени.

² См. Д. Н. Соколов, „Пушкин в Оренбурге“. „Пушкин и его современники“, вып. XXIII—XXIV, 1916, стр. 79—80.

³ См. сборн. „Рукою Пушкина“, 1935, стр. 339.

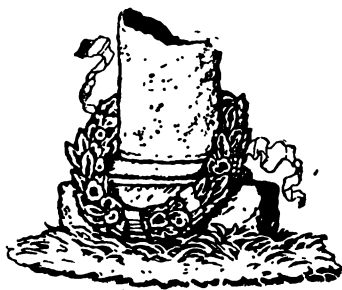
тотчас же по приезде в Болдино, откуда уже 2 октября писал он жене: „Прости — оставляю тебя для Пугачева“.

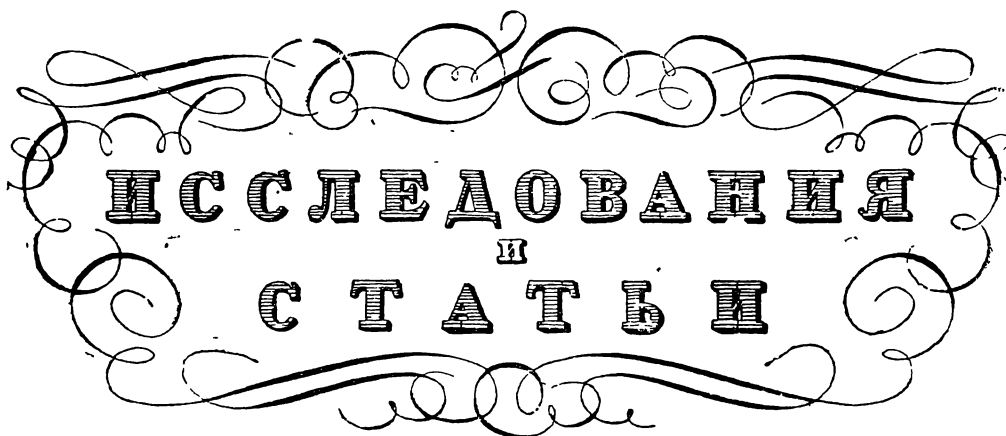
Этот свод оренбургских записей широко использован был затем в „Истории Пугачева“; туда вошло из них почти всё, но в самом прихотливом размещении.

Слышанная от Папкова угроза бунтовщиков 1771 г. „тряхнуть Москвой“ использована в конце I главы „Истории“. Рассказ Матрены в Татищевой (об Елагине, его дочери, о Харлове и татарине Бикбае) использован в главе II; рассказ о Карницком — в главе III; о розлитых в Берде бочках вина — в главе V; о вырытых Пугачевым могилах со слов Бунтовой повторен в 1-м примечании к главе II; ее же рассказы вошли: о Харловой и ее 7-летнем брате, о бросании Пугачевым денег в народ, о суде Пугачева — в главу III; об Устинье Кузнецовой, о беглецах из Татищевой в Озерную и о казачке Разиной — в главу V (с переносом последнего эпизода, под давлением Николая I, в примечания); о Федулеве — в примечания к главе III; о Творогове — в главу VIII.

Не вошли в „Историю“ ни эпизод о рукавице с насыпанными Голицыным деньгами, ни эпизод о „куме“ Харлова, Киселеве; смягчена по соображениям цензуры расправа с казаками Голицынских гусар („мясничат их“) и вовсе отброшена подробность о том, что после победы Голицына над Пугачевым „Оренбурцы“, т. е. сторонники правительства Екатерины, ограбили жителей Берды. Так, подобно казанской записи со слов Бабина, и оренбургские записи Пушкин использовал в своей „Истории“ с величайшей тщательностью и особым доверием, как источник, давший ему право сослаться в последней фразе своего труда на народ и народную память.

В. Л. Комарович.





**ИССЛЕДОВАНИЯ
И
СТАТЬИ**



Акад. М. М. ПОКРОВСКИЙ
ПУШКИН И АНТИЧНОСТЬ

Этюды о Пушкине и античности не имеют своей задачей разрешить все вопросы, связанные с этой обширной темой. Для этой цели еще не хватает некоторых предварительных работ как по собиранию материала, так и по его освещению. Но и то, что в этом направлении сделано, свидетельствует о глубоком увлечении Пушкина античностью.

Не говоря уже о том, что некоторые любимые античные писатели, так сказать, сопровождают Пушкина, начиная с лицейских лет до самой его смерти, — он часто обращался к ним в решающие моменты своей жизни и творчества и иногда сливался с ними до такой степени, что говорил о себе их языком, например языком Овидия о своей ссылке в Бессарабию и языком Тацита о своем положении в Михайловском.

Подводя итоги своей работе, он вспоминает о „Памятнике“ Горация.

С глубоким волнением переживая повсеместную победу самодержавия над народными движениями, работая над „Борисом Годуновым“, он страстно читает „Анналы“ Тацита, и они дают ему ответ на его политические запросы и сообщают некоторые факты, важные для его драмы.

Но и этого мало. Пушкин оставил нам много метких и глубоких отзывов о различных представителях античной литературы. Естественно возникает вопрос о том, под какими влияниями зародилось в нем увлечение античной литературой и как он, в соответствии с ходом собственного развития, реагировал на суждения об античности, высказанные его учителями-французами.

В юности он считал своего учителя Вольтера прирожденным великим поэтом, впоследствии он отказывает ему в поэтическом даровании. Вольтер был для него велик как трагик („соперник Эврипида“); впоследствии („О ничтожестве литературы русской“) он пишет: „Вольтер 60 лет наполнял театр трагедиями, в которых, не заботясь ни о правдоподобии характеров, ни о законности средств, заставил он свои лица кстати и некстати выразить правила своей философии“.

В юности Пушкин мог повторять отрицательный отзыв Вольтера о Гомере („болтун страны эллинская“); с развитием интереса к фольклору и народности в литературе Пушкин считает Гомера величайшим из мировых поэтов.

Его школьный авторитет — Лагарп — неоднократно считал подражателей выше своих греческих образцов, например Вергилия выше Феокрита, Расина выше Эврипида. Но впоследствии Расин для Пушкина только подражатель, хотя и бессмертный, а о Феокрите мы читаем:

Кто на снегах возросил Феокритовы нежные розы?

И, восхищаясь идиллиями Дельвига, он пишет: „какое должно иметь чутье изящного, дабы так угадать греческую поэзию сквозь латинские подражания или немецкие переводы, эту роскошь, эту негу, эту прелесть, более отрицательную, чем положительную, не допускающую ничего запутанного, темного или глубокого, лишнего, неестественного в описаниях, напряженного в чувствах...“ („О Дельвиге“). Но еще раньше (черновик письма к Вяземскому 4 ноября 1823 г.) он писал об А. Шенье, что он „истинный грек [непроходимый] из классиков классик.... От него так и пышет [древностию] Феокритом и анфологию“.

В 30-х годах Пушкин решительно обращается к греческой лирике, убедившись в том, что его французские учителя просто неспособны были понимать греков и смотрели на них, равно как и на римских писателей и Шекспира,¹ сквозь призму шаблонного приличия, унаследованного от литературы времен Людовика XIV.

Если при этом Пушкин и продолжает ценить некоторых римских поэтов, особенно Овидия, Горация и Тибулла, это объясняется тем, что он был убежден (не совсем, конечно, правильно) в их самобытности.

Вообще Пушкина привели к античным писателям их французские поклонники; но, изучая параллельно тех и других, он в конце концов должен был отдать предпочтение древним.

Вот именно эта проблема развития критического чутья у Пушкина в связи с изучением античной литературы и с расширением его литературного горизонта и составляет основное содержание моей статьи.

I

„Латынь из моды вышла ныне“, сказал Пушкин более ста лет тому назад в „Евгении Онегине“.

Но сам он хорошо учился латинскому языку в лицее, и очень любил и высоко ценил античную литературу как с эстетической, так и с общекультурной точки зрения.

¹ Вот, например, отзыв Вольтера о Шекспире („Essai sur la poésie épique“, Homère): „ces pièces sont des monstres en tragédie. Il y en a qui durent plusieurs années; on y baptise au premier acte le héros qui meurt de vieillesse au cinquième... (Les Anglais) voyaient comme moi les fautes grossières de leur auteur favori, mais ils sentaient mieux que moi ses beautés, d'autant plus singulières que ce sont des éclairs qui ont brillé dans la nuit la plus profonde“.

Мало того, античная литература занимает видное место не только в его образовании, но и в его творчестве. Вот почему он настаивает на том, что „каждый образованный европеец должен иметь достаточное понятие о бессмертных созданиях величавой древности“.

В его произведениях нередко встречаются то латинские proverbialные выражения,¹ то цитаты из любимых поэтов, как Гораций и Овидий, то даже попытки передать связной латинской речью то, что он не находил удобным излагать по-русски.² А главное, хотя он знаком был с античными писателями преимущественно по французским переводам, тем не менее он не только твердо помнил и общее содержание и характерные подробности того или другого литературного памятника, но и высказывал по поводу прочитанного суждения, поражающие своей меткостью и глубиной.

Весьма характерны известные воспоминания Нащокина и Соболевского (по записи Бартенева) о том, как Пушкин приводил в изумление молодого латиниста Мальцева верностью и меткостью своих замечаний о Марциале. „Красоты Марциала были ему понятнее, чем Мальцеву, изучавшему поэта“. „Однажды Пушкин пришел к Мальцеву и застал его за Петронием. Мальцев затруднялся понять какое-то место; Пушкин прочел и тотчас же объяснил ему его недоумение“. (Отметим, что Пушкин читал Петрония, сначала называя его на французский лад Петроном, еще в лицее; а впоследствии сделал его героем своего неоконченного отрывка „Цезарь путешествовал“.)

К такому же выводу должны придти и мы после анализа античного материала, которым пользовался Пушкин. Действительно, в оценке античных писателей он нередко высказывает мысли, под которыми без колебания подписался бы ученый филолог-классик; более того, он иногда предвосхищает существенные выводы, к которым впоследствии приходила наука о классической древности.

В античных классиках он часто разбирался с большей легкостью, чем специалисты, точно так же, как, прочитав Шекспира в неточном французском переводе, он сразу ориентировался в особенностях его творчества, оставляя за собой как великих его немецких поклонников Шиллера и Гёте, так и многих позднейших ученых специалистов по Шекспиру и английской литературе.

Главная причина этого изумительного явления лежит в том, что Пушкин приступил к античным литературам с таким широким и глубоким литературным образованием, какого не имели и не имеют, за крайне редкими исключениями, ученые филологи-классики. При этом само это образование

¹ Например: *vale, sed delenda est censura; vale, mi fili in spirito (т. е. spiritu); vale et mihi fave; sed alia tempora* („Евг. Онег.“) и т. п.

² Напр. „Путешествие в Арзрум“ — о гермафродите. Ср. попытку объяснить по-латыни некоторые трудные места из „Слова о Полку Игореве“.

вплотную подводило его к античным классикам и внушало глубокую любовь к ним.

Русское образованное дворянство его времени воспитывалось на французской литературе XVIII в., а XVIII век является не только во Франции, но и во всей западной Европе веком нового возрождения античности, которое не порывало связи и с первым возрождением, начавшимся еще в конце средних веков в Италии. В области поэтического творчества XVIII век во Франции был скуден, но энтузиазм к античной древности, особенно к Риму, был необыкновенно велик: достаточно, например, вспомнить чрезмерно восторженную похвалу Вергилию у Вольтера, который даже заведомо слабые сторсы его „Энеиды“ ставил выше истинных красот гомеровских поэм.¹

Пушкин был начитан во французской литературе еще до поступления в Лицей. А в Лицее, еще до окончания курса, он обладает уже огромной начитанностью во французской поэзии на всем ее протяжении, начиная с Маро; в частности он отчетливо знает французских поэтов анакреонтического направления, как Парни, Грессе, Грекура и др., и, подражая им в своих лицейских анакреонтических стихотворениях, обнаруживает точные и обширные познания в античной мифологии, с которой он также имел дело на уроках русской и французской словесности и латинского языка; в этом отношении особенно любопытно стихотворение 1817 г. „Торжество Вакха“, в котором проявлено отличное знание культа этого бога (см. наблюдения А. И. Малеина).²

На лицейской же скамье, по всем признакам на лекциях высоко ценимого им Куницына, Пушкин отчетливо разбирается в античной философии и имеет вполне определенное представление о Платоне и о гедонистах Аристиппе и Эпикуре, о циниках и о стоиках³ („Послание Лиде“ 1816 г.),⁴

¹ Напр. некоторые критики, по словам Вольтера в его „Essai sur la poésie épique“, находили у Вергилия скудость изобретения и уподобляли его таким художникам, которые не умеют разнообразить отдельные фигуры на своих картинах. В то время как Гомер щедрой рукой вводит в свою „Илиаду“ множество характеров, мужественный Клоанф, brave Гигант и верный Ахат Вергилия — это пошлые персонажи, слуги Энея и ничего более; их имена служат лишь к тому, чтобы заполнить несколько стихов. Но Вольтер и в этом видит преимущество Вергилия: он воспекает действия Энея, а Гомер — праздность Ахилла; поэтому Гомер и вводит — скорее с силой, чем с выбором — ряд характеров, блестящих, но не трогающих, тогда как Вергилий не желал, чтобы его главный персонаж терялся в толпе, и поэтому к нему одному приковывает внимание читателя, чтобы последний ни на один момент не упускал его из виду.

² „Пушкин“, под ред. С. А. Венгерова, т. I, 1907, стр. 394—398.

³ Именно их он имеет в виду в послании к Каверину (1817 г.), чего не понял Н. О. Лернер (в венгерском издании): „дружно можно жить с Киферой, с *Porticum*“ (στοά) было уже у римлян синонимом стоической философии.

⁴ В стихе „и мудрый друг вина Катон“ разумеется, вообще говоря, прямолинейный стоик Катон Младший (Утический), политический враг Цезаря, который, между прочим, порицал его за чрезмерную склонность к вину, — что нам известно из Плиния Младшего (Письма, 3, 12) и из плутарховой биографии Катона Младшего (гл. 6).

ссылаясь на Зенона и часто на Сенеку. Впоследствии потомками Аристиппа у него именуются Давыдов и кн. Юсупов; а Сенеку он остроумно пародирует в опущенных строфах „Евгения Онегина“:

Мы рождены, сказал Сенека,
Для пользы ближних и своей,
Нельзя быть проще и ясней.¹

Прибавим, что в лицейский период, повидимому в связи с лекциями по философии и этике, Пушкин интересовался Сенекой преимущественно как стоическим философом вообще, — ср. „Пирующие студенты“:

Почто же с Кантом
Сенека, Тацит на столе?
Под стол холодных мудрецов!

Уже явная пародия на стоицизм дается в „Послании Лиде“:

Я вижу, хмурится Зенон...

В годы зрелости Пушкин, между прочим, смотрел на Сенеку глазами Монтэня, который находил у Сенеки и Плутарха то удобство, что они рассуждают на разные темы „в отдельных несвязанных пьесах, не требующих обязательства долгой работы“. Этому методу Пушкин следовал и сам, и суждение Монтэня о Сенеке было ему известно из Лагарпа, помимо того, что он сам читал Монтэня неоднократно и основательно. Но интересовала ли его эта проблема уже на лицейской скамье, я не решаюсь утверждать.²

Там же, конечно, он познакомился и с элементами французской и античной метрики,³ с которой ему приходилось иметь дело и впоследствии, — см. статью „В третьем номере «Московского Вестника»“: „правила метрики, изложенные Германом и другими европейскими учеными...“

Как известно, Пушкин еще до поступления в Лицей был хорошо знаком с „Генриадой“ Вольтера, заимствовавшего для нее много образов из „Энеиды“ Вергилия. Но Вольтер писал и о других подражателях Вергилия, именно о Тассо, Камоэнсе и Ариосто; в свою очередь юный Пушкин знает их всех, причем Ариосто (который по своему духу ближе к Овидию, чем к Вергилию) оказал большое влияние на „Руслана и Людмилу“, о чем говорит и сам Пушкин в своей поздней (1831 г.) заметке об этой поэме.

Таким образом Пушкин еще в ранней юности читал Вергилия (а читать его в лицейские годы он очень любил) и одновременно знакомился и со

¹ Здесь Пушкин скорее всего имеет в виду следующее место из трактата „О досуге“ (3, 5): *ab homine exigitur, ut prosit hominibus, si fieri potest, multis, sin minus, proximis, sin minus, sibi* (от человека требуется, чтобы он был полезен, если можно, многим, если нельзя, близким, если нельзя, себе). Из общего контекста, впрочем, видно, что в последнем случае человек пока еще не имеет реальной возможности помогать другим, и польза, которую он приносит самому себе, заключается в самосовершенствовании с целями однако не эгоистическими, но альтруистическими.

² Ср. работу недавно скончавшейся В. И. Бутаковой „Пушкин и Монтэнь“ („Временник Пушкинской Комиссии“, т. 3).

³ Ср. попытку дать русский гекзаметр (правда, с рифмами) в эпиграмме „Несчастье Клита“ (1814 г.): „Внук Тредьяковского Клит...“

всеми его главными подражателями, равно как и с Гомером, которому Вергилий сам подражал. Понятно при этом, что молодому пламенному читателю всех этих эпиков должно было бросаться в глаза различие между подражателями Вергилия, равно как и отличие их от образца. В частности, несомненно было полезным изучение Овидия параллельно с Ариосто.

Далее Пушкин с юности очень увлекался Ювеналом и неоднократно подражал ему (см. „К Лицинию“, 1815 г., и „На выздоровление Лукулла“, 1835 г.); но ему всегда была ясна разница между ювеналовой сатирой и горацевской; эпикурейцем Горацием он всю жизнь восхищался и изучал его в подлиннике еще на лекциях Кошанского (см. заметку „Дельвиг“). Но параллельно с ними он отлично знал (может быть отчасти по лекциям Будри) и их французского подражателя Буало, т. е. опять-таки имея в этом отношении преимущество перед учеными классиками, для которых вдобавок сочинения Буало являлись устаревшим историческим памятником, тогда как для молодого Пушкина они были настольной книгой с животрепещущим содержанием.

Равным образом Пушкин с ранних лет интересовался и римской историей. Еще лицеистом он неоднократно упоминает о Таците, которому затем посвящает остроумные заметки об его „Анналах“ и которым пользуется еще позже для этюда „Цезарь путешествовал“.

II

Прежде чем перейти к анализу отдельных реминисценций Пушкина из различных древних писателей, позволим себе несколько углубить сказанное нами о роли французской литературы и особенно Вольтера в увлечении Пушкина античными классиками.

В этом отношении особенно важны стихотворения „Городок“ и „Бова“.

Вольтер для молодого Пушкина — „из детства пиит“, „поэт в поэтах первый“,

Всех больше перечитан,
Всех менее томит.
Соперник Эврипида,
Эраты нежный друг,
Арьоста, Тасса внук.
Скажу ль: отец Кандида
Он всё: везде велик
Единственный старик!

В области эпоса Пушкин читал его параллельно с другими эпиками:

На полке за Вольтером
Виргилий, Тасс с Гомером
Все вместе предстоят.
В час утренний досуга
Я часто друг от друга
Люблю их отрывать.

Уже эти указания наводят на мысль, что знакомый с детства с „Генриадой“ Вольтера Пушкин заинтересовался и приложенной к „Генриаде“ серией статей об эпической поэзии („Essai sur la poésie épique“), трактующих о различных вкусах народов, о Гомере, которого Вольтер очень при-нижает в сравнении не только с Вергилием и Тассо, но даже с третьестепенным испанским эпиком Дон Алонсо де-Эрсилья; кроме Вергилия, высочайшего из эпиков, Тассо, который следует за Вергилием и превосходит Гомера,¹ и упомянутого Эрсилья, в этих статьях анализируются также Лукан, малоизвестный итальянский эпик Триссино, далее Камюэнс и Мильтон.

Называя Вольтера внуком Ариосто и Тассо, юный Пушкин несомненно исходил из указанных статей Вольтера и отчасти также из других его высказываний.

Колеблясь отнести Ариосто к эпикам, Вольтер (в статье о Тассо) отмечает, что Тассо ревновал к Ариосто, которого до сих пор предпочитают ему многие итальянцы. „Верно, что у Ариосто больше плодovitости, больше разнообразия, больше воображения, чем у всех других вместе взятых, и если Гомера читают как бы по обязанности, то Ариосто читают и перечитывают для своего удовольствия“. В другом месте он говорит: „Ариосто — мой бог“ (см. примечания к статье о Тассо в 8-м томе пятидесятитомного издания Вольтера, Париж, 1877 г.).

Но влияние этих статей Вольтера на Пушкина еще яснее в начале его сказки „Бова“.

Часто, часто я беседовал
С болтуном страны эллинския,

т. е. с Гомером — это воспроизведение отзыва Вольтера о длинноте и бесполезности речей гомеровских героев.

И не смел осиплым голосом
С Шапеленом и Рифматовым
Воспевать героев Севера.

Полная бездарность эпика Шаплена также подчеркнута Вольтером: „поэмы де Демаре и La Pucelle Шаплена, знаменитые своей смехотворностью, к стыду правил, составлены с большей правильностью, чем Илиада“.

Несравненного Вергилия
Я читал и перечитывал,
Не стараясь подражать ему
В нежных чувствах и гармонии —

отзыв в духе Вольтера: „Это произведение (т. е. Энеида), несмотря на свои недостатки, всё еще самый прекрасный памятник, сохранившийся

¹ „La Jérusalem paraît à quelques égards être copiée d'après l'Iliade, mais si c'est imiter que de choisir un sujet qui a des ressemblances avec la fable de la guerre de Troie; si Renaud est une copie d'Achille, et Godefroi d'Agamemnon, j'ose dire que le Tasse a été bien au delà de son modèle... Il a peint ce qu'Homère crayonnait“.

до нас от всей древности“. Под „гармонией“ разумеется стройность, которой Вольтер не находил у Гомера хотя бы в виду длинноты речей его героев; а „нежные чувства“ Вергилия представляют собой противоположность „грубости“ Гомера (*grossièretés*).

Сходные суждения о Вергилии Пушкин мог прочесть у его популярного в те времена переводчика, аббата Делиля, прозванного в шутку аббатом Вергилием. Например, по поводу речи Турна (*Aen.*, XI, 378) он говорит, что в ней сила Демосфена соединена с искусством Цицерона и что речи и портреты Гомера гораздо ниже речей и портретов Вергилия. Или, например, по поводу V песни „Энеиды“ он пишет: „Автор «Энеиды» взял из «Илиады» довольно большое число черт для этой картины. Но сколько раз он совершенствует то, что он заимствует, и превосходит то, чему подражает!“

Равным образом и Лагарп (II, 152) считал Вергилия „величайшим мастером поэтической гармонии“ и, отдавая ему предпочтение перед Феокритом, находил, что „*son harmonie est d'un charme inexprimable*“³ (I, 156).

За Мильтоном и Камоэнсом
Опасался я без крыл парить,
Не дерзал в стихах бессмысленных
Херувимов жарить пушками,
С сатаною обитать в раю;
Иль святую богородицу
Вместе славить с Афродитою.²

Ср. у Вольтера о Камоэнсе: „Я узнаю, что один переводчик Камоэнса утверждает, что в этой поэме Венера обозначает святую деву, а Марс очевидно Иисуса Христа“.

О Мильтоне: „Гомера упрекали за длинные и бесполезные речи и особенно шутки его героев. Те же критики высказывали суждение, что Мильтон грешит против правдоподобия, дав место пушкам в армии сатаны“.

Пушкин, колебавшийся в это время между различными жанрами, на этот раз решил следовать повествовательному стилю Вольтера, не только игривому, но и очень едкому, в его „*La Pucelle*“, тем более, что ему подражал уже Радищев.

Но Камоэнс занимает его и в более раннем стихотворении „К другу стихотворцу“ (1814 г.). Один из его мотивов — тот, что даже талантливый поэт не может рассчитывать на обеспеченное существование: „Камоэнс с нищими постелю разделяет“. Ср. у Вольтера (о Камоэнсе): „Единственным источником его существования была его поэма. Он получил небольшой пансион в 800 ливров, но его скоро перестали выплачивать. Единственным убежищем и помощью оказалась для него больница, в которой

¹ П е р е в о д: Его гармония имеет невыразимое очарование.

² Среди этих повтов упомянут Клопшток — очевидно под влиянием Кюхельбемера и Дельвига.

он провел остаток своей жизни и умер покинутый всеми... Столько примеров должны научить талантливых людей тому, что имущество и счастье в жизни достигаются отнюдь не талантом“.

Возможно, что тот же Вольтер внушил Пушкину интерес к Овидию и Горацию: по крайней мере впоследствии он оспаривает суждение Вольтера о причинах ссылки Овидия, а по отношению к Горацию замечает, что Вольтер способен был понимать только Расина и Горация.

Но тут были и другие влияния: сам Пушкин говорит в „Городке“, что Горация он читал параллельно с его подражателем Державиным, который был для юного лицеиста большим авторитетом.

К Овидию и кроме того к Тибуллу Пушкина приводили также Парни и Батюшков, особенно увлекавшийся Тибуллом („Наследники Тибулла и Парни“), а к Овидию, между прочим, и Грессе, с которым он впоследствии спорит в рецензии на „Фракийские Элегии“ Теплякова.

Несомненно далее влияние — по отношению к римским поэтам, особенно к Горацию и Ювеналу — „Поэтики“ Буало; и самим же Пушкиным в том же „Городке“ отмечена роль Лагарпа в его литературном образовании:

За ними, хмурясь важно,
Их грозный Аристарх
Является отважно
В шестнадцать томах.
Хоть страшно стихоткачу
Лагарпа видеть вкус,
Но часто, признаюсь,
Над ним я время трачу.

По всем признакам Пушкин, с детства начитанный во французской литературе, поступил в лицей уже с симпатиями к античной, особенно римской литературе и с уважением к латинскому языку. Им он уже в первый год занимался „с довольно хорошими успехами“, по отзыву проф. Кошанского, и окончил курс „с весьма хорошими успехами“, причем нельзя не отметить, что Кошанский со своей стороны старался приохотить Пушкина к античной словесности. Это было нетрудно, так как изучение текста Вергилия и Цицерона предполагалось по предварительной программе лишь на 5-м курсе, т. е. в 1815—1816 г.,¹ а Пушкин уже в 1814 г. был хорошо знаком, хотя бы преимущественно по французскому переводу, не только с Вергилием, но и с Горацием, Тибуллом, Овидием, Петронием, Ювеналом и отчасти с Сенекой и Тацитом, не говоря уже о Корнелии Непоте и Федре, которые преподавались еще на 3-м курсе, т. е. в 1813—1814 г.²

Это раннее знакомство с римскими классиками по французским переводам, издававшимся большей частью с приложением подлинника,

¹ И. Селезнев, „История Александровского Лицея“, 1861 г., Прилож. 3.

² Там же. Прилож. 38 к стр. 166.

несомненно заставляло Пушкина постоянно сличать перевод с подлинником и тем укрепляло его познания в латинском языке: не очень трудные тексты (напр. Аврелия Виктора) он разбирал, повидимому, без перевода; а его латинское описание гермафродита в „Путешествии в Арзрум“, писанном через 12 лет после окончания курса в Лицее, свидетельствует о том, что он довольно твердо помнил латинскую грамматику и потому не боялся сам писать по-латыни, хотя бы и в небольшом количестве. Вообще он владел латинским языком, повидимому, не хуже, чем впоследствии хорошие гимназисты, учившиеся ему вдвое или даже втрое больше, чем это практиковалось в лицее, где на латинский язык отводилось лишь по три часа в неделю на первых трех курсах и по два на трех старших, причем упражнения в переводе на латинский язык были только в 4-м и отчасти в 3-м классе.¹

С другой стороны, Вольтер и французская классическая драма (в которой Пушкин стал разочаровываться лишь в байроновский период своей деятельности) давали юному Пушкину обширный материал для знакомства с античной, в частности римской, историей, и их республиканские элементы шли навстречу его радикализму. Мы разумеем особенно такие трагедии, как „Les Horaces“ и „Cinna“ Корнеля, „Brutus“, „Mort de César“, „Rome sauvée ou Catilina“ Вольтера. Во всяком случае наиболее радикальная сатира юного Пушкина „К Лицинию“ (1815 г.) навеяна не только Ювеналом, но и проклятием Камиллы в „Les Horaces“ Корнеля.²

III

Обращаемся теперь к отдельным античным писателям, преимущественно римским, которых читал Пушкин.

Мы уже говорили об увлечении лицеиста Пушкина Вергилием. К цитате из „Бовы“ можно прибавить следующие стихи из „Городка“:

Люблю с моим Мароном
Под ясным небосклоном
Близь озера сидеть.

Всегда были симпатичны ему „Буколики“, или „Эклоги“. Так, один из их персонажей — Филлида — упомянут у него в III главе „Евгения Онегина“. В позднейших заметках к „Графу Нулину“ он пишет: „Публика может себе прочесть, без опасения, сказки доброго Лафонтена и эклогу доброго Вергилия“. Еще в Лицее Пушкин читал и „Георгики“, тем более, что они были популярны в европейской литературе конца XVIII в., в виду увлечения английскими садами. Пушкин несомненно имел в руках не только делилевский перевод „Георгик“, но и написанную Делилем в подражание им поэму „Les Jardins“. О том, как ценились во французской литературе и „Георгики“ и эта поэма Делиля, свидетельствует Лагарп

¹ И. Селезнев, „История Александровского Лицея“, 1861, стр. 86—87.

² „Пушкин“, под ред. С. А. Венгерова, т. I, 1907, стр. 216, примечание.

(1, 68): „Георгики» сделали французским произведением, и эта поэма, самая совершенная из переданных нам древними, является также одной из самых красивых пьес современной поэзии“.

Пушкин читал „Георгики“ настолько внимательно, что в письме к брату от 24 сентября 1820 г. мог — очевидно, на память — сослаться на известный экскурс в IV книге (стр. 125, сл.): Броневский, „подобно Старику Виргилия, разводит сад на берегу моря“.

Вероятно, из „Буколик“ (3, 90), если не из 10-го эпода Горация, Пушкин взял фигуру бездарного поэта Мевия, завистливого и злобного врага обоих поэтов: Мевий в этом качестве трижды фигурирует в послании к Жуковскому (1817 г.):

Гордись ты, Мевия надутый образец! и т. д.

Но трудно сказать, как он относился к чуждой ему по духу, торжественной „Энеиде“, хотя она могла в 1812—1815 гг. попадать в тон воинственной молодежи, рвавшейся еще на школьной скамье воевать с Наполеоном. Судя по второму посланию к Батюшкову (1815 г.), поэт именно от него получил совет перейти от любовных песней на „Энеиду“:

Ты хочешь, чтобы славы
Стезю полетев,
Простясь с Анакреоном,
Спешил я за Мароном
И пел при звуках лир
Войны кровавый пир.

Но сам поэт считает себя (подобно своим любимцам Овидию и Горацию) только лириком:

В пещерах Геликона
Я некогда рожден,
Во имя Аполлона
Тибуллом окрещен.

Во всяком случае, он не разделяет чрезмерно преувеличенных похвал Вольтера¹ и, вероятно, по сравнению с Илиадой² Гомера, называет

¹ Характерен позднейший отзыв Пушкина („Всемирно известно, что французский народ самый антипоэтический“): „Монтескье смеется над Гомером. Вольтер, кроме Расина и Горация, кажется, не понял ни одного поэта“.

² Реминисценцию из „Илиады“, в шутовой форме, см. в „Евгении Онегине“, V, 27—28. Известно при этом, что Гомера Пушкин читал еще до поступления в лицей и что, кроме того, он, по его собственному свидетельству, с ранних детских лет увлекался сказками, которые ему рассказывала его няня. Став впоследствии великим поклонником и знатоком народной поэзии, он лучше, чем Вольтер и кто бы то ни было из французских критиков, мог оценить именно народные элементы в поэзии Гомера, и в частности он, напр., ставил Гомера неизмеримо выше, чем Пиндара, равно как и эпическую поэзию выше оды. Отголоски суждений Вольтера и Лагарпа о Гомере, а также о Феокрите заметны в 1-й главе „Евгения Онегина“: „брал Гомера (очевидно, вслед за Вольтером), Феокрита“; последнего Лагарп считал поэтом вообще талантливым и даже способным к величайшему напря-

„Энеиду“ „немного тощей“ („К Давыдову,“ 1824 г.). Впрочем, одно школьное воспоминание („и помнил, хоть не без греха, из Энеиды два стиха“) сохранилось у него в эпитафии к „Отрывку из литературных летописей“ (1829 г.) — *Tantae ne animis scholasticis irae!*¹ пародирующем знаменитый 11-й стих I песни „Энеиды“: *tantaene animis caelestibus irae?*² Ср. еще в письме к Вяземскому от 1821 г.: *timeo Danaos*³ (Аен., 11, 49) и в „Путешествии из Москвы в Петербург“ (1833—1835 гг.): *Fuit Troja, fuimus Trojani*⁴ — неточная реминисценция из II песни, стих 325: *fuimus Troes, fuit Ilium*.

Далее следует отметить эпитафию к стихотворению „Поэт и толпа“ — *procul este, profani* (отойдите непосвященные) — несомненно взятый из VI песни „Энеиды“ (ст. 258): это слова Сибиллы при входе с Энеем в подземное царство. Эту песнь „Энеиды“ Пушкин мог иметь в виду при изучении Данте, „Ад“ которого является подражанием ей.

Наконец, к известному началу VIII главы „Онегина“ есть любопытный черновой вариант: „читал укрادкой Апулея, а над Вергилием зевал“. Однако речь идет не о самом Вергилии, но о его классном преподавании, — см. дальше: „и забывал латинский класс“.

IV

Только что было указано, что молодой Пушкин считал себя крестником Тибулла, разделяя интерес к этому элегику с Парни и Батюшковым. Ср. „Наследники Тибулла и Парни“ („Любовь одна веселье жизни хладной,“ 1816 г.), „Поместье мирное меж Пиндом и Цитерой, где нежилась Тибулл, Мелецкий и Парни“ („Шишкову“, 1816 г.). А в известном письме к Бестужеву (конец мая — начало июня 1825 г.) Тибулл причисляется к гениальным римским поэтам: „у Римлян век посредственности

жению страсти (по его словам, Расин считал одним из самых страстных произведений древности идилию о покинутой девушке, которая стремится вернуть к себе своего возлюбленного колдовством). Он признает за ним истину, т. е. реализм, и простоту; но последняя „не всегда бывает интересной и не редко доходит до грубости. Он предлагает читателю слишком много безразличных обстоятельств, слишком много деталей пошлых (*common*) и его сюжеты слишком похожи друг на друга“. В конце концов гораздо выше Феокрита его подражатель Вергилий, „мягкий и тонкий“, „избегающий небрежности и вялости“ и т. д. Вообще эта цитата из 1-й главы „Евгения Онегина“ и ее продолжение („за то читал Адама Смита и был глубокий эконоом“) живо вводит нас в круг лицейской учебной жизни времен Пушкина. Так, по поводу ссылки на Адама Смита ср. предварительную программу „собственно наук нравственных“: „В пятый год подробное изложение экономии политической с сравнением трех главных ее систем: коммерческой, экономической и Смита“ (Селезнев, там же, стр. 39).

¹ Перевод: Возможен ли такой гнев в схоластических душах мужей!

² Перевод: Возможен ли такой гнев в душах небожителей?

³ Перевод: Божь Данайцев.

⁴ Перевод: Была Троя, были мы троянцы.

предшествовал веку *genies* — грех отнять это титло у таковых людей, каковы *Виргилий, Гораций, Тибулл, Овидий и Лукреций*“.¹

V

В эту плеяду гениальных римских поэтов Пушкин однако не включает *Катулла*, которого мы в настоящее время считаем самым крупным римским лириком и одним из первых лириков мира. В Лицее *Катулл*, вероятно, не преподавался, да и во французской литературе конца XVIII и начала XIX века не был достаточно оценен сравнительно с *Горацием*, которому отдавалось абсолютное первенство.² Пушкин однако читал его, и притом читал по-латыни: единственное переведенное им 27-е стихотворение *Катулла* („*Мальчику*“) у Пушкина снабжено латинским текстом первого стиха: *Minister vetuli puer* (Прислужник: мальчик, старым...); размеру подлинника (фалекейскому, состоящему из двухсложной базы, дактиля и трех хореев) до некоторой степени соответствуют хорей Пушкина, так же, как и в подлиннике, без усечения последней стопы. Еще в 1826 г. по поводу женитьбы *Дельвига* в письме к нему он цитирует (не называя источника) из *эпиталамы Катулла* (стихотв. 64) известный припев: „*io Numen Numenaeae, io, io, Numen Numenaeae!*“ Несомненно при этом, что Пушкину бросились в глаза некоторые особые метры *Катулла*, которых нет у *Горация*. Такие же метры он мог встретить и в стихотворных частях „*Satyricon'a*“ *Петрония* (напр. 5, 15, 79, 93, 109) и именно поэтому в этюде „*Цезарь путешествовал*“ мог сказать, что „*Петроний и сам писал стихи не хуже Катулла*“.

Конечно, можно пожалеть о том, что Пушкин не занялся специальным изучением стихотворений *Катулла* к *Лесбии* и к друзьям: его страстная любовь к *Лесбии* (*Клодии*) возвышеннее, чем у Пушкина к какой бы то ни было из дам его сердца, но в возвышенном понимании дружбы оба они поразительно родственны друг другу, и там, где *Катулл* с трагической горечью жалуется на вероломство друзей, живо приходят на память

¹ Параллельно с *Тибуллом*, как было уже указано, молодой Пушкин читал и *Овидия*. Не называя себя крестником *Тибулла*, он, очевидно, ставил — в области эротической элегии — этого поэта выше *Овидия*, причем мог руководиться суждением *Лагарпа* об *Овидии* (1, 171). „*Il n'a, je l'avoue, ni la sensibilité, ni l'élégance, ni la précision de Tibulle, il est moins passionné que Propertius*“. Позднее (в рецензии на „*Фракийские элегии*“ *Теплякова*) он с большой определенностью находил в любовных произведениях *Овидия* преимущественно риторику и холодное остроумие, предвосхищая, таким образом, выводы современной филологии.

² Так, напр., *Лагарп*, признавая за *Катуллом* известный талант, ставил выше всех лириков *Горация*, поэта, так сказать, универсального (1, 152): „*Horace semble réunir en lui Anacréon et Pindare, mais il ajoute à tous les deux... Pindare qui chante toujours les mêmes sujets, n'a qu'un ton toujours le même, Horace les a tous, tous lui semblent naturels, et il a la perfection de tous... On conviendra qu'Horace est un des meilleurs esprits que la nature ait pris plaisir à former*“.

³ Может быть уже в ранней юности: так, *катулловская героиня Лесбия* фигурирует в наброске (1818—1819 г.): „*Оставь, о Лесбия, лампаду*“.

стихи Пушкина „о дружбе, оплатившей мне изменой за жар души доверчивой и нежной“.

Но как бы то ни было, много ли, мало ли читал Пушкин Катулла, он сразу определил его ценную стихию — искренность: „для тех, которые любят Катулла, Грессета и Вольтера — для тех искренность драгоценна в поэте“ („Путешествие В. Л. П.“, 1835 г.).

VI

Самым любимым из римских поэтов у Пушкина был Овидий, которого он не упускает из виду, начиная еще с лицейских лет.

Уже в 1814 г. он пишет Батюшкову: „тебя молодой Назон, Эрот и Грации венчали“. К произведениям молодого Овидия относятся любовные элегии (*Amores*) и послания древних героинь к покинувшим их любовникам (*Heroides*). Ср. также стихотворение „Сон“: „пускай любовь Овидия поют“.

Заметны реминисценции уже в лицейских стихотворениях в виде образов Икара, Мидаса.¹

Но особенно близким становится Пушкину Овидий со времени ссылки в Бессарабию, недалеко от места ссылки самого Овидия. Его Пушкин упоминает в стихотворении „В стране, где Юлией венчаный... Овидий мрачны дни влачил“ (письмо к Гнедичу, 1821 г.), ему же посвящает стихотворение „К Овидию“ („Овидий, я живу близ тихих берегов...“).

Это последнее стихотворение, навеянное внимательным чтением элегий Овидия из ссылки (*Tristia*), включает в себе также меланхолическую параллель между его автором и римским элегиком.

Пушкин очень дорожил им, сильно беспокоился, пропустит ли его цензура, и в письме к брату ставил выше других своих произведений: „Каковы стихи к Овидию? Душа моя, и Руслан и Пленник, и Ноë, и всё — дрянь в сравнении с ними“.

Овидий тщетно молит Августа, не надеется и Пушкин на русского Августа—Александра I, который „смотрит сентябрем“ (письмо к брату). Овидий-изгнанник занимает Пушкина на всем протяжении его собственной ссылки. „В стране... где прах Овидиев пустынный мой сосед“, пишет он еще в 1821 г. в послании к Чаадаеву; „клянусь Овидиевой тенью“, читаем мы в его стихотворении „К Языкову“ (1824 г.). Ср. еще „К Баратынскому“ (1822 г.): „Еще донныне тень Назона Дунайских ищет берегов“.

Отправляя в 1822 г. из Кишинева Гнедичу рукопись своего „Кавказского Пленника“, Пушкин снабжает ее напутственными стихами Овидия к первой элегии I книги „*Tristia*“:

*Parve (nec invideo) sine me, liber, ibis in urbem,
Neu mihi! Quo domino non licet ire tuo.*

¹ Д. П. Якубович, „Пушкин и Овидий“. „Пушкинист“, IV, 1922, стр. 282—294.

„Не из притворной скромности прибавлю: *Vade, sed incultus, qualem decet exulis esset!*“¹

Но этого мало. В одном из следующих писем к нему же, полный реминисценций из „*Tristia*“, Пушкин пишет о собственном положении в выражениях, почти буквально напоминающих жалобы Овидия:² „Пожалейте обо мне: живу меж Гетов и Сарматов; никто не понимает меня, со мной нет просвещенного Аристарха; пишу как-нибудь, не слыша оживительных советов, ни похвал, ни порицаний“. Ср. „*Tristia*“, III, 9, 5:

	<i>Sauromatae cingunt, fera gens, Bessique Getaeque,</i>
	<i>Quam non ingenio nomina digna meo!</i> ³
V, 10, 37:	<i>Barbarus hic ego sum, quia non intelligor ulli.</i> ⁴
III, 14, 37:	<i>Non hic librorum...</i>
	<i>Copia</i> ⁵

(ср. жалобы Пушкина на отсутствие книгопродавцев в Кишиневе в стихотворении „Проклятый город Кишинев...“).

	<i>Nullus in hac terra, recitem si carmina cuius</i>
	<i>Intellecturis auribus utar, adest.</i> ⁶
IV, 1, 89:	<i>Sed neque, cui recitem quisquam est, mea carmina.</i> ⁷

Некоторого разъяснения требует начало первого стихотворения, посвященного Овидию. Из слов „Юлией венчанный... Овидий“ следует, что Пушкин считал причиной ссылки Овидия его роман с дочерью Августа Юлией. Так думал он и позднее, в 1825 г., когда писал свои замечания на *Анналы Тацита*: „Юлия, дочь Августа, славная своим распутством и ссылкой Овидия“.

Но в примечаниях к „Евгению Онегину“ он с полным основанием отказывается от этого неправильного понимания:

„Мнение будто бы Овидий был сослан в нынешний Акерман, ни на чем не основано. В своих элегиях *Ex Ponto* он ясно означает местом своего пребывания город *Томы* при самом устье Дуная. Столь же несправедливо и мнение Вольтера, полагающего причиной его изгнания тайную благосклонность Юлии, дочери Августа. Овидию было тогда около пятидесяти лет, а развратная Юлия, десять лет тому прежде, была сама изгнана ревнивым своим родителем. Прочие догадки ученых не что иное как догадки.

¹ Перевод: Маленькая книжка (и я не завидую), ты без меня пойдешь в город, увь мне, куда не дозволено идти твоему господину. Иди, но неубранная, какой и следует быть книжке изгнанника.

² Точно так же, через три года, он пишет о своем здоровье словами Тацита — см. ниже.

³ Перевод: Окружают Савроматы, дикое племя, бессы и геты, до какой степени недостойные моего таланта имена!

⁴ Перевод: Варвар (т. е. чужеземец) здесь я, так как никто меня не понимает.

⁵ Перевод: Нет здесь возможности достать книги.

⁶ Перевод: Нет в этой стране никого, кто был бы способным понять меня слушателем, если бы я стал читать свои стихотворения.

⁷ Перевод: Но никого нет, кому я мог бы прочитать свои стихотворения.

Поэт сдержал свое слово и тайна его с ним умерла: *Alterius facti culpa silenda mihi*.¹

Это важное суждение является комментарием к следующим стихам (имеющим в виду „*Ars amatoria*“ Овидия) 1-й главы „Евгения Онегина“:

Была наука страсти нежной,
Которую воспел Назон,
За что страдальцем кончил он
Свой век блестящий и мятежный
В Молдавии, в глуши степей
Вдали Италии своей.

Там же есть и еще одна картинная реминисценция из „*Метаморфоз*“ (в главе IV, строфе 2):

То вдруг я мрамор видел в ней,
Перед мольбой Пигмалиона
Еще холодный и немой,
Но вскоре жаркой и живой.

Пигмалион (*Met.*, X, 243), презирая женскую порочность, остался холостяком и влюбился в изваянное им из слоновой кости изображение прекрасной девушки, в которое по его мольбе Венера вдохнула жизнь.²

Судя по словам „я мрамор видел в ней“ (вместо слоновой кости), Пушкин очевидно предпочел более употребительный в современной поэзии образ (то же у Байрона, „*Дон Жуан*“, VI, строфа 43).

Всем известен своего рода апофеоз Овидия в „*Цыганах*“: память об этом кротком, незаслуженно наказанном человеке, по словам Пушкина, опиравшегося на несколько темные легенды, о которых он узнал в Бессарабии, сохранилась в этих местах до нового времени и дошла до кочующих цыган.

Наконец, „*Tristia*“ Овидия³ привлекают к себе внимание Пушкина особенно в последние годы его жизни — см. рецензию на „*Фракийские элегии*“ Теплякова (1836 г.). Он протестует против упрека в слезливости и в постоянных жалобах, которые делает Овидию французский поэт Грессе,⁴ и высоко ставит искренность, которой проникнуты эти последние произведения великого остроумца — Овидия.

¹ Из „*Tristia*“, 11, 208. Перевод: О другой моей вине мне должно молчать.

² Образ Пигмалиона, впрочем, занимал Пушкина и раньше — см. черновик письма к Гнедичу от 29 апреля 1822 г. и замечания Д. П. Якубовича в „*Пушкинисте*“, IV.

³ Ср. А. И. Малеин — „*Пушкин и Овидий*“ („*Пушкин и его современники*“, в. XXIII, 1916, стр. 44—46).

⁴ „Грессет в одном из своих посланий пишет:

*Je cesse d'estimer Ovide,
Quand il vient, sur de faibles tons,
Me chanter, pleureur insipide,
Des longues lamentations*“.

Эти же стихи цитирует и Лагарп (1, 171) в характеристике „*Tristia*“ Овидия. Но судя по приписке „Грессет в одном из своих посланий“, Пушкин, знавший произведения этого поэта, мог сам, без посредства Лагарпа, найти у него эти стихи.

В виду того, что новейшая филологическая критика находит в „Понтийских элегиях“ заметный упадок поэтической силы Овидия, отзыв великого поэта о поэте же, которого он вдобавок любил всю жизнь, представляет высокий литературно-эстетический интерес:

„Книга *Tristium* не заслуживала такого строгого осуждения. Она выше, по нашему мнению, всех прочих сочинений Овидиевых (кроме «Превращений»). Героиды, элегии любовные и сама поэма «*Ars amandi*», мнимая причина его изгнания, уступают «Элегиям Понтийским». В сих последних более истинного чувства, более простодушия, более индивидуальности и менее холодного остроумия. Сколько яркости в описании чуждого климата и чуждой земли! Сколько живости в подробностях и какая грусть о Риме!...“

„... Песнь, которую поэт <т. е. Тепляков> влагает в уста Назоновой тени, имела бы больше достоинства, если бы г. Тепляков более соображался с характером Овидия, так искренно обнаруженным в его *плаче*. Он не сказал бы, что при набегах гетов и бессов поэт

Радостно на смертный мчался бой.

Овидий добродушно признается, что он и смолоду не был охотник до войны, что тяжело ему под старость покрывать седину свою шлемом, и трепетной рукою хвататься за меч при первой вести о набеге. (См. *Trist.*, Lib. IV, El. 1“).

И действительно, в своих любовных элегиях (*Amores*) молодой Овидий почти не проявляет лиризма в противоположность Катулле, Тибулле и Проперцию. Между прочим, в своей автобиографии (*Trist.*, IV, 10) он жалеет, что ранняя смерть Тибулла помешала их дружбе; но стихотворение, посвященное памяти Тибулла под свежим впечатлением его смерти (*Amores*, III, 9), отмечено скорей ученостью и остроумием, чем чувством тяжелой потери.

Но Пушкин не просто любит Овидия; между прочим, он считает его авторитетным знатоком человеческого сердца, особенно любви. Изображая в „Полтаве“ любовь молоденькой красавицы Марии к старику Мазепе, он находит нужным оправдать свой сюжет ссылкой главным образом на Овидия (Заметки Пушкина о своих произведениях, — „о Полтаве“, 1831 г.):

„Любовь есть самая своенравная страсть. Не говоря уже о безобразии и глупости, ежедневно предпочитаемых молодости, уму и красоте, я вспомнил предания мифологические, Превращения Овидиевы, Леду, Филлиру, Пазифаю, Олимпию, Пигмалиона — и принужден был признаться, что все сии вымыслы не чужды поэзии, или, справедливее, ей принадлежат. А Отелло, старый негр, пленивший Дездемону рассказами о своих странствиях и битвах?.. А Мирра, внушившая итальянскому поэту <т. е. Альфьери> одну из лучших его трагедий?“¹

¹ К Леде Юпитер сошел в образе лебеда (*Met.*, VI, 109); Филла (Philyra) имела связь с Сатурном, принявшим образ коня (*Met.*, II, 676 — ср. *Verg. Georg.*, III, 92);

Укажем, наконец, позднюю реминисценцию из „Метаморфоз“ (IV, 482) о гермафродите: (ambiguus fuerit) modo vir, modo femina (Sithon), послужившую эпиграфом к „Домику в Коломне“ и к „Запискам Дуровой“.

Пушкин тщательно изучал Овидия не только в переводе, но нередко и в подлиннике.¹

С этой точки зрения интересна заметка Г. Г. Гельда „По поводу стихотворения Пушкина «Из А. Шенье» (1825 г.)² Тема этого стихотворения — страдания и смерть Геркулеса от праздничного плаща, присланного ему его женой Деянирой, которая из ревности к своей сопернице смочила этот плащ кровью кентавра Несса, считая ее любовным средством. В свой перевод Пушкин ввел несколько вариантов из рассказа Овидия (Met., IX, 153, 132, 165, 207, 204), которого он, очевидно, в данный момент перечитывал, да и вообще знал этот эпизод, относящийся к числу любимых им эротических рассказов Овидия (см. выше его заметки о „Полтаве“).

VII

Другим любимым поэтом Пушкина был Гораций. Им он увлекается, начиная с лицейской скамьи.

Уже в 1814 г. в стихотворении „Городок“ упомянут „чувствительный Гораций“. Там же возможно влияние „Памятника“ Горация:

Сия горним светом,
Взлечу на Геликон.
Не весь я предан тленью:
С моей, быть может, тенью
Мой правнук просвещенный
Беседовать придет.

Ср. впоследствии в „Памятнике“ Пушкина: „душа в заветной лире мой прах переживет и тленья убежит“. Впрочем в том и другом случае Пушкин имел в виду и державинское подражание Горацию („часть меня большая, от тлена убежав, по смерти станет жить“). Мысль об этом стихотворении мелькала перед ним и в 1823 г. — см. набросок, относящийся ко 2-й главе „Евгения Онегина“:

Быть может, этот стих небрежный
Переживет мой век мятежный.
Могу ль воскликнуть...
Ehregi monumentum:
Воздвигнул памятник.

(См. комментарии Н. О. Лернера в венгерском издании, т. VI, стр. 495.)

Пасифая воспыдала страстью к быку (Met., VIII, 138); о Пигмалионе уже сказано по поводу „Евг. Онегина“. Мирра была влюблена в своего отца (Met., X, 310). Мария в „Полтаве“ имеет нечто и от Мирры Овидия, поскольку она влюблена в своего крестного отца и бежит „от венца, как от оков“, и от Дездемоны Шекспира („зачем так тихо за столом она лишь гетману внимала?“).

¹ Д. П. Якубович („Пушкинист“, IV, 292) находил даже попытку прямого перевода из „Метаморфоз“ (XI, 692) в неотделанном наброске „Таится пещера“ (1828 г.).

² „Пушкин и его современники“, вып. XXXVI, 1923, 44—47.

В следующем, 1815 г. в послании к Галичу Гораций назван „Тибурским мудрецом“, а в послании к Юдину упомянут рядом с Лафонтеном:

Вот здесь под дубом наклоненным
С Горацием и Лафонтеном
В приятных погружен мечтах.

Тогда же он пишет Пушкину:

Живешь как жил Гораций,
Хотя и не поэт.

Характерен конец послания к Батюшкову с отказом о подражании „Энеиде“:

Дано мне мало Фебом...
И с дерзостным Икаром
Страшась летать не даром,
Бреду своим путем:
Будь всякий при своем.

Это девиз Горация в его посвященных Меценату 1-й оде I книги и 1-й сатире I книги. Впрочем, такие же мысли есть и у Овидия.

Уже указано было, что упомянутый в послании к Жуковскому (1817 г.) Мевий мог быть взят из X эпода Горация.

В 1817 г. в послании к В. Л. Пушкину заключается намек на известную 7-ю оду II книги, которую впоследствии Пушкин переводил, о позорном бегстве с поля сражения при Филиппах:

Они (т. е. гусары) живут в своих шатрах
Вдали забав и нег и Граций,
Как жил бессмертный трус Гораций
В Тибурских сумрачных лесах.

Упоминание о Горации встречается далее в стансах к Толстому (1819 г.):

Ты милые забавы света
На грусть и скуку променял
И на лампаду Эпиктета
Златой Горациев фиал.

Тогда же („Мои замечания об русском театре“, 1819 г.) Пушкин слегка изменяет начало известной ему, повидимому, со школьной скамьи 16 оды I книги, говоря о Колосовой-матери:

*filiae pulchrae mater pulchrior*¹

(у Горация: *o matre pulchra filia pulchrrior*).

В 1822 г. в письме к Вяземскому от 1 сентября из Кишинева Пушкиным упомянуто „Горацианская сатира, тонкая, легкая и веселая“ — определение, напоминающее ее характеристику в известном Пушкину с лицейских лет учебнике Лагарпа.²

¹ Перевод: Красивой дочери красивейшая мать.

² Ce même homme a fait des satires pleines de finesse, de raison, de gaîté.

Позднее, в 1824 г., Гораций — с намеком на 3-ю оду I книги — фигурирует в послании к Давыдову:

Когда чахоточный отец
Немного тощей Энеиды
Пускался в море наконец,
Ему Гораций, умный льстец,
Прислал торжественную оду,
Где другу Августов певец
Сулил хорошую погоду.¹

Уже приведена была выдержка из письма к Бестужеву (от 1825 г.) о признании Горация гениальным поэтом. В том же 1825 г., в письме к Катенину Пушкин цитирует (с опиской *fugant* вм. *fugaces*) начало 4-й оды II книги.

Далее Гораций упомянут — юмористически — и в „Евгении Онегине“ (VI, 7; 1827 г.):

Зарецкий мой,
Под сень черемух и акаций
От бурь укрывшись наконец,
Живет, как истинный мудрец,²
Капусту садит, как Гораций.

Там же о Зарецком сказано, что он „новый Регул, чести бог“. Конечно, об этом герое 1-й Пунической войны Пушкин мог знать из уроков по римской истории, но не исключена возможность того, что он имел в виду известную 5-ю оду III книги, специально посвященную восхвалению старой римской доблести в лице Регула.

Около того же времени („О Байроне“, 1827 г.) порицание плохих подражателей сопровождается восклицанием: о *miratores*, т. е., вероятно, о *imitatores* — реминисценция из „Посланий“ Горация (I, 19):

O imitatores, servum pecus, ut mihi saepe
Bilem, saepe iocum vestri movere tumultus!

Две цитаты из Горация заключает в себе „Путешествие в Арзрум“ (1829 г.):

1) снова *Neu* (точнее *eheu*) *fugaces*, *Postume*, *Postume*, *Postume*,
labuntur anni;

2) начало 9-й оды II книги:

nec Armeniis, in oris,
Amice Valgi, stat glacies iners
Menses per omnes...³

¹ Это же стихотворение Пушкин имеет в виду в письме к Вяземскому (1830 г.) о своей невесте: „твердой дубовой корою, тройным булатом грудь ее вооружена, как у Горациева мореплавателя“.

² Ср. черновые наброски статьи „О ничтожестве литературы русской“ (1834 г.): „сын молдавского господаря (т. е. Кантемир) перекалывал стихи придворного философа Горация“.

³ Перевод: И в армянских краях, друг Вальгий, не круглый год держится неподвижный лед.

В том же году он называет своего знакомого Великопольского, игрока и автора сатиры на игроков, „Беверлеем-Горацием“.

В следующем году (1830 г.) в набросок „Об Альфреде Мюссе“ Пушкин старается установить смысл эпитафии, взятого из „Ars poetica“ Горация к „Дон Жуану“ Байроном: *difficile est proprie communia dicere*. „Communia“, — правильно замечает он, — „не обыкновенные предметы, но общие всем“. Надо прибавить, что с „Ars poetica“ Горация он имел дело, вероятно, еще на школьной скамье не только в связи с „L'art poétique“ Буало, подражателя Горация, но может быть и в связи с рассуждениями о драме Корнеля, которого Пушкин уже в то время читал.

Тогда же, говоря о „безнравственности поэтических произведений“, он вспоминает известную по 5-му и 7-му „Эподам“ Горация отравительницу Канидию: „стихотворения, коих цель горячить воображение сладострастными описаниями, унижают поэзию, превращая ее божественный нектар в воспалительный состав, а Музу в отвратительную Канидию“.

Знакомы ему были и „Сатиры“ Горация, и он ясно представляет себе их отличие от сатир Ювенала („О ничтожестве литературы русской“¹ 1834 г.), и к сатире II книги восходит его эпитафия к 3-й песне „Евгения Онегина“: О, rus! (О, деревня!).

Как мы уже сказали, Пушкин никогда не упускал из виду, что Гораций был не только поэтом, но и философом, и в его глазах это было достоинством. „Есть люди, — говорит он („Путешествие В. Л. П.“), — которые находят Горация прозаическим, спокойным, умным, рассудительным. Так ли? Пусть так, но жаль было бы, если бы не существовали прелестные оды, которым подражал наш Державин“. Еще в молодые годы („О слоге“, 1824 г.) Пушкин требовал от лирики содержательности (каковой как раз и обладает поэзия Горация): „Проза требует мыслей и мыслей, стихи другое дело. Впрочем и в них не мешало бы нашим поэтам иметь сумму идей гораздо позначительнее, чем у них обыкновенно водится; с воспоминаниями о протекшей юности литература наша не подвинется“.²

Итак, в произведениях Пушкина имеются налицо и цитаты из Горация, и намеки на него, и отзывы о нем.

Но есть и прямые подражания. Это, во-первых, „Памятник“ (ср. 30-ю оду III книги), стихотворение, написанное в pendant „Памятнику“ Державина, имеющему своим источником также Горация.

Во-вторых, припомним попытку перевести 1-ю оду I книги:

Царей потомок Меценат,
Мой покровитель стародавний, и т. д.

¹ В этом отношении чрезвычайно любопытна попытка Пушкина „бороться с Ювеном“ в 1836 г.

² Ср. свидетельство П. В. Анненкова „Пушкин признавал высокую образованность жерывым, существенным качеством всякого истинного писателя. Я сам слышал от Гоголя о том, как на него рассердился Пушкин за легкомысленный приговор Мольеру“.

Эта ода с ее возвышенным представлением о поэзии, как единственно достойном призвании человека, конечно находила в душе Пушкина глубокий отклик.

В-третьих, особенно выдается не совсем близкий перевод¹ автобиографической 7-й оды II книги („Кто из богов мне возвратил...“, 1835), в котором можно сделать только одну фактическую поправку — во второй половине первой строфы:

С кем я тревоги боевые
В шатре за чашей забывал
И кудри, плющем увитые,
Сирийским мирром умащал.

Неправильны именно прибавки в шатре за чашей и тревоги боевые. Пушкин, очевидно, имел в виду походные пирушки и притом на широкую ногу, раз их участники не только надевают на себя венки, но и душатся драгоценными восточными благовониями. Но подобные пирушки не могли относиться к военной службе Горация: их трудно было бы организовать в непрерывных походах по местностям, отчасти лишенным всяких культурных удобств, и, главное, сам Брут никак не поощрял их, приучая своих офицеров к самому скромному образу жизни. Всё это дела студенческих лет в Афинах до приезда Брута и до обращения его к римской молодежи, учившейся там у профессоров философии и ораторского искусства. К такому же заключению приводит и основная цель этого стихотворения, вполне угаданная Пушкиным: нельзя серьезно относиться к участию в гражданской войне незрелых юношей, каковыми были Гораций и его школьные товарищи; это были юные студенты, совсем не помышлявшие о делах военных, но увлекавшиеся или товарищескими пирами, или литературным дилетантизмом.

¹ Собственно Пушкин воспроизводит это стихотворение, не опуская ни одной строфы. Но в свой перевод он внес такие изменения, которые подсказывались ему соображениями политической тактики. Особенно характерна прибавка „за призраком свободы нас Брут отчаянный водил“. Затем Пушкин опускает явный намек на амнистию, в силу которой Кв. Помпей был восстановлен в гражданских правах, и ссылку на жертвоприношение в честь Юпитера в знак благодарности за это восстановление. За 10 лет до этого в „Записке о народном воспитании“ он представлял „Кесаря честолюбивым возмутителем, а Брута защитником и мстителем коренных постановлений отечества“. Известно, что записку эту Николай I принял враждебно и испещрил вопросительными знаками (напр., характеристика Брута сопровождается двумя вопросительными знаками). По этой причине Брут изображен теперь как бы политическим мечтателем и утопистом.

Далее, в первые годы после расправы над декабристами Пушкин еще мог надеяться на их помилование, но в 1836 г. об этом нельзя было и заикаться.

Высказано было предположение, что это стихотворение Горация напомнило Пушкину тяжелый год его изгнания, 1825 г., когда пострадали его друзья декабристы; его спасла ссылка и, главное, необыкновенно интенсивная литературная деятельность в Михайловском. В том же 1836 г. он вспоминает об этом в знаменитом отрывке „Вновь я посетил...“, причём в черновой рукописи есть характерный конец: „Поэзия, как ангел утешитель, спасла меня“. В изучаемом нами стихотворении этому соответствует строфа о спасителе поэта Эрмии (т. е. Гермесе), который известен был как покровитель поэзии.

Перевод этот был использован для этюда „Цезарь путешествовал“, и там дана замечательная характеристика Горация, делающая честь исторической прозорливости Пушкина, который, кстати сказать, тем лучше понимал отношение Горация к Августу, что сам возвращался в придворной среде:

„Когда читаю подобные стихотворения, сказал он <т. е. Петроний>, мне всегда любопытно знать, как умерли те, которые так сильно поражены были мыслию о смерти. Анакреон уверяет, что Тартар его ужасает, но не верю ему, также как не верю трусости Горация. Вы знаете оду его:

.
Ты помнишь час ужасной битвы,
Когда я, трепетный квириг,
Бежал, нечестно бросив щит,
Творя обеты и молитвы?
Как я боялся! Как бежал!
Но Эрмий сам незапной тучей
Меня покрыл и вдаль умчал
И спас от смерти неминучей.

Хитрый стихотворец хотел рассмешить Августа и Мецената своею трусостию, чтоб не напомнить им о сподвижнике Кассия и Брута“.

Таким образом Пушкин взглянул на дело глубже новейших ученых комментаторов Горация, которые обыкновенно не ставят вопроса о том, был ли Гораций действительно трусом, но ограничиваются цитированием параллельных мест из Архилоха, Алкея и Анакреона о том, как они бежали, бросив щит, или из самого Горация, где он, чем дальше, тем более, подчеркивает свою невоинственность и невольное участие в гражданской войне и вместе с тем слишком возвеличивает геройство Августа (Epist., II, 2, 46), между тем как его легионы были разбиты на голову и частью уничтожены бурным натиском армии Брута, завладевшей при этом и лагерем противника. Несомненно, что и Гораций как военный трибун принимал участие в этой атаке, и понятно, что впоследствии он не находил возможным — по словам Пушкина — „напоминать“ Августу об этом. В этом же слишком дипломатическом послании проскальзывает однако очень важная подробность: „Филлиппы, — говорит Гораций, — отпустили меня с обрезанными крыльями, принизив к земле“ (decisis humilem pennis). Уже самый факт возведения его, сына вольноотпущенника, в военные трибуны переводил его в сословие всадников, а дальнейшее высокое положение, которое ему предстояло, требовало в военной обстановке как раз выдающейся храбрости. Храбрыми были и его товарищи по занятиям, особенно молодой Цицерон, который еще до сражения при Филиппах, командуя конным отрядом армии Брута, успел разбить войско Кая Антония, брата триумвира, и взять в плен целый легион. Другой товарищ, пасынок Брута Бибул (о нем он упоминает в 10-й сатире 1-й книги, ст. 86), блестяще исполнил поручение Брута — зайти в тыл авангарду армии триумвиров по совершенно безводным и непроходимым горам Фракии. При этом даже

Цицерон не сразу получил звание военного трибуна. Следовательно, для достижения этого высокого поста Горацій, будучи сыном вольноотпущенника, должен был обратить на себя внимание действительно серьезными военными подвигами, что отчасти следует из первого же стиха изучаемой нами оды: „о ты, часто со мною доводимый до крайних опасностей на службе у Брута!“ Это заметил и Пушкин, судя по эпитету „отчаянный“, который он дает Бруту. Храбростью, а также политической стойкостью отличался и адресат данного стихотворения Помпей, который не пал духом даже после поражения при Филиппах, но, не приняв амнистии, продолжал воевать с триумвирами, вероятно под знаменами Секста Помпея.¹

VIII

Римской историей Пушкин интересовался наравне с римской литературой. Еще до окончания курса в Лицее (в 1814 г.) он упоминает Тацита: „Сенека, Тацит на столе“ („Пирующие студенты“), а затем в 1818 г. в эпиграмме на Каченовского: „наш Тацит на тебя захочет ли взглянуть?“

Но Тацит уже глубоко интересуется его во время ссылки на север, когда и его лично и всю тогдашнюю мыслящую Европу должна была серьезно занимать проблема самодержавия, — тем более, что республиканские и даже умеренно либеральные движения были повсюду шаг за шагом подавлены монархией и реакцией.

Еще в 1821—1822 г., размышляя об Овидии, Пушкин проводит параллель между Августом и Александром I. К концу пребывания на юге, которое окончилось роковым конфликтом с Воронцовым, он уподобляет Александра I уже Тиберию (письмо Вяземскому, июнь 1824 г.).

А в 1825 г., работая над „Борисом Годуновым“, он внимательно изучал как древнюю русскую историю, кончая Борисом и самозванцем, так и историю Петра I; одновременно с этим он с увлечением читал Шекспира и особенно его исторические драмы. Его живо интересует Наполеон как политик не только по его собственным воспоминаниям, но и по запискам Фуше. И вот при изучении истории римской монархии по Тациту он нашел, с одной стороны, отзыв на свои собственные настроения, а с другой — великолепный материал для иллюстрации тем о царях, тиранах, узурпаторах и самозванцах.

В своих „Замечаниях на Анналы Тацита“ (1825 г.) Пушкин, вслед за римским историком, должен отметить, что Тиберий сразу же показал себя настоящим самодержцем, уничтожив республику тем, что ликвидировал народные избирательные собрания („народ ропщет, сенат охотно соглашается; тень правления перенесена на сенат“). И тем не менее, что

¹ См. подробный разбор замечаний Пушкина в моей статье „Пушкин и Горацій“ — „Доклады Академии Наук СССР“ за 1930 г., стр. 234 сл.

очень характерно, Пушкин неоднократно защищает Тиберия от нападок Тацита. В противоположность Тациту Пушкин отдает предпочтение сухому, несколько жесткому Друзу перед гуманным и пылким Германиком в деле усмирения бунта паннонских и германских легионов и становится на сторону Тиберия, который похвалил с большей откровенностью Друза, чем Германика.

Припоминая высказанное за год до этого уподобление Александра I Тиберию, мы уже чувствуем, что в глазах Пушкина римский Тиберий выше русского. Эскурс о ссылке Вибия Серена, поражающий неожиданной страстностью, дает понять, что суровый и мрачный римский император гуманнее Александра: „Некий Вибий Серен по доносу своего сына был присужден римским сенатом к заключению на каком-то безводном острове. Тиберий воспротивился сему решению, говоря, что человека, коему дарована жизнь, не следует лишать способов к поддержанию жизни. Слова, достойные ума светлого и человеколюбивого! Чем более читаю Тацита, тем более мирюсь с Тиберием. Он был один из величайших умов древности“.

Любопытно, что в данном случае Пушкин не вчитался в рассказ Тацита (IV, 30), из которого следует, что Вибий осужден был неправильно под давлением злопамятства Тиберия, и Тиберий лишь для приличия ходатайствовал о смягчении приговора. Эта ошибка — чисто автобиографического свойства. Как раз в это время в письмах к Дельвигу и Вяземскому, в черновике первой редакции письма к Александру I Пушкин горько жалуется на то, что он не имеет способов учиться и лечиться и вообще заботиться о своем существовании (*prendre soin de mon existence* — в письме к Александру I от июля—сентября 1825 г.).

„Анналы“ Тацита отразились и на пушкинском образе Лже-Дмитрия, тем более что римская история как раз была богата самозванцами, и по этому вопросу одним из интереснейших источников является опять-таки Тацит. То, что Пушкин пишет об упомянутом выше Агриппе Постуме, невольно напоминает концепцию Лже-Дмитрия: „Первое злодеяние Тиберия <замечает Тацит> было умерщвление Постума Агриппы, внука Августа... Он имел право на власть и нравился черни необычайной силой, дерзостью и простотой ума. Таковые лица всегда могут иметь большое число приверженцев или сделаться орудием хитрого мятежника“. Ср. в „Борисе Годунове“: „Ей нравится безумная отвага“ (Шуйский о толпе). „За мной гнались — я духом не смутился и дерзостью неволи избежал“ (Самозванец). „А говорят о милости твоей, что ты дескать (будь не во гнев) и вор, а молодец“ (русский пленник).

Во всяком случае умерщвление Агриппы Постума имело своим последствием появление самозванного Агриппы — одного из рабов убитого, — и летами и наружностью имевшего сходство с господином. Романтический рассказ Тацита об этой политической аванюре (Ann., II, 38—40), можно сказать, так и просится в рамки „Бориса Годунова“ Пушкина.

Упомянутый раб вздумал силой или хитростью похитить Агриппу и увести его к германским армиям, но случайно опоздал: Агриппа был уже убит. Тогда предприимчивому рабу приходят в голову более отважные, до безрассудства фантастические планы: он начинает с того, что похищает прах убитого (а этим в глазах легковерного народа парализуется слух об убийстве), сам скрывается в потаенных местах и, чтобы более походить на Агриппу, отпускает себе волосы и бороду, затем через подходящих людей распускает слух о том, что Агриппа жив. Слух заинтересовывает толпу; сначала говорят о нем тайком; мало-по-малу усиливаясь, слух этот находит себе веру среди людей невежественных, а также беспокойных и поэтому жаждущих переворота.¹ Наконец и сам самозванец начинает появляться в разных городах, но с романтическими предосторожностями: он заходит в города в сумерки, избегает, чтобы его видели на народе; не остается долго в одном месте; куда прошла молва о нем, оттуда он уже спешит уйти в другой город, где о нем еще не говорили. Истина, замечает Тацит, усиливается зрением и временем, а ложь поспешностью и неопределенностью.² Кончилось дело тем, что в Риме стали верить в спасение Агриппы и даже говорить об этом на тайных собраниях.³ Тиберий находился всё время в колебаниях: обуздать ли раба военной силой,⁴ или дать пустому легковерию рассеяться от времени;⁵ колеблясь между стыдом и страхом, он то полагал, что ничего не следует презирать, то полагал, что не всегда следует бояться.⁶

В VI книге „Анналов“ (гл. 10) Пушкин мог прочесть и о появлении Лже-Друза; а в „Историях“ Тацита (II, 8—9), если Пушкин их читал — о Лже-Нероне; отдельные черты этой последней авантюры напоминают авантюру Лже-Агриппы.

Занимаясь своей трагедией, Пушкин не мог не оценить и драматической стихии у Тацита; поэтому от него не укрылась чисто драматическая и индивидуальная черточка в описании бунта германских легионов. „Германик, тщетно стараясь усмирить бунт легионов, хотел заколоться на глазах у воинов. Его удержали. Тогда один из них подал свой меч, говоря: он вострее“. В общем Пушкин обращается с Тацитом, точно со своим современником. В этом отношении характерно заключение этих „Заме-

¹ „Бесмысленная чернь изменчива, мятежна, суеверна, легко пустой надежде предана, мгновенному внушению послушна“ (Шуйский).

² „чернь . . . для истины глуха и равнодушна, а баснями питается она“ (Шуйский).

³ Ср. тайную беседу Шуйского с Пушкиным.

⁴ „Возможно ли? Расстрига, беглый инок на нас ведет злодейские дружины, дерзает нам писать угрозы. Полно! Пора смирить безумца“ (Борис).

⁵ „Трех месяцев отныне не пройдет, и замолчит и слух о самозванце: его в Москву мы привезем, как зверя заморского“ (Басманов). Это, однако, удалось Тиберию и другим римским царям, но не Борису Годунову.

⁶ „Кто на меня! Пустое имя, тень! Ужели тень сорвет с меня порфиру, иль звук лишит детей моих наследства? Безумец я! Чего ж я испугался? На призрак сей подуй — и нет его. Так решено: не окажу я страха — но презирать не должно ничего“ (Борис).

чаний“: „С таковыми суждениями неудивительно, что Тацит, *бич тиранов*, не нравился Наполеону, — но удивительно чистосердечие Наполеона, в том признававшегося, не думая о добрых людях, готовых видеть тут ненависть тирана к своему мертвому карателю“.

Действительно, Тацит как изобличитель „тайн деспотии“ (*secreta dominationis*) был очень популярен среди французских республиканцев конца XVIII и начала XIX века, что приводило в великое негодование Наполеона. Лагарп писал, что тираны представляются зрителю наказанными, когда их обрисовывает Тацит. Мария Жозеф Шенье находил, что Тацит — это верховный трибунал, произносящий приговор в последней инстанции и притесненным и притеснителям; он же поплатился при Наполеоне удалением с высокого поста по просвещению за свой знаменитый стих на тему, что уже одно произнесение имени Тацита заставляет тиранов бледнеть (*et son nom prononcé fait pâlir les tyrans*); в отместку он написал трагедию „Тиберий“, которая, разумеется, не могла быть своевременно поставлена на сцену. В свою очередь Наполеон старался изгнать Тацита из школы и заменить его Цезарем („*ce génie simple et sublime*“), а в беседах с разными лицами, между прочим с Виландом, признавал, правда, за Тацитом известное искусство или, скорее, ловкость, но при этом находил, что Тацит как ритор слишком гонится за эффектами, что он искажает историю для того, чтобы изобразить красноречиво и т. д.¹

Отметим в заключение, что последними книгами „Анналов“ Тацита навеян этюд „Цезарь путешествовал“.²

Но Пушкина интересовали и другие римские историки, особенно те, которые в том или другом отношении соприкасались с Тацитом.

Так, для его замечательного стихотворения о Клеопатре „Чертог сиял“ (в „Египетских ночах“) источником был совершенно третьестепенный писатель Аврелий Виктор, которого Пушкин читал в том же 1825 г., что и Тацита: „Аврелий Виктор — писатель IV столетия... Сочинения его приписывают Корнелию Непоту и даже Светонию. Он написал книгу *De viris illustribus*... Книжонка его довольно ничтожна, но в ней находится то сказание (о Клеопатре), которое меня так поразило; и что замечательно! — в этом месте сухой и скучный Аврелий Виктор силой выражения равняется Тациту: *haec tantae libidinis fuit, ut saepe prostituerit, tantae*

¹ См. F. Ramorino, *Cornelio Tacito nella storia della coltura* (Milano, 1898), стр. 70, 71, 83 и прим. 125 и 136. По всем признакам эти взгляды Наполеона на Тацита были известны Пушкину. Он снова упоминает о Таците через год после своих „Замечаний“ в черновых набросках статьи „О народном воспитании“ (1826 г.): „но искажать республиканские рассуждения Тацита, великого сатирического писателя, впрочем опасного декламатора, исполненного латинских предрассудков...“ („Сочинения Пушкина. Изд. Акад. Наук“, т. IX, отд. II. Примечания Н. К. Козмина, 1928, стр. 65).

² См. подробности о Пушкине и Таците в моих статьях „Шекспиризм Пушкина“ („Пушкин“, под ред. С. А. Венгерова, т. IV, 1910) и „Пушкин и римские историки“ („Сборник статей, посвященных В. О. Ключевскому“, М., 1909).

pulchritudinis, ut multi noctem illius morte emerint („она отличалась таким сладострастием, что часто продавалась, такую красотой, что многие покупали ночь с нею ценою жизни“).

IX

Сказанным, конечно, не исчерпывается начитанность Пушкина в античной литературе и истории, по крайней мере римской (по греческой истории он обладал лишь очень элементарными сведениями). Мы узнаем, напр., из „Евгения Онегина“, что лицеистом он „читал охотно Апулея¹ а Цицерона не читал“ — по той, разумеется, причине, что Цицерон действительно не может быть интересен для школьников. С другой стороны, у Пушкина не видно интереса к римским комикам Плавту и Теренцию, которые в школе не преподавались. Впрочем в его библиотеке в издании Плавта разрезана первая комедия — „Амфитрион“, которая могла заинтересовать его как прототип одной из самых блестящих пьес Мольера — „Amphitryon“.

Так как греческий язык в лицее не преподавался, то Пушкин, повидимому, не имел достаточных знаний и по греческой драме. Между прочим, греческие трагики в его библиотеке отсутствуют. В одном из лицейских стихотворений упомянут Эврипид; но если бы Пушкин внимательно читал его (разумеется во французском переводе), то он, может быть, не был бы так строг к его великому подражателю Расину. Возможно, впрочем, что со времени увлечения Шекспиром Пушкин перестал интересоваться как французской классической трагедией, так и ее греческими образцами.

Из греческих поэтов Пушкин еще в лицее увлекался Гомером; впоследствии он ставил его выше Вергилия и Пиндара, которого он тоже читал. „Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи“, писал он по поводу перевода Гнедича, но в глубине души не находил в этом местами напыщенном и переполненном славянизмами переводе правильной передачи тона „Илиады“ и для себя записал убийственный отзыв о тяжеловесном труде Гнедича:

Крив был Гнедич-поэт, прелагатель слепого Гомера,
Боком одним с образцом схож и его перевод.

Как сказано было выше, Пушкин еще в юности увлекался греческой лирикой — сперва сквозь французских подражателей; затем у него являются полуподражания-полупереводы из Мосха (пособием послужила хрестоматия Кошанского из греческих элегиков), из Анакреона (по французскому

¹ По всем признакам в связи с „Psyché“ Лафонтена. Ср. параллель между Лафонтеном и Апулеем у Лагарпа (I, 724).

переводу), из Иона Хиосского, из „Афенея“, т. е. из цитированного „Афенеем“ Гедила.¹

Собирался он переводить стихами и Сапфо, и в его рукописях сохранился подготовительный прозаический перевод двух ее наиболее известных стихотворений (повидимому с французского). Далее он в одном месте упоминает известного элегика Тиртея.

Но вот что необходимо особенно подчеркнуть в заключение. Когда-то в юности Пушкин был очень начитан во французской литературе и в других европейских классиках античных и современных во французских переводах. С годами его литературный кругозор всё расширяется и углубляется: не говоря уже о пристальном чтении всего нового, что появлялось у французов, он изучает Байрона, Вальтера Скотта и Альфьери, Шенье, Шекспира, знакомясь отчасти и с немецкими классиками Шиллером и Гете; вместе с тем он обращается к ранним итальянским поэтам, воспитанным на древности, к Данте и Петрарке; его глубоко интересует, в связи с занятиями русской и европейской историей, Макьявелли; ему знакомы Раблэ и Монтэнь (у которого он, между прочим, метко схватил — несмотря на многочисленные цитаты из римских поэтов — антипоэтическую струю); он знает и Монтескье и т. д.

Немудрено поэтому, что он сразу всей душой полюбил крупнейших поэтов древности, слишком заметно было для него их превосходство над их позднейшими подражателями, особенно французскими эпохи упадка поэзии во Франции.

Не имея университетской филологической учености, не зная греческого языка² и не владея латинским языком в такой мере, в какой это требуется хотя бы от начинающего ученого классика, он однако, благодаря редкой общелитературной эрудиции, трезвому и очень пронизательному уму, гениальной интуиции и гениальному же литературному мастерству, дал целый ряд поучительных суждений о произведениях античной древности.

Мы говорили, напр., что он защищает Тиберию от нападок Тацита; отчасти он это делает из негодования на Александра I. Но в основе он прав: Тацит глубоко страдал во время домициановского террора и, характеризуя Тиберию, невольно перенес на него черты не только жестокого, но и отвратительного Домициана.

Его отзывы о Горации-дипломате, как мы уже видели, представляют собою огромный шаг вперед в общей оценке этого поэта, а краткая характеристика всей поэтической деятельности Овидия и в частности его элегий из ссылки до такой степени верна и убедительна, что ее с благо-

¹ К. К. Гельд, „Пушкин и Афиней“, „Пушкин и его современники“, вып. XXXI—XXXII, 1927, стр. 15—18.

² Характерен его учебный перевод из „Одиссея“. (См. сборн. „Рукою Пушкина“, 1935 г., стр. 88.)

дарностью должны усвоить себе ученейшие представители современной классической филологии.

Античная древность изучается Пушкиным в связи с развитием всей дальнейшей западноевропейской литературы. Именно такое изучение особенно плодотворно и должно служить для нас постоянным образцом.

В своем восхищении античными писателями Пушкин проявил (выражаясь словами Данте) *la somma sapienza e il primo amore* (высшую мудрость и первую любовь), и пусть эта великая любовь воспламеняет и нашу современную молодежь при ее занятиях античной культурой!



А. Н. СОКОЛОВ

„ПОЛТАВА“ ПУШКИНА И „ПЕТРИАДЫ“

I

Определение места „Полтавы“ в эволюции пушкинского творчества представляет большие трудности. Эта поэма создана Пушкиным после того, как были уже написаны бóльшая часть „Евгения Онегина“, „Борис Годунов“ и „Граф Нулин“, т. е. в тот период, когда переход Пушкина на позиции реализма уже определился. Между тем „Полтава“ не воспринимается как звено между романом в стихах и шутовой поэмой, с одной стороны, и „смиренной прозой“ 30-х годов — с другой. Что такое „Полтава“ в развитии пушкинского творчества: шаг вперед к реализму или попятное движение — то ли в сторону романтизма,¹ то ли классицизма?² Решение этого вопроса должно пролить некоторый свет и на спорный вопрос об эволюции социально-политического мировоззрения Пушкина во второй половине 20-х годов.³

Один из путей в разрешении поставленного вопроса о „Полтаве“ — установление тех литературных традиций, к которым примыкает Пушкин в своей поэме и от которых он отталкивается. Необходимо разобраться в том скрещении литературных путей, на котором находился Пушкин в процессе создания „Полтавы“.

Сопоставление „Полтавы“ с близкими к ней по теме произведениями русской и нерусской литературы производилось неоднократно (работы

¹ См., напр., статью М. Храпченко в „Литературной Энциклопедии“, т. IX, 1935, стлб. 401. К тому же пониманию, видимо, склонялся и Н. К. Пиксанов, давший в своей „Пушкинской студии“ (П., 1922) к теме о „Полтаве“ подзаголовок: „Возврат романтизма в творчестве Пушкина“ (стр. 50).

² „Рецидив классицизма“ видит в „Полтаве“ Д. Д. Благой („Развитие реализма в творчестве Пушкина“. „Литературная учеба“, 1935, № 1, стр. 33), находящий, впрочем, в этом произведении и признаки романтической поэмы. См. также Б. Коплан, „Полтавский бой Пушкина и оды Ломоносова“ („Пушкин и его современники“, вып. XXXVIII—XXXIX, Л., 1930); Л. П. Гроссман, „Полтава“ (в сб.: „Мазепа“, опера в 3 действиях, музыка П. И. Чайковского, Гос. Акад. Большой театр, 1934).

³ Так, литературная „реакционность“ „Полтавы“ иногда ошибочно трактуется как выражение ее политической благонамеренности, явившейся якобы результатом „поправления“ Пушкина. См. в некоторых упомянутых статьях.

Житецкого, Сиповского, Жирмунского, Благого, Коплана). Но при этом или вопрос сводился к литературным источникам пушкинской поэмы, нахождение которых еще не решает вопросов стиля и жанра, или обходился тот круг произведений, сопоставление с которыми для „Полтавы“ как раз всего необходимее.

„Полтава“ не была первым опытом исторической поэмы в русской литературе. В русском классицизме сложился, по западным образцам, особый жанр исторической поэмы — героическая поэма, или эпопея. Можно ли правильно понять пушкинскую историческую поэму без сопоставления ее с канонизированным в предшествующей литературе жанром исторической поэмы классического стиля?

Необходимость этого сопоставления становится еще очевиднее, если примем во внимание, что тема о Петре может считаться преобладающей в русской эпопее. Этой теме посвящены первые опыты русской героической поэмы Кантемира¹ и Ломоносова.² Ее признает канонической для русской эпопеи Херасков, создатель образцовой русской героической поэмы, — хотя сам, по тем соображениям, что писать эпопею о Петре „еще не время“, отклоняет от себя эту тему. У последователей „русского Гомера“ тема о Петре является наиболее популярной: мы имеем три поэмы об этом герое — Сладковского,³ Шихматова⁴ и Грузинцова.⁵ К этой же теме обращались в своих неосуществленных замыслах Княжнин⁶ и Муравьев.⁷

Были ли известны Пушкину перечисленные поэмы?

Относительно Ломоносова и Шихматова это несомненно. Трагедии и „Спасенная Россия“ Грузинцова были в библиотеке Пушкина. Вероятно Пушкин знал и основную поэму Грузинцова, тем более, что название

¹ „Петрида или описание стихотворное смерти Петра Великого, императора всероссийского“, единственная песнь написана в 1730 г., напечатана впервые в 1859 г.

² Две песни поэмы „Петр Великий“, 1760—1761.

³ „Петр Великий. Героическая поэма в VI песнях стихами сочиненная, и на случай празднуемого столетия мая в 16 день 1803 года, в честь, основателю столичного града С. Петра изданная коллежским асессором, Романом Сладковским. С дозволения Санктпетербургского гражданского губернатора. В Санктпетербурге, печатано в императорской типографии, 1803 года“. Ниже всюду после цитат указываем *страницы* данного издания.

⁴ „Петр Великий. Лирическое песнопение, в восьми песнях. Сочинил князь Сергей Шихматов. Императорской Российской Академии член. С дозволения С. Петербургского цензурного комитета. В Санктпетербурге, печатано в типографии Шнора, 1810 года“.

⁵ „Петриада. Поэма эпическая сочинения Александра Грузинцова. Санктпетербург. В императорской типографии 1812 года“. Второе издание, „перетворенное“, вышло в 1817 г.

⁶ В биографической заметке о Княжнине, напечатанной в третьем издании его сочинений (СПб., 1817, т. I, стр. 9), сообщается, что „после смерти его нашли во многих бумагах начало поэмы Петра Великого. . . По всему видно, что он хотел. . . воспеть отца отечества: но колебался и не смел следовать путем творца Россияды“.

⁷ По свидетельству Н. Ф. Кошанского, в бумагах М. Н. Муравьева сохранилось несколько песен поэмы „Полтавская победа“ (см. „Вестник Европы“, 1807, № 19, стр. 192; прим. 2).

„Петриада“ ему знакомо („Две Петриады“). Это предположение становится вполне очевидным из сопоставления поэмы Грузинцова и „Полтавы“. То же нужно сказать и о нигде не упоминаемой Пушкиным поэме Сладковского.

Итак, „Полтава“ и „Петриады“ — если можно этим общим именем назвать классические эпopeи о Петре¹ — этот частный вопрос общей проблемы о литературных традициях, с которыми связана „Полтава“, будет предметом рассмотрения в настоящей статье. Можно опасаться, что выводы окажутся скудными. В самом деле, что может быть общего между бессмертным созданием великого поэта и давно забытыми творениями третьестепенных стихотворцев?

Но изучение произведений Пушкина на фоне предшествующей ему русской литературы является безусловно необходимым для выяснения особенностей литературного новаторства Пушкина.

Насколько мне известно, в пушкинской литературе „Полтава“ не сравнивалась с „Петриадами“. Правда, в работе Е. Ф. Шмурло „Петр Великий в русской литературе“ (СПб., 1889) среди прочих произведений о Петре упоминаются и поэмы названных выше авторов, однако никакой ассоциации между ними и „Полтавой“ у исследователя не возникает. В связи с „Полтавой“ об эпических поэмах на тему о Петре упоминают, кажется, только И. Н. Жданов и П. Н. Сакулин, но лишь для того, чтобы от них презрительно отмахнуться на том основании, что русскую литературу они „обогатили мало“.²

II

Сопоставление „Полтавы“ и „Петриад“ начнем с темы и сюжета.

Для классической эпopeи была обязательна „высокая“ тематика, определявшая и характер сюжета.

Тема о Петре, по суждению Хераскова, вполне удовлетворяет требованиям эпopeи.³

В отношении сюжета „Петриады“ можно разделить на две группы. „Петр Великий“ Шихматова имеет тенденцию к хроникальному построению, охватывая всю жизнь и деятельность Петра. Полтавская битва в поэме — один из эпизодов войны со шведами, занимающий в общей композиции важное, но не исключительное положение, а количественно —

¹ „Петриадой“ называет поэму Шихматова сам Пушкин в „Тени Фон-Визина“.

² П. Н. Сакулин, „Русская литература. Социолого-синтетический обзор литературных стилей. Часть вторая. Новая литература“, М., 1929, стр. 230. „Сочинения И. Н. Жданова“, т. II, ст. „Пушкин о Петре Великом“, стр. 274. Д. Д. Благой глухо говорит о „нескольких патриотических одах и стихотворениях о полтавской битве и Петре“ („Социология творчества Пушкина“, 1831, стр. 299, прим. 25).

³ См. его „Взгляд на эпические поэмы“, предпосланный „Россиаде“.

две песни из восьми. „Петриады“ Ломоносова,¹ Сладковского и Грузинцова выдвигают в качестве сюжета войну со шведами. Сюжет кантемировской „Петриды“ (смерть Петра) следует признать не вполне каноническим для эпопеи.

Таким образом сюжетом в „Петриадах“ является действительно „важное“ событие национального, исторического значения. Частная жизнь не интересует авторов эпопей.

В предисловии, напечатанном в первом издании „Полтавы“, Пушкин пишет: „Полтавская битва есть одно из самых важных и самых счастливых происшествий царствования Петра Великого. Она избавила его от опаснейшего врага; утвердила русское владычество на Юге; обеспечила новые заведения на Севере, и доказала государству успех и необходимость преобразования, совершаемого царем“. Такая трактовка Полтавской битвы вполне подходит под правило, сформулированное Херасковым: эпическая поэма „воспевает случай, в каком-нибудь государстве происшедший и целому народу к славе, к успокоению, или наконец ко преображению его послуживший“.

Итак, Полтавская битва — сюжет, достойный эпопеи. Но является ли Полтавская битва сюжетом „Полтавы“? Можно ли пушкинскую поэму по теме и сюжету отнести к жанру эпопей? Этот вопрос был выдвинут критикой сразу же после появления „Полтавы“.

Пушкинская поэма, в отличие от поэмы Шихматова, не дает хроники о Петре. Не является сюжетом „Полтавы“ и шведская война, как в поэмах Ломоносова, Сладковского и Грузинцова. Пушкинская поэма с самого начала вводит читателя в судьбу частных лиц: Кочубея, Марии, Мазепы. В первых же стихах поэмы завязывается любовный сюжет, развитие которого долгое время занимает первый план. До конца поэмы прослеживает Пушкин развитие этой сюжетной линии.

Место любовной интриги в „Полтаве“ настолько значительно, что приходится констатировать: в отношении темы и сюжета пушкинская поэма не удовлетворяет строгим требованиям классической эпопеи, где любовные истории допускались только как побочные эпизоды. В этом смысле прав критик „Галатеи“, утверждавший, что „Полтава« — слишком далека от эпопей“.²

Но сюжет „Полтавы“ нельзя назвать и новеллистическим сюжетом романтической поэмы. Не прав критик той же „Галатеи“, утверждавший, что Полтава „поставлена у него (Пушкина) почти в невидимом уголке“, что „главное действие только скользит, так сказать, мимо Полтавы“.³

¹ Использование *Vorgeschichte* для изложения предшествующих начальному моменту поэмы событий позволяет заключить о сюжетном строении поэмы, задуманной Ломоносовым, а изложенная автором завязка дает основание предполагать, что этим сюжетом должна была послужить шведская война.

² „Галатея“, 1839, ч. 3, № 26, стр. 643.

³ Там же, № 16, стр. 257.

Частные отношения, с изображения которых начинается „Полтава“, в своем дальнейшем развитии влекли автора к историческим, политическим событиям. Новеллистический сюжет неизбежно вырастал в исторический.

Проследим логику сюжета.

Мазепа сватается к дочери Кочубея, но получает от родителей невесты отказ. Тогда он тайно увозит Марию. Оскорбленный Кочубей доносит Петру о политических замыслах Мазепы. Так в орбиту действия вовлекается русский царь, а вместе с тем выступает и вторая сюжетная линия: политическая борьба Мазепы. Петр не верит доносу и выдает доносчиков Мазепе. Интересы любовника оказываются в противоречии с интересами гетмана. Мазепа решает, что „любовник гетману уступит“, и обрекает Кочубея на казнь. Это событие входит одновременно в обе сюжетных линии: Мазепа устраняет своего политического врага, но тем самым вырывает пропасть между собой и любимой женщиной. Новеллистическая сюжетная линия развязывается исчезновением Марии после казни отца, с эпилогом — встречей бегущего гетмана с помешанной любовницей. Историческая линия сюжета имеет свое продолжение, несмотря на то осложнение ее, которое было вызвано вторжением в нее событий личной жизни:

Души глубокая печаль
Стремиться дерзновенно в даль
Вождю Украины не мешает.

Мазепа открыто переходит на сторону Карла и выступает против Петра. Историческая линия сюжета приводит к кульминации — Полтавской битве, где решается исход политической борьбы. Бегством Мазепы и его союзника сюжет развязывается.

Это сплетение в „Полтаве“ двух сюжетных линий и давало повод критике упрекать пушкинскую поэму в двойственности сюжета, в отсутствии цельности. Белинский способствовал утверждению мнения о двойственности „Полтавы“, в смысле противоречивого, несогласованного соединения в „Полтаве“ двух сюжетов, двух поэм.¹

Нельзя, конечно, отрицать наличия в „Полтаве“ двух сюжетных линий, но логика их развития и связи позволяет говорить об их органическом, а не механическом соединении. Вопреки критикам, Пушкин вынужден был ввести в поэму Полтавский бой как кульминацию исторической линии сюжета; нельзя было оборвать поэму на исчезновении Марии после казни и не показать, чем кончились замыслы Мазепы, ради которых он пожертвовал личным счастьем. А ввести в сюжет политические события стало неизбежным после рассказа о доносе Кочубея, чем сюжетные события выводились за рамки личных отношений.

¹ Белинский, в частности, говорит, что Петр появляется только в третьей песне. На сцене — да. Но в действие Петр включается и в первой и во второй песнях.

Критики, знавшие исторические сюжеты эпоей и новеллистические сюжеты романтических поэм, не поняли того, что в „Полтаве“ Пушкин создал сюжет нового качества, органически объединив в нем события частной и общественной жизни.

О более поздней поэме Пушкина Анненков заметил: „Пушкин сам показал в «Медном Всаднике» пример, как должно вводить в историческую раму частное лицо и событие“.¹ Пушкин показал это уже в „Полтаве“.

Что же является основным в „Полтаве“? Какова тема Пушкинской поэмы?

Замена заглавия „Мазепа“ заглавием „Полтава“ показывает, что и сам автор считал основной темой — исторические события. Но в связи с ними в сюжет поэмы включена и частная жизнь героев. Это новая, по отношению к классицизму, традиция, и, как предполагает В. М. Жирмунский, ее можно связать прежде всего с именем Вальтер Скотта.²

Возвращаясь к связи „Полтавы“ с „Петриадами“, мы можем сделать вывод, что со стороны тематики и сюжета „Полтава“ после значительной литературной эпохи, когда господствовали „частная“ тематика и новеллистическая сюжетология романтических поэм, возрождает „высокую“ тематику и историческую сюжетологию героической поэмы, но в новом виде, в новом качестве, не просто повторяя отживший жанр классицизма, а используя достижения романтической школы.

III

Основные образы „Полтавы“ (кроме Марии) встречаются нам и в „Петриадах“: Петр, Мазепа, Кочубей, Искра, Карл, ряд сподвижников Петра и Карла (напр., Шереметев, Шлиппенбах). Правда, не все поэмы дают этот состав персонажей полностью (напр., у Шихматова нет Кочубея и Искры). Особенно бедны в этом отношении незаконченные поэмы Кантемира и Ломоносова. Для историко-литературного освещения „Полтавы“ интересно рассмотреть, как даны перечисленные образы в до-пушкинских поэмах.

Концепция Петра, которая станет традиционной, намечается уже у Кантемира. В „предложении“ поэмы он дает характеристику героя, приписывая ему „всё, что либо звать совершенным можно“. Автор говорит, что когда он называет Петра, то „в той самой речи“ заключает:

...Мудрость, мужество к случаю
Злу и благополучно, осторожность сыльну,

¹ П. В. Анненков, „А. С. Пушкин. Материалы для его биографии и оценки произведений“, изд. 2-е, СПб., 1873, стр. 204, прим.

² В. Жирмунский, „Байрон и Пушкин. Из истории романтической поэмы“, Л., 1924, стр. 176.

Любовь, попечение, приятность умильну,
 Правдивого судию, царя домостройна,
 Друга верна, война, всех лавров достойна.¹

Показать своего героя в действии Кантемир успел очень немного. После изложения мифологической завязки выводится Петр, сидящий в своем „не просторном жилище“ („Что внешна пышность тому, кто велик душою?“), окруженный вельможами,

..иль обиды учиненны люду
 Испытуя, иль в нуждах, наступить имущих
 Народу, способ ища, или в бедности сущих
 Награждая, законы счиняя полезны,
 Иль обычай в своих вводя всем любезны. (стих 303).

Идеализированный образ героя, мудрого и справедливого правителя, наделяется прекрасной и величественной внешностью.

И для Ломоносова Петр — человек, „каков во всех странах не слыхан был от века“. В „предложении“ автор дает свою концепцию Петра:

Пою премудрого Российского Героя,
 Что грады новые, полки и флоты строя,
 От самых нежных лет со злобой вел войну,
 Сквозь страхи проходя, вознес свою страну;
 Смирил злодеев внутрь, и вне попрая противных,
 Рукой и разумом сверг дерзостных и льстивных;
 Среди военных бурь науки нам открыл,
 И мир делами весь и зависть удивил.²

Как и у Кантемира, герой обладает величественной и приятной внешностью:

...сиял величеством... (186);
 ... бодрый дух к трудам на всем лице сиял (189);
 Надеждой, ревностью блистал Геройский вид (207);
 Вперяет бодрых Петр внимание очей (211).

Такая трактовка образа Петра становится обязательной для последующих „Петриад“.

Назвав Петра в предисловии своей поэмы „великим героем“, „отцом отечества и преобразователем из тьмы России“, Сладковский в „предложении“ поэмы перефразирует Ломоносова.

Портрет Петра складывается из тех же элементов, которые мы видели у Кантемира и Ломоносова. В очах блистает надежда (у Ломоносова — „надеждой... блистал... вид“), стан величественный (у Ломоносова — „сиял величеством“, у Кантемира — „величество“ блистало в очах). Новым у Сладковского является „глас его приятный“ (33). Перед войском

¹ „Петриду“ цитирую по „Сочинениям“ Кантемира под ред. П. А. Ефремова, СПб., 1867, т. I, стр. 297. Ниже в скобках указываем соответствующие *страницы* издания.

² Ломоносова цитирую по академическому изданию его сочинений, СПб., 1893, т. II, стр. 184.

Петр возблестал „подобно восходящему Фебу“ (34). Но больше полюбили автору сравнение Петра с молнией. Оно употребляется дважды (не в описании полтавского боя):

Петр в виде бури сей Вандалов поражал,
Собой горящ перун, разящий представлял (42).

В другом месте:

Как быстра молния летает всюду Петр,
Его предводит бог, свой изливая свет (75).

Черты гиперболлизма в образе Петра перерастают в своего рода космизм, когда автор говорит о Гиперионе, что:

Петровым славнейшим он соплескал делам,
Петра предпочитал Героям и Царям (55).

Благодаря обычной у поэтов классической школы „небесной мотивировке“ действия и образ мифологизируется. Петр получает вдохновение от явившегося ему в образе седовласого мужа „Хранителя Ангела“. Во время боя он созерцает таинственно помогающего ему чудным мечом Иоанна, который „ниспроверг Казански горды стены“ (48). По его молитве о помощи

... дуга по воздуху блеснула,
И ополчение вандальско ужаснула,
Ударил страшный гром на шведской стороне,

после чего

Петр на коня взлетел как будто обновленный,
И ратной строй восстал надеждой оживленный (112).

Вариации на ломоносовскую тему дает в своем „лирическом песнопении“ и Шихматов.

В первых же стихах поэмы он прямо говорит о своем отношении к Петру, обращаясь к своим предшественникам в воспевании этого героя:

Лишенный вашего искусства,
Я вашим пламенем горю,
И ваши разделяю чувства
К сему Герою и царю (4).

Оправдывая свое витийство изящным афоризмом:

Не терпит сердце немоты,

автор прерывает изложение лирическими восклицаниями и обращениями к воспеваемому герою:

Хвались, о Петр! вселенной диво,
Зерцало славы для властей! (120).

Петр — „Отец Российского народа“ (4) или: „Отец отечества“ (11), „полночи просветитель“ (6), „России новья создатель“ (14). Он Россию „броней новою облек“ (12).

Вся вторая песнь посвящена деятельности Петра, введшего в Россию ряд искусств, вроде „земледельства,“ „горорытства“ и др.

Вскрывая мотивы деятельности Петра, автор дает штрихи к психологической характеристике героя.

Любовью к россам воскриленный (38),
Себе чтя верхом воздаяний
Блаженство подданных своих (24),

царь

Сошел с престола своего,
Дабы понесть труды жестоки
.....
Премудрость тронам предпочел (11).

Из других „доблестей“ автор приписывает герою кротость, щедроту, правоту, геройство (12).

Естественно, что и внешность Петра гармонирует с идеализированным психологическим образом. В портрете Петра мы встречаем ряд черт, знакомых нам по предыдущим поэмам: красота, величественность, блистающий взор.

Несколько раз автор показывает Петра во время полтавского боя.

Петр, „оставив Россов к бою,“ обращается с молитвой к творцу (68). Это сообщает ему „дух крепости и дух совета“ (71). Он держит речь к войскам, ободряя их словами: „С нами бог!“ (72).

Описывая битву, автор риторически вопрошает:

Но кто, кто там примером дивным
Россиян поощряет в бой? —
.....
Боязнь врагов гласит: се Петр! (84).

Описывая в витийственном стиле, как Петр разит врагов, Шихматов сравнивает его меч с молнией, а коня — со стрелой (85).

Как и у Сладковского, в „Петриаде“ Грузинцова уже в предисловии излагается идея, в свете которой дальше будет трактоваться образ Петра: „Петр в течении двадцати лет, исторгнув из мрака невежества обширнейшую в свете монархию, поставил ее на ряду с другими государствами“ (III). Отсюда прямо выраженное отношение автора к герою: „благоговение к делам Петровым“ (V). Более подробно концепция Петра, как и в других эпопеях, излагается Грузинцовым в „предложении“, представляющем опять-таки перефразировку Ломоносова.

Особенно интересна и в этой поэме обрисовка Петра во время полтавского боя.

Приведя войска в боевой порядок, Петр обращается к ним с речью, заканчивая ее словами: „нам защита бог“ (214). Войска двинулись на врагов, и вот:

Седящий на коне, быстрее, чем бурный ветер,
Пред воинством своим летает гневный Петр (там же).

Затем идет ставшее традиционным сравнение Петра с молнией:

Подобно, как перун на воздухе пущенный,
Ударив с треском в юг, рвет тучи съединенны,
И раздробившись вдруг по грозным облакам
Разящих молний вид изображает там:
Таков являлся Петр, бесстрашием водимый (там же).

Петр не только руководит боем. Он принимает в нем прямое участие:

Как буря из за гор поднявшись мчится с свистом,
Лес ломит, кроет степь со древ стрясенным листом,
Подобно Петр врагов разил, опрокидал
И влажный кровью дол телами их устлал (217).

Как и в других „Петриадах“, Петр остается невредимым, благодаря сверхъестественной защите (218).

Многие детали в обрисовке образа Петра в „Полтаве“ сближают пушкинскую поэму с эпопеями поэтов классической школы.

В двух сценах „Полтавы“ появляется Петр, и обе эти сцены восходят к аналогичным эпизодам в „Петриадах“. Первая сцена — появление Петра во время Полтавского боя. Пушкин комбинирует свою картину из традиционных элементов. Суммируем эти элементы, а затем прочитаем заново знаменитую цитату из „Полтавы.“

Петр перед битвой обращается с молитвой к богу и получает „дух крепости и дух совета“ (Шихматов). Он держит речь к войску, заканчивая словами: „С нами бог!“ (Шихматов) или: „Нам защита — бог“ (Грузинцов). Петра окружают его сподвижники: „Кругом Петра вождей знаменитых хор“ (Сладковский). На лице и в очах у него сияет геройство (Сладковский). Он водим бесстрашием и гневом (Грузинцов). Он подобен горящему перуну, быстрой, разящей молнии (Сладковский и Грузинцов; у Шихматова с молнией сравнивается меч Петра). „Борзый, пылкий конь Петра“ быстрее „стрелы от сребренного лука“ (Шихматов). Петр летает на нем перед войском „быстрее, чем бурный ветер“ (Грузинцов). Его „персидский конь под ним и в пене и в огне, копытом топает и всадником гордится“ (Сладковский).¹

А вот Пушкин:

Тогда-то свыше вдохновенный
Раздался звучный глас Петра:
„За дело, с богом!“ Из шатра
Толпой любимцев окруженный
Выходит Петр. Его глаза
Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен,
Он весь, как божия гроза.
Идет. Ему коня подводят.
Ретив и смирен верный конь.

¹ В пушкинской литературе приводилась и другая параллель — из Ломоносова: „Прекрасной всадницей гордись“.

Почувяв роковой огонь,
 Дрожит. Глазами косо водит
 И мчится в прахе боевом,
 Гордясь могущим седоком.

Подобным образом и вторая сцена „Полтавы“, в которой появляется Петр, восходит в целом и в отдельных деталях к „Петриадам“. Это — пир после победы.

„С победителями Петр радостно ликует“ (Сладковский). „День брани претворив в день пирной“, Петр с героями сидит „вокруг воздержных трапезы“ (Шихматов). Он восходит над всеми видом исполина и доблестью (Шихматов). Он сияет зарею великодушия (Сладковский). Он поднимает покорившихся врагов своей десницей, подает им пищу и, стерев монаршими руками токи слез, приветствует побежденных ласковыми словами (Сладковский). Вкусив „гроздия сладчайшу кровь“, царь называет шведов своими наставниками в войне (Шихматов), ибо они „сами побеждать Россиян научили“ (Грузинцов).¹

Теперь Пушкин:

Пирует Петр. И горд и ясен
 И славы полон взор его.
 И царский пир его прекрасен.
 При кляках войска своего,
 В шатре своем он угощает
 Своих вождей, вождей чужих,
 И славных пленников ласкает,
 И за учителей своих
 Заздравный кубок поднимает.

Но если в деталях обрисовки образа Петра Пушкин, несомненно, использовал традицию, то произведенная им переработка традиционных элементов настолько существенна, что новым совершенно покрывается старое. Исходя из концепции Петра как великого государственного деятеля, авторы эпопей наделяют образ его теми чертами, какие по идее ему должны быть свойственны. На этом пути неизбежны идеализация, гиперболизация, мифологизация, т. е. черты, которыми характеризуется метод построения образа в классицизме. Идеализированный образ находит пышное витийственное словесное оформление в том „высоком“ стиле, который свойствен классицизму.

Героизация образа Петра у Пушкина не выходит за рамки реалистического метода. Мы не найдем у Пушкина таких сцен, чтобы

.....Петр врагов разил, опрокидал
 И влажный кровью дол телами их усталл (Грузинцов, 217).

¹ И у Ломоносова Петр милостив к побежденным. После взятия крепости:

Победоносец наш жар сердца отложил
 И первый кротостью успех свой посвятил:
 Снабдил противников к отшествию судами (214).

Петр в „Полтаве“ обходится без сверхъестественной помощи. Чудесное сообщение Петру необыкновенного возбуждения и силы у Пушкина сохраняется в виде слабой реминисценции: „свыше вдохновенный“. Вместо витийствования в высоком стиле классицизма Пушкин дает скупые, точные формулировки. Сам герой у него не произносит длинной, торжественной речи, а деловито бросает: „За дело, с богом!“ Вот и вся „речь“ к войскам.

Таким образом, следуя литературной традиции в ряде частных, Пушкин рисует весь образ Петра иными художественными средствами, дающими право говорить об ином художественном методе. Это связано с существенными различиями в идеологическом наполнении образа Петра в „Петриадах“ и „Полтаве“, о чем речь будет идти ниже.

IV

К такому же заключению приводит и анализ образа Мазепы.

Во всех „Петриадах“ Мазепа трактуется как изменник. Это основное качество образа.

Идея измены определяет собой и концепцию образа Мазепы у Пушкина. Он „изменник русского царя“ (ср. „зачем изменник не на плахе?“ или: „Измену ценят меж собой“). Этот же термин фигурирует и в предисловии к „Полтаве“, в котором Пушкин излагает свой взгляд на Мазепу.

Целый ряд черт пушкинской характеристики Мазепы находит параллели в „Петриадах“. Сладковский замыслы Мазепы называет надменными. Пушкин употребляет тот же эпитет в том же предметном контексте: „далеко преступны виды старик надменный простирал“. Пушкинский Мазепа так же „не помнит благостыни“, как и Мазепа в „Петриадах“. Шихматов предприятия Мазепы называет „кознями“, как и Пушкин: „Мазепа козни продолжает“. Шихматов отмечает двуличность Мазепы: „Извне полн чувствий благодарных“. Пушкин упрекает Мазепу в притворстве. Сентенциозное восклицание Шихматова:

Но ах! сердца людей коварных
Как бездны моря глубоки (59) —

перекликается с подобными же образами аналогичной сентенции Пушкина

Кто спидет в глубину морскую,
Покрытую недвижно льдом?
Кто испытующим умом
Проникнет бездну роковую
Души коварной?

Употребляемая Сладковским перифраза для обозначения Мазепы: „Он смертоносный змей, ползущий меж цветами“ встречается нам и у Пушкина: „Не знаешь ты, какого змия...“ Шихматов проводит параллель между Мазепой и Иудой (59). Тот же библейский персонаж дважды

появляется в перифразах Пушкина: „Сам царь Иуду утешал“, „Куда бежал Иуда в страхе“.¹ Пушкинское выражение: „Души мятежной, ненасытной отчасти бездну открывал“ напоминает выражение Шихматова: „в глубину души мятежной“. В ряде случаев Пушкин фразеологически близок к Грузинцову. В изображении последнего Мазепа „других хитрей“ (150), он „дышит злобой“ (149). У Пушкина:

...чем Мазепа злей,
Чем сердце в нем хитрей и ложней...

(ср. „злой старик“, „воля злая“, „давно горю стесненной злобой“). У Грузинцова находим эпитет коварный („коварны помыслы“ — 155, „коварный дух“ — 90), применяемый и Пушкиным („коварная душа“, „коварные седины“).

Отдельные штрихи вырастают у Грузинцова в цельную характеристику Мазепы (151), имеющую ряд параллелей у Пушкина:

Г р у з и н ц о в	П у ш к и н
Злокозненна душа наружностью простой Далеко увлекла вниманье за собой.	Чем сердце в нем хитрей и ложней, Тем с виду он неосторожней И в обхождении простей....
Коварством приобрел доверенность граждан	Как он умеет самовластно Сердца привлечь и разгадать....
Властолюбив... кичлив далеко преступны виды Старик надменный простирал....
Свиреп	Кровь готов он лить как воду....
Не благодарен не помнит благостыни

Особенно подробно авторы эпоепей останавливаются на обрисовке Мазепы после полтавского поражения.

У Сладковского „Мазепа целый ад в душе своей имел“. Не зная, поспешить ли ему за разбитым Карлом или предстать перед разгневанным Петром, он „смущеньями терзался“ и „горячих слез поток при вздохах проливался“ (130). Это — клише для изображения скорби: горячие слезы и вздохи не к лицу Мазепе. Он изливает явное отчаяние в длинных lamentациях (полторы страницы) на тему: „Уже в Геэне я горю“. Сущность его переживаний автор выражает восклицанием: „Мазепа! совесть, ах! всю внутренность терзает“ (132). Злодея бежит сладкий сон. Не перенеся терзаний совести, Мазепа выпивает яд и умирает.

У Шихматова Мазепа бежит, „злодейства ужасом гоним“. В яркой раскраске даны здесь переживания Мазепы, которые приводят его к смерти.

¹ Документальным источником этого „образа“ является письмо Петра Апраксину, в котором Мазепа называется „новым Иудой“ (см. Бантыш-Каменский, „История Малой России“, ч. III, стр. 138).

Грузинцов в первом издании поэмы кратко сообщает, что Мазепа „от рук своих, как изверг, жизнь скончал“ (223). Во втором издании подробно рассказывает, как Мазепа, пытавшийся остановить обратившиеся в бегство полки, был убит своими же войсками (192—193).

Отдельными штрихами пушкинское описание психологии бегущего Мазепы напоминает „Петриады“: „Куда бежал от угрызений змеиной совести своей“, „сон Мазепы смутен был“ (ср. „Бежит злодея сладкий сон“ — Сладковский); „в нем мрачный дух не знал покоя“, „тоска, тоска его снedaет“ (ср. „Сидел он мрачен и угрюм“; „Мученьем скорби безотрадной пронзаясь до души своей“ — Шихматов); „В груди дыханье стеснено“ (ср. „Едва свободный вздохнуть“ — Шихматов). Но в целом психология Мазепы дана у Пушкина иначе, как естественные в данных условиях, психологически убедительные переживания, свидетельствующие, что и в обрисовке психологии героев Пушкин стоит в основном на почве реализма.

У авторов „Петриад“ мы встретим и связанные с Мазепой мотивы Пушкинского эпилога:

И тщетно там пришлец унылый
Искал бы гетманской могилы:
Забыл Мазепа с давних пор;
Лишь в торжествующей святыне
Раз в год анафемой донине,
Грозя, гремит о нем собор.

У Сладковского это звучит таким намеком:

Сколь грозну принял казнь изменник и злодей,
От бога отлучен проклятый от людей! (133).

Шихматов грозит Мазепе, что „позднее потомство“ „клятвой проклянет“ его. После смерти Мазепы „враны, привлеченные смрадом“ „разносят плоть его в костях“, а змеи вещают: „Здесь гниет Мазепа!“ (100). То, что у Пушкина дано как изложение факта (в черновике было сказано прямо:

Напрасно Гетмана могилу
Я в думу погружен искал),¹

то у Шихматова представлено в аллегорической картине, выражающей идею могилы изменника. Та же аллегория и у Грузинцова: „Его смердящу плоть расторгли хищны враны“ (223).

Таким образом концепция Мазепы, развернутая Пушкиным, находится в соответствии с традиционным освещением этого персонажа в эпических поэмах, в отличие от Рылеева, который в „Войнаровском“ решительно отступает от традиции. Но, как и в образе Петра, Пушкин ставит своей задачей преодолеть сложившийся в эпоху классицизма штамп. По замыслу Пушкина, Мазепа в его поэме действует „точь в точь как

¹ См. публикацию Н. Измайловым отрывков из черновых рукописей „Полтавы“ в „Литературной Газете“, 1936, № 41.

в истории“.¹ Мазепа Пушкина, по замыслу, не является аллегорическим образом изменника и злодея, но реалистическим портретом исторического лица.

Но не противоречит ли этому издавна отмечаемая критикой некоторая мелодраматичность образа Мазепы?

Прежде всего необходимо принять во внимание, что так называемая „односторонность“ образа Мазепы не есть особенность художественного метода, примененного в обрисовке этого образа, но есть выражение пушкинского понимания этого исторического лица. В предисловии к „Полтаве“ Пушкин высказывает свой взгляд на Мазепу, который не расходится с трактовкой этого образа в поэме. „История представляет его, — пишет Пушкин о Мазепе, — честолюбцем, закоренелым в коварствах и злодеяниях, клеветником Самойловича, своего благодетеля, губителем отца несчастной своей любовницы, изменником Петра перед его победою, предателем Карла после его поражения: память его, преданная церковью анафеме, не может избегнуть и проклятия человечества“. Вот почему Пушкин возражает против „некоторых писателей“ (разумея Рылеева), которые „хотели сделать из него героя свободы“. Этому противоречит история. Возражая дальше против изображения Мазепы „изобретающим утонченные ужасы, годные во французской мелодраме“ (намек на повесть Е. Аладьина „Кочубей“), Пушкин полагает, что „лучше было бы развить и объяснить настоящий характер мятежного гетмана, не искажая своевольно исторического лица“. Эту задачу, очевидно, взял на себя сам Пушкин.

Что односторонность пушкинской характеристики Мазепы есть следствие авторского взгляда на Мазепу, с окончательной убедительностью подтверждается позднейшим высказыванием Пушкина: „Чем больше думаю, тем сильнее чувствую, какой отвратительный предмет для художника в лице Мазепы! Ни одного доброго, благородного чувства! Ни одной утешительной черты! (Разрядка моя. А. С.) Соблазн, вражда, измена, лукавство, малодушие, свирепость...“ Таков замысел характеристики.

Но если даже согласиться, что пресловутая характеристика Мазепы все же несколько сгущает краски, то образ Мазепы в целом — не только, как о нем говорит Пушкин, но и как сам герой действует в произведении — нельзя признать образом односторонним. Мазепе при всех его отрицательных чертах и черных помыслах не чужды человеческие движения души. Решив с жестокой твердостью, что „любовник гетману уступит“. Мазепа испытывает тяжелые переживания:

В его душе проходят думы,
Одна другой мрачней, мрачней.

Он с ужасом думает о том, что будет с Марией, когда она „услышит слово роковое“. Он готов признать безумством, что связал свою мятежную

¹ См. заметку Пушкина в альманахе „Денница“ (1830).

судьбу с судьбою „трепетной лани“. При виде всё отдавшей ему Марии он горько восклицает: „Какой готовлю ей удар!“ и, „содрогаясь.., отвращает взгляд“. Вернувшись после казни домой, он с тревогой спрашивает: „Что Мария?“ и, пораженный невольным страхом, слышит „ответы робкие, глухие“. Он ищет ее по дому, по саду, он гонит на поиски надежных слуг, он заперся в ее светлице и там, близ ложа, во мраке ночи

Сидел он, не смыкая очи,
Нездешней мукою томим.

Пережитое потрясение оставляет в душе Мазепы „глубокую печаль“.

С этим кругом „человеческих“ движений души смыкаются у Мазепы мучительные переживания, связанные с вероломным поступком по отношению к старому другу. Требуя казни бывших друзей, Мазепа принужден заглушать „ропот сонный“ своего сердца. С приближением решительного момента угрызения совести усиливаются. Тихая украинская ночь кажется Мазепе душной как черная тюрьма, звезды представляются обвинительными очами, а тополя — судьями. И наконец, услышав слабый крик из замка, Мазепа не выдерживает и отвечает тем криком,

Которым он в весельи диком
Поля сраженья оглашал,
Когда с Забелой, с Гамалеем,
И — с ним... и с этим Кочубеем
Он в бранном пламени скакал.

После казни, еще не зная об участии Марии, он терзается „какой-то страшной пустотой“.

„Человеческие“ переживания владеют Мазепой и во время бегства. Здесь и сознание крушения всего задуманного дела и „глубокая горесть“, вызванная встречей с безумной Марией.

Пусть все это не нашло отражения в общей характеристике Мазепы, где по контексту Пушкину нужно было выдвинуть отрицательные черты коварного гетмана, но нельзя не замечать этих психологически правдивых переживаний Мазепы, позволяющих утверждать, что при известной „идеализации“ образ Мазепы в целом не выпадает из границ реалистического метода Пушкина.

V

Остановимся кратко на остальных образах, общих „Полтаве“ и „Петриадам“.

В эпических поэмах Карл дан как антитеза Петру.

Поэты не отказывают ему в геройстве, отважности, силе (Сладковский, 16—17; Шихматов, 60; Грузинцов, 93—94, 169). Но свои подвиги он совершает ради личной славы („Его геройский дух искал гремящей славы“ — Сладковский, 16; „Славы жаждою гоним“ — Шихматов, 86; „Прельщен воинской славой“ — Грузинцов, 3); наряду с эпитетами „отважный“ (Слад-

ковский, 16), „неустрасимый“ (Грузинцов, 33) гораздо чаще употребляется при имени Карла эпитет „надменный.“ Кичливость приписывает Карлу и Ломоносов (265; ср. „кичлив“ в речи Мазепы о Карле у Пушкина).

У Пушкина — та же концепция Карла: герой, ищущий славы. Обращение к Карлу:

И ты, любовник бранной славы,
Для шлема кинувший венец —

находит прямую параллель у Сладковского:

Его геройский дух искал гремящей славы,
Шлем более любил блистательной державы (16).

Эпитетам „отважный“, „могучий“ у Пушкина, как и в „Петриадах“, противостоит эпитет „гордый“ („с гордым шведским королем“; ср. у Сладковского: „гордостью надут, на меч свой уповает“).

Появление Карла во время Полтавской битвы в „Петриадах“ напоминает аналогичный эпизод „Полтавы“. У Сладковского

Карл, презирая боль, хотя не мог ходить,
Долохранителям велел себя носить (101).

То же у Грузинцова (221). У Шихматова сраженный Петром и носимый на одре Карл „Женет на смерть полки унылы“ (ср. пушкинское „на русских двинул он полки“).

После поражения, в описании Сладковского:

Полмертва короля дрожащими руками
Схватив, бегут, куда? Сего не знают сами (125).

Но если в пушкинской поэме персонажу приписывается естественное в изображаемой обстановке состояние духа („Опасность близкая и злоба“ и т. д.), то в классической эпопее то же, по существу, переживание дается подчеркнуто, сгущенно:

Сам Карл, страдающ и боязнен,
Как робкий, язвенный елень,
(От страха каменеют члены,
И сердце умирает в нем).
Несомый пламенным конем,
Помчался в земли отдаленны
От лютой с россами войны (Шихматов, 96).

Обрисовка образа Кочубея и у Сладковского и у Грузинцова ограничивается украшающим эпитетом „храбрый“.

У Пушкина образ Кочубея раскрыт значительно полнее. К этому обязывала фабула. В „Петриадах“ соответствующего материала мы, конечно, не найдем.

Так как сюжетная линия Кочубей — Мазепа — Мария в этих поэмах отсутствует, то донос Кочубея и Искры мотивируется иначе. У Сладковского это — „любовь к отечеству, закон, монарх венчанный,“ за что Кочубей и Искра готовы умереть.

Главный герой в „Петриадах“ окружен другими героями, правда меньшего ранга, но достаточно идеализированными. Упоминание почти каждого из них сопровождается украшающими эпитетами, например:

То славный Меньшиков и Гейншин был усердный,
И Рендель ко Петру любовью отменный

(Сладковский, 104).

Перечисляются, в сопровождении подобных же эпитетов, вожди и во время Полтавского боя. Тут не только знакомые нам по „Полтаве“ имена Шереметева, Брюса, Боура, Репнина, Меньшикова, но и ряд других.

Индивидуализации вождей нет: и Боур „храбрый вождь“, и Брюс — „вождь храбростью отличный“, и Голицын — „храбрый вождь и разумом отменный“ и т. д. Дается, в сущности, один идеализированный образ полководца под разными именами. Искусство индивидуализированного портрета еще отсутствует.

Быть может Пушкин в обрисовке хотя бы этих, третьестепенных, образов оказывается в зависимости от художественного метода классицизма?

Едва ли так. Пушкин, давая простое перечисление имен, не ставил, очевидно, своей задачей индивидуализацию образов. Он дает группу сподвижников Петра:

За ним вослед неслись толпой
Сии птенцы гнезда Петрова и т. д.¹

VI

Особо следует сопоставить описание Полтавского боя в „Полтаве“ и „Петриадах“. По сюжету здесь наиболее тесное соприкосновение. Именно в этой части „Полтава“ имеет непосредственных предшественников. Пушкинская поэма совпадает здесь с эпопеями и в ряде отдельных эпизодов и в общем плане, который можно свести к следующей общей схеме.²

¹ Ср. сходные образы применительно к позднейшим полководцам (Румянцеву, Суворову, Кутузову) в оде Мерзлякова „Полтава“, читанной „на торжественном акте императорского Московского Университета в 27 день Июня — в день победы под Полтавою“ и напечатанной в „Вестнике Европы“, 1827, № 12:

...Но кто сии Орлы? —
Потомки со гнезда, вскормленного Полтавой! —
Но кто сии Вожди, в обителях хвалы,
В сени сидящие лавровой? —
Сыны души, души Петровой! (291)

В более ранней редакции у Пушкина было: „Орлы гнезда Петрова“ (см. публикацию Н. Измайлова в „Литературной Газете“, 1936, № 41).

² Если бы здесь ставился вопрос об источниках „Полтавы“, то нужно было бы указать, что общая схема боя и отдельные частности даются бывшими в распоряжении Пушкина историческими сочинениями, напр., „Деяниями Петра Великого“ Голикова (первое изд. в 1788—1789 гг.), которые, видимо, были известны и авторам „Петриад“ (так, напр., Сладковский, по Голикову, расставляет на поле битвы командиров).

Описание начинается коротким пейзажным отрывком, указывающим на наступающее утро. Затем описывается первый момент боя: русские отражают наступающих шведов. Следующий эпизод — появление Петра на коне перед войском. После этого начинается решительный бой, оканчивающийся победой русских и бегством шведов. Затем в различной последовательности изображаются бегство Карла и Мазепы и пир Петра, чествующего своих сподвижников и угощающего пленных врагов.

Эта общая в „Полтаве“ и „Петриадах“ схема в отдельных эпопеях несколько варьируется. Так, в „Петре Великом“ Сладковского мы находим ряд дополнительных эпизодов: после речи к войску Петр обращается с молитвой к богу и получает чудесное предзнаменование („дуга по воздуху блеснула“). Есть и другие эпизоды такого же характера: ангельские защитники охраняют Шереметева, Меньшикова и самого Петра. Описанию победы русских предшествует широкая мифологическая сцена: перед господом, вззирающим с небес на бой, появляется собор мужей — российских царей, один из которых (царевич Дмитрий) обращается к богу с просьбой об оказании помощи Петру. Бог обещает. Победа, по Сладковскому, сопровождается не только пиром, но и молебствием, во время которого явившийся в сиянии „щедрый бог“ венчает Петра короной и вручает ему рог изобилия, предрекая начало „золотых времен“. Значительно подробнее, чем в „Полтаве“, излагаются эпизоды после поражения врагов: преследование бегущих, прием Петром сдающихся в плен, предание земле убитых, еще раз молебствие и награждение „сотрудников“.

В поэме Шихматова, по сравнению с Полтавой, мы находим следующие новые эпизоды: моление Петра перед началом боя, единоборство Петра и Карла в разгаре боя и второе обращение Петра к богу после победы.

В направлении мифологизации идут преимущественно и дополнительные эпизоды „Петриады“ Грузинцова. Так, судьба Карла перед Полтавской битвой решается в небесах (207). В исполнение этого решения во время боя бог посылает на помощь русским „Невского“, который обращает Карла в бегство.

Сопоставим теперь более близко отдельные эпизоды.

Описание боя в эпопеях начинается призыванием музыки.

Открывающий самое описание пейзажный отрывок (у Сладковского и Шихматова) при тематическом совпадении с пушкинским зачином резко отличается по методу:

Едва из тихих волн денница появилась,
Росою сладкою природа оживилась (Сладковский, 101).

Вместо реального описания мы видим здесь традиционную условность денница из тихих волн (как будто Полтава стоит на берегу гомеровского

моря), сладкая роса, оживившая природу. Лексически здесь денница в м. пушкинской за р. Шихматов и в пейзаже витийствует:

Уже светает день Самсонов,
 День страшный северным царям,
 День скорби ужасов и стонов!
 Льетса утро по горам
 Лучем мерцающим, багровым.
 Содрогнулись и твердь и дол,
 Предчувствием грядущих зол,
 И смертных жребием суровым (67).

Вместо условных волн и гор, содрогающихся тверди и дола у Пушкина реальная картина:

Горит восток зарею новой.
 Дым багровый
 Кругами всходит к небесам
 Навстречу утренним лучам.

Описание начального момента боя в „Петриадах“ дано в типичных для батальной живописи классицизма красках.

В изображении Сладковского шведы, чтобы овладеть русскими укреплениями, „пустились как львы“. Краткое описание Грузинцова состоит из аллегорических перифраз, классических гипербол и батальных штампов. Шихматов начинает описание с огромнейшего пятичленного сравнения, повторно начинающегося словом „представь“. Битва сравнивается с двумя тучами, которые „сшибаются на высоте“, с дождевыми потоками, которые „столпами вержуются с небес“, с мятежными быстрынами, которые „грозят потопом твари всей“ и т. д. „Се вид битвы Полтавской знойной!“ (81) — заканчивает свое сравнение автор и переходит к описанию самой битвы в том же стиле, как и другие авторы „Петриад“:

Се пагуба свой меч простерла,
 В персть смерти сонмы возлегли;
 Рыкают медны брани жерла,
 Дрожит от них испод земли...¹ и т. д. (82).

Иначе описан тот же момент боя в „Полтаве“. Вместо условно-поэтических жерл, изрыгающих смерть, вместо молнии и грома, туч стрел (Сладковский, 115, и др.), катающихся голов и рек крови Пушкин дает точный перечень военных действий, разыгравшихся в описываемый момент боя. Грохочут пушки и катятся ядра. Свищут пули стрелков, рассыпавшихся в кустах. Полки сомкнули свои ряды и взяли штыки на изготовку („на-

¹ Ср. подобные же батальные штампы в оде Мерзлякова „Полтава“, почти современной „Полтаве“ Пушкина:

Земля содрогнула, свод неба воспыхал,
 Как жерла медные повсюду заревели:
 От молний ад разверзся вдруг, —
 Но вскоре мрак всё скрыл вокруг! (293)

висли хладные штыки“). Шведы начали наступление: летит конница, за ней движется пехота. Но отбитые пальбой, шведы, мешаясь, падают. Розен уходит сквозь теснины. Шлиппенбах сдается. Русские теснят шведов.

Особенно показательно здесь сопоставление выражений, имеющих тождественное предметное значение. Так, вместо точного описания факта в пушкинском выражении: „пальбой отбитые дружины“ — Сладковский нагромождает метафоры: „гром их (наступающих шведов) разорвал“, „лиется молния горящими струями“. Пушкинское продолжение приведенного отрывка „мешаясь падают во прах“ корреспондирует с гиперболами Сладковского: „катятся с плеч главы“, „течет Вандальска кровь багровыми ручьями“.

Следующий эпизод, общий „Полтаве“ и „Петриадам“, — появление Петра на коне перед войском в окружении вождей уже рассматривался выше в другой связи.

Описание центрального момента боя открывается у Сладковского и Пушкина сходными формулами:

Сладковский:

Сошлись две армии — и <се?> начался бой (112).

Пушкин:

И с ними царские дружины
Сошлись в дыму среди равнины;
И грянул бой, Полтавский бой!

Дальнейшее описание битвы дает некоторые общие штрихи.

В огне, под градом раскаленным,
Стеной живою отраженным (Пушкин) —
Сквозь стены огненных дождей (Шихматов)
Бросая груды тел на груды (Пушкин) —
Пронзенных воинов бугры (Шихматов) —
Валются храбрые бездушных тел костры (Сладковский) —
Творящ пространный путь чрез груды мертвых тел (Грузинцов)
Швед, русский — колет, рубит, режет (Пушкин) —
Пылают, силются, сражают нас, мертвят,
Жгут, рубят, колют, рвут, бесстрашный вид явят (Сладковский).

Не только в отдельных штрихах, но и в общем характере батальной живописи „Полтавы“ можно почувствовать реминисценции классического стиля. „В картине «Полтавского боя», — пишет автор специальной статьи на данную тему, — мы находим элементы классического стиля... Героической теме Полтавского боя созвучен монументальный стиль («высокий штиль») ее поэтической обработки у Пушкина“.¹

¹ Б. И. Коплан, указ. выше статья, стр. 117. Связывая описание Полтавского боя у Пушкина с одописной традицией, а не с эпической (так как, по ошибочному мнению автора, за историческую поэму, „после риторических опытов XVIII в., поэты не брались до Пушкина“), автор сопоставляет ряд выражений „Полтавы“ с ломоносовскими одами. Ср. также указ. выше статью Л. П. Гроссмана, стр. 22, 23.

Однако вот впечатление современника: „Полтавский бой происшествие важное и великое; но описание оно, сделанное Пушкиным, не выдержит сравнения с описанием сражений менее значительных, встречающихся в известных эпических поэмах“.¹ Максимович почувствовал существенное отличие пушкинской батальной живописи от традиционной баталистики классицизма.

Поэты-классики, следуя канонам классической поэтики, дают „украшенное“ изображение битвы. На ряду с людьми в ней принимают участие „потусторонние“ силы. Космические явления, сопровождающие битву, показывают, что и природа не остается безучастной к происходящим событиям. Гиперболическое изображение борьбы и подвигов придает событиям характер сверхъестественной грандиозности. Всё это облекается в традиционный круг „способов изобразительности“ и фразеологически сходных оборотов, переходящих из одной эпопеи в другую и превращающихся в батальные клише. Искать исторической верности и реалистического правдоподобия при таком методе изображения не приходится.

Не такова батальная живопись „Полтавы“.

Известно, какое большое историческое значение признавал за полтавской битвой Пушкин. В своей поэме Пушкин воспевает это событие. Отсюда черты грандиозности, героичности в описании полтавского боя, дающие повод говорить, что Пушкин здесь „классицизму отдал честь“. Впечатление грандиозности создается, так сказать, масштабом описания, рисуящим действия полков пехоты, отрядов конницы, наконец, двух враждебных армий в целом. Художник охватывает на своем полотне всё „битвы поле роковое“, которое „гремит, пылает здесь и там“. Но Пушкин не „украшает“ события. У него нет „чудесностей“ и „космизма.“ Гиперболизация не переходит в неправдоподобное преувеличение. Описание довольно точно передает ход военных действий. От традиционных, условных батальных клише пушкинская живопись свободна. Палитра его лишена таких красок, как „перуны“, „стрел тучи“, „реки крови“, „кровавый дождь“, „осызаемая тьма“, „мгла, пронзенна молний блеском“ и т. д. В пушкинском стиле немислимы такие, например, „способы изобразительности“:

Трясется твердь в очах, горит всё бытие;
Шатаются брега, колеблется долина;
В средине красна дня сокрылся дневный свет;
И гром оружия небесный свет проник;
Горящий сей пожар планет и звезд коснулся,
А брег, на нем же брань, встепал и ужаснулся.

После такого „космизма“ пушкинский гиперболизм кажется очень скромным.

¹ М. А. Максимович („Атеней“, 1829, ч. II, стр. 192).

Различие приемов батальной живописи в „Полтаве“ и „Петриадах“ основывается опять-таки на различии художественного метода Пушкина и поэтов-классиков.

Как и в построении других образов, в описании полтавской битвы творцы эпоей исходят из идеи грандиозного, кровопролитного, решительного для обеих сторон сражения и соответственно конструируют „образ“ такого сражения привычными им средствами гиперболизации, аллегоризации, мифологизации.

Выдвигая принцип исторической правды в поэме (см. ниже), Пушкин отправляется от реального исторического события, ставя своей задачей исторически правдивое его воспроизведение. Образ полтавского боя у Пушкина, как и вообще образы „Полтавы“, является не условной, аллегорической конструкцией, созданной для выражения общей идеи, а отражением конкретной действительности, которое в то же время является и выражением идеи. Мы имеем право утверждать, что батальная живопись „Полтавы“ не выпадает из рамок того художественного метода, под знаком которого в эту пору организуется всё творчество Пушкина,— из рамок реализма.

VII

Начало пушкинской поэмы свободно от традиционных элементов классической эпоеи: „предложения“, начинающегося словом „пою“ или одним из его синонимов, и „призывания“, т. е. обращения к музе или существу, ее заменяющему. Отсутствуют у Пушкина и нередкие у классиков обращения к музе в середине поэмы, при переходе к новой теме. Указанный прием классических эпоей Пушкин применяет только пародийно („Евгений Онегин“, „Домик в Коломне“). В серьезном, высоком стиле „Полтавы“ для этой традиционной условности места нет.

Но в некоторых других особенностях манеры изложения „Полтава“ сближается с эпоеями.

Повествование в эпоеях нередко прерывается риторическими вопросами и восклицаниями. Приведем несколько примеров из бесчисленного их количества, для того чтобы решительно опровергнуть неверное утверждение В. М. Жирмунского, будто героической эпоее эпохи классицизма свойствен „объективный“ тон повествования, при котором „личное чувство поэта, его эмоциональное участие в судьбе героев нигде не выражается в лирической окраске рассказа“, в отличие от романтической поэмы, лирическая манера повествования которой выражается в вопросах, восклицаниях и т. д.¹ Вот примеры из Сладковского:

Кто может воспятить орлам российским путь? (29)

Приятно зрелище! (Речь идет о победе русских) (30)

О верность! о союз, с Петром что заключен,

Забыт, оставлен был, в ничто вменен, презрен! (33)

¹ В. М. Жирмунский. „Байрон и Пушкин“, Л., 1924, стр. 21.

Виденье странное! злодеи умирают,
 Но злобой на Петра как аспиды зияют — (23)
 Каких, Россия, ты несчастий не терпела,
 Ты под ногами ад, в глазах перуны зрела! (6)
 Но как весть трудней, снискать чтоб просвещение?
 О коль великое потребно здесь раченье! (2)

Достаточно этих примеров, взятых с нескольких страниц одной поэмы, чтобы утверждать, что об объективизме изложения в эпопеях говорить не приходится.

Вопросами, восклицаниями, обращениями к героям обильна и „Полтава“. Но одно только наличие этого приема в манере изложения не дает еще права сблизать пушкинскую поэму с эпопеями. Это, так сказать, междужанровый прием. Но семантика его в различных жанрах различна. Не претендуя на исчерпывающую трактовку этого вопроса, можно наметить здесь следующие разновидности.

Вопросы и восклицания могут иметь шутивно-пародийный характер. Так — в „Руслане“:

А наш Фарлаф? Во рву остался —
 Друзья мои! а наша дева?
 Несчастливая! когда злодей,
 Рукою мощною своей
 Тебя сорвав с постели брачной... и т. д.

По поводу „наряда“ Людмилы в брачную ночь автор замечает:

Как жаль, что вышел он из моды!¹

Частично это мы находим и в „Онегине“ (напр., „Что ж мой Онегин?“). В „Полтаве“ этого нет.

Иная семантика вопросов и восклицаний в южных поэмах. Ее можно было бы назвать лирически-романтической.

Подобного рода вопросы и восклицания встречаются и в „Полтаве“ как пережитки романтического стиля, например:

Мария, бедная Мария,
 Краса черкасских дочерей... и т. д.

Ср. давно уже указанную прямую аналогию к Байрону: „кто при звездах и при луне“... и т. д.

Но для „Полтавы“ характерна иная семантика вопросов и восклицаний: торжественно-витийственная, преобладающая и в эпопеях.

Церковнославянизмы, как и риторические „о!“, подчеркивают витийственный характер вопросов и восклицания в „поэме“.²

¹ Нельзя согласиться с В. Жирмунским, видящим в „Руслане“ лирическую манеру повествования (указ. соч., стр. 82).

² В. Жирмунский правильно отмечает как особенность „Полтавы“ необычную для южных поэм „декламационную окраску“ некоторых вопросов и восклицаний. „Не лирическое сочувствие, а моральный пафос, нравственное негодование и т. п. одушевляют

В рамках той же манеры изложения находятся и встречающиеся в „Полтаве“ сентенции, в которых изложение конкретной ситуации заменяется общим положением:

Мгновенно сердце молодое... и т. д.
Не только первый пух ланит... и т. д.

Богатство сентенциями произведений классического стиля — слишком известная их особенность, чтобы нужно было приводить примеры из эпоей. Отметим только одну сентенцию Шихматова, напоминающую аналогичное рассуждение Кочубея накануне казни:

Что смерть? — мгновенная дрема! (208)

Как деталь, сближающую „Полтаву“ с эпопеями, отметим тот прием изложения, который можно было бы назвать „пророчеством“. Принимая близкое эмоциональное участие в ходе событий, автор заранее предупреждает о том, как они произойдут:

Мужайтесь! Петр присплет вскоре,
Как прах размещет наше горе,
Поставит нас на широту

(Шихматов — перед описанием полтавского боя, 66)

Петровых горестей веселие венец,
Веселья Карлова беда и стон конец

(Сладковский, 41)

Так и в „Полтаве“ Пушкин „пророчествует“:

И ты, любовник бранной славы,
Для шлема кинувший венец,
Твой близок день, ты вал Полтавы
Вдали завидел наконец.

Отмеченные приемы изложения, сближающие „Полтаву“ с героическими поэмами классической школы, входят в число тех признаков, которые позволяют говорить о „высоком стиле“ пушкинской исторической поэмы.

V:II

Ближайшее выражение этот высокий стиль находит в речевом строе поэмы. Не имея возможности привлечь значительный круг материалов, выходящих за пределы нашей темы (напр., романтические поэмы, другие произведения Пушкина), ограничимся перечислением основных стилистических особенностей, которые сближают „Полтаву“ с эпопеями классической школы.

поэта в его обращениях к Мазепе“. Исследователь связывает подобные вопросы и восклицания с традицией торжественной оды и видит в них одно из выражений замысла героической эпопеи, возникшего у Пушкина при создании „Полтавы“ („Пушкин и Байрон“, стр. 182).

Как известно, одной из наиболее характерных особенностей стилистики классицизма является частое употребление перифраз. В „Полтаве“ можно насчитать до двадцати перифрастических выражений. Вот примеры:

Пред бунчуком и булавой
 Малороссийского владыки.
 Вождю Украины.
 Потухший зрак
 Еще грозил врагу России.
 Чью долговременную злость
 Смирил полтавский победитель.
 Лишь ты воздвиг, герой Полтавы,
 Огромный памятник себе.

В „Петриадах“ мы встретим перифразы, напоминающие по своему характеру перифразы „Полтавы“, например „России повелитель“ (Сладковский), „властитель полуночи“ (Грузинцов). Но в общем характер перифраз в эпopeях иной, чем у Пушкина. Там мы встречаем много традиционных, условных перифраз, ставших своего рода эмблемами:

В Беллонин храм врата огромны отворились
 (Сладковский, 27)
 Блещет шведский меч на Марсовых полях (28)
 Готфов рог смирится (33)
 Хоть змий отринут стал, но смертоносно жало
 В разбитой челюсти еще — еще зияло (67)

Того же порядка и все эти „зефиры“, „борей“, „перуны“, „Гиперионы“ и т. д.

Но в эпopeях мы не только находим известное количество перифраз. Здесь зачастую можно говорить о перифрастическом стиле — когда всё изложение вместо точного, предметного обозначения изображаемых явлений заполнено переносными — на метафорической или метонимической основе — выражениями, придающими специфическую для классицизма витиеватость, напыщенность, изысканность речевому стилю. Особенно показателен в этом отношении Шихматов. Витийственный Шихматов „словечка в простоте не скажет“:

Первенец светил (вм. солнце)
 Царь земли словесный (вм. человек)
 Воздушные певцы (вм. птицы)
 Нежный сердцем пол (вм. женщины).

В близком родстве с перифрастическим стилем находится метафорическая речь, образцы которой в эпopeях весьма многочисленны.

Стиль „Полтавы“ нельзя назвать ни перифрастическим, ни метафорическим. Пушкин не занимается „плетением словес“, не витийствует. Ему чужды „велеречие“ и „расточительность“, в которых справедливо упрекает „Петриаду“ Грузинцова автор критической статьи о ней.¹ Пред-

¹ „Вестник Европы“, 1812, № 19 и 20, стр. 251.

метное значение слова для Пушкина стоит на первом плане. Изобразительные средства его поэтического языка подчинены реалистическому принципу точности, верности изображаемой действительности.

Показательны в этом отношении приведенные выше перифразы. К употреблению вместо имени Мазепы выражения „Малороссийский владыка“ располагал контекст, в котором говорится о конном строе, бранном звоне литавр и кликах перед бунчуком и булавой Мазепы. Марии, которая любила описанную обстановку, импонировало высокое положение украинского гетмана. Сообщая, что

Души глубокая печаль
Стремиться дерзновенно в даль
Вождю Украины не мешает,

Пушкин самой перифразой подчеркивает, что личная трагедия не остановила Мазепу в начатой им политической борьбе. Называя Мазепу в сцене смерти молодого казака „врагом России“, Пушкин тем самым показывает отношение казака к гетману. Так же полны предметного значения именованья Петра „Полтавским победителем“, „героем Полтавы“.

Предметно точны и немногочисленные метафоры „Полтавы“, например: Свою омыть он может славу; Давно в ней искра разгоралась; Толпы кипят; Встает кровавая заря войны народной; Он поле пожирал очами; гнутся шведы.

Не менее, чем перифразы, характерны для классического стиля олицетворения, особенно тот их вид, когда какое-нибудь общее понятие или качество представляется в конкретном образе. То же и в „Полтаве“, но олицетворяемое понятие у Пушкина не воплощается в аллегорический образ, не наделяется свойствами живого существа. Пушкинские олицетворения скорее являются метонимиями:

Так, своеводем пылая,
Роптала юность удалая
Но старость ходит осторожно
И подозрительно глядит... и т. д.
в мои ли лета
Искать надменного привега
Самолюбивой красоты.
Меж тем, чтоб обмануть верней
Глаза враждебного сомненья
И Карла ждал нетерпеливо
Их легкомысленный восторг.

Аллегорических образов, подобных злобе у Сладковского, в „Полтаве“ мы не встретим. Самое большее, что мы найдем у Пушкина, это — олицетворяющее сравнение:

Как пахарь, битва отдыхает.

Витийственному стилю эпоей соответствуют излюбленные поэтами-классиками развернутые сравнения, обособляющиеся в широкие картины и занимающие ряд стихов. В „Полтаве“ мы найдем всего два-три сравнения, выходящие за пределы одного стиха, например знаменитое:

Так тяжкий млат,
Дробя стекло, кует булат.

Лаконизм пушкинской речи сказывается и здесь.

С другой стороны, установка на предметное значение изобразительных средств ярко выражается в известных сравнениях звезд с обвинительными очами, тополей с судьями и душной ночи с черной тюрьмой: так тихая украинская ночь воспринимается чувствующим свою вину Мазепой. Тому же принципу подчинено и сравнение:

Он вздрогнул как под топором.

Не легко поддается стилистической интерпретации подбор сравнений, при помощи которых написан портрет Марии. Нельзя не согласиться с Л. П. Гроссманом, что „весь портрет красавицы Марии скомпанован из привычных обозначений и построен на условных риторических метафорах и сравнениях“.¹ Было бы очень соблазнительно этот нарочитый подбор традиционных сравнений объявить пародией. Но весь контекст поэмы противится этому. Между тем этот отвлеченный, аллегорический портрет идеальной красавицы по методу рисовки отличается от ярко индивидуального, конкретного, пластически живого портрета Петра во время Полтавской битвы. Естественнее всего, мне кажется, объяснить дело так, что в портрете Марии Пушкин отдал дань той идеализации, которая характерна для классицизма, и которой не совсем чужда „Полтава“.²

Героизация изображаемых лиц и событий выражается у поэтов-классиков в обильных гиперболах, создающих впечатление грандиозности.

Пушкин тоже воспекает героев и события. Но героизация в „Полтаве“, как об этом уже говорилось, — в пределах реализма, в тех рамках, в каких она „необходима“ в героической поэме.

Не имея возможностей дать здесь анализ эпитетов „Полтавы“, отметим, что с традициями классицизма связывают пушкинскую поэму нередкие в ней эпитеты в грамматической форме приложения:

Не златом, данью крымских орд...
Мария, бедная Мария,
Краса черкасских дочерей...
Сыны любимые победы,
Сквозь огонь окопов рвутся шведы...

Но у Пушкина мы не найдем такого нагромождения подобных эпитетов, как это бывает у поэтов-классиков.

¹ Указ. соч., стр. 22.

² В. Жирмунский в портрете Марии видит традиционное изображение внешности идеальной героини романтических повм („Байрон и Пушкин“, стр. 185).

Лексика „Полтавы“ обратила на себя внимание обилием церковнославянизмов еще современных Пушкину критиков.¹ Действительно, после южных поэм, „Онегина“, „Графа Нулина“, количество церковнославянизмов в „Полтаве“ кажется весьма значительным. Многие из них попадутся нам и в „Петриадах“ (напр., „мание“), иногда в тех же фразеологических сочетаниях, например „браней бог“ (Грузинцов, 112).

Сюда же надо отнести и эпическое „И се“ („И се равнину оглашая...“), которое встречается почти на каждой странице эпоей. Эта сторона лексики „Полтавы“ едва ли не наиболее тесно сближает пушкинскую поэму с традицией высокого стиля.²

Изложенные наблюдения над стилистикой „Полтавы“, при всей их неполноте, дают все же право сделать некоторые выводы.

Мы видим, что пушкинской поэме свойствен ряд стилистических приемов, характерных для эпоей, но эти приемы в „Полтаве“ в большинстве случаев так трансформируются, что мы уже не можем говорить здесь о сохранении того же стиля.

IX

Сравнительное рассмотрение пушкинской поэмы и „Петриад“ дает некоторый материал и для разрешения вопроса об идейно-политической концепции „Полтавы“, хотя в целом эта проблема выходит за рамки нашей темы.

Понимание Петровской эпохи, заключенное в известной тираде „Полтавы“ о молодой России, которая „мужала с гением Петра“, в сходных выражениях развивается и авторами „Петриад“. Так, Грузинцов пишет:

В те смутны дни, когда Россия вновь рожденна,
В младенчестве своем врагами окруженна
И бурями от всех колеблемая стран,
Терзалась и внутри от собственных граждан,
... полночи герой, в толико кратко время,
Россию просветил.... (161).

Подобную же мысль находим у Сладковского:

Кто б мог поверить, чтоб смущенная Россия,
В скором времени венцы снискав златые,
И первенства степень меж царствами прияв,
Державным королям давала свой устав?
Се плод намерений и бытия Петрова!
Труды превозмогать его душа готова (2).

¹ „Вестник Европы“, 1829, № 8, статья Надеждина.

² О церковнославянизмах в „Полтаве“ см. в книге В. В. Виноградова „Язык Пушкина“, „Academia“, 1935, стр. 137—145

Результаты трудов Петра ощутимы и для Карла:

И злобась видит Карл могучий
 Уж не расстроенные тучи
 Несчастных нарвских беглецов,
 А нить полков блестящих, стройных... и т. д.

У Грузинцова то же противопоставление дается в словах Карла (183).

Идея „Полтавы“, изложенная Пушкиным в эпилоге и частично (антитеза Петра и Карла) восходящая к Вольтеру,¹ находит соответствие в антитезе Шихматова:

Петр — вожделющ россам век златой,
 Карл — полн великости мечтой (25).

Как и в „Петриадах“, в поэме Пушкина Мазепа „терпит не только физическое, но и полное моральное поражение“, а Петр торжествует.² Но в чем идейно-политический смысл этой антитезы?

Д. Д. Благой делает отсюда вывод, что „в Полтаве в своем осуждении линии бунта против самодержавия, следовательно, и линии декабризма, Пушкин заходит так далеко, как ни в одном из своих произведений“³, аргументируя противоположностью пушкинской трактовки Мазепы трактовке Рылеева, воспевающего в образе украинского гетмана борца с самовластием. Однако антитеза Петра и Мазепы в „Войнаровском“ и в „Полтаве“ наполнена не одним и тем же идейно-политическим содержанием. Защищая Петра от Мазепы, Пушкин защищает не самодержавие от революционера, но интересы государства от изменника родины. Пушкин борется не против революции, а против самостийности. Он осуждает в Мазепе не революционность, а вероломство, коварство, измену. В Петре он поднимает на щит не самодержавие, а государственный гений, державный труд, военные подвиги (ср. „в трудах державства и войны“).

Но не принимая рылеевскую концепцию как неисторическую (см. предисловие к „Полтаве“), Пушкин не становится на идейно-политические позиции авторов эпоей. Различие художественного метода Пушкина и „классиков“, которое скрывается за сходством отдельных художественных приемов и мотивов, покоится на различии мировоззрения и, в конечном счете, объективного классового смысла сравниваемых художественных систем.

В „Петриадах“ Петр вырастает во всесильного самодержца, который не только „смирил злодеев внутрь“, но и „судил вражды царей и колебал их троны“ (Сладковский, 1). Поэты-классики в „предложениях“ своих эпоей упоминают о преобразовательной и просветительной деятельности Петра, но эти декларации остаются не реализованными в поэмах.

¹ См. „История царствования императора Петра Великого, сочиненная г-м Вольтером“, М., 1810, ч. I, стр. XLVII—XLVIII.

² Д. Д. Благой. „Социология творчества Пушкина“, 2-е изд., М., 1931, стр. 102.

³ Там же.

Военные триумфы, о которых с восторгом повествуют „певцы“, приводят к тому, что россияне обретают блаженство и в условиях существующего режима, ибо во главе монархии стоит „подданных своих учитель и отец“ (Грузинцов, 1).

В „Полтаве“ нашла свое выражение та же концепция Петра, которая содержится и в ряде других произведений Пушкина. Петр для Пушкина был прежде всего государственным преобразователем, создателем „молодой“, новой России, мощно двинувшим ее по пути европеизации. Петр воздвигнул себе памятник не только в „воинственной судьбе“, но и в „гражданстве северной державы“. При этом одно тесно связано с другим. „В бореньях силы напрягая“, Россия завоевывала себе европейское гражданство. Такова пушкинская концепция петровских войн, в которых полтавская победа была кульминацией. „Полтава“, как и другие произведения Пушкина, — утверждение новой, европеизирующейся России.

Безудержная идеализация героя-царя и его сподвижников, восторженное воспевание побед, негодующее разоблачение гнусного изменника Мазепы — всё это в эпопеях является средством утверждения самодержавно-дворянской монархии. В многочисленных сентенциях, сопровождающих изложение событий в „Петриадах“, мы находим целый клад политической премудрости, в лучшем случае поднимающейся до „просвещенного абсолютизма“.

Шихматов:

Пример царя сильнее власти,
Народ подобится царю (11).

Грузинцов:

Сколь царская судьба для Россов драгоценна,
В различны времена то видела вселенна;
Без ропота несут они ярем властей,
Когда ж раздражены, ужаснее зверей! (12).

Сладковский:

Страна несчастна, где вельможи разделятся,
Бедам отверста дверь и наглости родятся (31).

Россияне народ и храбрый и послушной,
Но только должен быть им вождь великодушной,

Не строгость здесь нужна, но слово и закон, —
Из гор металл бери и бисер под волнами

В украшенны твои монаршие чертоги
Да смело шествуют обиженны убоги.

Изображение царь бога на земле.¹

У Пушкина нет и тени верноподданнейшей угодливости, которую проявляют авторы эпопей. Это различие наглядно выражается в аллю-

¹ Последние четыре отрывка взяты из наставлений, которые дает молодому Петру явившийся ему в образе старца ангел-хранитель (стр. 9—10).

зиях на современность. Авторы эпоей, применяя события прошлого к своей современности, пользуются случаем, чтобы восхвалить современного монарха.

Сладковский в предисловии приглашает Россию торжествовать, „видя в образе Александровом дух Петров и Екатерины II“. Шихматов в посвящении Александру I говорит:

Что славно начал Петр, ты славно кончил ныне.

Пушкин, рассказывая о движении Карла на Москву, вспоминает недавнее движение по тому же пути Наполеона („Он шел путем, где след оставил...“ и т. д.). Но здесь нет лести современному монарху. Пушкин был прав, отводя от себя — правда, по другому поводу — это обвинение.

Указанное различие проявляется даже в такой детали, как посвящение поэмы. В „Петриадах“ мы встретим типичное для эпоей посвящение царям и вельможам, при этом обычно с изъявлением всеподданнейшей преданности. „Полтава“ посвящена любимой женщине.

X

Сопоставление „Полтавы“ и „Петриад“ дает возможность сделать некоторые, хотя бы и предварительные, выводы о жанре пушкинской поэмы.

Эпопея, будучи по тематике исторической поэмой, была лишена подлинного историзма — в смысле верности исторической действительности. Это было следствием не только художественного метода, но и теории классицизма, допускавшей искажение исторической действительности. Автор „Россиады“ пишет в предисловии: „Как в Эпической поэме верности исторической, так в деписаниях Поэмы искать не должно“. На этом основании Херасков „многое отметал... переносил из одного времени в другое, изобретал, украшал, творил и созидал“. Об этом же заявляет в „Предуведомлении“ и Грузинцов: „В сей поэме, как и в прочих, верность времени не соблюдена по обыкновенным причинам сего рода творений“ (стр. V—VI).

Противоположному принципу подчиняется поэтика Пушкина. В рукописной редакции заметки о „Полтаве“ (печатная редакция — в альманахе „Денница“ за 1830 г.) Пушкин писал: „Обременять вымышленными ужасами исторические характеры — и не мудрено, и не великодушно. Клевета и в поэмах всегда казалась мне непохвальною“. Выражение „и в поэмах“ направлено прямо против классических поэм, в которых „украшение“ врагов выражалось в „клевете“ на них. Принцип верности истории Пушкин выдвигает и в цитированных выше замечаниях о Мазепе (см. гл. V).

Надо ли доказывать, что историческая концепция „Полтавы“ в ряде существенных моментов отлична от освещения эпохи Петра советской исторической наукой. Суть дела в том, что „Полтава“ принципиально исторична, что Пушкин стремился дать художественно правдивое отражение

исторической действительности и в социально-исторических условиях своего времени достиг этого.

Реалистические тенденции „Полтавы“ неоднократно отмечались в предыдущем изложении. Конечно, „Полтава“ не „Арап Петра Великого“ (написанный незадолго до этого), поэма — не повесть. Характерная для поэмы „героизация“ лиц и событий свойственна и „Полтаве“. Больше того. Реминисценции классицизма (и романтизма) в известной мере ограничивают реализм „Полтавы“. Этого достаточно, чтобы поставить „Полтаву“ в известную связь с „Петриадами“. Но этого недостаточно, чтобы отнести пушкинскую поэму к тому же стилю и жанру, что и поэмы Сладковского, Шихматова, Грузинцова. „Заимствования“ из классических эпоей у Пушкина касаются отдельных элементов (хотя и значительных), частных (хотя и многочисленных), но не целого. В „Полтаве“ мы видим выражение (пусть еще неполное) того же реалистического метода, который складывался у Пушкина в этот период в работе над произведениями других жанров: „Евгением Онегиным“, „Борисом Годуновым“ и др.

Сам Пушкин „Полтаву“ ставил значительно выше своих прежних произведений, рядом с „Борисом Годуновым“: „Меня лет 10 сряду хвалил бог весть за что, а разругали за Годунова и Полтаву“ (письмо М. П. Погодину от 11 июля 1832 г.). А ведь „Годуновым“ Пушкин замышлял реформировать всю нашу драматическую систему. В упоминавшейся заметке о „Полтаве“ Пушкин роняет знаменательную фразу: „Это сочинение совсем оригинальное, а мы из того и бьемся“ (в рукописной редакции: „Самое зрелое из всех моих стихотворных повестей, то, в котором все почти оригинально“). Эта авторская самооценка решительно подтверждает правильность трактовки „Полтавы“ как нового жанра исторической поэмы, стоящего на пути Пушкина к реализму, а не как своего рода рецидива классицизма или романтизма, или же как какого-то „смешанного“ жанра, в котором есть порция и того и другого.¹ Ни в идейно-политическом, ни в литературном отношении „Полтава“, разумеется, ни в какой степени не явилась произведением „реставраторским“. Проницательнее всех современных Пушкину критиков оказался Ксенофонт Полевой, который в „Полтаве“, как и в „Борисе Годунове“, о котором критик судит по известным ему отрывкам, видит начало „истинного пути“, на котором поэт „наконец нашел тайну своей поэзии в духе своего отечества, в мире русском“.² „Доселе события русской истории, — пишет Полевой, — представлены были в поэзии нашей совершенно романическим образом, то есть затемненные восклицаниями, увеличениями, небывалым геройством, под-

¹ Правильнее освещает вопрос замечание С. М. Бонди в комментариях к IV тому „Сочинений Пушкина“, изд. „Academia“, 1935 г.: „... в чисто художественном отношении «Полтава» представляет собою естественный и крупный этап в развитии пушкинской поэзии“ (стр. 539).

² „Московский Телеграф“, 1829, № 10, стр. 232.

дельными характерами. Этого нет в «Полтаве»¹. „Одним словом, — заключает Полевой, — это совершенно новый род поэзии, извлекаемый из русского взгляда поэта на предметы“². В напечатанной тремя номерами журнала ранее краткой заметке о „Полтаве“ Полевой обозначает это новое термином „народность“³.

Через несколько лет Белинский выскажет близкую к этому мысль, хотя и с существенной оговоркой: „Через два года после «Цыган» (т. е. в 1829 году) вышла новая поэма Пушкина — «Полтава», в которой резко выразилось усилие поэта оторваться от прежней дороги и твердой ногой стать на новый путь творчества. Но где видно усилие, там еще нет достижения. . . . Поэтому в «Полтаве» видны какая-то нерешительность, какое-то колебание, вследствие которых из этой поэмы вышло что-то огромное, великое, но в то же время и нестройное, странное, неполное. «Полтава» богата новым элементом — народностью в выражении. . . и в то же время в этой поэме нет единства, она не представляет собой целого“.

Какое же место занимает этот новый жанр в общей эволюции творчества Пушкина?

В борьбе против классицизма Пушкин использовал традицию комической и сказочно-богатырской поэмы („Монах“, „Тень Фон-Визина“, „Руслан и Людмила“). В южных поэмах он создает, по образцу Байрона, новый для русской литературы жанр, опять-таки противостоящий классицизму. Пушкин пародирует старое и создает новое. Но романтическая повесть в стихах, как предпочитал называть новый жанр сам Пушкин, не разрешила проблему поэмы высокого стиля, поэмы в строгом смысле этого слова. После классической эпопеи это место оставалось незанятым. И вот, разбив классическую поэму высокого стиля, Пушкин на новых путях, в рамках нового художественного метода, создает героическую поэму, поэму высокого стиля. Но он поступает не как эпигон классицизма, не как автор какой-нибудь „Александрюды“ (Павел Свечин), вышедшей почти одновременно с „Полтавой“ (в 1827 г.). Бой с классицизмом продолжался, но не путем пародирования, а путем создания аналогичного по роли в литературной системе жанра, но иным художественным методом (ср. формулу Белинского: „опыт эпической поэмы в новом духе“).

¹ „Московский Телеграф“, 1829, № 10, стр. 203.

² Там же, стр. 234.

³ Там же, № 7, стр. 337.



Л. В. ПУМПЯНСКИЙ

„МЕДНЫЙ ВСАДНИК“ И ПОЭТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ XVIII ВЕКА

Две особенности поражают исследователя „Медного Всадника“: повесть эта представляет в самом точном смысле слова одну из вершин мировой поэзии (как „Божественная Комедия“, как „Фауст“, как „Раскованный Прометей“) и является произведением мирового литературного значения (что, кстати, с каждым годом все более осознается на Западе). „Проблема путей и судеб человеческих, народных, государственных поднимается в «Медном Всаднике» на поистине недостижимую высоту“, правильно отметил И. К. Луппол.¹ Но пока еще остается в силе вторая черта: из всех произведений Пушкина „Медный Всадник“ является, быть может величайшим, но менее всего понятым и вместе с тем мало исследованным. Громадный подъем пушкиноведения последних лет почти не коснулся „Медного Всадника“. Не освещены еще первые предварительные вопросы. Главные элементы повести не проанализированы историко-литературно.

В чем причины этой особой трудности? Прежде всего в проблемной глубине повести. Мы не собираемся ни умножать числа общих концепций, которые были выдвинуты, от Белинского до новейших исследователей, ни вдаваться в их сравнительный анализ. Из этих общих концепций многое вольется в будущее научное понимание „Медного Всадника“. Как это не раз уже было, суждение Белинского будет оправдано; Белинский, воспитанный диалектической философией Гегеля, более чем кто-либо мог понять то раздвоение единого, которое лежит в основе поставленной Пушкиным проблемы. Мы присоединяемся к В. В. Гиппиусу, который, исходя из суждения Белинского, заметил: „Художественное разрешение борьбы в поэме бесспорно: борьба разрешена в пользу и с т о р и и. Если же авторский аспект изображенной борьбы не элементарно прямолинеен, а внутренне противоречив — это лишнее свидетельство глубины Пушкина, как художника-мыслителя“.² Добавим только, что в двух случаях пуш-

¹ Ц. О. „Правда“, 1937, 11 февраля.

² „Пушкин. Временник Пушкинской комиссии“, т. 1, 1936, стр. 255.

кинский Петр был „прямолинейно“ прав: во-первых, в своем маленьком конфликте с щеголем Корсаковым, во-вторых, в своем большом конфликте с Карлом XII и Мазепой. Здесь дело пушкинского Петра ярко освещено плодотворящим солнцем истории; здесь прав он один:

Лишь ты воздвиг, герой Полтавы,
Огромный памятник себе.

Не то в третьем случае. Здесь не один Петр поставил себе памятник: не меньший памятник поставил себе восстающий на него Евгений. Это оправдано всей будущей историей русской литературы (Поприщин; герой „Запутанного дела“ Салтыкова; Макар Деушкин и т. д.). Евгением начинается литературная традиция русского гуманизма. Петр в „Медном Всаднике“ вождь-цивилизатор; с этой стороны конфликт между ним и Евгением находит разительную параллель в почти одновременно (1831) написанном эпизоде „Филемон и Бавкида“ в 5-м акте второго „Фауста“: цивилизаторская деятельность Фауста уничтожает идиллическое счастье старческой четы. Гете имел в виду темную сторону промышленного переворота, но ведь и Пушкин решает в своей повести не узко исторический вопрос о событии 1703 г., а в высшей степени современный вопрос о ряде общественных противоречий XIX в. Кстати, нам теперь точно известно, что и Гете, создавая символ осушаемого морского дна, думал не только о голландских плотинах, но и об основании Петербурга, замечательнейшем для Гете примере организованной борьбы человека с природой. Подобная историческая двупланность и в повести Пушкина: за рассказом об основании Петербурга встает историческая реальность 30-х годов, европейская и русская, встает проблема цивилизации, характерная для Европы данной эпохи.

Но Петр в „Медном Всаднике“ не только гениальный цивилизатор, но и монарх-самодержец. Он заложил основы европейской цивилизации в России, но укрепил заодно и самодержавную монархию. Он основал Петербург, но основал также и ту монархию, которая для Пушкина 30-х годов была в высшей степени реальна в виде николаевской монархии. Поэтому бунт Евгения становится провозглашением прав личности против „чудища обла и озорна“; недаром на Евгения перенесены некоторые черты, связанные для Пушкина с его представлением (не во всем верном) о Радищеве. Так проблема цивилизации (победы человека над природой) сплетается в русской истории с вопросом политическим, с вопросом о революции и монархии. Пушкинская повесть и в этой стороне вопроса совершенно реалистична и современна.

Победа в обоих случаях остается за историей; только в одном случае история представлена прогрессивной государственностью Петра; в другом (но одновременно и в единстве) она представлена Евгением, неосуществленные права которого остаются воззванием к будущему, т. е. опять-таки к истории. Глубже, чем кто-либо когда-либо, Пушкин обнажил

противоречия „царства необходимости“, неизбежный антагонизм между общим и частным, государственностью и личностью, цивилизаторским делом всех и частным делом каждого, между властью, наконец, и подданным этой власти. Литературное разрешение этих антагонизмов у Пушкина становится воззванием к будущему обществу, в котором эти антагонизмы будут сняты.

В „Медном Всаднике“ ясно различаются три стилистических слоя: 1) одический, которому и посвящена эта работа; ему принадлежит уже само словосочетание „Медный Всадник“; 2) онегинский (например, описание современного Петербурга; 3) совершенно новый для Пушкина, так сказать, беллетристический; на него намекает подзаголовок („петербургская повесть“). Третий слой неразрывно связан с Евгением и только с ним; его приметы появляются в повести только с появлением Евгения. Но первый слой, одический, так же неразрывно связан с Петром и только с ним. Только для изображения Петра, основания Петербурга, всадника и погони всадника за Евгением Пушкин использует литературную традицию XVIII в. Оба действующих лица драмы отмечены своей, для каждого резко различной, стилистической окраской. Почему же в одном случае (для Петра) Пушкин действует, обращаясь к традиции? Почему „государственный“ полюс драмы связан в его представлении с Костровым, Державиным и Петровым? Потому что русская ода XVIII в. (как и европейская XVI—XVIII вв.), как и всякая ода, была поэзией государственной власти и ее носителей. Громадная культура этой поэзии стала одной из неотъемлемых традиций русской национальной поэзии. Воззав в „Медном Всаднике“ к Державину, Пушкин поступил как национальный поэт, как организатор национальной русской культуры. Необходимо лишь иметь в виду, что догматическое в оде прославление государственной мощности России Пушкин переосмыслил, перевел в плоскость проблемно-исторического мышления. Прославление (и династическое и цивилизаторское) выработало за долгое столетие свои формы, свой язык, свои словосочетания и свои, так сказать, ситуации; это был готовый арсенал в традиции русской поэзии, неотделимый от темы государства и власти.

Кроме архаистов старших (Бобров) и младших (Катенин), есть в русской поэзии 30-х годов особый „архаизм“, типично пушкинский „архаизм“, так сказать, критический, представляющий качественно совершенно новое явление.

Те элементы пушкинской повести, которые могут быть освещены приводимыми ниже данными, не исчерпывают ее содержания и даже не являются ведущими. Но в виду того, что за одним исключением (указание на „Прогулку в Академию Художеств“ Батюшкова, 1814), исследование оставило в тени ту сторону повести, которая восходит к литературе XVIII в., важно из исключительно многосоставного ее содержания выделить и исторически обосновать связь некоторых ее частей с одической традицией.

1. Три формулы

Указание на замечательную страницу Батюшкова¹ было первым в нашей науке просветом в ту громадную литературную традицию, с которой, как мы дальше постараемся показать, пушкинская повесть частично связана. Первая часть пушкинского вступления написана как бы на основе батюшковского текста. Но есть основание думать: 1) что у Пушкина были и иные источники, параллельные; 2) что сам Батюшков опирается на более чем полувекую стихотворную и нестихотворную традицию; 3) что к ней именно Пушкин возвращается и через Батюшкова и независимо от него.

В самом деле, у Батюшкова мы видим краткую картину нынешнего великолетия Петербурга, затем сравнительно более подробную картину „сырого дремучего бора или топкого болота“ и, в-третьих, образ Петра — демиурга, произносящего творческое слово. С разной полнотой развития эти три части сохранились и у Пушкина. Но вот замечательное отличие: вторая часть разработана Батюшковым чисто-повествовательным образом: „Я сделал себе следующий вопрос: что было на этом месте до основания Петербурга. Может быть, сосновая роща... лачуга рыбака... здесь все было безмолвно... а ныне?“ У Пушкина же, вместо беллетристического развития темы, точная, сжатая, чисто-стихотворная и чисто-синтаксическая формула:

Где прежде... ныне там...

причем синтактизм формулы обнажен тем, что первая ее половина — в начале стиха, а вторая à la rime. Невольно создается впечатление, что Пушкин цитирует устойчивую формулу, согласно принципам старо-классической поэмы, настолько прочно закрепленную за темой, что в литературном сознании XVIII в. теме сопутствует, с почти принудительной силой сцепления, готовая выработанная формула. Повествовательная страница Батюшкова возникла из о с л а б л е н и я этой формулы. Пушкин же возвращается к ней через голову Батюшкова и реставрирует ее в строгой первоначальной форме.

Бобров в 1797 г. в „Оде на установление нового Адмиралтейства“ (1, 47) писал:

И вдруг, где топь ложилаь блатна,
Гнездились гады лишь одни,
Там возвышается приятна
Равнина в нынешние дни.
Где...
Там зданья высятся с земли,
А где...
... там зждут корабли.

¹ „Пушкин и его современники“, 1914, вып. XIV—XVIII, стр. 41—42.

Он же в 1802 г. (1, 83):

Где все мертвело в топком иле,
Там ныне здания стоят,
Хранилища, сокровищ полны.
Где берег омывали волны,
Там ныне корабельный скат.

Но полнее всего синтаксический механизм интересующей нас сейчас формулы воссоздан Бобровым в юбилейной оде 1803 г. „На столетие града св. Петра“ (1, 113—114):

А ныне там, где скромно крались
Рыбачьи челны близ берегов,
С бесценным бременем помчались
Отважны сонмища судов.
Досель страшались робки боты
Предать себя речным волнам,
А ныне ополченны флоты
С отвагой скачут по морям.
Доселе дебри где дремали,
Там убран сад, цветет Лицей.

Оставим пока в стороне тематическую лексикологию. Нас сейчас занимает только синтаксис некоторой одической темы „основание Петербурга“. Синтаксис этот оказывается совершенно устойчивым; слагается его механизм из двух формул: хронологической (доселе — ныне) и топографической (где — там), которые являются то розно, то (чаще) слитно. Хронологическая формула говорит о разнице между „прежде“ и „ныне“, а топографическая — о тождестве места. Только в слиянии вспыхивает тот цивилизаторский пафос, который, естественно, неотделим от такой темы, как основание Петербурга. У Пушкина это слияние достигает предельной, завершающей полноты.

Это не единичный случай. Совершенно такова же судьба другой одической формулы, реставрированной Пушкиным в анти-польской оде 1831 г., формулы „от — до“, так же прочно в XVIII в. закрепленной за темой „необъятных пределов России“, как формула „где прежде — там ныне“ закреплена была за „основанием Петербурга“. Ломоносов, Державин и бесчисленные поэты обеих школ классической оды десятки раз вариировали формулу „от — до“. Пушкин, архаистически ссылаясь на это наследие, не просто ее реставрирует, а дает ей наиболее полное, развернутое и завершенное развитие: „От Перми до Тавриды, от финских... до... от потрясенного... до стен...“ (двойной подхват, с обдуманно неравным насыщением колонов).

Мы несколько не настаиваем на цитатах именно из Боброва, хотя они особенно близки к „Медному Всаднику“. Вопрос значительно серьезнее, чем лишний случай заимствования из поэта, у которого уже за 10 лет до того Пушкину, по его выражению, „хотелось что-нибудь украсть“ (письмо Вяземскому от 1—8 декабря 1823 г. по поводу „Бахчисарайского

Фонтана“). Бобров был не первый. Формула „где прежде — там ныне“ возникла в литературе еще до смерти Петра. Уже Феофан Прокопович говорит в „Слове похвальном на день рождения Петра Первого“ 1716: „На место грубых хижин наступили палаты светлые, на место худого хвастия дивные вертограды... И де же ни помысл кому был жительства человеческого, достойное вскоре устроится место престолу царскому“.¹ Он же в „Слове на похвалу Петра Великого“, 1725 г.: „сие наипаче место не славное прежде и в свете не известное, а ныне преславный сим царствующим Петрополем... утвержденное, купно и украшенное...“²

Формула так естественно-адекватна жизненной ситуации, что она быстро становится общим местом. Уже ранний Ломоносов в анти-шведской оде 1742 г. на прибытие Елисаветы Петровны из Москвы в С.-Петербург свободно и коротко говорит:

и грады где был прежде лес (ст. 417),

как бы ссылаясь на уже известную традицию, которую достаточно, не развивая ее, в редукции напомнить.

Тредиаковский в „Похвале Ижорской земле и царствующему граду С.-Петербургу“ (около 1753 г.) прибегает к латинизму

О прежде дбрь, се коль населена,

потому что помнит Вергилия:

Miratur molem Aenas magalia quondam (Aen. 1, 421).

Тут дивится Эней громаде на месте лачужек (Фет).

Цивилизаторский пафос латинской поэзии нашел в этой теме (и соответствующей формуле) свое типическое выражение. Ново-европейские классики (в том числе и петербургские одические поэты) знали, какой импозантной традиции принадлежит тема „основания города“ „из тьмы лесов и топи блат“. Восстановить всю историю темы было бы непропорционально для комментирования семи пушкинских стихов. Важно, однако, отметить, что до екатерининских построек эта тема хотя давно уже стала своего рода общим местом, трактуется в большинстве случаев вяло и холодно. Типичны плохие, принужденные стихи Сумарокова:

В сем месте прежде было блато,
Теперь сияет тамо золото
На башнях росского творца (ода II, 1755)

Не видно полуночных блат,
Лесов не видно непроходных,
Степей невлажных (?) и бесплодных,
При Бельте преогромный град (ода XIII, 1767).

Дело меняется с приближением к концу века. Державин становится певцом петербургского архитектурного великолепия. Новый пафос архи-

¹ Феофан Прокопович. „Слова и речи“, т. I, СПб., 1760, стр. 110—112.

² Там же, стр. 151.

текстурной гордости (архитектурная программа Екатерины) оживляет старую формулу. Москвич Долгорукий („стихоплет великородный“) прямо связывает с „Фелицей“ противоположение „прежде — ныне“:

А ныне посмотри на севера столицу!
Царевичи, цари, послы толпой валят.
Где знали прежде дебрь, вседневны дивы зрят,
С тех пор, как я на трон послала вам Фелицу („Судьба“, 1790).

Итак, Петр вытеснен Екатериной. Не „град“ (скромно по-ломоновски), а „дива“ (архитектурная гордость столичного вельможества) противопоставляются „дебрям“ и „топи блат“. Петровский город бледнеет в литературном и литературно-бытовом сознании державинской эпохи. Георги¹ сдержанно говорит об основании Петербурга: „Государь определил сначала городу быть на СПб. острове, на котором в скором времени вместо болотного лесу явились целые улицы домов“ (§ 25), но дальше, рассказав про постройки екатерининского времени (§ 32) и дав панораму современного города (§ 35), заключает в совершенно ином тоне: „сравнивая нынешнее состояние столицы с прежней негостеприимной дикостью... дух восхищается великим восторгом“ (§ 35). Для этой эпохи „восторженного“ возрождения старой формулы типичны приводившиеся выше стихи Боброва.

Из юбилейных од 1803 г. приведем бездарную оду некоего Б. Селявина, интересную как документ выработавшихся общих мест:

До облак зданья вознесенны,
Огромных зданий пышный ряд,
Неву с изящными брегами,
Весь Белът покрытый кораблями.
Народ в столицу царств спешит,
Великолепный зрится вид.
Какие сладкие премены.
Где ил взрастал, там луг зеленый...²

Юбилейный год (1803) подвел итоги всей „державинской“ эпохе в истории нашей темы. Теперь „болоту“ противопоставляются дворцы.

Юбилейные оды важно иметь в виду для объяснения странной на первый взгляд оплошности Пушкина. Как можно, наперекор хронологии, говорить в 1833 г. „прошло сто лет“? Естественно возникает предположение: Пушкин и здесь цитирует готовую, установившуюся формулу, выработавшуюся в юбилейный год.

Действительно, Бобров говорит (1803):

Сто лет уже, как град священный
Возник из тьмы ничтожной в свет.

Селявин:

Столетнему Петрову граду

¹ Г. Георги, „Описание российского столичного города СПб.“, 1794, т. 3.

² Н. Селявин, „Ода, поднесенная имп. Александру I на всерадостный день столетия эпохи от начатия СПб. 1803 мая 16 дня“, СПб. имп. типогр., 1803.

Власть энергичной, метрически в четырехстопном ямбе удобной, легко запоминающейся формулы так сильна, что Мерзляков переносит ее (тоже вопреки хронологии) на воспоминание о Полтавской битве:

Сто лет прошло, сто лет срееаем
И плод побед твоих вкушаем,

хотя он пишет в 1827 г.¹ Весьма вероятно, что именно эти стихи Мерзлякова являются ближайшим источником пушкинского „прошло сто лет“ (несмотря на разность событий: основание Петербурга — Полтава). Дело в том, что как раз в „Полтаве“ Мерзлякова мы находим в форме, наиболее близкой к пушкинской, и другое готовое словосочетание.

Мы имеем в виду стих

Из тьмы лесов, из топи блат.

Уже в приводившихся выше стихах „леса“ (дебри) и „болото“ (блато) явно преобладали над другими, случайными элементами пейзажа прошлого („где прежде...“). К началу XIX в., в результате отбора, эти два пейзажные элемента окончательно закрепляются и превращаются в формулу.

Шатров (1801):

Распространилася граница,
Восстала чудная столица
Среди лесов, среди болот.

Свиньин в „Достопамятностях Санкт-Петербурга“ (1816): „основать великолепную столицу... посреди непроходимых лесов и болот“.

Муравьев: „Дремучий лес и топкие болота уступают место рождающемуся городу“.²

Наконец, Мерзляков в „Полтаве“ (1827):

И посреди лесов и блат
Встает великий Петроград.

За ясностью вопроса, ограничимся этими показательными примерами (число их легко можно увеличить). Стих Пушкина является в некоторой мере ссылкой на готовую формулу. Отредактирован он в варианте, к которому ближе всего мерзляковский стих.

Анализ наш направлен был к выделению в тексте вступления трех одических формул: „где прежде... ныне там“; „прошло сто лет“; „из тьмы лесов, из топи блат“. Формулы эти настолько автономны (а первая, сверх того, распространяется на длинную цепь стихов и образует автономный отрывок), что материал их невольно выделяется в самостоятельную, огражденную, независимую часть. Этим объясняются неустраненные Пушкиным (и неустраняемые) самоповторения. Сказанное в самом начале вступления, в первом абзаце (Петр — демиург), повторено во втором (от слов: „Прошло

¹ „Вестник Европы“, 1827, № 12, поэма „Полтава“.

² Полное собрание сочинений М. Н. Муравьева, СПб., 1819, II, стр. 163.

сто лет...“), том самом, в котором под ряд идут все три выше анализированные формулы:

Из тьмы лесов
из топи блат
финский рыболов, печальный пасы-
нок природы
свой ветхий невод
неведомые воды

И лес неведомый лучам
По мшистым топким берегам
убогого чухонца
(приблиз.) бедный челн
(словарн.) неведомый лучам.

Настолько самостоятелен по происхождению и по составу весь одический абзац! Здесь свой словарь, настолько традиционно-авторитетный и устоявшийся, настолько мало доступный изменениям, что Пушкину приходится идти на прямое дублирование только что сказанного. Традиционным державинским языком написан и конец абзаца: громады стройные дворцов, к богатым пристаням, гранит и т. д. Особенно типично слово башни с державинским смысловым оттенком. Башни — неотъемлемый признак Петербурга у Державина:

Петрополь с башнями дремал (1783 I, 32)
Петрополь встает навстречу,
Башни всходят из под волн (1810 III, 10).

Совершенно иного состава вторая часть вступления (от слов: „люблю тебя...“). Упрощая дело, можно было бы сказать, что первая часть написана одическим, а вторая — „онегинским“ языком.

Отметим прежде всего ее полную современность: „Пишу, читаю без лампы...“. „Победу над врагом Россия снова торжествует“ может относиться только к цепи побед 1827—1831 гг. Весь абзац имеет в виду обстановку самого времени написания. Здесь, действительно, прошло не фиктивных „сто лет“, первой части, а все 130.

Далее укажем на онегинские реминисценции всех решительно типов. Это характерно для всего „Медного Всадника“ в целом (ср., например, „вкруг него — вода и больше ничего“ и „Е. О.“ 2, 24), но характерно, насколько онегинские смысловые, строфические, ритмические, фразеологические и иные особенности перенасыщают именно вторую часть вступления. Ср.: Пишу, читаю без лампы... громады... светла... игла. Смысловые повторения. Так, стих:

Прозрачный сумрак, блеск безлунный

в иной сокращенной редакции повторяет мысль 4 стихов „Е. О.“ 1, 47:

Когда прозрачно и светло
Ночное небо над Невой,
И вод веселое стекло
Не отражает лик Дианы.

Здесь они сведены к двойному оксюмору.

Бег санок вдоль Невы широкой

ср. „Е. О.“ 8, 39:

Несется вдоль Невы в санях.
И блеск и шум и говор балов

ср. „Е. О.“ 1, 30:

И тесноту, и блеск, и радость,
(тоже о петербургском бале. Л. П.)
Или взломав свой синий лед

ср. „Е. О.“ 8, 39:

На синих иссеченных льдах.

Не столь точны, не столь непосредственно показательны, но не менее серьезные по существу некоторые другие параллели:

Люблю зимы твоей жестокой

ср. „Е. О.“ 5, 4:

Татьяна русская душою... любила русскую зиму

К стихам: „А в час пирушки холостой...“ — вся первая „холостая“ глава „Е. О.“ („К Talon помчался“ и пр.), частичную редукцию которой эти стихи представляют. В частности, со стихом:

Шипенье пенистых бокалов

ср. „Путешествие Онегина“:

Как зашипевшего Аи

„Русл. и Людм.“:

Шипела пена по краям

Неслучайно именно в этой части вступления повторена тема белой ночи из „Е. О.“ 1, тоже типичная онегинская тема. Переноса нет ни одного, в противоположность всей повести, как известно, в небывалой для Пушкина степени допускающей несовпадение смысловой единицы со стихотворной: перенос чужд онегинскому стилю. Онегинский характер носит ссыла на Вяземского (к стиху: „Люблю тебя, Петра творенье“); ср. „Е. О.“ 7, 34 („теперь у нас дороги плохи“).

Итак за первой, „одической“, непосредственно следует вторая, онегинская, часть вступления. Этой диспаратностью объясняется возможность опять-таки дублирования только что сказанного:

I	II
В гранит оделася Нева	Невы державное течение
Громады стройные теснятся	Береговой ее гранит.
	Люблю твой строгий, стройный вид...
	И ясны спящие громады...

Очевидно, настолько отлично окружение, что только что сказанное может быть повторено, и повторенное, за разностью литературной атмосферы, получит новый смысловой оттенок, прозвучит как новое.

Такова поразительная двусоставность вступления! Как ее объяснить? Вопрос связан с более общим вопросом о функции одизмов во всей повести в целом, а для его решения необходимо исследовать одизмы исторически более значительные, чем те, о которых шла речь до сих пор.

2. Наводнение

Выпад против графа Хвостова имеет гораздо большее значение, чем это могло бы показаться на первый взгляд. У Пушкина здесь ироническая реакция на „оду о наводнении“, ироническое наложение своего собственного рассказа на возможную (и, действительно, существовавшую) оду о петербургском бедствии. Но такая ирония как раз свидетельствует о связи, хотя бы и отдаленной. Будь ода Хвостова (1824) вне всякой связи с „Медным Всадником“, Пушкин в 1833 г. вообще забыл бы о ее существовании.

Впрочем, сам по себе, текст Хвостова дает материал для всего нескольких сближений:

Я волн свирепство зрел	Погода пуще свирепела... злые волны...
Я видел божий меч	с божией стихией... народ зрит божий гнев
Вода течет, бежит, как жадный в стадо волк	и вдруг, как з в е р ь ¹ остервенясь
На камень и чугун бесперестанно плещет	плеская шумною волной
Мы зрим: среди Невы стоят верхи домов	в края своей ограды стройной Дворец казался островом печальным
...волны... порабощают стогны Сам сердобольный царь от высоты чертога	Стояли стогны озерами (весь эпизод: „На балкон печален, смутен, вышел он... ... его пустились генералы...“ и т. д.)
Покорности к творцу, любви к на- роду полн	
Послал исхитить жертв из уст сви- репых волн	

Так как большинство сближенных деталей совпадает с рассказом Берха, то особого значения им придавать нельзя (кроме, разве, сравнения Невы с волком). Надежнее верить Пушкину: „подробности наводнения заимствованы из тогдашних журналов“. А так как и Хвостов в примечаниях к своей оде ссылается на № 46 „Сына Отечества“, на „Инвалид“ и другие журналы, то сходные детали объясняются естественнее всего

¹ Уже в „Зимнем вечере“ (1825) „зверь“ („то как зверь она завоюет“) означало, в согласии с народной речью, „волк“ (на это указывалось исследователями). Звери, в обычном, родовом, словоупотреблении, воют по-разному: сравнение Пушкина не было бы ни точным, ни односмысленным. Сравнение же воя бури с воем волка поразительно точно. Кроме того, „зверь — волк“ согласнее с общим народным колоритом стихотворения. Здесь, в нашем случае, тоже естественнее понимать слово „зверь“ по-народному, а не общеразговорному словарю: 1) соседство с „остервенясь“, 2) большая выразительность сравнения; 3) большее согласие с другими сравнениями для той же Невы во всех случаях подчеркнуто конкретными: „как челобитчик...“; „как с битвы прибежавший конь“.

из общих газетных источников. Вряд ли Пушкин в 1833 г. перечитывает творение Хвостова по *plaquette*, вышедшей в самом начале 1825 г., или по II тому „Полного собрания стихотворений“ 1829 г. Он помнит сейчас не самую оду, а то, что такая ода была, помнит еще ее общий характер, да, быть может, две-три детали.

Но Пушкин помнит сверх того, что наводнение играло немалую роль в петербургской оде и до Хвостова. Здесь, как бы через голову Хвостова, он знает про одическую уместность темы городского бедствия и про неоднократную реализацию этой темы в столичной поэзии XVIII в. и архаистов. Это введение собственного описания наводнения в тему классической оды сказалось и в выходке против Хвостова.

В дальнейшем речь пойдет не об искомом одическом прототипе пушкинского наводнения. В тесном смысле слова, его нет. Прототипом была общая „классичность“ темы и долгая традиция ее неоднократной трактовки в классической поэзии.

Ван-Вондель был поэтом Амстердама, Малерб — Парижа, Драйден — Лондона, Ломоносов и особенно Державин — Петербурга. Классическая ода была, в значительной степени, условной летописью столичной жизни, ее торжеств и бедствий.

Поэт должен был литературно участвовать в примечательных событиях жизни города. Драйден пишет в 1666 г. оду — поэму *Annus mirabilis*, в которой воспел почти одновременные бедствия пожара и чумы. Дворянская и даже придворная поэзия выступала в таких произведениях в маске общенациональной (часто с субъективной искренностью).

Тема наводнения часто фигурировала в литературе. Поэты городов были певцами их рек, например Сены и „царственной Невы“ (Хвостов). Одические речные мифологемы знали благое речное божество (божество эпохи меркантилизма), проливающее торговое обилие:

В обширны росские края,
Где сильно реки протекают,
Народы многие поя (Ломоносов, 1764)

и покровительствующее архитектурному великолепию столицы.

Наводнение становится как бы гневом этого божества:

C'est la Seine en fureur qui déborde son onde
Sur les quais de Paris

(Малерб, 1610)

Весь этот вопрос имеет сложную историю, исключительно важную для понимания социальной базы европейского классицизма. „Гнев реки“, вслед за Горацием, всегда можно было литературно осмыслить как яростную месть речного божества, пременившего за вину города (у Горация, за убийство Цезаря) благость на грозный, разрушительный гнев. Еще у Пушкина есть отзвуки этого мотива. В „Медном Всаднике“ две Невы: меркантилистски благая:

Корабли... к богатым пристаням стремятся...

она же, как часть импозантного архитектурного целого:

Невы державное течение...

и другая, яростно мстящая, для которой подходящие сравнения: зверь (волк), волны — воры, „злодей с свирепой шайкою своей“.

Авторитетный образец давала ода Горация I, 2, тем более что она изображала наводнение как локальное, римское, столичное событие.

Хвостов (1824) в ряде деталей прямо опирается на Горация. Далее, заметим, что Гораций проецирует столичное бедствие на всемирный потоп: ему нужна грандиозная мифологическая перспектива, нужно также избежать тривиального (для оды) перечня пльвущих предметов. Уже это давало классическим поэтам указание, которым, как мы сейчас увидим, они широко воспользовались тем более, что мифологическая вставка у Горация сближала его оду со всемирным потопом у Овидия (Метаморфозы I, 98 и сл.). О степени каноничности овидиева потопа для русского литературного сознания говорит, напр., то, что ломоносовский перевод отрывков из Овидия для „Реторики“ (1748) начинается как раз тремя отрывками из потопа. Насколько же наводнение у Горация срослось в представлении поэтов с потопом Овидия, доказывается одой Боброва „Всемирный потоп“ 1786 г. (вошедшей в собрание сочинений 1804 г.), той самой, которая прославилась нелепыми стихами:

Тогда тьма рыб в древах висели,
Где черный вран кричал в гнезде.¹

Стихи эти явно написаны по Горацию (piscium et summa...), между тем как вся ода написана по Овидию; следовательно, произошла (совершенно, впрочем, естественная) контаминация обоих описаний, что для нас сейчас важно вот почему: петербургский поэт в оде, посвященной наводнению, исходит из аналогичной оды Горация, но может в описательной части привлечь, транспонируя, ряд деталей из Овидия.

Например, Ov. met. — I, 129—130: „уже не было различия между землей и морем, всё было одно море...“ Ср.: „Стояли стогны озерами...“ Ст. 125—126 — список пльвущих предметов: (волны увлекают) посева, деревья, скот, людей, кровли, утварь храмов.

Хвостов берет одну последнюю деталь в неумелом и нелепом стихе:

Волнуют ветры медь и утварь золотую, —

но Пушкин следует Овидию:

Садки под мокрой пеленою и т. д. — пльвут по улицам...

Далее, особенно для нас важный перечень прихотей случая и странностей: рыбы на дереве; толени там, где паслись козы; дельфины в лесах. Обратная игра: плавают волк, лев, кабан, олень; лодки и суда над нивой,

¹ Ср. Батюшков, письмо № 27 Гнедичу; изд. 1885 г., III, стр. 40; изд. „Academia“, 1934, стр. 386.

посевами, деревьями; якорь забрасывается в луг; киль задевает виноградник.

Хвостов:

По каменной стезе, внезапно многоводной,
Судам тяжелый путь уставился свободной.

Пушкин глубже понимает Овидия:

Гроба с размытого кладбища.

Овидианским был бы и отброшенный (с огромным чувством меры и уместности) эпизод:

Со сна идет к окну сенатор
И видит, — в лодке по Морской
Плывет военный губернатор.

Наконец гибель людей и, в особенности, бедствия неутонувших: „Кого пощадила волна, тот погиб от медленного, долгого голода“. Ср.:

Увы, всё гибнет, кров и пища.
Где будет взять?

Конечно, Овидий лишь в самом широком и отдаленном смысле этого слова дал Пушкину образец описания наводнения. Достаточно сравнить глубокую серьезность пушкинского описания с овидиевой игрой антитезами и эффектными контрастами, чтобы убедиться, насколько решительно Пушкин функционально переродил традиционный материал. Но к Овидию восходит литературная допустимость и литературная авторитетность самой темы: только это мы и хотим подчеркнуть.

Гораздо важнее вопрос о русской литературной традиции, но так как и здесь не может быть речи о прямом прототипе, то мы наметим ее лишь в главных чертах. Полная история вопроса (ненужная нам в данном случае) потребовала бы анализа десятков стихотворных текстов и десятков выдержек из газет и журналов XVIII в.¹ и описаний Петербурга (Рубан, Георги § 54 и др.). Так развернуть вопрос можно было бы только в большом самостоятельном исследовании.

Наводнения 1723 и 1726 гг. произошли до установления петербургского Парнаса. Следующее большое наводнение (8, 5 фута) случилось в 1752 г. Но к концу бироновщины были наводнения из числа тех, которые в XVIII в. называли маловременными (4—5 футов выше ординара). Это надо иметь в виду, чтобы понять некоторые особенности оды Ломоносова 1742 (I, 10). Комментарий к этой оде в академическом издании говорит, что она „носит яркие следы времени своего появления“, имея в виду шведскую войну.

¹ Например, „Прибавления к СПб. Ведомостям“, 1729, стр. 345—348, 353—364; 1738, стр. 151; „Полезное и приятное препровождение времени“, X, стр. 271—272; XI, стр. 30; „Новые ежемесячные сочинения“, 1787, XIII, стр. 51—53; 1795, ч. 109, стр. 37—50; ч. III, стр. 74—93 „СПб. Меркурий“ I, стр. 85—91, и мн. др.

Но Сухомлинов не заметил, что в оде (строфы 6—7) есть прямые намеки на наводнение, бывшее незадолго до елизаветина переворота:

Я в гн е в е россам был творец,
Но ныне паки им отец:
Души твоей кротчайшей сила
Мой гн е в на милость пременяла

Хотел Россию бе д в о д о ю
И гневною казнить грозюю,
Однако, для заслуг твоих

Тебя поставил в знак завета
Над знатнейшею частью света.

Если Елизавета — радуга после потопа, то иносказание (потоп — бироновщина) намекает на действительное наводнение, которое только потому и могло быть осмыслено иносказательно, что оно было действительно и притом к концу бироновщины. Это тем более вероятно, что в этой же оде дальше (строфа 18) снова является потоп уже в роли батального сравнения и притом в чертах сводных библейских и овидиевых

Внимай, как Юг пучину давит...

Между тем, перевод отрывков из „Метаморфоз“ для „Реторики“ (1748) доказывает, что „Юг“ Ломоносов понимает как адекват овидиева Notus:

Уже Юг влажными крылами вылетает
...madidis Notus evolat alis

кстати, этот отрывок как раз представляет начало описания всемирного потопа. Следовательно, уже для оды (1742) можно считать доказанной наличие первой попытки изобразить реальное наводнение в чертах частично овидиевых.

Но реальный характер потопа в оде 1742 г. доказывается с полной несомненностью одой 1745 г. (1, 15):

Но буйны вихри, не держайте
Подвигнуть ны не глубину,

т. е. так, как это было накануне воцарения Елизаветы. Ср.:

Вражду и плен старинный свой
Пусть волны финские забудут
И тщетной злобою не будут
Тревожить вечный сон Петра.

Повесть Пушкина кончается типично-одическим „заклинанием“ Невы.

В оде 1746 г. (1, 16) снова воспоминание о печальном времени до Елизаветы принимает характер воспоминания о наводнении:

Нам в оном ужасе казалось,
Что море в ярости своей

С пределами небес сражалось
И что надуты вод громады
Текли покрыть пространны грады,
Сравнять хребты гор с влажным дном.

Конечно, „оний ужас“ в устойчивом словаре Ломоносова — это бироновщина, но так как ни в Библии, ни у Овидия нет затопленных городов, здесь прежде всего прямое воспоминание о реальном наводнении, которое толкуется заодно и аллегорически.

Почему большое наводнение 1752 г. не отозвалось в одах Ломоносова — мы не знаем. Возможно, что по политическим причинам: как было осмыслить его без нарушения уже прочно установившегося сравнения „Елисавета — тишина“? Вся официальная концепция елисаветинских од тишине была бы потревожена и смещена. С бироновским наводнением, как мы только что видели, было легче.

Не было од, насколько мы знаем, и к наводнению 1777 г. Причины нам тоже неизвестны. Но впечатление, произведенное этим наводнением, превзошедшим предшествующие (10^{1/2} футов выше ординара), было громадно, и если нет специальной оды, ему посвященной, то отклики на это событие неоднократно мелькают в современной поэзии, напр., Державин (1780) „К первому соседу“ (1, 23). Ода Кострова (хоть и не петербуржца) 1778 г. на рождение Александра Павловича полна грозных отзвуков петербургского бедствия. Ср. стихи Рубана „на маловременное наводнение“ 1794 г. Тема к концу XVIII в. настолько прочно входит в литературное сознание, что все чаще трактуется как второй член развернутого сравнения. Так, например, Петров в оде 1799 г., изображая русско-французскую войну, вводит в качестве батального сравнения сложную картину наводнения, с явно петербургскими локальными чертами:

Как выступившая из берегов река
С порывом катит волны яры...
Вдруг дунет буйный ветер
Из хладных Норда недр
И встречен вспять реку уклонит (NB!)..
Так Галлы разлилися

и пр. (всего 22 стиха).¹ Тоже неоднократно у Боброва, в согласии с мрачным юнговым колоритом всей его поэзии, у Буниной, у Шихматова и у других архаистов.

Архаисты (через Державина и самостоятельно) были тесно связаны с предромантизмом (имевшим в русской поэзии уже достаточно долгую традицию). Образы ужаса, ночи, вечности, бега времени, образы юнгова типа архаистам были привычны и нужны для той системы импозантной монументальной поэзии, которую строили эти поэты государственного величия. Мрачные ноктюрны Боброва так же типичны для них, как, скажем, салонные стихи для карамзинистов. Наводнение вполне соответ-

¹ По изданию 1811 г., т. II, стр. 261—262.

ствовало той *imagination poire*, которая выразилась у архаистов в серии монументально-зловещих образов, контрастно-параллельных „дневным“ образам государственной мощи и империяльного величия. В развитии традиционно-одической темы Петербурга это давало типическое для архаистов разложение темы: „царственное великолепие“ и „угроза гибели“, величие архитектурное и величие трагическое. Наводнение, короче говоря, получило у архаистов своего рода анти-карамзинистскую, а позднее анти-арзамасскую функцию.

Кто как не Хвостов был официальным и профессиональным певцом Петербурга и Невы? Сие призвание определилось около юбилейного года:

1802 — Сей день столетия венец
1804 — Но зрю столетие свершится,
как полдень Росс обогатится...

Выразилось оно не больше, как в бесцветном переложении различных фрагментов державинского „великолепного Петрополя“; из десятков примеров см. соответствующие стихи в Екатерингофской оде 1824 г. (особенно важной потому, что известная эпиграмма свидетельствует, как долго Пушкин ее помнил):

Петрополь в мире знаменитый,
Волною царственной омытый, и т. д.

Цитаты из более ранних од не нужны: гранит, дворцы, суда на царственной Неве — вот весь арсенал Хвостова. Интереснее его примечание к стиху:

Волною царственной омытый:

„сочинитель во многих сочинениях своих называет Неву царственной рекой“. Очевидно, он гордился этим эпитетом, который придумал сам; у Державина его нет и, насколько нам известно, его нет у поэтов державинской школы.

И вот официальный поэт Невы, воспевший и реку и набережную, ?

Мосты всякие, узорные ограды,

и ботик, и Академию Художеств и всадника, дошедший до курьезных алогизмов:

Дивится римлянин и грек
Красе Петрополя в наш век,

гипнотически поработен образом наводнения. В нелепой басне „Бот, Нева и море“ („Вестник Европы“, 1803, ч. IX), написанной в атмосфере юбилейного года, двухвесельный бот покаран за самомнение:

Летит Борей и дует
И на Неве бунтует ...
Открыл он челюсти свирепых в море волн...

и т. д. Но лучше всего фиксация внимания петербургских архаистов на зловещем образе наводнения видна в оде Хвостова (1815) „Издателю моих

стихотворений“ (по 3-му изд. 1828, т. I, стр. 212—215). Из этой оды придется процитировать одну замечательную в своем роде строфу:

Любуясь гордою Невою,
Ты зришь ее спокойный бег,
Когда смиренною волною
Гранитный омывает брег.
Озлобяся, река сердита,
Оплоты разорвав гранита,
Свирепость некогда пролет,
Несытые уста откроет,
Труды Фидиев наших смоет
И к морю бурно потечет.

Такая строфа обязывала. Когда, через 9 лет, пророчество сбылось, Хвостов должен был стать поэтом бедствия. Ода на наводнение 1824 г. подготовлена его прошлым. Это не случайное произведение; в последнем счете она восходит к типичной для архаистов тенденции: транспортировать в трагическое монументальный образ феодальной государственности. Но это сделал уже Державин, и в этом как раз исторический смысл „Водопада“.

Вышеизложенное освещает историко-литературные предпосылки пушкинской картины наводнения. Старая тема петербургской оды воспринята Пушкиным в том осложнении, которое внесено было в ее осмысление державинской и особенно архаистической эпохой в истории петербургской феодальной поэзии. Но Пушкин превращает оду в рассказ, одическое в повествовательное. Здесь не реставрация, а типичная для Пушкина транспозиция.

Изображение наводнения переложено Пушкиным на беллетристический, в основе онегинский язык. Перечень:

Садки под мокрой пеленою

и т. д. (7 стихов; 8 названных предметов; сказуемое „плывут по улицам“ только в самом конце) ср. с любым перечнем в „Е. О.“; ср. еще беллетристические восклицательные ракурсы: „Осада! приступ...“ „Враги! давно ли друг от друга...“, „Увял! где жаркое волненье...“, „Тоска, тоска! спешит Евгений...“. Но рядом — державинский стих —

И всплыл Петрополь, как Тритон

и стих архаистический:

народ
зрит божий гнев и казни ждет.

Получается равнодействующая двух стилей. Побеждает бытовая, онегинская тенденция, но архаистическая подоснова темы всплывает в эпизоде, заключающем описание (царь на балконе). Выше мы приводили к этому эпизоду параллель из Хвостова. Но одическая каноничность темы восходит через Хвостова к Державину. В оде „Провидение“ (1794, 1, 80) Екатерина с балкона Эрмитажа видит на льду готовой вскрыться Невы

утопающую; посланные ею люди спасают ее. Пушкин беллетристически модернизирует бытовой словарь (у Державина: „с высоты“; у Пушкина: „на балкон“; у Д.: „летят крылаты серафимы, усердем пламенные слуги“; у П.: „генералы“), но общая одичность эпизода доказывается его полной условностью. Без аргументаций ясно, насколько условная характеристика царя на балконе резко расходится с действительным мнением Пушкина о „плешивом щеголе“. Между тем, здесь: „со славой правил... и в думе скорбными очами...“, да еще в величественном окружении: одиноко высящийся среди потопа дворец. Если Александр и произнес фразу: „с божией стихией...“, то Пушкин, который всегда отмечал прирожденное кокетство царя, не мог не знать, как ее надо объяснить (ср. кокетливую фразу Александра: „закон сильнее меня“ в „Войне и Мире“). Однако здесь она приведена всерьез. Почему все это? Потому что переплавляется одическая тема, стилизуется важная составная часть старой оды, т. е. происходит условное использование традиционного стиля.

Первоначально, в зародыше, именно так разрешил петербургскую тему уже Батюшков в „Прогулке в Академию Художеств“ (1814). Как ни потешался Батюшков над поэмами архаистов о Петре, нет сомнения, что именно от них взял он всю эффектную ситуацию: Петр на пустынном берегу Невы. „И воображение мое представило мне Петра, который в первый раз обозревал берега дикой Невы, ныне столь прекрасные... Здесь будет город, сказал он, чудо света...“ Воображению, надо сказать, помог, напр., Грузинцов („Петриада“ 1812):

Да будет здесь сей град, назначенный судьбою!

Д. Благой совершенно правильно подчеркнул: „Всматриваясь в несуществленные планы и замыслы Батюшкова, начинаешь наглядно понимать всю великую закономерность Пушкинского развития“.¹ Эта правильная мысль применима и к нашему вопросу. Батюшков модернизировал и — в пределах дворянской культуры — демократизировал старую вельможную тему екатерининского Петербурга во всех ее вариантах (Петр — демиург, великолепие, панорама Невы и т. д.). Потенциально здесь во многом уже предreshено отношение „Медного Всадника“ к вельможеской петербургской оде XVIII в. и архаистов.

3. Оживший всадник

В вопросе о генеалогии образа всадника исторические связи настолько отчетливы, что аргументация и цитация могут быть сведены к минимуму.

Во-первых, весь европейский классицизм проархитектурен, так сказать, насквозь. Отсюда архитектурная фиксация классической поэзии. Дворец, здание, столп, памятник, статуя — постоянная ее тема. В некоторые эпохи развития классицизма острое насыщение оды архитектурной

¹ „Судьба Батюшкова“ в сборнике „Три века“, М., 1933, стр. 13.

и статуарной тематикой достигает небывалых размеров. Державин всегда любил архитектурный словарь, но около 1791—1795 гг. пирамиды, обелиски, столпы, чертоги, кумиры становятся, положительно, сигнатурой его стиля. Державину они нужны как элемент системы грандиозных образов. Традиция эта дошла до Пушкина и усвоена им настолько, что как нетрудно доказать, архитектурный стих — для него всегда державинский стих. Ср.:

Александрийские чертоги

Великоленные чертоги... 1791 (1, 57)
Книгохранилища, кумиры и картины
И стройные сады...

Сравните любой архитектурный перечень у Державина. По неоднократному торжественному употреблению слова „медь“ у Державина и его учеников

Приемля образ, медь являет нам героев (Хвостов, 1816),

можно сказать, что само заглавие „Медный Всадник“ принадлежит языку поэзии XVIII в.

Напрасно, далее, Николай I смущен был словом „кумир“. На державинском языке, которым в данном случае говорит Пушкин, это синоним статуи, памятника и ничего больше:

Готов кумир, желанный мною!
Рашет его изобрази.

Готов кумир! и будет чтиться
Искусство Праксителя в нем.

Без славных дел, гремящих в мире,
Ничто и царь в своем кумире. 1794 (1, 89)

Кумир, поставленный в позор,
Несмысленную чернь прельщает. 1794 (1, 90)

В этих двух одах безразлично, попеременно, употребляется синоним „истукан“; то же, примерно, соотношение у Пушкина: „истукан“ 1 раз, „кумир“ 3 раза, но оба на совершенно равных смысловых правах.

Обращение к типично-одической теме сопровождается, естественно, возрождением с ней связанного словаря.

Во-вторых, общая тенденция оды славить здания и монументы дала после 1782 г. специально-петербургский росток: прославление фальконе-това памятника. Уже в августе, т. е. в самый месяц открытия памятника в „Утрах“ есть ода на это событие (впрочем, ничем не замечательная). Пушкин через Мицкевича ссылается на книгу Рубана. Он несомненно знал и его надписи на открытие памятника, во всяком случае, самую знаменитую из них, что доказывается не только тем, что ее все знали наизусть еще в 20-е годы, но и „Памятником“. Ведь слова „нерукотворный“ у Державина нет; оно взято Пушкиным из Рубана:

Нерукотворная здесь росская гора...

Надписи Рубана могли утвердить в литературном сознании конца века лишь одическую знаменательность памятника; разработка главных описательных моментов принадлежит не ему. Не он также превратил всадника в локальное медное божество, в мифологического патрона вельможеской столицы.

Уже в 1783 г. Костров в эклоге „Три грации“, представляющей московский комплимент северной столице, мифологизирует всадника как ее покровителя (что наводнение 1777 г. занимало Кострова, мы видели выше):

Кто сей, превознесен на каменной твердыне,
 Седящий на коне, простерший длань к пучине,
 Претящ до облаков крутым волнам скакать
 И вихрям бурным понт дыханьем колебать?
 То Петр. Его умом Россия обновленна...
 Соплещет радостно с превыспренных высот,
 И медь, что вид его на бреге представляет,
 Чувствительной себя к веселию являет,
 И гордый конь его, подъявляя легкость ног,
 Желает, чтоб на нем сидящий полубог... и т. д.

Очевидно, Костров опирается на какую-то устную традицию, быть может, официального происхождения, сложившуюся, вероятно, в 1782 же году. Зародыши этой традиции еще не вполне ясны. Но что она была, неопровержимо доказывается стихами Кострова. Согласно этой традиции всадник оберегает город от наводнения; его рука, „простертая к пучине“, запрещает волнам вздыматься и ветрам колебать Бельт. Вероятно, память о наводнении 1777 г. была в 1782 г. еще настолько свежа, что оба события объединены были в общем статуарном мифе.

Заметим еще явное стремление Кострова оживить коня и всадника, оторвать их от скалы. Это тоже войдет в литературную традицию, следовательно, и в предисторию пушкинской повести.

Петров дважды воспел памятник. В первый раз — в 1786 г. в послании Екатерине при переводе „Энеиды“, блистательно по фактуре стиха, но неоригинально, — следовательно, показательно для выработанных к этому времени общих мест. Упомянув обязательную набережную, великолепие мостов и т. д., Петров вспоминает открытие памятника:

Уж тяжка от горы отторгшася гора,
 Преплыв валы, легла в подножие Петра, —

явный пересказ надписи Рубана. Феб обращается к Петру:

О, всадник, радуйся...
 Днесь я тебя в меди бездушной созерцаю... —

лишнее доказательство одической традиционности пушкинского заглавия.

В металле вновь на свет возник великий Петр,
 О, копь прекрасен, жив, величествен он зрится.
 Как гордый конь под ним в бег рвущийся бордится!
 Но с камня, кажется, он сам гласит нам ныне... —

к тенденции оживить всадника и превратить его в драматически действующее лицо. Но окончательно драматизирован всадник во второй оде Петрова, в оде 1793 г. „На торжество мира“. Мир в своем полете остановился:

На месте красоты и славы,
Близ струй чистейших серебра,
Где росския отца державы,
Стоит подобие Петра.

Здесь Мир произносит длинную речь, после которой происходит чудо:

Он рек, и всколебались бреги,
Блеснул во горней огнь стране,
Река и ветер прервали беги,
Тряхнулся Всадник на коне.
Он жив! о знаменья чудесна!
Он жив! иль действует небесна
В меди мощь века заперта?
Взгляните! конь под ним топчет
И к облакам взлетети хочет,
Пуская пену изо рта.

Впрочем, Петров не умеет еще ничего сделать из придуманного им чуда; начитанный латинист, он исходит из римских *prodigia* (по Титу Ливию): шевельнувшихся, застонавших, облившихся потом статуй богов. Дальше оживший памятник у Петрова издает глас: „яко глас трубы“.

Следовательно, в оде, посвященной памятнику, назревала тенденция: 1) оживить всадника, 2) превратить его из предмета прославления в действующее лицо и притом 3) действия условно-чудесного (всадник движется, всадник говорит). На том, что Пушкин знал оду 1793 г., мы не настаиваем, но считаем это более чем вероятным, потому что в издании 1811 г. она напечатана не слишком далеко от знаменитой мордвиновской оды, Пушкину хорошо известной (т. II, стр. 116 и стр. 182).

4. „Видения“ и оссианическая ночь

Все же между „тряхнувшимся“ всадником Петрова и „тяжелым топотом“ всадника у Пушкина сюжетная и проблемная бездна, на этом пути развития оды незаполнимая. Мы подходим к самой важной группе вопросов, связанных с отношением „Медного Всадника“ к поэзии XVIII в. Ода о памятнике Петра остановилась у порога развернутого „видения“ всадника. Но была сложная, долгая традиция „явления“ не всадника, а монарха подданному, во-первых, и натурального, *ad hoc* мифологизированного божества, во-вторых. Ее история составляет самую важную из всех литературных предпосылок „Медного Всадника“, вне привлечения которой происхождение пушкинской повести останется неосвещенным в существеннейшем узлом моменте.

Русский предромантизм (Юнг с 1778 г. и Оссиан с 1788 г.) функционально не равняется английскому и западноевропейскому.

Державин привлекает элементы западного предромантического стиля потому, что он создает систему „грандиозной“ поэзии государственного величия России. Вот почему юнгова ночь и оссианический ужас фигурирует у него, не в пример западным поэтам, как раз в наиболее государственных и великодержавно-монархических одах.

В „Видении мурзы“ 1783 (I, 32) впервые явление монарха подданному окружено атмосферой юнговой ночи. Интересные и трудные источниковедческие вопросы мы, конечно, оставляем сейчас в стороне и исходим из этой оды, как из чего-то данного. В явлении Фелицы важно отметить нам: 1) оно явление ночное; 2) совершенно локальное, петербургское:

Петрополь с башнями дремал,
Нева из урны чуть мелькала,
Чуть Белыт в брегах своих сверкал, —

3) оно — явление монарха подданному; 4) притом „ошибающемуся“, для исправления его „ошибочных“ и „оскорбительных“ взглядов; 5) Екатерина является такой, какой она и изображена в символическом и всем известном портрете (Левицкого); 6) является она в гневе, меча взоры гнева:

Сафирсветлыми очами
Как в гневе иль в жару блеснув,
Богиня на меня взглянула,

с чем прямо надо сравнить:

показалось
Ему, что грозного царя,
Мгновенно гневом возгоря,
Лицо тиховько обращалось.

И дальше:

Вострепещи, мурза несчастный,
И страшны истины внемли . . .

7) Явление Екатерины дано как условное явление богини:

Богиня на меня взглянула . . .
Кто ты? богиня или жрица . . . , —

8) явлению сопутствует сотрясение здания, 9) зритель подавлен:

Подобно громом оглушенный
Бесчувствен я, безгласен был.

Явление монарха подданному, в локальной обстановке петербургской ночи, было известно оде и вошло после Державина в историческую традицию. Однако с каким коренным функциональным изменением мы находим эту тему у Пушкина! У Державина, действительно, видение мурзы, все происходит в семейной обстановке, в тесном придворном кругу; является „своя“, лично и коротко знакомая царица, чтобы разрешить частный семейный спор. У Пушкина — острая политическая борьба. Следовательно, привлечение одической традиции (как в данном случае, так и во всей повести) имеет, конечно, иной смысл.

Повесть связана с новой реальностью 30-х годов. Исследуемые нами одизмы нисколько не колеблют основополагающего факта: „Медный Всадник“ — реалистическая повесть.

Этим же, повидимому, объясняется то совсем еще темное для исследования обстоятельство, что, в противоположность Державину, Евгению является не современный ему монарх, а всадник. Пушкин не развивает творчески одическую тему, а просто ее „цитирует“. Противопоставить Евгению Александра Пушкин не хочет и не может, потому что это значило бы реставраторски творить, а одическое творчество, в обстановке 30-х годов, было бы архаизмом. Одизмы Пушкина от „Полтавы“ до „Памятника“ представляют заодно и возрождение и низложение классической традиции XVIII в.: в этом глубокое диалектическое (т. е. ведущее) противоречие в отношении Пушкина к наследию поэзии XVIII в.

Этим же и объясняется своеобразие в развитии замысла. Можно было бы противопоставить Евгению: 1) Александра I, т. е. поступить под державински, 2) всадника в том „чистом“ виде, в каком он дан фальконетовой одой, т. е., скажем, развить соответствующую продигнозную ситуацию в оде Петрова 1793 г. Но Пушкин поступает иначе. Явление всадника он сливает с явлением грандиозных, величественных, натурально-героических фигур, т. е. с темой, разработанной за долгую историю развития русской оссианической поэзии.

Еще задолго до „Поэм древних бардов“ 1788, еще в дооссианический, в юнгов период русского предромантизма, Державин в зловещеночную оду „На выздоровление мецената“ 1781 г. (I, 27) вводит явление Харона.

Державин был подготовлен к восприятию Оссиана: в классовых предпосылках поэзии конца XVIII в. коренятся тенденции выразить коренную одическую тему величия языком ночи и ужаса.

С первой же оссианической оды (измаильская ода 1790 г., I, 54) начинается длинная серия грандиозных явлений оссианических фигур то в лунную ночь, то в безлунную мглу. Уже в измаильской оде (строфа 26) есть гигантская ночная фигура Потемкина:

Средь них, как гор отломок льдян,
Иль мужа нека тень седая,
Сидит очами озирая

и т. д. Это уже прямой черновик „Водопада“.

Общее значение „Водопада“ для Пушкина, постоянное присутствие „Водопада“ в его литературном сознании разных эпох, могло бы быть предметом особого исследования. В 39 строфе „Водопада“ („но кто там идет по холмам...“) гигантская тень Потемкина „спешит во облакам“:

На темном взоре и челе
Сидит глубока дума в мгле.

За очевидностью не требуется доказательств, что эти именно два стиха воспроизведены у Пушкина:

Ужасен он в окрестной мгле:
Какая дума на челе!

Хотя Пушкин прямо возвращается к Державину, имеет, вероятно, значение и то обстоятельство, что оссианическая рифма „мгле — челе“ произвела, насколько можно судить по беспримерно-частому воспроизведению, потрясающее впечатление на поэтов самого конца XVIII и начала XIX вв. Озеров в „Фингале“ (I, 1):

Ему в молчании засели, как во мгле,
Уныние в душе и дума на челе.

Но двустишие в „Водопаде“ подкреплено целой цепью ночных образов и слов:

Чей труп, как на распутьи мгла,
Лежит на темном лоне ночи?

Когда багровая луна
Сквозь мглу блещет темной ночью...

С 17 строфы, со слов:

Сошла октябрьска ночь на землю

вся ода ночная. И так два стиха „Медного Всадника“ явно восходят к двум стихам 39 строфы, но они сами связаны с ночью, в которую погружено все действие оды. Только так может стать понятно, почему Евгений среди осенней ночи подходит к всаднику (между тем как в конце 1-й части памятник был дан днем). Но в тексте Пушкина есть одно разительное противоречие, для нас сейчас имеющее особое значение.

Дело в том, что просыпается Евгений в ненастную ночь: „дышал ненастный ветер... мрачно было (т. е. не было луны)..., дождь капал (значит, не могло быть луны)... ветер выл уныло (значит было шумно)... Пейзаж этот представляет, кстати, редукцию прошлой ночи, ночи накануне наводнения:

Сердито бился дождь в окно

И чтобы дождь в окно стучал.... дождь капал
Не так сердито...

И ветер дул печально воя...

Чтоб ветер выл не так уныло... Ветер выл уныло

Между тем, Евгений подходит к Сенатской площади в ясную ночь (львы видны, как живые), памятник виден настолько отчетливо, что различимы черты лица („какая дума на челе“), а преследование происходит при полной луне и без шума ветра (ибо отчетливо слышно одно скакание). Что значит это странное противоречие? Как всегда в таких случаях, — вступает в силу авторитетный прототип. Общий осенний ненастный колорит петербургской повести, авторитет 1-й части требовали снова

дождливой ночи. Так Пушкин и начал. Но когда он дошел до явления всадника, он столкнулся с традиционной темой, прежде всего с описанием лунной ночи „Водопада“ (17—18, 39), и не только „Водопада“: оссианическое видение (у Державина и у других) — всегда видение во время лунной ночи. Что Пушкин вводит Евгения в типичную оссиано-державинскую ситуацию, подтверждается еще тем, что непосредственно следующие за рифмой „мгле — челе“ стихи:

Куда ты скачешь, гордый конь?
И где опустишь ты копыта?

представляют тоже синтактико-интонационное и смысловое воспоминание из Державина („Орел“ 1799, II, 43):

Носитель молнии и грома
Всесильного Петрова дома,
Куда несешься с высоты?
Приняв перуны в когти мощны,
Куда паришь орел полночный,
И на кого их бросишь ты?

Следовательно, с великодержавной суворовской одой связано у Пушкина „осмысленное“ фальконетово коня. К оде „Орел“ Пушкин вернулся еще в 1831 г.:

Ср.:
Гряди спасать царей, Сувороз.
Иди, спасай царя и нас.

Оссианические исполины являются у Державина неоднократно и после „Водопада“. Это герои (напр. Суворов в альпийских одах) или натуральные божества (Ладогон III, 10, Каспий в Зубовской Кавказской оде II, 4). Быть может, для „Медного Всадника“ имеет особое значение Каспий и не только потому, что он является во всем величии божеской ярости (ср. ярость погони у Пушкина). Дело в том, что явление Каспия, начатое зрительно, завершается у Державина грандиозным акустическим образом, недаром потрясшим Гоголя:

Столбом власы седые вьются,
И глас его гремит в горах.

Но знаменитую характеристику Гоголя можно применить и к „Медному Всаднику“: погоню трудно представить себе зрительно, она тоже „потерялась в каком-то духовном незримом очертании“ и, добавим, тоже переведена на акустический язык.

5. Акустика в изображении „погони“

Систематическая ориентация поэта на изображение звуковых явлений была уже неотъемлемой приметой поэзии Державина. Сколько десятков написано им специально громоподобных стихов! Сколько сотен его учениками! Но замечательным образом художественного совершенства дости-

гает акустицизм Державина в соединении с оссианической картиной Падение Потемкина („Водопад“, 29) во сне Румянцева производит страшный треск: сокрушилась ель, треснул холм, упала гора:

Грохочет эхо по горам,
Как гром гремящий по громам.

Уже из этого примера видно, что акустика в изображении погони („как будто грома грохотанье“) дана Пушкиным не то что на базе этих стихов Державина, а простым полуцитатным их воспроизведением. Но анализ языка державинской акустики проливает свет на одну реальную деталь пушкинского рассказа. Дело в том, что, говоря о „громе“ и „грохотаньи“, Державин обыкновенно имеет в виду не самый шум удара, но его звук, эхо:

Грохочет эхо по горам,
Как гром гремящий по громам ...
Столбом власы седые вьются,
И глас его гремит в горах ...
Возвратным грохотаньем грома ... (1811, III, 25 „Эхо“)
Отколе пал незапно гром?
Грохочет всюду гул кругом (1813, III, 40).

Следовательно, пушкинский стих:

Как будто грома грохотанье

имеет в виду не топот коня, а эхо. Ведь начинается погоня на Сенатской площади („...на площади пустой...“): естественно, эхо слышнее самого топота. Эхо Пушкин и изображает (самый топот нельзя сравнить с грохотаньем грома); поэтому же, дальше, он дважды упоминает „звонкое скаканье“ (всё ещё на площади). Но продолжается погоня уже по улицам, быть может, закоулками („куда стопы ни обращал“); здесь эхо уже нет; исчезает поэтому громоподобный акустический язык Державина; „звонкое скаканье“ уступает „тяжелому топоту“ без эхо, коротким шумовым ударам без отгула.

„Тяжелый топот“ — не державинское словосочетание. Державинское отсутствует в сцене погони по улицам, т. е. еще за 4 стиха до конца абзаца о погоне. Зато предыдущие 7 стихов во всех деталях сводятся к тому, что мы для упрощения назвали бы оссианическим акустицизмом Державина. Со стихом:

Тяжело — звонкое скаканье

ср. начало Суворовской оды 1799 (II, 56):

Ударь во серебряный, священный,
Далеко-звонкий, Валка, щит.

В черновой у Пушкина было даже „далеко-звонкое скаканье“. Необычное для Пушкина, но, как известно, конститутивно-постоянное у Державина составление сложных эпитетов (особенно акустических) объясняется тем, что Пушкин здесь сознательно воскрешает чужой язык.

6. Низложение традиции

Итак, ночное явление Петра представляет чрезвычайно сложную переплавку нескольких соединенных одических тем, из которых каждая имела до Пушкина самостоятельную историю.

Это: 1) явление фальконетова всадника, разработанное в оде 1780—1790 гг. с явно драматической и продигиозной тенденцией; 2) явление монарха „ошибающемуся“ подданному, восходящее к монархическому педагогизму феодально-вельможеской поэзии; 3) явление грандиозной фигуры, героической, либо мифологической, в ночной оссианической обстановке. Все три темы типичны для поздне-екатерининской поэзии (эпохи небывалых успехов завоевательной политики и небывалого могущества правящей верхушки).

Нам неизвестна до „Медного Всадника“ ни одна попытка соединить их. Единственное исключение представляет книжка Ф. Я. Кафтарева „Петропольские ночи“, СПб., 1832; возможно, что образ ночного всадника (при всей бездарности автора — дилеганта) сыграл для Пушкина роль последнего решающего предтворческого толчка. Наличие неразрезанной книжки в библиотеке Пушкина (№ 185) ничего не говорит ни за, ни против:

Уже Морфей на град спустился,
 Брега жезлом околдовал;
 Ретивый конь на глыбе взвился,
 Он быстро на Неву взирал
 Бразды собрав, неустрашимый,
 Могучий Петр на нем воссел,
 И взор его неугасимый
 Вселенной обтекал предел.
 Бессмертный Петр, богоподобный,
 Смирная буйство на скале,
 Один ты властвовать способный
 Всемирным тронем на земле.

Драматическое оживление всадника для нас уже не ново, но кто подсказал Кафтареvu транспозицию статуарно-монархического „чуда“ на тревожные, зловещие образы ночной поэзии? Что такое далее „буйство на скале“? О змее нелепо сказать не аллегорически, что она „буйствует“. Следовательно, аллегория? Верноподданический намек на 14 декабря? Отзвук аллегоризации, быть может, сложившейся в официальном и придворном мире в атмосфере коронационной лесты 1826 г.?

Пушкин сливает темы, которые до него существовали и столетия развивались независимо. Следовательно, для него эти темы те же и заодно не те. Поэтому нельзя говорить о воспроизведении tout court. Возвращение Пушкина к XVIII в. — явление совсем иного качества, нежели архаизм — и старший, и младший. Это архаизм, если угодно, двусмысленный и выражает он ведущее противоречие всего раз-

вития Пушкина в 30-е годы. Пушкин безбоязненно может почти дословно цитировать традиционно сложившиеся словосочетания (формулы: „грома грохотанье“; „мгле — челе“ и мн. др., анализированные выше): все равно, извлеченные из двумерного, введенные в стереометрическое пространство, они не будут „узнаны“. Действительно, не „узнал“ одического материала повести ни Белинский, ни Достоевский, ни Брюсов.

В переосмыслении литературных образов функция играет ту же ведущую роль, что и в переосмыслении слов, а функция пушкинской повести определяется не эпохой, создавшей державинскую оду, а реальными противоречиями русской истории 30-х годов XIX в.

Дальнейшие выводы выходят за пределы той частной темы, которой посвящена эта работа. В самом деле, всякий дальнейший шаг привел бы нас к одному из следующих двух вопросов: 1) место одизмов „Медного Всадника“ в общем ряду тех произведений Пушкина 1828—1836 гг., которые связаны с традицией XVIII в.; 2) функция одизмов „Медного Всадника“ внутри самой повести.

По причинам, которые ждут еще глубокого исторического исследования, длинный ряд связанных с традицией XVIII в. произведений начинается у Пушкина едва ли не с конца 1826 г., со „Стансов“ („В надежде славы и добра“). Дело далеко не ограничивается полтавским боем. В разной степени, в разном смысле соотносятся к поэзии XVIII в., переосмысляя ее, „Анчар“, „Дон“, „Олегов щит“, „Воспоминания в Царском селе“, „К вельможе“ (ср. послание Державина Шувалову), все три антипольских оды, „19 октября 1831“ (задуманное как ода), „Пир Петра Первого“, „На выздоровление Лукулла“ (ср. у Державина „На выздоровление Мецената“, а для строфы — оду „Ко второму соседу“), „Памятник“, „19 октября 1836“ (ода) и многочисленные отдельные детали, особенно во всем, написанном александрийским стихом. „Пророк“, через „Опыты священной поэзии“ Ф. Глинки 1826, соотносится к духовной поэзии. Но в каждом из этих произведений отношение к XVIII в. разное и по напряженности и по типу. Обращения к Державину и Ломоносову являются не реставраторством, а созданием принципиально нового.

Только в общей связи исследования и этой формы и этой функции до конца прояснится историческое место одизмов в „Медном Всаднике“.

Заметим еще, что своего рода возрождение одических тем заметно во всей николаевской поэзии. Возрождается и выпуск од отдельными изданиями. После наводнения од 1812—1815 гг. кривая резко падает. Под 1817, 1820, 1822—1825 гг. не известна ни одна отдельно выпущенная торжественная ода, а 1826 г. дает сразу 6 (из них одна Мерзлякова). Конечно, наша регистрация неполна и несовершенна, но рельеф явления может быть прослежен и по ней. Есть оды и 1829 и, конечно, 1830—1831 гг. Еще нагляднее этот процесс выражается не в издательской практике, а в отчетливом росте одической тематики, хотя бы не в формах оды. Пушкин здесь не один.

Окончательное решение функционального вопроса привело бы нас к выяснению места одизмов внутри самой повести. А это выходит за пределы нашей работы, потому что ведущим моментом повести являются не одизмы, а, упрощенно говоря, Евгений. Евгений же, повидимому, воспринят Пушкиным из буржуазно-городской повести 30-х годов, из урбанистической беллетристики.

Работа Н. В. Измайлова¹ показала многозначительное соперничество двух несовместимых вариантов одной и той же темы: „некто в бурный осенний петербургский вечер возвращается домой (или сидит дома)“. В одном варианте это молодой аристократ (Рулин, Зорин, Пронский, соответственно чему „роскошный кабинет“, „бронзовый камин“, пес „Цербер“ и т. д.), в другом — бедный чиновник („чердак“, „конурка пятого жилья“, „заслуженная шинель“ и т. д.). Долгое и упорное в уме Пушкина состязание обоих возможных путей повести предполагает достаточную литературную авторитетность и того и другого. Для „рулинского“ пути традиция ясна: столичная светская повесть. А для „чиновничьего“? Новаторство Пушкина (как, впрочем, и всякого великого творца) всегда исходило из исторически верного учета литературной ситуации, из представления об уже намеченной (или намечающейся) в литературе темы, которую надо продолжить, — вернее, возвести на должную литературную высоту. Зачатки новой темы несомненно уже существовали (ср. отношение Норового, в конспектах „Русского Пелама“, к плутам в вульгарном плутовском романе).

Но в списках целого Парнаса
Героя нет такого класса.

Конечно, на Парнасе коллежских регистраторов еще не бывало, но где-то у подножья его новый герой 30-х годов уже намечался. Вот его-то предпушкинскую историю предстоит науке выяснить. Это единственный путь историко-литературного приближения к совершенно неисследованному еще вопросу об Евгении, потому что, как известно, в новую повесть влился материал одного лишь второго, чиновничьего варианта первоначальной, брошенной повести.

Между тем, только исходя из анализа образа Евгения и с ним связанных элементов повести, можно методологически верно развернуть ведущую ее линию и, следовательно, определить место одических элементов, функционально вторичных. Но в заключение отметим, что одизмы в „Медном Всаднике“ обесценены тем, что они:

1. Соположены, несмотря на разное историческое происхождение. Так, формула „где прежде — ныне там“ принадлежит другой эпохе и иной линии истории оды, чем, скажем, оссианизм.

2. Иные из них слиты в новую тему; три различных темы: явление фальконетова всадника, монарха подданному, оссианической фигуры —

¹ „Пушкин и его современники“, вып. XXXVIII—XXXIX, Л., 1930.

сделались одной новой. Следовательно, каждая понизилась в своей одической тематичности.

3. Одизмы находятся в соседстве с другими абзацами, типично онегинскими (по словарю, интонации, темам, строфическим признакам и т. д.). Это дает одизмам иную окраску, вводит их в иную смысловую атмосферу. Таков одический абзац „прошло сто лет“, за которым следует непосредственно онегинский абзац „люблю тебя, Петра творенье“.

4. Но онегинский стиль вовсе не преобладает в повести. Роль его, конечно, громадна; вся повесть проникнута онегинскими словосочетаниями и прямыми реминисценциями; кроме примеров, попутно приводившихся выше, ср., напр., еще:

И с ним вдали во тьме ночной
Перекликался часовой.

Всё было тихо, лишь ночные
Перекликались часовые.

Сняв пласт одический и пласт онегинский, мы обнаруживаем первоначальную и ведущую языковую и стилистическую стихию, у Пушкина до сих пор небывалую.

Внешний ее признак — частые переносы. Наличие их в повести давно замечена исследователями, но осталось неизученным их распределение. Между тем, оно резко неравномерно. Переносов нет в абзацах „прошло сто лет...“, „люблю тебя...“ и, конечно, нет в резко-державинском описании погони. Зато они сосредоточены главным образом вокруг Евгения и составляют как бы строфическое обозначение всей беллетристической части повести. Дело не в одних переносах. Анализ мог бы показать, что соответствующие места написаны новым для Пушкина языком, во всяком случае не „онегинского“ происхождения. Вероятнее всего, что корни этого языка уходят в бытовую беллетристику 30-х годов (это объяснило бы функцию переносов: приблизить стих к разговорной прозе). Приоритет этой третьей струи виден уже из того, что ей частично принадлежит (по признаку переносов) начало вступления, несмотря на традиционную классичность темы „Петр — демиург“. В соседстве с третьим языковым пластом (а в сущности, в подчинении ему) „онегинский“ пласт сам обесценивается, архаизируется. Тем более, меняется смысл и одизмов, и притом двойко: косвенно, через сплавление с уже обесцененным онегинским стилем, прямо — через сплавление с беллетристическим стилем. Резкий пример второго: непосредственно за описанием погони следует чисто беллетристический абзац „и с той поры, когда случалось...“, где в 26 последних стихах повести до 10 переносов такого резкого типа, как, например: „не взросло — там ни былинки. Наводнение...“. Каким же образом три совершенно различных языковых строя, различных по составу и происхождению, могли слиться в одну цельную речь повести? Очевидно, через взаимопогашение, через нейтрализацию. Что в этом процессе ведущая роль принадлежала новой беллетристической струе, видно из того, что она дана со всеми своими особенностями (например,

бытовой пауперистический и мещанский городской словарь), между тем как речь онегинская и речь одическая либо сглаживают свои особенности, либо выделяют их в обособленные абзацы, окруженные беллетристической речью, как монумент Петра волнами наводнения. Этот вывод совпадает, в области стиля, с выводами В. Виноградова о роли Пушкина в истории русского литературного языка.¹

5. Одизмы еще потому неравны себе, что они введены в повесть. Пусть осень в „Евгении Онегине“ восходит к осени Державина: пейзаж одического происхождения в романе подчинен закономерностям романа, а не оды. „Статуарное чудо“ восходит, как мы видели выше, к истории оды; но введенное в повесть об Евгении, оно резко меняет свою функцию, подчинено закономерностям повести 30-х годов, функционально переплавлено до литературной неузнаваемости

Наконец,

6. Одизмы занимают в повести и проблемно-подчиненное положение.

Недаром Пушкин к заглавию присоединил подзаголовок „петербургская повесть“; этот подзаголовок гораздо ближе приводит нас к главной проблеме повести. Герой проблемы тот, кто является инициатором проблемного конфликта; конфликт же II части вызван не бытием всадника, а бытием Евгения, т. е. реальностью 30-х годов, реальностью разночинца, живущего и борющегося в сословно-монархическом государстве. Евгений — вот новое, исторически-значительное и исторически-ведущее. Недаром Пушкин творит те элементы, которые с ним связаны. Между тем, противоположные элементы, связанные с дворянской столицей, ее историей, ее великолепием, с всадником и его явлением, он, как мы подробно доказывали выше, творит, цитируя. Амплитуда цитирования широка, от перенесения комплекса нескольких тем до цитаты в почти точном смысле слова. Глубоко оригинальный для Пушкина реалистический план повести соседствует с другим планом — статуарным, наименее оригинальным по своему словарно-стилистическому составу, наиболее воссозданным из элементов иной поэзии иной эпохи. Но так как использованный материал проблемно подчинен новому, то само использование приобретает особый характер. Несомненно желание прибегнуть к темам и языку оды, т. е. архаистическое авторское намерение, но столь же несомненно, что архаизм Пушкина не совпадает с тем, что принято разуметь под этим термином. Это архаизм критический, не в смысле критического отношения Пушкина к своей работе, а в смысле диалектического усвоения, рождающего новое качество. Возрождаемый литературный стиль находился в состоянии кризиса; его восстановление было у Пушкина заодно и его отрицанием, чем объективно выражается тот

¹ В. Виноградов, „Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв.“, М., 1934, гл. VI.

факт, что поэтом монархической государственности Пушкин — величайший народный поэт — не был и не мог быть. Отсюда (когда проблематика „Медного Всадника“ была переведена на язык просветительской публицистики) возможность бесконечных споров вокруг вопроса, кто морально побеждает в повести, всадник или Евгений. В сюжетном замысле победа остается за всадником, но литературно осуществить эту победу и окружить ее нимбом государственного величия Пушкин не может иначе, как уступая перо Державину. Между тем, в разночинно-беллетристической части повести Пушкин оригинален от начала до конца.

Для чего же вообще понадобилась Пушкину переработка литературной традиции XVIII в.? Нам кажется, что вопрос этот надо ставить так: для цивилизаторского дела Петра традиция эта (созданная Феофаном и Кантемиром) стала, благодаря Ломоносову, национальной (вспомним высказывания о Петре Герцена, Белинского и др.), национальной же она могла стать только потому, что в основе она была исторически правильной. Русская ода XVIII в. как поэзия прогрессивной государственности стала неотъемлемой частью русской литературной культуры. Здесь Пушкин модернизирует традицию, сплавляет различные ее элементы, но остается верен ее основной, от Ломоносова идущей, тенденции:

Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо как Россия!

Но ода XVIII в. была (особенно к концу века) поэзией и регрессивной (монархической) государственности, своего рода ответом на французскую революцию. Здесь речь шла уже не о цивилизаторском подвиге, а о трагически-грозной мощи, окруженной величием трагической ночи (предромантизм Державина). Первостепенные поэты (Петров и, в особенности, Державин) создали систему возвеличения этой государственности. В борьбе с нею Пушкин берет слова ее поэтов, — лучших слов не было и не могло быть: „Водопад“ — одно из исторически-значительнейших созданий русской поэзии (вспомним мнения Белинского и Гоголя!). Но поступает он с этими словами и образами так же, как поступит скоро в „Памятнике“, где в формах так называемого „подражания Державину“ происходит непрерывная борьба с Державиным, своего рода внутренняя полемика. Только здесь, в „Медном Всаднике“, полемика становится основой самого сюжета, благодаря чему сюжет превращается в драму: монархии противостоит Евгений, а Державину прогивостоит городская беллетристика. Тем самым Петр окончательно отодвинут в прошлое: его подвиг остается за ним, но превращается в великое событие прошлого; в современности же, в 30-е годы, он может действовать лишь как страшный гигантский призрак. „Медный Всадник“ означает окончательный отказ Пушкина от надежд на возможность второго Петра в русской истории; это отрицающий эпилог всего петровского цикла. Но одновременно отодвигается в прошлое и классицизм русского XVIII в.; сплошь

двусмысленное воспроизведение его тем и его эстетики являются на деле тоже воссозданием литературного призрака.

Правильность избранного Пушкиным пути подтверждена неопровержимым фактом, аргументом непререкаемым: дальнейшей историей русской литературы. Евгений стал на долгие годы одним из ее главных героев, а гуманизм пушкинской повести развернулся в одну из тех особенностей русской литературы, которые превратили ее в литературу мирового значения.



В. А. МАНУЙЛОВ и Л. Б. МОДЗАЛЕВСКИЙ

„ПОЛКОВОДЕЦ“ ПУШКИНА

1

„Жизнь наша лицейская сливается с политической эпохой народной жизни русской“, — вспоминал И. И. Пущин в своих „Записках о Пушкине“. — „Приготовлялась гроза 1812 года. Эти события сильно отразились на нашем детстве. Началось с того, что мы провожали все гвардейские полки, потому что они проходили мимо самого лицея; мы всегда были тут, при их появлении, выходили даже во время классов, напутствовали воинов сердечной молитвой, обнимались с родными и знакомыми; усатые гренадеры из рядов благословляли нас крестом. Не одна слеза тут пролита:

Сыны Бородина, о, кульмские герои!
Я видел, как на брань летели ваши строи;
Душой торжественной за братьями летел...

Так вспоминал Пушкин это время в 1815 году в стихах на возвращение императора из Парижа.

Когда начались военные действия, всякое воскресенье кто-нибудь из родных привозил реляции; Кошанский читал их нам громко и в зале. Газетная комната никогда не была пуста в часы, свободные от классов; читались наперерыв русские и иностранные журналы, при неумолкаемых толках и прениях: всему живо сочувствовалось у нас: опасения сменялись восторгами при малейшем проблеске к лучшему. Профессора приходили к нам и научали нас следить за ходом дел и событий, объясняя иное, нам недоступное“.¹

Летом 1812 г., среди русских войск, а затем и по всей александровской России все явственнее стал звучать ропот против отступающего и якобы нерешительного Барклая-де-Толли (1761—1818). Пушкин, конечно, принимал в ожесточенных спорах лицейстов самое горячее участие. Дворянское общество в эти дни разделилось на два неравных лагеря. Подавляющее большинство порицало Барклая, считая его чуть ли не созна-

¹ Ср. П. В. Анненков, „А. С. Пушкин в Александровскую эпоху“, СПб., 1874, стр. 49—50, а также его „Материалы для биографии Пушкина“, изд. 2-е, стр. 300 и 381.

тельным изменником, меньшая часть, к которой принадлежал и сам Александр I, понимала тактическую необходимость отступления, но в этом всеобщем ропоте защищать Барклая с каждым днем становилось все труднее. Наконец, 8 августа 1812 г. Александр I вынужден был уступить оппозиции, во главе которой стояли великий князь Константин Павлович, Багратион и Беннигсен. Главнокомандующим русской армии был назначен М. И. Голенищев-Кутузов, еще с Аустерлица антипатичный Александру I.¹

Вера в военный гений Кутузова, всколыхнувшая весь народ, захватила и юных лицеистов. Даже Вильгельм Кюхельбекер, по материнской линии бывший в родстве с Барклаем и поступивший в Лицей по его рекомендации, был, повидимому, в это время приверженцем Кутузова. Об этих настроениях, господствовавших в Лицее, узнала Юстина Яковлевна Кюхельбекер. 24 августа 1812 г. она писала сыну (оригинал по-немецки):

„Благодарю тебя за твои политические известия, ты легко представишь, что здесь говорят много вздора, из которого кое-что и верно, хотя многое преувеличено. Я напишу тебе о генерале Барклае только то, что совершенно достоверно и что скоро подтвердится в приказе корпусного генерала (*des kommandierenden Generals*) и выйдет бюллетенем. Император предоставил ему выбор: возвратиться в Петербург и снова исполнять обязанности военного министра или оставаться при армии. Барклай совершенно естественно выбрал последнее и командует первой частью главной армии под начальством главнокомандующего (*Chefs*). Если бы была хоть мысль об измене или о чем-нибудь, что ему можно было вменить в вину, — разве император поступил бы так? Однако Барклай теперь дает доказательство того, что любит свое отечество, так как по собственной воле служит в качестве подчиненного, тогда как он сам был главнокомандующим. Впрочем, пишу это для тебя, — учись не быть никогда поспешным в суждениях и не сразу соглашаться с теми, которые порицают людей, занимающих в государстве важные посты. Как часто случаются времена и обстоятельства, когда они не в состоянии действовать иначе, а отдаление и очень часто вымышленные сообщения враждебно настроенных и легкомысленных умов (*Körfe*) вредят чести великого мужа. Я не хотела здесь писать оправдания генерала Барклая, я не сумею этого сделать, потому что я не военный и не муж, — я хотела только дать урок моему милому Вильгельму, о котором знаю, как часто увлекается он своими чувствами, урок — не так слепо верить всему, что он слышит. В твоем положении не следует противоречить, но не нужно выносить свой приговор, пока не скажут своего мнения заслуживающие доверия люди, которые имеют на это право по своему положению и опыту, или пока не

¹ Литература о Михаиле Богдановиче Барклае-де-Толли (1761—1818) не сведена еще в общей библиографии и обследуется нами особо.

выйдет манифест правительства. Но довольно об этом. Конечно теперь много разговоров и очень часто среди множества ложных слухов можно уловить и кое-что верное“.

Ю. Н. Тынянов, впервые опубликовавший письмо Ю. Я. Кюхельбекера,¹ определяет его как „серьезную политическую апологию Барклая, написанную именно в ту минуту, когда Барклай принужден был уступить начальство над войсками“, и добавляет, что эта апология несомненно предназначалась для прочтения товарищам.

Предположение о знакомстве Пушкина с этим письмом подкрепляется указанием на то, что Юстина Яковлевна приводит главные пункты защиты Барклая, повторенные впоследствии в стихотворении Пушкина „Полководец“: 1) Барклай любит свое отечество, так как по собственной воле служит в качестве подчиненного, тогда как сам был главнокомандующим; 2) ему вредят отдаление и вымышленные сообщения враждебно настроенных лиц.

Главные пункты защиты Барклая в письме и стихотворении „Полководец“ действительно совпадают, но они настолько естественны, что вряд ли могут служить доказательством непосредственного знакомства Пушкина с письмом матери Кюхельбекера. Во всяком случае у нас нет никаких данных, позволяющих утверждать, что еще в Лицее Пушкин принадлежал к числу сторонников Барклая. Зато есть более позднее свидетельство, говорящее как будто бы скорее об отрицательном отношении к Барклаю. Когда после смерти Александра I разнесся слух о предстоящем восшествии на престол Константина Павловича, Пушкин 4 декабря 1825 г. писал П. А. Катенину из Михайловского: „Как верный подданный должен я конечно печалиться о смерти государя; но как поэт, радуюсь восшествию на престол Константина I. В нем очень много романтизма; бурная его молодость, походы с Суворовым, вражда с немцем Барклаем, напоминают Генриха V. К тому ж он умен, а с умными людьми всё как то лучше; словом я надеюсь от него много хорошего“. Ю. Н. Тынянов не счел нужным придать значение этому письму. Вряд ли бы Пушкин поставил в заслугу Константину вражду с „немцем Барклаем“, на ряду с суворовскими походами, если бы он принадлежал к числу убежденных сторонников Барклая. Историческая концепция „Полководца“, повидимому, возникла позднее, уже в тридцатые годы. Вот почему нам кажется не совсем убедительным утверждение Тынянова, что письмо Ю. Я. Кюхельбекера „было первой апологией Барклаю, известной Пушкину“, которая „запомнилась и легла в основу его отношения к отодвинутой на задний план официальной историей фигуре Барклая“. Но совершенно несомненно, что самая тема „Барклай и Кутузов“ впервые заинтересовала Пушкина еще летом 1812 г. и вполне возможно, что эта тема не раз была предметом дружеских споров лицейстов.

¹ Ю. Тынянов, „Пушкин и Кюхельбекер“, „Литературное Наследство“, кн. 16—18, 1934, стр. 324.

В лицейской лирике Пушкина достаточно часты отголоски событий 1812 года („К другу стихотворцу“, „Воспоминания в Царском Селе“, „К Галичу“, „На возвращение государя императора из Парижа в 1815 г.“, „Послание к Юдину“, „Принцу Оранскому“ и др.).

Интерес Пушкина к событиям 1812 г. несколько не уменьшился в годы южной ссылки, когда он сдружился с семьей Раевских. Большое впечатление произвело на Пушкина известие о смерти Наполеона, дошедшее до поэта в мае 1821 г. и вызвавшее стихотворение „Наполеон“. Запись неопубликованного дневника П. И. Долгорукова от 27 мая 1821 г. свидетельствует: „За столом у наместника Пушкин, составляя так сказать душу нашего собрания, рассказывал по обыкновению разные анекдоты, потом начал рассуждать о Наполеонове походе, о тогдашних политических переворотах в Европе...“¹

Именно в это время Пушкин близко сошелся с И. П. Липранди (1790—1880), который участвовал в отечественной войне, в битве под Смоленском получил тяжелую контузию в колено, по взятии Парижа был назначен начальником русской военной и политической полиции во Франции и который представлял для Пушкина большой интерес как военный писатель и осведомленный рассказчик. Липранди обладал лучшей библиотекой в Кишиневе, состоявшей главным образом из книг по военной истории и географии. Пушкин ежедневно виделся с Липранди, брал у него книги, беседовал о прочитанном и не может быть никаких сомнений, что именно с Липранди Пушкин не раз беседовал о 1812 годе.²

2

С 30 сентября по 22 ноября 1818 г. происходил Аахенский конгресс. В эти дни в Аахен прибыл английский живописец Доу, сопутствовавший Лоуренсу, для того чтобы „снять для английского короля портреты с королевских особ и виднейших дипломатов“, присутствовавших на конгрессе. Здесь, среди других портретов, Доу писал портрет князя Голицына. Однажды Александр I случайно попал на один из сеансов и был поражен замечательным сходством портрета с оригиналом. Вскоре Доу пригласили в Россию — ему был дан крупный заказ написать портреты героев войны 1812—1814 гг. для военной галлерей, которую было предположено устроить в Зимнем дворце.³

¹ Дневник П. И. Долгорукова хранится в рукописном отделении Гос. Литературного музея в Москве. Благодарим М. А. Цявловского, сообщившего нам публикуемый отрывок.

² Подробную сводку био-библиографических материалов о Липранди см. в издании „Пушкин, Статьи и материалы“ под ред. М. П. Алексева, вып. III, Одесса, 1926, стр. 62—65.

³ Джордж Доу (George Dawe) родился 8 февраля 1781 г. в Лондоне. Его первым учителем был отец гравер (Филипп Доу). В 1804 г. Доу получил большую золотую медаль за картину „Бешенство Ахиллеса при вести о смерти Патрокла“. В 1809 г. от Лондонской Академии получил премию за „Сцену из Цимбелина,“ а в 1811 г. награду за картину

В 1819 г. Доу, или Дов, как его именовали русские газеты и журналы, прибыл в Россию и приступил к работе. В одной из зал Эрмитажа была устроена его мастерская. Доу работал с несколькими помощниками, среди которых следует упомянуть В. Тропинина, В. Голике и крепостного А. Полякова.

В 1820 г. Академия художеств приняла Доу „по известному его здесь искусству в живописи портретов“ в свои почетные вольные общинники.

С 1 по 15 сентября 1820 г. на большой выставке в Академии художеств было представлено уже свыше 80 портретов работы Доу. В отчете об этой выставке П. П. Свиньин писал в своих „Отечественных Записках“: „Дов имеет необыкновенную способность писать скоро и схватывать сходство лиц.¹ Он написал уже более 80 портретов наших генералов. Жаль, что он очень спешит и не отрабатывает свои произведения таким образом, чтобы, потеряв достоинство сходства, они могли оставаться картинами, хотя обладает достаточным для того талантом“.²

Пушкин был выслан из Петербурга в начале мая 1820 г., следовательно, еще до высылки на юг он мог встретиться с Доу. Впрочем, никаких сведений о встречах с Доу в это время не сохранилось. Выставки в Академии художеств Пушкин, конечно, уже видеть не мог, но работы Доу в начале 20-х годов он безусловно знал по многочисленным воспро-

„Негр и буйвол“. Большим успехом пользовались его романтические полотна „Мать, спасающая своего ребенка из орлиного гнезда“, „Одержимый“ и др. Удивительна работоспособность Доу. Много лет он занимался анатомией, хорошо знал ряд языков, в том числе и русский, переводил с латинского Вергилия. Широкую известность Доу получил как портретист, в особенности после открытия в Виндзоре галереи в честь Ватерлоо, для которой им было выполнено множество портретов. В России Доу пробыл девять лет (1819—1828). Кроме портретов для военной галереи, он написал в России немало других портретов, главным образом лиц военного круга. В 1828 г. Общество поощрения художеств взяло под свою защиту ученика Доу Александра Полякова, работы которого Доу якобы выдавал за свои. Дело дошло до Николая I, и Доу был вынужден уехать на родину. В Англии Доу пробыл несколько месяцев; осенью 1828 г. он уже был в Берлине, где работал над портретом прусского короля и герцога Кэмберландского, а весной 1829 г., снова войдя в милость при русском дворе, сопровождал Николая I в Варшаву, где написал портрет в. к. Константина Павловича. Это была его последняя работа. В августе 1829 г. Доу больной вернулся в Англию и 15 октября умер в доме мужа своей сестры гравера Томаса Райта. Известна книга Доу — биография близкого его друга живописца Морленда — „The Life of G. Morland and his Works“, London, 1807. О Доу см.: G. K. Nagler, „Neues allgemeines Künstler-Lexikon“, München, 1836, Dritter Band, SS. 298—399; „The Royal Academy in the present century“ „Art Journal“, 1899, February, pp. 40—42; „Bryan's Dictionary of painters and engravers“, London, 1903, vol. II, p. 16; Русский биографический словарь, том „Дабелов — Дядьковский“, СПб., 1905, стр. 670—671; Н. Врангель, „Иностранцы XIX в. в России“, „Старые Годы“, 1908, стр. 456 и сл., и 1912, июль—сентябрь, стр. 25—26; U. Thieme und F. Becker, „Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart“, Leipzig, 1913, Achter Band, SS. 482—483.

¹ Ср. у Пушкина эпитет „художник быстроокой“.

² „Отечественные Записки“, 1820, № 6, стр. 284.

изведениям в русской периодической печати и на отдельных листах. Вместе с Доу из Англии приехали граверы Томас Райт и С. Е. Wagstoff. Кроме них, портреты героев двенадцатого года гравировал Зайдель, а позднее с 1827 г. Г. Гиппиус и племянник английского живописца Генрих Доу.

Русское общество с большим вниманием следило за работами Доу. Журналы того времени пестрят сообщениями о новых портретах, гравюрах и литографиях с них. Наиболее восторженные отзывы печатал Ф. В. Булгарин в „Северной Пчеле“. К числу сдержанных и даже предубежденных критиков относился П. П. Свиньин, с которым неоднократно полемизировал Булгарин.¹

Среди многочисленных журнальных статей и заметок о работах Доу для нас большой интерес представляет стихотворение Ф. Н. Глинки, описывающее портрет графа М. А. Милорадовича под заглавием „Суворовский генерал“. Оно было помещено в номере „Северной Пчелы“ от 24 декабря 1825 г. (№ 154). В предисловии, предпосланном стихотворению, Глинка писал: „Мне случилось увидеть собрание портретов, писанных кистью г. Дова по высочайшему повелению. Редкое сходство, сильная, широкая кисть² и счастливый выбор положения для каждого лица придает большое достоинство сим портретам, возбуждающим живейшее воспоминание о подлинниках. Я думал, почему бы не описать пером того, что написано кистью, с такою же, если можно, простотою и картинностью? Но краски для сего должны быть отечественны, и слог, сколько можно более, народный, но не простонародный...“ и т. д.

Предисловие и стихотворение Федора Глинки были напечатаны вскоре после официального сообщения о „печальных событиях 14 декабря“, когда Пушкин особенно внимательно следил за газетами и журналами. „Северная Пчела“ была едва ли не наиболее распространенной газетой; трудно допустить, что номер от 24 декабря не дошел до Пушкина и что он не знал стихотворения близкого ему автора, посвященного портрету гр. М. А. Милорадовича, только что убитого на Сенатской площади 14 декабря 1825 г. Скромный стихотворец Ф. Н. Глинка высказал суждение, предвосхитившее замысел Пушкина, — дать стихотворное описание исторического портрета. Больше того, предисловие Глинки могло быть связано в какой-то степени даже с историей возникновения стихотворения „Полководец“.³

¹ См., например, статью П. П. Свиньи́на в „Отечественных Записках“ за 1827 г., № 90, стр. 138—143, и „Антикритику“ Ф. В. Булгарина в „Северной Пчеле“ от 13 декабря 1827 г., № 149. Сообщения о работах Доу см. также в „Отечественных Записках“, 1823, № 42, стр. 465—468, и „Северной Пчеле“: от 26 февраля 1825 г., № 25; от 14 мая 1825 г., № 58; от 22 августа 1825 г., № 101; от 3 декабря 1825 г., № 45; от 31 декабря 1825 г., № 156; от 1 июля 1826 г., № 78, и т. д. В просмотре периодической печати для настоящей статьи нам оказала существенную помощь Л. Н. Назарова.

² Ср. у Пушкина: „Своею кистью свободной и широкой“.

³ Мы не касаемся здесь вопроса о жанровой связи стихотворения Пушкина „К тени полководца“ и „Полководец“ с „Odes et Ballades“ Виктора Гюго.

3

К 1825 г. работа Доу и его помощников в основном была уже закончена; сам Доу написал около 150 портретов, а его помощники около 180.¹ Незадолго до смерти Александр I поручил зодчему Росси отделать особый зал, для того чтобы в нем поместить галерею 1812 г. В начале 1826 г. Росси представил Николаю I проекты. Они были утверждены, и в течение 1826 г. из нескольких комнат, находившихся между Белым и Георгиевским залами, был сделан продолговатый зал.

25 декабря 1826 г. военная галерея была освящена в присутствии царской семьи и всех генералов, офицеров и солдат, имевших медали 1812 года и за взятие Парижа. П. П. Свиньин описал галерею, какой она была при открытии:

„Она имеет 77 аршин в длину; плафон или круглый свод ее расписан приличным образом искусным в сем роде художником г. Скотием, а свет в нее падает сверху через три отверстия, и ударяя на пол — распространяет легкую приятную для глаз тень по стенам сей галереи. Вошедшему в нее через главную дверь от дворцовой церкви первым предметом представляется портрет во весь рост... Александра I. Впрочем портрет сей заменен будет другим, над коим трудится г. Дов, изображая незабвенного Агамемнона нашего верхом на лошади. Портрет сей в богатой золотой раме, осеняемый богатою драпировкою из малинового бархата, занимает все пространство поперечной стены; от него по обеим сторонам в пять рядов идут портреты генералов по старшинству, начиная с нижнего ряда. Портреты сии вставлены также в золотые рамы, отделяющаяся одна от другой небольшими промежутками, выкрашенные пунцовою краскою, под мат, и под каждым из них бронзовая доска с начертанием имени и чина, в каком кто находился в кампаниях 1812, 13, 14 годов.

„Галерея сия будет заключать около 350 портретов, в том числе во весь рост: высоких союзников, их величеств императора Австрийского Франца I и короля Прусского Фридерика Вильгельма III, для коих места оставлены по обеим сторонам императора Александра I, потом в средней части галереи по сторонам дверей в Георгиевскую и Белую залы, поставятся таковые же портреты его императорского высочества... Константина Павловича и фельдмаршалов князя Кутузова-Смоленского, Барклая де Толли и герцога Веллингтона. Между колоннами, коими галерея сия разделяется на три части, поставлены великолепные канделябры: но — сверх того, она будет освещается не менее богатыми люстрами. По сторонам трех дверей, в медальонах из лавровых венков, золотыми литерами начертаны двенадцать знаменнейших побед, одержанных российскими войсками в продолжение сей незабвенной кампании: Бородино, Тарутино,

¹ Государственный Эрмитаж готовит к печати каталог работ Доу и его мастерской. Портреты в галерее 1812 г. тщательно обследованы С. П. Яремичем и В. К. Макаровым. В результате этого обследования выделены портреты, писанные самим Доу. Выражаем благодарность В. К. Макарову за ряд ценных указаний.

Клястицы, Красное, Кульм, Лейпциг, Денневиц, Каубах, Бриен, Фер-Шампенуаз, Лаон и Париж, а над самыми дверями годы 1812, 1813 и 1814“.¹

Пушкин не был на „освящении“ военной галереи 25 декабря 1826 г. Он находился в Москве. Но Пушкин, конечно, слышал об этом событии и, по всей вероятности, читал приведенное выше описание, связанное с ним.²

4

Вызванный Николаем I из михайловской ссылки, Пушкин 8 сентября 1826 г. был привезен фельдшером в Москву, где не был пятнадцать лет. Теперь он видел вокруг себя заново отстроенную после пожара 1812 г. столицу, принарядившуюся к коронационным торжествам. Недавнее историческое прошлое — „гроза двенадцатого года“ — вспоминалось на каждом шагу:

Москва . . . Как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось! —

писал Пушкин в седьмой главе „Евгения Онегина“ вскоре после возвращения из ссылки.

В „Записке о народном воспитании“ Пушкин уже совершенно отчетливо указал на прямую связь между событиями 1812—1815 гг. и восстанием декабристов, упоминая „тайные общества, заговоры, замыслы более или менее кровавые и безумные“. Он писал: „Ясно, что походам 1813 и 1814 года, пребыванию наших войск во Франции и в Германии должно приписать сие влияние на дух и нравы того поколения, коего несчастные представители погибли в наших глазах“.

Несмотря на вынужденную фразеологию этого официального документа, историческая концепция „Записки о народном воспитании“ целиком предвосхищает концепцию дошедших до нас отрывков десятой главы „Онегина“ с ее „славной хроникой“ 1812 года с той только разницей, что строфы десятой главы, в отличие от благонамеренного тона „Записки“, написаны в стиле острого политического памфлета.³ Тема 1812 г., так же

¹ „Освящение военной галереи“ — „Отечественные Записки“, СПб., 1827, № 81, стр. 151—157. Позднейшие описания военной галереи см. А. И. Михайловский-Данилевский, „Император Александр I-й и его сподвижники в 1812, 1813, 1814, 1815 годах. Военная галерея Зимнего дворца“, СПб., 1845, издание В. Межевича и И. Песоцкого, т. I, Введение, а также в издании вел. кн. Николая Михайловича „Военная галерея 1812 года“, СПб., 1912.

² После пожара Зимнего дворца 17 декабря 1837 г. сильно пострадавшая военная галерея была восстановлена с довольно значительными изменениями. Зал был несколько удлинен, перенесены колонны, построены хоры. К счастью, портреты были спасены, только размещены они были в восстановленном зале несколько иначе. Описание, сделанное П. П. Свиныным, рисует общий вид галереи как раз в том виде, в каком она была при жизни Пушкина.

³ Этот памфлет направлен против официальной истории „Отечественной войны“, против правительства Александра I. Ср. С. Я. Гессен, „Источники десятой главы Евгения Онегина“ — „Декабристы и их время“, т. II, 1932, стр. 130—160.

как и тема декабристов, в это время ошутительно присутствовала в творческом сознании Пушкина.

Тотчас же после освобождения из михайловской ссылки Пушкин начал хлопотать о дозволении посетить Петербург, и 30 сентября ему было дано первое разрешение А. Х. Бенкендорфа. Но ряд обстоятельств задержал эту поездку; в Петербург Пушкину удалось попасть только в конце мая 1827 г. Следовательно, никак не ранее этого срока он мог впервые посетить вдохновившую его военную галерею работы Доу. К сожалению, у нас нет никаких данных о первом посещении Пушкиным Зимнего дворца и военной галереи. Известно только, что прибывший в Петербург в конце мая 1827 г. Пушкин пробыл здесь до июля того же года, когда отправился на лето в Михайловское. Затем он провел в Петербурге бурный год с конца октября 1827 г. по октябрь 1828 г.

Когда 9 мая 1828 г. Доу уезжал в Англию, на пароходе случайно оказался и Пушкин, провожавший до Кронштадта одного своего знакомого, уезжавшего за границу.¹ Мы не знаем, были ли Пушкин и Доу знакомы друг с другом раньше, но, пользуясь встречей на пароходе, Доу наскоро набросал карандашный портрет Пушкина.² Тут же Пушкин обратился к знаменитому портретисту с восьмистишием „To Dawe Esq-r“:

Зачем твой дивный карандаш
Рисует мой арапский профиль?
Хоть ты векам его предашь,
Его освищет Мефистофель.
Рисуй Олениной черты:
В жару сердечных вдохновений,
Лишь юности и красоты
Поклонником быть должен гений.³

Есть еще одно свидетельство Пушкина, удостоверяющее его знакомство если не с самим Доу, то с его работами. Это свидетельство находится в тексте путевых записок, которые Пушкин вел во время своей поездки в Арзрум: „Ермолов принял меня с обыкновенной своей любезностью, — писал Пушкин. — С первого взгляда я не нашел в нем ни малейшего сходства с его портретами, писанными обыкновенно профилем. Лицо круглое, огненные серые глаза, седые волосы дыбом. Голова тигра на геркулесовом торсе. Улыбка неприятная, потому что не естественна. Когда же он задумывается и хмурится, то он становится прекрасен и разительно напоминает поэтический портрет, писанный Довом“. Этот отрывок о посещении Пушкиным Ермолова в Орле помечен в рукописи: „15 мая. Георгиевск“. [1829]. Впоследствии Пушкин включил было описание встречи

¹ Имя его до сих пор не установлено. См. П. В. Анненков, „Материалы для биографии А. С. Пушкина“, изд. 2-е, стр. 193.

² Этот портрет до нас не дошел. Возможно, что он находится где-нибудь в Англии, среди альбомов Доу. Ср. А. Кроль, „Затерявшийся портрет А. С. Пушкина работы Д. Доу“, „Искусство“, 1937, № 2, стр. 163—169.

³ Перевод на английский язык находился в бумагах Пушкина (см. И. А. Шляпкин, „Из неизданных бумаг А. С. Пушкина“, СПб., 1903, стр. 341).

с Ермоловым в текст „Путешествия в Арзрум“, но по цензурным соображениям этот отрывок в „Современнике“ 1836 г. не мог быть напечатан.¹

Конечно, в словах Пушкина об Ермолове нет еще прямого указания на то, что поэт посещал военную галерею. Портрет Ермолова работы Доу Пушкин мог видеть и в копии, в гравюре или литографии, но вместе с тем нет ничего невероятного в предположении, что Пушкин еще в конце 20-х годов посетил Зимний дворец.

А. П. Ермолов был не только одним из героев „Отечественной войны“. Он был лично связан с Барклаем де Толли. В 1812 г. А. П. Ермолов был начальником штаба армии Барклая де Толли и, подобно Барклаю, особенно отличился в Бородинской битве, где вырвал из рук противника взятую уже им батарею ген. Н. Н. Раевского.²

Сдержанные, но категорические записки Ермолова убеждают в глубоким уважении, которое он питал к Барклаю, даже несмотря на некоторое охлаждение, наметившееся в отношениях между Барклаем и Ермоловым после Бородина.³ Мы не знаем, было ли упомянуто имя Барклая де Толли в беседе Пушкина с Ермоловым, но можно сказать с уверенностью, что Ермолов в своем недоброжелательном отзыве о немцах в русской армии не мог иметь в виду Барклая.⁴ Гораздо более вероятно, что он по контрасту выделил уже умершего полководца и, если и упомянул его, то только для противопоставления тем ничтожным генералам, которые окружали теперь торжествующего ермоловского соперника — Паскевича-Эриванского.

Не один только Ермолов предстал перед Пушкиным в эту поездку как живой свидетель войны 1812 г. По прибытии в действующую армию Пушкин встретился под Арзрумом со многими сосланными декабристами, старшее поколение которых — Бурцев, Семичев, Леман, Берстель и др. — так или иначе участвовало в „Отечественной войне“.⁵ С. Я. Гессен убедил

¹ Ср. транскрипцию черновика письма Пушкина к Ф. И. Толстому и комментарий об Ермолове в книге С. Бонди „Новые страницы Пушкина“, изд. „Мир“, М., 1931, стр. 137—144. О Пушкине и Ермолове см. в „Письмах“, т. I, 1926, стр. 210; т. II, стр. 342—343, и т. III, стр. 574—575, а также в „Дневнике“ Пушкина под ред. Б. А. Модзалевского, П., 1923, стр. 83—84 (ср. московское издание 1923 г., стр. 458—460). Перечень портретов Ермолова в работе А. С. Ермолова „Библиографический указатель сочинений, журнальных статей и заметок об А. П. Ермолове“ в „Русском Библиофиле“, 1911, № 4, приложение 1, стр. 1—35.

² См. рассказ об этом самого Ермолова в его „Записках“, М., 1865, ч. 1, стр. 197 и сл.

³ См., например, отзывы Ермолова о Барклае в тексте его „Записок“ (изд. 1865 г., ч. 1), на стр. 188—189 и 223; ср. также „Записки Ермолова“ в „Русской Старине“, 1912, кн. 7, приложение, стр. 29—32.

⁴ См. у Пушкина: „Немцам досталось. Лет через 50, сказал он, подумают, что в нынешнем походе была вспомогательная прусская или австрийская армия, предводительствованная такими-то немецкими генералами“.

⁵ См. Е. Вейденбаум, „Декабристы на Кавказе“ — „Русская Старина“, 1903, кн. 6, стр. 481—502, и его же статью „О пребывании Пушкина на Кавказе в 1829 году“ в сбор-

тельно показал, что именно в это время Пушкин собирал из устных источников недостающие ему материалы для десятой главы „Евгения Онегина“, где событиям 1812 г. уделено такое большое внимание.

Пушкин поселился в палатке давнего своего друга Николая Николаевича Раевского-младшего, которому привез письмо от его отца, известного героя 1812 г.¹

Восемь лет тому назад в посвящении „Кавказского Пленника“ Пушкин обращался к младшему Раевскому. В этом посвящении шла речь о деле 11 июля 1812 г. при Салтановке (или Дашковке), где Н. Н. Раевский-отец, по преданию, во время решительной атаки на французские батареи, взял за руку младшего Николая, которому тогда еще не исполнилось 11 лет, дал шестнадцатилетнему Александру полковое знамя и повел их в бой.² Теперь Н. Н. Раевский-сын был уже в чине генерал-майора и командовал Нижегородским драгунским полком, находясь под непосредственным начальством Паскевича-Эриванского, служившего некогда в „Отечественную войну“ под началом Н. Н. Раевского-старшего. В лагерной и походной жизни под Арзрумом, когда вопросы тактики и стратегии бывали существенным предметом бесед, по всей вероятности не раз вспоминались уроки войны 1812 г., и могло называться имя Барклая.

Пушкин был уже на обратном пути в Петербург, когда он узнал, что 16 сентября 1829 г. умер старик Раевский, которому Пушкин так многим был обязан. Когда в конце года вышла „Некрология генерала от кавалерии Н. Н. Раевского“, Пушкин сочувственно отозвался на ее появление в „Литературной Газете“, но тут же „с удивлением заметил... непонятное упущение“: автор некролога „не упомянул о двух отроках, приведенных отцом на поля сражений в кровавом 1812 году!.. Отечество того не забыло“...

Так снова и снова возвращался Пушкин к теме 1812 г. К этой же теме приводила его десятая глава „Евгения Онегина“, осуществленная и сожженная осенью 1830 г.

Вяземский 19 декабря 1830 г. записал в своем дневнике: „Третьяго дня был у нас Пушкин. Он много написал в деревне: привел в порядок и 9 главу Онегина. Ею и кончает; из 10-й предполагаемой читал мне строфы о 1812 годе и следующих. Славная хроника“... Следовательно,

нике „Кавказская поминка о Пушкине“, Тифлис, 1899, стр. 101—127, а также статью „Кавказские знакомцы Пушкина“ — „Пушкин и его современники“, вып. VIII, 1908, стр. 1—14.

¹ Письмо от 3 апреля 1829 г. См. „Архив Раевских“ под ред. Б. Л. Модзалевского, т. I, 1908, стр. 441—442 и 468.

² Об этом подвиге Н. Н. Раевского, воспетом Жуковским и изображенном на гравюрах, лубочных картинках и даже на табакерках, в письмах и воспоминаниях современников сохранилось множество свидетельств. Свод этих данных см. в издании „Архив Раевских“, т. I, 1908 г., стр. 159—165.

что-то в памяти поэта или в каких-то списках уцелело.¹ В самом начале дошедших до нас строф упоминается имя Барклая:

⟨III⟩

Гроза двенадцатого года
Настала — кто тут нам помог?
Остервенение народа,
Барклай, зима иль русский бог?

Если в конце 1825 г. Пушкин сочувственно отзывался о враждебном отношении вел. кн. Константина Павловича к „немцу Барклаю“, то осенью 1830 г. Пушкин уже поставил имя этого полководца в одном ряду с „остервенением народа“ и зимой 1812 г. Известно — какую решающую роль в победном исходе войны сыграло народное партизанское движение. Это была совершенно реальная сила. Ни для кого также не подлежало сомнению, что суровая зима много способствовала гибели французской армии. Таким образом, несмотря на иронический тон начала 10-й главы, Пушкин упомянул имя Барклая среди реальных спасителей России. Можно предполагать, что после встречи с Ермоловым, поездки в Арзрум, разговоров с сосланными декабристами в отношении Пушкина к Барклаю наметился перелом.

Точка зрения на Барклая де Толли как на полководца, заслуживающего уважения и внимания историка, объясняется и тем общим пересмотром исторических позиций, который характерен для начала 30-х годов в жизни и творчестве Пушкина. От внешних и показных сторон истории, равно как и от официальной романтики Карамзина, Пушкин шел к своеобразному историческому реализму, проникая в самую суть вещей. Отсюда был прямой путь, приведший поэта в 1835 г. к апологии Барклая де Толли в стихотворении „Полководец“.²

5

В первых числах декабря 1830 г. Пушкин возвратился из Болдина, где надолго задержался из-за холерной эпидемии, в Москву. Здесь уже знали о польском восстании 17, 18, 19 ноября. Почти целый год, вплоть до самого получения в Петербурге 4 сентября 1831 г. известия о сдаче Варшавы, Пушкин находился в смятенном состоянии, опасаясь новой

¹ Кроме указанной выше работы С. Я. Гессена, см. исследование Б. В. Томашевского „Десятая глава «Евгения Онегина»“ — „Литературное Наследство“, кн. 16—18, 1934, стр. 379—420.

² В становлении этой темы некоторую роль также сыграл роман М. Н. Загоскина „Рославлев“, вышедший в свет в начале июня 1831 г. и дошедший до Пушкина через О. М. Сомова около 20 июня. Пушкин не отзывался на роман Загоскина журнальной статьей, но под свежим впечатлением от этой книги начал писать свой ответ Загоскину в повествовательной форме (о „Рославлеве“), дав в нем, как и в написанной за год до него „Метели“, картину быта и настроений русского дворянского общества в 1812—1814 гг. Ср. о „Рославлеве“ Загоскина и Пушкина комментарий Н. В. Измайлова в книге „Письма Пушкина к Е. М. Хитрово“, Л., 1927, стр. 104—112.

войны и катастрофических последствий этих событий для России. Именно к этому времени, надо думать, относится приводимый П. И. Бартеневым рассказ гр. Е. Е. Комаровского, который, встретив Пушкина на прогулке, задумчивого и тревожного, спросил: „Отчего невеселы, Александр Сергеевич?“ — Да всё газеты читаю. — „Что ж такое?“ — Разве Вы не понимаете, что теперь время чуть ли не столь же грозное, как в 1812 году.¹

И так же, как в 1812 г., перед русской армией остро стал вопрос о полководце. Придворные круги и русское дворянство были явно недовольны нерешительным Дибичем, затянувшим кампанию. Уже распространились слухи о предстоящей смене главнокомандующего, но 29 мая Дибич умер от холеры, и на его место был назначен фельдмаршал гр. И. Ф. Паскевич-Эриванский, цену которому Пушкин превосходно знал по недавнему Арзрумскому походу. Пушкин не мог разделять надежд, которые в связи с назначением Паскевича возлагало русское общество на нового главнокомандующего. Он понимал, что в русской армии настоящего полководца, таких масштабов, как Барклай или Кутузов, нет.

Эти настроения сказались в стихотворении „К тени полководца“ („Перед гробницею святой стою с поникшею главой“). Это могло быть в мае или начале июня 1831 г., когда Пушкин приехал из Москвы в Петербург с молодой женой.

Незадолго до того в „Литературной Газете“ от 11 мая было напечатано стихотворение Трилунного (Д. Ю. Струйского) „Гробница Кутузова“. Типичная ода Трилунного начиналась так:

Великолепен руской храм,
Где по сияющим столбам
Висят отбитые знамена,
И на орлах Наполеона
Видна заржавленная кровь...
(Сильна к отечеству любовь!).
Я подхожу к ограде мирной,
Где спит великий человек... и т. д.

Есть в этой оде и такое четверостишие:

Я испытал восторгов пламень,
Молчаньем гроба поражен;
Едва взглянул на грустный камень
И был святыней утрашен...

В стихотворении Трилунного-Струйского нет ничего, относящегося к современности, — ни намеков, ни сопоставлений: совершенно отвлеченное славословие переходит в конце в оправдание певца и уверение, что хвала его искренна и чужда лицемерия и лести.²

¹ „Русский Архив“, 1879, кн. 1, стр. 385; ср. в сборнике П. И. Бартенева „Деятельный век“, кн. 1, стр. 386.

² Об этом подробнее в вышеназванном комментарии Н. В. Измайлова, стр. 124—125.

Эти слабые стихи очень понравились дочери Кутузова — Е. М. Хитрово, свято чтившей память своего отца, и она обратилась к Пушкину с просьбой перевести их на французский язык. В ответ на это Пушкин писал ей 19 или 20 июня 1831 г. из Царского Села: „J'ai rempli votre commission — с. à. d. que je ne l'ai pas remplie — car quelle idée avez vous eue de me faire traduire des vers russes en prose française, moi qui ne connaît même pas l'orthographe? D'ailleurs les vers sont médiocres — J'en ai fait sur le même sujet d'autres qui ne valent pas mieux et que je vous enverrai dès que j'en trouverai l'occasion“.¹ Заключительные стихи этого стихотворения были настолько пессимистичны, что Пушкин не решился их сразу напечатать и даже не показывал близким друзьям. Е. М. Хитрово получила список стихотворения в письме Пушкина, писанном из Царского же Села уже после 10 сентября 1831 г. с характерной припиской: „Ces vers ont été écrits dans un moment où il était permis d'être découragé — Grâce à Dieu, ce moment n'est plus — Nous avons repris l'attitude que nous n'aurions pas du perdre. Ce n'est plus celle que nous avait donnée le bras du prince votre père, mais elle est encore assez belle“.²

Пушкин решился послать свои стихи к Хитрово только тогда, когда уже была взята Варшава. Штурм совпал с Бородинской годовщиной 25, 26 и 27 августа. Это отметил Пушкин в стихотворении „Бородинская годовщина“, которое тогда же было издано в особой брошюре, озаглавленной „На взятие Варшавы“, вместе с нашумевшей инвективой Пушкина „Клеветникам России“ и стихотворением Жуковского „Русская слава“.

Таким образом тревожные 1830—1831 годы снова всколыхнули воспоминания о „грозе двенадцатого года“ и выдвинули в сознании Пушкина проблему „полководца“. Неудачи Дибича, мучительное ожидание известий от Паскевича о затянувшемся штурме Варшавы напомнили Пушкину такие же трудные дни, когда русское общество обратилось с последними надеждами к спасителю-Кутузову. И сожалея о том, что Кутузов оставил полки и что тих „могилы бранной невозмутимый, вечный сон“, Пушкин признал заслуги Кутузова, но вместе с тем не противопоставил его Барклаю. На смену общераспространенной альтернативы „Барклай или Кутузов“, с традиционным разрешением ее в пользу Кутузова, Пушкин пришел к новому положению: и Барклай и Кутузов — оба достойны благо-

¹ „Я исполнил ваше поручение, т. е. я не исполнил его, так как что за мысль пришла вам — заставить меня переводить русские стихи французской прозой, меня, который не знает даже правописания? Кроме того, стихи посредственны. Я написал на ту же тему другие, стоящие немногим больше, и которые я вам пришлю при первой возможности“ („Письма Пушкина к Е. М. Хитрово“, стр. 25 и 119).

² „Эти стихи были написаны в такой момент, когда можно было утратить бодрость. Слава богу, этот момент миновал. Мы снова вернули себе то положение, которое не должны были терять. Конечно, оно уже не то, каким мы были обязаны князю, вашему отцу, но все же достаточно хорошо“ („Письма Пушкина к Е. М. Хитрово“, стр. 27 и 126).

дарной памяти потомков, но Кутузова чтут все, а Барклай незаслуженно забыт. Так все отчетливее обозначается путь к апологии „Полководца“.

Пушкин не был одинок в своем новом, положительном отношении к Барклаю. Наиболее пронизательные современники уже пересматривали вопрос об исторической репутации Барклая, и общественное мнение начинало ощутительно меняться. Об этом совершенно определенно свидетельствует Н. И. Тургенев, который писал: „Общество, которое даже в России не бывает долго несправедливым, современем отказалось от своего предубеждения против Барклая де Толли; военные сумеют оценить заслуги его, как генерала, а люди беспристрастные отдадут дань уважения его неподкупности и прямоте его характера“.¹

В № 9 „Московского Телеграфа“ за 1833 г. была напечатана статья „Взгляд на историю Наполеона“. Здесь едва ли не впервые в русской печати было заявлено о великой заслуге Барклая, который „умел спасти армию и затруднил, изумил Наполеона своею системою медления вследствие глубокого расчета“ и был „хранителем России; к сожалению, обстоятельства не позволили ему самому довершить своего великого подвига, который оттого и оценивается многими не так, как бы надлежало, но история будет справедливее современников: она отдаст каждому законный участок славы“.² Как уже отмечал Н. О. Лернер, эта статья была, вероятно, известна Пушкину, а если так, то она еще раз со всей решительностью поставила перед ним вопрос о переоценке Барклая. „Замечательно, — добавляет Лернер, — что статья навлекла на журнал неприятности: по жалобе Уварова на эти «оскорбительные толки и иронические намеки» Николай I приказал пригрозить Н. А. Полевому закрытием журнала“.³

Больше того, мы достоверно знаем, что за год с небольшим до написания „Полководца“ Пушкин опять настойчиво возвращался к теме 1812 г. П. Х. Граббе в январе 1834 г. встретился с Пушкиным в Демутовом трактире у Н. Н. Раевского. „Мы обедали и провели несколько часов втроем, — пишет Граббе. — 12-ый год был главным предметом разговора“.⁴ П. Х. Граббе в молодости был первым адъютантом А. П. Ермолова, с которым вместе принимал участие в кампаниях 1812—1815 гг. Граббе не только

¹ „Записки изгнанника“, СПб., 1907, стр. 9; ср. еще мнение Д. В. Давыдова — „Сочинения Пушкина“ в изд. Л. Поливанова, М., 1905, т. I, стр. 385, и изд. „Просвещения“, т. II, стр. 551—552, а также запись Ф. Тимирязева — „Русский Архив“, 1884, кн. 1, стр. 167.

Показательно также, что 20 апреля 1830 г. против Казанского собора были уже выставлены деревянные раскрашенные модели памятников Кутузову и Барклаю (см. „Северная Пчела“, 1830, № 49). Открытие самих памятников состоялось уже после смерти Пушкина в декабре 1837 г.

² Ср. „Сочинения Пушкина“, под ред. С. А. Венгерова, изд. Брокгауз-Ефрон, т. VI, П., 1915, стр. 475.

³ Там же.

⁴ „Русский Архив“, 1873, кн. 1, стр. 785.

хорошо знал Барклая, но и хорошо к нему относился. Трудно представить себе и этот разговор у Раевского без упоминания имени Барклая.¹

6

„Полководец“ написан под непосредственным впечатлением посещения военной галереи Зимнего дворца. Как упоминалось выше, Пушкин мог бывать в ней еще в конце 20-х годов. Однако более вероятно отнести посещения военной галереи к 1834—1835 гг., после того как Пушкин получил 30 декабря 1833 г. звание камер-юнкера, открывавшее ему доступ во дворец.

Вдохновивший Пушкина портрет Барклая де Толли был написан Доу в его последний приезд в Россию в 1829 г.² На полотне отчетливо видна характерная для Доу подпись: „Geo Dawe R. A. pinxit 1829“ (Георг Доу, королевской Академии, писал 1829). Это одна из последних и одна из лучших работ замечательного портретиста.

Барклая де Толли давно уже не было в живых. Он умер 14 мая 1818 г. Поэтому Доу вынужден был воспользоваться в своей работе гравюрой с портрета работы дерптского художника Зенфа (Senff) — бездушного, но очень точного мастера.³

Пушкин шел к созданию стихотворения „Полководец“ сложными путями. На протяжении многих лет создавалась историческая концепция образа Барклая де Толли — неоцененного современниками спасителя отечества и прозорливого полководца. Но осуществлено, написано стихотворение в один день — 7 апреля 1835 г. Это было „светлое воскресенье“ (помета под стихотворением), когда Пушкин, конечно, должен был являться в церковь Зимнего дворца, а может быть, и на прием к Николаю I. Военная галерея находилась тогда рядом с дворцовой церковью. В ожидании службы или приема в Георгиевском тронном зале Пушкин находился среди других посетителей дворца именно в военной галерее.

¹ П. Х. Граббе в тех же записках отмечает: „Пробуждением Пушкина были в нынешнем году стихи *Полководец*, в которых он отыскался весь, со всем своим высоким дарованием. Стихи превосходные несмотря на несправедливую строку:

Всё в жертву ты принес земле тебе *чужой*

несправедливую против Барклая де Толли и всех его соотечичей, купивших усердием и кровью в продолжение слишком столетия полное право называться русскими“ (стр. 787). В данном случае Граббе не совсем прав. Вслед за Н. О. Лернером мы полагаем, что, называя Россию „чужой землей“ для Барклая, Пушкин тем самым еще более возвысил его в глазах русского читателя (ср. „Сочинения Пушкина“, под ред. С. А. Венгерова, т. VI, 1915, стр. 476).

² См. воспроизведение его в „Сочинениях Пушкина“, под ред. С. А. Венгерова“, т. IV, между 24—25 стр., а также в юбилейном издании Экспедиции заготовления государственных бумаг: „Военная галерея 1812 года“, СПб., 1912, л. III; здесь же на лл. V и VI изображен общий вид зала с портретами, с двух сторон.

³ Гравированные портреты Барклая де Толли перечислены в „Словаре русских гравированных портретов“ Д. Ровинского, СПб., 1872, стр. 19—20.

И в предыдущие посещения эта галерея должна была производить на Пушкина сильное впечатление. Многие герои знакомы были ему в жизни и оказывали значительное влияние на его судьбу; тут были портреты таких друзей поэта, как Раевский-старший, И. Н. Инзов, Д. В. Давыдов или почитаемый Пушкиным А. П. Ермолов; тут были представлены гонители и враги Пушкина: А. Х. Бенкендорф и М. С. Воронцов; здесь были люди, с которыми Пушкина связывали самые различные и часто довольно сложные отношения: А. А. Закревский, Е. Ф. Керн, К. Ф. Ламберт, А. Ф. Ланжерон, В. В. Левашев, И. Ф. Паскевич-Эриванский и многие другие. Сам Пушкин признавался:

Нередко медленно меж ними я брожу
И на знакомые их образы гляжу...

Весной 1835 г. больше других портретов внимание Пушкина приковал портрет Барклая:

но в сей толпе суровой
Один меня влечет всех больше. С думой новой
Стою

писал Пушкина в одной из промежуточных, почти окончательных редакций. Что же так привлекало Пушкина? Не художественные достоинства этого, впрочем, превосходного портрета захватили Пушкина, но самая судьба Барклая, его трагический образ. В 1835 г. положение Пушкина было тягостно. Еще летом 1834 г. он признавался в письме к Жуковскому: „Домашние обстоятельства мои затруднительны, положение мое невесело, перемена жизни почти необходима“. К весне 1835 г. положение Пушкина еще более осложнилось. В судьбе Барклая могло Пушкину почудиться что-то сходное с его собственной судьбой. Заключительные слова „Полководца“ в 1835 г. были для Пушкина полны глубоко личного смысла.

Как некогда к Овидию, Пушкин мог бы воскликнуть, обращаясь к Барклаю:

Как ты, враждующей покорствуя судьбе,
Не славой, участью я равен был тебе.

7

До нас дошли две рукописи „Полководца“ черновая и перебеленная; это, по видимому, все рукописи, отражающие процесс его создания. Черновая рукопись находится в тетради № 2374 Гос. Публичной Библиотеки СССР им. В. И. Ленина, на лл. 282 об.—252 об., и в начале имеет заглавие „Барклай де Толли“, а в конце дату „7 апреля <переделано из „в апреле“> 1835 *Светл. воскр.*“ В. Е. Якушкин в описании этой тетради¹ в свое время дал лишь краткое описание автографа, не приведя никаких вариантов сравнительно с печатным текстом „Современника“.

В настоящее время полный текст черновой рукописи в транскрипции С. М. Бонди и Т. Г. Зенгер печатается в факсимильном издании этой

¹ „Русская Старина“, 1884, кн. 9, стр. 645.

тетради, осуществляемом Пушкинской комиссией Академии Наук СССР. Поэтому мы не будем касаться этой рукописи, — ее обследование не входит в нашу задачу.

В другой тетради (№ 2382, л. 107 об.) записаны два стиха конца стихотворения „О, люди жалкий род...“¹ а в третьей — записано потом зачеркнутое имя „Барклай де Толли“.² На рукописи Пушкина из собрания А. Ф. Онегина, хранящейся в Пушкинском Доме Академии Наук СССР, — „Примечание о памятнике князю Пожарскому и Гр. Минину“, 1836 г. — в конце имеется также памятная запись: „Полководец. У русского ц[аря]“.³

Кроме того, существует вторая полная рукопись „Полководца“, являющаяся переделкой первой рукописи. Она хранится в Пушкинском Доме Академии Наук (ИЛИ). Эта рукопись озаглавлена поэтом: „Полководец“ и имеет помету: „7 апр. 1835 Св. воскр. С. П. Б. мятье и мороз“; рукопись входила в собрание Константина Романова („К. Р.“) и еще ни разу не была опубликована. Этот автограф некогда находился в распоряжении П. В. Анненкова, который в своем издании сочинений Пушкина⁴ впервые использовал его в примечании, указав на дату и приведя один вариант:

Полуножных орлов могущая станица!

Уж многих нет из них. Другие, коих лица

выброшенный поэтом и замененный затем стихами:

И мнится, слышу их воинственные клики

Из них уж многих нет. Другие, коих лики

После Анненкова автограф этот не был доступен для изучения; затем он перешел к академику Л. Н. Майкову, а им был подарен президенту Академии Наук вел. кн. К. К. Романову („К. Р.“)⁵ и только с 1924 г. стал доступен исследователям. Следующие после П. В. Анненкова издатели и редакторы сочинений Пушкина или повторяли его примечание и варианты или (как П. А. Ефремов) извлекали некоторые варианты из тетради № 2374; см. издания 1882 г., т. III, стр. 467—468; 1887 г., т. II, стр. 176, и 1903 г. (А. С. Суворина), т. II, стр. 360; 1905 г. (Льва Поливанова), т. I, стр. 388. И. А. Шляпкин напечатал сделанную им по тетради П. В. Анненкова копию с отрывка из пропавшего тогда автографа „Полководца“ — выпущенные поэтом 4 стиха после слова „Вотще“

Преемник твой стяжал успех сокрытый...⁶

¹ „Русская Старина“, 1884, кн. 11, стр. 371.

² „Русская Старина“, 1884, кн. 10, стр. 86.

³ „Пушкин и его современники“, вып. XII, стр. 11, и „Неизданный Пушкин. Собрание А. Ф. Онегина“, П., 1922, стр. 212.

⁴ Т. III, стр. 60—61.

⁵ „Известия Академии Наук“, 1917, № 12, стр. 765; ср. „Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском Доме“, Изд. Академии Наук СССР, Л., 1937, стр. 82—83, № 205, а также № 344.

⁶ И. А. Шляпкин. „Из неизданных бумаг А. С. Пушкина“, СПб., 1903, стр. 74.

Этот новый тогда отрывок из „Полководца“ включил в примечания к изданию „Просвещения“ П. О. Морозов,¹ после него П. А. Ефремов (в издании А. С. Суворина),² а затем Н. О. Лернер (в изд. С. А. Венгерова),³ впервые указав на существование двух разных автографов „Полководца“.⁴

Автограф из собрания Пушкинского Дома писан на сложенном вдвое полулисте почтовой бумаги с водяным знаком: „А. Г. 1834“ и жандармской пометой: „84“ на сгибе листков. Набросав черновик стихотворения в тетради, Пушкин сейчас же начал перебеливать его на указанных листках, внося в процессе переписки новые поправки и изменения. Перебеливая на несвязанные с тетрадью листки, Пушкин имел черновик стихотворения у себя перед глазами — обычный прием его работы. В этом втором автографе текст „Полководца“ носит почти законченный характер. Перенесенные в него из черного автографа некоторые слова и целые стихи подвергаются изменениям, окончательно зачеркиваются (напр. „алмазный Скифтр“ и др.), а наименее обработанные части текста перерабатываются вновь.

Даем окончательную сводку второго автографа, указывая под строкою все первоначальные варианты.

Полководецъ

- 1 У русскаго царя въ чертогахъ есть палата:
Она не золотомъ, не бархатомъ богата;
Не в ней алмазъ⁵ вънца⁵ хранится за стекломъ
Но сверху до низу, во всю длину, кругомъ
- 5 Своею кистию свободной и широкой
Ее разрисоваль художникъ быстро-окой⁶
Тутъ нѣтъ ни сельскихъ Нимфъ, ни дѣвственныхъ Мадонъ,
Ни фавновъ съ чашами, ни полногрудыхъ⁷ женъ,
Ни плясокъ, ни богинь;⁸ а все плащи да шпаги
- 10 Да лица полныя воинственной отваги.
Толпою тѣсною художникъ помѣстилъ
Сюда начальниковъ народныхъ нашихъ силъ,
Покрытыхъ славою чудеснаго похода

¹ Т. II, СПб., 1903, стр. 551.

² Т. VIII, СПб., 1905, стр. 358.

³ Т. VI, стр. 475.

⁴ Последнее было неясно еще П. А. Ефремову (см. изд. Суворина, т. VIII, СПб., 1905, стр. 358).

⁵ Не въ ней алмазный Скифтръ

⁶ Этот и предыдущий стихи сперва были написаны в обратной последовательности.

⁷ Флорентинскихъ

⁸ Первые полустихия стихов 8 и 9 сперва были написаны в обратной последовательности.

И вѣчной памятью двенадцатаго года:
 15 Нерѣдко медленно¹ межъ ими я брожу
 И на знакомыя ихъ образы гляжу:
 И мнится, слышу ихъ воинственные² клики
 Изъ нихъ ужъ многихъ нѣтъ. Другія коихъ лики³
 Еще такъ молоды⁴ на яркомъ полотнѣ,
 20 Давно⁵ состарѣлись и никнутъ въ тишинѣ
 Главою лавровой...
 Но въ сей толпѣ суровой
 Одинъ меня влечетъ всѣхъ больше. Съ думой новой⁶
 Всегда остановлюсь⁷ предъ нимъ — и не свожу
 25 Съ него моихъ очей; чѣмъ долѣе⁸ гляжу
 Тѣмъ болѣе грущу душою присмирѣлой —
 Онъ писанъ во весь ростъ. Чело какъ черепъ бѣлой
 Высоко лоснится⁹ и видно,¹⁰ залегла
 Тамъ грусть великая.¹¹ Кругомъ — густая мгла —
 30 За нимъ, военный станъ. Молчить старикъ угрюмой¹²
 И¹³ кажется глядитъ съ презрительною думой.
 Свою ли точно мысль художникъ извѣкъ снилъ¹⁴
 Когда онъ таковымъ его изобразилъ,
 Или невольное то было вдохновенье? —
 35 Но Доу¹⁵ далъ ему такое выраженье.¹⁶
 35 О вождь¹⁷ несчастливый!.. Суровъ¹⁸ былъ жребій твой.
 Все в жертву¹⁹ ты принесть землѣ тебѣ чужой;²⁰

1 И часто въ тишинѣ

2 а. Как в тексте. б. Стремительныя

3 Последние два стиха в первоначальной редакции читаются так:

а. Могушіе орлы! Кровавая станица!..

б. Полунощныхъ орловъ могущая станица!..

Ужъ многихъ нѣтъ изъ нихъ. Другія коихъ лица

4 Еще все молоды

5 Теперь

6 а. Съ мыслью новой б. Съ грустью новой

7 Всегда стою

8 чѣмъ болѣе

9 а. Как в тексте. б. Высоко и свѣтло

10 въ немъ видно

11 а. Въ немъ мысль тяжелая б. Въ немъ дума тяжкая в. Въ немъ цѣлю судьба г. В немъ что.

12 а. Спокойный и угрюмой б. Стоит старикъ угрюмой в. Спокойный и угрюмой

13 а. Онъ б. И

14 Слово недописано. а. На(писалъ?) б. обнажилъ

15 а. Доу б. Дау

16 далъ ему и горестъ и презрѣнье.

17 а. Несчастный вождь б. О стойкъ в(еличавый?)

18 Перед этим словом начато: Увы!

19 Начато: а. Спасая б. Ведя

20 Народъ тебѣ чужой;

~~Мне неведомо~~
~~Умом~~

~~Мне неведомо, как выжить в этот час~~

Мне неведомо, зачем выжить и остаться
Своими кривыми предками над
Теснотой, которую ^{таинственно} ставили в работе
Враг ^{свободы} не в работе, а в жизни —

Мне неведомо, как выжить в этот час
Или выжить над собой, ^{попытки}
Вне грады, вавилон, ^{и вавилон} ~~и вавилон~~ ^{и вавилон}
~~и вавилон~~ ^{и вавилон} ~~и вавилон~~ ^{и вавилон}
Мне неведомо, как выжить в этот час
Или выжить над собой, ^{попытки}
Или выжить над собой, ^{попытки}

Ты же, друг мой, выживай и выживай в этот час
И выживай, и выживай над собой, ^{попытки}
Или выживай над собой, ^{попытки}
Ты же, друг мой, выживай и выживай в этот час

Или выживай над собой, ^{попытки}
Ты же, друг мой, выживай и выживай в этот час

Или выживай над собой, ^{попытки}
Ты же, друг мой, выживай и выживай в этот час

Или выживай над собой, ^{попытки}
Ты же, друг мой, выживай и выживай в этот час

Часть автографа стихотворения „Полководец“.
Пушкинский Дом Академии Наук СССР, № 205, л. 2 об.

Непроницаемый для взгляда черни дикой
 Въ молчаньи шель одинъ ты съ мыслию великой¹
~~и~~ И въ имени твоёмъ звукъ чуждой не взлюбя²
 40 Своими криками преслѣдуя тебя³
 Народъ таинственно спасаемый тобою,⁴
 Ругался⁵ надъ твоей священной головою —
 И тотъ чей острый умъ тебя и постигаль
~~и~~ Въ угоду имъ тебя лукаво порицаль⁶
 45 И долго укрѣплень [могущимъ] убѣжденьемъ⁷
 Ты былъ неколебимъ подъ⁸ общимъ заблужденьемъ⁹
 Но на полу-пути другому наконецъ
 Былъ долженъ уступить и лавровый вѣнецъ
~~и~~ И власть, и замысль обдуманнѣе глубоко,
 50 И въ полковыхъ рядахъ укрыться одиноко
 Тамъ, устарѣлый вождь! какъ ратникъ молодой
 Свинца веселый свистъ услышавшій¹⁰ стрѣлой
 Бросался ты впередъ ища желанной смерти¹¹
 Вотще! Преемникъ твой стяжалъ успѣхъ сокрытый
 Въ главѣ твоей.¹² — А ты непризнанный, забытый
 Виновникъ торжества почилъ — и въ смертный часъ¹³
 Съ презрѣньемъ, можетъ быть, воспоминалъ о насъ.
 О люди! Жалкій родъ достойный слезъ и смѣха
~~и~~ Жрецы минутнаго, поклонники Успѣха!
 60 Какъ часто мимо васъ проходитъ человекъ
 Надъ кѣмъ ругается¹⁴ слѣпой и буйный вѣкъ

¹ Стих начат иначе: а. Ты мысль великую носилъ въ душѣ б. Ты съ мыслию въ душѣ.

² Перед этим стихом зачеркнут стих: а. И лаяли новѣзды на тебя б. Сталъ в. Ты спасъ и

³ Стих написан позднее.

⁴ Безсмысленный народъ спасаемый тобою

⁵ а. Какъ в тексте. б. Смѣялся

⁶ а. Въ угоду зависти твой геній проклиналъ б. Въ угоду глупости твой геній проклиналъ

⁷ а. Но крѣпкій внутреннимъ могущимъ убѣжденьемъ б. И долго укрѣплень и силенъ убѣжденьемъ в. Въ искусство вѣруя и силенъ убѣжденьемъ г. Но вѣруя въ себя и силенъ убѣжденьемъ д. И вѣруя въ себя и силенъ убѣжденьемъ

⁸ а. подъ б. предъ злобой

⁹ поношеньемъ,

¹⁰ заслышавшій

¹¹ Вместо стихов 53—54 было: Искаль ты умереть средь сѣчи боевой.

¹² Во мглѣ судебъ

¹³ Почилъ — и можетъ въ смертный часъ

¹⁴ Въ кого не вѣруеть

Но чей высокій ликъ въ грядущемъ поколѣньѣ
Поэта приведетъ въ святое умиленье.

7 апр. 1835

Св. воскр.

С. П. Б.

Мягель и морозъ.

8

Почти окончательно отделанный текст „Полководца“, приведенный нами выше по последнему автографу поэта, напечатан был Пушкиным в следующем же году в „Современнике“.¹ Однако в печатный текст было внесено несколько существенных поправок; кроме того, стихотворение появилось без подписи Пушкина. Прежде всего отметим (подчеркивая курсивом) изменения, внесенные в печатный текст, которые вызваны были несомненно художественными соображениями.

- Стих 9-й: Ни плясок, ни охот: а все плащи да шпаги
 „ 25-й: Тем более *томимъ я грустию тяжелой*
 „ 27-й: Он писан во весь рост. Чело, как череп *голой*.
 „ 28-й: Высоко лоснится и, *мнится*, залегла
 „ 30-й: За ним — военный стан. *Спокойный*² и угрюмый
 „ 30-й: Он³ кажется глядит с презрительною думой
 „ 31-й: Свою ли точно мысль художник *обнажил*
 „ 43-й: Ругался над твоей священной *сединою*.
 „ 50-й: И в полковых рядах *сокрыться* одиноко.
 „ 52-й: Свинца веселый свист *заслышавший*⁴ *впервой*
 „ 53-й: Бросался ты в *огонь*, ища желанной смерти.
 „ 63-й: Поэта приведет в *восторг* и в умиленье.

Совсем иные соображения заставили Пушкина изменить стихи 48 и 49. В печатной редакции они читаются так:

*И на полу-пути был должен наконец
Безмолвно уступить и лавровый венец...*

Эти же соображения заставили Пушкина выбросить в печати и целое четверостишие (стихи ~~54~~—55):

Преемник твой стяжал успех сокрытый
В главе твоей. — А ты непризнанный, забытый
Винovníк торжества почил — и в смертный час
С презреньем, может быть, воспоминал о нас.

Отбрасывая эти стихи, Пушкин переработал предыдущие. Вместо заключительного стиха ~~54~~

¹ 1836 г., т. III, стр. 192—194.

² Здесь — возвращение к первоначальному варианту.

³ Здесь — возвращение к предыдущему варианту.

⁴ Здесь — возвращение к предыдущему варианту.

Искал ты умереть средь сечи боевой,
который рифмовал с предыдущим:

Там, устарелый вождь! как ратник молодой,

Пушкин вписал новых два стиха (52 и 53):

Свинца веселый свист услышавший стрелой

Бросался ты вперед, ища желанной смерти,

вошедших в несколько измененном виде в печатный текст.

Таким образом первый из них (52-й) стал рифмовать с предыдущим (51-м), а второй стих (53-й) оказался не рифмующим ни с предыдущим, ни с последующим, которого вовсе не оказалось в печатной редакции, так как вместо выкинутого четверостишия Пушкин вставил два ряда точек.

Эти изменения Пушкин внес в окончательный печатный текст, желая избежать какого-либо упоминания или намека на преемника Барклая де Толли — М. И. Голенищева-Кутузова. Будучи близко знаком с его дочерью, Е. М. Хитрово, читавшей память отца, Пушкин не мог печатать приведенные выше строки стихотворения. Действительно, стихи, в которых прямо говорилось о том, что Кутузов „стяжал“ у Барклая де Толли „успех сокрытый в голове“ были совершенно невозможными для печати.

Выброшенные Пушкиным стихи не были даже представлены в цензуру, настолько Пушкину было очевидно, что цензура их не пропустит. Однако и правленный текст вызвал в цензуре сомнения. Председатель цензурного комитета кн. М. А. Дондуков-Корсаков сообщил 24 августа 1836 г. Главному управлению цензуры по докладу цензора А. Л. Крылова от 18 августа, что „в числе статей, поступивших на рассмотрение цензуры для периодического издания «Современника» стихотворение «Полководец» заключает в себе некоторые мысли о главнокомандующем российскими войсками в 1812 г. Барклае де-Толли, выраженные в таком виде, что комитет почел себя не вправе допустить их к напечатанию без разрешения высшего начальства“. Тем не менее министр народного просвещения С. С. Уваров разрешил стихотворение к печати отношением от 26 августа.¹ Можно думать, что он не подозревал, кто его автор.

9

Первые читатели встретили стихотворение „Полководец“ восторженно. „Барклай — прелесты!“,² писал А. И. Тургенев Вяземскому.

¹ См. М. И. Сухомяинов, „Исследования и статьи по русской литературе и просвещению“, т. II, СПб., 1889, стр. 398—403; „Пушкин и его современники“, вып. VI, стр. 7; „Известия имп. Академии Наук“, 1911, стр. 516, №№ 40, 41; „Временник Пушкинского Дома на 1914 год“, стр. 15—16, №№ 50 и 51, и Дело СПб. Цензурного Комитета № 30 1836, „о рукописях, представленных на благорассмотрение Главного Управления Цензуры“, на 48 л., хранящееся в Ленинградском Облархиве, лл. 28—32 и 43.

² „Остафьевский Архив“, т. III, стр. 334.

Н. И. Греч 12 октября 1836 г. обратился к Пушкину: „Не могу удержаться от излияния перед вами, от полноты сердца, искренних чувств глубокого уважения и признательности к вашему таланту и благороднейшему его употреблению. Этим стихотворением, образцовым и по наружной отделке, вы доказали свету, что Россия имеет в вас истинного поэта, ревнителя чести, жреца правды, благородного поборника добродетели, возносящегося светлым ликом и чистою душою над туманами предрассудков, поверий и страстей, в которых коснеет пресмыкающаяся долу прозаическая чернь. Честь вам, слава и благодарение! Вы нашли истинное, действительное, единственное назначение поэзии“.¹

В ответе Гречу Пушкин повторил свой восторженный отзыв о характере Баркляя: „Искренно благодарю Вас за доброе слово о моем Полководце. Стоическое лице Баркляя есть одно из замечательнейших в нашей истории. Не знаю, можно-ли вполне оправдать его в отношении военного искусства; но его характер останется вечно достоин удивления и поклонения“.²

Гоголь был в восхищении от „Полководца“: „Видана ли была где-нибудь такая прелесть!“ — восклицал он в одном из своих писем.³

Пушкин с интересом прислушивался к отзывам своих читателей. Вскоре после того, как „Полководец“ был напечатан, Пушкин спрашивал молодого А. О. Россета, учившегося тогда в пажемском корпусе, как находят эти стихи в его кругу, между военной молодежью. Впрочем, тут же Пушкин добавлял, что он не дорожит мнением знатного, светского общества.⁴

Среди современных Пушкину читателей и критиков „Полководца“ большой интерес представляет Логгин Иванович Голенищев-Кутузов (13 января 1769 г.—22 марта 1846 г.). Он был вторым сыном Ивана Логгиновича Голенищева-Кутузова (1729—1802), одного из просвещенных деятелей екатерининской эпохи, президента государственной адмиралтейской коллегии и адмирала.

Логгин Иванович Голенищев-Кутузов был флота генерал-казначеем, членом адмиралтейств-коллегии, председателем ученого комитета Морского министерства и членом Российской Академии. Автор многих компилятивных и переводных работ,⁵ во второй половине 1830-х годов Л. И. Голенищев-Кутузов жил уже на покое.

¹ Сборник „Пушкин“, т. I, 1881, стр. 20; ср. „Записки о моей жизни“ Н. И. Греча, СПб., 1886, стр. 275; „Русский Архив“, 1870, ст. 1263 и „Переписка“, т. III, стр. 379—380, № 1075.

² Письмо от 13 октября 1836 г., „Переписка“, т. III, стр. 380, № 1076.

³ „Письма Гоголя“, т. I, стр. 426.

⁴ „Русский Архив“, 1882, т. I, стр. 245.

⁵ Важнейшие издания литературных трудов Л. И. Голенищева-Кутузова: „Добрый отец. Комедия в одном действии. Перевод с французского подлинника Л. Голенищева-Кутузова“. СПб., 1790; „Известия о извержении горы Везувия в июне месяце 1794 г. С английского на российский язык перевел Логин Голенищев-Кутузов“. 1796; „Начальные

Располагавший досугом, наблюдательный свидетель четырех царствований, многих войн и событий, Логгин Иванович Голенищев-Кутузов с педантической последовательностью вел дневники, охватывающие годы: 1806—1820, 1823—1828 и 1831—1843. Записи каждого года переплетены в отдельную тетрадь объемом около 200 страниц каждая. Запись ведется, примерно, через день, реже — ежедневно. Каждой записи отводится только одна страница — не меньше и не больше; если сообщаемое не укладывается в этих рамках, приписываются одна-две строки на полях. С 1835 г. вводится оглавление — краткое обозначение излагаемых за день событий; это придает дневнику более литературно обработанный вид — „cela facilitera à savoir ce qui s’y trouve si on s’avisera jamais de le savoir lorsqu’on n’aura rien à faire“, пишет Кутузов.¹

Дневники Л. И. Голенищева-Кутузова писаны чрезвычайно неразборчивым почерком на французском языке.² До сих пор, насколько нам известно, они почти никак не использованы, если не считать П. А. Ефремова, который в начале XX века заглянул в тетрадь за 1836 г. и почти ничего в ней не разобрал.³

34 тетради дневников Л. И. Голенищева-Кутузова хранятся в Ленинградской Государственной Публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. В них много записей и упоминаний о Пушкине, и среди этих записей едва ли не наибольший интерес представляют страницы, посвященные стихотворению Пушкина „Полководец“.

Первая запись относится к 17 октября 1836 г.:

1836. Octobre.

Samedi 17. Hier c’était la commémoration de la mort du premier Confesseur, le centurion Longin, et comme [je] mon père, niant des fastes m’a distingué par ce nom, c’était donc hier ma fête, en conséquence de quoi tous mes parents et bons amis étaient venus nous voir et la cousine Lise Хитрова а été. De Пушкин — je le nomme pour cause: elle était tout animée, mais exasperée des vers que Пушкин а écrit sur le portrait de

основания морской тактики, сочиненные кавалером фон Кингсбергом. Пер. Логгин Голенищев-Кутузов“. СПб., 1791; „Путешествие в Северный Тихий океан под начальством капитанов Кука, Клерка и Гора в продолжение 1776, 77, 78, 79 и 1780 г. г., с английского переложил Л. Голенищев-Кутузов“. СПб., 1805; „Путешествие в южной половине земного шара и вокруг оного, учиненное в продолжение 1772, 73, 74 и 75 годов под начальством капитана Иакова Кука, с французского перевел Логгин Голенищев-Кутузов“. 1796—1800; Л. Голенищев-Кутузов. „Предприятия имп. Екатерины II для путешествия вокруг света в 1786 году“. СПб., 1840; Л. Голенищев-Кутузов. „О морском кадетском корпусе“. СПб., 1840.

¹ „Это облегчит знакомство с тем, что в нем есть, если кому-нибудь вздумается когда-либо это узнать, когда нечего будет делать“.

² В работе над чтением трудного почерка Л. И. Голенищева-Кутузова большую помощь нам оказала Э. А. Петрова.

³ Сочинения А. С. Пушкина, редакция П. А. Ефремова, т. VIII, примечания, добавления и поправки. Издание А. С. Суворина, 1905, стр. 359—360.

Barclay, qu'il [n] distingua comme ayant eu le plan de sauver la Russie par ses fameuses manœuvres en 1812. Ces vers sont dans le *Современник* — Comme vers il y en a des beaux, mais qui sont tout le contraire de la vérité — il dit entre autre

Всё в жертву ты принес земле чужой

depuis le premier jusqu'au dernier mot mensonge — Barclay était [Liv] fils d'un pauvre gentilhomme [Livon] ou officier Livonien, par conséquent [rus] la Russie n'était pas pour lui чужая земля, il n'a pas été étranger il n'a p[as d]as separé sa fortune en Livonie de la Russie car il n'avait, par conséquent *ничего в жертву не принес* — La cousine avait les larmes aux yeux, elle m'a parlé de l'ingratitude de Пушкин qu'elle avait si bien accueilli — je lui ai dit qu'elle avait eu grand tort de l'avoir accueilli de telle manière et j'ai appris qu'il a fait des épigrammes sanglantes contre elle — sa fille devrait oter son portrait de sa chambre — mieux écrire sur cela après demain.¹

„Sa fille“ — графиня Дарья Федоровна Фикельмон (рожд. Тизенгаузен, 1804—1863), жена австрийского посла в Петербурге,² или графиня Екатерина Федоровна Тизенгаузен (1803—1888). Возмущение и негодование Е. М. Хитрово, повидимому, далеко не было так сильно, как об этом пишет Л. И. Голенищев-Кутузов. Во всяком случае дальнейшие поступки Елизаветы Михайловны свидетельствуют о прежней преданности Пушкину. Когда Логгин Иванович решил выступить со своими замечаниями на „Полководца“ в печати, Е. М. Хитрово тотчас же предупредила об этом Пушкина; в том же октябре 1836 г. она писала поэту:

¹ Перевод: „1836. Октябрь. Суббота 17-ое. Вчера был день поминовения первого исповедника Лонгина Сотника и так как мой отец, пренебрегая пышностью (или святыми), нарек меня этим именем, то вчера и был день моих именин, а потому все мои родные и добрые друзья приехали нас навестить, была и кузина Лиза Хитрова. О Пушкине. Говорю о нем вот почему: она была очень возбуждена и крайне раздражена стихами, которые Пушкин написал к портрету Барклая, отметив его замысел спасения России своими пресловутыми маневрами в 1812 году. Стихи эти в *Современнике*. Среди них есть и прекрасные, но они совершенно противны истине — он говорит между прочим:

Всё в жертву ты принес земле чужой

от первого до последнего слова — ложь. Барклая был сыном бедного ливонского дворянина или офицера, следовательно Россия не была для него чужая земля, он не был иностранцем, он не отделил своего состояния в Ливонии от России, потому что ничего не имел, следовательно *ничего в жертву не принес* — У кузины были слезы на глазах, она говорила мне о неблагодарности Пушкина, которого так хорошо приняла, — я сказал, что она совершенно напрасно его так принимала, и я узнал, что он сочинил на нее оскорбительные эпиграммы. Ее дочь должна убрать его портрет из своей комнаты — лучше написать об этом после завтра“.

² Обстоятельные сведения о ней и об ее муже см. в комментариях к обоим имеющимся изданиям *Дневника Пушкина* (П., 1923, стр. 36—38, и М., 1923, стр. 100—104); подробный очерк ее отношений к Пушкину и характеристику ее личности дал М. А. Цявловский в статье „Пушкин и гр. Д. Ф. Фикельмон“ — „Голос минувшего“, 1922, № 2, стр. 108—123; см. его же книгу „Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Баргневича“, М., 1925, стр. 36—37 и 98—102; ср. еще статью Л. П. Гроссмана „Устная новелла Пушкина“ в его книге „Этюды о Пушкине“, М., 1923, стр. 70—113, и „Письма Пушкина к Е. М. Хитрово“, 1927, стр. 56—57.

„Je viens d'apprendre que la censure a laissé passer un article de réfutation sur vos vers cher ami. La personne qui les a écrit, est furieuse contre moi — n'a jamais voulu ni me les montrer — ni les retirer. — On ne cesse de me tourmenter pour votre élégie — je suis comme les martyrs cher Poushchine je vous en aime d'avantage et je crois à votre admiration pour notre héros et à votre sympathie pour moi!...“ Характерно, что под этим письмом Елизавета Михайловна подписалась полным именем, тем самым подчеркивая кто она: „Elise Hitroff née Pr. Kout. Smol.“ — Елизавета Хитрово, рожденная княжна Кутузова Смоленская.¹

Неизвестно, как отвечал Пушкин на это предупреждение. Писем его к Е. М. Хитрово за этот период не сохранилось.

15 октября 1836 г. в „Северной Пчеле“ (№ 236) в отделе „Смесь“ было помещено извещение о выходе в свет новой очередной книги „Современника“: „В вышедшей на сих днях третьей книжке Современника находится, между прочими любопытными статьями в стихах и прозе, одно стихотворение А. С. Пушкина, превосходное по предмету, по мыслям, по исполнению. Не можем отказать от удовольствия выписать это произведение, одно из лучших свидетельств, что гений нашего поэта не слабеет, не вянет, а мужается и растет, что Россия должна ждать от него много прекрасного и великого. Вот это стихотворение“. Затем следовала полная перепечатка стихотворения „Полководец“.

Эта перепечатка была замечена Голенищевым-Кутузовым только в конце октября. Она раздражила его еще больше.

В воскресенье 1 ноября 1836 г. Голенищев-Кутузов записал: „Пушкин a écrit une pièce de vers qu'il a imprimé dans son Современник sur le portrait de Barclay, qui est dans la galerie des portraits des guerriers et il y a dit entre autres éloges que c'est lui qui a sauvé la Russie, et que les russes ont été assez ingrats pour ne pas le sentir

Народ таинственно спасаемый тобою

et puis

*Безмолвно уступил ты лавровый венок
и власть*

Comme cela commence desabuser le cher oncle et que pour faire expédier cette belle poésie plus vite [il] il l'a fait réimprimer dans l'Abeille du Nord, en conséquence de quoi j'ai du prendre fort et court, j'ai aussi quelques observations, que je ferai imprimer et dans lesquelles je ferai voir

¹ „Я только что узнала, дорогой друг, что цензура пропустила статью, опровергающую ваши стихи. Лицо, написавшее ее, в ярости на меня и не пожелало ни за что ни показать мне ее, ни взять обратно (из цензуры). Меня не перестают тревожить из-за вашей элегии — я словно мученица, милый Пушкин, но люблю вас оттого еще больше и верю вашему преклонению перед героем и вашему хорошему отношению ко мне...“ „Переписка“ Пушкина под ред. В. И. Сaitова, СПб., 1911, т. III, стр. 377, № 1071. Факсимильное воспроизведение письма см. в издании: „Письма Пушкина к Е. М. Хитрово“, 1927, стр. 128—129.

la sottise de Пушкин d'autant plus saisissante que pour d'autres vers il porta des observations sur des nonsens qu'il a dit.

J'espère que je ferai cela assez bien pour que j'en sois content, ce qui m'aurait mieux dit, content de mon œuvre¹.

Возражения Л. И. Голенищева-Кутузова, направленные в цензурный комитет, произвели там самое благоприятное впечатление. Восстановленный против Пушкина его одой „На выздоровление Лукулла“ министр просвещения и президент Академии Наук С. С. Уваров (1786—1855) был только рад случаю доставить Пушкину новую неприятность. В среду 3 ноября Голенищев-Кутузов уже записал в дневнике: „Mardi 3. Non seulement le censeur, mais leur chef supérieur Уваров a été enchanté de mes trois pages, ils ont donné leur laisser-passer, ce matin, maintenant on les imprime, demain cela sera fait, pas moins qu'au nombre de 3400 exemplaires, parceque l'Abeille du Nord a cette quantité de souscripteurs, et que j'envoie ces exemplaires à Греч, afin qu'il les expédie avec sa feuille — Je n'ai pas voulu imprimer cela dans l'Abeille, parce que le maître de cette gazette est un coquin qui aurait fait quelques difficultés d'imprimer avant 15 jours en disant qu'il a trop de matériaux, ensuite en transportant quelques mots pour donner un autre et puis après quelques № il dira que c'est une faute d'impression et il ajoutera [qu] en confidence à quelqu'uns de ses amis qu'il n'y avait pas de faute d'impression — que c'était comme cela dans l'original et que moi je l'ai prié supprimer une faute d'impression, en un mot le connaissant capable de faire toute sorte de vilénies, je n'ai pas voulu lui procurer ce plaisir, j'imprime à part et il ne soit que mon colporteur“².

¹ „Пушкин написал стихотворение, которое напечатал в своем «Современнике» к портрету Барклая, находящемуся в военной галлерее, и высказал между прочим, что это он спас Россию, что русские были неблагодарны и не поняли этого.

Народ таинственно спасаемый тобою

и затем

*Безмолвно уступил ты лавровый венок
и власть*

Это начинает разочаровывать в дорогом дядюшке: чтобы скорее распространить это прекрасное стихотворение, (Пушкин) перепечатал его в «Северной Пчеле». Я должен покончить разом. У меня есть тоже кое-какие замечания, которые я напечатаю и в которых я выставлю несообразность Пушкина, тем более поразительную, что в отношении других стихов он делал примечания по поводу бессмыслиц, которые говорил.

Надеюсь, что я сделаю это достаточно хорошо, чтоб быть довольным, или иначе говоря, чтобы быть довольным своим произведением“.

² „Среда 3-го. Не только цензор, но и их главный начальник Уваров был в восхищении от моих трех страниц. Они дали свое разрешение, сегодня утром сейчас их печатают, завтра будет готово, не меньше чем в количестве 3400 экземпляров, потому что у Северной Пчелы это число подписчиков, и я отошлю эти экземпляры Гречу, чтоб он разослал их вместе со своим листком. Я не хотел печатать это в Пчеле, потому что хозяин этой газеты плут, который стал бы чинить препятствия, чтоб напечатать не раньше двух недель, ссылаясь, что у него много материала, затем переставит несколько слов, чтоб

Через два дня, когда выход в свет возражений против Пушкина был уже предрешен, а именно 5 ноября 1836 г., Голенищев-Кутузов устроил у себя чтение своего нового сочинения и пригласил Е. М. Хитрово. Рассказывая об этом в дневнике, Голенищев-Кутузов резюмирует сущность своих возражений:

„Jeudi 5. Hier j'ai engagé ma chère et bien aimée cousine et отчим à venir entendre la lecture de ce que j'ai écrit — ils s'attendaient 1-er qu'ils y aurait des injures au poète, 2. que je rabaisserai les mérites de Полководец 3. que je ferai des éloges de cher oncle. — Pas un mot [ils ont trouvé] de tout cela et en mieux termes, tout cela — le poète n'est que trop loué, le mérite seul de Barclay est relevé non seulement comme guerrier, mais dans ses qualités d'homme privé, j'ai mieux disposé d'une inscription sur son monument. —

Предводительствуя победоносною российской армией вступил в Париж — enfin je n'ai pas dit un mot d'éloge de l'oncle, je n'ai cité que deux documents. Mes chers auditeurs ont été d'autant plus enchantés que sans me flatter la manière dont j'ai prouvé que Пушкин a dit des sottises, entre autre *всё в жертву ты принес земле тебе чужой* et Barclay était Livonien, j'ai profité de cette sottise pour dire que la noblesse de Livonie pendant un siècle en versant son sang dans toutes les guerres de la Russie a prouvé que la Russie n'était pas étrangère pour eux, qu'ils étaient russes — cette observation méthamorphosa — mot juste — en fameux russes des Livoniens et ils ne m'en vaudront pas d'avoir dit cela“.¹

Разрешенная 3 ноября 1836 г. к печати цензором П. Гаевским брошюра Л. И. Голенищева-Кутузова была отпечатана в типографии Российской Академии в течение того же ноября. Судя по приведенной выше записи Голенищева-Кутузова, тираж этого издания был для того

вставить другое, и наконец через несколько номеров он скажет, что это опечатка, а по секрету добавит кое-кому из своих друзей, что опечатки не было, что так было в подлиннике — и что я просил его исправить опечатку: одним словом, зная его способным на всякого рода низости, я не хотел доставить ему это удовольствие, я печатаю отдельно, а он будет только моим разносчиком“.

¹ „Четверг. 5-е. Вчера я пригласил мою дорогую и возлюбленную кузину и отчима приехать послушать чтение того, что написал — они ожидали, во-первых, что там будут порицания поэту, во-вторых, что я стану умалять заслуги Барклая, в-третьих, что я буду выражать хвалу дорогому дядюшке. Ничего этого они не нашли и всё выражено наилучшим образом. Поэту — только хвала, признаны заслуги одного Барклая не только как полководца, но и как частного лица — я даже воспользовался надписью на его памятнике. — Предводительствуя победоносною российской армией вступил в Париж — наконец я ни слова не сказал в похвалу дядюшке, я привел только выдержки из двух документов. Мои дорогие слушатели были очарованы (не хвалюсь) тем как я доказал, что Пушкин сказал нелепость — между прочим — *всё в жертву ты принес земле тебе чужой*, а Барклай был лифляндец, я воспользовался этой нелепостью, чтоб сказать, что лифляндское дворянство, в течение столетия проливая свою кровь во всех войнах, веденных Россией, доказало, что Россия им не чужбина, что они русские. Это замечание превратило лифляндцев — верно сказано — в славных русских. И они не будут на меня в обиде, что я так сказал“.

времени довольно значительный — 3400 экземпляров. Тем страннее, что нам не удалось разыскать ни одного экземпляра ни в одном книгохранилище. Неизвестно даже местонахождение экземпляра, который в начале нашего столетия был приобретен П. А. Ефремовым у книгопродавца Н. Г. Мартынова. Поэтому приходится довольствоваться описанием П. А. Ефремова: „Брошюра... напечатана, кажется, без всякого заглавия. Текст начинается с самого верху 1-й страницы и оканчивается в самом низу 3-й; все они нумерованы, а 4-я осталась совершенно чистою. Препрежним владельцем сделана карандашная надпись: „Критическая заметка на стихотворение Пушкина «Полководец» Л. Голенищева Кутузова. СПб. 1836“.

В этой брошюре Л. И. Голенищев-Кутузов писал:

„В Полководеце, описание галлерей с портретами генералов подвизавшихся в отечественную войну прекрасно, но некоторые мысли и стихи до знаменитого полководца относящиеся, совершенно противны известной истине, противны его собственным словам, его отличительным свойствам; состоят из вымыслов, преувеличений, ни мало не нужных, когда дело идет о человеке, которого деяния принадлежат истории. — Меня удивили следующие стихи:

„Всё в жертву ты принес земле тебе чужой“.

Прочитав сию строку, можно подумать, что полководец был один из небольших в Германии владетельных князей, или другого государства вельможа, который, узнав какую опасностью угрожаема Россия, отказался от владения, или продал свое имущество, оставил отечество, и с своими сокровищами, с своими известными великими способностям, явился спасать Россию. — *Всё в жертву ты принес земле тебе чужой* — всякое слово в сей строке противно истине. Воспеваемый полководец был лифляндец, следовательно, Россия для него не чужая земля, лифляндцы для нас не иностранцы, и они и мы должны удивляться сему изречению. Лифляндские дворяне в течении ста лет, со времен императрицы Анны Иоанновны, во все бывшие кровавые войны, не исключая ни одной, кровью своею доказали, что Россия для них не чужая земля, приобрели полное право носить имя русских, и отличное их служение на всех поприщах сие подтвердило; а поэт для мнимого превознесения своего героя решил, что он хотя и лифляндец, но не русской и Россия для него земля чужая; следовательно поэт решил, что и другие лифляндцы, служившие России на разных поприщах, тоже не русские. Сие пиитическое решение удивило меня тем более, что оно противно мнению полководца, которое я неоднократно от него слышал.¹ *Всё в жертву ты принес* — каждый служащий на военном поприще несет в жертву свою жизнь, а богатый военнотружущий иногда

¹ Здесь Л. И. Голенищев-Кутузов сделал примечание, в котором рассказал о случае в третью кампанию Шведской войны в 1790 г., когда Барклай де Толли сказал: „мы все лифляндцы — уже русские“.

приносит в жертву свое имущество, проживаемое на службе. Чтож принес в жертву России описываемый полководец? — Ничего. — Благодаря бога он не убит, а имущества у него никакого не было, он жил службою (отец его был лифляндец, недостаточный отставной поручик, так сказано в Энциклопедическом лексиконе)¹ — за ревностное полезное свое служение, знаменитый наш полководец от щедрот государя получил все возможные награды: высшую степень по службе, титла графа, князя, имение и, наконец, получил награду самую большую, каковою отличены подвиги Румянцева и Суворова, воздвигнут памятник в столице.

„Кажется глядит с презрительною думой“. После сего стиха, поэт предлагает вопрос, свою ли мысль обнаружил Доу, или не было ли ему какого невольного вдохновения? — Я знал полководца и отвечаю: мысль конечно собственно художника — сомнение о сем оскорбительно для памяти полководца. Ни презрительная дума, ни презрительный вид, не были ему свойственны, он всегда и на высших степенях службы отличался особенною мерностью и кротостию нрава.

„Народ таинственно спасаемый тобою“.

Сей стих для меня совершенно непонятен. Многие военные писатели на разных языках, и преданные Наполеону, признали, что до взятия и после взятия Смоленска, он сделал важные ошибки, и что ежели бы остался в Смоленске, последствия могли быть совсем другие. По мнению поэта, что воспеваемый им полководец своими действиями спас Россию: должно предполагать, что он предвидел и знал все ошибки, которые сделает Наполеон в войне против России. — За год вперед, предвидеть ошибки Наполеона, не в делах политических не по внутреннему управлению, а именно ошибки его по военному искусству, и в таких действиях, которые еще не начаты!!! Подобною способностью к предвидению, к проницательности кажется ни кто не был одарен — и наш полководец был

¹ Л. И. Голенищев-Кутузов имеет в виду статью Семена Андреевича Маркевича „Барклай де Толли“ в Энциклопедическом лексиконе Плюшара 1835 г., т. IV, стр. 356—359. Интересно, что в этой статье С. А. Маркевич, вслед за Пушкиным (ценз. разрешение 31 декабря 1835 г.), дает положительную оценку Барклая: „В позиции при Цареве-Займище Барклай де-Толли готовился дать генеральное сражение, но по прибытии генерал-фельд-маршала князя Кутузова поступил (17 августа) с армиею своею под главное его начальство. Здесь-то Барклай де-Толли явил редкий пример самоотвержения: пренебрегая мелочными расчетами самолюбия, он, как верный подданный своего государя, как ревностный сын отечества, продолжал службу свою с прежним усердием и в славной Бородинской битве, начальству правым флангом и центром армии, явил новые опыты своей неустрашимости, хладнокровия и распорядительности“. В заключение статьи Маркевич пишет: „Несправедливость современников часто бывает уделом людей великих: немногие испытали на себе эту истину в такой степени, как Барклай де Толли. В тяжком 1812 г., когда он, следуя искусно соображенному плану, отступал без потери перед многочисленными полчищами неприятельскими, готовя им верную гибель, многие, весьма многие не понимая цели его действий, обвиняли его в бедствиях отечества“.

чужд, далек от такого беспредельного самомнения, каковое ему приписует поэт.

„Безмолвно уступил и лавровый венец
„И власть“

По сему слову, стих относится к тому полководцу, который в 1812 году принял верховное начальство над всеми армиями, следовательно поэт полагает, что генерал Барклай-де-Толли уступил свой лавровый венец князю Голенищеву-Кутузову!!! По всеобщему мнению просвещенных русских и иностранцев, по мнению, которое военные писатели изъяснили о князе Голенищеве-Кутузове, он выше подобных суждений. — Сожаления достойно, что наш поэт позволил себе такой совершенно неприличный вымысел.

По всем на отечественном и на французском языке описаниям кампании 1812 года, кажется нет причины к заключению, что Россия избавлена от нашествия или как говорят спасена действиями армии до взятия Смоленска, а разве может быть действиями после оставления Москвы, и ошибками Наполеона.

После кочкины князя Голенищева-Кутузова, многие разного рода писатели, и в прозе и в стихах называли его избавителем России...“ и т. д.¹

В светском кругу замечания Л. И. Голенищева-Кутузова были замечены и приняты весьма сочувственно. Сам Голенищев-Кутузов записал об этом в своем дневнике в субботу 21 ноября: „Aujourd’hui... il nous est arrivé beaucoup de monde de courtisans, c’est l’expression de Саблуков le cousin Paul, le c-te Tolstoy, Галахов, Крыжановский et les trois personnes que j’ai vu m’ont parlé que mes observations sur Пушкин. Ont fait tout ce temps la conversation de la société, que tout le monde les trouve au delà des compositions dans ce genre et qu’on ne tarde pas à faire des éloges à qui mieux mieux. J’avoue que cela me fait plaisir parceque je crois qu’il y avait déjà plusieurs personnes qui me croyaient mort, mourant, c. à d. tout à fait bête et nul et voilà que la phantaisie de Пушкин m’a fait nombrer dans le nombre des vivants“.²

¹ Сочинения А. С. Пушкина, редакция П. А. Ефремова, 1905, т. VIII, стр. 360—367. К сожалению, недостаток места не дает возможности полностью перепечатать текст брошюры Голенищева-Кутузова.

² „Сегодня... у нас были много гостей, льстецов, по выражению Саблукова, — кузен Поль, граф Толстой, Галахов, Крыжановский и трое, которых я видел, говорили, что мои замечания Пушкину всё время являются предметом разговора общества; все находят их вне сравнений с произведениями подобного рода и не упускают случая непрерывно расхваливать их. Признаться, это мне доставляет удовольствие, потому что кажется некоторые уже считали меня умершим, умирающим, т. е. совершенно глупцом и ничтожеством, и вот, благодаря вымыслу Пушкина, меня снова считают в числе живых“.

Пушкин отвечал Л. И. Голенищеву-Кутузову в четвертом томе своего „Современника“, который вышел в самом конце ноября или начале декабря, следующим „Объяснением“:

„Одно стихотворение, напечатанное в моем журнале, навлекло на меня обвинение, в котором долгом полагаю оправдаться. Это стихотворение заключает в себе несколько грустных размышлений о заслуженном полководце, который в великий 1812 год прошел первую половину поприща, и взял на свою долю все невзгоды отступления, всю ответственность за неизбежные уроны, предоставив своему бессмертному приемнику славу отпора, побед и полного торжества. Я не мог подумать, чтобы тут можно было увидеть намерение оскорбить чувство народной гордости и старание унижить священную славу Кутузова; однакож меня в том обвинили.

Слава Кутузова неразрывно соединена со славою России, с памятью о величайшем событии новейшей истории. Его титло: спаситель России; его памятник: скала святой Елены! Имя его не только священо для нас, но не должны ли мы еще радоваться, мы, русские, что оно звучит русским звуком?

И мог ли Барклай-де-Толли совершить им начатое поприще? Мог ли он остановиться и предложить сражение у курганов Бородина? Мог ли он после ужасной битвы, где *равен был неравный спор*, отдать Москву Наполеону и стать в бездействии на равнинах Тарутинских? Нет! (Не говорю уже о превосходстве военного гения). Один Кутузов мог предложить Бородинское сражение; один Кутузов мог отдать Москву неприятелю, один Кутузов мог оставаться в этом мудром, деятельном бездействии, усыпляя Наполеона на пожарище Москвы, и выжидая роковой минуты: ибо Кутузов один облечен был в народную доверенность, которую так чудно он оправдал!

Неужели должны мы быть неблагодарны к заслугам Барклая-де-Толли, потому что Кутузов велик? Ужели после двадцатипятилетнего безмолвия поэзии не позволено произнести его имени с участием и умилением? Вы упрекаете стихотворца в несправедливости его жалоб; вы говорите, что заслуги Барклая были признаны, оценены, награждены. Так, но кем и когда?.. Конечно не народом, и не в 1812 году. Минута, когда Барклай принужден был уступить начальство над войсками, была радостна для России, но тем не менее тяжела для его стоического сердца. Его отступление, которое ныне является ясным и необходимым действием, казалось вовсе не таковым; не только роптал народ ожесточенный и негодующий, но даже опытные воины горько упрекали его и почти в глаза называли изменником. Барклай, не внушающий доверенности войску ему подвластному, окруженный враждою, язвимый злоречием, но убежденный в самого себя, молча идущий к сокровенной цели и уступающий власть, не успев оправдать себя перед глазами России, останется навсегда в истории высоко поэтическим лицом.

Слава Кутузова не имеет нужды в похвале чьей бы то ни было, а мнение стихотворца не может ни возвысить, ни унижить того, кто низложил Наполеона и вознес Россию на ту степень, на которой она явилась в 1813 году. Но не могу не огорчиться, когда в смиренной хвале моей вождю, забытому Жуковским, соотечественники мои могли подозревать низкую и преступную сатиру — на того, кто некогда внушил мне следующие стихи, конечно, недостойные великой тени, но искренние и излиянные из души.

Перед гробницею святой
Стою с поникшею главою...
Всё спит кругом; одни лампы
Во мраке храма золотят
Столбов гранитные громады
И их знамен нависший ряд.

Под ними спит сей властелин,
Сей идол северных дружин,
Маститый страж страны державной,
Смиритель всех ее врагов,
Сей остальной из стаи славной
Екатерининских орлов.

В твоём гробу восторг живет!
Он Русский глас нам издаёт;
Он нам твердит о той године,
Когда народный веры глас
Воззвал к святой твоей седине:
«Иди, спасай!» Ты встал — и спас... « и проч.¹

Наконец, тема „Барклай и Кутузов“ наиболее точное и краткое решение получила в стихотворении Пушкина „Художнику“ (1836):

Здесь зачинатель Барклай, а здесь завершителъ Кутузов...

Ответить на „Объяснение“ Пушкина Голенищев-Кутузов не успел, а может быть и не захотел. Через Хитрово он, конечно, знал о событиях, разыгравшихся после получения Пушкиным 4 ноября 1836 г. оскорбительных анонимных писем. Голенищев-Кутузов вообще к Пушкину относился с большим уважением. Если в записях 1836 г. содержится несколько резких отзывов о поэте, то на страницах, посвященных истории гибели Пушкина, совершенно исчезают какие-либо литературные и семейные счёты. Запись от 29 января 1837 г. целиком посвящена Пушкину:

„29. Vendredi. Grand événement: notre frère d'Appolon — tué.

Vendredi 29. Grand événement et grande perte pour le Parnasse russe — Пушкин s'est duellé hier avec d'Anthès le mari de sa belle sœur, a été blessé à mort et mort aujourd'hui. — Jaloux de sa femme et de son beau frère, il a provoqué celui-ci de manière qu'il devait se battre, il est aussi blessé mais pas gravement — on dit que le tort est à Пушкин qu'il était comme

¹ „Современник“, литературный журнал, издаваемый Александром Пушкиным. Том четвертый. СПб., 1836, стр. 295—298.

enragé, qu'il a dit et écrit que s'il rencontrait quelque part son rival supposé il lui cracherait à la figure — et Arnd qui l'a soigné jusqu'à sa fin m'a dit qu'ayant été blessé le premier, tombé par terre il a visé d'une main tremblante et lorsque d'Anthès atteint par la balle est tombé — Пушкин jetant son pistolet en air — dit: bravo — à ce qui m'a dit Arnd (je cite son autorité) parcequ'il croyait avoir tué d'Antes — celui-ci est mis aux arrêts et jugé par un Conseil de guerre. — L'empereur dit-on a témoigné beaucoup d'intérêt à Пушкин et à sa famille. — C'est une perte pour notre littérature (russe). Il aurait pu viser en air voyant sur sa conscience les fantomes de péril de la belle poésie“.¹

Запись от 29 января не содержит новых данных, отражая частью действительные факты, частью слухи, циркулировавшие в обществе по поводу дуэли. С этой точки зрения показательно мнение, что „вина на стороне Пушкина“, „он был как бешеный“ — мнение, разделявшееся большою частью светского общества.

Следующая запись дневника озаглавлена:

Février.

1. Lundi. Пушкин.

Lundi 1. Février. Comme de raison la grande conversation du jour c'est la catastrophe de Пушкин et les details qui y ont rapport — Arnd m'a dit que la nuit après le duel il reçut un billet de l'empereur qui ordonna de porter tout de suite la lettre incluse à Пушкин, de la lui lire et de la rapporter dans cette <lettre> l'empereur disait qu'il espérait encore le voir (Пушкин) et qu'il lui conseillait de remplir les devoirs d'un chrétien et d'être tranquille sur le sort de sa famille. Après avoir étudié cette lettre Пушкин a dit qu'il désirait communier. On a fait tout de suite venir le prêtre, ensuite il a baisé la lettre, mise sur son cœur et désirait la garder, mais Arnd qu'il avait ordre de la rapporter — l'empereur attendait Arnd et lorsque celui-ci a dit que Пушкин désirait garder la lettre l'empereur a dit qu'il ne la (laisse pas garder) donne pas —. La cousine Nina m'a dit qu'à Heckern était la principale cause de tout ce tragique événement, que Пуш-

¹ „29. Пятница. Большое событие — наш брат Аполлона — убит“. „Пятница 29. Большое событие и большая потеря для российского Парнасса. — Пушкин стрелялся вчера с Дантесом, мужем свояченицы, был ранен смертельно и сегодня скончался. Ревнуя свою жену к свояку, он вызвал его так, что тот должен был драться. Он тоже ранен, но не опасно. Говорят, что вина на стороне Пушкина; он был как бешеный, говорил и писал, что если где-нибудь встретит своего предполагаемого соперника, то плюнет ему в лицо. И Арнд, который пользовал его до самой кончины, рассказывал мне, что будучи ранен первым, упав на землю, целился дрожащей рукой. И когда Дантес, сраженный пулей, упал, Пушкин, подбросив в воздух свой пистолет, воскликнул — bravo! — Так говорил мне Арнд (я привожу его свидетельство) — он думал, что убил Дантеса. Тот посажен под арест и предан военному суду. Государь, говорят, проявил большое внимание к Пушкину и к его семье. Это потеря для нашей (русской) литературы. Он мог выстрелить в воздух, видя на своей совести призраки опасности для прекрасной поэзии“.

кин avait dit mieux à l'empereur нам с Дантесом жить на земле негде, en me contant ceci elle a ajouté pourquoi donc afin de le calmer ne lui a-t-on pas donné quelque commission d'historiographe pour Moscou — pourquoi ses amis n'avaient-ils pas pensé à l'éloigner d'ici pour quelque temps".¹

Комментирование этих записей далеко увело бы нас от поставленной темы. Но записи эти сами по себе настолько характерны, что именно ими хочется закончить рассказ о последнем в жизни Пушкина историческом и литературном споре.²

10

Кто же был прав: Пушкин или Голенищев-Кутузов? Противник поэта выдвинул достаточно серьезные соображения; тем не менее, думается нам, он не понял позиции Пушкина. Пушкин подчеркнул в своем „Объяснении“, что ни о каком противопоставлении Барклая Кутузову он и не думал. Для Пушкина „слава Кутузова неразрывно соединена со славою России“. Военный гений „спасителя России“ Кутузова был противопоставлен Пушкиным Наполеону. И Пушкин, первый в нашей литературе, задолго до Льва Толстого осознал, что Кутузов „облечен был в народную доверенность“, что это был народный полководец. Однако, отдавая должное Кутузову, Пушкин вместе с тем реабилитировал в памяти новых поколений образ Барклая, полководца, который в свое время был недооценен, а затем несправедливо забыт. И вот в этой положительной оценке личности и деятельности Барклая Пушкин также был прав.

Характерно, что Карл Маркс через 23 года после Пушкина повторил и углубил концепцию стихотворения „Полководец“. В 1858 г. в „New American Cyclopaedia“ (т. II, стр. 624—625) была напечатана без подписи статья Маркса о Барклае де Толли.

¹ „Февраль. 1. Понедельник. Пушкин. Понедельник 1 февраля. Конечно, все злободневные разговоры сейчас — о катастрофе с Пушкиным и об относящихся к ней подробностях. Арнд рассказал мне, что в ночь после дуэли он получил от государя записку, где тот повелел немедленно доставить Пушкину прилагаемое письмо, прочесть ему и вернуть обратно. В этом <письме> государь говорит, что надеется еще увидеться с ним (Пушкиным) и что советует ему выполнить долг христианина и быть спокойным за судьбу своей семьи. — Прочтя это письмо, Пушкин сказал, что хочет приобщиться. Сейчас же позвали священника, затем он поцеловал письмо, положенное к нему на грудь, и хотел сохранить его, но Арнд <сказал>, что ему велено его вернуть, — государь ожидал Арнда. И когда он сказал, что Пушкин хотел бы сохранить письмо, государь сказал, что он его не даст. Кузина Нина рассказала мне, что Геккерн был главной причиной всего этого трагического события; что Пушкин даже сказал государю: «нам с Дантесом жить на земле негде». Рассказывая мне об этом, она добавила — зачем же, чтоб успокоить его, не дали ему, как историографу, какого-нибудь поручения в Москву почему друзья его не подумали о том, чтоб удалить его на некоторое время“.

² Остальные записи Голенищева-Кутузова о Пушкине мы предполагаем опубликовать в одном из ближайших томов „Временника“. Большой интерес представляют записи о стихотворении „Пир Петра“ и о причинах дуэли Пушкина с Дантесом.

В этой статье Маркс писал: „Великой заслугой Барклая-де-Толли является то, что он не уступил невежественным требованиям дать сражение, исходившим как от рядового состава русской армии, так и из главной квартиры; он выполнил отступление с замечательным искусством, непрерывно вводя в дело то ту, то другую часть своих войск, с целью дать князю Багратиону возможность выполнить свое соединение с ним и облегчить адмиралу Чичагову нападение на тыл неприятеля. Будучи вынужден дать сражение, происшедшее при Смоленске, он занял позицию, которая не позволила сражению стать решительным. Когда, недалеко от Москвы, нельзя уже было избежать решительного сражения, он выбрал сильную позицию у Гжатска, почти недоступную атаке с фронта и обойти которую с фланга можно было только далекими окольными путями. Он уже расположил свои войска, когда прибыл Кутузов, в руки которого, благодаря интригам русских генералов и ропоту русской армии на то, что священной войной руководит иностранец, было теперь передано высшее командование. В пику Барклаю-де-Толли Кутузов покинул позицию при Гжатске, в результате чего русской армии пришлось принять сражение на невыгодной позиции у Бородина. В этом сражении 26 августа Барклай, командуя правым крылом, был единственным из генералов, который удержал свою позицию и не отступал до 27-го, прикрыв таким образом отступление русской армии, которая только благодаря ему спаслась от полного уничтожения. После отступления от Бородина за Москву опять же Барклай-де-Толли предотвратил всякие бесполезные попытки защитить священную столицу. Во время кампании 1813 г. Барклай 4 апреля взял крепость Торн, разбил Лористона при Кенигсварте, после поражения при Бауцене 8 мая он прикрыв отступление союзной армии, выиграл сражение при Герлице, способствовал капитуляции Вандама и отличился в сражении при Лейпциге. Во время кампании 1814 г. он не имел самостоятельного командования, и деятельность его носила скорее административный и дипломатический, нежели военный характер. Строгая дисциплина, которой он подчинил войска, непосредственно от него зависевшие, снискала ему доброе имя среди французского населения. По возвращении Наполеона с Эльбы он прибыл слишком поздно из Польши, чтобы принять участие в сражении при Ватерлоо, однако участвовал во втором нашествии на Францию. Он умер во время путешествия в Карлсбад, на воды. Клевета омрачила последние годы его жизни. Он был бесспорно лучший генерал Александра, непритязательный, настойчивый, решительный и полный здравого смысла“.¹

Не только в этой статье говорит Маркс о Барклае де Толли. Сочувственное отношение к Барклаю есть и в статье „Беннигсен,“ написанной для того же издания. Вместе с Марксом в „Американской энциклопедии“ сотрудничал и Энгельс. Так, им была написана статья „Бородино“. В этой

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XI, ч. II, 1933, стр. 569—570.

статье Ф. Энгельс отмечает, что Кутузов „отказался от прекрасной позиции у Царева Займища, выбранной Барклаем“.¹ Этими упоминаниями не исчерпывается круг высказываний Маркса и Энгельса о Барклае де Толли. Важно, что во всех случаях, когда Маркс и Энгельс вспоминают о Барклае де Толли, они говорят о нем положительно, совпадая с Пушкиным, который в одном из лучших своих стихотворений так решительно стал на защиту не оцененного современниками полководца.²

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XI, ч. II, 1933, стр. 631.

² Отрывок Лермонтова „Великий муж! Здесь нет награды“ (1836) по нашему мнению является отголоском на стихотворение Пушкина „Полководец“ и посвящено не П. Я. Чаадаеву, как утверждает Б. М. Эйхенбаум, но Барклаю де Толли. К этому же выводу, независимо от нас, пришел и И. Л. Андроников.



Д. П. ЯКУБОВИЧ

„КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА“ И РОМАНЫ ВАЛЬТЕР СКОТТА

1

Всесторонний анализ „Капитанской Дочки“ и выяснение ее значения в творческой эволюции Пушкина невозможны без полного учета взаимоотношений романа с романами В. Скотта. Эти взаимоотношения являются одной из существеннейших сторон в сложении „Капитанской Дочки“, этой — по прекрасному выражению П. А. Катенина — „родной сестры «Евгения Онегина»“. Как последний, являясь „энциклопедией русской жизни“, в то же время кровно связан с байроновской стихией, так и „Капитанская Дочка“, будучи типически русским романом, возникшим на основе знания русской жизни и представляющим органическое завершение пушкинской прозы, включает тем не менее в себя бесспорный и важный комплекс связей с В. Скоттом. Однако, несмотря на их неоспоримость, ни полного анализа этих связей и их границ, ни выяснения их смысла до сих пор мы не имеем.

Несмотря на то, что русская литературная наука в вопросе об отношении Пушкина с В. Скоттом почти всегда оперировала преимущественно материалами „Капитанской Дочки“, буржуазные, а иногда и некоторые советские исследователи, сплошь и рядом, только запутывали, а порой и компрометировали важную тему.

„Капитанская Дочка“ — последнее звено длительного и упорного процесса, условно могущего быть названным вальтер-скоттовским периодом Пушкина.

Еще Белинский назвал Савельича — „русским Калемом“; А. Д. Галахов указал: „у Пушкина в конце «Капитанской Дочки», именно в сцене свидания Марии Ивановны с императрицей Екатериной II, есть тоже подражание... Дочь капитана Миронова поставлена в одинаковое положение с героиней «Эдинбургской Темницы»“.¹

Н. Г. Чернышевский, хорошо знавший Скотта, категорически, но попутно указал, что повесть прямо возникла „из романов Вальтера Скотта“.

¹ „О подражательности наших первоклассных поэтов“, „Русская Старина“, 1888, № 1, январь, стр. 27.

Славянофильскому лагерю замечание показалось посягающим на славу Пушкина. Идеолог русского самодержавия Черняев в панегирике „Капитанской Дочке“ утверждал ее исконно-русское величие путем полнейшего игнорирования западных связей. Мнение его единственной о романе монографии сказало и на последующих работах. Черняев считал, что замечание Чернышевского „по своей бездоказательности не заслуживает разбора“, и пришел к своему тенденциозному выводу — „Нет ни одной мелочи, которая отзывалась бы подражанием В. Скотту. Зато весь роман свидетельствует о том, что Пушкин, наведенный В. Скоттом на мысль воссоздать в художественных образах и картинах нашу старину, шел совершенно самостоятельно“.¹ А. И. Кирпичников² и А. Н. Пыпин³ вернулись к мнению Чернышевского, но не развили его, как и Алексей Н. Веселовский⁴ и В. В. Сиповский.⁵ Наконец, М. Гофман в своей статье о „Капитанской Дочке“ 1910 г. писал: „В. Скотт дал толчок новым силам Пушкина, до тех пор дремавшим в нем“. Если старая формула Галахова: Пушкин подражал в „Капитанской Дочке“ В. Скотту — у Черняева преобразовалась: продолжал В. Скотта, то Гофман лишь затуманил ее: Пушкин отталкивался от В. Скотта. Дело здесь, разумеется, не в одном терминологическом различии. Только выяснением роли В. Скотта для пушкинского творчества на всем его протяжении, полным изучением творчества В. Скотта-прозаика и прозаика-Пушкина, регистрацией и осмыслением всех точек соприкосновения можно подойти к ответам на вопросы о функции его для Пушкина.

Мне приходилось уже останавливаться во „Временнике“ на мнениях некоторых советских исследователей, пошедших путем изолированных сопоставлений и несостоятельно сводивших живую ткань пушкинского романа к механическому усвоению формальных схем и к технике вальтер-скоттовского романа.⁶ Из-за этих достаточно общих мелочей они не видят подлинно значительных связей, касающихся существа сравниваемых романов, большого их сходства и великой разницы в точках зрения авторов по основным вопросам проблемного характера.

¹ Н. И. Черняев. „Капитанская Дочка“, М., 1897, стр. 45; ср. также стр. 46, 47, 80, 153, 167, 206 и др.

² „Вальтер Скотт и Гюго“, 1891, стр. 30. На связи „Капитанской Дочки“ с В. Скоттом Кирпичников останавливался также в лекции о В. Скотте, читанной публично в Одессе в 1890 г. и вызвавшей курьезную (столько же безграмотную сколько и ожесточенную) критику газеты „Новости“ (1890, № 57 и № 73), обидевшейся за Пушкина („Очевидно, что Пушкин вовсе не думал об Эффи Дене или о В. Скотте, когда писал свой дивный роман“).

³ „История русской литературы“, т. IV, 1899, стр. 571—572, 370—374 и др.

⁴ „Западное влияние в русской литературе“, изд. 4-е и 5-е, 1916, стр. 156, 175.

⁵ „Пушкин и романтизм“ („Пушкин и его современники“, вып. XXIII—XXIV, 1916, стр. 277).

⁶ „Временник Пушкинской комиссии“, т. 1, 1936, стр. 311—312.

2

„Капитанская Дочка“ — наиважнейшее из законченных прозаических произведений Пушкина, его последний роман, посвященный проблеме изображения крестьянского восстания, подытоживающий и по-новому осуществляющий предыдущие замыслы социального романа.

Образ Пугачева привлекал внимание Пушкина еще с 1824 г. Он интересовался „Жизнью Емельки Пугачева“, как и жизнью „Сеньки Разина“. В 1827 г. шеф жандармов Бенкендорф „разъяснил“ поэту, что „дерковь проклинает Разина, равно как и Пугачева“. Но Пушкин продолжал лелеять мысль о художественном воплощении пленявших его образов. Он собирал песни об обоих и, надо думать, уже в самом начале 30-х годов, после срыва „Арапа Петра Великого“, намечал в герои нового исторического романа — Пугачева.

Во всяком случае уже в самом раннем из планов „Капитанской Дочки“¹ прозвучало имя ближайшего соратника Пугачева, также преданного церковью анафеме, — А. П. Перфильева. С ним, по первоначальному намерению Пушкина, должен был встретиться сосланный за буйство в деревню герой, носящий здесь, как и в других начальных планах, фамилию Шванвича.

В следующем плане, датированном самим Пушкиным (31 января 1833 г.), уже отчетливо чувствуется, что центральный исторический герой — сам Пугачев. Таковым он остается уже и во всех последующих планах, как и в романе.

Таким образом уже в январе 1833 г., т. е. тогда, когда Пушкин писал последнюю (девятнадцатую) главу „Дубровского“,² он уже видел первые очертания нового романа. Пусть Гринев здесь еще носил имя Шванвича, Белогорская крепость была еще просто „степною крепостью“, отца героя собирался повесить Чика, а не Швабрин; пусть еще не Маша, а Орлов выпрашивал герою прощение, но канва исторического романа, с точной исторической эпохой и определенными историческими персонажами была уже ясна.

Новый замысел историко-социального романа, подлинной драмы, давно тревоживший воображение Пушкина, захватил его целиком. Шестым февраля пометил Пушкин „конец“ Дубровского, а на следующий день — 7 февраля 1833 г. — ходатайствовал о предоставлении ему для изучения „Следственного дела“ о своем новом герое, подлинном вожде и организаторе крестьянского восстания — Пугачеве.

Помимо прозы рассказчика, Пушкину с новой силой захотелось вернуться и к прозе исторического романиста. Именно к этому времени относятся возвращения Пушкина к петровской эпохе, пробы романа о стре-

¹ См. „А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений“, ГИХЛ, т. IV, 1936, стр. 592—593.

² Датирована самим Пушкиным недалеко от конца, „22 января“ 1833 г.

лецом сыне. Но эти планы остались нереализованными, как и замысел исторического романа из античной жизни („Цезарь путешествовал“). Зато, поддерживаемый открывшейся возможностью работать в архивах по документам и, главное, живыми впечатлениями, собранными во время поездки по Уралу, Пушкин набрасывает новые планы романа о „пугачевщине“, где герой из Башарина превращается в Валуева, где появляется Швабрин и где всё определеннее занимает место фигура самого Пугачева.

3

Писать в 1832—1834 гг. „исторический“ роман, как назвал сам автор „Капитанскую Дочку“, значило вспоминать метод только что умершего создателя жанра. Вся система вальтер-скоттовского романа, как и в годы создания „Арапа Петра Великого“, всплыла вновь перед Пушкиным. Снова, со всей остротой, возникли вопросы об исторической верности, о документации и анахронизме, об языке и введении исторических персонажей.

В первом своем романе из более отдаленной эпохи Пушкин в ряде случаев отступал все же от подлинно исторической канвы, хронологии и реального соотношения персонажей, творчески комбинируя их и создавая лишь общее впечатление исторической верности, подкрепленной документацией.

В „Дубровском“ вопрос исторической верности касался лишь общей верности историческому колориту, но целый ряд проблем исторического романа вовсе отсутствовал (исторический герой, конкретные исторические события, конкретная историческая обстановка), документация шла в нем скорее по линии историко-юридической.

В новом романе, взятом из более близкого исторического времени (в черновой рукописи указано было: „Петр Андреевич <Гринев> умер в конце 1817-го года“), вопрос исторической верности стал еще более ответственным и конкретным. Опрашивая живых свидетелей эпохи — литераторов и военных, уральских казачек и детей сподвижников Пугачева и поверяя их показания архивными документами и печатными свидетельствами, готовя параллельно „Историю Пугачева“, Пушкин смог поставить свой роман на твердую (соответственно данным своего времени) базу и на ней уже отдаться свободному творчеству.

Всплыл перед Пушкиным вновь и ряд внешних черт исторического романа. „Капитанская Дочка“ обрамлена миниатюрным послесловием фиктивного „издателя“. Со всем блеском разработана и система эпиграфов (к роману и к отдельным главам). В черновике это обнаружено еще явственнее („...издать ее особо, приислав к каждой главе приличный эпиграф и тем сделать книгу достойною нашего Века“).

Эпоха гражданских войн, „смутных“ моментов английской и шотландской истории — нередкий фон исторических романов Скотта.

В. Скоттом особенно любимы эпохи религиозной и политической борьбы в XVI в. („Монастырь“, „Аббат“, „Кенильворт“ — время Елизаветы

и Марии Стюарт); наиболее революционные моменты XVII в. („Певериль“, „Легенда о Монтрозе“, „Черный Карлик“, „Старый Смертный“ — борьба „круглоголовых“ и „кавалеров“; „Вудсток“ — буржуазная революция Кромвеля). Гражданские войны изображались особенно в „Уэверли“ и „Легенде о Монтрозе“ („the period of that great and bloody Civil War“ — говорит Скотт), частично в „Пертской Красавице“, „Роб-Рое“ — наиболее блестящих романах Скотта.¹ Пушкин, „восхищавшийся“ Скоттом в эти годы, вновь должен был внимательно присматриваться и к этой стороне, сам сосредоточившись на изображении крестьянского восстания XVIII в.

Естественно, что и в „Капитанской Дочке“ Пушкин, взяв вновь историческую „смутную“ эпоху „истребления дворянского рода“, пошел в новых своих поисках исторического и социального романа, как и в „Арапе“ и в „Дубровском“, путем, который и в эти годы оставался под знаком человека „совершенно владычествовавшего в Европе над новейшим романом“.² Пушкин шел этим путем не один, шел рядом с армией подражателей В. Скотта, и тем труднее был его собственный путь, что, считая В. Скотта во многих отношениях образцом и учителем, он со многим в его системе был несогласен и тем более хотел резко противопоставить себя „костромским мсдисткам“, вульгарной, дешевой подражательности тех, которые „вызвал демона старины“ не могли справиться с ним. Вот почему представляется методологически правильным, возможным изолировать „русского чародея“ в его непосредственном общении с В. Скоттом, минуя толпу русских „вальтер-скоттиков“, хотя именно в эти годы Лажечников выпускал „Ледяной Дом“, „слишком подражательный В. Скотту во всем кроме слога“ (Н. Греч); Булгарин — „Мазепу“ — по поводу которого Брамбеус громил В. Скотта; Загоскин „Аскольдову могилу“,³ и т. д. и т. д.

При этом порой даже тематика исторической повести внешне была близка пушкинской. Укажу более ранний пример: „Сокрушитель Пугачева, Илецкий казак Иван“ („Оренбургская повесть“ Петра Кудряшева, „Отечественные Записки“, 1829 г.).

Взаимоотношения „русских Вальтер Скоттов“ и Пушкина — особая тема. Выяснить ее — значит осветить с другой стороны и проблему исторического романа Пушкина.

¹ У нас до сих пор распространен совершенно ошибочный взгляд на эту сторону творчества В. Скотта. Ср. указание предисловия к „Сочинениям Пушкина“ (Гиз, 1928): „Между тем у В. Скотта, учителя Пушкина в области исторического романа, большое количество романов разворачивается на фоне непоколебленного, верного себе, устойчивого общественного строя“. В этом анонимный автор видит... главное отличие Пушкина от В. Скотта (стр. VII). Точно так же В. Мануйлов („Пушкин и наша современность“, Пушкинское Общество, 1937, стр. 24) ошибочно полагает, что В. Скотт „по преимуществу берет эпохи устоявшихся социальных отношений“ и т. д.

² „Библиотека для Чтения“, 1834, т. IV, стр. 30. Ср. также: „Даже у писателей, которые по роду своего таланта на него не походят, заметно глубокое изучение нравов, составляющее прелесть творений В. Скотта“.

³ Ср. отзыв „Библиотеки для Чтения“, 1834, т. I („Нужна еще почти исполинская ученость в романисте, чтобы быть В. Скоттом подобного периода“).

Две основные линии, скрещивающиеся в „Капитанской Дочке“, давно уже открыты ее исследователями. Это линии чисто исторического романа и „семейной хроники“. Именно так строится и роман В. Скотта: „Уэверли“, „Роб-Рой“, „Пуритане“ (Old Mortality). „Я думал некогда написать исторический роман, относящийся ко временам Пугачева, но нашел множество материалов, я оставил вымысел и написал Историю Пугачевщины“ — писал Пушкин 6 декабря 1833 г. шефу жандармов. Это „некогда“ было не столь давно, так как, если первые замыслы романа и относятся к более раннему периоду, то, с другой стороны, на одном из планов имеется дата: „31 Января 1833 г.“, а на предисловии: „5 Августа 1833“. Очевидно, Пушкин во время своей оренбургской поездки столько же думал об „Истории“, как и о „романе“. Старое свойство Пушкина, не умеаясь в рамках „вымысла“, параллельно делать исторические экскурсы, в эпоху „Капитанской Дочки“ полнее всего выразилось в завершеном романе и в завершении исторического сочинения из одной и той же „любопытной эпохи“ (хотя невозможность говорить свободно, до конца, слишком явственна в обоих произведениях).

Мало констатировать, что в „Капитанской Дочке“ Пушкин обращался к положениям многих романов В. Скотта. Важнее подчеркнуть и объяснить закономерность этих обращений. В. Скотт многократно варьирует одни и те же положения в различных своих романах. Именно поэтому приходится оперировать аналогичными ситуациями из разных романов Скотта. Для Пушкина, как я покажу, они являлись едиными, соотносясь с единой системой Скотта.

Пушкинское заглавие имеет цель объяснить все странности фабулы, указать причину двойственного положения, в которое попадает герой. Простой подвиг простой дочки капитанской разрубает узлы романа, спасая героя и его честь, которую не берег он смолоду. Именно эти слова, взятые из арсенала дворянской мудрости, поставил Пушкин эпиграфом к роману.

Установка на рядового центрального героя как результат демократических тенденций реалистического романа отчетлива уже и в историческом романе Скотта.

Однако фактическим героем Пушкина является тот, кого он (как и всегда безразлично относясь к фамилии) называет Шванвичем, Башариным, Буланиным, Валуевым, Зуриным, Гриневым. Давая „семейственные записки“, Пушкин возвращается к созданию фикции найденных мемуаров.¹ Указанием на письменную традицию, до известной степени, предопреде-

¹ „Неизданный Пушкин“, 1922, стр. 164—165.

Один из самых ранних планов „Капитанской Дочки“ (с именем Перфильева), находясь в тетради с „Записками“ Нащокина, диктованными им Пушкину в 1830 г., наводит на мысль, что рассказы Нащокина могли сказаться на тоне первых глав „Капитанской Дочки“. Напомню, что эпизод из „Записок“ об отце Нащокина, „замечательнейшем лице екатеринского века“, нашел место и в „Истории Пугачева“.

ляются язык и стиль романа. Уже здесь жанр определен как „свои записки или лучше искренняя исповедь“, которую П. А. Гринев пишет внуку своему. В эпилоге 1836 г. Пушкин вновь вернулся к этому: „здесь прекращаются записки П. А. Гринева... Рукопись П. А. Гринева доставлена была нам от одного из его внуков, который узнал, что мы заняты были трудом, относимся ко временам описанным его дедом“.

Исторический роман, данный как рукопись, как мемуар, в наиболее близких чертах мы встречаем в романе Скотта, тесно связанном с „Капитанской Дочкой“. Вот соответственные места из предисловия к 1-му изданию „Роб-Роя“ 1817 г. и конца последней главы:

В. Скотт

„Тут оканчивается рукопись Ф. Осбалдистона, и я полагаю, что дальнейшие ее страницы касались частных интересов. (Here the original manuscript ends somewhat abruptly. I have reason to think that what followed related to private affairs) <...>

шесть месяцев назад автор получил чрез своих почтенных издателей кипу бумаги, в которой заключался в главных чертах настоящий рассказ <...> пришлось удалить имена <...>, а эпиграфы, выставленные перед каждой главой, выбраны без всякого отношения к эпохе <...> Впрочем, издателю не следует самому указывать...“¹

В. Скотт настаивает на определении своего жанра неоднократно, так же как и Пушкин в своем предисловии (позже откинутом):

В. Скотт

Любезный друг! Ты обратился ко мне с просьбой посвятить тебе несколько досужих часов, которыми провидению угодно было благословить закат моей жизни и рассказать случайности и невзгоды дней моей юности (in registering the hazards and difficulties...) <...>

Не могу сомневаться в правдивости выказанного тобой мнения, что люди, с любовью слушающие рассказы стариков про былое найдут нечто привлекательное в повествовании о моих приключениях <...> Ты с любовью прислушивался к голосу дорогого тебе человека, когда он сам рассказывал о своих приключениях <...> Когда моя рукопись дойдет до тебя, схорони ее <...> ты найдешь в (моих) записках источник груст-

Пушкин

„Здесь прекращаются записки Петра Андреевича Гринева. Из семейственных преданий известно, что он <...>

Рукопись Петра Андреевича Гринева доставлена была нам от одного из его внуков <...> Мы решились, с разрешения родственников, издать ее особо, приислав к каждой главе приличный эпиграф и дозволив себе переменить некоторые собственные имена.

Издатель“.

Пушкин

Любезный внук мой, Петруша! Часто рассказывал я тебе некоторые происшедствия моей жизни и замечал, что ты всегда слушал меня со вниманием, несмотря на то, что случалось мне может в сотой раз пересказывать одно <...>

Начинаю для тебя свои записки, или лучше искреннюю исповедь, с полным уверением, что признания послужат к пользе твоей. Ты знаешь, что, несмотря на твои проказы, я всё полагаю, что в тебе прок будет, и главным тому доказательством почитаю сходство твоей молодости с моею <...>

Ты увидишь, что завлеченный пылкостью моих страстей во многие заблуждения, находясь несколько раз в самых затруднитель-

¹ Предисловие к первому изданию „Роб-Роя“.

ных и поучительных размышлений<...>Вручаю тебе рассказ о моей жизни. Из него ты узнаешь мои дурные и хорошие поступки, мои чувства и мысли. Надеюсь, ты отнесешься к ошибкам и увлечениям моей молодости с той же доброй снисходительностью, с какой смотрел на мои заблуждения (the faults) в более зрелом возрасте. Посвящение моих мемуаров (какое важное название для такого скромного труда!)...¹

ных обстоятельствах, я выплыл, наконец и, слава богу, дожил до старости (<и т. д.>).

В обоих предисловиях поражает близость основной мысли — рукопись есть правдивый отчет об ошибках, доблестях и увлечениях молодости (of my thoughts and feelings, of my virtues and of my failings), отчет, в пушкинской передаче усиливающийся рассказом родственника. И те и другие мемуары XVIII в., данные как „Ich-goman“, открываются характеристикой старого и решительного отца героя. В „Роб-Рое“ отец призывает сына, как и Гринев, внезапно решив, что тот „в летах“ (you are nearly of age), и немедленно отправляет его из дому в Северную Англию. Аналогичный эпизод есть и в начале „Уэверли“ — романе, и в дальнейшем также близком „Капитанской Дочке“. Здесь, в главе II Эдуард Уэверли, произведенный в офицеры, прощается с семейством и едет в полк. Глава „Education“ рисует его воспитание „отрывочное и непоследовательное“ (desultory); он „in fieldsports from morning till night“; он круглый невежда (might justly be considered as ignorant). Главы V и VI уже самими заглавиями (Choice of a Profession и The Adieus of Waverley) ведут к манере Сервантеса и Лесажа, нашедшей своеобразное отражение в зачинах исторических романов Скотта,² к которому особенно близка I глава „Капитанской Дочки“. Эдуард Уэверли делается капитаном в драгунском полку Гардинера, к которому в эпоху шотландских восстаний (1715 г.) и направляется своим дядей. Напутствия последнего близки к словам старого Гринева — эпиграфу всего романа („Насколько позволяют долг и честь, избегай опасности, то есть излишней опасности“ — ср. „на службу не напрашивайся“ и т. д.) и предостерегают от дружбы с игроками и развратниками. Пушкин, как и Скотт, снабжает своего героя рекомендательным письмом к „старинному товарищу и другу“, воспроизводя самый текст письма (к барону

¹ Перевод по изд. Луковникова, стр. 9—10, 60—70, 457. Оригинал см. в „Centenary Edition“, vol. IV, pp. 1—2, 54, 447.

² Ср. единственный, посвященный не англичанину (Лесажу), очерк в „Lives of the Novelists“ Скотта (см. „Сын Отечества“, 1825, ч. 104; в библиотеке Пушкина — № 1369, т. V). Французские переводчики 30-х годов характеризовали так вальтер-скоттовские „биографии“: „с'est la théorie de ses propres compositions, c'est le secret des études qui ont influé sur la direction de son talent“. Дельвиг сетовал в 1830 г.: „До сих пор у нас нет еще перевода жизнеописаний славных романистов“ и жалел „читателей, не знающих иностранных языков“

Бредвардейну — к генералу Р.). Авантюрно-семейный зачин раскрывается у Пушкина, как и у В. Скотта, традиционно. В начале пути, молодого героя обирает встречный.¹ У В. Скотта подобный традиционный зачин авантюрно-приключенческого романа особенно характерно развит в „Приключениях Найджла“.²

Именно в этом романе, столь популярном у нас, Пушкин мог ближе всего встретиться с указанной вариацией традиции. Герой — молодой шотландский лорд — Найджл (Nigel), сопровождаемый оруженосцем-слугой Ричи Мониплайзом, едет странствовать и в Лондоне встречается с лордом Дальгарно (глава IX), который, подобно пушкинскому Зурину, приглашает наивного юнца обедать и, несмотря на добродетельные его отказы („I am bound by an early promise to my father never to enter the doors of a gaming-house“), заводит его в игорный дом. Игра молодого господина вызывает строгую воркотню слуги Мониплайза совершенно в стиле нравочений Савельича и ответную брань господина („My Lord, said Richie, your lordship's occupations are such as I cannot own or contenance by my presence“). (Ed. cit., p. 52, Chapter III). Найджл бранит его и смеется над ним, заглушая, как и Гринев, чувство злости и стыда (betwixt resentment and shame) и чувства угрызений совести (much conscience-struck), а Мониплайз готов, спасая честь господина, лучше сам ограбить кого-нибудь, чтобы добыть лорду деньги, и корит его: „вы совращаетесь с пути истинного, по которому шел ваш отец“ („You are misled, and are forsaking the path which your honourable father trod in...“). Савельича так же трудно унять в его проповедях молодому господину, как и Ричи. В. Скотт прерывает наставления слуги запиской, предупреждающей Найджла не доверяться Дальгарно, Пушкин — запиской от Зурина о долге.

Таким образом на фоне традиционных романических положений Пушкин показал всё своеобразие русского слуги — Савельича.

Укажу здесь же, что и в IX главе „Капитанской Дочки“, создавая комический эпизод со счетом Савельича, читаемым сидящему на коне Пугачеву, Пушкин припомнил такую ситуацию В. Скотта: Найджл просит слугу — Ричи Мониплайза — передать прошение королю, тот дает по ошибке

¹ Неправоммерно игнорируя сложность традиции, по пути изолированных параллелей пошел F. Lannes („Les «Mémoires» d' A. Hamilton et «La fille du Capitaine» de Pouchkine“) в „Revue de littérature comparée“, 1924.

² Цитируем по „«The Fortunes of Nigel» by the author of «Waverley, Kenilworth» etc. in three volumes“ (Edinburgh: Printed for A. Constable. 1822). Роман на другой год по выходе был драматизирован... (George Heriot. „A historical drama...“) и в 1823 г. шел в Эдинбургском театре. Во Франции о романе много писали и часто ссылались на него. В России уже в 1822 г. Н. И. Тургенев зачитывается по вечерам Скоттовым „Веверлеем“, читает „Nigel“ и „Эдинбургскую тюрьму“. Русский перевод выходит у нас в 1829 г. Шаховским роман был приспособлен для драмы, главные роли распределялись между Каратыгиным, Валберховой, Сосницким. („Приключения Нигеля“, ценз. разр. 12 января 1828 г. Экземпляр Библиотеки Гос. театров, № 7512).

сначала свое, бросаемое разгневанным королем. Даем современный Пушкину перевод:¹

„Дело состоит в том, что я подал государю остаток старого счета, который не был доплачен моему отцу ее величеством, всемилостивейшею государынею родительницею нашего короля, когда она жила в Единбургском замке. В то время брали из нашей лавки съестные припасы, что, конечно, делало столько же чести моему отцу, сколько уплата по сему счету доставит его величеству славы, а мне выгоды“ <...> „вот содержание моей просьбы. Мистер Георг, взял из рук слуги старый измятый клочек бумаги, и пробегаая ее, говорил сквозь зубы: «всеподданнейше представляет — его величества всемилостивейшая королева родительница — осталась должна суммою на 15 марок, чему счет при сем прилагается — 15 телячьих ножек для галантиру; 1-н ягненок для Рождества; 1-н каплун на жаркое, когда лорд Ботвель <...> ужинал у ее величества». — Я думаю, милорд, вы более не удивляетесь, почему король так дурно принял вашу просьбу“.²

Пушкинской репликой на этот эпизод явилась „бумага“ Савельича с требованием от Пугачева „штанов белых, суконных на 5 рублей“, „погребца с чайною посудю, на 2 рубля с полтиною“ и, наконец, заячьего тулупчика. Пушкин усилил комизм эпизода, дав его не в пересказе, а в действии, и увеличив самый „реэстр добра“. Для последнего были использованы Пушкиным подлинные документы, оказавшиеся в его руках, но ситуация восходит к В. Скотту.³

Отмечу здесь же, что сцена прихода Гринева и Савельича к Пугачеву, превратившемуся из „дорожного“ в вождя, отдельными штрихами напоминает сцену прихода простодушного кавалера Уайлдрекка к неузнанному им Кромвелю в „Вудстоке“. Кавалер сдерживает свое отвращение, Кромвель сам признается, что был откровенен с ним, против своих правил. Подобно тому как кавалер назвал Лорда Генерала „ваш генерал“ и был остановлен самим Кромвелем, причем с языка Уайлдрекка едва не сорвалось проклятие по адресу Кромвеля, Савельич так же обмолвился, назвав „злодеями“ пугачевцев, был остановлен Пугачевым и вынужден был разъяснить: „злодеи, не злодеи, а твои ребята“. Сходство этих живописных штрихов приобретает особое значение, если вспомнить, что именно этот эпизод „Вудстока“ Пушкин рекомендовал почти в то же время в качестве „картины просто набросанной“, как образец „естественного

¹ „Приключения Нигеля. Сочинение сира Вальтера Скотта. Перевод с английского в 4-х частях“, М., 1829, часть I, главы III и IV, стр. 98. Ср. французский перевод в „*Euvres complètes*“, t. 48, pp. 104—107 (chapitre IV по изд. 1826 г.).

² Русский и французский переводы не вполне передают здесь мастерские штрихи вальтер-скоттовского диалога. Ср. „*Sentenary edition*“, vol. 14, pp. 66—67.

³ Именно эта ситуация (старый слуга, подающий свою „петицию“ сидящему на коне королю) обыкновенно изображалась и на титульной виньетке французских изданий романа Скотта.

изображения“ („Прочтите в „Вудстоке“ встречу одного из действующих лиц с Кромвелем в кабинете Кромвеля“).

Очевидно, Пушкина особенно интересовали и восхищали в подобных случаях просторечие и психология простых героев В. Скотта.¹ Ведь и другая разновидность вальтер-скоттовского „раба“ — Калеб из „Ламмермурской Невесты“ — сказался на „русском Калебе“ — Савельиче.²

Скотт, как и в других случаях, разработал образ Калеба во всех его многочисленных нюансах (Fairserwicke, Owen, Davie), считая фильдингговского Партриджа „характером типично-английским, не известным другим странам“ (статья Скотта о Фильдинге). Ухищрения Калеба скрыть бедность барина, забота о сохранности барского имущества и неприкосновенности его чести, жалобные lamentации по поводу денежных трат, рабская привязанность, доходящая до готовности идти даже в тюрьму, чтобы спасти „честь фамилии“, несмотря на грубое обращение барина, — всё это заставляет сделать вывод, что пушкинский Савельич создан не без внимания и к литературным типам старых слуг В. Скотта, хотя собственный образ и развернут Пушкиным на живом материале его наблюдений над русскими слугами.

Характерно, что последние сами звались у нас нарицательным именем Калеба (слуга Карамзиных). Всякая литературная попытка изобразить слугу этого типа тем более должна была неизбежно ассоциироваться в эти годы с тем же образом. Особое внимание Пушкина к „Ламмермурской Невесте“ не оставляет и сомнения в том, что Пушкин, создавая собственный образ феодального слуги, реагировал именно на образ Калеба, бывший как бы сводкой типа этого рода в мировой литературе. Величие пушкинского героя именно и состоит в том, что в русской литературе впервые, на основе ее национальных элементов, во всей яркости красок ее родного быта и языка, был создан образ, равноправный с лучшими европейскими образцами и обогащенный новыми чертами.

Савельич не только раб, защищающий материальные интересы своего господина. Он бежит „заслонить своей грудью“ Гринева от шпаги врага.

В. Скотт в некоторой степени уже наделил Калеба новыми героическими чертами, которых предшествовавшая традиция не давала.³ Именно

¹ Ср. заметку о „Графе Нулине“.

² Замечание Белинского полуоспаривалось Черняевым („Русское Обозрение“, 1896, декабрь, стр. 1038).

³ Любопытно, что И. А. Гончаров, вновь освежая традицию, по поводу Захара своего „Обломова“, писал: „Он был уже не прямой потомок тех русских Калемов, рыцарей лакейской“. Введение старого слуги-ворчуна перешло от В. Скотта и в „Cinq-Mars“ А. де Виньи. Нет оснований возводить образ Савельича к предшествующим Калебу образам, как это делает Ф. Лянн в „Les «Mémoires» d'A. Hamilton et la «Fille du capitaine» de Pouchkine и А. И. Белецкий в „К истории создания «Капитанской Дочки»“ („Пушкин и его современники“, вып. XXXVIII — XXXIX, 1930, стр. 193—197).

эти черты захватывали художника Пушкина. В. Ф. Одоевский недаром писал Пушкину: „Савельич — чудо. Это лицо самое трагическое, т. е. которого больше всех жаль в повести“.

4

Глава II „Капитанской Дочки“ — „Вожатый“ с эпитафией из „старинной песни“ (у В. Скотта постоянная эпитафия с подписью *Old song*) — уже заглавием должна была напомнить русским читателям о ряде вальтер-скоттовских романов, где, помимо эпитафии, глава часто имеет еще краткое заглавие („Уэверли“, „Квентин Дорвард“, „Гэй Меннеринг“, „Анна Гейерштейн“, „Сен-Ронавские воды“, „Редгонтлет“).¹

Вальтер-скоттовская манера кратких заглавий глав придает внешнюю, новеллистическую дробность и легкость большому жанру; тесно связана она и с поэтикой русского исторического романа.²

Пушкин, давая свой миниатюрный эпос, пользуется этим приемом. Глава — „Вожатый“ — заставляет вспоминать вальтер-скоттовские „*The Vagrant*“ и, буквально, „*The Guide*“ („Кв. Дорвард“, XV),³ так же как заглавие „Незванный гость“ — „*The Unbidden Guest*“ (там же, XXV).

В одном из ранних планов романа, конспективно отмечая „крестьянский бунт“, Пушкин пометил в качестве зачина также: „Мятель — кабак — разбойник вожатый“. Кажется в этот момент, более близкий к „Дубровскому“, для Пушкина еще была важнее разбойничья тема. Ниже также указано: „Молодой Шванвич встречает разбойника вожатого“. Характерно, что в тексте II главы эта литературно-разбойничья тема ступешвана. Нигде нет упоминания „разбойника“. Есть только „вожатый“, „дорожный“, „бродяга“. Лишь очень отдаленно Пушкин намекает, что „умет очень походил на разбойническую пристань“, да Савельич ругает дорожного разбойником.

Буря (появляющийся как „мятель“ уже в ранних планах) нужен Пушкину как оригинальный фон. Из бурана впервые появляется Пугачев. Из бурана „мужичек“ указывает „барину“ дорогу, спасая его, как спас позже из бурана революционного. „Это похоже было на плавание судна по бурному морю“ — замечает Пушкин, и за этими словами вспоминаются другие из черновика предисловия: „находясь несколько раз в самых затруднительных обстоятельствах, я выплыл наконец“. Гринева снился сон, в котором видел он позже „нечто пророческое“, когда „соображал с ним странные обстоятельства“ своей жизни — сон о мертвых телах

¹ У нас Гоголь давал и краткие и амплифицированные заголовки (манера Филдингга). Масальский („Стрельцы“) и Полевой („Клятва при гробе“) не давали заглавий. Булгарин давал заглавия другого рода.

² Ср. хотя бы „Последний Новик“ — система заглавий глав и эпитафий к ним (часто из Пушкина). I том был поднесен Пушкину 18 декабря 1831 г.

³ Особенно излюбленный заголовок (у Лажечникова, например, „Таинственный проводник“).

и кровавых лужах, о странном чернобородом мужике, ласково кликающем под свое благословение...

Но и подсказывая читателю „суеверное“ объяснение сна и мятели (сон, пророчащий бурю-мятеж, вскользь намечен у В. Скотта в „Кв. Дорварде“, XX). Пушкин — гениальный реалист — прежде всего хотел художественно верно и точно передать „местный колорит“ этой мятели. Не видя сам оренбургских мятелей, он обратился к достоверным свидетелям. Он нашел нужное ему описание в письме А. И. Бибикова к Фонвизину; он и в самой „Истории Пугачева“, описывая мятели и снег, замечал: „Снег в Оренбургской губернии выпадает иногда на три аршина“.¹ Так понимал он принцип *couleur locale* исторического романа. „Мятель“ должна была замениться и заменилась именно „бураном“.² Пушкин мог подтвердить эту замену отмеченным им местом книги „Топография Оренбургская“ (№ 342 его библиотеки, т. I, стр. 202—203);³ здесь находится и цитированное в „Истории Пугачева“ место и следующее: „Особливо-ж зимою в Декабре и Генваре месяцах бури, по тамошнему Бураны, бывают с снегом, и при самом жестоком морозе, что от того многие люди замерзают и пропадают, которые тем паче опаснее, что иногда при весьма тихой и умеренной погоде в один час такая туча, или Буран, наступит, и такой штурм причинит, что при сильном снеге сверху и лежащей на земли несет и оным весь воздух столько згустит, что в 3-х саженьях ничего видеть не возможно.“⁴

Существенным отражением вальтер-скоттовской „системы“ является у Пушкина задрапирование первого появления Пугачева. Главный подлинно исторический герой (все равно король это или Кромвель) впервые появляется у В. Скотта неузнанным, под маской, или, во всяком случае, в подчеркнуто неожиданном простом виде. Пушкин реагировал на этот прием уже в „Арапе Петра Великого“. В „Капитанской Дочке“ так изображены при первой встрече оба исторических героя — и Пугачев и Екатерина. Пугачев — простой „вожатый“, „дорожный“, т. е. дан „домашним образом“. Почти в каждом романе В. Скотта встречается эта трансформация. Следуя этой черте в своем историческом романе, Пушкин получает

¹ „История Пугачева“ отмечает целый ряд мест о снеге и мятелях.

² См. о зависимости от „Бурана“ С. Т. Аксакова в сборнике „Пушкин в мировой литературе“, 1926, стр. 287, замечка А. С. Полякова.

³ Б. Л. Модзалевский только предполагал: „книга служила, очевидно, при работах Пушкина над „Историей Пугачевского бунта““. Пушкин действительно сослался на нее в 1-м примечании к главе 6-й и использовал отмеченные им места (Меновой двор, Илецкая Крепостца и др.).

⁴ Странно, как мог Б. В. Нейман сделать вывод: „Значительно слабее влияние В. Скотта сказалося в воздействии на Пушкина принципа *couleur locale* романов его учителя“. Нельзя понимать этот принцип только как описание „домов и костюмов“. Пушкин едет на места битв с Пугачевым для своих „вымыслов“, как В. Скотт едет на поле битвы с Наполеоном. Это и есть собиранье черт „местного колорита“ историческим романистом, не говоря уже, например, о бязыке героев.

возможность простого подхода к Пугачеву. Сцена с „воровским разговором“ в уме, с пословицами и инсказательными намеками, заставляет вспомнить излюбленный В. Скоттом „воровской жаргон“, мастерские диалоги в притонах и гостиницах („Г. Меннеринг“, „Сердце среднего Лотиана“, „Редгонтлет“).¹

В главе III (Крепость) Пушкин словно возвращает читателя к ситуациям „Уэверли“. Старинные люди, старая фортеция — расшифровывают смысл главы эпитафии. И вспоминается глава VIII „Уэверли“ с ее заглавием „Шотландский замок 60 лет тому назад“,² замок, куда, подобно Гриневу, судьба забрасывает молодого Уэверли. Описание фортеции в обоих случаях открывается описанием захолустной деревушки (village) — Белогорской и Тюлли Веолан. Оба писателя дают иллюзию статичности: в одном случае надписью — 1594 год; в другом — картинками взятия Очакова. „Никто не встретил меня“ — замечает Гринев. „Никто не откликнулся“ — Уэверли (No answer was returned). Оба героя стараются представить будущего начальника, открывают дверь, и далее следует описание первой встречи обоих. В одном случае, это странный человек: „его одежда странна (extravagant), старомодна — серая куртка с красными обшлагами и разрезными рукавами на красной подкладке“; в другом случае: „Старый инвалид, сидя на столе, нашивал синюю заплату на локоть зеленого мундира“. Так, встречей с „божьем человеком“ и „с кривым старичком“ подготавливается характеристика обитателей того места, где герой принужден проводить молодость. Наконец, и там и тут вводятся хозяин и его дочь.³ Черты Козмы (Cosmo) Брэдвардейна несомненно напоминают Ивана Кузмича Миронова; ряд черт словно перенесен на генерала Р., но, взамен уснащения латинскими и французскими цитатами, делающими речь последнего пестрой юмористической мозаикой (любимый прием скоттовского диалога), Пушкин делает своего генерала, соответственно историческим реалиям, немцем и, согласно русской традиции, пестрит его речь комической мозаикой немецкого выговора. Роза Брэдвардейн, дичающаяся и краснеющая провинциалка, дана Скоттом в двойном свете — через восприятие Рашлея и Уэверли. Так и Маша дана глазами Швабрина и Гринева. Картина провинциального быта дублирована (это характерно для тематически постоянно самоповторяющегося В. Скотта) и в другом романе — „Роб-Рое“. „Умные люди редки в нашем околдке“, но „есть одно

¹ О связи В. Скотта с „готическим романом“ см. Н. Möbius, „The Gothic Romance“, 1902, и А. Killen, „Le roman terrifiant“, Paris, 1924. О композиционной роли „гостиницы“ : оворит Скотт в начале „Кенильворта“.

² „A Scottish Manor-house sixty years since“. Если датировать начало „Капитанской Дочки“ 1833 годом, то эпоха, описываемая Пушкиным, отделена от него теми же 60-ками, как и эпоха „Уэверли“ от Скотта. Характерно, что Пушкин пришел к выбору эпохи, живых свидетелей которой он еще сам мог видеть. Самый роман Скотта в первом издании носил заглавие „Уэверли или 50 лет назад“.

³ „Waverley“, Chapter X, „Rose Bradwardine and her father“, см. роман в библиотеке Пушкина (№ 1369, vol. I).

исключение“ — говорят герои этого романа („In this country, where clever men are scarce“ ... „there is one exception“). Это исключение — Рашлей (Rashleigh), как в пушкинском „нашем захолустьи“ — по словам героев — Швабрин. Умный, благовоспитанный, с „острым и занимательным“ разговором, знающий языки, почти уродливый, близкий к типу мелодраматического злодея — таков каждый из этих героев. Но как В. Скотт чертами объективности хочет осмыслить лицо героя, его речь, словами героини указать на его ум, так едва заметными штрихами, устами Маши, за Швабриным показывается „человек“.

Пушкин сохраняет и традиционную интригу — ссору между заброшенными в глушь героями. Зло-насмешливый Швабрин толкует доброму Гриневу о глупости Маши, как демон-Рашлей Осбалдистону о легкомыслии Дианы.¹ Даже повод к ссоре (насмешки над стихами добродетельного героя) сохранен Пушкиным, как и тон насмешки самого автора, поддерживаемый архаикой виршей, над тщеславием „поэтов“. На фоне имени автора „Дунсиады“ — Александра Попа — дан здесь Осбалдистон. И Гринева читает свой „опыт“ на фоне имен А. П. Сумарокова и автора „Телемахида“. Кажется, что колкий Швабрин учится у Рашлея, издевающегося над „вторым Овидием во Фракии, не имеющим, однако, поводов писать Tristia“. The diabolical sneer Рашлея стирается у В. Скотта контрастным юмором быта (уговоры добряком — сэром Гильдебрандом — обоих соперников), как „адская усмешка“ Швабрина переводится в комический план рассуждений Ивана Игнатьевича.² В. Скотт дает ряд бесконечно длинных глав прежде чем довести дело до поединка, но моменты, избранные в сцене поединка, опять возвращают Пушкина к В. Скотту. Ведь и у последнего поединок начинается дважды, в первом случае разрешаясь комически. Слова капитанши: „Ах, мои батюшки! На что это похоже? Как? Что? В нашей крепости заводите смертоубийство!<...> Палашка, отнеси эти шпаги в чулан“ — заставляют вспомнить вмешательство хозяйки в ссору в XI главе „Уэверли“: „Как! ваши милости убиваете друг друга! — воскликнула она, смело бросаясь между противниками и ловко покрывая их оружие своими пледом, — и черните репутацию дома честной вдовы, когда в стране достаточно свободных мест для поединка“. Аналогичны по функции и замечания о дуэли добряка-Джерви в XXVI главе „Роб-Роя“.

Главою „Пугачевщина“ Пушкин открывает ряд глав собственно-исторического романа. Семейно-авантюрный роман уступает место изображению эпохи, занимавшей поэта в „Истории Пугачева“. В этих главах, особенно важных для Пушкина, основанных на документах и личном изу-

¹ Бестужев-Марлинский по поводу русских романов писал в 1832 г.: „Везде у них является какая-нибудь Диана Вернон... английский фрак волочитя у вас самих по пятам“. („Письма к Полевым“, „Русский Вестник“, 1851, №№ 3, 4.)

² „Такое весьма благоразумное (Sage as this advice was) наставление... обещало мне больше утешения в будущем; но я им не воспользовался“. У Пушкина: „Рассуждения благоразумного поручика не поколебали меня. Я остался при своем намерении“.

чении исторического материала, однако, явно скрещиваются и реминисценции из нескольких романов В. Скотта („Уэверли“, „Роб-Рой“, „Старый Смертный“, „Кв. Дорвард“), т. е. именно тех, которые подсказывали Пушкину романическое оформление его исторического материала. Старое тяготение Пушкина к историко-социальному роману нашло (насколько позволяли опасения цензуры) наиболее полное и совершенное выражение. Здесь особенно важно вскрыть и использование Пушкиным опыта В. Скотта. Картина набега на крепость многократно была разрабатываема В. Скоттом. Сухие исторические факты эпохи восстания, представшие Пушкину-историку со страниц изученных им архивов, и впечатления от мест, где действовал их герой, в живой образности, вставали перед Пушкиным-романистом со страниц романов В. Скотта, уже разработавшего аналогичные эпизоды гражданских войн своей истории. Не случайно Пушкин именно в это время занят перечитыванием любимого романиста.

Изображая осаду Белогорской, Пушкин, как и каждый современник В. Скотта, думающий над подобной ситуацией исторического романа, не мог не вспомнить своеобразных сцен из „Старого смертного“ (Old Mortality), восставших против короля пуритан-вигов, осаждающих маленькую крепость Тилитудлем. В этом знаменитейшем романе В. Скотта¹ особенно характерна для вообще терпимого автора тенденция (прокламируемая вначале устами Клейшботама) быть объективным в изображении обеих сторон — концепция, которая не могла укрыться и от Пушкина. Сцены тревоги, приготовления к осаде (siege) немногих жителей Тилитудлема, руководимых старым воякой-майором Белленденом, выдержанные в тоне добродушного, специфически вальтер-скоттовского юмора, картины воспоминаний ветерана о былых походах по поводу вести о приближении „мятежников“, сцены послышки разведчиков и призыва к оружию „всех“, самоутешения и утешения женщин — все это были для Пушкина ценнейшие живые черты, как и мужественный отказ старой леди на предложение ее брата-майора уехать с внучкой в соседнюю крепость. В „Записках Бибикова“ нашел Пушкин сухие исторические факты героизма женщин.²

¹ У нас уже в 1824 г. „Благонамеренный“ (№ XIV, стр. 73) писал о „Пуританах“: „Нельзя не купить, не читать и не хвалить, что нравится всей просвещенной Европе“. Ср. в экземпляре Пушкинской библиотеки книгу Hazlitt — „The spirit of the age“, Paris, 1825, pp. 42—44. В том самом номере (№ 13) „Телескопа“ за 1831 г., где Пушкин поместил свои полемические статьи как пример „всеобщей потребности века“, назывался именно этот роман Скотта: „превосходное творение: Old Mortality (Шотландские пуритане) — имеет всё величие поэмы: это современная Иллиада“. Этот роман во все эпохи и у самых различных читателей признавался одним из значительнейших у В. Скотта. Напомню высокую оценку, даваемую ему Лермонтовым. Впоследствии К. Маркс считал „Old Mortality“ „образцовым произведением“ (П. Лафарг, „К. Маркс. По личным воспоминаниям“, сборник „К. Маркс“, 1926).

² № 33 личной библиотеки Пушкина. Интересно отметить место на стр. 263 (с отметками Пушкина): „Достохвальному сему примеру последовали даже и некоторые женщины превозмогая сродную им слабость твердостью и благородством души“ и т. д.

У В. Скотта мог найти он интонации, уже найденные при аналогичных обстоятельствах другим художником, отвечая на них красочным русским просторечием свей Василисы Егоровны (ср. у В. Скотта: „нет братец, если наш старинный замок может выдержать осаду, я предпочитаю остаться в нем. Я два раза на своем веку спасалась из него бегством.... теперь я не покину его, хотя бы мне пришлось покончить здесь мое земное существование“ — No, brother.... since the auld house is to be held our, I will take my chance in it... I will e'en abide now, and end my pilgrimage in it).

На подобных же эпизодах вырастает у Пушкина свой образ, строится своя диалогическая интонация („И, пустое! сказала комендантша. Где такая крепость, куда бы пули не залетали? Чем Белогорская не надежна? Слава богу, 22-й год в ней проживаем <...> Вместе жить, вместе и умирать“). Трижды обращает внимание Скотт на то, что пушки крепости старого образца, на то, что майору с его помощником понадобилось, в момент опасности, прочищать их.¹

Пушкин словно подхватывает этот штрих в шестикратном повторении об единственной старой пушке, из которой по приказу („пушку осмотреть, да хорошенько вычистить“) Иван Игнатьевич вытаскивает „тряпички, камешки, щепки, бабки и сор всякого рода...“ Пушкин возвращается к юмористическому намеку Скотта в словах комендантши и старика („Что бы значили эти военные приготовления, думала комендантша... бог милостив... пушку я вычистил“), как и к полу-шутке Скотта („гарнизона собралось только девять человек, считая в том числе самого себя и Гудайля, так как партия мятежников пользовалась в графстве гораздо большим сочувствием, чем партия правительства — more that nine men under arms, himself and Gudyill included etc.“).

У В. Скотта в „Old Mortality“ осада разрешается благополучно в данный момент, чтобы продолжиться далее. Роман Пушкина, как и всегда, избегает этого сюжетного „топтания на месте“. Главы „Приступ“ и „Незванный гость“, наоборот, сконцентрированы, напоминая скорее лучшие главы В. Скотта в его другом романе — „The Sack“ (разгром) и „The Sally“ (вылазка) в „Кв. Дорварде“, к которому так близки положения „Капитанской Дочки“. Целый ряд традиционных мотивов здесь совпадает (герой спасает героиню, вместе с нею находясь в руках врагов-мятежников). Отсюда вытекают положения, являющиеся лигатурой с центральной темой, важные для романа действия и событий. Герой поневоле оказывается молчаливым свидетелем разгрома, произведенного врагами, и, по контрасту, сравнивает разрушенное с прежней обстановкой („Трудно себе представить перемену ужаснее той, которая происходила в большой зале Шонвальдского замка, где еще так недавно обедал Квентин<...> В той самой комнате,

¹ В современных Пушкину французских переводах только „ayant fait charger les canons“. В оригинале: „caused to be scaled“.

где несколько часов тому назад сидели за чинным, даже пожалуй немного официальным обедом лица духовного сана, где даже шутка произносилась вполголоса<...> теперь происходила сцена такого дикого неистового разгула<...> на верхнем конце стола, на троне епископа, наскоро принесенном из залы совета, восседал сам грозный Вепрь Арденнский¹⁾. Ср. у Пушкина эту же манеру: „Сердце мое заныло, когда очутились мы в давно знакомой комнате, где на стене висел еще диплом покойного коменданта, как печальная эпитафия прошедшему времени. Пугачев сел на том диване, на котором, бывало, дремлет Иван Кузмич“. Эта же ситуация контраста прошлого с настоящим, характерная для романов о рушащемся феодализме, имеется и в главе LXIII „Уэверли“, так и называющейся *Desolation* (герой на развалинах Тюли-Веолана вспоминает свою прежнюю жизнь в нем, рассматривает уцелевшие эмблемы древнего достоинства, ищет старого барона и его дочь. Ср. начало главы VIII у Пушкина). Над соответственными главами у Пушкина трагически нависает тень виселицы на площади или на реке (главы VII, VIII, „пропущенная“). В последнем случае Пушкин, подчеркивая в едином символе ведущие слагаемые силы „Пугачевщины“, детализировал повешенных как инородца, рабочего и сбежавшего крепостного крестьянина. Нечто подобное имеется и у В. Скотта. Виселица на площади как эмблема эпохи (*a stranger and more terrible characteristic of the period*) изображается в „*Old Mortality*“, „Сердце среднего Лотиана“ и „Легенде о Монтрозе“. В последнем случае — с характерной детализацией повешенных („Посредине этого места была поставлена виселица, на которой висело пять трупов; двое из них как обнаруживала их одежда были из низменных стран, а три других тела были закутаны своими пледями Гайлендеров“). Пушкин сохраняет и параллелизм двух фабул вальтер-скоттовского романа (тема грабежа, убийств и пиршества, даваемых как зарисовка исторических событий, сплетается с частной темой — обыденным эпизодом войны: героиню во время восстания прячет мирный обыватель). У Скотта („Кв. Дорвард“) героиню прячет от Дикого Вепря, под видом своей дочери, иронически нарисованный автором, буржуа Павильон; у Пушкина Машу прячет от Пугачева, под видом своей племянницы, поп Герасим.

5

Работа Пушкина над „Историей Пугачева“, в частности карандашные заметки в „Записках Бибикова“, показывает, как тщательно собирал Пушкин моменты героизма безвестных Камешковых, Вороновых, Калмыковых, уже в „Истории“ стремясь придать соответственным эпизодам

¹ „...a few hours before, sat mingled in the same apartment <...> there was now such a scene of wild and roaring debauchery <...> At the head of the table sat, in the Bishop's throne and state, which had been hastily brought thither from his great councilchamber, the redoubted Boar of Ardennes himself...“ (Chapter XXII, *The Revellers*).

художественно-драматический характер. В общей последовательной близости к системе романов В. Скотта перед ним должны были всплывать героический ответ скромного мистера Джерви („Роб-Рой“, XXII), смелые ответы вига („Старый Смертный“), всего более храбрые обличения ужасного Вепря де-ля Марка епископом („Кв. Дорвард“, XXII). Пушкин опирался в разработке своих исторических данных положений на аналогичные, готовые литературные прецеденты.¹

Но мало сказать, что Пушкин берет у В. Скотта ситуацию — герой в стане врагов (как это говорит, например, Б. В. Нейман). Важнее, что герой для спасения любимой девушки вынужден становиться временно в ряды врагов. Здесь Пушкин подошел к центральной для него классовой теме „Капитанской Дочки“. История дала ему сухой рассказ — может быть здесь основной узел до-вальтер-скоттовской, общей завязки романа — „Потом привели капитана Башарина. Пугачев, не сказав уже ему ни слова, велел было вешать и его (подчеркнуто мной, Д. Я.). Но взятые в плен солдаты стали за него просить. Коли он был до вас добр, сказал самозванец, то я его прощаю (подчеркнуто Пушкиным) и велел его, так же как и солдат, остричь по казацки...“² Башарин (таким и бывший в планах), после ряда отброшенных авантурных схем, сделался Гриневым, и эпизод попал в роман („Вешать его! сказал Пугачев, не взглянув уже на меня. Мне накинули на шею петлю“), но романической мотивировкой явились уже „несколько слов“, сказанных на ухо Пугачеву Швабриным, „обстриженным в кружок и в казацком кафтане“. Момент же заступничества солдат остался во фразах: „Не бось, не бось“, но зато романически был обоснован заступничеством Савельича.

Особенно интересовал Пушкина и в его историческом исследовании и в его историческом романе вопрос о том, как вело себя в пугачевщину дворянство. В конце концов, в Швабрине он дал тип „гнусного“ с точки зрения своего класса изменника, в Гриневе тип изменника невольного. Мотив „измены“ явно интересовал Пушкина не только в романе, но и в „Истории“. Они взаимно уясняют друг друга. Случаи „позорной милости офицерам“ подчеркнуты в „Истории Пугачева“ неоднократно: в главе 2-й, в рассказах о Минееве, в описании двойной измены Перфильева (недаром самый ранний „план“ романа начинается в этом смысле особенно значительными именами: „Шванвичь — Перфильев“). Момент измены подчеркивается и в тексте, и в примечании к главе VIII, и в при-

¹ Со сценой пытки башкирца (первоначально играющего в планах Пушкина важную роль) невольно напрашиваются на сопоставление сцены пытки „башмаком“ Макбриара в XXXV главе, интересной для Пушкина-читателя и примечанием о генерале — „звере Московии“ („a Muscovy beast“). При интересе Пушкина к знакомству В. Скотта с Россией не могла пройти мимо Пушкина его характеристика: „Danzell had been long in the Russian service, which in those days was no school of humanity“. Пушкин ввел момент возмущения пыткой и в текст своего романа.

² Пушкин подчеркивал, как известно, и другие моменты прощения Пугачевым за „услугу, за добро“.

ложениях, но, конечно, всего ярче — в обследованной Пушкиным и его занимавшей роли Михаила Александровича Шванвича (Швановича), особенно в позднейшем примечании к главе VII.¹

Особо важно осмыслить пометки Пушкина на его личном экземпляре „Записок Бибикова“: большинство из них посвящено вопросу об измене дворянства своему классу. Факты этого рода и здесь настойчиво собираются и обдумываются Пушкиным. Таковы отметки на страницах 254, 259; карандашные знаки: „P, NB“ — против слов: „ни один дворянин не предался“; место, позже отмеченное чернилами и заложное закладкой, как и другие такого же рода места, касающиеся моментов „сомнения и даже измены“ (стр. 262, 271). Два слоя пометок чернильных и карандашных словно отражают работу романиста и историка, дважды прошедших по одним страницам с целью поверить работу друг друга.

При этом Пушкин явственно возражает официозной истории, старавшейся стусевать подобные факты.

Узнав от Н. Свечина² о „недавней“ смерти подлинного Шванвича-сына, Пушкин хотел прибавить, уже после напечатания „Истории Пугачева“, примечание к VII главе, особенно свидетельствующее об его интересе к поведению различных слоев дворянства („Замечательна разность, которую правительство полагало между дворянством личным и дворянством родовым“ и т. д.). Наперекор Бибикову и другим официозным историкам Пушкин подчеркивал: „Показание некоторых историков, утверждавших, что ни один из дворян не был замешан в Пугачевском бунте, совершенно несправедливо. Множество офицеров (по чину своему сделавшихся дворянами) служили в рядах Пугачева... Из хороших фамилий — Шванвич...“

То же настойчиво повторил Пушкин и в „Общих замечаниях“, подойдя к необходимости вскрыть социальную сущность „пугачевщины“. „(NB. Класс приказных и чиновников был еще малочислен<...> Шванвич один был из хороших дворян)“. Таким образом в Сентенции 1775 г., приложенной Пушкиным к „Истории“, поэта должны были, в работах над романом особо интересоваться пункты: первый — о Перфильеве; восьмой — о Швановиче и десятый — с именем Гринева среди тех, кто „находились под караулом, будучи сначала подозреваемы в сообщении с злодеями, но по следствию (оказавшимися) невинными“. Отсюда, оставленный в живых Екатериной, как дворянин „из хороших“, Шванвич нашел спайку с Швабриным, происходящим „из хорошей фамилии“, и с Гриневым, „дожившим до почтения ближних“ (предисловие к роману 1833 г.). Но Пушкин настаивал и на разграничении: „Немецкие указы Пугачева были писаны

¹ Об этом также говорит интерес Пушкина к образу еще одного „изменника“ — Аристова.

² Из любезно наведенных по моей просьбе В. П. Серебренниковым справок следует, что упомянутый Пушкиным Свечин — Никанор Михайлович Свечин, с которым познакомил Пушкина вероятнее всего В. В. Энгельгардт, брат Софьи Петровны Свечиной.

рукою Шванвича“, который „в команде Чернышева имел малодушие пристать к Пугачеву и глупость служить ему со всеусердием. Г. А. Орлов выпросил у государыни смягчение приговора“. Ср. в плане „Капитанской Дочки“: „Пугачев разбит. Мол. Шв.анвичъ взят — Отец едет просить. Орлов. Екате<рина> Дидерот — Казнь Пугачева“.¹ Очевидно, следует сопоставлять их с тем же примечанием к „Истории Пугачева“. Обращаю внимание на то, что, кроме уже указанных исследователями русских материалов, в распоряжении Пушкина имелись и внимательно брались им на учет также многочисленные иностранные источники, упоминающие о тех же персонажах — Орлове, Шванвиче и Гриневе.² Ряд сведений об Орлове имелся в книге Рюльера,³ на которую Пушкин сослался в „Опыте отражения некоторых нелитературных обвинений“ (ср. стр. 63 и 77: „L'un de ces frères, que la cicatrice d'un coup reçu au visage, dans un jeu public, a fait nommé le Balafré....“). Там же рассказан эпизод с дедом поэта „не хотевшим присягать Екатерине и посаженным в крепость“. Наконец, на фамилию Шванвича Пушкин обратил внимание в сделанных им „Выписках“ из книги Феррана, а фамилию Гринева встречал и у Кастера („Histoire de Cathérine II“, t. 2, p. 327).

Только на фоне указанных интересов Пушкина можно понять пушкинских Швабрина и Гринева, психологию невольного „изменника на час“, пишущего свою „исповедь“. Как бы ни колебалась фамилия от Башарина и Гринева к Шванвичу и Швабрину, как бы ни раздваивался образ, смысл его остается единым. Он занимает центральное крепкое место уже с самых ранних „планов“. Тема дворянской чести в эпоху гражданской войны, или что то же — вопрос об „измене“ своему классу — организующая тема пушкинского романа.

Психология вольной и невольной „измены“ с конца 20-х годов интересовала Пушкина-историка, художника, человека. Собственное политическое положение после разгрома движения декабристов, кончившегося виселицей и каторгой братьев, товарищей, друзей, быть может также до некоторой степени способствовало этому, заставляя Пушкина с особенной силой сосредоточиваться на темах этого рода. Сформулировал ли он свое положение как положение уцелевшего Ариона в горькой формуле: „И ризу влажную мою сушу на солнце, под скалою“, или мысленно сближал себя с Горацием, бросившим щит и счастливо унесенным из сражения Гермием-случаем, несомненно он должен был особо остро чувствовать и литературную ситуацию душевной раздвоенности. Его беспокоил образ

¹ Ср. в другом плане: „Шванвич привозит сына в Петербург. — Орлов выпрашивает его прощение...“

² В экземпляре „Сочинений Д. Дидро“ личной библиотеки Пушкина (№ 881, т. 3, стр. 96, 102) отчеркнуто и отмечено Пушкиным место об Орлове, а в № 883 (т. 3, стр. 117, письмо к mademoiselle Voland 1774 г., описывающее Петербург и Екатерину II) страницы разрезаны.

³ „Histoire ou Anecdotes...“ P., 1797 (№ 1337).

„начавшего учение измен“ Мазепы, изменившего своему классу Дубровского, изменника своему роду Тазита. На материале крестьянской революции и повести о дворянине, не сберегшем чести, Пушкин задумывался над тем же кругом вопросов.

Мог ли поэт в основном, мучившем его вопросе о роли своего класса в „пугачевщине“ найти соответственный, близкий художественный материал в романах В. Скотта? Создавая родной исторический роман, независимо от „русских вальтер-скоттиков“, мог ли он опираться на уже разработанную крупнейшим художником аналогичную тематику?

Писатель, „обладавший Европою“, богато разработал тему „измены“ в ее всевозможнейших нюансах. Белинский обратил внимание на одну из вариаций этой характернейшей черты романов Скотта: „Иногда коллизия может состоять в ложном положении человека, вследствие несоответственности его натуры с местом, на которое поставила его судьба (разрядка моя. Д. Я.). Просим читателей вспомнить одного из героев романа В. Скотта „Пертской Красавицы“, несчастного шефа клана, который при гордой душе и сильных страстях своих, накануне роковой битвы, долженствующей решить участь его клана, признается своему пестуну в том, что он — трус“.¹ В других романах В. Скотта, многократно и внимательно читаемых Пушкиным, был также дан варируемый, но единый образ — безусловно честного человека, которого обстоятельства, случай заставляют почти мимовольно, а иногда сознательно, в условиях гражданской войны, попадать в двойственное, фальшивое положение, иногда играть роль почти изменника.

Особенно В. Скотта интересуют изображения невольной измены, когда герой, в силу обстоятельств, попадает во вражеский лагерь не в качестве пленника, а в качестве лица, случайно присутствующего при действиях своих врагов и таким образом фактически находящегося в ложном положении, дающем возможность квалифицировать его как изменника.

Эта ситуация, интересовавшая В. Скотта, объективность которого приводила к детализированному анализу — и иногда оправданию психологии (зародыш будущего психологического романа),² не могла укрыться от Пушкина, когда он читал В. Скотта в период создания „Капитанской Дочки“.

У В. Скотта в „Old Mortality“ эта тема — ядро всего романа. Он писал роман, собирая сам материалы и проверяя их устными преданиями, сохранившимися среди стариков, рассказами разносчиков (merchants) и стран-

¹ В. Г. Белинский. „Разделение поэзии на роды и виды“. На близость этого образа ж „Гасубу“ я обращал внимание в статье „Лермонтов и Вальтер Скотт“ („Известия Академии Наук СССР“, 1935, № 3, стр. 262—265). Интересные замечания о том же образе, представляющем „a combination of the subjective element with the objective“, дает P. Russel („A guide to British and American Novels“, L., 1894, p. 31).

² K. Gaebel. „Beiträge zur Technik der Erzählung in den Romanen W. Scotts“, 1901. SS. 28, 29.

ствующих портных, которые, как он говорит, — „по самому роду своего ремесла, останавливаясь по неделям в барских усадьбах, могли хорошо знакомиться с местными преданьями“ („...may be considered as possessing a complete register of rural traditions....“); он опрашивал лесничих — их должность наследственная — рядом с епископами и лердами. Его задача „to do justice to the merits of both parties“. Он проверяет качество рассказов (I have enabled to qualify the narratives)¹ стариков сравнением их с семейными хрониками аристократических домов — сторонников Стюартов. Его цель — беспристрастие. А вот формулировка метода, положенного Пушкиным в основу его романа и „Истории“, сделанная Пушкиным: „Я посетил места, где произошли главные события эпохи, мною описанной, поверяя мертвые документы словами еще живых, но уже престарелых очевидцев, и вновь поверяя их дряхлеющую память историческою критикою“.² Вместе с передовыми деятелями французской исторической науки³ Пушкин воспринял метод у романиста.

Если В. Скотт гордился тем, что он осуждает „rigour and tyranny in the one party“, так же как и слепой фанатизм другой, и Пушкин в романе осуждает зверскую пытку лагеря Екатерины и возмущается жестокостью Пугачева; прославляя скромный подвиг Мироновых — Гринев, „что прикажете делать“, почти жалеет „злодея, обрызганного кровью стольких невинных“, мысль о казни Пугачева „отравляет“ его радость. Именно так поступал В. Скотт, так и формулировал свой взгляд в конце I главы „Old Mortality“. Именно на этом фоне гуманизма строится фабула романа.

Мортон, сын умершего на эшафоте героя, спасает вождя вигов Бальфура Бёрли,⁴ вопреки чувству долга тори, ради услуги, когда-то оказанной его отцу. За укрывательство республиканца Мортон арестован. Эдиф Белленден любит Мортон. Лорд Эвандель, любящий Эдиф, ради нее спасает Мортон, беря его на поруки. Но Мортон вынужден выступить во главе „мятежников“, вместе с Бёрли, против замка, где находится Эдиф. Однако, осаждая крепость, он колеблется, политика террора смущает его, он присоединяет к документу свое частное письмо защитнику крепости — майору. В письме он оправдывает себя, убеждая, что он поступил честно (in honour and good faith): „Призываю бога в свидетели, что не разделяю фанатизма и преступного увлечения несчастных угнетателей людей, к которым я присоединился“.⁵ Поступок квалифицируется защитниками крепости как измена (rebellions

¹ Цитаты по „Centenary Edition“, 1871, vol. 5, p. 26; французский перевод в „Œuvres complètes“, 1826, t. 23, pp. 230—232.

² „Об истории Пугачевского бунта“; ср. также рассказы Даля, письма Пушкина к жене, примечания к „Истории Пугачева“.

³ О значении В. Скотта для исторической науки у нас писал В. Майков („Критические опыты“, 1891), а еще в 1836 г. (30 августа) в Харькове М. Лунин говорил речь „О влиянии В. Скотта на новые изыскания по части средней истории“ (ср. в книге В. Бузескула „Исторические этюды“, 1911, стр. 244 и сл.). Ср. L. Maigron, „Le roman historique“, 1897.

⁴ Этот „странник“ (The Wanderer) — одна из лучших фигур в творчестве Скотта, нашедшая себе оценку и во времена Пушкина. Внимание Пушкина должна была остановить и фигура скупого Мильнвуда.

⁵ Цитированная выше глава XXIV.

traitor). Двойственный характер действий все время типичен для героя (он бережет жизнь майора и хочет сам вести осаду, чтобы спасти Эдиф, поддерживает сношения с осажденными, наконец, выпускает своего важнейшего пленника-врага). Личность Мортонна, „связавшего свою судьбу с народным восстанием против деспотических действий правительства“, раздваивается (дублируясь еще двойственным положением другого героя Эванделя). Мортон ведет переговоры с войсками правительства. Его войска разбиты. Естественно, теперь уже виги обвиняют его в измене из-за девушки и готовы казнить его, как пугачевские „енаралы“ — Гринева.

Вот почему и частичные, но последовательные совпадения между „Капитанской Дочкой“ и „Old Mortality“ в манере повествования и тематике становятся кульминационным пунктом „действия“ В. Скотта на Пушкина, нанизываясь на основную разрабатываемую тему — береги честь смолоду. Двойственность положения, в которое попадает слабовольный герой, характеризуется и у Пушкина, как и у В. Скотта, устами героя как „странная“.

Мортон думает: „on the strange vicissitudes of his late life“; Гринева размышляет: „также и о том человеке, в чьих руках находилась моя судьба, и который по странному стечению обстоятельств таинственно был со мною связан“.

Аналогично та же психологическая проблема разрабатывается В. Скоттом и в „Роб-Рое“, и в „Кв. Дорварде“, и в особенности в „Уэверли“ — романе о молодом человеке начала века. Последний роман был значителен для Пушкина также подчеркиванием того обстоятельства, что юный герой попадает в „странное положение“ из-за колебаний между мотивами политическими и любовными (главы: The English Prisoner и Intrigue of Love and Politics).¹

Уэверли вынужден молчаливо присутствовать при казни своего друга — иаковита Фергуса, как и Гринева, чувствующий „бесплезность заступления“ во время казни своих друзей. На коллизии долга и любви и там и здесь балансирует весь роман.

Немецкий исследователь В. Скотта справедливо замечает: „Sicher ist Waverley kein psychologischer Roman in modernem Sinne, aber doch fast der einzige, in dem Scott es ernstlich versucht, den Helden durch die Berührung mit der Welt zu läutern und zu vertiefen“ и еще: „Dass «Waverley» als Charakterproblem gedacht ist, ergibt sich schon aus der ungewöhnlichen Sorgfalt, mit der Scott die psychologische Fundamentierung aufführt“.²

Чрезвычайно любопытно, что сам В. Скотт не только дает психологический рисунок душевного состояния героя, но и подчеркивает в XXV главе „Уэверли“, как Пушкин в эпитафии, основную мысль романа игрою на понятиях „Waverley Honour“ и „Wawering honour“, т. е. „честь Уэверли“ и „колеблющаяся честь“.

¹ Заголовок, искажавшийся русскими, но сохраненный французскими переводами.

² K. Gaebel. „Beiträge zur Technik der Erzählung in den Romanen W. Scotts“, 1901, SS. 28—29. Ср. также A. Siebert, „Untersuchungen zu W. Scotts Waverley“. Inaug.-Dissertation, Berl., 1902, SS. 24—25.

Характерно, что, как и „Капитанская Дочка“, „Уэверли“ имеет и общий эпиграф (взятый у Скотта из Шекспира), вскрывающий ту же основную тему: „Какому служишь королю, бездельник? ответь, или умри!“¹

Роб-Рой, Бальфур и Фергус — сословные, политические или религиозные враги героев В. Скотта субъективно являются их друзьями-благодетелями. И Пушкин дает своего исторического героя — Пугачева „домашним образом“ обнажая этот прием в словах: „расставаясь с этим человеком, извергом, злодеем для всех, кроме одного меня...“ и „Зачем не сказать истины. В эту минуту сильное сочувствие влекло меня к нему“. В сущности, взаимоотношения Гринева и Пугачева строятся на цепи случайностей, на услуге за случайную услугу, на искренности за искренность, на великодушных „припадках“ Пугачева. На лестницу предложений-вопросов Пугачева Гринева отвечает лестницей отказов. Получается так, в этой гениальной по своей жизненной правдивости сцене, что ответы полупленника, полу-гостя Гринева становятся всё более „дерзкими“, несговорчивыми, слова Пугачева всё более уступчивыми („Или ты не веришь, что я великий государь... Послужи мне... обещаешься ли по крайней мере против меня не служить... Ступай себе...“). Воля сильного парализуется, сдается, отступает шаг за шагом перед искренностью, которая в итоге утомляет Гринева „душевно и физически“. Это чисто пушкинский узор, но он вышит на канве вальтер-скоттовской традиции (ср. также подшучивания, приглашения выпить, попировать на свадьбе героя, делаемые Вепрем в аналогичной ситуации „Кв. Дорварда“, с аналогичным изображением Пугачева).

Главы „Капитанской Дочки — „Арест“ и „Суд“ — непосредственно восходят к аналогично называемым главам „Допрос“ (Chapter XXXI, An Examination) и „Совещание“ (XXXII) в „Уэверли“, где герой является жертвой „приятельских“ своих отношений с „мятежниками“: о нем сожалеют как о члене достойной фамилии, ему предъявляют обвинения в распространении духа неповиновения и мятежа среди солдат, вверенных его начальству, в подаче примера дезертирства („you are charged with spreading mutiny and rebellion among the men you commanded, and setting them the example of desertion“). Уэверли, как и Гринева, пробует оправдываться от клеветы чистосердечно, но совокупность улик — против него. Пушкин именно здесь сгущает, как и юрист В. Скотт, эти улики, чтобы создать иллюзию убедительности „измены“. Уэверли и Гринева пробуют сослаться на письма своих знакомых, но случайно письма „изобличают“ их же. Характерно, что когда обвинения, оскорбляющие Уэверли, доводят его до отчаяния, он объявляет, „что больше отвечать не будет, потому что все его откровенные, чистосердечные показания обращаются против него же“.²

¹ Under which king, Bezonian? speak, or die! (Henry IV).

² „...resolutely refused to answer any farther questions, since the fair and candid statement, he had already made, had only served to furnish arms against him“.

Наконец, Уэверли окончательно замолкает, не желая вредить друзьям¹ и называть Флору и Розу („And indeed neither mentioning her nor Rose Bradwardine in the course of his narrative“).

Подозрения, что Гринева подослан к Пугачеву „от Оренбургских командиров“, внешне столь же обоснованны, как и упреки другой стороны в „странной дружбе“ с Пугачевым. Логика Белобородова внешне так же „убедительна“, как и логика „допросчика“ екатерининского суда. На ее фоне Швабрин имеет возможность бросить Гриневу обвинение в шпионстве.

Таким образом Пушкин использовал для своих целей романтическую интригу В. Скотта — обстоятельство, показывающее, что точка зрения его на Гринева была того же рода, как у В. Скотта на Уэверли: роковое сцепление обстоятельств доводит честного, но безвольного человека до положения, юридически квалифицируемого как „государственная измена“. Но он еще не изменник.

6

Совершенно естественно, что указанными важнейшими сближениями не ограничивается соотношенность „Капитанской Дочки“ с романами Вальтер Скотта. На основные совпадающие нити повествования нанизываются и другие ряды более мелких аналогий. Письмо Марьи Ивановны Гринева из Белогорской несравненно сжатее, выразительнее и трагичнее письма Розы к Уэверли, но функция обоих писем в романе аналогична, как и функция описаний военного совета. Спасение связанного отца Гриневым напоминает XXIII главу „Певерилия Пикского“, схожий эпизод из смутной эпохи XVII века.²

В „Old Mortality“ (глава XXII) имеется сравнение с грызущимися псами ссорящихся и разнимаемых вождем (Бальфуром Бёрли) его пособников (Кетльдрумля и Поундтекста). Оно напоминает ссору разнимаемых Пугачевым и сравниваемых с грызущимися „кобелями“ Хлопуши и Белобородова.³

Допрос Гринева Пугачевым об Оренбурге заставляет вспомнить отдельные черточки допроса капитана Дальджетти (из „Легенды о Монтрозе“), скрывающего количество своих войск и жалующегося на недоимки. Мы знаем, что Пушкин считал образ Дальджетти „гениально изображенным“. В этом изображении хвастливого и смелого, болтливого и лукавого, бесцеремонного и многовидавшего вояки, пересыпающего свою речь латинскими цитатами и ссылками на живых и мертвых полководцев, знавших его, Пушкина, очевидно, пленяли правдиво-жизненная типичность,

¹ „...you should sooner have my heart out of my bosom, than a single syllable of information on subjects which I could only become acquainted with in the full confidence of unsurpassing hospitality“.

² В библиотеке Пушкина сохранился перевод романа на французский язык.

³ Аналогичное сравнение у Скотта встречается также в XXVI главе „Кв. Дорварда“.

красочность речи и юмор. Отдельные моменты, связанные с этим персонажем, естественно, могли вспомниться и во время работы над „Капитанской Дочкой“. Пушкин как раз вспоминает: „Кажется, слышишь храброго капитана Dalgetty, жалующегося на недоимки и неисправность в платеже жалованья“.¹

Подобные параллели можно бы легко умножить, но дело не в них. Мне было важно показать, что основные идеологические и стилистические тенденции „Капитанской Дочки“ созпадают с тенденциями, варьируемыми в романах Скотта. На материале повествований В. Скотта о феодальном долге и чести решал Пушкин вопрос о долге и дворянской чести в пугачевскую эпоху. На этом материале косвенно выверялся вопрос и о собственном идеологическом поведении Пушкина в его время. Осуждая Швабрина, он оправдывал Гринева. Осуждая устами Гринева русский бунт, он устами того же Гринева не побоялся высказать симпатии Пугачеву. При этом для анализа собственных взглядов Пушкина существенно, что он не ввел в печатный текст „пропущенную главу“. Вероятнее всего здесь играли роль опасения давать картину бунта крепостных в поместьи Гриневых (сюжет был гораздо нецензурнее, чем общая картина „пугачевщины“). Но вместе с тем из печатного текста, очевидно не случайно, оказалась выброшенной и концовка: „Те которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, кои и чужая головушка-полушка, да и своя шейка-копейка“. Повидимому, печатаясь эта глава, эти строки имели бы защитный смысл. С удалением картины крестьянского бунта Пушкину незачем было делать этот выпад против замышляющих перевороты.

Привлекая новые материалы, я намеренно не касаюсь здесь связей „Капитанской Дочки“ с „Сердцем среднего Лотиана“ („Эдинбургская Темница“) потому, что эти связи уже прочно, хотя и не без труда, вошли в сознание историков литературы. С другой стороны, их я считаю менее важными и только случайно издавна бросавшимися в глаза русской критике. Гораздо значительнее представляются сближения с В. Скоттом, касающиеся центральных линий романа. Сам Пушкин отчетливо наметил комплекс реальных фактов, явившихся ядром „Капитанской Дочки“.

Пояняя цензору обстоятельства возникновения сюжета своего романа, Пушкин писал 25 октября 1836 г.: „Имя девицы Мироновой вымышлено. Роман мой основан на предании, некогда слышанном мною, будто один из офицеров изменивших своему долгу и перешедших в шайки пугачевские, был помилован императрицей по просьбе престарелого отца, кинувшегося ей в ноги. Роман, как изволите видеть, ушел далеко от истины“...

Как видно из „планов“, Пушкин первоначально думал быть верным преданию („Отец едет просить Екатерину“). Однако затем развязка

¹ „Tales of My Landlord“, vol. IV, Edinburgh, 1819, ch. V, pp. 102—103. Жалобы Дальджетти см. также в главах 2 и 16.

романа пошла путем, более близким к В. Скотту. Не отец, не Орлов, а героиня была сделана просителем за героя. Но все же, хоть роман и оказался озаглавленным ее именем, смысл его для Пушкина явственно был сформулирован не в заглавии, а в эпиграфе.

„Выпрашиванье прощенья“ — из центрального мотива сделалось только развязкой романтической части.

Отмечу поэтому в этой последней лишь моменты, ускользавшие от внимания исследователей.

Давая образец диалога, Пушкин замечает: „Разговор Анны Власьевны стоил нескольких страниц исторических записок и был бы драгоценен для потомства“. Здесь Пушкин, сопоставляя просторечие с мемуарами, явно близок своим же замечаниям о диалоге у В. Скотта. Вспомним и дневник Пушкина: „18-го дек. Опишу всё в подробности в пользу будущего Вальтер Скотта“. 8 янв. <1835 г.> „Замечание для потомства“ <...> Февраль. „Придворными сплетнями мало занят. Шиш потомству“.

Приближаясь к описанию встречи Дженни с герцогом и, особенно, с королевой Каролиной, Пушкин вновь возвращается к вальтер-скоттовскому приему, употребленному им уже в „Арапе Петра“, — он изображает Екатерину при первом появлении как даму „в ночном чепце и душегрейке“, потом как „неизвестную даму“, „бывшую при дворе“. Как показывают планы „Капитанской Дочки“, в свите Екатерины Пушкин предполагал первоначально поместить Дидро („Дидерот“). Функция введения в роман фигуры Дидро прекрасно объясняется в системе вальтер-скоттовского романа, теряя в ней свою „неожиданность“. Вальтер Скотт обычно помещал в свите своих монархов выдающихся писателей их эпохи. Так, Шекспир и Роули выведены в свите Елизаветы вместе со Спенсером в „Кенильворте“; Аржантен — при дворе Карла („Анна Гейерштейн“). Характерно, что сам Пушкин ошибочно указал Мильтона как лицо, встречающееся в „Вудстоке“ с Кромвелем (в действительности Милтон там только упоминается).

Вальтер-скоттовская манера нашла свое применение и в русском историческом романе и смежной с ним повести. Лажечников в непривлекательном виде изобразил в „Ледяном Доме“ фигуру Третьяковского, что вызвало горячее заступничество Пушкина за последнего (письмо от 3 ноября 1835 г.), даже Гоголь в „Ночи под Рождество“, касаясь „исторического“ момента, вывел в свите Екатерины Фонвизина.

Может быть эти прецеденты и были причиной того, что „взыскательный художник“, взвешивая в окончательной редакции ценность приема, воздержался от „эффекта“ выведения „пылкого Дидерота“ рядом с Екатериной. Любопытно, что манера де-Виньи в „Сен-Маре“ противопоставляется Пушкиным „естественному изображению“ „бедного В. Скотта“ именно в этом пункте.

Попытавшись показать Екатерину „домашним образом“, Пушкин в заключение вынужден был все же дать ее образ и в традиционно-

официозном, почти лубочном тоне как образ милостивой царицы, видимый глазами героев-дворян. Этот образ находится в вопиющем противоречии с обычными резко отрицательными мнениями самого Пушкина о „развратной государыне“ („Но со временем история <...> откроет жестокую деятельность ее деспотизма под личиной кротости и терпимости <...> голос обольщенного Вольтера не избавит ее славной памяти от проклятия России“). Понятно, без условно-сусального лика Пушкин не мог бы и думать о проведении своего романа в печать. Это видно уже из переписки его с цензором.

Величайшая трудность противоположного рода стояла перед Пушкиным в вопросе об изображении Пугачева. Единственным путем для изображения запретной фигуры Пугачева не в виде „злодея“ был путь показа его как традиционного романтического „разбойника“. „Незнакомец“, сначала встречающийся в дороге, „таинственный проводник“, пользующийся услугой героя и потом сбрасывающий маску и оказывающий в момент своей силы в свою очередь помощь герою, — такие варианты „благородного разбойника“ в творчестве В. Скотта были представлены ярко (Роб-Рой, Бёрли, и др.).

Образ горского вождя Роб-Роя, говорящего красочными поговорками и пословицами шотландца, симпатичного своим умом и смелостью и в свою очередь симпатизирующего молодому герою („Я показал бы всякому другому, что значит сопротивляться мне; но вы мне нравитесь, молодой человек“), хотя и пугающего его своей „кровожадностью“, — это был именно тот нужный Пушкину литературный образ, за которым можно было спрятать Пугачева. Роб-Рой гостеприимен, он защищает героя от своих товарищей, он не прочь перемолвиться с ним скрытым от друзей намеком, он произносит тирады в защиту угнетенных „кровоавыми законами“. Осбалдистон с неохотой пользуется его угощением, но вынужден принимать от него более крупные услуги.

Показав своего Пугачева сначала под видом „дорожного“ сметливого „мужика“ с тонким чутьем бродяги, Пушкин затем тщательно останавливался на двойственности производимого им впечатления. „Наружность его показалась мне замечательна <...> живые большие глаза так и бегали. Лицо его имело выражение довольно приятное, но плутовское“ — это первое впечатление. Второе, хоть и дается на фоне эпитетов „злодей“ и „мошенник“ и того же „выражения плутовства“, но вместе с тем подчеркивает еще определеннее: „Черты лица его, правильные и довольно приятные, не изъявляли ничего свирепого <...> он засмеялся, и с такою непритворной веселостию, что и я, глядя на него, стал смеяться, сам не зная чему“. Пугачев Пушкина — веселый благодетель, помнящий, что „долг платежом красен“, не позволяющий „своевольничать и обижать народ“.

Эта трактовка человека, который традиционному дворянскому сознанию подавался как „изменник, враг и тиран“, могла быть достигнута только

под защитной формой литературного образа „благородного разбойника“. Пушкин, словно забывая, что изображает бунтовщика Пугачева, „проклинаемого церковью“, преподнес своему дворянскому читателю между строк такие фразы этого бунтовщика: „коего. цель была ниспровержение престола и истребление дворянского рода“; „Ты видишь, что я не такой еще кровопийца, как говорит обо мне ваша братья“. Больше того: благодарный Пугачеву Гринев от своего и Машиного имени заявляет: „А мы, где бы ты ни был, и что бы с тобою ни случилось, каждый день будем бога молить о спасении грешной твоей души....“ Так насыщенность романа литературным вальтер-скоттовским материалом позволила Пушкину пойти даже на эту невероятно звучащую ситуацию: дворянин при всяких обстоятельствах, каждодневно молится за... Пугачева! И еще раз Пушкин подчеркивает двойственность образа Пугачева: „Не могу изъяснить то, что я чувствовал, расставаясь с этим ужасным человеком, извергом, злодеем для всех, кроме одного меня. Зачем не сказать истины? В эту минуту сильное сочувствие влекло меня к нему“.

Пугачев Пушкина, понятно, основан на материалах и представлении о живом, историческом русском Пугачеве, и в этом смысле он не имеет ничего общего с романтическими героями — разбойниками В. Скотта. Смешно и нелепо было бы сблизать самые образы только в генетически-литературном плане, ибо даже сближения Калеба и Савельича возможны потому, что сходство заложено в образах, данных самою жизнью, в сущности говоря, более решающих, чем их литературные опосредствования. Пушкин превосходно знаком со своим историческим русским героем; Пушкин рисует его как живого русского современника и связывает его с вальтер-скоттовскими героями, заведомо иного типа, потому что, разумеется, отношение В. Скотта ко всем его „благородным разбойникам“ совершенно иное, чем отношение Пушкина к реальному Пугачеву. Но Пушкин сознательно ставит своего Пугачева в литературно-шаблонированные положения „благородных разбойников“ В. Скотта. Пусть положения эти общеизвестны. Пушкин не прочь подчеркнуть в этих главах свою нарочитую связь со „старинными романистами“ и здесь же, по вальтер-скоттовскому способу, выдумывает эпиграфы, приписывая их другим писателям. На фоне этой литературщины, проклинаемый церковью „злодей“ впервые утверждается в русском историческом романе. Возможностью приоткрыть свое истинное отношение к Пугачеву Пушкин обязан несомненно художественной системе вальтер-скоттовских романов.

Он был нарисован „домашним образом“ не только в виде „вожатого“ или запросто рассказывающего „калмыцкую сказку“. Даже в трагический момент его казни Пугачев узнает Гринева в толпе. Он „узнал его в толпе и кивнул (в черновой рукописи: „узнал его в толпе, мигнув“) ему головою, которая через минуту, мертвая и окровавленная, показана была народу“.¹

¹ Нарочито-литературный штрих. Так, Фергус перед своею казнью успевае махнуть рукою Уэверли.

Подавая своего Пугачева читателю глазами раздвоенного и колеблющегося (вроде вальтер-скоттовских героев) Гринева, Пушкин тем самым нашел возможность утвердить в историческом романе внутренне симпатичный ему самому образ вождя крестьянской революции, отнюдь не черня его сплошь одною черною краской.

7

Заочный знакомец В. Скотта и приятель Пушкина — Денис Давыдов — писал Языкову 3 октября 1833 г. по поводу „загадки появления“ Пушкина в Казанской и Оренбургской губерниях, предполагая сочинение „какого-нибудь романа, в котором будет действовать Пугачев“. „Авось ли мы увидим что-нибудь близкое к Вальтер Скотту; по сю пору мы не избалованы качеством, но задушены количеством романов“.¹ И 7 ноября (письмо к Языковым, у которых Пушкин только что был): „Рад душевно, что П. принялся за дело“ (имеются в виду его „вдохновения“). Очевидно, Пушкин писал роман, близость которого к В. Скотту мыслилась многими.

Разделавшись с корректурой „Истории Пугачева“, Пушкин, видимо, вновь берется в Болдине осенью 1834 г. за переработку „Капитанской Дочки“ и как раз в это время пишет жене: „Читаю Вальтер Скотта“ (конец сентября). 19 октября он пишет Фукс: „я весь в прозе“. Осенью следующего года (21 сентября) из Михайловского сообщает жене: „Я взял у них <Вревских> Вальтер Скотта и перечитываю его. Жалею, что не взял с собою английского“ и через две-три строчки: „Осень начинается. Авось засяду“. Очевидно, в мыслях о „Капитанской Дочке“ стимулом являлся В. Скотт. И через 4 дня снова: „Читаю романы В. Скотта, от которых в восхищении“ и рядом: „вообрази, что до сих пор не написал я ни строчки“. Итак, Пушкин читал в эти дни несколько романов Скотта (во французском переводе, надо полагать). Еще через несколько дней: „езжу в Тригорское,² роюсь в старых книгах<...>, а ни стихов, ни прозы писать и не думаю“. Наконец, 2 октября: „Со вчерашнего дня начал я писать<...> Авось распишусь“.

Пушкину важно было дать образ человека, связанного с Пугачевым („странная дружба“). Это можно было осуществить лишь на литературном материале, привычном, общеизвестном, романическом. Здесь Пушкин подошел к В. Скотту и за его литературными образами героев между двух станом, хорошо известными современникам, смог показать своего героя, как он пишет в одном из планов „Капитанской Дочки“, — „во стане Пугачева“, а через него показать и самого Пугачева.

¹ „Русская Старина“, 1884, XLIII, стр. 142—144.

² В настоящее время в библиотеке Пушкина на французском языке из романов Скотта имеются только „Woodstock“ и „Peveril“, а в библиотеке Тригорского — „La jolie fille de Perth“ и „Histoire du Temps des Croisades“.

Роман, в котором впервые выводился Пугачев, мог быть осуществлен лишь как роман о Гринева и капитанской дочке. Этим Пугачев внешне попадал в защитную рубрику эпизодического героя „семейственных записок“ — „романтического разбойника“, путем ряда романических „странностей“-случайностей, ставшего близким Гриневу.

В „Истории Пугачева“ Пушкин, понятно, лишен был этой возможности, будучи вынужден подходить только как историк. Но изученная им подлинная жизнь русского прошлого не могла исчерпаться для Пушкина в одном изложении историка. Ведь Пушкин-художник, говоря его собственными словами (1833), прежде всего „думал некогда написать исторический роман, относящийся ко временам Пугачева“ и, как он же сам пояснил в 1836 г., этот роман был основан на предании „будто бы один из офицеров изменивших своему долгу и перешедших в шайки пугачевские был помилован императрицей по просьбе престарелого отца...“ Сам Пушкин подчеркивал и элемент вымысла: „Роман, как изволите видеть, ушел далеко от истины“. Действительно, только в романе Пушкин смог в некоторой мере приоткрыть свое настоящее отношение к образу офицера, перешедшего к Пугачеву и к живому образу самого Пугачева — сметливого и живого, „изумляющего“ и „замечательного“, хладнокровного и смелого, благородного, даже внешне „довольно приятного“ и моментами вдохновенного, хотя всегда реалистически простого, народного вождя. Под прикрытием обычных положений исторического (вальтер-скоттовского) романа, официально рекомендуемого Пушкину еще со времен „Бориса Годунова“ как лояльный жанр, Пушкин смог намекнуть, хотя бы устами Гринева, на собственные точки зрения.

Дело не только в том, что „Капитанская Дочка“, как сказал Чернышевский, прямо возникла „из романов Вальтера-Скотта“, а дело в том, что Пушкину нужна была эта связь для своего романа, идеи которого он не мог высказать ни как историк, ни как беллетрист какого-либо другого жанра.

Если прочесть „Капитанскую Дочку“ непосредственно за любым из сюжетно-близких романов Скотта, видишь: многие ситуации аналогичны, многие детали схожи, многое неизбежно напоминает о В. Скотте, но в целом роман, задачи его построения, смысл его, взятых из русской действительности, из нашей истории, образов — другой, принципиально новый, художественно высший. Подобно тому как, обращаясь в лирическом стихотворении к второстепенному или первоклассному поэту, Пушкин делает это всегда, чтобы показать себя, свою мысль, свой художественный поворот, — и в „Капитанской Дочке“ литературная традиция нужна Пушкину, чтобы влить в нее небывалое содержание, дать новые мысли, дать собственные художественные образы. Образы безвестных, но героических маленьких людей, характерные для всей пушкинской прозы, нашли свое завершение в образах Савельича, Мироновых и Гриневых. Давнее тяготение Пушкина изобразить героя-протестанта осуществилось. Его место занял подлинно исторический, народный герой,

показанный так, как „то, что мы видим вокруг нас,“ — с абсолютной простотою и правдивостью. Воплотил, наконец, Пушкин и страстно волновавшую его в течение ряда лет тему — тему крестьянского бунта.

Краткий по размерам, быстрый по рассказу, предельно ясный по стилю, насыщенный гениальными образами и четкой, ищущей мыслью, пушкинской роман непреходимую пропастью отделился от питавших его романов В. Скотта.

В едином стремительном пробеге по вершинным из них Пушкин поднялся на новую высшую ступень не только русского, но и общеевропейского романа.



В. Г. ГУЛЯЕВ

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОЧНИКАХ „КАПИТАНСКОЙ ДОЧКИ“

I

Буржуазные литературоведческие школы в вопросе о литературных влияниях могут быть разделены на два основных направления. Одни исследователи исходили из точки зрения полной художественной „самобытности“ писателей-классиков, их полнейшей независимости от историко-литературного процесса.

Другие, доказывая наличие влияний предшественников в развитии каждого писателя-классика, нередко доходили до крайностей. Некоторое сходство сюжетов, совпадение отдельных слов в произведениях двух писателей стремились объяснить непременно „влиянием“ и „подражанием“. В результате многие произведения наших великих писателей XIX в. оказались расчлененными на отдельные куски, якобы заимствованные из различных произведений западноевропейской литературы.

Борьба различных точек зрения в вопросах о влияниях очень резко проявилась в критической литературе о „Капитанской Дочке“ (Н. И. Черняев, Н. Страхов, М. Гофман, Б. Нейман, А. И. Белецкий и др).¹

Проблему литературных влияний буржуазное литературоведение бессильно было разрешить. Компаративисты с их теорией „миграции сюжетов“, Брюнетьер с его абстрактными законами эволюции жанров, правда, накопили богатый эмпирический материал, свидетельствующий о процессе литературного взаимодействия в международном масштабе. Но объяснить этот процесс, вскрыть его закономерность они не могли — идеалистический тезис об имманентной филиации идей, разумеется, ничего не объяснял. Только марксизм с подлинной научной убедительностью решил эту проблему, раскрыв законы социально-экономического развития человечества и в частности законы буржуазного общества. „Своей эксплуатацией всемирного рынка буржуазия преобразовала в космополитическом духе производство и потребление всех стран..,— писали Маркс и Энгельс в „Коммунистическом манифесте“. — Прежняя местная и национальная замкнутость и самодовление уступают место всестороннему обмену

¹ Ср. „Пушкин. Временник Пушкинской комиссии“, т. 1, 1936, стр. 311—312.

и всесторонней взаимной зависимости народов как в области материального, так и в области духовного производства. Плоды умственной деятельности отдельных наций становятся общим достоянием. Национальная односторонность и ограниченность становятся теперь все более и более невозможными, и из многих национальных и местных литератур образуется одна всемирная литература“.¹

Марксизму чужда и враждебна вульгарная трактовка исторического развития. Во введении „К критике политической экономии“ Маркс говорит о „неодинаковом отношении развития материального производства... к художественному“, о том, что „...вообще понятие прогресса не следует брать в обычной абстракции.“ Вопрос о причинах воздействия одной литературы на другую надо всегда решать конкретно-исторически. Самое благотворное в разрушении национальной ограниченности и в процессе создания всемирной литературы заключалось в том, что прогрессивные тенденции передовых народов становились достоянием менее развитых стран и двигали вперед их культуру. Гениальный основоположник новой русской литературы Пушкин, с присущей ему широтой и проницательностью, критически использовал „плоды умственной деятельности“ передовых стран для того, чтобы дальше развивать литературу своей родины и вместе с тем двигать вперед „художественное развитие всего человечества“.

В свете учения классиков марксизма и следует рассматривать влияние великих западноевропейских писателей на Пушкина.

Однако не меньшее, а быть может, большее значение, чем установление литературных влияний в творчестве Пушкина, имеет установление реальных исторических источников его произведений.

Основные работы об источниках „Капитанской Дочки“ очень далеки от указания на реальные источники из-за того, что изучение творческого процесса работы Пушкина над этим произведением было оторвано от изучения конкретной исторической действительности пушкинской поры и от того периода русской действительности, который нашел отражение в „Капитанской Дочке“.

Русская история была для Пушкина не историей царствований, как понимал ее Карамзин, а историей борьбы общественно-классовых сил. Именно потому Пушкин проявлял особый интерес именно к тем периодам русской действительности, которые были наиболее насыщены политической борьбой.

Как известно, еще до написания „Истории Пугачева“, Пушкин внимательно изучал эпоху Екатерины II. После убийственной характеристики Екатерины II (1822) Пушкин в „Истории Пугачева“ и в „Капитанской Дочке“ не мог и не хотел уйти от исторической правды, хотя она и не могла быть высказана полным голосом по цензурным условиям. К произведенным в пушкиноведческой литературе сопоставлениям отдельных

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. V, М.—Л., 1929 г., стр. 486—487.

мест „Истории Пугачева“ с соответствующими местами „Капитанской Дочки“ мы можем указать на материалы, устанавливающие новые источники „Капитанской Дочки“.

II

В 1832 г. Е. Аладыным издан „Невский Альманах“, в котором под псевдонимом „А. К.“ помещено мемуарное повествование под заглавием — „Рассказ моей бабушки“. Этот рассказ, напечатанный с предисловием автора, ведется от первого лица — участника событий. Бабушка рассказывает своему внуку, как она переживала в действительности „пугачевщину“. Она еще молодой девушкой жила в крепости Нижне-Озерной со своим отцом, капитаном Шпагиным, который был комендантом этой крепости. Настя (так звали бабушку) втайне любит молодого офицера Бравина, приехавшего в крепость на службу. Бравин также влюбляется в Настю, и они обручаются. Ходят слухи о Пугачеве, и Бравина внезапно отзывают в Оренбург. Свадьба откладывается. Первый помощник Пугачева — Хлопуша осаждает крепость Нижне-Озерную и вследствие измены казаков, находящихся на службе в крепости, „пугачевцы“ захватывают крепость и казнят капитана Шпагина. Капитанскую дочку (Настю) скрывает у себя в доме за перегородкой мельничиха, у которой останавливается Хлопуша пировать со своими приближенными. Во время пира Хлопуша обнаруживает за перегородкою капитанскую дочку, но мельничиха скрывает, что Настя дочь коменданта крепости, объявляя ее своей племянницей, страдающей падучей болезнью. Хлопуша влюбляется в Настю, предлагает ей сожительство. Настя в ужасе отвергает предложение Хлопуши; тогда тот пытается насильем овладеть молодой, красивой девушкой, и только вмешательство мельничихи спасает капитанскую дочку. Наконец, правительственные войска освобождают крепость от „пугачевцев“; среди избавителей находится и Бравин, который сразу же женится на капитанской дочке, и они начинают жить счастливой супружеской жизнью.

Таково, вкратце, содержание „Рассказа моей бабушки“, как мы видим весьма близкое к сюжетной ситуации „Капитанской Дочки“.¹

Проследим сюжетные совпадения обоих произведений.

Как в „Рассказе моей бабушки“, так и в „Капитанской Дочке“ события развертываются в заброшенной крепости Оренбургской линии — Нижне-Озерной в „Рассказе“, Белогорской в „Капитанской Дочке“. Защита Нижне-Озерной от „пугачевцев“ капитаном Харламовым и защита Белогорской — капитаном Мироновым. Далее, в крепость на службу приезжает

¹ На знакомство Пушкина с напечатанным в „Невском Альманахе“ „Рассказом моей бабушки“ независимо от нас указал Н. О. Лернер в своем ненапечатанном докладе на заседании Пушкинской комиссии Академии Наук в 1933 г. Краткий пересказ рассказа дан в комментариях к шеститомному „Полному собранию сочинений Пушкина“, изд. „Academia“, 1936, т. IV, стр. 753.

молодой офицер Бравин. Капитанская дочка Настя и Бравин влюбляются друг в друга, но, благодаря движению на Оренбург Пугачева, Бравин отзывается в Оренбург и брак откладывается до конца ликвидации „пугачевского“ восстания. Аналогичная ситуация и у Пушкина.

У Пушкина, капитанская дочка — Маша во время захвата крепости также скрывается за перегородкой в доме попадьи Акулины Памфиловны („первой вестовщицы по всему околотку“), где происходит пиршество Пугачева.

В альманахе, капитанская дочка — Настя во время захвата крепости пугачевцами скрывается за перегородкою в доме мельничихи, „первой вестовщицы“, в доме которой останавливаются „пугачевцы“ для победного пира.

Самое изображение этой картины в „Капитанской Дочке“ и в „Альманахе“ весьма близки. Так, в „Капитанской Дочке“:

„Ради бога! где Марья Ивановна?“ — спросил я с неизъяснимым волнением. „Лежит, моя голубушка, у меня на кровати, там за перегородкою“ — отвечала попадьа. „Ну, Петр Андреич, чуть было не стряслась беда, да слава богу, все прошло благополучно; злодей только что уселся обедать, как она моя бедняжка очнется, да застонет!... Я так и обмерла. Он услышал: «А кто это у тебя охает, старуха?» Я вору в пояс: племянница моя, государь, захворала, лежит, вот уж другая неделя. — «А молода твоя племянница?» — Молода, государь. — «А покажи-ка мне, старуха, свою племянницу». — У меня сердце так и икнуло, да нечего было делать. — Изволь, государь, только девка то не сможет встать и придти к твоей милости. — «Ничего, старуха, я и сам пойду погляжу». И ведь пошел окаянный за перегородку, как ты думаешь, ведь отдернул занавес, взглянул ястребиными своими глазами — и ничего... бог вынес!“.

В „Рассказе моей бабушки“:

„Громко, громко завывала я, повалившись на пол, за перегородкою. «Что это?» — вскричали разбойники, вскочив из-за стола, и схватив свои сабли и пистолеты. «Эк вы перепугались, родимые», — сказала бабушка-мельничиха насмешливо. — «А еще говорите: мы-ста хваты. Не бойтесь, сударики, садитесь-ко на свое место. Это плачет моя девчонка-внука. С ней бедной случается падучая». «То-то же», сказал Хлопуша, мрачно... «Однако-ж, сказал развеселившийся Хлопуша, за то, что твоя внучка нас перепугала, должна она выйти и попотчивать нас винцом». — «Ведь я говорю тебе, батька-свет, что она нездорова» — отвечала хозяйка. «Вздор! заревел разбойник, я сам ее выведу» — и с этими словами шагнул за перегородку, вытащил оттуда меня полумертвую“.¹

Можно утверждать, что подобного, почти полного, совпадения сюжетных мотивов ни в одной работе об источниках „Капитанской Дочки“ не приведено.

¹ „Невский Альманах“, 1832, стр. 300—301.

Таким образом мы приходим к первому выводу — сюжетные линии в „Капитанской Дочке“ и в „Рассказе моей бабушки“ — аналогичны. Несовпадения здесь разве только в том, что в „Капитанской Дочке“ в центре пиршества Пугачев, а в „Рассказе моей бабушки“ — его первый помощник Хлопуша и там *Маша* скрывается в доме попадьи, а здесь *Настя* у знахарки-мельничихи. И здесь и там события разворачиваются с момента осады крепости Пугачевым.

При анализе характеристики героев у Пушкина и героев сопоставляемого рассказа наблюдается совпадение общих черт героев. Образы капитана Миронова и капитана Шпагина в значительной мере аналогичны. Это представители мелкого служилого дворянства и вышедшие из народных низов простые, патриархальные люди, верные службисты, „незаметные герои“, скромные в делах и в жизненных потребностях. „Покойный мой батюшка, — рассказывает бабушка, — (получивший капитанский чин еще при блаженной памяти императрице Елизавете Петровне) командовал оставшими солдатами, казаками и разночинцами... Батюшка мой (помяни господи душу его в царстве небесном) был человеком старого века: справедлив, весел, разговорчив, называл службу матерью, а шпагу — сестрою — и во всяком деле любил настоять на своем... Мы с батюшкой редко сживали поджав руки. Он или учил своих любезных солдат — (видно, что солдатской то науке, надобно учиться целый свой век) — или читал священные книги, хотя... был учен по старинному — и сам бывало говаривал в шутку, что грамота ему не далась как турку пехотная служба. Зато уж он был великий хозяин...“ И дальше: „...Зато батюшка был большой хлебосол... каждый почти вечер собирались в нашу приемную горницу: старик порутчик, казачий старшина, отец Власий и еще кое-какие жители крепости...“¹

Образы Маши и Насти также сливаются в их общих очертаниях. Настя, как и Маша, прежде всего цельная натура с „русскою душою“, воспитанная в патриархальных условиях, в простой, небогатой обстановке захолустной России, неиспорченная „язвами“ большого света и даже нетронутая городской культурою. Она сама обслуживает домашнее хозяйство, в отсутствие отца выполняет за него небольшие его обязанности; дружит с крестьянскими девушками, занимается гаданием и втайне любит молодого офицера Бравина. Она кроткая, добродетельная, религиозная девушка.

Марья Ивановна тоже скромная, честная и простая натура, „без приговорной застенчивости“, без светского жеманства.

Хотя образ Бравина не получил полной характеристики, но по отдельным чертам можно предположить, что при развитии его он получил бы характер Гринева. Бравин так же, как и Гринев, трезво относится к собы-

¹ „Невский Альманах“, 1832, стр. 260—264. Ср. в „Капитанской Дочке“ описание службы и домашней обстановки капитана Миронова.

тиям, и автор рассказа нарочито подчеркивает в нем храбрость и „честность дворянскую“.

И, наконец, образы „пугачевцев“. Мы говорим „пугачевцы“ потому, что сам Пугачев как конкретно действующее лицо в рассказе отсутствует. Автор не показывает его прямо, а знакомит читателя с ним через рассказчицу, которая знала его также по наслышке, называя его „извергом“, „разбойником“, „бунтовщиком“, разоряющим „дворянские гнезда“.

В „Истории Пугачева“ и в „Капитанской Дочке“ крепость Нижне-Озерную осаждает и захватывает сам Пугачев, здесь — его первейший помощник Хлопуша, который так же, как и Пугачев, в представлении бабушки, вор, изверг, разбойник — человек, лишенный даже мельчайшей черточки добродетели.

Характерно то, что для Пушкина Пугачев не только вор, разбойник и злодей (скорее по соблазнам цензурным), но и человек, которому не чуждо понятие добродетели и благодарности, и даже черты внешнего его облика приятны — „Черты лица его правильные и довольно приятные, не изъявляли ничего свирепого“.¹

Даже не центральное по действию лицо — Хлопуша имеет в характере много человеческого.

Когда Белобородов настаивает на казни Гринева, то Хлопуша проявляет чувство большой искренней человечности: „К счастью Хлопуша стал противоречить своему товарищу. «Полно, Наумыч», сказал он ему, «тебе бы всё душить, да резать. Что ты за богатырь? Поглядеть, так в чем душа держится. Сам в могилу смотришь, а других губишь. Разве мало крови на твоей совести?»“.

Правда, рука Хлопуши „повинна в пролитой христианской крови“, но он „губил супротивника, а не гостя,“ тогда как в приводимом в „Альманахе“ рассказе Хлопуша представлен извергом: „Боже мой! Какие ужасные у них были рожи! Ты видел, дитя мое, картину страшного суда, которая поставлена на паперти здешнего собора. Видя на ней врага рода человеческого, притягивающего к себе большою цепью бедных грешников: ну, вот, ни дать, ни взять, таков был Хлопуша, тот же высокий, сутуловатый рост, те же широкие плечи, та же длинная свинцовая рожа, те же страшные, кровью налитые глаза, сверкающие из-под густых нависших бровей, те же всклокоченные, как смоль, черные волосы на голове и та же борода, закрывающая половину лица, и достающая почти до пояса. Не доставало только рогов, да копыт“.² Сопоставляя образ Хлопуши у Пушкина с приводимым в рассказе, нельзя провести аналогии между ними. Пушкин исторически правдиво изображает характер Хлопуши, а в рассказе бабушки Хлопуша рисуется в субъективном представлении помещицы, напуганной крестьянским восстанием.

¹ Сочинения Пушкина, Гослитиздат, 1936, стр. 601.

² Там же, стр. 584.

Переходим к сравнительному сопоставлению обстановки и места действия.

Прежде всего необходимо отметить, что внешнее описание крепости Белогорской и Нижне-Озерной весьма сходно. Отметим также сходство в описании гарнизонных солдат. В „Капитанской Дочке“:

„Подходя к комендантскому дому, мы увидели на площадке человек двадцать стареньких инвалидов, с длинными косами, в треугольных шляпах“.¹ И дальше: „В крепости между казаками заметно стало необыкновенное волнение; во всех улицах они толпились в кучки, тихо разговаривали между собой и расходились, увидя драгуна или гарнизонного солдата. Они громко роптали, и Иван Игнатьич, исполнитель комендантского распоряжения, слышал своими ушами, как они говорили: «Вот уж тебе будет, гарнизонная крыса...» Я хотел уже выйти из дому, как дверь моя отворилась и ко мне явился капрал с донесением, что наши казаки ночью выступили из крепости, взяв насильно с собою Юлая...“¹

В „Рассказе моей бабушки“:

„Мало того, что Нижнеозерная была так хорошо обгорожена, в ней находились две или три старые чугунные пушки, да около полсотни таких же старых и закоптелых солдат, которые хотя и были немножко дряхленьки, но все-таки держались на своих ногах, имели длинные ружья и тесаки — и после всякой вечерней зари — бодро кричали: «С богом, ночь начинается» Хотя нашим инвалидам редко удавалось показывать свою храбрость, однакож, нельзя было обойтись без них...“²

Здесь с несомненностью можно констатировать не только внешнее сходство гарнизонных обитателей (причем здесь как бы высмеивается „могущество“ царской армии), но и сходство мотивов политических — в расслоении интересов вольности казацкой и абсолютно зависимых солдат-инвалидов, для которых многолетняя служба в крепости превратилась как бы в содержание „пенсионеров“.

III

Каковы же отношения автора „Рассказа моей бабушки“ к крестьянской революции? Можно ли в этом рассказе в сравнении с „Капитанской Дочкой“ провести параллели художественного осмысления исторических мотивов „пугачевщины“?

В „Истории Пугачева“ Пушкин с глубоким чутьем исследователя показал основные причины пугачевского бунта. Он писал: „С самого 1762-го года стороны логиновской яицкие казаки начали жаловаться на различные притеснения, ими претерпеваемые от членов канцелярии, учрежденной в войске правительством: на удержание определенного жалования, самовластные налоги и нарушение старинных прав и обычаев

¹ Сочинения Пушкина, Гослитиздат, 1936, стр. 594.

² Там же, стр. 259—260.

рыбной ловли. Чиновники, посылаемые к ним, для рассмотрения их жалоб, не могли или не хотели их удовлетворить. Казаки неоднократно возмущались, и генерал-майоры Потапов и Черепов (первый в 1766-м году, а второй в 1767-м) принуждены были прибегнуть к силе оружия и к ужасу казней¹. И дальше: „Пугачев бежал; но бегство его казалось нашествием. Никогда успехи его не были ужаснее, никогда мятеж не свирепствовал с такою силою.

Возмущение переходило от одной деревни к другой; от провинции к провинции... *Пугачев объявил народу вольность, истребление дворянского рода, отпущение повинностей и безденежную раздачу соли*“ (подчеркнуто мною. В. Г.).

И в „Капитанской Дочке“, прежде чем приступить к описанию „пугачевщины“, Пушкин дает историческую справку, в которой показывает основные силы и резервы Пугачева для развертывания крестьянской революции: „Сия обширная и богатая губерния, — писал он, — обитаема была множеством полудиких народов, признавших еще недавно владычество российских государей. Их поминутные возмущения, непривычка к законам и гражданской жизни, легкомыслие и жестокость требовали со стороны правительства непрестанного надзора для удержания их в повиновении... Но яицкие казаки, долженствовавшие охранять спокойствие и безопасность сего края, с некоторого времени были сами для правительства беспокойными и опасными подданными“ (подчеркнуто мною. В. Г.).²

И в „Рассказе моей бабушки“: „Впрочем, скажу тебе, дитя мое, что уральцы закоренелые в расколе были в старину всегда склонны к возмущениям и разбоям. Довольно было одной только маленькой искры, чтобы зажечь между ими ужасный пожар мятежа“ (подчеркнуто мною. В. Г.).³

Припомним, что казаки Белогорской и Нижне-Озерной сразу перешли на сторону Пугачева и помогали ему захватить крепости.

Если проследить описание подготовки крепостных гарнизонов к отпору нашествия пугачевской армии в „Капитанской Дочке“ и в приводимом рассказе, то нельзя не заметить аналогии иронии и осторожного высмеивания правительственных войск, неспособных противопоставить себя всеокрушающей силе восставших народных масс.

В „Капитанской Дочке“: „«Принять надлежащие меры!» — сказал комендант, снимая очки и складывая бумагу... «Однако, делать нечего, господа офицеры! Будьте исправны, учредите караулы, да ночные дозоры... Пушку осмотреть, да хорошенько вычистить»“⁴. И дальше: „На другой день, возвращаясь от обедни, она (жена коменданта) видела Ивана Игна-

¹ „История Пугачева“ гл. I.

² „Капитанская Дочка“, гл. VI.

³ „Невский Альманах“, 1832, стр. 277—278.

⁴ Там же.

тыча, который вытаскивал *из пушки тряпички, камешки, щепки, бабки и сор всякого рода, запыленный в нее ребятишками* (подчеркнуто мною. В. Г.). «Что бы значили эти военные приготовления?» — думала комендантша¹.

В приводимом рассказе: „Слушая первые известия о Пугачеве, покойный батюшка не хотел нисколько им верить, называя их бабьими бреднями и даже запрещал говорить об них“ (ср. ответ Миронова на вопрос Гринева о Пугачеве).“ Но эти известия с каждым днем подтверждались; и, наконец, батюшка получил и *командирский приказ* (ср. приказ генерала Миронову), которым было велено защищать крепость от нападения бунтовщиков... Тогда старик мой засуетился о том, чтобы крепость наша и вся команда были готовы на всякий случай. При неустанных его стараниях, вскоре крепостной тын был починен, *старые пушки, в которых воробьи повили себе гнезда, вытащены из амбара и расставлены в местах опасных*“ (подчеркнуто мною, В. Г.)²

Характерна следующая деталь: как Пушкин, так и автор приводимого рассказа, хотя и называющий армию Пугачева „шайкой мятежников и разбойников“, вынужден поставить в пример беспособность пугачевской армии, сумевшей обмануть правительственные войска и их бесталанных, бестолковых и трусливых генералов. Эта линия сходства данного момента изображения идет не столько в сравнении с „Капитанской дочкой“, сколько с „Историей Пугачева“. „Обратимся к Оренбургу, — пишет Пушкин — В сем городе находилось до трех тысяч войска и до семидесяти орудий. С таковыми средствами можно и должно было уничтожить мятежников. К несчастью, между военными начальниками не было ни одного, знавшего свое дело. Оробев (подчеркнуто мною. В. Г.), с самого начала, они дали время Пугачеву усилиться и лишили себя средств к наступательным движениям“³ И дальше: „Войско разделено было на полки (в пугачевской армии), состоящие из пятисот человек... За побег объявлена была смертная казнь. Десятник головою отвечал за своего беглеца. Учреждены были частые разъезды и караулы. Пугачев строго наблюдал за их исправностию, сам их объезжал иногда и ночью“ (подчеркнуто мною. В. Г.)⁴

В „Рассказе моей бабушки“: „Покорить их было ему (Пугачеву) не трудно, потому что *слабые отряды внутреннего войска не могли противустать его огромной и вооруженной шайке...*“ Он даже держал в долгой осаде Оренбург, спасшийся одними только высокими стенами, потому что *незавидно войско...* не могло бы тягаться с ужасною шайкою Пугачева, который, между тем, *успел привести ее в такой порядок,*

¹ „Невский Альманах“, 1832, стр. 278, курсив мой. В. Г.

² Там же, стр. 280—281.

³ „История Пугачева“, глава III.

⁴ Там же, ниже.

что в ней, как в какой-нибудь армии, были пушки, и пушкари, и пешие стрельцы, и конные наездники“ (подчеркнуто мною. В. Г.).¹

И, наконец, автор данного рассказа так же, как и впоследствии Пушкин в „Капитанской Дочке“ и в „Истории Пугачева“, вскрывает отношение разных социальных групп тогдашнего общества к Пугачеву как к исторической фигуре. Бабушка рассказывает, что:

„Говорили много и вести были различны: одни утверждали, что это или сам дух нечистый, или отродье нечистого духа, что все адские силы за ним следуют, истребляя бедный народ христианский (нужно понимать дворян. В. Г.); другие напротив, рассказывали, что он такой же человек, как и все люди; но только *храбр, предприимчив и зол... были между народом и такие глупцы, которые верили, что Емелька Пугач* действительно блаженной памяти император *Петр Федорович*, за которого он себя выдавал“ (подчеркнуто мною. В. Г.)²

В „Общих замечаниях“ к „Истории Пугачева“ Пушкин пишет: „Весь черный народ был за Пугачева.... Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства“, и в „заметках“: „Уральские казаки (особливо старые люди) доныне привязаны к памяти Пугачева. *Грех сказать, говорила мне восьмидесятилетняя казачка, на него мы не жалуемся; он нам зла не сделал.* Расскажи мне, говорил я Д. Пьянову, как Пугачев был у тебя посаженным отцом? — *Он для тебя Пугачев, отвечал мне сердито старик, а для меня он был великий государь Петр Федорович“* (подчеркнуто мною. В. Г.).³

IV

Особенности языка и стиля „Капитанской Дочки“ сложились на фоне общественно-литературной борьбы 30-х годов за торжество развития могучего и прекрасного, простого народного языка.

По особенностям стиля и языка „Рассказ моей бабушки“, как и „Капитанская Дочка“, прост и в некоторой части реалистичен.

Например, описывая крепость Нижне-Озерную, автор исторически правдиво рисует каждую деталь крепости: „...дома в ней были все маленькие, низенькие, по большей части сплетенные из прутьев, обмазанные глиною, покрытые соломой и огороженные плетняками. Но Нижне-Озерная не походила также и на деревню твоего батюшки, потому что эта крепость имела в себе, кроме избышек на курьих ножках — старую деревянную церковь, довольно большой и столь же старый дом крепостного начальника, караульню и длинные бревенчатые хлебные магазины. К тому же крепость наша с трех сторон была обнесена бревенчатым тыном, двумя воротами и с востренькими башенками по углам, а четвертая сторона плотно примыкала к уральскому берегу, крутому,“

¹ „Невский Альманах“ 1832, стр. 278—279.

² Там же, стр. 275—276.

³ „Заметки к «Истории Пугачева»“.

как стена, и высокому, как здешний собор. Мало того, что Нижне-Озерная была так хорошо обгорожена, в ней находились две или три старые чугунные пушки, да полсотни таких же старых и закоптелых солдат...“ Можно бы привести много подобных примеров, но мы, не желая затруднять читателя, отсылаем его непосредственно к альманаху.

Здесь уместно подчеркнуть и то, что перед нами мемуарные записки русского дворянина, сходные по жанру с семейными записками дворянина Гринева. Любопытная деталь заключается еще и в том, что здесь, как и в „Капитанской Дочке,“ господствует простая разговорная речь с избытком поговорок, пословиц: „там хорошо, где нас нет“, „улита едет, когда-то будет“, „горем беде не пособишь“, „вот уж правду сказать, не бывал ни о Семике, ни о Маслянице, принес чорт в великий пост“ и т. д.

Всё это дает возможность констатировать также некоторую близость стиля и „языка“ „Капитанской Дочки“ и „Рассказа моей бабушки“.

Пушкин уделял много внимания показу „старины глубокой“. Он боролся за конкретное, правдивое осмысление русской истории. Патриархальность, простота сельской жизни как бы противопоставлялась порочному городу.

Даже внешне описание образа идет в этом свете. Приведем примеры: „В комнате моей бабушки, как в келье святого отшельника, царствовала приятная безмятежность. Там тусклые лучи горевшей перед иконою лампы освещали занимательную картину: на дубовых *наследственных* креслах, сидела... 70 летняя старушка, высокая и сухощавая, с бледным *патриархальным* лицом, в белом капоте и в темной одежде“¹ и дальше: „Впрочем, хотя бабушка моя во время своей молодости вовсе не читала романов (потому что не умела читать) и в глаза не видела тогдашних придворных любезников, *но простое сердце ее* не было черство, *а простой ум* умел различать белое от черного, доброе от худого... Нрав моей бабушки, как мне удалось слышать от людей посторонних, был чувствителен, но не слишком робок... Впоследствии, живучи в больших городах, и видя свет во всех его изменениях, она образовала ум свой беседами людей просвещенных; узнала и светских льстецов, и светских любезников, и даже выучилась читать и писать; но в обращении и в речах ее остались еще оттенки *простоты старого века*, и то любезное прямодушие, которого уже почти не видим мы между нынешними стариками“²

„Батюшка мой.... был человек старого века: справедлив, весел, разговорчив, называл службу матерью, а шпагу сestroю — и во всяком деле любил настоять на своем“³

„Что же касается до меня, то и я не убивала времени напрасно. Без похвальбы скажу, что несмотря на мою молодость, я была настоящею

¹ „Невский Альманах“, 1832, стр. 257. Курсив здесь и везде дальше, до конца статьи, — мой. В. Г.

² Там же, стр. 251—253.

³ Там же, стр. 261

хозяйкою в доме, распоряжалась и в кухне, и в погребе, а иногда за отсутствием батюшки и на самом дворе. Платье для себя (о модных магазинах у нас и не слыхивали) шила я сама, а сверх того, находила время починивать батюшкины кафтаны...“¹

„Впрочем, дитя мое, ты ошибаешься, если думаешь, что я и батюшка жили в четырех стенах одни, ни с кем не знаясь и не принимая к себе людей добрых. Правда, нам редко удавалось хаживать в гости, зато батюшка был большой хлебосол, а у хлебосола бывает ли без гостей? Каждый почти вечер собирались в нашу приемную горницу: старик порутчик, казачий старшина, отец Власий, и еще кое-какие жители крепости — всех не припомню. Все они любили потягивать вишневку и домашнее пиво, любили потолковать и поспорить. Разговоры их, разумеется, были расположены не по книжному писанию, а так на обум: бывало, кому что придет в голову, тот то и мелет, потому, что народ-то был все такой простой... следуя старинному обыкновению, я никогда почти не показывалась гостям моего батюшки, да не слишком того желала, потому что эти старики с их громогласными рассуждениями не могли нравиться девушке моих лет. Мне гораздо было приятнее коротать длинные зимние вечера с несколькими молоденькими подружками, которые прихаживали ко мне и в будни, и в праздники, со своими прялками и чулками... Бывало, усевшись в тесный кружок, мы или поем песни, или рассказываем друг-другу разные были и небылицы, или гадаем, разумеется о том, скоро ли каждая из нас выйдет замуж“.²

Анализируя приводимые примеры, можно констатировать некоторую близость стиля и языка „Капитанской Дочки“ и „Рассказа моей бабушки“.

Нам остается раскрытие псевдонима „А. К.“, которым подписан „Рассказ моей бабушки“. Целый ряд оснований дает возможность утверждать, что автор „Рассказа моей бабушки“ — А. О. Корнилович, член южного общества декабристов, осужденный в 1826 г. на 12 лет каторжных работ, затем в 1832 г. переведенный рядовым в Грузию, в распоряжение командира Кавказского корпуса — бар. Розена. Известно, что Корнилович главным образом работал в исторических жанрах. Также известно, что в альманахе „Русская Старина“ (1825 г.) свое предисловие он подписал „А. К.“, а в словаре псевдонимов И. Ф. Масанова имеется следующее указание: „А. К. равен А. О. Корниловичу [см. жизнеописание Мазепы в книге «Войнаровский» соч. К. Рылеева, М., 1825 год“]. За принадлежность рассказа в „Невском Альманахе“ А. О. Корниловичу говорит и следующий факт. В письме к брату М. О. Корниловичу от 23—26 ноября 1832 г. А. О. Корнилович писал: „Теперь на досуге прошу тебя, тотчас по прибытии в Петербург, побывай у Ивановского и спроси у него, выручил ли

¹ „Невский Альманах“, 1832, стр. 263.

² Там же, стр. 264—265.

он сколько-нибудь за альманах, в котором поместил мои повести“. Очевидно здесь дело идет о „повести“ „Рассказ моей бабушки“.¹

Несомненно, что по цензурным соображениям издатель не мог дать подпись Корниловича, который являлся „государственным преступником“. Даже рецензент „Сев. Пчелы“ в № 5 за 1832 г. не старается открыть псевдоним автора „Рассказа моей бабушки“, а ограничивается указанием: „С истинным удовольствием прочтете повести «Елена» и «Рассказ моей бабушки»... Весьма интересен, весьма удачен рассказ моей бабушки про свою молодость, про свое житье-бытье во время Пугачева“. И здесь же, как бы иронически, замечает: „Жаль, что бабушка была совсем необразована, неграмотна“. Возможно, рассказ бабушки не совсем удовлетворил рецензента элементами своего реализма, и бабушка не сказала так, как нужно было рассказать о „пугачевщине“ рецензенту официозной газеты.

Наконец, известно, что, находясь в ссылке, Корнилович прославился искусством рассказчика о давно минувших днях старины, а будучи заключенным в крепости, написал исторический роман „Андрей Безыменный“.²

Читал ли Пушкин Корниловича? На это можно ответить утвердительно, и можно сказать больше, не только читал, а даже проявлял живой интерес к молодому многообещающему литератору.

По поводу статьи Корниловича „Об увеселениях российского двора при Петре I“, напечатанной в „Полярной Звезде“ на 1824 г., Пушкин в письме от 8 февраля 1824 г. писал А. А. Бестужеву: „Корнилович славный малый и много обещает — но зачем пишет он для снисходительного внимания милостивой государыни NN и ожидает ободрительной улыбки прекрасного пола для продолжения любопытных своих трудов? Всё это старо, ненужно и слишком уже пахнет шаликовскою невинностью“.

В этих критических замечаниях заметно несомненно сочувственное отношение Пушкина к Корниловичу. Известно также то, что Пушкин использовал из материалов А. Корниловича „Об увеселениях российского двора при Петре I“ и „О первых балах в России“ отдельные моменты как материал для создания знаменитых картин жизни петровского двора в своем „Арапе Петра Великого“.³

В заключение нашей статьи отметим, что сам Пушкин подтвердил использование „Рассказа моей бабушки“ в своей творческой работе. В черновом наброске предисловия „Капитанской Дочки“ он писал: „Анекдот, служащий основанием повести, нами издаваемой, известен в Оренбургском краю: читателю легко будет распознать нить истинного происшествия, проведенную сквозь вымыслы романические, а для нас это

¹ Предположение о том, что А. К. — А. Корнилович, было впервые сообщено нам Г. А. Гуковским.

² См. статью Б. С. Мейлаха „Литературная деятельность декабриста А. О. Корниловича“, „Литературный Архив“, т. I, 1937, стр. 418—422.

³ См. „Литературная Учеба“ № 4 за 1930 г., стр. 55—56, статья Д. П. Якубовича.

было бы излишним трудом. Мы решились написать это предисловие с совсем другим намерением. *Несколько лет тому назад в одном из наших альманахов напечатан был...*“ на этом оборвано предисловие, и загадка „анекдота“ оставалась до сих пор нераскрытой.

Итак, мы пришли к окончательному выводу, что „Рассказ моей бабушки“ Корниловича послужил истоком и реальным источником „Капитанской Дочки“. Но необходимо сказать, что здесь дело идет, конечно, не о простом подражании гениального Пушкина Корниловичу, а также и не о „влиянии“ рассказа Корниловича на Пушкина.

У Пушкина издавна был интерес к проблеме крестьянских восстаний, к крестьянской революции.

Пушкин работал над „Историей Пугачева“ как исследователь-историк, просматривал огромный архивный материал и, конечно, не мог не интересоваться теми материалами о „пугачевщине“, которые появлялись в печати в его время. „Я прочел со вниманием всё — писал он, — что было напечатано о Пугачеве, и сверх того, 18 толстых томов... разных рукописей, указов, донесений и проч.“ Кроме того, Пушкин разъезжал по историческим местам „пугачевщины“, собирая рассказы участников или вообще живых свидетелей этого, огромной важности исторического события, считая рассказы очевидцев ценнейшим подтверждением архивных документов.

В 1836 г., разбирая рецензию В. Б. Броневского на „Историю Пугачевского бунта“, Пушкин писал в своем „Современнике“: „Я посетил места, где произошли главные события эпохи мною описанной, поверяя мертвые документы словами еще живых, но уже престарелых очевидцев и вновь поверяя их дряхлеющую память историческою критикою“. Например известно также, что Пушкин использовал для „Истории Пугачева“ живой рассказ Крылова о „пугачевщине“.

Поэтому, проводя аналогию между „Капитанской Дочкой“ и рассказом Корниловича, мы считаем, что Пушкин потому взял за основание этот рассказ, что он наиболее полно из всех существовавших тогда беллетристических произведений отражал „пугачевщину“. И он взял его в плане историко-бытового материала, в виде рассказа живого свидетеля, изложенного в мемуарных записках, которые не таят в себе ни сложных типов, ни образов большого художественного обобщения, а воспроизводят с некоторым художественным мастерством схематично один из эпизодов крестьянской революции.

Установление этого источника является еще одним подтверждением того, что фактические материалы исторической жизни России являлись важнейшими источниками исторических произведений Пушкина.



А. ГРУШКИН

ПУШКИН 30-х ГОДОВ В БОРЬБЕ С ОФИЦИОЗНОЙ ИСТОРИОГРАФИЕЙ („ИСТОРИЯ ПУГАЧЕВА“)

I

Великий исторический труд Пушкина „История Пугачева“ до сих пор не получил достаточного освещения в пушкиноведческой науке. В течение многих десятилетий он или абсолютно замалчивался, или истолковывался явно неверно.¹ М. Н. Покровский в своей статье „Пушкин-историк“ уделил значительное внимание „Истории Пугачева“, но, как и в большинстве работ покойного исследователя, отдельные интересные наблюдения были испорчены механистичностью основных выводов, ориентировавших читателя в глубоко ошибочном направлении. Взгляд на Пушкина как на дворянского историка пугачевщины не изжит до настоящего времени. Вспомним, хотя бы, вышедшую в 1937 г. статью П. С. Попова „Пушкин как историк“.²

Между тем, именно вопрос о том, действительно ли концепция пушкинского труда является „дворянской“, — значительно сложнее, чем можно представить себе при подобном заключении. Для того чтобы проследить, в чем заключалась сущность взглядов великого поэта на пугачевское восстание, нужен детальный, кропотливый анализ пушкинского труда, до сих пор еще никем из исследователей неосуществленный.

Уже самое начало „Истории Пугачева“ не может не обратить на себя внимания. Это начало сводится к мирному описанию уральского пейзажа.

„Его (Яика. А. Г.) течение быстро; мутные воды наполнены рыбой всякого рода; берега большею частью глинистые, песчаные и безлесные, но в местах поемных — удобные для скотоводства. Близ устья оброс он высоким камышем, где кроются кабаны и тигры“.³

¹ Достаточно упомянуть совершенно неприемлемую работу проф. Фирсова, получившую в свое время справедливую отповедь со стороны В. Я. Брюсова.

² „Спора нет“, утверждает П. С. Попов, „исходная концепция, положенная у Пушкина в основание «Истории Пугачева», — дворянская...“ См. „Вестник Академии Наук СССР“, № 2—3, 1937 г., стр. 130.

³ „История Пугачевского бунта.“ СПб., 1834, гл. первая, стр. 2.

Читая эти эпические строки, трудно себе представить, что дальше речь пойдет о кровавых событиях. Перед читателем развертывается картина явлений, казалось бы, ничего общего не имеющих с пугачевщиной. О том, какой смысл имело это эпическое начало, — мы скажем впоследствии.

Лаконично, но несомненно в сочувственном тоне повествуется в „Истории Пугачева“ о донских казаках, появившихся в XV в. на берегах Яика. Следует учесть, что именно об яицком казачестве в распоряжении Пушкина имелся большой фактический материал, собранный в работах Броневского и, главным образом, Левшина, автора „Исторического и статистического обозрения уральских казаков“. Но как грубо тенденциозно подавался этот материал „благонамеренными“ историками! Пушкин не только „показал, что вполне может разбираться в источниках, сопоставляя и проверяя данные различных документов“,¹ — как полагает П. Попов, — он сумел материал, почерпнутый из официозных источников, подвергнуть полному переосмыслению, фактически разрушив все построения этих последних.

Полемика Пушкина с лакействующим и, в сущности, довольно невежественным „историком“ Броневским очевидна (о ней упоминает и П. Попов). Как известно, этой полемике посвящена Пушкиным специальная статья, являющаяся прямым ответом на недоброжелательную рецензию Броневского в „Сыне Отечества“. Значительно принципиальнее и сложнее полемика Пушкина с Левшиным, — сложнее, прежде всего, потому, что внешне Пушкин не только не нападает на Левшина, но, наоборот, называет его сочинение отличающимся „истинною ученостию и здравой критикою“.² Причины этой одобрительной оценки совершенно ясны. Левшин дал наиболее полную картину жизни яицкого войска в до-пугачевскую эпоху, этой картины было Пушкину достаточно для того, чтобы он мог сделать свои выводы. Что же касается содержания этих последних, то оно было диаметрально противоположным тем представлениям, которые стремился навязать своим читателям Левшин.

Для Левшина яицкие казаки, прежде всего, лютые разбойники. Он подчеркивает их невероятную, исключительную свирепость. Так, по словам Левшина, впервые явившиеся на Урал казаки (1580 г.) „быстро напали на Сарайчик, выжгли оный и в неистовстве не только живых жителей терзали, но даже, разрывая могилы, обдирали мертвых“.³

Показательно, что Левшин, включая в свое повествование этот маловероятный эпизод, снабжает его весьма характерным восклицанием: „Таков был первый подвиг казаков на берегах Урала!“

¹ П. Попов, назв. статья, стр. 141.

² „История Пугачевского бунта,“ примечание к главе первой, стр. 3.

³ А. Левшин. „Историческое и статистическое обозрение уральских казаков“, СПб. 1823, стр. 10.

Детальное расписывание злодейств уральских казаков должно было послужить своеобразной мотивировкой последующих событий. Левшину важно было показать, что злодеяния пугачевщины были обусловлены самым характером уральских казаков, их исконной привычкой к грабежу и кровопролитиям.

Пушкин не включил в свой рассказ страшный эпизод с разрыванием могил, — он прошел мимо него. И разумеется, это умолчание не могло быть случайным. (Пушкин не забыл о деталях гораздо меньшей важности). Суть вопроса заключается в том, что Пушкин отнюдь не хотел видеть в яицком казачестве сборища кровожадных варваров. Все факты, приведенные по этому поводу Левшиным, под пером Пушкина звучат совершенно по-иному.

Так, по Левшину, уральские казаки (речь идет о XVI в.) „пресекали пространную торговлю русских, азиатцев и англичан,“ больше того, они „грабили по слов, так же как и купцов“.¹ Таким образом формулировка Левшина подчеркивает враждебность уральского казачества интересам России.

У Пушкина обо всем этом ни слова. Он говорит только, что „казаки нападали на торговые персидские суда“.² Нельзя не видеть, что подобное изложение фактов значительно смягчает „преступный“ (с официальной точки зрения) характер действий казаков. Разграбление персидских судов — дело, разумеется, не похвальное, но непосредственным интересам России не угрожающее.

„Наконец, — пишет далее Левшин, — справедливо раздраженный царь Иоанн Васильевич Грозный послал против разбойников... войско“.³

У Пушкина эта история изложена гораздо мягче:

„Шах жаловался царю. Из Москвы посланы были на Дон и на Яик увещательные грамоты“.⁴

Так, „войско“ оказалось замененным „увещательными грамотами“. Различие, несомненно, существенное, особенно если учесть, что, по словам Пушкина, царь послал эти грамоты исключительно по просьбе шаха, а вовсе не исходя из интересов русского государства.

Так, Пушкин упорно стремился смягчить остроту противоречий между казаками и московским государством в XVI—XVII вв. По Пушкину выходит, что взаимоотношения этих двух сторон были, в сущности, вовсе не враждебными и ничего, что напоминало бы, хотя бы отдаленно, будущую „пугачевщину“, — в действиях уральских казаков не обнаруживалось. Мельком, бегло упомянув о конфликте московского царя с яицким казачеством, Пушкин подробно останавливается на том, как удальцы, грабившие персидских купцов, „явились ко двору с повинной головой“. Вот,

¹ А. Левшин, назв. соч., стр. 9 (разрядка Левшина).

² „История Пугачевского бунта“, гл. первая, стр. 4.

³ А. Левшин, назв. соч., стр. 9.

⁴ „История Пугачевского бунта“, гл. первая, стр. 4.

собственно говоря, все, что сообщает Пушкин о „разбоях“ предшественников пугачевцев. Сжатый, лаконичный тон повествования очень напоминает суровую и тоже необычайно лаконичную эпiku „Кирджали“. Ни одной фразы, ни одного намека, которые бы хоть сколько-нибудь подтверждали обличительную характеристику, сделанную Левшиным:

„Уральские казаки, подданные царей русских, были столь же буйны, как и казаки, еще не признававшие над собою владычества России. Современные летописи и путешественники не раз говорят об ужасах и неистовствах, произведенных ими в течение XVII столетия“.¹

Этих „ужасов и неистовств“ в изображении Пушкина нет. „Буйные“ казаки даны почти идилично. Что касается дальнейшей эволюции уральского казачества, то по этому поводу Пушкин сообщает, что казаки „мало по малу привыкли к жизни семейной и гражданской“, — следовательно, вопрос об их „разбойничьих“ чертах снимается полностью.

Резкое расхождение, существующее между пушкинской трактовкой темы и высказываниями Левшина, не может не вызвать вопроса, — почему же, все-таки, Пушкин с похвалой отзывается о его труде? Неужели это объясняется только желанием Пушкина поблагодарить человека, оказавшего ему услугу (Левшин доставил Пушкину экземпляр своей книги, являвшейся библиографической редкостью). Чтобы понять, что именно Пушкин взял у Левшина, следует обратиться к описанию внутренних порядков яицкого войска, сделанных последним. Это описание не могло не заинтересовать Пушкина. Вот как описывает Левшин патриархальный внутренний строй казацкой общины:

„Они... сами избирали и сменяли атаманов и старшин своих; сами казнили смертью обвиненных, и все дела решали на площади... или в кругах, на которые, как на вече, созывал их звук колокола, и без согласия которых атаман ничего важного... предпринять не смел“.²

Уже это уподобление своеобразной казацкой автономии древнему вече не могло не вызвать у Пушкина совершенно конкретных политических ассоциаций (вечевой строй подымался на щит декабристами как воплощение республиканских порядков). Впрочем, Левшин и сам ставит точки над „и“.

„... они, — говорит он об яицках казаках, — во внутреннем управлении долго составляли ред республики“.³

В другом месте Левшин сообщает, что после разгрома пугачевщины „казаки утратили последнюю слабую тень демократического внутреннего правления“.

Итак, „род республики“, „демократическое правление“ — вот в каких чертах рисовалась Левшину древняя вольность яицкого казачества. Пушкин солидаризировался с подобной трактовкой. Он ее использовал в своем

¹ А. Левшин, назв. соч., стр. 16.

² Там же, стр. 19.

³ Там же, стр. 10.

туде. Правда, „крамольные“ слова „республика“ и „демократия“ были устранены, — введение этих слов поставило бы под угрозу весь труд, — зато всякого рода синонимы были использованы в изобилии. Вот как описывает Пушкин казацкие обычаи на Урале:

„Совершенное равенство прав; атаманы и старшины, избираемые народом, временные исполнители народных постановлений; <...> *в куль да в воду* — за измену, трусость, убийство и воровство: таковы главные черты сего управления“.¹

Если учесть известный примитивизм казацких нравов (отсюда — наличие наказаний типа „в куль да в воду“), во всем остальном нарисованная Пушкиным картина напоминает политические отношения далеко не примитивного порядка.

Пушкин ориентировался на читателя, который хорошо помнил, как назывались те политические порядки, при которых господствовало „совершенное равенство прав“, при которых административные обязанности выполняют лица, „избираемые народом, временные исполнители народных постановлений“, или, как было сказано в черновике, „народной воли,“ — порядки, при которых „общественные дела“ решаются „большинством голосов“. До сих пор, при решении проблемы политических взглядов Пушкина в 30-е годы, — эти глубоко содержательные строки совершенно не учитывались. Между тем, анализ этих последних не может не подтвердить того положения, что перелом во взглядах Пушкина шел совсем не по линии отказа от свободолобивых и демократических взглядов. Как известно, скептическое отношение Пушкина 30-х годов к современной ему буржуазной демократии Запада мотивировалось прежде всего тем, что так называемые „народные“ представители на самом деле отнюдь не исполняют воли народа. Отсюда обличительный пафос стихотворения — „Не дорого ценю я громкие права...“ Но „История Пугачева“ показывает, что на ряду с буржуазной, парламентской „демократией“ Западной Европы и Америки Пушкин допускал возможность существования демократических форм управления, действительно, а не на словах... отражающих в о л ю н а р о д а. Ни слова осуждения казацкой „республике“ мы не находим у Пушкина, — описание ведется, казалось бы, в бесстрастном, эпическом тоне, за которым можно почувствовать элемент положительного отношения Пушкина к примитивным, но, как явствует из контекста, глубоко справедливым (отнюдь не разбойничьим) порядкам. Больше того, по мнению Пушкина, примитивизм отнюдь не являлся основной чертой казацкого самоуправления:

„К простым и грубым учреждениям, еще принесенным ими с Дона, яицкие казаки присовокупляли и другие, местные, относящиеся к рыболовству <...> учреждения чрезвычайно сложные и определенные с величайшею утонченностию“.²

¹ „История Пугачевского бунта“, гл. первая, стр. 6.

² Там же (разрядка моя. А. Г.).

Итак, способность уральских казаков к административному творчеству вызывает у Пушкина недвусмысленную похвалу!

Соглашаясь с Левшиным в констатировании демократичности казацких порядков, Пушкин резко расходится с ним в оценке этого факта. Там, где у Левшина стоит знак минус, Пушкин ставит плюс. Для Левшина, как и для Броневского, уральские казаки — это необразованная „чернь“, которой противостояла цивилизующая сила — государство. Пушкин же признает за яицким казачеством, т. е., иными словами, за народной массой, — способность к своеобразной общественной самобытности.

Согласно подобной трактовке, оказывается, что вмешательство царской бюрократии в издавна сложившуюся казацкую жизнь было ничем неоправданным актом произвола, а вовсе не победой государственной мудрости и цивилизации над дикостью и безначалием.

Но может быть казацкая вольница, сама по себе не лишенная целесообразности (во внутреннем устройстве), представляла собой в XVIII в. серьезную угрозу для императорской России? Именно это утверждал Левшин.

„Таковая власть, — пишет он, — в руках необразованной, но предприимчивой и отважной черни делала уральское войско опасным для России“.¹

Этим утверждением Левшин заранее оправдывал покушение правительства на казацкие привилегии.

В противовес Левшину, Пушкин утверждает:

„Яицкие казаки послушно несли службу по наряду московского приказа; но дома сохраняли первоначальный образ управления своего“.²

Иными словами, „первоначальный образ управления“ мирно уживался с послушным исполнением правительственных приказов! Невольно возникает вопрос, чем же мотивировались в таком случае агрессивные действия русского царизма по отношению к яицкому казачеству? Левшин, высказав приведенное выше мнение об опасности, которую представляло для государства яицкое войско, пишет:

„Петр Великий видел это и сделал первый шаг к ограничению свободы сного“ (яицкого войска. А. Г.).³

Пушкин, не подвергая критике действия Петра, воздерживается все же от каких бы то ни было похвал, пусть даже самых скромных, петровской политике в отношении к яицкому казачеству.

„Петр Великий, — сухо сообщает он, — принял первые меры для введения яицких казаков в общую систему государственного управления. В 1720 году яицкое войско отдано было в ведомство военной коллегии“.⁴ Эта фраза следует непосредственно после хвалебного замечания Пушкина

¹ Левшин, назв. соч., стр. 21.

² „История Пугачевского бунта“, гл. первая, стр. 6.

³ Левшин, назв. соч., стр. 21.

⁴ „История Пугачевского бунта“, гл. первая, стр. 7.

о „величайшей утонченности“ самобытных казачьих порядков. В таком контексте мероприятия Петра, направленные против интересов яицких казаков, не могут не представляться бессмысленно деспотичными. И, наоборот, вполне мотивированным оказывается реагирование казаков.

„Казачи возмутились, сожгли свой городок, с намерением бежать в киргизские степи, но были жестоко¹ усмирены полковником Захаровым“.

Такая последовательность в изложении событий не могла вызвать у вдумчивого читателя сочувствия к Захарову, олицетворявшему в данном случае правительственную политику. Но наибольшую независимость от официозных источников проявляет Пушкин в оценке конфликта „двух сторон“ яицкого войска — атаманской и оппозиционной, возглавленной войсковым старшиной Логиновым.

В этом вопросе Пушкин прежде всего вступил в резкую полемику с официальным летописцем пугачевской осады, академиком Рычковым, рукопись которого была опубликована Пушкиным в приложении к „Истории Пугачевского бунта“ (1834 г.). После книги Левшина именно „Летопись“ Рычкова является источником, вызывающим у Пушкина наиболее острую полемику. С негодованием рассказывает Рычков об „усильстве“ и „своевольстве“ так называемой „логиновской стороны“:

„... сии партии и раздоры, особливо сторона Логинова, время от времени умножаясь, оренбургским главным командирам... ослушностями причиняли великие затруднения...“²

Разумеется, сочувствие Рычкова на стороне атаманской, а не логиновской партии:

„... по справедливости надлежит сказать, что атаманская сторона всегда была послушнее и справедливее“.³

Для Пушкина же справедливой является именно логиновская, т. е. недовольная, угнетенная сторона:

„С самого 1762 г. стороны логиновской яицкие казаки начали жаловаться на различные притеснения, ими претерпеваемые от членов канцелярии, учрежденной в войске правительством: на удержание определенного жалованья, самовольные налоги и нарушение старинных прав и обычаев рыбной ловли“.⁴

Уже это изложение причин недовольства логиновской стороны не оставляет сомнения в том, что эти причины были, в самом деле, уважительными. А несколько дальше, сообщив о том, что, несмотря на благоприятное для казаков решение следственной комиссии, „члены канцелярии... умели избежать исполнения приговора“, Пушкин пишет:

¹ „История Пугачевского бунта“, гл. первая, стр. 6 (разрядка моя. А. Г.).

² Там же, часть вторая. Приложения. Осада Оренбурга (Летопись Рычкова), стр. 14.

³ Там же.

⁴ Там же, гл. первая, стр. 8.

„Казакки не теряли надежды. Они покушались довести до сведения самой императрицы справедливые¹ свои жалобы“.

Так рычковская трактовка конфликта 1762 г., являвшегося, как известно, прологом пугачевщины, полностью опровергается Пушкиным. Для Рычкова справедливой была атаманская, т. е. правительственная сторона, для Пушкина — ее антипод — логиновская недовольная сторона. Позиции, как мы видим, антагонистичные.

А между тем, в печатном тексте „Истории“ — ни слова прямой полемики с Рычковым, а в „Примечаниях“ о нем говорится с уважением, как и о Левшине. Насколько, однако, Пушкиным было осознано его полемическое отношение к Рычкову, видно из следующей черновой записи (дольше неопубликованной) об атамане Меркульеве и о Логинове:

„Они друг на друга жаловались и доносили, — отселе две партии: атаманская и логиновская. Рычков не объясняет подробностей, но видно, что логиновская (час от часу умножавшаяся) была народной оппозицией“.²

Мы уже видели, что там, где Рычков пытался объяснить „подробности“, он делал это в разрезе, совершенно противоположном тому, который мы находим в пушкинской „Истории“. Пушкин сумел сквозь „краски чуждые“ рычковских писаний почувствовать истинное социальное и политическое содержание конфликта 1762 г. Для Рычкова логиновская сторона — это „скопище беглецов“, которое „до... усильства и своевольства дошло“; для Пушкина — это „народная оппозиция“. Характерна сама лексика, — здесь, как и в описании казацких „кругов“, Пушкин употребляет высокую политическую терминологию. Называя „справедливыми“ требования логиновцев, Пушкин вполне четко осознавал, что тем самым он оправдывал смелые действия „народной оппозиции“. В этом свете утверждение М. Н. Покровского о том, что деление казаков на „атаманскую“ и „логиновскую“ стороны Пушкин объяснял „просто личными раздорами“,³ представляется грубо искажающим истину.

Непосредственно вслед за фразой, в которой жалобы казаков названы „справедливыми“, Пушкин пишет:

„Но тайно посланные от них люди были, по повелению президента графа Чернышева, схвачены в Петербурге, заключены в оковы и наказаны, как бунтовщики“.⁴

Отношение Пушкина к подобным действиям Чернышева совершенно недвусмысленно. Далее, Пушкин сообщает, что в то время, как местное начальство начало „новыми притеснениями мстить народу за его сопротивление“, в это время „правительство имело намерение составить из казаков гусарские эскадроны и <.....> повелено брить им бороду“. Это

¹ Там же (разрядка моя. А. Г.).

² Библиотека им. В. И. Ленина, тетрадь № 2391.

³ М. Н. Покровский. „Пушкин-историк“, Сочинения Пушкина, ГИХЛ, 1933, т. V, кн. I, стр. 19.

⁴ „История Пугачевского бунта“, гл. первая, стр. 8—9.

мероприятие правительства в изложении Пушкина не может не представляться еще одним очередным звеном в цепи несправедливостей. Переходя к изложению приезда генерал-майора Траубенберга, Пушкин снова сталкивается с лживой интерпретацией верноподданных историков. Так, Левшин сообщает только, что „генерал-майор Траубенберг, встретив толпу с артиллериею и вооруженными солдатами, требовал, чтоб она возвратилась и рассеялась“, — и этим упоминанием об эпизоде с Траубенбергом ограничивается. Что касается Рычкова, то он не жалеет красок для дискредитации „мятежников“, убивших Траубенберга:

„... собравшись, они большим скопом пришли в такое остервенение, что находившегося тогда в городе для окончания вышеозначенных следственных дел г.-м. Траубенберга убили до смерти“.¹

Пушкин же, рассказав о намерении правительства составить из казаков гусарские эскадроны и... брить им бороду, считает нужным прибавить:

„Генерал-майор Траубенберг, присланный для того² в яицкий городок, навлек на себя народное негодование“.

Пушкин подчеркнул, что „окончание следственных дел,“ как академически выражается Рычков, на самом деле означало посягательство на законные права казаков. Там же, где Рычков видел слепое „остервенение“ казаков, Пушкин сумел увидеть „народное негодование“.

Заключительным аккордом первой главы является описание январского мятежа 1771 г., своеобразного пролога пугачевщины. Подробно остановившись на жестокости усмирения, Пушкин пишет:

„То ли еще будет!“ говорили прощенные мятежники: „так ли мы тряхнем Москву“

Тайные совещания происходили по степным уметам и отдаленным хуторам“.³

И здесь бросается в глаза применение высокой лексики к тому, что с официальной точки зрения нельзя было именовать иначе как разбойничьим „скопом.“ Тайные совещания — это напоминает терминологию декабристского круга. В каких глубоко конкретных чертах рисовалась Пушкину эта атмосфера „тайных совещаний,“ блестяще показывает замечательный диалог хозяина постоянного двора и вожатого во II главе „Капитанской Дочки“:

„Стали было к вечерни звонить, да попадья не велит: поп в гостях, черти на погосте“.

— «Молчи, дядя <...> будет дождик, будут и грибки; а будут грибки, будет и кузов...»“.

¹ „История Пугачевского бунта“, часть вторая. Приложения. Осада Оренбурга (Летопись Рычкова), стр. 14.

² Там же, стр. 9 (разрядка моя. А. Г.).

³ Там же, стр. 12.

Это и было переводом на сочный язык народного иносказания многозначительной угрозы — „Так ли мы потрясем Москву“

„Всё предвещало новый мятеж“, — говорит Пушкин, заключая первую главу „Истории Пугачева“. — „Недоставало предводителя. Предводитель сыскался“.¹

Этими словами первая глава пушкинской „Истории“ заканчивается. Кроме них, во всей этой главе нет ни слова, ни одного, хотя бы беглого, упоминания непосредственно о Пугачеве. Пушкин стремился здесь показать закономерность пугачевщины, показать, что она неизбежно вытекала из взаимоотношений правительства с казацкой массой, причем нападающей, агрессивной стороной Пушкин считает именно правительство.

Описание уральских плодородных земель и обильных рек, с которого начинается труд Пушкина, отнюдь не случайно. Пушкин наглядно показывает, как щедрой, богатой природе соответствовал, пусть несколько грубоватый, но по-своему справедливый, целесообразный и независимый порядок. Этот порядок — казацкая „вольность“, которая обеспечивала, по мнению Пушкина, выполнение казаками государственных обязанностей, но в то же время предоставляла серьезные гарантии свободы личности, подчиняла меньшинство воле большинства, предоставляла большинству суверенные функции, обеспечивала свободу выборов, свободу изъявления народной воли. Симпатии Пушкина всецело на стороне казацкой демократии. Он целиком на стороне последней в ее конфликте с царской бюрократией. Пушкин снимает с уральских казаков обвинение в исконной, неискоренимой склонности к разбоям. В его изображении борьба царизма с яицким войском ничем не оправдана. Это — нападение сильного хищника на мирных рыболовов, живших своеобразной и независимой жизнью. Детальное описание жизни и быта яицких казаков объяснялось вовсе не стремлением Пушкина к излишней детализации — оно было основой всей пушкинской концепции пугачевщины.

Недаром, когда Броневский недоумевал, зачем понадобилось Пушкину огромное, чисто фактического порядка, примечание к первой главе, Пушкин ответил: „Полное понятие о внутреннем управлении яицких казаков, об образе жизни их и проч. необходимо для совершенного объяснения пугачевского бунта“ („Об истории Пугачевского бунта“, 1836).

„Совершенное объяснение пугачевского бунта“ Пушкиным диаметрально противоположно тем объяснениям, которые давали дворянские историки. С их точки зрения, на скамье подсудимых — народ; с точки же зрения Пушкина — правительство, ибо только оно, по его мнению, несет ответственность за кровавые события.

¹ Там же, стр. 12.

Любопытно, что, читая „Записки о жизни и службе А. И. Бибикова“, составленные сыном усмирителя пугачевщины, сенатором Бибиковым, Пушкин обратил особо пристальное внимание на изложение автором „Записок“ предпосылок пугачевщины. С точки зрения сенатора Бибикова, пугачевщина обусловлена в основном четырьмя факторами:

„1-е. Крайняя малочисленность полевых и гарнизонных войск в Сибири... 2-е. Умножение раскольничьих селений, всегда враждующих противу православия и установленных властей. 3-е. Открывшееся в станицах яицких казаков неудовольствие, возродившее ропот и сопротивление и превратившееся в явный бунт“.¹

Пушкин, изучавший записки Бибикова по экземпляру, имевшемуся у него в библиотеке, все эти три пункта подчеркнул карандашом. Они, с его точки зрения, заслуживали внимания. Но у сенатора Бибикова назван и четвертый фактор, с точки зрения автора „Записок“ весьма существенный:

„4-е. Закоренелое суеверие и грубое невежество народов в сей обширной и отдаленной стране“.²

Эта фраза, единственная в данном контексте, Пушкиным не подчеркнута.

Сразу же после нее подчеркивание фраз Бибикова продолжается снова; единственной, не отмеченной Пушкиным, фразой является именно та, в которой содержится обвинение „народов“ в „закоренелом суеверии“ и „грубом невежестве“. Пушкин прошел мимо нее, ибо она ничего ему не давала для понимания пугачевщины. Пушкин искал виновников совсем не там, где их видел сенатор Бибиков.

Таким образом полемика между Пушкиным и предшествующими ему реакционными историками пугачевщины идет не по линии частных разногласий, не по линии большего или меньшего сочувствия отдельным лицам (в том числе Пугачеву, как полагает П. Попов), — Пушкин прежде всего в основном не был согласен с официозной концепцией. „Пугачевский бунт“ для Пушкина не нападение, а оборона, защита древних прав и вольностей народа, это — месть виновным. Пушкин хорошо знал, что обвинения пугачевцев в жестокости, исходящие из официозного лагеря, лицемерны, ибо эта жестокость была лишь иллюстрацией к принципу „око за око“. Это — первая особенность взгляда Пушкина на „пугачевщину“. Мы увидим, что в дальнейшем изложении он постарался всюду, где возможно, подчеркнуть эту ответственность правительства за кровопролитные события.

Вторая особенность взглядов Пушкина заключается в сочувственном отношении его к идеалу казацкой „вольности“, — а ведь реставрация

¹ „Записки о жизни и службе А. И. Бибикова. Сыном его, сенатором Бибиковым в СПб., в Морской типографии“, 1817, стр. 243.

² Там же, стр. 244.

этой вольности и наделение ею всего народа и являлись субъективной целью „пугачевщины“.

Покровский был прав, утверждая, что Пушкин был „первым идеализатором казачества“.¹

Но глубоко неправильно утверждение исследователя, что Пушкин (по Покровскому, „барин-крепостник“) идеализировал все, „что встает против централизации и чиновничества“. „Для Пушкина“, утверждал далее историк, „Пугачев вовсе не вождь крестьянской революции... Пугачев для него предводитель *казацкого восстания*... но казаки совсем не то, что крепостные...“²

Эту идею о том, что Пушкин, якобы, резко противопоставлял казачество крестьянству и не понимал теснейшей связи Пугачева с крестьянской массой, следует признать совершенно несостоятельной. Достаточно вспомнить замечательные строки Пушкина о том, что „весь черный народ был за Пугачева“, или вещей сон Гринева в „Капитанской Дочке“ о „страшном мужике“, чтобы понять, насколько механистично подобное деление. Казачья вольность интересовала Пушкина как попытка „простого народа“, „черного народа“ создать свои, демократические в основе формы правления. Покровский напоминает Пушкину, что, вопреки его утверждениям, „фактического равенства в казацкой общине давно не было, что между казаками были кулаки-богатеи и была беднота...“³ чего Пушкин „или не заметил, или не хотел замечать“. Разумеется, не подлежит сомнению, что описание казачества окрашено под пером Пушкина в романтический цвет. Но для нас важно не констатировать наивность Пушкина, который, якобы, „проглядел“ классовую дифференциацию внутри казачества до-пугачевских времен, — для нас важно подчеркнуть, что именно эта романтика, именно эта идеализация противостояла другой официально-„патриотической“ романтике, противостояла тенденциозной героизации блестящего „осмнадцатого столетия“, триумфального прошлого империи, которому Пушкин противопоставил другое, народное прошлое, то прошлое, о котором молчали официозные историки. Для нас важно, что концепция Пушкина по вопросу об уральском казачестве резко противостоит концепции всех предшествующих ему историков, не только откровенно рептильных, типа Рычкова или Броневского, но и относительно более „просвещенных“ и объективных (Левшин). Наконец, важно, что именно романтизация вольного казачества стала впоследствии составной частью идеологии революционных крестьянских демократов, мечтавших о возрождении героических традиций казацкой вольницы. Таким образом и в этом вопросе протягивается в известном смысле нить от Пушкина к 60-м годам.

¹ М. Н. Покровский, назв. работа, стр. 19.

² Там же (курсив Покровского).

³ Там же.

II

„История Пугачева“ имеет для нас значение не только как первая в русской историографии попытка осмыслить революционное народное движение, но и как документ вполне четкого отношения Пушкина к русской дворянской культуре и государственности XVIII в., к екатерининской эпохе в целом. Но для того чтобы разглядеть эту, совершенно неизученную сторону пушкинского труда, следует подвергнуть детальному рассмотрению не только непосредственно „Историю“, но и те заметки, которые Пушкин позже представил Николаю I отдельно от текста „Истории“, — при жизни поэта, как известно, не напечатанные.

Какая трактовка екатерининской эпохи желательна была официозному лагерю, чего ожидали в этом смысле от Пушкина, выясняется в достаточной степени из письма к последнему П. П. Свиньина, — одного из характернейших представителей казенной, репильной журналистики 30-х годов:

„Воображаю сколь любопытно будет, — писал Пушкину последний, — обозрение великой царицы нашего золотого века, или лучше сказать мифологического царствования, — под пером вашим! Право этот предмет достоин вашего таланта и трудов“.¹

Отношение Пушкина к „мифологическому царствованию“ резко отличалось не только от этого официозно-апологетического восприятия „века Екатерины“, но и от той идеализации „осмнадцатого столетия“, которая была типичной для оппозиционно-дворянских кругов 30-х годов. Чем обуславливался культ екатерининской эпохи у этих последних, в достаточной мере выясняется из восторженных высказываний П. А. Вяземского.

„Как мы пали духом со времен Екатерины...“, — с грустью писал фрондирующий „поэт и камергер“. „Какая-то жизнь мужественная дышет в этих людях царствования Екатерины. Как благородны сношения их с императрицею... После (т. е. после царствования Екатерины. А. Г.) всё приняло какое-то холопское уничтожение...“²

Эти строки Вяземского представляют для нас особый интерес, так как весь этот панегирик „жизни мужественной“ екатерининских времен непосредственно вызван чтением „Записок“ сенатора Бибикова (сына усмирителя пугачевщины) о жизни его отца, — той самой книги, которая послужила Пушкину одним из основных источников для его „Истории“. Но как отличны выводы, сделанные Пушкиным в результате чтения бибиловских „Записок“ от выводов Вяземского.

¹ П. П. Свиньин Пушкину 19 февраля 1833 г. Сочинения Пушкина, „Переписка“ мзд. Академии Наук, т. III, 1911.

² „Полное собрание сочинений П. А. Вяземского“. СПб., 1884, т. IX, стр. 146.

Общая картина нравов екатерининского двора, нравов аристократии, непосредственно окружавшей престол „Фелицы“, так, как она рисуется в пушкинской „Истории“, а еще в большей степени — в „Заметках“, дополнявших „Историю“, — это грустное повествование о кровавых и грязных интригах, о разгуле самых темных, самых низменных страстей.

Вот, например, заметка 13-я, над которой Пушкин пометил: „Стран. 93“. Сопоставление этой заметки со страницей 93-й прижизненного издания „Истории“, комментарием к которой она является, яснее ясного показывает, насколько сознательно разрушал Пушкин радужные представления о „днях Екатерины“. Всё дело в том, что на странице 93-й „Истории Пугачевского бунта“ (издание 1834 г.) говорится о радостной встрече, которую население осажденного Пугачевым Оренбурга устроило „избавителю“ города от пугачевской опасности — князю Голицыну.

„Благословляли Голицына, — пишет Пушкин, — ... жители приняли его с восторгом неописанным“.

Но в заметке 13-й, своеобразно комментирующей как раз это место, сразу же разрушается феерическое впечатление. Вот, что гласит этот комментарий: „Князь Голицын, нанесший первый удар Пугачеву, был молодой человек и красавец. — Императрица замстила его в Москве на бале (в 1775), и сказала: «Как он хорош, настоящая куколка». Это слово его погубило. Шепелев (впоследствии женатый на одной из племянниц Потемкина) вызвал Голицына на поединок и заколол его, сказывают, изменнически. Москва обвиняла Потемкина...“¹

Пока Голицын выступал в роли победителя (пусть хоть временно) внутреннего врага, он, с точки зрения дворянских представлений, был окутан ореолом романтики. Пушкин сразу же разрушает этот ореол, так как показывает „героя“ дворянской империи уже не на фоне батальной славы, а на весьма неприглядном фоне растленного екатерининского двора. Несколькими штрихами Пушкин дает вполне законченное представление о порочности дворцовой атмосферы XVIII в. „Росская Минерва“, пошло заигрывающая с „красавцем“ Голицыным, кровопролитная борьба за право быть ее фаворитом, „светлейший“ Потемкин в роли организатора тайных убийств, — таким предстает под пером Пушкина „мифологическое царствование“, блестящий „век Фелицы“. Батальная героика снята показом отвратительной изнанки екатерининской монархии, показом неприглядной атмосферы придворных интриг и фаворитизма. Весь смысл пушкинской заметки в том и заключается, что даже люди типа Голицына, сослужившие службу дворянскому государству и имевшие все основания претендовать на лавры, оказывались жертвами этой кошмарной обстановки. Если заметка 13-я разрушает героическое представление об образе Потемкина,

¹ Пушкин. „Полное собрание сочинений“ в шести томах, „Academia“, т. IV, М.—Л., 1936, стр. 690.

то в заметке 18-й разоблачается другой екатерининский сподвижник — Румянцев. Пушкин пишет о „зависти“, которую последний питал „ко всем людям, коих соперничество казалось ему опасным“, а в следующей фразе (видимо из осторожности — зачеркнутой) называет характер Румянцева низким.

Мы уже видели, что и образ самой „великой жены“ рисуется Пушкиным далеко не в привлекательном свете. Пушкин сознательно показывает в облике Екатерины те черты, которые разрушают льстивый портрет, созданный официозной легендой.

Характерна первая из пушкинских „Заметок“, в которой Пушкин говорит о том, что Павел I, взойдя на трон, сразу же спросил: „Жив ли его отец?“ Истинный смысл этой заметки раскрывается только из зачеркнутого Пушкиным рукописного варианта.

„Он не хотел верить (другой вариант, — также зачеркнутый, — „не мог думать“), чтоб гос<ударыня> Екатерина...“¹

Незаконченную фразу легко продолжить. По мнению Пушкина, Павел „не мог думать“ и „не хотел верить“, чтобы Екатерина могла выступить в преступной роли мужеубийцы. Разумеется, в окончательный текст эта фраза, откровенно направленная против бабки царствующего императора, попасть не могла.

На первый взгляд может показаться странным, что самодур Павел, в сравнении с его матерью, получает у Пушкина значительно более сочувственную характеристику. По словам Пушкина, Павел выделялся „царственным умом и силой характера“, но его „ожесточали неправые подозрения, мелочные ежедневные досады (раздражения) и подлая дерзость временщиков (любимцев)“. (Там же.)

Это неожиданное, на первый взгляд, заступничество за Павла резко противоречит тем бичующим характеристикам, которыми Пушкин наделил Павла в оде „Вольность“ (1818) и в „Заметках по русской истории“ (1822). Тогда Павел был для Пушкина „увенчанным злодеем“ и „Калигулой“. Для того чтобы понять истинные причины эволюции взглядов Пушкина в этом вопросе, следует учесть, что она мотивировалась, прежде всего, отталкиванием от архаичной для 30-х годов идеологии примитивного тираноборства, характерной для дворянской фронды начала XIX в. Ненависть к Павлу сочеталась у фрондирующей аристократии с культом „просвещенного абсолютизма“ „северной Семирамиды“. Мы уже видели, с каким любованием вспоминал об екатерининской эпохе Вяземский. В 30-е годы Пушкину не так важно было снова напоминать о самодурстве Павла, как важно было подчеркнуть, что самое это самодурство было порождено омерзительной атмосферой екатерининского двора. Удар по этому последнему означал глубочайшее отталкивание от наибо-

¹ Рукописное отделение Института литературы Академии Наук СССР (Пушкинский Дом), № 357.

лее „блестящих“ традиций дворянской культуры. Там, где Вяземский усматривал „что-то рыцарское“, „жизнь мужественную“, Пушкин увидел „подлую дерзость временщиков“ (в другом варианте — „любимцев“, что звучало еще резче, так как било непосредственно по личным симпатиям Екатерины). Дело было не в реабилитации Павла, а в стремлении Пушкина к наиболее сильному развенчанию сановных „любимцев“ Екатерины и, следовательно, к развенчанию самой „росской Минервы“. В этой связи любопытно отметить, что мы имеем и другое указание на то, что эволюция взглядов Пушкина на роль классических „тиранов“ в русской истории шла именно по этой линии, — центр тяжести переносится для Пушкина с личности тирана на условия, ее порождающие. Именно этим объясняется, что в письме к Лажечникову от 3 ноября 1835 г. великий поэт, излагая свое впечатление от „Ледяного дома“, неожиданно, как кажется на первый взгляд, выступает в защиту Бирона.

„Он имел несчастье быть немцем, — пишет Пушкин о страшном временщике, — на него свалили весь ужас царствования Анны, которое было в духе его времени и в нравах народа“.¹

Лажечников, разумеется, возмутился и стал перечислять Пушкину все злодеяния Бирона; между тем, сущность пушкинской точки зрения романтик Лажечников не понял. Для Лажечникова во всех злодеяниях виноват исключительно Бирон. Пушкин обвинял прежде всего „дух времени“ в целом, деспотическую монархию XVIII в., вне прямой зависимости от качеств отдельных лиц. Характерно, что Лажечников, полемизируя с Пушкиным, недоумевал, почему „дух времени“ не требовал бироновских казней при преемниках Анны Иоанновны? Для Пушкина, разумеется, подобная аргументация не могла быть убедительной, ибо он хорошо знал, что оборотная сторона царствований Елизаветы и Екатерины была отнюдь не столь идилличной, как это рисовалось Лажечникову. Эту оборотную сторону и стремился показать Пушкин как в „Истории Пугачева“, так и в дополняющих ее „Заметках“. Какими средствами это достигалось, станет совершенно ясным, если сравним метод изображения Пушкиным двух исторических фигур. Это, с одной стороны, — генерал-майор Кар, с другой — А. И. Бибиков.

Насколько связывали Пушкина цензурные рамки, блестяще раскрывается анализом его высказываний о Каре. В самом деле, первоначально может создаться впечатление, что Пушкин относился к этому „полководцу“ чуть ли не с уважением. Так, в главе третьей сообщается, что начальство над войсками было:

„поручено генерал-майору Кару, отличившемуся в Польше твердым исполнением строгих предписаний начальства“.²

¹ Пушкин „Переписка“, изд. Акад. Наук, т. III, СПб., 1911, стр. 250.

² „История Пугачевского бунта“, гл. третья, стр. 34.

Эта формулировка могла бы показаться сочувственной, если бы не был известен рукописный вариант этого же места. В рукописи отрывок звучит по-иному:

„...поручено г.-м. Кару, отличившемуся в Польше жестоким исполнением строгих предписаний начальства“.¹

Не „твердым“, а „жестоким“! Разница существенная. Из этой же рукописи видно, что слово „жестоким“ было зачеркнуто Пушкиным и заменено попавшим в печать вариантом. Что замена была обусловлена отнюдь не принципиальными, а лишь цензурными соображениями, — что резкая, осуждающая характеристика Кара соответствовала взглядам Пушкина, — подтверждает одна из его „Заметок“.

„Кар, — читаем мы в заметке 7-й, — был пред сим употребляем в делах, требовавших твердости и даже жестокости (что еще не предполагает храбрости, и Кар это доказал)“.²

Мы видим, что об одном из первых по времени усмирителей „пугачевщины“ Пушкин говорит с нескрываемым презрением. Насколько, однако, система эзоповского языка была продуманной, — видно из того, что в своей полемической заметке (уже после выхода „Истории“, в 1835 г.), направленной против Броневского, Пушкин, в числе прочих обвинений, предъявляет своему литературному противнику и следующее:

„Г. Броневский не говорит ничего о генерал-майоре Каре, игравшем столь замечательную и решительную роль в ту несчастную эпоху“...

В чем конкретно заключалась эта „замечательная и решительная роль“, с предельной ясностью расшифровывается в цитированной выше 7-й заметке.

„Разбитый двумя каторжниками, — пишет Пушкин о Каре, — он бежал, под предлогом лихорадки, лома в костях, фистулы и горячки“.³

В таком сопоставлении слова о „замечательной и решительной роли“ Кара могут звучать только горькой иронией. Что же касается финала жизненного пути неудачного полководца, то о нем в тексте „Истории“ сказано также в тоне довольно безразличном:

„С того времени (т. е. с отставки. А. Г.) жил он в своей деревне, где и умер в начале царствования Александра“.⁴

В заметке 7-й об этой смерти в деревне сказано с гораздо большей определенностью:

„Сей человек, пожертвовавший честью для своей безопасности, нашел однако же смерть насильственную: он был убит своими крестьянами, выведенными из терпения его жестокостью“.

¹ Библиотека им. В. И. Ленина в Москве, тетрадь № 2390 (разрядка мая. А. Г.).

² Пушкин. „Полное собрание сочинений“ в шести томах, „Academia“, т. IV, 1936, стр. 688.

³ Там же.

⁴ „История Пугачевского бунта“, гл. третья, стр. 55.

„Заметка“ о Каре — это своего рода историко-художественный портрет, несколькими штрихами дающий полное представление об этой фигуре. Характерно, что о крестьянах, убивших Кара, Пушкин вспоминает не только без ужаса, но даже явно в примирительных тонах, — во-первых, они были, утверждает Пушкин, выведены из терпения жестокостью своего барина, во-вторых, они изрядно наказали его за проявленную им в свое время трусость! Пушкин удовлетворен по поводу того, что народный гнев все-таки настиг деспота и труса. Этот момент в черновой рукописи выступает особенно рельефно:

„Сей человек (который так боялся)... опасности и избежал наказания, нашел однакож насильственную смерть“.¹

Упрек, брошенный Пушкиным Броневскому, почему последний не остановился на роли Кара, — только лишний раз свидетельствует о том, что Пушкин, подходя к изучению „славной“ эпохи, вовсе не искал в ней исключительно героических страниц.

Если Кар глубоко ненавистен Пушкину, то А. И Бибиков, наоборот, дается совершенно апологетически. Для того чтобы понять, в чем здесь дело, — достаточно сопоставить характеристику Бибикова с характеристикой Кара.

„Важные поручения, — пишет Пушкин, — были на него возлагаемы: в 1763 году послан он был в Казань для усмирения взбунтовавшихся заводских крестьян. Твердостью и благоразумною кротостью вскоре восстановил он порядок... В 1771 году он назначен был... главнокомандующим в Польше, где в скором времени успел не только устроить упущенные дела, но и приобрести любовь и доверенность побежденных...“²

Бибиков противопоставляется Пушкиным Кару во взаимоотношениях обоих с польским народом. Если первый прославил себя в Польше жестокостью, то второй, по мнению Пушкина, „сумел приобрести любовь и доверенность побежденных“. Таким образом Пушкин, являвшийся, как известно, в польском вопросе централизатором, высказался, во всяком случае, против деспотического отношения к побежденным полякам, за „милость к падшим“. С точки зрения радикальной мысли последующих эпох, это, конечно, не слишком много, но в условиях разгула официозного шовинизма 30-х годов призыв Пушкина к гуманности означал с его стороны несомненное проявление гражданского мужества.

Однако ошибочно было бы полагать, что для Пушкина всё сводится исключительно к вопросу о личных качествах того или иного сподвижника Екатерины. Положительная оценка Бибикова не могла ни в какой мере поколебать отношение Пушкина к екатерининской монархии в целом, так

¹ Рукописное отделение Института литературы Академии Наук СССР (Пушкинский Дом), № 357.

² „История Пугачевского бунта“, гл. третья, стр. 56 (разрядка моя. А. Г.).

как героический, в восприятии Пушкина, образ Бибикова противопоставит этой монархии:

„Это один из благороднейших характеров того времени“, пишет Пушкин в заметке 8-й.¹

Далее, Пушкин сообщает, что Бибиков „был послан в Холмогоры, где содержалось семейство несчастного Иоанна Антоновича, для тайных переговоров“. В черновике сказано: „(для переговоров с несчастным семейством несчастного Иоанна)“.²

Далее цитируем по черновику:

„Он возвратился влюбленный без памяти в принцессу Екатерину и так горячо заступался за нее, что государ.⟨ыне⟩... не понравилось“.³

Эта размовка между Бибиковым и „государыней“ вовсе не была, как утверждает Пушкин, единичным случаем:

„Императрица уважала Бибикова, — говорится в этой же заметке... но никогда его не любила... Свобода его мыслей и всегдашняя его оппозиция были известны...“⁴

В черновике было сказано:

„Свобода его мыслей и всегдашняя оппозиция (удивительны)“.⁵

Здесь уже не просто констатирование факта, но и явный оттенок положительного отношения к нему.

Так сложился в восприятии Пушкина образ Бибикова. Шла ли речь о „несчастном семействе несчастного Иоанна“ (которому великий гуманист Пушкин с точки зрения человечности не мог не сочувствовать) или о взбунтовавшихся заводских крестьянах, о побежденной Польше или о наследнике Павле, — во всех этих случаях Пушкин рисует Бибикова рыцарем гуманности, другом угнетенных, защитником попранной справедливости. Для нас неважно, соответствовал ли этот облик историческому Бибикову. Важно то, что именно эти черты Пушкину импонировали, и носителя их он противопоставлял двору „просвещенной монархии“. Панегирики Бибикову в устах Пушкина — это апофеоз протестанта, который чувствовал себя неуютно в рамках „века Екатерины“ и всем своим личным обликом противостоял ему. Недаром, подчеркивая „невозвратную“ потерю, которую понесла Россия в связи со смертью Бибикова, Пушкин отмечает:

„Андреевская лента, звание сенатора и чин полковника гвардии не застали его в живых“.⁶

¹ Пушкин. „Полное собрание сочинений“, „Academia“, т. IV, 1936, стр. 688.

² Рукописное отделение Института литературы Академии Наук СССР (Пушкинский Дом), № 358.

³ Там же.

⁴ Пушкин. „Полное собрание сочинений“, „Academia“, т. IV, стр. 688.

⁵ Рукописное отделение Института литературы Академии Наук СССР (Пушкинский Дом), № 358.

⁶ „История Пугачевского бунта“, гл. пятая, стр. 105.

Неумение екатерининского правительства оценить при жизни заслуги Бибикова было, с точки зрения Пушкина, вполне естественной деталью, лишь дополнявшей общую картину взаимоотношений между этим правительством и Бибиковым.

Как показывает Пушкин, в дворянской монархии Екатерины царил дух произвола и подлых интриг даже по отношению к лучшим, по личным качествам, людям привилегированного сословия. Но, разумеется, в еще более непривлекательном свете рисуются Пушкиным взаимоотношения между властями, с одной стороны, и народом, т. е. крестьянско-казацкой массой, с другой.

С необычайной последовательностью Пушкин противопоставляет внешнеполитическому могуществу екатерининской монархии ее внутреннее неустройство, наиболее острым выражением которого было пугачевское восстание. Как характерна, например, следующая фраза:

„Сии горестные известия (речь идет об усилении „бунта“. А. Г.) сделали в Петербурге глубокое впечатление и омрачили радость, произведенную окончанием турецкой войны и заключением славного Кучук-Кайнарджиского мира“.¹

Это замечание следует у Пушкина непосредственно после красноречивого описания внутреннего положения России:

„Никогда успехи его не были ужаснее, никогда мятеж не свирепствовал с такою силою. Возмущение переходило от одной деревни к другой; от провинция к провинции“.²

Итак, с одной стороны, блеск воинской славы, с другой — исключительный по распространенности, имеющий глубочайшие корни в народе „мятеж“.

Мрачную картину внутреннего положения России Пушкин использует не только для разрушения мифа о могуществе екатерининской монархии, но и для разрушения другого мифа — о благодетельном царстве законности, о гражданском преуспевании под скипетром „мудрой Фелицы“. Характерно, что, упомянув об активном участии в пугачевщине казака Падурова, бывшего в 1762 г. депутатом „Комиссии по составлению нового уложения“ — Пушкин в примечаниях к третьей главе пишет:

„Депутатов было 652 человека. Им розданы были, для ношения в петлице, на золотой цепочке золотые овальные медали с изображением на одной стороне вензелевого е. и. в. имени, а на другой — пирамиды, увенчанной императорскою короною, с надписью: Блаженство каждого и всех, а внизу: 1766 год, декабря 14 день“.³

Зачем понадобился Пушкину этот неожиданно детальный комментарий? Казалось бы, какое отношение к его повествованию имеет подробное описание того, какие именно медали были выданы депутатам

¹ Там же, гл. осьмая, стр. 142.

² Там же, стр. 141.

³ „История Пугачевского бунта“, примечание к главе третьей, стр. 34.

комиссии в 1766 г.? Пушкин стремится напомнить читателю о „фарсе нового Уложения“, как презрительно именовал он „либеральную“ затею Екатерины еще в 1822 г. Подробно останавливаясь на помпезной, торжественной внешности екатерининской комиссии, Пушкин подчеркивает свое ироническое отношение к ней, ибо факты, собранные в его „Истории“, яснее ясного демонстрируют полный крах основной цели этой комиссии — водворить просвещение и законность в России. В этом свете становится понятным, зачем Пушкину понадобилось точно приводить даже текст надписи, украшавшей медали депутатов. „Блаженство каждого и всех“, — мог ли подобный широковещательный девиз не восприниматься Пушкиным иронически на грозном фоне пугачевского восстания? Разве самый факт возникновения этого последнего не был сильнейшим ударом по лицемерной риторике „Наказа“? Тот факт, что депутат екатерининской комиссии одновременно оказался „бунтовщиком“, Пушкин не только не затушевывает, но, наоборот, выделяет, для того чтобы обнажить остроту противоречий, в которых запуталась монархия Екатерины. В этом свете понятной становится последняя из заметок Пушкина (19-я):

„Падуров, как депутат, в силу привилегий, данных именным указом, не мог ни в каком случае быть казнен смертью. Не знаю, прибегнул ли он к защите сего закона; может быть он его не знал; может быть судьи о том не подумали...“¹

В черновике, однако, в непростительном забвении закона обвинялись не судьи, а сама „росская Минерва“, коронованная насадительница „законности“:

„... Гос<ударыня> Екатерина, — писал Пушкин, — о том не подумала“.²

Иронический оттенок этого „не подумала“ не требует комментариев. Так разоблачал Пушкин лицемерие „Тартюфа в юбке и в короне“, как назвал он Екатерину еще в своем историческом наброске 1822 г.

Любопытно, что если первоначально в пушкинской заметке стояло „казнь его противозаконна“, то впоследствии Пушкин зачеркнул „его“ и написал „сего злодея“. Наименование Падурова „злодеем“ было единственной возможностью, хотя бы относительно, легализировать в глазах Николая I „кошунственные“ мысли о грубом нарушении закона, допущенном екатерининской юстицией.

Сообщив в заметке 10-й что „уральские казаки (особливо старые люди) донныне привязаны к памяти Пугачева“, Пушкин сразу же дает и мотивировку этой привязанности:

„Грех сказать, говорила мне 80-ти-летняя казачка, на него мы не жалуемся; он нам зла не сделал“.³

¹ Пушкин. „Полное собрание сочинений“, „Academia“, т. IV, 1936, стр. 69.

² Рукописное отделение Института литературы Академии Наук СССР (Пушкинский Дом), № 366.

³ Пушкин. „Полное собрание сочинений“, „Academia“, т. IV, стр. 689.

Эта мотивировка, в сущности довольно дипломатичная, в черновом варианте уточнена:

„Он нам зла не сделал... (Не он нас обидел)“¹

Такая формулировка содержала не только реабилитацию Пугачева, но и возможный намек на дискредитацию екатерининских властей, „обидевших“ уральское казачество.

Но особенно значительны высказывания Пушкина о безотрадном положении угнетенных народностей в России XVIII в.

Так, упоминая о страхе, который испытывали башкиры перед русским правительством, Пушкин бросает беглое замечание:

„... (Казни 1740 года были у них в свежей памяти)“²

В примечаниях к главе пятой об этом говорится уже значительно полнее и ярче:

„Бунтовавшие башкирцы жестоко усмирены были генерал-лейтенантом князем Урусовым, прозванным, как Силла, счастливым, ибо все ему удавалось“³

Ироническое замечание об удачливости Урусова перекликается с заметкой Пушкина о Каре, — здесь также Пушкин в завуалированной форме протестует против палаческих действий титулованного сатрапа. Однако полностью раскрыть свое отношение к последнему Пушкин смог только в заметке 12-й.

„Казни, произведенные в Башкирии генералом князем Урусовым, невероятны, — говорит он. — „Около 130 человек были умерщвлены посреди всевозможных мучений“ [„Иных растыкали по кольям, других повесили ребром за крюки, некоторых четвертовали]. Остальных, человек до тысячи (пишет Рычков) простили, отрезав им носы и уши“⁴

„Многие из сих прощенных, — добавляет Пушкин, — должны были быть живы во время пугачевского бунта“⁵

Как характерно это „сих прощенных“! Здесь снова перед нами яркий образец полемики Пушкина с Рычковым. Ведь Рычков говорит о прощении башкир без всяких кавычек. Пушкин своим комментарием к высказываниям Рычкова прямо указывает на то, что „прощение“, на самом деле означавшее величайшее надругательство над башкирами, могло только в еще большей мере озлобить и без того ожесточенный народ и психологически подготовило почву для его участия в пугачевском восстании. То, что Пушкин не досказал в „Истории“, — он раскрыл художественными средствами — образом пленного башкирца в „Капитанской Дочке“. Так выглядела теневая сторона идеализированного Лажеч-

¹ Рукописное отделение Института литературы Академии Наук СССР (Пушкинский Дом), № 360.

² „История Пугачевского бунта“, гл. пятая, стр. 84.

³ Там же, примечание к главе пятой, стр. 48.

⁴ Пушкин. „Полное собрание сочинений“, „Academia“, т. IV, стр. 690.

⁵ Там же.

никовым царствования „кроткой“ Елизаветы (речь идет о 1740 г.) — под пером Пушкина!

Но антишовинистическая и, тем самым, антиофициозная направленность „Истории Пугачева“ нашла особо рельефное отражение в высказываниях Пушкина о калмыках. Он целиком и полностью на стороне угнетенного калмыцкого народа. В самом деле — в каком свете рисуется Пушкиным картина взаимоотношений между калмыками и русским правительством?

„Между Волгой и Яиком, по необозримым степям астраханским и саратовским, кочевали мирные калмыки, в начале осьмнадцатого столетия ушедшие от границ Китая под покровительство белого царя. С тех пор они верно служили России, охраняя южные ее границы. Русские приставы, пользуясь их простотою и отдаленностию от средоточия правления, начали их угнетать. Жалобы сего смиренного и доброго народа не доходили до высшего начальства: выведенные из терпения, они решились оставить Россию и тайно снеслись с китайским правительством <...> в числе тридцати тысяч кибиток они перешли на другую сторону и потянулись <...> к пределам прежнего отечества.“¹

Эти строки являются одновременно пламенной апологией „смиренного и доброго народа“ и обвинительным актом против колонизаторской политики русского царизма. Что могло быть красноречивее этого внезапного ухода тридцати тысяч кибиток из пределов России? Скрытой иронией звучит в данном контексте упоминание о „покровительстве белого царя“, которое обернулось на практике бессовестным произволом „русских приставов“ и равнодушием „высшего начальства“. Любопытно отметить, что разоблачение легенды о „белом царе“ как покровителе угнетенных народов мы находим по сути дела и в „Кирджали“.

Если в описании событий, предшествовавших пугачевскому восстанию, Пушкин подчеркивает остроту противоречий между дворянством и народной массой, то характерно, что и в описании самого восстания он освещает роль представителей „благородного сословия“ далеко не в радужных красках. Представление о героической борьбе последнего с внутренним врагом подвергается Пушкиным серьезному пересмотру. В этом легко убедиться хотя бы из следующего примера.

Сын Бибикова в цитированных выше „Записках“ писал: „Особенного внимания достойно, что ни один дворянин не предался самозванцу“.²

В этом месте, как и во многих других местах книги Бибикова, Пушкин ставит на полях черту и вопросительный знак. Чем объяснялось в данном случае его скептическое отношение к словам Бибикова, раскрывается из заметки 14-й.

¹ „История Пугачевского бунта“, гл. первая, стр. 9 и 10.

² Бибиков. „Записки“, стр. 259.

„Показание некоторых историков, утверждавших, что ни один из дворян не был замешан в пугачевском бунте, совершенно несправедливо. Множество офицеров (по чину своему сделавшихся дворянами) служили в рядах Пугачева, не считая тех, которые из робости пристали к нему“.

Как красноречива эта последняя оговорка! Пушкин считал, что некоторое количество офицеров примкнуло к Пугачеву искренно, но в то же время он отнюдь не был склонен замалчивать факты, свидетельствующие о „робости“, проявленной многими представителями „благородного“ сословия в войне с Пугачевым.

Сошлемся хотя бы на небольшой, но красочный момент, — когда сын Бибикова упомянул в своих „Записках“ о некоем бригадире Билове, который „выступил навстречу злодею, но неизвестно отчего опять в крепость возвратился“,¹ Пушкин подчеркнул „неизвестно от чего“ и на полях приписал: „от трусости“. С нескрываемым презрением пишет он о трусливых офицерах инвалидной команды, которые, присягнув Пугачеву, позже принесли „постыдное“, как выражается Пушкин, извинение, оправдываясь тем, „что присяга дана была ими не от искреннего сердца, но для наблюдения интереса е. и. в.“.

В то же время Пушкин показывает, что трусость дворянства перед сильным врагом сочеталась с жестокостью по отношению к врагу разбитому.

Так, сообщая о том, что полковнику Ступишину были выданы связанные „возмутители“, Пушкин пишет:

„Он велел их повесить на барках и пустить вниз по Волге мимо бунтующих берегов“.²

О графе Меллине сообщается, что он, войдя в Саранск, „черных людей велел высесть плетью под виселицею“.³

Как уже указывалось в статье П. Попова, Пушкин, описывая усмирение пугачевщины, не пощадил даже „старика Державина“, показав его в не слишком поэтической роли участника зверской расправы с „бунтовщиками“. Следует только заметить, что и здесь „Заметки“ Пушкина существенно дополняют текст „Истории“. Так, если в этой последней Пушкин, упомянув о конфликте Державина с „зачинщиками“ бунта приволжской деревни, сообщает только, что Державин „строго на них прикрикнул и велел своим казакам вешать обоих зачинщиков“, то в заметке 11-й об этом же факте сообщается с большей детализацией, служащей далеко не на пользу певцу „Фелицы“:

„Он велел двух повесить, а народу велел принести плетей и всю деревню пересек... И. И. Дмитриев уверял, — пишет далее Пушкин, — что Державин повесил сих двух мужиков более из поэтического любопытства, нежели из настоящей необходимости“.

¹ Бибиков, назв. соч., стр. 267.

² „История Пугачевского бунта“, гл. осьмая, стр. 145.

³ Там же, стр. 145.

Такая интерпретация ратных подвигов Державина в борьбе с „внутренним врагом“ давала эти подвиги далеко не в героическом аспекте.

Мы видим, что исторический труд Пушкина значительно перерастает поставленную им тему. В своей „Истории Пугачева“ Пушкин постарался дать возможно более широкую картину эпохи. В поле его зрения оказались и гнусная атмосфера дворцовых интриг, и волнения крепостных рабочих, и польский вопрос, и лицемерие „комиссии по составлению нового уложения“, и кнутабойство екатерининских „орлов“, и трусливое поведение русского дворянства в борьбе с восставшим народом, и рабское положение отсталых, угнетенных национальностей царской России. В „Истории Пугачева“ Пушкин несомненно полемизировал с традиционной идеализацией „славного“ „осмнадцатого столетия“.

III

„Весь черный народ был за Пугачева...“ Эти не раз цитированные строки определяют оценку пугачевского движения Пушкиным. Но Пушкин не только констатирует, что это было движение „всего черного народа“. Он убедительно доказывает, что „черный народ“ в состоянии „колебать государство“.

„Вот какие люди колебали государство!“ — восклицает Пушкин, детально описав внешний облик беглого каторжника Хлопуши в подчеркнуто реалистических тонах. Грандиозность пугачевского восстания Пушкин отмечает не раз.

Официозная точка зрения на „пугачевщину“ отразилась особенно ярко в рецензии на труд Пушкина, помещенной в „Библиотеке для Чтения“. Для автора этой рецензии восстание Пугачева — это —

„...бунт обольщенной и пьяной черни... продолжавшийся несколько месяцев и не имевший никакого влияния на судьбу государства, ни в чем не изменивший хода ни внешней, ни внутренней политики!“ По убеждению рецензента „Библиотеки для Чтения“, это событие —

„...не может быть предметом настоящей истории и в крайнем случае составляет только ее печальную страницу, которой по несчастию мы не в праве вырвать, но которую властны перекинуть при чтении, не расторгнув тем связи повествования о целой эпохе, не расстроив... ряда блестящих и утешительных событий, образующих истинную, прагматическую историю того времени“.¹

Неприятный эпизод, печальная страница, которую легко можно „перекинуть при чтении“, ибо она не принадлежит к галерее „блестящих и утешительных событий“, по мнению монархического критика, составляющих „истинную... историю того времени“, — вот в чем смысл подобной трактовки.

¹ „Библиотека для Чтения“, 1835, т. X, отд. 5 (Критика).

Для Пушкина же пугачевский „бунт“ — это и есть „истинная история“, это событие ничуть не меньшей важности, чем „славный“ Кучукайнарджиский мир. Для него пугачевское восстание — это событие, вне учета которого невозможно составить полное представление об екатерининской эпохе. „...Бунт пьяной черни, не имевший“, по мнению сотрудника „Библиотеки для Чтения“, „никакого влияния на судьбу государства“, Пушкину рисовался как —

„...мятеж, поколебавший государство от Сибири до Москвы и от Кубани до Муромских лесов“.¹

Подчеркивая грамадный размах восстания, Пушкин яркими красками рисует бессилие екатерининских полководцев, их неумение потушить пожар народного движения:

„Войско было малочисленно и ненадежно. Начальники оставляли свои места и бежали, завидя башкирца с сайдаком или заводского мужика с дубиной“.

Это место несомненно одно из самых замечательных в пушкинской „Истории“. Как зрительно ошутим, как конкретен этот типично пушкинский образ, — и в то же время, сколько в нем глубокого внутреннего содержания! „Башкирец с сайдаком“ и „заводской мужик с дубиной“ как грозная, страшная сила, обращающая в бегство дворянские власти, „стальную щетину“ екатерининских войск, не напоминает ли повествование Гаврилы Пушкина из „Бориса Годунова“ о том, как „воевод упрямых чернь вязала“? В „Истории Пугачева“ Пушкин оставил за „чернью“ исторически необычайно весомое место. „Заводские мужики“ с дубинами решают, по Пушкину, судьбы „государства российского“.

В каком духе они их решают, какова „чернь“ в роли создателя новых государственных порядков, — вот вопрос, который не мог не встать перед Пушкиным. Уже самая постановка вопроса была дерзостью, ибо для всей предшествующей Пушкину историографии диктатура Пугачева — это одно только голое разрушение всех государственных форм, это хаос анархии и „безначалия“ (концепция, позже усвоенная народниками, но со знаком плюс, в отличие от монархического лагеря). Пушкин же, вопреки этой традиции, показывает в стане „бунтовщиков“ элементы государственной организации:

„Войско разделено было на полки, состоящие из пятисот человек <...> Вино продавалось от казны <...> Учреждены были частые разъезды и караулы. Пугачев строго наблюдал за их исправностию, сам их объезжая иногда и ночью. Учения (особенно артиллерийское) происходили почти всякой день“.²

Перед нами картина пусть примитивных, но несомненных ростков государственности. Пушкин показывает, что казна, регулярное войско,

¹ „История Пугачевского бунта“, гл. осьмая, стр. 163.

² Там же, гл. третья, стр. 43—44.

дисциплина — все эти атрибуты „порядка“ наличествовали у пугачевцев не в меньшей мере, чем у их противников, обладавших вековым государственным опытом. Недаром пушкинская оценка пугачевского войска поразила критиков тем что полностью переворачивала их традиционные представления о пугачевцах как о разбойничьей шайке.

„Увидя стройное войско, — писал Пушкин, — Михельсон не мог сначала вообразить, чтоб это был остаток сволочи,¹ разбитой накануне, и принял его (говорит он насмешливо в своем донесении) за корпус генерал-майора Декалонга, но вскоре удостоверился в истине“.²

Итак, „сволочь“, разбитая Михельсоном, на следующий день превратилась в „стройное войско“, которое легко можно было принять за корпус генерал-майора Декалонга! Любопытно, что именно это место обратило на себя особое внимание рецензента „Библиотеки для Чтения“.

„Признаться, — писал он, — ...мы не можем вообразить, как происходили эти превращения, которые уже выходят из пределов дарований и довольно похожи на волшебство. Должно полагать, что автор не имел достаточно данных, чтоб объяснить их“.

В чем был корень основного расхождения между Пушкиным и официальными искажителями истории, мы поймем, если вчитаемся в следующие строки одного из реакционных антагонистов Пушкина — Броневского.

Расписывая „лютость“ Пугачева, автор „Истории донского войска“ пишет:

„Он вешал помещиков; истреблял их семейства... казил попов и купцов; резал и крестьян богатых, пытками вымучивая у тех и других скрытые деньги, серебряную посуду и другое имущество... убивал наконец всякого, на кого соседи по злобе показывали, что у него были деньги... высшего сословия людей и вообще, людей грамотных, разумных, истреблял... для того, что опасался, дабы просвещеннейшие люди следующих за ним... слепцов добру не научили“.³

Пушкину вся линия социальных устремлений Пугачева рисуется в совершенно ином виде. Если Броневский причислял „помещиков“, „попов“ и „купцов“ к единому враждебному пугачевцам ряду, то Пушкин разрушает это представление об единых, нераздельных интересах состоятельных сословий.

Как характерно, например, следующее описание:

„27 июля Пугачев вошел в Саранск. Он был встречен не только черным народом, но духовенством и купечеством... Триста человек дворян<...> были им тут повешены; крестьяне и дворовые люди стекались к нему толпами“.⁴

¹ Как уже указывалось в литературе, слово „сволочь“ не имело в данном случае ругательного смысла. А. Г.

² „История Пугачевского бунта“, гл. шестая, стр. 114.

³ В. Броневский. „История донского войска“, ч. II, 1834, стр. 110—111.

⁴ „История Пугачевского бунта“, гл. осьмая, стр. 145

Опора Пугачева — „крестьяне и дворовые люди“, его поддерживают „духовенство и купечество“ — такова концепция Пушкина. Недаром в отрывке, озаглавленном „Общие замечания“ и резюмирующем основные мысли автора, мы читаем:

„Весь черный народ был за Пугачева; духовенство ему доброжелательствовало, не только попы и монахи, но и архимандриты, и архиереи. Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства“.¹

На фоне 30-х годов отстаивать мысль о том, что русское дворянство в эпоху величайшего социального потрясения стояло „одно“, было изолировано от прочих, в том числе имущих сословий, это означало вступать в полемику с той теорией, согласно которой именно голубиное сожительство всех сословий и является основной чертой русского исторического процесса, в отличие от терзаемого внутренними „распрями“ (т. е. сословной борьбой) запада. Как известно, именно эта теория идилличности междусословных отношений в России лежала в основе концепции официальной „народности“ (она же впоследствии была возрождена славянофилами). Разрушая эту теорию, Пушкин тем самым подтверждал, что, по его мнению, формулы Гизо и Тьерри применимы и к русской истории, что и в России имела место борьба между дворянством и третьесословными (в широком смысле слова) силами.

По Броневскому, — Пугачев резал „и крестьян богатых“; Пушкин же утверждает, что даже беспорядочные хмельные „шайки разбойников“, и те руководствовались в своих действиях определенными социальными законами, — по словам Пушкина, они „устремлялись во все стороны... грабя казну и достояние дворян, но не касаясь крестьянской собственности.“² (Как увидим дальше, хищническое отношение к казне Пушкин отнюдь не считал атрибутом самого Пугачева.)

По мнению Броневского, который выражал типичную для официозного лагеря точку зрения, пугачевщина означала разрушение религии:

„Храмы божии были расхищены, алтари и жертвенники ниспровергнуты, утвари и иконы поруганы...“³

Пушкин же стремится показать, что в пугачевском государстве церковный культ играл далеко немаловажную роль:

„Церковная служба отправлялась ежедневно. На ектении поминали государя Петра Феодоровича и супругу его, государыню Екатерину Алексеевну“.⁴

Итак, по Пушкину, оказывается, что такие „устои“ (с точки зрения господствующей морали), как собственность и религия, отнюдь не подрывались „пугачевщиной“, — эти устои, как показывает Пушкин, могут существовать и при разрушении дворянского государства. Дво-

¹ Там же, гл. третья, стр. 44.

² Там же.

³ Броневский, назв. соч., стр. 110.

⁴ „История Пугачевского бунта“, гл. третья, стр. 44.

ряньство считало себя необходимой опорой порядка. Пушкин показывает, что это не так, если даже понимать порядок как синоним собственности и религии (а правящий лагерь понимал его именно так).

Если, по мнению Броневского, Пугачев „истреблял вообще людей грамотных, разумных“, даже не принадлежащих к дворянству, то у Пушкина сказано совершенно противоположное:

„Класс приказных и чиновников был еще малочислен, и решительно принадлежал простому народу. То же можно сказать и о выслужившихся из солдат офицерах“.

Итак, Пушкин показывает, что под знаменем Пугачева сплотился не только „черный народ“, к нему временами примыкали также купечество и духовенство, приказные и чиновники, часть офицерства и даже, как увидим дальше, меньшинство служилых дворян.

Таким образом в „Истории Пугачева“ Пушкиным развернута историческая концепция, согласно которой „одно дворянство“, социально изолированное от остальных групп населения, противопоставлено, по сути дела, всей нации, всему народу. Отсюда вытекает, что рассматривать „Историю Пугачева“ только как выражение тех или иных частных разногласий с официозной историографией, как делали до сих пор почти все исследователи, — значит, не понимать в ней основного.¹

Это основное заключается в том, что именно суть концепции Пушкина, выраженной в „Истории Пугачева“, была диаметрально противоположной не только официозному мировоззрению, но и дворянскому историческому мышлению вообще. „История Пугачева“ разрушала представление о социальной гармонии русского исторического процесса, о русском дворянстве как о гегемоне этого процесса, как о вожде единых общенациональных интересов, а именно — это представление лежало в основе не только теории, но и политической практики дворянской монархии.

„История Пугачева“ показывала, что интересы дворянства и интересы нации не только не тождественны, но, наоборот, противоречивы.

IV

Общая концепция пугачевского движения, развернутая Пушкиным, предопределила и его отношение к предводителю этого движения, к самому Пугачеву, который, конечно, является центральным персонажем пушкинского труда. Но для того чтобы воссоздать его облик в подлинном величии, Пушкину пришлось проделать немалую работу по разрушению вздорных измышлений классово-пристрастных историков.

Попробуем проследить, по каким линиям велось это разрушение. Прежде всего, Пушкину приходилось бороться против изображения Пуга-

¹ О полемике Пушкина с концепцией П. И. Сумарокова, как типичной для охранительных кругов, см. в статье Д. П. Якубовича „Черновой набросок предисловия к «История Пугачева»“. „Пушкин. Временник Пушкинской комиссии“, т. 3, 1937, стр. 11.

чева в качестве эффектного, мелодраматического злодея. Пушкин опровергает ходячее мнение о „злодействе“ Пугачева, но одновременно зачеркивает и черты внешней эффектности, зачастую приписываемые его герою.

Так, полемизируя с Броневским, он с нескрываемой насмешкой цитирует рассуждения последнего о том, „что природа одарила Пугачева чрезвычайной живостью и с неустрашимым мужеством дала ему и силу телесную и твердость душевную; но что, к несчастью, ему не доставало самой лучшей и нужнейшей прикрасы — добродетели... что на двадцатом году ему стало тесно и душно на родной земле, что честолюбие мучило его и пр. и пр.“ „Всё это“, замечает Пушкин, „ни на чем не основано“. Пушкин охотно соглашается пожертвовать романтическими эффектами в образе Пугачева, ибо он, по его собственному признанию (в письме к И. И. Дмитриеву), стремился представить своего героя „Емелькой Пугачевым, а не байроновым Ларою“. Прежде всего, Пугачев для Пушкина отнюдь не является разбойником по существу. Всякие домыслы о его разбойничьей природе, об органической склонности к разбойным подвигам Пушкиным начисто отменяются.

„Предание, слышанное г-ном Броневским“, пишет он, „будто бы Пугачев по обычаю предков (I) промышлял разбоями на Волге<...> ни на чем не основано...“

Как характерно, что возле приведенных из произведения Броневского слов — „по обычаю предков“ — Пушкин ставит восклицательный знак. „Пугачев до самого возмущения яицкого войска“, настаивает он, вопреки Броневскому, „ни в каких разбоях не бывал“¹ (характерно, что это место набрано у Пушкина курсивом). Представление о Пугачеве-разбойнике Пушкин считает вздорным вымыслом. Броневский, которому „Емелька Пугачев“ представлялся романтическим злодеем, не мог примириться с указанием Пушкина, что Пугачев, отлучаясь из дому, ... „кормился милостынею“. Выписывая это место, он счел нужным поставить восклицательный знак: „... что ж удивительного“, отвечает Броневскому Пушкин, „в том, что нищий бродяга питается милостынею?“ Так романтическая ложь уничтожалась трезвым реалистическим подходом Пушкина.

На первый взгляд может создаться впечатление, что под пером Броневского Пугачев является более поэтической фигурой, чем в изображении Пушкина. В самом деле, у Броневского Пугачев — это какой-то наделенный огненными страстями честолюбец, которому „стало тесно и душно на родной земле“, у Пушкина — „нищий бродяга“. Ведь пушкинское повествование о Пугачеве так и начинается:

„В смутное сие время по казачьим дворам шатался неизвестный бродяга, нанимаясь в работники то к одному хозяину, то к другому, и принимаясь за всякие ремесла“.²

¹ См. цит. статью Д. П. Якубовича, стр. 11—12.

² „История Пугачевского бунта“, гл. вторая, стр. 13.

Действительно, Пушкин отнюдь не склонен был рядить „Емельку Пугачева“ в романтические доспехи. Он знал, что Пугачев бывал временами и жалок, и забит, бывал и „нищим бродягой“, но он изображает своего героя и в иных, более героических ассоциациях. Любопытно, что, комментируя факт назначения графа Панина в поход против Пугачева, Пушкин замечает:

„Таким образом, покоритель Бендер пошел войною противу простого казака, четыре года тому назад безвестно служившего в рядах войск, вверенного его начальству“.

Так Пушкин подчеркивает всю значимость того факта, что лицом к лицу с одним из баловней военной славы России стоял один из подлинных рядовых творцов этой славы — „простой казак“.

Екатерининская эпоха вошла в дворянскую историю „как великий век“ главным образом благодаря ратным успехам. Последние, однако, не могут не представляться шаткими, если добывались они руками таких „простых казаков“, как Пугачев. Ведь этот последний отнюдь не был для Пушкина единичным, исключительным явлением.

Вот мой Пугач. При первом взгляде
Он виден, — плут, казак прямой.
В передовом твоём отряде
Урядник был бы он лихой,

писал Пушкин поэту-партизану 12-го года Денису Давыдову. Это стихотворение, несмотря на его шуточный характер, в некоторой степени отражает подлинный взгляд Пушкина на „славного мятежника“. Для него Пугачев отнюдь не Ринальдо и даже не Карл Моор, это вообще по натуре не разбойник, а „Емелька Пугачев“, „простой казак“, в данном случае „казак прямой“ и даже „плут“, что в устах Пушкина вовсе не носило осуждающего характера (вспомним его замечания о природной „сметливости“ русского крестьянина в „Путешествии из Москвы в Петербург“). Пугачев для Пушкина — это подлинный сын народа, правда, более одаренный, чем другие, — но ведь Пушкин и всегда верил в одаренность народа.

В неблагоприятных обстоятельствах он бывал „бедным колодником“, „нищим бродягой“, который кормился от подаяния, а в 12-м году мог бы оказаться лихим урядником, одним из тех, чьими руками создавалась военная слава империи, одним из тех, чье „остервенение“ избавило Россию в 12-м году от нашествия „двунадесяти языков“.

Гроза 12-го года
Настала. — Кто тут нам помог?
Остервенение народа,
Зима, Барклай, иль русский бог?

Ведь не трусливые же герои „Рославлева“, которые „проповедывали народную войну, собираясь на долгих отправиться в саратовскую деревню“, спасли Россию от Наполеона!

Глубина созданного Пушкиным образа в том, что именно в „Емельке Пугачеве“, в „простом казаке“, который порой выступает в роли „бродяги“, именно в этом, казалось бы, весьма прозаическом персонаже, Пушкин умеет отыскивать черты подлинно выдающейся героини, черты исторического величия. В этом свете раскрывается смысл того, казалось бы, случайного обстоятельства, что в „Капитанской Дочке“ Пушкин, впервые знакомя своего читателя с Пугачевым, дает его именно в образе бродяги в оборванном армяке: „Он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч... Живые, большие глаза так и бегали... Лицо его имело выражение довольно приятное, но плутовское“.

Похож ли этот „плут“, „казак прямой“ на ту демоническую личность, которую рисовал напуганный Броневский? Пушкину импонировали добродушное плутовство его героя и весь его крепкий, собранный, мужицкий облик. Нужно совершенно забыть о гениальной зарисовке „вожатого“ в „Капитанской Дочке“ для того, чтобы утверждать, как это сделал М. Н. Покровский, что Пугачев был дорог Пушкину как казацкий, романтический вождь, а отнюдь не как предводитель крестьянства, которое Пушкин якобы презирал. В том и суть пушкинского образа, что перед нами вовсе не абстрактно-романтический „вольный казак“, а именно жизненная фигура „мужика“, „бродяги“. Такое изображение Пугачева нужно было Пушкину для того, чтобы в главе „Незванный гость“ той же „Капитанской Дочки“ была возможность воскликнуть устами Гринева: „... пьяница, шатавшийся по постоянным дворам, осаждал крепости и потрясал государством!“

После упорного подчеркивания того, что перед нами простой мужик, в сущности, вовсе не кровожадный, фигура Пугачева вырастает в несколько раз, когда оказывается, что этот-то прозаический „Емелька“ и „осаждал крепости и потрясал государством“. Умение находить высокую героиню в низких, с точки зрения дворянской эстетики, предметах составляет, как известно, одну из характернейших особенностей созревшего пушкинского реализма.

Пушкин сознательно опровергает то ходячее представление о злодействе Пугачева, одним из наиболее типичных выразителей которого был Броневский. Последнему Пугачев рисуется в красках совершенно ужасающих, Пушкин же дает характеристику взглядов Броневского на Пугачева в следующих выражениях:

„Политические и нравоучительные размышления, коими господин Броневский украсил свое повествование, слабы и пошлы и не вознаграждают читателей за недостаток фактов...“ Далее следует подстрочное примечание „например...“, и в качестве примера приводится тирада Броневского, представляющая собой венец его примитивно-лакейской философии. С легендой о Пугачеве-злодее Пушкин борется уже с самого начала своей книги, описывая первое появление самозванца на берегах Яика. Если общим местом для всех предшествующих описаний являлось утверждение, что Пугачев подействовал на умы народа только „нелепой повестью“

о своем царском происхождении, то Пушкин, сохраняя версию о „нелепой повести“, сейчас же снимает ее иными мотивировками, которые он вкладывает в уста Пугачева, уже отнюдь не „нелепыми“:

„В случае же неудачи“, излагает Пушкин „возмутительные“ разговоры Пугачева с уральскими казаками, „думал он броситься в Русь, увлечь ее за собою, повсюду поставить новых судей (ибо в нынешних, по его словам, присмотрена им великая неправда...)“.¹ Это чрезвычайно ценная деталь, сразу дающая Пугачева в совершенно новом для 30-х годов аспекте, — в роли борца за справедливость (а ведь кому, как не Пушкину, было известно, что в старину „суды были пристрастны“, как дипломатически писал он в примечаниях к „Евгению Онегину“). Эта деталь была им почерпнута из подлинных материалов следствия — из показаний казака Михаила Кожевникова, впоследствии казненного (из документа, тогда разумеется, нигде неопубликованного). Пушкин передает своими словами содержание этих показаний, ни на йоту не меняя их смысла. Из этого же документа заимствовал Пушкин и другую не менее важную деталь — сообщение о том, что Пугачев стремился избежать „сопротивления“ со стороны гарнизона и „напрасного кровопролития“.² Эта деталь дает „кровопийцу“ Пугачева с совершенно иной, отнюдь не кровожадной стороны.

Тот самый Броневский, который наделял Пугачева романтическим прошлым, со скрежетом зубным писал о нем:

„...Злодей обнаружил скотское бешенство, не понимая и того, что тот, кто сражается для похищения короны, должен поступать с кротостью; дабы... по крайней мере, удержать на своей стороне личину справедливости“. „Емелька корыстолюбивый, как бессмысленный разбойник, как тигр, грабил и лил человеческую кровь без цели, без нужды, и резал, мучил только для того, чтобы резать и видеть кровь, льющуюся к ногам его“.³

Пушкин был далек от того, чтобы отрицать жестокость Пугачева в борьбе с врагами. Но, разумеется, его Пугачев совершенно не похож на „свирепого, как тигр“, бессмысленного садиста, льющего кровь ради крови. Любопытно сопоставить с красноречивыми филиппиками Броневского хотя бы следующую сцену из „Истории Пугачева“:

„...привели капитана Башарина. Пугачев... велел было вешать и его. Но взятые в плен солдаты стали за него просить. «Коли он был до вас добр», сказал самозванец, *„то я его прощаю“*“.⁴

Любопытно отметить, что, читая цитированные выше „Записки“ сенатора Бибикова, Пушкин в том самом месте, где рисовались мучения,

¹ „История Пугачевского бунта“, стр. 19.

² Библиотека им. В. И. Ленина в Москве, тетрадь № 2391.

³ Броневский, назв. соч., стр. 110.

⁴ „История Пугачевского бунта“, гл. четвертая, стр. 317 (курсив Пушкина).

которым Пугачев подвергал пленного капитана Калмыкова („приказал капитана пятерить“ и т. д.), по своему обыкновению делает отметку на полях и лаконически пишет: „вздор“.

Как стремился Пушкин избежать проникновения подобного „вздора“ в его работу, выясняется полностью из описания им взятия Троицкой крепости, описания, в котором он совершенно сознательно отталкивается на сей раз от Рычкова.

Посмотрим, в каких красках рисует это событие Рычков.

„Жалко и почти невозможно описать кровопролития и злодейств оного самозванца и сообщников его... Бывший здесь комендант г. бригадир Фейервар, который на сей бедственный случай, находясь болен и возим был в коляске, заколот копьями. Г-жа бригадирша, жена его по жалобе на нее одного слуги... яко бы в жестоком содержании, привязана была к лошадиному хвосту и таскали ее живую еще по улицам а, наконец, оные злодеи тирански ее умертвили.... имение всех, равно и находившиеся там товары собраны и раскладены были верстах в трех от крепости по кучам с тем, дабы завтрашний день между злодеями быть разделу“.¹

У Пушкина все эти „ужасы“ выпущены. Вместо них — сухое, не обращающее на себя внимание, сообщение:

„...комендант бригадир Фейервар был убит, ... во время приступа, а офицеры его повешены“.²

Подобный пересказ Рычкова полностью уничтожает тот оттенок негодования, которым проникнуто рычковское описание. Пушкин явно не склонен расписывать, детализировать „злодеяния“ Пугачева. Он упоминает о них вскользь, не задерживая на этом внимания. Зато черты героизма в образе Пугачева Пушкин в этом же описании максимально усиливает, подвергая коренной (принципиальной) переработке материал, предоставленный в его распоряжение работой Рычкова. Так, Рычков пишет: „...Пугачев в сие время не выезжал на сражение, но лежал в палатке, имев у себя руку подвязану“³ и тут же в примечании прибавляет:

„Говорили, что он был тогда ранен выстрелами из ружья при Магнитной крепости; но сам по поимке содержащийся в Симбирске, он, Пугачев, объявил, что ранен был из пушки картечью“.⁴

Пушкин об этом же факте пишет совсем иначе:

„Во всё время Пугачев лежал в своей палатке, жестоко страдая от раны, полученной им под Магнитною“.⁵ В такой формулировке („жестоко страдая от раны“) подчеркивается серьезность ранения Пугачева (косвенное указание на боевую храбрость последнего), дискредитирующие же Пуга-

¹ Там же. Приложения. Рычков, цит. соч., стр. 304.

² „История Пугачевского бунта“, часть первая, гл. шестая, стр. 112.

³ Приложения к „Истории Пугачевского бунта“, часть вторая, стр. 305.

⁴ Там же, дано в сноске.

⁵ „История Пугачевского бунта“, часть первая, гл. шестая, стр. 112.

чева моменты (хвастиливые преувеличения им своих боевых заслуг), которые смаковал Рычков, — Пушкиным выброшены вовсе.

Далее по Рычкову:

„видели его (Пугачева. А. Г.), ехавшего верхом на лошади с подвязанною рукою“.¹

По Пушкину:

„Пугачев сел на лошадь и с подвязанною рукою бросался всюду, стараясь восстановить порядок“.²

В интерпретации Пушкина подвязанная рука — деталь, усиливающая героические черты в образе Пугачева, в то время как у Рычкова эта деталь лишена всякой мотивировки.

Еще более разительно полемическое отталкивание Пушкина от Рычкова — в отношении взятия пугачевцами Казани:

„...от злодеями причиненного пожара славный казанской богоматери монастырь и многие церкви, гостинные дворы и почти все слободы до основания сгорели“.³

Так описывает взятие Казани пугачевцами Рычков. Ведь именно казанские деяния Пугачева занимали особо важное место в списке „его преступлений“, на которых так любила останавливаться реакционная историография.

Пушкин не склонен замалчивать факты, свидетельствующие о жестокостях пугачевского восстания в Казани. Но самый подбор этих фактов у Пушкина иной, чем у Рычкова. Пушкин тоже упоминает о разграблении пугачевцами монастырей, гостиного двора и частных домов, но акцент он делает на другом.

„Тюремный двор“, пишет Пушкин, „где ожидал он плетей и каторги, был им сожжен, а невольники, его недавние товарищи, выпущены“.⁴

Перед этой фразой непосредственно стоит другая, весьма красноречивая:

„Так темный колодник, за год тому бежавший из Казани, отпраздновал свое возвращение!“⁵

Тем самым подчеркивается, что все жестокости, совершенные Пугачевым в Казани, были естественным, с его стороны, актом мести. Для Рычкова Пугачев — агрессивная сила, ни с того, ни с сего нападающая на бессильные жертвы. Пушкин не ограничивается перечислением бедствий, которые Пугачев нанес Казани, — он ставит вопрос иначе, — какие воспоминания связывают Пугачева с Казанью? Эти воспоминания — тюремный двор, где ожидал он плетей и каторги, причем, как глубоко убежден был Пушкин, ожидал их незаслуженно. Недаром ведь в полемике

¹ „История Пугачевского бунта“, часть вторая, Приложения, стр. 305.

² Там же, часть первая, гл. шестая, стр. 112.

³ Там же, часть вторая, Приложения, стр. 307.

⁴ Там же, часть первая, гл. седьмая, стр. 135.

⁵ Там же.

с Броневским Пушкиным так усиленно выдвигалось положение о том, что Пугачев „до самого возмущения яицкого войска ни в каких разбоях не бывал“. Казалось бы, в цитированном нами отрывке речь идет только о Казани, но в действительности Пушкин поднялся здесь до глубочайших обобщений, значительно расширяющих внутренний смысл этого отрывка. Пушкин сумел увидеть в „злоеде Пугачеве“ „бедного колодника“, для которого екатерининская Россия, а вовсе не только Казань, была мачехой и который поэтому не мог питать по отношению к последней никаких эмоций, кроме лютой злобы. Вытекала ли эта злоба из личного характера самого Пугачева? Сразу же после упоминания о сожжении тюремного двора, Пушкин переходит к рассказу о встрече Пугачева с его первой женой, казачкой Софьей Пугачевой, которая с тремя детьми содержалась в заключении.

„Самозванец“, пишет Пушкин, „увидев их, сказывают, заплакал, но не изменил самому себе. Он велел отвести их в лагерь, сказав, как уверяют: «я ее знаю, муж ее оказал мне великую услугу»“.¹

Так „злобный“ разрушитель Казани, предававший своих противников огню и мечу, непосредственно в этом же контексте показывается Пушкиным как нежный супруг и отец, умеющий в то же время владеть собою и насильственно подавлять свои чувства. Отнюдь не случайным является тот факт, что, повествуя о казанской эпопее, Пушкин счел нужным уделить значительное место маловажному, казалось бы, эпизоду с лютеранским пастором. По словам Пушкина, „самозванец узнал его; некогда, ходя в цепях, он получал от него милостыню. Бедный пастор ожидал смерти. Пугачев принял его ласково и пожаловал в полковники“. Эта деталь как бы завершает трактовку Пушкиным казанских событий. Если „бедный колодник“ сжег тюремный двор, где ожидал он плетей и каторги (как мы видели, по мнению Пушкина, незаслуженных), то, с другой стороны, этот же колодник умел помнить сделанное ему добро, хотя бы оно и было минимальным. Вспомним эпизод с „заячьим тулузом“, подаренным Пугачеву героем пушкинской повести.

Случай с пастором, как сообщает Пушкин, был слышан им из уст К. Ф. Фукса. Известна осторожность, с какой Пушкин относился к так называемым устным преданиям, не подтверждаемым документальными свидетельствами. Тем не менее, рассказом Фукса он не только не пренебрег, но придал ему такую важность, что включил в основной текст „истории“, — в примечаниях же воздал хвалу „учености“ Фукса, отстаивая несомненность фактов, исходящих из уст последнего.

Как аукнется, так и откликнется, — таков был, по мнению Пушкина, основной принцип, которым руководился Пугачев. Эпизод с казанским пастором был лишним подтверждением того, что в „злодействах“ Пугачева повинен никто иной, как крепостническая Россия.

¹ Там же.

Но, лишая Пугачева злодейских черт, Пушкин расправляется и с третьей разновидностью реакционной фальсификации его образа, нашедшей наиболее рельефное отражение в высказываниях архимандрита Платона Любарского.

Последний писал о Пугачеве: „Мне кажется сего вора всех замыслов и походов, не только посредственному, но ниже самому превосходнейшему историку порядочно описать едва ли бы удалось; коего все затеи не от разума и воинского распорядка, но от дерзости, случая и удачи зависели“. И так, „вор“, т. е. самозванец, а не государственный деятель!

„Дерзость“, „случай“ и „удача“ вместо „разума“ и „воинского распорядка“, — так полагал „преподобнейший“ историк. Но и для Левшина Пугачев не кто иной, как „счастливый, неимевший, впрочем, никаких отличных способностей, и одними только неистовствами примечательный злодей“...¹

В противовес этим тенденциозным измышлениям Пушкин не раз воздает дань истинного уважения талантам Пугачева, в первую очередь, военно-стратегическим. Мы помним ту высокую оценку, которую он давал „стройному пугачевскому войску“. Совершенно ясно, что это означало косвенную похвалу и Пугачеву как организатору военных сил восставшего народа. Но и прямое восхищение военными способностями Пугачева не раз сквозит в тексте. Так, рассказав о встрече Пугачева с войсками князя Голицына, Пушкин пишет: „Пугачев стал отступать, искусно пользуясь местоположением“.² В главе третьей о Пугачеве сказано, что он не имел „другого достоинства, кроме некоторых военных познаний и дерзости необыкновенной“.³ А между тем эпиграфом к „Истории Пугачева“ являются цитированные выше слова Платона Любарского, по мнению которого именно „военные познания“ отнюдь не были свойственны „вору“ Пугачеву. Здесь перед нами редкий в творческой практике Пушкина, весьма своеобразный случай полемического использования эпиграфа, — последний опровергается, правда, в завуалированной форме, всем дальнейшим изложением.

Дань уважения военным талантам Пугачева Пушкин отдает и в седьмой главе. Так, об екатерининских начальниках он говорит, что они, несмотря на поражение Пугачева, знали уже, сколь был опасен предприимчивый и деятельный мятежник.

„Его движения были столь быстры и непредвиденны, что не было средства его преследовать... Должно сказать... редкий из тогдашних начальников был в состоянии управиться с Пугачевым...“ Пушкин высоко ценит не только Пугачева-полководца, но и Пугачева-организатора. Отношение Пушкина к пугачевским манифестам лишний раз свидетель-

¹ Левшин, назв. соч., стр. 39.

² „История Пугачевского бунта“, гл. пятая, стр. 333.

³ Там же, гл. третья, стр. 308.

ствует о том, насколько неправильна была попытка представить дело так, будто Пушкин видел в Пугачеве носителя узко казацкой, а не общенародной стихии. Показательно, что монархист и крепостник Рычков квалифицирует пугачевские воззвания как писанные „самым глупым стилем“.¹ В соответствии с этим, следует вспомнить, как писал о пугачевских воззваниях Пушкин: „Первое возмутительное воззвание Пугачева к яицким казакам есть удивительный образец народного красноречия, хотя и безграмотного“.²

Эта вдохновенная апология „безграмотных“ пугачевских писаний целиком вытекает из общего отношения Пушкина к „черному народу“, проявлением одаренности которого он считал пугачевские воззвания.

Но самое главное, на наш взгляд, заключается в том, что „вор“ Пугачев приобретает под пером Пушкина черты незаурядного государственного деятеля. Мы уже показали, насколько новым, неожиданным для дворянской историографии было утверждение Пушкина о том, что для пугачевцев существовало понятие казны, государственного имущества. Невольно возникает вопрос, как это увязать с замечаниями Пушкина о „шайках разбойников“, которые грабили „казну“.

Разгадку находим в следующем эпизоде, красноречиво рассказанном в „Истории Пугачева“. Сообщив о разграблении Хлопушей соляных разработок (так называемой Илецкой Защиты), Пушкин пишет:

„Пугачев, возвратясь в Берду, негодовал на своеволие смелого каторжника и укорил его за разорение Защиты, как за ущерб государственной казне“.

Пугачев для Пушкина не только озлобленный „колодник“, в мстительном порыве сжигающий свою былую темницу, но и самобытный организатор, сумевший подняться до понимания государственных интересов.

Пугачев — в глазах Пушкина, олицетворение народной талантливости, — и именно поэтому Пушкин не верил в то, чтоб этот „славный мятежник“ мог быть единичным явлением. Характерно, что, кончая седьмую главу, Пушкин говорит о том, как трудна была борьба не только с Пугачевым, но и „с менее известными его сообщниками“. А в заметке 15-й, комментирующей это место (стр. 137 в прижизненном издании), Пушкин пишет:

„Кто были сии смышленные сообщники, управлявшие действиями самозванца? Перфильев? Шигаев? Это должно явствовать из процесса Пугачева, но, к сожалению, я его не читал, не смев распечатать без высочайшего на то соизволения“.

Насколько больно задевало Пушкина отсутствие „высочайшего соизволения“, помешавшее ему полностью познакомиться со всеми мате-

¹ Рычков, Летопись, стр. 187.

² Пушкин. „Полное собрание сочинений“, „Academia“, т. IV, 1936, стр. 687.

риалами о Пугачеве, видно также из его предисловия к „Истории“: „Будущий историк, коему позволено будет распечатать дело о Пугачеве, легко исправит и дополнит мой труд, — конечно, не совершенный, но добросовестный“. Заметка 15-я конкретно расширявает смысл этих намеков, — она показывает, в каком именно направлении считал Пушкин необходимым дополнение своего труда. Великий поэт верил, что архивные материалы, которые держала под спудом николаевская монархия, должны дать представление о „смышленных сообщниках“ Пугачева, имена которых он считал необходимым сохранить для истории.¹ Он был уверен, что такое движение, как „пугачевщина“, не могло не выдвинуть из народной гущи талантливых вождей, народных героев, подобных самому Пугачеву. Пугачев для Пушкина — это не „белый ворон“, как полагает И. Сергиевский,² не романтический одиночка, оторванный от народной почвы, а наиболее заметный, наиболее талантливый из той „стаи славной“ народных вождей, организаторов, политиков, — о существовании которой Пушкин был несомненно осведомлен. Пугачев для Пушкина — это одно из подтверждений той глубокой веры в творческие народные силы России, которую великий поэт позже так страстно отстаивал в письме к Чаадаеву, защищая от нападок последнего „полное силы и энергии“ прошлое русского народа.

V

Подлинное отношение Пушкина к Пугачеву нашло наиболее выпуклое отражение в описании поражения и гибели последнего. Это описание проникнуто высокой патетикой, напряженным, суровым трагизмом.

„Пугачев сидел один в задумчивости“, — так начинает Пушкин волнующую сцену ареста Пугачева его же бывшими соратниками. „Творогов хотел скрутить ему локти назад“. „Разве я разбойник? — говорил он гневно“.³

Именно этот разбитый, поверженный в уныние Пугачев рисуется Пушкину сильной, величавой фигурой. Недаром, когда его вывели на площадь, по словам Пушкина, „бунтовщики (т. е. выдавшие его изменники) потупили голову“, а когда он „громко стал их уличать“, они „не отвечали ни слова“.⁴

Эпитет „славного мятежника“, которым наделяет Пушкин пленного Пугачева, совершенно гармонирует с контекстом.

¹ Ср. упоминание Пушкина в черновом наброске предисловия к „Истории Пугачева“ о том, что „Дело о Пугачеве) современем... будет распечатано рукою историка [и объяснит многое]...“ — „Пушкин. Временник Пушкинской комиссии“, т. 3, 1937, стр. 9—10.

² См. статью И. Сергиевского „Пушкин в поисках героя“, „Литературный Критик“, 1937, № 1.

³ „История Пугачевского бунта“, гл. осьмая, стр. 159 (курсив Пушкина).

⁴ Там же, стр. 161.

„Его высадили из клетки, привязали к телеге вместе с его сыном, резвым и смелым мальчиком, и во всю ночь Суворов сам их караулил“.¹

Упоминание о сыне, „резвом и смелом мальчике“, разделяющее заключение с отцом, усиливает как элемент героики, так и элемент теплоты, человечности. Особенно колоритна на этом фоне фигура всемирно знаменитого русского полководца. Суворов, который „с любопытством“, по словам Пушкина, „расспрашивал славного мятежника о его военных действиях и намерениях“, — не было ли это максимальным возвышением образа „колодника“ и „нищего бродяги“?

„Академик Рычков“, сообщает Пушкин, переходя к приезду пленного Пугачева в Симбирск, „отец убитого симбирского коменданта, видел его тут и описал свое свидание“.²

Стоит, однако, сравнить, как „описал свое свидание“ Рычков и что сделал из этого описания Пушкин, для того чтобы убедиться, что и здесь гениальный автор „Истории Пугачева“ остался верен себе. Он продолжает борьбу за освобожденный от официозных искажений образ „славного мятежника“.

Рычков, для которого Пугачев был своего рода страшным зверем, повествует:

„Вошел к нему в такое время, когда он сидел и ел щербу, налитую на деревянное блюдо, первое его слово было ко мне — „Добро пожаловать“ с просьбою с ним обедать, а сие он не только удвоил, но и утроил. Я из сего познав подлый его дух... стал ему говорить“ и т. д.³

Упоминание о „подлом духе“ Пугачева Пушкин не обошел вниманием, но обратил его не против Пугачева, а против самого академика. Вот как звучит это место в рукописи Пушкина:

„[Пугачев ел уху на деревянном блюде. Увидя Рычкова, он сказал ему «добро пожаловать» и пригласил его с ним отобедать. Из чего, пишет академик, «я познал его подлый дух»]“.⁴

Ироническая интонация в передаче слов Рычкова слышится здесь довольно явственно.

Проследим, в каком направлении меняет Пушкин дальше рычковский текст.

„...Как я“, пишет Рычков, „выговоря об моем покойном сыне, смягчился и от слез удержаться не мог, тогда, якобы и он, Пугачев, как то бывшие со мною штаб и обер-офицеры уверяли, заплакал же: но сие происходило от его великого притворства, к которому, как от многих

¹ Там же, стр. 162.

² Там же, стр. 163.

³ Там же, часть вторая. Приложения, стр. 317 (дано в сноске).

⁴ Пушкин. „Полное собрание сочинений“, ГИХЛ 1933, т. 5, кн. 1-я, стр. 366 (в издании „Истории Пугачевского бунта“ 1834 г. эта фраза не вошла).

слышно было, так он приучился, что когда б ни захотел, мог действительно плакать“.¹

Казалось бы мелочь, но мелочь очень характерная! Пугачев настолько ненавистен Рычкову, что поверить в искренность его слез он не в состоянии, — не „заплакал“, а „якобы заплакал“, — пишет он. Чтобы читатель не почувствовал хоть тени какой-то симпатии к узнику, Рычков торопится пояснить, что слезы Пугачева были следствием „его великого притворства“. У Пушкина вместо всего этого сказано лишь несколько слов, рисующих положение в совсем ином свете:

„Говоря о своем сыне, Рычков не мог удержаться от слез; Пугачев, глядя на него, сам заплакал“.²

О притворстве и лицемерии Пугачева у Пушкина нет и намека. Никак не счел нужным использовать Пушкин и следующее замечание академика:

„... Из лица и речи его... приметно мне было, что он самый изверг природы и ко всякому злему предприятию склонный человек“.³

Пушкин пропел мимо этой сентенции, умолчав о ней. Подобного рода впечатления, видимо, его не интересовали. Пушкин не хотел, чтобы читатель его труда смотрел на „славного мятежника“ глазами академика Рычкова.

Величавый, торжественный стиль сохраняет Пушкин и в описании приезда пленного Пугачева в Москву.

Здесь снова оттенена значимость фигуры Пугачева, оттенено то притягательное значение, которое имела эта личность для „черного народа“, и ужас, который она внушала врагам.

„Он был в оковах. Солдаты кормили его из своих рук и говорили детям, которые теснились около его клетки: помните, дети, что вы видели Пугачева. Старые люди еще рассказывают о его смелых ответах на вопросы проезжих господ. Во всю дорогу он был весел и спокоен<...> Он был посажен на Монетный двор, где с утра до ночи<...> любопытные могли видеть его прикованного к стене, и еще страшного в самом бессилии, Рассказывают, что многие женщины падали в обморок от его огненного взора и грозного голоса“.⁴

Это уже не просто объективность, это апология „страшного в самом бессилии“ Пугачева. Наделяя своего героя „огненным взором“ и „грозным голосом“, Пушкин не скрывает своего сочувственного отношения к нему.

Бдестящим дополнением к этому месту является одна из значительнейших по содержанию записей Пушкина, рисующая пребывание Пугачева на Монетном дворе.

¹ Рычков, стр. 317.

² „История Пугачевского бунта“, часть первая, гл. осьмая, стр. 163.

³ Рычков, стр. 317 (дано в сноске).

⁴ „История Пугачевского бунта“, часть первая, гл. осьмая, стр. 164.

„Когда Пугачев сидел на Меновом дворе“, записал Пушкин 6 октября 1834 г., „праздные москвичи, между обедом и вечером, езжали на него поглядеть, подхватить какое-нибудь от него слово, которое спешили потом развезить по городу. Однажды сидел он, задумавшись. Посетители молча окружали его, ожидая чтоб он заговорил. Пугачев сказал: «Известно, по преданиям, что Петр I во время персидского похода, услыша, что могила Стеньки Разина находилась невдалеке, нарочно к ней поехал и велел разметать курган, дабы увидеть хоть его кости...»“ „...сказка замечательна“, пишет далее Пушкин, „особенно в устах Пугачева“.

Так, поэтический восторг, который вызвал у Пушкина образ „славного мятежника“, отразился и в этом восхищении „замечательной“ сказкой, которую рассказывает пленный Пугачев. Мы видим, что последний и здесь, а не только в „Капитанской Дочке“, сочетается в восприятии Пушкина с „замечательной“ народной сказкой, с героической фантастикой, — в то время как ему противопоставляются „праздные москвичи“, жадные до сенсации пошляки, заезжающие взглянуть на Пугачева „между обедом и вечером“ и спешащие „развезить по городу“ новости о нем. Продолжение этой записи расшифровывает, в чем заключались те „смелые ответы на вопросы проезжих господ“, о которых говорится в „Истории Пугачева“.

По словам Пушкина в той же заметке, „некто, * * * симбирский дворянин, бежавший от него <Пугачева>, приехал на него посмотреть и, видя его крепко привинченного на цепи, стал осыпать его укоризнами, * * * был очень дурен лицом, к тому же и без носу. Пугачев, на него посмотрев, сказал: «Правда, много перевешал я вашей братии, но такой гнусной образины, признаюсь, не выдывал»“.

Сколько презрения вкладывает Пушкин в строки об этом безносом „хранителе“ дворянских традиций, который в свое время бежал от Пугачева и осмелел лишь, „видя его крепко привинченного на цепи“. Как уже отмечалось,¹ смелый ответ Пугачева отнюдь не вызывает у Пушкина ужаса. Кровавый оттенок пугачевского юмора его не пугает.

Так, мощная фигура Пугачева противостоит под пером Пушкина пошлости и скудоумию русского барства. О казни Пугачева официозные историки писали мало. Даже наиболее объективный из них — Левшин — отделался от подробного упоминания о ней следующей успокоительной тирадой:

„Должно ли было оставить все сии поступки без наказания?... Екатерина поступила с ними... (с Пугачевым и его соратниками. А. Г.)... с большею кротостью, нежели они заслуживали, ожидали, могли ожидать...“²

О „кротости“ Екатерины у Пушкина ни слова. Зато исключительно подробно описано „кровоавое позорище“, казнь Пугачева.

¹ См. В. Александров, „Пугачев“. „Литературный Критик“, 1937, № 1.

² Левшин, назв. соч., стр. 31.

„С утра бесчисленное множество народа столпилось на Болоте, где воздвигнут был высокий намест. На нем сидели палачи и пили вино, в ожидании жертв. Около намоста стояли три виселицы. Кругом выстроены были пехотные полки. Офицеры были в шубах по причине жестокого мороза. Кровли домов и лавок усеяны были людьми; низкая площадь и ближние улицы заставлены каретами и колясками. Вдруг все заколебалось и зашумело; закричали: везут, везут!“¹

Это — художественно законченная картина, причем всё, — от палачей, пьющих вино „в ожидании жертв“ до „жестокого мороза“, — создает настроение суровости, обреченности, чего-то грозного, напряженного. Ни слова о заслуженности казни, о радости избавления от „злодеяний“ Пугачева! О казни „вора“ и „злодея“ в подобном тоне не пишут. Любопытно отметить, что в примечании к своему описанию казни Пугачева Пушкин бросает следующую фразу:

„Подробности сей казни разительно напоминают казнь другого донского казака, свирепствовавшего за сто лет перед Пугачевым...“² т. е. Степана Разина.

Иными словами, Пушкин говорит, что нравы русской юстиции екатерининских времен не намного ушли вперед от нравов косной домо-строивской Руси.

В заметке, озаглавленной „Общие замечания“, Пушкин писал:

„Нет худа без добра; пугачевский бунт доказал правительству необходимость многих перемен, и в 1775 году последовало новое учреждение губерниям. Государственная власть была сосредоточена; губернии, слишком пространные, разделились; сообщение всех частей в государстве сделалось быстрее etc.“.

Список благодетельных „перемен“, перечисленных Пушкиным, не слишком объемист и, по сути дела, исчерпывается синонимами. Все сказанное здесь легко свести к одному положению, — что в результате пугачевского „бунта“ произошло разделение губерний. Неужели необходимость только таких, с позволения сказать, „перемен“ доказал правительству „мятеж“, „поколебавший“, по словам Пушкина, „государство от Сибири до Москвы и от Кубани до Муромских лесов“? Неужели только в этом заключались уроки пугачевского движения? Что сделали правительство Екатерины и последующие правительства для того, чтобы предотвратить возможность социальных потрясений, подобных той грандиозной картине, которую рисует „История Пугачева“? Об этом у Пушкина ни слова. Левшич, перечисляя благодетельные мероприятия правительства Екатерины на Урале (после усмирения „бунта“), в первую очередь вспоминает высочайшее повеление:

¹ „История Пугачевского бунта“, глава осьмая, стр. 165.

² Примечание к главе восьмой, стр. 110.

„В яицком городке содержать всегда гарнизон из регулярного войска; а *круи* или собрания народные уничтожить...“¹

Левшин сообщает также, что Яик, будто бы, по просьбе самих казаков, „назван Уралом, войско яикское уральским, а городок Яикской Уралском“.²

Пушкин ни слова не упоминает в „Общих замечаниях“ об окончательном уничтожении казацких „вольностей“. Он не включил репрессии, направленные против уральского казачества, в число „перемен“, вызванных необходимостью. Он благоразумно умолчал об этих мероприятиях правительства, чтоб не пришлось кривить душой. О переименовании же Яика в Урал Пушкин сообщает в „Истории Пугачева“ в совсем ином освещении, чем Левшин. Если, по утверждению последнего, „Яик, по просьбе самих казаков, назван Уралом“, то у Пушкина сказано лишь:

„Екатерина, желая истребить воспоминания об ужасной эпохе, уничтожила название реки, коей берега были первыми свидетелями возмущения“.³

Инициатива переименования в изложении Пушкина принадлежит Екатерине, но никак не самим казакам.

Пушкин говорит, что в 1775 г. было „повелено все дело предать общему забвению“, что яицкие казаки „переименованы были в уральские, а городок их назывался сим же именем“.⁴

Казалось бы, здесь надлежало поставить точку, завершив повествование благонамеренно оптимистической тирадой, — но Пушкин — именно в самый ответственный, финальный момент своего труда — стремится избежать благонамеренной концовки. Он не хочет завершать „Историю Пугачева“ триумфальным „громом победы“, гимном благополучию и незыблемости дворянского государства. Упомянув о правительственных мерах, направленных к уничтожению даже памяти о грозных событиях, — Пушкин сразу же прибавляет скептическое „но“ —

„Но следы страшного бунтовщика сохранились еще в краях, где он свирепствовал. Народ живо еще помнит кровавую пору, которую — так выразительно — прозвал он *пугачевщиною*“.⁵

„Следы бунтовщика“ сохранились. Народ живо помнит „пугачевщину“, тот самый „черный народ“, который, по словам Пушкина, „весь... был за Пугачева“, в том числе те „уральские казаки“, которые, как уверяет он, „дныне привязаны к памяти Пугачева“. Грозным напоминанием дворянскому государству о „кровавой поре“, о „мнении народном“, которое правительству не удалось сломить, — завершает Пушкин свой труд.

¹ Левшин, назв. соч., стр. 32 (курсив Левшина).

² Там же.

³ „История Пугачевского бунта“, часть первая, гл. осьмая, стр. 168.

⁴ Там же.

⁵ Там же (курсив Пушкина).

Пушкин показывал правящему сословию, насколько неразумны и несправедливы были его действия. Эгоистическим, ограниченным, трусливым усмирителям „пугачевщины“ он противопоставлял „весь народ“ и порожденных народом отважных вождей.

„История Пугачева“ остается для нас идеологическим документом величайшей значимости, доказывающим, что мысль великого национального поэта, и как художника, и как историка, уже устремлялась именно по тому пути, который в 60-е годы нашел завершение в идеологии революционной демократии.



Н. К. КОЗМИН

АНГЛИЙСКИЙ ПРОЛЕТАРИАТ В ИЗОБРАЖЕНИИ ПУШКИНА И ЕГО СОВРЕМЕННИКОВ

I

Начало 30-х годов прошлого столетия, к которым относятся высказывания Пушкина об Англии, — важный момент в истории английского рабочего класса. Под впечатлением июльской революции английская буржуазия возымела желание сравняться с финансистами и крупными промышленниками Франции. Отсюда призыв к реформе английского парламента. Однако ни смерть сторонника горийской аристократии Георга IV, ни явное расположение к вигам нового короля Вильгельма IV, ни отставка торийского министерства, возглавлявшегося Веллингтоном и Робертом Пилем, ни образование нового министерства с главою вигов Греем не обеспечивали буржуазии проведение задуманной реформы. Слишком сильное противодействие оказывали и оппозиция ториев в нижней палате и палата лордов. Оставалось либо королевским приказом назначить в верхнюю палату большое число новых подходящих пэров, либо, в союзе с радикальной партией, попытаться использовать в своих интересах настроения английских рабочих. И вот в 1831 г., после отклонения билля о реформе, буржуазия всячески старалась усилить возникшее во всей стране чрезвычайное возбуждение, поощряла открытые угрозы революцией, пыталась осуществить идею всеобщей стачки; но, вместе с тем, она стала отказываться от агитации за всеобщее избирательное право, предполагая распространить права лишь на определенные категории владельцев недвижимости и на плательщиков аренды. Те же немногие радикалы, которые, подобно Генри Гонту, пробовали отстаивать в парламенте пользу всеобщего избирательного права, подвергались жестокой травле в буржуазной прессе. Эти угрозы революцией лендлордам, это двусмысленное заигрывание с пролетариатом не укрылись от печати: Бронтерр О'Брайен осенью 1831 г. разоблачал маневры буржуазии в своем органе „Защитник Бедняка“.

Разоблачения О'Брайена не дали сколько-нибудь значительных результатов. Между тем уже дважды отвергнутый в это время (декабрь

1831 г.) и вновь переделанный Джоном Росселем билль о реформе был опять внесен на рассмотрение в парламент.

В апреле 1832 г. билль был принят в нижней палате, в мае — в верхней, и в июне он получил силу закона. Парламент был распущен. Выборы конца 1832 г. были весьма выгодны для виггов, очень мало дали радикалам и ничего не дали рабочим, устраняя их, как и прежде, от законодательства, потому что ни один рабочий не платил податей в 10 фунтов стерлингов. Правда, многие „гнилые местечки“ были лишены избирательных прав, многие города получили представительство в парламенте, общее число избирателей увеличилось, но зато резко обозначилась пропасть между буржуазией и пролетариатом. Победа класса капиталистов над земледельческой аристократией наглядно показала пролетариату, что отныне он в борьбе одинок и может рассчитывать только на свои собственные силы, что гнали те, которые говорили об общих интересах буржуазии и рабочих, что буржуазия „призывает иной раз массы на помощь, но из эгоистических мотивов“, и всегда отбрасывает прежнего союзника, когда он становится ей больше не нужен, и не проявляет особой склонности объединяться с бедностью против „собственности“. Капиталист-промышленник оказался для рабочих опаснее лендлорда. „Кто сказал либералам, — писал О’Брайен, — что тори — наши единственные или хотя бы злейшие враги? Один бог знает, как мы от души ненавидим тори. Но если говорить правду, то мы торжественно заявляем, что вигги омерзительнее их“ („Защитник Бедняка“ от 28 ноября 1835 г.).

Законы, изданные реформированным парламентом, подтвердили справедливость слов О’Брайена. Закон об охране труда (1833) и новый закон о бедных (1834) лучше всего показали противоположность интересов пролетариата и имущих классов. „Тот самый «реформированный парламент», который — по словам Карла Маркса — из нежного чувства к господам фабрикантам еще на целые годы заключил детей моложе 13 лет в ад 72-часового фабричного труда в неделю, воспретил плантаторам, эмансипационным указом, который давал свободу тоже по каплям, принуждать впредь негров-невольников к работе более 45 часов в неделю“.¹ Реформированный парламент признал также, что установленное старым елизаветинским законом 1601 г. пособие для бедных должно быть отменено, так как оно „развивает леность и содействует увеличению «избыточного» населения“.² Парламент издал новый, близкий к мальтузианству, закон, предусматривающий лишь один род поддержки бедных — принятие их в работные дома. „Эти работные дома (work houses), или, как народ их называет, бастилии закона о бедных (poor-law-bastiles), таковы, что они должны отпугивать от себя всякого, у кого осталась хоть малейшая надежда пробиться без этого благодеяния общества“. Из домов

¹ Карл Маркс. „Капитал“, т. I, М.—Л., 1931, стр. 284.

² Ф. Энгельс. „Положение рабочего класса в Англии“, М.—Л., 1928, стр. 292.

„было сделано такое пугало, какое может придумать только утонченная фантазия мальтузианца“.¹ Поэтому вступление в силу нового закона о бедных, естественно, вызвало агитацию за восстановление старого закона, и население фабричных округов Севера пришло в движение. Массы были возбуждены чрезвычайно, тем более что у многих были живы воспоминания о промышленных кризисах 1826 и 1829 гг.

II

Положение английского парламента и английское рабочее движение были отмечены и в современной Пушкину русской печати. Собственно, интерес к Англии и ее заводам и фабрикам возник в России еще с конца XVIII в. И наши дипломатические агенты за границей, и переводчики иностранных книг, и редакторы периодических изданий касались упомянутых тем. Далеко не все писавшие в XVIII в. об Англии были согласны с мнением Карамзина, что в Лондоне прежде всего бросается в глаза „единообразие общего достатка“, что „из маленьких кирпичных домиков“ здесь выходит почти исключительно „здоровье и довольствие“. Уже в донесениях русского дипломатического агента в Лондоне А. С. Мусина-Пушкина (1773 г.) указано, что „рудокопные заводы, коими Англия изобилует, обыкновенно обрекают упражняющихся в том жителей бедностью, а землю — бесплодием“. Вместе с тем указывается победа механического труда над ручным — распространение „разных орудий и машин, сокращающих время и ускоряющих работу“.² С отзывами Мусина-Пушкина об английских рабочих совпадают сведения о них, сообщаемые в журнале московского профессора П. А. Сохадского „Приятное и полезное препровождение времени“. „Бедных (в Англии) — множество, хотя довольно есть заведений в их пользу, и каждый приход имеет суммы для вспоможения им“. При описании городов (например Манчестера и др.) обращено внимание на многочисленные фабрики, распространение машин и „изобретение мельницы для хлопчатой бумаги“, что „весьма споспешествовало цветущему состоянию (английских) мануфактур“.³

Превращение простых орудий производства в машины и рост нищеты среди промышленного пролетариата — вот темы, затрагиваемые уже в XVIII в.

Несколько шире поставлен вопрос об английских рабочих в переводных сочинениях и русских журналах начала XIX века. И если исключить известную книгу Архенгольца, который, несмотря на свою англома-

¹ Ф. Энгельс. „Положение рабочего класса в Англии“, М.—Л., 1928, стр. 293. — Ср. Г. Шлютер, „Чартистское движение“, М., 1925, стр. 74, 93—94.

² В. Н. Александренко. „Русские дипломатические агентства“, Варшава, 1897, т. II, стр. 177, 181 и др.

³ „Приятное и полезное препровождение времени“, 1796, ч. IX, стр. 68; ч. XII, стр. 407 (из статьи: „Россиянин в Англии“).

нию, все-таки не мог обойти молчанием преобладание женщин и детей в английских фабриках, быстрое увеличение списков бедных и колоссальные государственные пособия, собираемые для последних в Лондоне и других городах,¹ — то становится ясно, что выбирались для перевода сочинения, в которых подвергнуты критике государственный строй Англии, ее законодательство и положение рабочих.

„Худое состояние государственных доходов, — пишет неизвестный автор «Картины Лондона»,² — замешательство, в каком находится правление, и затруднения, кои надлежит ему преодолевать для поддержания избранной им системы и для воспрепятствования народу восстать от одержавшего оный смертного сна, заставляет его прибегать к подкупу и ко всяким другим средствам, чтобы наполнить нижний и верхний парламенты людьми, которые без зазрения совести жертвуют благом избирателей своих частным своим выгодам, и присягу, učinенную ими при приеме в сословие, готовы нарушить столько раз, сколько потребуют того планы министерства“. Английские дворяне не пользуются расположением автора: „большая часть (их) в обращении с особами высшей степени учтивы до подлости“. Английский пролетариат внушает ему отвращение и именуется то „чернью“,³ то „развращенным состоянием“. „Чернь“ отличается „праздностью“ и „склонностью к мотовству“. Причина этого печального явления кроется в „здесьшних учреждениях для бедных“, именно в том, что „все приходы обязаны пещись о своих нищих, не имея власти принуждать их соразмерною силам их работою доставлять себе хотя некоторую часть пропитания“. Поэтому, „английское учреждение о бедных можно почесть злом национальным, потворством лени, мотовству и пьянству, коим здесь, как мужчины, так и женщины в простом народе, гораздо более, нежели в других странах преданы“. И „с некоторого времени мужской пол весьма здесь выродился и, кажется, день ото дня становится слабее“. Это „расслабление распространилось и на окрестности Лондона“. Об этом можно судить на основании того, что „все ремесла и мануфактуры, требующие большого напряжения телесных сил или действующие сильно на тело работников, исправляются как в Лондоне, так и около его ирландцами, датчанами, шведами, а паче немцами“. „Жребий детей простых людей“ печальный... „Едва минет им 9 или 10 лет, отдают их в лавку или к ремесленнику, где по бедности родителей должны они стелать 7 или 8 лет в совершенном рабстве в ожидании будущего своего счастья“.⁴

¹ J. W. Archenholz. „England und Italien“, Leipzig, 1787. Русский перевод Ив. Татищева и Мих. Паренаго, вышедший в Москве в 1802—1804 гг., ч. I, стр. 179—180; ч. IV, стр. 123—124.

² „Картина Лондона, или изображение лондонских нравов в начале XIX в.“, перевод с немецкого, СПб., 1807, стр. 128, 147—148.

³ Чернью называл пролетариат и Архенгольц („Англия и Италия“, М., 1804, ч. III, стр. 52, 142 и др.).

⁴ „Картина Лондона“, стр. 96—100, 175—178, 219.

Тяжесть работ и плохие условия, в которых эти работы производятся в Англии, подчеркнуты в сочинении Морица „Путешествие по Англии“.¹

Изнурительный труд английских рабочих отмечается и в русских изданиях. Редактор „Московского Курьера“ С. М. Львов поместил в своем журнале статью „Несколько писем русского путешественника из Англии в Россию“. Речь идет о том, что английские „рудокопные горы, где роют железо“, „чрезмерно высоки“ и влезать на вершину их „опасно“, что „работники здесь не негры, а белые, по большей части преступники“ и что „работа их трудна очень“.²

В реакционно настроенных чиновничьих, дворянско-помещичьих, военных и духовных кругах первого десятилетия XIX в. заметно стремление оттенить мнимое благоденствие тогдашней России путем сопоставления ее с Англией. Этим объясняется и выбор книг для перевода и характер статей периодических изданий. Бедность и бесправие пролетариата представляли наиболее уязвимую сторону Англии. Нужно было их вскрыть и ярче осветить, чтобы тем легче изобразить „счастье“ русского крепостного крестьянства. Отсюда рассуждения о тяжелой доле английских рабочих и фермеров, которые, по словам Ф. В. Ростопчина, завидовали русским землепашцам.³

Несколько позднее сведения об английском промышленном пролетариате начали систематизироваться и появляться в виде серьезных оригинальных статей и выдержек из иностранных работ в „Духе Журналов“ Г. М. Яценко.

III

Этот журнал, издававшийся с 1815 по 1820 г., был органом крупных землевладельцев и защитников свободной торговли, т. е. сторонников известного экономиста академика А. К. Шторха и противников представителя запретительной системы Н. С. Мордвинова. Влиятельные и сановные лица, „удостоившие — по выражению Яценко — его журнал вниманием“ и укрывавшиеся под разными псевдонимами (напр., „Русский дворянин Правдин“ и др.), решительно высказывались против освобождения крестьян, считая их, как владельцев недвижимой собственности, счастливее западноевропейского пролетариата.

Фритредеры-крепостники из богатых дворян-помещиков открыто проповедывали, что Россия в фабриках не нуждается. Они допускали лишь небольшие помещичьи фабрики, где продукты помещичьего хозяйства обрабатываются руками крепостных. Выступая против капиталисти-

¹ Мориц, „Путешествие по Англии“, перевод с немецкого, Москва, 1804, ч. II, стр. 100—101, 129, 141—142.

² „Московский Курьер“, М., 1805, ч. I, стр. 51.

³ „Чтения в Обществе истории и древностей российских“, 1860, кн. 2, стр. 209 (из „Замечаний на книгу г-на Стройновского“).

ческих фабрик, сотрудники „Духа Журналов“ пользовались аргументами западноевропейских критиков, а от себя выдвигали тезис, что Россия — страна земледельческая. За этой аргументацией скрывалось нечто более сильное — их вражда к пролетариату и страх перед ним. Поэтому вполне понятно предпочтение, отдаваемое ими крестьянству. „Земледелец, — говорили они, — есть человек богобоязливый, гражданин мирный, верный сын отечества и покорный подданный государю своему...“ „Мастеровой на фабрике“, напротив, „ничего не ожидает от бога, а всего от машины; и ежели бы господь не насылал на него болезней, то он едва ли бы когда вспомнил о боге. Сообщество нескольких сот или тысяч мастеровых, живущих, работающих всегда вместе, не имеющих никакой собственности, питает в них дух буйства и мятежа. Нигде нет такого разврата, как на фабриках. Частые мятежи в английских мануфактурных городах служат тому доказательством“.¹ Опасения наших крепостников росли, потому что рос численно и западноевропейский пролетариат. Фабричная обстановка — по их наблюдению — способствует сближению молодых рабочих и работниц; учащаются ранние браки, а в результате — „наполнение (целой) округи ребятами, такими же хворыми, больными и калеками, как и сами (родители)“.² Увеличение численности рабочих пугало реакционеров: они усматривали в этом „излишнее народонаселение“³ и могли настраиваться мальтузиански. Поход против капиталистических фабрик выразился в систематических упорных нападках на Англию, как на страну с наиболее развитой промышленностью.

Источниками оригинальных статей, кроме сочинений Сея, Сисмонди-Бентама, Адама Смита и др., служили „The Times“, „The Courier“,⁴ заключающие в себе много фактических данных, в частности о рабочем движении.

В Англии, — сообщает „Дух Журналов“, — „только помещики, аренда, торы, фабриканты и негоцианты богаты, а народ нищий“. Сочтено, что восьмой человек „живет на счет общественного призрения“. По окончании войны против Франции бедность стала „наиболее чувствительной“. Причины — различные: упадок торговли и фабрик, малая плата работникам, чрезмерные налоги, дороговизна“.⁵ Бедственное положение рабочего класса довершается притеснительным законом о хлебе (cornbill), запрещающим продажу в Англии иностранного хлеба, если цена его „не поднимается выше 80 шиллингов квартер“.⁶

„Английская бедность“ едва может питаться и лишена всякой надежды иметь дом и хозяйство. Она живет скудно в подвалах, на чердаках,

¹ „Дух Журналов“. 1818, ч. XXIX, стр. 180—182.

² Там же, ч. XXIX, стр. 167—168.

³ Там же, стр. 172.

⁴ Там же, стр. 191; 1819, кн. 19, стр. 354 и др.

⁵ Там же, 1819, кн. 19, стр. 342—343.

⁶ Там же, 1817, кн. 16, стр. 99—101; 1819, кн. 19, стр. 349.

в сараях. Голодные дети валяются на соломе. Подростки ищут работы и ходят в школу учиться «на счет суммы бедных».¹

На фабрике обычно несколько сот человек толпятся в „большой, но тесно загроможденной машинами палате“ и работают с утра до вечера, „при неестественном положении тела“, „глотая серный, арсеникальный и меркуриальный дым“. Здесь смертность очень велика, и есть заводы, в которых „двенадцатый и даже десятый человек ежегодно умирает“. О „бесчеловечном угнетении и рабстве“ фабричных мастеровых красноречиво свидетельствуют рабочие прокламации.²

„Умножение машин есть также одна из важных причин бедности народной“ в Англии. Приблизительно „две трети“ фабричных рабочих „отпущены были как ненужные, и остались без дела“. С введением машин на фабриках в других странах Англия стала терять преимущество монополии машин. Товары стали сходиться труднее с рук. Фабриканты начали употреблять меньше людей — и „толпы бедных“ увеличились. Многие тысячи англичан устремились в Северную Америку. Англия „теряла от того и ремесленных людей“ и большие капиталы, которые „умножали богатство Америки“. „Но несколько миллионов несчастных не могли переселиться в чужие земли, а должны (были) остаться голодая в своем (отечестве)“. Волнение, даже отчаяние охватило их. „Тысячи просьб из всех мануфактурных городов поступили в парламент“. Но в нем „заседали сами фабриканты, помещики и арендаторы, коих собственная выгода требовала не увеличивать платы мастеровым и работникам“. Все „жалобы (были) оставлены без внимания“.³ „Отсюда война мастеровых против машин“. „Работники, прогнанные с фабрик“, „подняли знамя бунта, на коем была надпись: работы и хлеба“. С этими криками они „ломались на фабрики, разрушали и зажигали машины“. Их товарищи, служащие на этих фабриках, бросали занятия и „толпами присоединялись“ к бунтующим. Начались „народные мятежи“, названные в „The Times“ „рабскою войною“, „а servile war.“ Правительство решило „укрощать мятежи воевнною силою“. „Многие из бунтовщиков были повешены; еще более сослано в ссылку“.⁴

Вполне естественно возникла у рабочих мысль об изменении избирательного закона. „Чтобы иметь голос при выборах в парламент“, „кроме других качеств“ необходимо „иметь достаток, законом определенный“. У рабочих нет никакого состояния, и потому они „безгласны“. Им остается только добиваться права избрания в нижнюю палату. В этом „состоит так называемая радикальная или коренная реформа“, которой

¹ „Дух Журналов“, 1820, ч. XL, кн. 6, стр. 276—277.

² Там же, 1818, ч. XXIX, стр. 177, 182.

³ Там же, ч. XXIX, стр. 170—171; 1819, кн. 19, стр. 352—353; 1820, ч. X, № 6, стр. 285.

⁴ Там же, 1817, ч. XIX, стр. 757—758; 1819, кн. 19, стр. 347, 351, 354, 356.

они требовали.¹ Редакции журнала было понятно и то, что „голод — великий бунтовщик“, но рабочее движение пугало ее, и пролетариат казался ей „чернью“, склонной к своеволию и мятежам. Разрушение машин и пожары на фабриках приводили редакцию в ужас, и в такие моменты сама английская конституция представлялась особо „счастливой“ — „древом (народного) благосостояния“, которое, к сожалению, рискует быть „исторгнуто с корнем“.² Тогда стали составляться клеветнические обвинительные акты против пролетариата. Говорили, что пролетариат состоит из „мятежников“, „одушевленных“ „наглостью, буйством и желанием грабежа“; что он представляет собою подходящую среду, в которой „народные смутники“, „коренные реформеры“ (т. е. Генри Гонт и др.) успешно раздувают искру мятежа, и т. д.

„Твердые меры“ английского правительства, повидимому, не встретили возражения со стороны редакции „Духа Журналов“ (ср. статью без подписи: „Как судить о всеобщих смятениях в Европе, а особливо в Англии?“).³

Уже в 1821 г., через год по запрещении „Духа Журналов“, магистр нравственных и политических наук, сын священника П. А. Иовский поместил в „Вестнике Европы“⁴ М. Т. Каченовского статью „О коренных постановлениях России, как причине ее непоколебимого благоденствия“, где он в сжатом виде повторил основные мысли органа Яценко о положении английских рабочих. „В Англии, — писал он, — богаты и счастливы только негоцианты, купцы, фабриканты, помещики и арендаторы, которые, заседа в парламентах, наблюдают единственно только свои выгоды“. „Они принудили правительство постановить закон о хлебе“. „Они же по силе законов устанавливают определенную цену работникам на фабриках и мануфактурах, самую низкую, нимало не соответствующую трудам и нуждам“. Они создали особый парламентский комитет (1819 г.), который „признал ужаснейшею пагубою Англии“ выдачу „пособия от Приказа призрения бедных“ согласно закону XVII в. Они „почитали бунтом в парламенте“ (откуда, „по закону конституции, навсегда исключены бедные люди“) „требование возвышения цены за работу“ и „оставляли без внимания“ „все жалобы“ рабочих. — Иное дело — Россия: здесь все прекрасно, особенно законы. В честь этих законов Иовский пишет такой приторный панегирик, какой только мог выйти из-под пера карьериста-поповича, уже обдумывающего свой будущий труд „О монархическом правлении“ (М., 1826). Едва ли нужно добавлять, что, подобно „Духу Журналов“, Иовский был закоренелым защитником крепостного права.

¹ „Дух Журналов“, 1819, кн. 19, стр. 353.

² Там же, стр. 342—343.

³ Там же, стр. 333—356.

⁴ „Вестник Европы“, 1821, ч. 115, № 2, стр. 137—142. — Ср. работу Н. К. Пиксанова „Безвестные статьи Н. И. Тургенева“ („Декабристы и их время“, II, М., 1932).

Таким образом обзор реакционной периодической печати приводит к заключению, что в ней к началу царствования Николая I уже сложились определенные взгляды на Англию и английский промышленный пролетариат. Эти взгляды, повидимому, нашли себе сочувственные отклики и довольно широкое распространение в дворянско-помещичьей, чиновничьей и духовной среде. Их можно считать в известной мере господствующими и характерными для этой эпохи. Лишь изредка, когда представители крупной бюрократии, восхваляя крепостную Россию, договаривались до того, что „вольность“ только „бедственное, пустое слово“, „соделавшее мечтательным призраком своим великие опустошения“,¹ они вызывали опровержения. Им говорили, что они „вдаются в крайности“ и „умствуют весьма нескладно“, что „вольность (т. е. свобода)“ не исключительно „вредна“, что она — „слово не пустое, но имеющее вещественное значение“. Возражавшие не были сами безусловными поборниками свободы: разграничивая свободу гражданскую от политической, они подчеркивали, что „первая может весьма удобно существовать без последней“.²

Сопоставляя Англию с Россией, конституцию с самодержавием, свободу английского пролетариата с рабством русских крепостных, реакционеры хвастливо заявляли, что в то время как в Англии счастливы только помещики, купцы и фабриканты, в России рабы „в своей неволе благоденствуют“ и „со слезами просят помещиков не отпускать их на волю“.³ Реакционеры лицемерно сожалели о бедности и несправии английского пролетариата, об ужасных условиях его домашней жизни и его фабричной работы, о низкой заработной плате, о введении машин, способствовавших развитию безработицы и нищеты, говорили об открытой войне против этих машин, об усмирении бунтующих военною силою, о судах над ними и казнях и, наконец, о необходимости изменения избирательного закона, чтобы положить конец безгласности рабочих в парламенте. Но стоило посильнее развиться рабочему движению, как прорывалось недоброжелательство, даже ненависть к пролетариату. И как дорога была реакционерам в эти моменты жестоко критикуемая английская конституция и парламентская система. Любопытно, что именно в 1819 г., когда произошла кровавая баня в Манчестере и английскими войсками была разогнана мирная демонстрация, в „Духе Журналов“ появился „политический разговор“, где английский пролетариат назван „чернью“, а Генри Гонт — „ничтожным человеком“.⁴

¹ „Дух Журналов“, 1817, кн. 49, стр. 992 (354).

² „Сын Отечества“, 1818, ч. 45, № 17, стр. 162—163, 165, 185.

³ „Дух Журналов“, 1817, кн. 49, стр. 994 (356). „Вестник Европы“, 1821, ч. 115, № 2, стр. 137, 142.

⁴ „Дух Журналов“ 1819, кн. 19, стр. 342, 354—356.

IV

С воцарением Николая I, после восстания декабристов и учреждения III Отделения условия газетной и журнальной работы стали еще тяжелее, чем прежде. Отставка неладившего с А. Х. Бенкендорфом министра К. А. Ливена и замена его изобретателем „истинно русских охранительных начал: православия, самодержавия и народности“, С. С. Уваровым, привели к тесной связи министерства народного просвещения с III Отделением. В это время нечего было и думать посвящать особые статьи политике и делать рабочий вопрос предметом обсуждения в печати. Только лица, находящиеся под покровительством шефа жандармов и пользующиеся его особым доверием, как Ф. В. Булгарин и Н. И. Греч, могли получить право завести в своих органах „Северной Пчелы“ и „Сына Отечества“ отделы — „Заграничные новости“ и „Современная политика“. Конечно, место статей заняли так называемые „обозрения новейших происшествий“ или простая информация о важнейших политических событиях, в частности о развитии рабочего движения в современной Англии.¹ Здесь любопытен самый выбор материала из иностранных источников и интересные попутные замечания издателей.

В руках Греча и Булгарина было немало английских периодических изданий. Все это, большею частью, — органы буржуазной печати: „The Times“, „The Courier“, „The Morning Herald“, „The Morning Chronicle“, „The Dublin Evening Mail“, „The Sun“² и др. На рабочие газеты ссылок нет. Булгарин упоминает лишь „The Register“ и то с определенной целью отметить, что „генералпрокурор подверг законному взысканию известного Коббета за возмутительную статью, помещенную в издаваемой им газете“.³

Греч и Булгарин не любили сообщать сведения о тяжелом положении рабочего класса в Англии. Если им и приходилось поневоле касаться этой неприятной для них темы, то они старались прикрываться словами, взятыми из речей короля, министра или члена парламента.

Ловкая выборка фактов и искусные комментарии редакции должны были поднять репутацию старательных агентов III Отделения в глазах А. Х. Бенкендорфа. Греч и Булгарин не считали целесообразным скрывать „недостаток заработка и голод, терзающий работников“, но они подбирали факты разрушений, пожаров и убийств — неизбежных спутников всяких рабочих движений, — и старались, незаметно для читателя, настроить его против английского промышленного пролетариата.

¹ Сведения об английском рабочем движении проникали в другие периодические издания лишь вскользь, были очень кратки и лаконичны. См. „Московский Телеграф“, 1828, № 18, стр. 158 (переводная статья: „Историческое обозрение бумажных и шерстяных фабрик в Англии“).

² „Сын Отечества“, 1829, т. VII, № 43, стр. 187; 1830, т. X, стр. 312. „Северная Пчела“, 1829, №№ 19, 72; 1830, №№ 111, 115, 144; 1831, №№ 25, 252; 1832, № 19.

³ „Северная Пчела“, 1831, № 3.

Изворотливые приемы, обнаружившиеся в выборе и расположении материала из иностранной печати, были особенно изощрены и усовершенствованы „Северной Пчелой“ Булгарина. „Заграничные новости“ последней в разнообразии и занимательности сообщаемых фактов превосходили отдел „Современной политики“ „Сына Отечества“. Это вполне естественно, хотя в обоих отделах работали, повидимому, одни и те же лица. „Пчела“ — газета, она чаще выходила и больше отзывалась на злобу дня, чем литературно-исторический журнал, рассчитанный на иной, более узкий круг читателей. Отлично понимая значение привилегий, дарованных ему милостью Бенкендорфа и Дубельта, Булгарин старался показать своим покровителям, что он сумеет угодить им и в той области, где в трудные николаевские времена мог легко оказаться непригодным даже очень ловкий журналист.

О положении английского пролетариата в „Северной Пчеле“ даются довольно скудные сведения. Изредка приводятся цифровые данные о сокращении числа рабочих в Лондоне, Дублине и других городах в 1826 и 1829 гг., о снижении заработной платы, о депутациях к фабрикантам и неудачных переговорах с ними.¹ Этим и ограничивается информация о положении рабочих.

Иначе обстоит дело, когда речь заходит о рабочем движении. Богатый подбор фактов дает возможность представить в подробностях картину этого движения. Перепечатывается из газеты „Курьер“² обстоятельное описание молчаливой траурной процессии десяти тысяч лондонских ткачей, вышедших на улицу с черным крепом на пиках и с выразительными плакатами.³ Помещаются известия о шумных демонстрациях с музыкой и знаменами, о бурных волнениях веймондгамских ткачей близ Норвига (1827 г.), снимавших штрейкбрехеров, привлечших на свою сторону местное население, едва не убивших вызванных судом свидетелей, забрасывавших бургомистра камнями и вступивших в схватку с войсками.⁴ Из искусно подобранных и тенденциозно освещенных Булгариным сообщений видно, как нарастало возбуждение рабочих, как его бурные вспышки проявлялись повсюду, перебрасываясь с одного места на другое, как собирались „скопища“, выносились постановления, предъявлялись требования, как на углах улиц прибывались объявления с призывом к местному населению оказать помощь рабочим во всем королевстве.⁵ В центре сообщаемых событий — „истребление машин“, распространившееся в конце 1830 г. сначала до Кембриджского и Оксфордского графств, а впоследствии проникшее до графства Монмутского и грозившее

¹ „Северная Пчела“, 1826, №№ 55, 98; 1827, № 37; 1829, №№ 95, 121; 1830, № 144.

² Там же, 1829, № 19. См. „The Courier“, 1829, February 3, № 11610.

³ Краткое упоминание об этом шествии проскользнуло и в „Московском Телеграфе“ 1833 г. (№ 17, стр. 34, „Физиогномия различных частей города Лондона“).

⁴ „Северная Пчела“, 1827, № 75; 1830, № 156.

⁵ Там же, 1829, № 122; 1833, № 14, стр. 57.

Суссекскому. Точно отмечены покушения разломать чугунную дорогу, повреждение паровой кареты Гурнея и его ранение, убийство майора Картера с женою в Типперери, нанесение побоев манчестерскому фабриканту Кею, резкое раздражение ирландцев против навязываемого английским правительством англиканского духовенства, разрушительная работа мифического Свинга, усиление пожаров, приближавшихся к Лондону, большие убытки, понесенные страховыми обществами, и полная невозможность страхования фабричных зданий.¹

Рабочее движение, по словам Булгарина, есть „буйство черни“. „Толпы буйных людей бесславят свое отечество поступками, коим нет примеров в истории образованных наций“. Чернь находится под руководством демагогов, к числу которых отнесены Гонт и Коббет. Гонт представлен как одинокий в парламенте защитник рабочих, виновных в беспорядках и пожарах. Его „партия“ „поджигает фабричных к мятежу“, и „все порядочные люди оказывают ему знаки презрения“. Он навлек на себя порицание Бирмингамского политического союза за свое поведение, „ни мало не сообразное с характером честного человека“, так как, „подав голос за реформу (парламента), употребляет на счет оной все возможные ругательства“. Он „объявлен недостойным дальнейшего доверия“ „в многочисленном собрании лондонских радикалов“. Что касается Коббета, то этот автор „возмутительных статей в «The Register»“ связал свое имя с „дерзкой попыткой демократической партии“ „посягнуть на свободу выборов“ в парламент — именно с постановлением не иметь дела с тем из купцов, лавочников и содержателей гостиниц, который не обещает подать голос в пользу его, Коббета.²

Народный оратор, убежденный сторонник всеобщего избирательного права, и журналист, лидер реформы, противник нового закона о бедных, не могли встретить иного отношения со стороны Булгарина. Другое дело Френсис Бордет, председатель состоявшегося 31 октября 1831 г. в лондонском трактире „Корона и Якорь“ публичного собрания, где было положено начало национальному политическому союзу и где буржуазные радикалы высказались за реформу вигов и были намерены отвергнуть всеобщее избирательное право. Бордет заявил себя открытым противником предоставления рабочим половины мест в исполнительном органе нового союза и тем, конечно, привлек к себе симпатии Булгарина. В „Северной Пчеле“ было особенно подчеркнуто, что „одною

¹ „Северная Пчела“, 1826, № 109; 1829, № 95; 1830, №№ 115, 144—145, 148, 154; 1831, №№ 6, 23, 102, 111, 270; 1833, № 25, стр. 98. Эпизод с Гурнеем попал даже на страницы такого издания, как „Карманная книжка для любителей старины и словесности на 1830 г.“, № 2, стр. 315. О Свинге см. Ф. Энгельс, „Положение рабочего класса в Англии“, 1928, стр. 277; Р. Гаммедж, „История чартизма“, СПб., 1907, стр. 3; Г. Шлютер, „Чартистское движение“, М., 1925, стр. 26.

² „Северная Пчела“, 1830, № 146; 1831, №№ 3, 40, 121, 258, 263; 1832, № 196; 1833, № 25, стр. 98.

из главных целей (союза) будет поддерживать министерство, благоприятствуя биллю, и соединить средние и рабочие классы для общего блага“ и что при союзе будет учреждено „вооруженное общество, род народной гвардии, для защиты лиц и имуществ“ и для пресечения всех попыток создать из преобразования парламента предлог „беспорядкам и опустошениям“ (из „The Morning Chronicle“). Далее приведены советы газеты „The Courier“, предлагавшей „просвещенным и зажиточным“ гражданам „принимать участие (в союзе), чтобы удалять демагогов“, и быстрое применение этих советов на практике Ф. Бордетом, который уже на первом общем собрании Национального политического союза „успел исключить из комитета нескольких жестоких демагогов“.¹

„Жестоким демагогам“ в „Северной Пчеле“ противопоставляется английское правительство: первые разжигают народные страсти; последнее стоит на страже порядка и законности. Булгарин, повидимому, согласен с „The Manchester Guardian“, что „дух, внушающий неустойчивость, должен быть немедленно подавлен“ и что в противном случае англичане рискуют „подпасть под постыднейшее иго черни“.² Поэтому он не без удовольствия известил о прокламации Вильгельма IV, который выражает „твердое намерение строго охранять своих подданных от всякого рода насилий“, „повелевает всем шерифам, мирным судьям и прочим властям наблюдать за тишиною, открывать защитников мятежей и поступать с ними по всей строгости законов“, а всех граждан обязывает оказывать местному начальству посильное содействие.³ Затем перечисляются мероприятия английского правительства: применение воинских команд против рабочих, назначение „особых комиссий для исследования беспорядков“, объявление крупных наград за открытие поджигателей и „возмутителей спокойствия“, аресты, ссылки и смертные приговоры.⁴ Все эти меры, по мнению Булгарина, открытого сторонника смертной казни, особенно за поджоги,⁵ были, конечно, необходимы. Но вместе с тем в его планы не входило изображать английское правительство исключительно карающим. Кары эти должны быть представлены вынужденными и объясняться „ужасными неистовствами“ „черни“. Правительство должно быть оправдано и признано гуманным. Ведь оно прислушивается к голосу прессы и народа, собиравшего в разных тавернах подписи под прошениями о помиловании.⁶ Правда, иногда даже такие грандиозные демонстрации, как организованная в апреле 1834 г. для облегчения участи шести дорчестерских рабочих, не имели никакого успеха, но Булгарину удалось оборвать изложение

¹ „Северная Пчела“, 1831, № 252, 264.

² Там же, 1832, № 196.

³ Там же, 1831, № 256.

⁴ Там же 1830, №№ 146, 149—150; 1831, №№ 2, 4, 8, 13, 17, 156, 270; 1832, № 19.

⁵ Там же, 1831, № 17.

⁶ Там же, 1831, №№ 14, 17; 1832, № 19.

Суссекскому. Точно отмечены покушения разломать чугунную дорогу, повреждение паровой кареты Гурнея и его ранение, убийство майора Картера с женою в Типперери, нанесение побоев манчестерскому фабриканту Кею, резкое раздражение ирландцев против навязываемого английским правительством англиканского духовенства, разрушительная работа мифического Свинга, усиление пожаров, приближавшихся к Лондону, большие убытки, понесенные страховыми обществами, и полная невозможность страхования фабричных зданий.¹

Рабочее движение, по словам Булгарина, есть „буйство черни“. „Толпы буйных людей бесславят свое отечество поступками, коим нет примеров в истории образованных наций“. Чернь находится под руководством демагогов, к числу которых отнесены Гонт и Коббет. Гонт представлен как одинокий в парламенте защитник рабочих, виновных в беспорядках и пожарах. Его „партия“ „поджигает фабричных к мятежу“, и „все порядочные люди оказывают ему знаки презрения“. Он навлек на себя порицание Бирмингамского политического союза за свое поведение, „ни мало не сообразное с характером честного человека“, так как, „подав голос за реформу (парламента), употребляет на счет оной все возможные ругательства“. Он „объявлен недостойным дальнейшего доверия“ „в многочисленном собрании лондонских радикалов“. Что касается Коббета, то этот автор „возмутительных статей в «The Register»“ связал свое имя с „дерзкой попыткой демократической партии“ „посягнуть на свободу выборов“ в парламент — именно с постановлением не иметь дела с тем из купцов, лавочников и содержателей гостиниц, который не обещает подать голос в пользу его, Коббета.²

Народный оратор, убежденный сторонник всеобщего избирательного права, и журналист, лидер реформы, противник нового закона о бедных, не могли встретить иного отношения со стороны Булгарина. Другое дело Френсис Бордет, председатель состоявшегося 31 октября 1831 г. в лондонском трактире „Корона и Якорь“ публичного собрания, где было положено начало национальному политическому союзу и где буржуазные радикалы высказались за реформу вигов и были намерены отвергнуть всеобщее избирательное право. Бордет заявил себя открытым противником предоставления рабочим половины мест в исполнительном органе нового союза и тем, конечно, привлек к себе симпатии Булгарина. В „Северной Пчеле“ было особенно подчеркнуто, что „одною

¹ „Северная Пчела“, 1826, № 109; 1829, № 95; 1830, №№ 115, 144—145, 148, 154; 1831, №№ 6, 23, 102, 111, 270; 1833, № 25, стр. 98. Эпизод с Гурнеем попал даже на страницы такого издания, как „Карманная книжка для любителей старины и словесности на 1830 г.“, № 2, стр. 315. О Свинге см. Ф. Энгельс, „Положение рабочего класса в Англии“, 1928, стр. 277; Р. Гаммедж, „История чартизма“, СПб., 1907, стр. 3; Г. Шлютер, „Чартистское движение“, М., 1925, стр. 26.

² „Северная Пчела“, 1830, № 146; 1831, №№ 3, 40, 121, 258, 263; 1832, № 196; 1833, № 25, стр. 98.

из главных целей (союза) будет поддерживать министерство, благоприятствуя биллю, и соединить средние и рабочие классы для общего блага“ и что при союзе будет учреждено „вооруженное общество, род народной гвардии, для защиты лиц и имуществ“ и для пресечения всех попыток создать из преобразования парламента предлог к „беспорядкам и опустошениям“ (из „The Morning Chronicle“). Далее приведены советы газеты „The Courier“, предлагавшей „просвещенным и зажиточным“ гражданам „принимать участие (в союзе), чтобы удалять демагогов“, и быстрое применение этих советов на практике Ф. Бордетом, который уже на первом общем собрании Национального политического союза „успел исключить из комитета нескольких жестоких демагогов“.¹

„Жестоким демагогом“ в „Северной Пчеле“ противопоставляется английское правительство: первые разжигают народные страсти; последнее стоит на страже порядка и законности. Булгарин, повидимому, согласен с „The Manchester Guardian“, что „дух, внушающий неустройства, должен быть немедленно подавлен“ и что в противном случае англичане рискуют „подпасть под постыднейшее иго черни“.² Поэтому он не без удовольствия известил о прокламации Вильгельма IV, который выражает „твердое намерение строго охранять своих подданных от всякого рода насилий“, „повелевает всем шерифам, мирным судьям и прочим властям наблюдать за тишиною, открывать защитников мятежей и поступать с ними по всей строгости законов“, а всех граждан обязывает оказывать местному начальству посильное содействие.³ Затем перечисляются мероприятия английского правительства: применение воинских команд против рабочих, назначение „особых комиссий для исследования беспорядков“, объявление крупных наград за открытие поджигателей и „возмутителей спокойствия“, аресты, ссылки и смертные приговоры.⁴ Все эти меры, по мнению Булгарина, открытого сторонника смертной казни, особенно за поджоги,⁵ были, конечно, необходимы. Но вместе с тем в его планы не входило изображать английское правительство исключительно карающим. Кары эти должны быть представлены вынужденными и объясняться „ужасными неистовствами“ „черни“. Правительство должно быть оправдано и признано гуманным. Ведь оно прислушивается к голосу прессы и народа, собиравшего в разных тавернах подписи под прошениями о помиловании.⁶ Правда, иногда даже такие грандиозные демонстрации, как организованная в апреле 1834 г. для облегчения участи шести дорчестерских рабочих, не имели никакого успеха, но Булгарину удалось оборвать изложение

¹ „Северная Пчела“, 1831, № 252, 264.

² Там же, 1832, № 196.

³ Там же, 1831, № 256.

⁴ Там же 1830, №№ 146, 149—150; 1831, №№ 2, 4, 8, 13, 17, 156, 270; 1832, № 19.

⁵ Там же, 1831, № 17.

⁶ Там же, 1831, №№ 14, 17; 1832, № 19.

этого происшествия на середине и скрыть от читателя, что „несчастные рабочие были отправлены в цепи за океан“.¹ Зато он умело выдвигает на первое место благотворительную деятельность правительства,² что было вполне согласно с директивами III отделения. Булгарин был обязан в „Заграничных новостях“ отмечать политические и социальные неурядицы Англии, намекая между строк на контраст с благоденствием и процветанием России, порядки которой он славословил в других отделах на каждой странице каждого номера своей газеты. Но он старался внушить читателю, что английское правительство, каково бы оно ни было, все же — основа законности и порядка, а пролетариат — неиссякаемый источник смуты. Он искусственно подбирал и накапливал выгодные для него факты, сопровождал их двумя-тремя настраивающими против пролетариата словами — и предоставлял делать вывод читателю.

Замалчивание недостатков парламентской реформы 1832 г., враждебное отношение к рабочим, подрыв доверия к честным радикалам и отсутствие критики мероприятий буржуазии — вот что сквозит во всех политических информациях Булгарина.

V

Явления текущей политической и общественной жизни Англии, и помимо „Северной Пчелы“ и „Сына Отечества“, находили себе отклики в разных слоях русского общества. В разговорах и переписке безусловно затрагивались подобные темы, и более свободно, чем в печати. В 40-х годах в „Библиотеке для Чтения“ и в „Москвитяине“ кое-где можно встретить беглые заметки об английском промышленном и земледельческом пролетариате; и то, что попадало в заметки, очевидно, было в разговорном обиходе уже в 30-х годах.

Противопоставление английского рабочего, батрака или поденщика русскому крестьянину было тогда общим местом и встречалось очень часто. И правительство, и дворянство, и купечество обычно любили высказываться в этом смысле, чтобы иметь повод похвалить положение русских крепостных.

Министр иностранных дел К. В. Нессельроде с напряженным вниманием следил за событиями, развертывавшимися в Англии. Парламентская реформа 1832 г. внушала ему ужас. Одно уничтожение „гнилых местечек“ (*les bourgs pourris*) заставляло его прощаться с прежней Англией, и ему мерещилась потрясенная сверху до низу страна (*le pays bouleversé de fond en comble*). Вице-канцлер придерживался мнений английской земледельческой аристократии, которая с большой тревогой так формулиро-

¹ „Северная Пчела“, 1834, № 98, стр. 371. Ср. Г. Шлютер, „Чартистское движение“, М., 1925 г. стр. 81.

² Там же, 1826, № 55; 1829, № 29; 1830, № 7; 1831, № 102; 1832, № 10; 1833, № 92.

вала роковой для нее вопрос: „остановит ли новый парламент наше движение на революционном поприще или ввергнет нас в бездну (nous précipitera dans l'abîme?)“.¹ В России же, напротив, Нессельроде усматривал государственный строй, ограждающий от подобных английским волнений, и считал именно крепостное право особо благодетельным и для помещиков и для крестьян. „Интересы обеих сторон“ представлялись ему „до того слитыми, что он не мог бы не пожалеть, если бы эмансипация разрушила существующую между ними связь“. Владелец обширных „саратовских имений“, он считал „устройство“ тамошних крестьян и „установленный им порядок“ „прекрасными и очень полезными для крепостных“.²

Министр финансов Е. Ф. Канкрин сосредоточивал внимание не на земледельческом, а на промышленном пролетариате Англии. Он говорил об ирландском мелком арендаторе. Он знал, что арендная плата в Ирландии так высока, что арендатор живет „немного лучше чем поденщики“,³ т. е. в величайшей бедности, и очень близок к пролетарию. Он стоял за соединение земледельческого и промышленного труда и был убежден, что „работник в семейной промышленности находится в самом лучшем положении“, тогда как „фабричная промышленность производит наиболее, но и порождает величайшую нищету“. „Масса (фабричных) работников не имеет упроченного состояния, живет со дня в день в отвратительных ямах и умирает с голоду, если только заболит. Фабричное производство порождает в низшем классе безнравственность, унижение, тупость, бунты, домогательство высшей платы; в высшем же классе... производит презрение к испорченной природе людей“. — Русский крестьянин „большею частью, производит сам предметы своих потребностей (сукно, полотно и т. д.); он — крепостной, но не раб и живет не плохо“. „Крепостное состояние — по словам Канкрин (в общем противника крепостного права) — далеко не бедственно, потому что всякий крепостной в селении есть вольный работник в те дни, когда не исправляет барщины... Русский крепостной мужик находится в несравненно лучшем положении, нежели мелкий ирландский арендатор“.⁴

И Канкрин и Нессельроде находили в Англии источники волнений и бунтов и видели в русском крепостном крестьянстве защиту от подобных бедствий, причем министр финансов более отчетливо, чем вице-канцлер, подчеркивал умственное и нравственное превосходство крестьянина над рабочим и благоустройство его жизни сравнительно с жизнью английского пролетария, которому и „добровольная денежная помощь не приносит большой пользы“.

¹ „Lettres et papiers du chancelier comte de Nesselrode“. Paris, 1908, t. VII, pp. 55, 173, 240, 261.

² „Русская Старина“, 1873, № 6, стр. 855—856.

³ Ф. Энгельс. „Положение рабочего класса в Англии“, М.—Л., 1928, стр. 280.

⁴ „Библиотека для Чтения“, 1846, т. 76, отд. IV, стр. 4—5.

В дворянских кругах — насколько можно судить в пределах известных нам документов — отношение к английскому пролетариату не было четко выявлено. Но многие из дворян были в той или иной мере знакомы с современной Англией, а следовательно, и с положением английского рабочего класса. Им была доступна не только русская, но и иностранная пресса: французская и, при знании языка, английская. Кое-кто, вроде С. А. Соболевского и Александра Ив. Тургенева, вероятно, мог, помимо распространенных буржуазных газет, достать даже номер „Защитника Бедняка“ (Poor Man's Guardian), прочитать статью О'Брайена или сам побывать в Англии, понаблюдать там непосредственно жизнь и заглянуть на фабрики. Так, осенью 1828 г., незадолго до начала промышленного кризиса 1829 г., „либеральный“ мануфактурист Hirst показывал Тургеневу в Лидсе свою фабрику, где „все делается тремя паровыми машинами и 500 работниками, между коими женщины и дети“. Hirst „выводил (своего посетителя) везде и показал (ему) весь процесс сукноделия“.¹ В. Ф. Одоевский выписывал в Петербург парламентские отчеты за 1832—1834 гг.,² очевидно интересуясь биллем о реформе парламента (1832), законом об охране труда (1833) и законом о бедных (1834). Будучи филантропом, Одоевский особенно изучал условия детской фабричной работы. Употребление на фабриках „большого числа детей ниже одиннадцатилетнего возраста, даже до шести лет“; дешевая плата; работа днем и ночью по одиннадцати часов в сутки; невероятное утомление детей, доводимых до того, что они „не могут держаться на ногах, падают от изнеможения и засыпают так, что их можно разбудить только бичом“; изобретение „сапогов из жести, которые мешают детям — даже падать от усталости“ — вот факты, возмущавшие Одоевского. „В парламентских отчетах то ли еще можно найти“, говорил он и затем подробно останавливался на детских болезнях — естественных следствиях неестественной работы: распухании ног, спинной болезни, всегдaшнем полусонном состоянии и старческой немощи, делающей бесполезным какое-либо учение (даже при наличии свободного времени, которого обычно нет) и способствующей развитию безграмотности.³

Мальтузианские идеи, довольно популярные среди английской буржуазии и положенные в основу закона о бедных (1834), среди русского дворянства находили себе сторонников и противников. Из переписки П. А. Вяземского с А. И. Тургеневым видно, как они оба следили за

¹ „Письма А. И. Тургенева к Н. И. Тургеневу“, Лейпциг, 1872, стр. 619—620.

² „Русские Ночи“, М., 1913, стр. 358. В „Эпизоде“ упоминаются пересмотренные Одоевским „Factories inquiry. First report; second report; supplementary report 1832—1834“, 4 vol. in folio.

³ В. Ф. Одоевский. „Русские ночи“, М., 1913, стр. 357—361. — Ср. Ф. Энгельс, „Положение рабочего класса в Англии“, СПб., 1905, стр. 129, 133—136, 140—141. В „Московском Телеграфе“ есть беглые упоминания о работе детей на фабриках (1828, № 18, стр. 154; „Историческое обозрение бумажных и шерстяных фабрик в Англии“).

появлением в печати и на книжном рынке сочинений Мальтуса или писем к нему Сея, как Тургенев узнавал о ненапечатанных трудах Мальтуса, познакомился с швейцарским экономистом Френсисом д'Ивернуа и „прочел в рукописи (его) опровержение Мальтуса по некоторым соображениям о смертности в России“.¹ Сравнение России с Западом приводило жившего в Англии Н. И. Тургенева к выводам, что русские — „не участники в (культурном) богатстве человечества“, „все гости на этом роскошном пиру“, где „для них нет места, как сказал Мальтус о бедных в отношении к богатым“ (1826).² А позднейшие высказывания В. Ф. Одоевского свидетельствуют, что он был ярким противником Мальтуса, который казался ему „гораздо нелепее алхимиков, отыскивающих универсальное лекарство“. С точки зрения Одоевского, „если теория Мальтуса справедлива, то, действительно, скоро человеческому роду не останется ничего другого, как подложить под себя пороху и взлететь на воздух, или прискакать другое, столь же действительное средство для оправдания мальтусовой системы“.³

Явное предубеждение против фабричных рабочих и склонность противопоставлять западному (в частности английскому) пролетариату русских крепостных крестьян заметны у Д. П. Шелехова (1792—1854). Этот полковник лейб-гренадерского полка, впоследствии чиновник министерства финансов, лично известный Николаю I, любил доказывать, что на фабриках и заводах свили себе гнездо всевозможные пороки (пьянство, картежная игра, распущенность и т. п.) и заражают „оброчных промышленников“, что русский крестьянин „наслаждается счастливым бытом и довольством в жизни“, что он собственник, „имеет полное хозяйство“ и совершенно не похож на „бездомных“ „бобылей“ „чужих земель“, „других государств“.⁴

Однородных взглядов с дворянскими придерживалось и русское купечество.⁵

Отклики на парламентскую реформу и рабочее движение в Англии обнаруживают отсутствие коренных расхождений во взглядах русского правительства, дворянства и купечества 1830-х годов. В правительственных сферах заметно сочувствие к английской земледельческой аристократии, опасение последствий реформы, признание бедственного положения ирландского мелкого фермера, убеждение в необходимости „семейной промышленности“ (т. е. соединения земледельческого и про-

¹ „Остафьевский Архив“, СПб., 1899, т. II, стр. 118, 124, 137, 142; т. III, стр. 282. Переписка А. И. Тургенева с П. А. Вяземским, П., 1921, т. I, стр. 150—151, 233, 242, 329—330.

² Е. И. Тарасов. „Н. И. Тургенев в александровскую эпоху“, Самара, 1923, стр. 396.— Ср. Мальтус, „Опыт о законе народонаселения“, СПб., 1868, т. I, стр. 12.

³ В. Одоевский. „Русские ночи“, М., 1913, стр. 129—130, 144—146.

⁴ „Библиотека для Чтения“, 1836, т. XIX, отд. IV, стр. 8—10; 1837, т. XXII, отд. IV, стр. 33—34.

⁵ Ср. позднейшую статью в „Москвитяине“, 1841 г., ч. V, стр. 208—215.

мышленного труда), предубеждение против фабричной промышленности, порождающей величайшую нищету и являющейся источником безнравственности, бунтарства, домогательства высшей платы, а также противопоставление Англии России, где крепостной не раб и живет лучше английского пролетария.

Большая часть дворянства и купечества в общем склонялась к правительственной точке зрения. Но в некоторых менее реакционных дворянских кругах раздавались речи о пользе уничтожения „гнилых местечек“, о неизбежности снижения в будущем слишком высокого избирательного ценза (1832 г.), о несостоятельности теории Мальтуса, о жестокой эксплуатации труда малолетних детей на английских фабриках и заводах.

VI

В 1833—1835 гг., когда, после пережитых тяжелых промышленных кризисов и проведения избирательной реформы, реорганизованный парламент издавал в Англии законы об охране труда и о бедных, — Пушкин жил в Петербурге. Он отлучался из столицы за это время однажды на три месяца в Казань — Оренбург (осенью 1833 г.), а большую часть сравнительно ненадолго в Москву, Болдино, Михайловское, либо Тригорское. „В тревоге пестрой и бесплодной большого света и двора“ провел он эти годы, отдыхая лишь в общении с друзьями и близкими знакомыми. От некоторых из них он мог получать сведения о литературной и политической жизни Запада. И чем более „не в терпех“ становилось ему в николаевской России, где „чорт догадал его родиться с душою и талантом“, чем более усиливался его интерес к Европе, — тем чаще он должен был беседовать о ней подчас с „страданием во взгляде“, которое поразило Лева-Веймара.¹ В „европейско-русских“ салонах Е. М. Хитрово и Д. Ф. Фикельмон Пушкин и дипломаты, по словам П. А. Вяземского, „были дома“. Здесь поэт ловил „верные отголоски всей животрепещущей жизни европейской и русской, политической, литературной и общественной“; здесь он мог „запасаться сведениями о всех вопросах дня, начиная с политической брошюры и парламентской речи французского оратора и кончая романом или драматическим произведением одного из любимцев той литературной эпохи“.² Из этого источника доставал он „контрабандные“ „Reisebilder“ Гейне, „запрещенные“ в России труды Тьера и Минье,³ сочинения Гюго, Сю, Стендаля. Другим источником служил ему салон вернувшейся в августе 1833 г. из Германии А. О. Смирновой, которая привезла много заграничных новостей и муж которой, как известно, состоял при министерстве иностранных дел. Не-

¹ „Русская Старина“, 1900, т. СІ, январь, стр. 78.

² П. А. Вяземский. „Полное собрание сочинений“, т. VIII, стр. 493.

³ „Письма Пушкина к Е. М. Хитрово“, Л., 1927, стр. 24—25, 117, 119, 195. „Переписка Пушкина“ под ред. В. И. Саятова, т. III, СПб., 1911, стр. 197.

мало интересных сведений (в частности и об английских рабочих) мог сообщить Пушкину С. А. Соболевский, появившийся в 1833 г. в России, после продолжительного пребывания за границей (Лондон, Париж, Мюнхен, Рим), где он, между прочим, изучал теорию паровых машин и бумагопрядильного производства.¹ С новостями же приехал ненадолго, осенью 1834 г., и друг Пушкина, А. И. Тургенев, встречавшийся в Москве с поэтом.² „Вестовщиком“, может быть, мог служить для Пушкина до мая 1834 г.³ и московский почт-директор А. Я. Булгаков. Наконец, могли делать ценные сообщения об Англии и такие знакомцы Пушкина, как капитан английского флота Фрэнкленд.⁴ Ходили также слухи, что Николай I „велел доставлять <Пушкину политические> известия“, что, впрочем, едва ли было выполнено, так как не осуществилось издание политической газеты (1832 г.).⁵ К числу поставщиков иностранных книг, журналов и газет могут быть отнесены В. Ф. Одоевский и П. А. Вяземский, и весьма вероятно, что именно у первого Пушкин мог взять для ознакомления отчеты английского парламента за 1832—1834 гг.

Автор программы несостоявшейся газеты „Дневник“, Пушкин готовился быть „газетчиком“ и поэтому с особым вниманием должен был следить за органами Греча и Булгарина. Он, бесспорно, знал источники, откуда они черпали сведения об Англии, и конечно не только „иностранные известия“ из „Journal de Saint-Petersbourg“,⁶ о котором он упоминает в письме к М. П. Погодину, были ему доступны. И в министерстве иностранных дел, где он числился на службе с половины 1832 г., и в редакциях журналов,⁷ и даже в справочном бюро, помещавшемся в доме Коссиковского на углу Большой Морской и Невского, он мог получить „почти все входящие в Россию иностранные журналы и газеты“.⁸ Эти газеты были, по словам Пушкина, „отголосками партий“, „периодическими памфлетами“, „имевшими свое политическое направление, свое влияние на порядок вещей“. А „сословие“ иностранных журналистов (Каннинг, Гиффорд, Джеффри), гремевшее своей борьбой против интервенции свя-

¹ В. И. Саитов. „Соболевский, друг Пушкина“, П., 1922, стр. 17.

² „Остафьевский Архив“, т. III, стр. 262. „Дневник Пушкина“, М.—Л., 1923, стр. 212.

³ Перлюстрация писем Пушкина к жене.

⁴ „Пушкин. Временник Пушкинской комиссии“, т. 2, 1936, стр. 302—314. Ср. Б. Л. Модзалевский, „Библиотека А. С. Пушкина“, СПб., 1910, стр. 235, № 928.

⁵ „Русская Старина“, 1903, март, стр. 531. Из письма Н. М. Языкова к брату Александру Михайловичу от 28 Июля 1832 г.

⁶ Газета, выходившая три раза в неделю. Она заменила издававшийся прежде от министерства иностранных дел „Conservateur impartial“.

⁷ См. „Московский Телеграф“, 1825, № 1, стр. 90; 1833, № 7, стр. 455. Из английских изданий выписывались через московский почтамт: „The Morning Chronicle“, „The Star“, „The Times“, „The Courier“, „The Morning Herald“, „The London Chronicle“, „The Express Herald“, „The S.-James Chronicle“, „The loyd's evening Post“, „The London Packet“, „The Evening Mail“, „The Bell's Weekly Messenger“.

⁸ „Сын Отечества“, 1829, № 13, стр. 359.

щенного союза, казалось „рассадником людей государственных“, „известных сведениями и талантами“, „собирающихся овладеть общим мнением“ и „страшащихся унижать себя в глазах публики недобросовестностью, перемчивостью, корыстолюбием или наглостью.“¹

Пушкин, конечно, читал и „The Times“, и „The Courier“, и „The Morning Chronicle“ и „Quarterly Review“; о двух последних изданиях он даже упоминает в „Современнике“,² и в письме к А. Х. Бенкендорфу от 31 декабря 1835 г.³ И было бы неправильно суживать круг его чтения в 1833—1835 гг. исключительно органами французской печати. В это время поэт уже мог сам читать по-английски,⁴ и такие распространенные газеты, как „Times“, попадавшие в руки Ф. В. Булгарина, Н. И. Греча и Н. А. Полевого, конечно, были и в его распоряжении. Когда дело касается Англии этих лет, нет необходимости отыскивать для Пушкина обязательно французские источники или заставлять его смотреть на английское рабочее движение сквозь призму Лионского восстания (1831 г.), о котором он сам не написал ни строчки. Бесспорно, события в Лионе должны были произвести на Пушкина известное впечатление, но преувеличивать значение этого факта не следует, и для суждения о нем у нас пока нет никаких данных.

Книг ученика Сисмонди Евгения Бюре — „De la misère des classes laborieuses en Angleterre et en France“ и Томаса Карлейля — „Chartism“ — Пушкин не видел, так как умер за три года до их появления (1840 г.). Но зато он должен был прекрасно знать парламентскую речь Байрона в защиту ткачей, ломающих машины (1812 г.), и статью Вальтера Скотта в „Quarterly Review“ (1830 г.). Вероятно, со слов творца „Чайльд-Гарольда“ впервые ознакомился Пушкин с тяжелым положением промышленного пролетариата в Англии: с ужасающей нуждой ноттингемских ткачей и с законом, карающим смертью за разрушение машин.⁵ По очеркам Вальтера Скотта он мог изучить судьбу английского земледельческого пролетариата: процесс разорения мелкого крестьянства, скопление земель в руках крупных арендаторов, развитие батрачества и возникновение массы поденщиков; он мог проследить, как снижалась заработная плата и росли налоги, как пауперизм свил себе прочное гнездо в английских земледельческих округах.⁶

¹ „О русских журналах“ (1831).

² В статье „Последний из свойственников Иоанны д'Арк“ (1836—1837).

³ „Переписка Пушкина“ под ред. В. И. Саитова, т. III, СПб., 1911, стр. 261.

⁴ См. статью М. А. Цявловского „Пушкин и английский язык“ („Пушкин и его современники“, вып. XVII—XVIII, 1903, стр. 48—73) и „Воспоминания о Пушкине“ М. В. Юзефовича („Русский Архив“, 1880, кн. III, стр. 444—445).

⁵ См. „Mémoires de lord Byron, publiés par Thomas Moore“, Paris, 1830, t. II, pp. 43—53.

⁶ E. Buret. „De la misère des classes laborieuses en Angleterre et en France“, Paris 1840, tome I, livre 1, chapitre V, section V, pp. 195—197. — Ср. „Quarterly Review“, 1830, March; „Revue Britannique“, 1830, avril, t. 29; 1832, avril (nouvelle édition, 2 vol.).

Интерес В. Скотта к вопросу об усилении нищеты среди земледельцев, приведенные им убедительные цифровые данные о податях естественно могли побудить Пушкина заглянуть в официальные документы — отчеты парламента. Вероятность подобных предположений подтверждается и наличием в Пушкинской библиотеке английских справочных изданий или исторических, политических и литературных обзоров за 1833—1834 гг. и экземпляров „Revue Britannique“ за 1830, 1831, 1833 гг.¹ Не мог обойти Пушкин и „Voyage historique et littéraire en Angleterre et en Écosse“ (1825, 1826) Амедея Пишо, который считал математически доказанным, что более трехсот тысяч английских семейств получали ежегодно пособие, что налог в пользу бедных восходил до семи миллионов фунтов стерлингов, что разъедающая Англию рана неизлечима и что беднейшая часть населения теряла энергию, привыкала к праздности и только требовала своей доли собираемого налога.² Должен был слышать Пушкин от П. Я. Чаадаева и о книге Фридриха Раумера „England im 1835“,³ но в России она появилась на французском языке не ранее 1836 г. и отзыв о ней и выдержки из нее были помещены в „Телескопе“ и в „Библиотеке для Чтения“ также в 1836 г.⁴

Но самым важным источником служили для Пушкина прокламации и петиции английских рабочих в парламент. В „Путешествии из Москвы в Петербург“ он первоначально написал: „Возьмите нынешнее состояние Английского народ<а> работника“, затем зачеркнул написанное и на полях исправил: „Прочтите жалобы Английских фабричных работников: волосы встанут дыбом от ужаса“. Эта же фраза встречается и в „Разговоре с англичанином“, только здесь отсутствуют два последних слова: „от ужаса“, добавленные для усиления впечатления читателя.⁵ Подобные „жалобы“ представляют собою наиболее яркие документы, свидетельствующие о действительно ужасающем положении английского пролетариата. Вот текст одной прокламации, опубликованной еще в „Духе Журналов“: „Сколь тяжка и многотрудна работа мастеровых на фабриках!

¹ В библиотеке Пушкина есть „The Annual Register“ за 1834 г., где в первой главе отдела „History of Europe“ излагаются следующие факты: „Speech from the throne — Speeches of the duke of Wellington and earl Grey on the address — Discussion on the address in the House of Commons — Amendment moved by mr Hume and mr O'Connell“ („The Annual Register“, 1834, London, 1835, pp. 8—10. Б. Л. Модзалевский. „Библиотека А. С. Пушкина“, СПб., 1910, стр. 141, №№ 542—544).

² „A. Pichot. „Voyage historique et littéraire en Angleterre et en Écosse“, Bruxelles, 1826, tome II, pp. 286—287.

³ М. Лемке. „Николаевские жандармы“, СПб., 1908, стр. 426.

⁴ В библиотеке Пушкина сохранилась книга Раумера во французском переводе под заглавием: „L'Angleterre en 1835. Lettres écrites à ses amis en Allemagne, par Frédéric von Raumer... Traduit de l'allemand par Jean Cohen. Paris, 1836“ (№ 1299).

В „Телескопе“ 1836 г. (№ 15, стр. 384—389) была помещена статья „Мнение иностранца о русском правлении“, и в „Библиотеке для Чтения“ того же года (т. XVII, отд. III) — другая статья „Англия в 1835 г.“

⁵ Всесоюзная Библиотека им. В. И. Ленина, тетради № 2384, л. 7; № 2385 Б, л. 31 об.

Мы никогда не дышим свежим воздухом, но от раннего утра до позднего вечера сидим взаперти в наполненных людьми палатах и дышим испорченной атмосферой. Немногие из нас достигают половины обыкновенной человеческой жизни, и часто гроб бывает первым одром нашего отдохновения. А наши дети! — ах, желали бы мы закрыть непроницаемым покровом горестное сие зрелище. — Сии полусогнившие, уродливые калеки толпами валяются на улицах и представляют такое зрелище, которого изобразить не <воз>можно. — Объявляем торжественно, что мы находимся в самом бесчеловечном угнетении и рабстве и при нынешней малой плате, при величайшем напряжении сил, не в состоянии выработать и столько, сколько необходимо нужно для самого скудного пропитания“.¹

Сделанное Пушкиным читателю указание на необходимость, для уяснения положения рабочих, ознакомиться, прежде всего, с их прокламациями, свидетельствует о знании источников и об изучении вопроса. Это изучение имело свои причины и основания.

Еще в Михайловском Пушкин интересовался, при чтении исторических памятников, движением народных масс. В 1824 г. он уже хотел изучить жизнь Пугачева и два года спустя говорил М. Н. Раевской, что намерен написать о нем сочинение. С 1830 г. книжные впечатления стали сменяться яркими впечатлениями от современной жизни. Июльская революция, восстание рабочих в Лионе, события в Бельгии, польское восстание, холерные волнения, возмущения в военных поселениях и другие события следовали быстро одно за другим. На фоне этих впечатлений немного позже собирались материалы для „Истории Пугачева“, писалась „Капитанская Дочка“, набрасывались „Сцены из рыцарских времен“, начат был трактат о французской революции. В таких условиях, естественно, не могло пройти бесследно для Пушкина и рабочее движение в Англии во время промышленного кризиса 1829 г.

Известия о траурной процессии десяти тысяч ткачей Спительфильдских шелковых мануфактур с пиками, увитыми черным крепом, и флагами с надписями: „Жертвы системы свободной торговли“, „Британские ремесленники, преданные голодной смерти“ и т. п. появились в „The Courier“ в день процессии, 22 января (т. е. 3 февраля нового стиля), а в „Северной Пчеле“ 12 февраля. Сведения о волнениях рабочих печатались в „The Times“ в мае и поздней осенью и тогда же попадали в русские периодические издания. По крайней мере, и Булгарин и Греч в мае и октябре сообщали о волнениях в Ковентри, Манчестере и Бэркли, о борьбе с штрейкбрехерами, об угрозах истребить машины, о прокламациях, призывающих к стачке рабочих во всем королевстве. Пушкин с января по 9 марта жил в Петербурге, март и апрель пробыл в Москве, с конца сентября по 12 октября — там же, а с 10 ноября — опять

¹ „Дух Журналов“, 1818, ч. XXIX, стр. 182.

в Петербурге. И зимой и осенью 1829 г. он имел под руками газеты. Враг политического равнодушия, Пушкин, особенно при повышенном интересе к движению народных масс, не мог откладывать в сторону русские и иностранные газеты; он не мог не сосредоточить внимания на английской безработице 1829 г. и как художник не мог не быть потрясен, читая описания величественного молчаливого шествия по улицам Лондона тысячных колонн изнуренных голодом рабочих, направляющихся к герцогу Веллингтону.

Позднейшие события в Англии: реформа парламента (1832 г.), законы об охране труда (1833 г.) и о бедных (1834 г.) уже никак не могли остаться незамеченными на общем политическом фоне тогдашней Европы. Как же должен был подойти к тогдашнему положению английских рабочих такой человек, как Пушкин?

*

Сын своего класса и своего времени, Пушкин невольно платил им дань, хотя уже в юности чувствовал тесноту дворянского кругозора и умел возвышаться над ним. Враг придворной знати, крепостников-реакционеров, которые его ненавидели и травили, он дружил с декабристами, ценившими его высоко. Он усматривал в современном ему дворянстве, при всех его недостатках, для него вполне ясных, культурную силу, которая, по его мнению, могла бы, при известных условиях (наследственном политическом положении), проявить себя благотворно и способствовать восхождению над отечеством зари „просвещенной свободы“.

Он хотел бы „оградить дворянство“ и „подавить чиновничество“. Он был против „окружения деспотизма преданными наемниками“, против „подавления всякой оппозиции и всякой независимости“, против придворной знати, этого „необходимого средства тирании или, вернее, низкого и дряблого деспотизма“. Он видел в дворянстве „высшее сословие народа“, „награжденное большими преимуществами касательно собственности и частной свободы“, — сословие людей независимых, не связанных „различными узами“ и „имеющих время заниматься чужими делами“. Он усматривал в старинном дворянстве, имения которого „уничтожены бесконечными раздроблениями“, „страшную стихию мятежей“, проявившуюся 14 декабря и затаившую в себе возможность проявиться в будущем. Он неизбежно причислял и себя к тем, кто питал „ненависть против (новой) аристократии“ и кто имел „все претензии на власть и богатство“; но он уже с 1826 г. привык „хранить про самого себя“ свой политический „образ мыслей“. Он покорился „необходимости“, внешне „присмирел“.

Отстаивая политические права старинного дворянства, Пушкин, на ряду с этим, считал „великими вопросами“ „новые права мещан и крепостных“.¹ Он был осведомлен о деятельности комитета 6 декабря 1826 г., о проекте „дополнительного закона о состояниях“ (со-

¹ Письмо к П. А. Вяземскому от 16 марта 1830 г. — Разрядка наша. Н. К.

словных), слышал и недостоверные толки в обществе, летом 1830 г., о предстоящих больших „государственных и гражданских преобразованиях“ и об уничтожении чинов (т. е. Петровской таблицы о рангах). Постановление о потомственном почетном гражданстве (1832 г.), освобождающем лиц этого звания от телесного наказания, рекрутчины, подушной подати, стеснений передвижения и дисциплинарной власти податных обществ, должно было сдерживать стремление крупных торговцев и промышленников получить дворянство, — следовательно, с точки зрения Пушкина, было желательным. Еще более желательны были права крепостных.

Пушкин имел широкое понятие о народе вообще, без четкого выделения в нем слоев с различными интересами. Он с глубоким сочувствием относился к безграмотному народу (*le peuple qui ne sait pas lire*)¹ и в течение многих лет (1819—1835) упорно говорил о его тяжелом положении. И в то время, когда Е. Ф. Канкрин склонен был указывать, что крепостные — не рабы, а чуть ли не „вольные работники“ и живут „далеко не бедственно“, а К. В. Нессельроде считал своих саратовских крестьян благоденствующими, Пушкин настойчиво называл крепостных рабами. Еще будучи молод, он изображал „тощее рабство“ (1819) и „дворовые толпы измученных рабов“ (1819), позднее — „раба“, „благословляющего судьбу“ за „легкий оброк“ — замену „старинной барщины“ (1823), подчеркивал закоренелость рабства в России, называл Радищева „врагом рабства“ (1822) и в статье, посвященной автору „Путешествия из Петербурга в Москву“, писал: „Избави меня, боже, быть поборником и проповедником рабства“ (1833—1834). Считая крестьян рабами, Пушкин постоянно останавливался на условиях их жизни в России: здесь и насильственное присвоение труда и собственности земледельца, и печальная участь „юных дев“ (1819), и бритье лбов, и побои, расточаемые слугам (1823), и продажа с публичного торга (1833—1835), и балы на деньги, данные для прокормления крестьян (1833), и печальные бытовые сцены в духе Некрасова (1830: „Румяный критик мой...“). Помещики-рабовладельцы не пощажены поэтом: они — „дикое барство“, „развратные злодеи“ (1819),² Скотинины и Простаковы (1829), маленькие Людовики XI-ые — тираны, разорявшие крепостных и убиваемые ими (1834—1835). Пушкин соглашался с правдоподобием „ужасных“ картин, нарисованных Радищевым, и, ярко изображая пороки и слабости своего класса и подсказывая необходимость отмены рабства, выражал мысли и мечты лучших сынов русского народа и подтверждал свои слова: „От кого бы я ни происходил ... образ мнений моих от этого никак бы не зависел“.

¹ Письмо к П. Я. Чаадаеву от 6 июля 1831 г.

² По словам кн. П. И. Долгорукова, Пушкин за обедом у Инзова (1822) „утверждал с горячностью, что... всякого владеющего крестьянами почитает бесчестным“, ругал правительство, помещиков, говорил остро, убедительно („Правда“, 1936, 11/ XII, № 340, „Центральный документ о Пушкине“, статья В. Д. Бонч-Бруевича).

Он был тогда уже не тот, что прежде, когда писал „Деревню“ или свои южные поэмы. За десять слишком лет „много переменялось в жизни“ для него. „И сам, покорный общему закону, переменялся“ он. Но, несмотря на перемены, и в эту пору вряд ли отказался он от убеждения, что „политическая наша свобода неразрывна с освобождением крестьян“ (1822). Свобода не только „политическая“, но и „просвещенная“. Ему было важно, чтобы „ныне дикий тунгус“ стал культурнее, научился читать и назвал бы имя Пушкина среди представителей других народностей, о которых нельзя было бы сказать: „les peuples qui ne savent pas lire“. Прежде он полагал, что заря такой свободы взойдет „по манию царя“. Позднее, приглядевшись к декабристам, он, вслед за „хромым Тургеневым“, „предвидел в сей толпе дворян освободителей крестьян“ (1830).

Вероятно, он знал, что некоторые декабристы стояли за прекращение рабства „без всякого потрясения, с соблюдением обоюдных выгод помещиков и крестьян“ (С. Г. Волконский) и указывали на невозможность „насильственно разорвать“ этот „узел“, не вызвавши „самых пагубных последствий“ (И. Д. Якушкин). Могли быть известны Пушкину и колебания Н. И. Тургенева перед практическими затруднениями, с которыми неизбежно придется столкнуться при разрешении крестьянского вопроса, и он мог учитывать при этом, конечно, неуспех проекта „дополнительного закона о состояниях (сословиях)“ в государственном совете (весна 1830 г.). Он не должен был также упустить из виду важность наделения освобождаемых крестьян землею. Он легко мог слышать, что безвозмездное принудительное отчуждение помещичьих земель казалось невозможным многим членам Северного Общества, что ими намечался выкуп земель государством и что последний, по их мнению, облегался тем, что большинство имений было заложено (Д. И. Завалишин). Подобная операция могла быть произведена и над заложенными крестьянами; об этом шли толки, и против этого возражал Пушкин. „Говорят некоторые, — писал он, — раздробление имений способствует освобождению¹ крестьян. Помещики, не получая достаточных доходов, принуждены заложить своих крестьян в опекунский совет и, разорив их, приходят в невозможность платить проценты. Имение тогда поступает в ведомство правительства, которое может их (крепостных) обратить в вольных хлебопашцев или в экономических крестьян.² Расчет ошибочный! Помещик, пришедший в крайность, спешает продать своих крестьян, на что всегда найдет охотников, а долг дворянства связывает руки правительству и не допускает его освободить крестьян, ибо в таком случае дворянство справедливо почтет сей долг угашенным уничтожением залога“.³ Отвергая проекти-

¹ В рукописи: к освобождению

² В рукописи: в вольные хлебопашцы или в экономические крестьяне.

³ Всесоюзная Библиотека им. В. И. Ленина, тетрадь № 2377 А, № 18, л. 28—28 об.

руемую меру, Пушкин не предлагал взамен никакой другой, но самое возражение его свидетельствует, что он думал и над этим вопросом и не возлагал все упования на „одно улучшение нравов“, о котором из тактических соображений, вслед за Карамзиным, упомянул в своей статье.

Пушкин сознательно уклонялся от указания каких-либо конкретных мер к освобождению крепостных и предпочитал ограничиваться общими соображениями. Он считал целесообразным лишь подчеркнуть, что благосостояние крестьян тесно связано с благосостоянием помещиков, которые

руке наемной
Дозволя грабить свой доход,
С трудом ярем заботы темной
Влачат в столице круглый год.

Дворяне „оставляют (крестьян) на произвол плута-приказчика, который их притесняет, а (владельцев) обкрадывает“. Они „проживают в долг будущие доходы — и разоряются“. „Небрежение, в котором остав[ляют] они своих] крестьян, непростительно“. Должно помнить, что „звание помещика есть та же служба“. И чем более имеют дворяне прав над крестьянами, тем „более имеют и обязанностей в их отношении“. Он видел на горьком опыте, к чему приводило управление старост, приказчиков, да и его самого; как хозяйничал в Кистеневе Михайло Калашников; как разорялись крестьяне, из которых иные стали не только бескоровными или безлошадными, но даже бездомными. Он сознавал свою личную беспомощность, когда „жившая долгами“ расточительная родня на него „наседала“ и „теребила его без милосердия“. Легкая ирония над собой, заметная еще в предисловии к „Повестям И. П. Белкина“ (1830—1831), сменялась зловещим предчувствием грядущей бедности и растерянностью, под влиянием которой ему хотелось отказаться от управления отцовским имением, и у него вырвались слова: „Улучшения придут впоследствии (*Les améliorations viendront ensuite*)“.¹ Перед его глазами было отцовское Болдино, „дошедшее до совершенного разорения (*une ruine complète*)“, крестьяне, впавшие в нищету (*un tel état de misère*), ужаснувшую немца-агронома, а в имениях других известных ему лиц он видел „дикость“ дворян, для которых „не прошли еще времена Фонвизина...“ Все это были темы для частных бесед, писем, но никак не для печати, опекаемой таким „хозяйном русской литературы,“ как начальник [III Отделения. Здесь горькое крестьянское житье должно было быть для читателя прикрашено: весьма благопристойно и весьма благополучно. В этом духе приходилось писать всем.

Высказывания Пушкина не могут быть правильно поняты и оценены без учета всей сложной и тяжелой обстановки, в которой жил и работал поэт. Только в этом случае выясняется и его отношение к крестьянам.

¹ Письмо к П. А. Осиповой от 26 июня 1834 г. и письма к Н. Н. Пушкиной от 8-ю и половины июня 1834 г.

Известно, как он думал в голодные годы „о снижении работ и о уменьшении цен на хлеб“, о сотнях тысяч казенных денег, отпущенных крестьянам и застрявших в карманах Кочубея и Нессельроде, и как он писал по поводу совершеннолетия наследника: „Праздников будет на пол миллиона. Что скажет народ, умирающий с голоду?“

Не предвидя возможности переворота в скором времени, Пушкин должен был не отвлеченно теоретически решать крестьянский вопрос, а подходить к нему практически, сообразно с переживаемым моментом. Смотри на своих кистеневских крестьян, он убежденно говорил, что „крепостной мелко-поместного владельца терпит более притеснений и несет более повинностей, нежели крестьянин богатого барина“.¹ Не предлагая никаких конкретных мер освобождения, он, однако, давал понять, что дворянин обязан жить в своем поместье и проявить личный почин в деле улучшения жизненных условий своих крепостных. Это улучшение должно было развиваться постепенно, без насильственных потрясений, при участии правительства и помещиков. Мыслил ли он освобождение крестьян с землею или без нее, Пушкин прямо не высказывался; но зато подчеркнул наличие собственности у русского крепостного. Правда, говоря о собственности, Пушкин отмечал только собственное жилище, собственную корову и т. п., т. е. крестьянские постройки и хозяйство на усадебной земле, и умолчал о земле пахотной. Но из этого нельзя сделать вывода, что он был против подобного надела. От членов Южного Общества и даже самого Пестеля, от А. И. Тургенева, имевшего копии бумаг М. М. Сперанского, и от последнего непосредственно, от И. И. Пущина, делавшего замечания на конституцию Никиты Муравьева, и от других лиц Пушкин должен был слышать о необходимости обеспечить освобождаемых крестьян земельным наделом и едва ли был способен отвергнуть подобную мысль. Противопоставление безземельных английских крестьян русским крепостным, по всей вероятности, было известно Пушкину хотя бы из проектов Сперанского² и, может быть, Е. Ф. Канкрин,³ а также из периодической печати.⁴ Пушкин вряд ли забыл слова Радищева (с которым не раз „соглашался поневоле“): „Удел в земле, ими (крестьянами) обрабатываемой, должны они иметь собственностию“.⁵

¹ Ср.: „Гвоздин, хофдин превосходной, Владелец нищих мужиков“ („Евгений Овегин“, гл. V, строфа XXVI). Frankland, C. Colville, „Narrative of a visit to the courts of Russia and Sweden, in the years 1830 and 1831“, London, 1832, vol. II, p. 242: „The serfs belonging to a poor proprietor are undoubtedly worse off than those belonging to a richer lord“. — О цитируемой книге см. статью Б. В. Казанского во „Временнике Пушкинской Комиссии“, т. 2, 1936.

² Введение к Уложению государственных законов (1809) и др.

³ Записка об освобождении крестьян в России от крепостной зависимости (1818).

⁴ Ср. „Дух Журналов“, 1817, кн. 49, стр. 982—992 (из статьи: „Сравнение русских крестьян с иноземными“).

⁵ „Путешествие из Петербурга в Москву“, гл. XV: „Хотиллов. — Проект в будущем“.

Таковыми представляются нам взгляды Пушкина на крестьянский вопрос, поскольку они улавливаются из отрывочных высказываний, рассеянных в разных его произведениях. Уяснение этих взглядов дает руководящую нить для вскрытия подлинного смысла его слов о крестьянах в „Путешествии из Москвы в Петербург“ и для правильной оценки его отношения к английскому пролетариату.

Высказывания Пушкина об английском пролетариате относятся к 1834—1835 гг. и являются результатом его наблюдений за ходом политической и общественной жизни Англии на основании доступных ему источников. Повидимому, период с 1829 по 1834 г. был весь в поле его зрения. Промышленный кризис 1829 г., достигший крайней степени в мае и затянувшийся до зимы, широко охватил рабочих текстильной промышленности. Безработные или занятые частично, с дневным заработком в 2—3 пенса, они настраивались революционно и не только разрушали машины, сжигали фабрики и громили съестные лавки и булочные, но, после произведенных арестов, даже атаковали тюрьму и рассеялись только после нескольких залпов военного отряда. Затем возобновилась с новой силой деятельная борьба за всеобщее избирательное право, давшая власть буржуазии и ничего не давшая пролетариату, последовали реформа парламента (1832 г.), легализация непосильного детского труда на фабриках (1833 г.), отмена всякой помощи безработным продовольствием и деньгами и учреждение работных домов — „бастилий“ (1834 г.). Беднякам, как „лишним на земле“, было отказано в месте „на великом жизненном пиру“. И Пушкин дважды отметил их тяжелое положение в „Путешествии из Москвы в Петербург“ (1833—1835): в „Разговоре с англичанином“ и в главе „Русская изба“.

Две особенности бросаются в глаза при чтении пушкинских статей: сравнение английского рабочего с русским крестьянином и диалогическая форма первоначального наброска с введением, в роли действующего лица, англичанина.¹

Диалогическая форма первоначального чернового наброска давала возможность Пушкину выступить самому и, в то же время, предоставить окончательно высказываться по затронутому вопросу англичанину. Это снимало с Пушкина часть ответственности за мнение о русских крестьянах и подкрепляло известным авторитетом суждения об английском пролетариате. Положение Пушкина было тем выгоднее, что он только спрашивал, — а между тем в его вопросах как бы заключались уже ответы. Самая постановка вопросов подсказывала известные мысли и намекала

¹ Интересно, что в 1830—1831 гг. в России находились английский моряк, капитан Фрэнкленд, беседовавший на политические темы с Пушкиным (см. статью Б. В. Казанского „Разговор с англичанином“ во „Временнике Пушкинской комиссии“, т. 2), а также дипломат Блай (Bligh).

на печальную русскую действительность: „Что может быть несчастнее русского крестьянина?“ „Не уж то вы русского крестьянина почитаете свободным?“ „Но злоупотребления (помещичьей властью)?“ Эти заостренные вопросы были выпущены в позднейшей редакции, где уж нет ни диалога, ни англичанина и все изложение ведется от лица автора, предпочитающего более распространяться о судьбе французского земледельца и выписавшего цитату из Лабрюера в расчете на сметливость читателя, который сделает отсюда соответствующие выводы относительно России.

В первоначальной редакции в ответ на слова: „Что может быть несчастнее русского крестьянина?“ сделано определенное указание на английского крестьянина. „Свободный англичанин“ оказывается „несчастнее русского раба“. Такой оборот разговора дает повод собеседнику Пушкина критиковать английскую парламентскую систему. „Разве народ английский участвует в законодательстве? разве власть не в руках малого числа? разве требования народа могут быть исполнены его поверенными?“ — Англичанин спрашивает Пушкина, был ли он в Англии, и, получив отрицательный ответ, говорит: „Так вы не видали оттенков подлости, отличающей у нас один класс от другого. Вы не видали раболепного *maintien* нижней палаты перед верхней, джентльменства перед аристократиею, купечества перед джентльменством, бедности перед богатством, — повиновения перед властью. А нравы наши, а *conversation criminal*, а продажные голоса, а уловки министерства, а тиранство наше в Индии, а отношения наши со всеми другими народами“. При таких общих условиях совершенно безотрадное явление должна представлять и английская фабрика.

„Прочтите жалобы английских фабричных рабочих¹ — волоса встанут дыбом. Сколько отвратительных истязаний, непонятных мучений. Какое холодное варварство с одной стороны, с другой какая страшная бедность. Вы подумаете, что дело идет о строении фараоновых пирамид, о евреях, работающих под бичами египтян. Совсем нет: дело идет об сукнах г-на Шмидта или об иголках г-на Томпсона... Я говорю о том, что в Англии происходит в строгих пределах закона, не о злоупотреблениях, не о преступлениях. О, кажется, нет в мире несчастнее английского работника, что хуже его жребия. — Но посмотрите, что делается у нас при изобретении новой машины, вдруг избавляющей от каторжной работы тысяч пять или десять народу и лишаящей их последнего средства к пропитанию...“

„Разговор с англичанином“ — черновой набросок, сделанный 9 декабря 1834 г. Дальнейшей обработке подверглись лишь отдельные его места: они вошли в состав подготовленной к печати главы „Путеше-

¹ Разрядка здесь и ниже наша. Н. К.

ствии из Москвы в Петербург“ — „Русская изба“ (1835). Здесь, как сказано выше — нет диалога. Англичанина сменяет Пушкин.

Он ведет речь уже от своего лица. Темы старые: русский крестьянин и английский рабочий; первая развита за счет второй. Об английском рабочем сказано, с небольшими изменениями, то же, что и прежде. Но характеристика английского парламента и взаимных отношений классов опущена. Вот текст последней редакции: „Прочтите жалобы английских фабричных работников: волосы встанут дыбом от ужаса. Сколько отвратительных истязаний, непонятных мучений! какое холодное варварство с одной стороны, с другой — какая страшная бедность! Вы подумаете, что дело идет о строении фараоновых пирамид, о евреях, работающих под бичами египтян. Совсем нет: дело идет о сукнах г-на Смида или об иголках г-на Джексона. И заметьте, что все это есть не злоупотребление, не преступление, но происходит в строгих пределах закона. Кажется, что нет в мире несчастнее английского работника; но посмотрите, что делается там при изобретении новой машины, избавляющей вдруг от каторжной работы тысяч пять или шесть народу и лишаящей их последнего средства к пропитанию...“

Из слов Пушкина видно, что он основательно ознакомился с Англией. Начитанный в английской и французской литературе, он, конечно, имел случай изучить английские „нравы“. В „Essay“ Маколея о Байроне¹ и в других сочинениях находил он блестящие строки об английском лицемерии; в „Voyage“ Амедея Пишо — о скандальных процессах мужей, требовавших возмещения убытков за бесчестие своих жен, и т. п. Но главное внимание Пушкина было сосредоточено на взаимных отношениях классов в Англии. Он усматривал различные „оттенки подлости, отличающие один класс от другого“, раболепство купечества перед „джентльменством“, нижней палаты перед верхней. Во времена торийского министерства и нереформированного, олигархически-торийского парламента вызывает неодобрение Пушкина открытая продажа голосов в так называемых „гнилых местечках“ с небольшим числом избирателей, игравших решающую роль при отсутствии представительства от больших промышленных городов. „Выборы в члены парламента — и по замечанию „Духа Журналов“ — не только стоили денег, но еще многого унижения со стороны избираемых“.² Приход к власти буржуазии, раньше пробивавшейся в нижнюю палату путем подкупа, не мог порадовать Пушкина. К лендлордам, при всех их недостатках, больше лежало его сердце. Они были старинные дворяне, крупные землевладельцы, многие из них были членами палаты лордов, а он сам тосковал о том, что „наследственной аристократии, основанной на неделимости имений, у (нас) не существует“.³

¹ Напечатан в июне 1831 г.

² „Дух Журналов“, 1820, ч. X, кн. 5, стр. 198.

³ „Гости съезжались на дачу...“ (1829—1830).

Он сожалел, что „из бар мы лезем в tiers-état“,¹ что древнее дворянство составляет у нас род третьего или среднего состояния,² и с едкой иронией посмеивался над своим мещанством.³ Поэтому и в черновых набросках „Путешествия из Москвы в Петербург“ он определенно намекал, что ему было бы приятнее, если бы „английская аристократия не принуждена была уступить радикализму“ (точнее — вигам).⁴ Но он вынужден смиряться перед исторической необходимостью, видя рост и усиление буржуазии. Не зная статей О’Брайена, он сходил с ним в мнении о виггах и о реформированном парламенте (1832). Помимо английских газет, и в болгаринской „Северной Пчеле“ читал он следующие строки: „Сегодня (1-го марта н. с. 1831 г.) представлен правительством нижней палате план преобразования парламента. Лорд Джон Россель изложил оный в продолжительной речи. На основании новых правил, все города и селения, имеющие в 1831 году менее 2000 жителей, лишаются права избирать членов парламента (сим средством отнято будет право у 60 так называемых гнилых местечек); 47 других селений, имеющих более 2000 и менее 4000 жителей, будут выбирать по одному, а не по два члена, как было донныне. В городах, имеющих более 4000 душ, правом избрания будут пользоваться все отцы семейства, действительно живущие в городе и платящие подати или найма более 10 ф. ст. (250 р.)⁵ в год. Из сельских жителей пользуются сим правом те, кои платят в год 50 ф. ст. (1250 р.) откупа и владеют поместьем на 21 год. По исчислению городов и мест оказалось, что по сим новым распоряжениям будет впредь в парламенте 62 члена менее прежнего, т. е. 496 вм. 558. Предложение сие выслушано с общим одобрением“... „Из числа журналов, издающихся в Лондоне, в тридцати желают преобразования, а в шести восстают против оногo“.⁶ Отсюда Пушкин сделал неизбежный вывод, что при виггах власть была сосредоточена „в руках малого числа“ и „требования народа не могли быть исполнены его поверенными“, так как, при десятифунтовом избирательном цензе, этих поверенных в парламенте вовсе не было и защищать народные (т. е. парламентские) интересы было решительно некому. При этом естественно возникает вопрос, как же относился Пушкин к пролетарскому представительству в нижней палате, — он, с его дворянским аристократизмом, допускавшим в России республику, но, конечно, не демократическую.⁷ Здесь следует, прежде всего, припомнить, что, с точки зрения

1 „Родословная моего героя“ (1833).

2 „Гости съезжались на дачу...“

3 „Моя родословная“ (1830).

4 Тетрадь № 2384, л. 1 об. Намек на то, что именно радикальная партия в союзе с либеральной буржуазией исторгла у олигархов старого парламента (землевладельческой аристократии) билль о реформе (Энгельс).

5 250 рублей ассигнациями. Н. К.

6 „Северная Пчела“, 1831, 7 марта, № 52; 18 марта, № 61.

7 „Об «Истории поэзии» С. П. Шевырева“ (1836).

Пушкина, „Россия была совершенно отделена от западной Европы“, „никогда ничего не имела (с нею) общего“ и что „история ее требует другой мысли, другой формулы, чем мысли и формулы, выведенные Гизо-том из истории христианского Запада“.¹ В обособлении России от Запада Пушкин видел недостаток: „феодализма у нас — с его точки зрения — не было — и тем хуже“. Он еще в молодые годы несколько иронически говорил: „Что нужно Лондону, то рано для Москвы“; но это не помешало ему, восемь лет спустя, заявить о „новых правах“ русских крепостных. Права крепостных у нас, в России, и права земледельческого и промышленного пролетариата в Англии, — как далеко должны были простирались те и другие? Ответа на этот вопрос у Пушкина нет, но совершенно несомненно, что он был врагом угнетателей народа и сторонников его политического бесправия. Пушкин безусловно признавал необходимость улучшить положение английских рабочих, но полагал, что только законными, конституционными средствами можно достигнуть этого улучшения. После 14 декабря, в условиях тогдашней русской действительности, Пушкин не верил в возможность государственного переворота в ближайшем будущем, а потому, каков ни был его политический образ мыслей, он „хранил его про себя и не намерен (был) безумно противоречить общепринятому порядку“. Он, конечно, „не проповедывал возмущений“, но и не являлся в то же время приверженцем социального мира. Напротив, в течение многих лет он сохранил неизменный живейший интерес к проблеме бунта, мятежа, восстания, революции.

Из сочинений сен-симонистов² Пушкин знал о „войне бедных против богатых“, но отсюда же слышал призыв к примирению классов, к эволюции вместо революции, к мирному и постепенному созиданию вместо насилия. Сопоставляя слова Сен-Симона о „переменах, совершаемых силою нравственного чувства“ со словами Карамзина о „неприметном действии времени посредством медленных, но верных, безопасных успехов разума, просвещения, воспитания, добрых нравов“,³ Пушкин мог усмотреть в них, при всем различии воззрений авторов, нечто общее.

Очевидно, Пушкин резко расходился с О'Брайеном, писавшим в „Защитнике Бедняка“, что „сила, только сила всегда обращает богатых к гуманности“ (21/VI 1834). Он скорее, в данном случае, склонен разделять взгляды Д. О'Коннеля, председателя Столичного политического союза (март 1830), цель которого была добиваться избирательной

¹ „Наброски третьей статьи об «Истории русского народа» Н. А. Полевого“ (1830—1831).

² В библиотеке Пушкина есть книги: „Doctrine de Saint-Simon“ (Bruxelles, 1831) и „Religion Saint-Simonienne“ (Bruxelles, 1831). Должен был читать поэт и „Le Globe“ за 1831—1832 г., когда последний выходил с подзаголовком: „Journal de la doctrine de Saint-Simon“. О Сен-Симоне писал Пушкину П. Я. Чаадаев 18/IX 1831 г.

³ Н. М. Карамзин. „Письма русского путешественника“, т. II, ч. III, Париж, апреля... 1790 г.

реформы конституционными и мирными средствами. Добившись реформы для всех граждан, т. е. всеобщего избирательного права, завоевав политическую власть, английские рабочие введут в нижнюю палату „своих поверенных“ — представителей и через них, без революции, улучшат свое положение. А без представительства в парламенте положение промышленного пролетариата казалось Пушкину очень тяжелым. Он, может быть, слышал и теперь не раз вспоминал известные слова Пестеля об „аристократии богатств“, которую последний считал „гораздо вреднейшей аристократии феодальной“: „Таковые сословия суть самые бесчеловечные, до чрезвычайности умножают число бедных и нищих и основывают свое влияние на народ не на общем мнении, но на золоте и серебре, посредством коих подавляют общее мнение, как хотят, и приводят народ в совершенную от себя зависимость“.¹

Пушкин понял, что пролетариат, в данном случае английский, обладает, если применить меткое выражение Пестеля, лишь „мнимой свободой“² или, как позднее сказал Энгельс, — „только кажется свободным“,³ а в действительности всецело зависит от буржуазии. „Существование раба обеспечено личной выгодой его владельца“,⁴ который видит в них источник своего богатства; — „благосостояние крестьян тесно связано с благосостоянием помещиков“.⁵ Кроме того, у крепостного есть клочок земли, собственное жилище. У пролетария нет ничего, кроме рук, которые он лишен возможности применить так, чтобы они его прокормили. Из „жалоб“ английских фабричных рабочих Пушкин узнал, в какой „страшной бедности“ они живут и каким „отвратительным истязаниям“, каким „непонятым мучениям“ они подвергаются — и на фабриках, и особенно в работных домах (1834). И всё это не считалось „злоупотреблением“ или „преступлением“; наоборот, всё было легализовано, происходило „в строгих пределах закона“. „Холодное варварство“ буржуазии сказало в ее законах, изданных с ее согласия, для ее пользы и „защиты имущего от неимущих“.⁶ Буржуазное законодательство способствовало обращению рабочих в рабов, и потому вполне естественно, что Пушкин вспоминает колониальных рабов (в Африке, Америке, Азии), о которых писали Радищев, Рейналь, англоман Архенгольд и другие. „А тиранство в Индии“, говорит Пушкин, не считая нужным распространяться на старую тему, затронутую еще в „Духе Журналов“, где в свое время не без едкости было отмечено, что „в Англии нет ни крепостных, ни рабов или

¹ П. И. Пестель. „Русская Правда. Наказ временному верховному правлению“, СПб., 1906, стр. 59.

² Там же, стр. 89.

³ Ф. Энгельс. „Положение рабочего класса в Англии“, М.—Л., 1928, стр. 129.

⁴ Там же, стр. 159.

⁵ „Разорять крестьян есть самый верный способ разорить себя“, говорил Ф. В. Радопчин („Чтения в Обществе истории и древностей российских“, 1860, кн. 2, стр. 209).

⁶ Ф. Энгельс. Положение рабочего класса в Англии, М.—Л., 1928, стр. 245—246 238.

невольников, но в английских колониях в других частях света есть настоящие рабы и невольники, которых терпит и дозволяет иметь правительство“.¹

Вспоминает Пушкин и целый народ, попавший в рабское положение, — сопоставляет с ним английских рабочих. Выделка сукон г-на Сmidtа или иглока Томпсона-Джаксона показалась ему „строением фараоновых пирамид“. Рабочие предстали пред ним в виде „евреев, работающих под бичами египтян“.

Чем же вызвано такое сопоставление, в чем его смысл и значение?

В первой главе книги „Исход“ идет речь о мучительных работах евреев в Египте. Один из фараонов „сказал народу своему: „Вот народ сынов израилевых многочислен и сильнее нас; перехитрим же его, чтобы он не размножился...“ И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил фараону Пифом и Раамсес, города для запасов... Но чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более возрастал, так что (египтяне) опасались сынов израилевых. И потому египтяне с жестокостью принуждали сынов израилевых к работам и делали жизнь их горькою от тяжелой работы над глиною и кирпичами и от всякой работы полевой, от всякой работы, к которой принуждали их с жестокостью.“

Кроме того, „царь египетский повелел повивальным бабкам еврейнок... и сказал им: «Наблюдайте при родах: если будет сын, умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет»“. А в ответ на просьбу Моисея и Аарона отпустить на три дня Израиля для совершения праздника и принесения жертвы господу богу израилеву „сказал им царь египетский: «Для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ (мой) от дел его? Ступайте (каждый из вас) на свою работу»“... „И в тот же день фараон дал повеление приставникам над народом и надзирателям, говоря: «Не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и третьего дня: пусть они сами ходят и собирают себе солому; а кирпичей наложите на них то же урочное число, какое они делали вчера и третьего дня, и не убавляйте; (они праздны, потому и кричат: „Пойдем, принесем жертвы богу нашему“); дать им больше работы, чтоб они работали и не занимались пустыми речами»“.²

Из приведенного библейского текста видно, что фараон, опасаясь евреев, и, в то же время, желая их эксплуатировать, решил пресечь их численный рост и извлечь из их работы для себя наибольшую выгоду. С этой целью, по библейской легенде, было предписано убивать производителей — младенцев мужского пола и истязать работников, задавая им непосильные задачи. Евреи тяжело страдали и приходили с жалобами. Их

¹ „Дух Журналов“, 1818, ч. XXVI, кн. 12, стр. 372. Ср. статью „Джон Теннер“ (1836), а также последнее четверостишие „Кавказа“ (1828).

² Вторая книга Моисеева „Исход“, глава I, 8—16; глава V, 4—19.

прогоняли, — и опять истязали. Эта картина сходна с тем, что проделывалось в английских рабочих домах (1834—1835 гг.), если исключить, конечно, истребление младенцев — недопустимое в XIX в. Критиковать действия английского парламента и закон о бедных (1834 г.) Пушкину казалось неудобным; гораздо осторожнее было дать ссылку на своеобразного „мальтузианца“—фараона.

Подобные умышленные недомолвки имеются и в дальнейших строках пушкинского текста. „Посмотрите, — пишет поэт, — что делается там (в Англии) при изобретении новой машины, избавляющей вдруг от каторжной работы тысяч пять или шесть народу и лишаящей их последнего средства к пропитанию“. Затем поставлено многоточие. Недоговоренное легко восполнить. Что делается? Происходят возмущения рабочих, разгром фабрик, уничтожение машин, поджоги — и усмирение возмущившихся с помощью войск и чрезвычайных судов, как это было в 1829 г. Касаться этих щекотливых тем Пушкину явно не хотелось.

Позднейшая редакция отрывка об английских рабочих сокращена. Изъяты отзывы о парламенте, выпали замечания о взаимоотношениях классов, уничтожены указания на определенные конкретные факты, на печальную историческую действительность. Остались общие рассуждения без критики правительственных мероприятий и законодательных актов.

Значение пушкинских слов, по вскрытии всех недомолвок, вполне ясно и определено. Реорганизованный английский парламент 1832 г., упразднивший „гнилые местечки“, вручил власть капиталистам и ничего не дал рабочим. Всеобщее избирательное право заменено „десятифунтовым“. „Поверенных народа“ в нижней палате нет. Помощь, оказанная пролетариатом при проведении нового закона, забыта. В награду за помощь последовали закон об охране труда (1833 г.) — источник бедствий для малолетних фабричных тружеников — и мальтузианский закон 1834 г., или отмена пособий неимущим и устройство рабочих домов — этих бастилий, несомненно худших, чем тюрьмы. „Страшная бедность“ пролетариата использована буржуазией. „Холодное варварство“ проявляется в „отвратительных истязаниях“ на английских фабриках. Нарезка „иголок Джексона-Томпсона“ сильно подрывает здоровье трудящихся, „замедляя развитие организма и производя расстройство пищеварения“.¹ Рост техники, которой мог похвастаться Смит перед посещавшими Шеффилд иностранцами,² увеличивает число безработных. „При изобретении новой машины“ в Англии начинаются возмущения: машины разрушаются, фабрики предаются огню, выступают войска, происходят расстрелы, действуют чрезвычайные комиссии — выносятся смертные приговоры. И „нет в мире несчастнее английского рабочего“. „Свободный“ гражданин „свободной“ страны, он — раб всего имущего класса.

¹ Ср. Ф. Энгельс. „Положение рабочего класса в Англии“, М.—Л., 1928, стр. 226.

² „Дух Журналов“, 1818, ч. XXIX, стр. 19.

Таков, несомненно, смысл лаконичных строк Пушкина, посвященных английским рабочим.

Эти строки — не самостоятельный отрывок начатой статьи; они вводный эпизод в трактате о русском крестьянине. Трактат подсказан Радищевым и его „Путешествием“ — тем писателем и той книгой, которые, по мнению С. С. Уварова, были „совершенно забыты и достойны забвения“. Пушкин, конечно, заранее знал, что министр „найдет неудобным и излишним воскрешать память о Радищеве.¹ Известно, к каким он прибегал ухищрениям, чтобы провести запретную статью через „таможню“ цензуры и жандармов. „Сдержанность и осторожность“, „оговорки и уступки“ Пушкина — вся „двойственность его роли обуславливались временем, а не его характером“.² В течение всей жизни Пушкин неизменно придерживался принципа, что „старушку“-цензуру „можно и должно обмануть“, и всякий хитроумный способ обойти цензурные преграды и использовать в печати запрещенные произведения встречал его одобрение.³ В черновиках „Путешествия из Москвы в Петербург“ сразу бросаются в глаза необычные заверения Пушкина в полной откровенности и в отсутствии у него ласкательства. Настойчивость, с которой он старается внушить читателю, что всё им сказанное следует принимать за чистую монету, может вызвать обратное действие, посеять недоверие. И Пушкин это чувствовал. Стоит пересмотреть его черновики, чтобы убедиться в колебаниях настроения автора, когда он отрицал лести властям и подчеркивал, что говорит по чистой совести. Он писал, зачеркивал, восстанавливал — и, наконец, опускал в беловой все рассуждения на эту тему.

Мысли Пушкина об английском пролетариате отчетливее обнаруживают свои особенности и получают более правильную оценку при сопоставлении их с суждениями его современников, затрагивавших ту же тему в печати. Некоторое чисто внешнее сходство оценок тяжелого положения английских рабочих Пушкиным и реакционными публицистами александровской эпохи, казалось бы, дает повод к сближению этих абсолютно разнородных явлений. Однако за этим сходством скрывается глубокое различие.

У реакционеров-публицистов, как уже сказано выше, была определенная цель — защищать рабство и превозносить существующий государственный строй. Только поэтому они и заговорили об английских проле-

¹ М. И. Сухомлинов. „Исследования и статьи по русской литературе и просвещению“, СПб., 1889, т. I, стр. 651.

² Ср. письмо Н. И. Стороженка к А. Н. Веселовскому от 24 июля 1899 г., хранящееся в Пушкинском Доме АН СССР.

³ „Переписка“, т. I, стр. 44—45, 60—61, 82; т. III, стр. 432 и др. В декабре 1836 г. Пушкин советовал П. А. Вяземскому „выбирать“ из запрещенной статьи „всё, что будет можно выбрать, как некогда делал (он) в Литературной Газете со статьями, не пропущенными (цензором) Щегловым“.

тариях. Доказывать благоденствие русских крепостных, страдавших и вследствие своего рабского положения, и вследствие злоупотреблений помещиков, было трудновато. Удобнее было сопоставить их печальное существование с чем-либо еще более бедственным, отсюда сделать заключение об их относительном благополучии, прикрасить их жизнь и спеть хвалебный гимн в честь того государственного строя, который делает русское рабство слаще иностранной свободы. Чем яснее реакционеры видели связь своего благополучия с крепостничеством и самодержавием, тем более цеплялись за них. „Вольность“ — „пустое слово“, говорили реакционеры. Русские крестьяне „в своей неволе благоденствуют“ и „в простой своей благодарности обыкновенно называют помещика своего — батюшкою, а помещицу — матушкою, в доказательство, что чувствуют отеческую их к себе любовь“.

Пушкин же, еще в молодости, осмеивал „русских защитников самовласти“, „принимавших“ с легкой руки г-жи Сталь „за основание нашей конституции“ „деспотизм, ограниченный удавкой“ („un despotisme mitigé par la strangulation“), а впоследствии искренно ненавидел бюрократическую монархию и иронически заметил: „что ни говори, мудроно быть самодержавным“. Был далек он и от прославления самого Николая I, в котором было „много от прапорщика и немного от Петра Великого“ („il y a beaucoup du praporchique en lui, et un peu du Pierre le Grand“).

Не считал он и русское крестьянство благоденствующим, как видно из всех его высказываний по этому поводу. Не способен был он и признать вольность „пустым словом“, так как видел свою заслугу и право на память в потомстве в том, что, „вслед Радищеву, восславил свободу“ в свой век, который он нарочито назвал „жестоким“. Общие жизненные условия в такой век не располагали к откровенности. При николаевском режиме Пушкину поневоле приходилось сплошь и рядом маскировать свои мысли для того, чтобы провести их через цензуру. Облюбованное реакционерами сопоставление русского крепостного с английским рабочим имело у Пушкина совершенно другой смысл и другое значение. Не восхвалять крепостничество, не прославлять самодержавие Николая I и не порицать свободу хотел он в „Путешествии из Москвы в Петербург“, а пространно поговорить о Радищеве-писателе, которого замалчивали и одно имя которого внушало подозрения. Он стремился увидеть свою статью в печати, а не похоронить ее в недрах канцелярии III Отделения, навлекши на себя большие неприятности, которых у него и без того было достаточно. Он ставил в черновом отрывке вопрос: что может быть несчастнее русского раба? — и рассчитывал, что догадливый читатель даст на него надлежащий ответ и в то же время задумается над судьбой, пожалуй, не менее несчастного английского рабочего.

Пушкин отчетливо видел весь гнет бюрократической монархии и действительно сочувствовал английскому пролетариату.

С целью лучше уяснить отношения Пушкина к английскому пролетариату и лучше уловить все оттенки и особенности его социально-политических взглядов, повидимому, не лишнее припомнить некоторые факты из истории Англии, где, еще при жизни поэта, начинали свою деятельность молодые тори, организовавшиеся к концу 1830-х годов в группу „Молодая Англия“. Правда, „Молодая Англия“ не проявила способности понять ход новейшей истории, что производило комическое впечатление;¹ правда, несколько ее членов превратились впоследствии в реакционеров, — но до 1845 г. (время ее распада) в ее среде Энгельс отметил гуманных тори я причислял их, на ряду с наиболее решительными радикалами, почти чартистами, к „немногим представителям буржуазии“,² которые являются „достойными уважения исключениями“. „Цель «Молодой Англии» — восстановление старой «merry England» с ее старым блеском и романтическим феодализмом, — писал Энгельс, — конечно неосуществима и даже смешна... Но ценны уж добрые намерения, мужество, с которым эти люди восстают против существующего строя, против существующих предрассудков, мужество, с которым они признают всю низость существующего“. Из гуманных тори, по мнению Энгельса, „замечательны члены парламента, Дизраэли, Бортвик, Ферранд, лорд Джон Маннерс и др.“. „Совершенно особняком стоит Томас Карлейль, бывший сначала тори и ушедший дальше, чем все упомянутое выше. Он глубже всех английских буржуа понял социальное неустройство“.³ Известно, что Маркс цитировал речь Ферранда в „Капитале“; известно, что Энгельс высоко ценил „Chartism“ (1839) и „Past and Present“ (1843) Карлейля, переводил вторую из этих книг, отсылал к ней читателей, считая характеристику английской буржуазии и ее алчности „превосходной“; известно, какое изображение пролетариата дано в книге того же Карлейля „Sartor Resartus“ (1833—1835) и в романе Дизраэли „Sibyl“ (1845). Деление человечества на „щеголей“ и „каторжников труда“ (dandyism, drudgism) или на две нации — нацию богатых и нацию бедных, яркие картины английского села с разрушающимися хижинами и бедняками, обреченными на выселение, и картины фабричного города, где на чердаках ютятся голодающие рабочие, которым стараются внушить, что выгоды капитала и труда совпадают, — все это характеризует то гдашнее настроение авторов. И, может быть, допустимо указание, что при

¹ „Манифест коммунистической партии“, III, Социалистическая и коммунистическая литература, Ia, феодальный социализм.

² Ф. Энгельс. „Положение рабочего класса в Англии“, М. — Л., 1928, стр. 284: „Говоря... о буржуазии, я включаю сюда и так называемую аристократию, ибо она является аристократией, привилегированным классом только по отношению к буржуазии, но не по отношению к пролетариату. Пролетарий видит в обеих только имущий класс, т. е. буржуазию. Перед привилегией собственности все другие привилегии — ничто“.

³ Там же, стр. 298. Разрядка наша. Н. К.

всем отличии Пушкина от представителей „Молодой Англии“ некоторые его мысли перекликались с мыслями гуманных тори о промышленном пролетариате.

Нам хотелось бы в данном случае указать, помимо самой резкости протеста против „низости“ существующего английского строя, 1) очевидное недовольство парламентской реформой 1832 г. (ср. Эшли), 2) беспощадное обличение английской буржуазии и ее законодательства, 3) подлинное, а не показное, лицемерное сочувствие пролетариату и признание его прав и интересов, 4) протест против закона о бедных (ср. Ферранд) и 5) обличение колониальной политики (ср. Бортвик).

Следует добавить, что знакомство поэта с произведениями Дизраэли более чем вероятно.¹ Однако, если бы знакомства и не было, это не имело бы большого значения. Связь с мыслями какого-либо писателя не означает еще непременно непосредственной зависимости от его мыслей, а может быть объяснена той исторической обстановкой, в которой приходится жить и действовать. Эту связь нам казалось целесообразным сейчас лишь наметить, не развивая и не углубляя затронутой темы.

Остается подвести итоги всему изложенному выше и на основании всего рассмотренного материала сделать общие выводы о социально-политических взглядах Пушкина в связи с его высказываниями об английском пролетариате.

Пушкин был против существующих в России порядков и глубоко прочувствовал низость бюрократического строя. Еще в 1824—1826 гг. „святая Русь“ ему становилась невтерпех, и он настойчиво запрашивал П. А. Вяземского: „Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России?“ Безотрадные мысли угнетали Пушкина на всем протяжении его жизненного пути. „Нужно признаться, — писал он П. Я. Чаадаеву 19 октября 1836 г., — что наша общественная жизнь весьма печальна. Это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу,

¹ Пушкин, имевший в своей библиотеке „Curiosities of literature“ д'Израэли-отца, не мог не знать его прославившегося сына. Тесная связь, объединявшая последнего с Бульвером, и некоторое отражение „Pelham'a“ (1828) в произведениях Дизраэли (напр., в „Молодом герцоге“, 1829) также должны были заинтересовать Пушкина, как раз в 1834—1835 гг. набрасывавшего план „Русского Пелама“. Не могли пройти незамеченными и описания парламентской жизни и нравов высшего английского общества, того high life, о котором упоминал Пушкин в заметках о „Графе Нулине“ (1830). Избирательные речи, произнесенные Дизраэли в 1832—1835 гг., и политические брошюры, выпущенные им во время предвыборных собраний, были, конечно, не так доступны, как его романы. Однако „контрабандным“ путем, при содействии К. Л. Фикельмона и Е. М. Хитрово, Пушкин легко мог получить любую книгу, если она не попадала ему в руки через А. И. Тургенева или С. А. Соболевского. Политических брошюр Дизраэли до 1836 г. было напечатано немного, и одна из них „Что он такое“ („What is he?“, 1833) перепечатана в „The Morning Chronicle“ (1835, April 25). И нет ничего невероятного, что некоторые из этих брошюр были прочитаны Пушкиным, очень интересовавшимся Англией, имевшим в своей библиотеке такие книги, как „Annual Register“, и ссылавшимся на „Morning Chronicle“ в статье „Последний из свойственников Иоанны д'Арк“ (1836—1837).

к справедливости и правде, это циничское презрение к мысли и к человеческому достоинству, действительно, приводят в отчаяние“.¹

У Пушкина не было крайностей Д. Маннерса, но развитие капитализма в промышленности и одновременный упадок дворянского землевладения не могли производить на него безоговорочно благоприятного впечатления.

Жизнь побуждала его против воли признавать неприятные для него факты и считаться с ними. Он мог наблюдать, как „Москва, утратившая свой блеск аристократический, процветает в других отношениях“, как „промышленность, сильно покровительствуемая, в ней оживилась и развилась с необыкновенною силою“. Он с грустью видел, что „барский дом дряхлеет“, что „во флигеле (уже) живет немец-управитель и хлопчет о проволочном заводе“, что „купечество богатеет и начинает селиться в палатах, покидаемых дворянством“.²

Он поместил в „Современнике“ статью П. Б. Козловского, открыто заявляющего, что он „не разделяет мнения тех, которые почитают мануфактуры за наилучшее средство к обогащению государства“.³ Он внимательно следил за ходом событий во Франции: „Louis-Philippe у него как бельмо на глазу“. Сей „король с зонтиком под мышкой“ казался ему „слишком уже мещанином (par trop bourgeois)“.⁴

„Говоря в пользу аристократии“, Пушкин, по его словам, „не корчил английского лорда“. Он — „русский дворянин и знал своих предков прежде, чем узнал Байрона“. „Дворянство всегда казалось ему необходимым и естественным сословием великого образованного народа“, и он полагал, что „аристократия чина не заменит аристократии родовой“. Между тем, как раз у власти оказалась „аристократия чина“. Ею Пушкин был очень недоволен и видел в ее возвышении „средство окружить деспотизм преданными наемниками и подавить всякую оппозицию и всякую независимость“. А в неслужащих вельможах поэт усматривал беспечность, праздность и склонность проживать в долг будущие доходы. Пушкин считал целесообразным добиваться наследственного политического положения высшего дворянства (палата пэров).⁵

И подобно тому, как в Англии землевладение давало высшее общественное положение, чем другая деятельность, — „звание помещика“

¹ „Пушкин. Письма“, под ред. Б. Л. Модзалевского, т. I, М. — Л., 1926, стр. 68; т. II, М. — Л., 1928, стр. 12; „Переписка Пушкина“, под ред. В. И. Саитова, СПб., 1911, т. III, стр. 388—389.

² „Путешествие из Москвы в Петербург“, глава „Москва“ (1833—1835).

³ „Современник“ 1836 г., т. I, стр. 249.

⁴ „Пушкин. Письма“, под ред. А. Б. Модзалевского, т. III, М.—Л., 1935, стр. 9, 112.

⁵ В тетради № 2377 Б, л. 4, есть выписка, сделанная Пушкиным из сочинения Бенжамена Константа „Principes de politique“ (Р., 1815, ch. IV: „D'une assemblée héréditaire“): „La pairie est un corps que le peuple n'a pas le droit d'élire et que le gouvernement n'a pas le droit de dissoudre“. — В оригинале „Cette chambre héréditaire“ etc. См. „Письма Пушкина к Е. М. Хитрово“, Л., 1927, стр. 339.

в России, согласно глубокому убеждению Пушкина, „есть та же служба“, и „заниматься тремя тысячами душ“ „важнее, чем командовать взводом или переписывать дипломатические ноты“. Родовитый дворянин-помещик должен иметь свой рабочий кабинет в своей деревне.¹ „И чем более имеют (дворяне-помещики) над (крестьянами) прав, тем более имеют обязанностей в их отношении“. Русские дворяне — „мощные защитники и непосредственные к властям предстатели“ народа.² Эта защита и предстательство прогрессивных слоев дворянства казались Пушкину необходимыми, так как он, по замечанию П. В. Анненкова, „не видел возможности для крепостного тогда народа, ни способности в нем самому заботиться о своей участи“.³

О необходимости улучшить судьбу крестьян Пушкин писал не раз. Он признавал „правдоподобие“ „ужасных картин“, нарисованных Радищевым, и соглашался с его „искренними мечтаниями“. Но водворение „просвещенной свободы“ в России и предоставление прав крепостным⁴ казались Пушкину связанными с такими осложнениями, что „великих перемен“, как он полагал, можно было ожидать далеко не сразу.

Изложенными политическими взглядами Пушкина обусловлено его отношение к английскому пролетариату.

Присматриваясь к современной Англии, Пушкин прежде всего отметил „власть в руках малого числа“, отстранение народа от „участия в законодательстве“, которое приспособляется к наивысшей эксплуатации рабочих для обогащения вигов. Поэтому самые „отвратительные истязания“ „происходят в строгих пределах закона“.⁵ В черновых набросках „Русской избы“ (из „Путешествия из Москвы в Петербург“) Пушкин указывает на „состояние“ английских фабричных рабочих, на „закон о нищих“, „тягость налогов“, „разврат (нищего) черного народа“⁶ и приходит к выводу, что „всё это стоит рабства, если не хуже во сто раз“.⁷ Подобно английским

¹ „Роман в письмах“ (1829); „Если быть дворянином“ (1830); „Заметки о русском дворянстве“ (1830).

² „Роман в письмах“ (1829); „Заметки о русском дворянстве“ (1830-е гг.).

³ „Вестник Европы“, 1880, № 6, стр. 605. — Ср. Frankland, C. Colville, „Narrative of a visit to the courts of Russia and Sweden in the years 1830 and 1831“, London, 1832, vol. II, p. 235: „The Russian serf is not yet in a condition either to desire or to deserve emancipation from bondage“.

⁴ „Путешествие из Москвы в Петербург“ — главы „Медное (Рабство)“ и „Русская изба“ (1833—1835), а также письмо к П. А. Вяземскому от 16 марта 1830 г.

⁵ „Разговор с Англичанином“ (1834). Замкнутость буржуазии и отрыв ее от народных масс подчеркнуты в черновом отрывке из „Мыслей на дороге“: „В Англии правительство только тогда и показывается народу, когда приходит оно стучаться под окнами, собирая подать“.

⁶ Против закона о бедных были Дизраэли, Ферранд, отчасти Бортвик.

⁷ Ср. Ф. Энгельс, „Положение рабочего класса в Англии,“ Л. — М., 1928, стр. 159: „Существование раба обеспечено личной выгодой его владельца; у крепостного есть, по крайней мере, кусок земли, которым он живет; оба они гарантированы по меньшей мере

радикалам и гуманным тори, он, насколько можно судить по сохранившимся текстам, стоял за представительство рабочих в парламенте („поверенные“), чтобы путем борьбы в нижней палате (а не путем переворота) постепенно расширять права пролетариата, искоренять его нищету и уменьшать его лишения.

Эти „страшные“ лишения дали Пушкину основание знаменательным вопросом: „что делается (в Англии) при изобретении новой машины, вдруг избавляющей от *каторжной*¹ работы тысяч пять или десять народу и лишаящей их последнего средства к пропитанию...“ — навести на мысль о действующих против пролетариата войсках и карательных отрядах, прозрачно намекая характерным многоточием на ужасы военных репрессий.

*

В заключение несколько замечаний. Отношение Пушкина к английскому промышленному и земледельческому пролетариату представляет исключительный интерес для характеристики политических взглядов поэта.

Беликий гуманист, впитавший в себя культуру Запада, Пушкин получает надлежащую оценку только при глубоком изучении социально-политических условий современной ему русской и европейской жизни. Пушкин не был политическим деятелем; но, несмотря на то, всегда сохранял живой интерес к политике и сурово клеймил отсутствие общественного мнения (*cette absence d'opinion publique*) в России. В кругу лиц, с которыми он имел общение, находилось немало иностранцев и членов дипломатического корпуса.² На них он производил впечатление. С точки зрения английского моряка, капитана Фрэнкленда,³ Пушкин был „основательно знаком с историей своей страны и недостатками и пороками русского управления“ (*the faults and vices of Russian administration*).

Эти недостатки и пороки отталкивали его от николаевского режима, от примирения со *status quo*.

Вопрос о крепостных, о русском рабстве бывал предметом бесед Пушкина с англичанином. Сдержанный, взвешивающий каждое слово в сношениях с мало ему знакомыми лицами, Пушкин был не откровеннее с Фрэнклендом, чем в „Путешествии из Москвы в Петербург“.⁴ Значительно прикрашенное, по сравнению с пушкинским, изображение русских

от голодной смерти; пролетарий же предоставлен исключительно себе самому и в то же время не в состоянии найти такого приложения своим силам, чтобы на них можно было бы рассчитывать“.

¹ Курсив наш. Н. К.

² Из англичан могут быть названы Блай, Дерам, Фрэнкленд и др.

³ „Временник Пушкинской комиссии“, 1936, т. 2, стр. 302, „Разговор с англичанином“, статья Б. В. Казанского.

⁴ Фрэнкленд отмечает „вольность речи, мысли и действия в Москве, которой нет в Петербурге“ („Временник Пушкинской комиссии“, т. 2, стр. 313).

крепостных у Фрэнкленда не препятствует, однако, проявлению подлинных взглядов поэта. Пушкин, конечно, не называл русского крестьянина „free as the air“, не считал самую мысль о рабстве (в России) только „bugbear“, но он должен был признавать необходимость много и долго поработать, чтобы дворянство изучило свои настоящие интересы и интересы своих бедных крепостных (their poor serfs) для улучшения положения последних. Пушкин не только верил, но и доподлинно знал, что угнетение и жестокость (oppression and cruelty), обнаруживаемые дворянами-помещиками в отношении рабов, есть довольно распространенное явление. Сочувственное отношение к рабам переносится и на пролетариат, земледельческий либо промышленный. И если Пушкин имел случай читать „Sartor Resartus“ Томаса Карлейля (1833—1835),¹ то можно только пожалеть, что до нас не дошло никаких его отзывов о секте каторжников труда или лохмотников, давших обет нищеты и послушания (vows of poverty and obedience), живущих в мрачных жилищах с разбитыми стеклами в окнах, заткнутыми тряпьем, и питающихся селедкой, картофелем и виски. Есть также некоторые основания думать, что и в 1839 г., если бы Пушкин дожил до этого времени, его симпатии были бы на стороне чартистов.

Несмотря на особенности взглядов Пушкина, объясняемые эпохой и исторической обстановкой, его бичевание „холодного варварства“ буржуазии, подвергающей „отвратительным истязаниям“ рабочих, узаконяющей такие истязания и наживающейся на „страшном обнищании истязуемых“; его глубокое сочувствие к страдающему народу; наконец его отвращение к „веку-торгашу“, к жажде барышей и стяжанию, к „спекуляциям“ всякого рода — безусловно заслуживают признания. Он задыхался в душной атмосфере николаевского режима. Он „не корчил чувствительности“, когда говорил, что встреча его дворни и его няни „приятнее щекотит ему сердце, чем слава, наслаждения самолюбия и рассеянности“. „О, скоро ли перенесу я, — писал он незадолго до смерти, — мои пенаты в деревню — поля, сад, крестьяне, книги, труды поэтические...“²

Сделать что-либо для этих крестьян, столь похожих в своей рабской доле на английских земледельческих и промышленных пролетариев, ему хотелось так же, как совершенствоваться в области художественного творчества. Возвышаясь над образом мыслей своего класса, выходя из рамок дворянской идеологии, Пушкин был сто лет назад достойным уважения исключением и в своих отношениях к английскому пролетариату.

¹ Отдельный оттиск вышел в 1835 г. в Бостоне. До этого труд печатался в периодическом издании.

² „Неизданный Пушкин“, П., 1922, стр. 137, Письмо к П. А. Вяземскому от 9 ноября 1826 г.



Г. Д. ВЛАДИМИРСКИЙ

ПУШКИН-ПЕРЕВОДЧИК

Вопрос о Пушкине-переводчике поднимался до сих пор либо в связи с анализом тех или других конкретных переводов, либо для иллюстрации отдельных мотивов творчества (например античных мотивов), причем исследователи вопросом о переводах занимались постольку, поскольку это было необходимо для выяснения других, более общих задач. Самая цель исследования приводила к тому, что общие принципы теории и практики пушкинского перевода не находили себе достаточно удовлетворительного освещения. Наша работа и является попыткой дать первоначальную классификацию переводческой практики Пушкина и изложение взглядов великого русского поэта на искусство перевода.

I

Уже к концу 20-х годов Пушкин рядом с французским влиянием выдвигает значение литератур других народов. Литературная полемика „министра иностранных дел“ на Парнассе¹ естественно требовала также со стороны Пушкина определения позиции в отношении перевода и места его в творчестве русских поэтов.

В письме к Вяземскому (2 января 1822 г.) Пушкин писал о Жуковском, который в это время занимался главным образом переводами: „пора ему иметь собственное воображение и крепостные вымыслы“. Эта же мысль подчеркнута в письме к Гнедичу о Жуковском же (27 сентября 1822 г.) — „Дай бог, чтоб он начал создавать“. Через три года в письме к Вяземскому (25 мая 1825 г.) Пушкин снова возвращается к своей мысли: Переводы избаловали его, изленили; он не хочет сам созидать — но он, как Voss — гений перевода“. В заметках на полях „Опытов в стихах и прозе“ Батюшкова (1827 г.) Пушкин снова подчеркивает примат оригинального творчества: „вся элегия („Гезиод и Омир — соперники.“ Г. В.) — презосходна. Жаль, что перевод“. Еще яснее в письме Плетневу (12—14-го апреля

¹ Письмо к Л. С. Пушкину от конца января—первой половины февраля 1825 г. Ссылки на письма 1815—1827 гг. даются по изд. Академии Наук СССР. „Пушкин. Полное собрание сочинений“, т. XIII, 1937.

1831 г.): „Обними Жуковского.... С нетерпением ожидаю новых его баллад. И так былое (т. е. возвращение к оригинальному творчеству. *Г. В.*) с ним сбывается опять. Слава богу! Но ты не пишешь что такое его баллады — переводы или сочинения“.¹

Однако было бы ошибочно думать, на основании приведенных мест, что Пушкин требовал от поэтов отказа от переводческой деятельности. В письме к Гнедичу (27 июня 1822 г.) поэт пишет: „...мне досадно, что он (*Жуковский. Г. В.*) переводит и переводит отрывками — иное дело Тасс, Ариост и Гомер, иное дело песни Маттисона и уродливые повести Мура“.

Здесь Пушкин возражает главным образом против того, что в центре интересов поэта-переводчика не великие творения, а второстепенные явления литературы; не систематическое обогащение отечественной литературы лучшими образцами иностранной, а случайный („отрывками“) выбор объектов перевода.

Поразительно напряженное внимание, с которым поэт следит за появлением на русском языке выдающихся произведений античных и современных западноевропейских.²

„С нетерпением ожидаю «Шильонского узника»“, — пишет он Гнедичу (то же письмо) и о том же Вяземскому (1 сентября 1822 г.). „Ты перевел Сида; поздравляю тебя и старого моего Корнеля“, — читаем в письме к Катенину (19 июля 1822 г.). „В прошлом году мы не гордились еще *Илиадою* Гнедича“ — находим в рецензии о „Деннице“ (1830 г.).

Переводное произведение для Пушкина имеет не только познавательное значение, для ознакомления с литературой других стран и народов, но и значение художественное, творческое, обогащающее русскую словесность.

„Русская Илиада перед нами, — писал Пушкин о переводе Гнедича, — приступаем к ее изучению, дабы со временем отдать отчет нашим читателям о книге, должествующей иметь столь важное влияние на отечественную словесность“ (1830 г.). Ту же мысль находим в заметке о переводе „Адольфа“ Б. Констана (1830 г.): „С нетерпением ожидаем появления сей книги. Любопытно видеть, каким образом опытное и живое перо кн. Вяземского победит трудность метафизического языка, всегда стройного, светского, часто вдохновенного. В сем отношении перевод будет истинным созданием и важным событием в истории нашей литературы“. Как мы видим, художественное достоинство перевода выдвигается на первое место, оно становится основным критерием его оценки.

¹ Разрядка везде, где не указано особо, — наша. *Г. В.*

² Пушкин даже говорит об испытании переводом художественных достоинств произведения: „Перевод — оселок для драматич. писателя“ (об Озерове). Сам Пушкин впоследствии с нетерпением ждал переводов „Бориса Годунова“.

Пушкин с сочувствием цитирует мнение одного из критиков, отметивших, что в переводах Жуковского из „Илиады“ „в первый раз увидели мы в Гомере такое качество, которого не находили в других переводах... Может быть это-то и ошибка, если прекрасное может быть ошибкою“ (рецензия о „Деннице“).

Та же позиция определила и резко отрицательное мнение поэта о „многоруких переводах“, о „пестрых переводах, составленных общими силами и которые, по несчастью, стали нынче столь обыкновенны“ („Мои замечания об русском театре“, 1819). „Абраму Норову не должно было переводить Dante, — замечает Пушкин, — а г-ну Озюбишину — Андрея Шенье. Предоставляем арабским журналистам заступаться за честь своих поэтов, переводимых г-ом Делибюрадером“ („Об альманахе «Северная Лира», 1827).

Это была борьба против ремесленнических переводов, против работы на Ширяевых „по 700 р. за лист“ („Несколько московских литераторов“, 1829). Именно этих переводчиков поэт назвал „почтовыми лошадьми просвещения“.

Передача подлинника во всем его своеобразии возможна только художественными средствами, адекватными оригиналу. Поэтому, обрушиваясь на Лобанова за перевод „Федры“ Расина, Пушкин подчеркивает, что плохой перевод стер самое характерное в стиле Расина — его стих, „полный смысла, точности и гармонии“:

„М... его в рифму! вот как всё переведено! — пишет он брату в январе 1824 г. — А чем же и держится Иван Иванович Расин, как не стихами полными смысла, точности и гармонии!“

Перевести по Пушкину значит „перевыразить“, т. е. воссоздать на другом языке п о д о б и е, отвечающее по художественной силе оригиналу:

„Перевод Жуковского, — читаем в письме к Гнедичу от 27 сентября 1822 г., — est un tour de force. Злодей! в бореньях с трудностью силач необычайный! Должно быть Байроном, чтоб выразить с столь страшной истинной первые признаки сумасшедствия, а Жуковским, чтобы это п е р е в ы р а з и т ь“.

Но там, где не возникает коллизии между художественностью стиха и его точностью (особенно со второй половины 30-х годов), Пушкин требует возможно большего приближения к оригиналу и притом не только в главных чертах, но даже в деталях. В заметках на полях „Опытов“ Батюшкова (1830 г.) он не только придирчиво подчеркивает каждый лишний, добавленный от себя переводчиком, стих (например в „Элегия“ Тибулла, „Мщенье“ Парни), но и отмечает всякую неточную передачу мысли, даже оттенка ее. Против последних строк батюшковского перевода „Мщенья“ Пушкин цитирует подлинник и добавляет: „Какая разница!“ В одной из элегий Тибулла (стр. 19—26) он предлагает: „узы“ вместо „оковы“, как более соответствующее подлиннику, а в „Элегии III“, подчеркивая „пред случаем“, пишет на полях: „faveur. Не то“ (т. е. не тот оттенок).

В вольном переводе одной из элегий Тибулла (стр. 52—58) Батюшков дал новую редакцию строки, в то время как прежняя была точна. Пушкин пишет: „было прежде *чаи пролитых вином* — точнее“.¹

Стремление к точности достигает прямо-таки скрупулезности, когда вопрос касается переводов фольклора народов бывшей России („Черная шаль“, „Режь меня“). По настоянию поэта был перепечатан в журнале „Благонамеренный“ перевод молдавской песни „Черная шаль“ (очень близкий к бытующим вариантам) из-за отступлений, допущенных редакцией „Сына Отечества“ в первопечатном тексте. 27 июля 1821 г. Пушкин писал брату: „Черная шаль тебе нравится — ты прав, но ее чорт знает как напечатали“. Эту внимательность к песне, которая не принадлежит ни к лучшим образцам пушкинского творчества, ни к лучшим образцам фольклора, можно объяснить только тем исключительным интересом, который проявлял поэт к национальному творчеству народов, угнетенных царизмом.

Вторая песня „Режь меня, жги меня“ (ардо мэ, фриджэ мэ), включенная в поэму „Цыганы“, также весьма близка к подлиннику. Точность своей передачи оригинала поэт подчеркивает в письме к П. А. Вяземскому от второй половины сентября 1825 г.: „Радуюсь, однако, участи моей песни: *Режь меня*. Это очень близкий перевод“. Требование точности воспроизведения оригинала мы снова находим в замечаниях Пушкина на перевод „Слова о полку Игореве“ Жуковским (1836 г.). Когда переводчик употреблял слова, не выражающие мысли образца, поэт либо подчеркивает ошибку, либо дает свое, более соответствующее оригиналу, слово, либо выписывает для сопоставления слова из подлинника, отмечая этим необходимость внесения изменений в текст перевода.

Надо подчеркнуть, что при всем этом в период до 30-х годов Пушкин в своих высказываниях продолжает оценивать перевод прежде всего как художественный факт отечественной литературы. Поэтому он даже если и проводит различие между переводом точным и вольным, между переводом и подражанием, то прежде всего рассматривает произведение как явление русской литературы.² Надо отметить, что смешение этих понятий было вообще господствующим в русской литературе 10-х — 20-х годов.

Еще в 1827 г., выражая общее мнение, „Московский Телеграф“ писал: „Переводить поэтов на ро. мый язык значит или заимствовать основную мысль и украсить оную богатством собственного наречия, или, постигая силу питических выражений, передавать оное с верностию на своем языке. Последнее в тысячу раз труднее“.³ Критик только подчеркивает большую трудность переводов второго рода, но для него перевод и подражание еще целиком равноправны. Объясняется это тем, что до 20-х годов основным объектом переводов на русский была

¹ Подчеркнуто Пушкиным.

² См., например, заметки на полях „Опытов“ Батюшкова.

³ „Московский Телеграф“, 1829, № 21, стр. 356.

французская литература. Но французский язык был родным языком дворянского общества. Поэтому цели точного воспроизведения подлинника переводчики обычно себе и не ставили: читатель всегда мог обратиться к оригиналу. Переводу присваивалась, главным образом, одна функция: обогащение литературы новыми мотивами, образами, ритмами, строфикой и т. д. Естественно, что и оценка подобного рода произведений определялась их художественными достоинствами, а не степенью их близости к подлиннику. Иное положение обнаруживается со второй половины 20-х годов, когда увлечение французской литературой сменилось интересом к английским, итальянским и другим писателям. Познавательный момент и художественное воссоздание оригинала стали играть главную роль. Значительное влияние на формирование литературных взглядов Пушкина (и, в частности, взглядов на искусство перевода) оказали будущие декабристы и писатели близкие к ним. Они, как и Пушкин, не отделяли литературы от общественно-политической борьбы, борьбу за создание литературного языка от борьбы за изучение устного народного творчества, демократизацию литературы от демократизации искусства перевода.

Писатели-декабристы придавали большое значение переводческой деятельности. Не приятные пустячки Жильбера и Мильвуа, а произведения, могущие обогатить отечественную литературу, должны были стать в центре внимания переводчиков.

„Пора предпринять образование словесности нашей в большем виде, в философическом смысле, строгими сочинениями или полезными переводами“ — писал М. Ф. Орлов П. А. Вяземскому 1 сентября 1821 г.

Пожелание о народности в переводах подчеркивает Бахтин: „Он (Жуковский. Г. В.) особенно занимается подражанием и переводом поэтов немецких и английских... Нет сомнения, что невозможно порицать сей вкус, но желательно, чтобы он облекся в характер более народный“.¹

Это была установка на монументальное, полное народности искусство. Античность, Шекспир, Данте, Ариосто, Гете, — вот примерный круг интересов переводчиков декабристской периферии. Эти интересы явно переключаются с французской на античную, итальянскую и английскую поэзию, и отчасти здесь истоки последующего увлечения Пушкина этими литературами.

Провозглашение необходимости „полезных переводов“ обнимало и требование их подлинной художественности.

Борьбу против „дюжинных переводчиков“, игнорирующих эту художественность, стирающих своеобразие оригинала, ведут „Невский зритель“

¹ „Взгляд на историю славянского языка и на постепенность успехов просвещения и словесности в России“, перевод Д. К-ва, „Сын Отечества“, 1828, стр. 68—80, 263—270 и 360. Перевод анонимной статьи Бахтина из атласа Balby 1828 г.

и „Соревнователь“, подвергая подробным рецензиям переводческие новинки. „Невский Зритель“ подчеркивает примат семантики над всеми элементами стиля. „Соблюдена мысль подлинника“, „отделился от смысла подлинника“,¹ „у Хвостова мысль сия выражена вернее“, „мысли неясно выражены“ — фразы, которыми пестрит критика переводов.² О. Сомов подчеркивает: „Не в форме стихов и не в числе стоп состоит совершенство хорошего перевода, — а в том, чтобы соблюсти дух и отличительные свойства поэзии подлинника“. И далее: „Мое мнение, что переводчик не должен излишне затрудняться приспособлением стихотворной меры подлинника к правилам своего языка и поэзии; что он совершенно волен выбрать такую меру, которую почтет за лучшую и удобнейшую“.³

Требование точности передачи мыслей писателя тесно связывается с требованием художественности этой передачи, передачи всего своеобразия оригинала. „Стихи сего нового перевода тяжелы и шероховаты; мысли в них неясно выражены; словом, нет и тени той плавности стихов и прелестей поэзии, коими столь богата трагедия Расинова.“⁴

„Стихи не выражают подлинника“, „не соответствуют подлиннику“, — читаем в другой рецензии, — „в следующих стихах переводчик не выразил автора“, „нельзя не заметить, что в некоторых местах перевода есть излишек, прибавления против подлинника“, „перевод Ифигении в Авлиде г. Лобанова далек еще от того, чтобы признать его за образцовый и заключающий в себе все прелести и красоты Расина“. В замечаниях на перевод „Танкреда“ Н. И. Гнедичем рецензент „Невского Зрителя“ высказывается „против выражений, несвойственных русскому языку“. На ряду с этим выдвигается требование переводить только с оригинала, а не с иноязычного перевода.

„Появилось также несколько переводов романов Вальтер Скотта, но ни один прямо с подлинника и редкие прямо по русски“ — писал Бестужев в „Полярной Звезде“ на 1825 г.

Требование художественной точности перевода на ряду с установкой на язык перевода находим и в ряде статей А. Бестужева:

„Александр Крылов имеет редкое достоинство переливать иноземные красоты в русские, не изменяя мыслям подлинника“.⁵ „Переводы Раича виргилиевых георгик достойны венка хвалы за близость к ориги-

¹ „Невский Зритель“, 1820, октябрь, стр. 42 и сл.

² Там же, стр. 53.

³ „Сын Отечества“, 1822, ч. 77, стр. 66 и 74. Противоположной позиции держался Бахтин. См. также „Сын Отечества“, 1822, XV, стр. 73.

⁴ „Невский Зритель“, 1820, ноябрь, стр. 154—158. Ср. высказывания Пушкина о переводах Расина.

⁵ А. Бестужев. „Взгляд на старую и новую словесность в России“, „Полярная Звезда“ на 1823 г., стр. 31. Пушкин, возражая Бестужеву, не возражал его взглядам на перевод.

налу и за верный звонкий язык“.¹ „Достоинство... заключается в верности перевода и плавности стихосложения“ (о переводе из Легуве Глебова). „Н. И. Гнедич недавно издал сильный и верный свой перевод *Лесен Клефтов*“.²

Для декабристов и декабристского окружения художественная точность означает передачу оригинала во всем своеобразии, присущем только ему. „Не дай бог судить о Бейроне по его переводам, — писал Пушкину А. А. Бестужев 9 марта 1825 г., — это лорд в Жуковского пудре“. Это требование является универсальным и предъявляется не только к переводчикам с иностранных языков на русский, но и с русского на иностранные.

Так, В. Кюхельбекер упрекает фон дер Борга, издавшего переводы русских поэтов, за то, что тот „извлек произведения самые вычищенные, самые выглаженные, а посему-то одно с другим столь сходные! Где же на русском, как, например, на Державине или Петрове; и были какие неровности, он их тщательно выправил и тем лишил конечно недостатков, но недостатков, иногда неразлучных с красотами, одному Державину, одному Петрову свойственными! — Вот почему, при всей верности, при всем истинном достоинстве переводов г. фон-дер-Борга они еще однообразнее своих подлинников“.³

С точкой зрения Кюхельбекера целиком совпадает и взгляд А. Бестужева:

„Наконец Г. Сен-Мор, по следам Боуринга (*Russian Anthology*) Борха (*Poetische Erzeugnisse der Russen*) и Гетце (*Stimmen des Russischen Volks*), примерных переводчиков-поэтов, издал ныне на французском языке Русскую Антологию; но опыт его был равно неудачен как перевод и как сочинение: в копии нет и следов национальности образца. Русские цветы потеряли там не только запах, но даже и самый цвет свой“.⁴

Диаметрально противоположными изложенным принципам являлись принципы школы Жуковского, культивировавшей, в основном, перевод-подражание и перевод-переделку. Естественным следствием такой переводческой практики было, кроме „приукрашивания“ и „облагораживания“ материала, крайне вольное обращение с оригиналом и стремление его осовременить во что бы то ни стало. Модернизация подлинника во имя „приятности“ в XIX в. подвергалась осуждению не только левого крыла

¹ А. Бестужев. „Взгляд на старую и новую словесность в России“, „Полярная Звезда“ на 1823 г., стр. 31.

² А. Бестужев. „Взгляд на русскую словесность в течение 1824 г.“, „Полярная Звезда“ на 1825 г., стр. 7 и 15. Ср. письмо Пушкина к Гнедичу от 25 I, 1825 г.

³ В. Кюхельбекер. „Разбор фон дер Борговых переводов русских стихотворений“, „Сын Отечества“, 1825, ч. 103, стр. 72 (разрядка в тексте).

⁴ А. Бестужев, цит. статья, „Полярная Звезда“ на 1824 г., стр. 13 (разрядка в тексте).

литературы, но и писателей, не примыкавших к школе „приятного“ перевода.

Так, Б. Г. Голицын осуждал Ла-Мотта, одного из представителей сглаживающего, „приятного“ перевода, за то, что тот переводил „Илиаду“ стихами, не зная гречески. Ему хотелось представить ее во вкусе своего времени, дабы все могли ее понимать“.¹

Но то, что получало единодушное осуждение прогрессивных переводчиков, являлось целью переводческой деятельности школы Жуковского. В этом отношении очень характерно уже сравнительно позднее (в 1825 г.) выступление с „подражаниями и переводами из греческих и латинских стихотворцев“ А. Ф. Мерзлякова.

„Как излишество свободы, — писал этот автор в предисловии к «Подражаниям и переводам», — так излишество стесненности невыгодно ни для подлинника, ни для читателей перевода. — Должно заблаговременно изучить душу автора, определить его движения, образ его мыслей постоянной и изменяемой, войти в его виды и цель, исследовать, что в нем более господствует, воображение или чувство, потом измерить его способы, и свои способы, дух его и своего языка, дух народа и века, для которого один писал и для которого другой переводит: и тогда, с твердой решительностью, не оскорбляя ни оригинала, ни своих читателей, приниматься за труд“.²

Каково же уважение к оригиналу, видно из следующего объяснения:

„Я многое сокращал, что мне казалось растянутым или неотнормальным минуте действующей страсти; иное перестанавливал, соединял первый акт с пятым в своем отрывке („Гекуба“. Г. В.), дабы составить из того нечто целое драматическое“.³

Если переводческие принципы Мерзлякова вызывали сочувственную оценку в „Русском Вестнике“,⁴ то против них решительно восстал „Соревнователь“:

„Г. Мерзляков предлагает всё применять из древних к нашему образу мыслей? Не для того ли и переводят, чтобы во всей ясности показать нам, как в другие времена и у других народов действовали поэты для достижения цели изящных искусств?“⁵

¹ „Нравственные рассуждения герцога де ла Рошфуко, переведены с французского Дмитрием Пименовым“. Предисловие К. Б. Г. (кн. Б. Голицын. Г. В.), М., 1809, стр. XXXIV.

² „Подражания и переводы из греческих и латинских стихотворцев“ А. Мерзлякова. ч. 1, М., 1825, предисловие, стр. XXXVII и сл.

³ В основе этого игнорирования оригинала лежала теория „приятного“ перевода. Фенелон писал же в предисловии к „Дон Кихоту“: „красота одного языка нередко исчезает в другом. Что делать переводчику: пропускать или писать свое“. Ранее Мерзлякова так же расправился с Ариосто Батюшков („Неистовый Орланд“ Ариосто в „Вестнике Европы“ за 1817 г.). Ср. принципы перевода А. Шишковым „Слова о полку Игореве“ (издание 1805 г., ч. I, стр. 202, 1-я сноска).

⁴ „Русский Вестник“, 1808, № 2, февраль, стр. 215.

⁵ „Соревнователь просвещения и благотворения“, 1825, № 5, стр. 217.

Много внимания уделяли писатели-декабристы и вопросам стиля.

Борьба за семантически насыщенный, интонационно-выразительный стих, поиски переводческого материала, могущего помочь его обновлению и дать оружие в борьбе с господствовавшей версификационной гладкостью, приобретает актуальность в двадцатилетие 1816—1836. Полемика началась в 1816 г. между представителями двух полярных принципов передачи оригинала, между школой Жуковского, в основе переводческой деятельности которой продолжала лежать теория „приятного“ перевода, и будущими декабристами, выдвигавшими принцип народности перевода, передачи подлинника во всем его художественном и национальном своеобразии.

Непосредственным *casus belli* послужило сопоставление перевода Жуковским и Катениным Бюргеровой баллады „Ленора“. „Ленору, — писал Гнедич, — народную немецкую балладу, можно сделать для русского читателя приятной не иначе, как в одном только подражании“. Здесь было налицо отрицание народности перевода. Выступление Гнедича встретило резкий отпор со стороны декабристов.¹

Полемика о „Леноре“ явно перерастала рамки частного спора и являлась выражением глубоко-принципиальной борьбы двух течений переводческой мысли: реакционной и прогрессивной.

На ряду с вопросом о передаче тона, характера оригинала получал большое принципиальное значение и вопрос о точном воспроизведении формальных особенностей подлинника, и в первую очередь его размера.

„Стихотворения, — писал рецензент „Соревнователя“, критикуя переводческие принципы Мерзлякова, — в которых самая форма принадлежит к существенным красотам их, много потеряли бы в своей прелести, если бы переводчику вздумалось представить их в новом размере“.² Важное место в полемике заняли вопрос о белом стихе, о гекзаметре (в связи с переводами античных авторов) и борьба против александрийского стиха. „Стихи без рифм, — жаловался Кюхельбекер, — не считались стихами; одним только Лагарпом одобренные образцы имели у нас достоинство. Не хотели верить, чтобы у немцев и англичан могли быть хорошие поэты. Тиранство мнения простиралось так далеко, что не смели принимать ни какой другой меры, кроме ямбической“.³ Выход в свет „Илиады“, в переводе Гнедича, был встречен восторженно декабристами и декабристским окружением не только по художественным достоинствам этого монументального труда, но и потому, что практика этого перевода давала прекрасный полемический материал против „александрийцев“.

¹ „Соревнователь просвещения и благотворения“, 1825, № 5, стр. 216 и сл. Вспомним, что В. Кюхельбекер отмечал в числе достоинств переводов А. Х. Востокова, что они „переведены подлинной мерой стихов латинских“.

² Ст. Грибоедова была напечатана в „Сыне Отечества“, 1816, XXX, стр. 150—160.

³ В. Кюхельбекер. „Взгляд на нынешнее состояние русской словесности“ (1817).

А. Бестужев подчеркнул этот момент в статье „Взгляд на старую и новую словесность“:

„Он (Гнедич. Г. В.) усыновляет греческий экзаметр русскому вселичному языку, и Гомер является у нас в собственной одежде, а не в путах тесного, утомительного александрийского размера“.¹

Характерно, что Гнедич, выступивший в 1816 г. с защитой реакционных принципов подражательного „приятного“ перевода, в процессе дальнейшей своей переводческой практики коренным образом пересмотрел свою позицию. Сыграли роль здесь отход от „Беседы“ и школы Карамзина и приближение к взглядам декабристов.

В предисловии к первому изданию „Илиады“ (1829) Гнедич писал:

„Кончив шесть песен, я убедился опытом, что перевод Гомера, как его разумею, в стихах александрийских не возможен по крайней мере для меня, что остается для этого один способ, лучший и вернейший — гекзаметр“. Перевод „Заговора Фисеско в Генуе“ Шиллера (в наиболее революционной редакции) и клефтических песен и ранее знаменовали поворот Гнедича к прогрессивным принципам перевода.

С пропагандой буквализма перевода во второй половине 30-х годов выступил П. А. Вяземский. „Близкий перевод, — писал Вяземский, — особливо в прозе, всегда предпочтительнее такому, в котором переводчик более думает о себе, чем о подлиннике своем“. И далее: „любитель водчества не удовольствуется красивым изображением замечательного здания... он подорожит более голым, но верным и подробным чертежом... так как „художники вернее поймут его, неразвлеченные постоянными усилиями самолюбивого переводчика“.²

В посвящении Пушкину перевода „Адольфа“ Констана, вышедшего в 1831 г., Вяземский называет себя „смирненным литографом“, а перевод свой „бледным списком с картины великого художника“. То, что Пушкин благожелательно отметил предстоящий выход перевода (в 1830 г.) в „Литературной Газете“, не помешало ему впоследствии произнести уничтожающе-суровый приговор и теории „приятного“ перевода и теории буквального перевода.

В 1833 г., в статье о П. А. Катенине, Пушкин возвращается к полемике 20-х годов и подводит ей окончательный итог: „Первым замечательным произведением г-на Катенина был перевод славной Биргеровой Леноры. Она была уже известна у нас по неверному и прелестному подражанию Жуковского,³ который сделал из нее то же, что Байрон в своем Манфреде

¹ А. Бестужев. „Взгляд на старую и новую словесность“, „Полярная Звезда“ на 1823 г., стр. 26.

² Предисловие к переводам сонетов А. Мицкевича, „Московский Телеграф“, ч. XIV, 1827, стр. 201—203. Вяземский дает прозаический перевод сонетов, но ставит себе такие сложные формальные задания (передача польских слов близкими по корню русскими), что от буквализма не остается и следа.

³ В статье о Баратынском (1828 г.) Пушкин уже противопоставляет перевод подражанию: („неверный перевод“, „бледное подражание“).

сделал из Фауста: ослабил дух и формы своего образца. Катенин это почувствовал и вздумал нам показать Ленору в энергической красоте ее первобытного создания; он написал Ольгу. Но сия простота и даже грубость выражений, сия сволочь, заменившая воздушную цепь теней,¹ сия виселица вместо сельских картин, озаренных летнею луною, неприятно поразили непривычных читателей, и Гнедич взялся высказать их мнения в статье, коей несправедливость обличена была Грибоедовым“. Если мы вспомним, что поэт приветствовал Катенина еще в первой главе „Евгения Онегина“ („Там наш Катенин воскресил Корнеля гений величавый“), а в 1828 г. в заметке „В зрелой словесности приходит время“, ярко формулировавшей необходимость поворота литературы к подлинной народности, подчеркнул высокие достоинства баллады „Убийца“, сопоставляя ее полемически с лучшими произведениями Бюргера, то станет ясным: статья 1833 г. была только более развернутой оценкой ранее сложившегося у поэта мнения о господствовавших принципах „приятного“ перевода.

То, что раньше неясно сквозило в отдельных замечаниях и заметках, в спорах с друзьями, в письмах, сведено было теперь в стройную систему. В этом споре о принципах перевода Пушкин был с декабристами, а не с Жуковским или Вяземским.

Еще более широко Пушкин развернул свои теоретические взгляды на перевод в статье „О Мильтоне и шатобриановом переводе «Потерянного рая»“ (1836 г.), где он снова выступил и против сглаживающего и украшающего перевода и против принципов буквального перевода.

„В переводных книгах, — писал Пушкин в этой статье, — изданных в прошлом столетии, нельзя прочесть ни одного предисловия, где бы ни находилась неизбежная фраза: мы думали угодить публике и с тем вместе оказать услугу и нашему автору. Переводчик полагал оказать публике и самому автору услугу, исключив из его книги места, которые могли бы оскорбить вкус образованного французского читателя. Странно, когда подумаешь, кто, кого и перед кем извинял таким образом!.... Наконец критика спохватилась. Стали подозревать, что г. Латурнеры могли ошибочно судить о Шекспире, и не совсем благоразумно поступили, переправляя на свой лад Гамлета, Ромео и Лира. От переводчиков стали требовать более верности, а менее щекотливости и усердия к публике — пожелали видеть Данте, Шекспира и Сервантеса в их собственном виде, в их народной одежде и [с их] природными недостатками. Даже мнение, утвержденное веками и принятое всеми, что переводчик должен стараться передавать дух, а не букву, нашло противников и искусные опровержения.

Ныне (пример неслыханный) первый из французских писателей переводит Мильтона *слово в слово*¹ и объявляет, что подстрочный перевод

¹ Подчеркнуто Пушкиным. Г. В.

был бы верхом его искусства, если б только оный был возможен! — Таковое смирение во французском писателе, первом мастере своего дела, должно было сильно изумить поборников *исправительных переводов*¹ и вероятно будет иметь большое влияние на словесность.

Изо всех иноземных великих писателей Мильтон был всех несчастнее во Франции. Не говорим о жалких переводах в прозе, в которых он был безвинно оклеветан, не говорим о переводе в стихах аббата Делиля, который ужасно поправил его грубые недостатки и украсил его без милосердия“.

И далее:

„Мы сказали уже, что Шатобриан переводил Мильтона почти слово в слово, так близко, как только то мог позволить синтаксис французского языка; труд тяжелый и неблагодарный, незаметный для большинства читателей и который может быть оценен двумя, тремя знатоками! Но удачен ли новый перевод? Шатобриан нашел в Низаре критика неумолимого. Низар в статье, исполненной тонкой сметливости, сильно напал и на способ перевода, избранный Шатобрианом, и на самый перевод. Нет сомнения, что, стараясь передать Мильтона *слово в слово*,¹ Шатобриан, однако, не мог соблюсти в своем преложении верности смысла и выражения. Подстрочный перевод никогда не может быть верен. Каждый язык имеет свои обороты, свои условленные риторические фигуры, свои усвоенные выражения, которые не могут быть переведены на другой язык соответствующими словами. Возьмем первые фразы: *Comment vous portez vous; How do you do.* Попробуйте перевести их слово в слово на русский язык“.

Эта же мысль подчеркивается и в примечании к цитируемому месту:

„Кстати, недавно (в Телескопе кажется) кто-то, критикуя перевод, хотел вероятно блеснуть знанием италиянского языка и пенял переводчику, зачем он пропустил в своем переводе выражение *battarsi* (т. е. *battersi*. Г. В.) *la guancia* — бить себя по щекам... — *Battarsi* (*battersi*) *la guancia* значит *раскаяться*, перевести иначе не имело бы никакого смысла“. К статье Пушкин предполагал, видимо, приложить, в качестве образца, сделанный им перевод отрывка из „Очерка английской литературы“ Шатобриана. Перевод действительно классический.²

В обеих статьях поэт не только выступает решительным противником „исправительных переводов“, но и настойчиво выдвигает требование

¹ Подчеркнуто Пушкиным. Г. В.

² В переводе, при обработке его, Пушкин заменяет одни слова другими, синонимическими, но более близкими в данном контексте стилю русского языка (поэт — стихотворец; противу — несообразно; скрепленные — связанные; друг другу — один другому и т. д.). См. „Рукою Пушкина“, *Academia*, 1935, стр. 105—107.

верности передачи национального своеобразия подлинника, являющегося одним из элементов народности произведения („пожелали видеть Данте, Шекспира и Сервантеса в их собственном виде, в их народной одежде“ и т. д.). И вопрос о буквализме для поэта также не частность, а один из кардинальных вопросов передачи оригинала — вопрос о соотношении строев языка подлинника и перевода. Требование художественности передачи оригинала у поэта неразрывно связано с демократизацией перевода — перевод должен быть не только художественно-верен, но и познавательно-понятен. Отсюда у Пушкина постоянная установка на родной язык. Передача национального своеобразия оригинала никогда не должна приводить к механическому воспроизведению иноязычных конструкций, чуждых строю языка перевода. В этом смысле он и здесь требует „повиноваться принятым обычаям в словесности своего народа, как он повинуется законам своего языка“ (предисловие к „Борису Годуну“).

Когда Батюшков *Te deum laudamus* перевел: „Мы хвалим господя поем!“, и это зазвучало чуждо русскому языку — перевод был буквальным, механическим, — Пушкин отметил на полях: „а по нашему должно бы: царю небесный“.

В письме к Н. Б. Голицыну (10 ноября 1836 г.) поэт указывает на зависимость точности передачи от особенностей языкового строя подлинника и перевода: „на мой взгляд нет ничего более трудного, как передавать русские стихи французскими, потому что приняв во внимание сжатость нашего языка, никогда нельзя быть достаточно кратким“.¹

В непосредственной связи со взглядом на невозможность воспроизведения идиоматических особенностей чужого языка стоит у Пушкина вопрос о непереводаемости острот.

„Как можно переводить эпиграммы? — разумею не антологические, в которых разворачивается поэтическая прелесть, но ту, которую Буало определяет: *Un bon mot de deux rimes orné*“² („Материалы к отрывкам из писем“ и т. д., 1827).

В заметках на „Опыты“ Батюшкова дважды подчеркнуто, что „переводное острословие — плоскость“.

И в своих переводах поэт также оставляет без передачи всякую игру слов, воспроизведение которой потребовало бы „переводного острословия“. Так, переведя близко к Катулле стихотворение „Мальчик“, Пушкин вовсе обходит строку: „*ebrosio acino ebriosioris*“ (Фет впоследствии перевел, разрушив игру слов: „пьянее ягоды налившись виноградной“).

¹ Оригинал по-французски. Ср. мнение Мериме — „что только латышью можно передать сжатость русского языка“.

² Острословие, увенчанное двумя рифмами. Характерно, что в переводе „антологических эпиграмм“ Пушкин старался адекватно передать только концовку, являющуюся основой эпиграммы. Остальную же часть (экспозицию) он передавал вольно.

Также остается без перевода и основанный на звуковой игре образ Мериме — „une belle balle“ („Гайдук Хризич“).

Но если идиоматические особенности оригинала не могут быть воспроизведены, то тем более должен быть найден стиль, передающий национальное своеобразие подлинника. Нарушение соответствия между стилем оригинала и стилем перевода, разноречивой семантико-словесных планов влекут художественную неудачу воспроизведения: „...Макферсон, обольщенный успехом своего Оссиана, перевел Гомерову *Илиаду* оссиановским слогом и весьма неудачно“ („Когда Макферсон издал стихотворения Оссиана“).

В заметках на „Опыты“ Пушкин восстает против того, что у Батюшкова „Русский казак поет, как трубадур, слогом Парни...“ или что в греческой хижине „с неудовольствием находим.... суворовского солдата с двуструнной балалайкой“.

В переводе Батюшкова „Омир и Гезиод“ он подчеркивает одну фразу и отмечает: „библейзм неуместный“ (т. е. неуместный в отношении греческой культуры).

От переводчика Пушкин требовал точного знания предмета перевода, разносторонней и глубокой подготовки. Когда Батюшков ошибочно перевел „Chalcis“ (остров на Евбее) — „Колхида“, поэт делает на полях „Опытов“ резкую отметку. Глубиной эрудиции, тонкостью догадок и блестящей ориентировкой в вопросах экзегезы текста звучат его замечания на перевод „Слова о полку Игореве“ (Жуковского).

Исключительная добросовестность и четкость в работе приводила Пушкина к стремлению расширить круг источников для ознакомления с подлинником, если непосредственному переводу с оригинала препятствовало незнание или недостаточное знание языка.¹ В лицейскую пору стремление к воссозданию образов мировой литературы на русском языке приводило иногда к простой обработке русских переводов иноязычных авторов. Так, для „Кольны“ поэт использует прозаический перевод с французского макферсоновского „Оссиана“ Е. Кострова, для „Лаиса Венере при посвящении ей зеркала“ — прозаический и стихотворный переводы, напечатанные в русских журналах 10-х годов. Для перевода идиллии Мосха („Земля и Море“) привлекает стихотворный перевод Кошанского в его „Цветках греческой поэзии“ (1811 г.). Поэт пользуется также комментариями Кошанского (ср. использование комментариев к переводу Корана Савари и перевода Веревкина в „Подражаниях Корану“) и французский перевод идиллии Мосха, сделанный Леонаром. Именно, первым источником объясняется превращение мосхова поселянина в „любимца муз“ (о „любимце муз“ Кошанский говорит и в комментарии).

¹ Пушкин был знаком в той или другой степени с языками: старофранцузским, итальянским, английским, испанским, немецким, древнегреческим, латинским, древнерусским, церковнославянским, сербским, польским и украинским.

У Кошанского

У Пушкина

И музъ милые не милы больше мне

И забываю песни музъ

В комментариях к переводу Кошанский особенно подчеркивал описание бури у греческого поэта и сопоставлял его с аналогичными картинами у Гомера и Виргилия.

Пушкин, видимо, обратил особое внимание на указанное место и, не удовлетворившись Кошанским, привлек французский перевод идиллии, сделанный Леонаром (*Les plaisirs du rivage*).

Когда Пушкин сталкивался с незнанием того или другого языка, он прибегал к подстрочникам, „ключам“. „Ключи“ были вообще распространены в 20-х — 30-х годах. „Нет ли у тебя знакомого греколога, — писал Катенин поэту (1 июля 1835 г.), — кто мог бы *en ville prose*, рабски, переложить два крошечных стихотворения Сафо“ (ср. письма Катенина к Пушкину от 16 мая и 7 июля).¹ Пушкин к подстрочным переводам прибегал еще в бытность в Кишиневе, когда записывал сербские и молдавские песни.

Липранди вспоминает:

„Александр Сергеевич имел перевод этих песен (о Владимиреско и Бим Баше Савве — вождях народных масс Молдавии и Валахии. *Г. В.*); он приносил их ко мне, чтобы проверить со слов моего арнаута Георгия“.² Если это свидетельство и лишено полной достоверности, то оно во всяком случае прекрасно отражает мнение об огромной добросовестности подготовительной работы поэта к переводам. На Кавказе Пушкин получает подстрочный перевод одной грузинской песни (введена в вольной и сокращенной переработке в „Путешествие в Арзрум“). Отношение поэта к данной песне объяснялось, повидимому, тем, что он не увидел в ней — и справедливо — тех элементов народности, которых искал в творчестве народов России. Характер подстрочника играют и французские переводы греческих, латинских и иных текстов, напечатанные часто *en regard* с оригиналом.³ Готовясь к переводам с подлинника (некоторые наброски сохранились) на тех иностранных языках, с которыми Пушкин

¹ В архиве Пушкина найдены два подстрочных перевода из Сафо, повидимому, приготовленные к отправке Катенину. См. „Рукою Пушкина“, *Academia*, стр. 557—563.

Пушкин считал подстрочный перевод недостаточным. Ср. в статье „О предисловии г. Лемонте“: „Способ перевода (переводы Крылова с подстрочников. *Г. В.*) столь блестящий и столь недостаточный“.

² „Русский Архив“, 1866, стр. 1407.

³ К подстрочным, буквальным переводам Пушкин подходил с большой осторожностью, критически. Так, используя „ключ“ Лефевра к стихотворению Гедила („Славная флейта, Феон...“), поэт сквозь перевод-кальку ученого греколога угадал подлинник. Он, например, оставляет без перевода риторический вопрос (*Que dis-je*) у Лефевра, искажающий интонацию оригинала, или трехкратное повторение у переводчика имени Ватфала.

был недостаточно знаком (безукоризненно он знал только французский), поэт делает учебные, подготовительные переводы, помечая на них иногда: *mot à mot*. (из „Гяура“ Байрона, 1821; из „Песни песней“, 1822; перевод со старофранцузского на французский „Roman du Renard“; „Цыганочка“ Сервантеса, 1832; „Экскурсия“ Вордсворта, 1833; сербская песня „Три великие печали“, 1833; отрывок из „Чайльд-Гарольда“ Байрона, 1836; из Одиссеи, 1833; из „Марциана Колонна“ Корнуолла, 1835; из X са-тиры Ювенала, 1836).

Но даже когда Пушкин свободнее знал язык оригинала (итальян-ский, английский), он все-таки привлекал и имеющиеся русские или французские переводы. Иллюстрацией этому служит работа над пере-дачей „Неистового Орланда“ Ариосто.

Анализ материала и сопоставление источников убеждает нас в том, что поэт пользовался и переводом анонима 1791 г.¹ и переводом Батюш-кова 1817 г.² Имена главных героев в переводе 1791 г. даны в принятой тогда русской транскрипции (Роланд и Ангелика), между тем Пушкин вслед за оригиналом и Батюшковым употребляет транскрипцию итальянскую. Октава 100-я у Пушкина ближе к переводу 1791 г.; в 101-й октаве у Пуш-кина „пастух раздетой“ (как в подлиннике). Остальные переводы это место передают неточно. Но „витязь“ и „на деревьях“, принятые поэтом, находим у Батюшкова (но не в переводе 1791 г.). В 103-й октаве поэт гораздо ближе к подлиннику, чем остальные переводчики, старавшиеся „укра-сить“ это место.

В 105-й октаве Пушкин то ближе к подлиннику, чем переводы 1791 г. и батюшковский (строки 8 и 9), то заимствует из перевода 1791 г. („поту-шить“ и „обновляется“ в 1-й редакции у Пушкина). Первые строки 106-й октавы близки к батюшковскому переводу (он сохранил, как в подлиннике и у Батюшкова, „кривыми ветвями“, в то время как в переводе 1791 г. этого нет). Последние две строки ближе к переводу 1791 г. и к подлиннику (у Батюшкова речь не о ноже, а об „острие железа“). Кроме того, в первой редакции 2-й и 3-й строк „видит над входом“ — как в подлин-нике. В 108-й октаве 1-й редакции стихов („зеленый дерн, кристальный ток“) ближе всего к переводу 1791 г. и его словарю; 4-я и 5-я строки (об Анжелике, дочери Галафрона) близки к подлиннику и переводу Батюшкова. Наконец, стихи 109-й октавы ближе к переводу 1791 г. Любо-пытно, что в октаве 104-й у Пушкина в первой редакции было:

Он мыслит, что $\frac{\text{судьбе}}{\text{беде}}$ поможет

Но подозренье сердце гложет.

Последняя строка совпадает с переводом 1791 г. Но поэт ее зачер-кивает, видимо, из-за несоответствия оригиналу.

¹ „Неистовый Роланд“, М., 1791 — 1793.

² „Вестник Европы“, ч. ХСV, № 17 и 18.

Не менее характерный пример использования других русских переводов перед нами в „Будрысе и его сыновьях“. В балладе есть стих: „жены их, как в окладах, в драгоценных нарядах...“ В подлиннике говорится о серебристых покровах (*srebrzyste zaslony*). Но в прозаическом переводе этого произведения („Сын Отечества“, 1829, т. V) мы встречаем образ „серебряные оклады“.

II

Теоретические взгляды Пушкина на перевод (особенно в последнее пятилетие) являлись выражением наиболее прогрессивных в этой сфере передовых литературных идей его эпохи (требования народности, реализма, воссоздания духа и форм подлинника). Переводческое мастерство поэта целиком соответствовало его теоретическим воззрениям, являлось как бы их замечательной иллюстрацией. Это было особенно разительно на фоне господствовавших в начале столетия литературных направлений (школа Жуковского, карамзинисты, шишковисты), которые не считали нужным проводить строгой границы между оригинальным творчеством, подражанием и переводом. Подражательность достигла своего апогея в первое двадцатилетие XIX в. Каждое переводное произведение расценивалось только с точки зрения его соответствия господствовавшим канонам и требованию удовлетворять вкус „избранного“ общества, — до того, насколько верно оно отражает оригинал, никому не было дела. Подлинниками восторгались, их любили, но самих по себе — вне зависимости от переводов, которые жили самостоятельной жизнью. Исключение составляли переводы из произведений корифеев литературы. Но и здесь опять-таки привлекало имя автора, а не точность и мастерство воспроизведения национально-художественных особенностей образца.

Когда в 20-х годах в литературу вошла сильная группа теоретиков перевода и поэтов-переводчиков (Кюхельбекер, Бестужев, Катенин, Грибоедов, Сомов, Бахтин и др.), провозгласивших принцип адекватности передачи подлинника, они были встречены господствующими направлениями в штыки. Обстановка осложнялась еще и тем, что некоторые представители реакционных литературных групп по отдельным частным вопросам занимали прогрессивную позицию (например мракобес Уваров в вопросе о гексаметре против александрийского стиха, и т. д.).

При этих условиях, для правильного анализа пушкинского искусства перевода, целесообразна как относительная (неизбежно несколько схематическая) классификация переводов по жанрам (перевод, сокращенный перевод, вольный перевод, перевод-переделка и т. д.), так и отграничение переводов от смежных явлений (подражание, цитатное использование в тексте иноязычных авторов, реминисценции и др.). Затрудняет классификацию то обстоятельство, что поэт, относясь к себе

весьма требовательно, часто называл подражанием то, что по существу было переводом. Кроме того, до второй половины 30-х годов Пушкин не всегда проводил строгую грань между переводом и подражанием. Особенно необходимо подчеркнуть, что классификация естественно не будет покрывать всего многообразия литературных явлений и потому, в значительной мере условна. Она особенно условна в отношении такого поэта, как Пушкин, к которому менее всего можно подходить с шаблонными мерками и не учитывать, что зачастую его вольный перевод более говорит читателю, чем самое точное воспроизведение у другого поэта. И все же подобная классификация сохраняет смысл, поскольку выражает соотношение между отдельными жанрами перевода и дает возможность это соотношение применить и к анализу пушкинской передачи оригинала.

Под переводом мы условимся понимать наиболее приближающееся к подлиннику воссоздание идейно-образной его системы, во всем ее национально-художественном своеобразии, в последовательности, соответствующей или замещающей последовательность изобразительных средств оригинала.

Вольным переводом мы назовем такое воспроизведение образца, которое, сохраняя его основные черты, свободно трактует и передает второстепенные детали, перемещая их, по усмотрению переводчика, с возможным привнесением и некоторых мотивов личного творчества последнего. Сокращенным переводом назовем перевод с опущением отдельных частей подлинника, не мешающим сохранению „духа и форм подлинника“. Переводом-переделкой — ассимиляцию в оригинальном творчестве основных или второстепенных мотивов оригинала, с подчинением их целиком индивидуальности переводчика. При переделке-переводе возможна даже значительная близость к оригиналу. Определяющим моментом здесь будет не степень близости, не воспроизведение ряда основных и второстепенных мотивов оригинала, а их функция, как выражение иной, чем у образца, художественной цели. Наброском перевода — начало перевода, в котором еще не проявился подлинник. Смешанным переводом условно назовем такой, который только в какой-либо своей части отвечает требованиям точного перевода.

В отношении Пушкина особо необходимо еще учитывать субъективное намерение точного воспроизведения оригинала, так как поэт часто вынужден был пользоваться посредствующими источниками. В таких случаях необходимо вопрос решать, сравнивая перевод не с оригиналом, а с посредствующим источником (перевод с перевода, подстрочник, подготовительный, прозаический перевод самого поэта).

Исходя из этой условной классификации, к числу точных переводов Пушкина можно отнести следующие:

„Старик“ (Маро, 1815), „Стансы“, „Сновидение“ (Вольтер, 1817), „Уединение“ (Арно, 1819), „Черная шаль“ (молдавская народная песня,

1820¹), „Режь меня, жги меня“ (молдавская песня, 1823—1824), „Внемли, о Гелиос“ (Шенье, 1823), „Из Ариостова «Orlando Furioso»“ (Ариосто, 1826), „Близ мест, где царствует Венеция златая“ (Шенье, 1827), „Из Alfieri“ („Сомненье, страх, порочную надежду“, 1827), „Сто лет минуло, как Тевтон“ (Мицкевич, 1828), „Еще одной высокой, важной песни“, „Медок“ (Соути, 1830), „Пир во время чумы“ (в переводной части; Вильсон, 1830), „Мальчику“ (Катулл, 1832), „Песни западных славян“: „Битва у Зеницы Великой“, „Влах в Венеции“, „Гайдук Хризич“, „Марко Якубович“, „Бонапарт и черногорцы“, „Сестра и братья“ (Караджич, 1832); „Будрыс и его сыновья“ (Мицкевич, 1833), „Анджело“ (в переводной части начала и др., Шекспир, 1833), „Что белеется на горе зеленой?“ (сербская народная песня из книги де-Фортиса, 1835), „Из Анакреона“ (ода LV — „Узнаем коней ретивых“ и ода LVI — „Побелели, поредели“, 1835).

Сокращенными переводами являются: „Золото и булат“ (французский фольклор), из „Песен западных славян“: „Соловей“ и „Янко Марнавич“ (Караджич, Мериме, (1832 и 1833 гг.); „Из Ксенофана Колофонского“ (1833), „Из Афенея“ Гедил, 1833), „Из Анакреона“ (Ода LVII, 1835 г.).

Смешанными: „Эвлега“ (Парни, 1814), начало 1-й песни „Девственницы“ (1—17 стих точно, Вольтер, 1825), „С португальского“ (Гонзага, 1825), „Из К. Бонжура“ (1827), „На Испанию родную“ (Соути, 1835).

Особо надо отметить такие оригинальные произведения Пушкина, которые включали в себя переводные части („Пир во время чумы“, „Анджело“). Новая функция переводов, „обросших“ оригинальным текстом, повидимому, заставляла поэта пересматривать фактуру передачи иностранных образов.²

Вольными переводами: „Добрый совет“ (Парни, 1817), „Муза“ (Шенье, 1821), „Прозерпина“ (Парни, 1823). „Покров, упитанный язвительною кровью“ (Шенье, 1835), „Вурдалак“ (Мериме, 1832), „Воевода“ (Мицкевич, 1833), „Кобылица молодая“ (Анакреон, 1835), „Кто из богов мне возвратил...“ (Гораций, 1835?), „Подражание итальянскому“ (Джъяни, 1836).

Переводами-переделками: „Недавно бедный музульман“ (де-Сенесе, 1821), „Подражания Корану“ (1824), „Шотландская песня“ (фольклор, 1827), „Глухой глухого звал“ (Пеллисон, 1830), „Сонет“ (Вордсворт, 1830), „Песни западных славян“: „Видение короля“, „Федор

¹ „Пуншевую песню“ из Шиллера, довольно точно воспроизводящую подлинник, мы не считаем пушкинским переводом. Об этом — в подготовляемой к печати работе „Поэтика перевода Пушкина“.

² Мы оставляем без рассмотрения переводные отрывки прозаического текста, включенные Пушкиным в статьи (Мемуары Моро де Бразе, Джона Теннера, отрывки из „Железной Маски“ Вольтера), как требующие особого стилистического анализа.

и Елена“, „Похоронная песня“, „Конь“ (Мериме, 1832), „Эхо“ (Вордсворт, 1833), „Царь увидел пред собою“ (Ирвинг, 1833), „Воротился ночью мельник“ (английский фольклор, 1834), „Сказка о золотом петушке“ (Ирвинг, 1834), „Странник“ (Бёньян, 1835), „Когда владыка ассирийский“ (Библия, 1835), „Отцы пустынноики и жены непорочны“ (II часть, переложение молитвы, 1836).

Особо, хотя и близко к данному разделу, должны быть выделены „Сказка о рыбаке и рыбке“ и „Сказка о мертвой царевне“, частично восходящие к материалам бр. Гримм (1833).

Наброски переводов: Из „Гяура“ Байрона (1820—1821), „Из «Песни песней»“ (1822), „Ночь светла, в небесном поле“ (Гофман, 1822), „Короче дни, а ночи доле“ (Вольтер, 1825), „То было вскоре после боя“ (Байрон, 1828), „Шумит кустарник...“ (В. Скотт, 1829), „О, бедность“ (Б. Корнуолл, 1835—1836), „Царей потомок Меценат“ (Гораций, 1836), „Получит то, чего он стоит“ (Кольридж, 1836), Из „X сатиры“ Ювенала (1837).

Подготовительные дословные переводы к наброскам: „Из «Гяура»“ Байрона (1821—1822), Из „Песни песней“ (1822), Из „Цыганочки“ (Сервантес, 1832), Из „Экскурсии“ (Вордсворт, 1833), „Сербская песня“ (Соловей, 1833), „Из Одиссея“ (1833), „Марциан Колонна“ (Корнуолл, 1835), „Паломничество Чайльд Гарольда“, посвящение (Байрон, 1836).

Анализ классификации показывает, что точные и вольные переводы, в которых поэт воссоздавал „дух и формы образца“, относятся, главным образом, к авторам, которых поэт хотел пропагандировать, либо к фольклору славянских народов, либо к поэтам, которых он использовал или предполагал использовать в своих оригинальных произведениях.

Переводы-переделки охватывают, главным образом, западноевропейский фольклор, который поэт „руссифицировал“, и ту часть произведений (напр. „Песни западных славян“), где Пушкин усматривал недостаточность народности. С половины 30-х годов поэт все чаще и чаще обращается к переводам, но зачастую только приступает к наброскам; в этот период количество переделок (по сравнению с переводами) уменьшается.

По характеру источников передача (стихотворная) оригиналов может быть разделена на переводы в узком смысле слова (стихотворных текстов) и перевод-переложение (с прозаических текстов). При определении степени точности перевода, специфику источника необходимо учитывать.¹

Переводы и переложения с прозаических текстов следующие: „Черная шаль“, „Режь меня, жги меня“, „Подражания Корану“, „Грузинская

¹ Ряд авторов (Любомудров, Черняев), обследуя переводы из античных авторов, строили свой анализ на сопоставлении перевода Пушкина с подлинником, забывая, что Пушкин de visu мог и не знакомиться с ними.

песня в «Путешествии в Арзрум», «Песни западных славян», «Что белее на горе зеленой?» из Горация, Катулла, Анакреона, Гедилы, Ксенофана Колофонского, Ирвинга, Гриммов, Бёньяна, Библии.

В состав переводов мы не вводим цитатное использование поэтом отдельных стихов или афоризмов иностранных авторов (напр., афоризма Альгаротти в «Медном Всаднике», стиха Корнуолла в «Я здесь Инезилья», двустишия из Саади в «Отрок милый» и т. д.). Привлекаем их мы только в том случае, когда переводный материал оказывается недостаточным для суждения по тому или другому вопросу поэтики перевода Пушкина. Вопрос об использовании стихов-цитат, реминисценций, заимствований фабул и т. д. целиком сливается с проблемой влияния, выходя за пределы нашей темы.

III

Пушкин не был переводчиком профессионалом, с постоянным кругом переводческих интересов, как Батюшков или Жуковский, Гнедич или Катенин. Для него передача того или иного образца — прежде всего артистическая потребность „перевыразить“ свое эстетическое восприятие, закрепить его творчески. Пушкинские переводы — живая пропаганда любимых авторов. Так он относился к Андре Шенье, к Мицкевичу, к современным ему английским поэтам, к фольклору народов России, к славянскому фольклору, к западноевропейскому народному творчеству. Но кроме того, обращение к переводам было средством расширения собственного творческого опыта, народности его.

Перевод либо обрстал живой плотью оригинального творчества, либо вызывал к жизни совершенно самостоятельные произведения, зависимость которых от такого источника не всегда даже можно уловить. Далее, Пушкин, всегда с мудрой осторожностью подходивший к новаторству (и потому особенно глубокий новатор), часто в иноязычных образцах находил разрешение своих творческих колебаний или подкрепление принятых решений. Так, в поисках интонационно-ритмического обновления русского стиха передавал он своеобразный ритм молдавской песни („Режь меня“), говорил о „счастливых усечениях“ Тибулла, обращался к гекзаметру античности¹ и к белому стиху англичан („Еще одной высокой важной песни“), вводил сложные античные и „шекспировские“ эпитеты („белоглазый“ негр в „Пире во время чумы“). Не стремясь копировать не вполне привычную для слуха русского читателя форму оригинала (октавы Ариосто, сонеты французов, итальянцев, англичан и т. д.), он позже пробовал свои силы и в этой изощренной строфике. Наконец, обращение к переводам диктовалось потребностью в образцах творчества

¹ Несомненно, что опыт перевода „Вземли, о Гелиос“ (Шенье) гекзаметром имел и полемический характер. Так Пушкин мог еще в 1823 г. выразить свое отношение к полемике „гекзаметристов“ с „александрийцами“.

поэтов тех или иных эпох, соответствующих времени действия произведения („испанская тема“ и др.).¹ Этими целевыми моментами определялся в основном подход к материалу, степень точности его воспроизведения (если препятствием не служило недостаточное знание языка или отсутствие подлинника).

*

На каждом переводе Пушкина лежит печать его индивидуальности, и вместе с тем в каждом сохранено всё своеобразие подлинника. Здесь сказывались замечательная способность толкования, широта понимания авторского замысла, счастливое умение находить многозначные речения, охватывающие целые словесные комплексы образца (напр., „пук стрел“ в „Сто лет минуло“ Мицкевича или „вензель“ в „Orlando Furioso“ Ариосто), заменявшие описательные комплексы оригиналов; смелость в отказе от второстепенных частностей для полноты передачи основных черт (например отказ от передачи части эпитетов при переводе сцены из Вильсона в „Пире во время чумы“ в виду большой семантической емкости английского стиха). Проникновение в дух и формы чужого произведения было настолько велико, что никогда отступление от отдельных частностей не мешало приближению к образцу как художественному целому (если поэт к этому стремился).

Пушкин с изумляющим чувством меры умел находить „золотое сечение“, дававшее ему возможность и сохранить установку на язык перевода и передать художественно-национальное своеобразие образца. В „Воеводе“ строй польского языка воспроизведен только в одной строке: „Пан мой, целить мне не можно“. Но одна эта строка придает „польскость“ всему переводу. Таковы и латинские конструкции в переводах из Горация. Эту черту пушкинского искусства перевода прекрасно понял Белинский, когда писал о переводе из Горация („Кто из богов мне возвратил“):

„Перевод из Горация или оригинальное произведение Пушкина в горацевом духе — что бы ни была эта пьеса — только никто из старых, ни из новых русских переводчиков и подражателей Горация не говорил таким горацианским языком и складом и так верно не передавал индивидуального характера горацианской поэзии, как Пушкин в этой пьесе, к тому же написанной прекрасными стихами. Можно ли не слышать в ней живого Горация?“

Гениальное умение „перевыразить“ подлинник давалось поэту в результате огромной и упорной работы над воссозданием оригинала (см. варианты перевода из Арно, „Черной шали“, особенно из Ариосто

¹ Ср. как бы группирующиеся вокруг „Странника“ Бёньяна: „Отцы-пустынники...“, „Напрасно я бегу к Сионским высотам“, „Пора, мой друг, пора“. Ср. письмо к Языкову (1836) с просьбой прислать „Стихи об Алексее, божьем человеке, или другую легенду“ (видимо, духовную).

и Соути — „На Испанию родную“). Иногда он возвращался к обработке перевода через много лет (из Маро, из Шенье).

В переводе из Арно („Уединение“), для соблюдения объема первого катрена, поэт ввел свою — вторую — строку. Он долго над ней работал и оставил работу, только убедившись в невозможности иного разрешения задачи (в виду многосложного слова в 3-й строке). В „Неистовом Ро-ланде“ есть такое место: „мысленно отыскивал он тысячи способов не верить тому, чему, однако, верит на свое несчастье“. Пушкин перевел: „хотя еще он силится не верить“; затем зачеркнул и написал: „Не верить хочет он, но верит“. Хотя этот вариант передавал мысль подлинника, поэт и его зачеркнул, не удовлетворившись таким решением задачи.

В переводе 104-й октавы Пушкин также зачеркнул стих: „но подозренья сердце гложет“ (хотя он рифмовался с „он мыслит, что судьбе поможет“) как чуждый оригиналу.

Также зачеркнуты две последние строки перевода из Анакреона („Узнаем коней ретивых“) из-за несоответствия оригиналу. Но для Пушкина перевод в то же время и факт русской поэзии. Поэтому в целом ряде случаев первые редакции ближе к подлиннику, чем последующие („Старик“ Маро, переводы из Шенье, „Шотландская песня“, „Неистовый Роланд“ Ариосто, „Конрад Валленрод“ Мицкевича, „Мальчик“ Катутла, „Побелели, поредели“ Анакреона и т. д.). Отсюда установка на язык перевода, на восприятие русского читателя, своеобразная нейтрализация *couleur locale*, руссификация (часто в духе фольклора) переводимого образца.

Огромная художественная требовательность к себе повышалась вдвойне при работе над переводами, поскольку речь шла не только о произведении, но и о воспроизведении. Отсюда то творческое „смущение“, о котором сказал сам поэт („Любитель умственных творений исполинских...“):

Я приготовился бороться с Ювеналом,
Чьи строгие стихи, неопытный поэт,
Переложить я, было, дал обет;
Но, развернув его суровые творенья,
Не мог я одолеть пугливого смущенья.

Эти строки были написаны в 1836 г., в годы, когда художественная зрелость поэта достигла вершины. Может быть именно в этом, а не в „неусидчивости“, „нетерпении“ (переводческая работа Пушкина как раз дает примеры огромной „усидчивости“) кроется разгадка такого значительного количества незавершенных переводов. Целый ряд жемчужин переводческого искусства поэт хранил от света, не удовлетворяясь достигнутыми результатами.

Творческое „смущение“ шло прежде всего от огромного уважения к чужой мысли, к чужому творческому своеобразию. Стоит сравнить обращение к одним и тем же подлинникам Пушкина, с одной стороны, и

Батюшкова (из Ариосто), Жуковского (из „Родрига“ Соути), Востокова („Что белеется на горе зеленой?“), Козлова (из Шенье), с другой, — чтобы понять разницу „переводческого“ подхода поэтов.

Пушкин-переводчик не был ни рабом, ни соперником переводимого автора. Он — *imitateur* (как назвал поэт Шенье) — в о с с о з д а т е л ь, умеющий так ухватить несколько характерных черт образца, чтобы тот ожил в словах чужого языка как в своем родном. Это был тот протенизм, о котором говорил с восхищением Достоевский, протенизм, дававший поэту, на ряду с переводами, возможность создавать замечательные суггестии духа и форм любимых авторов (например „В начале жизни ^{помню} ~~помню~~ ~~шкбл~~у я“ — Данте, в „Воеводе Милоше“ или „Яныше Королевиче“ — сербский фольклор, в „подражании Лидинию“ или в дистихах — аромат античности).

*

Установка на демократизацию перевода, на читателя „без предварительного изучения“ определила и своеобразие пушкинского подхода к передаче *couleur locale*. До конца 20-х годов он решительно и последовательно либо оставляет без передачи образы, построенные на местном колорите, либо их руссифицирует. В конце 30-х годов он также последовательно смягчает *couleur locale* ные моменты, в которых чувствует стремление выпятить черты национальной исключительности, неповторимости — то, что воспринималось как „экзотика“ романтиков. Пушкин старается подчеркнуть теперь (особенно в пятилетие 1832—1837) черты общности культур языка оригинала и языка перевода, проявление в национальном общечеловеческого, а не их различие, не моменты национальной обособленности. Вспомним с какой настойчивостью он указывал на родственность русской и греческой культур. Те же национальные черты, которые являются выражением народности, он угадывает и воспроизводит в своих переводах.

Так, например, в первой редакции „Старика“ (из Маро, 1815) метафора: „годы выскочили через окно“ передана „за тридцать земель“, а затем заменена более нейтральной, менее „руссифицирующей“ текст, редакцией. Вместо „Красная весна и лето“ в переводе — „весна и лето красно“ — комплекс более близкий к поэтике русского фольклора. Во „Внемли, о Гелиос“ идиома „*prête l'oreille*“ передана также идиоматически-фольклорно (ухо клонит).

Характерным примером является сохранившийся в бумагах Пушкина, сделанный им перевод пословицы, приведенной в „Вудстоке“ В. Скотта: „Ястребы ястребам глаз не выключают“. Поэт переводит: „Ворон ворону глаза не выключет“, т. е. русской пословицей.

В последнее пятилетие своего творчества, поэт нейтрализует *couleur locale* в тех случаях, когда чутье ему подсказывает о нарочитости сгуще-

ния лексики *couleur locale*, (например в „Воеводе“ Мицкевича, в „Песнях западных славян“ Мериме).

Налицо явная установка на восприятие русского читателя. Так, в переводе из Ариосто Пушкин опускает имеющееся в подлиннике упоминание о ловле птиц клеем, в „Воеводе“ оставляет без передачи слова Мицкевича о „гайдучьей янычарке“, „барсучьей торбе“, „лещинском порохе“. Опущены и упоминание угощения молоком и водкой, сабли и красного пояса в руках ребенка в „Марко Якубовиче“ и ряд деталей в „Похоронной песне“. Оставлены без перевода „серебряные колокольчики“ в „Коне“; во „Влахе в Венеции“ „букеты“ заменены „подарками“ (также обращение по отчеству — на обращение по имени и отчеству); вместо „церковь Перуссича“ — „церковь Спаса“ („Янко Марнавич“); не воспроизведено указание на измерение кольем могилы в „Соловье“; вместо „розы“, в том же стихотворении, „алые цветы-цветики“; „васильки и богородицины травки“ в „Что белеется на горе зеленой“ — заменены на „алые цветочки“; в „Сестре и братьях“ вместо „сосны“ — „дубочки“ (более принятые в русском фольклоре). Характерно, что в „Песнях западных славян“ везде оставлено без перевода *couleur locale*’ное „побратим“. Но уже в „Осердился Георгий Петрович“ это слово введено поэтом. В „Пире во время чумы“ вместо „над болотами“ подлинника стоит: „у родимого порога“; в переводе из Гедила („Из Афенея“) опущены строки с указанием на античный обычай признания ребенка отцом. С этой стороны характерна и руссификация перевода из К. Бонжура и подготовительного перевода „Экскурсии“ Вордсворта, где английское *wren* — королек переведено: пташки, хотя рядом стоит точное (по-французски) значение этого слова.

Пушкин смягчает всякое проявление национальной нетерпимости, всякое смакование кровожадности. Во всех переводах, начиная с „Кольны“ и кончая „Пиром во время чумы“, сокращены, смягчены, а то и совсем выпущены батальные сцены. Но эта особенность переводческой манеры поэта особенно ярко выражена в „Песнях западных славян“, где он совершенно сознательно обходит всякое подчеркивание кровожадности враждующих сторон.¹

Так, оставлены без перевода образы: „мы понесем их головы в нашу страну“ („Битва при Зенице“); „сожгли города и села этих собак“ переведено: „стали жечь турецкие деревни“; отброшено указание, что победители „несут с триумфом“ поднятые на пики головы гайдуков („Гайдук Хризич“); в „Видении короля“ у Пушкина „одеи кожей Радивоя“, в то время как в подлиннике „оделся Радивой с радостью“ (в кожу, содранную с брата. Г. В.); у Мериме один из сыновей Хризича разрезал себе руку ножом,

¹ У Мериме Пушкин не берет и произведений, говорящих о кровавой мести и суевериях („Максим и Зоя“ и др.).

чтобы брат напился его крови. У Пушкина брат только предлагает брату это сделать. Разница в трактовке образов большая.

Пушкин стремится также подчеркнуть участие массы в описываемых песнями событиях. В „Марко Якубовиче“ — на кладбище идет все село, в то время как в подлиннике событие не выходит за пределы семьи (то же в „Битве при Зенице“). На ряду с этим поэт борется со стремлениями Мериме нарушить правдоподобие обычного представления о человеческой силе. В „Битве при Зенице“ Мериме говорит, что каждый воин стоил десяти, — у Пушкина соответственно говорится о трех; вместо ста ружей против трех гайдуков, — у Пушкина только сорок; число убитых каждым воином в переводе — три, вместо десяти, указанных в оригинале, и т. д.

Поэт меньше, чем переводимые авторы, останавливается на описаниях религиозных мотивов.

Во „Внемли, о Гелиос“ вместо „бог“ — „внемли“; в „Покрове, упитанном язвительною кровью“ Пушкин только героизирует Геркулеса, в то время как Шенье его обожествляет; в „У мест где царствует Венеция златая“ (Шенье) вместо „преисполненный бога, который тихо вдохновляя его“ просто „тихой музы поля“. В „Сто лет минуло, как Тевтон“ Мицкевича вместо „богов пристанища святые“ — „духов пристанища святые“, вместо „святилища“ — „башни“; в „Песнях западных славян“ Мериме оставлено без перевода „Заклял именем Исуса“; в „Видении короля“ вм. „божественный Иисус“ — „Иисус“; в „Битве при Зенице“ вм. „бог в помощь“ — „милости просим“ (во „Влахе в Венеции“ — также заменено на „здравствуй“). В „Сестре и братьях“ „За что же, скажи ради бога“ переведено полностью, поскольку выражение имеет характер не религиозный, а разговорно-бытовой. В том же стихотворении фразу: „за что же сестра? Пусть тебя бог накажет“ поэт дважды оставляет без перевода, также изменяет заглавие подлинника (у Вука Караджича: „Бог никому не остается должен“).

Стремление к народности и реализму сказалось на выборе переводимых авторов, на тематике переведенных произведений. Если оставить в стороне лицейские переводы, то подавляющее большинство остальных — образцы реализма, среди которых значителен удельный вес фольклорного материала. С 30-х годов французские писатели уже окончательно вытесняются античными авторами и англичанами, в которых поэт ценит народность, демократизм („язык честных простолюдинов“).¹

Пушкин-переводчик стремится к конкретности, вещности в передаче мыслей, образов и интонационно-ритмического строя оригинала. В переводе из Альфьери поэт двумя-тремя черточками углубляет образ Изабеллы, делает его жизненнее, правдоподобнее. Также он устранил

¹ Выбирая у Мериме вещи для перевода, Пушкин интересуется общественно-политическим, а не семейно-бытовым сюжетом и отбрасывает все жеманное и эротическое („Любовник в бутылке“ и др.).

абстрактность метафор и аллегорий при переводе из Вильсона (вм. „телега мертвых“ — „телега, наполненная мертвыми телами“; вм. „гремящие колеса“ более вещное: „телега“). В „Марко Якубовиче“ введен отсутствующий в оригинале реалистический образ: „лежал на рогоже и охал“; в „Битве при Зенице“ „braves gens“ переводит „дети“, что более правильно отражает родовой характер отношений начальника отряда и его воинов; в „Коне“ один эпитет — „вспотевшие“ бока — сразу придает конкретность образу. На ряду с этим все сколько-нибудь яркие реалистические образы оригинала поэт полностью воспроизводит (в „Вурдалаке“ натуралистическая концовка заменяется реалистической; снимаются все „обрамления“, подчеркивающие „сказочность“ и „сказовость“ материала (например в „Федоре и Елене“, „Черногорцах“ и др.).

Аллегоризм и отвлеченность беньяновского „Странника“ также получают новое реалистическое качество у Пушкина. (Характерна работа над отдельными образами: образ подлинника — „сгибаясь под бременем тяжко давящим меня“ поэт сначала передает: „влача свою духовную веригу“, затем „как некий труженник, влача свою веригу“ и, наконец, „духовный труженник, влача свою веригу“. Перемещение центра тяжести на реалистический эпитет здесь очевидно.)

Та же тенденция проявляется даже в учебных переводах. Так, в „Экскурсии“ (Вордсворта) Пушкин отбрасывает образ „едва сознавая нежащую мелодию“, так как ему, повидимому, кажется неестественным такой психологизм в отношении птицы.

Тем же стремлением к реалистической вещности слова, к его эмоциональной конкретности объясняется борьба Пушкина с дидактизмом, риторикой, перифрастичностью, со всем тем, что мы называем эвфуизмом, style gracieux, литературщиной (ср. „Д’Аламбер сказал однажды“ и др. аналогичные высказывания поэта).

В переводах из Шенье вместо „обитатель небесного царства“ читаем: „не бог ли?“ („Внемли, о Гелиос...“); в другом стихотворении снимается риторическое обращение Шенье к горе („Покров, упитанный язвительною кровью“); в третьем вместо „легким веслом ударяет по успокоенной волне“ — просто „гондолой управляя“; вместо „Аквилон“ — „буря“ („У мест где царствует Венеция златая“). Сократив излишества возлюбленного Марильи в переводе из Гонзага, Пушкин придал стиху большее движение и яркость.

Особенно рельефна борьба с перифрастическим стилем Вильсона в „Пире во время чумы“. Риторические вопросы заменены утвердительными формами, упрощен язык. Например:

Вильсон

Ликующие духи ада
Отчаянье пред мраком будущего
Страшное воспоминанье прошлого
Благодатный яд, пенящийся в кубке

Пушкин

бесы
отчаянье
Воспоминанье страшное
Благодатный яд этой чаши.

Нежные, упоительные поцелуи погибшего
создания, погибшего но милого в самом
падении своем.

Ласки погибшего, но милого создания
и т. д.

В „Марко Якубовиче“ („Песни западных славян“) снимается риторика в речи прохожего; вместо „его глаза сверкали, как два факела“ — „сверкали у него злые глазки“ и т. д.

К числу особенностей пушкинского перевода надо отнести частое изменение заголовков, имен, географических мест („Эвлега“, „Внемли, о Гелиос“, „У мест, где царствует Венеция“, „Пир во время чумы“, „Будрыс и его сыновья“, особенно „Песни западных славян“).

Стремление к наибольшей простоте, ясности и понятности идейно-образного строя переводов у поэта никогда не переходит в упрощение, в затушевывание элементов новаторства, „поэтической смелости“ подлинника. Осторожно, но настойчиво передает Пушкин эту поэтическую смелость, даже если она не привычна уху русского читателя. В письме к Катенину (19 июля 1822 г.) он говорит о „похвальной смелости“ переводчика.

„Кальдерон, — писал поэт в 1827 г., — называет молнии огненными языками небес, глаголющих земле. Мильтон говорит, что адское пламя давало токмо различать вечную тьму преисподней... Мы находим эти выражения смелыми, ибо они сильно и необыкновенно передают нам ясную мысль и картины поэтические“.

Если в ранних переводах Пушкин тщательно избегал передачи несвойственных русской литературе 10-х — 20-х годов „поэтических смелостей“ (например в стихотворении Маро „К самому себе“ метафорический образ годов, которые „выпрыгнули в окно“), то впоследствии он старается ряд смелых образов ввести в обиход русской поэзии.¹

Французское „Le baiser jeune et frais d'une blanche aux yeux noirs“ (Шенье) он передает полностью, воссоздавая даже оксюморон, который звучит по-русски неподражаемо-просто:

Порой белянки черноокой
Младой и свежий поцелуй („Евг. Онег.“, IV, 38).

В „Каменном Госте“ поэт заимствует у английского поэта Б. Корнуолла („Людовик Сфорца“) образ (точно передав его своеобразие) —

бедная вдова
Всё помню я свою потерю. Слезы
С улыбкою мешаю, как апрель.

В „Пире во время чумы“ Пушкин сохраняет образы „белоглазый“ (о негре), „дикий рай“ и др.

¹ Вспомним, как Мериме значительно позже не решился перевести „трескучий“ (scaquant) из пушкинского стиха „какая ночь, мороз трескучий“. П. Мериме. „Александр Пушкин“, 1868.

Под этим углом зрения поэт рассматривает и введение в русскую поэзию новых обогащающих ее ритмов. Разбирая III Тибуллову элегию в переводе Батюшкова, Пушкин говорит: „стихи замечательны по счастливым усечениям — мы слишком остерегаемся от усечений, придающих иногда много живости стихам“. Но „поэтическая смелость“ отдельного образа, отдельного „счастливого усечения“ не может для Пушкина исчерпать цели поэзии.

„Есть высшая смелость. Смелость изобретения, создания, где план обширный объемлется творческой мыслью“ („Есть различная смелость“, 1827). „Высшая смелость“ для поэта более значима, чем смелость в частностях. Этой монументальной „высшей смелости“ ищет он в переводах из Шекспира, Вильсона и т. д.

Пушкин никогда не делал из формы самоцели и там, где при переводах встречался с игрой „токмо для приятного проявления форм“, старался подчинить ее „творческой мысли“. „У нас употребляют прозу как стихотворство: — писал поэт в 1837 г. — не из необходимости житейской, не для выражения нужной мысли, а токмо для приятного проявления форм“ („Материалы к отрывкам из писем, мыслей и замечаний“).

Поэтому он восстает против педантских канонов французской поэзии, против тех, „которые сами полагают слишком большую важность в форме стиха“ („Жизнь, стихи и мысли И. Делорма“ С.-Бева) (1830), которые „пекутся более о наружных формах слова, нежели о мысли — истинной жизни его, не зависящей от употребления“ (1834).

Характерно и отношение Пушкина к изощренной форме (образ, ритм, особенно строфика).

„Трубадуры играли рифмою, и обретали для нее всевозможные изменения стихов, придумывали самые затруднительные формы: явились *virlet*, баллада, рондо, сонет и пр. От сего произошла необходимая натяжка выражения: какое-то жеманство, вовсе неизвестное древним...“ („О поэзии классической и романтической“). Сложная строфика (особенно каноническая) нашла незначительное отражение в оригинальном творчестве поэта и в его переводах: он предпочитает октавы Ариосто или сонет Джьянни передать более простой строфикой, хотя в области обеих форм создал совершенные образцы (у Пушкина всего три сонета; октавами написан только „Домик в Коломне“, сонет он определял как „размер стесненный“).

Не стремясь достигнуть в переводе точного слепка сложной формы, Пушкин двумя-тремя штрихами, незаметным изменением строфики дает понять, что в оригинале какое-то необычное сочетание строк. Из ранних стихотворений, например, в „Эвлее“, где необычной для Пушкина строфикой и чередованием рифм, хотя и не соответствующих оригиналу, дается условное представление о форме подлинника; такое же условное воспроизведение порядка рифм найдем в отрывке из „Девственницы“ Вольтера и в „Сто лет минуло, как Тевтон“ Мицкевича. В других случаях

мы находим полное соответствие особенностям ритма и рифмовки подлинника — „Будрыс и его сыновья“, „Что белеется на горе зеленой?“ Иногда поэт воспроизводит сложные системы повторов — „Соловей“.

Воссоздавая основные элементы стиля оригинала, Пушкин прибегает к таким приемам перевода, которые стали общим достоянием переводчиков только спустя десятки лет. Мы имеем в виду использование поэтом субститутов, т. е. воспроизведение того или иного элемента стиля подлинника либо в ином месте, чем в оригинале, либо иными средствами.

Если в ранних вещах поэт больше использует воспроизведение иными средствами (например повторение дважды „уже“ в „Эвлее“, замещающее дважды употребленное у Парни *à mes cotés*), то в дальнейшем он охотнее прибегает к воспроизведению в ином месте (например ранее, чем у Мериме, помещает завещание прохожего в „Марко Якубовиче“ — „как умру, ты зарой мое тело“ — или образ солнца, высушившего воду в „Гайдуке Хризиче“ и т. д.).

Использование субститута, как указывалось, находим и во „Внемли, о Гелиос“.

Нельзя не отметить воспроизведения (также в форме субститута) звуковой инструментовки стихотворения Арно „La solitude“ (*La cabane isolée*). Пушкин дает в других комбинациях, но почти приближающееся к образцу, количество „л“, „м“, „н“ и „б“, которыми инструментовано „Уединение“.

Постепенная демократизация языка переводов также отражает стремление Пушкина к народности. В переводах лицейской поры еще значительен удельный вес славянизмов, играющих только декоративную роль (напр., „вечор“, „почто“, „клад“, „узреть“, „глас“, „объемлет“ — в „Эвлее“). В конце 20-х и в начале 30-х годов поэт начинает колебаться в выборе словаря — его симпатии уже далеки от простого любования „славенщизной“ (напр., в „Черной шали“ „лобзанья“, „простерлась мгла“ первой редакции заменяет „поцелуй“, „настала мгла“). В переводах из Шенье, Ариоста, Мицкевича, Вольтера („Девственница“) некоторая архаизация подлинника применена как прием подчеркивания расстояния во времени, отделяющего описываемые события от современности (наоборот, во „Внемли, о Гелиос“ „вождем не предъидешь“ первой редакции поэт заменяет „не предъидешь вожатым“, что звучит менее архаично); отметим „праг“, „глас“ в „Сто лет минуло, как Тевтон“ и „не взыдет агнец“ в отрывке из „Девственницы“. В переводах 1829—1836 гг. славянизмы (особенно освоенные разговорной речью) уже используются только для оттенения высокого строя мыслей и чувств поэта (напр., „Гимн“ вместо „песнь“ и „чадо“ вместо „дитя“ в „Пире во время чумы“) и главным образом в переводах произведений на религиозные темы. Так, в первой редакции переложения из Бёньяна встречаем „дверей“ вместо более высокого в дальнейшем — „врат“. Пушкин использует краткие формы прилагательных, звательный падеж и комплекс существительных („любоначалие, праздносло-

вие, прегрешенья, осужденья, смирение, терпение, целомудрие“, т. е. каноническую лексику церкви — в „Отцы пустынники и жены непорочны“); („гладный“, „прияла“, „лобзанье“ — в переводе из Джьянни).

В „Песнях западных славян“, в переводе сербских песен славянизмы становятся источником фольклоризации („али-али“ в „Коне“; „стали баить“, „нареши“ в „Федоре и Елене“; „али-али“, „люто, мать, вспять“ — в смысле „по пятам“ — „Что белеется на горе зеленой?“). Ср. также „вымчит“ вместо „привезет“ подлинника; „супротивники“ вместо „враги“, „женка“ вместо „жена“, „на бекрень“ вместо „на ухо“, и др. На ряду с этим усиливается использование других элементов поэтики фольклора. В черновике „Черной шали“ встречаем фольклорный комплекс „борзой конь“ (далее „быстрый конь“). В „Битве при Зенице“: „конь белый, как снег“ и „конь“ дважды переведено: „конь вороной“; образ „кобылка вороная“ встречаем и в „Шотландской песне“. В стихотворении „Сестра и братья“ „конь вороной“ воспроизводит подлинник. Характерны также образы: „ждет-пождет старик домовитый“ в „Будрысе и его сыновьях“ и „тут и смерть ему приключилась“ в „Янко Марнавиче“, не соответствующие лексике оригиналов.

Любопытное нарастание элементов лексики русского устного народного творчества наблюдаем мы в переделках западноевропейского фольклора (например в „Шотландской песне“: „под ракитой“, „подружка“, „богатырь“ — вместо „под горой“, „хозяйка“, „молодец“ первой редакции). „Пес“ подлинника, как нехарактерный атрибут русской песни, превращается последовательно в „коня“, „лошадь“ и, наконец, в „кобылку вороную“; ср. с обратным явлением: смягчением „руссифицирования“ в переделке стихотворения Пелиссона — „Глухой глухого звал на суд судьи глухого“ в последующих вариантах.

За исключением отмеченных частных особенностей язык переводов последнего пятилетия отмечен тем же стремлением к „нагой простоте“, к прекрасной ясности многозначного слова, как и оригинальное творчество поэта.





Л. КОГАН

ПУШКИН В ПЕРЕВОДАХ МЕРИМЕ („ПИКОВАЯ ДАМА“)

История переводов Пушкина на французский язык насчитывает более столетия. Первый такой перевод относится к 1823 г. — к первым годам пушкинской славы. Мериме и Тургенев, — позже Ал. Дюма-отец и другие — приняли участие в переводе пушкинской поэзии и прозы на французский язык. Удалось ли им сквозь сложную ткань иноязычных сплетений и наслоений — лексических, идиоматических и даже семантических — подслушать неповторимый пушкинский голос? Пушкин, озвученный на языке Вольтера, — не стал ли он иностранцем? Эти вопросы невольно возникают в представлении русского читателя, берущего в руки перевод поэта на язык Вольтера и Руссо.

Знакомясь с переводами произведений Пушкина на французский язык, невольно вспоминаешь слова французского критика, современника Пушкина и Мериме, — Сен-Жюльена, утверждавшего, что русский язык — „самый трудный из всех европейских“.

Сен-Жюльен забыл лишь добавить, что сложность перевода пушкинских произведений заключается не только в „трудности русского языка“, но и в особом „семантическом колорите“ (выражение Тынянова), присутствием пушкинскому слову. Об этих „подводных рифах“ пушкинской поэзии не подозревал, нам кажется, и сам Мериме, сделавший меткое замечание о том, что одив лишь латинский язык способен передать лаконическое звучание пушкинской поэзии. В дальнейшем мы увидим, насколько великому французскому писателю удалось в своем переводе преодолеть трудности перевода пушкинской прозы.

„Каждый язык имеет свои обороты, свои условленные риторические фигуры, свои усвоенные выражения, которые не могут быть переведены на другой язык соответствующими словами“. Эта пушкинская фраза как нельзя лучше формулирует вопрос. Правда, вопрос о непереводаемости идиомов, о котором говорит Пушкин, играет меньшую роль при переводе пушкинской прозы, чем, например, при переводе Гоголя (над которым также трудился Мериме). Вопрос „нереводаемости“ возникает в большей мере в связи с переводом поэзии Пушкина, передачей ее ритма, звучания, — всего ее словесного орнамента и ее семантики. Но ошибкой было бы думать, что эти трудности ждут только переводчика пушкинской

поэзии. Вопрос передачи архаизмов пушкинской прозы, подыскание эквивалентов для рассеянных в ней церковнославянизмов, как бы растворенных в „кристаллически-прозрачном пушкинском языке“, — вопрос, придвигающий нас вплотную к пушкинской фразе о непереводаемости „условленных риторических фигур“ и „усвоенных выражений“.

Литературная традиция установила за Мериме непререкаемую славу „первого переводчика Пушкина на французский язык“, что для рядового читателя неоспоримо. Та же традиция установила за ним славу непревзойденного переводчика пушкинских произведений, „конгениального“ „Великому Русскому“. Это представление в первой своей части абсолютно неверно.

В своей книге „Мериме в письмах к Соболевскому“ А. Виноградов делает такое указание: „15-го июля 1849 г., в № 11 «Revue des Deux Mondes» выходит первый перевод Пушкина на французский язык,¹ если не считать не напечатанного перевода «На выздоровление Лукулла», сделанного Жобаром“.² Это замечание, в обеих своих частях, абсолютно неверно. Перевод Жобара, о котором упоминает автор, сделанный им в 1836 г. в пику министру народного просвещения Уварову (эпиграммой на которого и была, как известно, эта „ода“) и не напечатанный им по убедительной просьбе самого Пушкина, был помещен в „Русской Старине“ за 1880 г. (июль). Однако этот перевод далеко не был первым, как это утверждает А. Виноградов, переводом Пушкина на французский язык. Не только задолго до переводов Мериме, но и задолго до пресловутого перевода Жобара, вышел в свет — и не один, а целый ряд стихотворных и прозаических переводов из Пушкина на французском языке.³ Важнейшие перечислены в книге В. Шульца „Пушкин в переводах французских писателей“, СПб., 1880.

Уже в 1823 г. в Париже выходит первый из известных нам переводов Пушкина на французский язык, вошедший в „Русскую антологию“ Дюпрэ-де-Сен-Мора. В этой „Антологии“, где помещены стихотворные переводы из Жуковского, Гнедича, Крылова и других современных им и старых русских поэтов, находим отрывок из первой песни „Руслана и Людмилы“ Пушкина (Руслан у Финна).

В 1826 г. в Париже появляется второй из известных нам переводов — „вольный перевод с русского“ — „Бахчисарайский Фонтан“, Шопена, давший повод к восторженному отзыву французского литератора Эро (в „Revue Encyclopédique“ за июнь 1826 г., т. 40) как по поводу перевода, так и по поводу самого произведения.

¹ Речь идет о „Пиковой Даме“ в переводе Мериме.

² А. Виноградов. „Мериме в письмах к Соболевскому“, М., 1928, стр. 97. Библиографию пушкинских переводов можно найти у Геннади („Библиографические записки“, 1859, №№ 2, 3, 4); у Межова — „Пушкиниана“; у Е. Haumant — „A. Pouchkine“ (Paris Blond, 1911).

³ Ср. „Временник Пушкинской комиссии“, т. 3, 1937, обзор Е. И. Бобровой.

В 1827 г. в Брюсселе выходит книга Жака Ансло „Пол-года в России“. В ней под названием „Ода к Кинжалу“ Ансло помещает первый прозаический перевод пушкинского „Кинжала“. При этом Ансло не называет автора этой „Оды“ (парадоксальный факт: первым переводчиком пушкинского „Кинжала“ оказался человек, во время коронации Николая I преподнесший ему французскую монархическую кантату).

Я не останавливаюсь здесь на целом ряде переводов, вышедших как в России, так и за границей, и опередивших не только переводы Мериме, но и пресловутый перевод Жобара, на который ссылается Виноградов. Впрочем, целая вереница переводов отделяет этот малозначительный „литературный опыт“ 1836 г. от нашумевших в свое время переводов Мериме. Так, в 1838 г. в Париже в переводе Жюльвекура выходит сборник русских стихотворений и песен „Балалайка“. На ряду со стихотворными переводами quasi-фольклорных произведений сюда во множестве вошли и прозаические переводы пушкинских стихов и даже поэма „Братья-Разбойники“. Здесь же помещены: „Жених“, „Песнь о Вещем Олеге“, „Бесы“ и ряд других пьес.

В 1839 г. русский поэт Елим Мещерский выпускает в Париже сборник стихотворных переводов (и оригинальных стихов) „Бореалии“. Здесь, под титулом „Études russes“, находим переводы из Пушкина, Жуковского, Бенедиктова и др. В „Бореалии“ вошли: „Бесы“, „Ноябрь“, „Поэту“, „Калмычке“ и ряд других пушкинских стихотворений.

В 1845 г. в Париже выходит сборник оригинальных стихов Мещерского — „Черные розы“ („Les roses noires“), где под заголовком: „Цыганы — картина в нескольких сценах“ — мы находим вольную переделку пушкинских „Цыган“, сделанную, по словам автора, на память и, следовательно, далеко не точно.

Наконец, в 1846 г. выходит вторая книга стихотворных переводов Мещерского — „Русские поэты“; в нее также вошли переводы из Пушкина.

Я останавливаюсь здесь только на пушкинских переводах, вышедших во Франции. Кроме того, значительное количество переводов Пушкина на французский язык — стихотворных и прозаических (и как раз наиболее ранних переводов) — появилось в „Bulletin du Nord“ и других французских изданиях, выходивших в России („Граф Нулин“, „Полтава“, Кавказский Пленник“). Я не останавливаюсь здесь на этих переводах, так как нет оснований полагать, что с ними мог быть знаком Мериме. С этой точки зрения нельзя обойти молчанием „Избранные произведения Пушкина, впервые переведенные на французский язык Дюпоном“ (Париж—Петербург, 1847 г.) и послужившие материалом для двух больших критических статей о Пушкине (статья Сен-Жюльена в „Revue des Deux Mondes“ и Дю-Молена в „Journal des Débats“).

Таким образом мы видим, что появившийся в 1849 г. в „Revue des Deux Mondes“ перевод „Пиковой Дамы“ далеко не был первым переводом Пушкина на французский язык. Впрочем, А. Виноградов не был един-

ственным, допустившим эту хронологическую ошибку. В той же, весьма солидной статье о переводах Дюпоном произведений Пушкина Сен-Жюльен категорически утверждает, что „Пушкин еще не был у нас переведен“ („Revue des Deux Mondes“, 1 окт. 1847 г.), отдавая, таким образом, пальму первенства в области пушкинских переводов Дюпону. Впрочем, полное незнакомство с ранними пушкинскими переводами (да и вообще с историей переводов с русского на французский) доходило до того, что много позже, в обширной статье о переводах Мериме, П. Матвеев называет перевод Мериме „чуть ли не первой русской повестью на французском языке“.¹ Как известно, „русские повести“ (романы Булгарина, Марлинского, повесть Н. Павлова „Ятаган“) задолго до перевода Мериме были известны французской литературе. Но не этими переводами открылась эра прозаического перевода с русского на французский.

Гораздо более справедливо, чем замечание Матвеева, другое замечание русского журналиста, сделанное задолго до того, что „ни одно русское сочинение ни на один язык не переведено каким-либо знаменитым литератором“. Это замечание, высказанное еще в 1827 г. рецензентом „Московского Телеграфа“, сохранило всю свою силу и ко времени перевода Мериме. Этот перевод был действительно чуть ли не первым опытом большого писателя в области переводов с русского языка на французский, и в частности, что нас особенно занимает, — переводов из Пушкина.

Однако уже до перевода Мериме пушкинские повести переводились неоднократно. Так, уже в 1840 г. в „Revue Britannique“ появляется „Выстрел“ в переводе генерала Ермолова (под названием „Сильвио или выстрел за ним“). Это тот самый Ермолов, о котором Мериме, приступая к своим занятиям с г-жей Лагрене, 12 августа 1848 г. пишет ей: „Ермолов обещал мне ради этого торжественного случая поэму Пушкина“. „Выстрел“ появился еще раньше, в 1834 г., в переводе Каролины Олешкевич.² (Как известно, в переводе Мериме „Выстрел“ вышел лишь в 1856 г.)

В 1843 г., т. е. опять-таки за несколько лет до переводов Мериме в „Illustration“ появляется анонимный перевод „Метели“, и в том же 1843 г. выходит отдельным изданием „Пиковая Дама“ в переводе Жюльвекура. Этот перевод представляет для нас особый интерес: ведь им Жюльвекур предвосхитил первый опыт Мериме. Но перевод Жюльвекура, кроме существенных отклонений и неточностей, страдает и неуклюжестью. Это в значительной мере отличает его от блестящего по форме перевода Мериме. По мнению некоторых критиков (Mongault) перевод Жюльвекура мог пройти для французских читателей незамеченным, так как пушкинская повесть была укрыта здесь заглавием „Ятагана“ (рассказ Н. Павлова). Это предположение не совсем верно: в том издании, на которое ссылается

¹ „Проспер Мериме и его отношение к русской литературе“, Новое Время, 1894, 25 октября, № 6702.

² „Panorama littéraire de l'Europe“, 1834 г.

Монго (Baudry, Paris, 1843), на титульном листе крупным планом стоит: „Пушкин“. Правда, книга в целом носит название „Ятаган“, что могло ввести читателей в заблуждение. Таким образом первое появление „Пиковой Дамы“ на европейской арене было как бы „законспирировано“.

Какова же была общая переводческая культура, на фоне которой мы должны воспринимать перевод Мериме? Достаточно вспомнить, что даже позднейший переводчик — де-Порри — в переводе „Полтавы“ (1858) женит Мазепу на Марии, а Искру превращает в отважного юношу, скачущего в Москву с доносом на Мазепу. Земфиру („Цыганы“) он называет „водевильным“ именем Зефирины и совершенно искажает весь текст поэмы, не говоря уже о сколько-нибудь бережном отношении к стилю произведения, о лаконизме и предельной выразительности которого с таким восторгом отзывался Мериме. Дюпон, переводя стихотворение Пушкина „Конь“, вместо: „Что ты ржешь, мой конь ретивый?“ — пишет: „Что ты *не* ржешь, мой конь ретивый“, искажая и дальнейшую конструкцию стихотворения. Произвол переводчиков приводит и к прямому искажению сюжета, фабулы. Любопытно, что и сам Мериме, при всем своем благоговейном отношении к творчеству Пушкина, далеко не безгрешен в отношении пушкинских переводов.

Не останавливаясь сейчас на грубых ошибках, допущенных им при переводе „Пиковой Дамы“, мы можем отметить ряд случайных ляпсусов, рассеянных в других переводах и уже давно зарегистрированных русской критикой. Так, при переводе „Опричника“ он превращает дворового пса в дворцовую стражу („Лишь только лает страж дворовый“ — у Пушкина), или „молдаванский двор“ передает как „столицу Молдавии“ („В селеньях вдоль степной дороги, близ молдаванского двора...“ „Цыганы“). „Грушу“ как предполагаемую мишень для выстрела Сильвио („Выстрел“) превращает в фантастический „помпон“ (очевидно имея в виду форменный головной убор французских военных), и т. д. Немало таких ошибок и в переводе „Пиковой Дамы“. Но все они, конечно, еще не говорят о Мериме как о переводчике Пушкина. Нас, в нашем анализе переводов Мериме, занимает не только текстуальная правильность этих переводов, но и их стилистическая верность подлиннику. С этой точки зрения любопытно отметить характерную для того времени черту: мы знаем, что не только Мещерский делал свой вольный перевод „Цыган“ на память, не имея в руках подлинника, но и сам Мериме, заканчивая свою статью об Александре Пушкине, сообщает одной из своих корреспонденток, что переводит великолепные пушкинские стихи, включенные им в эту статью, на память (письмо к Джени Дакэн от 10 февраля 1868 г.).¹

¹ „Lettres à une Inconnue“, t. II, p. 325. „Я в восторге, что моя статейка о Пушкине не слишком Вас утомила. Самое замечательное, что я писал ее, не имея Пушкина под рукой: я цитировал на память стихи, заученные наизусть во времена моего пламенного увлечения всем русским“. Впрочем, вряд ли это сообщение сполна соответствует действительности. Мериме ни словом не оговаривается, что эта „статейка“, задуманная им уже давно, начата

Биографы Мериме подробно останавливались на том пристальном интересе к русской литературе и к великому поэту, какой двигал Мериме в его переводах. Преклонение перед Пушкиным, в значительной мере толкнувшее его на изучение русского языка, сделало его апологетом не только великого поэта, но и языка его поэзии. „Сжатость и богатство русского языка не могут не смутить даже самого искусного переводчика“, писал уже позднее Мериме в своей статье об И. С. Тургеневе. Надо думать, что это замечание было подсказано ему и его собственным переводческим опытом. Язык Пушкина, Гоголя, Тургенева заставляет Мериме признать „русский язык самым богатым из всех европейских языков, словно созданным для передачи тончайших оттенков“ (статья о Ник. Гоголе). „Наделенный чудесной сжатостью и ясностью, он (этот язык) в одном слове заключает множество мыслей, для выражения которых на другом языке понадобились бы целые предложения“. Эту же излюбленную мысль повторяет он и в письме к своему издателю Штапферу, советуя его дочери заняться изучением русского языка — „самого прекрасного из всех европейских, не исключая и греческого“ (10 февраля 1869 г.).

Эти повторные высказывания большого художника заставляют ждать от Мериме особо вдумчивого отношения к переводу произведений высокочтимого им русского поэта. Однако пиетет к пушкинскому гению не спас Мериме от некоторых ляпсусов в переводе, который, несмотря на свою блестящую литературную форму, не вполне передает характер оригинала.

Как бы то ни было, глубокий интерес к творчеству Пушкина не случайно натолкнул Мериме на перевод одного из пушкинских шедевров — „Пиковой Дамы“, покорившей его своей предельной ясностью, сжатостью и силой выражения. Недаром в своей статье об А. Пушкине Мериме указывает, что Пушкин „оставил после себя несколько прозаических произведений и повестей, из которых некоторые, например «Капитанская Дочка» и «Пиковая Дама», во всех отношениях совершенны“. Донести это совершенство до французского читателя Мериме, конечно, и ставил своей целью.

Трудно себе представить, чтобы, приступая к переводу, он, так живо интересовавшийся всем, что касалось Пушкина, не знал о существовании предшествовавших переводов. Однако торжественное заявление, сделанное им на обеде у Биксио (в феврале 1849 г.), как будто говорит другое. Так, по свидетельству Делакруа,¹ присутствовавшего на этом обеде, —

была еще зимой 1860—1861 г., когда в его распоряжении имелся томик Пушкина — очевидно в анненковском издании. О том, что Мериме цитировал не совсем уж „на память“, свидетельствует и его письмо к И. С. Тургеневу от 13 февраля 1868 г. Оправдываясь в допущенных им ошибках, Мериме ссылается на то, что в его распоряжении имелся лишь „томик пушкинской лирики, завезенный сюда (т. е. в Канны) с берегов Волги одной чувствительной девицей“.

¹ „Journal de Delacroix“ (Paris, Plon, 1893, vol. I, p. 364), воскресенье, 25 февраля 1849 г.

„Мериме завел речь о стихах Пушкина, которые Ламартин, по его словам, читал, хотя их еще никто не перевел“. Мериме „ловит“ Ламартина, неодобрительно отозвавшегося о поэзии Пушкина, на том, что стихи последнего никогда еще не были переведены, а Делакруа поддается гипнозу этого торжественного заявления. Как мы уже знаем, первые переводы пушкинской поэзии появились во Франции в 1823 г., и трудно себе представить, чтобы Мериме, возражая Ламартину, попросту не подозревал об их существовании. Скорее можно предположить, что привычный и насмешливый мистификатор — автор „Гузлы“ — решил мистифицировать своего собеседника, ополчившегося на „Великого Русского“. Можно было бы думать, что Ламартин, недовольный пушкинской поэзией, с нею действительно знаком не был. Но факты как будто говорят обратное. Так, в переписке А. И. Тургенева находим следующие строки (письмо от 29 февраля 1836 г.): „Вчера провел я первый вечер у Ламартина. Он просит у меня стихов Пушкина в прозе; стихов переводных не хочет. Я заказал сегодня гр. Шувалову перевести, но всё еще не остановился в выборе пьесы“. Этот перевод был доставлен Ламартину, который мог с ним ознакомиться.

Можно полагать, что Мериме должен был знать о существовавших переводах (если не читал их) и потому, что вряд ли статья Сен-Жюльена („Pouchkine et le mouvement littéraire dans la Russie“, помещенная в „Revue des Deux Mondes“ от 1 октября 1847 г.), посвященная разбору пушкинских произведений в переводе Дюпона, прошла мимо него. Эта статья напечатана в том же журнале, что и „История Дона Педро“, принадлежащая перу Мериме.

Вслед за трагической гибелью поэта французские журналы обогатились рядом статей, посвященных его биографии и творчеству. Достаточно назвать посмертную статью Мицкевича в „Le Globe“ от 24 мая 1837 г., подписанную „Друг Пушкина“, или статью Леве-Веймара. Начиная с марта 1837 г., когда вышла в свет первая из посмертных статей (Леве-Веймара), и до появления перевода Мериме (1849 г.) — во французской печати почти ежегодно, с небольшими перерывами, появляются более или менее серьезные статьи журнального типа, посвященные Пушкину.

Статья самого Мериме интересует нас в данный момент не как самостоятельное исследование о великом поэте, но как свидетельство глубочайшего интереса и понимания, какое Пушкин нашел у одного из крупнейших своих современников. Результатом этого интереса и был первый перевод Мериме — „Пиковая Дама“, опубликованный им в июле 1849 г. в „Revue des Deux Mondes“.

Как известно, автор „Гузлы“, польщенный и сконфуженный заблуждением Пушкина, поддавшегося его мистификации („Песни западных славян“), в 1849 г. писал Соболевскому: Я отдал ему (т. е. Пушкину) долг, переведя „Пиковую Даму“.

Перевод Мериме вызвал сенсацию. Французская критика боялась повторной мистификации, находя эту вещь слишком в стиле самого Мериме. 24 июля 1849 г. французский критик Ксавье Дудан пишет: „Что вы скажете о «Пиковой Даме» Мериме? Что это — перевод, или Мериме добавил что-нибудь от себя?“ Еще долгое время спустя французская критика упорно продолжала считать перевод „Пиковой Дамы“ „превосходным подражанием“. Так, заметка в большом Ларуссе (1870 г., т. VI, стр. 41) подчеркивает, что „Пиковая Дама“ Мериме — заимствование, а не перевод, а в 1866 г. критик Арман Понмартэн объявляет „Пиковую Даму“ „натурализовавшейся во Франции по праву завоевания и таланта“.

Это недоразумение не рассеялось до последнего времени. Еженедельник „Soleil du Dimanche“, желая почтить память Мериме, напечатал в 1903 г. „Пиковую Даму“ как „один из наиболее драматических и наименее известных его рассказов, сюжет которого заимствован им из русской литературы, в частности у Пушкина“. Этот рассказ появился в журнале за подписью Мериме, с указанием — петитом — „по Пушкину“.

И даже в 1928 г. роскошное иллюстрированное парижское издание Жоржа Путерман преподносит французскому читателю „Пиковую Даму“ Пушкина „в переделке Проспера Мериме“.

Где же корни этого литературного апокрифа? Благодарной почвой для него могла послужить и первая публикация перевода Мериме в „Revue des Deux Mondes“, где один лишь заголовок, предпосланный переводу, указывал на подлинного автора „Пиковой Дамы“. После пространной апологии Мериме как автора произведений, которые будут читать и тогда „когда забудут не только современную эпоху французской литературы и ее колоссальные романы, но когда из самых представителей этой эпохи в умах потомства удержится не больше двух-трех обветшалых имен“, — редактор вскользь замечает, что „Пушкин, конечно, не мог найти лучшего проводника во французскую литературу“. Это заключение редакции является единственным косвенным указанием на Пушкина как на автора знаменитой повести.

Такая „подача“ перевода Мериме вошла в традицию всех последующих изданий. Этой традиции не изменяет и сравнительно недавнее издание Собрания сочинений Мериме (Calmann-Lévy, 1927) и даже, близкое к академическому, издание Champion.

Однако невольная на этот раз мистификация со стороны Мериме имела и более глубокие основания, нежели технический недосмотр издательства. В обширном и содержательном введении к полному собранию сочинений Мериме, Монго говорит, что „пушкинские новеллы могли бы носить подпись Мериме“, а французский академик Эдмон Жалу, говоря об одном из последних переводов „Повестей Белкина“, высказывает ту же далеко не новую, но любопытную мысль. „Эти четыре новеллы, — говорит Жалу — „сохраняют нечто от Мериме, не только в манере изо-

бражения, но и в сюжете“.¹ Таким образом невольная „мистификация“ Мериме родилась очевидно из некоторого сходства его художественных приемов и средств с приемами пушкинского мастерства. Но только ли в этом сходстве было дело? Или Мериме, — как говорит Дудан, — в своем переводе „добавил кое-что от себя?“ Мериме несомненно добавил и, как мы увидим, добавил довольно много. Дело здесь не в „злой воле“ переводчика. Достаточно вспомнить, что столетие отделяет эпоху Мериме от нашей и что эпоха несомненно наложила свою печать на его перевод. Мы не можем безоговорочно принимать перевод Мериме, не делая этой поправки на эпоху и на общий уровень переводческой культуры того времени.

Перевод Мериме, встретивший живейший отклик в русской журнальной прессе и давший повод к ожесточенной дискуссии, все еще не удостоился в нашей русской литературе (не говоря о французских изданиях, дающих подробный комментарий к переводу Мериме) сколько-нибудь подробного разбора. Так, В. Шульц,² бегло указывая на две случайные ошибки, в том числе и на пресловутую ошибку с „кушаком“, лаконически называет перевод Мериме „очень хорошим и верным“. Более суровую оценку переводов Мериме дает А. А. Чебышев в статье: „Проспер Мериме. К его знакомству с Пушкиным и русской литературой“.³ „Переводы Мериме далеко не безупречны, — в них не мало дефектов, искажающих смысл подлинника“; Чебышев вообще находит, что „переводы Мериме не блещут особыми достоинствами. Превосходный стилист в своих оригинальных произведениях — он не вполне удачно справился со своей задачей, как переводчик“. Если последнее замечание и верно, то мы должны, все же, признать, что литературные достоинства переводов Мериме — неоспоримы. „Превосходный стилист“ — он остался таковым и в своем переводе, хотя качество его стиля значительно разнится от пушкинского. Далее, Чебышев пишет: „Потратив не мало времени и труда на изучение русского языка, он все-таки не освоился со всеми его тонкостями“. Как мы увидим в дальнейшем, погрешности этого перевода могут быть отнесены не только на счет недостаточного овладения „всеми тонкостями“ языка, но и на счет стилистических отклонений от оригинала. Любопытно отметить, что Чебышев, давший такую суровую общую оценку переводам Мериме, очень снисходительно отзывается о его переводе „Пиковой Дамы“. По поводу недоумения Ксавье Дудана относительно точности этого перевода, Чебышев свидетельствует, что „никаких существенных отклонений от подлинника (в этом переводе) нет“.

Первый перевод Мериме вызвал оживленную дискуссию в русской журналистике. В том же 1849 г. на страницах № 204 „Петербургских Ведомостей“ появляется совершенно апологетический отзыв, превознося-

¹ „Nouvelles littéraires“, 1928, nov. 24.

² „Пушкин в переводах французских писателей“, СПб., 1880.

³ „Пушкин и его современники“, вып. XXIII—XXIV, 1916, стр. 281—300.

щий в переводчице „глубокое и основательное знание русского языка“. Перевод Проспера Мериме „вполне достоин автора «Кармен». Все тонкости поэтической речи Пушкина переданы с самою строгою точностью и со всей жизненностью оригинала“,¹ утверждает рецензент. Этот восторженный отзыв „Петербургских Ведомостей“ вызвал суровую отповедь „Северной Пчелы“,² разразившейся целой филиппикой по поводу „промахов и противоречий истине...“, допущенных Мериме в этом переводе („Переводить таким образом недозволительно даже детские сказки...“, не говоря уже о повести Пушкина, „вся прелесть которой заключается в тонкостях и намеках“. „Ужели художественное воспроизведение заключается в коверканьи слов!“). Эта резкая полемика не помешала А. Виноградову уже в 1936 г. писать: „Проспер Мериме перевел «Пиковую Даму», правда с ошибками, но это был прекрасный перевод“.³ „Правда с ошибками“ — мало сказать об этом переводе, хотя и прекрасном, но изобилующем бесчисленными отклонениями от текста оригинала.

Я не останавливаюсь в этой статье на оценках французской критики, часто стесненной в своих высказываниях пиететом к „великому прозаику“ — Мериме. Так, профессор Монго, поместивший подробный и достаточно критический комментарий к переводу Мериме (Ed. Champion, Paris, 1831) в своем „Введении“ к статьям Мериме о русской литературе называет пушкинские переводы Меримэ „в общем — довольно точными“ (оговариваясь, однако, что он вынужден дать им такую характеристику, приступая к разбору гораздо менее точных переводов Мериме из Гоголя).

Как бы то ни было, даже отвергая традиционное представление о непогрешимости перевода Мериме, мы должны все же признать, что этот перевод не „заимствование“ и не „переделка“. Это — перевод, но перевод, в котором подчас еще заметны стилистические требования французской литературы эпохи романтизма, в общем противоречащие вкусам и принципиальным установкам самого Мериме.

Хотя французская критика и видит у Пушкина „то же презрение к риторичности, ту же склонность к обнаженности и прозрачности стиля“ (Монго), что и у Мериме, но знаменитому французскому прозаику не удалось или не всегда удалось сохранить в своем переводе эти отличительные черты пушкинского повествования.

Несмотря на грубые ошибки, допущенные Мериме в этом „первом опыте“, нужно признать, что ко времени работы французского писателя над „Пиковой Дамой“ он уже достаточно овладел „самым трудным из европейских наречий“. Правда, его еще затрудняет морфология языка, и, судя даже по его личной переписке, он недостаточно ощущает его

¹ „Санкт-Петербургские Ведомости“, 1849, № 204.

² „Северная Пчела“, 1849, № 214.

³ Предисловие к статье Мериме „Александр Пушкин“, М., 1936, изд. Жургаз-объединения.

стилистические особенности, специфику отдельных оборотов: так, он пишет „гораздо“ вместо „много“ и т. п.¹ Но это, конечно, еще не давало права рецензенту „Северный Пчелы“ утверждать: „Проспер Мериме вовсе не знает по-русски; „Пиковую Даму“ перевел двоюродный брат его Генрих Мериме, живший в России около года и кое-как изучивший наш язык в шутку...“ Любопытно, что ту же версию три года спустя повторили „Отечественные Записки“ по поводу перевода Мериме из Гоголя. „Мериме, как известно, сам не знает по-русски, а знает несколько наш язык его брат,² что не помешало ему написать статью, тем оправдывая слова Филарета Шаля, что во Франции переводят с русского, не зная по-русски“. Как мы уже видели, — об этом свидетельствует переписка самого Мериме, — упрек „Отечественных Записок“ не имеет под собой достаточно почвы. Правда, суждения, высказываемые Мериме, не всегда могут опровергнуть эту суровую критику; достаточно вспомнить его замечание о том, что „русский язык почти не знает диалектов, и, за исключением Украины, все прежние московские провинции говорят на одном языке“.³ Но это еще не дает нам права говорить о слабом знакомстве Мериме с русским языком. Наоборот, за ничтожными исключениями, допущенные им ошибки свидетельствуют не столько о слабом знании языка, сколько об известной тенденции перевода. Перевод был вторично отредактирован самим автором (перед изданием 1852 г.), и, таким образом, Мериме как бы взял на себя двойную ответственность за это свое „детище“.

На этом-то, просмотренном самим Мериме, повторном издании первого и наиболее популярного из его переводов, мы и основываемся преимущественно в нашей статье.

Известно, сколько огорчений доставили Мериме некоторые ошибки, допущенные им в первом издании перевода. Стоит только вспомнить ошибку со словом „затянулся“. „Томский закурил трубку, затянулся и продолжал“. Мериме, как известно, „затянулся“ перевел как — „затянул кушак“. Эта ошибка не прошла незамеченной и для французской критики. Так, Делаво, 25 июня 1853 г., разбирая в „Atheneum Français“ книгу Шопена „Choix de nouvelles Russes“, ссылается на пресловутую ошибку Мериме, не указывая при этом имени переводчика.

¹ Письма к Лагрене (В. И. Дубенской) в книге А. Виноградова „Мериме в письмах к Соболевскому“.

² Речь идет о троюродном брате Мериме — Анри Мериме, посетившем Россию в 1839—1840 гг. По мнению профессора Монго, эта гипотеза мало вероятна, так как Мериме находился далеко не в таких дружественных отношениях со своим родственником Анри, чтобы можно было предполагать между ними литературное сотрудничество. И кому же, как не Мериме, говорит Монго, „чей восхитительный и твердый ум нашел на другом конце Европы родственный ему темперамент, — классический по форме, романтический по содержанию...“, кому же, как не Мериме, было дать блестящий образец „конгениального“ перевода.

³ „Alexandre Pouchkine“, Pr. Merimée. Œuvres compl., Ed. Champion, 1931.

Ошибка со словом „затянулся“, на которую ему вежливо указал Лев Пушкин во время своего пребывания в Париже, в августе 1851 г., вырывает у Мериме признание: „С тех пор, как я заставил человека затянуть кушак вместо того, чтобы закурить, я недоверчиво отношусь к своим переводам“ (в письме, датированном 19 августа и адресованном тому же Л. Пушкину).¹ А в письме к Лагрене (22 сентября 1851 г.) он возвращается к этой ошибке: „Пушкин сказал мне, что я допустил бессмыслицу в своей „Пиковой Даме“. Вместо того, чтобы правильно перевести слова „он затянулся“, я перевел: „подтянул пояс“.²

Ошибка была исправлена Мериме уже во втором издании „Пиковой Дамы“ — в сборнике „Nouvelles“ 1852 г. Но, к сожалению, она не была единственной. Как мы увидим в дальнейшем, ближайшее знакомство с повторным изданием „Пиковой Дамы“, просмотренным Мериме, заставляет нас расстаться с этой иллюзией.

Но дело, конечно, не в случайных ошибках этого типа, еще достаточно обильных у Мериме. Так, он сажает бедного швейцара графини в бочку, вместо того, чтобы поместить его в каморку, заставив его еще при этом „вечно спать“ (у Пушкина: „но и он обыкновенно уходит в свою каморку“. У Мериме: „...il est presque toujours endormi dans son tonneau“).

Он превращает старого „чудак“ Сен-Жермена в „чудотворца“ („Le vieux thaumaturge) или делает ошибку в карточном „арго“ („поставил на руте“ он пишет „mettre sur la rouge, т. е. на красное“). Он заставляет Лизавету Ивановну снова взяться за работу там, где у Пушкина она ее оставила. Дело не в этих случайных нелепицах, возможных в известной дозе у всякого переводчика. Дело в известной тенденции перевода Мериме.

Так, если Пушкин говорит, что „бабушка, отлепивая мушки с лица и отвязывая фишмы, объявила дедушке о своем пригрыше“, то Мериме этого кажется мало, и он добавляет: „... et dans ce costume tragique...“, т. е. „в этом трагическом наряде, объявила...“

Если у Пушкина „Бабушка дала пощечину“, то Мериме добавляет в пояснение: „Vous imaginez bien la fureur de ma grande mère...“ („Вы представляете себе ярость моей бабушки. Она дала ему пощечину...“) и т. д.

¹ Цитирую по книге А. Виноградова „Мериме в письмах к Соболевскому“.

² Любопытно, что в своей статье об И. С. Тургеневе Мериме как на пример переводческого ляпсуса указывает на ошибку переводчика, спутавшего овсянку — собачью похлебку — с птицей овсянкой (ortolan). „Такого рода ortolan'ов, замечает Чебышев, и у самого Мериме найдется немало“. Мериме продолжает: „Но оказалось, что в специфическом языке господ русских офицеров слово «затянуться» означает вобрать глоток табачного дыма. Я надеюсь, что и вам это не было известно, как и мне“ (цитирую по книге А. Виноградова „Мериме в письмах к Соболевскому“). Очевидно, г-же Лагрене это известно не было, так как ошибка родилась в результате неправильного толкования этого слова, данного ею в ответ на срочный запрос Мериме.

Там же, у Пушкина — „услышав о таком ужасном проигрыше, он (дедушка) вышел из себя...“ У Мериме он еще, кроме того, „подскочил до потолка“ („le chiffre... le fit sauter au plancher; il s'emporta...“)

Если у Пушкина: „Старуха! закричал он в ужасе“, то у Мериме он закричал: „Проклятая старуха!“

Таким образом скупому лаконизму пушкинской фразы, отмеченному им самим, Мериме противопоставляет более многословную, расплывчатую фразу, поясняющую события; либо он сгущает, усиливает пушкинскую интерпретацию событий („подскочил до потолка“ и т. д.). По этим двум линиям — пояснительного и „нагнетающего“ перевода — и идет в основном Мериме.

Вспомним характеристику пушкинского творчества, данную самим Мериме: „Его трезвость, его такт в выборе главнейших черт трактуемых им сюжетов, умение жертвовать лишними подробностями...“¹ Эти „подробности“ навязывает ему Мериме. Романтические побрякушки „трагического наряда“, „ярости“, излишних „проклятий“ не пристали пушкинскому тексту: „Строгий план, выбор деталей, точная и короткая фраза“,² вот что характерно для пушкинской прозы. Но, напротив, внешними украшениями изобилует перевод Мериме. Если у Пушкина „кареты одна за другой катились к освещенному подъезду“, то у Мериме это — „великолепно освещенный подъезд“ (и даже не подъезд, а фасад — „une façade splendidement éclairée“). Если у Пушкина „черноволосая головка, склоненная, вероятно, над книгой или над работой“, то у Мериме это уж конечно „юная головка“, „грациозно склоненная“ („une jeune tête avec de beaux cheveux noirs, penchée gracieusement“). Если у Пушкина Лизавета Ивановна просто „возвратясь домой... подбежала к окошку“, то у Мериме она подбежала „с бьющимся сердцем“ („avec un battement de cœur“). Мериме словно забывает о „чудесной сдержанности пушкинского исполнения“, о которой он сам писал несколько позже в своей статье.

Эти добавления свидетельствуют, конечно, не о дурном вкусе Мериме. Они свидетельствуют о трудности перевода предельно-сжатой, лаконической пушкинской прозы и, с другой стороны, — о влиянии эпохи, наложившей свою печать на перевод Мериме. „Мериме считает возможным приспособлять свой перевод к пониманию французских читателей, делать вставки и купюры, а подчас — высовывать коготки своей иронии“.³

Любопытный пример такого „показывания коготков“ приводит Монго: „Да что же тут удивительного, сказал Нарумов, что восьмидесятилетняя старуха не понтирует“ (Пушкин). Мериме, соблазнившись, по мнению Монго, каламбуром, говорит: „...une femme de quatre-vingts ans qui ne ponte pas — cela est extraordinaire!“ („Восьмидесятилетняя женщина —

¹ Œuvres compl. de Pr. Mérimée, „Alexandre Pouchkine“.

² E. Melchior de Vogüé. „Le roman russe“, Paris, Plon, 1886.

³ Mongault. „Introduction“.

и не понтирует, — это удивительно!“). Следует иметь в виду, что *ponter* по-французски — кладка яиц.

Трудно сказать, объясняется ли эта ошибка ироническим складом ума переводчика. В таком случае мы имели бы дело с одним из тех применений (аллюзий), какого нам кажется у Пушкина нет, потому что слово „понтировать“ не имеет у Пушкина значения каламбура; да и вообще „Пиковая Дама“, если не говорить о самом заглавии, тема которого красной нитью проходит через все произведение, в обычном смысле слова — не каламбурна. Но возможно, что Мериме — современнику Пушкина и представителю той же культурной среды — удалось угадать то звучание (применение) этого слова у Пушкина, какого уже не слышим мы.

В своем письме к Соболевскому от 31 августа 1849 г. Мериме говорит: „Фраза Пушкинской «Пиковой Дамы» совершенно французская, — я подразумеваю французский язык XVIII столетия потому, что нынче так просто уже не пишут“. Кристаллически ясному, четкому языку пушкинской прозы, ее вольтеровской сухости и остроте Мериме противопоставляет современную ему французскую прозу (вспомним оценку Пушкина, в свою очередь противопоставившего этой прозе прозу самого Мериме, — автора „произведений чрезвычайно замечательных в глубоком и жалком упадке нынешней французской литературы“). Но, как мы уже видели, Мериме сам частично поддается литературному штампу, дает проникнуть в свой перевод микробам романтизма, того враждебного крыла французского романтизма, с напыщенностью которого боролась аскетически сухая проза самого Мериме. Если Пушкин говорит, что Лизавета Ивановна „... глядела вокруг себя, с нетерпением ожидая избавителя“, — Мериме не может не добавить „... который разбил бы ее оковы“ („pour briser ses chaînes...“). Если в совершенно протокольном описании появления Германа в доме графини („Ровно в половине двенадцатого Германн ступил на графининого крыльцо... Швейцара не было, Германн взбежал по лестнице“;) Пушкин упоминает только „Швейцара не было“ — Мериме добавляет: „О, счастье! Швейцара не было...“ („Oh, bonheur, point de suisse!...“), эмоциональностью этого восклицания нарушая холодный как протокол судебного следствия тон повествования.

Если пушкинское повествование скупое, так как подчиняется лишь внутренней логике событий и характеров, то Мериме считает своим долгом мотивировать и пояснять. Если Пушкин говорит: „многочисленная челядь... делала, что хотела, наперерыв обкрадывая умирающую старуху“, то Мериме добавляет: „... словно смерть уже вступила в дом“.

Если у Пушкина: „Лизавета Ивановна вынула письмо. Оно было не запечатано. Она его прочитала“ совершенно лаконическая, не требующая мотивировки фраза, — Мериме говорит: „Оно было незапечатано и, следовательно, нельзя было не прочитать его“.

Если, открыв карту и узнав 'вместо туза — пиковую даму, „Германн стоял неподвижно“, то у Мериме он „долго стоял неподвижно, уничтоженный“ („Hermann demeura longtemps immobile, anéanti...“). Психологическая мотивировка неизменно выступает на сцену.

Если, стоя у дома графини, Германн „остался под фонарем, устремив глаза на часовую стрелку и выжидая остальные минуты“, — то Мериме, конечно, не забывает пояснить, что он выжидал их „с нетерпением“ („avec impatience“). Наконец, если „открыв карту, Германн вздрогнул: „Необыкновенное сходство поразило его“, то Мериме вместо этой лаконической, фиксирующей мимолетное явление, фразы дает пространное описание из двадцати одного слова!

Таким образом, если у Пушкина „действия и события перечисляются“ — у Мериме они поясняются. К совершенно лаконической, как бы „программной“ фразе пушкинского текста Мериме добавляет свое толкование, мотивировку событий.

„Между игроками поднялся шопот. Чекалинский нахмурился, но улыбка тотчас возвратилась на его лицо“. У Мериме: „Ропот удивления пошел среди игроков. На мгновение брови банкомета нахмурились, но обычная улыбка...“¹ и т. д. („Un murmure d'étonnement circula parmi les joueurs. Un moment les sourcils du banquier se contractèrent, mais aussitôt son sourire habituel reparut...“

У Пушкина — „Германн подошел к столу; понтеры тотчас дали ему место“. У Мериме — „на этот раз понтеры поспешили дать ему место“.

Такой пояснительный перевод, естественно, тяготеет к описательности. У Пушкина: „Но шампанское явилось, разговор оживился...“ У Мериме: „Тем не менее, благодаря шампанскому, разговор понемногу оживился („Peu à peu néanmoins, le vin de champagne aidant...“). У Пушкина этого „понемногу“ нет. Мериме словно забывает свое собственное правило, так великолепно сформулированное в словах Пушкина: „Точность и краткость — вот первое достоинство прозы“, и то и дело разбавляет драгоценный экстракт сжатой пушкинской фразы лишними словами.

Пушкинская проза оказывается разбавленной у Мериме. Здесь пущены в ход не только прямые амплификации, введение новых реалий, не только проскальзывающие исподтишка „юркие“ словечки, но и самое синтаксическое строение фразы в переводе Мериме отклоняется от оригинала. Так, если Пушкин с предельной лаконичностью говорит: „Направо легла дама, налево — туз“, то Мериме переводит: „à droite on vit sortir une dame...“, т. е. выражает ту же мысль окольным путем. Можно было бы сказать просто, как это и делает Мериме в другом случае: „à droite une dame, à gauche un as“, что полностью сохраняет динамику пушкинской фразы. Такие отклонения чрезвычайно показательны для Мериме. Амплитуда их крайне невелика, и все же перевод Мериме часто не совпадает

¹ Разрядкой выделены слова, которых у Пушкина нет.

с оригиналом во всех точках. Здесь вспоминается фраза самого Мериме о том, что Пушкин „как Пандар — гомеровский лучник — долго разыскивает в своем колчане именно ту прямую и острую стрелу, которая неминуемо попадает в цель“. Найти эту прямую стрелу Мериме не всегда удается в его переводе. Отчасти здесь играет роль и та невозможность передать „соответствующими словами“ все обороты и „усвоенные выражения“ чуждого языка, о которой говорил Пушкин, — но не только это.

Там, где у Пушкина „Германн стоял у стола“, у Мериме — он „приближался к столу“ и т. д.

Эти незначительные, иногда чисто стилистические, иногда семантические отклонения, едва ощутимые, в массе приводят к известному отставанию динамики перевода. Пружина повествования ослабляется: введение дополнительных образов и слов, лишних союзов (например в первом же абзаце „Пиковой Дамы“) замедляет темп пушкинской речи, ослабляет ее динамику. Это лишает перевод Мериме той полной безукоризненной эквивалентности, того полного совпадения фразеологических отрезков, того сходства с оригиналом, какого мы вправе были бы от него ждать.

С другой стороны, как мы уже видели, совершенно нейтральному фразеологическому построению пушкинского повествования Мериме часто противопоставляет субъективно-экспрессивный повышенный тон. При этом редкие субъективно-экспрессивные ноты пушкинского повествования не всегда совпадают с регистром Мериме. Так, голос совести, „тврдивший ему: ты убийца старухи!“ и взрывающий эпический строй пушкинской фразы, Мериме передает к косвенной речи, тем снижая его экспрессивную значимость.

До сих пор мы говорили только об одной стороне текстуальных отклонений в переводе Мериме. Какова бы ни была амплитуда этих отклонений, природа их двойственна. Это не только добавления, но и купюры. Мериме считает возможным не только расцвечивать пушкинский текст своими домыслами, но и подстригать его. Правда, отклонения этого типа у Мериме более редки, но удельный вес их, все же, довольно значителен.

Так, если у Пушкина, после того как Чекалинский ласково говорит: „Дама ваша убита“, — „Германн вздрогнул: в самом деле, вместо туза у него стояла пиковая дама“, — Мериме переводит только „Германн вздрогнул. Вместо туза перед ним была пиковая дама“, опуская такие характерные и выразительные слова, как „стояла“ и „в самом деле“, и тем нарушая стиль повествования. Между тем, именно эти слова придают фразе тот субъективно-экспрессивный оттенок, который так любит присваивать пушкинскому тексту Мериме и который совершенно исчезает, если опустить это акцентное начало фразы. В другом случае, — описывая посещение Германном спальни графини, Пушкин отдельными штрихами рисует ее мрачную обстановку и, между прочим, говорит: „полинялые штофные кресла и диваны в печальной симметрии стояли около стен“. Мериме опускает „в печальной“ — и пишет: „были сим-

метрически расставлены“. Очевидно, этот штрих в общем контексте описания печальной обстановки полунощной спальни ускользнул от Мериме. Описывая игру у конногвардейца Нарумова, Пушкин говорит: „Те, кто остались в выигрыше, ели с большим аппетитом; прочие в рассеянности сидели перед пустыми своими приборами“. Мериме опускает „в рассеянности“ и говорит: „глядели на пустые свои тарелки“ („regardaient leurs assiettes vides“, вместо „regardaient distraitement“). Таким образом момент психологической характеристики, которую вбирает в себя выражение „в рассеянности“, — пропадает; пропадает и противопоставление сытого оживления одних — рассеянному „голоданию“ других. Такие, ничем не мотивированные и неоправданные купюры у Мериме нередки. — Если у Пушкина „старая графиня не имела ни малейшего притязания на красоту, давно увядшую“, — Мериме опускает — „давно увядшую“ и оставляет только — „на красоту“, забывая, что некогда — „в Париже... народ бегал за ней, чтобы увидеть „la Vénus moscovite“. Таким образом он дает основание для ошибки семантического порядка.

Но как купюры, так и просто нивелировка далеко не всегда носят у Мериме такой случайный характер. Так, если мечтая о трех картах, о тайне графини, Германн готов — „пожалуй, сделаться ее любовником“ (восьмидесятилетней старухи!), Мериме переводит только „lui faire la cour“, т. е. „ухаживать за ней“. Надо думать, что эта нивелировка не случайна и что она свидетельствует о каком-то „причесывании“ перевода, соответственно вкусам читателей и салонным нравам эпохи.

Мне хочется остановиться еще на самых существенных купюрах, имеющих, несомненно, принципиальное значение. Мериме выкинул из этой повести все эпиграфы. Это тем более странно, что пушкинские эпиграфы — оружие из того же романтического арсенала, которым пользовался и Мериме. Известно, какое значение придавали романтики тому особому колориту, какой приобретали их повести благодаря обильным эпиграфам. Этого увлечения эпиграфом, как элементом композиционного построения повести, не избег и Пушкин. Так, эпиграфы к первой главе „Пиковой Дамы“ вводят читателя в надлежащее русло повествования. Достаточно вспомнить первую такую „многозначительную“ строчку, как „Пиковая дама означает тайную недоброжелательность“ — эпиграф большого композиционного значения, варьирующийся на различные лады в сюжетном развитии повести.

Чем руководствовался Мериме, опустив все до одного эпиграфы к „Пиковой Даме“, сказать трудно, тем более что половина этих эпиграфов (три из семи) даны у Пушкина по-французски, что избавляло его от трудностей перевода.

Мы уже говорили о нарушениях стилистической ткани произведения, допускаемых Мериме.

Мериме часто нарушает ритмический рисунок оригинала введением союзов, которые колеблют ритмическую структуру и уравнивают ее

по-новому. Поэтому-то его перевод оставляет впечатление прекрасного ритмического целого, но построенного на каких-то иных основах, на каком-то ином условном „метрическом счете“. Если пушкинская фраза оставляет впечатление большой компактности, плотности и легкости материала, то фраза Мериме из-за вводных слов, добавлений и украшений кажется гораздо более пористой.

„Дверцы кареты захлопнулись. Карета тяжело покати́лась по рыхлому снегу. Швейцар запер двери. Окна померкли“. Хронологическая последовательность событий фиксируется отрывистыми, короткими фразами. Не то у Мериме. „La portière se ferma (et) la voiture roula (sourde-ment) sur la neige molle. Le suisse ferma la porte (de la rue). Les fenêtres (du premier étage) devinrent sombre, (le silence régna dans la maison)“.¹

Этот пример взят нами совершенно случайно, наугад. Мы привели его не потому только, что семантика фразы изменилась, не потому, что здесь введены новые реалии, новые образы („в доме воцарилась тишина“), но потому, что строй, динамика, композиция пушкинской фразы здесь нарушены.

Мы видим, что амплификация у Мериме — вещь не такая уже безобидная. У Пушкина: „Дама, выбранная Томским, была сама княжна***“. У Мериме: „La dame, qui en vertu de ces infidélités, que la mazurka autorise, venait d'être choisie par Tomski, était la princesse Pauline“, т. е. „дама, которая по праву неверности, допускаемой мазуркой, оказалась выбрана Томским, — была княжна Полина“. Пушкинские три звездочки воплотились в реальную княжну. Трехчленная, лаконическая пушкинская фраза разбухла до неузнаваемости, стала расплывчатой, бесхребетной.

Пушкин не пытается убеждать, его логика в действиях, которые убедительны сами по себе: „Не пугайтесь, ради бога не пугайтесь...“, говорит Германн в спальне у графини. „Я не имею намерения вредить вам; я пришел умолять вас об одной милости“. Здесь противопоставление: „не имею намерения вредить... пришел умолять“ — ясно само по себе. Мериме говорит: „Je ne veux pas vous faire le moindre mal. Au contraire, c'est une grâce que je viens implorer...“²

Таким образом внутренняя логика пушкинского противопоставления нарушается; по своему характеру эта фраза чужда оригиналу. Метод убеждения и показа здесь не пушкинский.

Недостаточное знакомство со всеми применениями, со всеми вторичными употреблением слова влечет подчас не только стилистические искажения, но и не совсем правильное преломление образа героя даже у такого большого писателя, как Мериме. В меньшей степени это относится к образу

¹ Я заключаю в скобки слова и обороты, которых у Пушкина нет. „Дверцы закрылись (и) карета глухо покати́лась по рыхлому снегу. Швейцар запер двери (на улице). Окна (первого этажа) померкли, (в доме воцарилась тишина)“.

² „Я не имею намерения вредить вам. На о б о р о т, я пришел умолять“ и т. д.

Лизаветы Ивановны; в большей — к образу Германна. Если, знакомя нас с Германном, Пушкин заставляет его признаться, что игра занимает его сильно, но он „не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее“, то речь идет, конечно, не о психологическом состоянии Германна. Тем более, что в следующей главе Пушкин варьирует это заявление, напоминая, что „никогда не брал он карты в руки, ибо рассчитал, что его состояние не позволяло ему, (как сказывал он) жертвовать необходимым“. Здесь дается не только психологическая, но и социальная характеристика героя. Германн — своеобразный разночинец в среде титулованного и богатого дворянства. Не то у Мериме. Он определенно указывает, что Германн „не расположен жертвовать необходимым“ („je ne suis pas d'humeur“, вместо „je ne suis pas en état“), тем совершенно нарушая психологическую и социальную характеристику героя. Трудно сказать, коренится ли эта ошибка в недостаточном знакомстве с омонимическим значением русского слова (состояние), с двойственным его применением, но во всяком случае, толкование этого слова, применительно к характеристике героя, неправильно. Любопытно, что во втором случае Мериме не нарушает семантики этого словоупотребления, повидимому раскрывшейся для него в другой грамматической форме („его состояние не позволяло ему“ — „sa position ne lui permetta pas“). Но, если Пушкин говорит: он „... рассчитал, что его состояние не позволяло ему...“, то Мериме переводит „он понимал“ („il comprenait“); таким образом характеристика Германна („Германн — немец, он расчетлив, вот и всё!“), повторяющаяся как лейтмотив на протяжении всей повести, — теряется и пропадает у Мериме.

Но образ Германна искажается не только по этой линии. У Пушкина Германн, получив письмо бедной воспитанницы, „возвратился домой, очень занятый своей интригой“. Мериме, подчеркивая этот момент, говорит о „любвонной интриге“ („content de son intrigue amoureuse“). Конечно, это утверждение неправильно. Правда, образ Германна далеко не схематичен у Пушкина, и двупланность всей его повести сказывается и в двойственности отношения Германна к Лизавете Ивановне. Минута, когда он увидел „свежее личико и черные глаза“, „решила его участь“. Но все же он бродил вокруг дома графини, поглощенный одной страстью: „деньги, вот чего алкала его душа!“. Одержимость его одной идеей слишком яркой нитью пронизывает ткань этой повести, чтобы можно было говорить о „любвонной интриге“, как это делает Мериме. Если у Пушкина Германн бродит около дома графини, „думая об его хозяйке и чудной ее способности“, то Мериме добавляет: „о ее богатстве“. Этим он упрощает пушкинский замысел. Потому что Германна волнует не богатство, но, в силу его одержимости, тайна, которой владеет графиня (ключ для него к этому богатству). Стараясь акцентировать, Мериме снижает замысел Пушкина, растворяя его в несколько банальных деталях, и, следовательно, снижает образ Германна.

Пожалуй еще существеннее преломление, какое Мериме дает другому образу, определяющему весь характер этой повести: „Пиковая Дама“ — это заглавие двузачно в представлении Пушкина; оно говорит о „двупланности“ не только пушкинского слова, но пушкинского образа. Полумистическая тайна, которой окутан этот образ, неотступно следует за ним до той минуты, когда Германи открывает свою карту. „Чей это дом? — спросил он у углового будочника — Графини ***“. Имени нет. Только в первой главе графиня предстает как „бабушка Анна Федотовна“; в дальнейшем, вполне реалистический образ старой графини становится все отвлеченнее, загадочнее, пока в последний момент двузачность „Пиковой Дамы“ не становится очевидной и образ старой графини не сливается с понятием карты. („Пиковая дама означает тайную недоброжелательность“ — эпитафия, выброшенная Мериме.) Мериме не вполне уловил это. Если в начале второй главы Пушкин говорит: „Старая графиня сидела в своей уборной перед зеркалом“, Мериме переводит: „Старая графиня Анна Федотовна“, этим сразу вводя полузагадочную старуху в бытовой, сугубо бытовой контекст эпохи. Пушкин нигде, кроме начала первой главы, не называет графиню по имени. Точно так же, если в самом конце, открыв карту, „Германи вздрогнул... ему показалось, что пиковая дама прищурилась и усмехнулась. Необыкновенное сходство поразило его...“, Мериме говорит: „Он с ужасом заметил странное сходство этой пиковой дамы с покойной графиней“. Это не то. И не только потому, что Мериме дает пояснительный перевод, нарушая недоговоренность пушкинской фразы и лаконическое замечание превращая в пространное описание из двадцати одного слова, но потому, что образ старухи совпадает, сливается в этот момент для Германи с подмигнувшей ему пиковой дамой, а противопоставление „этой пиковой дамы“ „покойной графине“ раздвигает параллель, отдаляет тесное сходство. Так пропадает слияние этих двух образов, скрещение двух планов, параллельно сосуществующих в повести и смыкающихся в ее конце.

Следует остановиться еще на одном виде „применений“, неправильно переданных Мериме. Вспомним у Пушкина: „Ровно в половине двенадцатого Германи ступил на графинино крыльцо“. Он вошел в слабо освещенную спальню (и дальше): „В гостиной пробило двенадцать: по всем комнатам часы одни за другими прозвонили двенадцать...“. У Мериме: „Германи ступил на графинино крыльцо ровно в одиннадцать“... Еще ранее у Пушкина: „Он подошел к фонарю, взглянул на часы — было двадцать минут двенадцатого“. У Мериме: „было без двадцати одиннадцать“.¹ „Приходите в по-

¹ Если Пушкин говорит о горничных девушках старой графини: „Одна держала банку румян, другая коробку со шпильками, третья высокий чепец с лентами огненного цвета“, — Мериме переводит: „une autre une boîte d'épingles noires; une troisième... un énorme bonnet de dentelles“, т. е. „другая коробку с черными (?) шпильками; третья держала огромный кружевной чепец с лентами“ и т. д.

ловине двенадцатого“, — пишет Лизавета Ивановна Германну. „Приходите в одиннадцать“ пишет она у Мериме („Entrez dès que onze heures sonneront“). Дело не в прямой смысловой ошибке, допущенной Мериме. Дело в нарушении семантики второго плана, побочного значения; в нарушении смысла аллюзии, упорно повторяющейся у Пушкина. Вспомним речь молодого архиерея у гроба графини: „Ангел смерти обрел ее бодрствующую.... в ожидании жениха полуночного“. Вспомним о том, несколько таинственном значении, какое народное предание обычно приписывает двенадцатому часу — полуночи („Ровно в половине двенадцатого Германн ступил на графинино крыльцо“), — и смысл пушкинской аллюзии, кажется, станет для нас ясен. Но этот смысл ускользнул от Мериме. Потому-то — „по всем комнатам часы одни за другими пробили двенадцать“ (такой прекрасный повтор) Мериме вовсе выбрасывает из своего перевода.

Остановимся на ошибках стилистического порядка. „Не чувствуя раскаяния“, Германн не мог, однако, „заглушить голос совести, твердивший ему: ты убийца старухи!“ Мериме говорит: „не мог скрыть от себя, что был убийцей этой бедной женщины“. Другой регистр, другой тон. „Тройка, семерка, туз — скоро заслонили в воображении Германна образ мертвой старухи“. Мериме пишет: „стерли воспоминание о последних минутах графини“.

Еще пример: „Многочисленная челядь наперерыв обкрадывала умирающую старуху“. Мериме вовсе выбрасывает окончание фразы („tout chez elle était au pillage“, т. е. „у нее все растаскивали“). Случайно ли Мериме повсюду образ „мертвой старухи“ заменяет образом „графини“ или „бедной женщины“? Нам кажется, что эти отклонения не случайны, что здесь проскальзывает бессознательное стремление Мериме к „облагораживанию“ перевода, стремление вставить его в прочные рамки салонной повести.

Надо признать, что прием повторов не прошел незамеченным для Мериме. И, все же, в мелочах и этот прием от него ускользает. Образ банкюмета (Чекалинский) построен у Пушкина на настойчивом звучании одной и той же ноты: „Чекалинский улыбнулся и поклонился молча, в знак покорного согласия“. „Чекалинский поклонился с видом того же смиренного согласия“. Мериме в одном случае выбрасывает эпитет и оставляет: „Чекалинский поклонился в знак согласия“ („s'inclina en signe d'assentiment“, тогда как в первом случае он пишет: „поклонился любезно“ — „poliment“). У Пушкина: „Чекалинский ласково ему поклонился“, и дальше: „Дама ваша убита, — сказал ласково Чекалинский“. Мериме в первом случае оставляет „ласково“ („d'un air caressant“), а во втором заменяет этот эпитет: „d'un ton mielleux“ („сказал медовым голосом“), вводя таким образом новую метафору. Но это уже мелочи.

Отчасти следуя романтической традиции эпохи, Мериме охотно сохраняет в своем переводе варваризмы, придающие особый лексический

тон, особую окраску описываемым событиям. Так, он сохраняет такое специфическое для русского языка „денщик“, и берет в скобки не менее важное „будочник“. Эти варваризмы придают переводу несколько эксцентрический оттенок, вовсе чуждый пушкинской повести.

В чем же большие и неоспоримые достоинства, в чем обаяние этого перевода, о недостатках которого мы говорили?

Прежде всего — в том непосредственном дыхании искусства, какое веет над ним. Жест Мериме непринужден и свободен, — это жест художника. И если Мериме „дописывает“ иногда за Пушкина, если сухие контуры пушкинского рисунка пытается иногда расцветить по-своему, то он все же с непревзойденным мастерством дает в своем переводе превосходный образчик французской прозы, в общем достаточно близкий к пушкинскому оригиналу. Но о неточностях этой „копии“ забывать не следует, как не следует их обходить молчанием. Он по-своему смешивает краски, и копия его во многом отличается от оригинала. Но не вполне овладев техникой пушкинского мазка, Мериме с гениальной непосредственностью, свободным жестом художника рисует общие контуры этой повести, вошедшей, таким образом, в сокровищницу его собственного литературного наследства. Услышали ли мы в этом переводе как говорит Пушкин? Нам кажется, что голос нашего поэта доносится до нас иногда заглушенным, что эхо его не так отчетливо, как нам бы хотелось. И все же могучее мастерство Мериме донесло до нас, правда, несколько искаженного, но „живого“ Пушкина, не подвергая его той вивисекции, какую обычно проделывает ремесленный перевод.

*

В последнем номере французского литературоведческого журнала „Revue de Littérature Comparée“, посвященном Пушкинскому юбилею, помещена заметка Партюрье об одном из первых рукописных вариантов перевода Мериме „Пиковая Дама“. Этот вариант, с небольшими поправками и является, по мнению Партюрье, прототипом того перевода, который был напечатан в „Revue des Deux Mondes“ от 15 июля 1843 г.

Как известно, оригинал перевода, напечатанного в „Revue“, хранится в Пушкинском Доме Академии Наук СССР в Ленинграде.¹ Вариант, описанный Партюрье, датирован маем 1849 г. (15 мая). Этот вариант переписан женской рукой и носит инициалы С. D. V., которые Партюрье, путем сличения почерка, расшифровывает как имя Сесиль Делессер Валон. Рукопись перевода подшита к экземпляру первого издания „Кармен“ Мериме.

Как указывает Партюрье, в этом первом варианте перевода Мериме сознательно выпустил несколько мест, смысл которых был для него

¹ Поступил в составе собрания А. Ф. Онегина.

неясен. Таким образом ему удалось избежать пресловутой ошибки со словом „затянулся“ („Томский закурил трубку, затянулся и продолжал“. Пушкин). В первом печатном издании „Revue des Deux Mondes“ у Мериме, как указано, вместо „затянулся“ было „затянул кушак“ („resserra sa ceinture“). Эта ошибка была исправлена им при вторичном издании перевода, по указанию Льва Пушкина, бывшего в Париже в августе 1851 г. Таким образом в издании „Nouvelles“ 1852 г. мы уже читаем: „... avala une bouffée de tabac“.

Вряд ли, однако, можно приветствовать, как это делает Партюрье (применительно к рукописному варианту перевода „Пиковой Дамы“), прием избежания ошибок путем пропуска непонятных мест. Этим приемом неоднократно пользовался Мериме и в печатных вариантах перевода. Так, в описании спальни графини: „По всем углам торчали фарфоровые пастушки, столовые часы, работы славного Leroy, коробочки, рулетки, веера...“, — неправильно переводя в первом варианте „рулетки“ через *épigrées* (вместо *émigrettes*), Мериме во вторичной редакции перевода вовсе выпустил этот термин; „рулетки“ исчезают; вместо них появляются кикие-то неведомые „вазы“ („Dans tous les coins on voyait les bergers en porcelaine de Saxe, des vases de toutes formes, les pendules de Leroy, des paniers, des éventails...“).

Как мы видим, осторожность, заставившая Мериме пропустить непонятное слово, не спасла его от ошибки, родившейся, очевидно, из желания дать компенсацию пропущенному слову. Как показывает сличение перевода с оригиналом (к которому, очевидно, не прибегал Партюрье), как в первом, так и во втором печатном варианте Мериме широко пользовался методом купюр и компенсаций (а то и просто амплификаций), далеко не всегда достаточно обоснованных. Выше мы уже останавливались на этом. Однако здесь следует остановиться еще на одном примере, на который не совсем удачно ссылается Партюрье. Утверждая, что в своей работе над вариантами перевода Мериме стремился к максимальной сжатости, Партюрье, как на пример такой стилистической эволюции, указывает на один абзац, соответствующий пушкинскому: „В эту минуту ему показалось, что пиковая дама прищурилась и усмехнулась“. В рукописном варианте (Партюрье) первоначально было: „Les yeux attachés sur cette carte funeste, il lui sembla que la dame de piques (*sic*)¹ clignait un œil et lui souriait d'un air moqueur“. В первом печатном варианте „Revue des Deux Mondes“ вторая половина фразы выглядит так: „il lui sembla que la dame de pique, clignait de l'œil et lui souriait d'un air railleur“. Отклонение незначительное. Стремясь к максимальной сжатости, говорит Партюрье, Мериме дает во второй редакции сокращенный вариант: „les yeux attachés

¹ Восклицая „sic“ по поводу этой ошибки, Партюрье упускает из виду, что рукопись писана чужой рукой и описка не обязательно должна быть отнесена на счет Мериме. В тексте „Revue“ всюду стоит „dame de pique“.

sur cette carte funeste, il lui souriait d'un air railleur“ (т. е. — „он ей насмешливо улыбался“).

При этом Партюрье ссылается на текст, отредактированный Монго (издание *Champion*) и воспроизводящий второе, исправленное самим Мериме издание перевода „Пиковой Дамы“.¹ Мы не имели возможности сверить этот вариант с изданием *Levy*, которым, повидимому, не воспользовался и сам Партюрье, и вынуждены были ограничиться сравнением этого варианта с брюссельским изданием „*Nouvelles*“, вышедшим в том же 1852 г.² и, очевидно, воспроизводящим отредактированное Мериме парижское издание „*Nouvelles*“, содержащее исправленный вариант перевода „Пиковой Дамы“ (так, в брюссельском издании уже исправлена ошибка со словом „затянулся“, *tombeau* заменено „*sercueil*“ и т. д.). Отсюда ясно, что это издание перевода воспроизводит текст „*Nouvelles*“, а не „*Revue des Deux Mondes*“). В брюссельском издании 1852 г. фраза, на которой мы здесь останавливаемся: „В эту минуту ему показалось“ и т. д. звучит аналогично той же редакции, что дана в „*Revue des Deux Mondes*“ 1849 г. Таким образом остается выяснить, отнести ли приведенный Партюрье вариант за счет опечатки, вкравшейся в издание *Champion* (что мы и склонны сделать), или за счет опечатки, вкравшейся в издание „*Nouvelles*“ *Levy* и воспроизведенной у *Champion* без всяких комментариев.

Нам пришлось так подробно остановиться на незначительном с виду отклонении перевода не только потому, что оно является грубым искажением подлинника, но и потому, что этот переводческий (или типографский) ляпсус вызвал восторженное одобрение французского исследователя. Это говорит как о том несомненном пристрастии, с каким относятся к переводам Мериме самые придирчивые французские критики, так и о низком уровне требований, какие порой предъявлялись к переводам французской критикой.

Как бы там ни было, даже принимая во внимание несколько „вольный“ во многих случаях перевод Мериме, мы склонны рассматривать этот вариант не как сознательную стилистическую редакцию, направленную к „максимальной сжатости“ перевода, но как авторскую опisku или типографскую опечатку. К тому же, даже если согласиться с точкой зрения Партюрье, что перевод Мериме эволюционировал в сторону сжатости, мы должны будем признать, что Мериме — переводчик Пушкина — склонен был к амплификациям и к украшательству в такой же степени, как и к купюрам и усечениям пушкинского текста. О том же свидетельствует и фраза, на которую ссылается Партюрье. Как бы то ни было, Партюрье ни словом не оговаривает того, что этот перевод далеко не идентичен подлиннику. Так, слова „*Les yeux attachés sur cette carte funeste*“ вообще отсутствуют в оригинале. „Стремясь к максимальной сжатости перевода“,

¹ „*Nouvelles*“, Paris, 1852, Ed. Michel Levy.

² „*La dame de pique*“. Trad. du russe par Mérimée. Suivi du „*Roi de trèfle*“, par Ponçon du Terrail“. Bruxelles, 1852, Imprimerie Victor Manche.

Мериме должен был в первую очередь отбросить эту совершенно произвольную амплификацию. В то же время стяжение, допущенное во второй половине фразы, совершенно искажает смысл подлинника: субъектом здесь оказывается не пиковая дама, которая, как Германну показалось, „прищурилась и усмехнулась“, а сам Германн, который „ей насмешливо улыбался“ „il lui souriait d'un air railleur“). Такой произвольный перевод совершенно нарушал бы не только смысл всего абзаца, но и параллелизм повторов, семантику образа Пиковой Дамы, его двупланность. (Вспомним сцену у гроба графини: Германн „бледен как сама покойница, взошел на ступеньки катафалка... В эту минуту показалось ему, что мертвая, насмешливо взглянула на него, прищуривая одним глазом“.) Нарушение параллелизма и семантики образа настолько резко бросается здесь в глаза, что мы склонны были бы счесть эту ошибку за простую опisku или опечатку, вкрадшуюся в повторное издание, если бы не настойчивое указание Партюрье, считающего этот вариант значительной удачей Мериме. Любопытно, что ни Партюрье, ни такой внимательный комментатор перевода Мериме, как Монго (Ed. Champion, 1831), не обратили внимания на nonsens, который получился в результате такого „стяженного“ перевода. В подробных комментариях к „Пиковой Даме“ в переводе Мериме Монго, отмечающий малейшие изменения во второй редакции перевода, не упускающий случайных описок, разночтений¹ и вариантов в точках и точках с запятыми, — проходит равнодушно мимо этого ляпсуса, также как и мимо допущенной Мериме амплификации, никак не оговаривая ни того ни другого.

Как мы видели, „Пиковая Дама“ в переводе Мериме продолжала эволюционировать вплоть до последней авторской редакции в издании 1852 г. Поспешив исправить в этом вторичном издании пресловутую ошибку со словом „затянулся“, Мериме вносит в свой перевод и ряд других, к сожалению мало существенных, поправок. В заметке о рукописном варианте перевода Партюрье останавливается лишь на первом печатном издании перевода. Утверждая, что „изменения в тексте перевода между маем (рукописный вариант) и июлем (печатный вариант) 1849 г. были очень глубоки“, Партюрье приводит ряд мало существенных изменений, не позволяющих с достаточным основанием судить о характере уточнений и авторских правок, внесенных Мериме в печатный вариант перевода. Эти правки свидетельствуют о достаточной неуверенности Мериме-переводчика, блуждающего наугад между возможностями различных вариантов. Так, характеристика роли Лизаветы Ивановны: „она сопровождала графиню в ее прогулках, и отвечала за погоду и за мостовую“ — в рукописном варианте перевода звучала так: „c'était à elle qu'on s'en prenait des mauvais chemins et des ponts à réages“ (т. е. „за дурные дороги и за дорожные мосты“); в печатном варианте „Revue des Deux Mondes“ это место

¹ Так, прочитав „десятка“ вместо „девятка“, Мериме перевел „un dix“ вместо „un neuf“.

было исправлено: „qu'on s'en prenait du mauvais pavé et du mauvais temps“, что соответствует подлиннику. Зато, правильно переведя в рукописном варианте „полосатый чулок“ как „bas rayé“, Мериме исправил в издании „Revue des Deux Mondes“ на „bas à jour“ (ажурный). Эта ошибка сохранилась и в последующих изданиях. Эта поправка Мериме дает Партюрье основание утверждать, что в печатном варианте Мериме местами изменил перевод в ущерб точности, более непогрешимой в рукописной редакции.

В повторном издании 1852 г. Мериме вносит в перевод и ряд других, к сожалению мало существенных, поправок. Если в подлиннике, присутствуя на отпевании графини, „Германн решился подойти ко гробу“, то в печатном варианте (первом) Мериме переводит: „подойти к могиле“ („vers le tombeau“), что в картине прощания с телом усопшей звучит как явный nonsens. В издании 1852 г. эта ошибка была исправлена переводчиком.

Однако, как мы указали выше, целая вереница ошибок, неточностей и пропусков притаилась и в этом, исправленном самим Мериме, издании. Неточности фигурируют не только в первом печатном варианте перевода Мериме, но и во втором, исправленном им, издании. Ограничиваясь беглыми замечаниями о некоторых отклонениях в редакции первого варианта, Партюрье не указывает на все ошибки этого варианта. Таким образом остается неизвестным, страдает ли рукописный вариант, описанный Партюрье, теми же дефектами, что и последующие редакции перевода. Остается пожалеть об этом, так как более подробное описание рукописи дало бы нам возможность хотя бы приблизительно судить о той эволюции, какую проделал перевод за этот период времени. Некоторые намеки на такую эволюцию даны у Партюрье. Любопытным примером может служить имя „героини“ — „Лизаветы Ивановны“, которая в рукописном варианте именуется „Elisabeth“. В первой печатной редакции фигурирует уже „Lisabeta“. Эта эволюция вполне совпадает с той тенденцией сохранения варваризмов (во всяком случае созвучна с ней), которая характерна для перевода Мериме в его окончательном виде.

Остановившись на изменениях в тексте перевода, сделанных между маем и июлем 1849 г., Партюрье отмечает, что они представляют собой еще больший интерес для суждения о работе Мериме над стилем перевода, чем неизданные рукописные варианты перевода „Цыган“. Сравнительное исследование рукописи перевода „Цыган“ и варианта „Пиковой Дамы“, сохранившегося в копии Сесиль Делессер, — говорит Партюрье, — позволяет судить об успехах Мериме-переводчика Пушкина в период с 1849 по 1852 г.“.





**МАТЕРИАЛЫ
И
СООБЩЕНИЯ**



я. и. ясинский

РАБОТА ПУШКИНА НАД ИСТОРИЕЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

I

В числе рукописей Пушкина, хранящихся в Всесоюзной Публичной библиотеке им. В. И. Ленина, имеется тетрадь № 2377 Б, содержащая различные выписки на французском языке из газет и из исторических сочинений. Один ряд цитат находится на лл. 1—4 тетради; другой, начинаясь с последней страницы верхом вниз, занимает лл. 10 об.—5. Расположение записей указывает, что Пушкин, используя тетрадь для одной серии выписок, впоследствии решил заполнить оставшиеся чистые листы новым материалом и начал вписывать его с последней страницы. Какая из этих серий цитат предшествовала другой, не выяснено; нераскрытым оставался до сих пор и источник выписок, находящихся на лл. 10 об.—5 указанной тетради от слов: „...Les Francs envahissaient la Gaule...“ до „...celle des Anglais fut perpetuelle“.¹

Источником последних выписок, как мы устанавливаем, является сочинение Вольтера: „Essai sur les mœurs et l'esprit des nations et sur les principaux faits de l'histoire depuis Charlemagne jusqu'à Louis XIII“ („Опыт о нравах и духе народов и о главных событиях истории от Карла Великого до Людовика XIII“).

„Опыт о нравах“, или, как он назывался первоначально, „Опыт всемирной истории“ („Essai sur l'histoire universelle“) выдержал при жизни Вольтера пять авторизованных изданий, из которых первое, шеститомное, было напечатано в Дрездене в 1754—1758 гг. Творческий замысел этого сочинения относится к концу 30-х годов XVIII столетия — к эпохе дружбы

¹ Эти выписки напечатаны, вместе с переводом, в книге „Рукою Пушкина“, 1935, стр. 522—531; данные о расположении выписок в тетради № 2377 Б почерпнуты нами из сопровождающего публикацию комментария.

Вольтера с маркизой Шатле. Вольтер поставил себе цель создать исторический труд, построенный на идеологическом контрасте с теми компиляциями, которыми до него была наводнена историческая литература. Вместо перечисления королей и панегирического описания битв, вместо „скучнейших подробностей и возмутительных небылиц“ Вольтер решил показать своему читателю „историю генеральных штатов, муниципальных законов, рыцарства, всех наших обычаев и, в особенности — общества, когда-то дикого, а в наши дни уже достигшего цивилизации“.¹

В „Опыте о нравах“ история, действительно, получила новое осмысление — и в этом большая заслуга Вольтера, революционизирующее значение которой до сих пор едва ли достаточно оценено. Вольтер первый из историков дал обобщающее освещение фактов, выдвинул гуманитарное начало в противовес господствовавшей традиции строить исторические сочинения на апофеозе войны, смело поднял голос против захватнических стремлений и практики макиавеллизма и заклеймил лицемерие и обскурантизм церковников. И если порой сам Вольтер подпадает под власть национальных предрассудков (например его высказывания в главе СII), то принципиальные и методологические достоинства „Опыта о нравах“ в основном искупают все случайные недостатки этой замечательной книги, осужденной Ватиканом, но получившей высокую оценку со стороны прогрессивной критики. К числу современников Вольтера, воздавших должное широте и новизне его мировоззрения, принадлежал Кондорсе, сказавший по поводу „Опыта о нравах“ в своей „Жизни Вольтера“: „Это сочинение поставило Вольтера в разряд самостоятельных историков и именно ему выпала честь произвести в искусстве писать историю переворот, которым до сих пор, по правде, воспользовалась почти только Англия. Юм, Робертсон, Гиббон, Ватсон могут в некоторых отношениях считаться вышедшими из его школы“.²

Пушкин ценил в Вольтере-историке философа и новатора, могущего считаться родоначальником новой исторической школы. В последние дни своего пребывания в Одессе (5 июля 1824 г.) он писал в письме, предположительно относимом к П. А. Вяземскому: „Французы ничуть не ниже

¹ Voltaire. „Remarques pour servir de supplément à l'Essai sur les mœurs“ (1763).

² A.-N. Condorcet. „Vie de Voltaire“ (1787). Отзыв Кондорсе в свое время мог повлиять на круг чтения Пушкина и в какой-то мере отразиться на формировании его ранних исторических интересов. В отрывках лицейского дневника 1815 г. имеется запись от 10 декабря: „Путру читал *Жизнь Вольтера*“. С наибольшей степенью вероятности можно отнести эту запись к книге Кондорсе, так как среди одноименных биографий Вольтера работа знаменитого жирондиста безусловно занимает первое место. Не исключена возможность использования Пушкиным отзыва Кондорсе и по линии художественного творчества: вскоре после цитированного нами места Кондорсе упоминает о стансах Вольтера, посвященных маркизе Шатле („Si vous voulez que j'aime encore“), как об анакреонтической оде „стоящей гораздо выше подобных од Горация, хотя последний, по крайней мере, по мнению людей с мало-мальски современным вкусом, превзошел свой образец“. Именно эти стансы переведены Пушкиным в первой половине 1817 г.

англичан в истории. Если первенство чего-нибудь да стоит, то вспомните, что Вольтер первый пошел по новой дороге — и внес светильник философии в архивы истории. Робертсон сказал, что если бы Вольтер потрудился указать на источники своих сказаний, то бы он, Робертсон, никогда не написал своей истории“. Любопытно, что ссылка Пушкина на Робертсона является нитью, ведущей именно к „Опыту о нравах“, чего не удалось установить Б. Л. Модзалевскому, так как в книге английского историка он не нашел соответствующего высказывания о Вольтере.¹ В примечании XLIV к вводной части „Истории царствования императора Карла V“ Робертсон говорит: „Во всех своих рассуждениях о развитии правительств, нравов, литературы и торговли <...> я ни разу не цитировал г. Вольтера, который в своем «Опыте всемирной истории» рассмотрел те же предметы и исследовал тот же исторический период. Это не значит, что я пренебрег творениями этого замечательного человека, чей гений, в равной степени смелый и всеобъемлющий, испытан почти во всех родах литературных сочинений. В большей их части он превосходит, во всех он приятен и поучителен. Можно лишь пожалеть, что он проявил недостаточно уважения к религии. Но так как он редко следует примеру современных историков, указывающих источники, из которых ими почерпнуты излагаемые факты, то я не мог опереться на его веское мнение в подтверждение какого-нибудь темного или сомнительного обстоятельства. Однако я следовал за ним как за руководителем в моих изысканиях, и он указал мне не только обстоятельства, на которых было важно остановиться, но и следствия, которые из них надлежало извлечь. Если бы он в то же время назвал книжные источники, где можно найти эти подробности, он избавил бы меня от значительной части моей работы,² и многие из его читателей, ценящие его только как приятного и занимательного сочинителя, обнаружили бы в нем также ученого и глубокого историка“. Как видно, Пушкин не имел под руками точного текста, на который он ссылается в своем замечании о французских историках; цитируя на память, он вкладывает в слова Робертсона иное содержание и значительно форсирует его признание своей зависимости от Вольтера.

Занятия Пушкина историей до 30-х годов скрещивались, по преимуществу, с его художественными замыслами. В эпоху сотрудничества в „Литературной Газете“ спор по поводу „аристократов в литературе“ и столкновение с Полевым были в числе причин, заставивших Пушкина искать определенной формулировки своих исторических взглядов, о чем

¹ „Пушкин. Письма“, под ред. и с прим. Б. Л. Модзалевского, Л., 1927, т. I, стр. 87 и 337—338.

² „S'il avait en même temps cité les livres originaux où les détails peuvent se trouver, il m'aurait épargné une grande partie de mon travail“. См. W. Robertson, „Histoire du règne de l'empereur Charles-Quint... traduite de l'anglais par J. B. A. Suard...“, Paris, MDCCCXVII, том I, стр. 486—487 (№ 1319 библиотеки Пушкина, „Пушкин и его современники“, вып. IX—X; в дальнейшем номера этого описания цитируем лишь как: Библиотека Пушкина).

свидетельствуют как его полемические выступления этой поры, так и многочисленные заметки и наброски, затрагивающие вопрос об исторической роли русского дворянства. О наличии тяготения к классовым темам сохранился четкий след и в его переписке. В 1831 г. наблюдается вспышка нового интереса Пушкина к истории — на этот раз к области самостоятельного исследовательского творчества. Хронологически это совпадает с полемикой по поводу „Истории русского народа“ Н. Полевого, тезисы которого (в частности — о феодализме в России) были для Пушкина принципиально неприемлемы; вероятно, обращение к научному сюжету было связано не только с настроением, побуждавшим Пушкина „пуститьсь в политическую прозу“, но и с тем возрастающим вниманием, которое он уделял событиям во Франции. В письме к Е. М. Хитрово (середина июня 1831 г.) Пушкин говорит о предпринятой им работе по истории французской революции и просит прислать ему сочинения Тьера и Минье, запрещенные в России. Как он сам указывает, он имел в своем распоряжении по данной теме только серию мемуаров, относящихся к французской революции.¹ Жизнь в Царском Селе, сравнительно уединенная и на отлете от столицы, создавала условия, при которых трудно было разыскивать и приобретать нужную литературу. Вспыхнувшая вскоре в Петербурге холера должна была усилить бытовые трудности. Предполагавшейся встрече Пушкина с Беллизаром помешало карантинное оцепление (Письмо Чаадаеву от 6 июля). Естественно, что при скудости книжных ресурсов Пушкину пришлось обратиться к тем литературным источникам, которые могли оказаться под рукою, и прежде всего — к излюбленному Вольтеру.

В сорока-двух-томном собрании сочинений Вольтера, имевшемся в личной библиотеке Пушкина, „Essai sur les mœurs“ составляет содержание томов X, XI и XII;² т. X разрезан почти весь (за исключением стр. 154—187); т. XI — до конца главы ХСVII (до стр. 339 вкл.), в т. XII разрезано только оглавление. Повидимому, одновременно с „Опытom о нравах“ Пушкин просматривал „Летописи империи“ („Annales de l'Empire“, — том XVI сочинений Вольтера,³ в котором разрезаны стр. 17—265, т. е. до 1347 г.) и „Историю парижского парламента“ („Histoire du parlement de Paris“ — тот же том, в котором разрезаны стр. 561—617, т. е. включая главу VIII, которая носит заглавие: „О пэрах и кто были пэры, приговорившие к смерти короля Иоанна Безземельного“). Таким образом чтение „Летописей империи“ Пушкин прервал почти на той же дате, которой кончаются выписки (1347—1355 гг.), а „Историю парижского парламента“ просмотрел до эпохи Карла VII (первая половина XV в.), составляющей тему главы VII. Пометок Пушкина на страницах указанных томов нет.

¹ „Collection des mémoires relatifs à la Révolution française“ (Библиотека Пушкина, №№ 775—808).

² Библиотека Пушкина, № 1491.

³ Разрезанные страницы тома XVI не указаны Б. Л. Модзалевским в его описании библиотеки Пушкина.

Пронумеруем 36 абзацев, на которые естественно распадается материал, заполняющий лл. 10 об.—5 пушкинской тетради № 2377 Б; полного текста выписок, ради экономии места, повторять не будем, а приведем лишь начальные слова каждого абзаца, давая ссылку на соответствующие страницы томов X и XI сочинений Вольтера (по экземпляру Пушкина) и попутно отмечая наиболее существенные из внесенных Пушкиным изменений текста оригинала. При этом не будем останавливаться ни на явных описках Пушкина, ни на особенностях его французской орфографии. Цифры нашей нумерации 36 цитируемых абзацев даем перед началом каждой цитаты, рядом с цифрой в скобках, обозначающей страницу книги „Рукою Пушкина“, М.—Л., 1935, где можно найти соответствующий полный текст пушкинских выписок.

Выписки из т. X сочинений Вольтера („Essai sur les mœurs“, t. I):

- 1 (522). „...les Francs envahissaient la Gaule...“ Конец главы XI, стр. 321. Выписано дословно.
- 2 (523). „...les Goths s'emparèrent...“ — Начало и середина главы XII, стр. 322 и 323. Выписано не под ряд, с некоторыми купюрами и с разбивкой длинного периода на несколько самостоятельных предложений. У Вольтера: „Quand les Goths s'emparèrent...; quand le célèbre Théodoric...“ и т. д.
- 3 (523). „Pepin avait partagé...“ — Глава XV, стр. 340 (второй абзац). Есть купюры.
- 4 (523). „Le royaume de Pepin...“ — Глава XV, стр. 340 и 341. Выписка является соединением третьего абзаца с первым. Есть купюры.
- 5 (523). „Charlemagne transporta...“ — Глава XV, стр. 344 и 345. Есть купюры.
- 6 (523). „C'est sous Dagobert...“ — Глава XVII, стр. 358.
- 7 (523). „Ni Clovis ni ses successeurs...“ — Глава XVII, стр. 359. Есть купюры. У Вольтера: „Mais quand les majordomes ou maires de cette milice usurpèrent insensiblement le pouvoir, ils voulurent cimenter leur autorité par le crédit des prélats et des abbés“. У Пушкина сжато: „...les mairs s'appuyèrent sur leur autorité“.
- 8 (523). „Charlemagne était obligé...“ — Глава XVIII, стр. 360 и 361. Цитата из капитулярия у Пушкина выпущена и заменена абривиатурой „etc.“ У Вольтера: „mais, le parlement dissous, malheur à quiconque eût bravé ses volontés!“ У Пушкина: „mais le parlement dissous, il devenait despote“.
- 9 (523). „La nation des Francs eut le droit d'élection. Charlemagne le reconnaissait...“ — Глава XVIII, стр. 361. Вольтер приводит выдержку из капитулярия Карла Великого, касающуюся санкции народа при установлении престолонаследия, и резюмирует: „Il est évident, par ce titre, et par plusieurs autres, que la nation des Francs eut, du moins en apparence, le droit d'élection“. Остальная часть абзаца от слов „Des comtes, nommés par le roi...“ выписана, с некоторыми изменениями и купюрами, из главы XXII, стр. 384 и 385.
- 10 (524). „Presque tous les délits...“ — Глава XXII, стр. 385. У Вольтера: „on permettait quelquefois le combat, tantôt à fer émoulu, tantôt à outrance“. У Пушкина: „on ordonnait le combat“.
- 11 (524). „La loi salique...“ — Глава XXII, стр. 388 и 389. У Вольтера: „on trouve que rien n'était plus permis ni plus commun que de déroger à cette fameuse loi salique, par laquelle les filles n'héritaient pas“. У Пушкина сокращено: „La loi salique était facilement éludée et les filles héritaient“. Кроме того у Пушкина: „emmenait“ вместо „amenait“ и „l'injustice“ вместо „cette impiété“.

- 12 (524). „Il n'y avait que deux ordres...“ — Глава XXII, стр. 389. У Вольтера: „Le terme nobilis n'est employé qu'une seule fois... pour signifier les officiers, les comtes, les centeniers“. У Пушкина: „Le terme nobilis signifiait dignitaire“.
- 13 (524). „Charles le Gros assembla...“ — Глава XXV, стр. 409. У Вольтера: „Charles alla dans Mayence assembler ce parlement qui lui ôta un trône, dont il était si indigne“. (Ср. главу XXIV, стр. 404: „Charles-le-Gros fut déclaré incapable de régner par une assemblée de seigneurs français et allemands, qui le déposèrent auprès de Mayence, dans une diète convoquée par lui-même“.)
- 14 (524). „Le Danois Rolon...“ — Глава XXV, стр. 409 и 410. Пушкин дает сжатый пересказ того, что у Вольтера относится к Роллону. Только последняя фраза от слов „Ce fut un état séparé...“ является выпиской — с купюрами и изменениями.
- 15 (524). „Le gouvernement féodal a pour origine la coutume d'imposer un hommage et un tribut au plus faible“. — Глава XXXIII, стр. 446. Формулировка Вольтера не так категорична: „On a longtemps cherché l'origine de ce gouvernement féodal. Il est à croire qu'il n'en a point d'autre que l'ancienne coutume de toutes les nations d'imposer un hommage et un tribut au plus faible“.
- 16 (524). „Louis d'Outremer...“ — Глава XXXIV, стр. 448 и 449. Фраза Вольтера: „Louis d'Outremer... était venu... à un concile d'évêques que tenait Othon près de Mayence; ce roi de France dit ces propres mots rédigés dans les actes...“ у Пушкина перестроена и сокращена: „Louis d'Outremer... dit dans un concile d'évêques que tenait Othon le Grand à Mayence“. Из речи Людовика IV, как и из посвященных ей пояснений Вольтера, Пушкин выписывает только то, что относится к праву феодальных баронов утверждать своим голосованием передачу французского престола новому королю.
- 17 (524). „Louis, le dernier des descendants...“ — Глава XXXVIII, стр. 464.
- 18 (525). „Le temps et la nécessité...“ — Глава XXXVIII, стр. 464 и 465. У Вольтера: „Mais si tous ces seigneurs particuliers servaient l'état quelques jours, ils se faisaient la guerre entre eux presque toute l'année. En vain les conciles... avaient réglé qu'on ne se battrait point depuis le jeudi...“ У Пушкина: „On servait l'état quelques jours et on se faisait la guerre entre soi toute l'année. Les conciles entrevinrent en vain, ils établirent qu'on ne se battrait pas depuis jeudi...“ Вместо „solennités“ написано „fêtes“.
- 19 (525). „Une anarchie semblable à celle de France dans tous les royaumes fit sa sureté“. — Глава XXXVIII, стр. 465. „Sa“ относится к „France“, а не к „anarchie“. Вольтер говорит, что Франция, несмотря на царившую в ней анархию, была застрахована от внешнего нападения тем, что смежные с ней королевства находились в состоянии такого же политического развала.¹
- 20 (525). „Le Faste consistait à avoir le plus de chevaux et d'écuycers (vaslets, vassalets) qu'on pouvait. Les armées consistèrent en cavaleries“. — Глава XXXVIII, стр. 465. У Вольтера: „les armées, dont la principale force avait été l'infanterie... ne furent plus que de la cavalerie... le faste consistait alors à mener avec soi des écuyers, qu'on appela *vaslets*, du mot *vassalet*, petit vassal“.
- 21 (525). „Les paysans servaient plutôt de pionniers que de combattants“. — Глава XXXVIII, стр. 465. У Вольтера: „Les paysans qu'on traînait à la guerre, seuls exposés et méprisés, servaient de pionniers plutôt que de combattants“.
- 22 (525). „Les lois générales et en vigueur furent celles...“ — Глава XXXVIII, стр. 466. У Вольтера: „On ne connut guère alors de lois que celles...“
- 23 (525). „Les vassaux d'un même seigneur s'accoutumèrent à s'appeler pairs (par, pares, égal). Глава XXXVIII, стр. 466 и 467. У Вольтера: „Le terme de pair commençait alors à s'introduire dans la langue gallo-tudesque, qu'on parlait en France. On sait qu'il

¹ Отсутствие контекста источника повлияло на неточность перевода в сб. „Рукою Пушкина“, стр. 529.

venait du mot latin *par*, qui signifie égal ou confrère... Les vassaux d'un même seigneur s'accoutumèrent donc à s'appeler pairs“.

- 24 (525). „On institua...“ — Глава XXXVIII, стр. 467. Вся первая часть до слов: „ils étaient pairs entre eux...“ принадлежит фразеологии Пушкина и представляет сводку сказанного Вольтером об учреждении первого суда присяжных, сначала в Англии, а затем и во Франции. Английское происхождение этой реформы в редакции Пушкина отмечено — может быть, бессознательно — введением слова „jury“ (вместо „jugés“). Впрочем, слово „jury“ бытовало и во французском языке.
- 25 (525). „Les Ducs de Guienne...“ — Глава XXXVIII, стр. 467.
- 26 (525). „Les barons de Normandie...“ — Глава XLII, стр. 490. Существенных отличий от текста Вольтера нет.
- 27 (525). „Au 12 siècle le gouvernement féodal était en vigueur dans toute l'Europe...“ — Глава L, стр. 548 и 549. Существенных отличий нет. Указание на XII век могло быть внушено синоптическим титулом главы L.
- 28 (526). „Sous les premiers Capets...“ — Глава L, стр. 549. У Пушкина зачеркнуто „Dans“ — очевидно он начал переписывать фразу Вольтера: „Dans les premiers temps de la race de Hugues, nommée improprement Capétienne — du sobriquet donné à ce roi, tous les petits vassaux combattaient contre les grands, et les rois avaient toujours les armes à la main contre les barons du duché de France“ — но тут же стал изменять редакцию в сторону значительного сжатия текста. Есть и другие купюры, например: „Les Ducs de Normandie“ вместо „La race des anciens pirates danois, qui régnait en Normandie et en Angleterre“. У Пушкина читаем: „Les Ducs... protégeaient ces désordres“ вместо „La race des anciens pirates... favorisait toujours ce désordre“ и т. д.
- 29 (526). „Le gouvernement féodal déplaisait...“ — Глава L, стр. 551. Изменения и купюры незначительны.
- 30 (526). „Jean-sans-Terre s'empara de la Bretagne qui appartenait à son neveu Artur. Celui-ci fut fait prisonnier et disparut bientôt après...“ — Глава L, стр. 558 и 559. У Вольтера соответствующее начало абзаца место читается так: „Il (Jean-sans-Terre) commença par s'emparer de la Bretagne, qui appartenait à son neveu Artus; il le prit dans un combat, il le fait enfermer dans la tour de Rouen, sans qu'on ait jamais pu savoir ce que devint ce jeune prince“. В дальнейшем видим в тексте Пушкина незначительные замены одних слов другими („tous ses biens“ вместо „toutes ses terres“) и кое-какие купюры.

Вписки из т. XI сочинений Вольтера (*Essai sur les mœurs*, т. II):

- 31 (527). „Louis IX établit...“ — Глава LVIII, стр. 51. Изменения и купюры незначительны.
- 32 (527). „La liberté que la plupart des bourgades achetèrent de leurs seigneurs est due aux croisades...“ — Глава LVIII, стр. 54. У Вольтера „Le seul bien que ces entreprises [les croisades] procurèrent se fut la liberté que plusieurs bourgades achetèrent...“
- 33 (527). „Le gouvernement féodal de France avait été conquérant. L'Angleterre, la Sicile, Antioche, Jérusalem et Constantinople furent subjugués tour a tour“. — Глава LIX, стр. 55. У Вольтера читается иначе: „Ce gouvernement de France avait produit... bien des conquérants. Un pair de France, duc de Normandie, avait subjugué l'Angleterre; de simples gentilshommes, la Sicile, et parmi les croisés, des seigneurs de France avaient eu pour quelque temps Antioche et Jérusalem; enfin, Baudouin IX... avait pris Constantinople“.
- 34 (527). „Sous Philippe-le Bel (1285) le tiers-état fut admis aux assemblées de la nation; des tribunaux suprêmes furent érigés sous le nom de parlements, une nouvelle pairie fut instituée...“ — Глава LXV, стр. 108. У Вольтера это место читается иначе: „Le temps de Philippe-le Bel, qui commença son règne en 1285, fit une grande époque en France, par l'admission du tiers-état aux assemblées de la nation, par l'institution des tribunaux

suprêmes nommés parlements, par la première érection d'une nouvelle pairie.“ В последней фразе отрывка есть также некоторое расхождение с текстом источника. У Вольтера: „Le roi convoqua les états. Était-il donc nécessaire de les assembler pour décider que Boniface VIII n'était pas roi de France? У Пушкина: „Les états furent convoqués pour décider...“

35 (527). „Les états généraux étaient semblables aux parlements Anglais; et le parlement de Paris était ce que la cour du banc du Roi était à Londres“. — Глава LXXVI, стр. 190 и 191. У Вольтера: „entièrement semblables“ и „ce qu'on appelait le nouveau parlement sédentaire à Paris était à peu près ce que la cour du banc du roi était à Londres“.

36 (527). „Les états de 1355 firent signer les mêmes...“ — Глава LXXVI, стр. 191. У Вольтера „proposèrent et firent signer presque les mêmes...“ Количественные данные о размере налогов, вотируемых Генеральными штатами на содержание армии, Пушкин выражает не словесно, как Вольтер, а в цифрах. При переводе серебряных марок на ливры XVIII в. он дает неточную сумму (на сто тысяч ливров больше). У Вольтера: „pour payer trente mille gendarmes; ...ces trente mille gendarmes composaient au moins une armée de quatre-vingt mille hommes“. У Пушкина гораздо короче: „pour trente mille gendarmes, c. à d. 80000 hommes en tout“.

В этих выписках надо прежде всего отметить их конспективный характер. Пушкин не выписывает под ряд текст Вольтера, а производит тематический отбор того, что должно послужить материалом для его работы, — иначе и не оправдывалась бы затрата времени на выборки из сочинения, имевшегося у него под руками. Большая часть цитат приобретает под его пером лаконический и подчас схематизированный вид, причем можно заметить ряд характерных для фразеологии Пушкина оборотов. Аббревиатуры и многоточия, как обычно у Пушкина, являются указанием на необходимость учета или использования последующего текста (напр., в выдержке из Капитулярия Карла Великого); в некоторых случаях они, впрочем, выполняют как раз обратную функцию — выпущенный текст отбрасывается (речь Людовика Заморского).

Исторические моменты, связанные с развитием французского феодализма, на которых Пушкин останавливает свое внимание, можно представить в следующей последовательности:

Завоевание Западной и Южной Европы германскими племенами; характеристика равеннского экзархата с законодательной точки зрения; муниципальное правление; мощь Венеции; роль санкции народного собрания при разделе Пипином своего королевства между наследниками; создание Карлом Великим колоний путем насильственного переселения саксонцев; учреждение им же фемгерихта; военный характер политической власти — в ущерб влиянию духовенства; усиление духовенства при палатных мэрах; двойственность поведения Карла Великого — заискивание перед народным собранием и автократический деспотизм; право франков избирать короля; судопроизводство, судебные округа, подсудные графам, заместители последних; аппарат судебного надзора; карательная система, денежные штрафы, очистительная клятва, поединок; салический закон, сводимый к фикции; классовое деление граждан на свободных и сервов; муниципальное правление в городах Франции и Италии; характер городских повинностей; утрата короны Людовиком Толстым по резолюции парламента в Майнце; владычество датчан в Нормандии и Бретани и образование подвассального французской короне герцогства; генетический момент феодализма — наложение оммажа и дани на слабейшего; обычай утверждать право на корону голосованием сеньеров — Людовик Заморский; феодальная раздробленность, взаимоотношения феодалов,

определение сроков обязательной службы сюзерену, войны владетельных сеньеров между собою; анархия во Франции и в соседних с ней государствах; кавалерия как главный род оружия при феодализме, привлечение крестьян к роли только пеших разведчиков; характер судебной системы — охрана частных прав вверена всецело произволу сюзерена и его управителей; слово „пэр“ как обозначение вассалов одного и того же сюзерена; уголовный суд присяжных — пэров между собою; отказ нормандских баронов субсидировать поход Вильгельма Завоевателя; расцвет феодализма в Европе в XII в.; обязанность вассалов становиться под знамена сюзерена, хотя бы против своего же короля; войны мелких вассалов с крупными и королей с баронами при Капегингах; тенденция к дефеодализации со стороны королей Англии, Франции и Германии; идея создания армии, комплектуемой не из рядов вассалов; предоставление привилегий городам при условии привлечения горожан в войска; захват Иоанном Безземельным Бретани; суд пэров Франции над узурпатором — злочинный смертный приговор и конфискация его французских владений; судебная реформа Людовика IX, создание инстанционных судов и четырех королевских приказов (Baillages), допущение грамотеев (lettrés) в парламенты; выкуп общин и усиление муниципальных привилегий как результат крестовых походов, подорвавших экономическое благосостояние владетельных феодалов; завоевательный характер феодального правления во Франции; допущение третьего сословия в народное собрание при Филиппе Красивом; создание верховных трибуналов, конфликт между королевской властью и церковью (Бонифаций VIII); параллели между Генеральными штатами 1355 г. и народным представительством в Англии, между парижским парламентом и лондонским судом высшей инстанции; сближение между Великой хартией вольностей и обязательствами, наложенными на французского короля Иоанна I; изыскание средств на содержание 80 000-й армии.

Установление источника записей по истории феодализма дает нам возможность, овладев всем контекстом этого источника, поставить и хотя бы частично разрешить вопрос о телеологии пушкинского конспекта. Уже Б. В. Томашевский в своем очерке „Французская литература в письмах Пушкина к Е. М. Хитрово“ отметил, что содержащиеся в тетради Пушкина (№ 2377 Б) цитаты из газет и исторических сочинений, повидимому, представляют собой подготовительный материал для задуманной Пушкиным в 1831 г. работы по истории французской революции.¹ Путем ряда сопоставлений можно показать, что сохранившиеся отрывки этой работы, печатаемые теперь в собрании его сочинений под условным заглавием „Введение в историю французской революции“,² в значительной степени построены на изучении Вольтера. Однако в источниковедческом отношении сближение пушкинских заметок с вольтеровским „Опытом о нравах“ и другими упомянутыми выше сочинениями того же Вольтера далеко еще не исчерпало бы вопроса: в заметке Пушкина можно констатировать несомненное отражение воззрений новой французской школы историков, а в двух случаях нам удалось заметить и явное полемическое расхождение с тезисами Вольтера, на которых ниже мы остановимся подробнее. Кроме представителей современной Пушкину историографии, которые могли дать ему информационный и научный материал, — Тьерри, Гизо, Баранта, Минье, Тьера, Галлама (Hallam), — надо упомянуть из писа-

¹ „Письма Пушкина к Е. М. Хитрово“, Л., 1927, стр. 253—254, сноска.

² Пушкин. „Полное собрание сочинений“ в 6 томах (ГИХЛ), изд. 4, М., 1936, т. VI, стр. 162—164 и (вариант) стр. 542—543.

телей XVIII в. Монтескье и, в особенности, Робертсона, предпославшего своей „Истории царствования Карла V“ обширный очерк феодализма. Произведения всех этих авторов либо имелись в личной библиотеке Пушкина, либо вообще были ему известны и доступны.

Последовательное сличение тезисов пушкинского „Введения в историю французской революции“ с сочинениями указанных нами историков позволяет сделать ряд сближений, могущих послужить материалом для комментария к историческому отрывку Пушкина, и в то же время не лишённых интереса для исследователя системы его исторических взглядов.

К работе Пушкина над историей французской революции непосредственно относятся следующие автографы, сохранившиеся в его рукописном наследии: 1) автограф Пушкинского Дома № 310, с эпитафией из Вольтера и носящий авторскую дату: „30 мая 1831, Ц. С.“ („Прежде нежели приступим к описанию великого преоборота...“); этот отрывок является наиболее ранним вариантом; 2) автограф Пушкинского Дома № 311, из собрания Л. Н. Майкова („Прежде нежели приступим к описанию преоборота...“), лежащий в основе первой части печатающейся в собраниях сочинений Пушкина вводной статьи по истории французской революции; 3) автограф Публичной библиотеки СССР им. В. И. Ленина в тетради № 2387 В („Мало-по-малу народ откупился...“), лежащий в основе второй части той же статьи; 4) автограф Пушкинского Дома № 312 („Феодальное правление. Его основание...“), который можно считать эскизом или планом статьи; 5) автограф Публичной библиотеки СССР им. В. И. Ленина в тетради № 2387 („Феодальное правление...“), имеющий также форму плана статьи; 6) автограф Пушкинского Дома № 313 — пять разрозненных клочков.¹

II

В вопросе о генезисе феодализма Пушкин придерживается точки зрения германистов, впервые сформулированной Монтескье и с некоторыми оговорками разделявшейся большинством историков первой трети XIX в.: „Феодальное правление было основано на праве завоевания“.² По существу это положение совпадает с выписанным Пушкиным (№ 15 по нумерации, данной нами выше в обзоре пушкинских выписок)³ замечанием Вольтера о происхождении феодализма из обычая

¹ „Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском Доме“, М.—Л., 1937, стр. 121—122, №№ 310—313; Пушкин, „Полное собрание сочинений“, ГИХЛ, изд. 4, т. V, 1936, стр. 656; там же, т. VI, стр. 162—164, 542—543.

² Цитата из отрывка Пушкина „Введение в историю французской революции“. Разрядка наша. В дальнейшем, цитаты в кавычках, приведенные в начале абзацев нашего изложения, являются цитатами из того же отрывка (если не оговорено иначе).

³ В дальнейшем эти номера приводятся нами просто в скобках, без оговорок.

налагать на более слабого присягу верности и дань. В другом месте¹ Вольтер говорит: „Нельзя сказать, что в Германии феодальная власть утвердилась на праве завоевания, как это было в Ломбардии и во Франции“. Гизо, относящий окончательное формирование феодального общества к концу X в., видит в нем „итог завоевания и возрождающейся цивилизации“.² Сопоставляя нравы XV в. с эпохой вторжения варваров, Барант говорит: „...il serait facile de reconnaître, dans ce tableau du quinzième siècle, le caractère d'une société originairement fondée sur la force et la conquête, et dont la première loi avait été une distinction tranchée entre le vainqueur barbare et le vaincu dégradé“.³

„Победители присвоили себе землю и собственность побежденных, обратили их самих в рабство и разделили все между собой“. Эти слова, раскрывающие один из моментов первичной феодализации как непосредственного результата завоевания, носят следы изучения Пушкиным Робертсона: „Они смотрели на завоевание, как на общее владение, в котором каждый имел право на долю“.⁴ Ср. у Вольтера: „Они все имели равное право на добычу: таков непреложнейший закон всех первых народов-завоевателей“.⁵ Робертсон, как и Монтескье, связывает генетически момент феодализма с захватом чужой территории завоевателями: „Однако, этот новый дележ земель ввел новые начала, новые нравы и из него вскоре возникла... феодальная система“.⁶

„Предводители получили большие участки“. Ср. у Робертсона: „Король или военачальник, который вел народ на войну, оставаясь все время главой колонии, должен был получить на свою долю наиболее значительный участок земли“.⁷

„Слабые прибегнули к покровительству сильнейших“. По поводу взаимоотношений, установившихся между крупными и мелкими землевладельцами и принявших форму патроната, Робертсон говорит: „Среди смуты и анархии, в которую была ввергнута вся Европа после смерти Карла Великого, ... каждый в отдельности почувствовал необходимость искать могущественного покровителя, чтобы стать, в случае необходимости, под его знамя и найти защиту от врагов, с которыми он не был бы

¹ „Essai sur les mœurs“, ch. XCVI.

² Guizot. „Histoire de la civilisation en France“, Paris, 1829, т. II, стр. 453 (Библиотека Пушкина, № 959).

³ Barante. „Histoire des Ducs de Bourgogne de la Maison de Valois“. P., 1826, т. I, pp. 54—55 (Библиотека Пушкина, № 573). Перевод: „... будет легко признать в этой картине XV века характер общества, первоначально основанного на силе и завоевании, первым законом которого было резкое различие между победителем варваром и униженным побежденным“.

⁴ Robertson, названное сочинение и том, стр. 16 (Библиотека Пушкина, № 1319).

⁵ „Essai sur les mœurs“, ch. XVIII. См. также „Annales de l'empire“ [An] 778.

⁶ Robertson, назв. соч. и том, стр. 17.

⁷ Robertson, назв. соч. и том, стр. 18.

в состоянии бороться своими силами“.¹ В черновом варианте Пушкин подробно останавливается на обязательствах, возлагаемых на вассалов, и на нормах зависимости последних от своего непосредственного сюзерена в порядке феодальной иерархии: „Главные владельцы признавали первенство короля, ими избираемого, обязывались вспомоществовать ему во время войны; иногда прибегали к его суду и если были недовольны, имели право вести против него вооруженных вассалов“.² В тетради Пушкина имеется почти дословная выписка (№ 27) из главы L „Опыта о нравах“; этой выписке у Вольтера соответствует следующее место: „Il était surtout établi... par les lois des fiefs, que si le seigneur d'un fief disait à son homme lige: «Venez-vous en avec moi, car je veux guerroyer le roi mon seigneur, qui me dénie justice», l'homme lige devait d'abord aller trouver le roi, et lui demander s'il était vrai, qu'il eût refusé justice à ce seigneur. En cas de refus, l'homme lige devait marcher contre le roi, au service de ce seigneur, le nombre de jours prescrits, ou perdre son fief. Un tel règlement pouvait être intitulé: Ordonnance pour faire la guerre civile“.³

„Каждый владелец управлял в своем участке по-своему, устанавливал свои законы, соблюдая свои выгоды“. Выписка (№ 22) в Пушкинской тетради говорит об установлении законов могущественными феодалами в пределах своего лена и о предоставлении охраны частных прав усмотрению домоуправителей, старост и т. д., назначаемых владетелем („Опыт о нравах“, гл. XXXVIII). Характеристика, которую Пушкин дает феодальной юрисдикции и судебной процедуре, близка к формулировкам Вольтера: „Каждый владелец значительного лена (d'un fief dominant) устанавливал у себя свои законы, сообразуясь с своей прихотью... Итак, каждый феодальный сеньер отправлял в своих владениях правосудие по своему произволу; закон в Германии устанавливал возможность обжалования этих решений в имперский суд, но владельцы больших областей вскоре получили право безапелляционного суда, *jus non appellando*“.⁴ Ср. у Робертсона: „Они (крупные вассалы) присвоили себе власть решать в верховной инстанции все гражданские и уголовные дела, завладели

¹ Robertson, назв. соч. и том, стр. 292. О патронате и коммендации (*coutume de recommandation personnelle*) см. также Montesquieu, „De l'esprit des lois“, livre XXXI, ch. VIII; Hallam, „Europe au moyen âge“, Paris, 1828, т. I, стр. 195 и сл.; Guizot, назв. соч., т. IV (1830), стр. 282—312.

² „Сочинения Пушкина“, изд. Акад. Наук СССР, Л., 1929, т. IX, ч. 2, стр. 179.

³ Перевод: „Было повсюду установлено... законами фьефов, что если сеньёр фьефа скажет своему вассалу: «Идите со мной, так как я хочу воевать с королем моим господином, который отказывает мне в правосудии», вассал должен был сперва отправиться к королю и спросить его, верно ли, что он отказал в правосудии сеньёру. В случае отказа вассал должен был выступить против короля на службе этого сеньёра предписанное число дней, либо утратить свой фьеф. Это установление можно назвать: Ордонанс о ведении войны“.

⁴ Voltaire. „Histoire du parlement de Paris“, ch. I.

правом чеканить монету и преимуществом вести от своего имени и по своему частному почину войны с личными своими врагами“.¹ С последней цитатой легко сопоставить слова Пушкина: „...судили распри, battaient monnaie, faisaient la guerre entre eux“.² Сходная по содержанию запись была и на одном из разрозненных клочков пушкинской рукописи, из которого вычитывается: „... имели право. чеканили свою монету, были. между собою войны“.³

„...и старался окружить себя достаточным числом приверженцев для удержания в повиновении своих вассалов и для отражения хищных соседей“. Ср. у Галлама: „...могущественные вожди, постоянно занятые домашними войнами, возлагали свою главную надежду на людей, которых они привязывали к себе чувством благодарности и на которых налагали условия, могущие удержать их в повиновении“.⁴ Переходя к следующему первичному этапу развития феодального строя, Пушкин продолжает — повидимому, через Робертсона — линию, в основном совпадающую с построениями Монтескье, который видел в раннем феодализме ближайшее следствие дружинных порядков, занесенных завоевателями из Германии. Робертсон, идущий по стопам Монтескье, также приписывает дружинному быту германцев сильнейшее влияние на формирование феодализма: „Тацит повествует нам, что германские вожди старались приблизить к себе сторонников (comites), которые следовали за ними во всех их начинаниях и сражались под их знаменами. Тот же обычай сохранился у них и при переходе на новые места, и эти приближенные преданные своему вождю спутники стали именоваться fideles, antrustiones, homines in truste dominica, leudes („De moribus Germanorum“, cap. XIII) ... Пока германцы оставались в своей стране, они приобретали привязанность своих спутников, даря им оружие и коней и чествуя их пирами. Но после того как эти народы обосновались в завоеванных землях и поняли значение собственности, короли и вожди, вместо прежних незначительных подарков, стали раздавать своим сторонникам земельные участки“.⁵ У Пушкина в его плане статьи есть рубрики, также относящиеся, повидимому, к признакам дружинного быта:

„Что были предвод<ители>
 Что был народ.
 Короли. Телохранители.
“⁶

¹ Robertson, названное сочинение и том, стр. 20—21.

² Пушкин. „Полное собрание сочинений“, ГИХЛ, изд. 4, т. VI, стр. 165.

³ „Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском Доме“, 1937, стр. 122, № 313. Некритическая публикация этих 5 разрозненных клочков была ранее дана И. А. Шляпкиным („Из неизданных бумаг Пушкина“, СПб., 1903, стр. 58).

⁴ Hallam, назв. соч. и том, стр. 190—191.

⁵ Robertson, назв. соч. и том, стр. 285—286.

⁶ Пушкин. „Полное собрание сочинений“, ГИХЛ, изд. 4, т. VI, стр. 165.

„Для сего избирались большею частью вольные люди, составлявшие некогда войско завоевателей“. Ср. у Робертсона: „Каждый солдат рассматривал доставшуюся ему долю...., как награду за свою отвагу...., и он вступал во владение в качестве свободного человека на правах полной собственности“.¹ В данном случае Робертсон опять-таки является последователем Монтескье, считавшего север Европы колыбелью свободы: „Les peuples du nord de l'Europe l'ont conquis en hommes libres“.²

„Со временем они смешались с побежденными; установились взаимные обязательства между владельцами и вассалами и стихия независимости сохранилась в народе“. В главе XII „Опыта о нравах“ („Последствия падения древнего Рима“) Вольтер подчеркивает, что Теодорих, утвердившись в Равенне, правил римлянами так же, как раньше правила цезари: сенат был сохранен, существовала свобода вероисповеданий, гражданские законы в равной мере применялись к православным, арианам и язычникам; готы были подчинены готскому кодексу, римляне — римскому. Это место сокращенно выписано Пушкиным (№ 2). Немного далее читаем в той же главе у Вольтера: „Вся Западная империя была опустошена и истерзана дикарями. Лангобарды утвердили свое владычество во всей посюсторонней Италии. Альбоин, основатель этой новой династии, был ни кто иной, как разбойник и варвар; но вскоре победители усвоили себе нравы, учтивость, религию побежденных. Именно этого не произошло с первыми франками, с бургундцами, занесшими в Галлию свой грубый язык и нравы еще более суровые“. ...Подобие муниципального правления все еще существовало в этой прежней столице (т. е. в Риме. Я. Я.), доведенной до такого упадка, и республиканские чувства никогда в ней не угасали (*les sentiments republicains n'y furent jamais éteints*)“. Повидимому Пушкин, обобщая положение Вольтера о культурном смешении победителей с побежденными, имевшем место в равеннском экзархате и о жизнеспособности традиционных свобод, переносит его на французскую почву и видит основу развития французских городских общин в остатках вольности, в этой „стихии независимости“, преемственно сохранившейся во многих городах со времен римской республики. При этом Пушкин сознательно игнорирует идущее в разрез с его концепцией замечание Вольтера о том, что в Галлии завоевание привело только к варваризации аборигенов победителями. Оправдание своего взгляда Пушкин мог найти в „Истории цивилизации во Франции“ Гизо, где проводится мысль, что муниципальный порядок, несмотря на вторжение варваров, стойко сохранился повсеместно в Южной Галлии со времен римлян.³

¹ Robertson, названное сочинение и том, стр. 282.

² „De l'esprit des lois“, livre XVII, ch. V. В экземпляре Пушкина (Библиотека Пушкина, № 1187) всё это произведение разрезано.

³ Guizot, назв. соч., т. V. стр. 135—136; сохранившийся в библиотеке Пушкина экземпляр этого тома, изданного в 1830—1832 гг., почти не разрезан; Пушкин мог пользоваться первым, шеститомным, изданием курса Гизо, выходившего отдельными выпусками с 1828 по 1830 г. под заглавием: „Cours d'histoire moderne à la faculté des lettres de Paris“.

В подтверждение своих доводов Гизо, между прочим, ссылается на заключительную часть второго тома „Истории муниципального права во Франции“ Ренуара¹, т. е. как раз на ту часть этого сочинения, из которой Н. Н. Пушкина, по поручению мужа, выписала летом 1831 г. некоторые цитаты.² Очевидно, не случайно, а по общему принципу отбора и по концентричности материала эти цитаты оказались в той же самой тетради № 2377 Б, в которой содержатся пушкинские выписки из Вольтера. Мысль о том, что муниципальные свободы существовали в городах Франции как жизнеспособный политический институт, начало которому было положено римлянами, является основным тезисом книги Ренуара; по его утверждениям, коммунальные хартии по существу были не столько реформой, сколько официальным признанием со стороны королевской власти исконных городских привилегий, нередко получавших при этом акте распространительное толкование. Пушкин остановил свое внимание на тех страницах книги Ренуара, на которых в числе мероприятий, помогших династии Капетингов исправить „несчастья предыдущих царствований“, автор отмечает заботу о закреплении за городами их давнишних прав, о сохранении древнего муниципального устройства, о расширении привилегий и о предоставлении городам самостоятельной юрисдикции; подчеркнув роль эмансипации французского народа как главной опоры династии Капетов — „самой старинной в Европе и существующей девять веков“, — Ренуар призывает „восстановить в его неприкосновенности, в его полноте, муниципальный порядок, которым наши предки счастливо и свободно пользовались“, — и в этой реставрации общинных привилегий видит единственную гарантию политической стабилизации.

В своих „Письмах об истории Франции“ О. Тьерри отстаивает точку зрения, близкую к концепции Ренуара. По мнению Тьерри, так называемое „освобождение общин“ (*affranchissement des communes*) шло не сверху, как обычно повествуют об этом учебники истории, а снизу, и оно явилось победоносным результатом политической активности горожан и их боевой инициативы.³ Муниципальные права получили наиболее широкое развитие именно в тех городах, где наиболее остро и ожесточенно протекала эта борьба. В стремлении свести к выгодной для идеологов реформизма интерпретации одно из стихийнейших проявлений воинствующей демократии Тьерри видит вредный пережиток идей, распространявшихся такими историками, как Велли, Анкетиль, Мезерэ и их последователи. Ко взглядам Тьерри в известной степени примыкал и Сисмонди.⁴

¹ Raynouard. „Histoire du droit municipal en France“, Paris, 1829.

² „Рукою Пушкина“, стр. 518—519.

³ Augustin Thierry. „Lettres sur l'histoire de France“, Paris, 1827. Например: Lettre XV — „Sur l'affranchissement des communes“ (стр. 210 и сл.); Lettre XVI — „Sur la marche de la révolution communale“ (стр. 232 и сл.) и т. д.

⁴ J. C. L. Simonde de Sismondi. „Histoire des Français“, tome V, Paris, 1823, стр. 120 и сл.

В связи с мыслью Пушкина о „стихии независимости“, сохранившейся в народе, следует отметить слова П. Баранта о том, что на значительном пространстве Европы можно найти следы древних общин; „вообще, — говорит он, — цепь положительных прав никогда полностью не прерывалась“.¹

Допущение гипотезы об отражении в Пушкинском тексте выписки из Ренуара позволило бы несколько уточнить вопрос о датировке комментируемого отрывка в целом. В тетради № 2377 Б эта выписка начинается на обороте того листа, первая страница которого занята выпиской из „Gazette de France“ от 5 июля 1831 г. Предполагая, что при нормальных условиях парижская почта доставлялась в Царское Село на 14-й день, мы можем заключить, что цитата из газеты была внесена в эту тетрадь не раньше 7 июля 1831 г. (стар. стиля). То же, а fortiori, относится как к цитате из Ренуара, так и к тексту Пушкина, в котором она, как мы предполагаем, использована.

„Короли, избираемые вначале владельцами, были самовластны токмо в собственном своем участке“. Ср. у Вольтера: „Они (короли Франции) отправляли высший суд в своих владениях; но чинить эту верховную расправу над крупными вассалами они могли не иначе, как имея в своем распоряжении силу“.² Пушкин выделяет существенную прерогативу родовой знати — ее право утверждать своим голосованием передачу престола новому королю: „избираемые вначале владельцами“. Ср. выписки из Вольтера №№ 8 и 9 по нашей нумерации. О том, что дворянским верхам это право принадлежало только „вначале“, говорит выписка № 16: „l'usage de donner la couronne par les suffrages des seigneurs fut bientôt après abolí“ („обычай предоставлять корону голосованием сеньеров был вскоре отменен“).

„В случае войны с неприятелем, новых налогов или споров между двумя могущими соседями они созывали сеймы“. Ср. у Вольтера: „В этих собраниях (в парламентах), которые созывались преимущественно для решения вопроса о войне и мире, разбирались и судебные дела; но не следует думать, что это были частные тяжбы (des procès particuliers) о наемной плате, о жилищах, о тех безделицах, которыми изобилуют наши трибуналы: это были споры самих знатных баронов и всех ленов, состоявших в вассальной зависимости непосредственно от короны“.³ Ср. также последнюю из серии выписок из Вольтера, где говорится о распределении генеральными штатами 1355 г. налогов и о проведении специального сбора для организации армии.

¹ „En général, la chaîne des droits positifs n'a pas été complètement rompue“. См. P. de Barante, „Des communes et de l'aristocratie“, nouvelle (3-me) édition, Paris, Ladvocat, 1829, стр. 3. На эту книгу, содержащую много созвучных Пушкину высказываний об оскудении родового дворянства, нам указал Д. П. Якубович.

² „Histoire du Parlement de Paris“, ch. I.

³ Там же, ch. II.

„Сеймы сии составляли сначала одни знатные владельцы и военные люди“. В выписанной Пушкиным цитате из главы XVIII „Опыта о нравах“ (№ 8) отмечен военный характер народного собрания в эпоху Карла Великого: „Charlemagne était obligé à de très grands ménagements devant une nation de guerriers rassemblée en parlement“. В „Истории парижского парламента“ (глава II) читаем: „Парламенты всегда были собраниями высших баронов... В Германии были свои сеймы, в Испании — кортесы, во Франции и в Англии парламенты. Эти парламенты целиком состояли из военных людей (étaient tous guerriers), и все-таки в них заседали также епископы и аббаты, потому что последние были феодальными владельцами ленов и тем самым приравнивались к баронам“.

„Духовенство было призвано впоследствии властолюбивыми палатными мэрами (maires du palais)...“ По указанию Монтескье, мэры из дома Пипина стремились к сближению с духовенством, чтобы при его помощи захватить монархию. „Ворон ворону глаза не выклюнет“, говорил Хильперик епископам.¹ Ср. у Вольтера: „Но когда майордомы или мэры дворцовой охраны незаметно захватили власть, то они захотели укрепить свое могущество поддержкой прелатов и аббатов и для этого призвали их на собрания Майского поля. Согласно летописи Метца, именно в 692 году мэр Пипин, первый по имени, предоставил духовенству это преимущество; этой эпохой пренебрегает большинство историков, хотя она очень значительна, как послужившая первым основанием светской власти епископов и аббатов, во Франции и в Германии“.²

„... а народ гораздо позже, когда королевская власть почувствовала необходимость противопоставить новую силу дворянству, соединенному с духовенством“. Привлечению народа, т. е. третьего сословия, к участию в народном собрании посвящена пушкинская выписка (№ 34) о созыве Филиппом Красивым Генеральных штатов, собранных сначала (в 1302 г.) в соборе богородицы, в следующем году — два раза в Лувре. Пушкин отмечает в своей выписке только 1303 г., как и Вольтер, остановившийся на моменте сожжения папской куллы (так называемой „Unam sanctam...“). О намерении Пушкина уделить внимание столкновению между королевской и папской властью (спор о верховенстве и о распределении церковных доходов) свидетельствует запись в его плане: „... Papes. Philippe-le-Bel. États-généraux...“³ По поводу знаменательного в истории конституционных учреждений Франции момента, когда король для защиты своего престола от непомерных притязаний Бонифация VIII обратился к содействию третьего сословия, Галлам говорит: „Помимо того, что в его [короля] политический замысел входило умаление могущества баронов над своими вассалами, он имел основательные причины ждать более великодушной поддержки от непосредственных представителей

¹ Montesquieu. „De l'esprit des lois“, livre XXXI, ch. X.

² „Essai sur les mœurs“, ch. XVII. Ср. „Annales de l'Empire“, [An] 750.

³ Пушкин. „Полное собрание сочинений“, ГИХЛ, изд. 4, т. VI, стр. 165.

народа, чем со стороны недовольной аристократии“.¹ Робертсон характеризует Филиппа Красивого как монарха, одаренного большой политической дальновидностью: „он видел в депутатах городов средство (instruments), которым он мог пользоваться с одинаковой выгодой для укрепления королевской прерогативы, для противовеса чрезмерному могуществу дворянства и для более удобного взимания новых налогов“.²

„Судопроизводство находилось в руках владельцев. Для записывания их постановлений избирались грамотеи из простолюдинов, ибо знатные люди занимались единственно военной наукой и не умели читать. Когда же война призывала баронов к защите королевских владений или собственных замков, то в их отсутствии сии грамотеи чинили суд и расправу, сначала от имени баронов, а впоследствии сами от себя“. В пушкинских выписках имеется цитата из гл. VIII „Опыта о нравах“ (№ 31): „...des lettrés furent admis aux séances des parlements où les chevaliers décidaient de la fortune des citoyens“. Воспроизводим соответствующий текст Вольтера: „...des lettrés commencèrent à être admis aux séances de ces parlements dans lesquels des chevaliers, qui rarement savaient lire, décidaient de la fortune des citoyens“.³ Пропустив в своей выписке характерную для владетельных феодалов той эпохи черту — их неграмотность, — Пушкин останавливается на ней в своем тексте. Ср. у Вольтера: „Заседания парламентов длились около 6 недель или 2 месяцев. Судьями были только знатные бароны. Нация не согласилась бы подчиниться иному суду: не было примера чтобы крепостной, вольноотпущенник, простолюдин, горожанин заседал в трибунале, за исключением тех случаев, когда городские пары судили по уголовным делам своих собратьев. Итак, бароны были единственные советники-судьи (conseillers-jugeurs), как они тогда назывались. Они заседали, положив подле себя, по старинному обычаю, меч... Но так как французские бароны были мало осведомлены в законах и обычаях и большею частью едва умели подписать свое имя, то имелись две осведомительные палаты (chambres d'enquêtes), куда допускались писцы духовные (clercs) и светские. Их называли магистрами (maîtres) или лиценциатами прав. Это были советники-докладчики (conseillers-rapporteurs); они не являлись судьями, но должны были ознакомляться с делами, готовить их и зачитывать баронам — советникам-судьям. Последние при вынесении решения руководствовались только здравым смыслом, чувством справедливости и иногда своей прихотью. Эти советники-докладчики, эти магистры впоследствии вошли в состав суда наравне с баронами... Буленвилье и знаменитый

¹ Hallam, назв. соч. и том, стр. 300.

² Robertson, назв. соч. и том, стр. 50.

³ Перевод выписки Пушкина: „грамотеи были допущены на заседания парламента, где рыцари решали судьбу граждан“. Перевод текста Вольтера: „грамотеи начали допускаться на заседания этих парламентов, где рыцари, которые редко умели читать, решали судьбу граждан“.

Фенелон уверяют, что все они выбирались из крепостного сословия (qu'ils furent tous tirés de la condition servile); но, конечно, и тогда уже были в Париже, в Реймсе, в Орлеане горожане, не принадлежавшие к крепостным, и таких бесспорно было большинство.¹ В другом месте Вольтер говорит: „Не будем повторять... каким образом клерики или кандидаты (gradués), т. е. осведомители (enquêteurs), назначенные для того, чтобы докладывать дела сеньерам, советникам-судьям, но не имевшие права голоса, вскоре заступили место этих судей меча, которые редко умели читать и писать.“² Минье говорит о возрастающей роли этих „грамотеев“: „Приготовляя дела, они диктовали приговоры. Сначала они не имели баронских преимуществ, так как не были ни пэрами, ни сюзеренами, но функции отпадают от того, кто ими не дорожит и переходят к тому, кто их выполняет“.³ Останавливаясь на значении демократической реформы парламента, введшей в его состав представителей мелкой буржуазии, которые использовали пассивность баронов и постепенно оттеснили их от судебных функций, Гизо делает вывод, совпадающий с замечанием Пушкина о сознанный королевской властью необходимости „противупоставить новую силу дворянству, соединенному с духовенством“: „Учрежденный таким образом, облеченный судебной властью и обособленный от всех других класс законников (légistes) не мог не превратиться в руках королей в безупречное оружие против двух единственных противников, которых им приходилось опасаться: феодальной аристократии и духовенства“.⁴

⟨Продолжительные войны дали им время основать свою самобытность. Таким образом родились парламенты.

„Нужда в деньгах заставила баронов и епископов продавать вассалам права, некогда присвоенные завоевателями. Сначала откупились рабы от вассалов, затем общины приобрели привилегии. Впоследствии короли, для уничтожения власти сильных владельцев, непрерывно покровительствовали общинам и“.⁵

Текст, заключенный нами в угловые скобки, был впервые напечатан в „Материалах“ П. В. Анненкова, в контексте пушкинской заметки о феодализме, и впоследствии перепечатывался в собраниях сочинений Пушкина как принадлежащий перу поэта. В автографе он неизвестен, и принадлежность его Пушкину в настоящее время считается спорной, тем более что и в других местах анненковской публикации есть расхождения

¹ „Histoire du parlement de Paris“, ch. III.

² Voltaire. „Dictionnaire philosophique“, s. v. „Parlement de France“. Ср. „Essai sur les mœurs“, ch. LXXXV; Hallam, названное сочинение и том, стр. 337—339; Robertson, назв. соч. и том, стр. 94.

³ F. A. Mignet. „De la féodalité, des institutions de St. Louis et de l'influence de la législation de ce prince“, Paris, 1822, стр. 123—124.

⁴ Guizot, назв. соч., 47 leçon.

⁵ Пушкин. „Полное собрание сочинений“ в 6 томах, прилож. к журналу „Красная Нива“, 1931, т. V, стр. 421.

с рукописью, являющиеся, может быть, результатом правки и позволяющие счесть данный сомнительный текст вставкой Анненкова. Поэтому в последних критических изданиях сочинений Пушкина — шеститомном ГИХЛ (1936 г.), девятитомном и шеститомном „Academia“ — эти несколько строк исключены из Пушкинского текста.¹ Однако против мотивов полного устранения сомнительных строк можно возразить, что на одном из разрозненных клочков, относящихся к той же работе Пушкина,² имеются слова и обрывки слов, в точности совпадающие с последней частью спорного текста: „...ых [вассалов]³ владель... яепре... ствовали общины и“. Исходя из анализа содержания дубиального текста, можно привести в его защиту и некоторые другие доводы. Мы попытаемся показать, хотя бы путем сближения с предполагаемыми источниками Пушкина, что и на этих строках в какой-то мере могло отразиться изучение тех же исторических материалов.

У Вольтера имеется замечание, посвященное эволюционному росту парламентов и усилению их престижа: „Судебные учреждения, которые называются парламентами, сделавшись постоянными и в конце-концов значительно окрепшими, приобрели незаметно, как путем королевских уступок, так и на основе обычая и даже в силу бедственных обстоятельств (malheurs du temps), права, каких они не имели ни при Филиппе Красивом, ни при его сыновьях, ни при Людовике XI“.⁴

В спорном тексте говорится о „рождении“ парламентов в эпоху, примерно, Людовика IX, Филиппа IV или ближайших преемников последнего. Если учесть, что и в более отдаленные времена народные собрания назывались во Франции парламентом, то в данном тексте можно усмотреть анахронизм. Однако этот анахронизм легко устранить, предположив, что автор текста согласовал свою номенклатуру с главой III „Истории парижского парламента“, в которой Вольтер проводит резкую границу между прежними парламентами (генеральными штатами, всенародными собраниями) и новым парламентом, возникшим как суд высшей инстанции. (В тексте Пушкина эти прежние парламенты именуется сеймами.)

Вольтер неоднократно останавливается на денежных затруднениях, во власти которых оказались феодалы, экономически подорванные крестовыми походами. Одна из выписок Пушкина (№ 32) соответствует следующему месту из главы LVIII „Опыта о нравах“: „Единственным добрым исходом этих затей (крестовых походов) была свобода, которую некоторые посады (bourgades) купили у своих сюзеренов. Муниципальное правление несколько окрепло благодаря разорению обладателей ленов. Мало-по-малу эти общины, получив возможность работать и торговать на

¹ Пушкин. „Полное собрание сочинений“ в 6 томах, „Academia“, М.—Л., 1936, т. V, стр. 656.

² „Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском Доме“, стр. 122, № 313.

³ В квадратные скобки заключено зачеркнутое Пушкиным слово.

⁴ „Essai sur les mœurs“, ch. LXXXV.

себя, развили искусства и коммерческие предприятия, до тех пор задущенные рабством“. В другом месте той же книги, останавливаясь на симптомах обратного развития феодализма, Вольтер замечает: „Свобода, прирожденное достояние людей, возродилась вследствие нужды в деньгах, которую испытывали государи“.¹ Особого внимания — в виду того значения, которое Пушкин придавал общинам как „второму шагу учреждений независимости“, — заслуживает глава LXXXIII „Опыта о нравах“ (*Affranchissements, privilèges des villes, états-généraux*), где господствовавшие в Европе бесправие и нестерпимый гнет феодального режима рассматриваются как предпосылка эмансипации. „Из общей в Европе анархии, из всего этого множества бедствий родилось бесценное благо свободы, позволившей понемногу расцвести имперским городам... Императоры начали освобождать некоторые города; и с XIII в. города соединились для своей совместной защиты против владетелей замков, существовавших разбоем. Людовик Толстый последовал этому примеру в своих владениях, чтобы ослабить сеньеров, воевавших с ним. Даже сами сеньеры продавали своим городкам свободу, чтобы иметь чем поддержать честь рыцарства в Палестине“.² На этих же моментах процесса дефеодализации останавливается Робертсон: „Крупные бароны последовали примеру монарха [Людовика Толстого] и даровали подобные же преимущества городам своих территорий. Истощенные громадными расходами, связанными с походами в Святую землю, они рьяно ухватились за новое средство добыть себе деньги продажей этих хартий вольностей... Меньше чем в два века рабство было уничтожено в большинстве городов Франции... города таким образом превратились в независимые общины... Привилегии, даруемые городам, ослабляя дворянство, усиливали власть короны“.³

Нам кажется, что приведенные сопоставления спорного текста с литературными источниками, находившимися, повидимому, в поле зрения Пушкина в момент его работы над историей французской революции, и сличение этих строк с предыдущим изложением свидетельствуют о единстве концепции и о непрерывной линии исторической логики, которую на основе использованного материала вел Пушкин. При постановке вопроса об исключении взятых под сомнение строк из заметки Пушкина или об отнесении их к разряду *dubia* необходимо всесторонне учесть, что замечания об эмансипации общин, по существу вложенной в них мысли, могут иметь существенное значение для изучения историзма Пушкина, и поэтому вопрос этот должен решаться с особой осторожностью. Поэт, исходя из предпосылок, далеких от анализа производственных отношений, в одном из своих выводов (общины — шаг учреждений независимости) приближается к тезису Энгельса, который в крестьянских

¹ „Essai sur les mœurs“, ch. L.

² „Essai sur les mœurs“, ch. LXXXIII.

³ Robertson, названное сочинение и том, стр. 44—46.

общинах Франции видел основу территориальной сплоченности и средств сопротивления угнетенного класса.¹

„Мало-по-малу народ откупился, владельцы обеднели и стали проситься на жалование королей. Они выбрались из феодальных своих вертепов, и стали являться *arriivoisés* в дворцовые передние“. В этой части заметки затронут вопрос, особо значимый для анализа исторических взглядов Пушкина, отразившийся на общем мировоззрении поэта, приковывавший к себе его пристальное внимание и имеющий ближайшую связь с его художественным творчеством — вопрос об упадке родовой знати, тесно смыкающийся с вопросом об исторических судьбах дворянства.

Вольтер характеризует Людовика XI как первого неограниченного монарха Франции со времени распада империи Карла Великого: „именно ему народ обязан первым укрощением знати“.² Разгрому дворянства при Карле VII и Людовике XI и положению оскудевшей аристократии посвящает несколько страниц Робертсон; в его изложении отмечен и момент ухода знатных феодалов в свои замки как в единственное прибежище: „дворяне, привыкшие до сих пор быть друзьями, фаворитами и министрами своих государей, встречали теперь такое подчеркнутое (*affecté*) и уничтожающее презрение к себе, что, если они не хотели следовать за двором, где они не сохранили и тени своего прежнего могущества, им оставалось только удалиться в свои замки и жить там в забвении“.³ Пушкин, говоря о дворянах, „выбравшихся из феодальных своих вертепов“, касается последнего этапа трагедии дворянства, утратившего свое бывшее величие, — но этот этап надо отнести к более поздним временам — к эпохе Ришелье и Людовика XIV (ср. у Пушкина „О русской литературе с очерком французской“, 1834: „Великий человек, унизивший во Франции феодализм, захотел также связать и литературу. Писатели... были призваны ко двору и задарены пенсиями, как и дворяне. Людовик XIV следовал системе кардинала“). Фаза дворянского оскудения в век „короля-солнца“ прекрасно освещена у Лемонте: „Королевская власть настойчиво осуществляла свои замыслы против старой аристократии и все средства казались ей приемлемыми для того, чтобы сделать ковким этот неподатливый металл, состоящий из трех различных элементов и ими поддерживаемый: из внутрдворянской демократии, из анархии по отношению к государю и из тирании над народом... Но самым верным распылителем силы в руках Людовика XIV было смещение главного дворянства, которое он заманил из провинции во дворец... Французское дворянство, которому непреодолимый предрассудок преграждал дорогу ко всем поприщам деятельности, кроме военного, и в среде которого, в силу варварского

¹ Ф. Энгельс. „Происхождение семьи, частной собственности и государства“ (Маркс и Энгельс, „Сочинения“, М., 1937, т. XVI, ч. 1, стр. 132).

² „Essai sur les mœurs“, ch. XCIV.

³ Robertson, назв. соч. и том, стр. 134.

обычая, младшие представители оставались обездоленными, делилось на два класса — на плохо обеспеченных и на совершенно нищенствующих“. В Венеции тоже существовал класс дворянства, доведенного до полного пауперизма и зажатого в тиски самых жестких законов (*barnabotes*). „Но Людовик XIV не подражал этой суровой политике и французских барнаботов, напротив, хотел использовать для удовлетворения своего тщеславия“.¹ В том же плане и почти теми же красками описывает и Барант положение дворянства в XVII в. и политику Людовика XIV по отношению к представителям родовой знати: „Людовик XIV пошел по тому же пути (уничтожения французской аристократии, предпринятого Ришелье. Я. Я.); но если он не знал, чем занять дворянство, он, по крайней мере, успел дать ему направление. . . . Политика деспотизма подсказывала необходимость уничтожения дворянства; склонности и привычки заставляли потворствовать тщеславию последнего и постоянно представлять ему самый пагубный из подарков: благосклонность, не приносящую за собой влияния. Как раз на этот подарок дворянство накинулось с жадностью. Знатные сеньеры превратились в дворцовых служителей; все дворянство Франции было обречено сделаться рассадником для пополнения рядов куртизанов“.² В другом месте той же книги Барант говорит о положении дворянства в словах, настолько близких к формулировке Пушкина, что в последней можно предполагать наличие реминисценции: „*Les grands seigneurs avaient abandonné leurs féodales demeures pour venir solliciter la faveur domestique de loger dans quelque entresol ou quelque mansarde du palais*“.³ В связи с этим же моментом из истории французского дворянства находятся замечания Тьера: „*Les grands qui avaient abandonné leur dignité féodale pour la faveur du monarque. . .*“; и Минье: „*Louis XIV assujettit les grands en les appelant à la cour, où ils reçurent en plaisirs et en faveur le prix de leur dépendance*“.⁴

„Короли почувствовали всю выгоду сего нового положения, дабы (*subvenir aux frais de nouvelle dépense*) покрыть новые необходимые расходы, они прибегнули к продаже судебных мест, ибо доходы от прав, покупаемых городами, начали истощаться и казались уже опасными. Сия

¹ P. E. Lemontey. „*Essai sur l'établissement monarchique de Louis XIV, et sur les altérations qu'il éprouva pendant la vie de ce prince*“, Paris, 1818, стр. 345—348 (Библиотека Пушкина, № 1089).

² P. Barante. „*Des communes et de l'aristocratie*“, P., 1829, стр. 44.

³ Там же, стр. 86. Перевод: „Крупные сеньеры покинули свои феодальные жилища, чтобы явиться с ходатайством о предоставлении им в виде домашней милости права ютиться где-нибудь в антресолях или мансардах дворца“.

⁴ L. A. Thiers. „*Histoire de la révolution française*“, Paris, 1828, т. I, стр. 3 (Библиотека Пушкина, № 1434); F. A. Mignet. „*Histoire de la révolution française depuis 1789 jusqu'en 1814*“, Bruxelles, 1828, т. I, стр. 9 (Библиотека Пушкина, № 1168). Перевод: I. „Знатные, покинувшие свое феодальное величие ради милости монарха. . .“ II. „Людовик XIV поработил знать, призвав ее ко двору, где развлечениями и милостями была оценена ее зависимость“.

мера утвердила независимость de la magistrature (гражданских сановников) и сие сословие вошло в соперничество с дворянством, которое возненавидело его“. Хронологически переход к начальному моменту практики продажи судебных мест как нового средства пополнения казны не вяжется с предшествующим текстом, в конце которого говорится об эпохе Ришелье и Людовика XIV: продажа гражданских должностей, сначала по преимуществу финансовых, была введена еще при Людовике XII, т. е. в XV в. Замечание Пушкина о том, что доходы, извлекаемые путем продажи вольности городам, начали казаться опасными, может быть, восходит к словам Лемонте: „Я думаю, впрочем, что в этих уступках общинам проявлялось больше щедрости, чем искренности, и что если корона возвысила общины для преодоления вассалов, то после разгрома последних она же стремилась лишь к ограничению общин“.¹ Барант также говорит, что королевская власть, борющаяся в течение XII и XIII вв. с феодалными баронами, начала в XIV в. вступать в конфликты с общинами.² В главе LXXXV „Опыта о нравах“ Вольтер, обозревая парламентскую реформу эпохи Филиппа Красивого, упоминает о сословном антагонизме между родовой военной аристократией и профессионалами-законниками, носителями вновь приобретенных дворянских привилегий, что можно сопоставить с замечанием Пушкина о ненависти дворян к *carpenus* из среды гражданских сановников. Лемонте, останавливаясь на более поздней исторической эпохе, в следующих выражениях говорит об испытаниях, через которые под игом просвещенного абсолютизма пришлось пройти судебному сословию (la magistrature): „Ему было присуще то же двусмысленное бытие, которое было общим уделом всех французских установлений. Вышедшее из буржуазии, оно приобщалось к дворянству в силу приобретения своих должностей — как раньше дворянство приобреталось держанием ленов. Ему оставалось только пополнять свои ряды из среды самого дворянства и тщеславие рано или поздно должно было толкнуть его на этот последний шаг. Но в то время как оно отрекалось от своего собственного происхождения, дворянство с высоты своих амбразур, в свою очередь, отрекалось от него и не понимало, что добродетели могут таиться не только под шлемом и шишаком. С прекращением Генеральных штатов судебные сановники начали образовывать четвертое сословие в народе“.³

„Продажа гражданских мест упрочила правление достаточной части народа, следственно столь же благоразумна и представляет такое же основание, как и нынешние законы о выборах. — Писатели XVIII в. напрасно вопили противу сей меры будто бы варварской и нелепой“. Данная Пушкиным оценка существовавшей во Франции практики продажи гражданских должностей (*vénalité des charges, vénalité des offices*) поле-

¹ Lemontey, названное сочинение, стр. 361—362.

² Barante. „Des communes“, стр. 6.

³ Lemontey, назв. соч., стр. 354.

мически заострена прежде всего против Вольтера, который из писателей XVIII в. громче и чаще всех подымал свой голос против этой меры и обрушивался на Монтескье, выступившего ее защитником.¹ Монтескье говорит: „Cette vénalité est bonne dans les états monarchiques, parce qu'elle fait faire, comme un métier de famille, ce qu'on ne voudrait entreprendre pour la vertu; qu'elle destine chacun à son devoir, et rend les ordres de l'état plus permanents“.² В интерпретации Дестю-Траси доводы Монтескье сводятся к тому, что в специфических условиях монархического образа правления (который в системе Монтескье занимает среднее место между деспотией и республикой) непосредственное назначение должностных лиц королем все равно не гарантировало бы этической безупречности избранника; между тем, продажность должностей служит надежным противовесом растущей плутократии третьего сословия и тем самым спасает положение привилегированного класса; к чему и должна стремиться монархия.³

В этих охранительно-монархических доводах нет ничего общего с концепцией Пушкина, которую с наибольшей вероятностью можно сопоставить, как это сделал Б. В. Томашевский, с высказываниями Б. Констан и Лакретеля.⁴ Отметим, что мнению Лакретеля созвучны слова Лемонте, посвященные апологии судебного сословия (la magistrature): „On ne saurait juger avec trop de réserve tant de personnages distingués qui achetaient à de grands prix l'obligation d'une vie dure, fastidieuse et désintéressée, et dont l'âme s'était trempée dans les anciennes familles de robe où la science, la foi, le courage et la pudeur, se transmettaient comme des biens héréditaires. Si au milieu de la corruption commune, quelques belles pages restaient à nos annales, c'étaient principalement celles que remplissait la vie de grands magistrats“.⁵

¹ Voltaire. „Essai sur les mœurs“, chapitres XCVIII, CX, CXIV; „Siècle de Louis XIV“; ch. XXX; „Précis de siècle de Louis XV“, ch. XLII; „Dictionnaire philosophique“, s. v. „Lois (esprit des)“, „Vénalité“; „Nouveaux doutes sur l'authenticité du testament attribué au cardinal de Richelieu“; „Commentaire sur quelques principales maximes de l'Esprit des lois“, XXII; „Dialogues et entretiens philosophiques“, XXI, 1.

² Montesquieu. „De l'esprit des lois“, livre V, ch. XIX. Перевод: „Эта продажность хороша в государствах монархических, так как она заставляет выполнять в качестве наследственного призвания то, чего не захотели бы взять на себя ради добродетели, и так как она предопределяет каждому его долг и делает сословия государства более постоянными“.

³ Destut de Tracy. „Commentaire sur l'Esprit des lois de Montesquieu“, Paris, 1819, стр. 53—54.

⁴ Б. В. Томашевский. „Французские дела 1830—1831 г.“ („Письма Пушкина к Е. М. Хитрово“. Л., 1927, стр. 351—352, сноска).

⁵ Lemontey, назв. соч., стр. 355. Перевод: „Нет пределов той осмотрительности, с которой надо произносить свой суд над столькими выдающимися людьми, приобретавшими высокой ценой обязанность суровой, скучной и бескорыстной жизни, духовно закаленными в этих старинных судейских семьях, в которых знание, вера, смелость и скром-

„Но вскоре короли заметили, до какой степени сия мера ограничила их самовластие и укрепила независимость сановников — Ришелье установил комиссаров, т. е. сановников, временно уполномоченных королем. Законники возроптали, как на нарушение прав своих и злоупотребление общественной доверенности. — Их не послушали и самовластие министра подавило и их и феодализм“. В просмотренной нами литературе единственная страница, на которую можно сделать ссылку в плане сопоставления ее с последним абзацем пушкинской заметки, оказалась у Вольтера, который говорит об учрежденной кардиналом Ришелье судебной палате в арсенале „для осуждения тех, кому парламент не хотел вынести приговор, не выслушав их“. В состав этой палаты входили два государственных советника, шесть докладчиков и шесть членов большого совета. Все протесты парламента против такого посягательства на его судебную компетенцию закончились полным торжеством кардинала. Когда знаменитый Моле, бывший в это время генерал-прокурором, захотел отстаивать попранныю законность, Ришелье исключил его из состава совета и отстранил от должности.¹

В работе своей над историей французской революции Пушкин, основываясь на отборе и изучении самого разнообразного материала, какой был ему доступен, преимущественно, все-таки, следовал за автором „Опыта о нравах“; доминирующее влияние Вольтера в какой-то мере отразилось, может быть, и на выборе Пушкиным эпиграфа к раннему (майскому) варианту статьи. Работа эта дошла до нас в фрагментарном виде: повидимому, Пушкин, в силу тех или иных причин, прервал свое исследование на подготовительной его стадии — на обзоре исторических предпосылок великой французской революции. Но для изучения исторического мировоззрения Пушкина, как и для анализа метода его работы, те его заметки и планы, которые относятся к этой теме, дают очень много и до сих пор остаются недостаточно исследованными. Материал, содержащийся в пушкинской тетради № 2377 Б, может быть и не весь связан телеологически с темой о французской революции (выписки из „Gazette de France“, из „Journal des Débats“, из Б. Констана могут относиться и к каким-нибудь другим, например публицистическим, замыслам Пушкина), но в основном эти выписки как хронологически, так и по содержанию должны быть сопоставлены с занимавшей Пушкина исторической темой.

Мы ограничили свою задачу попыткой интерпретации неиспользованного в пушкиноведении материала — каким являются пушкинские выписки из Вольтера, — в плане только комментария к „Введению

ность передавались как наследственное достояние. Если среди общей порчи нравов в наших летописях уцелело несколько прекрасных страниц, то это были по преимуществу те, которые заполнялись жизнью великих судебных деятелей“.

¹ Voltaire. „Histoire du parlement de Paris“, ch. L.

в историю французской революции“. Но это не значит, что мы считали возможным рассматривать эти выписки только под этим углом зрения и только в применении к данной статье Пушкина. Вопрос о телеологии и об оценке содержащихся в пушкинской тетради цитат, очевидно, гораздо сложнее и обширнее, и его надлежало бы рассматривать в общем контексте изучения разнообразных интересов поэта: всесторонний анализ этой вспомогательной работы Пушкина нельзя мыслить без учета его художественных замыслов, его столкновения с Полевым, его публицистических выступлений, наконец, — его заинтересованности проблемой об исторической роли дворянства. Но и выбранный нами участок обширной темы позволяет обнаружить некоторые неиспользованные возможности пушкинского источниковедения.



Н. В. ЦЕЙЦ

К ИСТОРИИ НЕОСУЩЕСТВЛЕННОГО ЗАМЫСЛА ПУШКИНА ОБ „ЕРМАКЕ“

Свой „Воображаемый разговор с Александром I“ Пушкин заканчивает следующими словами: „Но тут бы Александр Пушкин разгорячился и наговорил мне много лишнего [хоть отчасти справедливого], я бы рассердился и сослал его в Сибирь, где бы он написал поэму *Ермак* или *Кочум*. . . . размером с рифмами“. Хорошо известна реальная основа этого „воображаемого“ разговора поэта с царем, в который Пушкин включил свои интимные мысли и убеждения, но приведенные слова об Ермаке еще не обратили на себя достаточного внимания. Их готовы были считать указанием случайным и ни в какой мере не связанным с творческой биографией поэта; словно Пушкин здесь думал о том, что для создания своего Ермака он по воле правительства должен был оказаться в Сибири. Между тем, если эти слова поставить в один ряд с другими свидетельствами, то окажется, что и они были вполне конкретны и реальны: можно думать, что Пушкин действительно собирался осуществить этот замысел.

„Воображаемый разговор“ написан Пушкиным в Михайловском, в январе—феврале 1825 г., в тетради с черновой редакцией „Бориса Годунова“, между первой и второй сценами трагедии. Именно в это время создания трагедии, внимательного изучения исторических источников, Пушкин заинтересовался историей Ермака и собирался сделать его героем поэтического произведения. Как возник у Пушкина этот замысел?

Ермак Тимофеевич, атаман донской казачьей вольницы, бесстрашный „покоритель Сибирского царства“, победитель грозного сибирского хана Кучума и „могучего“ царевича Мегмет-Кула, положивший начало завоеванию Сибири, не раз уже был воспет в русской литературе. Ряд литературных обработок сюжета об Ермаке — стихотворения, поэмы классического и романтического типа, трагедии, прозаические повествования — непрерывной цепью тянутся в русской литературе с конца XVIII в.¹

¹ Литературные обработки этого сюжета перечислены в книге В. Маслова „Литературная деятельность К. Ф. Рыльева“, Киев, 1912, стр. 194—195, и Дополнения, Киев, 1916, стр. 35—37. Маслов называет здесь имена И. И. Дмитриева, П. Львова, П. Плавильщикова, А. Радищева, К. Ф. Рыльева, А. Шишкова 2-го, Трилунного, А. Хомякова и ряд безымян-

Пушкин знал многие из этих произведений задолго до того, как сам задумал свою поэму; о некоторых из них сохранились и его отзывы. Так, например, мы знаем о резко-отрицательном отношении Пушкина к стихотворению И. И. Дмитриева „Ермак“, которое было одним из первых русских поэтических произведений на эту историческую тему. „Ермак“ Дмитриева, написанный еще в 1791 г.,¹ был очень популярен, неоднократно перепечатывался и даже несколько раз был переведен на иностранные языки (французский, английский, польский). Еще в 1817 г., в послании к В. Л. Пушкину („Что восхитительней, живей...“, полная редакция), Пушкин насмешливо советовал дяде „взять пример“ с того поэта,

которого рука
Нарисовала Ермака
В снегах незнаемого света
И плен могучего Мегмета...

В библиотеке Пушкина имелось 6-е издание „Стихотворений И. И. Дмитриева“ в двух частях (СПб., 1822—1823 гг.). Здесь был перепечатан и „Ермак“. Эту книгу Пушкину прислал П. А. Вяземский, поместивший в ней вступительную статью с общей благожелательной характеристикой творчества Дмитриева. Дав подробную оценку ряда произведений Дмитриева, Вяземский находит, что стихотворение „Ермак“ исполнено „огня поэтического и, что еще лучше, ... огня любви к отечеству“. Он указывает на „превосходные образы“, „драматическое движение“, „звучность стихов“, „живописность“ этого стихотворения, сомневаясь лишь в одном: „употреблены ли в нем с верностью краски местные и сродные лицам и сцене, на коей они действуют“. Пушкин не был согласен ни с общей оценкой Вяземским творчества Дмитриева, ни с его отзывом об „Ермаке“. „О Дмитриеве спорить с тобой не стану“, пишет Пушкин Вяземскому 4 ноября 1823 г., в ответ на присланную ему книгу, и, вместе с тем, дает уничтожающую характеристику поэзии Дмитриева, с упреком обращаясь к Вяземскому: „а ты покровительствуешь старому вралю“. Любопытно, что „Ермак“ — единственное произведение Дмитриева, которое Пушкин назвал в своем ответном письме среди суммарного перечня всех жанров, в которых писал Дмитриев. Отзыв о нем лаконично-отрицателен: „Ермак такая дрянь, что мочи нет“. Эти строки пушкинского письма — прямое следствие общего отрицательного отношения Пушкина к поэзии Дмитриева и его поэтической школе. Для нас же интересным здесь является то, что, получив книгу от Вяземского, Пушкин вновь обратил внимание на это стихотворение и попрежнему осудил его.

ных произведений об Ермаке. Полнее указания у Е. Кузнецова, „Библиография Ермака. Опыт указателя малоизвестных сочинений на русском и частью на иностранных языках о покорителе Сибири“ — „Календарь Тобольской губ. на 1892 год“, стр. 140—169 и отд. оттиск.

¹ „Московский журнал“, 1791.

В том же письме Пушкин упоминает и „Думы“ К. Ф. Рылеева, читанные им в различных журналах. Отдельное издание своих „Дум“ Рылеев прислал Пушкину в 1825 г.; в числе прочих там находилась и дума „Смерть Ермака“.¹ Это стихотворение, ранее напечатанное в трех периодических изданиях, имело большой успех и заслужило много похвал.

Посылая свою книгу, в сопроводительном письме от 10 марта 1825 г., Рылеев обращал внимание Пушкина на некоторые из стихотворений, в том числе и на „Ермака“: „Знаю, что ты не жалуешь мои Думы... Чувствую сам, что некоторые так слабы, что не следовало бы их и печатать в полном собрании. Но за то убежден душевно, что Ермак, Матвеев, Вольнский, Годунов и им подобные хороши и могут быть полезны не для одних детей“. Пушкин очень внимательно прочел все „думы“, и они не удовлетворили его. Хвала поэму „Войнаровский“, Пушкин, в письме к Вяземскому от 25 мая 1825 г., замечает: „За то Думы дрянь“.

„Смерть Ермака“ Рылеева представляла собой произведение совершенно иного стиля, чем „классическое“ стихотворение Дмитриева с его условным историзмом. Однако и Рылеев, опираясь главным образом на сведения из „Истории“ Карамзина, заимствовал у него внешнее описание „романтической“ картины гибели Ермака и официально-патриотическую точку зрения на его подвиги. „Дума“ оправлена в рамку типичного романтического пейзажа, повторяющегося, как рефрен: „Ревела буря, дождь шумел,“ и т. д. С другой стороны, слишком архаически звучала, характерная для классической школы, персонификация рока:

Но роковой его удел
Уже сидел с героем рядом
И с сожалением глядел
На жертву любопытным взглядом, и т. д.

Пушкину не могли понравиться „нравоучения“, сквозившие в следующих словах Ермака:

Свое мы дело совершили,
Сибирь царю покорена
И мы — не праздно в мире жили!

„Думы Рылеева“, — писал Пушкин В. А. Жуковскому в 20-х числа апреля 1825 г., — „и целят, а всё не впопад“. Свое суровое суждение обо всем цикле Пушкин сообщил и самому автору в письме от конца мая 1825 г. Про „Думы“ он говорит, что „все они слабы изобретением и изложением. Все они на один покрой: составлены из *общих мест* (Loci topici). Описание места действия, речь героя и — нравоучение. Национального, русского нет в них ничего, кроме имен“....

¹ Дума К. Ф. Рылеева „Смерть Ермака“ была напечатана: в „Соревнователе Просвещения“, 1822, ч. XVIII, № 4, стр. 100—103; „Русском Инвалиде“, 1822, № 14, стр. 55—56; „Северных Цветах на 1825 год“, стр. 56—59, и в отд. изд. — „Думы. Стихотворения К. Ф. Рылеева“, М., 1825, стр. 91—99.

В эти годы Пушкин был поглощен изучением истории: создавая своего „Бориса Годунова“, который должен явиться „образцовым опытом первой трагедии народной“, ¹ Пушкин стремился здесь к объективно-реалистическому изображению прошлого. Он увлекается чтением Вальтера Скотта, зачитывается историческими хрониками Шекспира, восхищаясь тем, что у него „каждый человек любит, ненавидит, печалится, радуется, но каждый на свой образец“. Он внимательно изучает „Историю“ Карамзина, пользуясь историческими данными, но отказываясь от идейной концепции Карамзина в построении своей трагедии. Наконец, он стремится проникнуть в смысл исторических событий и „угадать образ мыслей и язык тогдашних времен“ непосредственно по летописям и по отрывкам из них, которые добросовестно и много цитирует Карамзин в примечаниях к каждому тому „Истории“.

Делая выписки из X и XI томов „Истории“ для создания основной канвы „Бориса Годунова“, Пушкин, конечно, еще раз тогда заглянул и в предыдущий, уже ранее ему известный девятый том (3-е изд., 1820 г.), повествующий о царствовании Ивана Грозного. В VI главе IX тома „Истории“, всецело посвященной завоеванию Сибири донскими казаками во главе с Ермаком, подробно излагаются путь продвижения их по Сибири, история властвования Ермака в этой стране и, наконец, его гибель. Изложенный по летописям рассказ Карамзина сообщал много интересных подробностей и о Сибири и об Ермаке, который изображен был здесь „неустрасимым искусным героем“, „родом неизвестным, душою знаменитым“ — „российским Пизарро“, оказавшим, однако, в обращении с покоренными народами „необыкновенный разум и в земских учреждениях и в соблюдении воинской подчиненности, вселив в людях грубых, диких, доверенность к новой власти, строгостью усмиряя своих буйных соподвижников“.

Материал, извлеченный Карамзиным из разнообразных исторических источников (в значительной степени неизданных), был настолько свеж и интересен сам по себе, что он мог привлечь внимание Пушкина и независимо от освещения его официальным историографом. Особенно интересными, как известно, были „примечания“, в которых приведены были большие выдержки из ряда еще малоизвестных историкам рукописных сочинений.² Кроме того, Карамзин широко пользуется „сказаниями иностранцев“ о России — книгами Герберштейна, Массы, Витсена и полеми-

¹ П. А. Вяземский. Письмо в Париж, „Московский Телеграф“, 1825, № 22 от 15 ноября, стр. 181.

² Карамзин приводит здесь, например, большие цитаты и разночтения из местной „Строгановской Летописи“ — „Повести о взятии Сибирския земли“, изданной Г. И. Спасским в 1821 г. и представленной им Карамзину еще до ее издания: из „Истории о Сибирстей земли и о Царствии“ Саввы Есипова, изложенной впоследствии Никитой Поповым в „Трудах Вольного О-ва Любителей Росс. Словесности“, 1822 г., ч. XVII; из „Степенной Книги“ или „Нового Летописца“; из „Тобольского Летописца“ Семена Ремезова, напечатанного потом в „Прибавлении к Казанскому Вестнику“. 1828 г., № 12.

зирует с авторами важнейших исторических трудов о Сибири — Миллером Фишером. Все это представляло собой, конечно, обильный, разнообразный и заманчивый материал для создания художественного произведения.

Нельзя не упомянуть здесь и о знакомстве Пушкина с песнями и былинами об Ермаке. В письмах брату 1825 г. Пушкин несколько раз настойчиво просит прислать ему альманах „Русская Старина“, издававшийся будущим декабристом А. Корниловичем; здесь, кроме статьи о петровской эпохе, была помещена большая статья В. Сухорукова о донских казаках XVII—XVIII вв., в которой приводились старинные казачьи песни. Среди них Пушкин читал и песню об Ермаке в отделе „Донские песни“ (стр. 336—341); здесь же были приложены и ноты к этой песне. В библиотеке поэта находился и сборник Кириши Данилова „Древние русские стихотворения“ (2-е изд., 1818 г.), где была напечатана былина под названием „Ермак взял Сибирь“. Строго-эпический стиль ее повествования совершенно по-иному освещал характер завоевания Сибири мужественными, смелыми, но хитрыми и изворотливыми казаками во главе с их атаманом Ермаком. Характерным в этом смысле является и объяснение возникновения похода — не „муками совести“ „раскаившихся злодеев“ и желанием заслужить прощение у бога, царя и отечества, а просто тем, что „податься было некуда“ после убийства персидского посла и ограбления каравана. На собрании казаков в Астрахани Ермак говорит:

Во Астрахани нам нельзя больше жить;
А на Волге жить? ворами слыть;
Во Казань идти? грозен царь стоит,
А грозен царь Иван Васильевич.
Во Москву идти? быть перехватанным,
По разным городам разосланным
И по темным тюрьмам рассаженным.
Пойдемте в усолья ко Строгановым,
Ко тому Григорью Григорьевичу
Ко тем господам ко Вороновым —
Возьмем мы много свинцу, пороху,
И возьмем у них запасу хлебнова.

Поведение казаков и Ермака в Москве тоже говорит об их чувстве собственного достоинства и хитрости. Так же исторически правдиво и просто рассказывается и гибель Ермака. Взбунтовались татары против Ермака оттого, что

Стал он их наиболее
Под власть Государеву покорять,
Дани, выходы без запущения выбирати.

Произошла битва; казаки Ермака в то время были разосланы по другим местам, и у него „осталось молодцов на двух коломенках“:

И для помощи своих товарищев
Он Ермак перескочить хотел
На другую свою коломенку,
Ступил на переходную обманчиву,

Правую ногой поскользнулся он —
 И та переходя с конца верхнева,
 Подымалась, на ево опускалася
 И расшибла ему буйну голову,
 И бросила ево в Енисею реку.
 Тут Ермаку смерть случилася.

Увлечение некоторых декабристов — друзей Пушкина — старыми казачьими и так называемыми разбойничьими песнями, передавшееся и Пушкину в период южной ссылки, легенды о „дикой вольнице“ „воинственных“ донских и волжских казаков, живейший интерес к биографиям Разина и Пугачева в образцах народного творчества — всё это вполне совпадает и с интересом Пушкина к Ермаку, как к одному из образов народного эпоса.

Поэтому не случайно, что в числе народных героев, достойных эпической поэмы, Пушкин упоминает и имя Ермака в письме к Н. И. Гнедичу от 23 февраля 1825 г.

„Я жду от вас эпической поэмы. Тень Святослава скитается не воспетая, писали вы мне когда-то. А Владимир? а Мстислав? а Донской? а Ермак? а Пожарской? История народа принадлежит Поэту“.

А через два месяца, 23 апреля 1825 г., Пушкин просит брата прислать ему „Сибирский Вестник весь“. Для чего понадобился Пушкину журнал? До сих пор это оставалось невыясненным. Комментируя это письмо, Б. Л. Модзалевский замечает: „Трудно сказать, зачем Пушкину понадобился этот специальный журнал, — быть может для новых тем“.¹ Теперь можно сказать более определенно, что Пушкин хотел, повидимому, найти в нем дополнительные и более достоверные сведения о Сибири и об Ермаке.

Издававшийся Г. И. Спасским в 1818—1824 гг., этот журнал сообщал много сведений о географии, быте, нравах, экономике, искусстве и т. д. современной Сибири и странах „сопредельных с оной“. В нем печатались и отрывки из летописей, описаний путешествий XVII—XVIII вв., воспоминаний и тому подобных источников, в которых рисовались картины исторического прошлого Сибири. Среди исторических памятников, конечно, первое место занимали сообщения о покорении Сибири, о геройстве Ермака — „сего хотя низкого по происхождению, но великого по подвигу своему человека“, о „диком“ Кучуме и т. д. Пушкин мог читать там и выдержки из неопубликованных рукописных источников: „Строгановской летописи“ XVII в. (ч. XIV, 1821 г.), рукописи Ильи Черепанова XVII в. (ч. XIV, 1821 г.); летописи Саввы Есипова XVII в. (ч. I, 1824 г.) и др.

„Сибирский Вестник“ просмотрен был и К. Ф. Рылевым в то время, когда он писал свою думу („Смерть Ермака“) и поэму „Войнаровский“. Но просьба Пушкина о присылке ему журнала была, вероятно, вызвана хвалебным отзывом о „Сибирском Вестнике“, который он прочел в „Московском Телеграфе“ за 1825 г., № 3 (февраль). Автор „Обозрения Русской

¹ „Пушкин. Письма“, т. I, ГИЗ, М.—Л., 1926, стр. 431.

Литературы в 1824 году“ (Н. А. Полевой), приветствуя издание Г. И. Спасским „Сибирского Вестника“, писал: „разнообразие и важность статей сего журнала доказывают, что Сибирь богата не одним золотом, но и любопытными явлениями природы и общества. В течение семи лет (с 1818 года) г-н Спасский сообщил читателям множество драгоценных исторических и географических отрывков и описаний“... Пушкин получил этот журнал и читал его — полный комплект „Сибирского Вестника“ сохранился в библиотеке поэта.

Итак, Пушкин неоднократно упоминает имя Ермака в 1825 г.

Не собирався ли Пушкин тогда, в пору творческой работы над „Борисом Годуновым“, изучения летописей и фольклора, чтения специального сибирского журнала, написать поэму об Ермаке или сделать его героем новой исторической драмы?

Предположение о новом творческом замысле Пушкина получает полное подтверждение в свидетельстве Баратынского, на которое в этой связи еще не обращали внимания. Баратынский прямо сообщает, что в литературных кругах распространился слух о работе Пушкина над поэмой об Ермаке и спешит с этим поздравить самого поэта. „Мне пишут, что ты затеваешь новую поэму Ермака“, — сообщает Баратынский Пушкину из Москвы между 5 и 20 января 1826 г. — „Предмет истинно-поэтический, достойный тебя. Говорят, что когда это известие дошло до Парнасса, и Камоэнс вытаращил глаза. Благослови тебя бог и укрепи мышцы твои на великий подвиг“. Мы не знаем, от кого это известие мог получить Баратынский — вероятно, от авторитетного лица (не от Дельвига ли?), потому что Баратынский не спрашивает у Пушкина подтверждения распространившегося слуха и не сомневается в этом, а просто приветствует и ободряет поэта. Свидетельство Баратынского поэтому имеет все признаки достоверности. Но оно является интересным и с другой стороны — своим упоминанием имени Луиса Камоэнса. Очевидно, Баратынский, вместе со своими современниками, ждал от Пушкина восхваления колониальных завоеваний России в Азии, подобно тому, как это сделал в своей патриотической поэме в октавах „Лузиады“ португальский поэт, воспевавший подвиг Васко де-Гама, впервые обогнувшего Африку и открывшего морской путь в Индию. Баратынский тут повторял ходячее сопоставление русских казаков-завоевателей с Кортесом и Пизарро. Баратынский предполагал, что и Пушкин в Ермаке создаст патриотический эпос в стиле Камоэнса. Но именно в этом Баратынский ошибался. Пушкин искал в Ермаке народного героя, а вовсе не стремился к шовинистическому прославлению русской экспансии в Азии или патриотическому воспеванию побед русского оружия над туземцами Сибири. Пушкиным задолго до этого были осуждены ложно-тенденциозные обработки этой темы вроде стихотворения Дмитриева.

Никаких других известий о работе Пушкина над образом Ермака или о судьбе замысла поэта в этом году мы не имеем. Впрочем, и письмо Бара-

тынского свидетельствует лишь о начальной стадии творческого замысла. Он говорит, что Пушкин „затекает“ поэму. Очевидно, выполнение ее задержалось и было заслонено другими литературными замыслами и житейскими тревогами 1826 г.

Но Пушкин вспоминает об Ермаке поздней осенью того же года, уже в Москве, присутствуя 13 октября на чтении у Д. В. Веневитинова еще не напечатанной трагедии „Ермак“ А. С. Хомякова.

Об этом имеется свидетельство М. П. Погодина: „на другой день <после чтения „Бориса Годунова“ Пушкина> было назначено чтение Ермака, только что конченного и привезенного Хомяковым из Парижа. Ни Хомякову читать, ни нам слушать не хотелось, но этого требовал Пушкин. Хомяков чтением своим приносил жертву. Ермак, разумеется, не мог произвести никакого действия после „Бориса Годунова“, и только некоторые лирические места вызвали хвалу. Мы почти его не слышали. Всякий думал свое“.¹ В дневнике Погодина мы читаем следующую запись: „Слуш[ал] Ермака, наблюдал Пушкина. — Не от меня ли он сделал грим[асу]. (Он) (В) Ерм[ак] есть картина мозаическая, не настоящая, — есть алмазы, но и много стекол“.² Обычно этот отзыв об Ермаке Хомякова приписывают Пушкину, что не лишено вероятия, хотя лаконичность записи Погодина лишает возможности утверждать это. Но до нас дошли два отзыва Пушкина о трагедии Хомякова, говорящие о том, что и эта обработка сюжета об Ермаке его не удовлетворила.

В заметках о „Борисе Годунове“ Пушкин пишет: „«Ермак» А. С. Хомякова есть более произведение лирическое, чем драма. Успехом своим оно обязано прекрасным стихам, коими оно написано“. А в набросках статьи „О народной драме“ и о „Марфе Посаднице“ (1830) Пушкин развивает это замечание: „Ермак идеализированный — лирическое произведение пылкого юношеского вдохновения, не есть произведение драматическое. В нем всё чуждо нашим нравам и духу, всё, даже самая очаровательная прелесть поэзии“. Отсутствие исторической правдивости в изложении событий завоевания Сибири, совершенно фантастическая биография Ермака, искаженные, идеализированные образы казаков и самого Ермака, все время декламирующих и встающих в позы героев либо классической трагедии, либо романтической драмы, говорящих на современном литературном языке, — это абсолютное отсутствие истинной народности в обработке сюжета из истории русского народа, — бросались в глаза не одному только Пушкину. Характерен в этом отношении и отзыв сибиряка Кс. Полевого, который, вне зависимости от Пушкина, но в полном с ним согласии, находил, что в этой трагедии „всё чуждо нашим нравам и духу“. По мнению Полевого, Хомяков „хотел выставить Ермака

¹ Из воспоминаний о Пушкине — „Русский Архив“, 1865, стр. 99.

² Пушкин по документам Погодинского архива — „Пушкин и его современники“, вып. XIX — XX, 1914, стр. 79—80. Ср. также Н. Барсуков, „Жизнь и труды М. П. Погодина“, т. II, стр. 45.

не тем, что был Ермак в самом деле... но героем, рыцарем, Баярдом и вместе нежным вздыхателем по небывалой Ольге"...¹

Пушкин мог видеть и шумный успех „Ермака“ на сцене, с В. А. Каратыгиным в заглавной роли и читал его в печати: отрывки из этой трагедии печатались и в „Московском Вестнике“ за 1828 г., ч. VII, и 1829 г., ч. I, и в альманахе „Денница“ 1830 г.; полностью, в отдельном издании, эта трагедия вышла в 1832 г.

В конце 20-х — начале 30-х годов появился ряд художественных произведений, из которых Пушкин некоторые, безусловно, читал, о других, возможно, слышал, но все они еще раз напоминали ему имя героя, недавно так его интересовавшего.²

Еще более существенными являются те сведения, которые Пушкин получил о Сибири и Ермаке в книгах по истории и географии России, в описаниях научных экспедиций в Сибирь, в многочисленной литературе путешествий, тщательно подбиравшихся Пушкиным для своей библиотеки.³

В „Родословной моего героя“ (1833) мы читаем следующие строки:

Кто б ни был ваш родоначальник,
Мстислав, князь Курбский, иль Ермак...

Упоминание имени Ермака именно в этом ряду — не случайно. Как известно, первые два — Мстислав и князь Курбский — несомненно являлись героями поэтических замыслов Пушкина; в 1822 г. Пушкин собирался

¹ „Московский Телеграф“, 1832, № 6, стр. 233—240. Ср. также и отзыв В. Г. Белинского в статье „И мое мнение об игре г. Каратыгина“ („Молва“, 1835, №№ 17 и 18): „Закрывши рукой имена персонажей, я могу с наслаждением читать эту пьесу, ибо это собрание элегий и поэтических дум о жизни исполнено теплоты, чувства и поэзии... Но как пьеса драматическая, „Ермак“ просто нелепость. Чтобы заставить нас восхищаться им на сцене, надо сперва воротить нас ко временам классицизма, к этим блаженным временам наперстников, злодеев, героев, фижм, румян, белил и декламаций“. Его же: „Все скоро признали в казаках г. Хомякова не казаков XVI столетия, а скорее немецких студентов доброго старого времени: вместо характеров увидели олицетворение известных лирических ощущений и чувствований, и вообще нечто вроде пародии на драматический лиризм Шиллера, пародии, написанной, впрочем, бойкими, гладкими и даже иногда живыми стихами“.

² Можно указать из них: стихотворение „Ермак“ А. А. Шишкова 2-го — „Новости Литературы“, 1825, кн. XI, январь; „Ермак“ А. Муравьева в его сборнике стихов „Таврида“, М., 1827; историческую повесть И. Д. „Ермак, завоеватель Сибири“, изд. 2-е, М., 1827; стихотворение А. М. „Ермак“ в „Северной Лире на 1827 год“; драматическую поэму Трилунного „Покорение Сибири“ — „Атеней“, 1829, ч. IV; „Ермак или покорение Сибири“ Павла Свинына, в 4-х ч., СПб., 1884, и др.

³ См. подробнее об этом в нашей статье „Sibirica в библиотеке Пушкина“ в сборнике „А. С. Пушкин и Сибирь“, Востсибоблгиз, Москва—Иркутск, 1937, стр. 74—100.

В своей книге „Письма о Восточной Сибири“, изданной в Москве в 1827 г., известный путешественник Алексей Мартос напечатал следующие строки, которые Пушкин мог читать или слышать о них. Обращаясь к прекрасному портрету Ермака, помещавшемуся в доме триюксавского купца Черепанова, Мартос восклицал: „Человек великий! Ты забыт... но может быть звучная лира Пушкина воскресит твои подвиги, может быть, творец Минина передаст отечеству изображение твое, исполни доблести, и тогда никто не дерзнет упрекнуть потомков в непризнательности герою Сибири“

написать поэму „Мстислав“, и в списке заглавий драматических замыслов Пушкина (1826—1828), в числе прочих, стоял „Курбский“.

Занятия Пушкина историей в 30-х годах все более углублялись, а работа его над „Историей Пугачева“ и „Историей Петра“ придала его изучениям характер трудов исследователя-историка. Тем существеннее является факт непрекращающегося интереса поэта к образу завоевателя Сибири. Он не перестает думать об Ермаке и собирать о нем сведения. Свидетельством этому является письмо В. Д. Соломирского Пушкину от 17 июля 1835 г., являющееся ответом на не дошедшее до нас письмо самого поэта: „Ты просил меня писать тебе о Ермаке. Предмет, конечно, любопытный; но, помышляя о поездке для розысков следов сего воителя, я досель сижу дома“...

В. Д. Соломирский, знакомый Пушкина,¹ жил в 30-х годах в Сибири, которую довольно хорошо знал, путешествуя по ней по долгу своей службы.² Он был знаком со многими культурными сибиряками-старожилами; в бытность свою в Иркутске, он сошелся с П. А. Словцовым, знаменитым историком Сибири, о котором рассказывал в том же письме Пушкину. Неудивительно, что именно к этому образованному петербургскому „сибиряку“ обратился Пушкин с просьбою добыть ему какие-то материалы о полуполюгендарном герое. Пушкину недостаточно было иметь печатные летописные источники; повидимому, он, так же как и в работе над „Историей Пугачева“, хотел найти неопубликованные данные, а может быть и устные предания и легенды об Ермаке. Во всяком случае, это письмо — лишнее свидетельство серьезного и неослабевавшего интереса Пушкина к Ермаку в зрелую пору его творчества.

В 1836 г., в своей статье „Александр Радищев“, Пушкин цитирует вступление к поэме „Бова“ Радищева, в котором упоминается имя Ермака:

Вдохну на том я месте,
Где Ермак с своей дружиной
Садысь в лодки устремлялся
В ту страну ужасну, хладну и т. д.³

Наконец, в последние месяцы своей жизни, составляя конспект книги С. П. Крашенинникова „Описание земли Камчатки“, Пушкин вновь упоминает имя Ермака. „Так погиб камчатский Ермак!“, восклицает от себя Пушкин, сделав сжатые выписки из Крашенинникова о смерти казака Атласова: рассказ о „покорителе Камчатки“ тотчас же привел поэту

¹ См. М. И. Семевский, „К биографии Пушкина“ — „Русский Вестник“, 1869, № 11, и Н. О. Лернер, „Несостоявшаяся дуэль Пушкина в 1827 году“ — „Русская Старина“, 1907, № 7.

² Ср. „Щукинский сборник“, вып. VI, стр. 421, а также „Пушкин. Письма“, т. II, стр. 239—241.

³ Перечитывая для этой статьи „Собрание оставшихся сочинений А. Радищева“ 1807—1811 гг., Пушкин читал там и отрывок неизданной статьи Радищева „Сокращенное повествование о приобретении Сибири“.

на память образ героя из его неосуществленного замысла. Наброски статьи о камчатских делах начинаются суровой, по своей эпической простоте и широте, картиной постепенного захвата русскими вольными казаками просторов Азии; характерно, что и здесь упоминается то же имя: „Завоевание Сибири совершалось постепенно.... Уже все от Лены до Анадыри реки, впадающие в Ледовитое море, были открыты казаками, и дикие племена, живущие на их берегах или кочующие по тундрам северным, были уже покорены смелыми сподвижниками Ермака“. О них же думал поэт, говоря далее: „Явились смельчаки, сквозь невероятные препятствия и опасности устремившиеся посреди враждебных и диких племен... приводили <их> под высокую царскую руку, налагали на них ясак и бесстрашно селились между ими в своих жалких острожках“.

Мы не знаем точно, какой вид приняла бы у Пушкина его статья о „Камчатских делах“, если бы работа над нею не была бы прервана смертью поэта. Но можно предположить, что она включила бы в себя обобщенный, обдуманый во всех деталях, доведенный до итоговой сжатости пушкинского художественного образа весь тот запас сведений и размышлений Пушкина о Ермаке и завоевании Сибири, который собирался поэтом больше десяти лет.



А. В. ДАВЫДОВ

НОВЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ ПУШКИНА

В номере 9 издававшегося в Москве французского журнала „Bulletin du Nord“, вышедшем 3 октября 1828 г., было напечатано стихотворение одного из сотрудников этого журнала Ахилла Лестрелена (Achille Lestrelin) под заглавием „Epître à M^{eur} Alexandre Pouschkine“ (Послание Александру Пушкину).

Несколько месяцев спустя, весной 1829 г., в Москве вышел сборник стихотворений Ахилла Лестрелена под заглавием „Essais poétiques“ (Стихотворные опыты), в котором среди других было перепечатано то же послание с добавлением примечаний автора и с препроводительным письмом его на имя Пушкина. Письмо это не перепечатывалось и не вошло в академическое издание переписки Пушкина под редакцией В. И. Саитова. Приводим и стихотворение и письмо в подлиннике и переводе.

EPÎTRE¹ A M. ALEXANDRE PUSCHKINE

Qui retient donc tes chants, qui suspend tes accords,
Ton luth harmonieux, tes sublimes transports?
En vain tes doigts hardis abandonnent la lyre;
Les Muses sur ton cœur n'ont-elles plus d'empire?
De ce repos fatal repousse la langueur,
Reprends ton luth divin et dans ta noble ardeur,
Que le frémissement de ses cordes flexibles,
Anime encore l'écho de ces rives paisibles.

Jadis en son essor, ton esprit créateur,
Osant franchir l'espace, où se perd un auteur,²
Enfantait chaque jour de divines pensées,
Et plaçait avec art des phrases cadancées;
L'harmonie, en tes vers écrits éloquemment,
A l'oreille vibrat mélodieusement:
Ainsi la douce voix d'une amante chérie,
Ramène l'espérance en notre âme flétrie.

Le vulgaire, il est vrai, rend justice aux savants,
Lorsqu'ils sont effacés du nombre des vivants;³

C'est sur leur tombe, alors, qu'on pose la couronne;
 Leur trône est un cercueil, que l'honneur environne:
 Tel le chantre d'Achille a vécu méprisé;
 Ainsi l'on vit Ovide à Tomes déposé,
 Camoëns dans l'exile eut le destin d'Homère,
 Il revit sa patrie, y mourut de misère;
 Persécuté long-temps, le Tasse infortuné,
 S'avance au capitole et n'est point couronné;
 Milton dans le malheur a fini sa carrière,
 Méconnu des savants, méprisé du vulgaire.
 Qu'est le mérite hélas! qu'est-il donc ici bas,
 Si l'envie et le sort s'attachent à ses pas!
 Pour éblouir le monde il faut de la richesse,
 Des titres éclatants, beaucoup de hardiesse,
 Un brillant équipage et d'effrontés laquais,
 Insultant les passants aux portes du palais;
 Cela tient lieu d'esprit à la cour, à la ville,
 Et des écrits d'un fat, fait admirer le style.
 Fait un homme d'honneur, d'un fourbe, d'un larron,
 D'un être sans aveu, le plus loyal baron.

Le poète au grenier, trouve un réduit tranquille,
 Oui, c'est là, qu'oublié dans ce modeste asile,
 Son esprit créateur, planant sur l'univers,
 Inspiré par la gloire enfante d'heureux vers;
 C'est là que son crayon par un trait satirique,
 Couvre tous nos abus d'une juste critique;
 Là, sa lyre savante en ses divins accords,
 Peut immortaliser les vivants et les morts.

Que de héros fameux, célébrés dans l'histoire,
 Sans l'heureux art des vers, auraient péri sans gloire!
 Que de Rois oubliés, dignes de notre encens!
 Et ces tombeaux brisés, renversés par le temps,
 La lyre anime encore leur dépouille poudreuse,
 Et cherche un nom caché sous la pierre orgueilleuse;
 Ulyse, Achille, Hector, sortez de vos tombeaux,
 L'Iliade éternise Homère et vos travaux.

Sous un Bourbon la France à jamais immortelle,
 Au sévère Boileau⁴ dut sa gloire nouvelle;
 La prise de Namur, le passage du Rhin,
 Aux siècles sont transmis par son docte burin.
 Lémule de Sophocle en surpassant Corneille,
 A la scène légua sa Phèdre sans pareille.
 Le chantre de Henri composa l'Orphelin,
 Zaïre et Mahomet naquirent sous sa main;

Mais Corneille et Racine en partageant sa gloire,
N'ont point de monument au temple de mémoire.⁵

Les poètes pourtant, sont la gloire des Rois,
Lorqu'ils sont accueillis, protégés sous leurs lois.⁶
Encore faut-il flatter pour être un homme utile;
On voit plus d'un Auguste, il est plus d'un Virgile!⁷
Mille fois plus heureux, laissant ces vains succès,
Le simple laboureur cultive ses guérets;
Oui, là, point d'envieux, là maître en sa demeure,
Il vit paisiblement jusqu'à sa dernière heure,
Sans chagrins, ni soucis, sans compter d'ennemis,
Il peut dire en mourant: j'avais quelques amis.

En butte à la critique envieuse et méchante,
Je brave la tempête, et ma main indolente,
Traçant dans mes loisirs quelques vers imparfaits,
Sans pouvoir t'imiter, lance en vain quelques traits.
Tel on voit un vautour en son essor rapide,
Chercher à suivre un aigle aux régions du vide,
Inutiles efforts; ainsi mon chalumeau,
Dans l'art d'écrire en vers est encore au berceau.

L'avenir est à toi, le présent au vulgaire,
Peut t'importe un critique injuste ou trop sévère,
Par ton hardi génie un chemin t'est tracé,
Foule aux pieds ce censeur par tes vers terrassé.
Pourtant, ton luth sonore au cri de la victoire,
A de plus nobles chants doit consacrer ta gloire;
Célèbre tes guerriers; ces vainqueurs du Persan,
Ont renversé les murs de l'antique Erivan;
Déjà de ses remparts les ruines fumantes,
Gémissent sous le poids des aigles triomphantes,
Et la triste Arménie⁸ en ses profonds déserts,
Aux Ismaëliens⁹ a vu donner des fers.

D'un sublime transport que la lyre saisie,
Chante le double affront des peuples de l'Asie;¹⁰
A l'Europe étonnée annonce ces exploits,
Célèbre le héros qui fait chérir ses lois;
Mais ton cœur se consume et ta lyre est muette,
Tu brûles dans ces lieux d'une flamme secrète;
Pouschkine, ces liens sont des chaînes, des fers,
Romps ce joug oppresseur, crains ces charmes pervers;
Si l'amour embellit les lauriers de la gloire,
Seul, il ne peut guider au temple de mémoire,
Le guerrier, le poète immolent à l'honneur
Ces plaisirs passagers, ces éclairs de bonheur;

Laisse aux simples mortels ces plaisirs et ces peines,
 Le génie est vainqueur des passions mondaines,
 Fils chéri d'Apollon, vois l'immortalité,
 L'amour! qu'est-il? .. un songe est sa réalité.

NOTES.

(1). Ce fut dans le mois de Septembre 1828, que cette épître fut envoyée à Mr. Alexandre Pouschkine, résidant alors à St. Petersburg; elle était incluse dans la lettre suivante:

Monsieur,

Permettez que les premiers accords d'une muse naissante, soient consacrés à vous exprimer l'admiration que m'ont inspirés vos ouvrages. Dans le printemps de votre vie, vos écrits vous ont assuré une gloire éternelle; déjà votre nom se répète avec enthousiasme dans le monde littéraire, et la Russie s'enorgueillit de vous avoir donné le jour; mais l'admiration ne tient pas lieu de talent, et mes vers, sans doute, Monsieur, sont incapables de vous louer dignement; cependant, accueillis par vous, votre seule approbation peut les sauver de l'oubli.

J'ai l'honneur d'être etc.

(Cette épître fut insérée dans le № 9 du Bulletin du Nord, Moscou 1828).

(2). M. A. Pouschkine a ennobli un grand nombre de mots que personne jusqu'à présent n'avait osé employer en poésie.

(3). On sait que l'immortel Homère, dont la postérité a fait un Dieu, mendiait misérable et méprisé dans sept villes, qui se sont disputés après sa mort, l'honneur de l'avoir vu naître. On sait qu'Ovide fut exilé à l'âge de 50 ans, on sait que l'envie et la jalousie ont toujours persécuté les hommes d'esprit, enfin on sait qu'Athalie, que ce chef-d'œuvre de Racine a été reçu avec indifférence du public, et qu'il n'a pu jouir du succès de sa pièce, que le célèbre Boileau lui avait prêté.

(4). Quelque grande que puisse être la barbarie d'un homme, disait le Marquis d'Argens, dès qu'il sait lire, et qu'il entend le français, l'on doit supposer qu'il a lu les satires de Boileau.

(Cours de littérature de M. P. Hennequin, t. IV, page 78).

(5). Au Panthéon. Il est étonnant que la France ait oublié ces deux grands hommes. Albion a placé le monument de Shakespeare dans l'abbaye de Westminster, parmi les tombeaux des rois et des plus grands guerriers. La France serait riche en monuments, si elle voulait reconnaître les grands talents, qui l'ont immortalisée!

(6). Ce qu'on a peine à croire et pourtant qui n'est que trop vrai, c'est que Louis XIV a voulu retirer la pension qu'il accordait à Corneille. On connaît la démarche généreuse de Boileau qui fit supprimer cet ordre déshonorant pour un prince tel que Louis-le-Grand.

(7). Les flatteries de Virgile et d'Horace, les firent combler de biens par Auguste. Cet heureux tyran savait bien qu'un jour sa réputation dépendrait d'eux; aussi est-il arrivé que l'idée que ces deux écrivains nous ont donnée d'Auguste a effacé l'horreur de ses proscriptions.....

(8). L'Arménie persanne, dont Erivan est la capitale.

(9). Ismaéliens, peuples de Perse et de Syrie. Ils allaient assassiner les ennemis de leur maître. (Levieux de la montagne).

(10). La campagne de 1828, la prise de Brailloff, d'Anapa, et de Varna.

Даем перевод:

ПОСЛАНИЕ¹ К АЛЕКСАНДРУ ПУШКИНУ

Кто удерживает тебя от песен, кто останавливает звуки твоей гармоничной лютни, твои вдохновенные порывы? Напрасно твои проворные пальцы оставили лиру; неужели музы не имеют больше власти над твоим сердцем? Стряхни с себя этот томительный покой. Возьми снова свою божественную лютню и в благородном порыве пробуди звуками ее нежных струн эхо в этих мирных долинах. Когда-то твой творческий дух, уносясь в своем полете за недостижимые грани,² порождал ежедневно божественные мысли и искусно выражал их в плавных размеренных строфах. Твои красноречивые стихи сладко ласкали наш слух! так нежный голос возлюбленной возвращает надежду увядшей душе.

Чернь только тогда отдает справедливость мудрым, когда они вычеркнуты из числа живых,³ тогда только на их могилы возлагают венки; их трон — это гроб, окруженный почетом: ведь певец Ахилла жил окруженный презрением, мы видели Овидия, сосланного в Томы; Камюэнс в изгнании разделил судьбу Гомера, он увидел родину, где умер в нищете. После долгих преследований несчастный Тасс приходит к Капитолию, но не успевает получить лаврового венка; Мильтон горестно окончил свою жизнь, не признанный учеными, презираемый чернью. Увы! Что ж такое заслуги, что они в этом мире, если зависть и рок преследуют их. Чтобы ослепить свет, нужны богатства, громкие титулы, много смелости, блестящий выезд и нахальные лакеи, оскорбляющие прохожих перед дверьми дворцов, — вот что при дворе и в шумном городе заменяет ум, вот что заставляет восхищаться стилем произведений пошлого фата, вот что заставляет считать плута и мошенника почтенным человеком, а существо без совести самым благородным рыцарем.

Поэт на чердаке находит тихое убежище; да, там, забытый в скромном приюте, носясь творческим духом своим над вселенной, вдохновляемый славой, творит он прелестные стихи; там в легкой сатире осмеивает он наши заблуждения. Там его мудрая лира своими божественными звуками дает бессмертие и живым и мертвым. Сколько знаменитых героев, прославленных в истории, без чудного искусства стиха исчезли бы бесследно! Сколько забытых царей, достойных нашей хвалы! А эти разбитые, разрушенные временем гробницы. Лира оживляет их прах и ищет имя, скрытое под пышными камнями; Уллис, Ахилл, Гектор, выходите из ваших могил, Илиада обессмертила Гомера и ваши подвиги. Приобретя под владычеством одного из Бурбонов право на бессмертие, Франция строгому Буало⁴ обязана своею новой славой; взятие Намюра, переход через Рейн переданы векам его искусным пером. Соперник Софокла, превзойдя Корнея, дал сцене свою бесподобную Федру. Певец Генриха создал „Сироту“; „Заира“ и „Магомет“ возродились под его рукой. Но Корнель и Расин, разделяя его славу, не имеют памятника в храме бессмертия.⁵ А между тем поэты — слава царей, когда они приняты ими и покровительствуемы их законами.⁶ Да нужно ли еще льстить, чтобы приносить пользу. Мы знаем не одного Августа, существует не один Вергилий.⁷ Не в тысячу ли раз счастливее простой пахарь, который, забыв о суетной славе, возделывает свою ниву? Здесь у него нет завистников; хозяин в своем доме, он мирно живет до последнего часа, без горя, без забот, не зная скуки, и, умирая, он может сказать: у меня было несколько друзей.

Борясь с завистью, подвергаясь злым пересудам, я иду навстречу бурям и в минуты досуга беспечной рукой, не будучи в силах даже подражать тебе, тщетно пытаюсь в слабых стихах нарисовать несколько картин. Так коршун в быстром полете своем пытается следовать за парящим в высотах пространства орлом; тщетные усилия; так и моя свирель: в искусстве слагать стихи — она еще младенец.

Будущее — твое, настоящее — черни; что тебе до несправедливых или слишком строгих критиков; путь твой начертан тебе твоим смелым гением; попирай ногами поверженных в прах твоими стихами недоброжелателей. Но пусть звучная лютня твоя, отзываясь на победные клики, отдается благородным напевам. Прославляй родных воинов. Эти победители персов разрушили стены древней Эривани; уже над дымящимися развалинами ее укреплений взвился победный орел, и печальная Армения⁸ в глуши своих пустынь увидела

скованных измаидтян.⁹ Пусть лира в высоком порыве вдохновения поет двойное поражение азиатских племен,¹⁰ возвещает пораженной Европе эти подвиги и прославляет героя, сумевшего заставить любить свои законы.

Но твоё сердце горит медленным огнем и твоя лира нема, тебя пожирает скрытое пламя. Пушкин, эти узы — железные цепи, освободись от гнетущего тебя ига, бойся обманчивых чар. Если любовь и украшает лавры славы, одна она не может вести в храм бессмертия; воин, поэт жертвуют для чести переходящими радостями, мгновенным счастьем. Предоставь простым смертным радости и горе. Гений должен быть победителем людских страстей. Любимый сын Аполлона, стремись к бессмертию. Что есть любовь? Действительность ее — сновидение.

Примечания

¹ Это послание в сентябре 1828 г. было послано находившемуся тогда в С.-Петербурге А. Пушкину, оно было вложено в письмо следующего содержания:

Милостивый Государь

Разрешите посвятить первые песни новорожденной музы восторгу, который вызвали во мне Ваши произведения. Уже в весну Вашей жизни творения Ваши обеспечили Вам вечную славу; Ваше имя уже с восторгом повторяется в литературном мире, и Россия гордится тем, что она — Ваша родина; но восхищение не заменяет таланта и мои стихи конечно не могут выразить достойную Вас хвалу; тем не менее, если они будут приняты Вами, одно Ваше одобрение может спасти их от забвения.

Честь имею остаться и пр.

² А. Пушкин облагородил множество слов, которыми до сих пор никто не смел пользоваться в стихах.

³ Известно, что бессмертный Гомер, приравненный потомством к богам, когда-то всеми презираемый, нищенствовал в 7 городах, которые после его смерти оспаривали друг у друга честь называться его родиной. Известно, что Овидий в пятидесятилетнем возрасте подвергся ссылке; ненависть и зависть всегда преследовали выдающихся людей: Аталия, это мастерское произведение Расина, было принято публикою с полным равнодушием, и он не мог насладиться успехом этого произведения, который предрек ему славный Буало.

⁴ Как бы ни было велико невежество человека, говорил маркиз Д'Аржан, как только он научался читать и понимать по-французски, надо предполагать, что он прочел сатиры Буало (Курс литературы П. Геннекева, ч. IV, ст. 78).

⁵ В Пантеоне. Удивительно, что Франция забыла этих двух великих людей. Альбион (Англия) поставил памятник Шекспиру в Вестминстерском аббатстве среди гробниц королей и великих полководцев. Франция была бы богата памятниками, если бы захотела признать великие таланты, которые ее обессмертили.

⁶ Чему с трудом можно верить и что все-таки остается правдой, это то, что Людовик XIV хотел лишить Корнелия пенсии, которую он ему назначил. Известен благородный поступок Буало, приостановившего это распоряжение, которое запятнало бы такого короля, как Людовик Великий.

⁷ Август осыпал милостями Вергилия и Горация за их хвалебных гимны. Этот счастливый тиран понимал, что современем слава его будет зависеть от их отзывов. И на самом деле, представленные, которое дали нам об Августе эти два писателя, — заставляет забывать ужасы его ссылок.

⁸ Персидская Армения, где главный город — Эривань.

⁹ Измаильтяне — народы, населявшие Персию и Сирию; они уничтожали врагов своих повелителей (Левье де ля Монтань).

¹⁰ Кампания 1828 г.: взятие Браилова, Анапы и Варны.

Письмо Лестрелена, вероятно, осталось без ответа; по крайней мере мы не знаем ни одного письма Пушкина к Лестрелену.

Мы имеем очень мало сведений об Ахилле Лестрелене. Известно только, что это был французский подданный, проживавший в 20—40-х годах прошлого столетия в Москве и состоявший членом Московской французской колонии. Литературную карьеру свою он начал в 1828 г., повидимому, случайно и уже немолодым человеком; по крайней мере в предисловии к выпущенной им в 1829 г. книжке „Essais poétiques“ он пишет, что только с год тому назад он выступил на поэтическом поприще, так как ранее музы никогда не посещали его; сначала он почитал свое вдохновение за „горячку рифм“ и не придавал ему значения, но ободренный знатоками, указавшими ему, что многие из лучших французских писателей приобрели литературную известность уже в почтенных летах, он решил писать и печататься. Первым из его произведений, вызвавшим отклики в печати, была напечатанная им в первой половине 1828 г. небольшая поэма из времен польско-турецких войн Яна Собесского „Le chal blanc“ (Белая шаль).

Рецензии на эту поэму появились в „Bulletin du Nord“, т. II, 1828 г., давшем о ней сравнительно благоприятный отзыв, в „Московском Телеграфе“, № 9, 1828 г., высказавшемся значительно холоднее и посмеявшемся над автором-французом за его попытку подражать Пушкину, и в „Северной Пчеле“, № 85, 1828 г., где рецензент (Булгарин) следующими словами закончил краткий отзыв о поэме: „скажем за тайну г. г. любителям новостей, что эта «Белая шаль» стихотворным своим достоинством есть то же перед Черной шалью гречанки, что какой-нибудь платок московской кустарной работы пред настоящей драгоценной кашемирской шалью“. После „Белой шали“ Лестрелен написал ряд стихотворений, частью печатавшихся им в „Bulletin du Nord“ и „Дамском журнале“ и выпущенных отдельным сборником под заглавием „Essais poétiques“.

П. А. Вяземский в письме к А. И. Тургеневу 1 января 1828 г. следующим образом отзывался не лично о Лестрелене, но о сотрудниках появившегося тогда в Москве журнала „Bulletin du Nord“, к числу которых принадлежал Лестрелен: „В Москве готовится французский журнал, в котором хотят выводить на свежую воду нелепость иностранцев в их суждениях и известиях о России. Мысль хорошая, но вероятно исполнение не будет ей соответствовать. Французские писатели Кузнецкого Моста очень ненадежны“.

Около 1840 г. Лестрелен женился на актрисе Нимфодоре Семеновне Семеновой, по первому мужу Муслиной-Пушкиной, сестре известной драматической актрисы Е. С. Семеновой.

Пушкин, в период своей петербургской жизни до ссылки, принадлежал к числу поклонников Семеновой и посвятил ей в конце 1819 г. известное четверостишие „Нимфодоре Семеновой“.

Что касается самого Ахилла Лестрелена, едва ли можно предположить, чтобы он был лично знаком с Пушкиным. Однако из содержания его послания видно, что он имел кое-какие сведения о частной жизни поэта. Основным мотивом послания являются упреки Пушкину в том, что он, забыв о своем высоком призвании и увлеченный „обманчивыми чарами любви“, не отдается поэтическому творчеству. Судя по времени посылки стихов Пушкину (сентябрь) и по содержанию их (упоминание о победах русского оружия в Турецкую кампанию 1828 г.), надо предполагать, что послание написано в конце лета 1828 г. Именно в этот период времени Пушкин, по собственному выражению, „пустился в распутство“.

В беловом письме Пушкин выражается несколько иначе: „Я пустился в свет, потому что бесприютен. Если бы не [Закре] твоя медная Венера, то я бы с тоски умер, но она утешительно смешна и мила; я ей пишу стихи, а она произвела меня в свои сводники“. Медная Венера, как называли ее в своей переписке Пушкин и Вяземский, — известная красавица своего времени гр. А. А. Закревская, рожденная гр. Толстая. „Она была женщина умная, бойкая и имевшая не мало приключений, которым была обязана, как говорят, своей красоте“ — так отзывался о ней в своих воспоминаниях кн. А. В. Мещерский. К числу этих приключений несомненно принадлежал и роман ее с Пушкиным, относящийся к лету 1828 г.

По всей вероятности и Лестрелен, намекая в своем послании на „harmes pervers“, которые мешают Пушкину предаться серьезному творчеству, имел в виду гр. А. А. Закревскую. По существу Лестрелен, конечно, был не прав; увлечение Закревской не помешало Пушкину летом 1828 г. создать такие капитальные вещи, как „Воспоминание“, „Дар напрасный“, „Утопленник“, „Анчар“ и многое другое. Но действительно именно в период между маем и октябрём 1828 г. в печати не появлялось новых произведений Пушкина, и это обстоятельство в связи с слухами об увлечении Пушкина женщиной, известной своей эксцентричностью и сомнительной репутацией, могло привести страстного поклонника его таланта к ошибочному заключению.



В. Г. ЧЕРНОБАЕВ

К ИСТОРИИ НАБРОСКА „АЛЬФОНС САДИТСЯ НА КОНЯ“

Ряд фактов, относящихся еще, вероятно, ко времени пребывания Пушкина в Одессе, но получивших свое отражение в его творчестве лишь в значительно более позднее время, служит основанием для установления некоторой связи между его творческими замыслами и выступлениями известного польского слависта и путешественника — Яна Потоцкого. С одесским периодом приходится связывать корни этих интересов Пушкина уже потому, что Потоцкий последние годы провел на Украине и там в 1815 г. трагически кончил жизнь в одном из своих имений. Известно, что Одесса была в то время притягательным центром для многих польских землевладельцев, и среди разноплеменного населения этого города польская колония играла довольно заметную роль.

О встречах Пушкина в пору его ссылки с некоторыми представителями польской общественности, интерес к которым он не утратил и много лет спустя, весьма ярко свидетельствует сохранившееся в архиве поэта французское письмо из Одессы от 26 декабря 1833 г.¹

Как явствует из этого письма, Пушкин обращался к Е. К. Воронцовой с просьбой о разыскании продолжения романа „О Сарагоссе“, написанного Потоцким. В кругах так называемого „большого света“ тогда хорошо было известно, что роман этот целиком не был опубликован вследствие внезапной смерти автора. Ходили слухи о том, будто разные редакции продолжения романа хранятся у частных лиц, близких к Потоц-

¹ И. А. Шляпкин. „Из неизданных бумаг Пушкина“, СПб., 1903, стр. 185—189. Сделанные Шляпкиным предположения оспаривались П. Е. Щеголевым, В. В. Сиповским и др. Не входя в подробности спора о том, кто был автором этого письма, отмечу, что мало убедительными представляются доводы, приводимые в статье З. А. Бориневич-Бабайцевой („Пушкин, Статьи и материалы“, вып. 2, Одесса, 1926, стр. 58—62) о том, что автором письма была гр. Р. С. Эдлинг. И. А. Шляпкин, Е. Б. Чернова („Временник Пушкинской комиссии“, т. 2, стр. 336—340) устанавливают, что автором этого письма должна была быть Е. К. Воронцова. Следует принять во внимание и то, что Воронцова по рождению принадлежала к польской аристократии, будучи дочерью магната Ксаверия Браницкого, и, разумеется, не могла сразу утратить все свои польские связи. В частности, она была в дружеских отношениях с Ольгой Потоцкой, женой родственника Воронцова — Л. А. Нарышкина.

кому. Однако предпринятые по просьбе Пушкина поиски не увенчались успехом. Корреспондентка его отвечала: „Je profite de cette circonstance pour vous dire que mes recherches, pour avoir le manuscrit <к этому слову примечание: des trois pendus> du C-te Jean Potocki ont été vaines. Vous jugez bien Monsieur que je me suis adressée à le sauver. La famille ne le possède pas; il est probable que le C-te J. P. ayant terminé sa vie, seul dans une campagne, ses manuscrits ont été perdus par négligence“.¹ Отсюда очевидно, что Пушкину особенно запомнился эпизод о висельниках, действительно находящийся во второй части романа Потоцкого, озаглавленной „Dix journées de la vie d'Alphonse Van-Worden“ (Paris, 1814, 3 vol.)² Экземпляр романа сохранился в библиотеке Пушкина на ряду с двумя другими сочинениями Яна Потоцкого. К сожалению, неизвестно, когда он туда поступил — до запроса в Одессу, или уже после него. В библиотеке Пушкина имеется парижское издание интересующего нас сочинения, но нет предшествующего ему петербургского, вышедшего в 1805 г.³

О глубоком интересе Пушкина к роману Потоцкого сохранилось и авторитетное свидетельство П. А. Вяземского. В предисловии к опубликованным им письмам Екатерины II к принцу Нассау-Зиген он пояснял что письма эти сохранились у вдовы Яна Потоцкого, который был „известен в ученном и литературном мире историческими, писанными на французском языке, изысканиями о славянской древности“. „После смерти его, — продолжал Вяземский, — напечатан был, также на французском языке, фантастический роман его: «Les trois pendus». Сказывают, что он написан в угоду жене и по следующим обстоятельствам. Во время продолжительной болезни жены своей читал он ей арабские сказки «Тысячи и одной ночи». Когда книга была дочитана, графиня начала скучать и требовала продолжения подобного чтения: чтобы развлечь ее и удовлетворить желанию ее, он каждый день писал по главе романа своего, которую вечером и читал ей вслух. Пушкин, — заключает Вяземский, — высоко ценил этот роман, в котором яркими и верными красками выдаются своеобразные вымыслы арабской поэзии и не менее своенравные нравы и быт испанские“.⁴

Все высказанные выше соображения побуждают нас заново пересмотреть вопрос о литературном наследстве Потоцкого, тем более что новейшие сведения о нем в пушкинской литературе, сообщенные в цити-

¹ „Переписка Пушкина“, т. III, стр. 71. Перевод: Пользуюсь этим случаем, чтобы сообщить Вам, что мои разыскания рукописи <о трех повешенных> гр. Яна Потоцкого были тщетными. Можете судить, как я пыталась ее спасти. Семья ее не имеет; возможно, что рукописи гр. Я. П. потеряны по небрежности, так как он кончил жизнь одиноким в деревне.

² В первом издании романа он носит заглавие „Manuscrit, trouvé à Saragosse“. Pétersbourg, 1805.

³ Б. Л. Модзалевский. „Библиотека Пушкина“, СПб., 1910, стр. 313—314.

⁴ Сборник Русского исторического общества, т. I, 1867, стр. 205.

рованной выше статье Э. А. Бориневич-Бабайцевой, не могут быть признаны удовлетворительными.¹

Деятельность Потоцкого имела безусловно большое значение и для русских литераторов и ученых, — он писал свои главные беллетристические вещи в Петербурге на французском языке. Следуя за целым рядом французских писателей XVIII в. (Galland, Herbelot, Chardin и др.), Потоцкий уделял не мало внимания так называемой „восточной“ повести, в которой странным образом дидактический элемент сочетался с трактовкой тем, весьма скользких, — в стиле Боккачио и Поджио.

В основном Потоцкий, согласно собственному свидетельству, следовал Саади. Самая крупная из этих его повестей — „Путешествие Гафеза“. На ней отразились в сильной степени события французской революции.

Во всяком случае эти литературные опыты позволили Потоцкому выработать свой стиль, а внимательное чтение других образцов (современных и более старых) дало ему возможность выступить с произведением гораздо более обширным и оригинальным по замыслу, которого ему, к сожалению, так и не удалось закончить. Однако и в фрагментарном виде оно представляет исключительный интерес, и, конечно, именно о нем вспоминал Пушкин в не дошедшем до нас письме, ответом на которое послужило письмо Воронцовой. В письме говорится о *trois pendus*, а эта тема трактуется именно в данном романе.

В библиотеке Пушкина, как сказано, имеется полное второе (парижское) издание этого романа. Это собственно два романа: „Avadoro, Histoire Espagnole“ (1813) и „Dix journées de la vie d' Alphonse Van-Worden“ (1814), из которых первый, содержащий историю цыгана Авадоро, представляет собою продолжение второго, изложенного по образцу „Декамерона“.

Письмо Воронцовой, в котором автором романа без всяких обиняков называется Потоцкий, бросает любопытный свет на этот довольно запутанный вопрос. — Нельзя забывать, что первое издание романа вышло анонимно, а на втором издании стояла лишь начальная буква фамилии „P“. Между тем, на экземпляре, имеющемся в библиотеке Пушкина, совер-

¹ Автор основывается на данных, сообщаемых в старых французских библиографических указателях, построенных не на первоисточниках, а на попутных замечаниях во вступительной статье Ю. Клапрота (Claprot) к книге Потоцкого „Voyage dans les steps d'Astrakhan et du Caucase“, Paris, 1829). Основным источником для ознакомления с фактами жизни и литературной карьеры Потоцкого является работа М. Балинского „Jan Potocki, wędrownik, literat i dziejopis“ (Warszawa, 1843), оставшаяся, однако, неизвестной автору, о чем свидетельствует путаница, хотя бы в хронологических датах, которую мы там находим. Не лучше обстоит дело и с собственно научной оценкой деятельности Потоцкого: главные работы, посвященные рассмотрению научных и философских взглядов Потоцкого Синки, Брюкнера (Brückner A.^z, Jana hr. Potockiego prace i zasługi naukowe“, Warszawa, 1911; Sinko, T., „Historia religiji i filozofja w romansie Jana Potockiego“), видимо, также не попали в поле зрения Бориневич-Бабайцевой.

шенно ясно дописано чернилами: Р — otoski. Для литературной истории романа это также не безразлично.¹

Из письма Воронцовой можно заключить, что роман Потоцкого заинтересовал Пушкина преимущественно восточной экзотикой и фантастическими приключениями.

Трудно, однако, предположить, чтобы мимо внимания Пушкина прошли другие характерные особенности романа, открывавшие также широкие перспективы для их дополнительной творческой обработки. Роман Потоцкого далеко не был пустой игрой воображения, а проникающие его элементы скептицизма также не могли не заинтересовать Пушкина. Это заставляет нас сделать предположение, что интерес Пушкина к данному роману был основан на более глубоких соображениях, чем те, о которых нам свидетельствует письмо Воронцовой, ограничившейся упоминанием о *trois rendus*. В пользу последнего предположения говорит и тот факт, что основанное на эпизоде этого романа стихотворение „Альфонс“ представляет собою лишь незаконченный отрывок, а фабула романа дает возможность делать разные предположения относительно того, в каком направлении дальше должна была развиваться работа Пушкина над данным отрывком.

Как теперь выясняется, Пушкин был прав: рукопись большего объема действительно оставалась после смерти ее автора, но рассмотрение этого вопроса по необходимости приводит нас к обзору литературной истории романа Потоцкого.

Уже востоковед, протеже Потоцкого, — Клапрот — утверждал в предисловии к изданию одного сочинения Потоцкого, вышедшего еще в 1829 г.,² что первое петербургское издание 1805 г., единственный экземпляр которого сохранился в Публичной библиотеке, представляет собою только отрывок, который позднее был переиздан в Париже с разделением на два эпизода, как это и имеется в библиотеке Пушкина. Он одновременно упоминает, что продолжение этих рукописей имеется где-то на руках в России и в Польше. В самом деле, и в конце четвертого тома экземпляра, имевшегося у Пушкина (*Avadoro*), прямо сказано, что, несмотря на все усилия, издателям не удалось найти продолжение рукописи.³ Эти слова, очевидно, и утверждали Пушкина в мысли, что подобное продолжение должно существовать.

Роман написан с таким искусством, что один французский библиограф решился даже сделать предположение, что автором его был французский литератор Шарль Нодье;⁴ главным для него основанием служило

¹ Как установил Д. П. Якубович, надпись чернилами на шмуц-титуле I тома: „*Potoscki*“ сделана рукою Пушкина для переплетчика. Ср. аналогичные пометки на книгах Сегюра (№№ 1380 и 1381).

² Potocki, Jean, le comte. „*Voyage dans les steps d'Astrakhan et du Caucase*“, tome premier, Paris, 1829, стр. XVI.

³ См. об этом в цитированной выше монографии проф. А. Брюкнера о Потоцком, стр. 39—40.

⁴ A. Brückner, op. cit., стр. 87—88.

то, что текст парижского издания был переписан рукою Нодье, — однако подобное доказательство абсолютно неубедительно: такому выводу противоречат не только экземпляр романа, сохранившегося у Пушкина, где на титульном листе ясно написана фамилия Потоцкого, но, главное, экземпляр более раннего петербургского издания 1805 г., где приклеена обложка с характерной старой надписью: „Le comte Jean Potocki a fait imprimer ces feuilles à Pétersbourg en 1805, peu avant son départ pour la Mongolie (lors de l'envoi d'une ambassade pour la Chine) sans titre ni fin, se réservant de la continuer ou non dans la suite, quand son imagination à la quelle il a donné dans cette ouvrage une libre carrière, l'y inventerait“.

Во всяком случае самый тот факт, что автором романа могли считать такого крупного мастера слова, как Нодье, достаточно красноречиво свидетельствует о несомненно высоких для своего времени художественных достоинствах романа. Это произведение, как правильно уже отметил проф. Синко и др., не представляет собою обычный для XVIII в. тип так называемого „философского“ романа в стиле Вольтера или Дидро,¹ — это скорее ряд мало между собою связанных, нанизанных один на другой, рассказов, по своей манере напоминающих „Тысячу и одну ночь“.² Следуя за восточными образцами, Потоцкий повествует нам о том, как слуги последних испанских мавров, Гомелезов, рассказывают молодому капитану валлонской гвардии короля Филиппа V Альфонсу ван Ворден всё новые и новые истории с целью испытания его моральной силы и обращения в ислам. Владельцы громадных золотых приисков в горах Сиерра Морена, Гомелезы, были последними из испанских мавров, которые или совсем не приняли христианства, или признали его только наружно; теперь (1739 г.) им грозит прекращение их рода, так как у них нет мужских потомков; поэтому они обращают внимание на Вордена, который происходит со стороны матери также от Гомелезов. Они искушают его при помощи самых различных призраков и угроз. Развязка романа носит довольно прозаический характер. Когда оказались исчерпанными все запасы золота на приисках, которыми владели Гомелезы, они отказываются от своих намерений в отношении Альфонса, делят между собою остатки золота и прощаются с ним навсегда. Ворден старательно записал все рассказанные ему истории, но лишь после его смерти наследники опубликовали эти его записки.

Уже современники обратили внимание на некоторое сходство манеры изложения в романе с тем, что находим в знаменитом „Жиль Блазе“ или у Сервантеса. Особенно это можно сказать об „Авадоре“, представляющем собою историю мальчика, который обладает непреодолимым стремлением к бродяжничеству; после самых удивительных приключений, избавившись от перспективы попасть в „жены“ вице-короля

¹ Sinko Tadeusz. *Historja religij i filozofja w romansie Jana Potockiego*. *Rozprawy wydziału filologicznego Polskiej Akademji Umiejętności*, tom LIX, № 3, str. 2.

² Ср. выше замечание П. А. Вяземского.

Мексика, он достойным образом заканчивает свою жизнь в качестве цыганского вождя в окрестностях Гренады.

Было бы, однако, большой ошибкой думать, что Потоцкий обратил свое главное внимание на фабулу романа, только на внешние приключения действующих в нем лиц; нет сомнения, что автор имел в виду провести в романе некоторую определенную тенденцию, стоявшую в связи с глубже скрытыми общими основами его мировоззрения. Ни в одной из глав романа, правда, эти взгляды Потоцкого не представлены в виде вполне законченной системы, но этого едва ли и можно требовать от автора беллетристического в основе произведения. Потоцкий, кроме того, выступает здесь не от своего имени; его взгляды развивают в романе разные лица, преимущественно же Верласкез (Verlasquez) и дон Диего Герваз (don Diego Hervaz). Потоцкий сумел так сконструировать свой роман, чтобы овладеть как можно полнее вниманием читателя и в то же время постоянно подчеркивать, что автор якобы нисколько не солидаризируется с высказываемыми здесь „безбожными“ мыслями. Всё время, основываясь на принципах рационалистической философии XVIII в., он, устами, например, Верласкеза, открыто полемизирует против „откровенной“ религии, противопоставляя ей характерное для его эпохи понятие „естественной“ религии. Еще дальше идет Потоцкий, когда пытается дать читателю понятие о взглядах Ахасвера, образ которого он, следом за другими, также вводит в свой роман. В этом случае оказывается, что главные христианские догматы (троица или воскресенье), как равно и таинства (крещение, покаяние), были известны уже египтянам; от последних они перешли в эллинистический юдаизм, а оттуда должны были попасть к христианам, хотя этого последнего заключения Потоцкий сам по понятным соображениям не сделал. Нет надобности распространяться о том, что эти воззрения были в значительной степени распространены и до Потоцкого не только в Англии, но и во Франции.¹

Потоцкий считал себя тогда уже русским подданным, изучал этнографический состав населения России (Кавказ, Астрахань и др.), состоял членом русской академии. Повидимому, считаясь с тем, что „вольномыслие“ в России того времени (по крайней мере в кругах так называемого „большого света“) было еще меньше распространено, чем в Польше, он и решил придать изложению мыслей форму фантастического романа. Стремясь здесь выступить с пропагандой деизма и критикой исторически сложившегося христианства (в особенности католицизма), он в осторожной форме стал говорить о догматах египетской и еврейской религий, сходных с христианскими, и лишь после целого ряда таких предупредительного характера замечаний, наконец, вкладывает основы своих положений в вышеупомянутые речи Верласкеза о начале христианства как естественной религии. Связь этих экскурсий с основой романа очень

¹ Концепция романа изложена нами по французским изданиям и более поздней польской версии 1847 г.

слаба и основывается лишь на том, что магометане Гомелезы нарочно говорят обо всем этом в присутствии Альфонса, дабы тем самым колебать его христианские убеждения. Автор, правда, тут же спешит добавить, что эти их стремления не имели никакого успеха, однако каждый читатель, знакомый уже тогда с сочинениями хотя бы Вольтера или энциклопедистов, легко мог понять, что это делается лишь для того, чтобы не навлечь на себя гнев консервативных кругов.

Несколько лет тому назад высказано было беглое предположение, что Пушкин в „Альфонсе“ исходит из сюжета, трактуемого в романе Потоцкого. Анализ обоих произведений вполне подтверждает эту догадку.

Как известно, незаконченный отрывок Пушкина начинается с беседы между трактирщиком и доном Альфонсом: трактирщик не советует молодому офицеру пускаться в столь опасный, по его мнению, путь:

Сеньор, послушайте меня:
Пускаться в путь теперь не время,
В горах опасно, ночь близка,
Другая Вента далека.

Не говоря уже о том, что диалогический момент обильно и искусно представлен Потоцким в его романе, необходимо отметить, что уже в начале его (по первому изданию 1805 г., „Dix journées“ — по второму парижскому изданию) встречается аналогичная сцена: трактирщик, говорится здесь, часто рассказывал о фантастических приключениях, происходивших в Сиерра-Морена и Saint Jacques de Compostelle, между прочим о том, что стрелки отказались сопровождать какую-либо экспедицию через Сиерра-Морена и путешественники поэтому избирают другую дорогу через Saen или Estramadoure.¹ Если в этом сопоставлении еще нет полного сюжетного совпадения, то это объясняется главным образом тем, что отдельные намеки, использованные Пушкиным в более концентрированном виде в начале этого отрывка, разбросаны в виде отдельных замечаний в других предшествовавших строках романа Потоцкого. Нужно, конечно, заметить, что самый диалог между трактирщиком и Альфонсом, переданный Пушкиным в нескольких энергичных словах, в романе естественно занимает гораздо больше места; аргументация трактирщика значительно расширена, но от этого только теряется цельность впечатления, которой удается достигнуть Пушкину (к числу таких „дополнительных“ мотивов следует, например, отнести ссылку на молодость и неопытность

¹ „Manuscrit, trouvé à Saragosse“, стр. 13; „Dix journées“, стр. 3; „Le maître de l'hôtel-lerie d'Anduhar, qui racontait souvent les aventures de la Sierra-Moréna... disait que les archers de la Sainte-Hermandad avaient refusé de se charger d'aucune expédition pour la Sierra-Moréna; et que les voyageurs prenaient la route de Saen ou celle de l'Estramadoure“.

Альфонса). Ответ Альфонса трактирщику в основном вполне соответствует тем аргументам, которые встречаем в романе Потоцкого:

— Мне путешествие привычно
И днем и ночью — был бы путь —
Он отвечает — неприлично
Бояться мне чего-нибудь.
Я дворянин: ни чорт, ни воры
Не могут удержать меня,
Когда спешу на службу я.

Вполне естественно, что мотивы, побуждавшие Альфонса спешить, представлены Пушкиным лишь в самом общем виде: он и не мог их конкретизировать, поскольку вообще не успел еще представить читателю своего героя. В рукописи указанного отрывка первоначально было написано: „офицер“, затем переделанное на „дворянин“. Это зачеркнутое Пушкиным, по понятным причинам, слово „офицер“ служит лишним подтверждением того, что в данном случае Пушкин исходил из романа Потоцкого, герой которого находится на службе в королевской гвардии в чине капитана. В романе дон Альфонс рассказывает: „я ему (трактирщику. В. Ч.) ответил, что подобный выбор (дороги. В. Ч.) могут делать обыкновенные путешественники, но так как король Филипп V соблаговолил мне дать чин капитана Валонской гвардии, то священные законы чести предписывают мне отправиться в Мадрид наиболее кратким путем, не думая о том, что этот путь быть может окажется наиболее опасным“.¹ Приведенные отрывки позволяют установить, несмотря на некоторое различие в деталях, тождественность экспозиции в данном эпизоде романа Потоцкого и в пушкинском отрывке. Однако указанный диалог между трактирщиком и капитаном сам по себе еще не достаточен для того, чтобы делать на этом основании окончательные выводы. Ведь сам Пушкин, как выше было сказано, воспринимал сюжет Потоцкого как рукопись о трех повешенных, и с этой же точки зрения смотрели на отрывок Пушкина позднейшие исследователи, хотя и терялись в догадках, когда речь заходила об его источниках.

В дальнейшем изложении Потоцкий довольно подробно описывает „удивительные“ приключения, которые пришлось испытать Альфонсу на его пути, лежавшем, как и у Пушкина, „ущельем тесным и глухим“: „на пути встречались препятствия в виде сорвавшихся с гор больших каменных глыб или деревьев, которые были опрокинуты бурей; во многих местах дорогу пересекали ручьи или глубокие ущелья, вид которых должен был заставить содрогнуться“.² Основной эпизод — заключительная часть отрывка Пушкина — несомненно также основан на эпизоде, рассказываемом в романе Потоцкого. Речь идет о трех братьях, которые больше, чем

¹ „Manuscrit, trouvé à Saragosse“, стр. 2; „Dix journées de la vie d'Alphonse Van Worden“, стр. 3—4.

² „Manuscrit“, стр. 7—8; „Dix journées“, стр. 16—17.

узами родства, были соединены своей страстью к грабежу. Старшему из них по имени Lotto удалось спастись от преследования властей, и он скрылся где-то в горах Альпухары, но двое других были „схвачены, а тела их можно было видеть повешенными на виселице у входа в долину“.¹ И у Пушкина Альфонс замечает глаголь „и торчащие на нем тела“ сразу же при въезде „в долину“, и у него также оказываются два тела; опущена только подробность о третьем брате, которая, очевидно, пока ему была не нужна. У Потоцкого Альфонс, который уже раньше слышал много рассказов об этих трупах, с любопытством приблизился к ним: „Вблизи картина оказалась еще более тягостной: ветер раскачивал отвратительные трупы, которые производили необыкновенные движения, а тем временем страшные вороны терзали их, стремясь вырвать из них куски мяса“.² Все эти подробности были использованы и Пушкиным:

Пустынный ветер их качал,

Клевать их ворон прилетал...

Вполне понятно, что в романе Потоцкого этим подробностям сопутствуют и другие, которыми Пушкин пока не счел нужным воспользоваться; совпадение даже деталей, однако, здесь настолько значительно, что не оставляет сомнений в том, что Пушкин именно отсюда заимствовал сюжет этого отрывка.

Во второй части отрывка Пушкин, как видно из его рукописи, больше всего колебался, внося ряд исправлений; однако, и тут он основывался на Потоцком до самого конца, до последнего эпизода, касающегося „упырей“, сказаний о висельниках и пр. Конечно, подобные сказания Пушкин мог слышать во множестве из разных источников, в том числе и от Мицкевича, который сам в литературной форме обработал несколько сходных сюжетов. Возможно даже, что Мицкевич обратил внимание Пушкина на роман Потоцкого или, по крайней мере, поддержал его интерес к этому произведению. Сам Мицкевич мог использовать некоторый испанский колорит романа для своего „Валленрода“, в частности для „Альпухары“, неоднократно упоминаемой в романе. Чтобы понять надлежащим образом трактовку темы об упырях у Потоцкого, необходимо иметь в виду ту общую „рационалистическую“ философскую тенденцию, которой был проникнут его роман. Этот рационализм, конечно, не давал возможности Потоцкому использовать данный сюжет в том смысле, как это несколько позднее сделало старшее поколение польских романтиков с Мицкевичем во главе; вот почему, в духе общей концепции романа, Потоцкий трактует данную тему иронически. „Рассказывают страшные вещи, — говорит он, — о двух братьях, которые были повешены. О них,

¹ „Manuscrit“, стр. 6; „Dix journées“, стр. 14. Интересно отметить, что Пушкин применяет к ним испанское наименование цыган — „двух гитанов, двух славных братьев атаманов“. Это же название находим и у Потоцкого на первой же странице его „Manuscrit“, а „Avadoro“ представляет собою „цыганскую“, по существу, историю.

² „Manuscrit“, стр. 7; „Dix journées“, стр. 16.

правда, не говорят, как о призраках, но предполагают, что их тела, оживленные какими-то неизвестными духами (démons), покидают ночью виселицу и идут причинять мучения живущим. Этот факт считался настолько установленным, что один богослов из Саламанки сочинил даже диссертацию, в которой он доказывал, что двое повешенных принадлежали к особому роду упырей... При этом наиболее даже неверующие были согласны с тем, что одно из этих утверждений не было более невероятным, чем другое".¹

Сходство с трактовкой данной темы у Пушкина и Потоцкого наиболее разительно и касается даже деталей. У Пушкина тела повешенных

...до утра, на свободе

гуляли, мстя своим врагам.

Этот же мотив мести находим и в романе Потоцкого; только там он, как в ряде других случаев, более развит: оказывается, что, согласно циркулировавшим в том округе слухам, „два этих человека были неосновательно осуждены и мстили за это с дозволения неба как путешественникам, так и окрестным жителям“.² В последних строках своего отрывка Пушкин подчеркивает „бесстрашие“ Альфонса и отмечает лишь то сильное впечатление, которое эти тела произвели на его лошадь. Но если в рукописи первоначально было написано:

Альфонсов конь, со страха боком
Проехал мимо, — и потом...

то, употребляя первоначально слово „проехал“ (а не „прошел“), Пушкин, очевидно, имел в виду самого Альфонса, а не его коня, т. е. первые наброски отрывка и в этом случае стояли еще ближе к его оригиналу, чем позднейшие исправления, в которых Пушкин, видимо, стремился создать в лице Альфонса исключительно рыцаря „чести“, пренебрегающего самыми страшными зрелищами. Это преобладание понятия чести в Альфонсе Потоцкий отмечает также неоднократно в разных частях своего романа, а в данном эпизоде он лишь лаконически указывает, что герой его „в ужасе отвел свой взгляд (от виселицы) и пустился в путь через горы“.³

Приведенные сопоставления, окончательно устанавливают сюжетную близость даже в основных деталях между отрывком Пушкина и рассмотренным эпизодом романа Потоцкого. Можно делать различные предположения о том, в каком направлении могло бы развиваться дальше действие указанного отрывка. Пушкин несомненно был знаком с печатной версией романа в ее целом, раз его так интересовало продолжение романа Потоцкого.

¹ „Manuscrit“, стр. 7; „Dix journées“, стр. 315.

² Там же.

³ „Je détournai la vue avec horreur, et m'enfonçai dans le chemin des montagnes...“ „Manuscrit“, там же; „Dix journées“, там же.

Напечатанный впервые в посмертном издании сочинений Пушкина (т. IX, стр. 205—206), без всякого хронологического приурочения, отрывок этот вошел затем в издание Анненкова, предполагавшего, что он мог возникнуть в юношеские годы Пушкина (т. II, стр. 429—430). П. А. Ефремов (изд. 1903 г., т. II, стр. 300—301) и П. О. Морозов (изд. „Просвещение“, т. II, стр. 530—531) отнесли отрывок к 1832 г. Н. О. Лернер полагал, что „по зрелому, сочному стиху трудно признать его юношеским и датировать его приходится 20—30-ми годами“, однако оставил отрывок под тем же 1832 г. (изд. Венгерова, т. VI, стр. 430). В новых изданиях ГИХЛ отрывок отнесен к 1835 г., но отсутствие мотивировок лишает возможности проверить основания этой новой датировки.

Между тем Л. Б. Модзалевский на основании анализа бумаги и чернил, которыми написан отрывок, пришел к выводу, что он должен быть датирован лишь последними годами жизни поэта. Думаю, что и пессимистические настроения, которые так резко преобладают в романе, должны были особенно импонировать Пушкину именно в последние годы его жизни, когда уже более или менее намечалась ее трагическая развязка. Так, следовательно, и данные материального порядка и соображения характера идеологического свидетельствуют о том, что „Альфонс“ должен был возникнуть позже 1832 г.

Имеющиеся в нашем распоряжении данные позволяют также сделать заключение о том, каким именно изданием романа Потоцкого пользовался Пушкин в своей работе над Альфонсом. Выше уже отмечалось, что в его библиотеке сохранилось второе парижское издание 1813—1814 гг. Однако это само по себе далеко не решает вопроса, ибо теоретически едва ли можно сомневаться в том, что поэт мог читать и более раннее петербургское издание 1805 г. Правда, издание это вышло в весьма ограниченном числе экземпляров (100) и вовсе не предназначалось для продажи, однако в кругах, в которых вращался Пушкин, эта книга-рукопись была достаточно известна, и есть даже основание думать, что пользовалась некоторым успехом. Но окончательное решение данного вопроса, конечно, может быть произведено только на основе сличения того и другого издания. Пользуясь единственным сохранившимся экземпляром первого издания, принадлежащим Публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина, и вторым изданием, которое было в библиотеке Пушкина, мы видим, что хотя общая конструкция во втором издании оказалась измененной и отошла от обычного типа („Декамерона“), который преимущественно выдерживался в первом издании, в трактовке интересующего нас в данном случае эпизода изменений оказывается немного. Эти изменения, однако, с достаточной степенью убедительности заставляют нас предположить, что Пушкин пользовался именно первым изданием 1805 г. В пользу такого предположения говорит, прежде всего, отсутствие в нем специального предисловия-введения, которое понадобилось автору для второго издания и в котором он сообщает, что рукопись якобы нашел французский офицер после взятия

Сарагоссы и что чтение такого занимательного романа было ему чрезвычайно приятно в походе. Подобное приурочение событий вообще и хронологически не могло иметь места в первом издании, так как события франко-испанской войны, в которой поляки приняли столь заметное участие, разыгрались несколько позднее. Важно, однако, то, что первое издание вводит нас сразу *in medias res* данного эпизода, как то мы находим и у Пушкина, и уже это говорит в пользу того, что Пушкин пользовался именно им. Этот же вывод подтверждается и некоторыми другими соображениями: в рукописи Пушкина в первой части отрывка — в обращении трактирщика к Альфонсу —

Сеньор, послушайте меня...

все издания почему-то пишут слово „вента“ со строчной буквы, между тем как в сохранившемся черновике Пушкина оно совершенно отчетливо написано с прописной буквы, и это не случайно; это испанское по происхождению слово (*Venta* или *Ventas*) могло во французском языке ощущаться лишь как мало употребительное заимствование, введение которого Потоцкий и счел необходимым сопроводить в первом издании комментариями как смыслового характера, так и такими, в которых он пытался яснее приурочить название „*Venta — Quemada*“ к определенным условиям местности в Испании.¹ Вот почему читаем в издании его романа 1805 г.: „*A la verité quelques ventas ou auberges isolées se trouvaient éparses sur cette route désastreuse*“, между тем как во втором издании слово „*Ventas*“ как раз совершенно выпущено. Пушкин, следовательно, когда писал слово „Вента“ с прописной буквы, ощущал его также как нечто специфическое, в испанских условиях применимое, а не как вообще всякий трактир или гостиницу, а основание для этого он мог также найти, прежде всего, именно в первом издании романа Потоцкого. Наконец, еще одно последнее соображение: пластичность и красочность речи трактирщика у Пушкина могла иметь большее основание в варианте первого издания, где добавлено, что он все еще жестикулировал, даже и после того, как Альфонс от него отъехал, — чем в более краткой версии второго издания, согласно которой он просто указывал издали Альфонсу дорогу. Все эти соображения, можно полагать, убеждают нас в том, что Пушкин должен был пользоваться еще первым изданием интересующего нас романа.

¹ Такое же стремление к введению „местного колорита“ Потоцкий проявил и когда пользовался испанским словом „*gitous*“. Выше уже было отмечено, что Пушкин и в этом случае следовал за ним. В русском языке того времени слово это не могло быть употребительно, хотя оно и отмечено в старом академическом словаре.



Леонид ГРОССМАН

ФРАНЦУЗСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДУЭЛИ ПУШКИНА

I

„Наши журналы и друзья Пушкина не смеют ничего про него печатать, — сообщал Вяземский в марте 1837 г. своим парижским друзьям, — с ним точно то, что с Пугачевым, которого память велено было предать забвению“.

Это затерянное сообщение представляет первостепенный интерес для объяснения полного отсутствия в русской печати статей о последней дуэли Пушкина на всем протяжении николаевского царствования. Как оказывается, погибший поэт, с его прочной репутацией „вольнодумного сочинителя“, сблизился в представлениях высшего круга с предводителем народного восстания, официально преданного анафеме. Нужно вспомнить, какой страх испытывало дворянство перед именем Пугачева, чтобы оценить силу и значение приведенного свидетельства Вяземского. Его выражения „не смеют“ и „велено“ прозрачно указывают на верховный источник этого предписанного безмолвия. Неудивительно, что такое veto исполнялось неукоснительно — и ни одной статьи об убийстве Пушкина не появилось в России до самого конца 50-х годов. Мелкие некрологические заметки и беглые упоминания были, конечно, неизбежны и не могли поколебать основного запрета.

Но если печать крепостнического государства не смела касаться этой темы, разработка которой, по мнению самого правительства, грозила ему скандальными разоблачениями, совершенно иначе, конечно, обстояло дело за границей. Помимо многочисленных газетных сообщений о смерти Пушкина, мы находим в иностранной печати того времени и первое обстоятельное изложение знаменитого конфликта вместе с подробным описанием самого поединка. Известный „международный“ интерес этого события, в частности французское подданство убийцы Пушкина и одного из секундантов, рано привлекли пристальное внимание большой парижской журналистики к обстоятельствам смерти русского поэта. Пребывание же во Франции 40-х годов двух очевидцев и участников трагедии 1837 г. естественно поставило французских исследователей в особенно благоприятные условия информации.

Вот почему задолго до первых русских публикаций на эту тему и независимо от рукописных русских источников (известных писем Жуковского, Вяземского и Александра Тургенева о смерти их великого друга) литературные и политические деятели Франции обращаются к изучению пушкинской дуэли. Именно здесь мы находим первую разработку этой темы в одном из крупнейших европейских журналов и весьма авторитетную позднейшую запись о ней в мемуарной литературе. В список показаний о гибели Пушкина необходимо включить эти затерянные свидетельства, записанные по свежим следам современниками поэта со слов весьма осведомленных лиц.

II

В 1847 г. в известном парижском журнале „Revue des Deux Mondes“ (tome quatrième, pp. 49—50) появилась большая статья о Пушкине. Она была подписана именем Шарля де Сен-Жюльена и озаглавлена „Пушкин и литературное движение в России за последние сорок лет“ (Charles de Saint-Julien „Pouchkine et le mouvement littéraire en Russie depuis quarante ans“). Журнальный этюд дает обстоятельный обзор жизни и творчества Пушкина в связи с крупнейшими общественными и литературными событиями эпохи. Некоторые подробности биографического и бытового порядка свидетельствуют, что автор располагал довольно обширными и верными сведениями как о самом поэте, так и об общих условиях его существования.

Так как в печати к тому времени еще не появились документы дуэльного дела, а парижский критик имел весьма мало возможностей пользоваться русскими архивами, следует заключить, что рассказ его о поединке 1837 г. записан со слов лиц, хорошо знавших Пушкина. Характер его изложения во всяком случае свидетельствует о такой осведомленности.

Два слова об авторе этого этюда. Шарль де Сен-Жюльен был сотрудником „Revue de Deux Mondes“ в 40—50-х годах XIX в. и поместил в журнале несколько статей о русской литературе; помимо названного этюда о Пушкине его перу принадлежат также статьи: „Граф В. Сологуб и русский бытовой роман“ („Revue de Deux Mondes“, 1 октября 1851), „Иван Андреевич Крылов, русский поэт, скончавшийся в 1845 г.“ (там же, 1 сентября 1852), и перевод „Муму“ Тургенева (там же, 1 марта 1856)— см. „Revue de Deux Mondes“, table générale, 1831—1874, P., 1886, стр. 135.

Шарль де Сен-Жюльен отмечает, каким поклонением пользовался в России Пушкин.

„On se plaisait à reconnaître que ce jeune et puissant esprit avait donné à la littérature nationale une féconde et sûre direction: il avait renouvelé, assoupli la langue russe. Il ne fut pas accordé malheureusement à Pouchkine de jouir longtemps de cette satisfaction

profonde que donne le sentiment d'une grande tâche accomplie. On sait quelle fut sa mort. Si nous revenons sur ce douloureux événement, c'est parce qu'aucun autre ne met mieux en relief la nature emportée, presque sauvage, du poète".

Перевод: „Все охотно признавали, что этот юный и мощный ум придал отечественной литературе плодотворное и уверенное направление: он обновил и обогатил русский язык. К сожалению, Пушкину не было дано длительно испытывать то глубокое удовлетворение, которое доставляет нам сознание выполненного огромного задания“. Известно, какова была его смерть. Мы возвращаемся к этому печальному событию, потому что ничто другое не обнаруживает столь наглядно необузданную, почти дикую натуру поэта.

Затем следует довольно обстоятельный рассказ об известном романе д'Антеса.

La beauté merveilleuse de madame Pouchkine, relevée par le prestige de la célébrité de son mari, lui avait valu dans le monde un accueil flatteur, qui, chez elle, avait éveillé une joie enfantine, et, chez Pouchkine, une sombre jalousie. Quelques propos ne tardèrent pas à circuler, et le monde blâma madame Pouchkine de ce qu'elle ne savait pas ménager la susceptibilité ombrageuse de son mari. Parmi les jeunes gens qui fréquentaient la maison de madame Pouchkine, on citait le baron Danthés, officier aux gardes, fils adoptif du baron H***, ministre de Hollande. M. Danthés, comme beaucoup d'autres, entourait d'hommages la jeune femme du poète. On sait que Pouchkine était laid. L'envie et la calomnie, exploitant cette circonstance, en firent le texte d'une lettre anonyme pleine d'insultantes allusions. Pouchkine bondit en rugissant. Une nouvelle lettre arriva, toujours accusatrice; cette fois, il eut assez de force pour la mépriser; il parvint même à dominer, dans le monde, cette jalousie qu'il avait trop laissé paraître. Ses ennemis n'en furent que plus ardents, et, dans une troisième lettre, ils lui lancèrent à la face le nom du baron Danthés, le même qui fréquentait sa maison, et dont les emportements auprès de sa femme pouvaient effectivement alarmer un esprit jaloux. Pouchkine alla aussitôt trouver M. Danthés et lui présenta cette lettre ouverte. Ce dernier, comprenant l'inutilité d'une explication, déclara au poète que la sœur de sa femme était seule l'objet de ses visites, et que, pour preuve de sa bonne foi, il la lui demandait en mariage, à lui, qui en était presque le tuteur. Les soupçons de Pouchkine ne tinrent pas devant les aveux du baron Danthés, et, à quelque temps de là, celui-ci épousait mademoiselle Gantchareff, sœur aînée de madame Pouchkine. Cependant tout ne fut pas fini. Le jeune officier, après son mariage, crut pouvoir reprendre avec madame Pouchkine, devenue sa parente, le commerce d'innocente intimité que ce titre justifiait aux yeux du monde. C'était une imprudence. Les auteurs des lettres anonymes surent en profiter. Le mari ne tarda pas à recevoir un nouveau message: c'en était trop. Pouchkine jura que le sang coulerait. Le jour même, M. Danthés reçut une provocation conçue en termes tels qu'il ne s'offrait aucun moyen de l'éviter. La rencontre fut donc arrêtée, et l'arme choisie fut le pistolet. C'était dans le mois de janvier. La neige, durcie par la température, scintillait au loin dans la campagne sous les rayons sans chaleur d'un soleil rougeâtre et sinistre. Deux traîneaux, suivis d'une voiture, sortirent en même temps de la ville et s'arrêtèrent derrière le Village-Nouveau (Novoi Derevnja), qui en est éloigné de trois ou quatre kilomètres. Les deux adversaires s'enfoncèrent dans un petit bois de bouleaux. Leurs seconds, tous deux hommes de cœur, choisirent un terrain uni, au milieu d'une éclaircie formée en cet endroit par les arbres. Là ils essayèrent une dernière fois de rapprocher deux hommes dont un seul restait inaccessible à toute parole de conciliation. Obligés de faire leur devoir et voulant néanmoins laisser à leurs malheureux amis le plus de chances possible de salut, ils arrêtèrent qu'une distance de quarante pas serait mesurée, que chacun des deux adversaires pourrait en faire dix en avant, restant d'ailleurs libres l'un et l'autre de tirer à volonté. Pouchkine les regardait faire d'un œil impatient et sombre. Ces tristes préparatifs accomplis, les deux rivaux furent placés en face l'un de l'autre. Les dix pas qui leur étaient accordés avaient été également mesurés, et deux mouchoirs indiquaient l'espace qu'il leur était défendu de franchir. Le signal fut donné, et Pouchkine ne bougea point. M. Danthés fit

quelques pas, leva lentement son arme, et, au même instant, une détonation se fit entendre. Pouchkine tomba; son ennemi courut à lui.

— Arrête! s'écria le blessé en cherchant à se relever. Et s'appuyant d'une main sur la neige:

— Arrête! s'écria-t-il de nouveau en lui jetant une insultante épithète: je puis tirer encore et j'en ai le droit.

M. Danthés regagna sa place; les témoins, qui s'étaient avancés s'éloignèrent. Le poète le corps péniblement supporté par son bras gauche, ramassa son pistolet, que, dans sa chute il avait laissé échapper; puis, tendant le bras, il visa longtemps. Tout à coup, remarquant que son arme était souillée de neige, il en demanda une autre. On s'empressa de le satisfaire. Le malheureux souffrait horriblement, mais sa volonté dominait la douleur. Il prit l'arme nouvelle, la considéra un instant, et fit feu. M. Danthés chancela et tomba à son tour. Le poète poussa un rugissement de joie.

— Il est mort! s'écria-t-il en tressaillant, il est mort! Mon Dieu! soyez loué!

Cette joie dura peu. M. Danthés se releva; il avait été frappé à l'épaule; la blessure n'avait rien de dangereux. Pouchkine perdit connaissance. On le transporta dans le voiture, et l'on reprit tristement le chemin de la ville.

L'agonie du poète fut longue et douloureuse. La nouvelle de la catastrophe se répandit avec une rapidité inouïe; la porte du moribond fut aussitôt assiégée. Pauvres et riches, grands et petits firent éclater pour lui les transports de la plus vive sympathie, et, lorsqu'il eut rendu le dernier soupir, la douleur publique ne connut plus de bornes. Comme un roi, Pouchkine eut le peuple à ses funérailles.

Перевод:

„Изумительная красота госпожи Пушкиной, словно усиленная славою ее мужа, заслужила ей в свете лестный прием, вызвавший в ней ребяческую радость, а в ее супруге мрачную ревность. Кое-какие толки не замедлили возникнуть в обществе, которое осудило госпожу Пушкину за то, что она не сумела щадить угрюмую подозрительность своего мужа. Среди молодых людей, посещавших дом госпожи Пушкиной, называли барона д'Антеса, офицера кавалергардского полка, приемного сына барона де Г., голландского посланника.¹ Г. д'Антес, как и многие другие, окружал поклонением юную супругу поэта. Известно, что Пушкин был некрасив. Зависть и клевета воспользовались этим обстоятельством, чтобы смастерить анонимное письмо, полное оскорбительных намеков. Пушкин метнулся рыча. Вскоре пришло второе письмо с такими же обвинениями; на этот раз он нашел в себе достаточно сил, чтобы отнестись к нему с презрением; ему даже удалось сдерживать в обществе свою ревность, которую он уже успел слишком явно проявить. Это только сильнее разогло его врагов, которые в третьем письме бросили ему в лицо имя барона д'Антеса, посещавшего его дом и оказывавшего его жене знаки внимания, способные действительно задеть ревнивую натуру. Пушкин явился к д'Антесу и представил ему это распечатанное письмо. Последний, понимая бесполезность объяснений, заявил поэту, что единственной целью его посещений была сестра его жены и в доказательство своих добрых намерений он попросил ее руку у Пушкина, который мог считаться ее опекуном. Подозрения поэта рассеялись от подобных признаний, и через некоторое время барон д'Антес обвенчался с девицею Гончаровой, старшей сестрою госпожи Пушкиной. Но этим дело не кончилось. Молодой офицер, после своей женитьбы, считал возможным продолжать с госпожею Пушкиной отношения невинной близости, которые теперь были оправданы в глазах общества их родством. Это было неосторожно. Авторы анонимных писем сумели этим воспользоваться. Муж не замедлил получить новое послание: это переполнило чашу.

¹ Геккерн к этому времени уже был восстановлен в своей служебной деятельности и занимал пост голландского посланника в Вене; имя его поэту было неудобно называть по такому поводу в печати.)

Пушкин поклялся, что дело решится кровью. В тот же день г. д'Антес получил вызов в таких выражениях, которые исключали всякую возможность уклониться от него. Условились о встрече, оружием был выбран пистолет. Все это происходило в январе. Снег, затвердевший от мороза, сверкал вдалеке за городом под холодными лучами зловеще багрового солнца. Двое саней, сопровождаемые каретой, одновременно выехали из города и остановились за Новой Деревней, отстоящей в трех или четырех километрах от Петербурга. Оба противника вошли в небольшую березовую рощу. Их секунданты — оба весьма достойные люди — выбрали площадку, среди просеки, образованной деревьями. Здесь они попытались в последний раз примирить противников, из которых только один отвергал всякую попытку к примирению. Вынужденные выполнять свой долг, но стремясь при этом предоставить своим несчастным друзьям как можно больше шансов на спасение, они условились, что будет отмерено расстояние в сорок шагов и что каждый из противников сможет пройти вперед десять шагов, имея право дать выстрел по собственному усмотрению. Пушкин наблюдал за их действиями нетерпеливым и пасмурным взглядом. Как только эти печальные приготовления были закончены, соперники стали друг против друга. Предоставленные им на продвижение десять шагов были также отмерены, и два платка отмечали границы расстояния, которые им запрещено было переступить. Был подан знак, но Пушкин не двигался. Г. д'Антес сделал несколько шагов, медленно поднял свое оружие и в тот же миг раздался выстрел. Пушкин упал; его противник бросился к нему — «Стой!» крикнул раненный, пытаясь приподняться. И, опираясь одной рукой о снежный настил, он повторил этот возглас, сопроводив его оскорбительным выражением: «я еще могу выстрелить и имею на это право». Г. д'Антес вернулся на свое место, приблизившиеся было секунданты отошли в сторону. Поэт, перенеся с трудом тяжесть своего корпуса на левую руку, подобрал свой пистолет, уроненный при падении, и, протянув руку, стал долго целиться. Но вдруг, заметив, что его оружие покрыто снегом, он потребовал другое. Его желание было немедленно же выполнено. Несчастный невероятно страдал, но его воля господствовала над физической болью. Он взял другой пистолет, взглянул на него и выстрелил. Г. д'Антес пошатнулся и в свою очередь упал. Поэт испустил ликующий крик: «Он убит!» воскликнул он весь дрожа, «он убит, слава богу!» Но эта радость длилась недолго. Г. д'Антес приподнялся; он был ранен в плечо; рана не представляла никакой опасности. Пушкин потерял сознание. Его перенесли в карету, и все с грустью направлялись в город.

Агония поэта была долгой и мучительной. Весть о катастрофе распространилась с невероятной быстротой; дом умирающего был осажден его почитателями. Бедные и богатые, знатные и безвестные проявили порывы живой любви к поэту, и когда он испустил последний вздох, общественная скорбь перешла все границы. Пушкин, как король, был окружен на своем погребении народом“.

Такова первая известная нам публикация о дуэли Пушкина, дающая цельный и полный рассказ о событии. Появившаяся в печати через десять лет после смерти поэта, при отсутствии всякой литературы на эту тему, она свидетельствует о знакомстве автора с очевидцами описанной драмы. Недаром сам он отмечает: „до настоящего времени большая часть людей пушкинского поколения еще полна жизни“. Не может быть сомнения, что эти современники поэта, лично знавшие его, информировали и первого изобразителя его предсмертной истории.

В передаче полученных сведений Сен-Жюльен мог допустить, конечно, ряд неточностей, несколько не колеблющих, впрочем, общей достоверности рассказа. Пушкин, как известно, не являлся к д'Антесу за объяснениями, а ограничился письменным вызовом и переговорами с его приемным отцом. На месте дуэли не было сделано попыток к примирению; рас-

стояние между барьерами, отмеченное шинелями, было в десять шагов, между первоначальными позициями в двадцать; Пушкин первый подошел к своему барьеру; д'Антес был ранен не в плечо, а в левую руку ниже локтя.

Эти поправки показывают, что рассказчик, пренебрегая мелкими фактами, не погрешил против истины в основном и существенном и все главные обстоятельства дела передал совершенно правильно. Неточности относятся к деталям, которые могли быть изложены в намеренно общей форме в виду безразличия их для французского читателя: в сжатом рассказе можно было не излагать подробностей переговоров Пушкина с Геккерном, ограничившись сообщением основного факта, т. е. обращения к д'Антесу с вызовом и пр.

Зато следует признать фактическую правильность и общее верное истолкование всех главных моментов ситуации: положение супругов Пушкиных в свете — ребяческая радость жены своим великосветским успехам и пасмурная ревнивость мужа, неосторожные ухаживания д'Антеса, анонимные письма, помолвка с Катериной Гончаровой, продолжение прежних отношений кавалергарда с Натальей Николаевной после брака, резкость последнего вызова, исключаяющего мирный исход, условия места и обстановки дуэли, обмен выстрелами и общественное впечатление от смерти поэта.

Невольно возникает вопрос — откуда такое обилие верных и точных сообщений при отсутствии каких-либо печатных сведений о событиях? Напомним снова, что некрологи в русской и заграничной печати никаких подробностей о романе д'Антеса и о самой дуэли не сообщали.

Это обстоятельство обращает нас к вопросу о первоисточниках дуэльной истории, которыми, очевидно, пользовался автор французской статьи. Если под этим термином иметь в виду свидетельства очевидцев поединка 27 января, то круг их окажется крайне ограниченным и легко поддающимся обзору.

III

Таких свидетелей вообще могло быть четыре: два участника поединка и два их секунданта. Из этих четырех лиц двое не оставили нам своих записей о пережитом. Ни сам поэт, проживший еще около двух суток и умиравший в полном сознании, ни его убийца, доживший до 1895 г., не оставили своих рассказов о картине дуэли. Пушкин, как известно, на смертном одре ни словом не обмолвился о происшедшем. На заседаниях военного суда д'Антес давал показания лишь о своих взаимоотношениях с поэтом и его семьей, но не об обстоятельствах самого поединка. И впоследствии он официально ни разу не выступил с изложением этого события, хотя в печати русской и иностранной появилось за время его долгой жизни не мало рассказов о смерти Пушкина, к которым д'Антес относился

с живейшим интересом. Известный собиратель пушкинских автографов А. Ф. Отто-Онегин сообщал, с какой нервностью престарелый д'Антес в 1884 г. торопливо разрезал пальцем выпуск „Альзас-Лотарингского обозрения“ со статьей „Смерть Пушкина“.¹

Но не оставив никакой записи о своей дуэли с Пушкиным, д'Антес не раз передавал устно обстоятельства преддуэльной истории, часто пытаясь оправдаться перед друзьями или соотечественниками поэта (напр. перед Андреем Карамзиным или В. Д. Давыдовым). В 1869 г. д'Антес „затронул тему этой трагедии“ в беседе с мужем Александры Николаевны Гончаровой — бароном Густавом Фризенгофом. Но никаких записей на эту тему он не оставил, и рассказы его дошли до нас в беглом, отрывочном и неточном изложении.

Но за выделением центральных героев драмы, остаются их секунданты, которые естественно и стали единственными свидетелями события перед современниками и потомством. Все сведения о самом поединке всегда восходили к показаниям двух этих лиц — Данзаса и д'Аршиака.

Официальный протокол поединка Пушкина с д'Антесом почему-то не был составлен секундантами. Но на расспросы Вяземского о происшедшем д'Аршиак „вызвался изложить в письме все случившееся“, предложив при этом „показать письмо г. Данзасу для взаимной поверки и засвидетельствования подробностей помянутой дуэли“. Так показал об этом Вяземский на военном суде.² Мы знаем, что вообще секундант д'Антеса, озабоченный соблюдением дуэльных правил и обычаев, проявил инициативу и в вопросе о письменном оформлении происходящего. Именно по его предложению был составлен текст известных „условий дуэли между г. бароном Жоржем Геккерном и г. Пушкиным“, о чем свидетельствует в своих воспоминаниях Данзас („по желанию д'Аршиака условия поединка были сделаны на бумаге“). Ему же принадлежит мысль составить запись, скрепленную подписями обоих секундантов и излагающую в последовательном порядке все обстоятельства „встречи“. Составление такого документа д'Аршиак взял также на себя, и на третий день смерти Пушкина Вяземский действительно получил его краткий и точный меморандум. Всей манерой изложения этот документ свидетельствовал, что автор его — дипломатический чиновник, искушенный в составлении учтивых бумаг о катастрофических событиях. Написанное 1/13 февраля 1837 г. письмо д'Аршиака к Вяземскому представляет собою единственное полное описание последней дуэли Пушкина, сделанное очевидцем по свежим впечатлениям, через четыре дня после события. Оно и является фактическим протоколом поединка, поскольку д'Аршиак писал это сообщение, имея в виду его официальное утверждение Данзасом.

¹ „La mort de Pouchkine“, „La Revue Nouvelle d'Alsace-Lorraine“, 1884, IV; см. П. Е. Щеголев, „Дуэль и смерть Пушкина“, 1928, стр. 485.

² Дуэль Пушкина с Дантесом-Геккерном. Подлинное военно-судное дело 1837 г., П., 1900, стр. 46.

Оно и по форме своей представляет протокол. Предельно сжатое изложение главных фактов, с опущением всех подробностей, почти без оценок — таков намеренный характер всего документа. Приезд в половине пятого на условленное место; расчистка от снега площадки для дуэли; поведение противников перед барьерами и обмен выстрелами; эпизод, послуживший впоследствии для некоторого разногласия секундантов. „В виду того, что пистолет его <Пушкина> был покрыт снегом, он взял другой. Я мог бы заявить возражение, но меня удержал знак, сделанный мне бароном Жоржем де Геккерном. Г-н Пушкин, опираясь левой рукой о землю, уверенно прицелился и выстрелил: неподвижный с момента своего выстрела барон де Геккерн в свою очередь упал раненый“. Следует описание состояния Пушкина после дуэли и условий обратного переезда.

Написанное в самый день отпевания Пушкина письмо д'Аршиака включает одно только отступление, как бы выражающее некоторое сочувствие к покойному: это описание трудной доставки Пушкина с места дуэли к большой дороге, когда весь, сотрясаемый ухабами, „он мучился, не жалуясь“. Письмо заканчивается еще одной общей оценкой, уже относящейся к обоим противникам: „в продолжении всего дела спокойствие, хладнокровие и достоинство обеих сторон были безупречны“. Заключение это носит впрочем несколько условный характер и не вполне подтверждается другими документами.

Данзас внес две поправки в это письмо-протокол. Он решительно возразил против „заключения г-на д'Аршиака, будто бы он имел право оспаривать обмен пистолета <Пушкина> и был удержан в том знаком со стороны г-на Геккерна“. Он уточнил замечание д'Аршиака о якобы „неподвижном“ пребывании д'Антеса на месте сделанного им выстрела: „когда Пушкин упал, то г-н Геккерн сделал движение к нему; после слов же Пушкина, что он хочет стрелять, он возвратился на свое место“... Во всем остальном секундант Пушкина свидетельствовал „истину показаний г-на д'Аршиака“.¹

Гораздо подробнее и живее позднейший рассказ Данзаса, записанный А. Аммосовым.² Секундант Пушкина отмечал некоторое нетерпение

¹ Дуэль Пушкина с Дантесом-Геккерном, стр. 54—55.

² „Последние дни жизни и кончина Александра Сергеевича Пушкина. Со слов бывшего его лицейского товарища и секунданта Константина Карловича Данзаса“. Издание Я. А. Исакова. Санктпетербург. В типографии Гогенфельдена и К^о. 1863 (цензурное разрешение 20 мая 1862 г.). Стр. 23—25. При всем несовершенстве метода и робости построения эта небольшая книга была все же первой попыткой собрать материалы к эпилогу пушкинской биографии и дать хотя бы краткую историю ее трагического исхода. Публикация Аммосова освещала легендарную карьеру молодого д'Антеса, его отношения с семейством Пушкиных, его брак с Катериной Гончаровой, историю двух вызовов на дуэль, картину самого поединка, агонии и погребения поэта. В приложении были даны важнейшие документы дела — письма Пушкина, Бенкендорфа, Геккерна, д'Аршиака, Данзаса, в том числе впервые опубликованное знаменитое письмо Пушкина к нидерландскому посланнику. Оно

и экспансивность поэта во время дуэли (возглас „браво!“ после удачного выстрела; вопрос, обращенный им к противнику о полученном им ранении и пр.). Приведем для понимания дальнейшего главную часть этого рассказа Данзаса.

„Закутанный в медвежью шубу, Пушкин молчал, повидимому был столько же покоен, как и во все время пути, но в нем выражалось сильное нетерпение приступить скорее к делу. Когда Данзас спросил его, находит ли он удобным выбранное им и д'Аршиаком место, Пушкин отвечал: «*Ça m'est fort égal, seulement tâchez de faire tout cela plus vite*». Отмерив шаги, Данзас и д'Аршиак отметили барьер своими шинелями и начали заряжать пистолеты. Во время этих приготовлений нетерпение Пушкина обнаружилось словами к своему секунданту: «*Et bien! est-ce fini?*» Все было кончено. Противников поставили, подали им пистолеты, и по сигналу, который сделал Данзас, махнув шляпой, они начали сходитьсь. Пушкин первый подошел к барберу и, остановясь, начал наводить пистолет. Но в это время Дантес, не дойдя до барьера одного шага, выстрелил, и Пушкин, падая,¹ сказал: «*Je crois que j'ai la cuisse fracassée*».

Секунданты бросились к нему, и когда Дантес намеревался сделать то же, Пушкин удержал его словами: — «*Attendez! Je me sens assez de force pour tirer mon coup*». Д'Антес остановился у барьера и ждал, прикрыв грудь правой рукою. При падении Пушкина пистолет его попал в снег и потому Данзас подал ему другой. Приподнявшись несколько и опершись на левую руку, Пушкин выстрелил. Д'Антес упал. На вопрос Пушкина у д'Антеса: куда он ранен, Д'Антес отвечал: — «*Je crois que j'ai la balle dans la poitrine*». «Браво!» вскрикнул Пушкин и бросил пистолет в сторону“. Следует характеристика обеих ран и описание отъезда с места дуэли.

Мы изложили первоисточники сведений о последней дуэли Пушкина. Из свидетельств этих очевидцев — первоначально устных — возникли все дальнейшие изложения самого события. Так, рассказ Жуковского, опубликованный полностью только в 1864 г., является в этой части довольно точным изложением сообщения Данзаса; Жуковский изменяет одно только свидетельство пушкинского секунданта, отметившего, как мы видели, некоторую нервность Пушкина во время утаптывания площадки; по изложению же известного письма к отцу поэта, „Пушкин сел на сугроб и смотрел на роковое приготовление с большим равнодушием“. В этом было воспроизведено и в виде факсимиле в натуральную величину. По своим документальным данным книга Аммосова была первым звеном в той серии исследований, которая достигла наибольшей полноты в известной монографии П. Е. Шеголева „Дуэль и смерть Пушкина“, вышедшей только через полстолетия. Опубликование воспоминаний К. К. Данзаса в 1863 г. сразу обнаружило, какие первостепенные материалы для понимания трагедии величайшего русского поэта были скрыты от науки и общества в течение почти трех десятилетий.

¹ Раненый Пушкин упал на шинель Данзаса, окровавленная ее подкладка хранится у него до сих пор (примечание А. Аммосова).

варианте, видимо, сказалась общая тенденция Жуковского смягчить в своей редакции все обстоятельства, касающиеся поведения Пушкина.

Изложение события в письме Вяземского к вел. кн. Михаилу Павловичу дает краткую сводку „реляций“ обоих секундантов; здесь особенно интересно дополнительное сообщение, сделанное по устному рассказу д'Аршиака и отсутствующее в документах: „Придя в себя, он спросил д'Аршиака: «убил я его?» — Нет, — ответил тот: — вы его ранили. — «Странно, — сказал Пушкин: — я думал что мне доставит удовольствие его убить, но я чувствую теперь, что нет. Впрочем все равно. Как только мы поправимся, снова начнем».¹

Наконец, и письма А. И. Тургенева к А. И. Нефедьевой от 28 и 29 января 1837 г. основаны на тех же источниках и приводят то же дополнительное свидетельство д'Аршиака. Тургенев, видимо, был очень расположен к секунданту д'Антеса, много общался и беседовал с ним. Показания этого очевидца весьма явственно отразились на его изложении.²

Сохранилась еще одна краткая запись рассказа д'Аршиака о поведении Пушкина на месте дуэли. Она принадлежит Е. Н. Мещерской-Карамзиной (дочери историка). В ее письмах 1837 г. имеется следующее свидетельство о Пушкине: „sa conduite pendant ce duel fatal et jusqu' à son dernier soupir a été héroïque au dire même du français qui a servi de second à d'Anthès et qui en racontant cette affaire a ajouté: «Pous[chkine] seul s'est montré sublime pendant ce duel, il a fait preuve d'un calme et d'un courage surhumain»“.³

Быть может здесь имеется некоторая неточность — едва ли д'Аршиак унижал в своих рассказах своего доверителя д'Антеса, но слова о героизме Пушкина вполне соответствуют свидетельству письма-протокола.

Перечисленные письма Жуковского, Вяземского и Тургенева послужили широкому распространению в обществе свидетельств д'Аршиака и Данзаса о поединке. При отсутствии поминальных статей, единственной литературой об обстоятельствах смерти поэта являлись эти частные письма его друзей-писателей.

¹ Щеголев, стр. 263. Вяземский послал в Париж начало своей статьи о Пушкине в целях уточнения сведений иностранной печати и ограждения имени своего покойного друга от ложных оскорбительных толкований. Впрочем и его статья (видимо не напечатанная) носила общий характер и намеренно не касалась конкретных фактов: „что же касается причин, вызвавших печальное происшествие, то они не таковы, чтобы о них говорить публично; не будем касаться тайны человека, унесшего ее с собой в могилу“, и пр. М. А. Цявловский, „Бумаги о дуэли и смерти Пушкина из собрания П. И. Бартенева“ в сборн. „Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина“, П., 1924, стр. 103.

² Новые материалы для биографии Пушкина (из Тургеневского архива). („Пушкин и его современники“, VI, 40, 52, 58).

³ Архив Рязевских, II, 346. П е р е в о д: „Поведение его во время этой роковой дуэли и до последнего вздоха было героическим, по словам самого француза, который был секундантом д'Антеса и который, излагая эту историю, заключил: „Только Пушкин проявил величие характера во время этой дуэли, выказав сверхчеловеческое спокойствие и мужество“.

IV

Нетрудно заметить, что биографическая часть статьи Сен-Жюльена и, в частности, приведенное описание дуэльной истории, составлено независимо от этих писем. При пользовании ими рассказчик не допустил бы ряда неточностей в своем изложении и не внес бы сюда ряда обстоятельств, отсутствующих в показаниях друзей поэта (точная топография дуэли, пейзаж местности, указания на эпитет, брошенный Пушкиным, и пр.). Он не мог бы также на основании этих свидетельств внести в свой рассказ некоторое критическое отношение к Пушкину, совершенно чуждое названным описаниям. При общей сдержанности тона французская статья заметно отражает мнения враждебной Пушкину партии. Для врагов поэта весьма характерна отрицательная оценка его личности, при неизменном и безоговорочном признании его выдающегося дарования. Даже посланник Геккерн в письмах к своему министру от 2 февраля 1837 г. признает в Пушкине „талант в высшей степени народный“ (т. е. широко популярный), настойчиво отмечая при этом его якобы „мрачный и мстительный характер“. Совершенно в духе таких характеристик Сен-Жюльен пишет о его „необузданной, почти дикой натуре“ и „мрачной ревности“. В других местах статьи имеются аналогичные упоминания о его деспотическом характере, резкой насмешливости, склонности к бешеным оргиям, азартной игре и дуэлям.

Доводами того же круга отзываются замечания французской статьи об анонимных письмах, полученных Пушкиным. Сведения о них здесь явно преувеличены: до нас, как известно, дошел текст лишь одного оскорбительного „диплома“, полученного поэтом, Сен-Жюльен же называет по крайней мере четыре таких последовательных послания. Мы знаем, что ближайшие виновники дуэли старались всячески подчеркнуть значение безымённых записок в развитии конфликта, стремясь этим ослабить свою ответственность за происшедшее и перенести главную вину на безвестных врагов, травивших Пушкина из-за угла. „Полученные им отвратительные анонимные письма, — писал Геккерн барону Ферстольку 30 января 1837 г., — разбудили его ревность и заставили его послать вызов моему сыну“. Главной причиной дуэли выставляется, таким образом, эта систематическая травля подметными пасквилями.¹

Замечание Сен-Жюльена о том, что молодой офицер, посещавший дом Пушкина, оказывал его жене „знаки внимания, способные действительно задеть ревнивое сознание“, вполне совпадает с показаниями самого д'Антеса в военном суде 10 февраля 1837 г.: „Посылая довольно часто к г-же Пушкиной книги и театральные билеты при коротких записках,

¹ Из друзей Пушкина Вяземский придавал этому обстоятельству особенное значение: „анонимные письма — причина всего. Они облили горячим ядом раздражительное сердце Пушкина; ему с той поры нужна была кровавая развязка“.

полагаю, что в числе оных находились некоторые, коих выражения могли возбудить его <Пушкина> щекотливость как мужа...“¹

Так же близко к этим официальным свидетельствам д'Антеса указание французской статьи на продолжение его отношений с Наталией Николаевной после брака с ее сестрой. „Молодой офицер, — сообщает Сен-Жюльен, — после своей женитьбы считал возможным продолжать с госпожой Пушкиной отношения невинной близости, которые теперь были оправданы в глазах общества их родством“. Это свидетельство также совпадает с показанием д'Антеса в военно-судной комиссии: „Что же касается до моего обращения с г-жею Пушкиной, <то> не имея никаких условий для семейных наших сношений, я думал, что был в обязанности кланяться и говорить с нею при встрече в обществе, как и с другими дамами; тем более, что муж прислал ее ко мне в дом на мою свадьбу: что, по мнению моему, вовсе не означало, что все наши сношения должны были прекратиться“.²

Некоторые описания отзываются личными впечатлениями очевидца („... снег, затверделый от мороза, сверкал вдалеке за городом под холодными лучами зловеще-багрового солнца“). Останавливает внимание и точность сведений в изложении дальнейших подробностей („двое саней, сопровождаемые каретой, одновременно выехали из города и остановились за Новой Деревней, отстоявшей в трех или четырех километрах от Петербурга“...).

Во французской статье имеются и отдельные фразы, сильно напоминающие письмо-протокол д'Аршиака. Таково поражающее своими деталями и точностью описание Сен-Жюльеном выстрела Пушкина: „поэт, перенеся с трудом тяжесть своего корпуса на левую руку, подобрал свой пистолет, уроненный при падении, и, протянув руку, стал долго целиться. Но вдруг, заметив, что его оружие покрыто снегом, он потребовал другое“ и пр. Все это почти буквально совпадает с приведенным выше аналогичным местом в письме д'Аршиака к Вяземскому.

Наконец, сообщение Сен-Жюльена о раненном Пушкине („несчастный невероятно страдал, но его воля господствовала над физической болью“) почти совпадает с фразой д'Аршиака в его описании поединка: „Посаженный в сани, при сильной тряске по весьма скверной дороге на протяжении более полуверсты, он мучился, не жалуясь“.

Вся эта близость рассказа Сен-Жюльена к характерным заявлениям главных врагов поэта (д'Антеса, Геккерна) и, в частности, к официальным показаниям д'Аршиака дает основание предположить, что статья „Revue des Deux Mondes“ своей информацией по истории дуэли восходила — к самим д'Антесу и его секунданту. Сотруднику большого литературного органа естественнее всего было обратиться за сведениями о знаменитой

¹ Дуэль Пушкина с Дантесом-Геккерном. Подлинное военно-судное дело 1837 г., П., 1900, стр. 61.

² Дуэль Пушкина с Дантесом-Геккерном, стр. 75.

дуэли к двум ее участникам, которых он мог расспросить в самом Париже. Как известно, д'Антес в 40-е годы постоянно приезжал сюда и неизменно общался со своим родственником и другом („я навещаю д'Аршиака, когда бываю в Париже“, писал он И. С. Гагарину 17 сентября 1847 г.).¹ Подтверждение этим соображениям мы находим во втором французском рассказе о последнем поединке Пушкина, также неизвестном в нашей литературе. Записанный, вероятно, вскоре после события, он был опубликован значительно позднее. По несомненной близости его автора к д'Антесу и д'Аршиаку он представляет значительный интерес для исследователей дуэли, а по своему сходству со статьей Сен-Жюльена он проливает свет и на ее источники.

V

Незадолго до осенних событий 1836 г. Петербург посетил молодой легитимист Альфред Фаллу, сын купца, которому Карл X даровал в 1825 г. дворянство за его религиозное и монархическое усердие. Этот роялист из мещан ревностно обслуживал партию „алтаря и трона“. В парижское общество он был введен известной русской католичкой — госпожей Свечиной, подругой представительницы петербургской знати М. Д. Нессельроде, которая в свою очередь взяла на себя попечение о молодом клерикале. К Альфреду Фаллу был приставлен Жорж д'Антес, который вместе со своим однополчанином Александром Трубецким и сыном вице-канцлера Дмитрием Нессельроде провел в дружеской близости с французским путешественником несколько недель его пребывания в царской резиденции.

Политическое единомыслие обоих французов и даже их принадлежность к одной партии, при постоянном довольно длительном общении, всячески способствовало их интимному сближению. Молодой Геккерн, по словам приезжего, оказал ему в Петербурге „чисто французское гостеприимство“. Когда вскоре после этого Фаллу узнал о крушении петербургской карьеры своего друга, он написал ему весьма взволнованное и сочувственное письмо. Он указал в нем, как его „живейшим образом поразило“ это событие, насколько он был им „удручен“ и „с какой поспешностью и настойчивостью искал г. д'Аршиака, как только узнал о его возвращении в Париж“: „малейшие подробности этой ужасной катастрофы имели для меня реальный интерес“. Таким образом историю дуэли Фаллу узнал непосредственно от д'Аршиака сейчас же после его возвращения из России в феврале 1837 г. Впрочем, вскоре молодой роялист получил возможность увидеться с самим д'Антесом и лично от него услышать рассказ о дуэли. Из воспоминаний Фаллу видно, что его взаимоотношения с д'Антесом продолжались и в 50-е годы, он имел не раз возможность слышать личный рассказ

¹ См. мою публикацию „Документы о Геккернах“ — „Пушкин. Временник Пушкинской комиссии“, т. 2, стр. 356.

убийцы Пушкина об этом событии. Таким образом тот „неопрровержимый источник“, на который ссылается в своих воспоминаниях сам Фаллу, раскрыт нам его письмом к д'Антесу от 8 марта 1837 г. и дальнейшим изложением его мемуаров, где приведены факты его долголетнего личного и политического общения с д'Антесом. Свидетельство мемуариста о дуэльной истории представляет поэтому значительный интерес как некоторое развитие и дополнение статьи Сен-Жюльена.

Изложение Фаллу отличается целым рядом особенностей и вариантов сравнительно с другими источниками. По своему тону оно примыкает к известной позиции „великосветской партии“. Безусловное признание Пушкина крупнейшим поэтом здесь сочетается с отрицательной оценкой его характера: к этому, как известно, сводилось в основном мнение о Пушкине и представителей „партии Геккернов“.

В 1839 г. Альфред Фаллу встретился в парижском роялистском салоне Свечиной со своей петербургской покровительницей графиней Нессельроде: „Pour mon compte, je lui demandai avec reconnaissance beaucoup des nouvelles de Pétersbourg, et le nom de Georges de Heeckeren ne pouvait être oublié. Je l'avais laissé dans tout l'éclat et dans toutes les jouissances du succès. Un coup de foudre pouvait seul y mettre un terme; la foudre vint, comme on peut en juger par le récit suivant que je tiens de source irrécusable“ („С чувством признательности я стал расспрашивать ее о моих петербургских знакомых, и, конечно, имя Жоржа де-Геккерна не было забыто. Я оставил его во всем блеске и среди всех наслаждений успеха. Только удар молнии мог положить этому конец; молния и ударила, как об этом можно судить из следующего рассказа, полученного мною из неопровержимого источника“).

Относительно этого „неопровержимого источника“ у нас нет никаких сомнений. Он совершенно точно указан самим Фаллу в его письме к Жоржу Геккерну, написанном вскоре после дуэли и адресованном еще в Петербург. 8 марта 1837 г. Фаллу, как мы видели, сообщал д'Антесу, что он узнал все подробности дуэльной истории от д'Аршиака.

Прочувствованное письмо А. Фаллу к д'Антесу не оставляет сомнения в факте их последующих встреч и бесед уже по возвращении разжалованного кавалергарда на родину. Из мемуаров Фаллу видно, что их общая принадлежность к легитимистской партии объединяла их политическую активность в переходную эпоху конца 40-х годов. Только после переворота 1851 г., когда д'Антес стал бонапартистом, произошло их расхождение. Характер и общий тон письма Фаллу к д'Антесу от 8 марта 1837 г. свидетельствует о такой глубокой дружеской заинтересованности в его судьбе в связи с дуэльной катастрофой, что не придется сомневаться в их самых обстоятельных и душевных беседах на эту тему при первой же встрече в Париже. Указание на „неопровержимость“ опубликованного в 1888 г. рассказа о дуэли имеет в виду, конечно, и сообщение, идущее от главного участника события. Следует отметить,

что д'Антес в это время находился в живых, но никаких опровержений рассказа Фаллу от него не последовало.

Приведем полностью это сообщение.

Un matin, M. de Heeckeren vit entrer dans sa chambre Pouchkine, le poëte le plus justement populaire de la Russie: — „Comment se fait-il, monsieur le baron, lui dit-il, avec un calme apparent, que j'ai trouvé chez moi ces lettres de votre écriture?“ et il tenait à la main des lettres contenant, en effet, les expressions d'une inclination très vive. — Vous n'avez pas lieu d'en être offensé, répondit M. de Heeckeren, madame Pouchkine ne consent à les recevoir que pour les transmettre à sa sœur que je désire épouser. — „Alors, épousez-la“. — Ma famille ne m'accorde pas son consentement. — „Obtenez-le!“ Ce dialogue créait une situation bien délicate, et si le mariage ne s'accomplissait pas, madame Pouchkine pouvait être gravement compromise. Georges de Heeckeren n'hésita pas longtemps, et peu après Pétersbourg le félicitait de son mariage.

Six mois écoulés, Pouchkine rentra dans l'appartement de M. de Heeckeren, le visage calme et sombre: „Vous croyez m'avoir fait illusion, je viens vous détromper. Si vous m'aviez tué, il y a six mois vous auriez peut-être épousé ma femme. Aujourd'hui, vous êtes lié, vous allez être père. Battons-nous!“ Georges de Heeckeren était assez brave pour s'épuiser en efforts afin d'éviter cet odieux combat; tout fut inutile et Pouchkine se montra implacable. Rendez-vous pris, les témoins sortirent de Pétersbourg avec les deux combattants, écartèrent la neige sur la lisière d'un petit bois et réglèrent, d'accord avec M. de Heeckeren, que Pouchkine tirerait le premier. Pouchkine ajusta son beau-frère, abaissa son arme, la releva de nouveau avec un sourire outrageant, fit feu et la balle siffla à l'oreille de son adversaire sans le toucher. M. de Heeckeren était venu avec la résolution de tirer en l'air après avoir essuyé le feu de Pouchkine, mais cette froide haine perçant jusqu'à la dernière heure lui fit perdre à lui-même son sang-froid, et Pouchkine tomba raide mort!

La victime était l'idole de la Russie, et si l'émeute était possible à Pétersbourg, elle eût éclaté à la nouvelle d'un tel événement. Des attroupements se formèrent jusque sous les fenêtres; de l'Empereur, et de toutes parts retentissait ce cri: „Vengeance! vengeance de l'étranger!“ M. de Heeckeren fut immédiatement arrêté, jeté dans la citadelle, jugé et condamné selon toute la rigueur des lois russes. Peu après, l'Empereur fit savoir au prisonnier qu'il prenait en considération les efforts sincères qu'il avait opposés à une impitoyable vengeance et que, dès que la fermentation populaire serait apaisée, un teleck viendrait le prendre à la porte de la citadelle et l'emporterait jour et nuit jusqu'à la frontière. Georges de Heeckeren fut du moins dédommagé par le bonheur domestique. Il reprit en Alsace, sous les yeux de son vieux père, sa vie de chasseur et de campagnard. L'ambassadeur de Hollande vint plus d'une fois visiter sa jeune famille et, en 1848, le suffrage universel, prenant la place du duc de Lucques, lui rouvrit une nouvelle destinée.¹

Перевод:

„Однажды утром в комнату Жоржа Геккерена явился Пушкин, поэт, наиболее заслуженно пользующийся популярностью в России: «Каким образом, господин барон, обратился к нему с видимым спокойствием поэт, я нашел у себя эти письма, написанные вашей рукой?» И он представил письма, действительно содержащие выражения чрезвычайно сильного чувства. «Они не должны задевать вас, — отвечал г. де Геккерен, — госпожа Пушкина соглашается получать их только для передачи своей сестре, на которой я намерен жениться». — «Так исполните же ваше намерение». — «Семья моя не дала мне своего согласия». — «Добейтесь его». Это объяснение создавало чрезвычайно щекотливую ситуацию, и если бы брак не состоялся, госпожа Пушкина оказалась бы серьезно скомпрометированной. Жорж де Геккерен поэтому не долго колебался, и вскоре Петербург поздравил его с женитьбой.

¹ „Mémoires d'un royaliste, par le comte de Falloux,“ том I, 1888, стр. 186—189.

Через полгода Пушкин снова явился к г. Геккерну с видом спокойным, но мрачным. — «Вы полагали ввести меня в заблуждение, я пришел разочаровать вас. Если бы вы убили меня полгода тому назад, вы может быть обвенчались с моей женой. Сегодня же вы связаны, вы должны стать отцом. Будем же драться». Жорж де Геккерн был достаточно храбр, чтоб позволить себе приложить все усилия с целью избежать этот отвратительный бой; но все его попытки оказались напрасными. Встреча была назначена, секунданты выехали из Петербурга с обоими дуэлянтами, очистили от снега опушку маленькой рощицы и установили с согласия г. де Геккерна, что Пушкин будет стрелять первым. Пушкин прицелился в своего свояка, опустил пистолет, снова поднял его с оскорбительной усмешкой, выстрелил, и пуля просвистела мимо уха его противника, не задев его. Г. де Геккерн явился на место дуэли с решением выстрелить в воздух после выстрела своего противника, но эта холодная ненависть, неугасимая до последнего часа, заставила его потерять хладнокровие, и Пушкин свалился замертво!

Погибший на поединке был кумиром России, и если бы бунт был возможен в Петербурге, он разразился бы при известии об этом событии. Войска были стянуты даже к окнам императора, и отовсюду раздавались крики: „Отмщенье! Отмщенье иностранцу!“ Г. де Геккерн был немедленно арестован, брошен в крепость, судим и осужден по всей строгости русских законов. Вскоре затем император дал знать арестованному, что он принимает во внимание искренние усилия к примирению, которые последний противопоставил неумолимой мстительности, и что поэтому, как только народное возбуждение уляжется, телега подъедет к воротам крепости, чтоб мчаться его днем и ночью до границы.

Жорж де Геккерн был по крайней мере вознагражден семейным счастьем. Он возобновил в Альзасе в обществе старика-отца свою жизнь охотника и сельского жителя. Голландский посланник не раз гостил в его молодой семье, а в 1848 г. всеобщее голосование, заменяя на этот раз герцога Луккского, раскрыло перед ним пути к новым успехам¹.

Внимание наше в этом рассказе привлекает приведенное заявление Пушкина д'Антесу перед развязкой; мимо этих слов трудно пройти со скептическим равнодушием, в них слышится отголосок какого-то подлинного мотива, хотя, быть может, выраженного иначе и, вероятно, не лично д'Антесу. „Если бы вы убили меня полгода тому назад, вы может быть обвенчались бы с моей женой; сегодня же вы связаны, вы должны стать отцом. Будем же драться“. Эта аргументация несколько напоминает позицию Сильвио в пушкинском „Выстреле“, хотя она и вызвана другими соображениями. Едва ли такой вариант к пушкинской повести мог быть придуман д'Аршиаком или Геккернами. Но фраза несомненно отзывается дуэльным опытом поэта и увлекшими его преданиями о знаменитых поединках. А если принять во внимание неукротимое желание Пушкина во что бы то ни стало отвести навсегда от Натальи Николаевны взволновавшего ее поклонника, этот ход мысли приобретает в наших глазах достаточную обоснованность. Нельзя не отметить, впрочем, что сторонники Геккерна, передавая этот эпизод, стремились подчеркнуть им жестокость инциатора „отвратительного боя“.

¹ Falloux, „Mémoires d'un royaliste. . .“, 1888, стр. 186—189. Герцог Луккский, по рассказу Фаллу, содействовал карьере д'Антеса в молодости, снабдив его письмами к принцу Прусскому.

Большой интерес представляет сообщение Фаллу о первоначальном намерении д'Антеса якобы выстрелить в воздух, чему он изменил только убедившись в „холодной ненависти“ к нему непримиримого противника.

Весьма ценно для определения позиции Николая I в конфликте и свидетельство Фаллу, очевидно идущее от самого д'Антеса о полученном им в крепости извещении от царя, что арестованный будет вскоре освобожден из уважения к тому миролюбию, которое он „противопоставил неумолимой мстительности“. Не приходится сомневаться в достоверности этого сообщения — оно вполне соответствует известному заявлению Николая I о том, что последнее письмо Пушкина сделало Геккерна правым в этом деле. Таким образом, со свойственной ему двойственностью Николай I, подвергая д'Антеса неизбежному военному суду со смертным приговором, торопился успокоить его в крепости сообщением о мнимости наказания и даже о предстоящем полном освобождении подсудимого. Это весьма любопытный штрих для характеристики отношения Николая к обоим противникам знаменитого столкновения.

Обращает на себя внимание и указание Фаллу на раздавшиеся после смерти Пушкина требования русского общества: „Отмщенье! Отмщенье иностранцам!“ Именно так начинался, как известно, эпиграф к знаменитому стихотворению Лермонтова „На смерть поэта“ („Отмщенье, государь, отмщенье...“), где имелся и сильно выраженный мотив „иностранца“:

..... Издалека,
 Подобный сотням беглецов,
 На ловлю счастья и чинов
 Зброшен к нам по воле рока,
 Смеясь он дерзко презирал
 Земли чужой закон и нравы;
 Не мог цадить он нашей славы,
 Не мог понять в сей миг кровавый
 На что он руку поднимал...

Д'Антес после трехлетнего пребывания в России изъяснялся (хотя и очень неправильно, судя по его показаниям) на нашем языке — и можно допустить, что стихотворение Лермонтова, произведшее такое исключительное впечатление на русское общество, было ему известно. Весьма возможно, что указанное место в мемуарах Фаллу является реминисценцией чтения д'Антесом этой негодующей сатиры. В письмах к председателю военного суда полковнику Бреверну д'Антес писал 26 февраля 1837 г. об отношении к нему представителей русского общества после дуэли: „они хотели видеть во мне только иностранца, который убил их поэта“.¹

Эти моменты рассказа Фаллу обращают нас от д'Аршиака к самому д'Антесу. Сведения об его намерениях перед дуэльным барьером, о сю-

¹ А. С. Поляков, „О смерти Пушкина“, П., 1922, стр. 54.

шениях с ним Николая I (уже после отъезда д'Аршиака из Петербурга), о моменте общественного требования „отмщения иностранцу“ исходят очевидно от самого д'Антеса. Заявление Фаллу о „неопровержимости“ его информации получают в этом свое полное объяснение.

Приведенные французские сообщения о дуэли 1837 г. едва ли заслуживают того полного забвения, в каком они по сей день пребывают. Для всестороннего освещения этой трагической темы необходимо учитывать не только свидетельства Жуковского, Вяземского, Тургенева, но и самих участников дуэли.

Сообщения Сен-Жюльена и Фаллу, в происхождении которых не приходится сомневаться, дополняют имеющиеся сведения целым рядом характерных черт. Умение Пушкина в обществе сдерживать свою ревность, его прямое и непосредственное поведение на месте поединка, выезд дуэлянтов „под холодными лучами зловеще-багрового солнца“, соображения Пушкина о невозможности, даже в случае его смерти, соединения д'Антеса с Натальей Николаевной в виду его связанности браком с ее сестрой, наконец, милостивые сношения Николая I с подсудимым военного трибунала — все это уточняет и восполняет новыми штрихами известную нам историю дуэли.

В книге Аммосова приведен рассказ о смерти Пушкина со слов его секунданта Данзаса. Он остается до сих пор одним из важнейших источников по изучению эпилога пушкинской биографии. Значение приведенных французских записей во многом аналогично. Свидетельства Сен-Жюльена и Фаллу доносят до нас показания о поединке 1837 г. двух других его участников.



Н. В. ИЗМАЙЛОВ

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКАХ „ПОЛТАВЫ“

I

Строгое соблюдение исторической истины, точное следование документальным источникам — таково основное требование поэтики Пушкина для исторической поэмы. На полной историчности „Полтавы“ автор особенно настаивал — и в предисловии к поэме и в ответе на замечания критики, писанном осенью 1830 г. Сами критики, которым он возражал, разбирали поэму прежде всего с точки зрения ее соответствия исторической правде. Этому же вопросу посвящена статья М. А. Максимовича¹ — едва ли не самая серьезная из всех современных Пушкину критических статей о „Полтаве“.

Основные источники, служившие Пушкину при писании „Полтавы“, известны давно, в значительной части указаны в примечаниях самим Пушкиным и не возбуждают сомнений. Но степень и характер их использования не во всем ясны. Систематического и полного сличения их с поэмой, в сущности, мы не имеем. Произведенное в свое время Л. Поливановым² сопоставление и не полно и страдает существенными недостатками: так, правильно указав в начале своего комментария на первое издание „Истории Малой России“ Д. Н. Бантыша-Каменского (М., 1822, части III и IV) как на источник Пушкина, сам он в дальнейшем приводит все ссылки по второму изданию (М. 1830, ч. III), коренным образом переработанному и существенно отличающемуся от первого, и которым Пушкин, во всяком случае, пользоваться не мог.³ То же относится и к „Деяниям Петра Великого“ Голикова, ссылки на которые делаются Поливановым по второму изданию (М., 1838), также переработанному. Кроме того, и источники, использованные Пушкиным, обработаны комментатором очень неполно: так, описание полтавского боя сопоставлено лишь с „Дея-

¹ „О поэме «Полтава» Пушкина в историческом отношении“. „Атеней“, 1829, часть 2-я, № 6, июнь.

² „Сочинения Пушкина, с объяснениями их и сводом отзывов критики“, изд. Льва Поливанова для семьи и школы, т. II, М., 1887, стр. 151—204.

³ Впоследствии он с ним ознакомился, что видно по сохранившемуся в его библиотеке экземпляру III тома („Пушкин и его современники“, вып. IX—X, 1910, стр. 5, № 15).

ниями“ Голикова и оставлен без внимания другой, гораздо более важный первоисточник — „Журнал, или подневная записка Петра Великого“, указанный притом самим Пушкиным. Примечания Поливанова составлены 50 лет тому назад. Но с тех пор его наблюдения никем не были ни пересмотрены, ни продолжены. Между тем, такой пересмотр существенно необходим, тем более, что каждый стих, каждый образ, каждое выражение в исторической (а отчасти даже и в романической) части поэмы Пушкина опирается на тот или иной документальный или исследовательский источник.¹ Число самых источников и размеры их использования должны быть значительно увеличены. Указать некоторые новые, до сих пор не привлеченные источники и некоторые новые и более детальные сопоставления поэмы с давно известным материалом — такова задача предлагаемых заметок.

„История Малой России“² Д. Н. Бантыша-Каменского³ и „Деяния Петра Великого“ И. И. Голикова⁴ представляют собой основные источники Пушкина. Сами они, в свою очередь, опираются на обширный архивно-документальный материал (документы, напечатанные в приложениях к „Истории“ Бантыша-Каменского, дали Пушкину чрезвычайно много черт для построения исторической части „Полтавы“) и на предшествующие исторические труды, русские и иностранные, большей частью известные Пушкину. Первое место среди них занимает „Журнал Петра Великого“,⁵ об использовании которого Пушкиным будет сказано ниже; затем „История Петра“ Феофана Прокоповича,⁶ пересказываемая и Голиковым и Д. Н. Бантыш-Каменским, о непосредственном знакомстве с которой Пушкина у нас нет положительных данных, хотя оно более чем вероятно; далее исторические труды Вольтера;⁷ наконец „История Карла XII“ Адлер-

¹ Ср. замечания Д. П. Якубовича в „Литературной Учете“, 1930, № 4, стр. 53, и в „Литературном Наследстве“, № 16—18, 1934, стр. 905 и 921.

² В дальнейшем „И. М. Р.“

³ М., 1822, части III и IV.

⁴ М., 1788—1795, томы II, III и IV, и „Дополнения“ к ним, томы VIII, XV и XVI, в библиотеке Пушкина сохранились томы II—X основной серии, без дополнений. См. „Пушкин и его современники“, вып. IX—X, 1910, стр. 29, № 98.

⁵ „Журнал или подневная записка... императора Петра Великого с 1698 года даже до заключения Нейштатского мира“. Часть первая. СПб. 1770 года (изд. кн. М. М. Щербатова; книга сохранилась в библиотеке Пушкина в двух экземплярах, представляющих два одновременных и одинаковых по содержанию, но разных в типографском отношении издания; см. „Пушкин и его современники“, вып. IX—X, стр. 117, № 433).

⁶ „История имп. Петра Великого, от рождения его до Полтавской баталии и взятия в плен остальных Шведских войск при Переволочне, включительно; сочиненная Феофаном Прокоповичем...“ В С. Петербурге, 1773 года, кн. IV.

⁷ „Histoire de Charles XII“ и „Histoire de l'empire de Russie sous Pierre le Grand“; в библиотеке Пушкина сохранилось издание сочинений Вольтера 1817—1820 гг., где оба эти труда занимают том XV (Paris 1817); книга разрезана лишь местами (см. „Пушкин и его современники“, вып. IX—X, стр. 361, № 1491).

фельда, которая могла быть во французском переводе¹ знакома и Пушкину, так как на нее ссылаются все историки, писавшие о Северной войне, в том числе и Бантыш-Каменский, но которую он мог знать и по выдержкам, приводимым последним. Бантыш-Каменский ссылается и на Нордберга,² известного Пушкину, по свидетельству Липранди, еще с 1824 г.,³ так же как и де-ла-Мотрэ.⁴ Тот и другой дали ряд отдельных штрихов для характеристики Карла и Мазепы. Отметим одно замечание о Карле в книге де-ла-Мотрэ: „Ce prince était un amant si fidèle de la gloire, depuis le commencement de la guerre, qu'il lui avait sacrifié toutes les autres inclinations“⁵ — оно, быть может, подсказало Пушкину его формулу:

И ты, любовник бранной славы,
Для шлема кинувший венец...
(„Полтава“, III, 65—66).

вызвавшую насмешку Надеждина, которому показалась слишком изысканной.⁶

Нет надобности включать в перечень источников „Полтавы“ многочисленные жизнеописания (точнее, панегирические жития) Петра I и его сподвижников, а также общие труды по русской и украинской истории, принадлежащие русским и иностранным авторам XVIII и начала XIX вв. и в значительном числе сохранившиеся и в библиотеке Пушкина: восходя к одним и тем же источникам — „Журналу“ Петра, Феофану Прокоповичу и Вольтеру, — они не дают ничего нового; притом, нет никаких доказательств тому, чтобы Пушкин их знал в период создания „Полтавы“, а не ознакомился с ними лишь позднее, работая над историей Петра.

¹ Gustave Adlerfeld. „Histoire militaire de Charles XII, roi de Suède, depuis l'an 1700 jusqu'à la bataille de Pultowa en 1709...“ A Amsterdam, 1740 (три тома; дополнительный, IV том, изданный сыном автора, убитого под Полтавой, содержит шведскую реляцию о полтавском бое и другие военные и дипломатические документы).

² „Histoire de Charles XII, roi de Suède, traduit du Suédois, de monsieur J. A. Nordberg“. A la Haye, 1748, 2 vol. Нордберг был капелланом при Карле и сопровождал его до полтавского боя, где был взят в плен; Бантыш-Каменский знал его книгу в выдержках на немецком языке, приводимых Энгелем (I. C. Engel. „Geschichte der Ukraine und der Ukrainischen Kosaken“. Halle, 1796).

³ Из дневника и воспоминаний И. П. Липранди, „Русский Архив“, 1866, стлб. 1459—1465; то же: „Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников“, ред. С. Я. Гессена, Л., 1936, стр. 257.

⁴ „Voyages du sr de la Motraye en Europe, Asie et Afrique, où l'on trouve... des relations fidèles des événements considérables... comme... des affaires et de la conduite du feu roi de Suède à Bender, et pendant les quatre années qu'il a été en Turquie“... A la Haye, 1727, 2 vol.

⁵ „Этот государь был таким верным любовником славы, с тех пор, как началась война, что пожертвовал ей всеми своими другими привязанностями“ („Voyages du sr de la Motraye“, t. II, p. 4).

⁶ „Иной проказник, для продолжения аллегории, пожалуй скажет, что наш Петр присадил рога этому волоките“ — „Вестник Европы“, 1829, № 9.

Не имеют значения для истории создания „Полтавы“ и приложенные к изданию „Войнаровского“ Рылеева (1825) жизнеописания Мазепы (составленное А. О. Корниловичем) и Войнаровского (составленное А. А. Бестужевым). Важность, придававшаяся им, например, В. В. Сиповским, является плодом недоразумения: обе статьи основаны всецело на тех же источниках, что и „Полтава“, а более всего — на книге Бантыша-Каменского, и не представляют ничего самостоятельного, в особенности биография Мазепы.

II

Но один из иностранных источников необходимо должен быть указан. Это — книга Лезюра по истории казачества (Charles-Louis Lesur, „Histoire des Cosaques, précédée d'une introduction...“, Paris, 1814, 2 vol.). Не говоря уже о том, что вторая часть ее (именно нас интересующая) сохранилась в библиотеке Пушкина (№ 1095 по описанию Б. Л. Модзалевского), некоторые детали ее показывают, что она несомненно была известна Пушкину и использована им при создании „Полтавы“. Так, в примечании 12 к поэме (к стиху 191 песни I) Пушкин указывает, как на одну из причин недовольства Украины, на то, что „20,000 казаков было послано в Лифляндию“. О посылке украинских войск на балтийский театр войны говорят многие историки Украины, между прочим и Бантыш-Каменский; но по их данным нет возможности определить общее число казаков, посылавшихся в разное время и мелкими отрядами; общую цифру дает лишь Лезюр, говоря: „Vingt mille Cosaques furent appelés à l'armée russe, dès la première campagne“.¹ Характеристика Мазепы и его тайной изменнической деятельности основана у Лезюра, главным образом, на словах Феофана Прокоповича в его „Истории Петра“ и на материалах Голикова; но она изложена так ярко и выпукло, ее выражения так близко подходят к ряду мест „Полтавы“, что именно здесь, у Лезюра, нужно видеть ближайший источник Пушкина — а не в Феофане или в пересказывающих его Голикове и Бантыше-Каменском „*Sous un extérieur simple et négligé, — говорит Лезюр, — Mazeppa cachait la dissimulation la plus profonde, et l'art d'arracher les secrets d'autrui par un mot, un geste, un regard; d'autant plus habile à les surprendre, qu'il ne paraissait pas garder les siens. Sobre par tempérament chez une nation où l'ivrognerie était une vertu, il savait exciter la passion favorite de ses convives; plus ivre en apparence qu'eux-mêmes, il s'emparait aisément de leur confiance et surprenait leurs plus secrètes pensées. Affable et généreux, il ne leur épargnait ni son argent, ni ses conseils; et les qualités simulées de son cœur lui avaient indissolublement attaché des gens grossiers, déjà*

¹ „Двадцать тысяч казаков были призваны в русскую армию с первой же кампании“ („Histoire des Cosaques“, t. II, p. 83). От Лезюра мог также Пушкин иметь сведения о том, что Орлик в конце жизни находился в Бендерах (примечание 17 к „Полтаве“; у Лезюра — т. II, стр. 125).

dominés par l'ascendant de son esprit“.¹ И далее: „Quoique la vieillesse et les infirmités apparentes de Mazeppa semblassent alors faire excuser son inertie, il ne se lassait pas d'aigrir les esprits en faisant répandre, par des affidés, dans l'Ukraine, qu'on allait y envoyer des voïevodes pour y remplacer les anciens et les starschines.... En même temps, il insinuait aux chefs des Zaporogues que Pierre avait conçu le projet de détruire la setche, et il jetait ainsi dans toute la nation les semences de la rébellion“.² На этом материале строил Пушкин стихи своей поэмы:

Повсюду тайно сеют яд
Его подосланные слуги
и т. д. („Полтава“, I, 385—386 и далее).

Наиболее интересно следующее место у Лезюра, характеризующее поведение Мазепы в последние месяцы перед его выступлением: „Quant à lui même, bien décidé d'abord à ne point prendre personnellement de parti, mais à suivre les événements et à en profiter, il usa, pour échapper aux soupçons de Pierre-le-Grand, du moyen qu'avait employé le pâtre de Montalto pour arriver à la chaire pontificale. (On sait les artifices qu'employa Sixte V, pour déterminer les cardinaux à lui donner leurs voix. Voyez sa Vie, par Grégoire Leti.)“³ Quoique, malgré son âge de soixante-dix ans, il fut encore d'une santé vigoureuse, il parut subitement attaqué de toutes les infirmités d'une vieillesse caduque. Il gardait presque toujours le lit, marchait à pas chancelants, se soutenait à peine sur un siège; il ne parlait que d'une voix éteinte, interrompue par des gémissements arrachés à la douleur et l'on entendait sortir de sa bouche que des paroles édifiantes. Dans cet état pénible, dans ces sentiments religieux, il semblait mettre sa consolation à bâtir des églises à grands frais.... et tout occupé de projets ambitieux, il ne paraissait plus songer qu'à son salut“.⁴

¹ „Под простой и небрежной внешностью он таил глубочайшую скрытность и умение вырывать одним словом, одним движением, одним взглядом чужие тайны; он тем искуснее их улавливал, что сам, казалось, не хранил своих. Трезвый от природы среди народа, где пьянство считалось доблестью, он умел возбуждать любимую страсть своих застольников; представляясь более пьяным, чем они сами, он легко овладевал их доверием и узнавал их самые потаенные мысли. Обходительный и щедрый, он не отказывал им ни в деньгах, ни в советах; и мнимые качества его сердца неразрывно привязали к нему грубых людей, уже покоренных превосходством его ума“. („Histoire des Kosaques“, II, p. 81—82; ср. „Полтаву“, песнь I, стихи 212 и сл.)

² „Хотя старость и видимые немощи Мазепы, казалось, оправдывали его тогдашнее бездействие, он не переставал озлоблять умы, распространяя по Украине, через своих доверенных, что сюда собираются прислать воевод, чтобы заменить старшин.... В то же время, он намекал начальникам запорожцев, что Петр имеет намерение разрушить Сечь, и, таким образом, рассеивал по всему народу семена возмущения“ („Histoire des Kosaques“, t. II, p. 85). Ср. то же у Голикова („Дополнения к Деяниям...“, т. XV, 157, 158, 160, 163—164) и у Бантыша-Каменского („И. М. Р.“, ч. III, стр. 105, 123—124); все они восходят к Феофану Прокоповичу, но Лезюр наиболее сжат и выразителен.

³ Примечание Лезюра.

⁴ „Что касается его самого, то, твердо намереваясь вначале не примыкать самолично к той или другой стороне, но следовать за событиями и пользоваться ими, он использовал,

Некоторые стихи о Мазепе в начале III песни „Полтавы“ близко напоминают, не только по существу, но и по форме, слова французского историка:

Меж тем, чтоб обмануть верней
Глаза враждебного сомненья,
Он, окружась толпой врачей,
На ложе мнимого мученья,
Стоная, молит исцеленья.
Плоды страстей, войны, трудов,
Болезни, дряхлость и печали,
Предтечи смерти, приковали
Его к одру. Уже готов
Он скоро бранный мир оставить....

И день настал. Встает с одра
Мазепа, сей страдалец хилый,
Сей труп живой, еще вчера
Стонавший слабо над могилой.....

Согбенный тяжко жизнью старой,
Так оный хитрый кардинал,
Венчавшись римскою тиарой,
И прям, и здрав, и молод стал.

Сравнение Мазепы с Сикстом V несомненно восходит к цитированному отрывку Лезюра и им прямо подсказано.¹

Особый вопрос составляет знакомство Пушкина с „Историей Русов или Малой России“, украинской летописью, приписывавшейся архиепископу Георгию Конискому и в то время еще неизданной. Мнения комментаторов об этом различны: В. Я. Стоюнин, Н. Ф. Сумцов, и др. утверждали, что Пушкин уже был с нею знаком, когда писал

чтобы избежать подозрений Петра Великого, тот способ, который применил монтальтский папуж для достяжения первосвященнической кафедры. (Известно, к каким хитростям прибегнул Сикст V, чтобы убедить кардиналов отдать ему свой голоса. См. его Жизнь, написанную Григорием Лети. *Примечание Лезюра.*) Хотя он, несмотря на свой семидесятилетний возраст, обладал еще крепким здоровьем, он представился внезапно отягченным всеми немощами дряхлой старости. Он почти постоянно лежал в постели, ходил колеблющимися шагами, едва мог держаться сидя; говорил лишь потухшим голосом, прерываемым стонами, исторгнутыми страданиями, и из его уст исходили только поучительные речи. В этом тяжелом состоянии, в этих благочестивых настроениях, он, казалось, находил утешение в строительстве церквей, на которые тратил большие средства... и, занятый всецело честолюбивыми замыслами, казалось, думал только о спасении души“ („Histoire des Cosaques“, II, p. 83—84).

¹ Нет надобности поэтому прибегать к гораздо более далекому сопоставлениям, черес „Конрада Валленрода“ Мицкевича, с настроениями московских любомудров, после разгрома 14 декабря мечтавших о новой тактике — в духе Сикста V (см. статью М. Аронсона — „Конрад Валленрод“ и „Полтава“ во „Временнике Пушкинской комиссии“, том 2, 1936, стр. 51 и сл.). Но вопрос об отражении „Конрада Валленрода“ в „Полтаве“ этим, конечно, не снимается.

„Полтаву“; Л. И. Поливанов и И. С. Житецкий отвергали возможность знакомства, относя его лишь к 1829 г. Позднейшие исследователи обходили этот вопрос. Необходимо согласиться со вторым, отрицательным мнением, и вот почему „История Русов“, возникшая в среде украинского среднего дворянства, — как полагают, написанная отцом и сыном Г. А. и В. Г. Полетика — сложилась окончательно к концу первой четверти XIX в. Самая ранняя известная ее рукопись относится к 1818 г.¹ В 1825 г. Черниговский помещик и член Северного тайного общества А. Ф. фон-дер-Бригген переслал выписки из „Истории Русов“ К. Ф. Рылееву, работавшему в то время над поэмой „Наливайко“.² С 1829 г. „История Русов“ уже стала широко известна в рукописи: Д. Н. Бантыш-Каменский пользовался ею при подготовке второго издания „Истории Малой России“ (1830), где он неоднократно на нее ссылается и приводит выдержки. М. А. Максимович использовал некоторые данные „Истории Русов“ в статье о „Полтаве“, не называя своего источника.³ Пушкин, отвечая критикам своей поэмы в статье, написанной осенью 1830 г., а напечатанной в 1831 г. в „Деннице“, привел в защиту исторической правдивости рассказа Мазепы об обиде, нанесенной ему Петром („Полтава“, III, 123—150), эпизод из „Истории Русов“, прямо сославшись на Кониского.⁴ Несомненно однако, что познакомился он с „Историей Русов“ лишь незадолго до написания этой статьи и, во всяком случае, после издания „Полтавы“. Поэма Пушкина не носит никаких прямых следов знакомства его с псевдо-Кониским ни в тексте, ни в примечаниях. Националистические тенденции автора „Истории“ были в корне противоположны взглядам Пушкина, а что касается характеристики Мазепы и его личной роли, то здесь псевдо-Кониский с ним вполне совпадал, да кроме того, не мог сообщить ему ничего нового, так как сам не был самостоятелен и опирался в значительной мере на труды Вольтера, которого неоднократно цитирует. Нельзя указать в „Полтаве“ ни одной детали, восходящей к „Истории Русов“ и не имеющей себе соответствия в других материалах. Наконец, мы имеем и свидетельство Максимовича, не оставляющее сомнений: „Приятно мне вспомнить, — говорит он, — что о «Полтаве» Пушкина я первый (1829) в Атенее писал, как о поэме народной и исторической. Незабвенно мне, как Мерзляков журил меня за мою статью

¹ В. С. Иконников. „Опыт русской историографии“, II, кн. 2-я, Киев, 1908, стр. 1632.

² В. И. Маслов. „Литературная деятельность К. Ф. Рылеева“, Киев, 1912, стр. 306—307 и Приложения, стр. 97—98.

³ „Атеней“, 1829, ч. 2-я, № 6, июнь, стр. 507, 508, 514, 515; ср. „Историю Русов. Сочинение преосвященного Георгия Кониского“ в „Чтениях в Обществе истории и древностей российских при Московском университете“, М., 1846, № 4, стр. 201, 199, 215, 217. См. Л. Н. Майков, „Историко-литературные очерки“, СПб., 1895, стр. 283—287; В. С. Иконников, назв. соч., стр. 1630—1631.

⁴ „Хмельницкий за все обиды, претерпенные им, помнится, от Чаплицкого, получил в возмездие, по приговору Речи посполитой, остриженный ус своего недруга“. В печатном тексте „История Русов“ (М., 1846) соответствующее место на стр. 199.

и как благодарил потом Пушкин, возвратясь из своего закавказского странствия. . . . Тогда же,¹ узнав от Пушкина, что он написал «Полтаву», не читавши еще Кониского, я познакомил его с нашим малороссийским историком и подарил ему случившийся у меня список Истории Русов, о которой он написал потом прекрасные страницы“.² Точность свидетельства Максимовича не вызывает сомнений, и, сопоставленное с другими данными, оно решает вопрос об участии „Истории Русов“ в создании „Полтавы“ в отрицательном смысле.

III

Кульминационный эпизод поэмы — полтавский бой — должен был быть особенно тщательно разработан Пушкиным в согласии с историческими источниками. Действительно, вся III песнь „Полтавы“, вплоть до бегства Мазепы с Карлом, основана на известных автору описаниях — у Вольтера, у Голикова, в „Журнале Петра Великого“ и др. Некоторые отрывки этих источников указаны Пушкиным в примечаниях к поэме. Общее сличение было однажды произведено Поливановым. Но указания самого Пушкина — довольно случайны, а сопоставления Поливанова — неполны и недостаточно конкретны. Ряд моментов должен быть отмечен: на них можно видеть, насколько точно следовал Пушкин своим материалам.

Изменение в состоянии русских войск от Нарвы до Полтавы, которое „злобясь видит Карл могучий“, чем открывается описание боя (III, 77—82), было сравнительною формулою, очень распространенною в литературе о Северной войне, так же как и другая формула: Карл — „учитель“ русских в „науке славы“, — высказанная и в начале поэмы (I, 142 и сл., — стихи, бывшие по первоначальному плану самыми первыми, вступительными стихами) и в ее заключении (III, 308—309). Голиков замечает о сражениях, предшествовавших Полтаве в 1708—1709 гг., что они „доказали Карлу, что россияне уже не те, кои были под Нарвою“.³ По словам Вольтера, „le roi s'aperçut, dès le commencement du siège, qu'il avait enseigné l'art de la guerre à ses ennemis“.⁴

Формула Вольтера приобрела необыкновенную устойчивость во всей последующей литературе, повторяясь и в венецианском „Житии“ Петра, и у Levesque, и у Lesur, и у других. Автор „Польского летописца“ (в переводе Ив. Одиңцоца, СПб., 1782) заметил о Нарвской битве, что „сия победа никакого несчастья не принесла россиянам, которые сим выучились вскоре учителей своих побеждать и сами“ (стр. 320). Пушкину

¹ То есть не ранее конца сентября 1829 г.

² Собрание сочинений М. А. Максимовича, т. III, Киев, 1880, стр. 491.

³ „Дополнения к Деяниям Петра Великого“, т. XV, стр. 176.

⁴ „Король заметил, с самого начала осады (Полтавы), что он обучил военному искусству своих врагов“ („Histoire de Charles XII“, Р., 1817. Œuvres, t. XV, p. 147).

не пришлось выдумывать этих сопоставлений: он нашел их в столетней традиции, но облек в новую, ему принадлежащую форму.

Столь же исторически обоснована и та характеристика Карла XII, которую дает Мазепа накануне боя и которая возбудила такое недоумение у некоторых критиков.¹ Сам поэт, в примечаниях к „Полтаве“ (29-м и 30-м), указывает на Вольтера как на свой источник и цитирует несколько анекдотов из его „Истории Карла XII“.

Гораздо интереснее, однако, общие черты характеристики Карла, столь иронически отмечаемые Мазепою („Полтава“, III, 87—117): его упрямство, нетерпеливость, вера в судьбу, в свое счастье, оценка врага по своим прошлым успехам— всё это Пушкин нашел в источниках. Вольтер, давая посмертную характеристику Карла, говорит: „Sa fermeté devenue opiniâtreté fit ses malheurs dans l'Ukraine et le retint cinq ans en Turquie; sa libéralité dégénérant en profusion a ruiné la Suède; son courage poussé jusqu'à la témérité a causé sa mort...“² Из религиозных убеждений сохранил он только „celui d'une prédestination absolue, dogme qui favorisait son courage et qui justifiait ses témérités“.³ Несколько примеров такой веры Шведского короля в свое счастье приведены Вольтером⁴ и повторены Голиковым. Последний, объясняя настойчивое желание Карла взять Полтаву, несмотря на потери, говорит, ссылаясь на венецианское издание истории Петра, что Карл „верил, что фортуна, которая против королей датского, польского и против русских войск у Нарвы ему предшествовала, никогда его совсем не оставит“. „Карл XII верил также, прибавляет он, что все дела в свете происходят от счастья, и мнениям таковым научен он был из детства...“ И в другом месте: „Карл верил року, или судьбе, управляющей действиями нашими и определяющей жизнь и смерть человеку...“⁵ Таких черт рассеяно немало в биографиях Шведского короля, даже настроенных к нему сочувственно, как книга Вольтера. Пушкин только следовал им, когда вкладывал в уста Мазепы слова о Карле:

Он слеп, упрям, нетерпелив,
И легкомыслен, и кичлив,

¹ „Сын Отечества“, 1829, ч. 125, № 15 (статья Ф. В. Булгарина); „Вестник Европы“, 1829, № 9 (статья Н. И. Надеждина). Им возражали И. В. Киреевский („Галатея“, 1829, ч. IV, № 17), М. А. Максимович („Атеней“, 1829, № 6) и сам Пушкин („Денница“ на 1831 г.).

² „Его твердость, обратившаяся в упрямство, была причиной его бедствий в Украине и задержала его на пять лет в Турции; его щедрость, выродившись в расточительность, разорила Швецию; его храбрость, доведенная до дерзости, стала причиной его смерти...“ („Histoire de Charles XII“, Р., 1817, р. 243).

³ „убеждение в безусловном предопределении, догмат, способствовавший его храбрости и оправдывавший его безрассудства“ (там же).

⁴ „Histoire de Charles XII“, Р., 1817, pp. 130, 137 и др.

⁵ „Деяния“, т. III, стр. 91; „Дополнения к Деяниям...“, т. XV, стр. 316.

Бог весть какому счастью верит;
Он силы новые врага
Успехом прошлым только мерит и т. д.

(„Полтава“, III, 107—111)

Не противоречит его исторической характеристике и то, что:

Как полк, вертеться он судьбу
Принудить хочет барабаном

(105—106)

Карл весь подвластен своей личной судьбе, напрасно пытаюсь казаться самостоятельным деятелем; Петр же — по позднему определению Пушкина — „мощный властелин судьбы“, идущий к великой цели. И Пушкину, защищаясь от обвинений критики в неверном и тенденциозно приращенном изображении Карла, не было, в сущности, даже надобности ссылаться на субъективное мнение разочаровавшегося в нем Мазепы: биографы Карла вполне подтверждали историческую объективность его характеристики.

IV

Перейдем к описанию полтавского боя. Если стилистически оно следует (конечно, сознательно) традициям одической поэзии XVIII в., то в планировке и ходе рассказа, в описании боя с чисто военной стороны Пушкин был необычайно точен, стараясь здесь, в этом важнейшем эпизоде поэмы, следовать во всем указаниям своих исторических материалов, даже до мелочей. Основную схему боя дал ему хорошо им изученный „Журнал Петра Великого“; некоторые детали нашел он у Голикова; для картины заключительного триумфа использовал Вольтера.¹

Все описание боя, занимающее в поэме 157 стихов (песнь III, 153—309), распадается на четыре части: 1) вступительный утренний бой — атака шведов и борьба за редуты (ст. 153—179); 2) перерыв в сражении, появление Петра и Карла перед войсками (ст. 180—228); 3) общее сражение — собственно „Полтавский бой“ (ст. 229—252 и 293—300) с двумя вставными эпизодами — Палей и Мазепа на Полтавском поле (ст. 253—292); 4) заключение — торжество Петра (ст. 301—309). Описание бегства Мазепы и Карла после боя, тесно сплетенное с романтической фабулой

¹ „Журнал...“ Часть первая, СПб., 1770, стр. 195—223 по одному изданию и 212—240 по другому; „Дополнения к Деяниям Петра Великого“, т. XV, стр. 326—393; XVI, стр. 1—62 и др.; Voltaire. „Histoire de Charles XII et de l'Empire de Russie sous Pierre le Grand“ (Œuvres, t. XV). P., 1817, pp. 149—159, 463—469. Все авторы, не исключая Вольтера в „Histoire de Russie sous Pierre le Grand“, основываются, преимущественно, на „Журнале Петра Великого“. Подробная официальная шведская реляция о бое, включенная в IV (дополнительный) том „Истории“ Адлерфельда (стр. 66—98 франц. изд.), ничем не отразилась в „Полтаве“ и может быть оставлена без внимания. Бантыш-Каменский дает лишь очень краткие сведения о бое, опираясь на те же источники („И.М.Р.“, IV, 20—24).

поэмы, не представляет такого строгого следования источникам, хотя и опирается на них в своих исторических моментах.

„Журнал Петра Великого“ так начинает описание боя: „В 27 день <июня 1709 г.> по утру весьма рано почитай при бывшей еще темноте противник на нашу кавалерию как конницею, так и пехотою своею с такою фуриею напал, чтоб не токмо конницу нашу разорить, но и редутами овладеть...“ (ср. здесь и далее всё начало боя у Пушкина — ст. 153—169 и сл.) „Главное неприятельское войско с немалою тратою пробилось сквозь оные редуты“ (ср. ст. 162—163), „где... наша кавалерия... многократно конницу неприятельскую сбивала, но всегда от пехоты неприятельская конница сикурс получала...“ (ср. ст. 164—167.) „Тогда неприятель получил наш ретраншемент во фланг себе, к которому на левый угол генерал Левенгаупт с пехотою гораздо приблизился; а имянно, саженьях в тридцати; оттуда из пушек отбит“ (ср. ст. 172—173). „И так неприятель увидел, что его гоньба за конницею не весьма ему прибыльна, от оной престал, и в некотором логу (далее пушечной стрельбы) в парат стал к лесу: между тем же послан ген.-от-кав. князь Меншиков и ген.-лейт. Ренцель... на оную вышепомянутую оторванную пехоту и конницу в лес, которые пришед оных атаквали, и вскоре с помощью божиею на голову побии, и ген.-майора Шлиппенбаха взяли; а ген.-майор Розен¹ ретировался к своим апрошам под гору и засел в редуты²...“ (ср. ст. 174—179). Этот сжатый и энергичский, но неумелый и тяжело изложенный рассказ дал Пушкину материал для 27 стихов (153—179), сочетающих фактическую точность и конкретность с поэтической выразительностью и пластичностью, так недостающими его источнику.

Сцена появления Петра и Карла перед войсками (III, 180—228) скомпанована Пушкиным из многих отрывочных упоминаний. „Журнал Петра Великого“ ничего не говорит об этом. Голиков относит речи царя к войскам к двум разным моментам: накануне сражения, 26 июня, Петр, объезжая войска, трижды говорил речи перед разными корпусами своей армии. „Когда сии государевы речи разнеслися по всей армии, то оглушающий крик солдат: да погибнет неприятель! удостоверил монарха о ревности всего войска“ („Дополнения к деяниям...“, т. XV, стр. 333—337). Перед началом первого боя Петр „в два часа пополуночи повелев в ретраншементе своем стать армии своей в боевой порядок, в начале 3 часу показался перед оною на турецком коне своем, Лизетом именуемом, имея на себе мундир полковничий“. Далее Голиков передает речь

¹ В иностранных источниках (и правильно) — Роос; у Пушкина — Розен, как в „Журнале Петра Великого“, которым он непосредственно пользовался.

² По поводу этого эпизода боя Вольтер замечает: „Si Menzikoff fit cette manoeuvre de lui-même, la Russie lui dut son salut; si le czar l'ordonna, il était un digne adversaire de Charles XII“ („Если Меншиков самостоятельно произвел этот маневр, Россия обязана ему своим спасением; если царь им распорядился, он был достойным противником Карла XII“ — „Histoire de Charles XII“, P., 1817, p. 151; ср. прим. 32 к „Полтаве“).

царя к войскам, заимствованную у Ф. Прокоповича, который, в свою очередь, пересказывает письменный приказ Петра в день полтавского боя (там же, стр. 345 и сл.; Ф. Прокопович, стр. 212—213).¹ На этом скудном материале создан Пушкиным образ Петра — героя-победителя. Этот центральный, возникающий на мгновение, но господствующий в поэме образ явился поэтическим выражением целой исторической концепции, воплощенной в поэме.

Перечисление лиц, сопровождающих Петра (ст. 207—215), является также композицией Пушкина, так как его источник (Голиков) несколько иначе говорит о свите царя.² Пушкин перечисляет главных военачальников, участвовавших в бою: фельдмаршал гр. Б. П. Шереметев и генерал кн. А. И. Репнин начальствовали центром, генерал-поручик Боур командовал конницей на правом крыле, генерал князь Меншиков — на левом, генерал-поручик Брюс был начальником всей артиллерии. Выбор этих имен определялся как их общим значением — и не только в полтавском бою, но и вообще в качестве помощников Петра, — так и характерным для петровской эпохи разнообразием их происхождения: Шереметев и Репнин — представители старой московской знати, сохранившие свое значение, став решительно на сторону реформ; Брюс и Боур — иностранные военные специалисты на русской службе; Меншиков — выходец из народных низов, самый характерный для петровского времени деятель, возбуждавший интерес Пушкина. В черновых набросках³ к этим лицам присоединяется еще одно — князь Волконский.

Первая редакция:

За ним скакали вслед толпой
Блистая шпагами, звездами,
[Его питомцы и сыны]
Счастливый Меншиков, [Волконский]
[И Шереметев и Репнин]

Вторая редакция:

И Шереметев благородный,
[И счастья балковень] безродный,
Полудержавный властелин,
Волконский, Боур, Брюс, Репнин —
Сии орлы гнезда Петрова —

¹ По словам Вольтера, „l'empereur moscovite... allait... de rang en rang, monté sur un cheval Turc qui était un présent du grand-seigneur, exhortant les capitaines et les soldats et promettant à chacun des récompenses“ („московский император... проезжал... по рядам, верхом на турецком коне, подаренном ему султаном, призывая начальников и солдат и обещая каждому награды“ — „Histoire de Charles XII“, Р., 1817, р. 152).

² По его словам, „при его величестве находились тогда ген.-фельдмаршал Шереметев, генералы кн. Репнин, Илларт или правильнее Аларт, г.-пор. Беллиг и проч“.

³ Рукопись Библиотеки СССР имени В. И. Ленина № 2371, л. 62₁.

Намереваясь ввести имя Волконского, Пушкин руководствовался не столько историческими основаниями, сколько другими соображениями: князь Волконский,¹ правда, играл довольно значительную роль в Северной войне, и неоднократно упоминается всеми историками ее, не только русскими, но и иностранными. Но именно в полтавском бою он почти не участвовал. Лишь после боя он был послан в погоню за Карлом, которого и преследовал — безуспешно — до берегов Прута. Равнять его значение с пятью другими, перечисленными Пушкиным, именами, было бы исторически неоправдано. Можно предположить, что, желая ввести это имя, Пушкин думал о декабристе С. Г. Волконском и напоминанием о славном предке хотел призвать „милость к падшим“. Быть может также, он хотел через него связать свою поэму с именем той, кому она посвящалась, — если справедлива гипотеза П. Е. Щеголева, которая в таком случае получила бы лишнее, хотя и очень предположительное подтверждение.² Как бы то ни было, Пушкин от своего намерения отказался, и имя Волконского было исключено из числа „птенцов гнезда Петрова“.

В картине „главной баталии“ Пушкин руководствовался преимущественно „Журналом Петра Великого“, дополняя его Голиковым. „И тако наша армия стала в ордер баталии, — говорит «Журнал», — и положено атаковать неприятеля; потом во имя господне неприятельский главный корпус атаквала, который не дожидаясь на месте, такожде на нас пошел; и тако о 9 часу перед полуднем генеральная баталия началась прежде между нашего левого, а неприятельского правого крыл; а потом и во весь фронт обеих войск, в которой хотя и зело жестоко в огне оба войска бились; однакож то всё далее двух часов не продолжалось: ибо непобедимые господа шведы скоро хребет показали, и от наших войск с такой храбростию вся неприятельская армия (с малым уроном наших войск, еже навящше удивительно есть), кавалерия и инфантерия весьма опровергнута, так что шведское войско ни единожды потом не остановилось, но без остановки от наших шпагами и баионетами колоты, и даже до обретающегося леса, где оные перед баталией строились, гнали... Неприятельских трупов мертвых перечтено на боевом месте и у редут 9234, кроме тех, которые в розни по лесам и по полям побиты, и от ран померли, которых счесть было невозможно...“

Некоторые детали описания боя еще ближе восходят к Голикову; „Шведы, говорится у последнего,³ первые приблизились к фронту россий-

¹ Князь Григорий Семенович (род. около 1664—1665 г., ум. в 1721), стольник и воевода, потом — генерал-майор, предок декабриста кн. С. Г. Волконского („Род князей Волконских“, сост. кн. Е. Г. Волконская, СПб., 1900, № 138, стр. 330 и 735).

² Имя Волконского в сочетании с именами сподвижников Петра встречается в эпической традиции. Так, в поэме Р. Сладковского „Петр Великий“ (СПб., 1803, стр. 139) перечислены: „Репнин второй, сей вождь, метавший тучи стрел, Волконский дивных свойств и Боур знамениты, Рен громкий...“ (Указано Д. П. Якубовичем.)

³ „Дополнения к Деяниям...“, т. XV, стр. 359—365.

ской армии, и мушкетный огонь разлился по обоим, как огненная река. Но страшные и непрерывные молнии, сквозь тучи пыли и дыма сверкающие, и оглушающий гром и треск, не приводил в расстройку обеих линий, и воины, заступая место убиваемых, стояли, как крепкие стены“. И далее: „Штыки разъяренных солдат довершили победу... В исходе 9-го часа по полуночи видно было одно только страшное убийство бегущих шведов; кавалерия российская регулярная и нерегулярная продолжала преследовать их дотоле, доколе силы оставались у лошадей их... Все поля и леса вокруг Полтавы, более, нежели на три мили покрыты были трупами шведскими и изменническими“. Пушкин не только использовал „Журнал Петра Великого“ в примечании к поэме (32), где дал краткую выдержку из него, но и в описании боя (стихи 229—246, 293—300) очень сжато, но точно следовал обоим своим источникам.

Важнейшей проблемой, лежащей в основе „Полтавы“, является проблема исторического значения борьбы России во главе с Петром I со Швецией Карла XII. Отсюда — проходящее через всю историческую часть поэмы и особенно ярко выраженное в ее послесловии сопоставление этих двух исторических деятелей, отсюда же и необходимость не только политической, но и военно-стратегической оценки полтавского боя, выраженной в предисловии и в примечаниях к поэме.

Истолкование Северной войны путем сопоставления двух ее главных деятелей — Петра и Карла — характерно для всей литературы о ней, начиная с вольтеровой „Истории Карла XII“. Вольтер, известный Пушкину с детства, несомненно оказал существенное влияние на формирование его исторического мировоззрения, в частности — его взглядов на Петра, на его личность и его значение. Конечно, мнения Вольтера были только одним из слагаемых в сложной системе исторических воззрений поэта. Но даваемая им характеристика Петра, с одной стороны, находила себе соответствие в личных взглядах на него Пушкина, с другой же — была настолько выразительна, что не могла не оказать на них определяющего влияния, тем более, что говорившие о том же позднейшие историки — иностранные в особенности, а отчасти и русские, как Голиков, и повторяли и пересказывали отзывы французского писателя.

Уже в раннем своем труде — в „Истории Карла XII“ (1728) — несмотря на явные симпатии к Карлу, как к представителю европейской культуры, и на скептическое отношение к варварской, деспотически управляемой России, Вольтер, во введении к описанию полтавского боя, дает такую сравнительную характеристику Карла и Петра: „Два самых необыкновенных государя, какие тогда существовали на свете: Карл XII, известный девятью годами побед, Петр Алексеевич — девятью годами трудов, совершенных для образования войск, равных шведским войскам; один, славный тем, что раздавал владения, другой — тем, что дал просвещение своим; Карл любил опасности и сражался только ради славы — <Петр> Алексеевич, не избегая опасности, вел войну лишь ради своих выгод; шведский

монарх был щедр по великодушию, московский — давал только с какими-либо целями; один был беспримерной трезвости и умеренности, великодушен по природе, и поступил жестоко лишь однажды; другой, еще не освободившись от грубости своего воспитания и своей страны, был столь же страшен своим подданным, как прекрасен для иностранцев, и чересчур предан излишества, сократившим даже его дни. Карл имел прозвание Непобедимого, которое могло у него отнять одно мгновение; Петру Алексеевичу народы уже дали имя Великого, которое он не мог потерять вследствие поражения, потому что не был обязан им победам“ („Histoire de Charles XII“, P., 1817, p. 149). И далее, резюмируя успехи Петра в годы, следующие за Полтавой, падение славы Карла и положение обеих борющихся сторон, он замечает: „Cet éclat et toute la fortune de Charles avaient passé au czar: ¹ il en jouissait même plus utilement que n'avait fait son rival, car il faisait servir tous ses succès à l'avantage de son pays... ses États s'enrichissaient par ses victoires; ce qui de tous les conquérants le rendait le plus excusable“.²

В позднейшем своем труде — „Histoire de l'empire de Russie sous Pierre le Grand“, напечатанном через 30 лет после первого (1759), когда точка зрения его на Россию и на деятельность Петра существенно изменилась, а прежний взгляд на Карла XII, как на героя, сменился большим скептицизмом, — Вольтер не раз, и гораздо резче и решительнее, противопоставлял Карла Петру: „Один оставил по себе лишь развалины, — писал он в предисловии к своему труду,³ — другой же был создателем во всех родах“, — и ставил себе в заслугу то, что впервые высказал почти такое мнение уже в „Истории Карла XII“, тогда, когда Европа увлекалась героической судьбою Карла XII и не верила ни величию Петра, ни прочности его дела.

„Эта битва, — говорил он далее о Полтаве, — должна была решить судьбу России, Польши, Швеции и двух государей, привлекавших взоры Европы... Оба соперника рисковали далеко не в одинаковой степени. Если бы Карл лишился жизни, которую столько раз расточал напрасно —

¹ Ср. в начале поэмы Байрона „Мазеппа“ строки, навеянные этими словами Вольтера и послужившие эпиграфом к 1-му изданию „Полтавы“:

The power and glory of the war,
Faithless as their vain votaries, men,
Had pass'd to the triumphant Czar

(Могущество и воинная слава, непостоянные, как их тщеславные поклонники — люди, перешли к торжествующему царю).

² Этот блеск и всё счастье Карла перешли к царю: он владел ими даже с большей пользою, чем его соперник, потому что все свои успехи обращал на пользу своей страны... его владения обогащались, благодаря его победам; что и делало его самым достойным оправдания из всех завоевателей“. („Histoire de Charles XII“ .. P., 1817, p. 255—256).

³ „Histoire de l'empire de Russie sous Pierre le Grand“, Avant-propos, Oeuvres, t. XV, P., 1817.

в конце концов, было бы только одним героем меньше... Швеция..., истощенная в отношении и людей и денег, могла найти основание, чтобы утешиться: но если бы погиб царь, вместе с ним оказались бы погребенными огромные труды, полезные всему человечеству, и обширнейшая на земле империя снова впадала бы в хаос, из которого она едва была извлечена“.¹

Описание боя кончается таким общим заключением: „Что всего важнее в этой битве, это то, что из всех битв, когда либо обогривших землю кровью, она была единственной, которая, вместо того, чтобы произвести только разрушения, послужила к счастью человечества, так как она дала царю возможность свободно просвещать столь большую часть света... Наши современные народы не знают примера другой войны, которая возместила бы хоть малым добром причиненное ею зло; но следствием полтавского сражения явилось благоденствие обширнейшей на земле империи“.²

Эти мысли Вольтера отразились в известной мере в предисловии к „Полтаве“; но то, что здесь выражалось понятиями и формулами исторической прозы, было выражено иным, художественным языком всею поэмою, в особенности — ее III песнею с образами Петра и Карла, так ярко противопоставленными на полтавском поле, и послесловием, сконцентрировавшим в себе основную историко-философскую мысль поэмы. Более того, эти мысли повторялись Пушкиным и позднее — уже в период исследовательских работ над Петром; в наброске статьи „О ничтожестве литературы русской“ (1834)³ он выразил то же положение в образной форме: „Россия вошла в Европу, как спущенный корабль, — при стуке топора и при громе пушек. Но войны, предпринятые Петром Великим, были благодетельны и плодотворны. Успех народного преобразования был следствием Полтавской битвы, и европейское просвещение причалило к берегам завоеванной Невы“.

V

Что касается вопроса о военно-стратегическом значении полтавской битвы, освещенного Пушкиным в предисловии к „Полтаве“, а в построении самой поэмы играющего важную, хотя и скрытую, организующую роль, — материал для его решения мог быть им найден, помимо общеисторических трудов, рассмотренных и перечисленных выше, в специальной работе о Северной войне Д. П. Бутурлина⁴ Книгу эту Пушкин должен

¹ „Histoire de l'empire de Russie sous Pierre le Grand“. P., 1817, p. 464.

² Там же, стр. 468—469.

³ См. работу С. М. Бонди в „Литературном Наследстве“, № 16—18, М., 1934, стр. 432 и сл.

⁴ Д. П. Бутурлин. „Военная история походов россиян в XVIII столетии“, с французского перевод. А. Хатовым, часть I, Походы Петра Великого, т. II, СПб., 1820 (Библиотека Пушкина, описание Б. Л. Модзалевского, № 55—57),

был знать, и не только потому, что она находилась в его библиотеке, но и потому, что автор ее и сотрудничавший с ним по части архивных изысканий будущий декабрист А. О. Корнилович, были ему известны лично еще до его ссылки 1820 г., а труды Д. П. Бутурлина пользовались в 20-х годах большою известностью и были последним словом в разработке темы петровских войн.¹ В предисловии к „Полтаве“ Пушкин учитывает рассуждения Бутурлина, частью разделяя их, частью с ними полемизируя.²

§

Оценивая украинский поход Карла XII, окончившийся для него полтавским поражением, Бутурлин говорит: „Вообще все согласно приписывают дурной успех предприятия Карла XII намерению его обратиться в Украину и утверждают, что если бы после дела под Головчиным продолжал он идти прямо через Смоленск к Москве, то дела приняли бы совсем иной оборот в его пользу. Мнение сие, хотя и принято многими военными, однакож всё остается совершенно неосновательным“.³ Бутурлин разбирает все возможные пути для занятия Москвы, необходимого Карлу XII как способ принудить Петра к миру, и приходит к выводу, что единственно возможным был южный путь через Украину, так как он обещал шведам новые, свежие силы в лице Мазепы с украинским казачеством, обильную продовольственную базу и безлесные равнины, свободные для передвижения войск и трудные для обороны.⁴ Избрав украинское направление и отказавшись от смоленского, Карл, по мнению Бутурлина, поступил совершенно правильно. „Повторим еще, — пишет он, — вторжение даже и с превосходными силами есть предприятие безрассудное, когда производится в государство столь обширное, какова Россия. Достопамятный пример, недавно совершившийся в глазах наших, делает правило сие неоспоримым. В 1812 году Наполеон, вторгнувшись в Россию через

¹ „Дневник Пушкина“, Л., 1923, ред. Б. Л. Модзалевского, стр. 58—59; М., 1923, ред. В. Ф. Саводника, стр. 160—161.

² В наброске повести („Гости съезжались на дачу...“), начатой как раз в период работы над „Полтавою“ (в августе—сентябре 1828 г.), Пушкин говорит о своей героине Зинаиде Вольской: „Б** несколько времени занимал ее воображение. «Он слишком для вас ничтожен, — сказала ей Минский. — Весь ум его почерпнут из Liaisons dangereuses, так же как весь его гений выкраден из Жомини. Узнав его покорооче, вы будете презирать его тяжелую безнравственность, как военные люди презирают его пошлые рассуждения“ (варианты чернового автографа: а. его безграмотные рассуждения б. его стратегические рассуждения — ЛБ 2371, л. 351). Нужно думать, что этот резкий отзыв имеет в виду именно Бутурлина, носившего в обществе прозвище „Жомини“, как последователя знаменитого военного теоретика и историка (ср. „Дневник Пушкина“ от 30 ноября 1833 г.). Однако Пушкин не мог оставить без внимания исследования Бутурлина о походе Карла XII, как единственный серьезный труд на эту тему.

³ „Военная история походов россиян...“, ч. I, т. II, стр. 263; ср. „Полтаву“, предисловие: „Ошибка шведского короля вошла в пословицу. Его упрекают в неосторожности, находят его поход в Украину безрассудным. На критиков не угодишь, особенно после неудачи...“

⁴ Бутурлин, ч. I, т. II, стр. 164—167 и 263—266.

Смоленск, с армиею, более нежели из 200,000 человек, не успел в намерении своем, и вся армия его погибла. Тем менее еще мог ожидать лучшей участи Карл XII, с малой армиею своею... По всей справедливости, Карл XII избрал единственный способ с некоторою вероятностию успеха выполнить предприятия свои против России, напав на нее со стороны Украины, откуда только и находятся границы ее в опасности...¹

До сих пор мысли Пушкина согласны с рассуждениями Бутурлина. Далее они расходятся. Бутурлин указывает на ряд промахов, совершенных Карлом, и замечает: „Итак, кажется, не неприлично будет здесь показать ложность мнения, вообще всеми принятого, будто истребление шведской армии произошло от битвы полтавской, между тем как в самом деле это было неминуемым следствием мудрых поступков Петра I, в продолжение предыдущего похода 1708 года. Карл XII был уже побежден и приведен в крайность прежде сражения; но блеск знаменитой победы сей был столь велик, что естественно приписали оной успех, который Петр, в течение более 12 месяцев, приготовляя с удивительным постоянством“.² Далее он замечает, несколько противореча самому себе, что поражение Карла есть „неминуемое следствие неосторожных поступков сего государя. Забравшись вглубь страны неприятельской... он добровольно подвергался всем несчастиям, которые испытал впоследствии“.³

Но Пушкин, соглашаясь с Бутурлиным в том, что счастье Карла „уступило гению Петра“, разбившего его расчеты, никак не мог бы признать Карла опрометчивым, а его расчеты — на восстание Мазепы, на помощь Левенгаупта, на победу в генеральном сражении — ошибочными, это умаляло бы значение полтавского боя и снижало личную роль Петра. „В сем походе, — писал Пушкин (предисловие к «Полтаве»), — Карл XII менее, нежели когда-нибудь, вверялся своему счастью: оно уступило гению Петра“. В доказательство он ссылался на то, что „сам Петр долго колебался, избегая главного сражения, *яко зело опасного дела*“.⁴ Отсюда и общее значение полтавского боя расценивается им по иному; это — не только тактический успех, повлекший снятие осады с Полтавы и окончание украинской кампании, как думает Бутурлин; но это — поворотный пункт всей новой истории России, определивший ее путь на столетие вперед. Мнение Пушкина неизмеримо шире и глубже, чем мнение узкого военного историка. Тем не менее, книга Бутурлина должна быть учтена при анализе исторического фона „Полтавы“.

¹ Бутурлин, ч. I, т. II, стр. 265—266; ср. „Полтава“, предисловие: „Карл однако ж сим походом избегнул славной ошибки Наполеона: он не пошел на Москву“, и песнь I, ст 150—159.

² Там же, стр. 351—352.

³ Там же, стр. 375.

⁴ Пушкин цитирует „Журнал Петра Великого“, ч. I, стр. 194 (или 210 по другому изданию).



В. В. ВИНОГРАДОВ

НЕИЗВЕСТНЫЕ ЗАМЕТКИ ПУШКИНА В „ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЕ“ 1830 г.

Вопрос об участии Пушкина в „Литературной Газете“, привлекая внимание многих ученых, все же еще далек от окончательного решения.¹ Многие статьи „Литературной Газеты“, приписанные Пушкину, начиная с П. В. Анненкова и кончая Б. В. Томашевским, еще не прикреплены к их подлинным авторам. Между тем, для пушкиноведения имеет большое значение работа по установлению авторства тех статей, в писании которых „заподозрена рука Пушкина“ (как выразился Б. В. Томашевский). Только в самое последнее время окончательно выяснился вопрос о принадлежности Дельвигу таких статей в „Лит. Газете“, как „В третьем номере Московского Вестника на нынешний год“ (о гекзаметрах Мерзлякова) из № 6 „Лит. Газеты“ за 1830 г.² или „В 39 № Северной Пчелы“ (о VII главе „Евгения Онегина“) из № 20.³

¹ Ср., напр., статью П. В. Анненкова „Общественные идеалы Пушкина“ („Вестник Европы“, 1880, № 6, стр. 601); его же, „Материалы для биографии Пушкина“, 1855, стр. 250—251; статьи Н. О. Лернера: „Новооткрытые страницы Пушкина“ („Северные Записки“, 1913, февраль; „Пушкин и его современники“, вып. XII); „Новые приобретения Пушкинского текста“ („Пушкин под редакцией С. А. Венгерова“, т. VI); книгу Н. Сияявского и М. Цявловского: „Пушкин в печати“, 1914; статьи В. Я. Брюсова: „Русский Архив“, 1916, 1—111; „Биржевые Ведомости“, 1916, 21 октября, № 15875; книжку Б. В. Томашевского: „Пушкин. Современные проблемы историко-литературного изучения“, Л., 1925; Дополнения: „К вопросу об участии Пушкина в «Литературной Газете»“; т. IX Сочинений А. С. Пушкина, изд. Акад. Наук СССР, 1928; ср. также т. IX, вып. 2. Примечания; статьи Н. К. Замкова: „К истории «Литературной Газеты» барона А. А. Дельвига“ („Русская Старина“, 1916, май); „К цензурной истории произведений Пушкина“ („Пушкин и его современники“, вып. XXIX—XXX); ср. также издания сочинений Пушкина: Геннади, Ефремова, П. Морозова, С. А. Венгерова, „Красной Нивы“, Гослитиздата и „Academia“. Ср. также: А. Фомин, „К вопросу об авторах неподписанных статей в «Литературной газете» 1830 г.“, СПб., 1914; Л. А. Фин, „П. В. Анненков, первый издатель и биограф Пушкина“. Сборн. „А. С. Пушкин“, Сароблитиз, 1937.

² Эта статья Дельвига, приписанная Пушкину Анненковым, была включена в круг несомненно пушкинских произведений в т. IX Сочинений Пушкина, изд. Акад. Наук, 1928—1929. Находка автографа Дельвига не разубедила Н. К. Козмина (примеч., стр. 950—951).

³ Ср. список (далеко не полный) безусловно принадлежащих Дельвигу статей „Лит. Газеты“ в „Библиографии“, приложенной к „Полному собранию стихотворений“ А. А. Дельвига под редакцией Б. В. Томашевского (1934), стр. 505—506.

Еще до сих пор не прекратились попытки ввести в собрание сочинений Пушкина ту или иную из связывавшихся когда-нибудь с именем Пушкина статей. Так, рецензия на роман Альфреда де Виньи „Сен-Марс или заговор при Людовике XIII“ из № 7 „Лит. Газеты“ 1830 г. была приписана Пушкину Б. В. Томашевским.¹ Однако есть основания утверждать, что эта статья написана не Пушкиным, а вероятнее всего — О. М. Сомовым. Против принадлежности этой статьи Пушкину говорит явное несоответствие критической оценки в ней „Сен-Марса“ с неизменно отрицательными отзывами Пушкина об Альфреде де Виньи („чопорном, манерном“) и об его „облизанном романе“ (см. статью „Всемирно известно что французы народ самый антипоэтический“; письмо к М. П. Погодину в начале сентября 1832 г., „Письма“, III, 78; статью „О Мильтоне и Шатобриановом переводе «Потерянного рая»“). Пушкинские суждения об Альфреде де Виньи и „Сен-Марсе“ сохранились в черновых набросках статьи о романе Загоскина „Юрий Милославский“, напечатанной в № 5 „Лит. Газеты.“ за 1830 г. Они диаметрально противоположны рассуждениям критика „Лит. Газеты“ из № 7. Из черновой рукописи Пушкина (№ 2382 библиотеки имени В. И. Ленина) становится ясным, что именно Альфреда де Виньи Пушкин относил к числу тех неудачных подражателей Вальтер Скотта, которые перебираются в изображаемую эпоху „сами с тяжелым запасом домашних привычек, предрассудков и дневных впечатлений“: „Сколько несообразностей, ненужных мелочей, важных упущений, сколько изысканности и как мало жизни. (Одна умная дама сравнивала роман Альфреда де Виньи с бледной дурной литографией). Однако же сии бледные произведения читают в Европе“. От „сих бледных произведений“ Пушкин резко отделяет лишь сочинения Купера и Манцони. Таким образом, заметка о „Сен-Марсе“ Альфреда де Виньи в № 7 „Лит. Газеты“ — несомненно не пушкинская.²

Гораздо больше точек соприкосновения с нею имеют отзывы об „Обрученных“ Манцони и о „Сен-Марсе“ де-Виньи, принадлежащие П. А. Вяземскому и помещенные в „Старой записной книжке“. Однако в языке и стиле рецензии „Лит. Газеты“ есть такие особенности, которые делают наиболее вероятным предположение об авторстве О. М. Сомова. Достаточно указать такие шаблонные перифразы и описательные выражения, совершенно не свойственные Пушкинскому стилю:

а) „заключает в себе черты отличного достоинства“ (ср. у Пушкина: „сцена Заремы с Марией имеет драматическое досто-

¹ Б. В. Томашевский. „Пушкин“, 1925, стр. 122—123; ср. „Письма Пушкина к Елизавете Михайловне Хитрово“, Л., 1927, стр. 250—251.

² Акад. М. Н. Розанов, отказываясь признать эту заметку произведением Пушкина, писал: „Первая же фраза статьи опровергает эту гипотезу; выделить де-Виньи, как особенно талантливого из французских последователей В. Скотта, мог кто-нибудь другой, а отнюдь не Пушкин, который всегда ценил Виньи как романиста очень низко“. Статья „Пушкин и итальянские писатели XVIII и начала XIX века“, „Известия Академии Наук СССР“, Отделение Обществ. наук, 1937, № 2—3, стр. 363, примечание.

инство“); „Владимиреско не имеет другого достоинства, кроме храбрости необыкновенной“ (из кишиневского дневника); „Политические речи его имеют большое достоинство“ („Собр. соч. Георгия Кониского“); „первая песнь Бовы имеет также достоинство“ („Александр Радищев“);

б) „Сочинитель с большим искусством привязывал внимание и участие читателей к судьбе обрученных“. Ср. у О. М. Сомова в „Обзрении российской словесности за 1830 г.“:¹ „жертвою (интриги) становится лицо, не привязавшее к себе соучастия зрителей“;

в) „воображение не иначе любит видеть историю как сквозь радужную призму вымысла“. Ср. у О. М. Сомова в „Обзоре российской словесности за 1827 г.“:² „Дамский журнал, сквозь призму желтой своей обертки и пестренских картинок, пропускал в благоприятных цветах свою прозу“;

г) „покрыв совершенно неизвестностью“, и др. под.

Таким образом язык и стиль заметки находят себе больше всего параллелей и соответствий в сочинениях Сомова.³

Внимательное изучение содержания, языка и стиля анонимных статей „Лит. Газеты“ позволяет найти имена авторов для большей части этих статей.⁴ В связи с этой работой выясняется, что неизменно печатаемая в собрании сочинений Пушкина заметка „Требуется ли публика известия“... (о личностях в критике) из № 20 „Лит. Газеты“ за 1830 г. принадлежит не Пушкину, а Дельвифу. Она была связана с именем Пушкина П. В. Анненковым⁵ и введена в собрание сочинений Пушкина П. Ефремовым (в изд. 1882 г.). Лишь Б. В. Томашевский выразил сомнение в принадлежности этой заметки Пушкину. Он ссылаясь на то, что за время отсутствия в Петербурге Пушкин не принимал участия в „Лит. Газете“ (а в момент печатания № 20 „Лит. Газеты“ — в апреле 1830 г. — Пушкин находился в Москве) и что из этого правила есть лишь одно исключение — статья о Видоке, сначала предложенная в „Московский Вестник“, но испугавшая Погодина, и за невозможностью напечатать в другом месте пересланная Пушкиным в „Лит. Газету“.⁶ Но аргументация Б. В. Томашевского не убедила редакторов последующих изданий сочинений Пушкина — вплоть до самых последних изданий Гослитиздата, „Academia“ и Академии Наук. Между тем, можно привести и другие не менее веские доводы против принадлежности этой заметки Пушкину. Прежде всего, есть свидетельство Вяземского, что для № 20 „Лит.

¹ „Северные Цветы на 1831 г.“, стр. 7.

² „Северные Цветы на 1828 г.“, стр. 19.

³ Включение рецензии на „Сен-Марс“ из № 7 „Лит. Газеты“ 1830 г. в собрание сочинений А. А. Дельвига (СПб., 1893, Изд. Евгения Евдокимова, стр. 123—124) ошибочно.

⁴ Соответствующая работа мною проделана и подготовлена к печати.

⁵ „Вестник Европы“, 1880, кн. VI, стр. 601.

⁶ Б. В. Томашевский. „Пушкин“, стр. 120—121.

Газеты“ Пушкин прислал только одну статью. А так как в этом номере газеты напечатана статья Пушкина „О сочинениях Видока“, то все другие статьи № 20 приходится считать не-пушкинскими (в том числе и статью о личностях в критике).

27 марта 1830 г. Вяземский писал своей жене: „Скажи Пушкину, что Дельвиг читал мне статью его, которая мне очень понравилась“.¹ 27 же марта вышел № 19 „Лит. Газеты“. Следовательно, Вяземский мог говорить лишь про статью о Видоке, появившуюся в № 20. В этой связи умолчание о заметке „Требуется ли публика извещения“ равносильно свидетельству о непричастности Пушкина к ней. В самом деле, в языке и стиле этой заметки есть особенности, которые решительно говорят против авторства Пушкина. Являясь полемическим откликом на критическую статью Н. Полевого о „Невском Альманахе“ на 1830 г.² и содержа резкие выпады против Полевого, статья „Лит. Газеты“ наполовину состоит из простого, сжатого, но не препарированного острыми приемами пушкинской пародии, пересказа критических замечаний Полевого. Напр.: „Наконец всего смешнее, что и сам критик, сначала обещавший не жалеть об этом, признается после, что в этой книге, *которой ему не хотелось было осуждать*, нет ни одной статьи путной: в 1-й статье нет общности; во 2-й автор не умеет рассказывать; 3-ю читать скучно; 4-я — старая песня; в 5-й надоедают офицеры с своим питьем, едою, чаем и трубками; 6-я перепечатана; 7-я тоже, и так далее. Вот до какого противоречия доводят личности“. Ср. в „Московском Телеграфе“: „вся повесть страдает обыкновенным недугом повестей г-на Байского: нет общности. — *Страдалец*, повесть г-на М. Ал-ва, доказывает, что не всё, что встречается в свете, может быть переложено в повесть, и что по крайней мере надобно для этого уметь рассказывать... — В *Орангутанге* (были г-на -ина) старая песня... — Повесть г-на Карлгофа: *Поездка к озеру Розельми*... надоедают только в ней офицеры с своим питьем, едою, чаем и трубками... Не понимаем с чего вздумалось издателю Невского Альманаха перепечатать из *Почты духов*...“

В таком безобидном стиле Пушкин никогда не пересказывал статей своих противников (Ср. „Торжество дружбы, или оправданный Александр Анфимович Орлов“ или „Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем“; ср.: „Письмо к издателю“).

Кроме того, в языке разбираемой заметки встречается ряд таких конструкций и выражений которые трудно приписать Пушкину. Например: „его *товарищ, получающий* по приязни даром *листки его* (к которому бы не мешало ему лучше зайти мимоходом да *словесно объявить* о том)“; „но доверчивому, скромному и благомыслящему чита-

¹ „Звенья“, т. 6, 1936. „Письма Вяземского к жене за 1830 г.“, стр. 220.

² „Московский Телеграф“, 1830, № 3, т. 8, ч. 31, стр. 355—362.

телю понять здесь нечего“; „ужели названия порядочного и здравомыслящего человека лишились в наше время цены своей?“, „эти господа мы друг друга, верно, понимают“ и т. п. Уже одни эпитеты, окружающие читателя, говорят против принадлежности заметки Пушкину.¹ Да ведь Пушкин не был лично задет статьей Полевого, которая была направлена против *знаменитых друзей*, т. е. прежде всего против Вяземского и Дельвига. Пушкин почтительно выделяется Полевым „из знаменитого созвездия русских поэтов и прозаиков“: „А. С. Пушкин шагнул выше и далее и товарищей и старого триумvirата...“² „Пусть призванный Фебом Пушкин пишет стихи“.³ Наконец, заметка из № 20 „Лит. Газеты“ находится в тесной связи с заметкой в № 29: „В одном из Московских журналов“ (236). Обе эти статьи однородны по теме. В них есть общие образы (например из круга дипломатических отношений). Повидимому, заметка „Требуется ли публика извещения“ написана Дельвигом, заметка же в № 29 „Лит. Газеты“ принадлежит О. М. Сомову, который испытывал сильное влияние Дельвига.

При всестороннем изучении „Лит. Газеты“ можно установить степень участия в ней каждого из основных сотрудников и определить роль Пушкина в редакции этого органа. Не подлежит сомнению, что в первые два месяца существования „Лит. Газеты“ (до 4 марта 1830 г.), когда с отъездом Дельвига⁴ и до появления в Петербурге Вяземского⁵ Пушкин исполнял обязанности главного редактора (совместно с О. М. Сомовым), Пушкин не только больше всех поместил своих критических статей в газете, но и подверг многое правке,⁶ состоящей нередко из нескольких строк, в отдельных случаях резко выделяющихся по стилистическим признакам. Вот — один пример. В № 6 „Лит. Газеты“ к „Письму русского путешественника из Варны“ В. Г. Теплякова сделано редакционное примечание. Вероятнее всего, сначала оно было написано Сомовым, который был знаком с жившим в Петербурге братом Теплякова и вел в 1830 г. литературную переписку с самим поэтом В. Г. Тепляковым.⁷

¹ Ср. у О. М. Сомова в „Обзоре рос. словесности за 1827 г.“: „*благомыслящий писатель*“ („Северные Цветы на 1828 г.“, стр. 57). Ср. у Дельвига в рецензии на „Нищего“ А. Подолдинского („Лит. Газета“, 1830, № 19): „Удовольствие судей *благомыслящих*“; в рецензии на „Классика и Романтика“ К. Масальского („Лит. Газета“, 1830, № 43): „На зло *благомыслящим* читателям“ и др. под.

² „Московский Телеграф“, 1830, № 3, стр. 356.

³ „Московский Телеграф“, 1830, № 3, стр. 362.

⁴ Дельвиг отсутствовал в Петербурге с первых чисел января по вторую половину февраля 1830 г. Ср. „Московские Ведомости“, 1830, № 4 и № 14. Ср. „Письма Пушкина“ под редакцией Б. А. Модзалевского, т. II, стр. 368.

⁵ Вяземский приехал в Петербург 28 февраля 1830 г. См. „Звенья“, т. 6, 1936, „Письма Вяземского к жене“, стр. 202.

⁶ Ср. пушкинские исправления в рецензии Дельвига на альманах „Радуга“ в № 2 „Лит. Газеты“, 1830, стр. 15. См. „Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском доме“, 1937, стр. 289.

⁷ См. „Русская Старина“, 1896, № 3. Из бумаг Виктора Григорьевича Теплякова.

„Вы удивили и порадовали меня и стихами и прозой, еще более последнею, — писал Сомов Теплякову от 3 февраля 1830 г. про «Письмо русского путешественника из Варны», — ибо у нас редко кто соединяет дар владеть языком рассудительной, холодной прозы. Первое письмо Ваше к Алексею Григорьевичу (брату) есть приступ богатый и полный жизни. Я любовался также вашим отчетом дельным и оживленным мыслью и слогом“.¹ Этот отчет В. Г. Теплякова об его археологических открытиях и находках в Болгарии и Румелии широко использован в редакционном примечании „Лит. Газеты“. Таким образом, как будто принадлежность этого примечания Сомову не вызывает никаких сомнений. Однако в этом примечании есть строки, которые, несомненно, вписаны в него Пушкиным. В них содержится яркая характеристика прозаического стиля Теплякова: „Откровенный рассказ, живой слог, поэтический взгляд на предметы и веселое равнодушие в тех случаях, где судьба была неприветлива к сочинителю — вот отличительный характер его писем, которые без сомнения понравятся читателям Л. Газеты“.² Неожиданное и острое перечисление разнообразных особенностей, характерное для пушкинского стиля, необычно для языка Сомова. Достаточно сопоставить с этим отрывком стиль принадлежащего Сомову³ извещения о „Фракийских элегиях“ В. Г. Теплякова в № 30 „Лит. Газеты“ 1830 г. (I, 244): „Мы имели случай читать некоторые из них отрывки, отличающиеся верностью описаний, живостью воображения, богатые чувством и прекрасными стихами“. Язык Сомова относительно прост, но бледен и стандартен. Противоречивое и семантически острое сочетание слов вроде: *веселое равнодушие* — не может принадлежать Сомову. Напротив: этот тип смысловых связей типичен для пушкинского стиля с половины 20-х годов, напр.: „недобросовестное равнодушие или даже неприязненное расположение“ („Пора Баратынскому...“); „благодарное бешенство“ („Путешествие из Москвы в Петербург“); „от упоительных и вредных мечтаний“ (там же); „с такою ярою точностью“ („О ничтожестве литературы русской“); „ирония холодная и осторожная и насмешка бешеная и площадная“ (там же); „политический писатель, уже славный в Европе своим

¹ „Отчет В. Г. Теплякова об открытиях, сделанных им в Болгарии и Румелии“ („Mémoire sur divers monuments d'antiquité découverts sur différents points de la Bulgarie et de la Roumélie, présenté à S. E. Mr. le gouverneur-général de la Nouvelle Russie et de Bessarabie par Mr V. Tépliakow“) был напечатан в „Journal d'Odessa“ („Одесский Вестник“, 1829, № 102 и 1830, № 19). Этот отчет был переведен многими европейскими журналами и обратил на себя особенное внимание известного ориенталиста Клапрота. См. „Воспоминания о Теплякове“, — „Отечественные Записки“, 1843, т. 28, отд. VIII.

² Впрочем, последние фразы тут могли сохраниться и от текста Сомова. Ср. у Сомова в „Обзрении росс. слов. за 1830 г.“: „отличительный характер стихов М и ц к е в и ч а“ („Северные Цветы на 1831 г.“, стр. 5).

³ См. указание самого Сомова в письме к В. Г. Теплякову от 31 мая 1830 г. „Русская Страница“, 1896, № 3, стр. 662.

горьким и заносчивым красноречием“ („О Мильтоне и Шатобриановом переводе «Потерянного рая»“) и мн. др.

Таких поправок и редакторских дополнений Пушкина в чужих статьях — достаточное количество на протяжении № № 1—13 „Лит. Газеты“ за 1830 г.¹ Но кроме этих редакторских исправлений, перу Пушкина, по моему мнению, принадлежат еще шесть следующих отдельных заметок и статей в „Лит. Газете“ за 1830 г., не включаемых в современные полные собрания сочинений Пушкина.

*

„Замечание“ в „Смеси“ № 10 „Лит. Газеты“ за 1830 г. (от 15 февраля, т. I, стр. 82):

„Острая шутка не есть окончательный приговор.***) сказал, что у нас есть три Истории России: одна для *гостиной*, другая для *гостилицы*, третья для *гостиного двора*“.

П. В. Анненков заявил, что № 10 „Лит. Газеты“ „исполнен“ критическими заметками Пушкина.² Основываясь на этом, С. А. Венгеров поместил заметку „Острая шутка не есть окончательный приговор“ в собрании сочинений Пушкина.³ Но Н. О. Лернер, проверяя показания Анненкова и В. П. Гаевского относительно участия Пушкина в „Лит. Газете“ 1830 г., напал на этот афоризм и решительно отверг принадлежность его Пушкину: „Пушкин был очень дурного мнения об «Истории русского народа» Н. А. Полевого, но слишком высокого об «Истории государства российского», чтобы воспроизводить, да еще с таким слабым возражением, чью-то плоскую, а вовсе не острую шутку, где труд Карамзина назван книгой «для гостиной»“⁴ — писал Лернер.

Вкус Н. О. Лернера показался последующим редакторам сочинений Пушкина достаточным критерием для отрицания принадлежности заметки Пушкину, и с тех пор она не вводилась ни в одно собрание сочинений Пушкина. Между тем, всё в этой заметке говорит за авторство Пушкина. Отсутствовавший во время издания № 10 „Лит. Газеты“ Дельвиг не присылал статей в „Лит. Газету“. Сомову, как свидетельствует вся его литературная деятельность, был чужд стиль афоризмов, и он с этой стороны ничем не обнаружил себя во все время существования „Лит. Газеты“. Вяземский, еще не приехавший в Петербург из Москвы, сначала не давал мелких заметок для „Смеси“, которою был недоволен. Кроме того, он, как показывает дальнейшая история „Лит. Газеты“, не печатал в ней афоризмов и анекдотов из своей „Записной книжки“. Да и афоризм из № 10 „Лит. Газеты“ Вяземскому показался бы кощунством по

¹ Этой теме посвящена одна из глав моей работы о „Литературной Газете“, 1830 г.

² „Сочинения А. С. Пушкина“, изд. Анненкова, т. V, 1855, стр. 633.

³ „Пушкин“, изд. Брокгауз-Ефрона, т. IV, 1910, стр. 548, № 897; ср. Н. Синявский и М. Цявловский, „Пушкин в печати“, М., 1914, стр. 86.

⁴ „Пушкин и его современники“, вып. XII, 1909, стр. 19, статья „Новооткрытые страницы Пушкина“, стр. 4—5.

отношению к „Истории государства российского“ Карамзина, которая навсегда осталась катехизисом русской истории для Вяземского. Таким образом уже по методу исключения приходится признать автором заметки Пушкина, исполнявшего в то время обязанности главного редактора газеты. Кроме того, и содержание, и стиль заметки, и ее образы вполне гармонируют с сочинениями Пушкина. „Три истории России“ — это 1) „История государства российского“ Карамзина, 2) „История российская“ С. Н. Глинки и 3) „История русского народа“ Н. Полевого. „Историю“ Полевого сопоставлял с „Историей российской“ Глинки даже Н. Надеждин и отдавал без колебаний безусловное преимущество Глинке:¹ „ему (Полевому) захотелось перетянуть Карамзина; а дотянулся ли и до Глинки?... Дело еще сомнительное... *История российская* Глинки подогрета по крайней мере горячею любовью к отечеству, которую следовало бы конечно растворить несколько благоразумием“. Пушкин, ссылаясь на чужой каламбур об этих трех историях („*** сказал...“),² ограничивает его действие афоризмом: „Острая шутка не есть окончательный приговор“. Однако возможно, что и ссылка на постороннее лицо, как на виновника каламбура, была тактическим приемом. Во всяком случае, этот каламбур о трех историях естественно сопоставить с таким парадоксом самого Пушкина: „Некто у нас сказал, что французская словестность родилась в передней и далее гостиной не доходила... Буало, Расин и Вольтер (особенно Вольтер), конечно, дошли до гостиной: но все-таки через переднюю. Об новейших поэтах говорить нечего. Они, конечно, на площади“ („О ничтожестве литературы русской...“).

Квалификация „Истории государства российского“ как истории для *гостиной* не противоречит историческим воззрениям Пушкина. *Гостинная* — метонимия для обозначения светского общества. Это значение часто у Пушкина (напр., в „Евгении Онегине“). Ср. у Вяземского в предисловии „От переводчика“ к „Адольфу“ Бенжамена Констан: „...творение сие не только роман сегодняшний (*roman du jour*), подобно новейшим светским, или гостинным романам оно еще более роман века сего“.³

Сюда примыкает замечание Пушкина о первых восьми томах „Истории“ Карамзина: „Светские люди бросились читать историю своего отечества. Она была для них новым открытием“ („Отрывки из писем, мысли

¹ „Вестник Европы“, 1830, № 1, статья Н. Н. об „Истории русского народа“, сочинении Н. Полевого, стр. 71.

² Ср. у Сомова в „Обзрении Российской словестности за вторую половину 1829 и первую 1830 года“ намек на шутку Пушкина или (вернее) Вяземского: „Некто сделал следующее замечание на различие в воспитании вымышленных и полу-справедливых лиц в наших русских романах: «Монастырка», говорит он, «была воспитана в обществе благородных девиц, Феодора в кабаке, а Иван Выжигин в собачьей кануре»“ („Северные Цветы на 1831 г.“, стр. 75).

³ Бенжамен-Констан. „Адольф“, СПб., 1831, стр. V—VI.

и замечания“). Ср. также: „Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, дотоле им неизвестную“.

Слова — гостинная, гостинница, гостинный двор, — соединяясь в каламбурную цепь, в то же время выражают глубокую неудовлетворенность Пушкина современным ему состоянием истории. „История государства российского“ Карамзина, „История российская“ С. Н. Глинки, „История русского народа“ Н. А. Полевого — не отвечали потребностям народа.

„История российская“ С. Глинки, действительно, была больше рассчитана на возбуждение патриотизма и любви к России у путешественников и проезжих. Она могла удовлетворить лишь беглый взгляд человека, остановившегося на время в гостиннице. Приурочение „Истории русского народа“ Полевого к „гостиному двору“, намекая на социальную природу автора, в то же время заключало общую литературную оценку Н. Полевого как деятеля „толкучего рынка“ литературы. Это суждение о Н. Полевом и позднее повторялось в „Лит. Газете“, напр., в рецензии (Дельвига?) на „Гостинный двор российской словесности“ Ф. Улегова („Лит. Газета, 1830, т. II, № 65, стр. 236).

Таким образом нет никаких историко-литературных препятствий относить заметку № 10 „Лит. Газеты“ к сочинениям Пушкина. Авторство Пушкина доказывается также языком и стилем заметки.

Сближение слов — шутка и окончательный суд — у Пушкина встречается в „Отрывке из литературных летописей“ в применении к критикам Каченовского: „Молодые писатели не будут ими забавляться как пошлыми шуточками журнального гаера. Писатели известные не будут ими презирать, ибо услышат окончательный суд своим произведениям“.

Афоризмы, построенные по типу: „Острая шутка не есть окончательный приговор“, — типичны для пушкинского стиля (у Вяземского связка *есть* обыкновенно отсутствует). Например: „Скромность, украшение седин, не есть необходимость литературная“ („Отрывок из Литературных Летописей“). „Уважение к именам, освященным славою, не есть подлость (как осмелился кто-то напечатать), но первый признак ума просвещенного“ („Об истории Полевого“, ст. I). „Талант неволен и его подражание не есть постыдное похищение — признак умственной скудости“ („Фракийские элегии. Стихотворения Виктора Теплякова“, 1836). „Описывать слабости, заблуждения и страсти человеческие не есть безнравственность, так как анатомия не есть убийство“ („Vie, poésies et pensées de Joseph Delorme“). Ср. в заметке о холере: „... легкомысленное бесчувствие не есть еще истинное мужество“ и т. п.

Каламбурные сопоставления слов также не редкость в стиле Пушкина, особенно разговорно-эпистолярном. Например: „Один из самых оригинальных писателей нашего времени, не всегда правый, но всегда оправданный удовольствием очарованных читателей“ („Наброски предисловия к «Борису Годунову»“).

В письмах: „Покаместь мы не застрахованы и не застрашены“ („Письма“, III, 27). О Дельвиге: „шпионы-литераторы заедят его как Барана, а не как Барона“ („Письма“, II, 121). „Надеждин хоть изрядно нас тешит (тесать) или чешет и т. д., но лучше было бы, он теперь потешил“ (т. II, 94). „Как вы думаете, есть надежда на Надеждина или Надоумко недоумевают“ (II, 94), и мн. др. под.

*

Очень близка к афоризму из № 10 „Лит. газеты“ заметка в № 12 (от 25 февраля; т. I, стр. 98):

„В одной из Шекспировых комедий, крестьянка Одрей спрашивает: «Что такое поэзия? вещь ли это *настоящая*?» Не этот ли вопрос, предложенный в ином виде и гораздо велеречивее, находим мы в рассуждении о Поэзии романтической, помещенном в одном из Московских Журналов 1830 года?“

Эта заметка иронически метит в рассуждение о романтической поэзии Н. И. Надеждина, начавшее печататься в „Вестнике Европы“, 1830, № 1 и № 2 („О настоящем злоупотреблении и искажении романтической поэзии“). Надеждин, доказывая несоответствие „необузданного скакания поэзии романтической“ с духом времени, писал: „Сей поэтический цинизм тогда б только мог быть допущен, когда бы поэзия была не более, как рабелепная подражательница и слепщица природы. Но сия первородная дщерь бессмертного духа, по сознанию самих раскольников, есть священнослужительница вечного изящества. Все произведения ее должны быть ознаменованы таинственною печатью божества, пред алтарем коего она священнодействует. Что же есть изящество, как не всесовершеннейшая гармония?“¹ Восставая во имя этих принципов против мутных, „грязных и прогорклых затонов“ романтизма, Надеждин обличал романтиков сопоставлениями с Шекспиром: „Один поэтический взмах проливает ныне более крови, чем грозная муза Шекспира во всех своих мрачных произведениях... Да и притом — разве эта зловеждающая, мрачность, услаждающаяся одними кровавыми жертвами, составляет высочайшее достоинство котурна Шекспирова?“ (24). Обрушившись на Байрона и на байронистов, на „эти суетливые рои ничтожных пигмеев поэтического мира, толкующиеся в лучах славы байроновой подобно весенним мошкам“, Надеждин взывает к „величественным теням Дантов, Кальдеронов и Шекспиров“: „Сколько крутиться должны величественные тени Дантов, Кальдеронов и Шекспиров, при виде безумия, совершаемого, во имя их, со столь невежественною самоуверенностью, и собирающего еще похвалы и рукоплескания на зло им самим и их великим предшественникам!“²

Но, апеллируя к Шекспиру и провозглашая синтез, „средоточное единство“ классицизма и романтизма, Надеждин делает ряд беззастен-

¹ „Вестник Европы“, 1830, январь и февраль, № 1, ч. 170, стр. 21.

² Там же, стр. 36—37.

чивых и политически заостренных выпадов против русских „лжеромантических гаеров“ — и в первую голову — против Пушкина: „Струны лирные онемели для славного имени русского — между тем как ныне, более нежели когда-либо, мать святая Русь, лелеемая благодатным промыслом, под златым скипетром могущественнейшего монарха, исполински восходит от славы в славу...“ Напомнив о патриотическом энтузиазме автора „Слова о полку Игореве“ и упрекая современных поэтов за отсутствие патриотических стихотворений, воспевающих славу русского оружия, напр., в турецкой войне, Надеждин патетически восклицает: „Что это значит? Неужели в груди их не бьется сердце русское? Неужели в жилах их не струится кровь русская?.. Увы, они сделались — романтиками: и — ни чем не хотят быть более“.¹

Нетрудно понять, что все эти тирады направлены были, прежде всего, против Пушкина,² произведениям которого тут же произносился приговор: „Гораздо охотнее можно согласиться перелистать подчас *Хорева* или *Димитрия Самозванца* Сумарокова — даже *Росслава* Княжнина — чем губить время и труды на беспутное скитание по *цыганским* таборам или *разбойническим* вертепам“.³ Пушкин не мог оставить выпады Надеждина без ответа. В „Опыте отражения некоторых нелитературных обвинений“ Пушкин не только пародировал „ребяческие критики“ разбор „Федры“ в стиле Надеждина, но и дал убийственную оценку рассуждению Надеждина о романтической поэзии. В черновых вариантах он иронически воспроизводил надеждинские характеристики Байрона и Шекспира: „Недавно один из наших критиков, сравнивая Шекспира с Байроном, считал по пальцам где более мертвых? в трагедии одного или в повести другого. Вот в чем полагал он существенную разницу между ними“ (рукопись библиотеки им. В. И. Ленина, № 2387 А, л. 13 об.—14). Вместе с тем Пушкин язвительно спрашивал: „должно ли серьезно отвечать на таковые критики, хотя б они были писаны и по латыни, а приятели называли этот вздор глубокомыслием“.

Таким шутивным откликом на „рассуждение о романтической поэзии“ Надеждина и была заметка в № 12 „Лит. Газеты“. Таким образом уже весь историко-литературный фон ее возникновения наводит на мысль об авторстве Пушкина. В этой заметке-афоризме Пушкин поражал Надеждина его же оружием — ссылкой на Шекспира.

Крестьянка Одри — одно из второстепенных действующих лиц комедии Шекспира „Как вам это понравится“ (*As you like it*). Она отказывается понимать поэтический язык Оселка (Точстона). Тот говорит: „Я с тобою и с твоими козами в этих местах похож на самого прихотливого поэта, честного Овидия в то время, как он был у готфов“.

¹ „Вестник Европы“, 1830, № 2, стр. 146.

² Ср. статью Ю. Н. Тынянова: „О Путешествии в Арзрум“ — „Временник Пушкинской комиссии“, т. 2, 1936, стр. 68—69.

³ „Вестник Европы“, 1830, № 2, стр. 148.

Жак, второй сын Роланда-де-Буа, присутствующий при этой сцене, иронически замечает: „О ученость — она здесь более не на своем месте, чем если бы Юпитер очутился под соломенной крышей“.

Оселок удивляется непонятливости Одри и выражает пожелание, чтобы боги вложили в нее вкус к поэзии, сделали ее поэтичною.

Одри — в ответ на это — говорит: „Я не знаю, что значит поэзия, поэтичная? Значит ли это — честная на деле и на словах? Правдивая ли, настоящая ли это вещь? Оселок: „Нет, потому что самая правдивая поэзия — вымысел... Одри: „И после этого вы хотели бы, чтоб боги создали меня поэтичною? Оселок: „Конечно, хотел бы, потому что ты клялась мне, что ты честна — значит, если бы ты была поэтом, я бы имел некоторую надежду, что ты вымышляешь...“¹

Прием остроумного и иронически-контрастного сопоставления живых явлений современности с литературными образами и изречениями был характерной особенностью афористического стиля как Вяземского, так и Пушкина. Например у Пушкина в „Отрывках из писем, мыслях и замечаниях“ сказано: „Les sociétés secrètes sont diplomatie des peuples. Но какой же народ вверит права свои тайным обществам и какое правительство, узажающее себя, войдет с оным в переговоры?“

Ср. также стиль отрывка: „Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно...“

Или: „В миг, когда любовь исчезает, наше сердце еще лелеет ее воспоминание. Так гладиатор у Байрона соглашается умирать, но воображением носится по берегам родного Дуная“.

Вообще пушкинские мысли и изречения обычно начинаются ссылкой на литературный афоризм: „Стерн говорит...“ — „Один из наших поэтов говорил гордо...“ — „Все что превышает геометрию, превышает нас“, сказал Паскаль...“ — „Путешественник Ансело говорит“ и т. п.

Таким образом заметка в № 12 „Лит. Газеты“ органически входит в круг пушкинских „мыслей и замечаний“. Вяземский не участвовал в №№ 11—15 „Лит. Газеты“ 1830 г., он в это время готовился к переезду в Петербург, был в дороге и, наконец, устраивал свои служебные дела.² Дельвиг уже вернулся в Петербург к выходу № 12 „Лит. Газеты“, но следов его участия в этом номере нет. Кроме того, самый жанр мыслей, замечаний и афоризмов в „Лит. Газете“, повидимому, культивировался одним Пушкиным. По крайней мере, этот жанр исчезает после № 16 Лит. Газеты (от 17 марта). Язык заметки не дает никаких новых данных ни в пользу пушкинского авторства, ни против него.

*

В тесной стилистической связи с афоризмом из № 12 „Лит. Газеты“ находится также едкое изречение в № 16 (в отделе „Смеси“, т. I, стр. 130): „Мильтон говаривал: «С меня довольно и малого числа читателей, лишь бы

¹ Ср. в оригинале — „As you like it“, Act III, scene III.

² См. „Письма Вяземского к жене за 1830 г.“

они достойны были понимать меня». — Это гордое желание Поэта повторяется иногда и в наше время, только с небольшою переменою. Некоторые из наших современников явно и под рукою стараются вразумить нас, что «с них довольно и малого числа читателей, лишь бы много было покупателей»¹.

Номер 16 „Лит. Газеты“ (от 17 марта) вышел после отъезда Пушкина из Петербурга. Весь критико-публицистический материал этого номера (кроме научно-популярной статьи академика Велланского о животном магнетизме) принадлежит Дельвигу и Вяземскому. Таким образом возникает сомнение, можно ли приписывать эту заметку Пушкину, не является ли она сочинением Дельвига или Вяземского. Однако стиль этого афоризма отличается такими особенностями, которые необычны для языка Дельвига. В ней бьется сильная струя живой речи: „это гордое желание поэта повторяется иногда и в наше время, только с небольшою переменою...“ „явно и под рукою...“ Последнее выражение носит резкий профессиональный отпечаток торгового диалекта. Язык Дельвига чуждался разговорных профессионализмов. Поэтому авторство Дельвига отпадает. Выбор может быть лишь между Вяземским и Пушкиным. Однако Вяземскому нельзя приписать никакой другой мелкой афористической заметки в „Лит. Газете“. Повидимому, Вяземский не хотел расплывать своей „Записной книжки“, разрушать композицию жанра, извлекая единичные анекдоты и афоризмы, как самостоятельные произведения. Кроме того, нет решительно никаких оснований отделять от заметки о Мильтоне стилистически однородную с ней заметку в № 12 по поводу надеждинского рассуждения о романтической поэзии, а автором этой последней не мог быть Вяземский. Таким образом с наибольшей вероятностью эта заметка в № 16 „Лит. Газеты“ может быть приписана Пушкину. Торговое выражение „под рукою“ встречается у Пушкина в „Путешествии из Москвы в Петербург“: „Продажа рекрут была в то время уже запрещена, но производилась еще под рукою“.

Самая композиция заметки вполне совпадает с построением пушкинских мыслей, замечаний и афоризмов (примеры см. выше при анализе заметки из № 12 „Лит. Газеты“). Любопытно соответствие зачина „Мильтон говаривал“ — типичному для Пушкина началу „анекдота“ или „замечания“: „Дельвиг говаривал, что самую полною сатирою на некоторые литературные общества был бы список членов с означением того, что кем написано“. Или: „Потемкин, встречаясь с Шешковским, обыкновенно говаривал ему...“ („Table Talk“).

За авторство Пушкина говорит и противопоставление образа Мильтона, как гордого и независимого поэта, торгашам современной литературы. Пушкин очень часто упоминал о Мильтоне как о величайшем поэте человечества.¹ „Истинная красота не поблекнет никогда. Омир, Вергилий,

¹ Мильтон — „всё вместе и изысканный и простодушный, темный, запутанный, выразительный, своенравный, и смелый даже до бессмыслия“.

Мильтон, Расин, Вольтер, Шекспир, Тасс и многие другие читаны будут, доколе не истребится род человеческий“ („Путешествие из Москвы в Петербург“). Мильтон стоит у Пушкина в одном ряду с Шекспиром („О ничтожестве литературы русской“).

Вместе с тем Мильтон в критических статьях Пушкина неизменно изображается как гордый, строгий и непреклонный поэт, не приспособлявшийся к модным вкусам толпы: „Мильтон и Данте писали не для благоклонной улыбки прекрасного пола“.

„Ни один из французских поэтов не дерзнул быть самобытным, ни один, подобно Мильтону, не отрекся от современной славы“.

„Джон Мильтон, друг и сподвижник Кромвеля, строгий творец Иконокласта и книги *Deffensio populi*¹... он в злые дни, жертва злых языков, в бедности, в гонении и в слепоте сохранил непреклонность души и продиктовал Потерянный Рай“ („О Мильтоне и Шатобриановом переводе «Потерянного рая»“).

На этом фоне вероятность принадлежности Пушкину заметки „Мильтон говаривал“ возрастает. Но, помимо этих лингвистических, стилистических и историко-литературных аргументов, авторство Пушкина подкрепляется и общей ролью и смыслом этой заметки в контексте критической публицистики „Лит. Газеты“.

Дело в том, что эта заметка является контр-ударом Пушкина, вызванным журнальными толками вокруг его заявления в № 3 „Лит. Газеты“: „*Литературная Газета* была у нас необходима не столько для публики, сколько для некоторого числа писателей“. В „Северной Пчеле“ — будто бы от имени читателей — был помещен вопрос к издателям: „Истинный талант не знает никаких *отношений* в литературе, кроме отношения к публике, а не во гнев сказать, в России есть журналы не хуже *Литературной Газеты*, которых издатели приобрели право своими трудами быть посредниками между публикою и писателями. И так, кто ж те великие *незнакомцы*, которые хотят печатно скрываться пред нами в Литературной Газете? И если Газета более необходима для них, то есть, для желающих писать и печатать, нежели для нас, требующих чтения, то что нам остается делать в этом случае. Растолкуйте это нам, гг. издатели Пчелы? Не насмешка ли это, не шутка ли, не мистификация ли? Трудно поверить, чтоб сами издатели журнала писали противу себя такие манифесты!“² Еще более резким и грубым был позднейший выпад М. А. Бестужева-Рюмина в „Северном Меркурии.“³

Пушкин в ответ на выпады литературных антрепренеров и спекулянтов проводит ироническую параллель между гордым и независимым Мильтоном и современными журналистами. Фразеология, общий тон и содержание этого афоризма находят себе близкие параллели и соответ-

¹ В черновом варианте: „защитник английского народа“.

² „Северная Пчела“, 1830, № 6. Ср. „Сын Отечества“, 1830, № 16, стр. 237.

³ „Северный Меркурий“, 1830, №№ 49 и 50: „Сплетница“.

ствия в таком наброске Пушкина о журнальной критике: „Критикой у нас большею частью занимаются журналисты, т. е. entrepreneurs, люди понимающие свое дело, но не только не критики, но даже и не литераторы. В других землях писатели пишут или для толпы, или для малого числа. (Сии, с любовью изучив новое творение, изрекают ему суд и таким образом творение, не подлежащее суду публики, получает в ее мнении цену и место ему принадлежащее.) У нас последнее невозможно, должно писать для самого себя“.

*

В собрание сочинений Пушкина должна быть включена одна из лучших рецензий „Литературной Газеты“ — рецензия на „Невский Альманах“, 1830 г. — в № 12 „Литературной Газеты“ (от 25 февраля, т. I, 96):

„Невский Альманах на 1830 год, изданный Е. Аладьиным“. — С.П.Б. в типогр. вдовы Плюшар, 1830 (486 стр. в 16-ю долю, и 22 стр. нот).

Невский альманах издается уже 6-й год и видимо улучшается. Нынче явился он безо всяких излишних притязаний на наружную щеголеватость; Издатель в сем случае поступил благоразумно, и Альманах нимало от того не потерпел. Три письма князя Меншикова, в нем помещенные, любопытны как памятники исторические. *Сказки о кладах* суть лучшие из произведений Байского, донныне известных. Стихотворную часть украшает Языков.

С самого появления своего, сей поэт удивляет нас огнем и силою языка. Никто самовластнее его не владеет стихом и периодом. Кажется нет предмета, коего поэтическую сторону не мог бы он постигнуть и выразить с живостию, ему свойственною. Пожалеем, что донныне почти не выходил он из пределов одного слишком тесного рода, и удивимся, что Издатель журнала, отличающегося слогом неправильным до бессмыслицы, мог вообразить, что ему возможно в каких-то пародиях подделаться под слог Языкова твердый, точный и полный смысла“.

Трудно сомневаться в принадлежности Пушкину этой рецензии, раньше иногда приписывавшейся Дельвигу (см. Сочинения барона Дельвига, изд. Евг. Евдокимова, 1893, стр. 124). Б. В. Томашевский уже заподозрил в ней руку Пушкина: „В № 12 рецензия на Невский Альманах, печатаемая в сочинениях Дельвига, но им, конечно, за отсутствием не написанная, своей характеристикой поэзии Языкова напоминает Пушкина. Но обо всем этом можно только гадать“.¹ Однако можно, не гадая, найти веские доказательства авторства Пушкина.

Абсолютно исключено участие О. М. Сомова в составлении этой рецензии, так как в ней есть отзыв о его сочинениях, написанный явно посторонним человеком: „Сказки о кладах суть лучшее из произведений Байского, донныне известных“.² От № 3 до № 13 „Лит. Газеты“ нет никаких

¹ Б. В. Томашевский. „Пушкин“, стр. 123.

² Ср. отзыв о „Невском Альманахе“ в „Северных Цветах на 1831 г.“, стр. 30.

следов участия Дельвига, который до 17—20 февраля еще не возвращался в Петербург. В № 2 напечатана рецензия Дельвига на альманах „Радуга“, в № 14 — его же рецензия на роман Булгарина „Дмитрий Самозванец“. В промежутке — до № 13 нельзя указать ни одной статьи, которая могла бы быть хоть с минимальной долей вероятности приписана Дельвику.¹ Стиль рецензии на „Невский Альманах“ не-дельвиговский (анализ см. ниже).

П. А. Вяземский в момент выхода № 12 „Лит. Газеты“ находился в дороге из Москвы в Петербург. Поэтому его сотрудничество в „Лит. Газете“ прервалось на время. В № 8 он поместил статью „О московских журналистах“, которую предлагал Пушкину растянуть на несколько номеров. Можно думать, что без содействия Вяземского не обошлось письмо Ивана Салаева, издателя полного собрания сочинений Фон-Визина, в редакцию „Лит. Газеты“, помещенное в № 10 (стр. 81—82). После этого в „Лит. Газете“ не было статей Вяземского до № 16 (от 17 марта), в котором Вяземский выступил с рецензией на „Монастырку“ Погорельского.

Таким образом уже одни историко-литературные справки почти с несомненностью доказывают принадлежность Пушкину рецензии на „Невский Альманах“.

Все критические статьи и заметки № 12 „Лит. Газеты“ как в отделе „Библиографии“, так и „Смеси“, кроме перепечатанного из „Tygodnik Petersburski“ извещения о скором издании древнего памятника французской словесности „Brut d'Angleterre“, написаны Пушкиным. Рецензия на „Невский Альманах“ находится в тесной связи с помещенной в том же номере пушкинской заметкой: „Англия есть отечество карикатуры и пародии“. Рецензия заканчивается полемическим выпадом против Полевого. Ср. в статье „Англия есть отечество карикатуры и пародии“: „Не думаю, чтобы кто-нибудь из известных наших писателей мог узнать себя в пародиях, напечатанных недавно в одном из московских журналов... Хороший пародист обладает всеми слогами, а наш едва ли и одним“.

В принадлежности Пушкину заметки о пародии в Англии и о пародиях Полевого нет никаких оснований сомневаться. Язык и стиль этой статьи соединяют все особенности пушкинской манеры. Сжатая и строгая конструкция фразы, тонкая ирония, острые переходы от повествовательного стиля к драматическим иллюстрациям, непринужденность диалогической речи („Вальтер Скотту показывали однажды стихи, будто бы им сочиненные“. „Стихи, кажется моя“, отвечал он, смеясь: „Я так много и так давно пишу, что не смею отречься и от этой бессмыслицы“) — все это, естественно, связывается с именем Пушкина. Типичным приемом пушкинского эпиграмматического стиля является резкий и неожиданный укол в самом конце заметки, контрастно напоминающий об ее начале,

¹ Лишь в № 13 короткая рецензия на „Метафизику“ Хр. Баймейстера быть может написана Дельвигом (если не Пушкиным).

изменяющий значение всего предшествующего изложения и уничтожающий врага убийственной характеристикой „Истории русского народа“ как пародии.¹ Таким образом рецензия на „Невский Альманах“ и заметка о пародии в № 12 „Лит. Газеты“ — произведения одного автора, именно Пушкина. Содержащаяся в них оценка слога Полевого целиком совпадает с пушкинскими отзывами о языке и стиле Полевого в других местах. Ср. суждение Пушкина о Полевом в рецензии на „Историю русского народа“: „Г. Полевой в своем предисловии весьма искусно дает заметить, что слог в истории есть дело весьма второстепенное, если уже не совсем излишнее. Слог есть самая слабая сторона «Истории русского народа». Невозможно отвергать у г-на Полевого ни остроумия, ни воображения, ни способности живо чувствовать, но искусство писать до такой степени чуждо ему, что в его сочинении картины, мысли, слова, все обезображено, перепутано и затемнено“.² Характеристика же слога Полевого, как „неправильного до бессмыслицы“, напоминает такие высказывания Пушкина о Полевом: „издатель... должен 1) знать грамматику русскую, 2) писать со смыслом: т. е. согласовать существ. с прилаг. и связывать их глаголом. — А этого то Полевой и не умеет“ (письмо к П. А. Вяземскому от 9 ноября 1926 г.)

Ср. в рассказе „Ветреный мальчик“ из „Детской книжки“: „Русской грамматике не хотел он учиться, ибо недоволен был изданною для народных училищ и ожидал новой философической“.

Кроме того, самый тон отзыва о стихах Языкова как нельзя более соответствует пушкинской неизменно восторженной оценке „очаровательного стиха“ „вдохновенного“ Языкова. Еще в 1826 г. (9 ноября) Пушкин писал Вяземскому из Михайловского: „Здесь нашел я стихи Языкова. Ты изумишься, как он развернулся и что из него будет. Если уж завидовать, так вот кому я должен бы завидовать. Аминь, аминь глаголю вам. Он всех нас, стариков, за пояс заткнет“. Ср. послания к Языкову и „Евгений Онегин“ (IV, XXX), а также „Путешествие Онегина“.

Наконец, язык и стиль рецензии на „Невский Альманах“ являются непреложным свидетельством принадлежности ее Пушкину. Типичный пушкинский синтаксис, сжатая глагольная фраза, отсутствие сложных конструкций, стройный и строгий ход логической мысли без всяких отступлений, необыкновенный лаконизм и полнота изложения — всё это не свойственно рецензиям Дельвига.

¹ Ср. у Пушкина в статье об „Истории русского народа“ Полевого: „как заглавие его книги есть не что иное как пустая пародия заглавия Истории государства российского так и рассказ г-на Полевого слишком часто не что иное, как пародия рассказа историографа“.

² Любопытно, что и Полевой сразу же угадал Пушкина в авторе заметки о пародии и поспешил заявить об отсутствии в „Телеграфе“ пародий на стихотворения Пушкина: „Если в Телеграфе и печатаются пародии, если в них и узнают своих детищ некоторые поэты, то из этого не следует, чтобы там же были и пародии на Пушкина“ („Московский Телеграф“, 1830, ч. XXXII, № 6, стр. 240—241).

Большая часть выражений и оборотов в рецензии на „Невский Альманах“ носит явственный отпечаток пушкинского языка и стиля. Напр.: „сей поэт удивляет нас огнем и силою языка“. Ср. в „Моих замечаниях об русском театре“: „славянские стихи Катенина, полные *силы и огня*“; ср. также в статье о записках Самсона: „Поэт Гюго не постыдился в нем искать вдохновений для романа, исполненного *огня и гряди*“, в статье о сочинениях Катенина: „Мстислав Мстиславич, стихотворение, исполненное *огня и движения*“.

„Никто самовластнее его не владеет стихом и периодом“. Ср.: „Он должен *владеть* своим предметом, несмотря на затруднительность правил, как он обязан *владеть языком*, несмотря на грамматические оковы“ („Наброски предисловия к «Борису Годунову»“).¹

Перенос слов *самовластие, самовластный, самовластно* — из сферы политических отношений в область жизни и поэзии — типическая особенность пушкинского стиля. Напр.: „Наши журнальные Аристархи без церемонии ставят на одну доску Данте и Ламартина, самовластно разделяют европейскую литературу на классическую и романтическую“ („Наброски предисловия к «Борису Годунову»“).

„Кажется, нет предмета, коего поэтическую сторону не мог бы он постигнуть и выразить“. Ср. в „Проекте предисловия к VIII и IX главам «Евгения Онегина»“: „Самый ничтожный предмет может быть избран стихотворцем; критике нет нужды разбирать, что стихотворец описывает, но как описывает“.

„Постигнуть и выразить с живостью, ему свойственную“. Ср.: „Трогательное добродушие древних летописцев, столь живо постигнутое Карамзиным“ („Наброски предисловия к «Борису Годунову»“). Ср.: „Она (критика) редко сохраняет важность и приличие, ей свойственные“ („Мнение М. Е. Лобанова“).

„...почти не выходил он из пределов одного слишком тесного рода“.² Ср.: „Книгу, в которой дерзость мыслей и выражений выходит из всех пределов“ („Путешествие из Москвы в Петербург“). Ср.: также: „Круг поэтов делается час от часу теснее“ (письмо Вяземскому 1819, „Переписка“, I, 15).

Вместе с тем слово — *род* в языке Пушкина в применении к литературе всегда значит: жанр или стиль, например род классический и романтический. „Какие же роды стихотворений должно отнести к поэзии романтической?“ („О ничтожестве литературы русской“) и т. п.

¹ Ср. в письме к Вяземскому от 6 февраля 1823 г.: „...прозу-то не забывай; ты да Карамзин одни владеют ею“ („Переписка“, т. I, стр. 67).

² Ср. в „Евгении Онегине“:

И свод элегий драгоценный
Представит некогда тебе
Всю повесть о твоей судьбе.

В положительной оценке слога писателя Пушкин прежде всего подчеркивает его точность: „Из стихотворений греческая песнь Туманского, к Одесским друзьям (его же) отличаются гармонией и точностью слога“ („Об альманахе «Северная лира»“); о Баратынском: „верность ума, чувства, точность выражения, вкус, ясность и стройность“ („Пора Баратынскому...“); „гармония его стихов, свежесть слога, живость и точность выражения должны поразить всякого“ („Баратынский принадлежит к числу...“).

„Гармоническую точность“ Пушкин считал отличительной чертой школы, основанной Жуковским и Батюшковым (в рецензии на „Карелию“, Глипки). О Сент-Бёве: „Никогда ни на каком языке голый сплин не изъяснялся с такою сухою точностию“. Ср. о Ломоносове: „Отвращение от простоты и точности“ („Путешествие из Москвы в Петербург“). Ср.: „Твоя гармония, поэтическая точность, благородство выражений, стройность, чистота в отделке стихов пленяют меня“ (Черновое письмо П. А. Плетневу, 1822 г., „Переписка“, I, 59). „Дельви́г, Дельви́г!... благославляю и поздравляю тебя: добился ты наконец до точности языка“ (Л. С. Пушкину, от 30 января 1823 г., там же, 66). „Опыты Озерова ознаменованы поэтическим слогом — и то неточным и заржавым“ (П. А. Вяземскому, от 6 февраля 1823 г., там же, 67).

„Полный смысла“. Ср.: „Произведения английских поэтов, напротив, исполнены глубоких чувств и поэтических мыслей“ („В зрелой словесности приходит время“). „Стих, исполненный истинно трагической силы“ (там же). „Стихотворения его... исполнены искреннего вдохновения“ („Всемирно известно, что французы...“). „Сладкоречивый епископ в книге, наполненной смелой философией, помещал язвительную сатиру на прославленное царствование“ („О ничтожестве литературы“). „С ее роскошным языком, исполненным блеска“ („О «Ромео и Джульете» Шекспира“). „Оригинальность и индивидуальность слога, полного жизни и движения“ („От редакции. О хронике русского в Париже“).

„Войнаровский полон жизни“ („Переписка“, I, 95).

„А чем же и держится Иван Иванович Расин, как не стихами, полными смысла, точности и гармонии!“ (Письмо Л. С. Пушкину, 1824 г., „Переписка“, I, 95) и др. под.

Наконец, для пушкинского стиля очень характерно тройственное сочетание эпитетов, которым заканчивается рецензия. Например: „слог его, ровный, цветущий и живописный“ („О предисловии г-на Лемонте“); „трудность метафизического языка, всегда стройного, светского, часто вдохновенного“ („О переводе романа Б. Констана «Адольф»“); „отпечаток ума тонкого, наблюдательного, оригинального“ („О статьях князя Вяземского“); „В этой черте весь его характер, скрытый, жестокий, постоянный (Заметка о „Полтаве“); „тем искреннее, небрежнее и сильнее становится его рассказ“ („Собр. соч. Георгия Конисского“); „Германская философия,

особенно в Москве, нашла много молодых, пылких, добросовестных последователей“ („Мнение М. Е. Лобанова“); „Он прост, полон и краток“ („Словарь о святых“); „Черкес изъясняется на русском языке свободно, сильно и живописно“ („Послесловие к «Долине Ажитугай»“); „нежные пальчики, некогда сжимавшие окровавленную рукоять уланской сабли, владеют и пером быстрым, живописным и пламенным“ („Записки Н. А. Дуровой“); „живой, теплый, внезапный отпечаток мыслей, чувств“ („От редакции Современника“) и мн. др.

*

Можно думать, что перу Пушкина принадлежит следующая заметка в „Смеси“ № 13 „Лит. Газеты“ (1830, от 2 марта, I, стр. 106):

„Г. Раич счел за нужное отвечать критикам, не признававшим в нем таланта. Он напечатал в 8-м № *Галатеи* нынешнего года следующее примечание: «Чтобы вывести некоторых из заблуждения, представляю здесь *перечень* моих сочинений:

1. Грусть на пиру.
2. Прощальная песнь в кругу друзей.
3. Перекати-поле.
4. Друзьям.
5. Амела.
6. Петроний к друзьям.
7. Вечер в Одессе.

Прочие мелкие стихотворения мои — переводы. В чем же *obtrectatores* нашли вялость воображения, щепетильную жеманность чувства и, (просим покорно найти толк в следующих словах!) недостаток воображения».

Мы принуждены признать неоспоримость сего возражения“.

Эта заметка могла быть написана или Пушкиным, или Дельвигом, у которого с Раичем были свои литературные счета и который, повидимому, по возвращении в Петербург, именно с № 13 „Лит. Газеты“ приступил к выполнению своих редакторских обязанностей (ср. рецензию на „Метафизику“ Ар. Баумейстера в том же номере „Лит. Газеты“).

Язык этой своеобразной статьи не дает никакого материала для суждений об авторе. Параллельные фразы и обороты для коротких вступительных замечаний и заключений можно найти и в „Замечаниях на Песнь о Полку Игореве“: „Шлецер... признал подлинно древнее произведение и не почел даже за нужное приводить тому доказательства“. В „Отрывке из литературных летописей“: „Мы ожидали от г. Каченовского возражений неоспоримых“ и т. п.

Но гораздо больше данных в пользу авторства Пушкина можно извлечь из наблюдений над общей композицией статьи. Вся манера этой заметки, ее бесстрастный — и в то же время глубоко-иронический в своем бесстрастии тон — невольно напоминают пушкинский замысел ответа на

бранчивые критики. „Кажется, если б хотел я над ними посмеяться, то ничего не мог бы лучшего придумать, как только их перепечатать безо всякого замечания“ („Опыт отражения некоторых не-литературных обвинений“). Пушкин так и поступил в своем предисловии к новому изданию „Руслана и Людмилы“. Этим же способом полемики Пушкин воспользовался и в статьях Феофилакты Косичкина. Для Дельвига стиль заметки был бы необычен.

В этой заметке Пушкин разделался с Раичем за издевательства его над пушкинским объявлением об „Илиаде“ в переводе Гомера. Раич перепечатал пушкинскую заметку из № 2 „Лит. Газеты“ в № 4 „Галатеи“ (ценз. разр. 23 янв.), снабдив ее послесловием. В нем указывалось, что это „воззвание на счет (?) труда Гнедича черезчур величаво и обнаруживает дух партии, которая в литературе не должна быть терпима“. Раич не соглашается с отзывом „Лит. Газеты“, утверждающей „будто книга г. Гнедича долженствует иметь столь важное влияние на отечественную словесность; иначе мы должны будем допустить что и барона Дельвига так называемые гекзаметры будут иметь столь важное влияние на отечественную словесность, потому что г. Гнедич в предисловии к своему переводу «Илиады» говорит об этом: «Кого не пленяет лира Дельвига счастливыми вдохновениями и стихом, столько музе любезным». Раич здесь сводил с Дельвигом личные счеты: он был сердит на Дельвига за его заметку „На критику Галатеи“, где, между прочим, Дельвиг уколол Раича как переводчика „Освобожденного Иерусалима“, превратившего в балладу бессмертную поэму Тассо.¹

Пушкин ответил на выходку Раича разъяснением в № 12 „Лит. Газеты“. Признав себя автором объявления об „Илиаде“ Гомера, Пушкин указывал, что отношения Дельвига к Гнедичу „не суть дружеские“, — и следовательно, подозревать их в рекламировании друг друга — нелепо.

Отношение Пушкина к стилю критических статей „Галатеи“ было резко отрицательным. П. А. Вяземскому в конце января — в начале февраля 1830 г. Пушкин писал: „Клянюсь всем твоим и грозному моему критику Павлуше. — Я было написал на него ругательную антикритику слогом Галатеи, взяв в эпиграф: Павлушка медный лоб приличное название“.²

*

Пушкину же принадлежит пародия на китайские анекдоты Булгарина в № 45 „Лит. Газеты“ (от 9 августа 1830 г., II, 72 — т. е. в бытность Пушкина в Петербурге):

„В Газете *Le Furet*, напечатано известие из Пекина, что некоторый Мандарин приказал побить палками некоторого Журналиста. — Издатель замечает, что Мандарину это стыдно, а Журналисту здорово“.

¹ „Сын Отечества“ и „Северный Архив“, 1829, т. IV.

² „Письма Пушкина“ под редакцией Б. Л. Модзалевского, т. II, 1928, 74.

Эта заметка является ироническим итогом толков, вызванных статьею Пушкина о сочинениях Видока.¹ Любопытно, что именно в № 45 „Лит. Газеты“ открыто признается принадлежность этой статьи Пушкину: „Издателю Северной Пчелы Литературная Газета кажется печальною: сознаемся, что он прав, и самую печальнейшею статьею находим мнение А. С. Пушкина о сочинениях Видока“.

Ироническое сообщение о „китайском анекдоте“, помещенное непосредственно вслед за пушкинской статьею „Новые выходы противу так называемой литературной аристократии“, находится в тесной связи с такими строками пушкинского „Опыта отражения некоторых не-литературных обвинений“: „У нас, где личность ограждена цензурою, естественно нашли косвенный путь для личной сатиры, именно *обиняки*. Первым примером обязаны мы ** (Булгарину. В. В.), который в своем журнале напечатал уморительный анекдот о двух китайских журналистах, которых судия наказал бамбуковою палкою за плутни, унижающие честное звание литератора. Этот китайский анекдот так насмешил публику и так понравился журналистам, что с тех пор, коль скоро газетчик прогневался на кого-нибудь, тотчас в листах его является известие из-за границы (и большей частью из-за китайской), в коем противник расписан самыми черными красками, в лице какого-нибудь вымышленного, или безыменного писателя. Большею частью сии китайские анекдоты, если не делают чести изобретательности и остроумию сочинителя, по крайней мере достигают цели своей по злости, с каковой они написаны“.

И тут же Пушкин, пародируя Булгарина и в то же время изобличая его в плагиате, в заимствованиях для „Дмитрия Самозванца“ из „Бориса Годунова“, сочиняет новый китайский анекдот: „Недавно в Пекине случилось очень забавное происшествие. Некто из класса грамотеев, написав трагедию, долго не отдавал ее в печать — но читал ее неоднократно в порядочных пекинских обществах и даже вверял свою рукопись некоторым мандаринам. — Другой грамотей (следуют китайские ругательства) или подслушал трагедию из прихожей (что говорят за ним важивалось) или, тихонько взяв рукопись из шкатулки мандарина (что в старину также с ним случалось), склеил на скорую руку из довольно нескладной трагедии чрезвычайно скучный роман“.

Известно, что китайский анекдот Булгарина, появившийся в „Северной Пчеле“ за 1829 г., № 33,² совсем не совпадал с его пародическим

¹ Эта заметка без доказательств включалась в собрание сочинений А. А. Дельвига (см. „Сочинения барона А. А. Дельвига“, СПб., 1893, изд. Евг. Евдокимова, стр. 145). Н. О. Лернер также был склонен приписывать ее Дельвигу (см. „Пушкин и его современники“, вып. XII). Б. В. Томашевский на основании расширенного толкования показаний А. И. Дельвига (в „Воспоминаниях“) готов признать всю „Смесь“ № 45 „Лит. Газеты“ 1830 г. „совместным произведением“ Пушкина и Дельвига. А. А. Дельвиг. „Полное собрание стихотворений“, под редакцией Б. В. Томашевского, 1934, стр. 506.

² Ср. „Московский Телеграф“, 1829, ч. XXVI, № 5, стр. 103—108.

изложением у Пушкина. Булгарин представил распрю Каченовского с Полевым в виде тяжбы двух журналистов, из которых один, имевший звание мандарина, добился сурового судебного приговора, по которому его обидчик был присужден к восьмидесяти ударам „бамбуса“ по пятам.

Подставив под этот анекдот других персонажей, применив его к Булгарину, Пушкин коротко и иронически сообщает о результатах литературного „избиения“ своего врага: „это... журналисту здорово“.

Редактор IX тома „Сочинений Пушкина“ в прежнем издании Академии Наук воспринял заметку „Лит. газеты“ как простое библиографическое сообщение. „С легкой руки Булгарина, — пишет он, — «китайский анекдот» стал распространяться и сделался популярен“. „В газете «*Le Furet*», уведомляет читателей орган барона Дельвига: «напечатано из Пекина, что некоторый мандарин»“ и т. д. (т. IX, 1928, примечания, 316). Но „Лит. Газета“, естественно, не стала бы распространять славу булгаринского остроумия. Острота и едкость пушкинского анекдота усилены каламбурной ссылкой на газету „*Le Furet*“. Уже Воейков в „Славянине“ (1829, ч. XII, № XL и XLI) использовал название этого французского журнала, издававшегося в Петербурге („*Le Furet. Journal de littérature et des théâtres*“), применительно к „Северной Пчеле“, недвусмысленно разъяснив, что *le furet* обозначает не только хорька, но и проныру, сыщика.¹

Таким образом пародия на „китайский анекдот“ в № 45 „Лит. Газеты“, завершающая цикл пушкинских нападений на Видока-Булгарина в „Лит. Газете“, может принадлежать лишь перу Пушкина. Тут лаконически сконденсированы все пушкинские образы и приемы. Многословным обиньякам Булгарина противопоставлен простой, сжатый, ясный стиль газетного извещения, которое Пушкин сумел оживить не только язвительными сарказмами пародии, но и поговорочным лаконизмом разговорной речи.

Ср. фразеологические параллели из других сочинений Пушкина: для побить палками — из письма к П. А. Вяземскому (1824): „Критики у нас, чувашей, не существует, палки как-то неприличны“;² из эпиграммы (1829):

Сердито Феб его прервал
И тотчас взрослого бодвана
Поставить в палки приказал.

¹ Повидимому, издававшийся в Петербурге французский журнал „*Le Furet*“ был близок к „Северной Пчеле“. Во всяком случае, характерно написанное в резком тоне опровержение „Лит. Газеты“ № 64 (стр. 250), направленное против объявления „*Le Furet*“ о близком выходе 8 главы „Евгения Онегина“ в „Северных Цветах на 1831 г.“: „Издатель Литературной Газеты сам объявляет, что он никогда о том не говорил издателю вышеупомянутого французского журнала, что даже не имеет чести знать ни самого издателя, ни кого-либо из принадлежащих к редакции *Le Furet*. Откуда почерпает журнал сей известия свои касательно русской литературы, неизвестно“. Ср. также в № 16 „Лит. Газеты“ за 1830 г. (т. I, стр. 126—128) статью академика Д. Велланского „Замечание на статью литературного французского журнала «*Le Furet*““.

² „Переписка“, под ред. В. И. Сантова, I, 115.

Совершенно в стиле и духе публициста Пушкина самая манера — замаскировавшись, наносить удары со стороны и защищать литературное дело самого Пушкина. Отстаивая необходимость возражений на „критики“ даже самых „презрительных“ лиц, в набросках предполагаемого письма к издателю „Лит. Газеты“, Пушкин писал: „Видок вас обругал. Изъясните, почему вы никоим образом отвечать ему не намерены (в первоначальной редакции: «Изъясните, почему вы никаким образом Видоку не отвечаете. Публика не может знать, что он отъявленный плут и шпион»). В этом отношении мне нравится одна из статей вашего журнала как доброе дело“ (т. е. статья о записках Видока).





VARIA

Г. А. ГУКОВСКИЙ

Об источнике „Рославлева“

Пушкинский „Отрывок из неизданных записок дамы. 1811 год“, т. е. напечатанный Пушкиным кусок задуманной им повести на тему „Рославлева“ Загоскина, начинается так: „Читая «Рославлева», с изумлением увидел я, что завязка его основана на истинном происшествии, слишком для меня известном...“ и т. д.

Так же писал и Загоскин в предисловии к своему „Рославлеву“: „Интрига моего романа основана на истинном происшествии; теперь оно забыто; но я помню еще время, когда оно было предметом общих разговоров, и когда проклятия оскорбленных россиян гремели над главою несчастной, которую я назвал Полиною в моем романе“.

Эти указания и Загоскина и Пушкина — не только обычный в их время литературный прием. За „Рославлевым“ стояла короткая, но характерная традиция сюжета, легшего в его основу, традиция патриотически реакционного освещения этого сюжета, наконец, традиция, выводящая нас и за пределы литературы. Первоосновой сюжета „Рославлева“ явился действительно факт или даже факты, которые могли дать повод к литературной обработке их, — или, по крайней мере, разговоры, слухи, сплетни о подобных фактах.

В „Сыне Отечества“, 1813, № XXVI, стр. 301—305, в отделе „Смесь“ помещена следующая статья:

СМЕСЬ

I 1

Нет сомнения, чтоб благоразумные люди, движимые истинною любовью к отечеству, следственно к чести и славе русского народа, могли слышать без душевного прискорбия, как обходятся с военнопленными французскими в некоторых наших губерниях — к крайнему же сожалению многих благомыслящих людей должно к тому прибавить: *даже и здесь, в столице — француз, а может быть и другой иностранец, которому сии начальные строки переведут, не дав еще речи докончить, несомненно скажет: можно ли было ожидать доброго с пленными обхождения от необразованного народа.* Не судите так скоро и так строго, дайте докончить: вы увидите совсем другое.

Достоверные свидетели сказывали нам, что в разных губернских городах, где пленные находятся, не токмо они в пище, платье и в прочем нужном содержании ни малейшего недостатка не имеют, как то несомненно и должно быть согласно человеколюбивым христианским правилам, которые в сих случаях русскими весьма твердо наблюдаются; что не бывает ни одного собрания, ни одного бала, куда бы французы преимущественно приглашены не были, что они имеют вход во все дома, что некоторые русские дворяне

¹ Издатели получили сию статью при следующих строках: „Соболезнующие о заблуждении наших соотечественников, а еще более наших молодых соотечественниц просят издателей Сына Отечества поместить следующее известие в их Смеси, для сведения всех верных и доблестных россиян и россиянок“.

с ними о России рассуждают, слушают их, любят их красноречию, и даже берут их в учителя к детям своим, уверяют и, *без ужаса повторить сего не можно*...

Говорят что несколько благородных девиц собираются выдти за них замуж; что, забыв честь, долг родства и любви к отечеству, не погнушались они руку свою предложить — кому? Тем, у которых кровь свойственников или ближних, несчастным сим девицам принадлежавших, не успела еще на руках обсохнуть, тем, от которых, может быть, вкусили тяжкую смерть отцы, братья, сродники их, друзья, не говоря уже о соотечественниках, ибо для мудрых *космополиток*, или обительниц вселенной, ни сего звания, ни сей связи не существует. Говорят даже утвердительно, называя и по имени, что две из сих несчастных уже вступили в таковой отвратительный союз, который не токмо по коренным нашим установлениям и законным признать нельзя,¹ но даже и французским правительством за действительный не признается.²

Мнимо-человеколюбивые *Космополиты* и *Филантропы* нынешнего века скажут читая сии строки: „какое варварское понятие о любви к отечеству. Почему невыходить замуж за иноплеменного, за честного иноземца, за чуждого храброго воина, сражавшегося за честь своего народа и законного своего государя, но побежденного силою и плененного на ратном поле“. На сие возражение мы дадим следующий ответ: крепчайший союз образующий народы, и отделяющий их один от другого, есть без сомнения брак между иноземцами; на сем начале основан коренной закон, выше сего приведенный. Но есть ли встречаются случаи, где браки с иноплеменными и могут быть терпимы то конечно не с теми, которые были пойманы, как тати, на пепелище нашем, в прошлом 1812 году, и коих за обыкновенных военнопленных признавать никак нельзя; ибо истинный воин сражаясь с оскорбителями веры, царя и отечества своего, будет поражать неприятелей мощною рукою, но никогда не поругается святынею воюющего с ним народа, не станет рук своих осквернять грабежом и убийством беззащитных жен и младенцев. И после содеяния нынешними пленными в отечестве нашем неслыханных святотатств и насилий русския благородные девицы не постыдятся вступить в супружество с участниками сих злодейств!³ О горе! О вечный стыд и срам!“

Вот достойная награда родителям, столь много пекущимся о том только, чтобы дети их болтали по-французски; вот плоды воспитания, введенного у нас в осмнадцатом столетии, воспитания, в котором отцы и матери, отрекшись от священной обязанности своей, от должного присмотра за своими детьми слепо их предадут в руки инопленных; ибо без

¹ После поражения Карла XII, многие пленные шведы поселены были в Казанской и Сибирской губерниях, причем приказано было принимать из них желающих в службу при горных делах. Многие изъявили согласие остаться навсегда в российской службе и просили позволения вступать в брак с россиянками, чему полагались препятствия местным начальством. Петр I поручил святейшему правительствующему синоду начертать правила, на которых должны быть основаны таковые браки. Синод объявил (в особо напечатанной книжке: О браках правоверных лиц с иноверными, рассуждение в святейшем правительствующем синоде сочиненное, напечатано повелением царского величества Петра Первого всероссийского императора, благословением же тогожде святейшего Синода. В Санктпитебурхе 1721 года, месяца Августа в 18 день), что брак правоверного лица с иноверным правилам церкви непротивен только тогда, когда пленники и свободные иностранцы царскому величеству записались на вечную службу (см. стр. 8 оной книжки).

² В начале прошлого 1812 года было напечатано в Мониторе, что великий судья (le grand juge) докладывал Наполеону, можно ли признавать в числе законных браков, супружества пленными французами с иноземками заключенные. Наполеон на сей доклад отвечал, что пленные французы могут жениться для поправления своего состояния во время плена, но по возвращении во Францию таковые их браки не будут признаны законными.

По прочтении сих выписок из наших отечественных установлений и из законов неприятелей наших, видим, что виновные подвергаются казни (буде правда, что нам по сему предмету до сведения дошло), а прочие должны крайне остерегаться коварного какого либо искушения от сего ненавистного для нас теперь народа.

³ Смотри № VII „Сына Отечества“, 1813 г., стр. 37.

еего коварного условия ни один французский гувернер или гувернантка в русской дом не вступает“.

Не привожу конца статьи. Помечена она: „С.П.бург. 19 июня 1813 года“. Затем в 1815 г. тема „Рославлева“ снова всплывает в литературе. Теперь это уже не статья, а небольшая повесть, намечающая очертания будущего романа Загоскина. Это — „Письмо к издателю“, напечатанное анонимно в журнале Мерзлякова „Амфион“, 1815, январь, стр. 113—127, с пометкой в конце статьи „Продолжение впрямь“. Автором „Письма“ был Ф. Ф. Иванов, известный в начале XIX в. драматург.

Повесть ведется от первого лица, как и „Рославлев“, и именно от лица героя, соответствующего самому Рославлеву, — так же как у Загоскина. Самый ход событий в повести Иванова весьма близок к изложению романа Загоскина. В 1824 г. эта повесть была перепечатана в „Сочинениях и переводах Ф. Ф. Иванова“, ч. I, стр. 44—51 („Письмо к издателю Амфиона“).

М. С. БОРОВКОВА-МАЙКОВА

ПУШКИН В БОЛДИНЕ В ОКТЯБРЕ 1832 г.

Н. О. Лернер под датой 10 октября 1832 г.¹ дает следующие сведения: „Пушкин выехал в Петербург“ (из Москвы). Источником, откуда взята дата, Лернер указывает: „Исторический Вестник“, 1833, декабрь, 535—536, письмо П. В. Киреевского к Н. М. Языкову, в котором П. В. Киреевский писал, что „Пушкин был недели две в Москве и третьего дня уехал“. Лернер приводит и сведения московской полиции о том, что поэт покинул Москву 16 октября, причем пишет, что эту же дату „очевидно неверную“ совершенно напрасно принимают „Хронологическая канва“² и Л. Павлищев.³ Останавливается Лернер и на указании того, что сведения полиции вообще были неверны, а Киреевский, конечно, не ошибался. Но прежде всего, в письме Киреевского читаем так: „Третьего дня (т. е. 10 октября) уехал“, но куда уехал не указано, и Лернер прибавил „в Петербург“ самостоятельно.

Л. Б. Модзалевский⁴ дает текст прошения Пушкина по месту его службы,⁵ в котором поэт пишет, что „по домашним обстоятельствам он имеет необходимую нужду отлучиться из Петербурга в разные губернии на 28 дней и просит выдать ему свидетельство на свободный проезд. Л. Б. Модзалевский делает следующее примечание: „Дальше Москвы Пушкин не поехал, вернувшись в Петербург в назначенный срок“,⁶ при чем Модзалевский делает ссылку на того же Лернера.

Фактически же известным остается только то, что Пушкин выехал из Москвы без указания к у д а — по сообщению Киреевского 10-го, а по сообщению полиции 16-го октября. Разница между указаниями в 6 дней. Ни „Труды и Дни“ Лернера, ни издатели писем Пушкина не дают ни одной даты за эти 6 дней. Письмо Пушкина к жене помечено в с к о б к а х началом октября, а следующее его письмо, адресованное П. В. Нащокину, помечено: 2-го, Петербург — и издателями в скобках указан — декабрь 1832 г.

Материалы писем поэта П. А. Вяземского к жене за 1832 г. дают возможность попытаться поискать эти шесть дней.

25 июня Вяземский писал: „Может быть едет и Пушкин через Москву в Нижегородскую деревню унимать своих лафайетов и шатобрианов“.⁷

¹ Н. О. Лернер. „Труды и Дни Пушкина“, 1910, стр. 271.

² „Хронологическая канва для биографии Пушкина“ Я. Грота.

³ Л. Павлищев. „Воспоминания об А. С. Пушкине“.

⁴ Пушкин. „Письма“, т. III.

⁵ В департамент хозяйственных и счетных дел московского Главного архива министерства иностранных дел.

⁶ Пушкин. „Письма“, т. III, стр. 524.

⁷ Лафайеты и шатобрианы — в письме Вяземского — явились откликом его интереса к французским делам. Развертывающиеся после июльской революции события во Франции привлекали внимание Вяземского и, черпая новости о французских делах из русских и иностранных газет и от приезжающих из-за границы, Вяземский неоднократно сообщал в Москву полученные им новости о Франции.

Письмо от 12 августа начиналось следующими строками: „На мою голубятню летит много народа: сегодня были у меня два министра Блудов и Фикельмонт, два почт-директора оба Булгаковы¹ и два польские генерала, чтобы не разбивать пар. А из одиночек был Пушкин, впрочем и тут может быть пара, потому что Фредро² был сегодня у меня два раза, а он и поэт, и встретился у меня утром с Пушкиным, который скоро едет в Москву проездом в Нижегородскую губернию“.

17 сентября Вяземский сообщал, что „Пушкин заехал за письмом“, этим сообщением точно устанавливая день отъезда Пушкина из Петербурга в Москву, помеченный у Лернера 16—17 сентября. 19 сентября Вяземский еще раз подтверждает намерение Пушкина проехать через Москву далее: „Поздравь³ Пушкина, если он еще у вас“. Словами: „если он еще у вас“ Вяземский, видимо, предполагал, что Пушкин мог уже выехать из Москвы, как намеревался, в Нижегородскую губернию.

В письме Пушкина к жене, помеченном Сайтовым и Модзалевским в скобках началом октября, Пушкин писал: „Вяземские⁴ едут после 14-го, а я на днях“, опять-таки не указывая, куда он едет. Итак, на лицо: 1) прошение Пушкина отлучиться из Петербурга в разные губернии; 2) сообщение Вяземского, дважды повторенное и определено указывающее на намерение Пушкина проехать в Нижегородскую деревню; 3) сообщение Вяземского, косвенно указывающее на то же намерение, так как 19 сентября он спрашивал: „если он еще у вас“; при дате отъезда Пушкина из Петербурга 17 сентября Вяземский никак не мог подразумевать его возвращения в Петербург; 4) различные свидетельства Киреевского и полиции о дне отъезда Пушкина из Москвы, делающие разницу в шесть дней.

А. П. Звенигородский в заметке „О пребывании Пушкина в Нижегородской губернии“ пишет: „Проехать из Москвы в Болдино в то время можно было только через Владимир, Муром и Арзамас. Из Арзамаса же в Болдино можно было проехать или по тракту, шедшему через Абрамово, в 12-ти верстах которого находится Болдино, на Ардатов (Симбирской губернии) или по тракту, шедшему через Лукоянов на Пензу“. По первому тракту, от Москвы до Болдино 527 верст; по второму — 532 версты, что дает возможность предполагать, что Пушкин мог съездить в Нижегородскую деревню, выехав из Москвы в Болдино 10-го, а 16-го, вернувшись в Москву, выехать из Москвы в Петербург.

Волнения крестьян в Болдине за эти годы соответствуют сообщению Вяземского „унимать своих лафайетов и шатобрианов“.

Коллективное крестьянское письмо⁵ на имя Пушкина от 24 июня 1831 г. содержит просьбу о смещении бурмистра Осипа Павлова. Письмо⁶ болдинских крестьян, состоящее из 12 статей и заключающее в 11 статьях жалобу на Михаила Ивановича Калашникова, назначенного еще в 1826 г. управляющим, относится к октябрю-ноябрю 1833 г. Крестьянские обращения к Пушкину от 1831 и 1833 гг. и свидетельство Вяземского от 1832 г. дают возможность полагать, что и в 1832 г. были подобные же неудовольствия крестьян, заставившие Пушкина съездить в Болдино.

¹ Булгаков, Александр Яковлевич — московский почт-директор. Булгаков, Константин Яковлевич — петербургский почт-директор.

² Фредро — граф Ян-Максимилиан, служил в армии Наполеона; адъютант Александра I, гофмаршал польского двора, бригадный генерал, товарищ министра народного просвещения и главный начальник учебных заведений. В 1832 г. — гофмаршал русского двора.

³ Вяземский поздравлял Пушкина с рождением Елизаветы Михайловны Хитрово, рожденной Голенищевой-Кутузовой, по первому браку графини Тизенгаузен.

⁴ Семья П. А. Вяземского переезжала на жительство в Петербург.

⁵ См. „Летопись государственного литературного музея“, М., 1936. Из архива Пушкина, стр. 100—101 и 112.

⁶ Там же.

Б. В. ТОМАШЕВСКИЙ
ЗАМЕТКИ О ПУШКИНЕ

1. Один из источников „Полтавы“ (Пушкин и Геерен)

Исторические источники „Полтавы“ Пушкиным определены с достаточной точностью. Они в большей части своей указаны самим Пушкиным в примечаниях в поэме. Это исторические труды Бантыша-Каменского, Вольтера и „Журнал Петра I“. К ним с достаточным вероятием следует присоединить Голикова. Эти источники с исчерпывающей полнотой очерчивают круг фактов, на которых строится поэма. Однако все эти источники отличаются детальностью, затрудняющей общую ориентировку в событиях. Книги Бантыша-Каменского и Голикова имеют совершенно летописный характер и в них отделить второстепенное от главного не легко. Два труда Вольтера — „История России“ и „История Карла XII“ отличаются относительной сжатою и прагматичностью изложения. Однако и здесь часто второстепенные факты подавляют общий ход событий и основная канва недостаточно четко проясняется сквозь изложение автора.

Поэтому совершенно естественно предположить, что Пушкин для общей ориентировки мог обратиться к какому-нибудь обобщающему историческому курсу, который бы помог выделить основные нити из массы второстепенных фактов. Таким курсом, естественно, мог быть для Пушкина не русский, а французский курс. В 1828 г. таким обобщающим руководством, которое внушало бы Пушкину полное доверие, могла явиться едва ли не одна только книга, это — „Manuel historique du système politique des états de l'Europe et de leurs colonies, depuis la découverte des deux Indes, par M. Heeren“ (Paris, 1821).

Данная книга геттингенского профессора появилась на французском языке в 1820 г. в переводе Гизо и В. Сен-Лорана, в составе двух первых частей, и в следующем 1821 г. была переиздана вместе с третьей частью. Имя Геерена было знакомо Пушкину с лицейской скамьи.¹ Имя Гизо повышало интерес: Гизо был известен Пушкину как политический деятель (см. „Граф Нулин“), как издатель Шекспира и автор вступительной статьи к этому изданию, как редактор серии мемуаров, относящихся к французской революции, и, наконец, как автор новой „Истории английской революции“, появившейся в 1827 г., и имевшей большой исторический и политический интерес.

Таким образом *a priori* можно сказать, что Пушкин заглянул в „Manuel“ Геерена, когда писал „Полтаву“, и остается проверить, не осталось ли каких-нибудь следов этого в самой поэме.

Факты, относящиеся к сюжету „Полтавы“ изложены в двух параграфах, которые приводим в переводе с французского полностью:

„В т о р а я э п о х а (1700—1740), вторая часть. История народов Северной Европы.

9. Между тем Карл XII решил напасть на своего неприятеля в центре его владений; но России было труднее завоевать, чем Польшу и царь должен был оказать сопротивление больше, чем слабый саксонский курфюрст. Он направился сперва к столице России, затем уступая предложениям, которые ему были сделаны казачьим гетманом Мазепой, он изменил направление и направился к Украине; с этого момента можно было предвидеть исход столь дерзкого предприятия.

Шведский король отправился из Саксонии в сентябре 1707 г. Он пересек Польшу и отдал распоряжение генералу Левенгаушту соединиться с ним в Курляндии. 11 августа 1708 г. он перешел через Днепр и проник в Украину, в то время Левенгаут был остановлен в своем движении войсками Петра Великого: он был разбит при Лесной 28 сентября того же года и в довершение несчастья Карл не мог получить от Мазепы ожидаемой помощи: в мае 1709 г. он начал осаду Полтавы, и царь поспешил двинуться на него.

¹ См. Упоминание этого имени среди других в „Детских книгах“: „Шеллинг, Фихте, Кузен, Геерен, Нибур, Шлегель“. В библиотеке Пушкина сохранился французский перевод курса древней истории Геерена.

10. Полтавское сражение (8 июля 1709 г.) решило судьбу Северной Европы. Ни одно из других сражений нового времени не имело более важных следствий; оно укрепило, с одной стороны, все труды, предпринятые Петром Великим, с другой — оно сразу опрокинуло колоссальную державу, слишком возвысившуюся, чтобы удержаться¹.

В этих параграфах мы имеем только краткие формулы, отчасти повторяющие положения Вольтера („История Карла XII“, книга IV, „История России“, часть I, гл. XVII и XVIII); однако сжатость формулировок заставила автора, во-первых, сделать отбор фактов из большого числа, приведенных Вольтером, а, во-вторых, даже изменить самые формулы. Так, Геерен пишет: „он начал осаду Полтавы, и царь поспешил двинуться на него“ („il mit le siège devant Pultawa, et le czar se hâta de marcher sur lui“). Между тем, Вольтер пользуется совершенно другими формулами. Описывая осаду Полтавы, он говорит: „Там поджидал его Петр“ („C'était là que Pierre l'attendait“) и описывает военное укрепление юга России, обеспечивающее победу русских войск в этом районе.

Характерно, что всё изложение Геерен сводит к следующим элементам:

- 1) Движение Карла XII на Москву.
 - 2) Поворот на Украину. Здесь замечание Геерена, что после этого легко было предвидеть развязку.
 - 3) Поражение Левенгаупта и недостаточная помощь Мазепы.
 - 4) Движение Карла к Полтаве.
 - 5) Поспешное движение Петра вслед за Карлом.
- Итоги оценки результатов полтавской битвы:
- 1) укрепление преобразований Петра („... travaux entrepris par Pierre-le-Grand“) и
 - 2) уничтожение могущества Карла XII.
- Обратимся теперь к „Полтаве“ и посмотрим следует ли Пушкин указанной схеме. В песне III факты излагаются так:

Но время шло. Москва напрасно
К себе гостей ждала всечасно,
Средь старых, вражеских могил,
Готовя шведам тризну тайну.
Незапно Карл поворотил
И перенес войну в Украину.

Здесь содержатся первые два пункта схемы Геерена.

Далее Пушкин переходит к личности гетмана и затем снова возвращается к общим фактам:

¹ „9. Sur ces entrefaites Charles XII se détermina à attaquer son ennemi au centre de son empire; mais la Russie était plus difficile à conquérir que la Pologne, et le czar devait résister plus que n'avait fait le faible électeur de Saxe. Il marcha d'abord vers la capitale de la Russie, puis, cédant aux propositions, qui lui furent faites de la part de l'hetman des cosaques Mazeppa, il changea de route et se dirigea vers l'Ukraine; dès ce moment il fut possible de prévoir l'issue d'une entreprise aussi hasardeuse. Le roi de Suède partit de Saxe au mois de septembre 1707. Il traversa la Pologne et donna ordre au général Lewenhaupt de le rejoindre en Courlande; le 11 août 1708 il passa le Nieper et pénétra dans l'Ukraine; pendant ce temps Lewenhaupt était arrêté par les armées de Pierre-le-Grand: il fut battu à Liesna le 28 septembre de la même année, et, pour comble de malheur, Charles ne put obtenir de Mazeppa les secours qu'il en avait attendus: au mois de mai 1709, il mit le siège devant Pultawa, et le czar se hâta de marcher sur lui. — 10. La bataille de Pultawa (8 juillet 1709) décida du sort du nord de l'Europe. Nulle autre dans les temps modernes n'eut de plus graves conséquences; elle consolida d'une part tous les travaux, entrepris par Pierre-le-Grand, d'autre part elle renversa en un instant une puissance colossale, élevée trop haut pour pouvoir se soutenir“. „Manuel historique...“, par M. Heeren, t. I, p. 235—236). Переводчик отступил от немецкого оригинала, опустив указания на то, что Петр „для достижения своей цели не остановился перед опустошением своей страны“, что Карл мог добиться победы „только на прямом и кратчайшем пути“ и что гибель Карла аналогична гибели Наполеона.

И ты, любовник бранной славы,
 Для шлема кинувший венец,
 Твой близок день, ты вал Полтавы
 Вдали завидел наконец.

И царь туда ж помчал дружины
 Они как буря притекли —
 И оба стана средь равнины
 Друга друга хитро облегли...

Здесь заключается замечание Геерена по пункту 2, а также пункты 4 и 5, которые являются в своем сочетании существенным отличием изложения Геерена от Вольтера.

Вспомним теперь предисловие к первому изданию „Полтавы“:

„Полтавская битва есть одно из самых важных и самых счастливых происшествий царствования Петра Великого. Она избавила его от опаснейшего врага, утвердила русское владычество на юге; обеспечила новые заведения¹ на севере; и доказала государству успех и необходимость преобразования, совершаемого царем“.

Это полностью совпадает с итогом Геерена, и лишь переставлены элементы.

Далее в том же предисловии, перечислив „ошибки“ Карла XII, Пушкин пишет: „И мог ли он ожидать, что Малороссия, всегда беспокойная, не будет увлечена примером своего гетмана и не возмутится противу недавнего владычества Петра, что Левенгаупт три дня сряду будет разбит...“ Это вполне соответствует пункту 3 исторической схемы Геерена

Еще раз повторяю, что „Manuel“ Геерена должен был послужить не источником фактов, которые Пушкин в большой подробности знал по другим работам, а исключительно для схематизации исторической последовательности событий и их оценки.

С этой точки зрения мы должны признать указанные совпадения далеко не случайными и включить „Manuel“ Геерена в число книг, к которым Пушкин несомненно обращался и, следовательно, таких, на изучении которых формировалось его историческое сознание.

2. Белкин и Гиббон

Имя Гиббона дважды встречается в произведениях Пушкина. В восьмой главе „Евгения Онегина“ Пушкин говорит о своем герое:

Стал вновь читать он без разбора.
 Прочел он Гиббона, Руссо,
 Манзони, Гердера, Шамфора,
 Madame de Staël, Биша, Тиссо,
 Прочел скептического Бея,
 Прочел творенья Фонтенеля,
 Прочел из наших кой-кого,
 Не отвергая ничего... (XXXV).

Здесь английский историк фигурирует в потоке имен, нарочито бессистемном, сознательно спутанном, характеризующем безразборное чтение Онегина. Списки книг, прочитанных Онегиным, вообще говоря, характеризуют собственное чтение Пушкина. И данный список содержит имена авторов, достаточно представленных в личной библиотеке Пушкина.

¹ Современные корректора упорно переправляют это слово на „завоевания“, что, как мы видим, не соответствует мысли Пушкина. В издании 1828 г. (единственный источник текста) стоит „заведения“. Ясно, что „юг“ — это Украина, а „север“ — старое Московское государство.

или же таких, имена которых им часто упоминаются.¹ В частности, в библиотеке Пушкина имеется основной труд Гиббона во французском переводе Гизо, в издании 1828 г. (первое издание 1812 г.): „Histoire de la Décadence et de la chute de l'Empire Romain“. Меру чтений Пушкина дает тот факт, что из 13 томов разрезан весь первый и 25 страниц второго.

Кроме того, у Пушкина были тоже во французском переводе „Mémoires de Gibbon“ (ан V — 1793), два переплетенные тома (приобретены в мае 1836 г. — см. „Литературный Архив“, 1, 1938, стр. 37).

Второе упоминание Гиббона тоже довольно бедное. В статье „О ничтожестве литературы русской“ (1834) говорится: „Англия в лице Юма, Гиббона и Вальпола приветствует энциклопедию“. Это упоминание опять-таки не дает достаточного представления о размерах знакомства Пушкина с произведениями Гиббона.

Между тем, некоторый след Гиббон оставил в произведениях Пушкина.

В „Истории села Горюхина“, близкой по времени создания к восьмой главе „Онегина“, мы читаем следующие строки:

„Ныне как некоторый подобный мне историк, коего имени я не запомню, окончив свой трудный подвиг, кладу перо и с грустью иду в мой сад размышлять о том, что, написав Историю Горюхина, я уже не нужен миру, что долг мой исполнен и что пора мне опочить!“

Черновой текст несколько раскрывает имя историка; там мы читаем: „некоторый англичанин“.

Этим англичанином был Гиббон, а ближайшим образом имеются в виду известные строки из его „Мемуаров“, в которых говорится об окончании „Истории упадка и разрушения римской империи“:

„В день, или вернее в ночь, 27 июня 1787 г. между 11 и 12 часами я написал последнюю строку последней страницы моего труда в беседке в моем саду. Положив перо я прошелся несколько раз под зелеными сводами аллеи акаций, откуда открывался вид на окрестности, на озеро и горы. Погода была тихая, небо чистое, серебряный диск луны отражался в водах, и вся природа была погружена в молчание. Не скрою первого чувства радости в ту минуту, когда вернулась мне свобода и, может быть, готовилась моя известность; но моя гордость вскоре успокоилась и трезвая грусть овладела моей душой при мысли, что я только что расстался со старым и милым спутником, и что каков бы ни был предельный срок моей личной истории, жизнь историка может быть лишь краткой и ненадежной“.²

¹ Единственным исключением является имя Тиссо, нигде более не упоминаемого. О трудности расшифровки, кого именно имеет в виду Пушкин, разъяснено в заметке „Тиссо“, помещенной мной в „Путеводителе по Пушкину“, изд. „Красной Нови“, 1930, т. VI, стр. 351. Однако сильные аргументы заставляют склониться в пользу Тиссо-медика. Частично аргументы в его пользу приведены в „Revue de littérature comparée“, 1937 (специальный номер, посвященный Пушкину), стр. 234—236.

² It was on the day, or rather night, of the 27th of June 1787, between the hours of eleven and twelve, that I wrote the last line of the last page in a summer-house in my garden. After laying down my pen, I took several turns in a berceau or covered walk of acacias, which commands a prospect of the country, the lake, and the mountains. The air was temperate, the sky was serene, the silver orb of the moon was reflected from the waters, and all nature was silent. I will not dissemble the first emotions of joy on the recovery of my freedom, and perhaps the establishment of my fame. But my pride was soon humbled, and a sober melancholy was spread over my mind by the idea that I had taken an everlasting leave of an old and agreeable companion, and that, whatsoever might be the future date of my history, the life of the historian must be short and precarious.

Во французском переводе Гизо: Ce jour, ou plutôt cette nuit arriva le 27 juin 1787; ce fut entre onze heures et minuit que j'écrivis la dernière ligne de ma dernière page, dans un pavillon de mon jardin. Après avoir quitté la plume, je fis plusieurs tours dans un berceau ou allée, couvert d'acacias, d'où la vue s'étend sur la campagne, le lac et les montagnes. L'air était doux, le ciel serein; le disque argenté de la lune se réfléchissait dans les eaux du lac, et toute la nature était plongée dans le silence. Je ne dissimulerai pas les premières émotions de ma joie en ce moment qui me rendait ma liberté et allait peut-être établir ma réputation; mais les mouvements de mon orgueil se calmèrent bientôt, et des sentiments moins tumultueux et

Не трудно заметить, что Пушкин не только иронически реагировал на тираду Гиббона. Она нашла и иной, более сочувственный отклик в душе Пушкина, в эти дни написавшего:

Миг вождеденный настал, окончен мой труд многолетний.
 Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня?
 Или, свой подвиг свершив, я стою, как доденщик ненужный,
 Плату приявший свою, чуждый работе другой;
 Или жаль мне труда, молчаливого спутника ночи,
 Друга Авроры златой, друга пенатов святых?

Г. С. ГЛЕБОВ

УТРАЧЕННАЯ СКАЗКА ПУШКИНА

Факт раннего интеллектуального развития Пушкина — бесспорен. Литературные и философские вопросы уже в юные годы овладели вниманием будущего поэта. В этом сказались как его личные черты и наклонности, так и влияние окружающей среды, — дворянской интеллигенции Москвы и Петербурга, — в которой живы были традиции французского просветительства, интерес к литературе, увлечение театром.

Еще до поступления в лицей Пушкин знакомится с Плутархом, Гомером, французскими классиками XVII в., Вольтером, Ж. Ж. Руссо и другими. Это знакомство с европейской литературой и философией, начавшееся в Москве, расширяется в Лицее. Не случайно в стихотворениях лицейского периода мы находим имена Ж. Ж. Руссо, Канта, Сенеки, Эпикура, Вольтера, Зенона, Сократа, Эпиктета. Чаще всего упоминается имя Вольтера („Городок“, „Монах“, „Исповедь стихотворца“, „Бова“, „Послание к Лиде“).

В программе автобиографических записок (1830) Пушкин под 1811 г., — годом поступления в Лицей, — отмечает: „Мое положение. — Философические мысли. — Мартинизм“.¹ Интерес к вопросам философского порядка был настолько интенсивным, что Пушкин через двадцать лет помнит об этом и собирается рассказать в записках. Вопросы эти волновали юные умы, как злоба дня.

В последние годы пребывания в Лицее Пушкин предпринимает своеобразные философско-поэтические работы. Он пишет сказку „Фатам или рзума человеческого: Право естественное“ и комедию „Философ“. Ни сказка, ни комедия до нас не дошли. Но содержание сказки, основную идею ее мы знаем по рассказам П. В. Анненкова и В. П. Гаевского. Сказка эта, насколько можно судить по дошедшим материалам, имеет большое значение для выяснения взглядов молодого Пушкина.²

Обратимся к имеющимся в нашем распоряжении свидетельствам.

plus mélancoliques s'emparèrent de mon âme lorsque je songeai que je venais de prendre congé de l'ancien et agréable compagnon de ma vie, et que, quel que fût un jour l'âge où parviendrait mon histoire, les jours de l'historien ne pourraient être désormais que bien courts et bien précaires („Histoire de la Décadence et de la chute de l'Empire Romain“, Paris, 1828, t. 1, p. 40, цитата в „Notice sur la vie et le caractère de Gibbon“ Гизо; ср. другой перевод в „Mémoires de Gibbon“, an V, t. I, chapitre XXI, pp. 241—242).

¹ Екатерина II называла Н. И. Новикова и его единомышленников „мартинистами“. Термин — неправильный, но получивший широкое распространение в обществе (ср., напр., в записке „Нечто о Царскосельском Лицее и о духе оного“). Пушкин пользуется принятой терминологией (ср. в статье „Александр Радищев“).

² П. О. Морозов в комментариях к изданию сочинений Пушкина ни одним словом не обмолвился о „Фатаме“ (изд. „Просвещение“, VI, 446). Н. О. Лернер, давший в издании под редакцией С. А. Венгерова (т. I, стр. 302) комментирующего характера заметку „Литературные замыслы и приписываемые Пушкину произведения 1813—1815 гг.“, в отношении „Фатама“ ограничился только выпиской из „Материалов“ Анненкова. Ничего нет о „Фатаме“ и в „Путеводителе по Пушкину“ (ГИХЛ, 1931).

Первое. В лицейском дневнике 10 декабря 1815 г.¹ Пушкин записывает: „Вчера написал я третью главу *Фатама или разума человеческого: Право естественное*. Читал ее С. С. и вечером с товарищами тушили свечки и лампы в зале. Прекрасное занятие для философа! — Поутру читал *Жизнь Вольтера*“.

Второе. Биограф поэта пишет: „Некоторые из его (Пушкина. Г. Г.) товарищей еще помнят содержание романа: „Фатама“, написанного по образцу сказок Вольтера. Дело в нем шло о двух стариках, моливших небо даровать им сына, жизнь которого была бы исполнена всевозможных благ. Добрая фея возвещает им, что у них родится сын, который в самый день рождения достигнет возмужалости, и вслед за этим, почестей, богатства и славы. Старики радуются, но фея полагает условие, говоря, что естественный порядок вещей может быть нарушен, но не уничтожен совершенно: волшебный сын их с годами будет терять свои блага и нисходить к прежнему своему состоянию, переживая вместе с тем года юношества, отрочества и младенчества до тех пор, пока снова очутится в руках их беспомощным ребенком“.²

„Моральная сторона сказки состояла в том, — замечает Анненков, — что изменение натурального хода вещей никогда не может быть к лучшему“.

Третье. В. П. Гаевский сообщает о „не уцелевшей восточной сказке Фатам или разум человеческий“ следующее: „Содержание ее мы слышали с некоторыми подробностями: супруги просили у судьбы сына самого разумного, каких еще не бывало; но как в природе все развивается в ту или другую сторону, то им обещано, что сын их родится необыкновенно умным, с годами же постоянно будет терять способности и, наконец, обратиться в детство. Действительно, родившись, он был чрезвычайно учен, говорил по латыни, и едва выглянул в свет, спросил *ubi sum?*“ и т. д.³

П. В. Анненков в одном месте („Материалы“) называет „Фатам“ романом, „написанным по образцу сказок Вольтера“, а в другом („Пушкин в Александровскую эпоху“) — „философскую повестью“. В. П. Гаевский пишет о „Фатаме“ — „восточная сказка“.

Содержание „Фатама“ со всей очевидностью свидетельствует о сказочной разработке темы. Пушкин в эти годы увлекался Вольтером и решил использовать ту форму, в которую „фернейский злой крикун“ иногда воплощал свои остроты, смелые, разрушительные мысли.

Но главное, разумеется, не в этом. Главное в той мысли, в той идее, которую гениальный юноша стремился выразить. Идея эта имеет глубокий философский смысл.

Показания Анненкова и Гаевского о „Фатаме“ в общем совпадают, частично дополняя друг друга. Но формулировка Гаевского — „в природе все развивается в ту или другую сторону“ — неправильна. Она неточно передает мысль о естественном росте и развитии, которое совершается в определенном направлении, а не „в ту или другую сторону“. — Анненков более точен:

а) „естественный порядок вещей может быть нарушен, но не уничтожен совершенно“;

б) „изменение натурального хода вещей никогда не может быть к лучшему“.

В „Фатаме“, таким образом, Пушкин ставит первостепенного значения вопрос; о естественном состоянии человека, о законах развития, о правах разума. Примечательна сама постановка этого вопроса.

В ней нет, впрочем, ничего неожиданного. Знакомство с французскими мыслителями XVIII в., в особенности с Ж. Ж. Руссо, должно было подвести юного поэта к увлекательной проблеме „*l'homme de la nature*“, естественному праву и т. д. Да и воспоминания о Великой буржуазной революции во Франции были свежими, волновавшими мысль.

¹ В первоначальной публикации П. В. Анненков ошибочно напечатал: „... главу: *Фатама или разум человеческий*. . .“ вм. „*разума человеческого*“.

² П. Анненков. А. С. Пушкин. „Материалы для его биографии и оценки произведения“, СПб., 1873, стр. 22.

³ „Пушкин в Лицее и лицейские его стихотворения“ — „Современник“, 1863, т. XXVII, стр. 157—158.

Различные философские и политические учения и воззрения, существовавшие за стенами Лицея и за границами России, находили свое отражение и внутри Лицея. „В Лицее существовали на школьных скамейках французские сенсуалисты, немецкие мистики, деятели атеисты и проч.“¹

Умонастроения и интересы Пушкина и его товарищей в области философии и политики мы знаем из их переписки, воспоминаний, литературных опытов. В ряду этих источников важнейшее место занимает философский, политический и литературный „Словарь“ В. К. Кюхельбекера, составившийся в 1815—1817 гг.² — „Словарь“, который Пушкин называет „наш словарь“.³ Его содержание свидетельствует о повышенном интересе к идеям Ж. Ж. Руссо: в „Словаре“ находится 46 выписок из Руссо, 115 выписок из Ф.-Р. Вейса, ученика Руссо, статьи „Естественное право“, „Естественная религия“ и т. д.

В этой связи особенный интерес приобретает фраза в одной из статей № 3 „Лицейского Мудреца“, вышедшего в 1815 г., т. е. в год работы Пушкина над „Фатамом“: „Теперь в классах говорят о правах естественных...“⁴

Обращение Пушкина к теме „Фатама“ было, как видим, не случайным. Тема — „разума человеческого право естественное“ — непосредственно связана с кругом интересов лицейстов, с вольнолюбивым „лицейским духом“. Большая идейная значимость утраченной сказки юного Пушкина несомненна.

В мировоззрении Пушкина на протяжении всего жизненного пути идея правды естественного состояния и естественного развития человека играет огромную роль. Человек для Пушкина всегда „сын природы“, подчиненный „вечным законам природы“. Но на рубеже 20-х годов идея „l'homme de la nature“ сталкивается с идеей культуры, также имеющей свою правду, хотя бы и исторически относительную, как думал поэт. Из этого столкновения рождаются образы Черкешенки и Пленника, Земфиры и Алеко, Татьяны и Онегина, тема городской и деревенской жизни и т. д. Проблема человека — в итоге — ставится и разрабатывается Пушкиным с глубиной подлинной диалектики. Впрочем, это уже вопрос, выходящий далеко за пределы настоящей заметки.

Н. В. ЯКОВЛЕВ

К ЛИТЕРАТУРНОЙ ИСТОРИИ „КАПИТАНСКОЙ ДОЧКИ“

В журнале „Детское чтение для сердца и разума“, часть VII, Москва, в университетской типографии, у Н. Новикова, 1786 г., стр. 110—111, напечатан следующий анекдот:

АНЕКДОТ

Иосиф II, нынешний римский император, прогуливаясь некогда ввечеру, по своему обыкновению, увидел девушку, которая заливалась слезами, спросил у нее, о чем она плачет, и узнал, что она дочь одного капитана, который убит на войне, и что она осталась без пропитания со своею матерью, которая при том давно уже лежит больна.

„Для чего вы не просите помощи у императора?“ спросил он.

Девушка отвечала, что они не имеют покровителя, который бы представил государю о их бедности.

„Я служу при дворе, сказал монарх, и могу это для вас сделать. Придите только завтра во дворец, и спросите там поручика Б**“.

В назначенное время девушка пришла во дворец. Как скоро выговорила она имя Б**, то отвела ее в комнату, где она увидела того офицера, который вчера говорил с нею и узнала в нем своего государя. Она пришла вне себя от удивления и страху. Но импера-

¹ П. В. Анненков. „А. С. Пушкин в Александровскую эпоху“, СПб., 1874, стр. 48.

² Ю. Тынянов. „Пушкин и Кюхельбекер“, „Литературное наследство“, № 16—18, стр. 332 и сл.

³ Там же, стр. 335.

⁴ К. Я. Грот. „Пушкинский лицей“, СПб., 1911, стр. 280.

тор, взявши ее за руку, сказал ей весьма ласково: „вот триста червонных для твоей матери и еще пятьсот за твою к ней нежность и за доверенность ко мне. Сверх того определяю я вам 500 талеров ежегодной пенсии“.

В той же части названного журнала напечатано известие „О некоем ядовитом дереве, находящемся на острове Яве, в Ост-Индии“ (стр. 101—109). Это известие так же тесно связано с „Анчаром“,¹ как анекдот с „Капитанской Дочкой“ (встреча Марии Ивановны с Екатериной II).

М. К. АЗАДОВСКИЙ

СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ ПУШКИНЫМ ДАЛЮ

Одна из „русских сказок“ В. И. Даля, как известно сообщена ему Пушкиным. Это — сказка „о Георгии Храбром и о волке“. В примечании к ней Даль сообщает: „Сказка эта рассказана мне А. С. Пушкиным, когда он был в Оренбурге и мы вместе поехали в Бердскую станицу, местопребывание Пугачева во время осады Оренбурга“.

Далевская сказка является обработкой одного из замечательнейших сюжетов так называемой крестьянской мифологии — сюжета о „волчьем пастыре“. В течение XIX в. был сделан ряд записей этого сюжета, но впервые он стал известен только от Даля и через него вошел и в европейскую литературу. Сказка Даля впервые появилась в 1833 г., в Смирдинском альманахе „Новоселье“, а уже в 1836 г. она была переведена на немецкий язык и позже вошла в состав известного сборника Н. Kletke „Märchensaal“;² в далевской обработке этот сюжет включен и в сборник О. Dännhardt'a „Natursagen“.³ Превосходный вариант опубликован А. Н. Афанасьевым в его „Русских народных легендах“, причем этот вариант также взят из собрания Даля, — но эта запись относится уже к более позднему времени и ни в какой степени не повлияла на далевскую сказку; последняя, несомненно, всецело восходит к версии, рассказанной Далю Пушкиным.

Сюжет сказки следующий: голодный волк встречается лису, бегущую с цыпленком в зубах, и узнает от нее, что Георгий Храбрый правит „суд и расправу“ „на малого и великого“. Не добившись там толку, он решает действовать самостоятельно и нападает на стадо сайгаков (козулей); однако эта попытка ему „не ладно отозвалась“. Звери собрались гурьбой и медведь, по общему приговору, выпорол волка. Тогда волк решает отправиться к Георгию Храброму — „пусть укажет мне, чье мясо, чьи кости глотать“. Георгий направляет волка к гнедому туру, но тот ударяет его рогами и перебрасывает через себя; после новой жалобы волка Георгий предназначает ему в жертву лошадь, но она бьет его копытом; посылает его к барану — баран ударяет волка костяным лбом и т. д. Наконец, Георгий советует ему просить пищи у людей „добром“. Волк приходит в швальню, и один из портных, кривой Тараска, берется „сделать из него такого молодца что любо да два, что всякая живность и скорость сама тебе на курсак пойде, только рот разевай пошире“. Волк соглашается; Тараска „отмотал иглу на лацкана“, и принес собачью шкуру, в которую и зашил бедного волка. Вот отчего появилась на волке собачья шкура, — и с тех пор „стал он ни зверем ни собакой; спеси да храбрости с него сбили, а ремесла не дали“. „Кто посильнее его, кто только сможет, тот его бьет и душит где и чем попало; а ему, в чужих шароварах, длаяя расправа; не догонит часом и барана, а сайгак и куйрука понюхать не даст, а что хуже всего, от собак житья нет“.

¹ Анализу настоящего сближения посвящена поступившая в редакцию „Временника“, заметка Е. П. Приваловой. *Ред.*

² Н. Kletke. „Märchensaal“, I—III, Berlin, 1844—1845 (II, SS. 63—70).

³ О. Dännhardt. „Natursagen, eine Sammlung naturdeutender Sagen, Märchen, Fabeln und Legenden“. Lpz. 1907—1912. III—IV. Tiersagen, S. 299. J. Poljwka в специальном исследовании „Vlčí Pastýř“ (Sbornik prací věnovaných prof. Y. Tillevi, 1927) насчитывает свыше 60 вариантов, записанных у славянских народов; кроме того, этот сюжет известен в западной Европе, а также на Кавказе, у народов Поволжья, у турецких племен и т. д.

В далековской обработке есть одна особенность, на которой следует остановиться подробнее. Изложение его пересыпано и татарскими словами и упоминаниями о различных татарских обрядах. Волк ждет фирмана (т. е. указа), разрешающего и ему грешному скоромный стол; козули называются сайгаками; рядом с русскими словами: „баранина“, „говядина“ употребляются „куй-иты“, „сухыр-иты“, волк пересыпает свои речи также словами татарского происхождения. Например: „Эдак не ладно, совсем яманбулыр будет плохой“ или „Нашему брату в сумерки можно залезть промеж других людей, а кабы в темь полуночную, так и подавно; а среди белого дня — бармоймин, не пойду“. Татарскими словами пересыпает свою речь и рассказчик: „курсак“ (живот), „куйрук“ (хвост), „архар“ (баран), „ашать“ (есть) и т. д. Наконец, обращаясь к Георгию Храброму, волк говорит ломаным русским языком: „Георгий! Пришла моя твоя просить, дело наша вот какой: моя ашать нада, курсак совсем пропал, а никто не даст“.

На эту особенность сказки обратил внимание и Poliwka, отметив это как неудачное измышление Даля. Однако вопрос гораздо сложнее и нуждается в ином объяснении. Действительно Даль во все свои сказки вносил элементы специфического, языкового балагурства и „затейничества“, но всюду он остается на почве русского языка. Слова из другого языка он вносил только тогда, когда это в какой-то мере оправдывалось содержанием сказки. Совершенно непонятно, почему вдруг понадобилось бы Далю вводить татарские слова и предметы татарского обихода в русскую народную легенду да еще относящуюся к одному из популярнейших святых. Очевидно, у Даля были для этого определенные основания. К тому же, не следует забывать, что он опубликовал сказку еще при жизни Пушкина в том же году, в каком слышал ее от него, и нужно думать, что последнему было совершенно ясно, почему в сказке Даля появились татарские слова и ломаная русская речь. Это дает возможность предположить, что в такой форме сказка была сообщена Далю самим Пушкиным, а стало быть и в такой же форме слышал ее и Пушкин. Пушкин мог слышать ее от татарина, говорящего по-русски, может быть даже калмыка; по крайней мере, на такое предположение наводят слова волка „баранина ль говядина, по мне все равно, был бы только, как калмыки говорят — махан мясное“, а в другой редакции еще более выразительно: „по нашему по калмыцкому“.¹

О знакомстве Пушкина в какой-то мере с калмыцким фольклором свидетельствует знаменитая сказка об орле и вороне, которую рассказывает Гриневу Пугачев и которую последний называет „калмыцкой“.

Очевидно, Пушкин слышал эту сказку от какого-либо татарина или калмыка, говорящего по-русски, во время своего пребывания в Казанской или Оренбургской губ., и тогда же под свежим впечатлением рассказал ее Далю, сохранив и в своей передаче некоторые особенности речи рассказчика.² Существование же подобного сюжета у народов СССР засвидетельствовано рядом записей; известен этот сюжет и у народов Поволжья, напр. у мари.³

Таким образом, в этой сказке нужно видеть новое свидетельство интереса Пушкина к фольклору народов России. Вопрос о степени знакомства Пушкина с этим национальным фольклором еще далеко не выяснен до конца, далеко не учтен и весь материал, относящийся к этой теме. Несомненно, в этой области возможны еще большие и интересные открытия.

¹ Самое слово „махан“, по объяснению проф. Н. К. Дмитриева, этимологически восходит к монгольским языкам („тахан“ по-монгольски — „мясо“) и позже вошло из калмыцкого языка в русско-татарский аргю.

² В сказке Даля: „волк говорил по своему, по татарскому, а был переводчик из казанских татар“.

³ Yryö Wichmann. Volksdichtung und Volksbräuche der Tscheremissen. Helsinki. 1931, SS. 167—168 (№ 8: Der Wolf).

Правда, этот вариант имеет некоторые специфические детали и значительно отличается от обыкновенного типа; но связь ее с основным сюжетом и зависимость от последнего — несомненна.

Так, например, совсем недавно, в юбилейные дни, Л. П. Семенов напомнил о знакомстве Пушкина с адыгейским фольклором.¹

Несомненно, дальнейшие исследования обнаружат еще не мало такого рода фактов, которые позволят, наконец, создать полную картину фольклорных интересов Пушкина в этой области и установить точно степень осведомленности поэта в фольклоре национальностей нашей страны.

А. А. НАЗАРОВСКИЙ

ЗАБЫТЫЙ АВТОГРАФ ПУШКИНА

В своей работе „Подлинники писем Гоголя к Максимовичу и неопубликованные отрывки из них“,² характеризуя внешнюю сторону писем Гоголя, С. Пономарев подчеркнул, что „и к Максимовичу (как и к другим близким знакомым, А. Н.) он писал письма на случайно подвернувшемся листке, иногда на половинке его, часто... бледными чернилами... иногда разными в одном и том же письме“³ — и для иллюстрации сказанного привел один конкретный случай.

„Одно письмо — говорит Пономарев — (от 7 апреля 1834 г.) он пишет на полусьюмшке, на которой сбоку виднеются строки Пушкина, вероятно, конец его записки к Гоголю: *«Вы правы — я постараюсь. До свидания. А. П.»*“⁴

Как ни странно, это сообщение Пономарева о пушкинских строках, сохранившихся в одном из писем Гоголя, сделанное еще 60 лет тому назад, было так основательно забыто, что в последующей пушкиноведческой и гоголеведческой литературе о нем совершенно нигде не упоминается. В. Шенрок, имевший в своих руках автографы писем Гоголя к Максимовичу, но, правда, использовавший их очень небрежно, хранил об этом полное молчание, хотя считает нужным отметить, какие слова в этом письме (от 7 апреля 1834 г.) вписаны Гоголем сверху строки, а какие зачеркнуты;⁵ не упоминают об этих пушкинских строках наиболее полно и тщательно подготовленные издания писем Пушкина — под редакцией В. И. Сaitова⁶ и Л. Б. Модзалевского;⁷ не говорят об этом автографе и такие специальные работы, следящие буквально за каждым шагом, каждым моментом жизни обоих писателей, как „Опыт хронологической канвы к биографии Н. В. Гоголя“ — А. И. Кирпичникова⁸ и „Труды и дни Пушкина“ — Н. О. Лернера;⁹ не вспоминает о нем и ряд авторов, специально изучавших вопрос о личных отношениях Пушкина и Гоголя и привлекая, казалось, все, что только можно, для освещения этих отношений;¹⁰ наконец, мало того, автограф этот выпал из поля зрения даже участников недавно вышедшего специального

¹ Л. П. Семенов. „Пушкин на Кавказе“, Пятигорск, 1937, стр. 71—72. Пушкин был знаком с историком адыгейского народа Ногмовым и даже в какой-то мере помог ему при переводе адыгейского фольклора на русский язык. Эти сведения извлечены Л. П. Семеновым из статьи А. Берже „Краткий биографический очерк Шора Бекмурзин Ногмова“, приложенной к книге: Ш. Ногмов, „История адыгейского народа“, Пятигорск, 1891.

² „Сборник Отделения Русского языка и словесности Академии Наук“, т. XVIII, № 3, СПб., 1877.

³ Там же, стр. 2.

⁴ Там же, стр. 2. Курсив Пономарева.

⁵ „Письма Н. В. Гоголя“, т. I, стр. 288—289.

⁶ „Сочинения Пушкина“, изд. Академии Наук — „Переписка“, т. III (1833—1837), СПб., 1911.

⁷ Пушкин. „Письма“, т. III (1831—1833). „Academia“, 1935.

⁸ Оттиск из „Полного собрания сочинений Гоголя“ под ред. А. И. Кирпичникова М., 1902.

⁹ 2-е исправленное и дополненное издание Акад. Наук, СПб., 1910 (1-е — 1904 г.).

¹⁰ Назовем тут хотя бы Б. Лукьяновского, „Пушкин и Гоголь в их личных отношениях“ (Вопрос о „дружбе“). Беседы. Сборник Общества ист. литературы в Москве, 1915; А. Долинина (Искоз), „Пушкин и Гоголь“ (К вопросу об их личных отношениях). Пушкинский сборник памяти С. А. Венгерова, 1923; В. Гиппиуса, „Литературное общение Гоголя с Пушкиным“ („Ученые записки Пермского Гос. ун-та“. Отд. обществ. наук. Вып. II). Пермь, 1931.

труда „Рукою Пушкина“¹ имевшего основной задачей — собрать по возможности все „несобранные и неопубликованные тексты“ великого поэта.

Интересующее нас письмо от 7 апреля 1834 г. входит в состав коллекции писем Гоголя к Максимовичу (24 письма и две записки с 1832 по 1850 г.), в свое время уступленной вдовою Максимовича Нежинскому историко-филологическому институту при посредстве С. Пономарева.² Осенью 1934 г. эти письма вместе со всеми другими автографами Гоголя были переданы из Нежинского педагогического института в отдел рукописей библиотеки Академии Наук УССР, где и хранятся в настоящее время. Все письма заключены в один общий переплет (25,5 × 13,75 см.). Письмо от 7 апреля 1834 г. является в коллекции десятым по хронологической последовательности и занимает шестнадцатый пронумерованный лист размером 21 × 13 см.³

Содержание письма, начинающегося словами: „Не беспокойся! дело твое, кажется пойдет на лад...“, целиком посвящено вопросу о переводе Максимовича во вновь открываемый Киевский университет, причем Гоголь, очевидно, торопился обрадовать и успокоить его благоприятными сведениями: „Я очень рад, что письмо мое тебя успокоит, и потому не хочу ничего постороннего писать, чтобы не задержать его, чтобы ты получил его как раз впору...“⁴ Очевидно, в спешке Гоголь и воспользовался для письма Максимовичу почти чистым листком бумаги лишь с несколькими обращенными к нему (Гоголю) словами Пушкина.

Эти строки, написанные обыкновенным карандашом вдоль широкого (21 см.) верхнего края листка бумаги, приходится теперь слева у корешка рукописи и идут вертикально снизу вверх, под прямым углом пересекаясь со строками гоголевского письма, писанными чернилами вдоль узкого (13 см.) края листка.

От времени (записи Пушкина свыше 100 лет) карандаш местами уже значительно стерся, некоторые буквы видны очень неясно, и вся запись — при первом взгляде на письмо Гоголя очень мало заметная, во всяком случае, не бросающаяся в глаза, — читается с некоторым напряжением. Всё же и сейчас совершенно определенно выступают слова пушкинской записи, в свое время правильно приведенные С. Пономаревым. Вот точная транскрипция слов Пушкина, с сохранением их расположения по строкам:

Вы правы — Я постараюсь —
До свиданія.

А. П.

Приведя эту запись, С. Пономарев говорит: „Твердый, красивый почерк Пушкина сразу угадывается всяким, кто видел хоть одну его строку“.⁵ Действительно, общий характер записи не вызывает никаких сомнений в принадлежности ее Пушкину, некоторые же отдельные буквы, как заглавные *В*, *Я*, *Д* или строчные *ы*, *т* (в сочетании с предшествующим *с*), *д* (обращенное вниз), — являются особенно типичными для Пушкина в течение многих лет, в том числе и для 30-х годов. Подпись из инициалов *А П* дана в виде обычной для Пушкина монограммы. Бумага с водяным знаком фабрики А. Н. Гончарова, т. е. пушкинская. Остальные письма Гоголя к Максимовичу все писаны на бумаге без водяных знаков.

Переходим теперь к выяснению следующих связанных между собою вопросов: 1) какова хронологическая дата автографа Пушкина и, следовательно, при каких обстоятельствах он появился, и 2) каково реальное содержание автографа, т. е., что Пушкин имел в виду в немногих оставленных им на клочке бумаги словах.

¹ „Рукою Пушкина“. Несобранные и неопубликованные тексты. Подготовили к печати и комментировали М. Цяловский, Л. Модзалевский, Т. Зенгер. „Academia“, Л., 1935.

² С. Пономарев. „Подлинники писем Гоголя к Максимовичу...“ стр. 1. См. также М. Сперанского, „Описание рукописей Ист.-фил. института... в Нежине“. М., 1900, стр. 103—104, где дано краткое описание рукописи и приведены все карандашные приписки М. А. Максимовича.

³ Пономарев почему-то назвал формат этого листа „полуосьмьюшкой“. Там же, стр. 3.

⁴ „Письма Гоголя“, I, стр. 289.

⁵ Там же, стр. 2.

Ясно, что пушкинская запись была сделана на листке до того, как он послужил материалом для письма Гоголя к Максимовичу, т. е. до 7 апреля 1834 г.; с другой стороны, даже в условиях спешки, Гоголь мог употребить листок бумаги с обращенными к нему словами Пушкина для письма третьему лицу лишь только тогда, когда эти слова уже потеряли для него свое первоначальное значение, перестали быть актуальными, т. е. от получения Гоголем записки Пушкина до использования ее для письма Максимовичу должно было пройти некоторое время, возможно, от одного до нескольких месяцев.

Если последнее предположение справедливо, то хронологическая дата пушкинских строк устанавливается довольно легко, причем эта забытая записка Пушкина к Гоголю вполне естественно становится на свое место в переписке обоих поэтов, заполняя известный уже в пушкиноведческой литературе пробел. Дело в том, что письмо Гоголя к Пушкину от 23 декабря 1833 г. начинается так: „Если бы вы знали, как я жалел, что застал вместо вас одну записку вашу на моем столе. Минутой мне бы возвратиться раньше, и я бы увидел вас еще у себя...“ а из дальнейшего текста письма узнаем, что Гоголь хотел „непрерывно побывать“ у Пушкина „на другой же день“, но болезнь помешала ему, и когда он увидел, что она „запрет его на неделю“, он обратился к Пушкину письменно.¹

Мы считаем вполне вероятным, что карандашные строки Пушкина в письме Гоголя к Максимовичу от 7 апреля 1834 г. и есть именно та самая записка, которую Пушкин отставил у Гоголя на столе в начале 20-х чисел декабря 1833 г., за несколько дней до написания только-что цитированного письма Гоголя, являющегося ответом именно на эту записку.²

Таким образом это не „конец записки“, как в свое время высказался С. Пономарев,³ а вся записка полностью, являющаяся лаконическим ответом Пушкина на какое-то очень недавнее — может быть, того же дня — обращение Гоголя, дававшее возможность непосредственного краткого ответа. Как известно, большинство сохранившихся писем и записок Пушкина к Гоголю отличается подобной же краткостью (см. еще хотя-бы записки от 13 мая и октября-ноября 1834 г.) Наконец, и самое расположение строк пушкинского автографа (у корешка), и их расстояние между собою вполне убеждают нас, что если бы этим строкам предшествовали еще другие, то опущенные впис (подстрочные) части букв последней из этих строк непременно были бы видны на сохранившемся листке — у самого корешка тетради.

Наиболее трудным для разрешения является, конечно, вопрос о конкретном содержании пушкинской записки: тут возможны лишь более или менее вероятные предположения. Если только верно, что письмо Гоголя от 23 декабря 1833 г. как раз и является ответом на эту записку, то необходимо учесть, что всё оно (за исключением нескольких вступительных строк) посвящено вопросу о переезде в Киев, где Гоголь рассчитывал получить кафедру истории в открываемом университете, самая мысль о чем появилась у него недавно, может быть отчасти была подсказана ему Максимовичем.⁴

Невольно напрашивается предположение, что этому же вопросу о переезде Гоголя, о назначении его профессором в Киев посвящены и лаконические строки Пушкина: Гоголь никогда не упускал случая использовать чье-нибудь знакомство или покровительство, а Пушкин, как известно, готов был поддержать его в деле искательства кафедры, — вспомним хотя бы те записки, которыми оба поэта обменялись 13 мая 1834 г.⁵ Так и в данном случае лаконическая записка Пушкина могла быть ответом на оставшееся нам неизвестным

¹ „Письма Н. В. Гоголя“, т. I, стр. 270.

² Ср. у Н. Лернера, „Труды и дни Пушкина“, изд. 2-е, СПб., 1910, стр. 297 (под 23 XII 1833 г.): „Это ответ на не известную нам записку Пушкина к Гоголю, оставленную им у последнего“ (Курсив мой. А. Н.).

³ Стр. 2 его статьи.

⁴ См. письмо к Максимовичу от декабря 1833 г. („Письма“, I, стр. 268), а также в письме к Пушкину от 23 XII 1833 г. (там же, стр. 271).

⁵ См. „Письма Гоголя“, т. I, стр. 296. и Сочинения Пушкина, „Переписка“, под ред. Сайтова, т. III, стр. 114.

письмо (записку) Гоголя с просьбой поддержать его перед министром народного просвещения Уваровым или перед другими сильными мира сего каким-нибудь „словесным представлением“. И как позже, в мае 1834 г., Пушкин мгновенно откликнулся на одну из повторных просьб Гоголя словами „Пойду сегодня же назидать Уварова“, так и теперь, в декабре 1833 г., он так же охотно мог обещать ему „постараться“ исполнить его первую просьбу по этому делу.

Во всяком случае, когда в письме от 23 декабря 1833 г. после нескольких вступительных строк и упоминания о болезни Гоголь говорит: „Я решился, однакож, не зевать и, вместо словесных представлений (о которых он, может быть, и просил Пушкина. А. Н.), набросать мои мысли и план преподавания на бумагу (для представления Уварову. А. Н.). Если бы Уваров...“ и т. д. — когда Гоголь это говорит, это производит впечатление, что он возвращается к определенной, обоим корреспондентам хорошо известной теме, с которой связана и краткая карандашная записка Пушкина.

Полагаем, что другие предположения о реальном содержании пушкинской записки (они, конечно, возможны) будут все же менее вероятны, так как ответное письмо Гоголя (от 23 XII 1833 г.) посвящено одной доминирующей теме—вопросу о назначении и переводе в Киев.

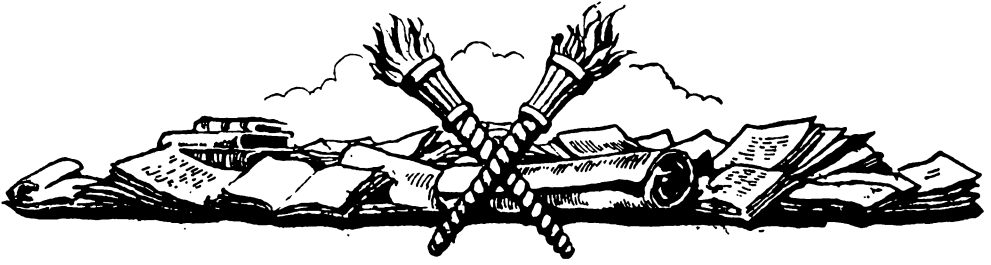
Итак, история забытого автографа Пушкина в письме Гоголя к Максимовичу от 7 апреля 1834 г. представляется нам в следующем виде.

В самом начале 20-х чисел декабря 1833 г. (20-го, 21-го числа), получив записку или письмо Гоголя (скорее всего, с просьбой поддержать его хлопоты перед министром о назначении профессором в Киев), Пушкин зашел к нему, но, не застав дома, на своем листке бумаги (фабрики А. Н. Гончарова) набросал карандашом несколько слов, являющихся прямым ответом на письмо (или записку) Гоголя. Последний ответил на пушкинскую записку письмом от 23 декабря 1833 г. Через несколько месяцев, когда записка Пушкина уже потеряла свою актуальность, а Гоголю спешно понадобилась бумага для письма Максимовичу, он использовал этот исписанный с одного края листок (7 апреля 1834 г.), который и сохранился среди других писем Гоголя к Максимовичу.¹



¹ Уменьшенные снимки с автографа Пушкина даны при статье: В. М. Павловский. „Контрастування автографу Пушкіна“. Сборн. „Криміналістика і науково-судова експертиза“. Київ, 1937, стр. 313—314.

Т Р И Б У Н А



СЕРГЕЙ ОБРУЧЕВ

К РАСШИФРОВКЕ ДЕСЯТОЙ ГЛАВЫ „ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА“

Со времени открытия П. О. Морозовым ключа к криптограмме десятой главы „Евгения Онегина“ („Пушкин и его современники“, вып. XIII, 1910, стр. 1—12) прошло 28 лет; исследователи постепенно распутали и восстановили отрывки строф, сохранившихся от этого исключительного по своему значению произведения, но до сих пор еще некоторые места остаются непонятными или не точно расшифрованными.¹ Между тем, здесь очень важна каждая строка — по ней можно судить о содержании недостающих строк и иногда даже об общем замысле. Поэтому предлагаемая ниже новая расшифровка нескольких строк этого текста представит интерес не только для специалистов, но и для широких кругов читателей.

1

Одной из строк, вызвавших наибольшие споры, является четвертая строка второго столбца криптограммы. Наиболее вероятно предположение, что она представляет 9-ю строку IX строфы. Морозов прочитал ее:

„Кинжал... тем...“

Но позже большинство комментаторов читали эту строку:

„Кинжал Л. тень Б.“

На основании этого чтения и контекста строфы IX предполагалось, что здесь говорится о Лувеле, убийце герцога Беррийского. Д. Соколов (1913) выдвинул предположение, что полная расшифровка строки дает:

„Кинжал Лувеля пел Бирон“

(т. е. Байрон — но почему-то во французском произношении). Чтение „пел“ было сразу отвергнуто другими пушкинистами, кроме Н. О. Лернера,

¹ Литературу о X главе см. в статье Б. В. Томашевского „Десятая глава «Е. Онегина»“ в № 16—18 „Литературного Наследства“, 1934, стр. 379—420.

потому, что Байрон никогда не воспевал Лувеля; установилось, как наиболее вероятное, толкование:

„Кинжал Лувеля, тень Байрона“

Но все же объяснение этой строки возбуждало глубокие сомнения, и, например, М. Гофман, дав чтение „Кинжал Л тень Б“, отметил, что второе слово — может быть не буква, а особый знак, слово „тень“ — может быть описка. В той же статье, в комментариях, он высказывает еще большие сомнения в принятом толковании этого места: „Сомнительно, чтобы после «Кинжала» стояло Л (не говоря уже о Лувеле), сомнительно, чтобы следующее слово было «пел», и несомненно что после... стоит «Б»“ (стр. 307).¹

Точно так же Б. В. Томашевский, редактор „Евгения Онегина“ в новом академическом издании 1937 г., указывает, что Л и Б, может быть, не буквы, а условные значки.

Отметим еще слабо обоснованное толкование Н. Л. Бродского:

„Кинжал Лувеля тень Бурбону“

в доказательство которого он приводит странные данные — уничтожение герба Бурбонов в 1831 г., в день годовщины убийства, т. е. уже после сожжения Пушкиным десятой главы, и строку из „Кинжала“ о том, что Занд, убийца Коцебу, в Германии „вечной тенью стал“.²

Если, отбросив все предложенные чтения, прибегнем к единственному верному способу — сравнению надписания букв в этой строке и в соседних, а также в других рукописях Пушкина того же периода, то легко установим следующее:

1. Пушкин заглавную букву Л пишет всегда гораздо острее, не с такой плавной верхушкой.

2. После заглавных букв, поставленных в криптограмме вместо собственных имен, в середине строк везде ставится точка или черта (за исключением приписанных сбоку строк правой страницы, где после З нет точки). Здесь же нет ни точки ни черты.

3. Избавившись, таким образом, от традиционного представления, что мы имеем дело с заглавной буквой Л, мы убедимся, что так Пушкин пишет только сочетание буквы „б“ с последующей гласной или твердым знаком и большей частью так пишется слово — „бы“ (ср., напр., строки 35, 43 и 49 по морозовской нумерации).

Третье слово расшифровывается нами путем сравнения как „твой“;³ четвертое слово представляет действительно заглавное Б — при этом

¹ Пропущенные строфы „Евгения Онегина“, „Пушкин и его современники“, вып. XXIII—XXIV, 1922.

² Н. Бродский. „Е. Онегин, роман А. С. Пушкина“. 2-е изд., М., 1937.

³ Эта расшифровка может встретить возражения со стороны текстологов, но другая расшифровка этого слова невозможна. „Пел“ совершенно неприемлемо, так как ять стоит после третьей черточки; для слова „тень“ нет начертания, похожего на мягкий знак; для слова „темь“ после ять не хватает одной черты для „м“. При чтении „твой“ главная труд-

вторую, менее частую у Пушкина, форму этой буквы; в этом тексте в строке 19 этой же формой буквы Б обозначено слово „бог“. Отсутствие точки после заглавной буквы в конце строки уже не так существенно, как в середине (мы находим пример этому в строке 22).

Таким образом мы получаем:

Кинжал бы твой Б

Остается решить, что скрыто под последней буквой. Здесь мы имеем несколько вариантов:

1. Если предположить, что Пушкина прервали и он бросил эту последнюю строку криптограммы, не дописав ее, то выбор будет очень велик. Мы можем ставить и одно, и два и три слова, — как собственные имена, так и нарицательные, потому что у Пушкина с заглавными буквами пишутся часто не только собственные имена (напр. в строке 44 — „Враг“, в строке 6 — „Великородный“). Хорошо подошло бы: „Богиня мести“, можно подобрать и другие слова. Но общий вид строки, ее близость к внутреннему сгибу листа, законченность буквы Б говорит за то, что строка дописана, и буква эта — условное сокращение одного только слова.

2. Если считать, что под буквой Б зашифровано одно слово, мы должны попытаться подобрать сначала собственные имена.

Мне удалось найти только одно, подходящее по размеру и имеющее отношение к кинжалам — Буонаротти. Легенда о том, что Микель Анджело Буонаротти убил натурщика, рассказана Лемпьером, а также Карамзиным (в „Письмах русского путешественника“).

Пушкин знал об этой легенде, как показывают заключительные строки „Моцарта и Сальери“:

А Буонаротти? Или это сказка
Тупой, бессмысленной толпы — и не была
Убийцею создатель Ватикана?¹

ность заключается в букве „в“ — здесь вместо нее стоит прямая черточка, в то время как пушкинское „в“ обычно закруглено. Но двумя строками выше в слове „Авось“ „в“ почти прямое, а в строке 8 слово „венчаный“ начинается совершенно прямой черточкой, как хорошо видно в подлинной рукописи. Встречается такое написание этой буквы иногда и в других рукописях.

Отсутствие значка над последней буквой не запрещает чтения ее как „и краткое“ — Пушкин иногда при скорописи опускает этот значок (см., напр., строки 1 и 35), а самую букву пишет сокращенно, как и в разбираемой строке (см. строки 28, 44 и др.).

И еще немаловажное доказательство: нельзя подобрать никакого другого слова, кроме „твой“. Я попробовал составить таблицу всех возможных (согласно пушкинским рукописям) чтений каждой черточки этого слова и, сделав затем механическое соединение всех вариантов со всеми другими, не нашел ни одного слова, которое по размеру и ударению подходило бы к этой строке — даже если первые два слова читать „Кинжала б“ вместо „Кинжала бы“. После предлагаемого чтения следующим, наиболее вероятным, вариантом является: „Кинжала б тень Б“ — но это звучит совсем не по-пушкински. Наконец, возможен вариант: „Кинжал бы тень Б“, также не очень удачный.

¹ См. Пушкин, „Полное собрание сочинений“, изд. Академии Наук СССР, т. VII, 1935, стр. 542—543.

При всей соблазнительности этой догадки, она вряд ли применима: трудно поставить кинжал Буонаротти в связь с содержанием начала девятой строфы, и, кроме того, Пушкин писал „Бонаротти“.

3. Как я указывал, заглавная буква не создает категорического требования — подбирать только собственные имена. Поэтому можно предложить различные варианты: „боготворила“, „благодарила“, „благословила“ — последний кажется наиболее пушкинским, и наиболее подходит по смыслу.

Следовательно, я предлагаю читать:

Кинжал бы твой б(лагословила).

Это чтение вполне соответствует началу девятой строфы, в которой говорится о революционном возбуждении в Европе в начале 20-х годов:

Тряслися грозно Пиринеи —
Волкан Неаполя пылал,
Безрукой К(нязь) друзьям Морей
Из К(ишинева) уж мигал...

Вероятно, Пушкин далее в строках 5—8 говорит о тиране этого времени, державшем в цепях всю Европу, об Александре.

Почему такое невинное слово, как „благословила“ зашифровано? — Потому что в соединении с „кинжалом“ оно чересчур ярко вскрывает смысл строки.

Пушкин в этой криптограмме шифрует кроме большинства собственных имен также и некоторые другие слова: в строке 11 вместо „тирана“ поставлена черта, в строке 39 вторая половина слова „присмирели“ заменена чертой, в строке 48 „народ“ обозначен начальной буквой с чертой, не говоря уже о том, что слова „царь“, „цари“, „царствовал“ везде заменены буквой З.

Все это сделано для того, чтобы даже в отдельных, разрозненных строках политический их смысл и связь с историческими событиями не сразу бросались в глаза. Поэтому зашифрованы большей частью и географические названия и имена исторических деятелей.

Еще одно подтверждение сказанного я вижу в „Отрывке“ 1823 г. („Недвижный страж дремал на царственном пороге“), из которого, как известно, несколько слов и кусков фраз перешли в десятую главу. Тема этого отрывка очень близка к строфам VIII—X десятой главы и между ними существует ясная психологическая зависимость. В отрывке изображен Александр I, угнетающий безмолвную, беспомощную Европу:

Всё молча ждет удара,
Всё пало — под ярем склонились все главы.

И в одной из следующих строф:

Волнуйте, мудрецы, безумную толпу —
Вот Кесарь — где же Брут? О, грозные витии,

Целуйте жезл России,
И вас поправшую железную стопу.

Затем Александру является тень Наполеона, к описанию которой применены те же слова, которые мы видим в начале IX строфы десятой главы, — т. е. порядок описания в десятой главе дан обратный, хронологический, по сравнению с отрывком, но сохраняется общность мыслей и даже слов.

Следует принять во внимание также две строки в черновиках Пушкина 1834 или 1835 г. Строки эти — насмешка над Александром I — составляют вместе с первыми строками IX строфы четверостишие:

Царя любовные затеи
... Демон поджигал,
Тряслися грозно Пириней
Волкан Неаполя пылал.

С. М. Бонди считает, что это продолжение работы над десятой главой, по мнению же Б. В. Томашевского, — это новое стихотворение с использованием старых строк.¹ Как бы то ни было, соединение строк из IX строфы со строками об Александре I — еще одно лишнее психологическое доказательство в пользу того, что эта строфа первоначально посвящена была Александру I.

Поэтому мое предположение о том, что в строках 5—8 строфы IX говорилось об Александре I и о возможном его убийстве новым Брутом, приобретает значительную вероятность. Это не значит, что я предлагаю считать временем создания десятой главы 1823 год, как это делал Д. Соколов,² — нет, можно лишь утверждать, что, заимствуя материал из неиспользованного отрывка 1823 г., по содержанию близкого десятой главе, Пушкин взял оттуда не только отдельные слова и куски фраз, но и основное содержание отрывка, и создал из этого строфы — восьмую и девятую, и начало десятой. Точно так же, той же осенью 1830 г., когда была сожжена десятая глава „Евгения Онегина“, та же VIII строфа ее влита почти целиком в новое произведение — стихотворение „Герой“.

Использование старого отрывка для построения исторической хроники тем более вероятно, что, как указывал П. Морозов, „Настроение, отразившееся в отрывке: «Недвижный страж», было в ту пору общим для того либерального круга, в котором вращался Пушкин и к которому принадлежали, как известно, и некоторые будущие декабристы“,³ и, следовательно, отрывок представлял для Пушкина аутентичный материал, фиксировавший настроения описываемой эпохи.

¹ Оба мнения изложены в цитированной статье Б. Томашевского на стр. 402—403.

² Д. Н. Соколов. „По поводу шифрованного стихотворения Пушкина“. — „Пушкин и его современники“, вып. XVI, 1913, стр. 1—11.

³ Примечания к тому III старого академического издания, 1912, стр. 348—349.

Таким образом разобранная загадочная строка IX строфы может быть удовлетворительно объяснена без привлечения имен Лувеля, Бурбона, Буонаротти, Байрона и прочих исторических деятелей.

2

Неудачно расшифрована и строка 39. Она написана у Пушкина так:

2

Р. Р. — снова присм —

Цифра 2 над словом „снова“ указывает, что оно должно быть переставлено в конец строки. Морозов предложил читать:

Р(ебята) присмирили снова

причем оговорился, что „ребята“ — предположительное чтение, и буквы эти, может быть, должны означать что-либо другое. Позже вошло в обычай читать эту строку так:

Р(оссия) присмирела снова

Такая расшифровка еще неудачнее, чем морозовская. В начале XI строфы говорится о восстании Семеновского полка в 1820 г.:

Потешный полк Петра Титана,
Дружина старых усачей,
Предавших некогда (тирана)
Свирепой шайке палачей...

И в следующей строфе Пушкин переходит к событиям совершенно другого порядка — к подготовке восстания декабристов:

Р. Р. — присм — снова,
И пуще ц(арь) пошел кутить,
Но искры пламени иного
Уже издавно, может быть...

Ясно, что не Россия присмирела снова, а лишь те массы, которые выступали в 1820 г. Брожение продолжалось всё время до 1825 г.

Наконец, высказывалась еще одна мало убедительная догадка (М. Гофмана), которую, автор, впрочем, позже и сам не защищал: „Значение этой записи нам не удалось раскрыть. Судя по тому, что рядом стоят два Р, можно думать, что они заменили множественное число слова (быть может народы присмирили снова)“. Вероятно М. Гофман исходил из того, что в латинском языке буква Р в обычных сокращениях обозначает „populus“ — народ, а два Р следовательно можно считать за „народы“. Но сокращение Р обозначает также Publius, pius, pater, patres pondo, rosuit, pontifex; а главное, — почему Пушкин должен был только для этого слова прибегнуть к латинскому обозначению, в то время как все другие сокращения на русском языке?

Рукопись дает нам совершенно ясные указания: там стоят два заглавных Р с точками после них, причем после второй буквы точка переходит в черту (или черта проведена по точке). Значит, мы должны найти собственное имя из двух частей или два собственных имени, начинающихся на букву Р. Черта может обозначать:

1) или что второе слово употреблено не в именительном падеже, а в какой-либо производной форме (как, напр., в строке 18 „Б — “обозначает „Бонапартова“);

2) или что Пушкин сначала прочеркнул черту вместо слова „присмирели“, — для большей конспирации, — а затем увидев, что строка совсем непонятна, прибавил это слово, но все же не в полной форме, и поставил над „снова“ цифру 2;¹

3) наконец, черта могла быть проведена просто после буквы, обозначающей собственное имя, как это сделано в черновиках последних трех строф десятой главы.

Большая длина черты и точка после второго Р указывают, что второе предположение наиболее правильное.

Если мы начнем подбирать к этой строке собственные имена на букву Р, то увидим, что выбор их очень ограничен: размер четырехстопного ямба дает для двойного имени только три слога и притом обязательно с ударением на втором слоге. Поэтому такие имена, как Ринальдо-Ринальдини (которое Пушкин упоминает и в „Дубровском“ и в „Путешествии в Арзрум“) или де Рокка-Романа (из дневника Стендаля), совершенно не годятся. Единственное чтение, которое возможно предложить, это:

Р(об) — Р(ои) присмирели снова.

Систематический просмотр всех собственных имен на букву Р показал, что иного решения не может быть.

Несмотря на неожиданность сопоставления разбойника Роб-Роя и восставших солдат, сопоставление это вполне оправдано и очень ярко.

Европа познакомилась с Роб-Роем по одноименному роману Вальтер Скотта, вышедшему в 1817 г. и скоро сделавшемуся одним из самых популярных. Пушкин высоко ценил Вальтер Скотта, часто упоминал о нем в своих статьях; в его библиотеке были романы Вальтер Скотта и на французском и на английском языках, в том числе и „Роб-Рой“ в издании 1827 г. на английском языке. Д. Якубович, отмечая напряженный интерес Пушкина к Вальтер Скотту в 1830 г., устанавливает влияние романов последнего на ряд произведений Пушкина, и в частности на „Повести Белкина“, написанные как раз в то время, когда заканчивалась десятая глава,

¹ Первая буква Р несколько выступает влево за линию текста, и можно предположить, что Пушкин приписал ее позже: сначала строка была зашифрована в короткой форме „Р. — снова“, но это показалось настолько неясным даже для самого автора, что он прибавил слева еще Р, а справа глагол; поэтому первое Р так сжато.

в болдинскую осень. Имена героев Вальтер Скотта, как указывает Д. Якубович, в это время становятся нарицательными в русской литературе.¹

Что касается „Роб-Роя“, то еще Алексей Веселовский² и позже Б. Нейман³ указали ряд конкретных сближений между этим романом и „Капитанской Дочкой“.

„Дубровский“ и „Капитанская Дочка“ были написаны несколько позже и не могут служить безусловным доказательством увлечения Пушкина именно „Роб-Роем“ уже в 1830 г., но можно считать доказанным, что Пушкин в конце 20-х годов хорошо знал романы Вальтер Скотта и что употребление прозвища одного из героев последнего в качестве нарицательного имени в пушкинских стихах этой эпохи вполне возможно.

Но что общего между семеновцами и Роб-Роем?

Как известно, Семеновский полк восстал 16 октября 1820 г. против своего командира, фронтовика-маниака Шварца, который оскорблял и истязал солдат и нарушил их права, установившиеся после войны двенадцатого года и похода в революционную Францию. В этом полку—единственном в гвардии—не применялись телесные наказания, и солдаты отличались большой сознательностью и чувством собственного достоинства. Выбранный великим князем Михаилом Павловичем Шварц должен был искоренить привилегии семеновцев и уравнять их в бесправии с другими полками.

Восстание началось с того, что первая рота первого батальона (так называемая рота его величества) с общего согласия полка заявила коллективный протест против истязаний. Рота была посажена в Петропавловскую крепость, весь полк восстал и отказался выходить в караулы. 130 человек из состава полка были отряжены товарищами, чтобы убить Шварца, но не нашли его. Солдаты не воспользовались оружием, надеясь, что царь заступится за их права, и ограничились пассивным сопротивлением. Полк был отправлен в крепость (несмотря на сочувствие всего почти гарнизона Петербурга), и затем участники восстания были жестоко наказаны и разосланы в провинциальные военные части, а Семеновский полк вновь сформирован из частей других полков.

¹ Д. П. Якубович. „Предисловие к Повестям Белкина и повествовательные приемы В. Скотта“. Сб. „Пушкин в мировой литературе“. Л., 1926, стр. 160—187, и „Реминисценции из В. Скотта в «Повестях Белкина»“. „Пушкин и его современники“, вып. XXXVII. Л., 1928, стр. 100—118.

² А. Н. Веселовский. „Западное влияние в новой русской литературе“. 5-е изд., М., 1916, стр. 175.

³ Б. В. Нейман. „«Капитанская Дочка» Пушкина и романы В. Скотта“. Сб. ОРЯС в честь акад. А. И. Соболевского, Л., 1928, стр. 440—443. Замечания по поводу сходства Дубровского с „Роб-Роем“ см. в отдельном издании „Дубровского“ Гос. изд. „Художественная Литература“, 1936, ред. и статья Д. Якубовича, стр. 145, и у П. Калецкого в статье „От Дубровского к Капитанской Дочке“.—„Литературный Современник“, 1937, № 1, стр. 160.

мои друзья А. А. Ковалю
Александровича и его супругу
Катерину Александровну
Купцовых

Многоуважаемый Александр Александрович,
С. С. Ковалю и его супругу Катерину Александровну
Уважаемый Александр Александрович,
Ваше письмо получено и прочтено.
Здравствуйте, Александр Александрович!
Надеюсь, вы все хорошо.

Части строф десятой главы «Евгения Онегина».
Пушкинский Дом Академии Наук СССР, № 170, л. 1 об.

Важно отметить, что в Семеновском полку было 6 офицеров, членов Тайного общества, и никто из них не принял участия в этом восстании, а командир третьей роты С. И. Муравьев-Апостол, впоследствии один из главных руководителей южного восстания, казненный Николаем I, даже уговаривал солдат успокоиться.¹

Роб-Рой, живший на рубеже XVII и XVIII вв. (предположительно 1660—1734 гг.), принадлежал к воинственному шотландскому горному клану Мак-Грегор. Клан этот в течение долгого времени подвергался преследованию соседних кланов, а затем также и правительства, которое, видя в нем мятежный элемент, уже в 1563 г. разрешило начальникам других кланов преследовать Мак-Грегоров огнем и мечом. В 1603 г., после кровавого побоища, в котором Мак-Грегоры уничтожили выступившие против них войска соседних кланов, специальным актом было запрещено самое название клана, и его членам было предписано называться именами соседних кланов, по которым они тем самым были распределены.

Так Мак-Грегоры в течение столетий жили, притесняемые своими соседями, бесправные и жестоко наказываемые правительством за возмущения, к которым их принуждал произвол врагов. Тем не менее, в гражданской войне они все до одного человека встали на защиту Карла I. Роб-Рой, подвергавшийся преследованиям со стороны герцога Монтроза, удалился в горы, собрал вокруг себя смелую шайку и повел войну против герцога Монтроза и затем против правительства. Источником средств для Роб-Роя служили грабежи, причем он грабил богатых и помогал бедным. Он обложил „черной данью“ окрестное население, которое за это пользовалось его защитой от других грабителей. История клана Мак-Грегор и биография Роб-Роя были подробно изложены Вальтер Скоттом в обширном введении к Роб-Рою, опубликованном впервые в 1829 г.

Но Роб-Рой в изображении Вальтер Скотта не просто разбойник, — это романтический герой, это: „Храбрый человек, лишенный своих естественных прав вследствие пристрастности закона, и старающийся защищать их сильной рукой“. Это бунтовщик против несправедливых законов, власти мелких феодалов и корыстолюбия чиновников, угнетающих население. Так рисовал его автор (по крайней мере в романе, в предисловии он относится к Роб-Рою несколько холоднее) и таким он был в глазах читателей.

Много общего есть, следовательно, в восстаниях семеновцев и Мак-Грегоров. Независимость и гордость тесно спаянного коллектива, оскорбления, наносимые властным насильником, попрание элементарных прав,

¹ Литература о восстании Семеновского полка обширна; ее перечень можно найти в популярном очерке С. Я. Штрайха „Восстание Семеновского полка в 1820 году“, П., 1920. Одно из наиболее полных изложений истории восстания см. у В. И. Семевского. „Волнения в Семеновском полку в 1820 г.“. „Былое“, 1907, №№ 1—3.

наконец, замечательное сходство конечной судьбы, которое и могло натолкнуть Пушкина на сближение семеновцев и Мак-Грегоров: в наказание за восстание клан Мак-Грегор уничтожен, он влит в другие кланы и самое имя его становится запретным, его нельзя произносить.¹

Семеновцы также все разосланы в другие полки, новый Семеновский полк составлен из чуждых людей, имя семеновца становится синонимом бунтовщика и произносить его опасно, а солдатам даже запрещено.²

Но как видно из многозначительного „*снова*“, Пушкин называет Роб-Роями не только солдат Семеновского полка 1820 г.,³ но объединяет под этим именем и другие солдатские бунты и, вероятно, также крестьянские восстания Пугачева и Степана Разина. Всё это — восстания стихийные, направленные против нестерпимого ига законов, против крепостного права и произвола офицеров и чиновников, восстания, сопровождающиеся грабежом богатых. Восстания эти не имеют программы, платформы, их цель — избавиться от непосредственного, осязаемого зла.

Этим народным восстаниям Пушкин противопоставляет других бунтовщиков:

Но искры пламени иного
Уже издавно, может быть....

Это уже организованная революция, подготовленная заранее, с выработанной конституцией, с Думой, с правами.

Роб-Рои, восставая против своего ближайшего начальства, могли надеяться на царя или короля, на его справедливость (как было с семеновцами и Мак-Грегорами), — организованная революция ставит своей целью замену самодержавной власти другой формой правления.

Противопоставление этих двух форм революции делалось и самими декабристами. Лунин, этот замечательный, по мнению Пушкина, человек,⁴ которого он так точно описал в XV строфе десятой главы, долго спустя после 1825 г., писал из Сибири: „Я не участвовал в мятежах, свойственных толпе, ни в заговорах, приличных рабам.... В Англии сказали бы Лунин — член оппозиции“.⁵ Это не есть, конечно, *credo* всех декабри-

¹ Позднейшее литературное отражение этого запрета мы находим, напр., в „Катрионе“ Стивенсона. Катриона встречается с Дэвидом, героем романа, и на его вопрос об имени отвечает с гордостью: „Мое имя не произносится“ и Дэвид сразу понимает, что она из Мак-Грегоров, так как только имя этого клана находится под запретом.

² С. Н. Чернов. „Из истории солдатских настроений в начале 20-х годов“. „Бунт декабристов“, Л., 1926, стр. 56—128.

³ Возможно, что сопоставление Мак-Грегоров и семеновцев было сделано не одним Пушкиным, и в мемуарной литературе когда-нибудь удастся найти доказательства правильности предлагаемого чтения. Но возможно также, что это прозвище употреблялось только в очень тесном кругу или придумано самим Пушкиным в болдинском уединении.

⁴ С. Гессен. „Источники десятой главы «Евгения Онегина»“. „Декабристы и их время“, т. II, М., 1932, стр. 134.

⁵ Н. Кутанов. „Декабрист без декабря“. „Декабристы и их время“, т. II, М., 1932, стр. 289.

стов. Те, кто вышли на площадь 14 декабря, были гораздо левее, но всех их объединяла программность и организованность революции, которые в глазах Пушкина отличали это движение от народных восстаний.

Для современного историка такая классификация революций была бы, конечно, недопустимой и искажающей истинную сущность исторического процесса, но во времена Пушкина подобная точка зрения вполне понятна. Для доказательства, что Пушкин в 1830 г. действительно так противопоставлял солдатско-крестьянские бунты восстанию декабристов, нужна проработка более обширного материала, чем тот, который приводится здесь. Но я считал необходимым обратить внимание на этот вопрос, так как антитеза двух форм революции в строфе XII ясно подчеркнута.

Другой существенный вывод, который мы можем сделать из предлагаемой расшифровки, — это вывод об отношении Пушкина к декабристам. На основании плохо понятых XV—XVII строф десятой главы некоторые исследователи считали, что Пушкин иронически осмеивал декабристов, Б. Томашевский доказал, сколько положительного в оценке Пушкина, а противоположение Роб-Роев и „пламени иного“ подтверждает, что в декабризме Пушкин видел начало серьезной революции, а не только „бунт прапорщиков“.

3

Строка „У них свои бывали сходки“ в средней части перечеркнута восемью косыми чертами, и поэтому в некоторых изданиях она печатается в скобках. Но если рассмотреть внимательно рукопись, то видно, что черточки эти нанесены до того, как был написан текст,¹ — вероятно это отпечаток с другого листа, положенного случайно на чистую страницу. Следовательно, строка эта не исключена Пушкиным.

Косое перечеркивание сравнительно не часто встречается у Пушкина, и может быть можно будет выяснить, какая рукопись писалась (или исправлялась) одновременно с криптограммой X главы, и таким образом ближе подойти ко времени создания последней.

Особого внимания заслуживает знаменательная дата сожжения X главы — 19 октября 1830 г.: Пушкин в одиночестве проводил день годовщины Лицея и ознаменовал его сожжением одного из своих любимых произведений. Поэтому несомненно, что в дни лицейских годовщин он всегда должен был вспоминать о гибели десятой главы и возвращаться мысленно к ее содержанию. И действительно, в тех двух стихотворениях на лицейские годовщины, которые он позже написал, мы находим ясное повторение образов десятой главы.

¹ Чернила этих черточек светлее и, что особенно важно, они нанесены также в пропусках между словами и явно не имеют связи с этим текстом.

Во второй строфе стихотворения 1831 г. Пушкин хотел дать перечень событий, описанных в X главе, но потом вычеркнул эту строфу, и она осталась только в черновиках:

Мы жгли Москву; был плен Парижу;
Угас в тюрьме Наполеон;
Воскресла греков древних слава;
С престола пал другой Бурбон;
Отбунтовала вновь Варшава.

Еще яснее влияние десятой главы в стихах к последней годовщине (1836 г.). Вся вторая половина этого стихотворения посвящена воспоминаниям о политических событиях, начиная с 1812 г. Это своего рода цензурная переработка первых десяти строф десятой главы. Мы найдем здесь даже прямые повторения:

Тогда гроза двенадцатого года
Еще спала; еще Наполеон
Не испытал великого народа
Еще грозил и колебался он.

Это — знакомая нам 30-я строка криптограммы, с добавлением одной стопы; использована даже та же рифма „народа“ из III строфы:

Гроза двенадцатого года
Наста(ла) — кто тут нам помог?
Остервенение народа,
Б(арклай), зима, иль Р(усский) б(ог)?

Отчетливо связывает эти три произведения также образ Наполеона, угасающего на скале. Он повторяется в обоих стихотворениях на 19 октября и в „Герое“ 1830 г. и очевидно был и в X главе, откуда заимствованы соответствующие строки „Героя“.

Мы находим этот образ еще ранее — в стихах „К морю“ 1824 г. и частично в „Наполеоне“ 1821 г.

Любопытна судьба строки „Измучен казнию покоя“, известной нам и из X главы и из „Героя“. В „Недвижном страже“ 1823 г. эта фраза не приобрела еще окончательной формы и читается так: „Мучением покоя в морях казненного“, а первоначально даже: „В темнице океана судьбой казненного“. Но, повидимому, строка сложилась у Пушкина уже в 1824 г., как можно судить по ее отражению в стихах „О муза пламенной сатиры“, датированных теперь 1824 г.:

Вперед! Всю вашу сволочь буду
Я мучить казнию стыда.

Приведенные в настоящей статье доводы в пользу предлагаемой новой расшифровки двух строк десятой главы являются, по существу, лишь косвенными доказательствами. Но, к сожалению, прямых дока-

зательств найти теперь невозможно, а сумма приведенных соображений убедительнее, чем то немногое, что приводилось в пользу ранее предложенных толкований.

Содержание строф VIII и IX десятой главы, кажется, может быть восстановлено с большой точностью, если привлечь материалы стихотворений „Отрывок“ 1823 г. и „Героя“.

ОТ РЕДАКЦИИ

Давая в „Трибуне“ „Временника“ место статье не профессионального пушкиниста и даже не литературоведа вообще, а специалиста в другой области, редакция рассматривает работу С. В. Обручева как симптоматическую для нашего времени попытку высококвалифицированного читателя Пушкина включить в коллективную работу по прочтению того уже немногого, что осталось еще непрочтенным у Пушкина.

Десятая глава „Евгения Онегина“ — одна из труднейших текстологических и значительнейших смысловых „загадок“ пушкиноведения. Со времени ее первоначальной расшифровки П. О. Морозовым в 1910 г. до инкорпорирования ее в новое академическое издание „Евгения Онегина“ над ее расшифровкой трудился ряд пушкиноведов. Тем не менее, в силу особенностей пушкинского шифра, ряд чтений отдельных слов, весьма существенных для общей концепции (так как именно они-то особенно тщательно шифровались Пушкиным), и после академического издания естественно остается гипотетическим.

Вряд ли когда-либо может быть найдено единое „каноническое“, общеобязательное чтение для немногих случаев этого рода. Но можно говорить о несомненном постепенном приближении к такого рода „пределу“. И в этом отношении особенно плодотворна может быть работа широкого коллектива. Поэтому нельзя не пожалеть, что наше академическое издание, рассчитанное на массового квалифицированного читателя, не дало в томе с „Евгением Онегиным“ ни одного снимка с рукописей десятой главы. Промак непростительный, так как хорошее воспроизведение этих рукописей читатель уже с трудом разыскивает в ставших редкими изданиях.

В виду этого при статье С. Обручева воспроизводим два снимка с части рукописи, дающих возможность любому читателю проконтролировать самому соображения исследователей.

Ряд положений С. Обручева не представляется редакции безусловно доказанным. Самая методика его работы, рассматриваемая им как „единственно верный способ работы“ и заключающаяся в графическом сравнительном анализе отдельных букв, не нова и не является, конечно, единственной. Помимо необходимости широкого привлечения материалов из других (и прежде всего синхронистических) рукописей Пушкина, следует учитывать специфический характер торопливой шифровки Пушкиным именно данной главы и отдельных ее мест, не позволяющий строить на ее беспокойно-неупорядоченных аббревиатурах единой системы графических навыков Пушкина. Но, несмотря на некоторую механистичность в попытках разгадать детали криптограммы путем сведения отдельных пушкинских написаний в „таблицу“ и последовательных „подборов“ „возможных“ слов, в работе С. Обручева хочется приветствовать самое стрем-

ление уточнить и упорядочить методы чтения пушкинской рукописи. С. Обручев предлагает и не без остроумия мотивирует чтение:

Кинжал бы твой благословила.

Но помимо возможности других чтений, типа:

Кинжал бы твой благословили,
Кинжал бы твой благословляя,

должно обратить внимание на то, что последнее слово стиха вряд ли может быть здесь глагольной формой, начинаясь не со строчной, а с прописной буквы (Б такое же, как ниже в слове бог). К тому же гораздо естественнее для Пушкина было бы шифровать в данном словосочетании не слово „благословила“, а слово „кинжал“:

К — бы твой благословила.

Не вполне убедительным кажется и чтение предыдущего слова („твой“). Убедительнее чтение второго слова „бы“, но и здесь остается возможность видеть аббревиатурный знак того же рода, как и в других стихах. Их было у Пушкина несколько. Ср. запись стихов:

Авось по манью ~

Предавших некогда ~

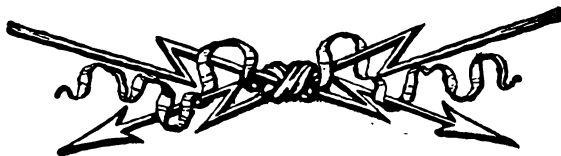
В чтении:

Роб-Рои присмирели снова

представляется не столько обязательным чтение „Роб-Рои“, сколько ценным компрометирование старого чтения (сохраненного и редактором академического издания):

Россия присмирела снова.

Сокращение слова „Россия“ через „Р. Р. —“ является крайне необычным, странным и пока не будет предложено лучшего, „Роб-Рои“ имеют право претендовать на равноправное с другими гипотезами включение их в пушкинский стих, несмотря на известную сложность предложенной мотивировки.



**РЕЦЕНЗИИ
И
ОБЗОРЫ**



Биография Пушкина

Обзор литературы за 1937 г.

Область изучения биографии Пушкина — участок советского пушкиноведения, быть может, наиболее богатый достижениями и положительными результатами. Если мы и не имеем пока обобщающего биографического исследования, основанного на учете и критическом анализе громадного документального материала, который накоплен за сто лет, отделяющих нас от гибели Пушкина, — тем не менее все необходимые условия и предпосылки для создания такой синтетической биографии уже подготовлены. Эта подготовка осуществлена не только по линии накопления и обработки фактического материала, но и по линии уяснения методологии биографического исследования.

В настоящее время никто не будет серьезно считаться с теориями об особой творческой автобиографичности Пушкина или о принципиальной противоположности Пушкина — человека и художника. Навсегда отошло в прошлое буржуазно-идеалистическое направление пушкиноведения, занимавшееся, например, обследованием любовных увлечений поэта. Стало бесспорным и общепризнанным, что в центре подлинной биографии Пушкина должна быть его творческая жизнь в соотношении с общественно-политической обстановкой и исторической средой — живое единство человека и художника, мыслителя и общественного деятеля. В настоящее время можно считать, что узловые ведущие проблемы такого рода биографии уже не только поставлены, но и во многом разрешены.

За последние годы особенно интенсивно и плодотворно разрабатывалась политическая биография поэта. Отношение Пушкина к западно-европейским революционным движениям, Пушкин и декабристы, Пушкин и крестьянская революция, Пушкин и самодержавие, дуэль и смерть Пушкина — таковы важнейшие из заново поставленных или заново разрешенных проблем пушкинской биографии. Разоблачена и уничтожена лживая легенда, созданная разного рода схоластами и вульгаризаторами о переломе мировоззрения Пушкина после декабря 1825 г. и о примирении поэта с самодержавием. Документально прослежена длительная и непримиримая борьба Пушкина с „высшим“ обществом, и бесспорно установлены основные вехи истории его конфликта с придворными сферами. Выяснены причины трагической гибели Пушкина, которая явилась не следствием интимной семейной истории или великосветского скандала, а сознательным преступлением царя и его ставленников.

Если вспомнить, что еще в 1935 г. мы не имели ни одной сколько-нибудь удовлетворительной биографической работы о Пушкине, которая подытоживала бы накопленный к тому времени документальный материал, — достижения советского пушкиноведения за последние три года станут особенно очевидны. В 1935 г. едва ли не лучшей сводной работой по биографии Пушкина считалась, и для того времени уже сильно устаревшая.

работа Б. Л. Модзалевского, Н. В. Измайлова и И. А. Кубасова („Пушкин. Очерк жизни и творчества“, Л., 1924), изданная Пушкинским Домом.

Так обстояло дело с биографией Пушкина за полтора-два года до юбилея. Читатель терпеливо ждал, журналы и газеты настойчиво требовали от историков литературы книги о жизни Пушкина. Эти законные требования частично были удовлетворены за год до пушкинского юбилея биографией, написанной Б. В. Томашевским и вошедшей в состав отредактированного им пушкинского однотомника. Эта работа явилась опытом популярной пушкинской биографии и в то же время важным этапом на путях к созданию научной биографии великого поэта. Подытоживая накопленный документально-биографический материал, она серьезно продвинула вперед изучение стержневых вопросов политического мировоззрения Пушкина. Б. В. Томашевский неопровержимо показал, что разочарование в перспективах революции отнюдь не привело Пушкина к примирению с самодержавно-крепостническим строем. Проблемы отношений Пушкина к декабристам и к Николаю I, французские связи пушкинского творчества — всё это, обобщая большую исследовательскую работу ряда пушкиноведов и, прежде всего, самого Б. В. Томашевского, впервые было развернуто им в концепции пушкинской биографии.

В самом конце 1935 г. был образован Всесоюзный пушкинский комитет и появилась известная передовая „Правды“ — „Великий русский поэт“.¹ Собственно с этого времени, по настоящему, и началась организованная подготовка к пушкинскому юбилею, как к историческому празднику советской культуры. Изучение и популяризация биографии и творчества Пушкина было поднято на огромную высоту. В деле политического руководства подготовкой и проведением юбилея, всколыхнувшего все народы Советского Союза, „Правда“ сыграла исключительную роль. Она боролась со всякого рода вульгаризаторами Пушкина, она вскрывала ошибки в литературоведческих работах, она воспитывала уважение и любовь к Пушкину. В передовой „Перед Пушкинскими днями“ „Правда“ писала: „Может ли быть неблагодарен народ-победитель своему великому певцу, гениальному поэту, который в пленительных стихах воспел страну, живыми красками изобразил народные характеры, пробудил симпатии к вождям крестьянских восстаний, открыл богатства русской речи? Нет, любовь к своей родине, любовь к славному прошлому своего народа неразрывно связана с любовью к русской литературе, с любовью к Пушкину“.²

Среди многих статей о Пушкине в „Правде“, напечатанных в юбилейный период, отметим статьи, связанные с биографией великого поэта. Сжатый, но яркий биографический очерк „Александр Сергеевич Пушкин“ появился на страницах „Правды“ 4 февраля 1937 г. (№ 34). Этот очерк, перепечатанный в „Ленинградской Правде“ (5 февр., № 29), был опубликован также во многих областных и районных газетах. Тонкую, написанную с большим литературным мастерством, характеристику личности Пушкина дал в „Правде“ Ю. Н. Тынянов (10 февр. 1937 г., № 40). Статья „Пушкин и декабристы“ написана М. В. Нечкиной (7 февр., № 37); „Литературные друзья Пушкина“ — Д. Д. Благим (4 февр., № 34); „Письма Пушкина“ — Г. А. Гуковским (7 янв., № 7); „Ранение и смерть Пушкина“ — Б. В. Казанским (13 дек. 1936 г., № 342).

Вслед за „Правдой“ большое место Пушкину и его творчеству отвели на своих страницах и другие центральные и областные газеты. По подсчету автора специального обзора пушкинских материалов в газетах — за 11 месяцев 1936 г. в газетах, выходящих на русском языке, появилось около 250 специальных пушкинских страниц.³ Последние два месяца перед юбилеем дали, конечно, еще большее количество материала, связанного с пушкинскими днями. Среди всего этого материала не последнее место занимает биография поэта. Областные и районные газеты зачастую не ограничивались перепечаткой биографических очерков о Пушкине из центральной прессы — статьи о жизни Пушкина писались силами

¹ „Правда“, 1935, 17 декабря.

² „Правда“, 1937, № 5, 5 января.

³ В. Жданов, „В канун годовщины“ — „Большевистская Печать“, 1937, № 2—3, стр. 102. Ср. также обзор Н. Замотина в „Литературной Ученой“, 1937, № 1, стр. 137—144.

местных работников. Систематическое и детальное рассмотрение „пушкиноведения в газетах“ является большой и важной задачей, которую предстоит еще выполнить.

Значительное место биографии Пушкина отвели толстые, а особенно массовые журналы. Так, в первом номере „Октября“ 1937 г. напечатана биография Пушкина, написанная В. Я. Кирпотиным. В первых двух номерах „Литературной Учебы“ 1937 г. опубликована глава из биографии, написанной Н. Л. Бродским — „Пушкин после ссылки“ (1826—1828 гг.). В „Литературном Обозрении“ (1937, № 1) сжатый биографический очерк написан И. В. Сергиевским. В „Колхознике“ (1937, № 2) появилась работа Н. Ашукина „Жизнь Пушкина“. Интересно сделан прекрасно иллюстрированный пушкинский номер „Колхозных ребят“ (1937, № 1—2.), целиком посвященный биографии Пушкина.

За юбилейный период, помимо материала о жизни поэта в подавляющем большинстве журналов и газет всего Советского Союза — в разных городах изданы многочисленные пушкинские памятки, специальные методические разработки выставок и лекций, литературные монтажи, сценарии и т. д., и т. п. Полезный конспект для докладчиков — „Жизнь и творчество А. С. Пушкина“ издан Институтом литературы Акад. Наук (Л., 1937). Ленинградским Гослитиздатом выпущена специальная памятка „А. Пушкин. 1837—1937“. Союзгизом издан богато иллюстрированный „Пушкинский календарь“. В виде роскошно иллюстрированного альбома Изогиз выпустил „Даты жизни и творчества А. С. Пушкина“ и т. п.

За один 1937 год отдельными изданиями вышли в свет биографии Пушкина, написанные Н. Л. Бродским, В. Я. Кирпотиним, В. В. Вересаевым, И. И. Замотиним, К. Н. Берковой, И. А. Оксеновым, Л. Фин, Евг. Старовым.

В этом обзоре мы не ставим себе задачей исчерпать все появившиеся в юбилейный период биографии: мы остановимся только на таких, которые получили наиболее широкое распространение, и на таких, которые почему-либо являются особенно показательными. На ряду с положительными явлениями среди биографий Пушкина есть и такие, которые отнюдь не могут служить украшением нашей пушкиноведческой и научно-популярной литературы.

В дни Пушкинского юбилея советский читатель располагал двумя новыми биографиями Пушкина, получившими самое широкое распространение. Мы имеем в виду работы В. В. Вересаева и В. Я. Кирпотина. Книжка В. Я. Кирпотина „Александр Сергеевич Пушкин“ (М., Гослитиздат, 1937, 155 стр.), изданная 400 000 тиражом, вышла почти одновременно с известной работой того же автора „Наследие Пушкина и коммунизм“. Отдельные главы биографии Пушкина, написанные Кирпотиним, печатались в газетах; книжка его сделалась очень популярной и дошла до массового читателя. В. Кирпотин сосредоточил главное внимание на политическом содержании биографии Пушкина. Основные пути развития творческого гения поэта и его борьба с самодержавием показаны в книжке убедительно. Факты внешней биографии даны в органической связи с творчеством Пушкина и в соотношении с исторической действительностью первой трети XIX столетия. Последние две главы книжки посвящены выяснению исторического значения наследия Пушкина и роли пушкинского творчества для наших дней.

В своей трактовке политической эволюции Пушкина В. Кирпотин не является новатором — он опирается на работы ряда исследователей пушкинской биографии. Но Кирпотин стремится углубить наше представление о Пушкине как певце декабризма и великом народном поэте. В основных решающих моментах политической биографии Пушкина Кирпотин не упрощает, не вульгаризирует, а пытается показать поэта во всей противоречивости его идейного развития. Но Пушкин интересует Кирпотина, как нам кажется, гораздо более как мыслитель и общественный деятель, нежели как поэт и как художник слова.

Недостаточно уделено внимания в работе Кирпотина литературной борьбе пушкинской поры, а также историко-литературным и эстетическим вопросам. Очень бедно охарактеризовано, например, соотношение Пушкина с творчеством Державина, Карамзина и Жуковского. „Ложно-классицизм был прямо враждебен реализму“ — заявляет Кирпотин

(стр. 13), относя к ложно-классикам и Державина, притом без всяких оговорок. „Сентименталисты и романтики, Карамзин и Жуковский, были поэтами крепостнического дворянства“ — читаем несколько далее (стр. 16). Отмечается, правда, с ссылкой на Белинского, что „сентиментальные и романтически школы в поэзии были шагом вперед к простоте и естественности“ (стр. 16), но для читателя все же остается неясным, как и в чем исторически подготовили Пушкина „ложно-классик“ Державин и „поэты крепостнического дворянства“ Карамзин и Жуковский. Зачисление Державина в разряд ложно-классиков, „прямо враждебных реализму“, конечно, грубейшая ошибка. Не исторично характеризует Кирпотин также Карамзина и Жуковского как предшественников Пушкина.

Идейное содержание важнейших произведений Пушкина Кирпотиным вскрывается очень сжато и, в основном, удачно. Но в книжке почти ничего не говорится об особенностях художественной формы Пушкина, о Пушкине-художнике. Когда Кирпотин пишет о реализме Пушкина, он часто приводит соответствующие цитаты из Белинского. Спора нет, что Белинский был и остается лучшим истолкователем Пушкина; но ведь понятие пушкинского реализма у Белинского являлось очень сложным понятием, полным глубокого исторического и философского смысла. У Кирпотина же это понятие не расшифровывается.

Вызывают возражения и некоторые формулировки Кирпотина. Так, например, он пишет: „Пушкин в своем творчестве выразил силу и слабость движения дворянских революционеров-декабристов, их передовые идеи и их боязнь масс, их надежды и опасения, отразил и процессы, вызванные поражением 14 декабря“ (стр. 130). Ну, а разве „сила и слабость движения дворянских революционеров-декабристов“ не выразилась прежде всего в поэтическом творчестве их самих? Разве, например, Рылеев в своих поэмах не выразил одновременно и передовые идеи своего времени и в то же время боязнь масс, надежды и опасения? А если это так (а это, безусловно, так), то определение Кирпотиным творчества Пушкина оказывается узким и недостаточным. Пушкин был впереди своего времени и впереди своих самых передовых современников, он понимал историческую действительность шире и глубже декабристов. И об этом нужно было со всей четкостью сказать. Ведь не случайно же Рылееву и другим декабристам остался чуждым и непонятным „Евгений Онегин“, положивший „прочное основание новой русской поэзии, новой русской литературы“ (Белинский). „Не знаю, что будет Онегин далее“, — писал Рылеев Пушкину о первой главе, — „быть может, в следующих песнях он будет одного достоинства с Дон-Жуаном (Байрона): чем дальше в лес, тем больше дров; но теперь он ниже «Бахчисарайского фонтана» и «Кавказского пленника». Я готов спорить об этом до второго пришествия“. Друг и единомышленник Рылеева А. Бестужев требовал от Пушкина сатиры и гражданского пафоса также по примеру „Дон-Жуана“ Байрона; он счел возможным сочувственно отметить лишь те места „Евгения Онегина“, где „мечта уносит поэта из прозы описываемого общества“. Герои 14 декабря были романтиками, они не видели „прозы“ жизни, они не поняли Онегина, нового героя, который уже не мог продолжать дела, начатого декабристами, и которого гениально открыл в русском обществе Пушкин.

Неправильным представляется и следующее утверждение Кирпотина: „Поэзия Пушкина не была так последовательна в своих политических тенденциях, как, например, поэзия Рылеева“ (стр. 139). Ошибочно таким образом противопоставлять Пушкина Рылееву. Дело заключается не в том, кто из них был последовательнее, а кто глубже понимал историческую действительность. И с этой точки зрения более „последовательной“, т. е. реалистической, оказывается, конечно, не поэзия Рылеева, а поэзия Пушкина. И это также следовало подчеркнуть даже в популярной биографии.

Из мелких ляпсусов отметим такой: Кирпотин безоговорочно называет Н. Н. Раевского (младшего) декабристом (стр. 38). В действительности Н. Н. Раевский декабристом никогда не был, а лишь привлекался к следствию о декабристах. Отмечая все эти недостатки, мы, разумеется, нисколько не хотели бы снизить ту положительную роль, которую книжка Кирпотина сыграла в самых широких читательских кругах.

Работа В. В. Вересаева „Жизнь Пушкина“ известна нам в основном в двух редакциях — полной и сокращенной. Сокращенная редакция впервые была напечатана в „Изве-

стях ЦИК СССР" (1936 г., №№ 230, 231 и 232, от 3, 4 и 5 октября), перепечатана во многих провинциальных газетах и в нескольких сборниках о Пушкине, наконец, она вышла отдельной брошюрой в Ростове на Дону, Воронеже, Смоленске, Уфе, Курске и др. Полная редакция работы Вересаева издана отдельной книжкой в Москве (Гослитиздат, 1936, 182 стр.) 100 000 тиражом. Сокращенную редакцию работы рецензировал Виктор Шкловский; его приговор о книжке был таков: „Это формуляр жизни Пушкина. Ошибок нет, годы правильные, маршруты указаны верно, но написана биография сбивчиво и даже скучно“.¹ Мы считаем, однако, что как ни сбивчива и даже скучна сокращенная редакция работы Вересаева, она неизмеримо лучше полной редакции. В этой последней расширено повествование, даны многочисленные рассказы и анекдоты из жизни поэта. Автор сосредоточивает всё свое внимание на изображении Пушкина в жизни, быту; со слов мемуаристов он рассказывает о поэте разные забавные эпизоды и анекдоты, и в то же время он определенно недооценивает идейного и политического содержания пушкинской биографии. Вересаев не забывает упомянуть о том, „что напыщенная фальшивость отца сыграла по контрасту свою роль в выработке у Пушкина большой простоты и естественности в выражении чувства“ (стр. 7). Но вот о влиянии отечественной войны 1812 г. на идейное развитие Пушкина не сказано ни одного слова. Политическая лирика Пушкина, в сущности, вовсе не охарактеризована, если не считать двух цитат из „Вольности“ и послания к Чаадаеву (стр. 40). В совершенно недопустимых формулировках характеризует Вересаев отношение Пушкина к Николаю I. „До сих пор, — пишет он, — исследователи затрудняются определить, был ли в то время искренен переход Пушкина на сторону самодержавия, или у него была тут тонкая политическая игра“ (стр. 90). Вересаев пытается воскресить, казалось бы, давно сданные в архив, теории о „поправении“ Пушкина. „Страх перед крестьянским движением, — пишет он, — патриотический страх перед польским восстанием, — всё это толкало Пушкина всё более вправо, вынуждая мириться с самодержавием. Никогда он не стоял на такой правой позиции, как в эти годы, в 1830—1831 годах“ (стр. 125). В таких выражениях можно писать о классовой позиции какого-нибудь Броневского, но не о позиции Пушкина. Говоря о классовом самоопределении Пушкина и его шестисотлетнем дворянстве, Вересаев заявляет: „В сущности, это была просто вражда разоряющегося среднепоместного дворянства к крупнопоместной знати“ (стр. 107). Или еще формулировка: „Крылья Пушкина связывали крепкими путами его классовая принадлежность к привилегированному дворянству, тяготение к внешней красоте и изяществу „высшего света“, связанность с двором через жену“ (стр. 146).

Когда-то В. В. Вересаев выступил со статьей „В защиту Пушкина“,² критикующей некоторых литературоведов, в частности Д. Д. Благого, которые в своих работах якобы обесценивают пушкинское творчество „путем невероятного обмеления Пушкина“. Этот упрек можно переадресовать теперь самому Вересаеву. В самом деле, разве не обесцением Пушкина, не „обмелением“ его творчества, если не сказать резче, является биография великого поэта, написанная Вересаевым? О произведениях знаменитой болдинской осени Вересаев, например, счел возможным высказаться в следующих выражениях: „Прозрачно веселые рассказы, как «Барышня-крестьянка», «Метель», «Домик в Коломне», «Гробовщик» чередовались с глубоко серьезными драмами, как «Скупой рыцарь» или «Моцарт и Сальери». Лирика этой осени переливается у Пушкина всеми цветами радуги“ (стр. 111—112). Говоря об „Евгении Онегине“, Вересаев приводит известную цитату Белинского о том, что в самой сатире Пушкина „так много любви“ и т. д. Дальше следует предупреждение читателю: „В этом сказалась принадлежность поэта к определенному классу и определенной эпохе, и это при чтении поэмы современный читатель должен иметь в виду“ (стр. 113). О том, что Пушкин был дворянином, современный читатель при чтении „Евгения Онегина“, быть может, не забудет и без особого предупреждения. Но вот правильно ориентировать читателя в идейном содержании „Евгения Онегина“ биографу Пушкина следо-

¹ „Детская литература“, М., 1937, № 3, стр. 31—33.

² „Известия ЦИК СССР“, 1935, № 79, 2 апреля.

вало бы. Он утверждает, что „в первых главах романа Пушкин сам находился под обаянием образа Онегина, рисовал его с видимым сочувствием и готов был видеть в нем чуть ли не лучшего представителя своего времени“. Такое отношение автора к Онегину — продолжает Вересаев — „вызвало решительный протест со стороны действительно лучших людей того времени — декабристов“ (стр. 113). Следует цитата из письма А. Бестужева к Пушкину по поводу первой главы Онегина, а затем Вересаев продолжает: „В дальнейших главах Пушкин всё более отрицательно начинает относиться к своему герою и кончает полным его развенчанием“ (стр. 114). Получается так, что Пушкин изменил отношение к своему герою под влиянием критики декабристов и, в частности, А. Бестужева. Это абсолютно неверно! В. В. Вересаев, конечно, знает ответ Пушкина на письмо Бестужева: „Ты говоришь о сатире англичанина Гайрона и сравниваешь ее с моею, и требуешь от меня таковой же! Нет, моя душа, многого хочешь. Где у меня сатира? о ней и помину нет в Евг. Он. У меня бы затрещала набережная, если б коснулся я Сатире“. Из этого пушкинского высказывания следует то, что у Пушкина в „Евгении Онегине“ было принципиально иное задание, чем то, которого требовали от него декабристы. Если уж касаться этого вопроса и ставить его, нужно доводить его до конца, а не ограничиваться примитивными домыслами. Вообще комментарии Вересаева к произведениям Пушкина не отличаются продуманностью и глубиной. Вот еще комментарий к „Сценам из рыцарских времен“: „На старый привилегированный мир, закованный в сталь, огороженный крепкими стенами, буйно встают новые силы — энтузиазм угнетенных, усовершенствование техники, широкое просвещение. Сталь пробита, неприступные стены рушатся, и *всё старое летит к чорту*“ (стр. 152, курсив мой. Н. М.).

Мы не будем упрекать Вересаева в том, что он в своей работе ничего не говорит о журнальной деятельности Пушкина, о „Литературной Газете“, о борьбе с Булгариным, о „Современнике“, что он даже не упоминает о взаимоотношениях Пушкина с Гоголем. Остановимся кратко на стиле книжки. Многочисленным анекдотам из жизни Пушкина, которыми изобилует биография, соответствует и литературный стиль. Пушкин „влюблялся направо и налево“ (стр. 87). „Вообще сердце у Пушкина было очень вместительное“ (стр. 88). „Пушкин должен направо и налево, брал взаймы у писателей и мало знакомых“ (стр. 152). Вот описание жизни Пушкина в Петербурге после окончания Лицея: „Был усердным посетителем театра, следил за всеми новыми постановками, волочился за актрисами, ухаживал за какой-то продавщицей билетов в зверинец и целыми днями торчал у кассы. А наряду с этим проводил вечера у Чаадаева...“ (стр. 37—38).

Пушкин в Кишиневе: „Озорничал еще больше, чем в Петербурге и озорство было уже другое — не добродушно веселое, мальчишеское петербургское озорство, а озорство злое, едкое, *граничащее с форменным хулиганством*“ (стр. 53, курсив мой. Н. М.). Вересаев описывает состояние Пушкина перед свадьбой и указывает, будто „у многих друзей было впечатление, что он был бы рад, если бы свадьба расстроилась“. Далее автор продолжает: „Но машина уже катилась по рельсам, красота девушки тянула к себе, а в душе была усталость от холостой жизни, жажда тишины, семейного уюта. И Пушкин шел к роковой цели, как бык под занесенный обух“ (стр. 108, курсив мой. Н. М.). Подобных цитат можно было бы привести очень много. Трудно поверить, что всё это написано выдающимся писателем, мастером художественного слова!

Не останавливаемся в этом обзоре на биографиях Пушкина, написанных акад. И. И. Замотиным (Минск, изд. Академии Наук БССР, 1937, 226 стр.) и К. Н. Берковой (М., Гослитиздат, 1937, 205 стр.). Обе эти работы получили правильную оценку в нашей печати.

Книжка Замотина вызывает прежде всего серьезные методологические возражения, поскольку автор строит биографию Пушкина, исходя из вульгарно-социологических концепций, говоря в то же время о Пушкине и как о великом народном поэте. Естественно, что ни к каким положительным результатам автор притти поэтому не смог; освещение „основных моментов жизни и творчества Пушкина“ вышло искаженным, и „оценки его величайшего литературного наследия“ не получилось.

Работа Берковой носит ученический характер и притом изобилует множеством всякого рода неточностей, а зачастую и грубейших ошибок. Достаточно упомянуть здесь, что „Вечера на хуторе близ Диканьки“ Гоголя оказались якобы напечатаны в пушкинском „Современнике“ (стр. 171).

Неприемлема биография Пушкина, написанная акад. Н. С. Державиным („Александр Сергеевич Пушкин, 1799—1837—1937. Жизненный путь поэта“ — см. „Фронт науки и техники“, 1937, №№ 1, 2 и 4). Делалась эта работа, вероятно, в пору страшной спешки и, хотя биография и доведена до конца, о последнем десятилетии жизни Пушкина читатель, однако, почти ничего не узнает: годам 1826—1837 отведено всего лишь 12 стр. текста, тогда как Лицею посвящено 16 стр., а южной ссылке Пушкина — 18 стр. Читатель ничего не узнает и об отношениях Пушкина с Николаем I (если не считать весьма крепких выражений автора по адресу Николая) — „Стансы“, „Записка о воспитании“ даже не упомянуты. О болдинской осени мы узнаем только лишь то, что эта осень знаменита „в анналах нашей литературы“. О том, что Пушкин написал, например, „Повести Белкина“ и целый ряд других прозаических произведений — Н. С. Державин не упоминает ни одним словом. Ничего нет о Пушкине-журналисте, об издании „Современника“. Похоже на то, что здесь есть вина и журнала, „сократившего“ весь конец биографии.

Глава о Лицее построена почти исключительно на данных из записок Корфа; характеристика Арзамаса сделана на основе статьи из нового энциклопедического словаря Брокгауза, причем тут же с трогательной точностью дается ссылка на соответствующий том, и т. д. Характеризуя Лицей пушкинских времен, Державин подвергает его форменному обстрелу. Лицей именуется и „своего рода детской тюрьмой“ и „межеумочным учреждением“. Прогрессивной роли Лицея первых лет в статье не показано, и поэтому автор не в состоянии объяснить культ лицейских традиций у Пушкина. Характеристика литературных направлений и литературной борьбы претенциозна и ошибочна. Вот, для примера, следующая формулировка: „Это сближение Пушкина с арзамасцами сыграло самую благотворную стимулирующую роль в развитии его литературного дарования и его литературной практики, которая, отдав — в самые начальные годы творчества поэта — неизбежную дань французскому классицизму, пошла затем по пути освоения нового литературного стиля, романтизированного реализма (!) или реализованной романтики (!), пионерами которой в русской литературе были старшие современники А. С. Пушкина, арзамасцы, Н. М. Карамзин (?) и В. А. Жуковский“ (№ 1, стр. 97—98). Или характеристика взаимоотношений Пушкина с Байроном: „Ни по своей природе, ни по сущности своих воззрений Пушкин, однако, не был Байроном“... „Своим здоровым (!) реализмом Пушкин сумел преодолеть архаический руссоизм (?) Байрона и в своем творчестве остался оригинальным и независимым русским поэтом, творчество которого своими корнями питалось в глубинных недрах подлинной, конкретной русской исторической действительности начала XIX века, в классовых устремлениях ее лучших наиболее передовых и прогрессивных элементов окружавшей поэта, идеологически ему близкой и родной «общественности»“ (№ 2, стр. 108—109).

Еще неудачнее характеристика произведений Пушкина, например „Бориса Годунова“: „Эта своеобразная пушкинская концепция исторической эпохи и ее движущих сил резко отличает Пушкина от карамзинской трактовки тех же событий и ставит поэта Пушкина как историка несравненно выше присяжного монархиста Карамзина“. Вывод, разумеется, не новый. И дальше: „С ярко очерченной физиономией у Пушкина выступает Самозванец, беглый монах, орудие классовой борьбы вокруг трона в руках феодального боярства. Такой же классовый тип у Пушкина и его бессмертный художественный образ летописца Пимена: его «описывай, не мудрствуя лукаво», носит чисто декларативный характер; в действительности летописец питает ничем не прикрытую ненависть к Борису и является идеологом феодального боярства“ (№ 4, стр. 104—105). На некоторых моментах пушкинской биографии Н. С. Державин делает особое ударение, как бы давая понять читателю, что автор или расходится с прежними исследователями или

высказывает совершенно новые мысли. Так, он считает нужным особо подчеркнуть, что „замалчивать или умалять значение няни, как живого источника народно-художественного мастерства словесного образа в развитии творческого дарования Пушкина никоим образом не следует“ (№ 1, стр. 83). По мнению Н. С. Державина, Николай I и царское правительство, „испугавшись Пушкина и возможного «вредного» влияния его на местное крестьянство, решило прервать его михайловскую ссылку и взять его из с. Михайловского поближе к себе, под свой непосредственный и бдительный надзор“ (№ 4, стр. 106).

Так объясняется причина возвращения Пушкина царем из ссылки! Подобных „открытий“ в работе не мало. Н. С. Державин утверждает, например, что Пушкин „ответил на грязь, которой обливала его реакционная критика“ после выхода в свет „Бориса Годунова“... шутовой поэмой „Домик в Коломне“ (№ 4, стр. 110). И на той же странице сообщается, что „Борис Годунов“ появился впервые в печати 1 января 1831 г., а „Домик в Коломне“ был написан 10 октября 1830 г.!

Характеризуя атмосферу, в которой жил Пушкин в последние годы, Державин пишет: „Он (Пушкин) не располагает самыми необходимыми, элементарными условиями для творческой литературной работы. Ему нужен заработок, который мог дать ему литературный труд, но этот труд парализуется жестокостью цензуры и становится материально бесплодным и, тем более, морально мучительным“.

И дальше следует поразительный вывод: „Вот почему, между прочим, пушкинское литературно-художественное наследие последних годов поражает большим количеством незаконченных произведений; вот почему, надо полагать, Пушкин в это время, начиная с июля 1831 г., от художественного творчества уходит преимущественно в архивную работу, работая сначала над историей Петра I, а затем над Пугачевым“ (№ 4, стр. 113—114). Итак, оказывается, что к темам о Петре I и о Пугачеве Пушкин пришел не по ходу своего идейно-политического развития, а „в поисках выхода из создавшегося для него тяжелого морального и материального положения“.

Живой, но очень краткий очерк жизни поэта в его главнейших этапах дал И. А. Оксенов в брошюре „Жизнь Пушкина“ (Л., Пушкинское общество, 1937).

Из биографий Пушкина, изданных в провинции, нам известны брошюра Л. Фин „Александр Сергеевич Пушкин“ (Саратовское областное издательство, 1937, 69 стр.) и книжка Евг. Старова „Пушкин. Очерк жизни и творчества“ (Оренбург, 1937, 183 стр.). Обе названные работы являются по существу опытами внешней биографии Пушкина, ибо ни Фин, ни Старов не углубляются в анализ мировоззрения и творчества поэта. Впрочем, Фин уделяет большее внимание вопросам мировоззрения и творчества, и её краткая брошюра острее и содержательнее подробной и обстоятельной книжки Старова. Нужно отдать справедливость Старову — он пишет о Пушкине со знанием новейшей пушкиноведческой литературы. Портят его книжку некоторые очень наивные сентенции, когда по ходу своего изложения он сталкивается с трудными и малоисследованными вопросами. Зачастую он вовсе обходит подобные вопросы, но иногда не удерживается от лирических пассажей в защиту Пушкина. Элементы некоторого упрощения имеются и в брошюре Фин.

Самой значительной из всех биографий Пушкина, изданных в связи с юбилеем, следует признать, конечно, книгу Н. Л. Бродского (М., Гослитиздат, 1937, 891 стр.). За советские годы книга эта является первым опытом широкой и подробной биографии поэта. Н. Л. Бродский пытается не только обобщить огромный документальный материал, но и дать обширные комментарии ко всем наиболее значительным произведениям Пушкина. Автор комментариев к „Евгению Онегину“ выступает теперь и как биограф Пушкина и как комментатор, в сущности, всего его творчества. Книга Н. Л. Бродского требует специального критического анализа; здесь мы ограничимся только немногими замечаниями.

Как ни интересна книга Бродского, читается она с большим трудом, отчасти вследствие того, что жизнеописание Пушкина в собственном смысле слова органически не сливается у автора с анализом произведений. В жизнеописании Пушкина автор зачастую выступает как комментатор, а разборы отдельных произведений иногда далеко выходят за рамки биографии, понятой даже в самом широком смысле. Как ни интересен, например

анализ семантики Пушкина, которому Бродский по разным поводам уделяет много внимания, этот анализ разрывает хронологическую цепь биографии. А у Бродского, именно, — хронологическая цепь, строгая последовательность годов, месяцев и даже дней. В части собственно жизнеописательной автор до такой степени последователен и точен, документальный и эпистолярный материал цитируется с такой широтой и полнотой, что книга могла бы стать хорошим справочником по биографии Пушкина, если бы она была снабжена хотя бы минимальным научным аппаратом. Дефектами внешнего оформления книги мы считаем почти полное отсутствие каких-либо библиографических ссылок и отсутствие оглавления. Как это ни кажется элементарным, но об этом приходится сказать, ибо ознакомиться с конструкцией книги можно не иначе, как прочитав более 30 печатных листов текста от первой страницы до последней.

В истолковании биографии Бродский, в основном, исходит из концепции, обоснованной в биографической работе о Пушкине Б. В. Томашевского, углубляя и детализируя эту концепцию. Но автор не только использует работы своих предшественников, он вносит много своего и как биограф Пушкина и как комментатор его произведений. Н. Л. Бродскому вместе с А. Г. Цейтлиным принадлежит заслуга нового истолкования пушкинской „Записки о народном воспитании“.¹ Нам неизвестно, в какой зависимости друг от друга, но оба исследователя одновременно бесспорно установили, что при работе над „Запиской“ Пушкин принял за основу манифест 13 июня 1826 г., своеобразно исправляя его положения, а иногда и вступая в прямую полемику с ним. И Бродский и Цейтлин рассматривают „Записку о народном воспитании“ как документ, которым положено начало длительной борьбы Пушкина с самодержавием Николая I. Этот вывод очень ценен, так как „Записка о народном воспитании“ не раз истолковывалась как доказательство оппортунизма и чуть ли не ренегатства Пушкина.

Очень интересны соображения Бродского о влиянии „Войнаровского“ Рыдеева на замысел „Полтавы“ (стр. 580—586). Спорным и рискованным представляется нам сопоставление эволюции Пушкина с эволюцией Л. Фейербаха (стр. 530—531). Решительно некстати вспоминает Бродский о шеллингианской теории „божественного откровения“ при характеристике „Московского Вестника“ (стр. 490). Как известно, теория „божественного откровения“ была обоснована Шеллингом в 40-х годах, во второй период его деятельности; что же касается до московских любомудров, то на них оказала большое влияние только шеллингианская натурфилософия. Примитивно и очень неточно дана в книге характеристика общественно-литературной позиции „Московского Телеграфа“ (стр. 493). Вообще те части книги, где Бродский касается литературной и журнальной борьбы, — наиболее слабы и уязвимы. Н. Л. Бродский напрасно считает автором статьи об „Евгении Онегине“ в „Атенее“ 1828 г. А. Ф. Воейкова (стр. 499) — для этого абсолютно нет никаких оснований. Говоря об известной рецензии по поводу „Бориса Годунова“, которая была заказана Бенкендорфом, Бродский пишет, что „шеф жандармов, обратился к кому-то из литературно-образованных людей“ (стр. 469). После статьи Г. О. Винокура „Кто был цензором «Бориса Годунова» в первом томе «Временника Пушкинской комиссии»“, можно считать окончательно установленным, что автором рецензии был Бугарин.

В этом общем обзоре ограничиваем наши замечания по поводу книги Н. Л. Бродского приведенными немногими соображениями. Повторяем, — книга требует специального разбора.

В юбилейный пушкинский год кроме общих работ о жизни и творчестве великого поэта, о которых мы говорили, были переизданы и многие мемуары о Пушкине, опубликовано не мало нового документального материала, большое количество статей и по отдельным периодам жизни Пушкина и по ряду проблем его биографии.

Полезный сборник „Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников“ вышел под редакцией, со вступительной статьей и комментариями С. Я. Гессена (Л., Гослитиздат,

¹ См. статью А. Г. Цейтлина, „Записка о народном воспитании“ в „Литературном Современнике“, 1937, № 1, стр. 266—291.

1937).¹ В сборник включены наиболее ценные и значительные воспоминания о Пушкине его современников: А. С. Пушкина, И. И. Пушина, С. Д. Комовского, А. М. Каратыгиной, И. И. Лажечникова, С. А. Соболевского, Ф. Н. Глилки, Е. П. Рудыковского, В. П. Горчакова, А. Ф. Вельтмана, И. Д. Якушкина, Ф. Н. Лугинина, И. П. Липранди, Ф. Ф. Вигеля, А. И. Подолинского, М. И. Осиповой, Е. И. Фок, А. Н. Вульф, А. П. Керн, П. А. Вяземского, К. А. Полевого, С. П. Шевырева, М. В. Юзефовича, В. А. Нащокиной, В. И. Даля, В. А. Соллогуба, К. К. Данзаса, И. Т. Спасского. Жаль, что в сборник не включены замечательные воспоминания о Пушкине П. А. Катенина, выдержки из дневников А. В. Никитенко и А. И. Тургенева, а также некоторые другие материалы. С. Я. Гессен проделал серьезную работу по изучению мемуарной литературы о Пушкине: отметим хотя бы, что в его сборнике впервые сделана попытка объединить множество рассказов, суждений и припоминаний о Пушкине П. А. Вяземского, рассеянных в его „Записных книжках“, письмах, критических статьях и в автобиографии.

Новым (пятым) изданием вышли „Записки о Пушкине“ И. И. Пушина под редакцией, со статьей и примечаниями С. Я. Штрайха (М., Гослитиздат, 1937). В статье и примечаниях устранены те недочеты, которые были отмечены рецензентами прежних изданий „Записок“.

Новым, значительно дополненным изданием (шестым) в роскошном оформлении вышел известный монтаж В. В. Вересаева „Пушкин в жизни“ („Советский Писатель“, 1936, два тома). Как дополнение к „Пушкину в жизни“ Вересаевым издано два тома очерков „Спутники Пушкина“ („Советский Писатель“, 1937), где дано свыше 400 литературных портретов людей пушкинской эпохи. Первый том „Спутников“, изданный еще в 1934 г. и вызвавший справедливую критику в рецензиях С. Я. Гессена („Звезда“, 1935, № 1) и В. А. Мануйлова („Литературный Современник“, 1935, № 1), к сожалению, переиздан без каких бы то ни было дополнений и исправлений.²

Неизвестных воспоминаний и мемуаров о Пушкине за юбилейный год не появлялось, да и трудно было бы, по истечении ста лет со дня гибели Пушкина, ожидать каких-либо новых значительных приобретений. П. П. Перцов в заметке „Что я слышал о Пушкине“ сообщил несколько мелочей о поэте со слов Эраста Петр., Платона Петр. и Александра Петр. Перцовых.³ П. Е. Эрделя сообщил о П. П. Ларие, глубоком старце, живущем близ Елизаветграда и якобы знавшем Пушкина и семейство Давыдовых в Каменке.⁴ Всё это, однако, — мелочи, почти ничего не прибавляющие к тому, что мы знаем о Пушкине.

Переходя к обзору вновь опубликованных в юбилейный год документов, писем о Пушкине, а также наиболее существенных и содержательных работ по отдельным биографическим вопросам — располагаем материал в основном по хронологическому порядку периодов жизни Пушкина.

После известной работы Б. А. Модзалевского „Род Пушкина“ (1907) новую попытку изысканий по истории Ганнибалов и Пушкиных сделал М. Вегнер в книжке „Предки Пушкина“ („Советский Писатель“, 1937, 314 стр.). Яркий очерк об Абраме Петровиче Ганнибале — арапе Петра Великого дал Д. Д. Благой.⁵ Интересное исследование „Из семейного прошлого предков Пушкина“ сделал П. И. Люблинский, впервые полностью опубликовавший документы, относящиеся к судебному процессу Осипа Абрамовича Ганнибала с первой его женой Мариеной Алексеевной Пушкиной.⁶

Для изучения лицейского периода в биографии Пушкина первостепенное значение имеет публикация лицейских лекций А. П. Куницына и П. Е. Георгиевского по записям

¹ Мелкие недостатки в комментариях к сборнику отмечены в рецензии Б. В. Казанского — см. „Литературное Обозрение“, 1937, № 9, стр. 52—53. Ср. также рецензию С. Я. Штрайха в „Красной Нови“, 1937, № 5, стр. 206—207.

² Критический разбор нового двухтомного издания „Спутников Пушкина“ см. в рецензии Б. В. Казанского — „Литературное Обозрение“, 1937, № 14, стр. 41—44.

³ „Тридцать дней“, 1937, № 2, стр. 79—80.

⁴ Там же, стр. 81—82.

⁵ „Молодая Гвардия“, 1937, № 3, стр. 72—89.

⁶ „Литературный Архив“, изд. Института литературы Акад. Наук СССР, т. I, 1938, стр. 159—221.

А. М. Горчакова. Эти обширные записи, впервые извлеченные из архива Горчакова, являются важнейшим источником для изучения идейно-политических и эстетических влияний, под которыми складывалось мировоззрение молодого Пушкина. Публикации предпослано предисловие Б. С. Мейлаха, дающее общую характеристику лицейских лекций.¹

М. И. Ахун указал на несколько еще неопубликованных документов, касающихся пребывания Пушкина в лицейском лазарете в виду заболевания его „простудной лихорадкой“ (1812 г., май).²

Ценный материал к истории военной расправы с пушкинским Лицеем, состоявшейся в 1822 г. по указу Александра I, — дал С. Я. Гессен, опубликовавший „Записку А. Н. Голицына об императорском Лицее 1821 года“ и „Оправдательную записку Е. А. Энгельгардта“.³ Существенна также публикация С. Я. Гессена неизвестной ранее переработанной редакции воспоминаний о детстве Пушкина С. Д. Комовского и малоизвестных воспоминаний о Пушкине, Дельвиге и Баратынском В. А. Эртеля.⁴

1817 год в биографии Пушкина, год окончания им Лицея и вступления в „Арзамас“, исследован в работе Д. Д. Благого „Пушкин в 1817 году“.⁵ Д. Д. Благой подытожил большой материал, относящийся к этому периоду пушкинской биографии и поставил новые интересные вопросы. Учен и использован Д. Д. Благим любопытнейший отзыв о Пушкине в дневнике Серг. Ив. Тургенева. Однако в своем истолковании „Арзамаса“ и „Беседы“, как видно, Д. Д. Благой остался во многом при старых взглядах, прокламированных им еще в предисловии к книге „Арзамас и арзамасские протоколы“ (Л., 1933). В своей работе Д. Д. Благой совершенно обошел вопрос о взаимоотношениях Пушкина в 1817 г. с „Обществом военных людей“, между тем как знакомство поэта и с некоторыми членами этого общества и с „Военным журналом“ можно считать несомненным.

В заметке „Пушкин и пасторы (из забытых свидетельств о Пушкине)“ С. Н. Дурьлин напомнил выдержку из неизданного журнала А. И. Тургенева от 31 октября 1826 г., где Тургенев вспоминает, как в 1817 г. Пушкин был у него на вечере вместе с протестантскими и реформаторскими пасторами, как угощал их „пуншем и ужином, а под конец и бичевал веселым умом своим вином разогретого пастора“.⁶

Существенно важные документы, касающиеся широкого распространения пушкинской оды „Вольности“, найдены в Центральном военно-историческом архиве. Документы эти, опубликованные Н. Ф. Бельчиковым, относятся к 1828—1830 гг. и свидетельствуют об известности пушкинской оды юным кадетам, простым прапорщикам, нижним чинам (из вольноопределяющихся) и рядовым.⁷ В секретном деле Новороссийского наместничества об Анжело Галера Г. П. Миролюбовым найден список „Вольности“.⁸

Краткий обзор документам, относящимся к службе Пушкина в государственной коллегии иностранных дел (1817—1837), сделан А. Юрьевым.⁹ Часть документов, приводимых в этом обзоре, была уже опубликована полностью, а часть использована в биографиях Пушкина. К сожалению, никаких биографических ссылок на публикации документов составитель не дает. Не так поступил М. И. Ахун, статья которого „Материалы об А. С. Пушкине в ленинградских архивах (Обзор материалов Ленинградского отделения Центрального исторического архива и Ленингр. областного архивного управления)“ — сопровождается тщательным и точным библиографическим аппаратом.¹⁰

¹ „Красный Архив“, 1937, № 1 (80), стр. 75—206. См. рецензию Н. Пчелина — „Проблемы экономики“, 1938, № 3, стр. 205—207.

² „Архивное Дело“, 1936, № 4 (41), стр. 78.

³ „Литературный Современник“, 1937, № 1, стр. 252—259.

⁴ „Литературный Современник“, 1937, № 1, стр. 263—265.

⁵ „Известия Академии Наук СССР“, отд. обществ. наук, 1937, № 2—3, стр. 607—642.

⁶ „Тридцать дней“, 1937, № 2, стр. 83—86.

⁷ „Красный Архив“, 1937, № 1 (80), стр. 240—247.

⁸ „Резец“, 1937, № 3, стр. 12. Ср., однако, сборн. „Пушкин“, II, Одесса, 1926, стр. 1—4.

⁹ „Архивное Дело“, 1937, № 1 (42), стр. 128—132.

¹⁰ „Архивное Дело“, 1936, № 4 (41), стр. 78—84.

Новую информацию по поводу дневника кн. П. И. Долгорукова, о находке которого сообщалось в „Правде“,¹ дал М. А. Цявловский.² Приходится с нетерпением ожидать выхода из печати самого дневника, столь важного для изучения политических настроений Пушкина кишиневского периода.

Специального исследования о Пушкине и декабристах в течение юбилейного года не появлялось. Ничего нового не дала статья М. В. Нечкиной, посвященная общей характеристике взаимоотношений Пушкина с декабристским движением.³

К теме „Пушкин и декабристы“ следует отнести считавшееся утраченным письмо К. Ф. Рылеева и А. А. Бестужева к А. Ф. Воейкову от 15 сентября 1824 г. в связи с хищнической публикацией А. Ф. Воейковым отрывка из „Братьев-Разбойников“ в „Новостях Литературы“.⁴ Характерное упоминание о Пушкине, как „молодом оракуле“ декабристов, содержится в письме П. А. Болотова к отцу от 13 января 1826 г.⁵

Любопытный „Разбор стихов Пушкина под названием разные стихотворения“, сделанный Д. И. Хвостовым в 1826 г., опубликовал А. В. Западов.⁶

Краткие упоминания о Пушкине имеются в пяти письмах Ел. Н. и Ек. Н. Ушаковых, а также в письме А. Кононова 1827—1830 гг., опубликованных целиком и в извлечениях С. Д. Коцюбинским.⁷ Не лишены интереса отзывы о поэте в двух письмах 1830 и 1837 гг. И. Е. Гогниева к А. К. Балакиреву, напечатанные В. А. Закруткиным.⁸

С. Н. Дурьлин в специальной заметке напомнил о знакомстве Пушкина с отцом его лицейского товарища, балетоманом и бездарным рифмоплетом Г. П. Ржевским.⁹ С. Н. Дурьлин указал на книжку „Новые басни и разные стихотворения Григория Ржевского“ (СПб., 1817), где напечатана стихотворная записка Ржевского к Пушкину под заглавием „Записка, писанная к А. С. Пушкину на Кавказе у горячих вод, прежде нежели он читал мне стихи свои“. Напрасно, однако, С. Н. Дурьлин полагает, что записка Ржевского будто бы осталась навсегда безвестной и будто бы никогда нигде не перепечатывалась и никем не цитировалась. Перепечатку записки Ржевского можно найти в „Заметках о Пушкине“ Вл. Каллаша, опубликованных в пятом выпуске изд. „Пушкин и его современники“ (СПб., 1907, стр. 116).

Интересные выдержки о Пушкине из дневника А. А. Олениной (1818—1829) опубликовал В. Д. Бонч-Бруевич.¹⁰

В заметке „Пушкин-редактор“ С. Н. Дурьлин справедливо напомнил прочно забытый факт привлечения Пушкиным А. А. Шаховского в „Литературную Газету“. Об этом факте сам А. А. Шаховской рассказал в письме к С. Т. Аксакову от 8 января 1830 г., дважды напечатанном, но почему-то выпавшем из поля зрения биографов и исследователей Пушкина.¹¹

Сводку данных о Пушкине, как члене Российской Академии, с учетом архивных материалов, сделал Л. Б. Модзалевский.¹²

О знакомстве Пушкина летом 1833 г. с воспитателем поэтессы Елиз. Кульман К. Гросс-Гейнрихом рассказал С. Н. Дурьлин в очерке „Пушкин и Елизавета Кульман“.¹³

¹ „Правда“, 11 декабря, 1936 г., № 340.

² „Новый Мир“, 1937, № 1, стр. 287—290.

³ „Историк-марксист“, кн. 1, стр. 16—47; та же статья в сокращении — в „Вестнике Академии Наук СССР“, № 2—3, стр. 150—168.

⁴ „Литературный Архив“, изд. Института литературы Акад. Наук., т. I, 1938, стр. 422—424.

⁵ Там же, стр. 279.

⁶ Там же, стр. 265—272.

⁷ Там же, стр. 222—229.

⁸ Там же, стр. 290—296.

⁹ „Тридцать дней“, 1937, № 1, стр. 75—78.

¹⁰ „Известия ЦИК СССР“, 9 февраля 1937, № 35.

¹¹ „Тридцать дней“, 1937, № 1, стр. 72—74.

¹² „Вестник Академии Наук СССР“, 1937, № 2—3, стр. 245—250.

¹³ „Тридцать дней“, 1937, № 2, стр. 87—91.

Автор привел и отзыв Пушкина о сказках Е. Кульман, опубликованный в редкой книжке К. Гросс-Гейнриха „Елизавета Кульман и ее стихотворения“ (СПб., 1849). Отметим, что С. Н. Дурьдин ошибается, считая, что отзыв Пушкина о Кульман не попал „ни в один из инвентарей пушкинианы“. Точную справку по данному вопросу можно найти в примечаниях Л. Б. Модзалевского к третьему тому „Писем Пушкина“ (1935, стр. 589).

В статье П. С. Попова „Пушкин под надзором в Нижегородской губернии“ полностью напечатано дело „о учреждении секретного надзора за поведением поэта“;¹ дело это до сих пор было известно лишь в выдержках.

М. И. Ахун, по данным записей камер-фурьерского журнала, сообщил до сих пор неизвестные факты о присутствии Пушкина с женой Натальей Николаевной на двух придворных балах в Петергофе 30 июня и 1 июля 1835 г.² Повидимому, эти две новые даты обнаружены М. И. Ахуном не в результате систематического просмотра камер-фурьерского журнала, а случайно. Подчеркнем, что необходимо, наконец, провести систематическое обследование камер-фурьерского журнала в отношении к Пушкину.

Очень ценна работа Г. Лебедева, Ю. А. Бахрушина и Н. Г. Машковцева „Пушкин и его современники на картине Г. Чернецова «Парад на Царицыном лугу»“.³ Авторами этой работы впервые опубликован чернецовский список изображенных на картине 223 лиц; все эти лица кратко охарактеризованы, раскрыты их инициалы и установлены даты их рождения и смерти. Комментарии к чернецовскому списку являются полезнейшим справочником по Петербургу 30-х годов XIX столетия.

Журнальная деятельность Пушкина посвящено несколько удачных популярных статей в пушкинском номере „Большевистской Печати“ (1937, № 2—3). Н. Л. Степанов в очерке „Пушкин-полемист“ охарактеризовал полемические статьи Пушкина. В. Тренин рассмотрел взаимоотношения Пушкина с „Литературной Газетой“. В. Н. Орлов дал обзор журнальных начинаний Пушкина. С. Я. Гессен на убедительных примерах охарактеризовал Пушкина как одного из первых русских писателей-профессионалов. В том же номере „Большевистской Печати“ помещена и статья В. Б. Шкловского „Пушкин — редактор Современника“. При всей занимательности этой статьи, она не дает, однако, полного и отчетливого представления о журнальной политике и тактике Пушкина. Имеются в статье и несправильные утверждения.⁴ Так, В. Б. Шкловский указывает, например, что в известном гоголевском обзоре „О движении журнальной литературы“ строки Гоголя о пренебрежении к прошлому литературы, о литературном безверии и литературном невежестве вряд ли не являются ответом на „Литературные мечтания“ Белинского. Эта догадка не имеет за собой решительно никаких оснований потому, что в черновике гоголевской статьи имеется сочувственный отзыв о Белинском, чего, видимо, В. Б. Шкловский не знает.

Очень интересен по теме и содержанию очерк Н. В. Здобнова „Пушкин и библиография“.⁵

Опубликованные Л. Б. Модзалевским пять счетов Пушкину книжных магазинов и букинистов за 1832—1835 гг. дают возможность установить ряд новых названий книг из библиотеки поэта и уточнить ее состав.⁶ Новый документ о книгах библиотеки Пушкина опубликовал также Б. В. Шапошников. В бумагах А. А. Венкстера им найден список книг под заглавием „Регистр книг у г. А. С. Пушкина“ с пометой „С Полотняного завода“.⁷ Б. В. Шапошников делает предположение, что в данный регистр вошли книги, отобранные Пушкиным в библиотеке Гончаровых во время пребывания поэта на Полотняном заводе. Точное происхождение регистра, без какого-либо дополнительного материала, пока невоз-

¹ В сб. „Пушкин в Боддине“, Горьковское обл. изд-во, 1937, стр. 107—113.

² „Архивное Дело“, 1936, № 4 (41), стр. 78—84.

³ „Искусство“, 1937, № 2.

⁴ Еще менее серьезного значения имеет очерк того же автора „Рассказ о Пушкине“, Библиотека „Огонек“, № 16, Жургаз. об. единение, М. 1937.

⁵ „Книжные Новости“, 1937, № 2, стр. 47—51.

⁶ „Литературный Архив“, изд. Института литературы Акад. Наук, т. I, 1938, стр. 36—42.

⁷ „Пушкин. Временник Пушкинской комиссии“, т. 3, 1937, стр. 358—370.

можно раскрыть, но, несмотря на это, ценность опубликованного документа несомненна. „Регистр“ обогащает нас дополнительными сведениями о круге чтения Пушкина.

Частному вопросу изучения пушкинской библиотеки посвящена обстоятельная работа Н. В. Цейц „Sibirica в библиотеке Пушкина“.¹ Общую характеристику пушкинской библиотеки сделал Л. Б. Модзалевский в очерке „Спутники и друзья поэта“.²

Статьи и очерки, посвященные биографии лиц, так или иначе связанных с Пушкиным, в юбилейной литературе были немногочисленны. Из наиболее существенных укажем статью А. Линина „Историк войска Донского В. Д. Сухоруков и А. С. Пушкин“,³ а также очерк С. Дурылина и Д. Щепкина „Пушкин и Щепкин“.⁴ Работа А. Линина интересна, поскольку автор использовал неизданные материалы о Сухорукове, хранящиеся в Азово-Черноморском архивном управлении. Отметим здесь же статью М. П. Алексеева „Пушкин и Китай“.⁵

Особую категорию материалов составляют документы личного архива Пушкина, в настоящее время почти полностью опубликованные.⁶ В первую очередь нужно назвать популярнейшую сказку казахского народа, историю Косу-Корпеча и Баян-Слу, записанную неизвестной рукой и хранившуюся у Пушкина. Л. Б. Модзалевский, опубликовавший эту запись, правильно подчеркивает, что нахождение замечательной казахской сказки в бумагах Пушкина — еще одно доказательство того, что ему „дороги были трудящиеся всех национальностей, дорог был каждый язык, каждая культура“.

В личном архиве Пушкина хранились впервые опубликованные также Л. Б. Модзалевским 10 писем к поэту разных лиц за годы 1833—1837. Переписка Пушкина обогатилась письмами В. Н. Семенова, П. А. Клейнмихеля, Д. И. Языкова, П. А. Вяземского, А. А. Фукс, запиской III Отделения, письмом неизвестного, письмом Б. А. Враского (с приложением трех счетов за печатание в его типографии 1, 2 и 3 книг „Современника“), К. Т. Хлебникова и М. Л. Яковлева. С делами Пушкина по журналу связаны записка В. Ф. Одоевского, а также письма 1835 г. Султан Казы-Гирея к А. Н. Муравьеву и А. И. Тургеневу к П. А. Вяземскому. Отметим ценные примечания Л. Б. Модзалевского к письмам, особенно его справку о Султан Казы-Гирее, которого смешивали с Крым-Гиреем Мамаг Гиреевым-Ханом Гиреем, справку о Л. А. Якубовиче, которого рекомендовал Пушкину М. Л. Яковлев и, наконец, справку о К. Т. Хлебникове.⁷

Для истории литературно-организационной работы Пушкина над изданием своих произведений существенны документы по изданиям I главы „Евгения Онегина“, сборника „Стихотворений А. Пушкина“ и „Истории Пугачева“. К этой же группе материалов из личного архива поэта примыкают счета разных магазинов и поставщиков Пушкина (наиболее интересны отмеченные нами выше счета книжных магазинов и букинистов), его заемные письма, долговые обязательства и другие документы (всего свыше 30), с большой полнотой рисующие материальный быт Пушкина, в особенности за 1836—1837 гг. В состав личного архива поэта входили также опубликованные теперь 15 семейных документов, купчих крепостей и межевых выписей, письма за 1833 г. М. И. Калашникова и И. М. Пеньковского к С. Л. Пушкину, квитанции С.-Петербургского опекунского совета и про-

¹ Сборник „Пушкин и Сибирь“, М.—Иркутск, 1937, стр. 74—100. В статье Н. В. Цейц, как, впрочем, и в других статьях данного сборника, — огромное количество грубейших опечаток.

² „Большевистская Печать“, 1937, № 2—3, стр. 95—98.

³ Сборник „Пушкин 1837—1937“ Ростов на Дону, Педагог. институт, 1937, стр. 76—124.

⁴ „Тридцать дней“, 1937, № 10, стр. 81—88.

⁵ Сборник „Пушкин и Сибирь“, М.—Иркутск, 1937, стр. 108—145.

⁶ Материал „Из архива Пушкина“, за исключением трех автографов поэта и записи казахской сказки, опубликован Л. Б. Модзалевским (при участии А. В. Западова, Н. И. Мордовченко, М. А. Цявловского и В. Г. Чернобаева) в первом томе „Литературного Архива“, изд. Институтом литературы Акад. Наук, 1938, стр. 3—156. Казахская сказка напечатана во „Временнике Пушкинской комиссии“, т. 3, стр. 323—325.

⁷ Расширенная редакция справки о К. Т. Хлебникове напечатана Л. Б. Модзалевским в сборнике „А. С. Пушкин и Сибирь“, М.—Иркутск, 1937, стр. 155—164

чий материал, связанный с нижегородскими именами Пушкиных — Боддиным и Кистеневым. Состав личного архива Пушкина широк и разнообразен — опубликованные документы вместе с комментариями к ним занимают свыше 10 печатных листов.

Обстоятельствам гибели Пушкина, его дуэли и смерти, в юбилейный год было уделено особенно большое внимание. Среди ряда статей на эту тему в журналах и газетах следует выделить работы Б. В. Казанского, много сделавшего в исследовании данного вопроса и еще в 1925 г. впервые выдвинувшего положение, что гибель Пушкина явилась результатом не семейной истории, а следствием сложной придворной интриги. Статья Б. В. Казанского „Гибель поэта“¹ подытоживает результаты его многолетних исследований по выяснению причин трагической смерти Пушкина. „Пушкин погиб жертвой не собственного ревнивого чувства как Отелло, а сознательной, злонамеренной интриги, — пишет Б. В. Казанский, — и гибель его была значительнее и трагичнее, чем это представлял Щеголев и даже старая традиция. Она волнует нас уже не только как преждевременная смерть любимого поэта, и не только как гибель гения, задохшегося в чуждой и враждебной среде, но как обдуманное преступление, которое должно быть разоблачено перед судом истории“. Кроме только что названной статьи „Гибель поэта“, Б. В. Казанский опубликовал исчерпывающий календарь последних дней Пушкина,² сделал критический обзор литературы о гибели Пушкина за 1837—1937 гг.,³ наконец, напечатал выдержки о дуэли и смерти поэта из трех иностранных книг: 1) из книги „Le tzar Nicolas et la sainte Russie par Ach. Gallet de Kulture (Париж, 1855); 2) из книги „Les mystères de Russie“, par Fr. Lacroix (Брюссель, 1844); 3) из брошюры „La Russie envahie par les allemands. Notes recueillies par un vieux soldat, qui n'est ni pair de France, ni diplomate, ni député“ (Париж—Лейпциг, 1844).⁴

В истории расследования обстоятельств, приведших Пушкина к гибели, очень важной является публикация донесений Геккерна и секретаря голландского посольства в Петербурге Геверса голландскому министру иностранных дел. Донесения эти были размканы в государственных архивах г. Гааги и напечатаны двумя голландскими учеными Карелем Бааком и П. Ван-Паргэйзом в первой книжке „Revue des Études Slaves“ за 1937 г. Теперь появился и русский перевод этих документов с комментариями Б. В. Казанского.⁵ Карель Баак и П. Ван-Паргэйз обнаружили также в голландских архивах письмо Николая I к Вильгельму, наследному принцу и фактическому правителю Голландии. Публикация этого интереснейшего документа, самое существование которого голландские власти упорно отрицали, пока только обещана на страницах „Revue des Études Slaves“.

Бюллетени о состоянии здоровья Пушкина 28 и 29 января 1837 г., написанные В. А. Жуковским и выставившиеся у дверей квартиры раненого поэта, — опубликованы Л. Б. Модзалевским.⁶ Значительную работу по расшифровке и критическому анализу известных „заметок“ Жуковского о гибели Пушкина проделал И. А. Боричевский. Всего до нас дошло восемь „заметок“, из которых прежними исследователями были использованы только первые три. И. А. Боричевский напечатал все восемь „заметок“.⁷ Тот же автор в другой работе проанализировал черновик записки В. И. Даля о смерти Пушкина.⁸ Черновик показаний П. А. Вяземского по поводу дуэли поэта с Дантесом опубликован Н. Ф. Бельчиковым.⁹ Опубликование этих материалов было необходимо для установления возможно более полной и точной картины последних дней великого поэта.

Из посмертных откликов на гибель Пушкина характерно по своей гневной резкости опубликованное В. В. Гиппиусом письмо М. П. Погодина к С. П. Шевыреву 1838 г. о Дан-

¹ „Литературный Современник“, 1937, № 3, стр. 219—243.

² „Литературный Ленинград“, 1936, № 53; 1937, №№ 5, 6, 7 и 8.

³ „Пушкин. Временник Пушкинской комиссии“, т. 3, стр. 445—457.

⁴ „Литературный Современник“, 1937, № 1, стр. 308—312.

⁵ „Литературный Современник“, 1937, № 2, стр. 221—227.

⁶ „Пушкин. Временник Пушкинской комиссии“, т. 3, стр. 393—395.

⁷ Там же, стр. 371—392.

⁸ „Звезда“, 1937, № 3, стр. 158—168.

⁹ „Красный Архив“, 1937, № 1 (80), стр. 248—250.

тесе и о трагической судьбе Пушкина в сопоставлении с трагической судьбой других гениев.¹ Отметим также небесполезную перепечатку в русском переводе статьи Адама Мицкевича о Пушкине (1837 г.), в которой, как известно, при переводе ее П. А. Вяземским, было пропущено и искажено несколько мест, дававших политическую характеристику как самого Пушкина, так и общественного положения в России.²

Особняком стоят в юбилейной литературе материалы о пушкинских местах. Большинство газет тех областей и районов, где бывал Пушкин, посвятили великому поэту специальные тематические страницы. Назовем ряд тем, освещенных в этих газетах: „Кишиневский приятель Пушкина — белозерец Алексеев“ („Белозерский Колхозник“, 8 февр.), „Пушкин в Грузии и в Армении“ („Коммунист“, Ереван, 2 февр.), „Пушкинские места в Гурзуфе“ („Красный Крым“, Симферополь, 29 янв.), „Пушкин в Пскове“ („Псковский Колхозник“, 10 февр.), „Пушкин и Москва“ („Крестьянская Правда“, 8 февр.), „Пушкин и Тула“ („Коммунар“, Тула, 4 янв.), „Тригорское“ („Пролетарская Правда“, Калинин, 4 февр.), „Пушкин в Болдине и Нижнем Новгороде“ („Горьковская Коммуна“, 4 янв.), „Где встретил Пушкин тело убитого Грибоедова“ („Коммунист“, Ереван, 1 февр.), „Пушкин и Сибирь“ („Советская Сибирь“, 4 февр.), „Пушкин в Казани“ („Красная Татария“, 9 янв.) и т. д.

В ряде городов Советского Союза были выпущены специальные сборники о Пушкине. Из этих сборников наиболее интересными являются те, которые построены на местном материале. В первую очередь нужно назвать большой сборник „Пушкин в Болдине“ (Горький, 1937, 563 стр.), содержащий несколько специальных статей — Н. С. Ашукина (Пушкин и Болдино), П. С. Попова („История Болдина“ и „Пушкин под надзором в Нижегородской губ.“), С. Орлова („Советское Болдино“), а также подборку произведений Пушкина, написанных в Болдине, и специальную библиографию. Бахчисарайским дворцом-музеем издана брошюра Д. Зиядинова „Пушкин и бывший ханский дворец“ (Гос. изд. КрымАССР, 1937, 26 стр.), содержащая ряд данных из истории дворца ханов, а также исторический комментарий к легенде, положенный Пушкиным в основу „Бахчисарайского фонтана“. Материал, использованный автором, оставался вне поля зрения исследователей поэмы Пушкина и в этом — интерес брошюры. Весьма обстоятельная работа А. П. Семенова „Пушкин на Кавказе“ (Пятигорск, 1937, 174 стр.), ставящая задачей углубленное изучение вопроса о пребывании поэта на Кавказе и о кавказских мотивах его творчества. Главное внимание автор уделяет мало исследованным путешествиям Пушкина по Северному Кавказу, но для полноты изложения касается также и поездки его в Закавказье. В приложении к работе дана детально разработанная хронологическая канва путешествий Пушкина по Кавказу и выдержки из мемуаров кавказских знакомств поэта. Отметим еще книжку И. К. Ениколопова „Пушкин на Кавказе“ („Заря Востока“, Тбилиси, 1938, 190 стр.). Произведения Пушкина, посвященные Кавказу, собраны в сборнике „А. С. Пушкин о Кавказе“, предисловие и комментарии проф. А. П. Семенова (Пятигорск, 1937). Алушкинским гос. дворцом-музеем издана популярная книжка С. Д. Коцюбинского „Пушкин в Крыму“ (1937. 120 стр.). В Челябинске издан сборник под заглавием „Пугачев в произведениях Пушкина“ (1937, 326 стр.), куда вошли „Капитанская Дочка“, „История Пугачева“, а также ряд приложений — переписка Пушкина и воспоминания его современников о работе поэта над „Историей Пугачева“, хронологическая канва работы Пушкина над „Историей Пугачева“, манифесты Пугачева, материалы следственного дела о Пугачеве, к которым царское правительство не допустило Пушкина, и др. В сборнике даны две статьи его редактора, Е. Блиновой — „Пугачев на Южном Урале по произведениям Пушкина“ и „Устное народное творчество в произведениях Пушкина о Пугачеве и фольклор Южного Урала“.

¹ „Пушкин. Временник Пушкинской комиссии“, т. 3, стр. 397—398; в тексте опубликованного письма допущена опечатка, вошедшая и в указатель имен — вместо „Кеплер“ напечатано „Келлер“.

² „Интернациональная Литература“, 1937, № 2, стр. 153—158; ср. также „Литературную Газету“, 1937, 5 февраля, № 7.

В Оренбурге издан сборник „Пушкин в Оренбурге“ (1937, 103 стр.) со статьями „Пушкин и пугачевское восстание“, „Оренбург эпохи Пушкина“ и др.

Выпущены — путеводитель по „Пушкинской Москве“, составленный Н. Р. Левинсоном, П. Н. Миллером и Н. П. Чулковым под ред. М. А. Цявловского („Московский Рабочий“, 1937); путеводитель „По Пушкинским местам“, сост. О. Ломан (Калинин, 1937); книжки В. Ф. Широкого „Пушкин в Петербурге“ (Л., 1937) и „Пушкин в Михайловском“ (Л., 1937); наконец, издана хрестоматия поэтических текстов Пушкина, связанных с Михайловским и Тригорским — „Пушкинские места“, со вступительной статьей Д. П. Якубовича и гравюрами на дереве Л. С. Хижинского (Л., 1936).

Положительные итоги юбилейного 1937 года трудно переоценить. Жизнь и творчество Пушкина стали достоянием широких масс многонационального Советского Союза. Пушкин стал подлинным народным поэтом. „Пушкинский год“ показал, какое огромное место занимают искусство, литература в социалистическом обществе, — показал, как умеет великая семья свободных и счастливых народов Союза чтить память своих лучших сынов.¹ Неоспоримо значение юбилейного года и для развития науки о Пушкине. Ряд опытов биографий великого поэта, попытки подытожить собранный до сих пор огромный биографический материал, наконец, обнаружение и публикация нового материала — всё это значительно не только само по себе, но и важно для исследования крупного синтетического охвата. Итоги пушкинского года не только открывают путь, но и дают совершенно исключительные стимулы для создания большой обобщающей книги о жизни и творчестве Пушкина.

Н. Мордовченко.

„Борис Годунов“ А. С. Пушкина. Редакция текста и комментарии Г. О. Винокура (Пушкин, Полное собрание сочинений, том VII, Драматические произведения, Изд. Академии Наук СССР, 1935, 724 стр.).

Рецензируемая работа Г. О. Винокура (установление основного текста, показ других редакций и вариантов и комментарии к „Борису Годунову“ Пушкина) осуществлена в плане подготовки юбилейного (1837—1937) издания первого советского академического полного собрания сочинений А. С. Пушкина. Напечатана работа в т. VII этого издания, который ныне заменен новым томом (без комментариев), вышедшим при обновленной главной редакции издания.

Работа Г. О. Винокура распадается на три основных раздела: I. Публикация основного (установленного в результате работы Г. О. Винокура) текста трагедии (стр. 1—98); II. Другие редакции, планы, варианты (стр. 261—295) и III. Комментарии (стр. 335—505).

„Борис Годунов“ — одно из самых сложных в текстологическом отношении произведений Пушкина. Отсутствие полной черновой рукописи трагедии (черновик в тетр. № 2370 доходит до середины сцены „Ночь. Келья в Чудовом монастыре“), сложная и разновременная правка в беловом автографе и в писарской копии 1826 г., попытки как самого Пушкина, так и ряда лиц, принимавших участие в издании трагедии, — обойти цензурные требования, отсутствие писарской копии 1829 г., с которой печаталось первое издание, и, наконец, то обстоятельство, что сам Пушкин не наблюдал лично за печатанием трагедии, передоверив это дело Плетневу и Жуковскому, — всё это крайне затрудняет (и ватрудняет) установление подлинного основного текста „Бориса Годунова“.

Серьезная попытка установления — на базе всего огромного материала, накопленного пушкиноведением за сто лет, — наиболее совершенного и бесспорно-пушкинского текста „Б. Г.“ — самая сильная часть рассматриваемой работы Г. О. Винокура.

Целый ряд неясностей и спорных чтений — и в полном собрании сочинений Пушкина под ред. С. А. Венгерова, изд. Брокгауза-Ефрона, и в начатом еще до революции и прекра-

¹ Д. Д. Благой. „Итоги Пушкинского года“. „Правда“, 1938, 11 февраля, № 41.

щенном впоследствии академическом полном собрании сочинений, изд. Академии Наук, — могут считаться после настоящей публикации текста „Б. Г.“ окончательно проясненными.

Текстологическая сторона воспроизведения пушкинской трагедии в „Полном собрании сочинений Пушкина“, изд. Академии Наук (т. IV, 1916), стояла на весьма невысоком научном уровне. Комментарии в этом издании также далеко не удовлетворяли своему назначению. Так, описывая поправки, внесенные в беловой автограф „Б. Г.“ 1825 г. еще до снятия копии 1826 г. и вошедшие в эту писарскую копию (тетр. 2392), комментатор П. О. Морозов считал часть этих поправок („Наряжены мы вместе город ведать“ и др.) принадлежащими В. А. Жуковскому (стр. 86—90). Но Жуковский не мог читать „Б. Г.“ до снятия с него писарской копии. В феврале 1826 г. Плетнев передает Пушкину просьбу Жуковского о присылке ему трагедии. Пушкин ответил известным отказом („Какого вам Бориса и на какие лекции?“). 12 апреля 1826 г. Жуковский писал Пушкину о том, что едет в Карлсбад и вернется не раньше половины сентября. В июле 1826 г. Жуковский был в Эмсе, в октябре—ноябре — в Дрездене и т. д. До возвращения из-за границы в декабре 1826 г. Жуковский не читал пушкинской трагедии, а следовательно, не был и автором указанных поправок.

И по сравнению со всеми советскими изданиями (шеститомное издание Гослитиздата, однотомник 1936 г., девятитомное и шеститомное издания „Academia“ и др.) рассматриваемый текст является, несомненно, весьма значительным шагом вперед в деле установления правильного чтения трагедии.

Так, окончательно могут считаться решенными сейчас сложные вопросы, связанные с выбором песни Варлаама.

Напомним, что в автографе 1825 г. Варлаам после реплики Мисаила „... бог тебя благослови“ — затягивает песню: „Ты проходишь дорогая“ и пр. Во втором случае после своих слов „... выпьем же чарочку за шинкарочку...“ Варлаам продолжает эту же песню: „Где неволей добрый молодец“ и пр. Заставляя Варлаама петь в третий раз (после слов „... может быть кобылу нюхал...“), Пушкин не дает слов песни и ограничивается ремаркой: „(пьет и поет)“. В писарской копии 1826 г. Пушкин меняет песню Варлаама: в первом случае он поет „Ах, любя ты любя моя|Посмотри тка ты, любя, на меня“, во втором случае Варлаам продолжает „Посмотри-тка ты, любя, на меня“, в третьем случае остается ремарка „(пьет и поет)“ без приведения слов песни. В издании 1831 г. изменения наибольшие: в первом случае песню „Как во городе было во Казани...“ поет уже Мисаил, во втором случае Варлаам не поет ничего (отсутствует даже и ремарка), в третьем случае Варлаам продолжает песню Мисаила: „Молодой чернец постригся“. Таким образом видим, что во всех трех редакциях последовательность приведения слов одной и той же песни (для данной редакции) Пушкиным соблюдена.

Для того чтобы показать произвол, царивший в последних изданиях при решении вопроса о песне Варлаама, напомним, что в „Однотомнике“ 1936 г. (ред. Б. В. Тома, шевский) в первом случае Варлаам поет „Ах, любя, ты любя моя|Посмотри-тка ты, любя на меня“, во втором случае — продолжает: „Посмотри-тка ты любя на меня“, а в третьем случае — поет совершенно новую песню: „Как во городе было во Казани|Молодой чернец постригся“. Неправоммерность такой реконструкции — очевидна.

Г. О. Винокур правильно берет при решении вопроса о выборе песни текст прижизненного издания 1831 г. с последовательным приведением слов одной и той же песни „Как во городе было во Казани“.

Что же касается до отнесения в первом случае (после реплики Мисаила: „... бог тебя благослови“) песни — к Варлааму, а не Мисаилу (как в издании 1831 г.), то в этом случае Г. О. Винокур, отнюдь не новаторствуя, как утверждает Д. Благой,¹ следует за установившейся традицией всех посмертных изданий (кроме издания 1838—1841 гг.), вос-

¹ Д. Благой. „Академическое издание Пушкина“. „Литературный Критик“, 1936, № 5, стр. 235.

производивших ту редакцию, которая в пушкинских текстах „Б. Г.“ наличествует дважды: автограф 1825 г. и авторизованная копия 1826 г.

Но Д. Д. Благой совершенно прав, справедливо упрекая Г. О. Винокура в отнесении реплики: „что же ты не подтягиваешь, да и не потягиваешь“ — к Варлааму, а не к Мисаилу. В этом отношении Г. О. Винокур следует за новой традицией, установившейся во всех последних изданиях — шеститомник ГИХЛ (все издания), однотомник 1936 г., девятитомник изд. „Academia“ и пр.

Напомним, однако, что в обеих рукописях ремарка — (Григорию) — отнюдь не дает бесспорного основания для приписывания этой реплики только что затянувшему песню Варлааму и что, начиная с первого издания 1831 г., решительно все последующие (1831—1937) издания — и посмертное изд. 1838—1841 гг. (т. I, стр. 287), и П. В. Анненков (СПб., 1855, т. IV, стр. 262), и П. А. Ефремов (СПб., 1880, т. II, стр. 72), и П. О. Морозов (СПб., 1837, т. III, стр. 19; СПб., 1903, т. III, стр. 285; СПб., 1916, т. IV, стр. 72), и С. А. Венгеров (СПб., 1908, т. II, стр. 330) — приписывали эту реплику Мисаилу.

Отметим еще несколько случаев спорного чтения пушкинского текста в настоящем издании.

На стр. 62 („Ночь. Сад. Фонтан“):

Встань, бедный самозванец,
Не мнишь ли ты коленопреклоненьем,
Как девочке доверчивой и слабой
Тщеславное мне сердце умилишь?

Во всех списках трагедии и в издании 1831 г. чтение одинаково:

Встань, бедный самозванец.
Не мнишь ли ты коленопреклоненьем,
Как девочки доверчивой и слабой
Тщеславное мне сердце умилишь?

Мотивируя эту конъектуру, Г. О. Винокур пишет: „В сцене у фонтана, в ст. 110, место чтения: „Как девочки доверчивой и слабой тщеславное мне сердце умилишь“, находящегося во всех трех основных источниках текста „Б. Г.“, мы допустили исправление „девочке“: Пушкин мог написать „девочки“ и в значении дательного падежа, но такое написание создает затруднения для понимания этого места и нам показалось возможным в данном случае им не дорожить, оговорив допущенное исправление в комментарии“ (стр. 430).

Эта мотивировка Г. О. Винокура — не убедительна. Дело не в том, что Пушкин мог написать (как думает Г. О. Винокур) форму: „девочки“ в значении дательного падежа. У Пушкина форма: „девочки“ — необходима по смыслу всей строфы: сердце доверчивой и слабой девочки. Если бы мы попробовали изложить прозой приведенные выше пушкинские строки, то получилось бы, примерно, следующее: „Не надеешься ли ты коленопреклоненьем умилишь мне сердце, как умилит бы ты тщеславное сердце доверчивой и слабой девочки“. Марина ведет с Дмитрием сложную и тонкую игру и не в ее интересах открыть так просто и скоро перед ослепленным страстью Дмитрием свое действительное холодное тщеславие. Попробуем изложить прозой чтение, предлагаемое Г. О. Винокуром: „Не надеешься ли ты коленопреклоненьем умилишь мне тщеславное сердце, как доверчивой и слабой девочке“. Как видим разница здесь есть. В первом случае (у Пушкина) тщеславная Марина („...Конечно, это была странная красавица, — писал о ней Пушкин в наброске предисловия-письма к трагедии, — у нее была только одна страсть — тщеславие, но до такой степени сильное, бешеное, что трудно себе представить“) говорит с Дмитрием, искусно маскируя свое подлинное лицо. Во втором случае (у Винокура) тщеславная Марина сразу же заявляет о своем тщеславии.

В письме к Н. Н. Раевскому (конец июля — начало августа 1825 г.), на которое Пушкин смотрел как на набросок предисловия к трагедии, Пушкин высмеивает писателей, которые создают характеры своих героев, основываясь только на одном каком-либо их свойстве: „Un conspir. dit Donnez moi [de la soupe] à boire en conspirateur — et ce n'est que ridicule...“ Об этом же пишет Пушкин, сравнивая Мольера и Шекспира: „... У Мольера Лицемер волочитя за женою своего благодетеля — лицемера; принимает имя под сохранение — лицемера; спрашивает стакан воды лицемера...“ Не то видит Пушкин у Шекспира: „Анджело лицемер... А какая глубина в этом характере!“¹ С истинно-шекспировской широтой Пушкин рисовал и характер Мариньы: „... Посмотрите, как она переносит войну, нищету, позор и в то же время сноится с польским королем, как коронованное лицо с равным себе...“ (подлинник на франц. яз.).

Поправка, внесенная Г. О. Винокуром в пушкинский стих, не оправдана и не соответствует пушкинскому замыслу.²

Вызывает серьезное возражение воспроизведение стиха:

Мазурки гром не призывает нас

на что в свое время уже обратил внимание Д. Благой.³ Действительно, в отношении этого стиха в последних изданиях наблюдается совершеннейший разнобой. Вопрос настолько запутан, что стоит напомнить его историю и привести несколько сопоставлений. В беловом пушкинском автографе 1825 г., а также и в снятой с него писарской копии 1826 г. (92 ЛБ) читается:

Мазурки гром не подзывает нас

Но уже в прижизненном издании 1831 г. редакция изменена:

Музыки гром не призывает нас

Д. Благой справедливо отметил, что „мазурка получила распространение значительно позднее только в первой половине XVIII века“.⁴ Таким образом редакция 1831 г. устраняла имевшийся в редакции 1825 г. анахронизм. В редакции прижизненного издания („Музыки гром не призывает нас“) этот стих воспроизводился и в первом посмертном издании 1838—1841 гг. и в изд. П. В. Анненкова 1855 г., и в изд. Я. А. Исакова 1859 г., и в третьем изд. Исакова, под ред. П. А. Ефремова, 1880 г., и в изд. под ред. П. О. Морозова 1887 г., и в изд. Л. Поливанова 1887 г. и т. д.

Но, редактируя в 1903 г. сочинения Пушкина для изд. „Просвещение“, П. О. Морозов напечатал этот стих (т. III, стр. 316) по иному:

Мазурки гром не призывает нас

оговорив эту свою контаминацию в примечании (стр. 637). Однако тот же П. О. Морозов, редактируя текст „Б. Г.“ для старого академического издания (т. IV, 1916 г.), сам отверг это свое новшество, воспроизведя стих по посмертному изданию:

Музыки гром не призывает нас

Таким образом видим, что во всех дореволюционных изданиях 1831—1917 гг. в отношении этого стиха оказалась устойчивой традиция прижизненного издания 1831 г. Новое чтение, предложенное П. О. Морозовым в 1903 г., не было принято последующими редакторами (С. А. Венгеров, изд. Брокгауз-Ефрон, т. II, 1908 г., и др.), а в 1916 г. от него отходит и сам П. О. Морозов.

¹ „Лица, созданные Шекспиром...“

² Шеститомник ГИХЛ (изд. IV), 1936 г.; „Academia“ (в шести томах), 1936 г.; „Academia“ (в девяти томах), 1935 г. — „девочки“.

³ Д. Благой. „Академическое издание Пушкина“. „Литературный критик“, 1936, № 5, стр. 234.

⁴ Там же.

Разнобой начинается в изданиях последних лет. Шеститомник Гихл 1931—1933 г. (ред. „Бориса Годунова“ — Б. Томашевский) возвращает нас от прижизненного издания 1831 г. к рукописи 1825 г.:

Мазурки гром не подзывает нас

Однако уже в четвертом издании того же шеститомника (1936 г., ред. „Бориса Годунова“ — Б. Томашевский) дается новое чтение:

Музыки гром не призывает нас

соответствующее прижизненному изданию 1831 г. Но уже в шеститомнике (т. III, 1936 г.) и в девятитомнике (т. VI, 1935 г.) изд. „Academia“ редактор „Б. Г.“ — Д. П. Якубович воспроизводит этот стих вновь по автографу 1825 г.:

Мазурки гром не подзывает нас.

И, наконец, в первом полном советском академическом издании, призванном дать канонический пушкинский текст, Г. О. Винокур вновь воскрешает новаторство, которое ввел было в 1903 г. П. О. Морозов и отказался от него в 1916 г.:

Мазурки гром не призывает нас.

Это чтение должно быть отвергнуто как произвольное. Реальных указаний на „случайную порчу текста“ этого стиха в изд. 1831 г. — мы не имеем, тогда как устраненный в этом стихе анахронизм является неопровержимым доказательством целесообразности редакции 1831 г. Из двух пушкинских чтений:

Мазурки гром не подзывает нас

(автограф 1825 г.)

и

Музыки гром не призывает нас

(издание 1831 г.)

— должно остановиться на последнем.

В разделе „Другие редакции, планы, варианты“ на стр. 269 (Черновая редакция первых пяти сцен) Г. О. Винокур воспроизводит:

Быть может кровь царевича святого

Ему шагнуть мешает на престол —

Чтение первой строки можно оспаривать. В рукописи (2370, л. 45 об.) читается:

Быть может кровь царевича святая

Слово „святая“ зачеркнуто, потом восстановлено. Ср. в дальнейшем тексте аналогичное чтение „кровь святая“:

И ты забыл младенца кровь святую.

Недостаточно обосновано также и решительное выбрасывание (стр. 284) из пушкинского наброска первоначального заглавия трагедии (автограф из собрания А. Ф. Онегина) знаменитых слов: „Летопись о многих мятежах и пр.“,¹ рассматриваемых Г. О. Винокуром (стр. 397) как не относящуюся к заглавию трагедии запись названия одного из сказаний о смутном времени: „Кроме заглавия трагедии, на той же странице автографа, между заглавием и стилизованным означением автора, написано: „Летопись о многих мятежах и пр.“ Это заглавие одного из сказаний о смутном времени“.

¹ Кстати, этой выброшенной Г. О. Винокуром строкой („Летопись о многих мятежах“) справедливо пользуется, как имеющей прямое и несомненное отношение к пушкинской трагедии, общий редактор VII тома Д. П. Якубович в своем „Введении“ к комментариям: „... Раскрытие психологии исторических героев, показанных на фоне исторической эпохи «многих мятежей»... и т. д. (стр. 374).“

Вызывает некоторые сомнения и принятый метод воспроизведения вариантов к „Борису Годунову“. Представить себе общую картину процесса работы Пушкина над текстом может, повидимому, только тот читатель, который сам видел черновики трагедии. Читатель же, не видевший черновики поэта, едва ли будет в состоянии воссоздать в своем воображении — по воспроизводимым Г. О. Винокуром вариантам — процесс работы Пушкина над текстом трагедии.

Приведем только один пример. Как известно, к тем строкам, которыми начинается трагедия („Наряжены мы вместе город ведать...“), Пушкин подошел не сразу. В черновике (2370) начало первой сцены трагедии записывается Пушкиным (л. 45) так:

Как думаешь? чем кончится тревога? —

— Чем кончится? узнать не мудрено:

И лишь на л. 45 об., после слов Шуйского о венце и бармах Мономаха, Пушкин записывает найденное им новое начало сцены, отчеркивая вновь записанные строки прямыми линиями, чтобы выделить их из контекста:

< >

2) [Возьмет венец] [и] бармы Мономаха. —

Наряжены с м о т р е т ь мы
за
устройством
а между тем — и не
за кем смотреть

<p>Москва пуста, во след за Патриархом К монастырю — пошел и весь/народ— [Народ пошел в] бояре и [и весь народ]</p>

— да род его не знатен — мы знатнее.

< >

Г. О. Винокур воспроизводит начало трагедии и это место в разделе „Черновая редакция первых пяти сцен“ (стр. 268) так:

„Наряжены смотреть мы за устройством,
А между тем и не за кем смотреть —
Москва пуста, вослед за патриархом
К монастырю пошел и весь народ —²
Как думаешь? чем кончится тревога? —³
< >

< . . . > ² а. Народ пошел в б. бояре и народ. в. И весь народ ³ *Вм. ст. 1—5:* а. Как думаешь? чем кончится тревога? — б. Москва пуста, вослед: а патриархом | К монастырю пошел и весь народ. — | Как думаешь? чем кончится тревога? < . . . >“ и т. д.

Совершенно ясно, что это воспроизведение начала черновой редакции и вариантов первых стихов пушкинской трагедии — не воссоздает процесса работы Пушкина. Как бы сознавая недостаточность результатов такого воспроизведения, Г. О. Винокур дополняет его следующим объяснением в комментариях (стр. 390): „В рукописной редакции первой сцены обращает на себя внимание прежде всего начало. Тот окончательный вид, который получили начальные строки трагедии в черновике, возник только к концу работы над первой сценой. Первоначально же Пушкин вложил в уста Воротынскому только одну строку:

Как думаешь? чем кончится тревога? —

после чего сразу следовал ответ Шуйского. Только после того, как были написаны слова Шуйского (л. 45 об.): «Зять палача, и сам в душе палач» — появляются сначала 3 и 4 ст.

окончательного вида начальных стихов: «Москва пуста, вслед за патриархом К монастырю пошел и весь народ», а затем сбоку на полях и первые два стиха. Эта переработка начальных стихов трагедии интересна для изучения драматургического мастерства Пушкина».

Нельзя не согласиться с тем, что переработка начальных стихов трагедии весьма интересна в плане изучения драматургического мастерства Пушкина. Но ведь об этом читатель узнает только из комментария Г. О. Винокура, а не из воспроизведенных черновиков трагедии. Во вновь же выпущенном издании VII тома комментарии как раз опущены. Следовательно, читатели нового VII тома (если им незнакомы непосредственно черновики поэта) представления об этом драматургическом мастерстве Пушкина не получат.

В значительной мере условно также и разделение (при воспроизведении черновика сцены «Ночь. Келья в Чудовом монастыре») чернового текста этой сцены на «последнюю редакцию черновика» (стр. 275—279) и «первую редакцию» (стр. 279—281). Достаточно обратиться к автографу этой сцены, чтобы убедиться, что резкое и четкое проведение границ между первой редакцией и последней, путем снятия соответствующих «пластов» текста, всегда будет (в данном случае) в той или иной мере субъективно и условно. Другое дело черновики иного порядка, где первая и вторая редакции ощущаются явно и раздельно.

Сказанное отнюдь не снижает большого значения работы Г. О. Винокура и результатов в всех его текстологических изысканиях по установлению основного пушкинского текста трагедии.

Переходим к разделу комментариев к «Борису Годунову».

На стр. 389, говоря о первоначальном наброске плана трагедии, Г. О. Винокур замечает: «Этот план (л. 45) значительно отличается от того во что в конце концов вылился замысел Пушкина». Приведенное замечание Г. О. Винокура напрасно игнорирует весьма значительную роль этого первоначального наброска плана в процессе работы Пушкина над трагедией. Внесение «польских сцен» в трагедию—следствие второго, усложненного варианта плана, в который первоначальный набросок вошел как существенная составная часть.

На стр. 392 Г. О. Винокур пишет: «Самой интересной частью черновой редакции «Б. Г.» является следующая сцена «Ночь. Келья в Чудовом монастыре» Б. Г.». Она в рукописи обозначена как «явление 4», тогда как фактически является пятой по счету. Вероятно это просто недосмотр Пушкина». Нет никаких оснований предполагать, что Пушкин допустил здесь ошибку. Любопытно, что ни одна сцена в черновике, кроме первой и пятой, не имеет порядкового номера. Обращаясь к наброску плана, видим, что сцена «Ночь. Келья в Чудовом монастыре» (по наброску: «Летописец. Отрепьев») занимает в наброске плана действительно четвертое место (I «Годунов в монастыре», II «Толки князей—вести», III «Площадь, весть о избрании», IV «Летописец. Отрепьев»). Сцена же «Кремлевские палаты», предшествующая в рукописи сцене «Ночь. Келья...», первым вариантом плана не предусматривалась. Здесь, по видимому, можно искать объяснения несоответствия номера сцены с ее положением в рукописи.

На стр. 395 Г. О. Винокур ставит вопрос: «Кто были те немногие («Смотри молчи же об этом знают весьма немногие...» — из письма Пушкина Вяземскому. Б. Г.), которым Пушкин раньше других сообщил о своем новом труде?» Справедливо называя Н. Н. Раевского младшего и Дельвига, которые, по видимому, знали о работе Пушкина над «Б. Г.» еще до июля 1825 г., Г. О. Винокур не называет лица, которому Пушкин читал отрывки из трагедии еще в январе 1825 г. Мы имеем в виду И. И. Пущина и следующее место из его «Записок»: «Потом он мне прочел кое-что свое, большею частью в отрывках, которые впоследствии вошли в состав замечательных его пиес; продиктовал начало из поэмы «Цыганы» для Полярной Звезды...». Прямых указаний на «Б. Г.» здесь, конечно, нет, и термин «пиесы» в употреблении Пушкина отнюдь не означает непременно драматического произведения. Но сопоставляя эти указания Пущина с произведениями, которые у Пушкина в это время были «в пальцах» и отрывки из которых он читал Пущину, — не назвать «Б. Г.» в их числе — нельзя.

На стр. 399, говоря об „аневризме“ Пушкина, как о предлоге для выезда за границу, Г. О. Винокур замечает: „Жуковский в упоминаемом письме <конца сентября 1825 г. Б. Г.> не в первый уже раз настойчиво советует Пушкину съездить в Псков, чтобы не обнаруживать мнимость болезни...“ Эти строки можно понять только в одном смысле: Жуковский знал о „мнимости“ пушкинского „аневризма“. Это едва ли соответствует действительности (ср., напр., письмо Жуковского Пушкину от мая 1825 г., письмо Жуковского И. Ф. Мойеру, письмо к последнему Пушкина, письмо к Пушкину П. А. Плетнева от 5 августа 1825 г. и т. д.). Более того: в том же письме, на которое ссылался Г. О. Винокур, Жуковский советует Пушкину: „Следовательно вот чего от тебя требую: вспомнив, что настала глубокая осень (ты обещал ею воспользоваться) собраться в дорогу, отправиться в Псков и наняв для себя такую квартиру, в которой мог бы поместиться и Мойер, немедленно написать к нему, что ты в Пскове, и что ты дождешься его в Пскове. Он мигом уничтожит твой аневризм...“ Это совсем не похоже на совет — съездить в Псков „чтобы не обнаруживать мнимость болезни“. О „мнимости“ пушкинского „аневризма“ Жуковский в 1825 г. не знал.

На стр. 403 Г. О. Винокур, отметив, что Пушкин чаще пишет „Гудунов“, чем „Годунов“ делает следующее предположение: „Очевидно это написание является выражением особого звукообраза, с которым связывалось в сознании Пушкина представление о Годунове“. Это остроумное предположение было бы убедительным, если бы излишнее употребление буквы „у“ наблюдалось только в написании „Годунов“. Но у Пушкина не меньшее количество случаев замены некоторых гласных звуков звуком „у“ наблюдается и в других словах: „о гусударь, мы все твои рабы“ (2370, л. 49) или „все падают как волны“ (там же, л. 48). Более того — при переписке фразы с черновика в беловой текст Пушкин сохраняет эту на редкость устойчивую опisku: „там падают, что волны“ (бел. авт. л. 61). Несомненно, что здесь мы имеем дело с какой-то, пока еще не совсем ясной закономерностью, но окончательное решение вопроса должны отложить до накопления материала о всем пушкинском правописании и произношении в целом.

На стр. 419 Г. О. Винокур, говоря о наброске пушкинской статьи о „Б. Г.“ в форме письма к издателю „Московского Вестника“, пишет: „по своему содержанию статья Пушкина является своего рода теоретической декларацией автора первой русской романтической трагедии...“ (выделено мною. Б. Г.). Поскольку Г. О. Винокур нигде развернуто не говорит о „Б. Г.“ как о первой русской реалистической трагедии, приведенные строки ведут к затемнению вопроса о взаимоотношениях Пушкина и русских романтиков 1820-х годов и о реализме „Б. Г.“ Одно дело — когда сам Пушкин называет свою трагедию „истинно-романтической“, вкладывая в это понятие совершенно особый смысл, другое дело, когда, исследователь наших дней называет „Б. Г.“ „первой русской романтической трагедией“. В борьбе против классиков и реакционных „фанатических романтиков“ („Ужели невозможно быть истинным поэтом не будучи ни закоснелым классиком, ни фанатическим романтиком“) Пушкин выдвигает новую формулу „истинного романтизма“. Общеизвестно, что в терминологии Пушкина формула „истинный романтизм“ предвосхищает содержание принятого позднее термина „реализм“. Это становится ясным хотя бы при сопоставлении пушкинской формулы о „правдоподобии чувствований в предполагаемых обстоятельствах“ с известными высказываниями Энгельса о реализме: „... на мой взгляд реализм подразумевает, кроме правдивости деталей, верность передачи типичных характеров в типичных обстоятельствах“.¹

На стр. 421 Г. О. Винокур пишет: „21 Мая 1828 г. Пушкин читал свою трагедию в салоне гр. Лаваль... Вяземский в письме к А. И. Тургеневу сообщает об этом чтении следующее: «Кажется, все были довольны...»“ В процитированном Г. О. Винокуром письме П. А. Вяземского А. И. Тургеневу от 17 мая 1828 г.² Вяземский говорит о том, что

¹ „Маркс и Энгельс об искусстве“, М., 1933, стр. 194.

² П. Бартнев. „К биографии Пушкина“, изд. „Русский Архив“, вып. II, М., 1885, стр. 39.

„в чера Пушкин читал...“ и т. д.¹ Н. Колюпанов в „Биография А. И. Кошелева“ приводит письмо А. И. Кошелева от 21 мая 1828 г., где говорится, что Пушкин читал свою трагедию у Лаваль 21 мая 1828 г.² Следовало бы более обосновать утверждение о чтении Пушкиным „Б. Г.“ у гр. Лаваль — 21, а не 16 мая.

На стр. 433 Г. О. Винокур, приведя известное свидетельство Е. Ф. Розена о том, что Пушкин исключил из текста трагедии сцену „Ограда монастырская“ по совету Дельвига и Мицкевича, справедливо замечает: „Все же одного свидетельства Розена недостаточно для того, чтобы восстанавливать в основном тексте сцену...“, тем более, „что эта сцена резко отступает от общего стиля пушкинской трагедии и в художественном отношении значительно слабее остального текста „Б. Г.““. Кроме этих соображений Г. О. Винокура по вопросу о причинах, побудивших Пушкина исключить сцену „Ограда монастырская“ из основного текста трагедии, можно привести еще одно — очень вероятное, на наш взгляд — предположение, насколько нам известно, еще не высказывавшееся в пушкиноведении. Возможно, что на Пушкина произвели известное впечатление и некоторые мысли М. П. Погодина, высказанные им в 1829 г. в статье „Нечто об Отрепьеве“: „История Отрепьева, как она предлагается историографом“, содержит „очень много сомнительного, взятого без критической оценки из летописей, не говоря уже о первой мысли самозванца, объясняемой внушением какого-то злого инока“... „а злому иноку как пришла она в голову и с какой целью для себя подал он благой совет иноку“.³

На стр. 436—459 Г. О. Винокур дает обзор основных и наиболее значительных отзывов печати на вышедшее в 1831 г. первое издание „Б. Г.“ Ограничив — несколько формально — свою задачу рамками одного 1831 г. (из отзывов последующих годов приведены только статьи Ив. Киреевского — „Европеец“ 1832 г., Н. Полевого — „Московский Телеграф“ 1833 г. и Гоголя — „Арабески“ 1834 г.), Г. О. Винокур тем самым лишил себя возможности привести отзывы о „Б. Г.“ тех современников Пушкина (иногда очень близких поэту), которые по тем или иным причинам высказались печатно о „Б. Г.“ не в 1831 г., а, скажем, в 1833 г. или даже в 1837 г. Так, например, не нашла себе места в „отзывах“ оценка „Б. Г.“, данная в 1833 г. Е. Ф. Розеном.⁴ Это тем более досадно, что статья Е. Ф. Розена, появившаяся в 1833 г. на немецком языке, была первоначально предназначена для „Литературной Газеты“ и появилась на русском языке в 1834 г. в перепечатке „Литературных прибавлений к Русскому Инвалиду“ („Мнение барона Е. Ф. Розена о драме А. С. Пушкина: «Борис Годунов»“). Розен увлекался „Борисом Годуновым“, читал его в рукописи, и мнение его (кроме мнения о причинах, побудивших Пушкина выбросить сцену „Ограда монастырская“ из основного текста трагедии) привести было бы интересно. Также не приведена весьма важная для понимания борьбы, развертывавшейся вокруг Пушкина, оценка „Б. Г.“, данная в 1834 г. В. Г. Белинским в его „Литературных мечтаниях“ („Молва“, декабрь 1834 г.). Не приведены мнения о „Б. Г.“ таких близких Пушкину лиц, как Адам Мицкевич („Le Globe“ 13/25 мая 1837 г.), П. А. Плетнев („Современник“, 1838, т. X, ст. „Александр Сергеевич Пушкин“, стр. 40) и др., хотя бы эти отзывы и появились в печати спустя несколько месяцев после смерти Пушкина.

Досадно, что не дано оценки в высшей степени важной для понимания литературной обстановки того времени и иностранных оценок „Б. Г.“ статьи Фарнгагена Фон-Энзе 1838 г.),⁵ где немецкий критик говорит: „Для русских трагедия Пушкина имеет особенное

¹ Ср. Н. Лернер, „Труды и дни Пушкина“, изд. 2-е, 1910, стр. 172.

² Н. Колюпанов, „Биография А. И. Кошелева“, М., 1889, т. I, кн. 2, стр. 202.

³ „Московский Вестник“, 1829, т. III, стр. 144—170.

⁴ На стр. 432—433 Е. Ф. Розен фигурирует как переводчик „Б. Г.“ на немецкий язык. Здесь же приводится мнение Розена о причинах, побудивших Пушкина исключить сцену „Ограда монастырская“ из основного текста трагедии.

⁵ На стр. 504 Г. О. Винокур приводит из статьи Фарнгагена Фон-Энзе только суждение последнего о том, что „Б. Г.“ близок по форме „Геду Фон-Берлихтену“ и „Эгмосту“ Гете.

достоинство: она в высшей степени национальна¹. Статья Фарнгагена фон-Энзе дважды в эти годы перепечатывалась русскими журналами.

Глава „Исторические источники и социальные проблемы“ (стр. 459—480) — наиболее спорная (а в части своих выводов и прямо неприемлемая) часть работы Г. О. Винокура.

Важнейшей предпосылкой Г. О. Винокура в этой части его работы является утверждение, что в пору создания „Бориса Годунова“ (т. е. до 14 декабря 1825 г.) Пушкин переживал сложный идеологический процесс, приведший поэта к коренной переоценке его прежних убеждений: „Приходила к концу эпоха крупных исторических потрясений, свидетелем которых Пушкин был в молодости. Итоги этих событий не могли не поколебать несомненно искренний, но недостаточно зрелый либерализм Пушкина“ (стр. 460, выделено мною. Б. Г.).

Необходимо отметить, что речь идет здесь не о последекабрьском Пушкине, а о Пушкине поры создания „Бориса Годунова“: „Завершительный удар, разразившийся после 14 декабря 1825 г., переживался Пушкиным очень тяжело, но идейно он уже заранее должен был быть подготовлен к тому, чтобы обладать возможностью взглянуть на эту трагедию «взглядом Шекспира»“ (там же, выделено мною. Б. Г.).

Увлечение Шекспиром—по мнению исследователя — подготовило, во многом, Пушкина к тому, чтобы сменить позицию деятеля своей эпохи на позицию „историка“: „Исторические хроники Шекспира <...> подсказывали Пушкину не только разного рода аналогии с политическими событиями современной ему эпохи, но и определенную точку зрения, позицию историка (выделено Г. О. Винокуром. Б. Г.), к которой его несомненно подводило и его собственное развитие“ (там же).

Позиция „историка“— вела Пушкина к отходу (хотя бы и временному, но всё же отходу) от ж и з н и: „Позиция историка послужила исходным пунктом для развития самосознания Пушкина. Пушкин пытается уяснить себе свое собственное социальное и историческое положение. Для этого надо было научиться смотреть на жизнь в перспективе, *хотя бы временно отойти в сторону от текущего момента и оглядеться*“ (там же, выделено мною. Б. Г.). „Так, — делает вывод Г. О. Винокур, — возникает идеальный образ летописца, который «спокойно зрит на правых и виновных» и пр.“ (там же).

Правда, здесь комментатор делает — с первого взгляда — довольно существенные оговорки и ограничения: „Историческая позиция, на которой теперь оказался Пушкин, вовсе не должна отождествляться с абсолютной бесстрастностью и отрешенностью от действительности...“ Однако не трудно заметить, что все эти ограничения (см. стр. 460) отнюдь не снимают основного тезиса Г. О. Винокура о том, что в результате только что показанного отхода „в сторону от текущего момента“ Пушкин-драматург „с этой типичной для поэта-декабриста гражданственностью в поэзии <...> расстался одновременно с тем, как расстался с своим первым драматургическим опытом — «Валимом»“ (стр. 480).

Неправильные, в самом существе своем, социологические предпосылки Г. О. Винокура сказались и в попытке постановки и разрешения сложнейшей проблемы: „Борис Годунов“ Пушкина и „История государства российского“ Карамзина (стр. 460—476).

В этом разделе своей работы Г. О. Винокур, отмечая „те немногие пункты, в которых Пушкин <...> отступает от прямых указаний Карамзина <...> или вообще выходит за рамки «Ист. г. р.» в фактической части трагедии“, и правильно ограничивая круг летописных источников, которыми мог пользоваться Пушкин, переходит к перечислению „всех наиболее важных параллелей“ между „Б. Г.“ и „И. г. р.“. Число этих параллелей при желании может быть значительно увеличено. Так, указание Г. О. Винокура (стр. 465) на то, что „Всецело вымышлена Пушкиным... сцена у фонтана, где материал Карамзина отразился лишь в некоторых мелочах“ („В словах Димитрия о его жизни у украинцев

¹ Цитирую по перепечатке „Сына Отечества“, 1839, кн. 1, стр. 93.

отразилось следующее место Карамзина: «у них <запорожцев>, как пишут, Расстрига Отрепьев несколько времени учился владеть мечом и конем» (XI, 128) — стр. 473), должно быть значительно уточнено. Материал этой сцены не вымышлен Пушкиным, а также вяг им у Карамзина: „...близ Львова и Самбора... уже толпилась шляхта и чернь, чтобы идти на Москву. Главою... сего подвига сделался старец Мнишек, коему старость не мешала быть ни честолюбивым, ни легкомысленным до безрассудности. Он имел юную дочь прелестницу Марину, подобно ему честолюбивую и ветреную. Лжедмитрий, гостя у него в Самборе, объявил себя искренно или притворно страстным ее любовником, и вскружил ей голову именем царевича“ (XI, 137).

Основной вывод, к которому приходит Г. О. Винокур в результате сопоставления „Б. Г.“ и „И. г. р.“ — „...что же касается идейной и исторической концепции, которая отразилась в пушкинской трагедии, то она не имеет ничего общего с Карамзиным“ (стр. 476) — не обоснован должным образом и оставляет читателя в затруднении. С одной стороны, Г. О. Винокур утверждает (стр. 480), что „Б. Г.“ — „отнодь не декабристская трагедия“,¹ тем более что схема взаимоотношений „между царем и феодалами, как передовым классом, носителем национальной культуры“ (стр. 479—480) легла „в основание политического мировоззрения Пушкина“. С другой стороны, Г. О. Винокур заявляет, что „идейная и историческая концепция“ пушкинской трагедии „не имеет ничего общего с Карамзиным“. В чем же в конце концов различие между взглядами Пушкина и Карамзина? На этот вопрос комментатор не дает убедительного ответа. Это произошло потому, что всей сложности взаимоотношений Пушкина и Карамзина и взаимосвязи „Бориса Годунова“ и „Истории государства российского“ Г. О. Винокур не вскрыл.

Интерес передовых слоев русского общества преддекабристского периода к истории был глубоким, социально обусловленным явлением. История переосмыслилась в плане ее народности.

Некоторые писатели (К. Ф. Рылеев и др.) ранее Пушкина подошли к сюжетам из русской народной истории. Интерес в среде декабристов к русскому народному прошлому, к новгородской „вольности“ и пр. — особенно показателен. Отношение декабристов и близких к ним слоев русского общества к только что вышедшим в 1818 г. первым восьми томам „Истории государства российского“ Н. М. Карамзина — было очень сложным. В 1818—1819 гг. на собраниях „Зеленой Лампы“ членами общества читались исторические рефераты, составленные по фактическим материалам Карамзина.² Эти рефераты, по сути дела, часто были простым переложением рассказа историографа.

Карамзин удовлетворял богатством собранного материала, научная непогрешимость которого казалась несомненной. Передовые люди того времени, не соглашаясь с политическими выводами Карамзина, пользовались, однако, фактическим материалом из его „Истории“, не подозревая о деформации этого материала уже самим историографом. Отсюда — характерная двойственность, когда Карамзин был и замечательным „первым нашим историком“, открывшим древнюю Россию „как Америку Колумб“, и объектом острых политических эпиграмм, в роде известной пушкинской. Именно здесь — корни многих особенностей работы Пушкина над „Историей“ Карамзина в пору создания „Бориса Годунова“.

На ряду с моментами почти полной текстуальной близости к „Истории“, Пушкин дает образы, содержание и смысл которых прямо противоположны тому, что этими же фактами хотел сказать историограф. Правильно указав на весьма большую зависимость пушкинской трагедии от „Истории государства российского“, Г. О. Винокур почти не вскрыл различия

¹ Необходимо отметить, что общий редактор VII тома Д. П. Якубович в вопросе о политической направленности пушкинской трагедии придерживается иного мнения (см. его „Введение“ к комментариям VII тома).

² Б. Л. Модзалевский „К истории Зеленой Лампы“. Сб. „Декабристы и их время“, М., 1927, т. I стр. 55.

в интерпретации одного и того же материала Пушкиным и Карамзиным.¹ Обратимся к выводам социологического характера, которые Г. О. Винокур делает из пушкинской трагедии.

В „Борисе Годунове“ комментатор видит постановку и разрешение двух больших социально политических проблем, „которые интересовали Пушкина в течение всей его сознательной жизни“: 1) правящие классы и народ и 2) царь и боярство.

Народ и правящие классы — два непримиримых лагеря: „интересы правящих классов совершенно чужды народу, а интересами масс правящие классы пользуются только для своей собственной выгоды“ (стр. 478). Народ — это „стихия мятежа“, но эта стихия мятежа „не приносит никаких положительных ценностей самому народу“ (там же). Однако эта же стихия мятежа „может оказаться очень полезной для боярства“ (там же).

Исходя из предпосылки, что „между властью и стихией мятежа не может быть даже негативных точек соприкосновения“, — Г. О. Винокур делает следующий вывод: „... главная опасность для Годунова — не народ, а те социальные силы, которые могут воспользоваться народом, как своим орудием, т. е. боярство“ (там же).

То обстоятельство, что Пушкин именно боярство сделал решающей социальной силой в своей трагедии, — по мнению комментатора — является результатом не столько исторического анализа эпохи, воссоздаваемой в трагедии, сколько — политических убеждений самого Пушкина: „один из русских историков, писавших о «Б. Г.», очень метко сказал, что в своей трагедии Пушкин говорил «не как историк, а как политик». Это верно в том смысле, что в «Б. Г.» сказались не столько воззрения Пушкина на конкретные политические обстоятельства изображенной им эпохи, сколько его общие взгляды на исторические судьбы России и на взаимоотношения между главными политическими силами, действовавшими в русской истории“ (стр. 476—477; выделено мною. Б. Г.).

К этим взглядам на решающую политическую роль родовитого боярства в русском историческом процессе Пушкин — утверждает далее Г. О. Винокур — пришел в результате сложного процесса своей политической эволюции: „В той картине взаимоотношений между царем и боярством, которая дана в «Б. Г.», несомненно отразились некоторые общие политические убеждения Пушкина, как раз ко времени написания трагедии начинавшие складываться“ (стр. 479). Именно этим обстоятельством — по мнению Г. О. Винокура — и объясняется та роль, которую предоставил Пушкин в „Б. Г.“ своим предкам: „Пушкин все же не мог удержаться от того, чтобы не придать в своей трагедии острый политический смысл с а м о й ф а м и л и и (выделено Г. О. Винокуром. Б. Г.) Пушкиных, представителей «шестисотлетнего дворянства» <...> Не лукавый Шуйский, не робкий Воротынский <...> а именно Пушкины изображены в «Б. Г.» как представители боярского феодального самосознания“ (стр. 479).

Анализируя авторское отношение Пушкина к выведенным в „Б. Г.“ его предкам, Г. О. Винокур делает следующее — чрезвычайно важное для окончательных выводов — наблюдение: „Пушкин нигде прямо не обнаруживает своих симпатий к политической программе Афанасия Пушкина и практической антигодуновской деятельности Гаврилы Пушкина <...>, но напряженный острый интерес, граничащий почти с поэтическим восхищением, который вызывал у Пушкина его предок-мятежник <...>, договаривает многое из того, что не могло быть прямо сказано...“ (стр. 479).

Основной вывод Г. О. Винокура о политических убеждениях Пушкина, сложившихся ко времени его работы над „Борисом Годуновым“ и отразившихся на всем строе и стиле трагедии, — таков: „Нет никакого сомнения, что работа над образами обоих Пушкиных в «Б. Г.» была важным этапом в выработке той схемы взаимоотношений между

¹ Г. О. Винокур ограничился в этом отношении замечанием: „Пушкин добросовестно пересказал в фактической части своей трагедии Карамзина, как пересказал бы летопись, в которой он все равно нашел бы все те же факты. Это не означает еще полного совпадения в интерпретации исторического материала...“ (стр. 462).

царем и феодалами, как передовым классом, носителем национальной культуры, которая легла в основание политического мировоззрения Пушкина» (стр. 479—480; подчеркнуто мною. Б. Г.).

Примечание 2 на стр. 479 („О центральном значении феодальных мотивов в политических воззрениях Пушкина см. статью М. Н. Покровского «Пушкин-историк»...») отсылает нас к истокам вышеприведенной концепции: „Идеалом Пушкина, — писал Покровский, — был феодальный режим, смягченный просвещением“ („Пушкин“, изд. ГИХЛ, V, стр. 20) и дальше: „... дорога Пушкина вела не к будущему, а к прошедшему, только к другому: не к тому, что было при московских царях, а к тому, что было, или должно было быть еще и до московских царей, и о чем мечтать в виду первых фабричных труб Москвы было еще страннее“ (цит. изд., стр. 28).

Основываясь на системе подобных взглядов, Г. О. Винокур, в прямом противоречии с установками вводной статьи к комментариям VII тома, приходит к такому заключению: „Вообще по всему своему стилю Б. Г. — отнюдь не декабристская трагедия“ (<...> „С этим вполне согласуются и постоянные указания Пушкина на то, что его трагедия писана в «хорошем духе»: ¹ против этого не возражал и официальный цензор Б. Г.“ Против чего не возражал официальный цензор? Чтобы понять это — приведем мнение цензора. „Дух целого сочинения монархический, ибо нигде не введены мечты о свободе...“ ²

Однако В. И. Ленин понимал направленность пушкинской трагедии совсем по иному, вскрывая с присущей ему глубиной гениального анализа огромный революционный смысл „Бориса Годунова“. М. Нечкина в своей статье „Ленин и Пушкин“ ³ пишет: „Ленин глубоко вскрывает трагичность некоторых пушкинских образов. Много споров велось и ведется вокруг знаменитых пушкинских слов «народ безмолвствует» в «Борисе Годунове». Грозный народный гнев, могучая народная сила — еще не проявившиеся, но могущие проявиться — пронизывают этот пушкинский образ. Народ может восстать — народ восстанет. Этот пушкинский образ глубоко продуман и прочувствован Лениным... Этот образ встречается в короткой, насыщенной революционным пафосом статье Ленина «Революционные дни»“.

Через несколько дней после 9 января Ленин узнал о „кровавом воскресеньи“. Еще нет новых событий развивающейся революции, — только одно 9 января. Но Ленин спрашивает: „Бунт или революция?“ и отвечает: Революция! Еще в стране видимый „покой“ — всё „молчит“, но молчанье это уже говорит громким голосом приближающегося восстания. История учит, — ее сегодняшние уроки, по словам Ленина, „пригодятся завтра, в другом месте, где сегодня еще «безмолвствует народ» и где в ближайшем будущем в той или иной форме вспыхнет революционный пожар“ ⁴.

Пушкинский образ насытился содержанием великого 1905 года. И в то же время широко раскрыто его огромное, затаенное содержание, — вскрыто в прямых, ясных, отчетливейших словах: „в ближайшем будущем... вспыхнет революционный пожар“ Ясно, как именно понимал Ленин этот пушкинский образ (выделено мною. Б. Г.).

¹ Г. О. Винокур имеет в виду следующее место из известного письма Пушкина П. А. Вяземскому: „Жуковский говорит, что царь меня простит за трагедию — на вряд, мой милый. Хоть она и в хорошем духе писана, да никак не мог упрятать всех моих ушей под кофак юродивого. Торчат! Нетрудно заметить в этих словах иронию: „хоть она и в хорошем духе писана, да...“ и т. д.

² Ср. „Насколько устойчивой является для определенного направления пушкиноведения тенденция во что бы то ни стало преуменьшить политическое значение произведений Пушкина по сравнению с произведениями декабристов, свидетельствует интерпретация «Бориса Годунова» Г. О. Винокуром“ (Б. Мейлах. „Пушкин и русский романтизм“, М. — Л., 1937, стр. 114).

³ „Правда“, 10 февраля 1937 г., № 40.

⁴ Ленин. Сочинения, т. VII, стр. 83.

Работа Г. О. Винокура — значительная в ее текстологической части — испорчена неверными социологическими выводами комментария.

Опираясь в своем анализе „Бориса Годунова“ на некоторые взгляды М. Н. Покровского, Г. О. Винокур, тем самым, обрек себя на невозможность дать марксистский комментарий к бессмертной трагедии. Это обстоятельство должно быть учтено в дальнейшей работе исследователей над „Борисом Годуновым“.

Б. П. Городецкий.

Книги о пушкинских местах.

1. „Пушкинские места“, вступ. статья Д. П. Якубовича, гравюры на дереве Л. С. Хижинского. ГИХЛ, Л., 1936 г., 156 стр.

2. В. Ф. Широкий. „Пушкин в Михайловском“. Изд. Лениблисполкома и Ленсовета. Л., 1937 г., 185 стр.

3. О. Ломан. „По пушкинским местам“, под ред. В. З. Голубева. Изд. „Пролетарская Правда“. Калинин, 1937 г., 109 стр.

О Пушкине в Михайловском писалось много,¹ но до настоящего времени не создано вполне удовлетворяющего наши запросы в этой области путеводителя или книги по пушкинским местам.

Среди дореволюционных путеводителей наиболее содержательный составленный к столетию со дня рождения поэта альбом „Пушкинский уголок“.² Интересны рисунки В. М. Максимова, прекрасно отпечатанные снимки Михайловского, Тригорского, снимки рукописей Пушкина. Живо, со стремлением как можно полнее (на уровне своего времени) использовать стихотворные тексты поэта, написан очерк В. П. Острогорского.

После Октябрьской революции, уже с 1922 г. (основание Пушкинского заповедника) стали появляться брошюры, статьи, путеводители по Михайловскому. Наибольший интерес в свое время представляла работа П. М. Устимовича³ серьезным подбором фактического материала для освещения творчества, переписки и круга чтения Пушкина в Михайловском, а также и приложенной к книге библиографией по пушкинским местам.

В путеводителе А. Гладкого⁴ впервые составлены маршруты следования по этим местам с широким привлечением краеведческого материала. Но в части, посвященной Пушкину, путеводитель уже явно устарел.

Мало документальна и книга Гаррис, основанная на беседе с С. Б. Вревской в 1914 г. и управляющим Тригорского М. И. Пальмовым и передающая прежде всего впечатления корреспондента; не приходится уже говорить о книге С. Ф. Платонова, рассматривающей только исторический материал и совершенно неприемлемой для нас по установкам автора.⁵

Юбилейный год столетия со дня смерти Пушкина снова привлек внимание к теме Пушкин в Михайловском. Если отдельно каждая из вышедших в этом году книг еще не раскрывает полностью данную тему, то все они в целом уже дают большой и серьезный

¹ В библиографии П. М. Устимовича, составленной к 1927 г., насчитывается 149 названий.

² Альбом „Пушкинский уголок“ составил В. П. Острогорский с иллюстрациями академика живописи В. М. Максимова. Изд. художественной фототипии. М., 1899 г.

³ П. М. Устимович. „Михайловское, Тригорское и могила Пушкина“, Академия Наук, Л., 1927 г.

⁴ А. Гладкий. „По пушкинским местам“, ОГИЗ, М. — Л., 1931 г. (второе издание).

⁵ Так, Пушкин изображен баринем, в котором „либеральные идеи не истребили... общепринятого отношения к низким слоям местного населения“... он „соответственно трактовал «псковское хамство» — дворян, крестьян и сельское духовенство“ (стр. 60). В этом направлении используются и приводимые автором документы.

материал о пушкинских местах. В центре каждой стоят Пушкин, и чувствуется стремление связать пушкинские места с творчеством поэта.

Путеводителем в собственном смысле этого слова является лишь содержательная книжка О. В. Ломан, снабженная неплохими снимками Михайловского и Тригорского, но внешне испорченная безвкусной обложкой и плохо отпечатанными портретами Пушкина и А. П. Ганнибала.

Альбом „Пушкинские места“ издан в большом формате, на хорошей бумаге, с гравированными заставками к вступительной статье и гравюрами на отдельных листах. Некоторые из гравюр Л. С. Хижинского, несмотря на известную стилизацию, повидимому, определяемую отчасти самой манерой гравюры, овеяны пушкинским колоритом: старинная липовая аллея в Михайловском, два озера и лесистый холм заставляют вспомнить соответствующие строки Пушкина. По типу эта книга приближается к художественному альбому,¹ но вступительная статья Д. П. Якубовича и хрестоматийный материал позволяют отнести ее к работам о пушкинских местах.

Книжка В. Ф. Широкого маленькая, изящно изданная с гравюрами М. Н. Орловой-Мочаловой, является рядом этюдов о Пушкине в Михайловском.

И путеводитель и книга „Пушкин в Михайловском“, к сожалению, слабо отражают работу Пушкинского заповедника. Между тем этот вопрос почти всегда интересует посетителей Михайловского. Важно показать этому посетителю, как внимательно советская власть относится к тому, что связано с жизнью и творчеством гениального русского поэта. Охрана и розыски нового материала, реставрация парков, работа по созданию музея — должны быть освещены в специальной главе.

Необходимо показать и участие местного населения в охране пушкинских мест. Не случайно летом 1937 г. пела колхозная молодежь в деревне Зимари:

Наши пни и буераки
Очень замечательны.
Мы Михайловские рощи
Бережем старательно.

Интерес к Михайловскому, Тригорскому, Святогорскому монастырю почти всегда связан у посетителя со стремлением глубже понять сцены „Бориса Годунова“, образы „Евгения Онегина“. Почти всегда у него возникает желание еще раз перечитать то, что было написано Пушкиным в Михайловском. Любопытен следующий факт: когда в заповеднике поставили доски с цитатами из произведений Пушкина, экскурсанты списывали заглавия, чтобы потом, как они говорили, прочитать всё полностью. (Этот факт, между прочим, показывает, как нужны тексты в книге о Пушкине в Михайловском.)

Сохранившиеся в какой-то мере пушкинские пейзажи действительно помогают более ярко прочувствовать образы „Евгения Онегина“ и „Бориса Годунова“, более эмоционально воспринять строки послания к Керн и обращение: „Здравствуй, племя, младое, незнакомое“.

В старых работах о Пушкине в Михайловском эта тема освещалась мало. В книгах Ломан и Широкого чувствуется в той или иной степени стремление сделать ее ведущей. Вопрос о связи творчества Пушкина с Михайловским, Тригорским и т. д. затрагивает и Якубович во вступительной статье к альбому „Пушкинские места“.

Д. П. Якубович сопоставляет детали картины, нарисованной во „Вновь я посетил“, с пейзажем Михайловского. Интересно замечание, что строфы о „старинном замке“ — „собирабельные строфы“, созданные под впечатлением всех трех усадеб. Любопытны приводимые в книге черновые варианты. Использование их внесло и совершенно новый материал: так, указание на городище Воронич имеется не только в первоначальном заглавии „Бориса Годунова“, но и в черновых строфах „Евгения Онегина“, на ряду с упоминанием о мельнице и озере, типичных деталях пейзажа Михайловского, которые отмечены и в стихотворении „Вновь я посетил“.

¹ Ср. „Пушкинский заповедник“, „Изогиз“, 1937, акварели Л. С. Хижинского.

Вопрос о связи творчества Пушкина с Михайловским и другими местами очень сложен. Нельзя непосредственно каждую строку, написанную в Михайловском, связывать с местным пейзажем. Вот почему вызывает возражение замечание В. Ф. Широкого, что стихотворение „Деревня“ переносит нас в Михайловское, и безоговорочные выводы Ломан, что Михайловское мы узнаем в „Деревне“, что „этот пейзаж почти целиком сохранился до наших дней“. Надо учитывать всю обстановку, в которой возникло данное произведение, и разграничивать произведения разных лет.

Несомненно, что в 1818—1820 гг. Пушкин еще не владел тем методом зрелого реализма, проявление которого видно в стихотворении „Вновь я посетил“. На сопоставлении „Деревни“ с этим стихотворением и стоило бы остановиться, тогда пейзаж Михайловского помог бы воспринять разницу зарисовки одной и той же картины в разные творческие периоды творчества Пушкина.

Сопоставляя все три работы, надо отметить, что наиболее осторожно и тонко связь произведений Пушкина с пейзажами Михайловского показана в статье Д. П. Якубовича. Последовательно и полно приведены в ней фактические сведения о Михайловском. Хорошо сочетаются данные описи 1838 г. и воспоминания видевших дом Пушкина и домик няни. Всё это создает живую картину сельца Зуёва, но в то же время имеется ряд топографических неточностей: только очень относительно можно сказать, что барский дом был расположен над берегом Маленца, слишком обще и мало описан Михайловский парк, а для данного художественного альбома последнее особенно необходимо. Следовало подробнее остановиться и на связи исторического материала с работой над „Борисом Годуновым“. Недостаточно звучит тема об отношении Пушкина к декабристам, работа поэта над фольклором ограничена только материалами об Арине Родионовне.

Всё это обусловлено отчасти тем, что статья Якубовича является очерком о пушкинских местах в связи с гравюрами художника, а не специальной работой о Пушкине в Михайловском. Основной частью книги „Пушкинские места“ является хрестоматия, состоящая из трех разделов: фрагменты пушкинских художественных произведений, отрывки из писем Пушкина и материалы современников поэта.

Такая хрестоматия, безусловно, нужна, но необходимо ее дополнить введением снимков с рукописей: черновые рукописи „Бориса Годунова“ с указанием городища Воронича, запись о казни декабристов, черновики „Евгения Онегина“ и т. п.

В приложении „Пояснения к текстам“ даны черновые варианты к „Вновь я посетил...“, которые целесообразнее было бы ввести в раздел „Тексты Пушкина“, чтобы интересный материал не терялся в петите примечаний.

В книге В. Ф. Широкого наиболее яркое впечатление создают главы „В ссылке“ и „Петровское“.

В первой — контраст между Одессой и Михайловским, тоска поэта по красочному югу, отношение к ссылке друзей Пушкина показаны эмоционально и образно; во второй — автор, приводя по воспоминаниям Д. В. Философова характеристику помещичьего быта, раскрывает тему о Петровском, его быте и значении впечатлений от Петровского для творчества Пушкина. Следовало бы еще остановиться и на работе Пушкина над биографией А. П. Ганнибала и „Арапом Петра Великого“, тем более, что В. Ф. Широкий упоминает об интересе Пушкина к запискам А. П. Ганнибала. Надо было подробнее дать и описание парка, исследованного еще очень мало.

В главе „Тригорское“ чувствуется какая-то схематичность: так, образ П. А. Осиповой рисуется по воспоминаниям А. П. Керв, а потом непосредственно приводится цитата: „Она езжала по работам...“ и т. д. Выходит, что это говорится об Осиповой, и на фоне такого материала совершенно непонятно, почему „молодой поэт сделался частым посетителем Тригорского и своим человеком в семье Прасковьи Александровны“.

Вступительная глава „Усадьба 20-х годов“ содержит ряд методологических ошибок. Так, говоря об упадке усадебной культуры, автор пишет: „... в 20-х годах уже никто бы не описал помещичьей жизни в таких тонах“, как Державин в стихотворении „Жизнь Званская“. Моменты грубого социологизирования чувствуются и в самих формулировках, напри-

шер „Писание слезливых пасторалей под доносившейся с конюшни свист розог... тоже было трудом, но, конечно, исключительно дворянским“. Этот тон типичен для всей главы. Поверхностно и неверно ставится вопрос об интересе Пушкина к истории (глава „Михайловское“). В. Ф. Широкий считает, что жизнь в поместье должна была создать у Пушкина настроения, „характерные для помещика-дворянина с сильно развитым родовым чувством и интересом не только к прошлому своего рода, но и вообще к истории“.

Но интерес к истории намечался у Пушкина еще раньше и не вытекал из „сильно развитого родового чувства“.

Несмотря на эти серьезные ошибки, книга Широкого по ряду вопросов, связанных с Пушкиным в Михайловском, дает новый материал: это Петровское, сведения о состоянии городища Воронича после нашествия Стефана Батория и показ работы Пушкина над фольклором.

В книге О. Ломан своеобразно сочетаются элементы путеводителя и экскурсии по пушкинским местам. Материал литературный всё время связывается с объектами, которые видит посетитель Заповедника. Особенно органично показана эта связь в главе „Тригорское“, и в то же время верно отмечено, что образы „Евгения Онегина“ не фотографии обитателей Тригорского. Эпистолярный материал, как, например, письмо Пушкина к В. Ф. Вяземской, дополняет основную тему, и только как-то немотивированно звучит утверждение, что в тригорской бане велись споры на „политические темы“ и „много проклятий по адресу самовластья слышали прокопченные стены...“

В описании жизни Пушкина в Михайловском в годы ссылки (монтаж воспоминаний Семевского, Острогорского и Пушкина показана комната поэта и очень тепло, эмоционально, живо рассказано об Арине Родионовне и „домике няни“.

Жаль, что небрежное внешнее оформление мешает чтению: выделение маленьких по содержанию глав крупными заглавиями (на стр. 16 „Первый приезд в Михайловское в 1817 году“, а на стр. 18 уже „Второй приезд в Михайловское в 1819 году“), выделение тем внутри главы, как, например, „Причины ссылки“, „Дом поэта, его внешний и внутренний вид“ и т. п. Рассказ о работе Пушкина, над „Борисом Годуновым“ помещен в главу „Дорога в Тригорское“, где эта основная тема заслоняется другим материалом.

Вызывает возражение и введение длинной цитаты из „Евгения Онегина“ в главу „Петровское“ без всяких объяснений, что создает неверное впечатление, что в данном отрывке Пушкин описывал именно дом и жизнь П. А. Ганнибала.

Но это детали, а в целом книга Ломан и по доступному массовому читателю изложению и по системе расположения материала наиболее приближается к необходимому типу популярного путеводителя по пушкинским местам.

Расхождений в вопросах фактического материала в данных работах почти нет. Все они базируются, в основном, на уже известных источниках. Но в описании похорон Пушкина получается довольно пестрая картина: в изложении Ломан присутствуют „жандармы, Ал. Ив. Тургенев, М. И. и Е. И. Осиповы да еще несколько крестьян“ (стр. 107); у Широкого: „Ал. Ив. Тургенев, дядька Пушкина, Н. П. Козлов и несколько человек крестьян, в присутствии жандарма, похоронили прах великого поэта“ (стр. 152); у Якубовича: „А. И. Тургенев и крепостной человек Пушкина — Никита... Прасковья Александровна с двумя младшими дочерьми да несколько крестьян из Тригорского и Михайловского“ (стр. 38).

По данному вопросу имеются два противоречивых источника: дневник А. И. Тургенева и воспоминания Е. И. Фок. Больше верить следует первому, так как Фок тогда была еще маленькой девочкой, а вообще точно разрешить этот вопрос на основании данных источников невозможно. И, может быть, авторам книги о Пушкине в Михайловском следовало бы на нем остановиться подробнее.

Вообще фактический материал по пушкинским местам следует еще проверять, систематизировать, отделяя точные данные документов от воспоминаний, порой очень неопределенных. Кроме того, необходимо тщательно изучить и исторический, и краеведческий

материал под углом зрения творчества Пушкина, связанного с этими местами. Опыт данных трех работ несомненно поможет дальнейшей разработке темы „Пушкин в Михайловском“. Статья Д. П. Якубовича намечает пути для показа связи творчества поэта с пушкинскими местами, без механистических и поверхностных сопоставлений, а живой эмоциональный язык этой статьи подсказывает характер изложения; работа В. Ф. Широкого останавливает внимание на ряде интересных тем, а приближающийся к экскурсиям путеводитель О. В. Ломан сейчас является наиболее приспособленной для экскурсанта Заповедника книгой.

Е. С. Гладкова.

Пушкинский номер журнала французских компаративистов [„Revue de littérature comparée“. Janvier-mars, 1937. Centenaire de la mort de Pouchkine (1837—1937). Paris, 260 p.]

Среди юбилейной научной литературы о Пушкине, появившейся за рубежом, привлекает внимание специальный, посвященный ему номер журнала „Revue de littérature comparée“. Уже самый факт появления в виде очередного „пушкинского“ номера одного из наиболее солидных научных журналов, выходящих в настоящее время в Европе, подчеркивает то значение, которое придает изучению Пушкина западноевропейская наука. Многие ученые на западе и в Америке заняты изучением русской литературы; за последние 50 лет издано за рубежом около десятка больших монографий о русских писателях, громадное количество статей рассеяно по журналам, но впервые мы имеем перед собою специальный сборник, содержащий в себе работы нескольких крупных ученых.

Книга хорошо оформлена. На обложке воспроизведен автопортрет Пушкина (из ушаковского альбома). Вначале помещено факсимиле начала французского письма Пушкина к Н. Н. Гончаровой от 4-го ноября 1830 г. Инициатива издания принадлежит редакции журнала „Revue de littérature comparée“, объединяющего французских компаративистов. Главе их, основателю журнала, профессору Фернанду Бальденсперже (Fernand Baldensperger) принадлежит одна из наиболее интересных и ценных заметок в сборнике, небольшое сообщение: „Один из первых переводчиков Пушкина во Франции: Александр-де-Розье“. Привлечение малоизвестных источников дало возможность автору собрать биографические сведения об одном переводчике „Кавказского Пленника“, современнике Пушкина, французском эмигранте, уроженце г. Нанси. Этот прозаический перевод был напечатан в журнале „Mercure de France“ в январе 1828 г. и до сих пор не был учтен библиографами. Текст перевода частично приводится. Сообщение Бальденсперже дает новый документ для изучения французских переводов Пушкина.

В этом же отделе помещены две текстологические заметки о рукописях Проспера Мериме. Первая принадлежит исследователю Мериме и комментатору его писем М. Партирье (M. Parturier). „Неизданный перевод «Пиковой дамы» Мериме“. Речь идет о неизвестной до настоящей времени копии первого варианта перевода Мериме, переписанного рукою Сесиль Делессер-Валлон (дочь его приятельницы, Валентины Делессер). Сравнение текста с другими вариантами показывает тщательность работы Мериме над отдельными выражениями и раскрывает ход изменений текста. Вторая заметка — „Рукопись статьи Мериме «Александр Пушкин»“ — написана Пьером Жоссеран (Pierre Josseland), она дает сравнение разночтений рукописи и текста, напечатанного в свое время в журнале „Moniteur“ (январь, 1868) и недавно воспроизведенного в критическом издании Монго (Париж, 1931). Автор приводит лишь те места, где разница в выражениях значительно меняет смысл фразы. Это дает возможность получить представление о смысловом расхождении обеих редакций. Рукопись, с которой сравнивается печатный текст, хранилась в бумагах адвоката Поля Даллоза (Paul Dalloz), редактора журнала „Moniteur“.

Перечисленные небольшие сообщения представляют интерес, так как дают новый материал в области изучения и переводов Пушкина во Франции. Ряд более крупных проблемных и обзорных статей принадлежит видным французским славистам

Вводная небольшая статья редактора сборника, профессора Андре Мазон (André Mazon), озаглавленная „Александр Пушкин“, дает общую характеристику Пушкина как национального русского поэта и создателя русского литературного языка. А. Мазон пишет: „Поэт стоит на рубеже двух эпох: конца XVIII века, которому он обязан своим воспитанием, и первой трети XIX века, определившего развитие и завершение его личности. Таким образом, в качестве европейца, он соприкасается и с энциклопедистами и с первыми чаяниями романтиков, — с Вольтером и Бомарше в такой же степени, как с Байроном и Гёте. Как русский он является выразителем и французского влияния и нового увлечения, идущего из Англии и Германии, которое позднее испытала его страна. Но со всем этим он остался настолько верен своей почве, что соотечественники обязаны ему самым высоким выражением русского гения. Для них не существует голоса более родного, чем его голос, и для них родные звуки сочетаются в нем самым совершенным образом с чужими отзвуками, которые цивилизация несет им из далеких стран“.

Следующая, так же небольшая, статья „Пушкин и заграница“ („Pouchkine et l'étranger“) принадлежит автору книги „Французская культура в России“ (Париж, 1910) и автору первой специальной монографии о Пушкине, вышедшей на французском языке (Париж, 1911) — профессору Эмилю Оман (Émile Hauman). Статья носит проблемный характер, дает общий обзор французских и английских литературных влияний, которым подвергся Пушкин, и ставит вопрос (не разрешая его) — в каком соотношении с этими влияниями находится глубоко оригинальная сущность творчества Пушкина. Далее, в сборнике идет ряд статей, характеризующих отношение Пушкина к отдельным иностранным литературам и восприятие его на западе. Статья известного специалиста по истории русского театра профессора Жюля Патуйе (Jules Patouillet) „Пушкин и Мольер“, базируясь на прежних работах автора и на современных данных советского литературоведения, ставит целью проследить и анализировать отношение Пушкина к Мольеру на всем протяжении творческой деятельности великого русского поэта. Полемизируя с Б. В. Томашевским, Патуйе приходит к выводу, что Пушкин, хотя и не подражал Мольеру в „Скупом Рыцаре“ и в „Каменном Госте“, но все же „свободно продолжал его путь“ (il l'a librement continué) в манере, свойственной его „разумному романтизму“ (romantisme assagi).

В статье автора книги „Литература в России“ (Париж, 1929), слависта, профессора Жюля Легрэ (Jules Legras) „Пушкин и Гёте“ (по поводу „Сцены из Фауста“) дается полный перевод этого отрывка на французский язык и, в сопоставлении с соответствующей частью „Фауста“, делается попытка психологического истолкования изменений, внесенных Пушкиным в трактовку темы. Полемизируя с А. Бемом,¹ Легрэ утверждает, что между двумя произведениями „нет ничего общего, кроме спора о Гретхен, у Пушкина он имеет прямую связь с его мыслями и чувствами, и здесь невозможно обнаружить влияние немецкого поэта“ (стр. 128).

Вопросу о знакомстве с Пушкиным во Франции посвящена статья „Пушкин во Франции“ профессора Анри Монго (Henri Mongault), известного специалиста по русской литературе, автора нескольких больших статей о Гоголе и о Мериме, об их взаимоотношениях, о занятиях Мериме русской литературой и Пушкиным. Особенно тщательно последний вопрос освещен в предисловии к новому изданию „Этюдов о русской литературе“ Мериме (Париж, 1931). Монго собрал данные об упоминаниях Пушкина во французских журналах, начиная с 1821 г., и о переводах его произведений, начиная с отрывка из „Руслана и Людмилы“, помещенного в „Русской Антологии“ Эмиля Дюпре де Сен-Мор (Париж, 1823). Это не просто библиографическое перечисление. Автор дает характеристику переводов и критических отзывов о Пушкине, отмечая их поверхностность и неосведомленность.

Указывая, что Сент-Бёв предпочел Пушкину Бенедиктова, Монго замечает, что подобным же образом будут судить почти все французские литераторы, которые не могут прочесть стихи Пушкина в подлиннике. „Аромат“ пушкинской поэзии улетучивается при

¹ А. Бем. „Фауст в творчестве Пушкина“. „Slavia“, Ročn. XIII, Sešit 2—3, 1935, стр. 378—399. Работа была рецензирована во II томе „Временника Пушкинской комиссии“.

переводе на другой язык (стр. 149—150). Довольно подробно Монго останавливается на статье Сен-Жюльена (Saint Julien) в „Revue des Deux Mondes“, 1847, впервые в иностранной критике возражавшего против частого сопоставления Пушкина с Байроном и указывавшего на реализм пушкинских героев. Особо говорится об отношении к Пушкину П. Мериме как переводчика и критика и о влиянии Пушкина на его творчество. Со слов Бирюкова Монго повторяет версию с том, что Л. Толстой серьезно заинтересовался Пушкиным после того, как прочел „Дыган“ в переводе П. Мериме. Этот прозаический перевод раскрыл ему все величие поэмы (стр. 155). Приводя высказывания различных „любителей литературы“ о Пушкине, Монго считает 1870 год поворотным пунктом — начинает появляться „научная“ литература о Пушкине во Франции. Он отмечает, что в 1875 г. К. Курьер (С. Courrière) в своей „Истории современной русской литературы“ называет Пушкина „величайшим гением России“. За ним следует более сдержанная оценка М. де-Вогюэ (M. de-Vogue), которую оспаривали Луи Леже (Louis Legé) и др. Наиболее ценными работами Монго считает первую монографию о Пушкине Эмиля Оман (Émile Haumant), вышедшую в Париже в 1911 г., а из современных нам книг — критическое издание (Париж, 1926) переводов пушкиниста Андре Лирондель (André Lirondelle) и оценку Пушкина, данную в книге Жюля Легра (Jules Legras) „Литература в России“ (Париж, 1929).

В одной из наших рецензий¹ уже отмечены некоторые неточности, допущенные Монго в его статье. Дело идет о неправильном отождествлении переводчика Пушкина Ж. М. Шопена с братом известного композитора. Отчасти несправедлив и упрек, брошенный Монго Александру Дюма в том, что он опубликовал без имени Пушкина переводы „Метели“, „Гробовщика“ и „Выстрела“. В первом издании этих повестей, в 1858 г. в журнале Дюма „Monte-Cristo“ (№№ 24, 25, 26, 27, 29) имя Пушкина поставлено.

• Помимо этих мелочей, необходимо отметить отсутствие в обзоре Монго, давшем сводку материала более, чем за сто лет, некоторых имен критиков и переводчиков и недостаточное освещение вопроса о влиянии Пушкина на французскую литературу.

Таким образом большинство статей в сборнике написано французскими учеными, группой, объединенной вокруг редакции журнала. Именно их перу принадлежат сообщения, дающие новые материалы для изучения иностранной пушкинианы.

Из остальных статей заслуживает внимания „Английская литература и Пушкин“ специалиста по русской литературе, пушкиниста, профессора Харвардского университета, Эрнеста Симмонза (Ernest J. Simmons), издавшего в 1935 г. книгу „Английская литература и культура в России“ (Кэмбридж), а в 1937 г., к юбилею, большую биографию Пушкина, вызвавшую многочисленные отклики в иностранной прессе и рецензируемую в настоящем томе „Временника“. Симмонз поочередно рассматривает в своей статье отношение Пушкина к отдельным английским писателям, начиная с лицейского периода и особенно подробно останавливается на отношении его к Байрону, Шекспиру и Вальтер Скотту. Выводы и отдельные замечания Симмонза базируются как на его собственных ранних работах, так и на работах советских литературоведов. Он не считает возможным говорить о „подражании“ Пушкина английским образцам и указывает на них лишь как на побудительный импульс в его творчестве. Стремление Пушкина к реализму вело его по собственным творческим путям.

Симмонз ставит в связь с Шекспиром „Бориса Годунова“ и „маленькие трагедии“. Он считает, что Пушкин многое воспринял от драматической структуры Шекспира — обрисовка характеров, употребление белого стиха, — но при этом подчеркивает, что отношение Пушкина к Шекспиру не походило на чрезмерный романтический энтузиазм его современников (стр. 97). Наконец, о Вальтер Скотте Симмонз пишет, что влияние его на Пушкина выразилось в том, что его произведения помогли Пушкину достичь точного равновесия в творчестве и чувства реализма, которые продвинули его на пути литературного развития (стр. 102).

¹ „Книжные новости“, 1937, № 7, стр. 44.

Статья другого американского ученого — „Пушкин в Англии“ — принадлежит профессору Харвардского университета, слависту Семюэлю Кросс (Samuel H. Cross). Она построена по тому же принципу, как и статья Монго, — рассмотрение английских переводов и критической литературы о Пушкине с начала их возникновения до настоящего времени.

Автор допускает ошибку, считая, что первое упоминание о Пушкине в Англии имело место в 1828 г. в журнале „National Review“. В действительности имя Пушкина встречается там уже с 1824 г. („Westminster Review“, № 1) и в 1827 г. („Foreign Quarterly Review“, № 1).

Кросс довольно подробно пишет о первых критиках Пушкина в Англии, цитируя наиболее характерные места. Наглядно выступает сдержанность и элементарность их суждений, проистекающая от недостаточного знакомства с русской литературой того времени. Из сравнительно незначительного числа упомянутых Кроссом критиков и переводчиков он выделяет Томаса Б. Шоу, автора статьи о Пушкине („Blackwood's Edinburgh Magazine“, 1845, т. 55, 58), лично знавшего Плетнева, черпавшего свои сведения из первоисточников и проявившего большую тщательность в помещенных им в этой статье переводах. С сочувствием, как о серьезном критике и хорошем переводчике, отзываясь он о В. Р. Морфилле (W. R. Morfill), писавшем и переводившем Пушкина в 80-х годах. Кросс дает перечень переводов Б. Шоу и Морфилла, помещенных в журналах.

Рассматривая позднейшие переводы Эдварда Тернера, К. Т. Вильсона и др., автор считает лучшими современные нам переводы Оливера Элтона.

Научное изучение Пушкина начинается в Англии лишь с начала XX столетия. Кросс пишет: „Понемногу начали изучать Пушкина по-настоящему, как представителя определенной эпохи, мастера личной лирики, драматурга, родоначальника реалистического романа с социальным уклоном“ (стр. 176). Далее он перечисляет главные исследования о Пушкине, заканчивая указанием на фундаментальную биографию поэта, выпущенную в 1937 г. Е. Симмонзом.

Очерк Кросса дает, таким образом, довольно суммарное представление о судьбе пушкинского наследия в Англии, он совершенно не выделяет Америку, далеко не исчерпывает всего материала и не претендует на то, чтобы в какой-либо мере поставить вопрос о влиянии Пушкина на английскую литературу.

Отношения Пушкина со славянскими странами обрисованы в небольшом очерке Иосифа Бадалича „Пушкин в Югославии“. Бадалич дает не обзор, а сводку существующего материала, разбив его на следующие главы: 1) Появление Пушкина в югославянской литературе. 2) Первые сведения о Пушкине у южных славян. 3) Переводы Пушкина у южных славян. 4) Отзвук творчества Пушкина у южных славян. Дается общая характеристика общественных настроений в Югославии в 20-х и 30-х годах прошлого столетия, затем указание источников, из которых получались там сведения о Пушкине, общие данные о времени первых переводов и имена главных переводчиков, наконец, говорится о критической литературе о Пушкине и о художественных произведениях, написанных на сюжеты из его жизни и произведений.

Бадалич дает следующее резюме к своей статье: I. Первое знакомство с Пушкиным происходит в 1820 г. через Германию. Несколько позднее появляются в журналах переводы поэм, сделанные непосредственно с русского языка. II. Первые сербо-хорватские переводы опубликованы в 1840 г. Это стихотворения, имеющие отношение к истории Сербии. Переводы многочисленны, но бессистемны. III. Отзвук произведений Пушкина в южнославянских литературах значителен. IV. Влияние Пушкина неравно в отношении трех югославянских народов: велико у сербов, почти отсутствует у словен, значительно в поэзии Воислава Илича и его последователей, и, кроме того, отражается в новосербской лирической поэзии.

Вопрос о восприятии пушкинского наследия в Югославии достаточно освещен в научной литературе, за исключением данных о переводах и критической литературе последних лет. Как раз на этот вопрос статья Иосифа Бадалича ответа не дает.

Нами рассмотрены несколько наиболее интересных и значительных статей сборника. Как уже указывалось, французские и американские ученые проявляют очень большую осведомленность в советском пушкиноведении. Работы их построены с полным учетом материала Б. В. Томашевского, М. П. Алексеева, В. М. Жирмунского, Д. П. Якубовича, М. А. Цявловского и др. В то же время необходимо отметить, что в статьях о Пушкине на западе не имеется указаний на отношение самого Пушкина и его современников к тем статьям и переводам, которые появились еще при его жизни. Нет указаний и на то, как друзья поэта и русская общественность реагировали на отзывы о нем после его смерти. Между тем без такого перекрестного рассмотрения изучение материалов будет всегда недостаточным и малоэффективным.

К сожалению, редакция сборника нашла возможным поместить в нем ряд статей авторов — представителей фашистских стран и белоэмигрантов. Статьи эти, пытающиеся фальсифицировать образ великого поэта, поражают своим убожеством, своей полнейшей научной несостоятельностью.

Е. И. Боброва.

„Pushkin“, by Ernest J. Simmons, Cambridge, Massachusetts, 1937. Harvard University Press, XII + 485.

Первый перевод из „Евгения Онегина“ на английский язык появился только в 1881 г. (H. Spalding). До мировой войны Пушкин был мало известен читающей по-английски публике. По-настоящему его имя стало в Англии и в США звучать, может быть, только в 1935 г. Еще в 1933 г. Симмонсу пришлось поместить свой превосходный перевод „Скупого Рыцаря“ в специальном филологическом органе („Harvard Studies and Notes in Philology“).

Правда, английская критическая литература о Пушкине не так уже малочисленна. Уже в 1845 г. в трех номерах „Blackwood Magazine“ профессор английской литературы при СПб. университете Th. B. Shaw поместил обстоятельную статью о Пушкине с переводом двадцати двух стихотворений. В 1858 г. „National Review“ отозвалось на анненковское издание переводами и статьей, в которой повторило боденштедтово предисловие к книге переводов. В 1882 г. вышли „Этюды по русской литературе“ Ch. E. Turner'a. В 1883 г. W. R. Morfill дал в „Westminster Review“ большую статью о книге Невеленова и о ефремовском издании, сопровождаемую переводом десяти стихотворений и отрывков из „Евгения Онегина“ и „Бориса Годунова“. Однако все эти статьи, как и предшествующие — пересказ „Опыта“ Греча в „National Review“, 1828 г.; статья в „Foreign Quarterly Review“ 1832 г. и соответствующие страницы переведенной в 1839 г. с немецкого „Истории русской литературы“ F. Otto — как показывает самое время их появления — не могут претендовать на научное изучение творчества Пушкина. Общие обзоры A. Bates'a („Русская драма“, 1906 г.), A. Brückner'a (переведенная в 1908 г. „История русской литературы“) и M. Baring'a („Очерк русской литературы“, 1914 г.), так же, как статьи последнего („Пропавшие лекции“, 1932 г.), являются критическими высказываниями, а не результатом научного изучения. С другой стороны, совершенно академическим исследованием, захватывающим, Пушкина лишь частично, является работа автора рецензируемой биографии („Английские литература и культура в России“, 1935 г.). Единственная пушкиноведческая работа на английском языке до книги Симмонса — этюд H. Hertford о „Борисе Годунове“ („Русский шекспиряз“, 1925 г.).

Рецензируемая книга, вышедшая к столетию смерти Пушкина (предисловие подписано январем 1937 г.), представляет собою подытоживающую монографию, опирающуюся равно на критические суждения предшественников и на результаты научной разработки вопросов творчества и биографии Пушкина.

Автор ее — профессор Харвардского университета, насчитывающий в своем активе не одну работу по русской литературе. Помимо названных выше работ и работ о других русских писателях, надлежит отметить „Пушкин и Шенстон“ („Modern Language Notes“,

XI, 1930), „Байрон и гречанка“ („Modern Language Review“, XXVII, 1932) и „Английская литература и Пушкин“ („Revue de la littérature comparée“, XV, 1937). Таким образом рецензируемый том — не популяризаторская работа безвестного автора, но монография, написанная специалистом.

Понятно, нельзя подходить к монографии Симмонза с теми же требованиями, которые мы предъявляем к монографии советского ученого: задачей Симмонза являлось прежде всего рассказать своему читателю кто такой — Пушкин.

С другой стороны, самые условия книжного рынка в США почти исключают возможность появления строго-академической литературоведческой работы такого объема на неанглийскую тему. Рентабельностью заранее была определена основная установка книги, установка на „читабельность“.

Книга написана для американского буржуазного читателя. Это определяет ее специфические черты, которые советскому читателю во многом и чужды и непривычны.

Построена монография на прямой биографической последовательности. После нескольких страниц „Введения“ следует глава „Писаки русские меня зовут аристократом“ излагающая историю предков Пушкина. Остальные главы: Детство; Император учреждает Лицей; Литература и любовь в Лицее; В большом свете; Среди заговорщиков; Русский Чайльд-Гарольд; „Проклятый город Кишенев“; Русский Овидий среди готов; Одесса; Михайловский изгнанник; „Душу трагедией“; Царь распоряжается; Снова Москва; „Город пышный, город бедный“; Женидьба; Медовый месяц и полынь; Пленник царского двора; Кoadьютор ордена рогоносцев; Последняя дуэль; Эпилог.

Названия глав достаточно характеризуют ориентацию на американского буржуазного читателя и подход к пушкинским „трудам и дням“.

Эпиграфом к книге Симмонз ставит пушкинские слова: „Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная“. Начало первой главы излагает основные мысли о „герое“ монографии, ибо писатель — предмет монографии — превращен в ее героя.

„В отличие от доктора Джонсона, Пушкину никогда не приходилось дожидаться милости в прихожей... Покровителя, захоти он такого, он имел в царе всея Руси. Пушкин настаивал на своем аристократизме потому, что титул «поэт» был предметом презрения для новой знати и невежественной бюрократии. Он знал себе цену и угадал свое бессмертие“ (7).

Эти слова открывают читателю, как Симмонз мыслит отношение Пушкина к своей литературной судьбе. Она же характеризуется скупыми и достойными словами:

„У всякого биографического изучения Пушкина есть свой смысл и своя ценность. Пушкин был велик не только как поэт, но и как человек. И трудно найти во всем объеме русской литературы такого жизненного, блестящего и несчастного человека, как Пушкин. Он ощущал жизнь глубоко и отдавал ей всю свою страсть, весь свой гений. Он приближался к ней прямо и бесстрашно... Он знал и слабость и величие, но его гений возносился торжествуяще над всем, что в его природе было мелким и низким... Биограф должен изучать Пушкина как человека, как поэта и как историческую фигуру“ (5—6).

Этими словами заканчивается „Введение“. Какую же историческую фигуру представлял собой Пушкин?

Ясно это не сформулировано нигде. Большой том (более двадцати шести печатных листов) включает жизнеописание Пушкина, не разграничивающее четко события жизни и события творчества. Биографическим фактам в изложении Симмонза уделено даже значительно больше места, чем произведениям Пушкина. Последние же переданы главным образом через оценочные характеристики и в нескольких случаях („Евгений Онегин“, „Цыганы“, „Пиковая Дама“, „Скупой Рыцарь“) посредством „изложения содержания“.

„Если исключить Гёте, не будет преувеличением сказать, что в течение первых сорока лет девятнадцатого века ни один поэт западной Европы не превзошел Пушкина ни гением, ни высоким качеством литературного совершенства“ (3).

„Жизнь Пушкина была бесконечным разногласием между его внутренним духовным существом и внешними фактами существования. Его гений требовал свободы жить и творить как желает... Все без исключения факты существования изнашивали его физически и душевно и сломали крылья его гению. Хотя Пушкин по природе был оптимистом, преобладающая в его поэзии нота — не нота радости. Скорее слышим мы всепроникающий тон меланхолии, печали и страдания“ (438—439).

„Нас приучили ожидать в русской литературе проповеднической тенденции, оправдания морального добра в мире и разоблачения морального зла... А литературная позиция Пушкина диаметрально противоположна этим силам русской культуры. Не нужно искать в его произведениях морали; его муза искренне на стороне и добра и зла. Нет ни тенденциозности, ни социального учительства, ни морального пафоса... Братство людей приглянулось бы Пушкину, если бы он вообще об этом подумал, в качестве превосходной темы для сатирического стихотворения. Что до цели искусства, — он суммировал ее в одной фразе: цель поэзии — поэзия“ (4—5).

На все эти утверждения Симмонза можно возразить слишком многое. Например, хотя бы то, что Пушкин вспоминает с глубоким волнением и, конечно, с одобрением о том, как Мицкевич говорил

о временах грядущих,
Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся.

Отмеченное Симмонзом (и непонятое им) „олимпийство“ Пушкина, так резко противостоящее учительству русского романа, заставляет Симмонза считать, что „Он стоит одиноко и его поэзия, как поэзия Чосера, нечто вроде блистательного завершения прошлого... Поток русской культуры не был резко прегражден Пушкиным; она просто потекла иным руслом“ (5).

Симмонз хочет сделать из Пушкина „олимпийца“ (в том смысле, как Гейне применил этот термин к Гёте). Пушкин для Симмонза человек, подчеркнуто отстраняющий от себя житейскую прозу, житейскую повседневность. За чистую монету принимаются ключевые слова пушкинской статьи о Вольтере: „настоящее место писателя есть его ученый кабинет, и... независимость и самоуважение одни могут возвысить нас над мелочами жизни и над бурями судьбы“. Подобная ограниченность восприятия необычайно характерна для американского литературоведения, заботливо возносящего всё, что касается „чистого искусства“, и тщательно обходящего всё, что свидетельствует о политической деятельности изучаемого писателя.

Советским пушкиноведением точка зрения на великого русского поэта как на олимпийского жреца „чистого искусства“ давным давно сдана в архив. Сам Пушкин ощущал себя политическим деятелем. Тому свидетельство — и его поэтические произведения и замечательные строки в прошении о проектируемой газете „Дневник“. Читающая Россия воспринимала деятельность Пушкина, — а смерть его особенно — и как политические факты. Тому свидетельство — тысячи толпы перед квартирой Пушкина в последние дни января 1837 г. и паника правительства. Обо всем этом рассказывает и Симмонз.

„Многие из этих ожидающих — друзья, чужие и даже иностранцы — плакали. Что трогало их? Жуковский дал ответ: Вообще гений это добро. В поклонении гению все люди братья и когда он покидает землю навсегда, все горюют одной братской печалью. Пушкин в своем гении принадлежал не одной России, но всей Европе“ (422).

„По многим причинам Бенкендорф убедился, что Пушкин был участником, если не руководителем, нового политического заговора. Бенкендорф действительно боялся народного восстания во имя Пушкина... Так естественное и искренне либеральное направление его мышления, взятое под сомнение с самого его „прощения“ царем, было открыто народом после его смерти“ (436—437).

Первая цитата начево „беспартийна“, вторая начинается неожиданной ссылкой на карбонарство поэта. Особенно резко это противоречие бросается в глаза потому, что связь

Пушкина с декабристами, не только на юге, но и в период „Зеленой Лампы“, Симмонз вполне отчетливо представляет и себе и читателю. По Симмонзу молодой Пушкин — человек с определенными политическими устремлениями, которые в дальнейшем просто иссякают. Однако даже о такой поздней вещи, как „Арион“, Симмонз вполне правильно говорит:

„Это прозрачная аллегория... Люди на челне, понятно, декабристы... Он пытался остаться их певцом, певцом свободы“ (279—280).¹

Путь Пушкина-писателя Симмонз характеризует так:

„В трактовке („Евгения Онегина“) много лиризма, есть и преднамеренный романтизм и не мало чистейшего субъективизма. Но действительное направление, которым идет Пушкин, — объективный реализм, направление, которое начало обозначаться в одесский период... Байрон был позади. Теперь он был занят русской жизнью и обрисовкой ее в реалистических стихах“ (232—233).

„Ее (трагедии „Борис Годунов“) белый стих, так выразительно читанный Пушкиным, поразил их („любомудров“), а полный объективизм пьесы осуществил дорогой им идеал бесстрастной гётевской поэзии“ (261—262).

Так же, как это развитие от субъективного романтизма к объективному реализму, шло, по мнению Симмонза, и политическое развитие Пушкина: от юноши, который „любит слушать о храбрых поступках и, подобно многим поэтам своего темперамента — Байрон, например — охотнее совершал бы героические деяния, чем писал о них“ (129), Пушкин, приходя к зрелости, становится либералом, о котором иностранные дипломаты писали своим дворам, как о „руководителе движения реформ“ (437).

Эта концепция естественна для оборвавшейся эволюции Байрона, для логически завершившихся эволюций английских и французских романистов 30-х и 40-х годов, „тоже“ начинавших бунтарством. Не поняв социально-исторической специфики развития России, Симмонз механически подвел Пушкина под европейскую историческую схему, в которую ни Пушкин ни Россия не укладываются. Конфликт между внутренним развитием Пушкина и российской действительностью не ослабевал, но усиливался, по мере того как Пушкин „остепенялся“, и неизбежность столкновения нарастала именно по мере этого „остепенения“, которое выражалось во всё возрастающем интересе Пушкина к вопросам политики. Ничего этого Симмонз не увидел. Из всех нехудожественных произведений Пушкина он называет только „Историю Пугачева“ и упоминает о работе над историей Петра I. Даже публицистических установок „Современника“ Симмонз не понял:

„Пушкин много поработал над тем, чтобы номер вышел удачным, и, быть может, ни один русский журнал не начинал существования с таким замечательным содержанием“ (381).

Эта фраза недостаточна. „Современник“ отличался от других журналов не только высококачественностью материала, но и отчетливой литературной партийностью сотрудников. А в первую очередь отличался „Современник“ тем, что противопоставлял особый тип европейскому, „массовому“ типу журнала.

Для правильного освещения этих фактов Симмонз должен был бы учесть специфику литературной борьбы Пушкина. Мы привыкли к тому, что монография о писателе стремится восстановить литературную практику его дней и показывает его место и его функцию в ряду современников. Это несвойственно американскому (и английскому) литературоведению, для которого история литературы в значительной мере — история „душ“ и вкусов писателей, а литературная борьба — дело темпераментов и личных отношений. Американское литературоведение заменяет историческую часть биографией, а историко-литературную часть — критической оценкой. С этими задачами Симмонз справился превосходно.

¹ Симмонз заходит и дальше, приводя как достоверный факт историю о четверостишии „Восстань, восстань, пророк России“, с которым Пушкин явился к царю.

Первое, что бросается в глаза при чтении книги, — ее исключительная легкочитаемость. Монография занимательна в том лучшем смысле этого слова, который английский язык обозначает *readable* (читабельно).

Изложение ведется живым и подчас очень острым языком. Отдельные страницы (напр. последние дни Пушкина) подымаются до подлинно прекрасной патетики. Книга Симмонза написана по-писательски, так, как у нас книг по литературоведению писать еще не умеют.

Книгу написал человек, движимый подлинными любовью и уважением к Пушкину. Это сказывается во многом: в заботливости изучения источников, в тщательности стиховых переводов, во внимательности подбора иллюстрационного материала.¹ Но особенно приятно сказывается отношение автора к теме в попытках осмыслить для читателя факты жизни Пушкина сравнительно с аналогичными фактами жизни английских писателей. Такие сопоставления, как детство Пушкина и детство Колриджа (24), или Пушкин на пути в Гурзуф и Байрон на мальтийском пакетботе (107), не только тонки и убедительны, но и плодотворны, хотя детально не разработаны.

На большой высоте стоит и критическая часть книги.

Но задача критика в такой книге, как рецензируемая, — не только проявить вкус. Критическое суждение должно также дать читателю, лишенному возможности ознакомиться с оригиналом, представление о характеризующем произведении. Эту задачу Симмонз выполнил. В книге немало тонких, умных и метких характеристик. Несомненно на пользу книге обильные и часто остроумно подобранные эпиграфы из Пушкина.

Особо нужно отметить многочисленные стиховые цитаты. Только человек, практически работавший над переводами стихов с английского на русский и обратно, может оценить всё неимоверное различие, не смягченное никакими традициями (как то обстоит с французской поэзией), синтаксиса и ритмики обоих языков. Не все переводы хороши, но трудно даже придрагаться к таким турдефорсам, как прекрасно звучащий английский двенадцатисложник в переводах „Я памятник“ и „Пора, мой друг, пора“. В переводе „Я помню чудное мгновенье“ не сохранен характер рифмовки, но лексика, синтаксис и ритмическое движение подлинника переданы почти безупречно. Перевод „Скупого Рыцаря“ — наверное лучший стиховой перевод с русского на английский. Прекрасным примером могут служить первые шесть строк монолога барона:

Just like a youthful madcap who awaits
His rendezvous with some intriguing wanton,
Or with some fool beguiled by him, so I
Have waited for this moment to descend
Into my secret vault to faithful chests.
O happy hour! that time when I can throw. . . . (330).

Погрешности переводов легко устранимы простой корректурной правкой при втором издании, которого книга вполне заслуживает и не на одном только английском языке.

В целом книга Симмонза, достойно завершающая путь его предыдущих работ, представляет собой хорошую популярную биографию Пушкина, рассчитанную на читателя, который Пушкина не знает, и не только вводящую читателя в знакомство с Пушкиным, но и приучающую любить его. Это Симмонзу удается даже несмотря на то, что книга лучше написана, чем задумана.

Т. Левит.

¹ Досадно включение псевдо-пушкинского портрета (стр. 64), непростительно опубликованного и у нас в качестве пушкинского („Вечерняя Москва“ от 22 X 1936 г.).

ХРОНИКА



ИЗ МАТЕРИАЛОВ РЕДАКЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОГО ИЗДАНИЯ ПУШКИНА

О ТЕКСТАХ КРИТИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ ПУШКИНА

(Отчет о работе над XI томом)

Работа над критико-публицистической прозой Пушкина представляет ряд особых трудностей. Самим Пушкиным эта часть его наследия не была собрана, и лишь меньшая доля его была опубликована или даже подготовлена к печати при жизни. Значительная же часть осталась в рукописных тетрадях, на отдельных листах, иногда — клочках, а частью в тех, так называемых, тетрадях, которые после смерти Пушкина были искусственно составлены опекой и жандармами из отдельных листов, произвольно собранных, перенумерованных и сшитых. К этим затруднениям внешнего порядка — к необходимости раскрывать последовательность и взаимную связь пушкинских документов (листов, клочков), а затем и содержания записей на этих листах, присоединяются особые затруднения самого чтения черновых прозаических текстов Пушкина. Трудности чтения здесь, как и в художественной прозе и прозаических драмах, более ощутительны, чем при работе над стихотворным текстом, так как при расшифровке пушкинских сокращений, знаков вставок и отсылок, при установлении взаимной связи фрагментов, записанных им в разных местах, у редактора нет таких опорных моментов, какими при редактировании стихотворных текстов являются строфика, метр и рифма.

В дореволюционном пушкиноведении редакция критической прозы была одним из наиболее отсталых участков. Несмотря на то, что известная работа по анализу и упорядо-

чению критической прозы производилась редакторами большинства изданий (начиная с посмертного); несмотря на то, что В. Е. Якушкин произвел большую работу по учету, а отчасти и по осмыслению соответственных рукописей, — вопросы текста критической прозы не составляли проблемы: редакторы, если обращались к рукописям, то для пополнения текстов, а не для проверки их; композиция же пушкинских критических заметок всецело определялась усмотрением редактора.

Советские издания Пушкина внесли много ясности в дело изучения рукописей пушкинской критико-публицистической прозы. Но, естественно, при подготовке академического издания потребовалась новая систематическая ревизия всех относящихся сюда рукописных текстов. Укажу на основные отличия композиции и текста редактируемого мною и Б. М. Эйхенбаумом XI тома академического издания Пушкина.

•

Прежде всего мы признали необходимым отказаться от традиции последних советских изданий — разделения статей и заметок Пушкина на два отдела: 1) опубликованное и подготовленное к печати и 2) неизданное и черновое. Правильная в основе мысль — деление на основной отдел и дополнительный — была здесь затемнена второстепенным признаком — „неизданности“; в результате такое значительное произведение, как „Путешествие из Москвы в Петербург“ или совершенно законченная „Детская книжка“, попадали во второй отдел (в юбилейном издании „Academia“ — под колоннотитулом „Наброски“), а примечание

из двух строк к слову „богадельня“ как напечатанное в „Современнике“ при жизни Пушкина — в первый. Еще больше запутывалась композиция присоединением к „опубликованному“ также и „подготовленного к печати“, причем разумелись почему-то лишь материалы, подготовленные для „Современника“.¹

Мы помещаем в первом — основном — разделе тома — всё, что имеет характер статьи, цикла заметок, или отдельной, но самостоятельной по содержанию заметки, независимо от появления или не появления в печати. Во втором отделе сосредоточены наброски, материалы, конспекты и планы неосуществленных статей. Третий отдел составляют заметки Пушкина на полях, при чтении чужих произведений и, наконец, четвертый отдел — *dubia* пушкинского текста. Статьи и заметки располагаются в каждом отделе в общей хронологической последовательности.

В композиции настоящего тома пришлось в одних случаях расчленять те статьи и заметки, которые в прежних изданиях объединялись в циклы, в других случаях — наоборот, восстанавливать первоначальное целое, искусственно разбивавшееся на отдельные заметки.

Статьи Пушкина о Баратынском, в свое время печатавшиеся как одна статья, — уже были осмыслены как три разновременные статьи;² тем не менее последние издания объединяли их по единству темы в общий цикл. Необходимо было сделать следующий шаг и поместить каждую статью под соответственным годом и с соответственным заглавием: статью о „Стихотворениях“ 1827 г. — под 1827 годом, статью о „Бале“ — под 1828 годом, и последнюю статью — под 1831 годом, придав ей одной заглавие „Баратынский“, так как, хотя и вызванная появлением „Наложницы“, она является все же не рецензией на эту поэму, а статьей обо всем творчестве поэта. Не было принято до сих пор правильное замечание С. М. Бонди о том, что пушкинское слово

„Выписки“ — в статье о „Бале“ — должно быть заменено цитатой из „Бала“, довольно легко устанавливаемой по пушкинским указаниям. С. М. Бонди затруднился выбрать из всей характеристики Нины нужную цитату; но слова Пушкина: „Напрасно поэт берет иногда строгий тон порицания“ и т. д. — слова, следующие за словом „Выписки“, — ясно говорят о том, что „Выписки“ должны оканчиваться словами:

Кто б не отер их у печали,
Кто б не оставил красоте?

Другим циклом, требующим расчленения, является цикл „Набросков предисловия к Борису Годунову“.

Прежде всего из этого цикла должно отойти французское письмо 1829 г. Н. Н. Раевского („Voici ma tragédie...“). Относясь, по собственному указанию Пушкина, к материалам для возможного предисловия, в своем настоящем виде оно не представляет собою ни предисловия, ни наброска. Это законченное письмо с обращением к адресату и никак не рассчитанное на печать — даже и при условии перевода на русский язык (ср. совершенно интимную, до сих пор точно не раскрытую и невозможную, конечно, в печати фразу: „Elle est remplie de bonnes plaisanteries et d'allusions fines à l'histoire de ce temps-là comme nos sous-œuvres de Kiof et de Kamenka“). По решению редакционного комитета письмо это отнесено в соответствующий том писем.

Небольшая заметка „Вероятно трагедия моя не будет иметь никакого успеха“ также не является наброском предисловия, а входит в состав совсем другой композиции, как это будет показано ниже.

Наконец, основной и наибольший по объему комментарий Пушкина к „Борису Годунову“ — „Благодарю вас за участие, принимаемое вами в судьбе Годунова“ — также трудно отнести к „предисловиям“. История возникновения этого мнимого письма к Раевскому, а на самом деле письма к издателю „Московского Вестника“ М. П. Погодину, — убедительно раскрыта Г. О. Винокуром в его комментариях к „Борису Годунову“. Письмо это, будучи непосредственно связано с журнальной полемикой 1827—1828 гг. о сценах „Бориса Годунова“, являясь откликом на статью Шевырева, помещенную в „Москов-

¹ В результате этой нечеткости композиции — редакционное обращение к подписчику из г. Холма в четвертом издании шеститомника, по недосмотру, попало в оба отдела: как „подготовленное к печати“ в том V (стр. 303), а как „неизданное и черновое“ — в том VI (стр. 258).

² См. С. Бонди, „Новые страницы Пушкина“, М., 1931, стр. 115—126.

ском Вестнике" (но адресованное, повидимому, не Шевыреву, а Погодину как издателю журнала), — по всей вероятности и рассчитано было на помещение в журнале. Но что еще существеннее, — весь смысл письма сводится к объяснению причин, которые удерживают автора от напечатания трагедии. Слова „Хотите ли знать, что еще удерживает меня от напечатания моей трагедии?“ — поясняют и содержание всего письма. Разочарование в современной критике; грустный вывод: „трагедия моя есть анахронизм“; горько-ироническое замечание: „Нововведения опасны и, кажется, не нужны“ — всё это было в глазах Пушкина „новыми затруднениями... прежде и не подозреваемыми“ (см. первый абзац письма) — затруднениями именно к напечатанию трагедии. В вариантах черногого текста об этом сказано еще решительнее:

„... Мне было приятно удовлетворить столь для меня лестному нетерпению, но я не думаю печатать мою трагедию“.

„... Но признаться я не думаю так еще скоро выдать в свет мою трагедию“.

Таким образом письмо к Погодину, повидимому, не было задумано как предисловие, и если даже предположить, что оно могло бы впоследствии быть использовано для предисловия, — естественнее и законнее печатать его как отдельный опус Пушкина, помещая его под годом написания (1828).

Остальные семь набросков, помещаемых в данном цикле, являются несомненно набросками предисловия, но сколько-нибудь завершенных из них только два: „С отвращением решаю я выдать в свет“ (другая редакция — „С величайшим отвращением“) и „Изучение Шекспира, Карамзина...“

Наибольшей перепланировке подвергаются в новом издании циклы: „Заметки о ранних поэмах“, „Наброски возражений критикам языка и стиля Евгения Онегина“ и „Заметки, исключенные из Опыта отражения некоторых недилитературных обвинений“, так как все они при ближайшем рассмотрении оказываются искусственно разрозненными частями одного целого. На этом вопросе необходимо остановиться подробнее.

Одной из больших заслуг советских изданий Пушкина было раскрытие пушкинского замысла „Опыта отражения некоторых недилитературных обвинений“.

тературных обвинений“. Реально, из рукописи „Опыта“ существует только его начало, но план „Опыта“, написанный тогда же (в болдинскую осень 1830 г.) и там же (на листах, где набросано и введение к „Опыту“) — отсылает нас к болдинским же рукописям и делает возможной реконструкцию задуманной и начатой Пушкиным статьи на основании его предыдущих писаний. Это и было сделано — в общем, убедительно — в советских изданиях, начиная с издания 1930 г. Однако ближайшее изучение так называемых „тетрадей“ 2387А и 2387Б убеждает в том, что предшествующие „Опыту“ заметки являются частями одной статьи; что замыслу „Опыта“ предшествовал другой полемический замысел, до конца не осуществленный. Это был тоже „Опыт отражения обвинений“, но, преимущественно, как раз „литературных“.

Ключ к этому пушкинскому замыслу находится в одной фразе, впоследствии переработанной Пушкиным. Дав общую характеристику критики своего времени и объяснив, почему он „опровержением критик“ не занимался, Пушкин заключал:

„Нынче, в несносные часы карантинного заключения, не имея с собою ни книг, ни товарища, вздумал я для препровождения времени писать опровержение на все критики, которые мог только припомнить и собственные замечания на собственные же сочинения“ (тетрадь 2387 А, л. 11 об.).¹

Так была сформулирована Пушкиным программа статьи не только задуманной, но и выполненной „в несносные часы карантинного заключения“. Статье этой мы придаем условное редакторское заглавие (основанное на приведенном выше пушкинском выражении): „Опровержение на критики“. Листы, на которых статья эта была написана, были при описи пушкинских бумаг совершенно произвольно вложены один в другой и перенумерованы жандармами, а затем — в этой произвольной последовательности сшиты. Этим и объясняется тот факт, что самое наличие в составе пушкинского наследия большой критико-полемической статьи так долго не

¹ В томе IX академического издания Пушкина (Л. 1929) редактором тома, Н. К. Козминным, фраза эта приведена в числе вариантов к так наз. „Критическим заметкам“ (т. IX, ч. 2, стр. 288—289), но выводов из нее не сделано.

было установлено. Сшитые листы составили „тетради“ 2387 А и 2387 Б, хранящиеся в Библиотеке им. В. И. Ленина. И только установив первоначальный порядок листов, каким он был во время пушкинской работы, можно восстановить взаимную связь и последовательность ее частей, на первый взгляд представляющихся разрозненными заметками по различным вопросам критики и полемики.

Приведенная выше фраза с приступом к „опровержению на критику“ находится в конце двойного листа, имеющего жандармские цифры: 11 на лицевой стороне первого полулиста и 74 на лицевой стороне второго.¹ В начале листа 21 Пушкин продолжал:

„Первое замеченное стихотворение мое было Руслан и Людмила. Вообще приняли его благосклонно... Что это именно продолжение предыдущего — очевидно. Естественно, что ряд ответов на критики и замечания о своих сочинениях начинает он с первого замеченного критикой произведения — с „Руслана и Людмилы“. В окончательном тексте связь этого начала основной части статьи с предисловием к ней не так наглядна („Руслана и Людмилу вообще приняли благосклонно“). Но связь эта подтверждается последовательностью дальнейших записей. За „замечанием“ о „Руслане и Людмиле“ непосредственно следуют замечания (с упоминаниями о критических отзывах, письменных и устных) о „Кавказском Пленнике“, о „Бахчисарайском Фонтане“, о „Братьях Разбойниках“ — словом почти полностью тот ряд заметок, который в новейших изданиях Пушкина объединен заглавием — „Заметки о ранних поэмах“. Однако на развороте листа (лист 64) мы находим заметку о „Цыганах“, печатающуюся в том же цикле, а другую заметку, начало которой лишний раз доказывает единство и непрерывность пушкинского замысла.

„Наши критики долго оставляли меня в покое. Это делает им честь: я был далеко и в обстоятельствах не благоприятных. По привычке полагали меня всё еще очень молодым человеком. Первые неприязненные статьи, помнится, стали появляться по напе-

чтании четвертой и пятой песни Евгения Онегина...“

Фраза „Наши критики долго оставляли меня в покое“ является опять-таки естественным продолжением тех замечаний о „Бахчисарайском Фонтане“ и „Братьях Разбойниках“, которые записаны на предыдущем полулисте. Так как ни о „Бахчисарайском Фонтане“, напечатанном в 1824 г., ни о „Братьях Разбойниках“, напечатанных в 1825 г., Пушкин не припомнил ни одного печатного отзыва, то слова „оставляли меня в покое“ относятся и к этим годам ссылки. Пушкин не останавливается на полемике вокруг первой главы „Евгения Онегина“, но следующим произведением, вызвавшим его замечания, оказывается все же „Онегин“ по естественной последовательности этой творческой автобиографии. И Пушкин переходит к последовательным воспоминаниям об откликах на главы „Онегина“: 4-ю и 5-ю (1828), 6-ю (1828) и 7-ю (1830), оставляя временно в стороне „Цыган“, появившихся в печати полностью в 1827 г. (между 2-й и 3-й главами „Онегина“).

Упомянув о критике „Атеней“ на 4-ю и 5-ю главы „Онегина“, Пушкин использовал и здесь (очевидно по памяти) свою ответную статью, написанную еще в 1828 г. и в печати не появившуюся. Грамматические придирки критика „Атеней“ (Мих. Дмитриева) вызывают отступления Пушкина по вопросам языка и стиля, в свое время печатавшиеся отдельно под заглавием „Грамматические замечания“, а в последних изданиях входящие в состав цикла „Наброски возражений критикам языка и стиля Евгения Онегина“. С оборота листа 64 замечания эти переходят на лист 18 и непосредственно продолжают на его развороте — листе 67. На обороте 67 листа находятся замечания о критике Б. Федорова (на те же главы — 4-ю и 5-ю) и о замолчанной в критике 6-й главе. Продолжение — о критике „7-й песни“ написано уже на листе 22. Заметим кстати, что Пушкин пишет:

„... разбирая довольно благосклонно 4-ю и 5-ю главу“...

„Шестой песни не разбирали.....“

„Критику 7-й песни в Северной Пчеле...“ — не повторяя заглавия своего романа, конечно потому, что в контексте цельной статьи совершенно ясно, о каком произведении идет речь. Редакторы Пушкина, от ранних до по-

¹ Здесь и ниже мы обозначаем листы по жандармской нумерации и дальше этого не говориваем.

вейших, разбивая статью на отдельные „наброски“, нередко добавляли от себя отсутствующее у Пушкина слово: „Онегина“.

Что касается ответа на замечания критики о пропущенных строфах — он вписан в конце 64 листа с оборота и таким образом, как бы вклинивается в возражение М. Дмитриеву. Можно предположить, что окончательное место этого ответа было бы по окончании грамматических замечаний и перед заметкой о Федорове.

Вслед за откликом на критики „Онегина“ написаны на том же двойном листе две заметки, являющиеся на первый взгляд отступлением от первоначального замысла „Опровержения на критики“: „Шутки наших критиков приводят иногда в изумление своею невинностью“ (л. 63, лицевая сторона) и „Молодой Киреевской... говоря о Дельвиге...“ (л. 63, лицевая сторона). Однако связь обеих заметок с замечаниями об „Евгении Онегине“ бесспорна: она устанавливается не только по месту в рукописи и характеру почерка, но и по самому содержанию. В замечаниях по поводу 7-й песни Пушкина, с несомненно нарочитой небрежностью говоря о критике „Северной Пчелы“,¹ выделяет из всего написанного „довольно смешную шутку об жуке“. Эта „шутка“ и заставила, вероятно, Пушкина вспомнить о других столь же плоских шутках „журналистов наших“.

Оборот листа 63 занят заметкой „Сам съешь“, которая переходит на лист 30, попавший уже в другую часть этой „тетради“ (2387 Б). Двойной лист той же „тетради“, помеченный цифрами 30 и 68 занят окончанием заметки „Сам съешь“ (л. 30), заметкой „Отчего издателя Литературной газеты и его сотрудников называют аристократами“ (л. 30 об. — 68), заметкой „В одной газете (почти официальной) сказано было, что прадед мой...“ (л. 68—68 об.) и, наконец, заметкой „Возвратясь из под Арзрума, написал я послание...“

Все это — отклики на разнообразные факты полемики 1830 г. вокруг „Литературной Газеты“ и вместе с тем — отступления от перво-

начальной последовательности: изложения критик в порядке появления собственных произведений. Отклики на журнальную полемику движутся здесь как бы по цепи ассоциаций: сначала шутка о жуке вызывает мысль о других шутках, затем полемические шутки журналистов рассматриваются обобщенно, со стороны их „метода“ — который сводится к иронической формуле „сам съешь“; последний из примеров, приведенных в этой связи в заметке „Сам съешь“, — полемика о „Литературных аристократах“, — вызывает опять отступление общего характера: „Отчего издателя Литературной Газеты и его сторонников называют аристократами“, а отсюда возникает желание объясниться по поводу двух наиболее оскорбительных личных нападков на Пушкина, связанных с его социальным происхождением и положением. Такими нападками были пасквиль Булгарина на Пушкина как потомка купленного „арапа“ и пародия Полевого с обвинениями в лести князю Юсупову. Только после этих отступлений Пушкин возвращается к собственно-литературным обвинениям. Мы имеем все данные полагать, что по времени написания за листом 30—68 следует небольшая, считая из листов той же бумаги — очевидно еще Пушкиным — тетрадь (л. 15—16 и несколько чистых), где написаны следующие составные части той же статьи:

- 1) О Цыганах одна дама заметила (л. 12)
- 2) Вероятно, трагедия моя не будет иметь никакого успеха (л. 12—12 об.)
- 3) Между прочими литературными обвинениями укоряли меня слишком дорогою ценою Евгения Онегина (л. 12 об. — 13) и наконец — 4) „Мы так привыкли читать ребяческие критики“ (о „Графе Нулине“ — л. 13 об. — 15).

Все эти заметки, оторванные от общей композиции, в прежних изданиях попадали в разные места: первая — в „Заметки о ранних поэмах“, вторая — в „Наброски предисловия к Борису Годунову“, хотя резко-личный тон второй заметки, казалось бы, исключает возможность использования ее в предисловии; и только третья и четвертая связывались с „Опытом отражения...“ В общем замысле статьи замечания как о „Цыганах“, так и о „Борисе Годунове“ в этом именно месте легко объяснимы. Так как о критике на главы „Онегина“ Пушкин говорил в одном месте, без

¹ Разбор 7-й главы „Евгения Онегина“ в „Северной Пчеле“, №№ 35 и 39 от 22 III и 1 IV 1830 г., представляя собою почти не замаскированный политический донос на Пушкина и, конечно, был памятен Пушкину не только только шуткой „об жуке“.

перерыва, хотя главы появлялись в печати в разное время, то понятно, что возвращаясь к критике на отдельные свои произведения, он начал с „Цыган“ — следующей после первых двух глав „Онегина“ крупной публикации (1827 г.). К тому же 1827 г. относятся первые печатные отклики на первую напечатанную сцену „Бориса Годунова“. В болдинскую осень 1830 г., когда трагедия печаталась, понятно упоминание о ней в этой именно связи. К концу 1827 г. относится и первая публикация „Графа Нулина“. Несколько неожиданно в общей последовательности замечаний — „опровержение“ заметки „Северной Пчелы“ 1830 г. о слишком дорогой цене „Евгения Онегина“. Но последовательность в рукописи именно такова: за заметкой о „Борисе Годунове“ следует: „Между прочими литературными обвинениями укоряли меня слишком дорогою ценою *Евгения Онегина*“. Самое начало это, при всем его ироническом характере, ясно указывает на связь с первоначальным замыслом — замыслом опровержения литературных обвинений.

Впоследствии, когда замысел „опровержения на критики“ сменился замыслом „отражения, нелитературных обвинений“, Пушкин предполагал включить в „Опыт отражения“ как заметку о цене „Евгения Онегина“, так и две упоминавшиеся выше заметки о шутках. Но соответственные им пункты плана „Опыта“ были впоследствии зачеркнуты, и на этом основании в новейших изданиях они были выделены в цикл: „Заметки, исключенные из Опыта отражения некоторых нелитературных обвинений“. Для выделения их в особый цикл нет, однако, оснований, так как все три заметки являются составными частями „Опровержения на критики“.

На последних исписанных листах сшитой тетрадки (л. 15 об. — 17 об.) набросаны уже планы „Опыта отражения некоторых нелитературных обвинений“ и наброски, относящиеся к этому именно замыслу. Очевидно в этот момент работы замысел Пушкина изменился: он увидел, что опровержения литературных обвинений то и дело переходят в опровержение обвинений нелитературных и что эта последняя задача — важнее и неотложнее. И он перерабатывает уже написанную статью с тем, чтобы подчинить ее новому, тут же написанному плану (вторая редакция его на л. 16 об.).

В процессе этой переработки существенно видоизменяется введение: все начало его перечеркивается, а основное задание в конце введения формулируется в прямо противоположном смысле.

Первоначально было: „Нынче. . . . вздумал я. . . . писать. . . . опровержение на все критики, которые мог только припомнить и собственные замечания на собственные же сочинения“.

Это переделывается так: „Нынче. . . . вздумал. . . . я писать опровержение не на критики (на это никак не могу решиться), но на обвинения не литературные, которые нынче в большой моде“.¹

„Опровержение на критики“ осталось, таким образом, недописанным и отмененным. Однако состав его не ограничивается теми частями, которые были перечислены выше, несомненно связана с ними и другая цепь полемических замечаний, которую необходимо отделить от первого цикла, рассмотренного выше, хотя листы обоих циклов были спутаны в составе все тех же двух „тетрадей“. Имею в виду следующие критические замечания, написанные, как и в первом случае, одно за другим сплошь, отделенные друг от друга только знаком черты:

Граф Нулин наделал мне больших хлопот. . . (2387 А, лл. 20—20 об. и 65—65 об.).

Кстати: начал я писать с 13-летнего возраста. . . (2387 А, л. 65 об. — л. 19).

Перечитывая самые бранчивые критики. . . (2387 А, л. 19)

Habent sua fata libelli. . . (о Полтаве — 2387 А, лл. 19 об. — 66 и 2387 Б, лл. 37—61)

[В одной газете официально сказано было что я мешанин во дворянстве. Справедливее было бы сказать дворянин во мешанстве]. Род мой один из самых старинных дворянских и т. д. (2387 Б, лл. 61—61 об. и 38—38 об.)

На развороте этого листа (лл. 60—60 об.) находятся заметки: „В другой газете объявил, что я собою весьма неблагообразен. . .“ и „Иной говорит: какое дело критику. . .“ В новейших изданиях заметки эти вмонтированы в „Опыт отражения“ таким образом, что смысловая связь с предыдущим разрывается и искусственно устанавливается новая связь. На самом деле только что при-

¹ Курсив в цитатах здесь и ниже — мой. В. Г.

веденные слова: „В другой газете“ и т. д. соответствуют словам „В одной газете официально сказано было“ и т. д. Фраза „Иной говорит: какое дело критику или читателю, хорош я собой или дурен, старинный ли дворянин или из равночинцев“ и т. д. также никак не может быть оторвана от предыдущей заметки о „роде“ Пушкиных.

Затем на листе 39 написана вставка („Образованный француз“ и т. д.) к абзацу, начинающемуся „Каков бы ни был образ моих мыслей...“ Оборот листа 39 и разворот его — л. 59 — заняты заметкой о личной сатире („Один из великих наших сограждан...“ кончая словами „On en rit, j'en ris encore moi-même“). Время написания этой вставки неясно, а по теме она включается в „Опыт отражения“ как предусмотренная его планом (§ 1. О личной сатире и т. д.).

Итак, обе „цепи“ кончатся элементами „Опыта отражения“, которым первоначальный замысел и был отменен. Что и во втором случае мы имеем цикл или цепь заметок — видно уже по имеющимся здесь переходам и „связкам“: 1) „Кстати... многое желал бы я уничтожить“ (вслед за размышлениями о нравственности в литературе), 2) „В одной газете...“ — „В другой газете...“ Но и помимо этого объединение в одном цикле откликов на критику о „Графе Нулине“, на критику ● „Полтаве“ и на пасквиль Булгарина — не должно казаться случайным. Все это были впечатления от критики 1829—1830 гг., т. е. наиболее близкие по времени, и в этой недавней критике — наиболее примечательные. При этом для осени 1830 г. и полемика о „Графе Нулине“ далеко еще не была устаревшей: основные удары Пушкина были направлены на статью Надеждина о „Графе Нулине“ в „Вестнике Европы“, 1829, № 3, но он мог иметь в виду и его же позднейшую статью о „Полтаве“ („Вестник Европы“, 1829, №№ 8—9), в которой Надеждин попутно возвращался к „Нулину“, иронически называя его лучшим произведением Пушкина.

Если не предполагать утраты неизвестных нам полемических статей и заметок из той „пропасти заметок“, о которой 4 ноября 1830 г. Пушкин сообщал Дельвигу, если исходить только из двух имеющихся в наличии циклов, то ход работы Пушкина представится в следующем виде:

Раньше других пишется заметка „Граф Нулин наделал мне больших хлопот“. Объяснившись с читателями по вопросу, представлявшемуся ему одним из наиболее нелепых недоразумений своей литературной судьбы, Пушкин „кстати“ объяснился по другому вопросу — о праве писателя самому распоряжаться написанным. Самоуправство Б. Федорова и М. Бестужева-Рюмина, печатавших то, что Пушкин не предвзначал к печати, и моралистические нотации педанта Надеждина — в равной мере воспринимались Пушкиным как посягательство на его писательские права. В этих целях использован отвергнутый в свое время замысел письма в редакцию с протестом против публикаций г-на Ал.¹

Затем Пушкин переходит к обобщению враждебной критики: „Перечитывая самые бранчивые критики, я нахожу их столь забавными, что не понимаю, как я мог на них досадовать“. Здесь, очевидно, и зарождается замысел „Опровержения на критику“ (пока еще в отрицательной форме). В предполагаемой хронологической последовательности заметка эта вполне осмысливается: по с л е всего написанного в опровержение критик она звучала бы непонятно. Наиболее показательным примером тупости современной критики была для Пушкина недооценка „Полтавы“: к этой теме он и переходит, чтобы заключить цикл заметок достойным ответом пасквильниту Булгарину на последний по времени печатный выпад против себя, хотя — пока еще — не касаясь самого существа его пасквиля.

Далее — предполагаем второй этап работы: последовательный ответ „на все критики... и собственные замечания на собственные же сочинения“. Второй цикл начинается с введения („Будучи русским писателем“) и продолжается в порядке, отмеченном выше, кончаясь — с небольшими отступлениями — откликом на „Графа Нулина“, но уже в новой форме, а затем уступая место т р е т ь е м у замыслу — „Опыту отражения некоторых н е л и т е р а т у р н ы х обвинений“. Таким образом, второй цикл смыкается с первым, кончаясь тем же, чем первый начинается: возражениями критикам „Графа Нулина“. Оба

¹ Ал (т. е. Анопуге), а не АП, как печатается в последних изданиях: начертание Ал в „Северной Звезде“ не вызывает сомнений. Конечно, элементы мистификации были и в этой подписи.

эти замысла друг с другом согласованы не были (хотя второй и мог быть продолжением первого), так как оба они уступили место третьему, и мы не знаем, предполагал ли Пушкин на последнем этапе своей работы остановиться только на второй заметке о „Графе Нулине“ (с пародией на критику „Федры“) или как-то использовать и первую. Печатать оба цикла нужно, разумеется, не в хронологической, а в логической последовательности, т. е. сначала второй по времени написания цикл (с предисловием), затем первый цикл. Приведем окончательный состав „Опровержения на критику“, как мы его представляем себе, с отсылкой к страницам пушкинского шеститомника (изд. 4-е, 1936, т. VI).

I. (Второй по времени цикла)

1. Будучи русским писателем... (105—106, подстрочное примечание; затем 105—107¹).
2. Руслана и Людмилу вообще приняли благосклонно... (141).
3. Кавказский пленник... (141—142).
4. Бахчисарайский фонтан слабее Пленника... (142).
5. Не помню кто заметил мне... (142).
6. Наши критики долго оставляли меня в покое... (134—136).
7. Кстати о грамматике... (кончая заметкой о шпионах: 137—139).
8. Пропущенные строфы... (139—140).
9. Г. Федоров в журнале... (139).
10. Шестой песни не разбирали... (139).
11. Критику 7-й песни... (140).
12. Шутки наших критиков... (130—131).
13. Молодой Киреевской... (131—132).
14. Сам съешь... (111—112).
15. Отчего издателя Литературной Газеты... (117—118).
16. В одной газете (почти официальной)... (118—119).
17. Возвратясь из под Арзума... (119).
18. О Цыганах одна дама заметила... (142—143).
19. Вероятно трагедия моя... (78).

¹ От слов „Если в течение 16-летней авторской жизни“. В шеститомнике напечатано в редакции, уже переработанной для „Опыта отражения“, но следы первой редакции сохранились в квадратных скобках.

20. Между прочими литературными обвинениями... (129—130).

21. Мы так привыкли читать ребяческие критики... (112—114).

II. (Первый по времени цикла)

1. Граф Нулин наделал мне больших хлопот... (114—116).¹
2. Кстати: начал я писать... (116—117).
3. Перечитывая самые бранчивые критики... (106 — подстрочное примечание и последний абзац).
4. Habent sua fata libelli (т. V, стр. 93—96).²
5. [(В одной газете... дворянин во мещанстве)]. Род мой (т. VI, стр. 120—123).
6. В другой газете объявили... (109).
7. Иной говорит: какое дело... (109—110).

*

Реконструкция статьи „Опровержение на критику“ представляет собою известную трудность, так как следы разрозненного целого приходится искать среди перепутанных листов. Но все же это реконструкция фактически написанной Пушкиным и только случайно запутанной впоследствии статьи.³

¹ Замечание о сравнении (в „Вестнике Европы“) Графа Нулина „скотом, цапцарапствующим кошку“, напечатанное в новейших изданиях в подстрочном примечании к ответу на критику „Графа Нулина“ (115), вводится нами в основной текст „Опровержения на критику“. Место этого замечания указано ошибочно: оно должно следовать за абзацем „Эти гг. критики нашли странный способ...“

² Включая в „Опровержение на критику“ заметку о „Полтаве“ в ее первоначальной редакции, мы печатаем отдельно и текст „Денницы“, имеющий отличие как цензурного, так и независимого от цензуры происхождения.

³ О существовании этой статьи было упоминание в печати еще при жизни Пушкина. Заметка о „Полтаве“, напечатанная в Девнице на 1830 г., была озаглавлена „Отрывок из рукописи Пушкина“ (Полтава) и сопровождается таким примечанием издателя (М. А. Максимовича): „Рукопись, из которой взят сей отрывок, содержит весьма любопытные замечания и объяснения Пушкина о поэмах его и некоторых критиках. Из оной видно, что поэт не опровергал критик потому только, что не хотел“. Из примечания видно, что Максимовичу была известна вся рукопись, содержащая „Опровержение на критику“; возможно, что и выбор материала для публикации обсуждался совместно с ним в декабре 1830 или январе 1831 г. в Москве.

Трудности иного рода связаны с реконструкцией „Опыта отражения некоторых не-литературных обвинений“, так как, если исходить из плана этой статьи, то окажется, что написано из нее было только начало (§ 1) и конец (§ 4; „Разговор“) — кроме намеченного в плане, но неосуществленного „заключения“; остальные части (§ 2—3) „Опыта“ должны были быть взяты из написанного.

Имея в виду, что пушкинским планом новой композиции еще не предрешался вопрос о тексте ее составных частей, мы сочли возможным включить в состав „Опыта“ только те параграфы — § 1 и § 4, — которые и были собственно для него написаны. Дублируется (из напечатанного раньше в „Опровержении на критики“) — только предисловие (переработанное) и заметка „Сам съешь“, без которой данный параграф не соответствовал бы пушкинскому плану. Предисловие включается в состав „Опыта“ с учетом всех сделанных в процессе этой переработки изменений. Изменения эти могут быть установлены более или менее точно, так как позднейшие поправки, по большей части, отличаются более темным цветом чернил.

1) В то же время из текста предисловия исключаются отпавшие части первоначальной статьи, введенные в последние издания частью в самый текст в прямых скобках (о „Полтаве“), частью — в подстрочные примечания (105—107).

2) Не вводится в „Опыт“ абзац: „В другой газете объявили, что я собою весьма неблагообразен“, относящийся — как показано выше — не сюда.

Заметки о публикациях „Северной Звезды“ (116—117) и о „К Вельможе“ также не вводятся в „Опыт“, как непредусмотренные его планом.

Содержание § 2 (О нравственности. — О графе Нулине. — Что есть безнравственное сочинение. — О Видоке) и § 3 (О литературной аристократии. — О дворянстве) — не дублируется (всё, здесь перечисленное, вошло в „Опровержение на критики“, кроме заметки „О Видоке“, замысел которой в этом контексте неясен). Подстрочное примечание отсылает читателя к плану „Опыта“, печатающемуся в отделе других редакций и вариантов.

•

Необходимо особо остановиться на внутренней композиции текста одной из заметок, входящих в „Опровержение на критики“, а именно — заметки об аристократии („Отчего издателя Литературной Газеты...“), ни разу не пересмотренной со времени первой публикации В. Е. Якушкина (1834 г.): в издание Морозова и последующие было внесено только несколько непрочитанных Якушкиным слов. Между тем Якушкин, вводя в текст приписки, сделанные на полях и в других местах рукописи, смонтировал эти приписки с основным текстом неправильно.

Заметка эта начата на л. 30 об. тетради 2387 Б и окончена на развороте этого листа — т. е. на листе 68. На левом поле листа 30 об. имеются три приписки:

- 1) „пропевадут сей тон ~ в пустыне“,
- 2) „Не они гнушаются просторечием и заменяют его простомыслием (p'aiserie)“.
- 3) „(NB. не одно просторечие)“.

Место этих приписок, не отмеченное самим Пушкиным знаками переноса, устанавливается внутренней логической связью частей заметки.

Место первой приписки не вызывает сомнений: это явное окончание той фразы, против которой она и написана („Нет, они стараются сохранить тон хорошего общества“).

Следующая приписка, написанная под предыдущей, очевидно, является и непосредственным ее продолжением. Тема *просторечия* взята здесь в общей форме; она уточняется в следующей фразе: „Не они поминутно находят одно выражение *бурлацким* и т. п.“, — причем естественна и оговорка, что „непривычным для дамских ушей“ оказывается для чопорных критиков не одно только просторечие (3-я приписка). Как пояснение слова *p'aiserie* эта приписка не имеет смысла; слишком сомнительны и вторичные скобки.

Справа от текста — т. е. уже на листе 68 — находится приписка: „Не они толкуют вечно о будуарных читальницах, о паркетных (?) дамах“. Пушкин писал на развернутом листе; при искусственной сшивке листов связь приписки с текстом была утрачена и она попала в конец всего текста, тогда как и по смыслу и по положению в рукописи должна следовать за фразой „Не они поминутно находят ~ непривычным для дамских ушей“.

Эти приписки размещаются таким образом без особых затруднений, а композиция Якушкина, ничем не подтверждаемая, отпадает. Сложнее следующий случай. Над фразой „Не они находят 600-летнее дворянство мещанством“ — сделана приписка черными чернилами (что характерно для того этапа работы, когда первоначальный материал переделывался для „Опыта“): „разбирают дворянские грамоты и провозглашают такого-то мещанином, такого-то аристократом“.

По смыслу — это замена предыдущей фразы, но предыдущая фраза осталась незачеркнутой (случай у Пушкина нередкий).

Таким образом текст записки — в окончательной редакции выясняется в следующем виде:

Начало — как у Якушкина и в последующих изданиях. После слов „проповедают в пустыне“:

„Не они гнушаются просторечием и заменяют его простомыслием (*niaiserie*). Не они поминутно находят одно выражение бурлацким, другое мужицким, третье неприличным для дамских ушей и т. п. (NB. не одно просторечие). Не они толкуют вечно о будуарных читальницах, о паркетных (?) дамах. Не они провозгласили себя опекунами высшего общества. Не они вечно пишут приторные статейки *<и т. д., кончая словами ne se battent pas>*. Не они разбирают дворянские грамоты и провозглашают такого-то мещанином, такого-то аристократом; не они печатают свои портреты с гербами весьма сомнительными. Отчего же они аристократы (разумеется в ироническом смысле)?“

•

С болдинскими полемическими статьями тесно связаны так называемые „Наброски письма в редакцию Литературной Газеты“ (наше редакторское заглавие — „Письмо к издателю Литературной Газеты“¹), написанные в тетради 2382, лл. 31—32. В последних изданиях, начиная с V издания ГИХЛ, в письмо это делается большая вставка из другого места той же тетради (лл. 71 об. —

70 об.). Комментарий к изданиям „Academia“ аргументирует эту вставку следующим образом: „Объединение обоих набросков произведено на основании их тесной тематической связи, а точное место включения второго фрагмента в первый определено на основании сделанной самим Пушкиным отметки в рукописи (после слов „беда была бы еще не большая“): (— —)“.

Эти соображения не могут быть признаны убедительными. Что касается знаков переноса и вставок — следует помнить, что знаки эти Пушкиным зачастую ставились условно, в расчете на то, что соответствующая вставка и будет дописана. Такие случаи имеем, например, в статье „О народности“, в „Заметке о Графе Нулине“. По одному этому признаку объединять два фрагмента, находящиеся в разных местах тетради, было бы неосторожно.

Сомнительной представляется и тесная тематическая связь между двумя фрагментами. Хронологически более ранний из них — „Но не смешно ли им судить“ — написан непосредственно вслед за заметкой „О статьях кн. Вяземского“ — повидимому, в феврале 1830 г. Он направлен против Надеждина (лишь отчасти — против Булгарина с его критикой „Юрия Милославского“) и в основном представляет собою защиту „Графа Нулина“: это первый вариант защиты из трех нам известных. Письмо в „Литературную Газету“, написанное, вероятно, в апреле 1830 г., вслед за статьей о Видоке (о ней упоминается в тексте), задумано в совершенно иной связи. Это возражение Вяземскому на статью „Несколько слов о полемике“ („Литературная Газета“ № 18 от 27 марта 1830 г.), отмежевание от его аристократической позиции „вежливости“, и „невмешательства“ в журнальную жизнь, аристократического равнодушия к критикам. По существу статья Вяземского направлена против блока Полевого с Булгариным; вопрос о борьбе с этим блоком стоял и перед Пушкиным как автором полемического письма. Тема о „чопорности и жеманстве“, борьба с Надеждиным — была темой совершенно другого рода, и при соединении набросков, если иметь в виду вызвавшие тот и другой поводы, получается не „тесная тематическая связь“, а решительная неувязка. Самое большее, что можно допустить — это что фразу

¹ П. О. Морозов первый указал, что мысли в этом наброске изложены „в форме письма, которое Пушкин, может быть, предполагал печатать в Литературной Газете“ (Сочинения Пушкина, изд. „Просвещение“, т. VI, стр. 629).

„то беда была бы еще не большая“ предполагалось закончить чем-нибудь вроде: „гораздо хуже их чопорность и жеманство“, что и объясняло бы отсылку к раннему фрагменту — для заимствования оттуда основной мысли, но никак не для переноса всего фрагмента в статью другого происхождения и другого назначения.

Мы отказались и от произвольного цикла „Заметки о критике и полемике“, объединяющего в новейших изданиях следующие заметки: 1) „Литература у нас существует“; 2) „Критика вообще. Критика наука“; 8) „Читали вы в последнем № Г. критику NN“; 4) Критикою у нас большею частью занимаются...“ и 5) „Писатели, известные у нас...“ Надобности в таком объединении не было, тем более, что пришлось в конце основного раздела тома сгруппировать все вообще заметки и афоризмы разных годов, не вошедшие в цикл „Отрывки из писем, мысли и замечания“, а написанные позже 1827 г. Туда мы относим и заметку „Литература у нас существует“, написанную, вероятно, в Болдине, в сентябре 1830 г. в развитие статьи „О журнальной критике“, — и заметку „Критикою у нас большею частью занимаются“, написанную, судя по характеру бумаги, позже (в 1833 г.?)¹ и связанную, может быть, со статьей о Катенине, в которой частично развиваются мысли, высказанные раньше в статье „О журнальной критике“. Три остальные статьи мы печатаем как самостоятельные, причем отрывок „Писатели известные у нас под именем аристократов“ — под 1831 г. (водяной знак 1831); очевидно, это была новая и последняя попытка вернуться к теме, поставленной на очередь статьей Вяземского о журнальной полемике.

*

В процессе работы над томом как редакторам тома, так и редакторам отдельных текстов пришлось внести большое количество поправок в тексты отдельных произведений, печатающихся по рукописям. Остановлюсь здесь только на тех поправках к тексту, которые являются результатом моих личных наблюдений.

¹ См. „Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском Доме. Научное описание“, 1937, стр. 121 и 302.

Большие трудности представлял всегда текст статьи Пушкина „О народности“. Кое-что остается в нем и до сих пор неясным (знаки вставок или переноса во втором абзаце, воспроизведенные в 4-м издании шеститомника: повидимому, они были Пушкиным отмечены, хотя и не зачеркнуты), но некоторые моменты удалось уточнить:

1) В третьем абзаце о Лопе де Вега и Кальдероне говорится, что они (так печаталось) „заемлют свои предметы из итальянских повестей, из французских etc“. Следует читать: „из итальянских повестей, из французских ле“. Слово „ле“ написано совершенно ясно; упоминание о французских ле находим и в одноименной статье Пушкина „О поэзии классической и романтической“: „трубадуры обратились к новым источникам вдохновения, воспели любовь и войну, оживили народные предания, — родился ле, роман и фэблио“.

Много разногласий вызывало до сих пор окончание этого абзаца (в издании ГИХЛ — 4-й абзац), в котором слова, не вписанные Пушкиным, приходилось добавлять по догадке. Привожу его по одному тому под ред. Б. В. Томашевского, где текст наиболее близок к рукописи:

„Мудрено однако ж у всех сих писателей оспаривать достоинства великой народности. — Напротив того, что есть народного в Россиаде и Владимире и, как справедливо заметил <Державин>,¹ что есть народного в Ксении Озерова, рассуждающей шестистопными ямбами о власти родительской с наперсницей посреди стана Димитрия“.

Но союза „и“, соединяющего два вопроса-предложения („что есть народного“) в рукописи нет. В рукописи — наверху второй страницы написано и подчеркнуто:

Что есть народного в Росс. и в ² etc. как справедливо заметил.

Фраза же „что есть народного в Ксении и т. д.“ приписана как вставка внизу страницы. Подчеркнутая фраза означает цитату. Цитата эта, как часто у Пушкина, не окончена, а вместо

¹ Имя Державина вводилось на основании дневника С. П. Жихарева, записавшего 18 января 1807 г. иронический отзыв Державина о „Дмитрии Донском“. Знакомство Пушкина с этим отзывом, кстати сказать, ничем не подтверждается.

² В рукописи: съ, написанное так, что может быть принято и за большое В. Отсюда чтение „Владимир“.

окончания поставлено „есть“. Слова „как справедливо заметил“, очевидно, относятся не к позднейшей вставке об Озере, а к автору цитируемой фразы о Россиаде.

Автор этот — Вяземский. Пушкин приводит цитату из его предисловия к „Бахчисарайскому Фонтану“: „Что есть народного в Петриаде и Россиаде, кроме имен?“ — но, цитируя повидимому на память, „Россиаду“ поставил раньше. С Вяземским же связано и упоминание о Ксении Озерова: после согласия с основной мыслью Вяземского, Пушкин скрыто полемизирует с его характеристикой „Дмитрия Донского“ как народной трагедии.

Существенные уточнения можно в настоящее время внести в текст „Разговора о критике“ и в комментарий к нему. Комментарий этот был поневоле приблизительным, так как „Разговор“ точно не датировался. Между тем он датируется — частью по внутренним данным, частью по положению в рукописи. Он написан не раньше 9 января 1830 г., так как текст его содержит упоминания о Вяземском, „пускающемся в ползмику“. Такое упоминание естественнее всего было после появления известной, вскоре на шумевшей статьи Вяземского в „Деннице“: „Письмо к А. П. Г.“ (т. е. к Готовцевой). „Денница“ вышла 9 января. Вместе с тем, судя по положению в тетради 2382, „Разговор“ написан вероятно до 21 января, т. е. до появления статьи об „Юрии Милославском“, написанной на лл. 80—79 той же тетради. Впрочем положение „Разговора“ в тетрадях (2382 и 2373) среди работ конца 1829—начала 1830 г. точных указаний на дату не дает. Более существенным указанием является начальная фраза „Разговора“: „Читали вы в последнем № Г. критику NN?“

Это Г. было раскрыто еще Якушкиным как „Газета“ (т. е. „Литературная Газета“). Но в январе 1830 г. отсыла к критике „Газеты“ не понятна. На это обратила наше внимание И. Н. Медведева, предложив читать вместо „Газеты“ — „Галатея“, поскольку и дальше речь идет о Раиче и его отношениях с Полевым (отношения эти сильно обострились в 1829 г.). Это предположение представляется совершенно убедительным. Ближайший повод к пушкинской статье я вижу в рецензии — написанной, очевидно, Раичем, — на „Крымские сонеты“ Мицкевича (с предисловием Вяземского) в „Галатее“ 1830, № 2 (ценз. разре-

шение 9 января 1830). С этого именно номера в „Галатее“ открылся особый отдел „Критики и библиографии“. Рецензия на переводы Козлова должна была особенно заинтересовать Пушкина уже потому, что в ней затрагивалась очень близкая ему тема о происхождении классицизма и романтизма; больше того — в ней прямо цитировалась ненапечатанная статья Пушкина „О поэзии классической и романтической“ (в предисловии Вяземского приводилось — со ссылкой на Пушкина — его выражение „французский Коран“, известное Вяземскому либо из бесед с Пушкиным, либо из рукописи его статьи). В той же статье должна была затронуть Пушкина фраза о „венецианских аристократах“, якобы отстаивающих „своих“: косвенно он отвечает на нее, приветствуя „близкие сношения“ между писателями как полезные, а не вредные для литературы.

В заключение укажу на некоторые вводимые мною поправки к отдельным местам пушкинского текста:

В упоминавшемся отрывке „Но не смешно ли им судить“ Якушкин, публикуя его, оставил неразобранным одно слово: „и между тем как стыдливый рецензент разбирал ее, как самую вольную сказку Боккаччио или...“ Морозов прочел следующее слово: Лафонтена. Так же печаталось и позже. Но в рукописи написано довольно ясно: Касти (очевидно, было принято за неоконченное имя Лафонтена).

В цикле, названном нами „Опровержение на критику“, в заметке о слове „двенадцать“ во всех изданиях печаталось: „Две сокращено из двое, как три из трое“. Следует: „как *тре* из *трое*“ (Пушкин имеет в виду такие словообразования, как *трезубец*, *треножник* и т. п.).

В заметке о „Путешествии к св. местам“ А. Н. Муравьева после слов „Ему представилась возможность исполнить давнее желание...“ — оставалось одно неразобранное слово. Следует читать: давнее желание сердца.

В заметке о „Путешествии В. Л. П.“ печаталось: Для тех которые любят поэзию не только в ее лирических порывах или в дивном вдохновении элегии...“ Следует: „в унылом вдохновении элегии“.

Ряд поправок внесен также и в другие тексты.

Вас. Гиппиус



Вестибюль Всесоюзной Пушкинской выставки (1937 г.).

ИТОГИ РАБОТЫ ВСЕСОЮЗНОЙ ПУШКИНСКОЙ ВЫСТАВКИ¹

По решению Правительства, Всесоюзная Пушкинская выставка реорганизуется в постоянный Государственный Музей А. С. Пушкина.

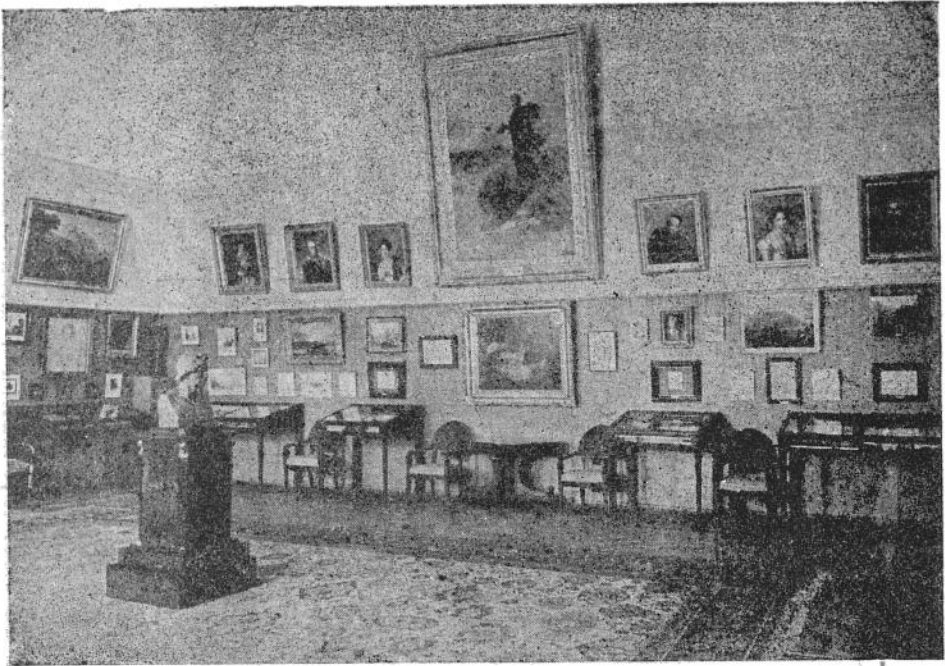
Это решение Правительства не только является одним из итогов пушкинского года, но также находится в связи с тем большим успехом, который заслуженно выпал на долю Московской Пушкинской выставки.

Несколько слов об истории создания выставки.

¹ В связи с реорганизацией Всесоюзной Пушкинской выставки в постоянный Пушкинский музей, редакция в дополнение к обзору, данному в т. 3 „Временника Пушкинской комиссии“, помещает этот обзор, в котором

Выставка была подготовлена Всесоюзным Пушкинским комитетом согласно постановлению Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 30 декабря 1936 г. „Об ознаменовании столетней годовщины со дня смерти А. С. Пушкина“. Это постановление придало широкий размах делу организации выставки. На ее устройство Правительством были ассигнованы значительные средства — 1200 тыс. рублей, что позволило широко развернуть работу по собиранию со всех концов Советского

на ряду с некоторыми итогами содержится и ряд критических замечаний. В дальнейшем редакция предполагает вернуться к обсуждению вопросов предпологает вернуться к обсуждению вопросов научной организации Всесоюзного Музея А. С. Пушкина.



2-й зал Всесоюзной Пушкинской выставки (1937 г.).

Союза материалов на выставку и затратить большие средства на ремонт и оборудование 17 зал Государственного Исторического музея, отведенных под выставку, и на их художественное оформление.

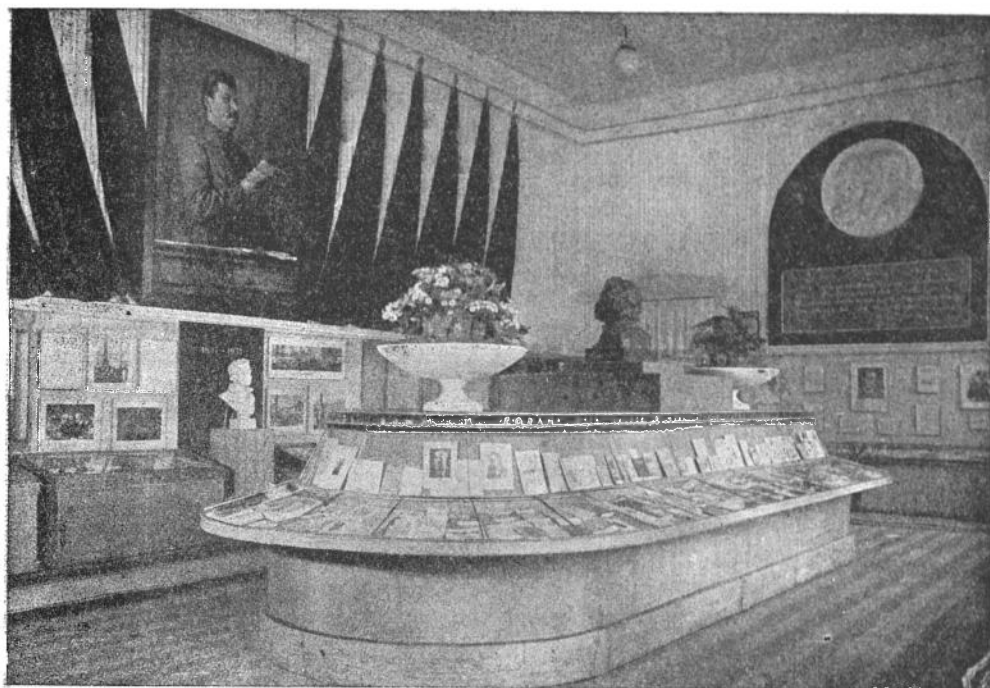
Это же постановление обязывало Академию Наук СССР, Комитет по делам искусств, Центральное архивное управление, Наркомпрос, ряд крупнейших библиотек и музеев Союза и другие учреждения представить на выставку имеющиеся у них пушкинские материалы. 102 различных государственных учреждений представили на выставку пушкинские материалы. Наибольшее количество материалов было представлено Институтом литературы (Пушкинским Домом) Академии Наук СССР, затем Всесоюзной Публичной библиотекой им. Ленина, Гос. Третьяковской галлерей, Публичной библиотекой им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, Гос. Русским музеем, государственными архивами — Архивом феодально-крепостнической эпохи, Московским областным архивом, Ленинградским отделением центрального исторического архива, Гос. Историческим музеем, Гос. Литературным музеем и другими учреждениями.

Незначительная часть экспонатов была приобретена выставкой за счет специальных ассигнований.

Всего на выставку поступило около пятнадцати с половиной тысяч экспонатов. Из них — изобразительных материалов около семи тысяч; книг, журналов и газет свыше семи с половиной тысяч и рукописей Пушкина и архивных материалов около тысячи.

Но 17 больших зал общей площадью около 2 тыс. кв. метров оказалось далеко недостаточно, чтобы разместить такое количество экспонатов. Поэтому после довольно строгого просмотра и отбора на выставке осталась лишь одна третья часть собранных материалов, всего 5600 экспонатов: 2565 предметов живописи, графики и скульптуры, 2525 книг, журналов и газет и 510 рукописей и архивных документов.

Выставку готовил большой коллектив, около 60 человек научных и музейных работников, при участии ряда видных пушкинистов. Всего же в организации выставки, считая всех работавших по ремонту и оборудованию выставочных зал: художников, архитекторов, маляров, штукатуров, обойщиков, столяров,



14-й зал Всесоюзной Пушкинской выставки (1937 г.).

окантовщиков, монтеров и других, работало 1600 человек.

Выставка была создана в чрезвычайно короткий срок — в течение полутора-двух месяцев.

Построена она по плану, разработанному Всесоюзным Пушкинским комитетом, утвержденному Правительством. „Основная задача и цель юбилейной Пушкинской выставки — гласна этот план — показать:

1) жизнь Пушкина, его борьбу с самодержавием и его гибель в этой борьбе;

2) Пушкина — создателя русского литературного языка и родоначальника новой русской литературы, обогатившего человечество бессмертными произведениями художественного слова;

3) посмертную судьбу художественного наследия Пушкина;

4) Пушкина — великого поэта народов советской страны“.

Соответственно этой задаче, выставка была разбита на три больших основных раздела: I. Жизнь и творчество Пушкина (1799—1837). Этот раздел занимает первые одиннадцать зал. II. Судьба литературного наследия

Пушкина в царской России (1837—1917). Этот раздел занимает один зал. III. Пушкин в эпоху Октябрьской Социалистической революции (1917—1937). Этот раздел занимает последние четыре зала.

Перечислим названия каждого зала.

Зал 1. Детство и юность Пушкина (1799—1820).

Зал 2. Южная ссылка Пушкина (1820—1824).

Зал 3 и 4. Ссылка Пушкина в с. Михайловское и 14 декабря 1825 г.

Залы 5 и 6. Пушкин под надзором (1826—1829).

Зал 7. Пушкин в Болдине в 1830 г. Творческая лаборатория Пушкина.

Зал 8. Пушкин и современная ему музыка.

Зал 9. Жизнь и творчество Пушкина в 1831—1834 гг.

Зал 10. Исторические темы в творчестве Пушкина.

Зал 11. Гибель Пушкина.

Зал 12. Пушкин и мировая литература.

Зал 13. Судьба литературного наследия Пушкина в царской России.

Зал 14. Пушкин в эпоху Октябрьской Социалистической революции.

Зал 15. Пушкин в творчестве советских детей.

Зал 16. Пушкин в музыке, театре и кино.

Зал 17. Пушкин в советском изобразительном искусстве.

По количеству собранных в этих залах материалов и, в особенности, по их художественной и музейной ценности выставка далеко превзошла пушкинские выставки 1880 и 1899 гг. и все литературные выставки и литературные музеи советского периода. По материалам выставка представляет собою замечательный музей. Но по разработке этих материалов и по их систематизации выставка страдает многими недостатками и требует дальнейшей обработки материалов, их новой систематизации и перегруппировки. Короткий срок, в который была подготовлена выставка, не мог не сказаться на качестве научной обработки собранных материалов.

Несмотря на отдельные недостатки, выставка несомненно была удачна и имела успех. Показательны шесть книг с записями впечатлений, заполненные тысячами восторженных отзывов.

Выставка поражает посетителей прежде всего своими размерами, огромным своим размахом, количеством первоклассных произведений искусства, подлинных рукописей поэта, архивных дел и документов, связанных с жизнью и творчеством великого поэта.

Впервые за сто лет, прошедших со дня смерти Пушкина, с такой полнотой и в таком количестве со всех концов страны собраны воедино и стали доступны для обозрения широких масс трудящихся редчайшие документы о великой жизни и великих делах национального гения. На выставке собрано такое количество подлинников, какого не знала ни одна выставка.

Массовый советский зритель оценил эти сокровища, представляющие собой мировую культурную ценность. Богатство подлинных предметов искусства и документов, представленных на выставке, заставляет забывать о некоторых недостатках в размещении, систематизации и обработке материалов. Подлинная музейная вещь говорит сама за себя. Например следственные дела декабристов, сами по себе, даже будучи не вполне разъ-

яснены, говорят зрителю гораздо больше, чем десятки копий и репродукций, размещенных по всем правилам музейной техники.

Из Ленинграда на Всесоюзную Пушкинскую выставку были отправлены важнейшие подлинные пушкинские материалы, и уже по одному этому богатая Ленинградская Пушкинская выставка оказалась менее значительна, чем Московская. На ней было сравнительно мало подлинных первоклассных произведений искусства, и поэтому она не имела и не могла иметь такого успеха, как Московская, хотя многие ее темы научно были гораздо лучше разработаны, чем на Московской выставке.

Вторая причина успеха Всесоюзной Пушкинской выставки заключается в ее прекрасном художественном оформлении. Можно спорить о деталях оформления, но в основном стремление художника отразить в оформлении эпоху — совершенно правильно.

Выставку оформлял молодой талантливый советский художник Я. Д. Ромас, оформлявший раньше Музей В. И. Ленина. Художник чрезвычайно простыми средствами превратил залы Исторического музея в красивые, светлые, уютные залы. Недаром многие посетители отмечают как достоинство выставки „праздничную красоту зал“. В качестве обстановки Ромас использовал великолепную старую музейную мебель, взятую из фондов Исторического музея и специально реставрированную для выставки. Эта мебель, и произведения искусства и документы на фоне прекрасной окраски зал, занавесей и портьер создали то живое ощущение эпохи Пушкина, которое отмечают очень многие зрители. Все экспонаты вставлены в рамы и застеклены. Тексты из произведений Пушкина напечатаны крупным шрифтом на хорошей бумаге и экспонируются также в застекленных рамах. Ведущие экспонаты в экспозиции выделены особыми, более тяжелыми конструкциями рам. Ведущие цитаты и тексты из произведений Пушкина написаны на мраморных досках. Сам материал выставки диктовал оформление. Здесь просто невозможно было давать, столь распространенные на выставках и загромождающие залы, фанерные конструкции.

В деле оформления Всесоюзная Пушкинская выставка во многих отношениях следовала за Музеем В. И. Ленина — подлинность

материалов и документов, свободное, спокойное размещение экспонатов, солидность, добротность оформительных материалов и т. д.

Таким образом Всесоюзная Пушкинская выставка явилась не только большим культурным событием, но и большим событием в музейной жизни нашей столицы.

Выставка с первых же дней превратилась в одно из крупнейших учреждений, популяризирующих жизнь и творчество Пушкина. Среди массовых политико-просветительных учреждений Москвы она заняла одно из видных мест.

За год работы, с 16 февраля 1937 г. по 16 февраля 1938 г., выставку посетило 647 000 человек: учащихся, служащих, колхозников, красноармейцев и других трудящихся не только Москвы, но и далеких республик, областей, краев и районов Советского Союза. По посещаемости (велся учет только организованных групп посетителей) на первом месте служащие, затем учащиеся высшей и средней школы, рабочие, красноармейцы и др. Экскурсанты, объединенные в группы, составляют лишь одну четвертую часть общего числа посетителей. За год обслужено экскурсоводами 7259 экскурсий с общим числом экскурсантов 145 000 человек.

Основная масса посетителей ($\frac{3}{4}$ общего числа посетивших выставку) — зрители-одиночки, пришедшие на выставку в индивидуальном порядке. Это — знаменательный факт, свидетельствующий об огромном интересе к Пушкину среди широкого круга трудящихся нашей страны.

Выставка обслуживала издательства, редакции, музеи, театры, школы, клубы, библиотеки различными материалами, связанными с Пушкиным.

Как и во всяком советском музее, на выставке в течение этого года работы производилась частичная реэкспозиция некоторых отделов и тем почти во всех 17 залах перемещение экспонатов, исправление этикетки, замена некоторых особенно ценных рукописей фотоснимками и т. д. Но в основном все силы небольшого коллектива научных сотрудников, работающих на выставке, были сосредоточены на обслуживании массы зрителей и на охране ценностей, собранных на выставку.

За год выставка пополнилась рядом новых экспонатов, портретов, некоторых рукописей

Пушкина, архивных дел и документов, но более всего вновь выходящими изданиями сочинений Пушкина и литературы о нем. Не ставя своей задачей собирание всех материалов по Пушкину, выставка приобретала только самое необходимое для пополнения экспозиции. Поэтому за год на выставку поступило сравнительно мало новых материалов, всего около 300 предметов.

Основной недостаток выставки заключается, по нашему мнению, в том, что в экспозиции не чувствуется методологического единства. Отдельные залы того или другого раздела не органично связаны между собою. В каждом зале или в группе зал был свой организатор, который при разработке экспозиции придерживался своего принципа в подаче материала. Общая же нить, единая линия, проведенная по всем залам и намеченная экспозиционным планом, — не отчетлива. Иногда не только между залами, но даже в пределах одного зала между разными темами, наблюдается разорванность экспозиции и несогласованность в подаче однородного материала.

Вот что, напр., отмечает группа научных сотрудников Гос. Литературного музея: „Большие трудности при ведении экскурсии представляет размещение экспонатов экспозиции, которые в ряде случаев расположены по принципу эстетического воздействия, а не в тематических комплексах“. Замечание справедливое.

Другой зритель также отмечает как недостаток, что „плохо организованы объяснения. Их надо было бы проводить не только с экскурсиями, но и с неорганизованными посетителями“ (запись 12 апреля 1937 г.).

В третьей записи говорится, что выставку „желательно оформить еще большим количеством экспонатов, относящихся к жизни Пушкина и характеризующих его общественно-творческую деятельность“ (23 апреля 1937 г.).

Нельзя не согласиться с этими замечаниями.

Недостатки экспозиции не спасает этикетаж, являющийся, пожалуй, самым уязвимым местом выставки. Тексты этикетаж в разных залах составлены по разному принципу. В первых залах в этикетаже дается ряд сведений, помогающих осмыслению экспоната: его название, автор, техника, год, сведения об отношении к жизни или творчеству Пуш-

кина. В последующих залах этикетаж не развернут, это номенклатурный этикетаж, в котором дается лишь название портрета или картины, и поэтому для неподготовленного зрителя неясно, почему именно в этом отделе находится тот или другой экспонат и какое отношение он имеет к Пушкину. Кроме того, этикетаж напечатан мелким шрифтом на бумаге, сливающейся по тону с рамой, что весьма затрудняет его чтение.

Но этим, конечно, не исчерпываются недостатки выставки, на которых, в связи с реорганизацией ее в музей, следует остановиться.

Вследствие отсутствия единого экспозиционного принципа для всей выставки в целом, оказался недостаточно представленным в экспозиции общественно-политический фон эпохи. Материалы, характеризующие крепостное право и Россию Александра I, а затем николаевскую Россию, в экспозиции выставки даются либо в виде отдельных тем, либо вместе с темой, посвященной биографии или творчеству Пушкина.

Материалов, характеризующих эпоху, мало, в значительной своей части они невысокого художественного достоинства и поэтому они очень бледно воспроизводят фон, на котором разворачивается жизнь и творчество Пушкина.

Следовало каждую тему основной экспозиции сопровождать материалами, характеризующими эпоху. Экспонатам по эпохе нужно дать больше, сопроводив их большим количеством объяснительных текстов из сочинений классиков марксизма и цитатами из произведений Пушкина и его современников. Чтобы более органично слить материалы эпохи с основной экспозицией, их нужно было помещать в экспозиции второго плана на вертушках и стендах, но непременно рядом с основной темой. Например при теме „Пушкин в Лицее“ необходимо было дать все материалы, относящиеся к 1812 г. В теперешней экспозиции материалы о наполеоновских войнах экспонированы в трех местах и во всех трех случаях самостоятельно, вне связи с той или другой темой.

Литературная эпоха показана в основной экспозиции. Она представлена преимущественно портретами писателей и поэтов — современников Пушкина, изданиями их сочинений, рукописями и текстами. Литературная эпоха, так же как и общественно-политиче-

ская эпоха, показана несколько внешне. Нет проработки материалов, ее характеризующих, нет обобщающих эти материалы текстов, и все материалы по литературной эпохе не в достаточной мере слиты с основной пушкинской темой.

Но помимо недостатков в показе материалов общественно-политической и литературной эпох, весьма спорен принцип построения экспозиции основной пушкинской темы.

В основу построения всей выставки положен тематический принцип. Темы жизни и творчества Пушкина расположены в хронологическом порядке. В центре каждого отдела или темы даются так называемые ведущие экспонаты. На протяжении всего прижизненного раздела такими экспонатами являются портреты Пушкина, первые издания его произведений и рукописи этих произведений. Не говоря уже о чисто внешнем интересе, который представляют прижизненные издания „Руслана и Людмилы“, „Кавказского Пленника“, „Бахчисарайского Фонтана“, „Бориса Годунова“ и других произведений, автографы этих произведений (часто экспонируемые в черновых вариантах), без соответствующих объяснительных текстов и транскрипций, не доходят до зрителя и не оставляют того впечатления, на которое они рассчитаны. Эти ведущие экспонаты сопровождаются иллюстрациями к соответствующим произведениям Пушкина работы художников — современников поэта, либо художников близкой к нему эпохи. В виде исключений даются иллюстрации позднейших художников. Кроме иллюстраций, здесь же — картины на темы из жизни Пушкина, портреты современников, друзей, знакомых, виды мест, связанных с жизнью и творчеством Пушкина, и другие материалы. В витринах представлены дополнительные материалы по теме: документы о жизни Пушкина, источники его произведений, автографы, первые публикации, критические отзывы, объяснительные тексты по теме и тому подобные материалы.

По нашему мнению, такой принцип показа литературных тем несколько академичен. Ведущие экспонаты отображают внешние факты личной и творческой биографии Пушкина, между тем как внутреннее содержание этих фактов, их смысл, значение, не выявлено, не показано.

На выставке представлено около 300 архивных дел и документов, относящихся к общественно-политической биографии Пушкина. Эти многочисленные дела и документы о политическом надзоре и сыске, сопровождавшем жизнь поэта и его творчество, даны в витринах, т. е. в экспозиции второго плана. При осмотре экспозиции их нужно искать, и зритель часто проходит мимо этих материалов. Между тем, документы эти имеют первостепенное значение. Их необходимо было сделать ведущими экспонатами, представить на стене, в экспозиции первого плана, а теперешние ведущие экспонаты, первые издания произведений Пушкина и рукописи, поместить рядом или частично в экспозиции второго плана, в витринах и даже в „вертушках“.

На ряду с этими документами, рисующими общественно-политический облик Пушкина как человека, необходимо было дать тексты, вскрывающие содержание каждой темы, краткую характеристику лицейского творчества Пушкина, характеристику „Руслана и Людмилы“, показать, почему появление ее, как писал Белинский, „сделало эпоху в истории русской литературы“, привести тексты, характеризующие южные повмы Пушкина, „Бориса Годунова“, „Евгения Онегина“, прозаические произведения, сказки и т. д. Такие объяснительные тексты и характеристики вместе с таблицами, анализирующими состав их языка, ярче характеризовали бы Пушкина как реформатора русской литературы и его работу над созданием русского литературного языка.

Конечно, построение экспозиции по такому плану потребовало бы большой научной разработки каждой из тем, так как кратко определить смысл и значение того или другого произведения Пушкина чрезвычайно трудно. Но зато экспозиция сразу приобрела бы ясность и целеустремленность.

В том же плане, в каком представлены темы в теперешней экспозиции, они сплошь и рядом не доступны одиночному посетителю и требуют от него основательного предварительного знакомства с жизнью и творчеством Пушкина.

Вот что пишет по этому поводу один из довольно квалифицированных зрителей:

„Выставка очень хороша, но она дает много тому, кто более или менее хорошо

знаком с биографией Пушкина. Следовало бы дать в руки посетителей брошюру, подробно освещающую периоды жизни и творчества Пушкина“ (2 мая 1937 г.).

Недостаточно разработана тема „Пушкин в Лицее“. В ней совсем не показано лицейское творчество Пушкина, рост его как поэта, литературные интересы лицейстов, литературные влияния, которые испытывал на себе в эту эпоху Пушкин. Ведущими экспонатами лицейской стены является картина Репина „Пушкин на лицейском экзамене“, портрет Державина, тетрадь Горчакова с записями лекций Куницына по „энциклопедии права“ и автограф стихотворения „К Наталье“. Лицейский экзамен в присутствии Державина являлся лишь эпизодом в лицейской жизни Пушкина. Державин поэтому никак не может быть центром экспозиции этой темы. Ведущими экспонатами должны были быть экспонаты, характеризующие условия, в которых формировались мировоззрение Пушкина и его взгляды на литературу и поэзию. Помимо лекций Куницына, здесь необходимо было дать портрет Чаадаева, экспонировать на стене материалы о „лицейском духе“, шире, глубже показать лицейское творчество Пушкина и вскрыть влияния на него русских и иностранных писателей.

Во втором зале оказались недостаточно проработанными южные поэмы Пушкина. Центром этого зала являются две наиболее крупные картины — „Пушкин на берегу Черного моря“ Репина и Айвазовского и „Бахчисарайский Фонтан“ Брюллова. На самом деле эпизод прощания Пушкина с морем не является главнейшим событием его жизни в южной ссылке, точно так же, как поэма „Бахчисарайский Фонтан“ не является центром его литературного творчества. Стержнем биографической линии этого зала, нам кажется, следовало сделать тему „Пушкин и южное общество декабристов“, размещенную на одном из стендов. Центром творческой линии надо было представить Байрона, под влиянием которого Пушкин писал свои южные поэмы и сами эти поэмы, их анализ, объяснительные тексты и цитаты из них, псказывающие глубоко русские корни байронизма Пушкина и реалистическое начало в этих романтических поэмах.

В этом зале, вследствие разнобоя в изобразительном материале, нарушена хроно-

логическая последовательность в показе биографии Пушкина и разорвана экспозиция одесского периода его жизни.

Материалы третьего зала, макет Михайловского и современные снимки Михайловского и его окрестностей, должны были быть показаны вместе с материалами четвертого зала.

В четвертом зале недостаточно ярко показаны жизнь Пушкина в михайловской ссылке и его литературное творчество михайловского периода.

Но особенно неудачной следует признать в этом зале экспозицию исторической темы восстания декабристов. Этой теме отведены две стены и большой стол в центре зала. По теме собран замечательный материал, редкие портреты участников 14 декабря, журналы следственной комиссии по делу декабристов, подлинные следственные дела декабристов и другие материалы. Но несмотря на это, тема, вследствие неправильного принципа экспонирования материалов, затемнена, она экспозиционно недостаточно связана с Пушкиным. Она разработана как историческая тема: „Декабристы и Пушкин“. Центр ее тяжести перенесен на декабристов. Экспозиция начинается с акварели, изображающей похороны Александра I, затем идут исторические материалы и документы, показывающие междоусобицу, затем восстание, портреты участников, суд над ними, приговор, казнь и декабристов в ссылке. На двух стенах из пушкинских материалов всего два фотоснимка с рукописей, где Пушкин нарисовал повешенных декабристов, и текст его послания декабристам „В Сибирь“. Исторический материал превалирует над пушкинским. Некоторые группы экскурсантов приходят на выставку специально для того, чтобы изучить по материалам этого зала восстание декабристов, говоря, что здесь значительно богаче материал, чем в музее революции. Это, разумеется, неплохо. Плохо лишь то, что весь этот богатый материал очень слабо связан с деятельностью Пушкина.

Не может быть двух мнений, что тему нужно было разработать как пушкинскую — „Пушкин и декабристы“ — и стержнем экспозиции сделать Пушкина, экспонировать два-три следственных дела декабристов с показаниями о влиянии на их образ мыслей революционных стихотворений Пушкина, текст

из письма Жуковского к Пушкину, в котором он сообщает ему, что в деле каждого из заговорщиков находят его стихи и тексты этих „вольнодумческих сочинений“ Пушкина, о которых пишут декабристы. Не беда, если эти тексты здесь повторились бы. Затем надо было показать попытку Пушкина накануне декабрьского восстания бежать из Михайловского в Петербург и дать пушкинские рисунки повешенных декабристов, запись Пушкина о встрече с арестованным Кюхельбекером. Затем уже оказались бы на своем месте портреты декабристов, тексты из писем Пушкина о его связях с декабристами, его стихотворения, посвященные декабристам, и другие материалы. При таком расположении материала Пушкин был бы в центре темы.

Седьмой, болдинский, зал является самым замечательным по содержанию охватываемого им раздела творчества Пушкина и самым бедным по изобразительному материалу. Устроители этого зала сделали всё возможное, чтобы подать этот зал интересно. Не их вина, что в их распоряжении оказался чрезвычайно трудный, разнородный по своим художественным достоинствам, количественно небогатый и весьма различный по эпохам и художникам материал. Вследствие этого и вследствие недостаточной научной разработки тематики („Евгений Онегин“, проза Пушкина, маленькие трагедии; темы „Пушкин журналист, критик и читатель“, „Творческая лаборатория Пушкина“ и др.) этот зал оказался слабее других. В его экспозиции нет того богатства, которым отмечено творчество Пушкина болдинской осени 1830 г.

Не спасает огромное количество подлинных рукописей Пушкина, фотоснимков с них, подлинный болдинский стол Пушкина с пером и печаткой, его кресло из Михайловского, книги из библиотеки Пушкина с его собственноручными пометками, рисунки, прижизненные издания его произведений и другие материалы, экспонируемые в этом зале. Этот огромный зал кажется пустым и недоработанным. Это прекрасно чувствуют некоторые из посетителей. Один из них, студент МГУ, записал в книге впечатлений: „Особенно интересна для изучения творчества Пушкина его работа над сочинениями — так называемая «творческая лаборатория». Но как раз эта часть выставки наименее доступна, так как трудно, иногда даже

невозможно, разобрать почерк поэта. Поэтому, мне кажется, следовало бы привести рядом с рукописями их дубликаты, написанные разборчиво, включая перечеркнутые и заново написанные слова“.

Действительно, работа Пушкина над текстом своих произведений показана на выставке внешне, различными видами рукописей поэта, а не анализом того, как создавалась рукопись, над чем работал Пушкин, что он вымарывал и зачеркивал, что вводил вместо зачеркнутого, к чему стремился. Не показано как раз то, что достигнуто в этой области советской текстологией и советским пушкиноведением.

Некоторые зрители, видевшие Ленинградскую Пушкинскую выставку, считают, что тема „Как работал Пушкин“ на ней была разработана лучше, нежели на Московской выставке. Вот что, напр., записывает один из зрителей: „...сравнивая... выставку с аналогичной выставкой в Ленинграде, можно прийти к заключению, что рукописный материал, преобладающий в Москве, мог бы быть несколько уменьшен за счет наглядного...“ (12 V 1937 г.).

Правы те зрители, которые считают, что тема „Пушкин-читатель“ лучше была представлена на Ленинградской выставке. Там эта тема была показана на большем количестве подлинных книг из библиотеки Пушкина, здесь она показана на небольшом количестве оригиналов и на далеко неполно подобранных и недостаточно обработанных дублетах.

Недостаток трех последних прижизненных зал заключается в том, что они больше чем какие бы то ни было другие залы построены по принципу эстетического воздействия на зрителя. Эти залы представляют собой скорее художественную галерею, нежели экспозицию литературного музея. В них собраны первоклассные художественные материалы, но размещены с излишней спокойной академичностью.

В девятом зале необходимо было вернуться к теме взаимоотношений Пушкина с Николаем I. Следовало усилить показ общественно-политической биографии Пушкина, шире дать литературную эпоху и литературную борьбу Пушкина, его творчество, его обращение к истокам народного творчества. В существующей экспозиции всё это дано несколько поверхностно. Экспонируемый в этом зале

домик Нащокина как-то мало связан со всем другим материалом зала.

Зрители, не зная, что до нас дошло чрезвычайно мало материалов, относящихся к быту Пушкина, настойчиво требуют расширения как раз этого материала, считая, что такие зрительные экспонаты, как домик Нащокина, „запоминаются на всю жизнь“.

„Всякое мероприятие имеет и свои недостатки. К числу их нужно отнести отсутствие материалов, рисующих быт Пушкина“, пишет один из зрителей (запись 12 IV 1937 г.).

„Хотелось, чтобы выставка пополнилась предметами личного обихода А. С. Пушкина, примерно, так, как это сделано в Музее Ленина“, говорит другой из посетителей (12 IV 1937 г.).

Нужно было подумать о том, чтобы разбросанные по нескольким залам предметы личного обихода Пушкина объединить в одном месте и по возможности дополнить их новыми бытовыми предметами. Во Всесоюзн. библиотеке [им. В. И. Ленина хранятся некоторые предметы, принадлежащие Пушкину и поступившие туда из Остафьевского собрания Вяземского. Они почему-то остались неиспользованными.

В одиннадцатом зале те же недостатки, что и в предыдущих. Не чувствуется нарастания трагедии Пушкина. Необходимо было доработать тему этого зала и в экспозиции первого плана характеризовать материальное положение Пушкина, показать цензуру его сочинений и литературную травлю Пушкина в 30-е годы XIX в. рядом с травлей его светской чернью, показать подлинно народное возбуждение, вызванное смертью Пушкина, отклики на смерть, мероприятия николаевских жандармов в связи с его смертью. Здесь же было бы уместно показать макет квартиры Пушкина по рисунку Жуковского.

Главное же — необходимо было шире развернуть оценку причин гибели Пушкина, показав, что „поединок Пушкина, затравленного придворной челядью, был завершением длительной борьбы, которую гениальный поэт вел с реакционным дворянством за судьбу русской литературы“ („Правда“, 17 XII 1935).

Недостатки этого зала отмечаются в ряде записей. Так, напр., студент Кравченко пишет: „Недостатки: 1) Слабо представлен зал последних дней Пушкина (сама смерть, отклики, Бенкендорф и т. д.). 2) Нужен хотя бы малень-

кий отдел «Пушкин и Лермонтов». 3) В некоторых местах материал слишком разбросан по всему залу (бегаешь из угла в угол)... 5) Хорошо бы было сделать отдел «Поэты и писатели Пушкину за 100 лет», куда обязательно включить и Маяковского» (24 V 1937 г.).

Зал тринадцатый, отображающий «Судьбу литературного наследия Пушкина в царской России», страдает многими погрешностями. Они заключаются прежде всего в разбросанности экспозиции.

Но главный недостаток экспозиции этого зала заключается в том, что по недостатку времени не была произведена более глубокая разработка темы о значении Пушкина для всей литературы XIX столетия. В этом зале представлена так называемая «столбовая дорожка» русской литературы. На стенах висят великолепные большие портреты русских писателей-классиков и критиков. Под каждым из портретов — высказывания этих писателей о Пушкине. Высказывания замечательные, но одними ими не исчерпывается значение творчества Пушкина для всей последующей русской литературы. Хотелось бы в творчестве каждого из этих классиков показать пушкинское начало. Именно в этом зале следовало разрешить задачу, стоящую перед выставкой в экспозиционном плане. Здесь нужно было дать не только ряд прекрасных цитат, но разработать ряд тематических комплексов, характеризующих связи Пушкина с отдельными писателями.

Кончая обзор зал, мы должны сказать несколько слов о советском разделе, размещенном в четырех последних залах.

Только Великая Октябрьская Социалистическая революция создала Пушкину подлинную народную славу национального поэта и славу великого поэта народов Советской страны.

Гигантское разнообразие и массовость пушкинских мероприятий должна была отразить экспозицию советского раздела выставки. Здесь нужно было перенести центр тяжести не на отдельные художественные произведения, связанные с Пушкиным, а на то, что в условиях социалистической культуры — Пушкин достоин миллионов, которые любят, ценят и изучают творчество великого поэта.

К сожалению, эта тема на выставке разработана также недостаточно. Документов —

картин, фотоснимков, плакатов, программы вечеров, театральных постановок, самодеятельных театров, статистики о читаемости Пушкина и других видов работы, проводимой как в больших культурных центрах страны, так и в более отдаленных краях, областях и национальных республиках, представлено явно недостаточно. Возьмем, напр., пушкинские выставки. Они были устроены в Ленинграде, Тбилиси, Минске, Киеве, Баку, Симферополе и многих других городах. На Всесоюзной Пушкинской выставке работа этих выставок совсем не отражена. Пушкинский юбилей всколыхнул огромную массу художников-самоучек. Произведения народного творчества о Пушкине на выставке показаны весьма слабо. Экспонаты этой темы показаны вместе с работами художников-профессионалов Палеха, Мстеры, и поэтому идея показа этих экспонатов пропала. Народное творчество необходимо было выделить в особую тему.

Тема «Пушкин и советская литература» показана так же слабо, как тема «Пушкин и литература XIX столетия». Нет проработки этой темы. Даны портреты Брюсова, Луначарского, Багрицкого, Маяковского, Горького, автографы их произведений о Пушкине и тексты высказываний о Пушкине, чем, конечно, далеко неполно выявлено значение Пушкина для советской литературы и развития социалистического реализма. Горький говорил, что Пушкин для нас «начало всех начал». И вот это значение Пушкина для советской литературы и нужно было отразить в этой теме.

Шестнадцатый зал — «Пушкин в музыке, театре и кино», является третьим советским залом. В экспозиции этого зала, так же как и в зале детского творчества, не ясно представлена основная идея, выраженная в двух интересных световых картах. На одной из карт светящимися точками, обозначающими города и театры в них, показан Пушкин на сцене в дореволюционной России. На этой карте всего около 20 таких мест. На другой карте показан Пушкин на сцене в СССР. Светящихся точек около 600. Театр Пушкина в СССР — это театр народа, театр миллионов трудящихся. К сожалению, на этих картах учтены только профессиональные театры и никак не отражены самодеятельные театры в рабочих, колхозных, красноармейских и других клубах, которых гораздо больше, нежели профессио-

нальных театров, и которые обслуживают огромную массу населения.

Наконец, последний зал. Он посвящен Пушкину в советском изобразительном искусстве. Здесь представлены работы современных мастеров на пушкинские темы.

На выставку художниками было представлено несколько сот работ. После просмотра жюри было отобрано всего несколько десятков картин и около десятка скульптур.

Картины часто грешат против исторической правды. Таковы: полотно А. Герасимова „Пушкин в своем рабочем кабинете“, картина Соколова-Скала „Встреча Пушкина с телом Грибоедова“ (горный пейзаж дан у Скала неверно) и большое полотно ленинградского художника Горбова „Дуэль Пушкина“. Савицкий нарисовал целиком выдуманную им картину „Встреча Пушкина с Давтесом в Летнем саду“. Слаба картина Сварога „Рождение поэмы“ — Пушкин у памятника Петра Великого задумывает поэму „Медный Всадник“.

Неизмеримо лучше других работы Н. П. Ульянова. Очень хорош рисунок Фаворского „Пушкин-лицеист“.

Из скульптурных работ лучше других бюст Пушкина-мальчика Рындзюнской, бюст Пушкина работы Крандиевской и Пушкин Суворова.

Следует признать ошибкой, что не была выделена на выставке тема „Пушкин в советской графике“. Советские граверы создали много замечательных иллюстраций к произведениям Пушкина, и их попытки дать образ Пушкина гораздо удачнее, нежели у живописцев.

Вообще же все четыре советские зала, начиная с 14-го, нужно было построить по тематическому принципу, и картины советских художников на пушкинские темы экспонировать как фон при показе той или другой темы. При таком показе не было бы у зрителей снижения впечатления от выставки, что отмечается многими посетителями.

Преобразование Всесоюзной Пушкинской выставки в постоянный Пушкинский музей поставит перед ним ряд новых задач, связанных с бережным хранением всех пушкинских материалов, их дальнейшей разработкой, изучением и работой по популяризации огромного пушкинского культурного наследия среди трудящихся Советской страны.

ПОСЕТИТЕЛИ ВСЕСОЮЗНОЙ ПУШКИНСКОЙ ВЫСТАВКИ

За время существования Всесоюзной Пушкинской выставки ее посетило по 1 февраля 1938 г. 641 026 чел. — 499 886 одиночек и 7077 экскурсий (141 140 чел.). Из них 989 экскурсий рабочих (19 780 чел.), 24 — колхозников (480 чел.), 213 — красноармейцев (4260 чел.), 1515 — учащихся высшей школы (30 300 чел.), 1341 — учащихся средней школы (26 820 чел.), 1924 — служащих (38 480 чел.), 971 — квалифицированных специалистов (19 420 чел.) и 80 — артистов (1600 чел.).

Посетители заполнили своими отзывами и предложениями шесть толстых книг, написали около 3000 отзывов. Эти 3000 записей свидетельствуют о громадном интересе и любви к Пушкину и о колоссальном культурном росте народных масс. На выставку приходят изучать ее, проводят на ней по много часов, подолгу стоят у каждой витрины, жадно прислушиваются к словам экскурсоводов.

Если посетители заметят дежурного научного сотрудника, то его тотчас же обступают, и задаются самые разнообразные вопросы о жизни и творчестве Пушкина, об экспонатах выставки и об ее дальнейшей судьбе. Гот же серьезный интерес и глубоко сознательное отношение нашего посетителя к Пушкину отражают книги отзывов. Записи в них разносторонни и интересны. Есть здесь и замечания, отмечающие дефекты выставки, начиная от недоработанности разделов и кончая опечатками в этикетаже. Высказываются предложения о показе новых экспонатов, организации новых отделов, посетители просят устроить библиотеку, читальный зал, концерты и лекции на пушкинские темы, просят организовать показ пушкинских фильмов, издать новый улучшенный каталог выставки, большее количество репродукций, просят показать выставку в других городах, распро-

странять ее в виде фотокопий, требуют консультаций, ответов на вопросы, высказывают свои мнения, и большей частью строгие, о картинах советских художников. В большинстве отзывов положительные.

Приводим сводку наиболее типичных отзывов, представляющих несомненный интерес для характеристики не только выставки, но и проведения столетнего юбилея со дня смерти Пушкина в СССР.

„Обозрение Пушкинской выставки — один из самых радостных, волнующих часов моей долгой полувековой жизни“.

„Пушкинская выставка — достойна великого русского поэта“.

„Пушкин бессмертен, а выставка сумела отобразить это бессмертие“.

„Замечательная выставка. Гений Пушкина, величие Пушкина, любовь Пушкина к народу и народность его творчества получили прекрасное отражение“.

„Нет слов выражения нашего восторга, который мы испытываем, уходя с выставки. Сколько вкуса, сколько изящества и сколько простоты и заботливости видно в каждой вещи, которые мы видим на витринах. Так много впечатлений, что не находишь чувства и выражения, чтобы передать всё восхищение и удивление этой исключительной, изумительной, прекрасной выставкой“.

„Группа работников комиссии советского контроля, посетившая выставку, осталась очень довольна. Выставка очень обширна, интересна и прекрасно оформлена“.

„Выставка производит величественное, поистине художественное и в высшей степени культурное, гармоничное впечатление. Она отображает собой всё, что можно собрать и представить о жизни, творчестве великого поэта, и всё то, что творилось вокруг его великого имени. Выставка эта — ценный вклад в пушкинскую библиографию, биографию и историю его жизни и трудов, ценный вклад в нашу литературу и искусство“.

„Музей вполне достоин своего назначения как всесоюзный по богатству, разнообразию, ценности и художественности экспонатов, это лучший в Союзе. Видна вдумчивая, любовная и тщательная работа“.

„При беглом обзоре, который только и возможен при первом посещении, могу сказать одно: хорошо! Дышишь воздухом этой

эпохи, живее ощущаешь самого Пушкина“.

(Иван Новиков)

„Пушкинская выставка оставила самое лучшее впечатление, яркое приближение к Пушкину по творчеству, по эпохе“.

(Группа учителей)

„Мы подробно познакомились с жизнью и творчеством А. С. Пушкина, ибо наглядные пособия в виде художественных картин, подлинников рукописей, фото, дают яркую картину и закрепляют наши знания о Пушкине. До посещения музея у нас ни у кого не было представления о размерах выставки и богатстве собранного материала. Только в стране советов возможно такое бережное отношение к культуре и к овладению этим наследством. Наше желание, чтобы эта выставка осталась бы музеем Пушкина, чтобы можно было наглядно видеть силу и богатство пушкинского творчества“.

(35 рабочих завода „Серп и Молот“)

„Пушкинская выставка — величайший исторический документ о жизни и творчестве великого сына русского народа А. С. Пушкина. Слава Пушкина никогда не умрет. Его еще больше оценит будущее, грядущее поколение“.

(Студ. Воронежск. Лесокульт. инст.)

„То, о чем мечтал и о чем писал наш гениальный русский поэт А. С. Пушкин, — уже сбылось в нашей, свободной стране социализма.“

Осматривая выставку, я наяву, воочию увидел всю обстановку, в которой жил, творил и умер Александр Сергеевич“.

„Когда доходишь до конца, то как будто сто лет тому назад переживаешь то, что переживали люди, любившие Пушкина в то время, и чувствуешь угнетение Пушкина, которое создано было царем в царской России, Бенкендорфами и Дантесами“.

„Выставка прекрасна, все образы Пушкина вновь возникли в моей душе, появилась безумная боль, что так нелепо погиб наш великий поэт“.

„Выставка о жизни и творчестве Пушкина — лучший учебник, который прекрасно начертает в памяти зрителя историю царской России. Просмотрев материалы выставки и сравнив их с современной экономикой и ростом нашей страны, становится вполне ясно, что могут сделать люди“.

„Эта выставка научит молодое поколение как нужно ненавидеть, презирать старый мир. Пушкин боролся художественным словом за лучшие идеи человечества“.

(Летчик)

„Раньше я полагал, что стих у Пушкина рождался сразу, исключительной силой его гения — музей помог мне очень детально ознакомиться с его жизнью и системой его работы и я убедился в ошибочности своего мнения. Пушкин — это воплощение трудолюбия, прекрасный пример для советских писателей“.

„Выставка оставляет большое впечатление богатым подбором автографов Пушкина, показывающих его творческий путь, автографы показывают нам поэта-труженика, крылатые рифмы являлись в результате большой, упорной работы. Творческая работа Пушкина на автографах показывает, как поэт создавал литературный русский язык, довел его до величайших вершин, и в этом великая заслуга поэта. Материалы донесений шпионов Пушкина — Булгарина и Греча, борьба Пушкина с консервативными литераторами того времени, популярность среди декабристов — все эти материалы выставки показывают дорогого нам поэта, память которого мы чтим, во всем его росте. Трагический путь Пушкина был повторен в течение столетия сотнями и тысячами людей, боровшихся с самодержавием, он по праву занимает место среди рамных борцов с царизмом, с реакцией“.

„Мы очень и очень рады, что посетили такую замечательную выставку, отображающую жизнь, окружающую среду и эпоху великого русского поэта А. С. Пушкина. Еще и еще раз хочется перечитывать после этого бессмертные строки его произведений. Мы здесь первый, но далеко не последний раз. Спасибо партии и правительству за эту выставку“.

(Комсомольцы-учащиеся)

„Я ошеломлен. И трудно сказать, что понравилось больше. Пушкин такой близкий, родной нам. Как же не любить его, как же не учиться у него. И приятно, что только у нас народ так славно чтит память великого гения. Одно пожелание сердечное мое — пусть больше людей посмотрят эту замечательную выставку, больше, больше людей“.

(Красноармеец Управления Киевского мобокруга)

„Я умирать буду с меньшей болью, чем выхожу из музея А. С. Пушкина“.

(Кр-ц Владивостокского полка НКВД)

„Только две недели назад мне пришлось посмотреть музеи Парижа: Лувр, Исторический. Но ни в одном музее Парижа я не видел такой любви к культурному наследству, как у нас в Союзе. Пушкинская выставка по технике оформления и содержанию является прекраснейшим образцом заботы партии о культурном наследстве страны. Оформление выставки превосходит виденное мною в Париже. Такая забота о прошлом и будущем нашей культуры может быть только в Советской стране“.

(Инженер)

„От имени группы делегатов I-го Всесоюзного съезда советских архитекторов, осмотревших Пушкинскую выставку, хочется сказать следующее. Выставка организована с большой подлинной любовью к Александру Сергеевичу как к человеку и как к гениальному поэту, нашей славе, нашей гордости и с огромным знанием творчества А. С., его эпохи — его друзей и его врагов. Выставка широко раскрывает и образ поэта и его творчество и показывает, что он наш и что он близок нашей замечательной современности. Пожелание. Выставка имеет огромное воспитательное значение, ее нужно не только осмотреть, но и изучать. Очень желательно обратить эту выставку в постоянную“.

(Архитекторы)

„Работники Московского Реалистического театра, покидая эту замечательную выставку, уносят прекрасное о ней впечатление, большую творческую взволнованность и желание еще не один раз посетить Гос. Музей Пушкина, в который безусловно должна превратиться юбилейная выставка“.

„Выставка эта является замечательной не только потому, что отражает эпоху и жизнь великого поэта, но и Сталинскую эпоху, умеющую должным образом ценить великого Пушкина“.

(Донбас, Краматорск)

„Отражено величие Пушкина и величие нашей эпохи. Какое издевательство над Пушкиным в выставке 1899 г.! Эта выставка який контраст с той; здесь действительно реально показан А. С. Пушкин.“

(Студент ИАИ)

„Пушкинская выставка лишней раз подчеркивает величие нашей социалистической родины, умение созидать в таких красивых, ярких, глубоких формах. Прекрасный гений Пушкина может принадлежать только трудящимся нашей великой эпохи. Выставка подавляет, восхищает и окрыляет любого посетителя. Хочется жить и работать для такой страны, где ценят творчество великих людей и труд любого специалиста“.

(Педагог)

„Такой замечательной выставки достоин только Пушкин. Смотря на него, на душе становится жалко, хочется вернуть его к жизни и сейчас, при Сталинской конституции“.

(Рабочий)

„Всюду идет слава о Пушкине, по всей земле от малого до большого, — кто может забыть его произведения, когда читаешь с большим желанием и перечитываешь. Я сам крестьянин, с 1933 г. живу в Москве, что я ни читал, и что ни смотрел, лучше Пушкина не нахожу“.

(Рабочий 1-го Моск. Трамв. депо)

„Эта юбилейная выставка, посвященная столетию со дня гибели великого русского поэта А. С. Пушкина — одно из величайших культурных достижений Советского Союза.“

Только свободный советский народ может так глубоко чтить память великих выдающихся людей. Прежде всего на выставке поражает величие и богатство экспонатов. Эту выставку необходимо реорганизовать в музей А. С. Пушкина“.

(Рабочий метро)

„Замечательная выставка произвела на нас большое впечатление. Так чтить поэтов могут только в стране победившего социализма“.

(Группа командиров Ленингр. Военн. окр.)

„Эта замечательная выставка (вернее музей) отражает не только величие гениального поэта, но и величие нашей родины, нашего великого народа. Ее (выставку) нужно сохранить навечно“.

(Капитан)

„Поражен виденным. Только советская власть показала народу настоящего Пушкина“.

(Пограничник)

En janvier 1937, la France a rendu à Pouchkine, dans le grand amphithéâtre de la Sor-

bonne, l'hommage qui lui était dû. Le grand poète et écrivain russe honore non seulement son pays, mais l'humanité et son œuvre fait partie du patrimoine universel. J'ai été heureux de visiter cette admirable exposition, si remarquablement organisée, et qui atteste la fidélité de la Russie Soviétique envers une grande mémoire, Moscou, le 7 septembre 1937.

Ministre de l'Éducation Nationale de France
Jean Zée (et autres signatures).

Перевод: В январе 1937 г. Франция отдала Пушкину, в большом амфитеатре Сорбонны, дань должного уважения. Великого поэта и писателя русского чествует не только его страна, но и человечество, и его произведения составляют часть всемирного достояния всего человечества. Я счастлив, что посетил эту восхитительную выставку, так исключительно организованную и которая свидетельствует о верности Советской России великой памяти. Москва, 7 сентября 1937 г.

Министр народного просвещения Франции
Жан Зей (и другие подписи).

„Такую блестящую выставку своему великому поэту может создать только наша великая социалистическая родина“.

(Артист)

„Только в Сталинскую эпоху оказалось возможным поднять весь народ СССР к Пушкину, к его солнечной поэзии, к его незабываемым произведениям. Какой контраст! В фашистской Германии сжигают лучшие произведения немецких мыслителей, изгоняют лучших людей из страны, выдумывают изуверские „расовые“ теории. В великой стране социализма — расцвет культуры всех национальностей, подлинная власть народа, Сталинская конституция. Спасибо великой коммунистической партии и любимому всем народом — родному т. Сталину за подлинно отеческую заботу о нуждах трудящихся. Выставка вполне это подтверждает, выставка поражает и ее нужно сохранить“.

„Экскурсия жен командиров Военной Академии моторизации и механизации им. Сталина приветствует превращение Пушкинской выставки в постоянный музей, прекрасно иллюстрирующий не только жизнь и творчество Пушкина, но и отношение к нему народов СССР, подтверждающее стихотворение Пушкина «Я памятник воздвиг себе нерукотворный»“.

„Выставка сделана с большой любовью. Присоединяюсь к голосам многих, что эту выставку необходимо сохранить навсегда“.

(Юрий Брюшков)

В настоящее время желание трудящихся осуществлено. Решением Правительства в Москве организован постоянный Гос. Музей Пушкина.

К. Богаевская

ПУШКИНСКАЯ КОМИССИЯ АКАДЕМИИ НАУК СССР

Пушкинская Комиссия Академии Наук СССР в период с декабря 1937 г. работала в Ленинграде при председателе академике А. С. Орлове, заместителе председателя Д. П. Якубовиче, ученом секретаре Б. С. Мейлахе; в Москве — при председателе В. Д. Бонч-Бруевиче, и ученом секретаре Н. Ф. Бельчикове.

После 100-летнего юбилея со дня смерти Пушкина, основная работа членов Пушкинской Комиссии велась в следующих направлениях:

I. Участие в подготовке полного академического собрания сочинений Пушкина.

Том XIII — Переписка 1815—1827 гг. Тексты писем Пушкина за 1815—1825 гг. подготовлены Д. Д. Благим; за 1826—1827 гг. — Д. П. Якубовичем; тексты писем к Пушкину за 1815—1827 гг. — Л. Б. Модзалевским и Д. Д. Благим; тексты коллективных писем (с участием Пушкина и к Пушкину) — Д. Д. Благим. Переводы иноязычных текстов отредактированы А. А. Смирновым. Общий редактор тома Д. Д. Благой.

Том X — История Петра (подготовительные тексты), Записки Моро-де-Бразе и Заметки о Камчатке. Редакторы: П. С. Попов, А. И. Заозерский и Б. И. Коплан. Общий редактор тома М. А. Цявловский.

Том IX (первый полутом) — История Пугачева. Редактор тома В. Л. Комарович. Ответств. ред. тома — В. Д. Бонч-Бруевич.

Том VIII (первый полутом, основные тексты), содержащий художественную прозу Пушкина („Романы и повести. Путешествия“). Редакторы: С. М. Бонди, В. В. Виноградов, Л. Л. Домгер, Н. В. Измайлов, И. Н. Медведева, Л. Б. Модзалевский, Б. В. Томашевский, Ю. Н. Тынянов, Д. П. Якубович. Общий редактор тома Б. В. Томашевский.

К началу 1939 г. закончены набором тома: XI (критическая проза; общие редакторы В. В. Гиппиус и Б. М. Эйхенбаум), XIV (переписка 1828—1831 гг., общий редактор Н. В. Измайлов), XV (переписка 1832—1834 гг., редакторы Д. Д. Благой и Н. В. Измайлов).

Сданы редакцией в производство тома: V (поэмы 1826—1836 гг., общий редактор тома С. М. Бонди), XII (материалы и документы, редакторы М. А. Цявловский и Т. Г. Зенгер), XVI (переписка 1835—1837 гг., общий редактор Д. Д. Благой).

II. В 1937—1938 гг. на заседаниях Пушкинской Комиссии были заслушаны следующие доклады:

В Ленинграде

Н. П. Верховский. „Западно-европейская историческая драма и «Борис Годунов» Пушкина“ (5 IV 37).

М. К. Азадовский. „Народные сказки в записи Пушкина“ (Объединенное засед. Комиссии совместно с фольклорным кабинетом Института Этнографии) (15 V 37)

Акад. Б. Д. Греков. „Исторические взгляды Пушкина“ (26 V 37).

А. А. Сахалтуев. „К вопросу о философских взглядах Пушкина“ (7 VI 37).

А. И. Грушкин. „История Пугачева“ (16 XI 37).

В. В. Гиппиус и Б. М. Эйхенбаум. „О текстах критической прозы Пушкина“. Из работ над XI томом академического собр. соч. Пушкина (15 XII 37).

Г. С. Глебов-Бердяев. „Проблема человека в творчестве Пушкина“ (типы и характеры) (15 I 38).

М. С. Боровкова-Майкова. „Письма П. А. Вяземского к жене“ (15 II 38).

- Б. В. Томашевский. „Новая редакция XI гл. «Капитанской Дочки»“ (15 II 38).
 Д. П. Якубович. „Капитанская Дочка“ и романы Вальтер Скотта“ (15 III 38).
 Н. И. Мордовченко. „Биографии Пушкина юбилейного года“ (21 IV 38).
 Г. А. Гуковский. „Из комментариев к оде «Вольность»“ (21 IV 38).
 В. Л. Комарович. „Поэма о Тазите“ (19 V 38).
 С. В. Обручев. „К расшифровке X гл. «Евгения Онегина»“ (19 V 38).

В Москве:

- Ю. А. Спасский. „Пушкин и Шекспир“ (8 I 37).
 Н. В. Богословский. „Пушкин и Озеров“ (28 I 37).
 Н. Н. Бурденко и А. А. Арндт. „Рана Пушкина“ (4 II 37).
 В. В. Виноградов. „Эволюция стихотворной фразеологии Пушкина“ (10 III 38).
 И. А. Новиков. „Пушкин и «Слово о полку Игореве»“ (10 IV 38).
 М. А. Цявловский. „Пушкин в работе над «Словом о полку Игореве»“ (16 V 38).
 С. А. Бугославский. „Русские народные песни в записи Пушкина“ (22 IV 38).
 Акад. М. М. Покровский. „Пушкин и античность“ (4 VI 38; Объедин. засед. Комиссии совместно с секцией антич. литератур Института Мировой Литературы им. М. Горького).

Пушкинская Комиссия продолжает работу по изданию Пушкинского „Временника“. По постановлению Редакционно-издательского совета Академии Наук, „Временник“ Пушкинской Комиссии будет издаваться два раза в год. Программа издания значительно расширена. Особый отдел будет посвящен современникам Пушкина и влиянию Пушкина на русскую литературу и культуру.

III. Члены Пушкинской Комиссии работали над главами „Истории русской литературы“, подготавливаемой Институтом Литературы. В том же посвященном Пушкину и его эпохе, заняты члены Пушкинской Комиссии Д. П. Якубович, Б. С. Мейлах, В. В. Гиппиус, А. Л. Слонимский и др.

IV. Членами Комиссии рецензирован ряд работ о Пушкине, поступивших от других организаций и отдельных лиц. (С. М. Нельс — Смех Пушкина; О. А. Моденской и других авторов — „Изучение Пушкина в средней школе“; А. И. Ульяновского — „Няня Пушкина“; работы на конкурсе ВАКСМ и др.).

V. Члены Комиссии помимо заседаний Комиссии выступали с сообщениями о Пушкине:

Д. П. Якубович — Пушкин за советское двадцатилетие (10 XI 37). Д. П. Якубович — Слово от Пушкинской Комиссии (10 II 38).

VI. Через посредство Комиссии приобретены в Архив Института Литературы свыше 150 писем А. А. Аракчеева к Немеровскому (1814—1818 гг.) и др. материалы.

VII. Членами Комиссии М. А. Цявловским, Л. Б. Модзалевским, Н. Ф. Бельчиковым, Д. П. Якубовичем, Б. С. Мейлахом — велась постоянная консультация по вопросам пушкиноведения.

В 1937 и 1938 гг. скончались два старейших пушкиноведа А. М. Де-Рибас и В. И. Саитов.

Александр Михайлович Де-Рибас (15 декабря 1856 г. — 2 октября 1937 г.), историк старой Одессы, журналист, краевед, с 1878 г. сотрудник „Journal d'Odessa“ (орган, редактировавшийся ранее его отцом), „Одесских Новостей“, „Одесских вечерних известий“ и др., А. М. Де-Рибас состоял председателем Пушкинской Комиссии при Одесском Доме Ученых и напечатал в ее сборниках, носящих название „Пушкин. Статьи и материалы“, статьи: „Ареопаг“ о Пушкине“, „Пушкин и Ланжерон-драматург“.

В 1-м томе „Временника Пушкинской Комиссии“ Де-Рибас напечатал статью „Письмо Пушкина к «неизвестной» 1822 г.“

Владимир Иванович Саитов (5 июня 1849 г. — 29 января 1938 г.) — старейший историк русской литературы и пушкинист, автор биографии огромного количества русских писателей нач. XIX в. и виднейший деятель в создании русской библиографии.

Редактированная Саитовым капитальная трехтомная „Переписка“ Пушкина (1906—

1911) до нового академического издания сочинений Пушкина оставалась незамененной. Совместные с акад. Л. Н. Майковым комментарии к „Сочинениям К. Н. Батюшкова“ (1887), комментарии к сочинениям В. Л.

Пушкина, к „Остафьевскому архиву Вяземских“ (1899 и сл.), „Санктпетербургский Некрополь“ (1883) и др. остаются ценными справочными пособиями для историка литературы XIX века.

ПУШКИНСКОЕ ОБЩЕСТВО

в 1937—1938 гг.

Пушкинское Общество к настоящему времени значительно расширило тематику своей работы, включив в круг своей деятельности изучение и пропаганду русской классической литературы в целом, советской литературы и творчества народов СССР.

Помимо регулярных научных собраний, Общество организует лекции, художественные вечера, литературные беседы — в клубах, домах культуры, школах, вузах, библиотеках, а также семинары научно-исследовательского и учебного типов. Широко были отмечены литературные годовщины, связанные с именами Пушкина, Шота Руставели, Некрасова, Л. Н. Толстого, Маяковского, Горького, со „Словом о полку Игореве“. С осени 1938 г. значительное место в тематике Пушкинского Общества занимает изучение творчества и жизни Лермонтова.

Кроме ряда докладов и лекций о Пушкине, состоялось обсуждение романа Ю. Н. Тынянова „Пушкин“; вечер детской самодеятельности „Дети — Пушкину“ в большом зале Гос. Филармонии 12 февраля 1938 г.; диспут о постановке „Бориса Годунова“ в Новом ТЮЗ'е, организованный совместно с Ленинградским отделением Всероссийского Театрального Общества.

Пушкинское Общество издало за 1937—1938 гг. ряд книг: Инн. Оксенов — „Жизнь А. С. Пушкина“ (тираж — 50 000 экземпля-

ров, новое издание печатается); В. А. Мануйлов — „Пушкин и наша современность“ и его же — „Бахчисарайский фонтан“ Пушкина“; В. Ф. Широкий — „Дача Пушкина в Царском Селе“ и его же — „Пушкин в своей последней квартире“; А. Г. Яцевич — „Крепостной Петербург пушкинской эпохи“. Наконец, совместно, с Ленинградским отделением Всероссийского Театрального общества издана книга Г. В. Артоболевского — „Пушкин в художественном чтении“.

В 1938 г. Пушкинское Общество, по инициативе своего председателя, депутата Верховного Совета СССР А. Н. Толстого, приступило к организации и осуществлению нового учебника для средней школы „История литературы народов СССР“.

Кроме основной авторской бригады в составе Г. А. Гуковского, А. Л. Дымшица, П. А. Корыхалова, В. А. Мануйлова и И. А. Оксенова, к работе над новым учебником привлечен ряд писателей и литературоведов, организован ряд бригад в союзных республиках. Главным редактором учебника является председатель Пушкинского Общества — А. Н. Толстой.

Работа над учебником идет в тесном контакте с педагогической общественностью. Особое внимание в первой части учебника (для VIII класса) уделяется главе о Пушкине.

ПУШКИНИАНА

1937 г.

I. ТЕКСТЫ ПУШКИНА

а. Новые издания сочинений

Полное собрание сочинений. Редакционный комитет: [Максим Горький], Д. Д. Благой, С. М. Бонди, В. Д. Бонч-Бруевич, Г. О. Винокур, П. И. Лебедев-Полянский, Б. В. Томашевский, М. А. Цявловский, П. И. Чагин, Д. П. Якубович. М.—Л. Изд-во Акад. Наук СССР.

Том 1. Лицейские стихотворения. (Редакторы 1-го тома: М. А. Цявловский и Т. Г. Зенгер) IV [2], 532 стр., 6 вкл. л. факсим., 1 л. фронтисп. [портр.]. Тираж 35 300.

Том 4. Поэмы 1817—1824 гг. (Редакторы 4-го тома: С. М. Бонди, Г. О. Винокур, Н. К. Гудзий, Н. В. Измайлов, Б. В. Томашевский. *Общ. ред. тома С. М. Бонди.*) [8], 481 [3] стр., 10 вкл. л. факсим., 1 л. портр. Тираж 32 тыс.

Том 6. Евгений Онегин. (Редактор 6-го тома Б. В. Томашевский.) [6], 691 [5] стр., 7 вкл. л. факсим., 1 вкл. л. портр. Тираж 32 300.

Рец.: Мышковская, Л. „Пушкин“. Полное собрание сочинений. Том шестой. „Евгений Онегин“. Изд-во Акад. Наук СССР, 1937. „Лит. Учебка“, 1938, № 1, стр. 133—139.

Том 7. Драматические произведения. (Редакторы 7-го тома: М. П. Алексеев, С. М. Бонди, Г. О. Винокур, А. Л. Слонимский, Б. В. Томашевский, Н. В. Яковлев, Д. П. Якубович. *Общ. ред. Д. П. Якубовича.*) [8], 393 [3] стр., 6 вкл. л. факсим., 1 л. фронтисп. [портр.]. Тираж 32 300.

Рец.: Бегак, Б. „Юбилейные издания Пушкина“. „Книга и пролетарская революция“. М., 1937, стр. 41—45.

Том 13. Переписка 1815—1827 гг. Тексты писем Пушкина за 1815—1825 гг. приготовлены Д. Д. Благой; за 1826—1827 гг. — Д. П. Якубовичем; тексты писем к Пушкину за 1815—1827 гг. — Л. Б. Модзалевским и Д. Д. Благой; тексты коллективных писем (с участием Пушкина и к Пушкину) — Д. Д. Благой.

Редактор 13-го тома Д. Д. Благой. [4], 652 стр., 11 вкл. л. факсим. и портр. Тираж 35 тыс.

Полное собрание сочинений в шести томах. Изд. 5-е под общ. ред. С. М. Бонди, И. К. Луппола, Б. В. Томашевского и М. А. Цявловского. М. ГИХЛ.

Том 1. Стихотворения 1813—1825 гг. Ред. М. А. Цявловского. Вступ. статья А. В. Луначарского. 612 [4] стр., 1 вкл. л. портр. Тираж 50 тыс.

Том 3. Драммы. Евгений Онегин. Ред. С. М. Бонди, Б. В. Томашевского и Д. П. Якубовича. 520 стр., 1 вкл. л. портр. Тираж 50 тыс.

Полное собрание сочинений в 9 томах. Под общ. ред. М. А. Цявловского [М.—Л.] Изд-во „Academia“.

Том IX. Критика. История. Автобиография. Материалы записных книжек и черновые наброски. 831 стр., 2 вкл. л. портр. Тираж 20 300.

Сочинения в трех томах. Ред. текста и объяснения С. Бонди, А. Слонимского, Б. Томашевского. *Общ. ред. А. Слонимского.* М.—Л. Детиздат. Подбор иллюстраций Г. Шмидта и И. Андроникова. Макет Ю. Петрова. Перепл. и тит. Г. Шмидта.

Том 1. Стихотворения. Ред. текста и объяснения А. Слонимского [4], 786 [2] стр. с илл., 10 вкл. л. [иллюстр. и портр.]. Тираж 25 тыс.

Том 2. Поэмы. Евгений Онегин. Сказки. Ред. текста и объяснения С. Бонди, А. Слонимского, Б. Томашевского, 748 [4] стр. с илл., 6 вкл. л. [илл. и портр.]. Тираж 25 тыс.

Том 3. Драммы. Проза. Ред. текста и объяснения С. Бонди, А. Слонимского, Б. Томашевского. 710 [2] стр. с илл., 6 вкл. л. [портр.]. Тираж 25 тыс.

Рец.: 1. Бегак Б. „Юбилейные издания Пушкина“. „Книга и пролетарская революция“. М., 1937, № 4, стр. 41—45. 2. „Пушкинский трехтомник Детиздата“. „Изв. ЦИК СССР и ВЦИК“, 1937, 5 II, № 32.

3. Фейнберг И. „Пушкин для детей“. „Новый Мир“, 1937, кн. 7, стр. 281—283.

4. Благой, Д. „Пушкин — детям“. „Детская Литература“, 1938, № 1, стр. 9—14.

Сочинения. Изд. 2-е испр. и дополн. Ред., биографич. очерк и примеч. Б. Томашевского. Вступ. статья В. Десницкого. Л. ГИХЛ. XIV, 1015 стр. с илл., 12 вкл. л. илл., 1 фронтисп. [портр.]. Перепл., тит. и заст. М. А. Кирнарского. Тираж 30 тыс.

Сочинения. Курск. Курск. обл. изд. 533, VI стр., фронтисп. и 2 вкл. л. [портр.]. Вступ. статья В. Вересаева „Жизнь Пушкина“. Тираж 30 175.

Избранные произведения (для старшего возраста). Биографич. очерк В. Кирпотина. Ред. и коммент. В. Вересаева. М.—Л. Детиздат. 686 [1] стр., с илл., фронтисп. [красочн. портр.], 26 вкл. л. [илл. и портр.]. Подбор иллюстраций И. Л. Андроникова. Тираж 10 тыс.

Рец.: 1. Бегаж, Б. „Юбилейные издания Пушкина“. „Книга и пролетарская революция“. М., 1937, № 4, стр. 41—45.
2. Фейнберг, И. „Пушкин для детей“. „Новый Мир“, 1937, кн. 7, стр. 281—283.

3. Чудесный подарок. „Комсом. Правда“, 1937, 14 II, № 36.

4. Благой, Д. „Пушкин — детям“. „Детская Литература“, 1938, № 1, стр. 9—14.

Бахчисарайский Фонтан. (Илл. А. П. Могилевского.) М.—Л. „Academia“. 30 [2] стр. с илл., фронтисп., 10 вкл. л. красочн. илл. Тираж 10 300.

Драматические произведения. Скупой Рыцарь. Моцарт и Сальери. Каменный Гость. Пир во время чумы. Русалка. Сцены из рыцарских времен. М.—Л. „Искусство“. 187 [5] стр., с портр. и заст. (Библиотека мировой драматургии. Под общ. ред. И. Л. Альтмана.). Стр. 184—188. Б. Томашевский. „Краткая справка о драмах Пушкина“. Тираж 25 тыс.

Драматические произведения. [Харьков — Одесса.] Детиздат ЦК ЛКСМУ. 259 стр. с илл., фронтисп. [портр.], 10 вкл. л. илл. (1837—1937). Тираж 20 тыс.

Драмы. М. Гослитиздат, 222 [2] стр. Тираж 50 тыс.

Дубровский. Ответств. ред. Н. Стопанов. Л. Гослитиздат. 110 стр., с илл. на обл. Тираж 25 тыс.

Евгений Онегин. Роман в стихх. (Ред. текста Б. Томашевского. Перепл., тит., яст. А. Ушина.) М. Гослитиздат. 234 [2] стр. Тираж 30 тыс.

Евгений Онегин. Роман в стихах. (Ред. текста, статья и коммент. Б. Томашевского. Илл. К. Рудакова. Перепл., тит. и шмуцтит. В. Двораковского.) Л. Гослитиздат. 300 стр. с илл., 6 вкл. л. илл. (Александр Пушкин 1837—1937). Тираж 20 300.

Рец.: 1. Девিশев. „Иллюстраторы Пушкина“. „Искусство“. 1937, № 2, стр. 66.

2. М. Холодовская. „Иллюстраторы «Евгения Онегина»“. „Искусство“, 1937, № 2, стр. 95—96.

Евгений Онегин. Роман в стихах. [Воронж.] Воронежск. обл. книгоиздат. 190 [2] стр., фронтисп. [портр.]. (Школьная библиотека классиков.) Тираж 20 200.

Евгений Онегин. Роман в стихах. [Красноярск.] Красноярск. краев. гос. изд. 208 стр. Тираж 10 тыс.

Евгений Онегин. Роман в стихах. Свердловск. Свердловск. обл. изд. 449 [2] стр. с заст. и конц., вкл. л. [портр.]. Перепл., форзац, шмуцтит. Ю. Иванова. Тираж 10 тыс.

Евгений Онегин. [Харьков—Одесса.] Детиздат ЦК ЛКСМУ. 222 [2] стр., с илл., фронтисп. [портр.]. Тираж 20 тыс.

Евгений Онегин. Роман в стихах. (Иллюстрации, заставки и концовки худ. В. Свистальского. Обл. и форзац худ. А. С. Корженевского.) Минск. Гос. изд. Белоруссии. Художеств. Литература. 316 [4] стр., 1 л. фронтисп. [портр.]. Тираж 15 120.

Избранная лирика. [Воронж.] Воронежск. обл. книгоиздат. 256 стр., фронтисп. [портр.]. (Школьная библиотека классиков.) Тираж 20 тыс.

Избранная лирика. [Харьков—Одесса.] Детиздат ЦК ЛКСМУ. 106 [2] стр. с илл., фронтисп. [портр.] (1837—1937). Тираж 20 тыс.

Избранная проза. Ред., примеч. и вступ. статья Д. Д. Благого. Изд. 2-е. М. Гослитиздат. 438 [2] стр. Тираж 100 тыс.

Содержание: Арап Петра Великого. Повести покойного Ивана Петровича Белкина. История села Горюхина. Дубровский. Пиковая Дама. Кирджали. Египетские ночи. Капитанская Дочка.

Избранные поэмы и стихотворения. [Сталинград]. Сталинградск. книгоизд. 268 стр. с илл., 1 вкл. л. портр. Тираж 15 тыс.

Содержание: Руслан и Людмила. Кавказский Пленник. Братья-разбойники. Цыганы. Медный Всадник. Стихотворения 1814—1836 гг.

Избранные поэмы. [Харьков—Одесса.] Детиздат ЦК ЛКСМУ. 272 [4] стр. с илл. фронтисп. [портр.]. Тираж 20 тыс.

Содержание: Руслан и Людмила. Кавказский Пленник. Братья-разбойники. Бахчисарайский Фонтан. Цыганы. Полтава. Медный Всадник.

Избранные произведения. Новосибирск. Западно-Сибирск. краев. изд. 282 [4] стр., 1 вкл. л. портр. Вступ. статьи: 1. „Великий русский поэт“—передовая Ц. О. „Правды“ от 17 XII 1935 г. 2. В. Вересаев. „Жизнь Пушкина“. Тираж 20 тыс.

Содержание: Лирика. Эпиграммы. Цыганы. Медный Всадник. Капитанская Дочка.

Капитанская Дочка. 1837—1937. (Илл. Павла Соколова. Для старшего возраста.) М.—Л. Детиздат. 174 [4] стр. с заст. и конц., 24 вкл. л. илл. и портр. Оформление худ. Н. В. Ильина. Тираж 10 тыс.

Рец.: 1. Шкловский, В. „О типе издания“. „Детская Литература“. М. 1937, № 12, стр. 2—7.

2. Д. К. „Подарок юношеству“. „Изв. ЦИК СССР и ВЦИК“, 1937, 16 II, № 41.

3. „Прекрасная книга“. „Комсом. Правда“, 1937, 15 II, № 37.

Капитанская Дочка. Ред. текста и объяснения Б. Томашевского (Рисунки П. Соколова. Для неполной средней и средней

школы.) М.—Л. Детиздат. 142 [2] стр. с илл. (Школьная библиотека.) Тираж 97 тыс.

Капитанская Дочка. История Пугачева. Вступ. статья И. В. Сергиевского. Обл. И. А. Литвишко. М. Журн.-газ. объедин., XVI, 304 стр. с илл., 2 вкл. л. [портр. и карта]. (К столетию со дня гибели. Исторические романы. Серия 1937 г., № 1. Ред. коллегия: М. Горький, И. Луппол и др.) Тираж 40 тыс.

Капитанская Дочка. История Пугачева. Челябинск. Челябингиз. 1937. 326 [2] стр., 18 вкл. л. [портр. и илл.]. (К столетию со дня гибели А. С. Пушкина. Пугачев в произведениях А. С. Пушкина. Ред. и коммент. Е. М. Блиновой.) Тираж 10 тыс.

Маленькие трагедии. Рис. И. Рерберга. (Подготовка текста Д. Якубовича.) М.—Л. „Academia“. 90 [4] стр. с заст. и конц., 5 вкл. л. илл. и портр. Тираж 10 300.

Маленькие трагедии. Предисловие Ал. Дейча. М. Журн.-газ. объедин. 96 стр. (Библ. „Огонек“, № 37—38, 1024—1025.) Тираж 50 тыс.

Медный Всадник. Петербургская повесть [Курск]. Курск. обл. изд. 20 стр. (Школьная библиотека классиков.) Тираж 40 175.

Новые стихотворения Пушкина и Шавченки. Харків. Держлит. видав. УССР. 44 [2] стр. Тираж 3 тыс. Фототипическое воспроизведение Лейпцигского издания 1855 г.

Пиковая Дама. (Предисл. И. Сергиевского.) М. Журн.-газ. объедин. 38 [2] стр. (Библ. „Огонек“, № 15/1002.) Тираж 50 тыс.

Повести покойного Ивана Петровича Белкина. Гравюры на дереве Н. И. Пискарева. М.—Л. „Academia“. 138 [3] стр. с илл. Тираж 10 300.

Рец.: Девисев, А. „Иллюстраторы Пушкина“. „Искусство“, 1937, № 2, стр. 65.

Повести Белкина. М. Журн.-газ. объедин. 96 стр. Библ. „Огонек“, № 11—12 (998—999). Тираж 50 тыс.

Повести. (Примечания и послесловие А. И. Белецкого. Обл. и рис. худ. Б. Крюкова.) Одесса. Детиздат ЦК ЛКСМУ. 216 [3] стр., фронтисп. [портр.], 8 вкл. л. илл. Тираж 40 тыс.

Содержание: Повести покойного Ивана Петровича Белкина. История села Горюхина. Дубровский. Пиковая Дама.

Полтава (поэма). Днепропетровск. Прил. к журн. „Дружна ватага“, 1937, № 1, 42 стр. Тираж не указан.

Поэмы. Подготовка текста и статья Б. Томашевского. Автолитографии Самохвалова. Л. Гослитиздат. 420 [3] стр., 13 вкл. л. илл. (Александр Пушкин 1837—1937 г.). Перепл., тит., шмуцтит. М. А. Кирнарского. Тираж 20 300.

Содержание: Руслан и Людмила. Кавказский Пленник. Гавриилиада. Братья-разбойники. Бахчисарайский Фонтан. Цыганы. Граф Нулин. Полтава. Домик в Коломне. Анджело. Родословная моего героя. Медный Всадник. Тазит.

Рец.: Девышев, А. „Иллюстраторы Пушкина“. „Искусство“, 1937, № 2, стр. 67—68.

Сатира и юмор. Сост. М. Козман. Вступ. статья: „Пушкин и сатира“. [М]. „Советский писатель“. 296 стр. Тираж 10 тыс.

Книга из трех разделов: 1. Политическая сатира. 2. Сатира и юмор в литературной борьбе. 3. Бытовая шутка и юмореска.

Сказка о золотом петушке. Рис. И. П. Вакурова (Палех). (Подготовка текста М. К. Азадовского.) М.—Л. „Academia“. 16 [3] стр. с красочн. илл., фронтисп. [красочн. илл.]. Перепл. и тит. Е. И. Когана. Тираж 20 300.

Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях. Рисунки И. М. Баканова (Палех). (Подготовка текста М. К. Азадовского.) М.—Л. „Academia“, 34 [2] стр. с красочн. илл., фронтисп. [красочн. илл.]. Перепл. и тит. лист Е. И. Когана. Тираж 20 300.

Сказка о попе и работнике его Балде. Рис. Д. Н. Буторина (Палех). (Подготовка текста М. К. Азадовского.) М.—Л. „Аса-

demia“. 12 [6] стр. с красочн. илл., фронтисп. [красочн. илл.]. Перепл. и тит. лист Е. И. Когана. Тираж 20 300.

Сказка о рыбаке и рыбке. Рис. И. И. Зубкова (Палех) (Подготовка текста М. К. Азадовского.) М.—Л. „Academia“. 18 [2] стр. с красочн. илл., фронтисп. [красочн.]. Перепл. и тит. лист Е. И. Коган. Тираж 20 300.

Сказка о рыбаке и рыбке. Рис. Е. А. Крутикова. Омск. Омгиз. [20] стр. с красочн. илл. Тираж 10 тыс.

Сказка о рыбаке и рыбке. Рис. худ. А. В. Варфоломеева [Симферополь]. Гос. изд. Крым. АССР. 16 стр. с красочн. илл. Тираж не указан.

Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. Рис. И. И. Голикова (Палех). (Подготовка текста М. К. Азадовского.) М.—Л. „Academia“. 48 [3] стр. с красочн. илл., 5 вкл. лист. красочн. илл. Перепл. и тит. лист Е. И. Когана. Тираж 20 300.

Сказка о царе Салтане (для младшего возраста. Изд. 2-е). Рис. В. Таубер. М.—Л. Детиздат. 32 стр. с илл. (Книга за книгой.) Тираж 100 тыс.

Сказки. (М.—Л.) Детиздат. (119 стр.) с раздельной пагинацией, с илл. (Пушкинская библиотека). Пять сказок с самостоятельными титульными листами, пагинацией и выходными данными в одном переплете. Описано по обложке. Надзаголовок на титульном листе: „Школьная библиотека“. На обороте титульного листа: „Для начальной школы“. Тираж 350 тыс.

Сказки. Ред. текста и примеч. А. Слонимского. Перепл., форзац и рис. мастеров Палехской артели А. Буторина, А. Ватагина, А. Дыдыкина, А. Корухина, И. Маткичева (изд. 7-е). М.—Л. Детиздат. 92 [4] стр., 9 вкл. красочн. илл. Тираж 25 тыс.

Сказки. Рис. Б. И. Сидельковского. Омск. Омгиз. [2] 80 стр. с заст. и конц., фронтисп. [портр.], 1 вкл. красочн. илл. 4. Тираж 12 тыс.

Сказки. Иркутск. Обл. издат. 80 стр. с илл. Тираж 30 тыс.

Стихотворения (для средней школы). [Курск.] Курск. обл. изд. 53 [3] стр., (Школьная библиотека классиков.) Тираж 25 150.

Стихотворения (для начальной школы). Курск. Курск. обл. изд. 14 [2] стр. 1 вкл. л. портр. (Школьная библиотека классиков.) Тираж 50 150.

6. Текстологические исследования, описание рукописей и публикация автографов

Бонди, С. М. О чтении рукописей Пушкина. „Изв. Акад. Наук СССР. Отдел обществ. наук“, 1937, № 2—3, стр. 569—606.

1. Рукописи Пушкина. 2. Две задачи чтения рукописи. 3. Черновик и беловик. 4. Текст черновиков. 5. Чтение беловика. 6. Чтение черновика. 7. Об описках черновика. 8. Особые виды черновиков. Рабочая транскрипция и сводка.

Бонди, С. М. Спорные вопросы изучения пушкинских текстов. „Литература в школе“. М., 1937, № 1, стр. 37—50.

Основа современной текстологии — широко развернутая критика текста, осмысленный подход к пушкинским документам. Выяснение по черновикам логики создания вещи. Доведение до читателя чернового материала.

Георгиевский, Г. П. Пушкин в Ленинской Библиотеке. „Новый Мир“. М., 1937, № 1, стр. 267—282.

Судьба пушкинских рукописей, хранящихся в Ленинской Библ. Приобретения последних лет. „Евгений Онегин“ с пометами Пушкина.

Модзалевский, Л. Б. и Томашевский, Б. В. Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском Доме. Научное описание [при участии Козмина, Н. К. и Якубовича, Д. П.] М.—Л. Изд. Акад. Наук СССР, 1937, XX. 392 [4] стр., 31 вкл. л. факсим.

Неизданные автографы А. С. Пушкина. (1. Деревня. 2. Автографы лицейских стихотворений А. С. Пушкина.) „Красный Архив“. М., 1937, № 1, стр. 13—74.

Факсим. на 29 стр. Комментарий к автографу „Деревня“ М. Свешловой. Публикация лицейских стихотворений М. Цявловского.

Неопубликованные автографы А. С. Пушкина. (1. Запись Пушкина о его встрече с Кюхельбекером в 1827 г. 2. Верхняя часть страницы черновой рукописи „Евг. Онегина“ с рисунком Пушкина. 3. Страница рукописи „Дубровского“ с описанием суда. 4. Восемь строк стихов на экз. „Цыган“, подаренных Пушкиным П. А. Вяземскому. 5. Первая страница „Альбома Онегина“ (из черновой рукописи). 6. Последняя страница рукописи поэмы „Руслан и Людмила“. 7. Черновик стихотворения „Послание к Давыдову.“) „Изв. Акад. Наук СССР“. Отдел обществ. наук, 1937, № 2—3, между стр. 568—569, 6 л.

Первый автограф Пушкина. (Надпись на книге „Fables de Fénelon, édition ornée de figures“. Paris, 1809.) „Лит. Газета“. М., 1937, 10 II, № 8.

Цявловский, М. А. „О принадлежности Пушкину эпиграммы «Мы добрых граждан позабавим»“. „Красная Новь“, 1937, № 1, стр. 179—183.

Соображения в пользу авторства Пушкина. Необходимость включать эпиграмму в отдел „Dubia“ сочинений Пушкина.

Цявловский, М. А. Судьба рукописного наследия Пушкина. „Вестник Акад. Наук СССР“. М.—Л., 1937, № 2—3, стр. 107—127.

Блуждания пушкинских рукописей от рук частных коллекционеров до государственных хранилищ.

II. ПУБЛИКАЦИЯ НОВЫХ ТЕКСТОВ

Богословский, Н. Новые тексты Пушкина. [Заметки на полях статьи кн. П. А. Вяземского „О жизни и сочинениях В. А. Озерова“.] „Красная Новь“. М., 1937, кн. 1, стр. 79—97.

Гинзбург, М. Неизвестная записка Пушкина [к Любови Матвеевне Алымовой], с факсим. газ. „Труд“. М., 1937, 10 II, № 33.

Гиппиус, В. В. Неоконченная строфа чернового текста „Осени“ „Пушкин. Временник Пушкинской комиссии“, т. 3, М.—Л., 1937, стр. 19—20.

Измайлов, Н. В. А. С. Пушкин. Неизданные стихотворные тексты. [1. Неизданный вариант „Подражания Корану“. 2. Неиздан-

- ная песня из „Полтавы“.] „Новый мир“. М., 1937, № 1, стр. 5—8.
- Модзалевский, Л. Б.** Неопубликованные записи Пушкина. [1. Перечень материалов для 3-го тома „Современника“. 2. Перечень разделов неосуществленного издания стихотворений.] „Пушкин. Временник Пушкинской комиссии“, т. 3, М.—Л., 1937, стр. 16—18. Первонач. в „Лит. Газете“. М., 1937, 10 II, № 8.
- Попов, П. С.** Неопубликованные рукописи Пушкина по истории Петра I. „Известия ЦИК и ВЦИК“, 1937, 9 II, № 35.
- Попов, П. С.** Неопубликованный отрывок Пушкина из истории Петра I. „Лит. Газета“. М., 1937, 5 VI, № 30.
- Цявловский, М. А.** Неизвестная эпиграмма [А. С. Пушкина на графа Ф. И. Толстого „Твои догадки — сущий вздор“]. „Лит. Газета“. М., 1937, 10 II, № 8.
- Эйхенбаум, Б. М.** набросок критической заметки [Смешно, как веруют...]. „Пушкин. Временник Пушкинской комиссии“, т. 3, М.—Л., 1937, стр. 14.
- Якубович, Д. П.** Черновой набросок предисловия к „Истории Пугачева“. „Пушкин. Временник Пушкинской комиссии“, т. 3, М.—Л., 1937, стр. 9—13. Первонач. в „Правде“, 1937, 6 II, № 36.
- Якубович, Д. П.** Черновой автограф трех последних строф „Памятника“. „Пушкин. Временник Пушкинской комиссии“, т. 3, М.—Л., 1937, стр. 3—4. Первонач. в „Известиях ВЦИК и ЦИК“, 1937, 4 I, № 3.
- III. ДОПОЛНЕНИЕ К ПУШКИНИАНЕ 1936 г.¹
- Полное собрание сочинений в 6 томах.** Под ред. М. А. Цявловского. М.—Л., „Академия“.
- Том V.** Критика. История. Публицистика. Дневники и материалы записных книжек. 734 стр., 18 вкл. л. красочн. илл., портр. и факсимиле. Тираж 25 300.
- Рец.:* Девিশев, А. „Иллюстраторы Пушкина“. „Искусство“, 1937, № 2, стр. 68—69.
- Избранные сочинения.** Минск. Гос. изд. Белоруссии. Сектор художеств. лит. 262 [2] стр., 1 вкл. л. портр. Тираж 15 185.
- Содержание:* Лирические стихотворения. Цыганы. Модный Всадник. Борис Годунов.
- Борис Годунов.** М.—Л. „Искусство“. 130 [2] стр. с портр. и заст. (Библиотека мировой драматургии. Под. общ. ред. И. Л. Альтмана.) Стр. 129—131. Б. Томашевский. „Краткая справка о драме Пушкина «Борис Годунов»“. Тираж 25 тыс.
- Драмы.** Подготовка текста и статья Д. Якубовича. Рис. А. Якобсон. Л. ГИХЛ. 334 [2] стр., 7 вкл. л. илл. (Александр Пушкин 1837—1937.) Перепл., тит. и шмуцтит. М. Кирнарского. Тираж 20 300.
- Рец.:* Девিশев, А. „Иллюстраторы Пушкина“. „Искусство“, 1937, № 2, стр. 67.
- Дубровский.** Ред. текста и статья Д. Якубовича. Рис. А. Пахомова. Л. ГИХЛ. 146 [5] стр., 5 вкл. л. илл. (Александр Пушкин 1837—1937.) Перепл. и тит. М. Кирнарского. Тираж 20 тыс.
- Рец.:* Девিশев, А. — „Иллюстраторы Пушкина“. „Искусство“, 1937, № 2, стр. 67—68.
- Евгений Онегин.** Роман в стихах. Ред. текста, примеч. и объяснительные статьи С. Бонди. М.—Л. Детиздат, 320 [3], 6 вкл. л. илл. Автолитографии худ. К. Рудакова. Перепл. и форзац худ. Г. Шмидта. Тираж 25 тыс.
- Рец.:* Девিশев, А. — „Иллюстраторы Пушкина“. „Искусство“, 1937, № 2, стр. 66.
- Евгений Онегин.** Роман в стихах. Ред. текста Б. Томашевский. Л. Гослитиздат. 234 [3] стр. Перепл., тит. и заст. А. Ушина. Тираж 100 тыс.
- Египетские ночи.** Гравюры на дереве А. Кравченко. М. ГИХЛ. 46 [2] стр. с илл. Тираж 50 тыс.*²
- Рец.:* Бегак, Б. „Юбилейные издания Пушкина“. „Книга и пролетарская революция“. М., 1937, № 4, стр. 41—45.

¹ См. „Временник“, тт. 2 и 3.

² Издания, отмеченные в этом указателе звездочкой (6 произведений Пушкина), вышли также объединенными в общую папку: А. С. Пушкин 1837—1937. На внутренней крышке портрет Пушкина, гравюра А. Кравченко.

Избранные стихотворения. Вступ. статья Н. Степанова „Стихотворения Пушкина“. М. ГИХЛ. 64 стр. с портр., стр. 5—8. Тираж 300 тыс.

Избранные стихотворения. Вступ. статья Н. Степанова „Стихотворения Пушкина“. Л., Гослитиздат. 64 стр. с портр., стр. 5—8. Тираж 450 тыс.

Каменный Гость. Гравюры на дереве А. Кравченко. М. ГИХЛ. 62 [2] стр. с илл. Тираж 50 тыс.*

См. примеч. на стр. 591.

Капитанская Дочка. Ред. текста и объяснения Б. Томашевского. (Илл. П. Соколова.) М.—Л. Детиздат. 180 [3] стр. с илл. Перепл., форзац и тит. Ю. Мезерницкого. Тираж 20 тыс.

Капитанская Дочка. Отв. ред. Н. Степанов. Л. Гослитиздат. 124 [2] стр. Тираж 50 тыс.

Капитанская Дочка. Красноярск. Красноярск. гос. изд. 124 [3] стр. с портр. Тираж 12 тыс.

Капитанская Дочка. Ростов н/Дону. Азчериздат. 138 [1] стр. с портр. Тираж 8 тыс.

Капитанская Дочка. Сталинград. Краев. книгоизд. 112 стр. с портр. (Библиотечка начинающего читателя.) На обл. 1937. Тираж 10 тыс.

Медный Всадник. Гравюры на дереве А. Кравченко. М. ГИХЛ. 36 [5] стр. с илл. Тираж 50 тыс.*

См. примеч. на стр. 591.

Моцарт и Сальери. Гравюры на дереве А. Кравченко. М. ГИХЛ. 24 [3] стр. с илл. Тираж 50 тыс.*

См. примеч. на стр. 591.

Пиковая Дама. Автолитографии Н. А. Тырсы. Ред. текста, статья и коммент. Д. П. Якубовича. Л. ГИХЛ. 73 стр., 5 вкл. л. илл. (Александр Пушкин 1837—1937.) Перепл. и тит. В. Двораковского. Тираж 20 300.

Рец.: Девিশев, А. „Иллюстраторы Пушкина“. „Искусство“, 1937, № 2, стр. 67—68.

Пир во время чумы. (Из Вильсоновой трагедии „The city of the plague“). Гравюры на дереве А. Кравченко. М. ГИХЛ. 22 стр. с илл. Тираж 50 тыс.*

См. примеч. на стр. 591.

Повести Белкина. Ред. текста и статья Д. Якубовича. Гравюры на дереве Л. Хижинского. Л. ГИХЛ. 148 [3] стр., 5 вкл. л. илл. (Александр Пушкин 1837—1937.) Перепл., тит. и загол. Г. Епифанова. Тираж 20 300.

Рец.: Девিশев, А. „Иллюстраторы Пушкина“. „Искусство“, 1937, № 2, стр. 67—68.

Повести покойного Ивана Петровича Белкина. Воронеж, Воронежск. обл. книгоизд. 88 стр., фронтисп. [портр.] (Школьная библиотека классиков.) Тираж 15 175.

Поэмы. Воронеж, Воронежск. обл. книгоизд., 292 стр. (Библиотека классиков.) Тираж 15 200.

Содержание: Руслан и Людмила. Кавказский Пленник. Гавриилиада. Братья-разбойники. Бахчисарайский Фонтан. Цыганы. Граф Нулин. Полтава. Домик в Коломне. Анджемо. Медный Всадник. Поэма о Тазите.

Сказка о попе и работнике его Балде. Рис. А. Каневского. (Для младш. возраста.) 2-е изд. М.—Л. Детиздат. 14 [2] стр. с рис. (Книга за книгой.) Тираж 100 тыс.

Сказка о попе и работнике его Балде. Перепл., титул, форзац и илл. худ. Д. Нагишкина. Хабаровск. Дальгиз. 16 стр. с красочн. илл. Тираж 15 тыс.

Сказка о рыбаке и рыбке. Рис. Вл. Конашевича. Изд. 2-е. (Для дошкольного возраста.) [М.] Детиздат. 16 стр. с красочн. илл. Тираж 200 тыс.

Сказка о рыбаке и рыбке. Рис. В. Конашевича. (Для младшего возраста.) М.—Л. Детиздат. 16 стр. с илл. цветн. обл. (Книга за книгой.) Тираж 100 тыс.

Сказка о рыбаке и рыбке. Рис. В. Конашевича. (Для младшего возраста.) 2-е изд. М.—Л. Детиздат. 14 [2] стр. с илл. (Книга за книгой.) Тираж 100 тыс.

Избранные стихотворения. Вступ. статья Н. Степанова „Стихотворения Пушкина“. М. ГИХЛ. 64 стр. с портр., стр. 5—8. Тираж 300 тыс.

Избранные стихотворения. Вступ. статья Н. Степанова „Стихотворения Пушкина“. Л., Гослитиздат. 64 стр. с портр., стр. 5—8. Тираж 450 тыс.

Каменный Гость. Гравюры на дереве А. Кравченко. М. ГИХЛ. 62 [2] стр. с илл. Тираж 50 тыс.*

См. примеч. на стр. 591.

Капитанская Дочка. Ред. текста и объяснения Б. Томашевского. (Илл. П. Соколова.) М.—Л. Детиздат. 180 [3] стр. с илл. Перепл., форзац и тит. Ю. Мезерницкого. Тираж 20 тыс.

Капитанская Дочка. Отв. ред. Н. Степанов. Л. Гослитиздат. 124 [2] стр. Тираж 50 тыс.

Капитанская Дочка. Красноярск. Красноярск. гос. изд. 124 [3] стр. с портр. Тираж 12 тыс.

Капитанская Дочка. Ростов н/Дону. Азчериздат. 138 [1] стр. с портр. Тираж 8 тыс.

Капитанская Дочка. Сталинград. Краев. книгоизд. 112 стр. с портр. (Библиотечка начинающего читателя.) На обл. 1937. Тираж 10 тыс.

Медный Всадник. Гравюры на дереве А. Кравченко. М. ГИХЛ. 36 [5] стр. с илл. Тираж 50 тыс.*

См. примеч. на стр. 591.

Модарт и Сальери. Гравюры на дереве А. Кравченко. М. ГИХЛ. 24 [3] стр. с илл. Тираж 50 тыс.*

См. примеч. на стр. 591.

Пиковая Дама. Автолитографии Н. А. Тырсы. Ред. текста, статья и коммент. Д. П. Якубовича. Л. ГИХЛ. 73 стр., 5 вкл. л. илл. (Александр Пушкин 1837—1937.) Перепл. и тит. В. Двораковского. Тираж 20 300.

Рец.: Девিশев, А. „Иллюстраторы Пушкина“. „Искусство“, 1937, № 2, стр. 67—68.

Пир во время чумы. (Из Вильсоновой трагедии „The city of the plague“). Гравюры на дереве А. Кравченко. М. ГИХЛ. 22 стр. с илл. Тираж 50 тыс.*

См. примеч. на стр. 591.

Повести Белкина. Ред. текста и статья Д. Якубовича. Гравюры на дереве Л. Хижинского. Л. ГИХЛ. 148 [3] стр., 5 вкл. л. илл. (Александр Пушкин 1837—1937.) Перепл., тит. и загол. Г. Епифанова. Тираж 20 300.

Рец.: Девিশев, А. „Иллюстраторы Пушкина“. „Искусство“, 1937, № 2, стр. 67—68.

Повести покойного Ивана Петровича Белкина. Воронеж, Воронежск. обл. книгоизд. 88 стр., фронтисп. [портр.] (Школьная библиотека классиков.) Тираж 15 175.

Поэмы. Воронеж, Воронежск. обл. книгоизд., 292 стр. (Библиотека классиков.) Тираж 15 200.

Содержание: Руслан и Людмила. Кавказский Пленник. Гавриилиада. Братья-разбойники. Бахчисарайский Фонтан. Цыганы. Граф Нулин. Полтава. Домик в Коломне. Анджемо. Медный Всадник. Поэма о Тазите.

Сказка о попе и работнике его Балде. Рис. А. Каневского. (Для младш. возраста.) 2-е изд. М.—Л. Детиздат. 14 [2] стр. с рис. (Книга за книгой.) Тираж 100 тыс.

Сказка о попе и работнике его Балде. Перепл., титул, форзац и илл. худ. Д. Нагишкина. Хабаровск. Дальгиз. 16 стр. с красочн. илл. Тираж 15 тыс.

Сказка о рыбаке и рыбке. Рис. В. Конашевича. Изд. 2-е. (Для дошкольного возраста.) [М.] Детиздат. 16 стр. с красочн. илл. Тираж 200 тыс.

Сказка о рыбаке и рыбке. Рис. В. Конашевича. (Для младшего возраста.) М.—Л. Детиздат. 16 стр. с илл. цветн. обл. (Книга за книгой.) Тираж 100 тыс.

Сказка о рыбаке и рыбке. Рис. В. Конашевича. (Для младшего возраста.) 2-е изд. М.—Л. Детиздат. 14 [2] стр. с илл. (Книга за книгой.) Тираж 100 тыс.

Сказки. Ред. текста и статья М. К. Азадовского. Автолитография Е. А. Кибрика. Л. Гослитиздат. 142 [2] стр., 6 вкл. л. красочн. илл. (Александр Пушкин 1837—1937.) Тираж 20300.

Рец.: Девিশев, А. „Иллюстраторы Пушкина“. „Искусство“, № 2, 1937, стр. 67—68.

Сказки. Рис. В. Кораблинова. Воронеж. Воронежское областное книгоизд. 74 [2] стр. с илл. Тираж 20200.

Сказки. Сказка о рыбаке и рыбке. Сказка о попе и работнике его Балде. Л. ГИХЛ. 15 стр. Тираж 13 тыс.

Скупой рыцарь. (Сцены из Чеховской трагедии-комедии „The covetous knight“.) Гравюры на дереве А. Кравченко. М. ГИХЛ. 38 [2] стр. с илл. Тираж 50 тыс.*

См. примеч. 2 на стр. 591.



УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПУШКИНА, упоминаемых в настоящей книге¹

- Александр Радищев 280, 395, 455, 485.
Альфонс садится на коня 405—416.
Англия есть отечество карикатуры 468, 469.
Анджело 318, 589, 592.
Анчар 119, 404, 488.
Арап Петра Великого 89, 167—169, 177, 192, 210, 544, 588.
Арион 185, 553.
- Баратынский. 1831 („Баратынский принадлежит к числу отличных наших поэтов“) 471, 558.
Баратынскому из Бессарабии („Сия пустынная страна“) 40.
Барышня-Крестьянка 517.
Батюшкову („В пещерах Геликона“) 37, 45.
Бахчисарайский Фонтан 95, 96, 332, 516, 530, 560, 564, 568, 574, 575, 585, 587—589, 592.
Бесы 333.
Битва у Зеницы-Великой 318, 324—326, 330.
См. также Песни западных славян.
Близ мест, где царствует Венеция златая 318, 325—327.
Бова 32, 33, 36, 485.
Бонапарт и черногорцы 318. См. также Песни западных славян.
Борис Годунов 27, 50—52, 57, 89, 196, 237, 301, 312, 386, 389, 392, 393, 461, 470, 474, 519—521, 529—545, 548, 550, 555, 558, 561, 562, 564, 574, 575, 583, 585, 591.
Бородинская годовщина 138.
Братья Разбойники 333, 463, 524, 560, 588, 589, 592.
Будрже и его сыновья 316, 318, 327, 528.
Была пора: наш праздник молодой 119, 507, 508.
- *В газете Le Furet напечатано известие из Пекина 473—476.
В зрелой словесности приходит время 310, 471.
В начале жизни школу помню я 323.
*В одной из Шекспировых комедий 462—464.
В рощах карийских любезных ловцам („Таится пещера“) 44.
В Сибирь („Во глубине сибирских руд“) 576.
В стране, где Юлией венчаный. См. Из письма Гнедичу.
Вадим. План трагедии 538.
Введение в историю французской революции. См. Заметки по истории французской революции.
Видение короля 319, 324, 325. См. также Песни западных славян.
Влах в Венеции 318, 324, 325. См. также Песни западных славян.
Внемли, о Гелиос, серебряным луком звенящий 318, 320, 323, 324, 326, 327, 329.
Вновь я посетил 48, 543, 544.
Воевода 319, 321, 324.
Воевода Милош 323. См. также Песни западных славян.
Вольность. Ода 226, 517, 523, 584.
Воображаемый разговор с Александром I 386.
Ворон к ворону летит. Шотландская песня 319, 322, 330.
Воротился ночью мельник 319.
Воспоминание 404.
Воспоминания в Царском Селе („Навис покров угрюмой ночи“) 119, 128.
Всем известно, что французы народ самый антипоэтический 454, 471.
Вурдалак 319, 326. См. также Песни западных славян.
Выстрел 334—335, 432, 548.

¹ Принадлежность Пушкину заметок, отмеченных звездочкой, впервые устанавливается в настоящей книге.

- Гаврилиада 589, 592.
 Гайдук Хривич 313, 318, 324, 329. См. также Песни западных славян.
 Герой 501, 508, 509.
 Глухой глухого звал к суду судьи глухого 319, 330.
 Городок 32, 35, 36, 44, 485.
 Гости съезжались на дачу 286, 287, 451.
 Граф Нулин 36, 57, 85, 175, 295, 333, 499, 561—566, 589, 592.
 Гробовщик 517, 548.
- Давыдову, А. Л. („Нельзя, мой толстый Аристипп“) 38.
 Давыдову, В. Л. („Меж тем как генерал Орлов“) 590.
 Давыдову, Д. В. При посылке „Истории пугачевского бунта“ 257.
 Дар напрасный, дар случайный 404.
 Дельвиг родился в Москве... См. Заметки о Дельвиге.
 Денница, Альманах на 1830 г., изд. М. Максимовичем 301, 302.
 Деревня 281, 544, 545, 590.
 Детская книжка 499, 557.
 Джон Теннер 290, 318.
 Дневник 1833—1835 гг. 134, 192, 275.
 Добрый совет 318.
 Домик в Коломне 44, 79, 328, 517, 520, 589, 592.
 Дон 119.
 Дубровский 11, 167—169, 176, 503, 504, 587—591.
- Евгений Онегин 28, 29, 31, 36—38, 41, 42, 44, 46, 47, 54, 57, 79, 80, 85, 89, 93, 99, 100, 108, 121, 122, 132, 135, 165, 244, 283, 310, 327, 453, 460, 469, 470, 475, 483, 484, 487, 497—510, 516—518, 520, 521, 526, 543, 545, 550, 551, 553, 559—562, 564, 575, 576, 584, 586, 587, 590.
 Египетские Ночи 588, 592. См. также Чертог сиял. Гремели хором.
 Есть различная смелость 328.
 Еще одной высокой, важной песни 318, 320, 321.
- Железная маска 318.
 Жених 333.
- Заметка к „Графу Нулину“ 175, 566.
 Заметка о Полтаве (Habent sua fata libelli) 43, 44, 71, 88, 89, 471, 562, 564, 565.
- Заметка о холере 461.
 Заметка об утрате адреса подписчика из г. Холма 558.
 Заметки в „Литературной Газете“ 1830 г. См.: Англия есть отечество карикатуры; Когда Макферсон издал „Стихотворения Оссиана“; Новые выходки противу тах наз. литературной нашей аристократии.
 Заметки, исключенные из опыта отражения некоторых нелитературных обвинений. См. Опровержение на критики.
 Заметки к „Истории Пугачева“ 184, 207, 224, 226, 228, 235, 250. См. также История Пугачева и Общисе замечания.
 Заметки на полях „Опытов в стихах и прозе“ К. Н. Батюшкова 300, 312.
 Заметки о Дельвиге 32.
 Заметки о критике и полемике 467, 569, 570.
 Заметки о народной драме и о „Марфе Посаднице“ М. П. Погодина 393.
 Заметки о ранних поэмах. См. Опровержение на критики.
 Заметки о русском дворянстве 297.
 Заметки по истории французской революции 367—372, 374—376, 384, 385.
 Заметки по русской истории XVIII в. 193, 226, 232.
 Заметки при чтении „Описания землед Камчатки“ С. П. Крашенинникова 583.
 *Замечание („Острая шутка не есть окончательный приговор“) 459.
 Замечания на „Анналы“ Тацита 32, 41, 50, 52, 53.
 Замечания на „Песнь о Полку Игореве“ 303, 313, 472.
 Записки бригадира Моро-де-Браве 318, 583.
 Записки Н. А. Дуровой, издаваемые А. Пушкиным 44, 472.
 Земля и море 314.
 Зимний вечер 101.
 Золото и булат 318.
- Из А. Шенье („Покров, упитанный яввительною кровью“) 44, 325, 326.
 Из Анакреона. Отрывок („Узнают коней ретивых“) 318, 322.
 Из Ариостова „Orlando Furioso“ 318, 321, 322, 324.
 Из Афея („Славная флейта, Феон, здесь лежит“) 315, 318, 324.
 Из „Гяура“ 319.
 Из X сатиры Ювенала. См. Ценитель умственных творений исполнских.

- Из кишиневского дневника 455.
 Из комедии К. Бонжура „Муж-волокита“ 318, 324.
 Из Ксенофана Колофонского 318.
 Из „Песни Песней“ 319.
 Из Пиндемонта („Не дорого ценю я громкие права“) 216.
 Из письма к Гнедичу („В стране, где Юлией венчаный“) 40, 41.
 Из письма к Ф. Ф. Вигелю („Проклятый город Кишинев“) 41.
 Из „Цыганочки“ 319.
 Из „Экскурсии“ Вордсворта 319.
 Изучение Шекспира, Карамзина. См. Наброски предисловия к „Борису Годунову“.
 Исповедь стихотворца 485.
 История Петра. См. Материалы для Истории Петра Великого.
 История Пугачева 14—17, 19—24, 168, 170, 177, 179, 182, 183, 187, 195, 196, 203—207, 211, 212—256, 278, 395, 526, 528, 553, 583, 588, 591.
 „История Русского Народа“, сочинение Николая Полевого. Статья I 461.
 История села Горюхина 502, 588, 589.
 К Батюшкову 40.
 К А. П. Керн („Я помню чудное мгновенье“) 543, 554.
 К вельможе („От северных оков освобождаю мир“) 119, 565.
 К Галичу 128.
 К другу стихотворцу 34, 128.
 К Каверяну 30.
 К Лицинию 32, 36, 323.
 К морю 508.
 К Овидию 40.
 К переводу Илиады („Крив был Гнедич. поэт“) 54.
 К Пушкину („Любезный именинник“) 45.
 К Языкову („Издревле сладостный союз“) 40.
 Кавказ („Кавказ подо мною“) 290.
 Кавказский Пленник 40, 135, 333, 516, 546, 560, 564, 574, 588, 589, 592.
 Какая ночь! Мороз трескучий (Опрычник) 335.
 Как с древа сорвался предатель-ученик. Подражание итальянскому 319.
 Калмычке 333.
 Каменный гость 327, 547, 587, 592.
 Капитанская Дочка 5—13, 165—211, 220, 223, 233, 243, 247, 253, 278, 336, 486, 488, 504, 528, 584, 588, 592.
 Карелия, или заточение Марфы Иоанновны Романовой... Федора Глинки 471.
 Кинжал 333, 498.
 Кирджали („В степях зеленых Булжака“) 215, 234, 588.
 Клеветникам России 138.
 Кобылица молодая (Из Анакреона) 319.
 Когда владыка ассирийский 319.
 Когда Макферсон издал „Стихотворения Оссиана“ 313. См. также Заметки в „Литературной Газете“ 1830 г.
 Кольна. Подражание Оссиану 313, 324.
 Конь („Что ты ржешь, мой конь ретивый“) 319, 324, 326, 330, 335. См. также Песни западных славян.
 Короче дни, а ночи доле 319.
 Критикую у нас большею частью занимаются. См. Заметки о критике и полемике.
 Кто из богов мне возвратил 48, 319, 321.
 Лаиса Венере, посвящая ей свое зеркало 313.
 Лицинию. См. К Лицинию.
 Любовь одна — веселье жизни хладной 38.
 Мальчику (Из Катулла) 39, 318, 322.
 Марко Якубович 318, 324, 326, 327, 329. См. также Песни западных славян.
 Марциан Колонна 319.
 Материалы для истории Петра Великого 395, 522, 553, 583.
 Материалы к „Отрывкам из писем, мыслям и замечаниям“ 312, 328.
 Медный Всадник 62, 91—124, 320, 579, 588, 589, 591, 592.
 Медок. Медок в Уаллах 318, 319.
 Метель 136, 334, 517, 548.
 *Мильтон говаривал 464—467.
 Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности 470, 472.
 Мои замечания об русском театре 45, 302, 470.
 Монах 90, 485
 Моцарт и Сальери 499, 517, 587, 592.
 Моя родословная 287.
 На возвращение государя императора из Парижа в 1815 г. 125, 128.
 На выздоровление Лукулла 32, 119, 154, 332.
 На Испанию родную 318, 322.
 На Каченовского („Бессмертною рукой раздавленный зои!“) 50.

- На перевод Илиады („Слышу умолкнувший звук“) 54.
- Наброски возражений критикам языка и стиля „Евгения Онегина“, см. Опровержение на критики.
- Наброски письма в редакцию „Литературной Газеты“. См. Письмо к издателю „Литературной Газеты“.
- Наброски предисловия к „Борису Годунову“ 558, 559.
- Наброски статей для „Современника“. См. Об „Истории поэзии“ С. П. Шевырева. Путешествие В. А. Пушкина.
- Наброски статей о Баратынском. См.: О „Стихотворениях“ Баратынского 1827 г.; О „Бале“ Баратынского; Баратынский. 1831.
- Наброски третьей статьи об „Истории русского народа“ Н. А. Полевого 288.
- Набросок критической заметки („Смешно как веруют у нас каждой шутке“) 591.
- Наполеон („Чудесный жребий совершился“) 128, 508.
- Напрасно я бегу к сионским высотам 321.
- Начало 1-й песни „Девственницы“ 318, 328, 329.
- Начало статьи о русской прозе. См. О слоге. Недавно бедный музульман 319.
- Недвижный страж дремал на царственном пороге 482, 483, 490, 491, 508.
- Несколько московских литераторов 302.
- Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем 456.
- Несчастье Клита 31.
- Нимфодоре Семеновой 403.
- Новые выходки противу так называемой литературной нашей аристократии 474. См. также Заметки в „Литературной Газете“ 1830 г.
- Ночь светла, в небесном поле 319.
- О Байроне и его подражателях 46.
- О „Бале“ Баратынского („Пора Баратынскому занять на русском Парнасе“) 458, 558.
- О, бедность, затвердил я наконец 319.
- Общие замечания. См. Заметки об „Истории Пугачева“.
- О Дельвиге 28.
- О журнальной критике (О литературной критике) 567.
- О записках Видока 455, 456, 476, 565—566.
- О записках Самсона 470.
- О литературной критике. См. О журнальной критике.
- О Мильтоне и Шатобриановом переводе „Потерянного рая“ 310, 454, 459, 466.
- О муза пламенной сатиры 508—509.
- О народном воспитании 48, 53, 132, 519, 521.
- О народности в литературе („С некоторых пор вошло“) 566, 567.
- О ничтожестве литературы русской (О русской литературе с очерком французской) 46, 47, 380, 450, 458, 460, 466, 470, 471, 502.
- О переводе романа Б. Констана „Адольф“ 471.
- О поэзии классической и романтической 328, 567, 568.
- О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова 314, 471.
- О „Путешествии к св. местам“ А. Н. Муравьева 568.
- О „Ромео и Джульете“ Шекспира 471.
- О слоге (Начало статьи о русской прозе) 47.
- О сочинениях П. А. Катенина 310, 470, 567.
- О статьях князя Вяземского 471, 566.
- О „Стихотворениях“ Баратынского 1827 г. („Наконец появилось собрание стихотворений Баратынского“) 558.
- Об альманахе „Северная Лира“ 302, 471.
- Об Альфреде Мюссе 47.
- Об „Истории поэзии“ С. П. Шевырева 287. См. также Наброски статей для „Современника“.
- Об „Истории Пугачевского бунта“ 221, 228.
- Объяснение („Одно стихотворение, напечатанное в моем журнале, навлекло на меня обвинение“) 159.
- Ода LVI (Из Анакреона) („Поредели, победы“) 318, 322.
- Ода LVII („Что же сухо в чаше дно?“) 318.
- Олегов щит 119.
- Опричник. См. Какая ночь! Мороз трескучий.
- Опровержение на критики 559, 562, 563—565, 568.
- Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений 183, 453, 473, 474, 559, 562—565, 570.
- Осень („Октябрь уж наступил“) 591.
- Осердился Георгий Петрович 324.
- Оставь, о Лесбия, лампаду 39.

- От редакции „Современника“ („Для очи-
стки совести нашей“) 471, 472.
- Отрывки из писем, мысли и замечания 460,
461, 464, 567.
- Отрывок из литературных летописей 38,
461, 472.
- Отцы-пустынники и жены непорочны 319,
321, 330.
- Отчет издателя „Литературной Газеты“.
См. Опровержение на критики.
- Перед гробницею св той 137.
- Песни западных славян 318, 320, 324, 325,
327, 330, 337. См. также Битва у Зеницы
Великой; Бонапарт и черногорцы; Видение
короля; Влах в Венеции; Воевода Милош.
Вурдалак; Гайдук Хризич; Конь; Марко;
Якубович; Похоронная песня Иакинфа
Маглановича; Сестра и братья; Соловей
мой, соловейко; Феодор и Елена; Черно-
горцы, что такое? Янко Марнавич.
- Песнь о вещем Олеге 333.
- Пиковая Дама 331—356, 548, 551, 588, 589,
592.
- Пир во время чумы 318, 321, 324—327, 329,
587, 592.
- Пир Петра Первого 119, 162.
- Пирующие студенты 31, 50.
- Писатели, известные у нас 569.
- Письмо к издателю 456.
- Письмо к издателю „Литературной Газеты“
566, 567.
- Повести покойного Ивана Петровича Белкина
282, 338, 485, 486, 519, 583, 589, 592.
См. также: Барышня-Крестьянка; Вы-
стрел; Гробовщик; Метель.
- Подражание арабскому („Отрок милый,
отрок нежный“) 320.
- Подражание итальянскому. См. Как с древа
сорвался предатель-ученик.
- Подражания Корану 314, 319, 320, 591.
- Полководец 125—164.
- Полтава 43, 44, 57—90, 114, 333, 335, 435—
452, 471, 481—483, 521, 562—565, 588,
589, 591, 592.
- Получит то, чего он стоит 319.
- Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит
321, 556.
- Послание В. А. Жуковскому. См. Штабс-ка-
питану, Гете, Грею.
- Послание В. Л. Пушкину („Скажи, парнас-
ский мой отец“) 45.
- Послание к Галичу („Где ты ленивец мой“) 45.
- Послание к Давыдову 590.
- Послание к Наталье („Так и мне узнать,
случилось“) 575.
- Послание к Юдину 45, 128.
- Послание Лиде („Тебе, наперсница Венеры“) 30,
31, 485.
- Последний из свойственников Иоанны д'Арк,
276, 295.
- Послесловие к „Долине Ажитугай“ 472.
- Похоронная песня Иакинфа Маглановича
319. См. также Песни западных славян.
- Поэт и толпа 38.
- Поэту („Поэт, не дорожи любовью народ-
ной“) 333.
- Примечание к слову „богадельня“ 558.
- Примечание о памятнике кн. Пожарскому и
гражд. Минину 142.
- Принцу Оранскому 128.
- Прозерпина 318.
- Пророк 119.
- Путешествие в Арзрум 29, 36, 46, 133, 134,
314, 320, 463, 503.
- Путешествие В. Л. Пушкина 40, 47, 568. См.
также наброски статей для „Современ-
ника“.
- Путешествие из Москвы в Петербург 38, 242,
277, 284—287, 292—293, 296—298, 458,
465, 466, 471, 557.
- Пушкину, В. Л. („Что восхитительней, жи-
вей“) 387.
- Разговор о критике 568.
- Разговор с англичанином. См. Путешествие
из Москвы в Петербург.
- *Г. Раич счел за нужное отвечать критикам
472.
- Режь меня, жги меня. См. Цыганы.
- *Рецензия на „Невский Альманах“ 1830 г.
467—470.
- Родословная моего героя 287, 394, 589.
- Роман в письмах 297.
- Рославлев 136, 242, 477—479.
- Русалка 587—590, 592.
- Руслан и Людмила 31, 40, 80, 90, 100, 332,
473, 547, 560, 564, 574, 575, 588—590,
592.
- Русский Пелаг 120, 295.
- С отвращением решаюсь я выдать в свет.
См. Наброски предисловия к „Борису
Годунову“.
- С португальского („Там звезда зари взошла“) 318,
326.

- Сам съешь. См. опровержения на критики.
 Сестра и братья 318, 324, 325, 330. См. также Песни западных славян.
 Сказка о золотом петушке 589.
 Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях 319, 589.
 Сказка о попе и работнике его Балде 589, 592, 593.
 Сказка о рыбаке и рыбке 319, 589, 592, 593.
 Сказка о царе Салтане 589.
 Скупой рыцарь 517, 547, 550, 551, 554, 587, 593.
 Славная флейта, Феон, здесь лежит. См. из Афедея.
 Словарь о святых 472.
 Сновидение 318.
 Собрание сочинений Георгия Кониского 455, 471.
 Соловей мой, соловейко 318, 319, 324, 328. См. также Песни западных славян.
 Сомненье, страх, порочную надежду (Из Alfieri) 318, 325.
 Сон 40.
 Сонет („Суровый Дант не презирал сонета“) 319.
 Стансы („В надежде славы и добра“) 119 519.
 Стансы (Из Вольтера) („Ты мне велишь пылать душою“) 318.
 Стансы Толстому 45.
 Старик 318, 322, 323.
 Сто лет минуло как Тевтон. Из „К. Валленрода“ 318, 321, 322, 325, 328, 329.
 Странник 319, 321, 326, 329.
 Сцена из Фауста 547.
 Сцены из рыцарских времен 278, 518, 587.
 Тазит 184, 584, 589, 592.
 Таится пещера. См. В рощах карийских...
 Твои догадки сущий вздор (Эпиграмма на Ф. И. Толстого) 591.
 Тень Фонвизина 59, 90.
 То было вскоре после боя 319.
 Торжество Вакха 30.
 Торжество дружбы, или оправданный А. А. Орлов 456.
 Уединение 318, 322, 329.
 Узнают коней ретивых. См. Из Анакреона. Отрывок.
 Утопленник 404.
 Фатам 485—487.
 Феодор и Елена 319, 326, 330. См. также Песни западных славян.
 Философ (Комедия) 485.
 Фракийские влэгии. Стихотворения В. Теплякова 35, 39, 42, 461.
 Художнику 160.
 Царей потомок, Меценат 47, 319.
 Царь увидел пред собою 319.
 Цезарь путешествовал 29, 32, 39, 49, 53, 168.
 Ценитель умственных творений исполненных 322.
 Цыганы 42, 90, 303, 318, 320, 333, 335, 356, 463, 537, 548, 551, 560-562, 564, 583 592.
 Чаадаеву („В стране, где я забыл тревоги прежних лет“) 40, 519.
 Чем чаще празднует Лицей 119, 507, 508.
 Черная шаль 303, 318, 320, 322, 329, 330.
 Черногорцы, что такое? 326. См. также Песни западных славян.
 Чертог сиял. Гремели хором 53. См. также Египетские Ночи.
 Читали вы в последнем №. См. Заметки о критике и полемике.
 Что белеется на горе зеленой 318, 320, 323, 324, 328, 330.
 Шишчову 38.
 Шотландская песня. См. „Ворон к ворону летит“.
 Штабс-капитану, Гете, Грею 37, 45.
 Шумит кустарник 319.
 Эвлега 318, 327—329.
 Эхо 319.
 Я здесь, Инезилья 320.
 Я памятник себе воздвиг нерукотворный 44, 47, 110, 114, 119, 123, 554, 582, 591.
 Янко Марнович 318, 324, 330. См. также Песни западных славян.
 Яныш королевич 323. См. также Песни западных славян.
 Noël 40.
 Roman du Renard (перевод) 315.
 Table-talk 465.
 To Dawe Esq-r 133.
 Vie, poésies et pensées de Joseph Delorme 328, 461.

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ ИМЕН

- Август 40, 41, 46, 49—51, 399—402.
 Аврелий Виктор 36, 53.
 Агриппа Постум 51, 52.
 Адлерфельд, Г. 426, 436, 437, 444.
 Авадовский, М. К. 488—490, 583, 589, 591, 593.
 Айвазовский, И. К. 575.
 Аксаков, С. Т. 177, 524.
 Аладьин, Е. В. 71, 200, 467.
 Ал-в, М. 456.
 Александр I 40, 50, 51, 55, 88, 97, 106, 114, 126—128, 131, 132, 163, 228, 386, 480, 500, 501, 574, 576.
 Александренко, В. Н. 259.
 Александров, В. 253.
 Алексеев, М. П. 128, 526, 550, 586.
 Алексеев, Н. С. 528.
 Алкей 49.
 Алларт, ген. 446.
 Альбоин, король 372.
 Альгаротти, Ф. 320.
 Альтман, И. Л. 587, 591.
 Альфьери, В. 43, 55, 318, 325.
 Алымова, Л. М. 590.
 Аммосов, А. 424, 425, 434.
 Анакреон 37, 39, 49, 54, 318, 320, 322.
 Андроников, И. Л. 164, 586, 587.
 Анкетиль, Л. П. 373.
 Анна Иоанновна, имп. 156, 227.
 Анненков, П. В. 47, 62, 125, 133, 142, 297, 336, 377, 378, 415, 453, 455, 459, 485—487, 531, 532, 550.
 Ансло, Ж. 333, 464.
 Антоний, К. 49.
 Апраксин, Ф. М. 69.
 Апулей 38, 54.
 Аракчеев, А. А. 584.
 Арендт, А. А. 584.
 Арендт, Н. Ф. (Арнд) 161, 162.
 Аржантен 192.
 Арина Родионовна 520, 544, 545, 584.
 Ариосто, Л. 31—33, 301, 304, 307, 315, 318, 320—324, 328, 329.
 Аристарх 35, 41.
 Аристипп 30 31.
 Аристов, И. С. 184.
 Арно, А. 317, 321, 329.
 Аронсон, М. И. 440.
 Артоболевский, Г. В. 585.
 Архенгольц, И. (Archenholz, J. W.) 259, 260, 289.
 Архилох 49.
 Аршиак д', виконт 423—426, 428—430, 432—434.
 Атласов, казак 395.
 Афеней 318.
 Афанасьев, А. Н. 488.
 Ахун, М. И. 523, 525.
 Ашукин, Н. С. 515, 528.
 Баак, К. 527.
 Бабин, В. П. 18—20, 24.
 Багратион, П. И., кн. 126, 163.
 Багрицкий, Э. Г. 578.
 Бадалич, И. 549.
 Байрон, Дж. 46, 47, 55, 80, 81, 84, 90, 241, 276, 286, 296, 302, 306, 315, 319, 449, 462, 464, 497, 498, 502, 516, 518, 519, 547, 548, 551, 553, 554, 575.
 Байский, П. см. Сомов, О. М.
 Баканов, И. М. 589.
 Балакирев, А. К. 524.
 Балинский, М. 407.
 Бальденсперже, Ф. (Baldensperger, F.) 546.
 Бантыш-Каменский, Д. Н. 20, 69, 435—439, 441, 444, 481.
 Барант, П., де. 367, 369, 374, 381, 382.
 Баратынский, Е. А. 19, 40, 309, 392, 393, 458, 471, 523, 558.
 Барклай де Толли, М. Б. 125—127, 131, 134—142, 144—148, 149, 150—158, 159, 160, 162, 163, 164, 242, 508.

- Барсуков, Н. П. 393.
 Бартнев, П. И. 29, 137, 152, 426, 536.
 Баторий, С. 545.
 Батюшков, К. Н. 35, 37, 38, 40, 45, 93, 94, 103, 109, 300, 302, 303, 307, 312, 313, 315, 320, 323, 328, 471, 585.
 Бауер, Р. Х., см. Боур, Р. Х.
 Баумейстер, Ф. Х. 468, 472.
 Бахрушин, Ю. А. 525.
 Бахтин, Н. И. 304, 305, 316.
 Башарин, кап. 11, 168, 244.
 Бегак, Б. 486—587, 592.
 Бейль, А., см. Стендаль.
 Белецкий, А. И. 175, 198, 589.
 Белинский, В. Г. 61, 90, 91, 119, 123, 165, 175, 185, 321, 394, 516, 517, 525, 537, 575.
 Беллиг, ген.-поруч. 446.
 Беллизар, Ф. 362.
 Бель, А. 483.
 Белобородов, И. Н. 8, 10, 12, 203.
 Бельчиков, Н. Ф. 523, 527, 583, 584.
 Бем, А. Л. 547.
 Бенедиктов, В. Г. 333, 547.
 Бенкендорф, А. Х. 17, 133, 141, 168, 266, 267, 276, 424, 521, 552, 577, 580.
 Беннигсен, Л. Л. 126, 163.
 Бентам, И. 262.
 Бенъян, Д. 321, 329.
 Берже, А. П. 490.
 Беркова, К. Н. 515, 518, 519.
 Берстель, А. К. 134.
 Бестужев-Марлинский, А. А. 38, 46, 179, 210, 306, 309, 316, 438, 516, 518, 524.
 Бестужев-Рюмин, М. А. 466, 563.
 Бибииков, А. А. 222, 224, 234, 245.
 Бибииков, А. И. 180, 182, 184, 222, 224, 227, 229—231.
 Бибул 49.
 Бикбай 21, 24.
 Биксио, Д. А. 336.
 Билов, Григ. 21, 235.
 Бим Баш, Савва 314.
 Бирон, Э. И. 104—106, 227.
 Бирюков, П. И. 548.
 Биша, К. 483.
 Благой, Д. Д. 57—59, 86, 109, 514, 517, 522—523, 529—532, 583, 536, 587.
 Блай (Bligh), дипломат 284, 298.
 Блинова, казачка 23.
 Блинова, Е. М. 528, 588.
 Блудов, Д. Н. 480.
 Бобров, Е. А. 19.
 Бобров, С. С. 93—97, 106.
 Боброва, Е. И. 332, 546—550.
 Богаевская, К. П. 579—583.
 Богословский, Н. В. 584, 590.
 Боденштедт, Ф. 550
 Боккачио, Д. 407, 568.
 Болотов, П. А. 524.
 Бомарше, П.-О. 547.
 Бонди, С. М. 89, 134, 141, 450, 501, 558, 583, 586, 590, 591.
 Бонжур, К. 318, 324.
 Бонифаций VIII 366, 367, 375.
 Бонч-Бруевич, В. Д. 280, 524, 583, 586.
 Борг (Борк), К. Ф. фон-дер 306.
 Бордет, Ф. 268, 269.
 Борецкая, Марфа 393.
 Бориневич-Бабайцева, З. А. 405, 407.
 Боричевский, И. А. 527.
 Доровкова-Майкова, М. С. 479, 480, 584.
 Бортвик 294, 295, 297.
 Боур, Р. Х. 74, 446, 447.
 Боуринг, Д. 306.
 Бразе, Моро-де- 318, 583.
 Брамбеус, барон, см. Сенковский, О. И.
 Браницкий, Кс. 405.
 Бреверн, полк. 433.
 Бригген, А. Ф. фон-дер 441.
 Бродский, Н. Л. 498, 515, 520, 521.
 Броневский, В. Б. 37, 211, 213, 217, 221, 223, 238—241, 243, 244, 247, 517.
 Бругт, Марк Юний 48—50, 500, 501.
 Брюкнер, А. (Brückner, A.) 407, 408, 550.
 Брюллов, К. П. 575.
 Брюнетьер, Ф. 198.
 Брюс, Я. В. 74, 446.
 Брюсов, В. Я. 119, 212, 453, 578.
 Буало, Н. 32, 35, 47, 312, 398, 400—402, 460.
 Бугославский, С. А. 584.
 Будри, Д. 32.
 Бузескул, В. П. 187.
 Буланин 170.
 Булгаков, А. Я. 275, 480.
 Булгаков, К. Я. 480.
 Булгарин, Ф. В. 130, 169, 176, 266—270, 275, 276, 278, 334, 403, 443, 456, 468, 473, 475, 518, 521, 561, 563, 566, 581.
 Буленвилье 376.
 Бульвер-Литтон, Э. Д. 295.
 Бунина, А. П. 106.
 Бунтова, казачка 22—24.
 Буонаротти, см. Микель-Анджело.
 Бурденко, Н. Н. 584.
 Бурцев, И. Г. 134.

- Бутакова, В. И. 31.
 Буторин, Д. Н. 589, 590.
 Бутурлин, Д. П. 450—452.
 Бюргер, Г.-А. 308—310.
 Бюре, Е. (Buret, E.) 276.
- Вакуров, И. П. 589.
 Валберхова, М. И. 173.
 Валон, см. Делессер-Валлон.
 Вальполь, Г. 484.
 Ван-Вондель 102.
 Ван-Пангейз, П. 527.
 Варнгаген-фон-Энзе, К.-А. 537, 538.
 Варфоломеев, А. В. 589.
 Васко де Гама 392.
 Ватагин, А. 589.
 Батсон 360.
 Вега, Л. де 567.
 Вегнер, М. 522.
 Вейденбаум, Е. Г. 134.
 Вейс, Ф. Р. 487.
 Геликопольский, И. Е. 47.
 Велланский, Д. М. 465, 475.
 Велли 373.
 Веллингтон, А. В., герцог 131, 257, 279.
 Вельтман, А. Ф. 522.
 Венгеров, С. А. 30, 44, 53, 139, 140, 143, 415, 453, 459, 485, 490, 529, 531, 532.
 Веневитинов, Д. В. 393.
 Вениамин, еписк. казанский 18, 20.
 Венкстерн, А. А. 525.
 Вергилий 28, 30—39, 54, 96, 129, 306, 314, 399—402, 465.
 Веревкин, М. И. 313.
 Вересаев, В. В. 515—518, 522, 587, 588.
 Верховский, Н. П. 583.
 Веселовский, Александр Н. 292.
 Веселовский, Алексей Н. 166, 504.
 Вибий Серен 51.
 Вигель, Ф. Ф. 522.
 Видок 455, 456, 474—476.
 Виланд, Х.-М. 53.
 Вильгельм Завоеватель 367.
 Вильгельм IV 257, 269.
 Вильсон, Дж. 318, 321, 326—328, 592.
 Вильсон, К. Т. 549.
 Виноградов, А. К. 332, 333, 340—342.
 Виноградов, В. В. 85, 122, 453—476, 583—584.
 Винокур, Г. О. 521, 529—542, 558, 586.
 Виньи, А. де 175, 192, 454.
 Виргилий, см. Вергилий.
 Витсен, 389.
 Владимир, князь 391.
 Владимиреско, Т. 314, 455.
 Владимирский, Г. Д. 300—330.
 Вогюв, М. де 343, 548.
 Воейков, А. Ф. 475, 521, 524.
 Войнаровский А. 438.
 Волконская, Е. Г., кн. 447.
 Волконский, Г. С., кн. 446—447.
 Волконский, С. Г., кн. 281, 447.
 Вольтер, Ф.-М. 27, 28, 30—37, 40—41, 86, 193, 318, 319, 323, 329, 331, 359—370, 372—380, 382—384, 409, 411, 435—437, 441—446, 448—450, 460, 466, 481—483, 485, 486, 547, 552.
 Вордсворт, В. 315, 319, 324, 326.
 Воронина 23.
 Воронов 182.
 Воронцов, М. С., гр. 50, 141.
 Воронцова, Е. К., гр. 405, 407, 408.
 Востоков, А. Х. 308, 323.
 Врангель, Н. Н. 129.
 Враский, Б. А. 526.
 Вревская, С. Б. 542.
 Вульф, А. Н. 522.
 Вяземская, В. Ф., кн. 479, 545, 584.
 Вяземский, П. А., кн. 28, 38, 45, 46, 50, 51, 95, 100, 135, 149, 224, 226, 227, 272—275, 279, 292, 295, 297, 299—301, 303, 304, 309, 310, 360, 387, 389, 403, 404, 406, 409, 417, 418, 423, 426—428, 434, 454—457, 459—461, 464, 465, 468—471, 473, 475, 479, 480, 522, 526, 528, 535, 536, 541, 566—568, 577, 590, 591.
 Г., Б. К., см. Голицын, Б. Г., кн.
 Гагарин, И. С. 429.
 Гаевский, В. П. 459, 485, 486.
 Гаевский, П. И. 155.
 Галахов, А. Д. 165, 166.
 Галахов, П. А. 156.
 Галера, А. 523.
 Галич, А. И. 454.
 Галлам, Г. (Hallam) 367, 370, 371, 375—377.
 Гаммедж, Р. 268.
 Ганнибал, А. П. 522, 543, 544.
 Ганнибал, М. А., см. Пушкина, М. А.
 Ганнибал, О. А. 522.
 Ганнибал, П. А. 545.
 Гаррис, см. Каллаш, М. А.
 Гевеис 527.
 Гегель, Г.-В. 91.
 Гедил 55, 314, 318, 320, 324.
 Геерен, М. (Heegen, M.) 481—483.
 Гейне, Г. 274, 552.

- Гейншин 74.
 Геккери, Л., барон 420, 422, 424, 427, 428, 432, 527.
 Гельд, Г. Г. 44.
 Геннади, Г. Н. 332, 453.
 Геннекен, П. (Hennequin, P.) 400, 402.
 Генрих V 127.
 Георг IV 257.
 Георги, Г. 97, 104.
 Георгиевский, Г. П. 590.
 Георгиевский, П. Е. 522.
 Георгий, арнаут 314.
 Герасимов, А. 579.
 Герберштейн, С. 389.
 Гердер, И.-Г. 483.
 Герман, И. Г. 31.
 Германик 51, 52.
 Герцен, А. И. 123.
 Гессен, С. Я. 132, 134, 136, 437, 506, 521—523, 525.
 Геге, И.-В. 29, 55, 92, 304, 537, 547, 551, 552.
 Гетце 306.
 Гиббои, Э. 360, 483—485.
 Гизо, Ф. 239, 288, 367, 369, 370, 372, 377, 481, 484, 485.
 Гинзбург, М. 590.
 Гиппиус, Вас. В. 91, 490, 527, 557—568, 583, 584, 591.
 Гиппиус, Г. 130.
 Гиффорд (Джиффорд), В. 275.
 Гладкий, А. 542.
 Гладкова, Е. С. 542—546.
 Глебов, А. 306.
 Глебов-Бердяев, Г. С. 485—487, 584.
 Глинка, С. Н. 460, 461.
 Глинка, Ф. Н. 119, 130, 471, 522.
 Гнедич, Н. И. 40, 42, 54, 103, 300—302, 305, 306, 308—310, 320, 332, 391, 473.
 Гогниев, И. Е. 524.
 Гоголь, Н. В. 47, 116, 123, 150, 176, 192, 331, 336, 340, 341, 490—493, 518, 519, 525, 537, 547.
 Голенищев-Кутузов, И. Л. 150.
 Голенищев-Кутузов, Л. И. 150—162.
 Голенищев-Кутузов, М. И. 74, 126, 127, 131, 137—139, 147, 152, 155, 157, 158, 160, 162.
 Голике, В. 129.
 Голиков, И. И., историк 74, 435, 436, 438, 439, 442—448, 481.
 Голиков, И. И., художник 589.
 Голицын, А. Н., кн. 523.
 Голицын, Б. Г., кн. 307.
 Голицын, Н. Б., кн. 312.
 Голицын, П. М., кн. 21, 24, 225, 248.
 Голубев, В. Э. 542.
 Гомер 28, 30, 32—34, 37, 54, 58, 300—302, 309, 313, 314, 346, 398, 400—402, 465, 485.
 Гонваго, Т. 318, 326.
 Гонт, Г. 257, 264, 265, 268.
 Гончаров, А. Н. 493, 511.
 Гончаров, И. А. 175.
 Гончарова, А. Н. 423.
 Гончарова, Е. Н. 419—420, 422, 424, 428, 431.
 Гораций 27—29, 32, 35, 37, 39, 44—50, 55, 102, 103, 185, 318, 321, 360, 400, 402.
 Горбов, В. 579.
 Городецкий, Б. П. 529—542.
 Горчаков, А. М., кн. 523, 575.
 Горчаков, В. П. 522.
 Горький, А. М. 578, 585, 585, 588.
 Готовцева, А. П. 568.
 Гофман, М. Л. 166, 198, 498, 502.
 Гофман, Э.-Т.-А. 319.
 Граббе, П. X. 139, 140.
 Гребенщиков, И. В. 23.
 Греков, Б. Д. 583.
 Грекур, Ж.-Б. 30.
 Грессэ, Ж.-Б. 30, 35, 40, 42.
 Грей, Ч. 257.
 Греч, Н. И. 150, 154, 169, 266, 275, 276, 278, 550, 581.
 Грибоедов, А. С. 310, 316, 528, 579.
 Гримм, братья 319, 320.
 Гринев 184, 185.
 Гросс-Гейнрих, К. 524, 525.
 Гроссман, Л. П. 57, 76, 84, 152, 417—434.
 Грот, К. Я. 487.
 Грот, Я. К. 479.
 Грузинцов, А. Н. 58, 60, 65—67, 69, 70, 72, 73, 75, 76, 82, 85—89, 109.
 Грушкин, А. И. 210—256, 583.
 Гутниха 17.
 Гудзий, Н. К. 586.
 Гуковский, Г. А. 210, 477—479, 514, 584, 585.
 Гуляев, В. Г. 196—209.
 Гюго, В. 130, 274, 470.
 Д., И. 394.
 Давыдов, А. В. 397—404.
 Давыдов, А. Л. 31, 38, 46.
 Давыдов, В. Д. 423, 433.
 Давыдов, В. Л. 590.
 Давыдов, Д. В. 19, 139, 141, 195, 242.
 Дакэн, Д. 335.
 Даламбер, Ж. 326.
 Даллоз, П. (Daloz, P.) 546.

- Даль, В. И. 23, 187, 488, 489, 522, 527.
 Данзас, К. К. 423—426, 434, 522.
 Данилов, Кирша 390.
 Данте, А. 38, 55—56, 302, 304, 300—312, 323, 462, 466, 470.
 Дантес-Геккерн, Ж. 160—162, 419—434, 527, 528, 579, 580.
 Д'Аржан, маркиз 400, 402.
 Д'Арк, Жанна 276.
 Двораковский, В. 587, 592.
 Девишев, А. 587—589, 591—593.
 Дейч, Ал. 588.
 Декалонг, И., ген. 238.
 Делаво 341.
 Делакруа, Э. (Delacroix, E.) 336, 337.
 Делессер-Валлон, С. 352, 356, 546.
 Делибюрадер, см. Ознобишин, Д. П.
 Делиль, Ж. 34, 36, 311.
 Делорм, Ж. И., см. Сент-Бев.
 Дельвиг, А. А. 28, 32, 34, 39, 51, 172, 392, 453, 455—457, 461, 462, 464, 465, 467—469, 471—474, 523, 535, 537, 561, 563.
 Дельвиг, А. И. 474.
 Демаре, де 33.
 Демосфен 34.
 Дерам 298.
 Державин, Г. Р. 35, 44, 47, 93, 95—97, 99, 102, 106—110, 113, 114—117, 119, 123, 235, 236, 306, 515, 516, 547, 567, 575.
 Державин, Н. С. 519, 520.
 Де-Рибас, А. М. 584.
 Десницкий, В. А. 587.
 Дестю-Траси (Destut de Tracy), 383.
 Джефри Ф. (Jeffrey, F.) 275.
 Джьянни, Фр. 318, 328, 330.
 Дибич, И. И. 137, 138.
 Дидро, Д. 185, 192, 409.
 Дизраэли, Б. 294, 295, 297.
 Дизраэли, И. 295.
 Дмитриев, И. И. 235, 241, 386, 387, 392.
 Дмитриев, М. А. 560, 561.
 Дмитриев, Н. К. 489.
 Дмитрий Донской 391.
 Долгорукий, И. М., кн. 97.
 Долгоруков, П. И., кн. 128, 280, 524.
 Долинин (Искоз), А. С. 490.
 Домгер, Л. Л. 583.
 Домициан 55.
 Дондуков-Корсаков, М. А., кн. 149.
 Достоевский, Ф. М. 119, 323.
 Доу, Генрих 128.
 Доу, Джордж (Dawe, G.), 128—134, 140, 144, 157.
 Доу, Ф. 128.
 Драйден, Д. 102.
 Друз, 51.
 Дубельт, Л. В. 267.
 Дудан, К. 338, 339.
 Дурова, Н. А. 472.
 Дурьлин, С. Н. 523—526.
 Дыдыкин, А. 589.
 Дымшиц, А. Л. 585.
 Дюма, А. (отец) 331, 548.
 Дю-Молен 333.
 Дюпон, А. 333—335, 337.
 Дюпре де Сен-Мор, Э. 306, 332, 547.
 Евдокимов, Е. 455, 467, 474.
 Екатерина II, 13, 88, 97, 108, 111, 113, 151, 165, 177, 184, 185, 187, 190, 191, 199, 219, 224—226, 227, 229, 230—233, 239, 253—255, 406, 485, 488.
 Елагин, Ф. 21, 24.
 Елагина, Лиз. Фед. 21, 24.
 Елизавета Английская 192.
 Елизавета Петровна, имп. 96, 105, 106, 202, 227.
 Ениколопов, И. К. 528.
 Епифанов, Г. 592.
 Ермак Тимофеевич 386—396.
 Ермолов, А. П. 133, 134, 136, 139, 141.
 Ермолов, А. С. 134.
 Есапов, Савва 389, 391.
 Ефремов, П. А. 11, 63, 142, 143, 151, 156, 415, 453, 455, 531, 532, 550.
 Жалу, Э. 338.
 Жданов, В. 514.
 Жданов, И. Н. 59.
 Жильбер 304.
 Жирмунский, В. М. 58, 62, 79, 80, 84, 550.
 Житецкий, И. П. 58.
 Житецкий, И. С. 441.
 Жихарев, С. П. 567.
 Жобар, Ж.-Б. 332, 333.
 Жомини, Г. 451.
 Жоссеран, П. (Josserand, P.) 546.
 Жуковский, В. А. 37, 45, 135, 141, 160, 300—304, 306—308, 310, 313, 316, 320, 323, 332, 333, 388, 418, 425—426, 434, 471, 515, 516, 519, 527, 529, 530, 536, 541, 552, 576, 577.
 Жюльевекур 333, 334.
 Завалишин, Д. И. 281.
 Загоскин, М. Н. 136, 169, 454, 477, 479.
 Зайдель, гравер 130.

- Закревская, А. А. 404.
 Закревский, А. А. 141.
 Закруткин, В. А. 524.
 Замков, Н. К. 453.
 Замотин, И. И. 515, 518.
 Замотин, Н. 514.
 Занд, К. 498.
 Заоверский, А. И. 583.
 Западов, А. В. 524, 526.
 Захаров, полк. 218.
 Звенигородский, А. П. 480.
 Здобнов, Н. В. 525.
 Зей, Ж. (Zee, J.) 582.
 Зенгер, Т. Г. 12, 491, 583, 586.
 Зенон, 31, 485.
 Зенф, К. А. (Senff) 140.
 Зядинов, Д. 528.
 Зубков, И. И. 589.
 Зубов, П. А. 116.
- Иванов, Ф. Ф. 479.
 Иванов, Ю. 587.
 Ивановский, А. А. 209.
 Ивернуа, Ф. д' 273.
 Измайлов, Н. В. 70, 74, 120, 136, 137, 435—
 452, 514, 583, 586, 591.
 Иконников, В. С. 441.
 Илч, В. 549.
 Илларт, см. Алларт.
 Ильин, Н. В. 588.
 Инзов, И. Н. 141, 280.
 Иоани Антонович 230.
 Иоани Безземельный 362, 367.
 Иоани I, король Франции 367.
 Иоани IV (Грозный) 214, 389, 390.
 Иовский, П. А. 264.
 Ион Хиосский 55.
 Иосиф II, имп. 487.
 Ирвинг, В. 319, 320.
 Исаков, Я. А. 424, 532.
 Искра 62.
- К., А., см. Корнилович, А. О.
 К., Л. 588.
 К. Р. (К. К. Романов) 142.
 Каверин, П. П. 30.
 Каванский, Б. В. 283, 284, 298, 514, 522, 527.
 Кавы Гирей, Султан, см. Султан Кавы Гирей.
 Кайдалов, Н. А. 23.
 Калашников, М. И. 282, 480, 526.
 Калещкий, П. И. 504.
 Калигула 226.
 Каллаш, В. В. 524.
- Калаш, М. А. 542.
 Калмыков, кап. 182, 245.
 Кальдерон, П. 462, 567.
 Камешков, 182.
 Камонис, Л. 31, 33, 34, 392, 398, 401.
 Каневский, А. 592.
 Канкрин, Е. Ф. 271, 280, 283.
 Каннинг, Д. 275.
 Кант, Э. 31, 485.
 Кантемир, А. Д. 46, 58, 60, 62, 63, 123.
 Кар, В. А. 227, 231.
 Караджич, В. 318, 325.
 Карамзин, А. Н. 423.
 Карамзин, Н. М. 199, 259, 282, 288, 309,
 388, 389, 459—461, 469—470, 499, 515,
 516, 519, 538—540, 559.
 Карамзина, Е. Н. 426.
 Каратыгин, В. А. 173, 394.
 Каратыгина, А. М. 522.
 Карл Великий 359, 363, 364, 366, 369, 375,
 380.
 Карл I 505.
 Карл V 361, 368.
 Карл VII 352, 380.
 Карл X 429.
 Карл XII 61, 62, 69, 71—73, 75, 86, 88, 92,
 436, 437, 442—445, 447—452, 478, 481—
 483.
 Карлгоф, В. И. 456.
 Карлейль, Т. 276, 294, 299.
 Карницкий, Дм. 22, 24.
 Кассий 49.
 Кастера, Ж. 185.
 Касти, Д. Б. 568.
 Катенин, П. А. 46, 93, 127, 165, 301, 308,
 310, 314, 316, 320, 327, 470, 522.
 Катон Младший 30.
 Катулл 39, 40, 43, 312, 318, 320, 322.
 Кафтарев, Ф. Я. 118.
 Каченовский, М. Т. 50, 264, 461, 472, 475.
 К-в, Д. 304.
 Кеплер, Г. 528.
 Керн, А. П. 522, 543, 544.
 Керн, Е. Ф. 141.
 Кибрик, Е. А. 593.
 Кингсберг, фон 151.
 Киреевский, И. В. 443, 537.
 Киреевский, П. В. 479, 480, 561, 564.
 Кирнарский, М. А. 587, 589, 591.
 Кирпичников, А. И. 166, 490.
 Кирпотин, В. Я. 515, 516, 587.
 Киселев 21, 24.
 Клапрот (Claprot) 407, 408, 458.

- Клейнмихель, П. А. 526.
 Клерк, кап. 151.
 Клопшток, Ф. Г. 34.
 Ключевский, В. О. 53.
 Княжнин, Я. Б. 12, 58, 463.
 Коббет 266, 268.
 Коган, Е. И. 589.
 Коган, Л. Е. 331—356.
 Кожевников, Мих. 244.
 Козлов, И. И. 323, 568.
 Козлов, Н. Т. 545.
 Козловский, П. Б. 296.
 Козман, М. С. 589.
 Козмин, Н. К. 53, 257—299, 453, 559, 590.
 Колосова, Е. И. 45.
 Колумб, К. 539.
 Кольридж, С.-Т. 319, 554.
 Колюпанов, Н. П. 537.
 Комарович, В. Л. 16, 17, 23, 24, 583, 584.
 Комаровский, Е. Е., гр. 137.
 Комовский, С. Д. 522, 523.
 Конашевич, В. М. 592, 593.
 Кониский, Г. 440—442, 455, 471.
 Кондорсе, Ж.-А. 360.
 Кононов, А. 524.
 Констан Б. 301, 309, 383, 384, 460, 471.
 Константин Павлович, вел. кн. 126, 127, 129, 131, 136.
 Коплан, Б. И. 57, 58, 76, 583.
 Кораблинов, В. 593.
 Корженевский, А. С. 587.
 Корнель, П. 36, 47, 301, 310, 398, 402.
 Корнилович, А. О. 209, 211, 390, 438, 451.
 Корнилович, М. О. 209.
 Корнуол, Б. (Проктор, Г. У.) 319, 320, 327.
 Кортес, Ф. 392.
 Корухин, А. 589.
 Корф, М. А. 519.
 Корыхалов, П. А. 585.
 Костров, Е. И. 93, 106, 111, 313.
 Коцебу, А. 498.
 Коцюбинский, С. Д. 524, 528.
 Кочубей, В. Л. 60—62, 72, 73, 81.
 Кочубей, В. П., кн. 283.
 Кошанский, Н. Ф. 32, 35, 54, 125, 314.
 Кошелев, А. И. 537.
 Кравченко, А. 592, 593.
 Крандиевская 579.
 Крашенинников, С. П. 395.
 Кроль, А. 133.
 Кромвель, О. 169, 174, 175, 177, 466.
 Кросс, С. (Cross, S. H.) 549.
 Круппеников, Л. Ф. 19.
 Крутиков, Е. А. 589.
 Крыжановский 158.
 Крылов, А. А. 305, 314.
 Крылов, А. Л. 149.
 Крылов, И. А. 211, 332, 418.
 Крым-Гирей, хан 526.
 Крюков, Б. 589.
 Ксенофан Колофонский 318, 320.
 Кубасов, И. А. 514.
 Кудрявцев, М. Н. 18, 20.
 Кудряшев, П. М. 169.
 Кузен, В. 481.
 Кузнецов, Е. 387.
 Кузнецова, У. 23, 24.
 Кук, И., кап. 151.
 Кульман, Е. 524, 525.
 Куницын, А. П. 30, 522, 575.
 Купер, Ф. 454.
 Курбский, А. М., кн. 394, 395.
 Курьер, К. (Courrière, C.) 548.
 Кутанов, Н. 506.
 Кучум 386, 391.
 Кюхельбекер, В. К. 34, 126, 127, 306, 308, 316, 487, 576, 590.
 Кюхельбекер, Ю. Я. 126, 127.
 Лабрюйер, Ж. 285.
 Лаваль, А. Г., графиня 536, 537.
 Лагарп, Ж.-Ф. 28, 31, 34, 35, 37, 39, 42, 45, 53, 54, 308.
 Лагрене (В. И. Дубенская) 334, 341, 342.
 Лажечников, И. И. 169, 176, 192, 227, 233, 234, 522.
 Лакретель, Ж.-Ш.-Д. 383.
 Ламартин, А. 337, 470.
 Ламберт, К. Ф. 141.
 Ла-Мотре, де 437.
 Ла-Мотт 307.
 Ланжерон, А. Ф. 141, 584.
 Ларие, П. П. 522.
 Ла Рошфуко, герцог 307.
 Лафарг, П. 180.
 Лафонтен, Ж. 36, 45, 54, 568.
 Лебедев, Г. 525.
 Лебедев-Полянский, П. И. 585.
 Левашев, В. В. 141.
 Лёве-Веймар, Ф. А. 274, 337.
 Левенгаупт, А.-Л., ген. 445, 452, 481—483.
 Левинсон, Н. Р. 529.
 Левит, Т. М. 550—554.
 Левицкий, Д. Г. 113.
 Левшин, А. 17, 213, 214, 215—217, 218, 223, 248, 253, 255.

- Легра, Ж. (Legras, J.) 547, 548.
 Легуве, Ж.-Б. 306.
 Леже, Л. (Leger, L.) 548.
 Лезюр, Ш.-Л. 438—440, 442.
 Лемав, П. М. 134.
 Лемке, М. К. 277.
 Лемонте, П. Е. 314, 380—383.
 Лемьер, А. 499.
 Ленин, В. И. 541.
 Леонар, 313, 314.
 Лермонтов, М. Ю. 164, 180, 186, 433, 578, 585.
 Лернер, Н. О. 30, 44, 139, 140, 143, 200, 395, 415, 453, 459, 474, 479, 480, 485, 490, 492, 497, 537.
 Лесаж, Р. 172.
 Лестрелен, А. 397—404.
 Лети, Г. (Leti, G.) 439, 440.
 Летуэрнер, П. 310.
 Лефевр 314.
 Ливен, К. А. 266.
 Ливий, Т. 112.
 Линин, А. 526.
 Липранди, И. П. 128, 314, 437, 522.
 Лирондель, А. 548.
 Литвишко, И. А. 588.
 Лициний 323.
 Лобанов, М. Е. 302, 305, 470, 472.
 Логинов, войск. старш. 218, 219.
 Ломан, О. В. 529, 542—546.
 Ломаносов, М. В. 57, 58, 60, 62—67, 73, 95, 96, 102, 106, 119, 123, 471.
 Лористон, А.-Ж. 163.
 Лоуренс, Т. 128.
 Лувель, П.-А. 497, 498, 502.
 Лугинин, Ф. Н. 522.
 Лукан, М. А. 33.
 Лукреций 39.
 Лукьяновский, Б. Е. 490.
 Луначарский, А. В. 578, 586.
 Лунин, М. М. 187, 506.
 Луппол, И. К. 91, 586, 588,
 Львов, П. Ю. 386.
 Львов, С. М. 261.
 Люблинский, П. И. 522.
 Любомудров, С. И. 319.
 Людовик Заморский 366.
 Людовик Толстый 366, 379.
 Людовик IV 364.
 Людовик IX 377, 378.
 Людовик XI 378, 380.
 Людовик XII 382.
 Людовик XIII 359, 454.
 Людовик XIV 28, 380—382, 400, 402.
 Лянн, Ф. (Lannes, F.) 171, 173.
 Макиавелли, Н. 55.
 М., А. 394.
 Мавэпа, И. С. 43, 60, 62, 68, 73, 75, 83, 86, 88, 92, 186, 209, 437, 438, 440—444, 451, 452, 481, 483.
 Мавон, А. 547.
 Майков, В. Н. 187.
 Майков, Л. Н. 19, 23, 142, 368, 441, 585.
 Макаров, В. К. 131.
 Мак-Грегор 505, 506.
 Маколей, Т. Б. 286.
 Максимов, В. М. 542.
 Максимович, М. А. 78, 435, 441—443, 490, 511, 564.
 Малейн, А. И. 30, 42.
 Малерб, Ф. 102.
 Мальтус, Т.-Р. 272—274.
 Мальцев, В. И. 29.
 Мандзони, А. (Manzoni, A.) 454, 483.
 Маннерс, Д. 294, 296,
 Мануйлов, В. А. 125—162, 169, 522, 585.
 Манцони, А., см. Мандзони.
 Мария Стюарт 167.
 Маркевич, С. А. 157.
 Маркс, К. 162—164, 180, 198, 199, 258, 294, 536.
 Марлинский, см. Бестужев, А. А.
 Маро, К. 30, 317, 318, 322, 323, 327.
 Мартос, А. 394.
 Мартынов, Н. Г. 156.
 Марфа Посадница, см. Борецкая, М.
 Марциал 29.
 Масальский, К. П. 176, 457.
 Масанов, И. Ф. 209.
 Маслов, В. И. 386, 441.
 Масса, И. 389.
 Маткичев, И. 589.
 Матрена, кавачка 21, 24.
 Матвеев, П. А. 334.
 Маттисон, Ф. 301.
 Машковцев, Н. Г. 525.
 Маяковский, В. В. 578, 585.
 Мегмет-Кул 386.
 Медведева, И. Н. 568, 583.
 Межевич, В. С. 132.
 Межов, В. И. 332.
 Мезерницкий, Ю. 592.
 Меверо, Ф. 373.
 Мейлах, Б. С. 210, 523, 541, 583, 584.
 Меллин, гр. 235.
 Меншиков, А. Д. 74, 75, 445, 446, 467.

- Мерзляков, А. Ф. 74, 119, 307, 308, 441, 453, 479.
 Мериме, А. 341.
 Мериме, П. 312, 313, 318, 319, 324, 325, 327, 329, 331—356, 546—548.
 Меркурьев, атаман 219.
 Меценат, К. 49.
 Мещерская, Е. Н., см. Карамзина, Е. Н.
 Мещерский, А. В., кн. 404.
 Мещерский, Е. П. 333, 335.
 Микель-Анджело Буонаротти, 499, 500, 502.
 Миллер, Г. Ф. 390.
 Миллер, П. Н. 529.
 Милорадович, М. А., гр. 130.
 Мильвуа, Ш. 304.
 Мильтон, Дж. 33, 34, 192, 310, 311, 327, 398, 401, 454, 459, 464—466.
 Миннеев 183.
 Минин-Сухорукий, К. М. 142.
 Минье, Ф.-А. 274, 362, 367, 377, 381.
 Миротлюбов, Г. П. 523.
 Михаил Павлович, вел. кн. 426, 504.
 Михайловский-Данилевский, А. И. 132.
 Михельсон, И. И. ген. 20, 238.
 Мицкевич, А. 110, 309, 318, 320, 321, 324, 325, 328, 329, 337, 413, 440, 528, 537, 552, 568.
 Могилевский, А. П. 587.
 Модзалевский, Б. Л. 134, 135, 177, 275, 277, 296, 361, 362, 391, 406, 438, 450, 451, 457, 473, 480, 514, 528, 539.
 Модзалевский, Л. Б. 125—164, 296, 415, 479, 490, 491, 524—527, 583, 584, 586, 590, 591.
 Мойер, И. Ф. 536.
 Моле, М. 384.
 Мольер, Ж.-Б. 47, 54, 532, 547.
 Монго, А. (Mongault, Н.) 334, 335, 338, 340, 341, 343, 354, 355, 546—549.
 Монтескье, Ш.-Л. 37, 55, 368—372, 375, 383.
 Монтроз, Д. 505.
 Монтэн, М. 31, 55.
 Мордвинов, С. М. 261.
 Мордовченко, Н. И. 513—529, 584.
 Мориц 261.
 Морленд, Г. 129.
 Морозов, П. О. 11, 143, 415, 453, 483, 484, 485, 497, 498, 501, 502, 509, 530—533, 565, 566, 568.
 Морфилл, В.-Р. (Morville, W.-R.) 549, 550.
 Моск 54, 313.
 Мстислав Удалой, кн. 391, 394, 395.
 Мур, Т. 301.
 Муравьев, А. Н. 394, 526, 568.
 Муравьев, М. Н. 58, 98.
 Муравьев, Н. М. 283.
 Муравьев-Апостол, С. И. 505.
 Мусин-Пушкин, А. С., гр. 259.
 Мусина-Пушкина, Н. С., см. Семенова, Н. С.
 Мышковская, Л. 586.
 Мюссе, А. де 47.
 Н., Н. 460
 Нагишкин, Д. 592.
 Надеждин, Н. И. 85, 437, 443, 460, 462, 463, 563, 566.
 Надоумко, см. Надеждин, Н. И.
 Назаревский, А. А. 490—493.
 Назарова, Л. Н. 130.
 Наполеон I 37, 50, 53, 88, 128, 137, 139, 155—158, 160, 161, 242, 318, 451, 452, 478, 482, 501, 503, 508, 574.
 Нарышкина, Л. А. 405.
 Нащокин, П. В. 29, 170, 479, 577.
 Нащокина, В. А. 522.
 Невеленов, А. И. 550.
 Нейман, Б. В. 177, 183, 198, 504.
 Некрасов, Н. А. 280, 585.
 Нелединский-Мелецкий, Ю. А. 38.
 Немеровский, Л. 584.
 Непот, Корнелий 35, 53.
 Нессельроде, Д. К., гр. 429.
 Нессельроде, К. В., гр. 270, 271, 280, 283.
 Нессельроде, М. Д., графиня 429, 430.
 Нефедьева, А. И. 426.
 Нечай 14, 15, 17.
 Нечкина, М. В. 514, 524, 541.
 Нибур, Б.-Г. 481.
 Низар, Н.-Д. 311.
 Никита (Н. Т. Козлов), крепостной Пушкина 545.
 Никитенко, А. В. 522.
 Николай Михайлович, вел. кн. 132.
 Николай I 17, 24, 48, 110, 129, 131, 132, 139, 161, 162, 224, 232, 265, 266, 273, 275, 293, 333, 432—434, 505, 514, 517, 519—521, 527, 552, 553, 574, 577.
 Новиков, И. А. 580, 584.
 Новиков, Н. И. 485, 487.
 Ногмов, Ш. Б. 490.
 Нодье, Ш. 408, 409.
 Нюрдберг, И. А. 437.
 Норов, А. С. 302.
 О'Брайен, Б. 257, 258, 272, 287, 288.
 Обручев, С. В. 497—510, 584.
 Овидий 27—29, 31, 35, 37, 39—45, 50, 55, 103—106, 141, 179, 398, 401, 402, 551.

- Одинцов, И. 442.
 Одоевский, В. Ф. 176, 272, 273, 275, 526.
 Озеров, В. А. 115, 301, 471, 567, 568, 584, 590.
 Ознобишин, Д. П. 302.
 О'Коннель, Д. 288.
 Оксенов, И. А. 515, 520, 585.
 Оленина, А. А. 133, 524.
 Олешкевич, К. 334.
 Оман, Э. (Haumant, E.) 332, 547, 548.
 Онегина, А. Ф. (Отто) 142, 352, 423, 533.
 Орлик 438.
 Орлов, А. А. 456.
 Орлов, А. С. 583.
 Орлов, В. Н. 525.
 Орлов, Г. А. 167, 185, 192.
 Орлов, М. Ф. 304.
 Орлов, С. 528.
 Орлова-Мочалова, М. Н. 543.
 Осипова, Е. И., см. Фок, Е. И.
 Осипова, М. И. 522, 545.
 Осипова, П. А. 282, 544, 545.
 Оссиан 112, 114, 116, 117, 313.
 Острогорский, В. П. 542, 545.
 Отто, А. Ф., см. Онегина, А. Ф.

 Павел I 226, 227, 230.
 Павлицев, Л. Н. 479.
 Павлов, Н. Ф. 334.
 Павлов, О. 480.
 Павловский, Б. М. 493.
 Падуров, казак 231, 232.
 Пальмов, М. И. 542.
 Панин, П. И., гр. 242.
 Папков, 21, 23, 24.
 Паренаго, М. 260.
 Парни, Э.-Д. 30, 35, 38, 302, 313, 318.
 Партирье, М. (Parturier, M.) 352—356, 546.
 Паскаль, Б. 464.
 Паскевич-Эриванский, И. Ф., гр. 134, 135, 137, 138, 141.
 Патуйе, Ж. (Patouillet, G.) 547.
 Пахомов, А. Ф. 591.
 Пеллисон, П. 318, 330.
 Пеньковский, И. М. 526.
 Перовский, А. А., см. Погорельский, А.
 Перовский, В. А. 23.
 Перфильев, А. И. 167, 170, 183, 184, 249.
 Перцов, А. П. 522.
 Перцов, Петр П. 522.
 Перцов, Пл. П. 522.
 Перцов, Э. П. 19, 522.
 Песоцкий, И. 132.
 Пестель, П. И. 283, 289.
 Петр I 50, 58—68, 70—75, 82—88, 92, 93, 96, 97, 109, 111, 112, 123, 162, 210, 217, 253, 293, 395, 435—437, 439, 441—452, 478, 481—483, 502, 520, 553, 579, 591.
 Петр III 18, 207, 239.
 Петрарка, Ф. 55.
 Петров, В. П. 93, 106, 111, 112, 114, 123, 306.
 Петров, Ю. Н. 586.
 Петрова, Э. А. 151.
 Петроний 29, 35, 39, 49.
 Пиксанов, Н. К. 57, 264.
 Пиль, Р. 257.
 Пиндар 37, 39, 54.
 Пименов, Дм. 307.
 Пиварро, Ф. 389, 392.
 Пипин Короткий 366, 375.
 Писарев, Н. И. 589.
 Пишо, А. 277, 286.
 Плавильщиков, П. А. 386.
 Плавт 54.
 Платон 30
 Платон (Любарский), архим. 248.
 Платонов, С. Ф. 542.
 Плетнев, П. А. 300, 471, 529, 530, 536, 537, 549.
 Плиний Младший 30.
 Плутарх 30, 31, 485.
 Плюшар, А. А. 157, 467.
 Погодин, М. П. 89, 275, 393, 454, 455, 527, 537, 558, 559.
 Погорельский, А. 468.
 Подолинский, А. И. 457, 522.
 Поджио Браччолини, Д.-Ф. 407.
 Пожарский, Д. М., кн. 142, 391.
 Покровский, М. М. 27—56, 584.
 Покровский, М. Н. 212, 219, 223, 243, 541, 542.
 Полевой, К. А. 89, 90, 179, 393, 522.
 Полевой, Н. А. 139, 176, 179, 276, 288, 361, 362, 385, 392, 456, 457, 459—461, 468, 469, 475, 537, 561, 566, 568.
 Полежаев, казак 22.
 Полетика, В. Г. 441.
 Полетика, Г. А. 441.
 Поливанов, Л. И. 139, 142, 435, 441, 442, 534.
 Поляков, А., художник 129.
 Поляков, А. С. 177, 433.
 Помпей, В. 50.
 Помпей, К. 48.
 Помпей, С. 50.

- Понмартэн, А. 338.
 Пономарев, С. 490—492.
 Поп, А. 179.
 Попов, Н. 389.
 Попов, П. С. 212, 213, 222, 235, 525, 528, 583, 591.
 Порри, Е. де 335.
 Потапов, И. А., ген.-майор 205.
 Потемкин, Г. А. 114, 117, 225, 465.
 Потоцкая, О. 405.
 Потоцкий, Я. И. 405—416.
 Привалова, Е. П. 488.
 Проперций 39, 43.
 Пугачев, Е. И. 6—10, 12—24, 167—170, 173, 174, 176—179, 187—185, 187—191, 193—196, 198, 199, 200—207, 210—256, 278, 391, 417, 488, 487, 506, 520, 526, 528—531, 553, 583, 588, 591.
 Пугачева, С. 247.
 Пумпянский, Л. В. 91—124.
 Путерман, Ж. 333.
 Пушкин, А. М. (вымышл. лицо) 540.
 Пушкин, В. Л. 45, 387, 563, 585.
 Пушкин, Г. Г. 540.
 Пушкин, Л. С. 37, 40, 300, 302, 342, 353, 390, 471, 522.
 Пушкин, С. Л. 517, 526.
 Пушкина, М. А. 522.
 Пушкина, Н. Н. 19, 23, 24, 187, 195, 282, 373, 419, 420, 422, 427, 428, 431, 432, 434, 479, 480, 517, 525, 546.
 Пушин, И. И. 45, 125, 283, 522, 535, 545.
 Пчелин, Н. 525.
 Пьянов, Д. 207.
 Пыпин, А. Н. 166.
 Рабле, Ф. 55.
 Радищев, А. Н. 34, 92, 280, 283, 289, 292, 293, 297, 386, 395, 485.
 Раевская, М. Н. 278.
 Раевский, А. Н. 135.
 Раевский, Н. Н. старш. 134, 135, 141.
 Раевский, Н. Н. младш. 135, 139, 140, 516, 532, 535, 558.
 Разин, С. Т. 14, 16, 167, 253, 254, 391, 506.
 Разина, казачка 22, 24.
 Райт, Т. 129.
 Раич, С. Е. 472, 473, 568.
 Расин, Ж. 28, 35, 37, 38, 54, 302, 305, 399—402, 460, 466, 471.
 Раумер, Ф. 277.
 Регул 46.
 Рейналь, Г. Т. 289.
 Рейнсдорп, И. А. 12, 22.
 Ремезов, С. 389.
 Рен 447.
 Ренуар, Ф.-Ж.-М. (Raynouard) 373, 374.
 Ренцель, ген. 445.
 Репин, И. Е. 575.
 Репнин, А. И., кн. 74, 446, 447.
 Рерберг, И. 583.
 Ржевский, Г. П. 524.
 Ришелье, А.-Ж.-Д. 380—384.
 Роб-Рой 505.
 Робертсон, В. 360, 361, 368—372, 377, 379, 380.
 Ровинский, Д. Н. 140.
 Розанов, М. Н. 454.
 Розен, Г. В., бар. 209.
 Розен, Г. Г., ген.-майор 445.
 Розен, Е. Ф. 537.
 Розье, А., де 546.
 Роллон, Д. 364.
 Ромас, Я. Д. 572.
 Роос, ген.-майор, см. Розен, ген.-майор.
 Россель, Д. 258, 287.
 Росси, К. 131.
 Россет, А. О. 150.
 Ростопчин, Ф. В. 261, 289.
 Роуди, В. 192.
 Рубан, В. Г. 104, 106, 110, 111.
 Рудаков, К. И. 587, 591.
 Рудыковский, Е. П. 522.
 Румянцев-Задунайский, П. А. 74, 117, 157, 226.
 Руссо, Ж. Ж. 331, 483, 485—487.
 Рушавели, Ш. 585.
 Рылеев, К. Ф. 70, 71, 86, 209, 386, 388, 391, 438, 441, 516, 521, 524, 539.
 Рындыонская, М. Д. 579.
 Рычков, П. И. 16, 17, 219, 220, 223, 233, 245, 246, 249, 251, 252.
 Рюльер, К.-К. 185.
 С., С. 504.
 Саади 320, 407.
 Саблуков 158.
 Савари, К. Э. 313.
 Савицкий, Г. К. 579.
 Саводник, В. Ф. 451.
 Сaitов, В. И. 153, 274—276, 296, 397, 475, 480, 490, 492, 584.
 Сакулин, П. Н. 59.
 Салаев, Ив. 468.
 Самойлович, И. С. 71.
 Самохвалов, А. Н. 589.

- Сапфо 55, 314.
 Сахалтуев, А. А. 583.
 Сварог, В. В. 579.
 Светлова, М. 590.
 Светоний 53.
 Свечин, П. 90.
 Свечина, С. П. 429, 430.
 Свиньин, П. П. 98, 129—132, 224, 394.
 Свитальский, В. 587.
 Святослав, кн. 391.
 Сегюр, Ф. П. 408.
 Сей, Ж.-Б. 262, 273.
 Селезнев, И. 35, 38.
 Седявин, Н. 97.
 Семевский, В. И. 505.
 Семевский, М. И. 395, 545.
 Семенов, В. Н. 526.
 Семенов, Л. П. 489, 528.
 Семенова, Е. С. 403.
 Семенова, Н. С. 403.
 Семичев, Н. Н. 134.
 Сенека 31, 35, 50, 485.
 Сенесе, А. 318.
 Сен-Жюльен, Ш. (Saint-Julien, Ch.) 331, 333, 334, 337, 418, 421, 427—430, 434, 548.
 Сенковский, О. И. 169.
 Сен-Лоран, В. 481.
 Сен-Мор, Е. Б. де, см. Дюпре-де-Сен-Мор.
 Сен-Симон, А., гр. 288.
 Сент-Бёв, Ш. 328, 461, 471, 547.
 Сервантес, М. 172, 310, 312, 315, 319, 409.
 Сергиевский, И. В. 250, 515, 588, 589.
 Сидельковский, Б. И. 589.
 Сикст, V 439, 440.
 Силла (Сулла) 233.
 Симанов, И. Д. 22.
 Симмонз, Э. (Simmons, E. J.) 548—554.
 Синко, Т. (Sinko, T.) 407, 409.
 Синявский, Н. А. 453, 459.
 Сиповский, В. В. 58, 166, 405, 438.
 Сисмонди, Ж. 262, 276, 373.
 Скоттий (Скотти), М. И. 131.
 Скотт, В. 55, 62, 165—197, 276, 277, 305, 319, 323, 389, 454, 468, 503—505, 548, 584.
 Сладковский, Р. 58—60, 63, 65—70, 72—77, 79, 81—83, 85—89, 447.
 Слощов, П. А. 395.
 Слонимский, А. Л. 584, 586, 589.
 Смирдин, А. Ф. 488.
 Смирнов, А. А. 583.
 Смирнова, А. О. 274.
 Смит, А. 38, 262.
 Соболевский, А. И. 504.
 Соболевский, С. А. 29, 272, 275, 295, 332, 337, 341, 342, 344, 522.
 Соколов, А. Ф., см. Хлопуша.
 Соколов, А. Н. 57—90.
 Соколов, Д. Н. 23, 497, 501.
 Соколов, Павел 588, 592.
 Соколов-Скала, П. П. 579.
 Сократ 485.
 Сологуб, В. А., гр. 418, 522.
 Соломирский, В. Д. 395.
 Сомов, О. М. 136, 305, 316, 454—460, 467.
 Сосницкий, И. И. 173.
 Соути, Р. 318, 322, 323.
 Софокл 398, 401.
 Сохацкий, П. А. 259.
 Спасский, Г. И. 389, 391, 392.
 Спасский, И. Т. 522.
 Спасский, Ю. А. 584.
 Спенсер, Э. 192.
 Сперанский, М. М. 283.
 Сперанский, М. Н. 491.
 Срезневский, В. И. 19.
 Сталин, И. В. 582.
 Сталь, Ж., де 293, 483.
 Старов, Е. 515, 520.
 Стендаль (А. Бойль) 274, 503.
 Степанов, Н. Л. 525, 587, 592.
 Стерн, Л. 464.
 Стивенсон, Р. 506.
 Сторожено, Н. И. 292.
 Стоюнин, В. Я. 440.
 Страхов, Н. Н. 198.
 Строганов, Г. Г. 390.
 Стройновский 261.
 Струйский, Д. Ю. 137, 386, 394.
 Ступишин, полк. 235.
 Суворин, А. С. 11, 142, 143.
 Суворов, А. В., гр., кн. 74, 116, 117, 127, 157, 251.
 Суворов, А. В., 579.
 Султан Кавы Гирей 526.
 Сумароков, А. П. 5, 96, 116, 179, 463.
 Сумароков, П. И. 240.
 Сумцов, Н. Ф. 440.
 Сухомлинов, М. И. 105, 149, 292.
 Сухоруков, В. Д. 390, 526.
 Сю, Э. 274.
 Тарасов, Е. И. 273.
 Тассо, Т. 31—33, 301, 398, 401, 466, 473.
 Татищев, Ив. 260.
 Таубер, В. 589.

- Тацит 27, 31, 32, 35, 41, 50—53, 55, 371.
 Творогов 23, 24, 250.
 Тепляков, А. Г. 458.
 Тепляков, В. Г. 35, 39, 42, 43, 457, 458, 461.
 Теренций 54.
 Тернер, Э. 549.
 Тиберий 50—52, 55.
 Тибулл 28, 35, 37—39, 43, 302, 303, 320, 328.
 Тизенгаузен, Д. Ф., см. Фикельмон, Д. Ф.
 Тизенгаузен, Е. Ф., графиня 152.
 Тимирязев, Ф. 139.
 Тиртей 55.
 Тиссо 483, 484.
 Толстая, А. А. графиня, см. Закревская, А. А.
 Толстой, гр. 158.
 Толстой, А. Н. 585.
 Толстой, Л. Н. 162, 548, 585.
 Толстой, Ф. И., гр. 134, 591.
 Толстой, Я. Н. 45.
 Томашевский, Б. В. 11—13, 136, 367, 383,
 453—455, 467, 474, 481—485, 497, 498,
 501, 507, 514, 521, 530, 533, 547, 550,
 567, 583, 584, 586—592.
 Траубенберг, ген.-майор 220.
 Тредьяковский, В. К. 31, 96, 179, 190.
 Тренин, В. 525.
 Трилуный, см. Струйский, Д. Ю.
 Триссино 33.
 Тропинин, В. А. 129.
 Трубецкой, А. 429.
 Туманский, В. И. 471.
 Тургенев, А. И. 147, 272, 273, 275, 283, 295,
 337, 403, 418, 426, 434, 522, 523, 526,
 536, 545, 571.
 Тургенев, И. С. 331, 336, 342, 418.
 Тургенев, Н. И. 139, 173, 264, 272, 273, 281.
 Тургенев, С. И. 523.
 Тьер, А. 274, 362, 367, 381.
 Тьерри, О. 239, 367, 373.
 Тынянов, Ю. Н. 127, 331, 463, 487, 514,
 583, 585.
 Тырса, Н. А. 592.
 Уваров, С. С. 139, 149, 154, 266, 292, 332,
 493.
 Улегов, Ф. 461.
 Ульянов, Н. П. 570.
 Ульяновский, А. И. 584.
 Урусов, кн. 233.
 Устимович, П. М. 542.
 Ушакова, Ек. Н. 524.
 Ушакова, Ел. Н. 524.
 Ушин, А. 587, 591.
 Фаворский, В. А. 579.
 Фаллу, А. (Falloux, A.) 429—434.
 Фальконет, Э. М. 114, 116, 117.
 Фарнгаген-фон-Энзе, К.-А., см. Варнгаген-
 фон-Энзе, К.-А.
 Федоров, Б. М. 560, 561, 563, 564.
 Федр 35.
 Федулов, казак 23, 24.
 Фейербах, Л. 521.
 Фейервар, бригадир 245.
 Фейнберг, И. 587.
 Фенелон, Ф.-С. 307, 377, 590.
 Феокрит 28, 34, 37, 38.
 Феофан Прокопович 96, 123, 436—439, 446.
 Ферран 185.
 Ферранд 294, 295, 297.
 Ферстольк, барон 427.
 Фет, А. А. 312.
 Фикельмон, Д. Ф. 152, 274.
 Фикельмон, К. Л. 295, 480.
 Филипп IV Красивый, см. Philippe le Bel.
 Философов, Д. В. 544.
 Фильдинг, Г. 173, 174, 175.
 Фин, Л. А. 453, 515, 520.
 Фирсов, Н. Н. 212.
 Фихте, И. 481.
 Фишер, И. Э. 390.
 Фок, Е. И. 522, 545.
 Фомин, А. А. 453.
 Фонвизин, Д. И. 13, 177, 190, 282, 468.
 Фонтенель, Б. 483.
 Фортис, Д.-Б. де 318.
 Франц I, имп. 131.
 Фредро, Я. М., гр. 480.
 Фридрих-Вильгельм 111, 131.
 Фризенгоф, Г., барон 423.
 Фрэнкленд, К. 275, 283, 284, 297—299.
 Фукс, А. А. 19, 195, 527.
 Фукс, К. Ф. 247.
 Фуше, И. 50.
 Харлов 21, 24.
 Хатов, А. 450.
 Хвостов, Д. И. 101—104, 107, 108, 110, 305,
 524.
 Херасков, М. М. 58—60, 88.
 Хижинский, Л. С. 529, 542—544, 592.
 Хильперик 375.
 Хитрово, Е. М. 136, 138, 149, 151, 153, 160,
 274, 295, 296, 362, 367, 383, 454, 480.
 Хлебников, К. Т. 526.
 Хлопуша (Соколов, Афанасий) 8—11, 13,
 190, 200—203, 236, 249.

- Хмельницкий, Б. 441.
 Холодовская, М. 587.
 Хомяков, А. С. 386, 393, 394.
 Храпченко, Б. М. 57.
 Цезарь 30, 32, 48, 53, 102, 500.
 Цейтлин, А. Г. 521.
 Цейтц, Н. В. 336—396, 526.
 Цицерон 34, 35, 49, 50, 54.
 Цыпловский, М. А. 128, 152, 276, 426, 453, 459, 491, 524, 526, 529, 550, 583, 584, 586, 590, 591.
 Чаадаев, П. Я. 40, 164, 250, 277, 280, 288, 295, 362, 517, 518, 575.
 Чагин, П. И. 586.
 Чайковский, П. И. 57.
 Чаплицкий 441.
 Чаусер, Дж. 552.
 Чебышев, А. А. 339, 342.
 Ченстон, см. Шенстон, В.
 Черепов, Г., ген.-майор 205.
 Чернецов, Г. 525.
 Чернобаев, В. Г. 405—416, 526.
 Чернов, С. Н. 506.
 Чернова, Е. Б. 405.
 Чернышев, Э. Г., гр. 185, 219.
 Чернышевский, Н. Г. 165, 166.
 Черняев, Н. И. 166, 175, 198.
 Черняев, П. 319.
 Чика (Зарубин) 167.
 Чичагов, П. В., адмирал 163.
 Чосер, см. Чаусер, Дж.
 Чулков, Н. П. 529.
 Шаликов, П. И. 208.
 Шаль, Ф. 341.
 Шамай, атаман 15—17.
 Шамфор, Н. 483.
 Шапелен, Ж. 33.
 Шапошников, Б. В. 525.
 Шатле, маркиза 360.
 Шатобриан, Ф.-О. 310, 311, 454, 459, 466.
 Шатов, Н. 98.
 Шаховской, А. А. 173, 524.
 Шванвич, М. А. (Шванович) 11, 167, 183, 185.
 Шварц, Г. Е., полк. 504.
 Шевченко, Т. Г. 588.
 Шевырев, С. П. 287, 522, 527, 558, 559.
 Шекспир, В. 28, 29, 44, 50, 54, 55, 189, 192, 304, 310—312, 318, 328, 389, 400, 402, 462, 463, 466, 471, 481, 532, 538, 548, 559, 584.
 Шелехов, Д. П. 273.
 Шеллинг, Ф. В. 481, 521.
 Шенрок, В. И. 490.
 Шенстон, В. 550, 593.
 Шенье, А. 28, 55, 302, 318, 320, 322, 323, 325—327, 329.
 Шенье, М.-Ж. 53.
 Шепелев, П. А. 225.
 Шереметьев, Б. П., фельдм. 62, 74, 75, 446.
 Шешковский, С. И. 465.
 Шигаев, М. 249.
 Шиллер, Ф. 29, 55, 309, 318, 394.
 Широкий, В. Ф. 529, 542—546, 585.
 Шихматов, С., кн. 58—60, 64—70, 72, 73, 75, 76, 81, 82, 86—89, 106.
 Шишков, А. С. 38.
 Шишков, 2-й, А. А. 386, 394.
 Шкловский, В. Б. 517, 525, 588.
 Шлегель, А.-В. 481.
 Шлецер, А.-Л. 472.
 Шлиппенбах, ген. 62, 77, 445.
 Шлютер, Г. 259, 268, 270.
 Шляпкин, И. А. 133, 142, 371, 405.
 Шмидт, Г. 586, 591.
 Шмурло, Е. Ф. 59.
 Шопен, Ж. М. 332, 341, 548.
 Шоу, Т. Б. 549, 550.
 Штапфер, изд. 336.
 Шторх, А. К. 261.
 Штрайх, С. Я. 505, 522.
 Шувалов, гр. 337.
 Шувалов, И. И. 119.
 Шуйский, В. И., кн. 534.
 Шульц, В. 339.
 Щеголов, Н. П. 292.
 Щеголев, П. Е. 405, 423, 425, 426, 447, 527.
 Щепкин, Д. 526.
 Щепкин, М. С. 526.
 Щербатов, М. М., кн. 436.
 Эврипид 27, 28, 32, 54.
 Эдлинг, Р. С., графиня 405.
 Эйхенбаум, Б. М. 164, 557, 583, 591.
 Элтон, О. 549.
 Энгель, И. (Engel, J. С.) 437.
 Энгельгардт, Е. А. 523.
 Энгельс, Ф. 163, 164, 198, 199, 258, 259, 268, 271, 272, 287, 289, 291, 294, 297, 379, 380, 536.
 Эпиктет 45, 485.
 Эпикур 30, 485.
 Эрдели, П. Е. 522.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

	Стр.
Беловая с поправками рукопись гл. XI „Капитанской Дочки“. Публичная Библиотека СССР им. В. И. Ленина, № 2331	8
Начало первой главы „Истории Пугачева“ (в первой редакции). Публичная Библиотека СССР им. В. И. Ленина, № 2390, тетрадь 2	16
Часть автографа стихотворения „Полководец“. Пушкинский Дом Академии Наук СССР, № 205, л. 2 об.	145
Часть строк десятой главы „Евгения Онегина“. Пушкинский Дом Академии Наук СССР, № 170, л. 1 об.	504
Всесоюзная Пушкинская выставка (1937 г.)	
Вестибюль	569
Зал 2-й	570
Зал 14-й	571

СОДЕРЖАНИЕ

НОВЫЕ ТЕКСТЫ ПУШКИНА

	Стр.
Первоначальная редакция XI главы „Капитанской Дочки“. Комментарий Б. В. Томашевского	5
Отрывок первоначальной редакции I главы „Истории Пугачева“. Комментарий В. Л. Комаровича	14
Записи устных рассказов о „пугачевщине“. Комментарий В. Л. Комаровича	18

ИССЛЕДОВАНИЯ И СТАТЬИ

Акад. М. М. Покровский. Пушкин и античность	27
А. Н. Соколов. „Полтава“ Пушкина и „Петриады“	57
Л. В. Пумпянский. „Медный Всадник“ и поэтическая традиция XVIII в.	91
В. А. Мануйлов и Л. Б. Модзалевский. „Полководец“ Пушкина	125
Д. П. Якубович. „Капитанская Дочка“ и романы Вальтер Скотта	165
В. Г. Гуляев. К вопросу об источниках „Капитанской Дочки“	198
А. И. Грушкин. Пушкин 30-х годов в борьбе с официальной историографией („История Пугачева“)	212
Н. К. Козмин. Английский пролетариат в изображении Пушкина и его современников	257
Г. Д. Владимирский. Пушкин-переводчик	300
Л. Е. Коган. Пушкин в переводах Мериме	331

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Я. И. Ясинский. Работа Пушкина над историей французской революции	359
Н. В. Цейтц. К истории неосуществленного замысла Пушкина об „Ермаке“	388
А. В. Давыдов. Новый корреспондент Пушкина	397
В. Г. Чернобаев. К истории набр ска „Альфонс садится на коня“	405
Л. П. Гроссман. Французские свидетельства о дуэли Пушкина	417
Н. В. Измайлов. К вопросу об исторических источниках „Полтавы“	435
В. В. Виноградов. Неизвестные заметки Пушкина в „Литературной Газете“, 1830 г.	453
Var'a.	
Г. А. Гуковский. Об источнике „Рославлева“	477
М. С. Боровкова-Майкова. Пушкин в Болдине в октябре 1832 г.	479
Б. В. Томашевский. Заметки о Пушкине. 1. Один из источников „Полтавы“. 2. Пушкин и Гиббон	481
Г. С. Глебов. Утраченная сказка Пушкина	485
Н. В. Яковлев. К литературной истории „Капитанской Дочки“	487
М. К. Азадовский. Сказка, рассказанная Пушкиным Далу	488
А. А. Назаревский. Забытый автограф Пушкина	490

- Эро, Е. И. (Héreau) 332.
 Эрсиля, А. 33.
 Эртель, В. А. 523.
 Эшли, В.-Д. 295.
- Ювенал** 32, 35, 36, 47, 315, 319, 322.
 Юдин, П. М. 45, 128.
 Юзефович, М. В. 276, 522.
 Юм, Д. 360, 484.
 Юнг-Штилинг, И. Г. 112, 114.
 Юрьев, А. 523.
 Юсупов, Н. Б., кн. 31, 561.
- Языков, А. 587,
 Языков, А. М. 275.
 Языков, Д. И. 526.
- Языков, Н. М. 19, 40, 195, 275, 321, 467,
 469, 479.
 Якобсон, А. Н. 591.
 Яковлев, Н. В. 487, 488, 586.
 Яковлев, М. Л. 526.
 Якубович, Д. П. 40, 42, 44, 165—197, 210,
 240, 241, 374, 408, 436, 447, 503, 504, 529,
 533, 539, 542—546, 550, 583, 584, 586,
 588, 590—592.
 Якубович, Л. А. 526.
 Якушкин, В. Е. 141, 557, 565, 566, 568.
 Якушкин, И. Д. 281, 522.
 Яремич, С. П. 131.
 Ясинский, Я. И. 359—385.
 Яцевич, А. Г. 585.
 Яценко, Г. М. 261, 264.
-
- Ancelot, J. A., см. Ансло, Ж.
 Archenholz, J. W., см. Архенгольд.
 Argens, d' см. д'Аржан.
- Baring, M. 550.
 Bates, A. 550.
 Baudouin IX 365.
 Becker, F. 129.
 Beyle, H., см. Стендаль.
 Bichat, X., см. Биша, К.
 Bligh, см. Блай.
 Bryan, 129.
- Calmann-Lévy 338.
 Canning, D., см. Каннинг, Д.
 Champion, Ed. 338, 340 341, 354, 355.
 Chardin 407.
 Clovis 363.
 Constable, A. 173.
 Constant de Rebesque, B., см. Констан, Б.
 Cross, S. H., см. Кросс, С.
- Dagobert 363.
 Dännhardt, O. 488.
 Dawe, G., см. Доу.
 Delorme, J., см. Сент-Бёв.
- Engel, J. C., см. Энгель, И.
- Falloux, A., см. Фаллу, А.
 Frankland, C., см. Фрэнкленд.
- Gaebel, K. 186, 188.
 Galland, A. 407.
 Gallet de Kulture, Ach. 527.
- Hallam, H., см. Галлам, Г.
 Hamilton, A. 173, 175.
 Haumant, E., см. Оман, Э.
 Hazlitt, W., 180.
 Herbelot 407.
 Héreau, E., см. Эро, Е.
 Heriot, G. 173.
 Herzford, H. 550.
 Hirst, 272.
- Killen, A. 176.
 Kletke, H. 488.
- Lacroix, Fr. 527.
 Lannes, F., см. Лянн.
 Legras, J. см. Легра, Ж.
 Levesque 442.
 Lévy, M. 354.
 Loeve-Veimars, см. Лёве-Веймар, Ф. А.
 Louis IX 365.
 Louis-Philippe 296.
- Maigron, L. 187.
 Manche, V. 354.
 Manzoni, A. см. Мандзони, А.
 Millevoye, Ch., см. Мильвуа, Ш
 Möbius, H. 178.
 Mongault, H., см. Монго, А.

- Moore, Th. 276.
Morfill, W. R., см. Морфилл, В. Р.
Nagler, G. K. 129.
Otto, F. 550.
- Parturier, M., см. Партюрье, М.
Patouillet, G., см. Патуйе, Ж.
Phi lippe le Bel 365, 367, 375, 376, 378, 382.
Pichot, A. Пишо, А.
Poliwka, J. 488, 489.
Ponson du Terrail, 354.
- Ramorino, F. 53.
Raynouard, A. O., см. Ренуар, А.
Roussel, P. 186.
- Saint-Julien, Ch., см. Сен-Жульен, Ш.
Shaw, Th. B., см. Шоу, Т. Б.
Siebert, A. 188.
Simmons, E. J., см. Симмонс, Э.
Spalding, H. 550.
Suard, J.-B.-A. 361.
- Théodoric 363, 372.
Thieme, U. 129.
Tillevi, J. 488.
Turner, Ch.-E. 550.
- Vogüé, M.-E. de, см. Вогюв, М., де
Voland, m-elle 185.
Voss, J. 300.
- Wagstoff, C.-E. 130.
Wichmann Y 489.
-

ТРИБУНА

С. В. Обручев. К расшифровке десятой главы „Евгения Онегина“	497
От редакции	509

РЕЦЕНЗИИ И ОБЗОРЫ

Н. И. Мордовченко. Биография Пушкина. Обзор литературы за 1937 г.	513
Б. П. Городецкий. „Борис Годунов“ А. С. Пушкина. Редакция текста и комментарии Г. О. Винокура	529
Е. С. Гладкова. Книги о пушкинских местах	542
Е. И. Боброва. Пушкинский номер журнала французских компаратистов	546
Т. М. Левит. „Pushkin“, by E. J. Simmons.	550

ХРОНИКА

Из материалов Редакции академического издания Пушкина. В. В. Гиппиус. О текстах критической прозы Пушкина	557
Итоги работы Всесоюзной Пушкинской выставки	569
Посетителя Всесоюзной Пушкинской выставки	579
Пушкинская Комиссия Академии Наук СССР	583
Пушкинское Общество	585
Пушкиниана. 1937 г. I. Тексты Пушкина.	586

Указатель произведений Пушкина, упоминаемых в настоящей книге	594
Указатель личных имен	600
Перечень иллюстраций	616

Технический редактор Л. А. Федоров

Корректор В. А. Заветновский

Сдано в набор 23 VI 1938 г. Подписано к печати 3 II 1939 г.
618 стр. (4 рис.) + 3 вкл. табл. — Формат бум. 71X108 см. —
Объем 39 1/2 п. л. — 48576 зн. в л. — 48,30 уч.-ав. л. — Тираж 4000. —
Ленгорлмт № 615. — АНИ № 357 — РИСО № 744. — Заказ № 1106.
Типоитография Издательства Академии Наук СССР. Ленинград,
В. О., 9 линия, 12.
Цена 18 руб. Переплет 2 руб.

О П Е Ч А Т К И

<i>Стр.</i>	<i>Строка</i>	<i>Напечатано</i>	<i>Следует</i>
21	15 св.	Лид.	Лиз.
104	11 св.	призошли	произошли
111	2 св.	рвущийси	рвущийся
122	22 св.	манархическом	монархическом
141	18 св.	Пушкина	Пушкии
164	7 св.	полководца.	полководца. ²
167	3 св.	петровской	петровской
175	2 св.	Роцшкине	Роушкине“
194	4 св.	бунтовщика:	бунтовщика,
194	5 св.	рода“;	рода“:
256	5 св.	Остается	остаётся
323	10—11 св.	помню школу	школу помню
325	16 св.	У мест	Близ мест
327	9 св.	У мест	Близ мест
332	28 св.	В Париже	в Париже
380	26 св.	„О русской ли- тературе с очерком фран- цузской“	„О ничтоестве ли- тературы русской“
389	8 св.	не	но
407	4 св.	Потоцкого,	Потоцкого —
407	3 св.	„Brückner A.“	Brückner, A.,
409	3 св.	filosofja	filozofja
419	16 св.	concue	conçue
419	14 св.	самраgue	sampragne
420	7 св.	qui	qui
430	10 св.	легитимистеской	легитимистской
431	6 св.	j'aiè	j'ai
431	9 св.	sœr	sœur
438	8 св.		<i>Между строками 8 и 9 должна быть рубрика II</i>
473	9 св.	Гомера	Гнедича
484	12 св.	establishment	establishment
498	9 св.	«К»нижала	«Кинжала»
531	22 св.	место	вместо

На стр. 144—148 осталась неисправленной нумерация стихов, начиная с 24-го.
Следует читать:

25 Тем более грущу душою присмирелой и т. д.

Соответственно должна быть изменена на один стих и нумерация в ссылках на соответствующие стихи на стр. 148—149.